РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОЛЬШИЕ КНИГИ

Всеволод Крестовский

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ

«АЗБУКА»

FB2: , 19 August 2023, version 1.0
UUID: AEC0920D-A4DD-466A-BDF9-DC37AB625FB3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Владимирович Крестовский

Петербургские трущобы

За свою жизнь Всеволод Крестовский написал множество рассказов, очерков, повестей, романов. Этого хватило на собрание сочинений в восьми томах, выпущенное после смерти писателя. Но известность и успех Крестовскому, безусловно, принес роман «Петербургские трущобы». Его не просто читали, им зачитывались. Говоря современным языком, роман стал настоящим бестселлером русской литературы второй половины XIX века. Особенно поразил и заинтересовал современников открытый Крестовским Петербург — Петербург трущоб: читатели даже совершали коллективные экскурсии по описанным в романе местам: трактирам, лавкам ростовщиков, набережным Невы и Крюкова канала и т. д. Крестовскому удалось органично соединить традиции бытописательной прозы с авантюрным сюжетом, в котором переплелись судьбы героев, относящихся к самым разным социальным группам — от представителей высшего света, до нищих и воров. Словом, весь Петербург, блистательный и преступный.

Содержание

От автора к читателю 0014
Часть первая СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ 0029
I КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ 0029
II МАТЬ 0038
III ТАЙНЫЙ ПРИЮТ 0043
IV УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ 0054
V КНЯЖНА АННА 0064
VI ГОРНИЧНАЯ КНЯЖНЫ АННЫ 0080
VII ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ КНЯГИНИ 0088
VIII ЛИТОГРАФСКИЙ УЧЕНИК 0095
IX «ЕРШИ» 0101
X КВАРТИРА ДЛЯ ТРЫНКИ И ТЕМНЫХ ГЛАЗ 0135
XI КАПИТАН ЗОЛОТОЙ РОТЫ 0157
XII КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ 0176
XIII ОТОМСТИЛА 0180
XIV БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКРАЖИ 0185
XV ГЕНЕРАЛЬША ФОН ШПИЛЬЦЕ 0190
XVI РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 0201
XVII ДВЕ ПОЩЕЧИНЫ 0215
XVIII КНЯЗЬ И КНЯГИНЯ ШАДУРСКИЕ 0219
XIX НЕОЖИДАННОЕ И НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЙ ПОЩЕЧИНЫ 0233

XX АРЕОПАГ НЕПОГРЕШИМЫХ 0247
XXI ПРОБУЖДЕНИЕ 0251
XXII ДЕТИ 0255
XXIII ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ДИАНА 0258
Часть вторая НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХ КОРНЕЙ 0265
I ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 0265
II СТАРЫЙ ДРУГ — ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ . . 0275
III ПРОМЕЖУТОК 0293
IV КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ШАДУРСКИЙ 0304
V РАУТ У ГОСПОДИНА ШИНШЕЕВА 0318
VI АГЕНТСТВО И КОМИССИОНЕРСТВО 0355
VII «НА ЧАШКУ КОФИЮ» 0364
VIII НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ 0380
IX ВЫИГРАННОЕ ПАРИ 0387
X СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД 0395
XI ДВА НЕВИННЫХ ПОДАРКА 0402
XII ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 0410
XIII ИСПОВЕДНИК 0418
XIV НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ 0428
XV ИСКУШЕНИЕ 0435
Часть третья ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА 0442
I У СПАСА НА СЕННОЙ 0442
II ПЕРЕКУСОЧНЫЙ ПОДВАЛ 0467
III ПОЛТОРАЦКИЙ 0474
IV СУХАРЕВКА 0482
V ПАТРИАРХ МАЗОВ 0495
VI НИЩИЙ-БОГАЧ 0511

VII БЛАГОДЕТЕЛЬ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО . 0542
VIII ИВАН ВЕРЕСОВ 0562
IX ЧАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ 0576
X ГОЛОВУ НА РУКОМОЙНИК 0587
XI ФИГА 0593
XII ОБЛАВА 0609
XIII ДОЗНАНИЕ И АКТ НА МЕСТЕ 0625
XIV НОВАЯ ГЕРОИНЯ 0636
XV ИДИЛЛИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ПЕТЕРБУРГА 0643
XVI БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 0671
XVII В ТЕАТРЕ 0686
XVIII СТРАНА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, НО БЕЗ ПРИМЕСИ ИДИЛЛИИ 0693
XIX КОНВЕНЦИЯ 0702
XX НА БРУДЕРШАФТ 0709
XXI СОДЕРЖАНКА 0722
XXII ОСОБЫЙ МИРОК 0747
XXIII ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ 0764
XXIV КИНИК 0771
XXV XIV ОТДЕЛЕНИЕ ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 0784
XXVI АУКЦИОН 0797
XXVII НА НОВУЮ ДОРОГУ 0816
XXVIII У ДОРОТА С КАМЕЛИЯМИ 0822
XXIX МАСКАРАД БОЛЬШОГО ТЕАТРА 0834
XXX ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 0850
Часть четвертая ЗАКЛЮЧЕННИКИ 0863
I ДЯДИН ДОМ [280] 0863

II ТЮРЕМНЫЙ ДЕНЬ 0884
III ПРОДАЖА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 0895
IV РАЗВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ 0902
V СКАЗКА ПРО ВОРА ТАРАСКУ 0910
VI ВАНЬКА-ГОРЮН, ГОРЕГОРЬКАЯ ГОЛОВА . . . . .
0915
VII ПАЛЕСТИНЫ ЗАБУГОРНЫЕ 0923
VIII АРЕСТАНТСКИЕ ИГРЫ 0937
IX РАМЗЯ 0946
X ИСТОРИЯ РАМЗИ 0961
XI ВЫВОД ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ 0981
XII В СЛЕДСТВЕННОЙ КАМЕРЕ 0993
XIII СЕКРЕТНАЯ 1017
XIV ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО
ГВАРДИИ КОРНЕТА КНЯЗЯ ШАДУРСКОГО
ЖЕНОЮ МОСКОВСКОГО ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА ЮЛИЕЮ БЕРОЕВОЙ 1027
XV СЕМЕЙНАЯ ГОРЕСТЬ И ОБЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ
. 1036
XVI ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ ЗАТРОНУТА 1042
XVII ДЕЛЬЦЕ ПОЧТИ ОБДЕЛАНО 1046
XVIII ЕВРЕЙСКАЯ БЕРЛОГА 1058
XIX ПРИТОН НИЩЕЙ БРАТИИ 1067
XX ЖЕРЕБЬЯ НА ЗАКЛАДКУ 1077
XXI ЯЗВЛЕНИЕ 1083
XXII КОНЦЫ В ВОДУ 1089
XXIII ОЧНЫЕ СТАВКИ 1096
XXIV ЗАБОТЫ КНЯГИНИ О СУДЬБЕ БЕРОЕВОЙ И

ЕЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ 1123
XXV ПРИЕЗД БЕРОЕВА 1134
XXVI ПЕТЛЯ 1141
XXVII ПРОЙДИ-СВЕТ 1155
XXVIII НАДЕЖДА ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯНА 1164
XXIX ХЛЕБОНАСУЩЕНСКИЙ И КОМПАНИЯ ПОРЮТ ГОРЯЧКУ 1176
XXX СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ПОД НОВОЮ КЛИЧКОЙ 1187
XXXI БАЙКОВЫЙ ЛОЗУНГ 1193
XXXII «УТЕШИТЕЛЬНАЯ» 1197
XXXIII ТЫРБАНКА СЛАМУ 1218
XXXIV НАКАНУНЕ ЕЩЕ ОДНОГО ДЕЛА НОВОГО И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕ, ТОЛЬКО ЧТО ПОКОНЧЕННОМ 1227
XXXV ОБЫСК 1236
XXXVI НА КАНАВЕ 1250
XXXVII КАКИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 1263
XXXVIII ОДИН ИЗ ВЕЗДЕСУЩИХ, ВСЕВЕДУЩИХ, ВСЕСЛЫШАЩИХ И Т. Д 1295
XXXIX ДОПРОС 1314
XL ЗА РЕКОЮ 1325
XLI У ДЯДИ НА ДАЧЕ 1334
XLII БЕРОЕВА В ТЮРЬМЕ 1339
XLIII ТЮРЕМНЫЕ СВИДАНИЯ 1368
XLIV СТАРЫЙ РУБЛЬ 1380
XLV ОПЯТЬ НА МУЖСКОМ ТАТЕБНОМ 1383

XLVI ЗАВЕТНЫЕ ДУМЫ 1392
XLVII ФИЛАНТРОПКИ 1407
XLVIII АРЕСТАНТЫ В ЦЕРКВИ 1411
XLIX ФОМУШКА ПУСКАЕТ В ХОД СВОЙ МАНЕВР 1418
L ТРУДНО РАЗЛИЧАТЬ ПРАВДУ И ИСКРЕННОСТЬ 1428
LI НА ПОРУКИ 1435
LII ФАРМАЗОНСКИЕ ДЕНЬГИ 1450
LIII ОТПЕТЫЙ, ДА НЕПОХОРОНЕННЫЙ . . . 1463
LIV ВЕРЕСОВ НА ВОЛЕ 1473
LV ФЕМИДА НАДЕВАЕТ ПОВЯЗКУ И ПОДНИМАЕТ СВОИ ВЕСЫ 1483
LVI ВЫЧИТКА РЕШЕНИЯ 1489
LVII НЕДЕЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЙ 1496
LVIII ПРОГУЛКА НА ФОРТУНКЕ К СМОЛЬНОМУ ЗАТЫЛКОМ 1502
LIX ХЛЫСТОВКА-СЛАДКОЕДУШКА [396] . . . 1524
LX НЕЧТО О ХЛЫСТАХ 1531
LXI ЧУДНОЙ ГОСТЬ 1537
LXII ФОМУШКА — ДЕЯТЕЛЬ БАНКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК 1556
LXIII ФОМУШКА — ПРОРОК, ПО ОТКРОВЕНИЮ ХОДЯЩИЙ 1565
LXIV ДОКТОР КАТЦЕЛЬ 1574
LXV ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК 1584
LXVI ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА — ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ 1595

LXVII МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ 1602
LXVIII ТЮРЕМНЫЕ ВЕСТИ И НОВОСТИ 1614
LXIX ПОБЕГ АРЕСТАНТОВ 1621
LXX ГРЕЧКА ВСТРЕЧАЕТ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ . . . 1649
LXXI МИТРОФАНИЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 1657
LXXII В ОЖИДАНИИ ПОЛНОЧИ 1672
LXXIII ГРОБОКОПАТЕЛИ 1680
LXXIV СПАСЕНА 1693
Часть пятая ГОЛОДНЫЕ И ХОЛОДНЫЕ 1714
I ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРИХИНА 1714
II В ЧУЖИХ ЛЮДЯХ 1736
III МАЛЕНЬКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИМЕВШЕЕ БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 1758
IV ПЕРВОЕ НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПОСЛЕДСТВИЙ . . 1769
V В БОЛЬНИЦЕ 1779
VI ПОСЛЕДНИЙ РАСЧЕТ С ГОСПОДАМИ ШИММЕЛЬПФЕНИГАМИ 1810
VII ГОЛОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 1824
VIII НОЧЛЕЖНИКИ В ПУСТОЙ БАРКЕ 1849
IX ВСТРЕЧА ЗА РАННЕЙ ОБЕДНЕЙ 1889
X УДАР НЕ ПО ЧЕСТИ, А ПО КАРМАНУ 1906
XI КНЯГИНЯ ИЗЫСКИВАЕТ СРЕДСТВА 1937
XII МОРДЕНКО ОЧНУЛСЯ 1946
XIII ЛИСИЙ ХВОСТ 1957
XIV БЕССОННИЦА 1973
XV КАИНСКИЕ МУКИ 1982

XVI КАК ЛОМАЛОСЬ КНЯЖЕСКОЕ САМОЛЮБИЕ 1996
XVII «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ, ВЛАДЫКО!..» . . 2009
XVIII ПОХОРОНЫ ГУЛЬКИ 2023
XIX СОВЕСТЬ ЗАГОВОРИЛА 2030
XX КЛИНОМ СОШЛОСЬ 2039
XXI ОПЯТЬ НАД ПРОРУБЬЮ 2049
XXII МАЛИННИК 2068
XXIII КРЫСА 2098
XXIV КАПЕЛЬНИК 2111
XXV ЧУХА 2132
XXVI МАЛИННИКСКИЙ САМОСУД 2150
XXVII СИБИРКА 2171
XXVIII НОВАЯ ВСТРЕЧА С ОТЦОМ 2180
XXIX КЛЯТВА 2193
XXX СМЕРТЬ МОРДЕНКИ 2200
XXXI ПЕРЕД ГРОБОМ 2212
XXXII РАЗЛАД С САМИМ СОБОЙ 2222
XXXIII МЫШЕЛОВКА СТРОИТСЯ 2233
XXXIV ДЕЛО ДВИНУЛОСЬ 2253
XXXV «ЛИКУЙ НЫНЕ И ВЕСЕЛИСЯ, СИОНЕ!» 2264
XXXVI «НЕ ПРИНИМАЮТ!» 2278
XXXVII НОВОЕ ГОРЕ И НОВЫЕ ГРЕЗЫ 2294
XXXVIII ВЯЗЕМСКАЯ ЛАВРА [472] 2302
XXXIX ОБИТАТЕЛИ ВЯЗЕМСКОЙ ЛАВРЫ . . .2331
XL НОЧЛЕЖНЫЕ 2358
XLI ЧТО КАЗАЛОСЬ СТРАННОЙ

СЛУЧАЙНОСТЬЮ ДЛЯ МАШИ И ДЛЯ ЧУХИ 2377
XLII СВАДЬБА ИДИОТОВ 2387
XLIII КЛОПОВНИК ТАИРОВСКОГО ПЕРЕУЛКА . . . 2417
Часть шестая ПАДШИЕ 2432
I НОЧНЫЕ СОВЫ 2432
II СОВИНЫЙ АРЕОПАГ В ПОЛНОМ БЛЕСКЕ 2449
III ДИАНЫ О ФРИНАХ 2492
IV ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ 2517
V ПЕРВАЯ ПАНСИОНЕРКА 2530
VI ПТИЦЫ РАЗОЧАРОВЫВАЮТСЯ В МАШЕ, И МАША — В ПТИЦАХ 2549
VII ФОМУШКА ИЗМЫШЛЯЕТ... 2557
VIII ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ РАСТОЧИЛАСЬ . . . 2571
IX «БОЖЬЯ ДА ПОДЗАБОРНАЯ» 2591
X КТО БЫЛ ГРАФ КАЛЛАШ 2598
XI КТО БЫЛА ЧУХА 2623
XII КАКИМ ОБРАЗОМ КНЯЖНА АННА СДЕЛАЛАСЬ ЧУХОЮ 2632
XIII НАЧАЛО ТОГО, ЧТО УЗНАЕТСЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВ РОМАНА 2652
XIV БЕДНЫЙ, НО ЧЕСТНЫЙ МАЙОР, МНОГОЧИСЛЕННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ОБРЕМЕНЕННЫЙ 2655
XV ГОЛЬ, ШМОЛЬ, НОЛЬ И К° 2681
XVI ВСЕ УГЛЫ ЗАНЯТЫ 2712
XVII ШВЕЯ 2719
XVIII ЗА РУБИКОН 2729

XIX ЦАРЬ ОТ МИРА СЕГО 2746
XX ПАНИХИДА ПО ПРЕЖНЕМУ ИМЕНИ . . . 2751
XXI ВЕСЕЛЫЙ ДОМ 2761
XXII ПРОМЕЖ ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ 2779
XXIII ЛИСЬИ РЕЧИ, ДА ВОЛЧЬИ ЗУБЫ 2783
XXIV ЛОТЕРЕЯ НЕВИННОСТИ 2794
XXV ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ 2807
XXVI ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 2815
XXVII ВОЛЬНАЯ ПТАШКА НАЧИНАЕТ ПЕТЬ ПОД ЧУЖУЮ ДУДКУ 2820
XXVIII РЫЦАРИ ЗЕЛЕНОГО ПОЛЯ 2836
XXIX ИНТИМНЫЙ ВЕЧЕР БАРОНЕССЫ 2850
XXX ПАУКИ И МУХИ 2865
XXXI ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ 2873
XXXII РЫБА ИДЕТ В ВЕРШУ 2879
XXXIII ЗОЛОТОЙ ПЕСОК 2891
XXXIV ДВЕ НЕПРИЯТНОСТИ И ОДНО УТЕШЕНИЕ 2903
XXXV НЕОЖИДАННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕОЖИДАННЫЙ ДЛЯ ГАМЕНА ИСХОД ЕГО 2909
XXXVI СВАДЬБА СТАРОГО КНЯЗЯ 2921
XXXVII ВСЕ, ЧТО НАКИПЕЛО В ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА 2929
XXXVIII ЧУХА ДОВЕДАЛАСЬ, КТО ЕЕ ДОЧЬ . 2948
XXXIX ПОСЛЕДНЕЕ БРЕВНО ДОЛОЙ С ДОРОГИ . . . 2964

XL ЧАХОТКА 2968
XLI ПЕРЕД КОНЦОМ 2973
XLII ИСПОВЕДЬ 2985
XLIII СМЕРТЬ МАШИ 2988
XLIV ПОТЕШНЫЕ ПРОВОДЫ 2997
XLV «ИДЕЖЕ НЕСТЬ БОЛЕЗНЬ, НИ ПЕЧАЛЬ, НИ ВОЗДЫХАНИЕ» 3002
XLVI КАК ИНОГДА МОЖНО ЛОВКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 3016
XLVII ЗА ТУ И ЗА ДРУГУЮ 3040
XLVIII РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗНАНИЙ ЗЕЛЕНЬКОВА 3046
XLIX СОН НАЯВУ 3051
L ЧТО БЫЛО С БЕРОЕВОЙ 3064
LI ПОЛЮБОВНЫЙ РАСЧЕТ 3078
LII ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ . . 3086
LIII ТОЧНО ЛИ КОЕМУЖДО ВОЗДАЛОСЬ ПО ДЕЛОМ ЕГО 3106
LIV НА ВЛАДИМИРКУ 3114
LV В МОРЕ 3124

От автора к читателю

Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу нелишним сказать ему несколько слов.

Когда, еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым — мне приходилось не однажды выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?

Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и не знакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?

Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня

в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка; можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, — это кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут — не впервой!» — отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» — прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверок подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново.

Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками, окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» — спросил я одну женщину. «А черт ее знает — надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая наконец довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пять — десять минут. Я думал, что это уже по-

следняя грань петербургской мерзости и разврата, — и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.

Оставаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышьте, студент, есть у вас деньги?» — «Есть. А что?» — «Дайте мне взаймы — сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и

отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» — обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товарок; но через эти урывки для меня скользила целая драма — такая драма, в которой «за человека страшно» становится.

Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно-сытыми физиономиями? Как дохо-

дят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко — гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека, один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастии? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантро-

пические возгласы, обеты и теории?

«Es ist eine alte Geschichte» — все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch, bleibt sie immer neu»[1], быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таковых — надо сознаться — не занимать стать пока.

В тот достопамятный — лично для меня — вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня — частью по услышанным и подхваченным на лету урывкам, частью же по собственной догадке и соображениям, — невольно как-то сама собою натолкнула меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, исписал целую толстую тетрадь, но... ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал пе-

ред действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, — подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантическое — и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.

Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многоразличны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.

Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры не замедлят познакомить нас со множеством неиз-

вестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов. ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются: в центральной нашей трущобе — доме князя Вяземского — есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.

Я считаю при этом первою и приятною обязанностью принести мою благодарность

лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, — лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежавших юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне как автору всегда хотелось печатать. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического — а во многих местах и просто логического — смысла ни для кого не может остаться незамеченным.

Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.

Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними

пробелами. Прошу читателя извинить их... Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь — и навсегда останусь — при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же — могу сказать по совести и смело — руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.

Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру

только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо — я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно — так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий — писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан — для меня существуют одни только люди — человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т. д.

Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии — трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной она возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ре-

бенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником, сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требований своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физическим, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет

о спасении, об исходе, по причине очень простой и несложной: она их не знает.

Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, подделывателей фальшивых бумаг и т. п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать

ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же страницах покончить чтение моего романа — и я в таком случае только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.

Всеволод Крестовский

Часть первая
СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ

I
КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с половою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:

— Кого надо?

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:

— Передайте князю и княгине... тут цветы... Скажите, что от бельгийского консула... Приказали кланяться и отдать...

— Ладно, будет отдано! — ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.

Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеням с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу — подметать гранитный мозаичный пол.

Вдруг, через несколько времени, в сенях, неизвестно откуда, послышался слабый крик

младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.

— Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! — пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.

Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее — «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они — доложить обо всем немедленно же господам.

Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.

— Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство! Бог милости прислал...

— А!.. что?.. — пробормотал князь спросонок.

— Бог милости прислал вашему сиятельству, — почтительнейше повторил камердинер.

— Какой милости?

— Корзинку с цветами-с...

— Что ты врешь? какую корзинку?

— От бельгийского консула... приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.

— От какого бельгийского консула? — в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. — Что это, ты пьян, что ли?

— Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула... Бог милостью посетил... корзинка с цветами...

Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.

— Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?

— Младенец-с...

— Какой младенец?

— Надо полагать, подкидыш... В корзинке этой самой положен... Мы без вашего сиятельства не осмелились...

— А!.. — произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.

— Княгиня знает? — торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.

— Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.

— А!.. — И лицо князя опять передернуло. Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить... Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, что супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.

— Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, — сказала княгиня при

входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:

— Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне... Корзинка прислана на наше общее имя.

— Я по крайней мере нисколько не виновата в этом, — столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.

Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.

— В *этом* — да, нисколько! но в *другом...* — произнес князь с немалою выразительностью и остановился.

— В чем другом? — с живостью перебила его жена, — в чем?..

— Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! — сказал он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: — Пять месяцев назад меня не было в Петербурге... Да, потом, вы

очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.

Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей в свою очередь пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и видимо искала случая дать другое направление разговору.

— А где же корзинка, однако? что это ее не несут? — сказала она, озабоченно поднимаясь с места.

Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.

Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», — и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писа-

ла записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.

Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.

Княгиня первая прервала неловкое молчание.

— Что же вы намерены делать с этим ребенком? — спросила она. — Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.

— Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто... — И князь опять остановился и задумался.

— Что же надо? — переспросила его жена.

— Надо нам объясниться с вами! — наконец выговорил он, собравшись с силами.

— Извольте; я готова...

— Дело вот в чем, — начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, — дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени — князь Владимир Шадурский, и потому... я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались рядом с нашим сыном какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? — спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.

Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.

— Не угодно ли вам будет отправиться за границу? — как бы неожиданно и бесцельно спросил он.

— Пожалуй... я подумаю...

— То-то, подумайте... А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь, — добавил он, вставая и выходя из комнаты. — Я сделаю для него все, что могу.

II
МАТЬ

Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузаморенная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул ввернуть обычное: «маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам — словно боясь погони, — скрылась в низенькой калитке деревянного дома.

Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита вывеска с надписью: «Hebamme» — «Повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чистоплотно-немецкой наружно-

сти, в белом чепце и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.

— Что, спит?.. Можно войти? — шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.

— Нет, не спит, все вас дожидается, — отвечала ей, также шепотом, немка. — Слава Богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась...

Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пытливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.

— Ну что, Наташа? — с замиранием сердца спросила она. — Снесла?

— Ничего, слава Богу, все хорошо... ничего... Снесла и отдала.

— Взяли они? — с возрастающим нетерпением допрашивала больная.

— Надо полагать, что взяли... Не выкинут же младенца на улицу, — как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.

— Слава тебе Господи! — с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.

— Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе Господи, удалось как не надо быть лучше! — утешала ее между тем Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброжелательства.

— Я не от горя, Наташа; я от радости... Я теперь почти совсем ведь счастлива... Ведь, понимаешь ли ты, я могу, буду у них видать ее... хоть издали, хоть как чужую, а все-таки видеть, знать... ведь все же лучше, чем совсем не видать-то!.. Что делать!..

Наташа равнодушно, как совершенно посторонний человек, слушала эту исповедь больной, полную и радости, и надежд, и грусти.

— Ну а что *там*... у нас, дома? Не слыхала ты? — неожиданно спросила больная после минутного раздумья.

— Ничего... все, кажись, пока спокойно, —

ответила с маленькой запинкой Наташа, с запинкой потому, что на самом деле было далеко не спокойно. — Да вы не тревожьтесь, — прибавила она, — авось, Бог даст, все как-нибудь обойдется.

Больная раздумчиво покачала головой.

— Едва ли, Наташа!.. не верится мне что-то! — со вздохом сказала она. — Уж где там обойтись!.. Мне, верно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья... Вот и ребенок мой в мае родился — верно, тоже весь век будет маяться, бедняжка...

— Это все одни пустяки; так только... старые люди занимаются — болтают. А то вот увидите, все перемелется — мука будет, — рассеянно заметила Наташа, как человек, которого занимают совсем посторонние и давно уже преследующие его скрытые помыслы.

Больная сначала закрыла глаза ладонями и потом махнула рукой, сделав головою такое движение, как словно хотела бы отогнать преследующую ее мысль.

— Ну что думать об этом?.. — сказала она, стараясь обмануть самое себя как бы беззаботностью и равнодушием. — Умела сделать

грех, умей и нести его!.. А вот что-то *он* не едет? И не пишет ничего...

— Авось, нынче заедет... Нынче-то уж, кажись бы, наверное должен был заехать!

— Да что ж он до сих-то пор ждал? зачем он до сих пор не приезжал ни разу?.. Ведь вот уж третий день сегодня, как я здесь!.. Ведь я писала ему... Он знает! — с тоскливым и недоумевающим укором спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо ответ на это и разрешить ее сомнения.

— Нет, уж после сегодняшнего — непременно приедет! — утешала Наташа тоном очень искусно подделанного участия.

— Дай-то Бог, дай-то Бог! — отвечала больная все с тем же недоверчивым покачиванием головы. — Грустно мне без него, Наташа, очень грустно!.. И что я за сумасшедшая! — продолжала она минуту спустя как бы сама с собой. — И за что я только так полюбила его! Как ведь полюбила-то! все позабыла, на все решилася!.. И за что все это? Сама не знаю... Так, как ты думаешь, Наташа, приедет? — неожиданно добавила она.

— Непременно приедет! Вот подождите, увидите сами!

— Ну, буду ждать!

Но больная тщетно прождала целый день: *он* не приезжал. Она мучилась, теряясь в догадках, и, конечно, всем этим страшно вредила своему положению. Наконец к вечеру она получила письмо. От кого? Это была для нее совершенная неожиданность.

III
ТАЙНЫЙ ПРИЮТ

За три дня до описанного нами происшествия с корзинкой в кабинет старой княгини Чечевинской, одетой в траур по мужу, вошла ее дочь, княжна Анна, что вызвало на лице старухи знаки видимого неудовольствия: она терпеть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывал мирное течение ее занятий. Это было утром, часов около двенадцати. Занятия старой княгини по утрам состояли в проверке приходо-расходных книг и расчетов, в перечислении наличных денег и т. п. Княгиня — если взглянуть на нее с оборотной

стороны медали, то есть с той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользает или умеет прятаться от постороннего светского глаза — была то, что называется кулак-баба, да притом и просто-таки снабжена от матери-натуры достаточною долею скупости. Под старость, и особенно с тех пор, как покойный князь Чечевинский растратил, и растратил, по мнению княгини, самым эксцентричным образом, больше чем две трети своего состояния, эти качества в ней усилились весьма заметно. Но предаваться им она любила келейно, в кабинете, без помехи чьих бы то ни было посторонних глаз — она старалась, чтоб не заметили ее наклонности, — и потому неудивительно, если неожиданный приход дочери вызвал на ее лице оттенок неудовольствия.

— Что тебе, зачем ты меня беспокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю... — проговорила она, подвигая на лоб очки и поспешно закрыв расчетную книгу.

— Я к вам... мне надо...

— Что тебе надо?.. Ничего не надо!.. от вас только одно беспокойство...

Старухе видимо хотелось поскорее избавиться от постороннего лица.

— Я получила записку от Зины. Она просит меня приехать, — ответила княжна, с трудом скрывая в лице невольные знаки какой-то страшной внутренней боли.

— Зачем это?.. — возразила старуха. — Ведь они всем семейством, кажется, хотели быть к нам нынче вечером — разве ты забыла?

— Я знаю... Но она пишет, чтоб я приезжала к ним с утра, а потом все вместе и будем к вечеру... Она очень просит — ей что-то очень нужно...

— Пустяки какие-нибудь!.. Закладывать экипаж, беспокоить людей и лошадей понапрасну — и все из-за пустяков! Как будто нельзя обождать...

— Я пешком пройду...

— Этого только и недоставало! Пешком... очень хорошо!.. Все-таки... человека беспокоить — ливрею надевать... Да куда тебе ехать? взгляни, Бога ради, на тебе лица нет — так ты бледна, — прибавила она, взглянув на лицо девушки, которое действительно сквозило

страшною болезненною бледностью.

— У меня голова болит немного... На воздух выйду, так и пройдет.

— Ну хорошо, хорошо, только не беспокой меня, пожалуйста; у меня бездна дел... Прикажи человеку проводить себя.

— Меня моя горничная проводит.

— Это еще что за новости? Что ты, чиновница, что ли?

— Да она у меня отпросилась сегодня на целый день, так ей все равно... а человека что же беспокоить, — возразила княжна, стараясь последним своим замечанием подделаться в такт матери.

— Скажите, как велико беспокойство!.. Вздор, прикажи человеку. Ты уже одета? — спросила она, оглядывая платье дочери. — Могла бы одеть попроще что-нибудь — хоть старое траурное платье; утром ведь ни к чему. (Это был тоже голос скупости.)

— На мне и то довольно простое платье, — возразила дочь.

— Ну это хорошо... бережливость никогда не мешает, — продолжая оглядывать княжну, заметила старуха. — Что это оно на тебе как

будто дурно сидит?

— Нет, ничего... это вам так кажется...

— В талии, как будто... что-то неловко...

— Нет, ничего... я в корсете... оно сидит как нельзя лучше.

Талия княжны действительно донельзя была перетянута корсетом.

— Ну хорошо, хорошо! только оставь меня, не мешай мне, пожалуйста, — поспешила отделаться старуха и по уходе дочери сейчас же опять принялась за работу.

Вернувшись к себе в комнату, княжна в изнеможении опустилась в кресло.

— Ну что?.. как? — спросила поджидавшая ее тут горничная.

— Приказала проводить человеку... Что делать с этим, уж я и не знаю!.. — через силу отвечала княжна, очевидно, подавленная каким-то большим горем.

— Ну, это еще ничего... Я пойду прикажу Петру... этот мой — не выдаст! Уж я обделаю, вы не беспокойтесь!

— Только как я пойду?.. Мне кажется, я не в силах... — с отчаянием проговорила княжна.

— Ничего, до кареты-то дойдем! — ободряла ее горничная. — Вы не сидите только, а старайтесь ходить полегоньку: ходить-то лучше, сказывают.

И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгини.

Через десять минут княжна Чечевинская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея.

— Ты, Петя, ступай себе куда знаешь! — вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая их за углом.

— Да куда ж я пойду? Проводить велено...

— Ну, леший! не твое дело! Сказано — ступай, так и ступай!.. А через час вернись; да смотри у меня: молчок! а проврешься — так только ты меня и знал!

Лакей любезно ухмыльнулся в ответ на приказание горничной и, отстав от княжны шагов на двадцать, незаметно свернул себе в сторону, до ближайшего трактира.

— Он ушел? — спросила княжна, когда горничная поравнялась с нею, и, получив удовлетворительный ответ, тотчас же спустила на лицо густой черный вуаль.

— Я решительно не в силах идти! — сказала она, остановившись в изнеможении. — Далеко еще до кареты?

Горничная в ответ кивнула головой на угол и побежала в том же направлении.

Полчаса спустя извозчичья карета со спущенными шторами, ехавшая все время с большой осторожностью, шагом, остановилась в Свечном переулке, у ворот деревянного дома.

Княжна и горничная вошли в серенький надворный флигелек с знакомой уже читателю скромной вывеской — «Hebamme».

— Вам надо раздеться, сударыня, и лечь, вы так утомлены, — говорила востроносенькая женщина в белом чепце, с немецко-чистоплотной наружностью, заботливо помогая княжне скидать ее платье. — Боже мой, да вы в корсете! — чуть не с криком добавила она и с выражением ужаса покачала головой.

— Что делать? Надо было скрывать, — ответила Наташа. — Я уж и то все платья по ночам, тайком, понадставляла.

— Но это нехорошо, это очень нехорошо! — продолжала покачивать своим чепчиком

немка.

— Скажите, может все это окончиться к вечеру? — спросила ее княжна.

— Это как Бог даст, — ответила она, в затруднении, пожимая плечами.

— Но мне необходимо надо быть сегодня к вечеру дома.

— Это очень опасно...

— Что делать, но если иначе нельзя!

— Конечно, бывает иногда и так, но это очень опасно, говорю вам. Впрочем, посмотрим; может, вы еще и не в силах будете... теперь еще неизвестно... Но только вы очень рискуете, сударыня... Ваш корсет много беды тут наделал. Вы в первый раз? — спросила она.

— В первый.

— Ну, так почти наверное, что нельзя. Надо будет остаться... Вы будете слишком слабы, уж поверьте моей опытности.

— Что же мне делать! Боже мой, что делать мне!.. Это, значит, узнают... Я не скрою!.. — с отчаянием говорила княжна, ломая себе руки, тогда как сильные схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличи-

вая собою невыносимое страдание нравственное. У немки на глазах показались слезы. Она только пожала плечами и продолжала раздевать больную.

— Все бы ничего, только вот старая барыня... беспокойства много будет, если не вернемся к вечеру, — заботливо проговорила Наташа и поспешила отвернуться, чтобы скрыть невольно прорывавшуюся на губы усмешку: она как будто была бы рада, если б княжна не вернулась к вечеру.

— Ну, мой грех, мой и ответ! — с решимостью проговорила княжна. — Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?

Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки: запечатав, она отдала их горничной, с приказанием отправить тотчас же на городскую почту.

— И как это вы, право, так, до последней минуты ходили! — удивлялась немка, укладывая больную в постель.

— Я ничего не знала... я думала, еще не время... Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы, — ответила княжна, указав на Наташу.

Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления.

— Она знает, кто я такая? — шепотом спросила княжна по-французски.

Горничная отрицательно покачала головою.

— Ты как ей сказала?

— Сказала, что вы просто так... девушка среднего круга, что надо скрыть от родных... ну, и ничего.

— Она не расспрашивала больше?

— Тридцать рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала: «Это нам все равно», — говорит.

— Ну слава Богу!.. Только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерьми приедет!.. Ведь я сказала, что к ним пойду...

— Ай, ай, как же вы это так, не подумавши! — заботливо заметила Наташа.

— Где уж тут было думать! Я себя-то не помнила! Что первое взбрело на ум, то и сказала.

— Неравно узнают, — продолжала та притворно опасаться.

— Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет; а если и узнают, так...

Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумье.

— Лишь бы он любил, а до остальных... Бог с ними! Мне все равно! — добавила она с глубоким и тяжелым вздохом.

Часов около шести вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услыхав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.

IV
УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими «делами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменною строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «que dira le monde?»[2] властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим и всем существом трепетала перед роковою силою этого страшного *что скажут?..* С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и под конец почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей — все это могло служить, на глаза людей и близких, и посторонних, образцом безукоризнейшего приличия, и все это заставляла ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «que dira le monde?». Если бы что-либо в жизни княгини

хотя на шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни — удар, нанесенный ее мужем, который, увы! часто позволял себе непростительные отступления от приличий, но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди.

Это была женщина даже с замечательной силой характера. Быв уже замужем, она сильно влюбилась в одного великосветского франта, gant jaune[3], как их тогда называли, блиставшего в десятых годах; но не только что ему, а, кажись, даже самой себе не призналась в этом и задавила в душе своей чувство, не дав о нем светской молве ни малейшего намека, ни малейшей догадки. Она, например, совсем не любила своего мужа, но всю жизнь осталась безукоризненно верна ему. Вы думаете — отчего? сознание долга? Нет, не столько долга, сколько боязни этого *что скажут?* Она не допускала, чтобы *о ней, княгине*

Чечевинской, осмелился кто-либо заикнуться с легкой улыбкой. Она не могла представить себе без ужаса свою фамильную репутацию с каким-либо темным пятнышком; репутация ее должна была быть чиста как кристалл — того требовал кодекс условий, усвоенный ею еще с раннего детства. И действительно, темное светское сословие, как известно, не щадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало перед именем княгини Чечевинской. В течение всей ее жизни о ней не ходило ни одной темной сплетни, и все глубоко уважали ее за безукоризненно чистую репутацию, а для самой княгини это был источник неисчерпаемой внутренней гордости.

По положению своему в свете она держала дом свой на соответственную ногу. На посторонние глаза скупость ее была решительно незаметна. Она умела в этом отношении поддержать достоинство своего рода и состояния. Но зато с глазу на глаз со своей душою княгиня постоянно мучилась неотступным призраком расходов и издержек, всегда, впрочем, поневоле склонявшимся перед другим, сильней-

шим призраком: «que dira le monde?» Она, например, без посторонних постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье — на том мудром основании, что «бережливость никогда не мешает, и почем знать, что еще может случиться и ожидать ее в жизни». Она даже себе очень часто отказывала в прогулке — на том основании, что неравно еще шина в колесе кареты лопнет или ось сломается — придется отдавать в починку и деньги платить, да и ливрея новая у лакея и армяк у кучера от излишнего употребления будут портиться и приходить в ветхость, а новые делать — опять-таки деньги платить. В отношении дочери она маскировала этот последний расчет тем, что «зачем излишне и людей, и лошадей беспокоить», — следовательно, выставляла причину, достаточно филантропичную и делавшую честь ее прекрасному сердцу. Так и теперь, по уходе дочери, она стала обдумывать, что ни к чему лишний кусок к обеду готовить, и потому, под предлогом нездоровья, приказала сделать себе только бульон куриный, из коего мясо подать себе под легким соусом. Все эти мелочи доходили

в ней до болезни, до мании какой-то; но, что всего страннее, княгиня очень хорошо сознавала это и потому тщательно старалась скрывать от всех свой недостаток, покоряясь своей другой, равносильной и уже известной читателю мании — *что скажут?*

Была у нее одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости; эта слабость — слепая, безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на десять, не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы и прикидывался пред матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нем не чаяла.

Пообедав очень скромно куриным бульоном, старуха удалилась в свою молельню (она очень была благочестива) и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над

которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока ей не объявили о приезде m-me Шипониной с дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, к которой та и отпросилась нынешним утром.

У престарелой m-me Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькие и престарелые дочери — три перезрелые и потому злющие девы, которых за глаза называли тремя грациями. Отличительные черты их были: наивная скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сентиментальная любовь к небесному цвету. Кроме этих трех, без всякого сомнения, прекрасных качеств ходили о них еще слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трех граций. К этому последнему источнику пылали они еще большею любовью, чем к небесному цвету.

Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству и после обычных приветствий, не находя между ними своей дочери, спросила несколько удивленным то-

ном:

— А где же моя Анна?.. Или вы, mesdames [4], ее дома бросили?

Те не совсем ясно поняли последнюю шутку старухи.

— Как — дома? — спросила одна из трех граций.

— Ну да, дома, — продолжала любезно-шутливым тоном княгиня. — Я ее что-то не вижу с вами.

— А где она, в самом деле? — спросила хорошенькая Зина.

— Вы это должны лучше знать, — отшучивалась княгиня. — Впрочем, неужели это она прямо к себе прошла?.. какая глупая! — нежно-материнским тоном добавила она, хотя внутренне и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость.

— Поди попроси княжну поскорее сюда, к нам, — приказала она вошедшему на ее звонок человеку.

Тот пошел и через минуту воротился, объявив, что княжны нет дома.

Княгиня встревожилась.

— Что же это значит? Где же вы ее остави-

ли, mesdames?.. Что с нею? Уж не больна ли она?.. Скажите мне, Бога ради!

— Извините, княгиня, я не совсем понимаю вас, — возразила удивленная Шипонина.

— Как не понимаете! Да ведь она у вас же была?

— Когда?

— Сегодня! С двенадцати часов утра отправилась! — с возрастающим беспокойством доказывала княгиня.

Три грации вытянули шеи и ядовито навострили уши.

— Нет! она не была у нас сегодня, — ответила Шипонина.

— Но ведь вы ей писали? — продолжала старуха, обращаясь к Зине.

— Я?.. нет... да, я ей писала, — в замешательстве ответила Зина, понявшая, что тут, должно быть, нечто не совсем-то ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чем дело.

Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души.

— Кто проводил княжну? Позови сюда! —

обратилась княгиня к лакею, и через минуту вошел Петр, бледный, как скатерть.

— Ты провожал Анну Яковлевну?

— Я, ваше сиятельство.

В это время княгине подали письмо с городской почты.

Княгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробегать письмо и, мгновенно побледнев, без звука, как сноп, рухнула на пол.

Удар ее фамильной гордости был нанесен.

Все тотчас же бросились к бесчувственной старухе; поднялась беготня, суматоха, и в этой-то суматохе одна из трех граций ловко подхватила с пола полученную записку и, в то время как княгиню уносили на руках в ее спальню, быстро и жадно пробежала ее глазами.

На желтоватом лице ее заиграла злорадная улыбка.

— C’est charmant! c’est charmant![5] — шепелявила она каким-то захлебывающимся шепотом, закатывая под лоб свои крысиные глазки.

— Что? что такое? — приступили к ней,

вместе с матерью, две остальные грации.

— После... после скажу вам все! — с наслаждением проговорила она, роняя письмо на прежнее место, и потом, приняв вид оскорбленной нравственности, присовокупила весьма величественным и даже строгим тоном: — Maman! мы ни одной минуты более не должны оставаться в этом доме!

И семейство граций немедленно же удалилось из дома княгини Чечевинской.

Вот короткое содержание письма, столь поразившего старую княгиню:

«Я солгала, сказав вам утром, что иду к Зине. Если есть время, то найдите предлог предупредить Шипониных, чтобы они не приезжали. Постарайтесь скрыть от всех мое отсутствие, если это возможно... Я не могла признаться вам раньше — вы меня слишком мало любите. Сегодня я сделаюсь матерью».

Подписи не было, но рука княжны. Писано по-французски.

V
КНЯЖНА АННА

Ей исполнилось уже двадцать пять лет; следовательно, она давно перешла ту пору, когда девушки надевают чепец и переименовываются в дам, что обыкновенно случается с ними лет в девятнадцать, в двадцать или около того. А между тем княжна Анна была хороша собою — и все-таки осталась в девушках. Причиною этому послужило одно исключительное обстоятельство, в котором, впрочем, она нисколько не была виновата.

Отец ее, князь Яков Чечевинский, по отзывам того общества, к которому принадлежал по положению своему, был весьма странный человек. Мы скажем вернее: он был русский человек, но человек надорванный. И дед, и прадед, и отец его принадлежали к разряду старых кряжевых натур. Эти же кряжевые свойства перешли и к князю Якову. Отец его, вместо того чтобы отправлять сына в раннем еще детстве для воспитания за границу, что водится-таки за нашими барами, оставил его

расти и воспитываться дома, у себя в деревне. Первый учитель его был старый дядька, потом старый поп, а затем уже русские учителя и, в силу всемогущего обычая, иностранный гувернер. Князь Яков отправился за границу не начинать, а доканчивать свое образование уже на двадцатом году своей жизни. Был он в нескольких германских университетах, получил даже магистерский диплом и вернулся в Россию, объездив из конца в конец почти всю Западную Европу. В университетские свои годы он познакомился с теориями французских энциклопедистов, но особенно пристрастился к учению масонов, и сам был посвящен в каменщики одной ложи. В России для него готовилась уже видная карьера, но он предпочел остаться частным человеком. Вдруг декабрьские события двадцать пятого года весьма скомпрометировали в известном отношении личность князя Чечевинского, который был уже в то время женат более двенадцати лет и имел дочку, княжну Анну, и шестилетнего сына. Вся беда, однако, ограничилась для князя только безвыездным жительством в его собственной деревне. Жена и дети отправи-

лись туда вместе с ним. В весьма непродолжительном времени после этой ссылки характер князя заметно изменился. Он сделался угрюм и мрачен, по целым дням не выходил из кабинета или бродил по пустырям, упорно молчал и тоскливо, озлобленно грустил о чем-то. В это же время началась и эксцентричная (по мнению княгини) растрата состояния. Князь отсылал большие суммы на издание каких-то книг, заводил по всему околотку крестьянские школы да больницы, давал деньги своим и чужим крестьянам и многим иным лицам, которые только приходили к нему с просьбой по нужде, либо на какое-нибудь полезное предприятие. Очень многие, конечно, злоупотребляли при этом добротой и доверчивостью князя Якова. Но при всем том он не мог терпеть излияния благодарности. Чуть, бывало, начнет кто-нибудь по получении просимого куша: «Благодетель вы наш! чем и как благодарить вас?!» — князь тотчас же нахмуривал брови и тоном, решительно не допускающим дальнейших возражений, произносил: «Ну, будет! довольно!» — и тотчас же уходил в свой кабинет. Таким образом

были растрачены им более чем две трети его состояния. Княгиня все это видела и злилась, мучимая своей природною скупостью. Неоднократно пыталась она вступать с мужем в горячие объяснения по этому поводу, но тот никогда не отвечал ей ни слова, только молча, бывало, взглянет на нее строгим, стальным своим взглядом и сделает новые траты да затоскует еще угрюмее. Все это сносила еще кое-как княгиня; одного только она не могла снести: князь стал пить — молча, с мрачною сосредоточенностью пить простую водку, запершись в кабинете, один на один со своим стаканом. Она с ужасом узнала об этой новой слабости своего мужа — и эта слабость была уже для нее непереносна: она решительно вопияла против целого цикла всех приличий и условий, созданных себе княгиней, аристократические нервы которой не только что не могли выносить присутствия пьяного человека, но ее коробило даже при одном рассказе о пьянстве и пьяницах. А тут вдруг пьяница, горький, упорный пьяница... и кто же? ее собственный муж, *ее — княгини* Чечевинской! Княгиня, бесспорно, была умная жен-

щина, но умная аристократическим умом; по этому-то последнему свойству она никак не могла понять своего мужа, и потому она стала внутренно презирать его. Это скрытое, подавленное в глубине души презрение освоилось вскоре с каким-то гадливо-нервным чувством при одной только мысли об этом человеке. Понятно, что при подобных условиях жизнь под одною кровлею делалась невозможна. Княгиня, долго раздумывавшая, как ей быть и что делать, решилась наконец оставить своего мужа. Но как оставить? Неужели разъехаться таким образом, чтобы дать повод светскому злословию предполагать не совсем доброкачественные причины этого разъезда или, что еще хуже, заставить его догадаться о причине настоящей, истинной? Самолюбие княгини и ее «que dira le monde?» решительно не допускали ничего подобного. Она решилась оставить его под предлогом необходимости общества для дочери, княжны Анны. Но в последнем встретила упорное и настойчивое сопротивление со стороны мужа. Единственное существо, к которому он сохранил видимую привязанность, и привязанность неж-

ную, сильную, несокрушимую, это была его дочь. Ей одной только были доступны движения его сердца; с нею одною только по временам он был разговорчив и откровенен; она одна только имела на него некоторое влияние. Не однажды, например, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что он будет удерживаться от водки. Князь слова ей в этом никогда не давал, потому что свято чтил его, но от рюмки действительно воздерживался некоторое время — и это было для него мучительно: он проклинал себя и свою слабость и все-таки шел к дочери, умоляя ее на коленях и чуть не со слезами простить, не презирать его и позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него в непреодолимую, мучительную страсть — и одна только дочь его ведала, какое неотступное горе топил он в стакане водки... И как становился он ласковее с нею, чувствуя себя перед ней виноватым! Но ласковость свою не любил он показывать перед посторонними глазами — она выливалась у него наедине с дочерью, в кабинете или в поле. Здесь он рассказывал ей свое прошлое, передавал свои знания, свои столк-

новения с людьми, житейские опыты, раскрывал перед нею всю свою душу, со всеми ее заветными верованиями и мечтами, и дочка понимала его. Странное дело: еще с колыбели она была более привязана к отцу, нежели к матери, — и мать менее любила ее за это. Впоследствии, когда черты лица и характер девочки стали приобретать разительное сходство с чертами отца, эта обоюдная любовь росла все более, а вместе с тем росла и холодность матери, обратившаяся мало-помалу даже в затаенное нерасположение к дочке. В эпоху, когда в князе Якове проявилась его несчастная наклонность к пьянству, в этом семействе образовалось нечто вроде двух противоположных лагерей: один составляли отец и дочь, другой — мать с сыном, к которому страстная привязанность ее увеличивалась по мере ненависти к мужу.

Когда она объявила князю Якову, что жить с ним долее не имеет сил и уезжает под известным уже благовидным предлогом, князь только спросил ее:

— А Анна?

— Анну я беру с собою... Ей уже шестна-

дцать лет, ей необходимо быть в свете.

— Спроси ее — согласится ли она ехать с тобою?

— Полагаю, что должна согласиться.

— А я полагаю, что, напротив, никак не согласится... Да и я без нее не останусь... нам расстаться нельзя.

Объявили Анне о намерении ее матери. Анна ответила, что не чувствует особенного влечения к свету и предпочитает остаться с отцом, после чего этот последний решительно уже сказал княгине, что не позволит ей взять дочь с собою, не отдаст ее. Княгиня, впрочем, и не тужила об этом нисколько. Для светских расспросов на сей конец она сразу нашла благовидный ответ, что дочь, дескать, осталась с отцом, который ее так любит, — услаждать дни его заточения и т. п. Разъезд их случился в 1829 году после четырехлетней мученической жизни княгини в деревне; и когда дорожный дормез ее выехал из ворот усадьбы, князь Яков вместе с дочерью как-то легче, как-то свободнее вздохнули.

Князь сам воспитывал свою дочку. Он отчасти следовал системе жан-жаковского Эми-

ля и держал маленькую княжну как можно ближе к простой, здоровой природе, стараясь, чтоб она прежде всего забыла, что она барышня и княжна. И действительно, мир сказок и песен, мир сельского и полевого быта были знакомы ей в совершенстве. Отец ее был поклонник и чтитель тихой, мирной и чистой древности, и вместе с тем мистик как масон. То и другое невольным образом отразилось и на характере его дочери. Она мало могла назваться светской девушкой: близость к природе мешала ей сделаться ею и, напротив, помогла развиться впечатлительности, энергии и страстности ее характера. Жизнь ее с отцом была весьма однообразна, и надо было иметь сильную привязанность к нему, чтобы эта скучная жизнь не показалась невыносимой, особенно при непрерывном, мрачном запое отца, который с годами все усиливался, увеличивая и мрачную меланхолию. Таким образом княжна Анна прожила со времени отъезда матери целых восемь лет, почти никуда не выезжая и никого не видя. Ей наконец стукнуло двадцать четыре года.

В это время в соседнее свое имение прие-

хал по каким-то обстоятельствам князь Шадурский. Обстоятельства эти потребовали визита к князю Чечевинскому и неоднократных бесед и соглашений с ним, так как дело было отчасти общее и касалось обоюдных интересов. Княжна Анна, естественно, не могла не встретиться с Шадурским, и к тому же она была слишком хороша собою для того, чтобы тот не обратил на нее внимания. Они познакомились.

Княжна была слишком исключительно поставлена: ее обстановка, жизнь, красота и характер — все это своей оригинальностью бросалось в глаза Шадурскому, который среди светской жизни привык к совсем иным образцам женщин и девушек. Княжна Анна, почти не видавшая дотоле мужчин, осталась более чем приятно поражена умением говорить интересно и наружностью князя, который вполне являл собою тип великосветского comme il faut того времени. Пусть вспомнит читатель, что то было время байронизма, Чайльд-Гарольдов, Онегиных и прочих героев, которым старалось все подражать в Европе и которых пародировали, иногда очень

удачно, очень близко к оригиналу, некоторые из наших тогдашних бар. Шадурский принадлежал к их числу. Внутреннюю пустоту, полутатарские инстинкты и мелочное ничтожество свое он как-то удачно умел прикрывать байроническо-великосветскою внешностью.

Со всеми этими данными нетрудно было произвести сильное впечатление на душу девушки созрелой, полной силы, здоровья и страсти, но совсем неопытной и незнакомой с жизнью. Задавшись байронизмом, князь, естественно, должен был кое-что почитать, кое-чего понахвататься по верхушкам, так что мог «блистать» поверхностным разговором и, на неопытный глаз, казаться даже умным человеком. Это, конечно, еще усиливало впечатление, произведенное им на девушку.

Российского Чайльд-Гарольда в деревне одолевала скука смертная. Все дела да дела, а это вовсе не в привычках великосветского барина. Князю нужно было развлечение. А тут, кстати, и развлечение под рукою. Попечительная судьба и на сей раз позаботилась о прихотях князя. Большие черные глаза княжны Анны ему очень нравились; ее стройный

бюст, ее цветущие щеки и губы обещали ему много соблазнительно-приятных ощущений — князь любил-таки льстить своим ощущениям; наконец, вся ее исключительная обстановка как нельзя более заманивала его начать отчасти «байронический» и отчасти «сельский» роман. Отчего же князю и не развлечься на время? Отчего же князю и не пощекотать свое самолюбие сознанием в себе героя? Он и развлекся. С его бывалою ловкостью и ловеласовскою опытностью в делах этого рода ему нетрудно было окончательно увлечь княжну Анну. Князь не думал о последствиях, да и не боялся их. Княжна живет в глуши, в деревне, с пьяным и потому ничего не замечающим отцом; ей нечего бояться общественно-светского скандала: ее никто не знает; ей в этой глуши легче будет схоронить концы печальных последствий; отец ее так любит, что проклинать и затевать шуму, верно, не станет, а сам еще, может быть, поможет скрыть все от посторонних глаз. Сам же он, князь Шадурский, к тому времени уже уедет из деревни — следовательно, все это произойдет без него. Да, наконец, что же та-

кое значат для него и самые последствия-то? Ведь он человек женатый — следовательно, с него взятки гладки. А если и пойдет глухая молва, то для его же самолюбия не зазорная, а, напротив, очень лестная. Значит, о чем же тут и думать? А главное — новый, оригинальный роман, при поэтической обстановке, и он — герой этого романа... как тут не соблазниться?

Князь и соблазнился...

Чайльд-Гарольд необходимо должен быть разочарован — без того он и не Чайльд-Гарольд. Он дожил до тридцати шести лет и все время скучал своею жизнию. Таковым он прикидывался перед княжною. Он говорил ей о каких-то страданиях, о несчастии его в своей супружеской жизни, говорил, что рад «своей пустыне» (так именовал он родовое поместье), где наконец, разбитый и усталый, он нашел существо свежее, неиспорченное, чистое, которому и т. д. Одним словом, все те общеизвестные пошлости, которыми щеголяли во время оно наши российские Чайльд-Гарольды, но которые для княжны Анны были новы, казались искренними и заставляли ее

еще больше симпатизировать ему.

Княжна беззаветно, без оглядки назад и вперед отдалась ему всей целостью своей девственной любви, всей нетронутой страстью своей натуры — страстью, которая так долго, безвыходно зрела в ее сердце. И естественно, чем дольше зрела она в этой здоровой и сильной натуре, тем сильнее было ее пробуждение.

Князь научил ее скрыть от отца их отношения, да отец, впрочем, и не замечал ничего. Она вся подчинилась нравственному влиянию своего любовника, и Шадурский был счастлив и доволен собою ровно два месяца, а затем...

Затем — он уехал в Петербург.

Спустя полторы недели после отъезда князя в жизни княжны Анны произошла первая катастрофа; отец ее опился и умер от апоплексического удара. Эстафетой дано было знать в Петербург. Старая княгиня Чечевинская с сыном не поспели уже на похороны — они приехали поздно и, пробыв в деревне менее недели, увезли в Петербург княжну Анну.

Шадурский никак не ожидал подобной

развязки. Это его и озадачило, и огорчило. Княгиня Чечевинская была знакома с ним и его женою домами — следовательно, встреча с княжною становилась для него неизбежной. Он успел уже обдумать, как ему следует теперь держать себя с нею — и бедная девушка с первого раза не узнала своего горячего, нежного любовника в этой холодной, прилично-почтительной и сухой фигуре. О старом не было помина и намека, как будто его вовсе и не бывало. Однако она нашла случай объясниться с ним откровенно. Он объявил, что Петербург не деревня, что светские условия и страх за ее безукоризненную репутацию заставляют его держать себя с нею таким образом и что дольше продолжать им старые отношения, до более удобного времени, невозможно. Она сказала ему, что чувствует себя беременною. Князь очень испугался, старался ее, да и себя вместе с тем, разуверить в ее предположении, однако посоветовал на всякий случай, каким образом следует скрывать это от окружающих. Матери своей княжна, и без его совета, никогда не решилась бы открыться — настолько-то она уже знала свою

мать. Он обещал ей изредка, урывками видеться с нею, и когда настанет финал последствий их любви, то позаботиться об участи ребенка и придумать «что-нибудь такое, какой-нибудь исход», который бы не скомпрометировал ее репутацию. Во всем этом для бедной девушки было весьма мало утешительного. Она поняла, что от князя ждать больше нечего и что ей самой придется позаботиться о сокрытии страшных последствий этой связи. Но, разгадав его наполовину, она все еще так сильно любила, что ей и в голову не пришло обвинять его в чем-либо. Если кого и укоряла она во всем случившемся, то это только самое себя. Князь, однако, после этих объяснений тщательно старался не возобновлять их, даже избегать с нею дальнейших, хотя сколько-нибудь интимных, разговоров, и при встрече всегда держал себя самым официальным образом, вежливо и холодно. Княжна с горечью заметила это и уже не докучала ему более собою, стараясь уверить себя, что он делает все это для пользы ее же собственной репутации.

А ему давно уже все это надоело: и его

«байронически-сельская» любовь, и сама княжна с ее привязанностью. Он сильно-таки стал побаиваться скандала и потому решился держать себя совсем посторонним человеком, которого бы не коснулась светская молва. Он знал, что эта молва — страшное обоюдоострое оружие; она могла и польстить его ловеласовскому самолюбию, а могла тоже и представить его в весьма невыгодном свете как честного, порядочного человека. А кто ее знает, как она, эта страшная, прихотливая молва, отнесется к его милому поступку?

VI
ГОРНИЧНАЯ КНЯЖНЫ АННЫ

Часа два спустя после рождения девочки княжна позвала к себе Наташу.

— Ты поезжай теперь к нам домой, — тихо сказала она. — Я не хочу, чтоб они знали, что ты помогала мне... Тебе и без того много достанется... Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня... Впрочем, — прибавила она после раздумья, — делай как знаешь... Там уж сама увидишь по обстоятельствам, можно ли

сказать, где я... или ничего не говорить. Узнай, как и что делается... Завтра утром я жду тебя...

И Наташа простилась с княжною. Она вернулась домой в самый разгар истории, когда старая княгиня, допытывая, где ее дочь, получила с городской почты письмо. Ухаживая и суетясь вместе с прочею прислугою около бесчувственной старухи, Наташа случайно вошла в гостиную и увидела на ковре записку, брошенную одною из трех уехавших граций. Она поняла, что это было письмо княжны Анны, и поспешно припрятала его в свой карман.

* * *

Судьба этой девушки была не совсем-то обыкновенна.

В одной из поволжских губерний жил в деревне барин, и жил в свое удовольствие: ездил на тоню ловить рыбу, травил с компанией зайцев, угощал соседей обедами и ужинами и на выборах клал всем белые шары — потому, значит, был благодушный человек. Барин этот доводился княгине Чечевинской родным братцем, и, по родственным чув-

ствам, они искренне ненавидели друг друга еще от юности своея и никогда почти друг с другом не видались. У барина была экономка из его крепостных, которая, несмотря на приближенное свое звание, по беспечности барина так и оставалась крепостною. А у экономки была дочка, которую барин очень любил, очень деликатно воспитывал, баловал, рядил в шелк и бархат, выписывал для нее старушку гувернантку французского происхождения, учил танцевать и играть на фортепиано — словом, что называется, «давал образование». Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она с детства еще отличалась капризным, своенравным и настойчивым характером, вертела, как хотела, и барином, и дворней — и барин исполнял все ее прихоти, а дворня подобострастно целовала у нее ручки и звала «барышней».

Между тем в один прекрасный день барин накушался свиного сычуга и приказал долго жить, по беспечности своей не отпустив на волю экономку и не сделав никаких распоряжений насчет «молодой барышни». А барин был холост, и потому все имение его перешло

немедленно к прямой наследнице — сестрице, княгине Чечевинской, которая и приехала туда вводиться во владение.

Наушничества и сплетни дворни сделали то, что сестрица, ненавидевшая братца, возненавидела и экономку, которую сослала на скотный двор, а дочку ее, в виде особенной милости, оставила при своей особе в горничных и увезла в Петербург.

Когда Наташа пришла прощаться к матери в ее светелку на скотном дворе, та с истерическим воем грохнулась на пол и долго не могла очувствоваться.

— Вот они что, ироды, наколдовали! — всхлипывала она, обнимая дочку, которая с молчаливым, озлобленным чувством глядела на горе матери. — Чем мы были и что стали! Всякая посконница — судомойка последняя — и та над тобой нынче кочевряжится, как чумичкой какой помыкает!.. А тебя, краля ты моя распрекрасная, забымши то, как руки допрежь сего целовали, теперича за ровню свою почитают да наругаются!.. Ироды лютые!..

Наташа слушала и мрачно кусала ногти от

бессильной злобы.

— Хорошо! — нервически проговорила она. — Мое нигде не пропадет! Будет и на моей улице праздник, буду и я опять в бархате ходить! А уж только и ей, старой ведьме, не пройдет это даром, как она меня унизила! Умирать буду, а не прощу ей этого.

Мать пытливо посмотрела на нее при этой многозначительной угрозе.

— Что же это ты такое задумала, мое дитятко?

— А уж что задумала — это мое дело... Слушай, матушка! — раздраженно прибавила она с сверкающими глазами и необыкновенно одушевленным лицом. — Слушай, что я тебе стану теперь говорить: прокляни ты меня на месте, если я не отомщу старой ведьме и всему ее роду за оскорбление! Прокляни ты меня тогда! Вот тебе мое слово! Уж так их всех ненавидеть, как я, кажется, и нельзя уж больше! До тех пор не успокоюсь, пока не вымещу всего им!..

И прямо из светелки Наташа отправилась к старой княгине.

— Ваше сиятельство, — проговорила она

кротким голосом и скромно опустив глаза (она умела хорошо притворяться и владеть собою), — я счастлива и благодарна вам, что вы пожелали приблизить меня к себе... Я очень хорошо понимаю, что я такое... Я умею чувствовать ваше расположение и никогда не позволю себе забыться, зная свое место... Я вам буду верной и преданной слугою... Только позвольте попросить у вас за свою мать.

У Наташи во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню.

Но тронуть ее вообще было не так-то легко.

— Моя милая, — отвечала ей старая барыня, — на вас и то уж все очень жалуются, что вы при покойнике притесняли всю дворню... Я для матери твоей ничего больше не могу сделать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять...

После этого решения Наташа, проговорив, что она всеми силами будет стараться, поцеловала руку княгини и вступила в новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственных страданий и всяческих униже-

ний — ей, которая с детства привыкла повелевать и считать себя полной госпожой, «барышней», — ей, которая и образом жизни, и понятиями, и воспитанием — этим лоском, и бойкой французской болтовней была уже сама по себе истая барышня! Переход был слишком крут и потому ужасен. Но, как девушка положительно умная и с сильным характером, она, поняв всю безвыходность своего положения, сумела сразу переломить себя и только в душе затаила непримиримую ненависть к княгине, с убеждением рано или поздно отомстить ей.

Она была очень хороша собою. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали ей характер силы, коварства и решимости. На первый же взгляд казалось, что если эта женщина поставит себе какую-нибудь цель, то, какими бы то ни было путями, она достигнет ее непременно. Физиономист определил

бы ее так: королева либо преступница.

В описываемую эпоху ей было восемнадцать лет.

Когда после смерти князя Якова молодую княжну перевезли в Петербург, Наташе приказано отныне быть ее горничной, и в самое короткое время она своею вкрадчивостью успела приобрести ее полное доверие, сделаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно втайне от ее матери, а для этой последней — даже составляла предмет некоторой гордости. Известно, что большие барыни любят выписывать себе камеристок из-за границы, преимущественно француженок. Когда старую княгиню спрашивали при случае, откуда она добыла себе такую горничную, старая княгиня не без самодовольства отвечала:

— Своя собственная... из крепостных, из деревни привезена... Зачем отыскивать людей за границей, когда и своих, православных, можно хорошо приготовить?

И вслед за этим не без некоторой патриотической гордости прибавляла с улыбкой:

— О, из русского человека можно все сде-

лать! Русский человек на все способен и на все годится!

Таким образом, Наташа, никогда отнюдь не выходившая из строгой почтительности и покорства, сумела приобрести даже некоторое расположение самой княгини.

А злоба и ненависть между тем все глубже и крепче залегали в ее оскорбленном сердце.

VII
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ КНЯГИНИ

Обморок старухи Чечевинской был весьма продолжителен и угрожал немалой опасностью. Наконец с помощью доктора ее удалось привести в чувство, хотя она тотчас же впала в беспамятство. Нервы ее были страшно потрясены, и болезнь становилась весьма серьезна. При ней день и ночь неотлучно дежурили три женщины: старая нянька ее сына, ее горничная и Наташа, которые по часам чередовались между собою. Между прислугой ходили разные темные слухи и предположения, но никто, кроме Наташи, не знал настоящей причины этой внезапной болезни, а На-

таша молчала и тоже притворялась ничего не знающей. Беспамятство продолжалось двое суток. Наконец, на третьи сутки, в ночь, она очнулась и пришла в себя. У ее изголовья сидела дежурною Наташа.

— Ты знала? — строго и шепотом спросила ее княгиня. Девушка вздрогнула и, не сообразясь с мыслями, испуганно-недоумевающим взглядом глядела на нее. Матовый отсвет ночной лампочки неровно колебался на ее бледном, исхудалом облике и резко выделял углы носа и скул из затененных глазных впадин, в которых старческие, строгие глаза горели утомленно-лихорадочным блеском. Больная была страшна и казалась гробовым привидением.

— Ты знала про дочь, я тебя спрашиваю? — повторила старуха, вперяя в Наташу глаза еще пристальнее, с усилием стараясь приподняться локтями на батистовых, отороченных кружевами подушках.

— Знала... — еще тише прошептала девушка, в смущении опустя глаза и стараясь оправиться от первого страшливого впечатления.

— Отчего же ты раньше не сказала мне? —

продолжала еще строже старуха.

Наташа уже успела окончательно прийти в себя и потому подняла на нее невинный взор и с непритворным, искренним чистосердечием ответила:

— Княжна и от меня скрывала все до последнего дня... И разве смела я сказать вам?.. И разве вы мне поверили бы?.. Это не мое дело, ваше сиятельство.

Больная с саркастической улыбкой, медленно и недоверчиво покачала головой.

— Змея... — прошипела она, со злобой глядя на горничную, и потом быстро прибавила: — Люди знают?

— Никто, кроме меня, клянусь вам!

— А письмо? — продолжала старуха, припоминая все подробности случившегося с нею.

— Вот оно. Его никто не заметил; я подняла его на полу и спрятала, — сказала девушка, вынимая записку.

— И ты не лжешь, это точно оно?

— Уверяю вас.

— Я хочу удостовериться... Прочти.

Наташа подошла к лампочке и прочитала

записку.

— Да, это точно оно, — как бы про себя пробормотала старуха, тогда как нервная дрожь пробежала по всему ее телу во время этого чтения. — Сожги его... Или нет!.. ты, пожалуй, обманешь... Подай сюда лампу — я сама сожгу.

И она дрожащею, костлявою рукою стала держать скомканную бумажку над колпаком лампы и жадными взорами следила, как бумажка коробилась и тлела на медленном огне.

— К кому она ушла? Где она теперь? — снова начала допытывать старуха, когда письмо истлело уже совершенно, и допрашивала так строго и так настоятельно, глядя в упор таким страшным взглядом, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно.

— У акушерки, в Свечном переулке, — ответила она, находясь под неотразимым, магнетическим влиянием этого старческого, пронизывающего взгляда.

— Дай мне перо и бумагу, да придерживай пюпитр... я писать хочу.

И княгиня, едва удерживая в руках перо и

поминутно изнемогая от слабости, написала следующую записку:

«Можете не возвращаться в мой дом и не называться княжной Чечевинской. У вас нет более матери. Проклинаю!»

Далее она не имела уже сил продолжать, перо вывалилось из ее руки, и, совершенно изнеможенная, она опустилась на подушки, прошептав едва слышно:

— Напиши адрес и отправь... сама отправь... утром...

— Я лучше снесу, — возразила Наташа.

— Не сметь... Чтоб и видеть ее не смела ты больше, и не поминать мне об ней!..

И с этими словами старуха, изнеможенная волнением, впала в прежнее забытье.

Поручение ее в точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещение, все-таки забежала, пользуясь свободными часами, в серенький домик с вывеской «Hebamme».

К полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который, к счастью, на этот раз находился дома, и послала за управляющим своими делами.

Любящий сын тихо и почтительно вошел в комнату матери.

Княгиня выслала вон дежурную горничную и осталась с ним наедине.

— У тебя нет более сестры, — обратилась к нему мать с тою нервическою дрожью, которая возвращалась к ней каждый раз при воспоминании о дочери. — Она для нас умерла... она опозорила нас... я ее прокляла. Ты мой единственный наследник.

При этих последних словах молодой князек чутко навострил уши и еще почтительнее нагнулся к матери. Извещение об этом единонаследии столь приятно и неожиданно поразило его, что он даже и не поинтересовался узнать, чем и как опозорила их сестра, и только с сокрушенным вздохом заметил, подделываясь в лад матери:

— Она, maman, всегда была непочтительна к вам. Она никогда не любила вас.

— Я делаю завещание в твою пользу, — продолжала княгиня, сообщив ему, по возможности кратче, обстоятельства княжны. — Да, в твою пользу — только с одним условием... Это моя последняя воля.

— Ваша воля для меня священна, — заключил сынок, нежно целуя ее руки.

Управляющий в тот же день формальным порядком поторопился составить духовную, княгиня подписала ее, и, таким образом, последняя воля ее была исполнена, к вящему удовольствию князька, который в глубине своей нежной сыновней души сладко помышлял только о том, скоро ли матушка протянет ноги и тем даст ему возможность, что называется, «протереть глаза» ее банковым билетам и поставить, при случае, *на пе* родовые поместья?

VIII
ЛИТОГРАФСКИЙ УЧЕНИК

В тот же самый день в маленькой узенькой конурке одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте сидел рыжеватый молодой человек. Сидел он у стола, понадвинувшись всем корпусом к единственному тусклому окну, и с напряженным вниманием разглядывал «беленькую» — двадцатипятирублевую бумажку.

Комнатка эта, отдававшаяся от жильцов, кроме пыли и копоти, не отличалась никаким комфортом. Два убогих стула, провалившийся волосяной диван, с брошенной на него засаленной подушкой, да простой стол у окна составляли все ее убранство. Несколько разбросанных литографий, две-три гравюры, два литографских камня на столе и граверские принадлежности достаточно объясняли специальность хозяина этой конурки. А хозяином ее был рыжеватый молодой человек, по имени Казимир Бодлевский, по званию польский шляхтич. На стене, над диваном, между

висевшим халатом и сюртуком, выглядывал рисованный карандашом портрет молодой девушки, личность которой уже знакома читателю: это был портрет Наташи.

Молодой человек так долго и с таким сосредоточенным вниманием был углублен в рассматривание ассигнации, что, когда раздался легкий стук в его дверь, он испуганно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, даже побледнел немного и поспешно сунул в карман двадцатипятирублевую бумажку.

Стук повторился еще, и на этот раз лицо Бодлевского просияло. Очевидно, это был знакомый и обычно-условный удар в его дверь, потому что он с приветливой улыбкой отомкнул задвижку.

В комнату вошла Наташа.

— Что ты тут мешкал, не отпирал-то мне? — ласково спросила она, скинув шляпку, бурнус и садясь на провалившийся диван. — Занимался, что ли, чем?

— Известно чем!

И вместо дальнейших объяснений он вынул из кармана бумажку и показал Наташе.

— Нынче утром расчет от хозяина за рабо-

ту получил, да вот и держу при себе, — продолжал он тихим голосом и снова защелкивая задвижку. — Ни за квартиру, ни в лавочку не плачу, а все сижу да изучаю.

— Нечего сказать, стоит, — с презрительной гримаской улыбнулась Наташа.

— А то, по-твоему, не стоит? — возразил молодой человек. — Погоди, научусь — богаты будем.

— Будем, коли в Сибирь не уйдем! — шутливо подтвердила девушка. — Это что за богатство! — продолжала она. — Игра свеч не стоит. Я вот раньше тебя буду богата.

— Ну да, толкуй!

— Чего толкуй? Я к тебе не с пустяками, а с делом нынче пришла... Ты вот помоги-ка мне, так — честное слово — в барышах будем!..

Бодлевский с недоумением смотрел на свою подругу.

— Я ведь тебе говорила, что с моей княжной скандал случился... Мать уж и от наследства сегодня утром отрешила ее, — рассказала с злорадной улыбкой Наташа, — а я нынче у нее в комнате порылась в ящиках да кое-какие бумажонки с собою захватила.

— Какие бумажонки?

— А так — письма да записки разные... Все до одной рукою княжны писаны. Хочешь, я тебе их подарю? — шутила Наташа. — А ты поразгляди-ка их хорошенько, попристальней: изучи ее почерк, да так, чтобы каждая буковка была похожа. Тебе это дело знакомое: копировщик ты отличный — значит, и задача как раз по мастеру.

Гравер слушал и только пожимал плечами.

— Нет, шутки в сторону! — серьезно продолжала она, усевшись поближе к Бодлевскому. — Я задумала не простую вещь: будешь благодарен! Объяснять все теперь некогда — узнаешь после... Главное — ты получше изучи почерк.

— Да зачем же все это? — недоумевал Бодлевский.

— Затем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку княжны так, чтоб почерк похож был... А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую.

— Ну а потом?

— Потом поторопись достать мне ка-

кой-нибудь вид или паспорт, под чужим именем, и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее. От этого все зависит!

— Трудно. Едва ли сумею... — процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом.

Наташа вспыхнула.

— А любить меня умеешь? — энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. — Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь! Бумажки же учишься делать?

Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре.

— А как скоро надо? — спросил он после минутного размышления. — Дня этак через два, что ли?

— Да не позже как через два дня, или все дело пропало! — решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. — Через два дня я приду за запиской, и паспорт чтоб был уже готов мне.

— Хорошо, будет сделано, — согласился Бодлевский.

И Наташа стала диктовать ему содержание

записки.

Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу.

Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом, и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по сту раз, пока наконец достигал желаемой чистоты; он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк; оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые мушки, а он все еще, не разгибая спины, продолжал работать.

Наконец, уже утром, записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки бы-

ли изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился — до какой степени поразительно было сходство.

И долго после этого любовался он на свое произведение, с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.

IX
«ЕРШИ»

— Половина дела сделана! — решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна.

— Ну а паспорт? Вот тебе и осечка! — озадачился гравер, вспомнив вторую часть непременного поручения Наташи. — Паспорт... Да... осечка... — долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невоз-

можное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию в хмельную минуту, «более чувствует охоты к швецам-рукодельникам и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу»[6].

Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от «честного сапожного немца, Окерблюма», за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто «приходиться по нраву» окерблюмовские голенища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а лучше-де призаняться искусством свободным — хотя бы на первый случай *карманным,* а там *швецовым* или *скорняжным,* а затем, при дальнейшем развитии, можно и в ювелиры начистоту записаться[7]. И стал он, раб божий, вольною пти-

цею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в «заведение», и все больше *задними невоскресными ходами*[8] норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается *секрет*, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут и пожинаемое целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, в просторечии неофициально «Ершами» называемый; там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к *ершовскому хороводнику*[9]. Любили ершовцы посещать Александринский театр — благо, не очень далеко от «Ершей» находится, — и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали — «удили *камбалы* и *двуглазым* спуску не давали»[10].

Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил,

что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир и там, за бутылкою пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельств в особенности. Совета Юзича насчет *хороводника* Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы — превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощание, сказал своему товарищу:

— А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадоблюсь или просто повидаться захочешь, так приходи на Разъезжую улицу, спроси там заведение «Ерши», а в «Ершах» Юзича — там тебе и покажут. Я, брат, там *завсегдатаем*[11]. А ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени, — наставительно прибавил Юзич, — так ты только шепни ему, что «секрет», мол, прислал, тотчас тебя и допустят.

Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную

для него минуту, припомнил и воспрянул просветленным духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать пред ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться; улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертом пошел по улице, по направлению к Загородному проспекту, в который у Пяти Углов впадает Разъезжая улица.

Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та, и другой — не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой — Глазов кабак, находящийся на Лиговке, на Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.

Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремеслен-

ный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве и в Подьяческих, лепится население еврейское — тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров — это своего рода status in statu[12] — отличается совсем особенной, пустынно-чистоплотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент quasi[13] аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским

оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, — все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.

Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.

Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта — «чистой» публики вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске на-

сущного хлеба.

На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим взглядом, называются маклаками или барышниками-перекупщиками. Место действия их не один Чернышев и Разъезжая — Щербаков переулок, двор мещанской гильдии. Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а внакладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно на-

ходятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.

Если вы — прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом — нет ли чего «подходящего», и тихо, но внятно спросит: «Продаете, что ль?»

Если идет приезжий мужичонко, купивший для себя на Толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонко часто не прочь от такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и щупает между пальцами. Это называется «крепость ошмалашить». А мужичонко все время

с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак, в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измеривая вес их, с страдательной рожею цмокает языком и цедит сквозь зубы:

— Эх!.. жаль, паря!

— Чего жаль? — тупо вопрошает, с испуганным лицом, ничего не понимающий мужичонко.

— Чего!.. Известно, чего — тебя жаль! Что дал за порты?

— Сорок копеек на серебро выходит...

— Сорок на серебро?.. Ну, брат, дрянь твое дело! Надули, совсем надули! Экий народ шельмовский в Питере живет!.. Вот, гляди сам — пестрядь-то как есть гнилье выходит.

— Да где ж гнилье?

— Где!.. все-то тебе где!.. Значит, я чувствую, — под пальцами некрепко шуршит — вот те гнилье-то где!

— Эко горе какое! — грустно-досадливо произносит мужичонко, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив ру-

ками об полы зипунишка.

— Что за горе! Горю, милый человек, помочь можно, — утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огорошить простоватого мужичонку. — Давай, что ли, меняться! Вот тебе порты так уж порты! как есть в самом разе настоящее дело! Одно слово — красота!.. Пощупай-ко?

— Да что... я ведь не тово... — возражает мужичонко.

— Нет, ты, брат, пощупай! ты разницу, значит, почувствуй — потому я начистоту, из одной только жалости, выходит.

Мужичонко щупает, ровно ничего не понимая.

— Ну, видишь сам теперь! Мозги, чай, есть в голове! — спешит убедить его перекупщик. — Давай, что ли, порты да в придачу двугривенник менового — и дело с концом! По рукам, что ли! — заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.

— Да где же это?.. еще двугривенник?

— Вот-те Христос — свою цену беру! с места не сойти! лопни глаза мои!.. Я ведь с тобой

по-божескому — поди, чай, ведь тоже хрещеные, и хрест, значит, носим — занапрасну божиться не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому шельмы — хорошего человека надули! Да и порты же, прах их дери! лихие порты ведь — износу не будет!

Мужичонко раскошеливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и чуть заметит там относительное обилие *бабок*[14] — как оно там, значит, *финалы*[15] шуршат либо *цари-колесики*[16] мало-мальски вертятся, позвякивают, — тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно:

— Милый человек! Что мне от тебя деньги брать!.. Я, значит, по душе... Лучше пойдем-ка, вот, раздавим косушечку по малости али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше, наместо того, магарыч разопьем. Идет, что ли?

— Ладно, — соглашается мужичонко, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хоро-

шего Господь-то послал мне — совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил».

И ведет маклак мужичонку так-таки прямо в «Ерши». С буфетчиком у них давно уже *печки-лавочки — дело заручено*е, свои люди — только глазом мигнет, так у того уж и *смекалка соответствует:* несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним «*на вы*, по чистоте столичной, по политике держит». Мужичонко с нескольких стаканчиков, гляди, раскочевряжится, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его маклак до забвения, заведет его с половым в *квартиру*[17] и облупит там дочиста, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохлаждаться; а сами примутся меж тем «слам растырбанивать», то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу.

К такому-то милому месту направлялся Казимир Бодлевский.

Дойдя до Пяти Углов, он остановился в раздумье, окинув глазами окрестную местность,

и, к счастью, увидел будочника, который, опершись на алебарду, сонливо позевывал, прислонясь к стене спиною, поодаль от размалеванной черными и белыми полосами будки. Сей градской страж представился теперь Бодлевскому чем-то вроде путеводного столпа в пустыне, и потому он прямо направился к нему с вопросом:

— А где тут заведение «Ерши»?

Будочник недоверчиво и с проницательной подозрительностью посмотрел на Бодлевского.

— Какое заведение? — неторопливо переспросил он.

— «Ерши».

— «Ерши»? Нет такого! — недоверчиво ответил он Бодлевскому, продолжая вглядываться в него своими сонными глазами и как бы соображая: «Какого, мол, полета может быть эта птица?»

— Да как же это нет? — с беспокойством заговорил Бодлевский, которого стал покидать светлый луч надежды. — Как же, братец мой, нет, когда мне за верное сказали, что есть?

— А кто сказал-то? — отнесся к нему недоверчивый страж.

— Приятель один сказал...

Будочник ухмыльнулся и хотя все еще не совсем-то доверчиво, но переменил свой официальный тон на более фамильярный и бесцеремонный.

— А зачем те «Ерши»-то? — спросил он.

— Надо... по своему делу... Приятеля там сыскать надо...

— Ишь ты!.. приятеля... — продолжал страж все с тою же ухмыляющейся харей, но уже без оттенка сомнения и недоверчивости.

— Ну так что же, служивый? Скажи, брат, пожалуйста! Мне некогда...

— Ишь ты какой скороспелый... А ты дай на уху, так скажу, где ерши водятся.

Бодлевский полез к себе в карман отыскивать какую-нибудь мелочь.

— Что? аль свищет? — с издевкой поддразнил его будочник; но тот, к счастию своему, отыскал в жилете гривну меди и сунул в секретно протянутую руку градского стража, который тотчас же поспешно опустил ее по шву, как будто ни в чем не бывало, и друже-

любно указал ему дорогу.

— Ступай вон наперекоски... Второй дом от угла... Вишь, деревянный-то домишко — вот те и будут «Ерши».

Бодлевский перешел улицу в указанном ему направлении и очутился перед входною дверью деревянного домишки. Над этой дверью коротала свой старческий век полинялая от времени вывеска, где был изображен чайник, бильярд и рыба какая-то, а надписано просто: «Растерация». Надписи же «Ерши», которую Бодлевский ожидал встретить на вывеске, он, к удивлению своему, не нашел. В то время граверский ученик еще не знал, что название это усвоено «растерациею» не официально, а придано ей гласом народа. Генеалогию свою неофициальное название это ведет, по сказанию одних, от той причины, что «растерация» некоторое время славилась своею дешевою и отменною ухою из ершей, которых она будто бы даже поджаривала каким-то особенным образом; по сказанию других — название «Ерши» имеет смысл метафорический, происходящий оттого, что ершовские habitues, или *завсегдатаи,* больно уж бы-

ли щетинисты и на язык, и на кулаки с теми, кого они в особой потаенной комнате, известной у них под именем «квартиры», лущили в карты и кто вздумывал протестовать против этого очевидного лущенья. Во время оно секретная картежная игра весьма сильно процветала в сем достолюбезном заведении.

Домишко этот существует еще до сих пор. В нем все так же помещается заведение, переменившее кличку «растерация» на новую кличку — «трактирное заведение». Это уже, значит, степенью выше, и значит, что прогресс и для него существует, но консервативный глас народа по-старому продолжает именовать его «Ершами».

Прогресс «Ершей» выказался, впрочем, не в одной только подновленной вывеске да в перемене клички. Теперь и сами «Ерши» во всем своем составе подновились, несмотря на то что более чем двадцатилетний срок времени должен был бы привести ветхий домишко в еще большую ветхость. Теперь они напоминают собою старуху подбеленную и подрумяненную, а в то время находились еще в состоянии старухи неподрумяненной.

«Ерши» — это длинное деревянное одноэтажное здание со стенами, которые от времени осели в землю, так что окна высятся над тротуаром немного более, чем на пол-аршина. По вечерам эти окна всегда завешивались красными кумачовыми занавесочками, каковыми и до сих пор продолжают завешиваться. Крыша, приведенная теперь в более благоустроенное состояние, в то время беспрепятственно позволяла бурьяну и различным сорным травам расти в расщелинах своего ветхого и прогнившего до черноты теса. Входная «парадная» дверь, вделанная посреди главного фасада, теперь приходится в уровень с тротуаром, а тогда неопытный посетитель, прежде чем войти, непременно должен был клюнуться в нее носом, особенно по вечерам, если предварительно он не замечал довольно глубокой ступеньки, спускавшейся гораздо ниже уровня тротуара. Теперь и самые полы, и самые обои в «Ершах» давно переделаны и возобновлены в более современном вкусе, а тогда стены сохраняли патриархальную живопись — вроде каких-то фантастических деревьев и райских птиц. В настоящее время

только одна небольшая комната, выходящая единственным окном своим в маленький садик и смежная с «квартирой», сохраняет пока еще свой тогдашний первобытный вид; серые стены ее разрисованы серою же меловою краскою и являют собою различные картины мифологических сюжетов. В этой комнате искони помещается бикс. Вообще надо заметить, что время, прогрессируя «Ерши» во внешности, во многом способствовало безвозвратной утрате их первобытной оригинальности.

Бодлевский, клюнувшись предварительно носом в дверь, очутился в комнате, носящей наименование буфета. За стойкой стоял высокий, видный и весьма красивый мужчина, лет сорока, степенно-благообразного и необыкновенно честного выражения в открытом лице. Высокая лысина его обрамлялась мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно подстриженная черная борода начинала уже заметно серебриться. Умные, слегка улыбающиеся глаза глядели спокойно, добродушно и в то же время весьма проницательно. Ярославский тип с первого взгляда да-

вал себя знать в этом субъекте. Белая миткалевая рубаха, белый как снег передник и башмаки на босу ногу — эта трактирная чистота и харчевенное изящество среди обычной грязи посетителей и неопрятной обстановки, совокуплявшиеся с внушительной важностью физиономии ярославца, ясно говорили всем и каждому, что он особа не простая, что он «буфетчик», «старшой», которому подчинены половые и который в своей особе соединяет всю администрацию заведения. Власть его простирается даже некоторым образом и на посетителей, или «гостей», если б они вздумали учинить что-нибудь неподобное вроде буйства и дебоша.

Встретя Бодлевского солидным поклоном — более глазами, чем головой, — он указал ему рукою направо, промолвя:

— Пожалуйте на чистую половину.

Но Бодлевский вместо чистой половины предпочел подойти к его стойке и осведомиться о Юзиче.

В ответ на это осведомление последовал недоумевающий, но втайне весьма осторожный и проницательный взгляд.

— Как вы изволите спрашивать? Юзича-с? — очень вежливо переспросил он, опершись пальцами на стойку и принимая корпусом наклонное положение вперед, что составляет известного рода ярославско-трактирную галантность и буфетческий бонтон. — Юзича?.. Нет-с, такого не знавали...

— Да ведь он у вас тут постоянно бывает! — возражал ему удивленный, по неопытности своей, Бодлевский, для которого каждое новое затруднение в его поисках было — острый нож, подрезавший радужную нить его надежды.

— Не знаем-с... Может, оно и точно, что бывает — мало ли тут гостей-то перебывает за день! где же нам всех их узнать-то, посудите сами-с! — отбояривался между тем буфетчик.

— Да меня «секрет» прислал! — ляпнул вдруг без всякой осторожности и нескромным голосом Бодлевский.

Ответом на это опять-таки был взгляд весьма удивленного и подозрительного качества — взгляд, который предварительно вмиг, подобно молнии, обежал все углы комнаты — нет ли, мол, кого лишнего? — и тотчас же

уклончиво и неопределенно установился между бровями Бодлевского.

— Как вы изволили сказать-с? — с улыбочкой спросил буфетчик.

— «Секрет» прислал, — повторил Бодлевский.

— Это что же-с такое значит?

Гравер, не ожидавший такого переспроса, смешался и отчасти даже струхнул немного.

— Уж будто вы не знаете? — возразил он несмелым тоном.

— Почем же нам знать-с... Помилуйте-с!.. Мы об эфтим никакого понимания не имеем... Где же нам загадки отгадывать?.. Мы, значит, при своем деле, у стойки стоим, а что касаемо до чего другого, так эфто не по нашей части.

Бодлевский, видя, что тут ничего не поделаешь, прикусил с досады губу и нервно заходил по комнате.

Буфетчик незаметно, но зорко следил за ним глазами.

— Вам, может статься, знакомый ваш этот в нашем заведении свидание назначил? — спросил он после минуты молчаливого на-

блюдения.

— Да, свидание, — машинально подтвердил гравер, которого уже начинала шибко пронимать сосущая тоска от видимой неудачи задуманного дела.

— Так вы пожалуйте-с на чистую половину-с, — предложил ему обязательный ярославец, указывая на правую дверь из темных разноцветных стекол, — пообождите там маленько-с; может, они тем часом подойдут, а может, уж там и дожидаются.

Бодлевский последовал совету буфетчика и прошел на «чистую половину», а этот последний тотчас же, вслед за ним, поспешно юркнул в низенькую дверцу, которая незаметно пряталась в стене, за стойкой, обок с полками буфета, заставленного неизмеримым количеством стаканов и расписных чайников.

Комната, в которую вступил Бодлевский, хотя и представляла собою «чистую половину» заведения, но отличалась весьма грязноватою внешностью. Это была довольно большая зала в пять окон с неизменными красными занавесочками. Доски закоптелых стен по-

коробились от времени и петербургской сырости. Когда-то они были выкрашены белой меловой краской, и по этому фону смелая фантазия маляра-художника пустила зелено-черные пальмы и папирусы, стоявшие, якобы аллеей, в ряд, как солдаты во фронте; на пальмах и между ними помещались розовые райские птицы, в которых палили из ружей и пускали стрелы из луков какие-то лиловые охотники. Но время набросило на все это свой серовато-бурый колорит. Покоробившийся дощатый потолок по самой середине комнаты представлял широкое, расползающееся, черное, как сажа, пятно, которое образовалось от копоти из висящей на крючке лампы. Вдоль стен и у окон лепились маленькие четырехугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками не весьма-то опрятного качества от каких-то пятен, и на каждой такой салфетке была опрокинута вверх дном полоскательная чашка с синеньким ободочком. Расщелистый пол, носивший еще кое-где скудные следы желтой краски, весь уснащался мокрыми, натоптанными следами посетителей, махорочной золой и плесками чаю, ко-

торые делали все те же бесцеремонные посетители, предпочитая для этого трактирный пол вместо полоскательных чашек. Атмосфера этого милого приюта, несмотря на вентиляторы в окнах, неисходно была пропитана крепким, першащим в горле запахом махорки, «Жукова» и «цигарок». В довершение всей обстановки, как необходимое украшение к ней, по стенам помещалось несколько старых портретов и картин в когда-то позолоченных рамах. Портреты являли собою каких-то генералов в пудре и архиереев в мантиях, а картины изображали нечто из буколико-мифологических и священных сюжетов. И те и другие лоснились местами зеленым лаком, а местами совсем исчезали в густо насевшей на них пыли, грязи и копоти. Бог знает где, как и когда и кем писаны такие картины и портреты, но известно только то, что найти их можно единственно в «ресторациях», и кажется, будто они уж так самою судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптелые стены низшей руки трактиров и харчевен.

Бодлевский хотя и не был избалован жизненным комфортом, но ему еще ни разу не

случалось присутствовать в столь милых местах, и потому его немного покоробило, особенно когда он, усевшись у крайнего грязного столика, оглядел присутствующих посетителей.

В одном углу, за двумя составленными вместе столами, помещалась компания мастеровых в пестрядинных халатах, с испитыми лицами, на которых установился определенный серо-бледный колорит — верный признак спертого воздуха душной мастерской, тесного спанья артелью, непосильного труда и невоздержной жизни. Эту коллекцию небритых и длинноволосых, по большей части украшенных усами физиономий с наглыми взглядами, как бы говорившими: «мы — не мы, и хозяин — не хозяин!» — угощал пивом такой же пестрядинный халат, вмещавший в себе какого-то спицеобразного мальчонку лет шестнадцати. Мальчонка этот видимо желал показать, что взрослый и чувствует свое достоинство — потому капитал имеет и угощать может. Он то и дело старался представиться пьяным и потому громче всех кричал, поминутно и без всякой нужды ру-

гался, как бы самоуслаждаясь гармоническими звуками этой брани, поминутно размахивал своими истощенными, худыми, как щепки, руками, вообще ломался, «задавая форсу». Компания мастеровых поощряла его то обниманиями, то словами, то, наконец, приятельской руготней и во всю глотку нестройно горланила солдатскую песню:

...и граф Башкевич Ириванский
Под Аршавой состоял, —

песню, бывшую в то время, ради близкой своей современности, в особенной моде между солдатами и фабричным народом.

Другой угол, на нескольких отдельных столах, занимали извозчики, которые днем очень любят посещать «Ерши» и там чаепийствовать. Двор ершовский, где помещается несколько пойловых колод, в течение дня, то есть пока не начнет смеркаться, постоянно занят извозчичьими клячами и загромождён то дрожками, то санями — смотря по времени года. Клячам этим извозчики задают корму и пойла, а себя — «по-малости чайком побалывают». В этом втором углу господствовали

трезвость, «кипяточек» и до багровости распарившиеся чайком физиономии.

Тут уже был слышен свой особый говор.

За одним столом сообщали, что Игнатку в часть взяли, а Парфену-дяде офицер, в кипажу ехамши, колесо отшиб, а намеднись у одного извозчика лошадь с дрожками мазурики угнали — только что отвернулся, а они и угнали, проклятые; хозяин теперь вычитать, поди-ка, станет, а дома-то, в деревне, может, и голодно, и холодно. И начинается по этому поводу разговор про распроклятую жизть извозчичью, питерскую. За другим же столом идет беседа такого рода:

— Ты хозяину как отдаешь? поди-кося, всю выручку? — спрашивает плутоватая харя извозчика из тертых калачей у извозчика еще не тертого, двенадцатилетнего мальчишки.

— Известно, всю! а то как же? — отзывается детским голосенком этот последний, с тяжелым переводом духа, неистово втягивая в себя с блюдца струю горячего чая.

— Эх ты, михря!.. всю! — презрительно подхватывает первый. — Пошто же всю отдавать? Ты бы себе каку часть оставлял!

— Ишь ты — себе!.. а грех? — возражает мальчишка.

— Ну так что ж, что грех? Не беда!

— Эвося — не беда!.. как же!

— А то беда? эка ты репа какая, паря, как я погляжу! В грехе на духу покаешься — и баста! На то и батька, значит, приставлен; а ты бы, по крайности, себе каку деньгу оставил...

— А хозяин ругаться станет?

— Так пошто ж тебе говорить ему, сколько выручки привез? Если ты, значит, целковый-рубь выездил, так отдавай семь гривен, а либо восемь гривен, коли уж почестнее захочешь. Вот так и вертись на этом.

— Да я не умею...

— Не умеешь? а наука на что? Ставь пару чаю — так разом научу!

И мальчишка точно ставит пару чаю и начинает первые шаги своего развития на поприще столь занимательной науки.

Остальную публику составляли два-три дворника, несколько солдат, которые проникали сюда задними ходами, так как с наружных пускать их было строго запрещено, да две-три темные личности, из коих одна, в по-

рванном, истертом вицмундире, углублялась в чтение полицейской газеты.

Нравственное чувство Бодлевского, не искусившегося еще в сладости познания различных трущоб житейских, начинало уже давить и сосать что-то боязливо-неприятное. Ему все казалось, будто кругом его сидят воры и мошенники, может, и убийцы даже; а воображение помогало разрисовывать все это более мрачными красками, хотя обстановка этой комнаты была не более как обстановка каждой харчевни. Сознание, что и сам он идет на рискованное дело, и эта неизвестность, где и с кем он, и как все это кончится; потом неотступное, томительное чувство одиночества, чувство разобщенности с окружающим миром — все это производило на него особого рода нервное впечатление, так что ему казалось — вот-вот войдет полиция и заберет их всех тотчас или что все эти господа разом накинутся на него, ограбят и убьют, пожалуй... Подобное чувство при первом посещении незнакомого еще вертепа необходимо испытывает каждый неофит, каждый будущий кандидат на Владимирку, только что за-

думавший свой первый шаг к преступлению.

А из низенькой дверцы в буфете выходил между тем застоечный ярославец в сопровождении темной личности с физиономией, отчасти перетревожившейся.

— Ну, полно спать! аль не прочухался еще? ползи, что ль, черт! — говорил он, оборачиваясь в полспины к этому темному субъекту, который подвигался вперед весьма неохотно.

— Да кто спрашивал-то? — послышался его хриплый, заспанный голос.

— А мне почем знать — тебя спрашивал!.. *Возьми зеньки в граблюхи да и зеть вон сквозь звенья!* Может, и *фигарис* какой![18] — отвечал ярославец, становясь за стойку и принимая такой вид, как будто ничто до его милости не касается.

Темная личность подошла к правой двери, плотно приблизила лицо свое к темным цветным стеклам и осторожно стала смотреть сквозь них в «чистую половину».

— Который это? что в *шельме*[19] камлотной сидит, что ли? — спросил он, разглядывая посетителей.

— Тот самый... Гляди, не фигарис ли *кап-*

люжный[20], — предостерег его буфетчик.

— Нет, своя *гамля*[21], — успокоил смотревший субъект и смело направился в «чистую половину».

Свидание друзей, как и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бодлевского. За порцией селянки, сопровождавшейся целым графином померанцевой, он объяснил Юзичу свою настоятельную нужду.

И ни тот ни другой не заметили, как сидевший поодаль неизвестного звания человек все время незаметно наблюдал за ними, стараясь вслушаться в каждое их слово.

Юзич, по выслушании дела, сейчас же скорчил из себя солидно-важного человека, в котором нуждаются и от воли которого зависит надлежащее решение, и стал озабоченно потирать свой лоб, как бы обдумывая затруднительное дело. Мазурики вообще любят в этаких случаях напускать на себя важность и детски рисоваться (хотя бы перед самим собою) своим выдуманным значением. Люди всегда склонны обманывать и себя и других тем, чего у них не хватает.

— Это я могу, — наконец заговорил он с расстановкой, стараясь придать своему слову и вес, и значение. — Нда-с... это в нашей власти... Только с одним человечком повидаться надобно... Трудно, но смогу — зато уж магарыч с тебя, да и другим заплатить придется.

Бодлевский беспрекословно согласился на все условия, и тогда Юзич встал и подошел пошептаться к той темной личности в вицмундире, которая водила красным носом своим по строкам полицейской газеты.

— Другу Борисычу! — проговорил Юзич, подавая ему свою руку. — *Клей*[22] есть!

— Ой ли, *клёвый* аль *яманный?*[23] — отозвался друг Борисыч, изобразив на широких губах своих улыбку алчной акулы.

— Не бойсь, чертова перечница! Коли я говорю, так значит клевый!

— А как пойдет: в *слам* аль *в розницу?*[24]

— Известно, в слам! Тебе, коли сам работать станешь, двойную растырбаним. Вот видишь *мухорта*[25], что со мной сидел? — пояснил ему Юзич. — Так вот ему *темный глаз* [26] нужен.

— На кого? на себя? — спросил Борисыч.

— Нет, *маруший*[27] нужно...

И они ушли в другую комнату — продолжать свое секретное совещание. Через несколько минут Юзич возвратился к Бодлевскому и объявил, что вечером будет все готово, чтобы он к девяти часам являлся в «Ерши», а пока вручил бы ему задаток — «на извозчика, мол, надо съездить в Полторацкий переулок, в Сухаревский дом, к виленцам из тридцать первого нумера[28], потому тот, кто станет подделывать паспорт, весь свой струмент и материал проиграл в трынку одному человеку из виленцев — ну, так и того, значит, надо будет выписать, чтобы с материалом явился».

Замечательно, что мазурики не только с посторонними, но даже и между собою в разговоре о каком-либо отсутствующем товарище постоянно избегают назвать его по имени, а всегда говорят несколько неопределенно, стараясь выражаться более местоимениями *тот, этот, наш* или существительными, вроде: *знакомый человек, нужный человек* и т. п.

Бодлевский щедро дал задаток и, выйдя за дверь, напутствуемый приветливым (уже без

недоверчивости) поклоном буфетчика, опрометью бросился домой, не будучи в силах сдержать свою радостную улыбку, так что узнавший его сонливый будочник только крякнул да ухмыльнулся и послал ему в спину такой смешливо-лукавый взгляд, который как бы говорил: «Погоди-ка, друг любезный, сорвал я с тебя нынче уху с ершами, а попадешься ко мне на лапу, так стяну и леща со щукой».

X
КВАРТИРА ДЛЯ ТРЫНКИ И ТЕМНЫХ ГЛАЗ

Вечером «Ерши» изменяются, принимая совсем новый характер. Это уже не то, что «Ерши» днем. Как только зажгутся в них коптильные лампы и бросят свои мутные лучи на всю ершовскую обстановку, так тотчас ловкая рука побегушника-полового быстро позадергивает красные занавесочки на окнах — и это задергивание служит уже верным признаком того, что «Ерши» открыли свою вечернюю деятельность. Главным и, так

сказать, всепритягивающим центром этой деятельности становится степенный, благообразный буфетчик Пров Викулыч, и тут-то разностороннее и разнохарактерное умение его поистине становится замечательным.

Как только начнет смеркаться — Толкучка прекращает свою деятельность. По Чернышеву переулку, как стаи черных мух, торопятся и перегоняют друг друга, в направлении к Пяти Углам, толкучники-сидельцы. Между ними шныряют взад и вперед темные людишки, покончившие свой дневной промысел на Толкучке и не начавшие еще промысла ночного. Кто из них засветло не успел сбыть с рук благоприобретенного товара ни маклакам, ни купцам-поощрителям, тот поблизости несет его в «Ерши», через задний ход, где всегда уже для такого желанного гостя находится настороже Пров Викулыч.

Пров Викулыч — человек добрый, рассудительный и не привередник: он ничем не побрезгует и за все даст положенную цену. Неси к нему *мягкий товар,* то есть меха, — он возьмет с благодарностью, неси *красный товар,* то есть золотые или иные драгоценные вещи, —

тоже возьмет с благодарностью же; табакерку добудешь — и ее туда же; платок карманный добудешь — и на платок отказу нет; словом сказать, Пров Викулыч — человек вполне покладистый и сговорчивый, милый человек, с которым приятно и полезно вести всякое дело. Его и маклаки, известные у мазуриков под именем *мешков*, весьма уважают, а это очень замечательный факт, ибо маклаки вообще никого не уважают. Пров же Викулыч заслужил себе от них такую глубокую дань уважения не чем иным, как допущением свободного сбыта. Иные буфетчики и половые, занимающиеся маклачеством, ни за что не пустят мешка за порог своего заведения, а Пров Викулыч впускает беспрепятственно. Как же после этого и не уважать Прова Викулыча?

Впрочем, ему самому от этого допущения мешков было мало убытку: мазурики все-таки предпочитали к нему нести свой товар для сбыта.

Итак, только что смеркнется и «Ерши» осветятся своими коптилками — к ним начинают стекаться мешки и мазурики. Входная дверь на блоке ни на минуту не перестает

визжать, хлопать и напускать в комнату свежего воздуха, который там вообще никогда не бывает лишним. Вместе с мазуриками набивается сюда изрядное количество мастеровых и фабричных, также покончивших свои дневные занятия; увеличивается и элемент военный, которому в вечернем мраке менее представляется опаски от начальства; немного попозже начинают мелькать и женские физиономии; зато замечается полнейшее отсутствие извозчиков.

В эту деятельную минуту Пров Викулыч становится вездесущ. Он и за стойкой вежливо кланяется глазами разным посетителям; он и на кухне отдает приказания насчет провизии повару; он и в погреб спустится за новою, непочатою корзиной холодного пива; он и на чистую половину заглянет: все ли де там в порядке; и на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным словцом перекинется; он, наконец, уличит минуту и, юркнув в свою дверцу, очутится на «квартире».

Но пора наконец читателю узнать, что это за *квартира*.

Низенькая, маленькая дверца, в которую так часто юркает Пров Викулыч, ведет из буфета в кухню, где прежде всего бросается в нос чад от масла и пар столбом; а потом уже сквозь эту атмосферу выступают силуэты огромных медных котлов с кипятком и огромной же, словно бы Навуходоносоровой печи, которая, пожалуй, и побольше, чем трех отроков, поглотит. Из кухни налево взору посетителя представляется дверь в однооконную комнату, куда имеют право входа только одни завсегдатаи да особы прекрасного пола, дарящие ее почему-то особенною своею симпатией, преимущественно перед прочими чертогами заведения. Поэтому ершовские habitues эту комнату так уж и прозвали «марушьим углом». Здесь, в этом «марушьем углу», можно постоянно найти женщин в количестве нескольких персон, занимающихся мирным чаепитием или не менее мирною руганью и тараторливым перезвоном. Из этой комнатки маленькая низенькая дверца ведет в другую, которая-то, собственно, и носит наименование «квартиры».

Это даже не комната, а скорее какой-то

темный чулан, без окон, но с парою дверок, содержащихся постоянно на запоре. Вторая дверь выходит в узенький сквозной коридор, из которого вы, по желанию своему, можете спуститься либо во двор, либо в крохотный садик. С внутренней стороны дверь эта представляется как бы заколоченной, но это нисколько не мешает ей, в случае нужды, очень скоро и ловко отпираться и выпускать из себя, во время полицейских осмотров, разных теплых людишек, которым из коридорчика — скатертью дорога либо во двор, либо в садик да через забор на соседний задворок. С наружной же стороны этой дверки, на верхнем бруске ее, и до сих пор еще можно видеть намалеванную черною краскою надпись: *квартира.*

В этой конуре темно — хоть глаз выколи; иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помещаются две-три постели, стол да несколько стульев. Под постелями и в углах сваливается все *натыренное*[29], которое, стараниями Прова Викулыча, редко когда залеживается до следующего утра. Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга,

то на *хрястанье* с *канновкой*[30], то на какие-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнее самой жизни уличному вору, когда голодным детям нужно принести хоть корку хлеба. Сбывает Пров Викулыч это тыренное только на чистые деньги, и на деньги немалые. Отсчитывает он в этом случае *гроник* да *канику,* а получает *колесами*[31].

Итак, мы уже говорили, около восьми часов вечера темные людишки с «вольным товаром» под полою начинают мало-помалу проюркивать в ершовские ворота, на задний, «невоскресный» ход заведения, и стекаются обыкновенно в смежной с кухней комнате.

Пров Викулыч держит себя в этом случае весьма замечательным образом: он и тут, как всегда и везде, свою особую политику и строгий этикет соблюдает. Всем, например, собравшимся в «марушьем углу» мазурикам очень хорошо известно, что Пров Викулыч занимается *спуркой*[32], все они именно и собрались сюда не за чем иным, как только *пропурить* ему *тыренное.* Пров Викулыч, в свою очередь, хорошо знает, что теплые ребятки пришли сюда единственно ради его милости,

и не однажды уж он со всеми ними дела этого рода обделывал, а между тем Пров Викулыч перед глазами всей этой обычно-собравшейся компании никогда не решится явно показать, что он занимается спуркой или вообще имеет с ними какие-либо общие дела и интересы относительно вольного товару. «Поэтому, значит, дело — делом, а честь — честью, — рассуждает себе Пров Викулыч, — и честь свою, значит, ты никак оборонить не моги».

Пров Викулыч в некотором роде сила, «капиталом ворочает», держит в руках своих весь этот темный люд, и потому третирует его несколько en canaille[33]. Он не сразу выходит к ним в «маруший угол», а так себе — урывками, заглянет туда как будто мимоходом, идя по своему делу, и вообще заставляет себя дожидаться.

— Пров Викулыч, дельце есть до вашей милости! — говорит ему обыкновенно какой-нибудь мазурик заискивающим и даже просительным тоном, кланяясь чуть не в пояс.

— Како тако дельце? — суровым голосом важно-занятого человека возражает буфетчик, почти не удостаивая взглядом своего

просителя.

— Так-с... просьбица одна... по секрету-с...

— Ну да! еще чего не выдумай! Некогда мне тут с вами секретничать-то! — бурчит он себе под нос, с большим неудовольствием. — Ну, да! ин — ладно! Пойдем! Эй! Анчутка!

— Чиво-с? — откликается юркий трактирный мальчишка с развращенным лицом и плутовскими глазами, выросший словно гриб из-под земли перед Провом Викулычем.

Буфетчик на это «чиво-с» только глазом мигнет незаметно — и Анчутка опрометью бросается к заднему ходу на сторожку.

За сим следует удаление Прова Викулыча с просителем в секретную квартиру.

А мазурики между тем в «марушьем углу», ожидая каждый очереди, вполголоса меж собой о своих делах разговаривают. Они в этом отношении менее Прова Викулыча церемонятся.

— *Что стырил?*[34]— осведомляется один у другого.

— Да что, друг любезный, до нынче все был *яман*[35], хоть бросай совсем дело; а сегодня, благодарение Господу Богу, *клево*[36]

пошло! Зашел, этта, ко Владимирской. Народу за всенощной тьма тьмущая — просто, брат, лафа!

— Ну и что же ты? маху не дал!

— Еще б те маху! *Шмеля срубил да вынячил скуржанную лоханку!*[37] — самодовольно похваляется мазурик.

— *Мешок во что кладет веснухи?*[38] — спрашивается в то же время в другой группе, на противоположном конце комнаты.

— Во что кладет! да гляди, чуть не в гроник! — ропщет темная личность с крайне истомленным и печальным лицом. — *Клей*[39] не дешево стоит; поди-ка сунься в магазин у немца купить — колес в пятьдесят станет.

— А какой клей-то?

— Да *канарейка с путиной,* как есть целиком *веснушные*[40]. Так оно что, пес эдакий, мешок-то? Я по чести, как есть, три *рыжика правлю*[41].

— Какими? *рыжею Сарою*[42]?

— Ну, вестимо, что Сарой, а он, пес, только четыре *царя*[43] кладет. А мне ведь тоже хрястать что-нибудь надо! жена тоже ведь, дети... голодно, холодно...

И голос мазурика, нервно дрогнув, обрывается, задавленный горькою внутреннею слезою.

В третьем углу — молодой вор, по-видимому из апраксинских сидельцев, тоненькой фистулой, молодцевато повествует о своих ночных похождениях:

— Просто, братцы, страсть! Вечор было совсем-таки *влопался*[44], да спасибо мазурик со стороны каплюжника *дождевиком*[45] — тем только и отвертелся! А Гришутка — совсем облопался, поминай как звали! Стал было *хрять*[46] в другую сторону, да лих, вишь ты, не *стремил*[47], опосля так с *фараоном*[48] справились; а тут *стрела*[49] подоспела вдогонку — ну и конец! Теперь *потеет*[50]; гляди, *к дяде на поруки попадет*[51], коли хоровод не выручит.

— Значит, *скуп*[52] надо? — озабоченно спрашивают мазурики, ибо это вопрос, весьма близко касающийся их сердца и карманных интересов.

— Значит, скуп! Парень, братцы, клевый, нужный парень! *отначиться*[53] беспременно надо.

— Сколько сламу потребуется? — вопрошают члены хоровода, почесывая у себя в затылке.

— Обыкновенно, *на гурт: слам на крючка, слам на выручку да на ключая* — троим, значит, как есть полный слам отваливай[54].

— Надо подумать! — ответствуют хороводные, соображая свои средства на выкуп товарища.

А степенный, важный и благообразный Пров Викулыч меж тем обделывает на квартире свою выгодную *спурку*.

* * *

В одиннадцатом часу показался в «Ершах» и Бодлевский, захватив с собою весь свой капитал, заключающийся в двадцатипятирублевой бумажке и кой-какой мелочи. Сердце его довольно-таки нервно постукивало. Он не боялся делать ассигнацию *наедине,* запершись в своей комнате, и боялся теперь предстоящего ему дела, потому что оно должно было обделаться между несколькими сообщниками. Эта черта, на первый взгляд как будто и трусливая, предвещала, однако, в Бодлевском великого будущего мастера. Не боятся

сообщничества одни только заурядные мазурики, из которых никогда ничего замечательного не выработается. А в Бодлевском, напротив, таился своего рода гений.

Пров Викулыч, обретавшийся на сей раз за буфетной стойкой, степенно поклонился ему, по обычаю своему, больше глазами, чем головой, и пригласительно указал рукою на узорную дверь чистой половины, а сам, конечно, не замедлил сию же минуту юркнуть в свою дверцу, на квартиру за Юзичем.

После коротких переговоров о том, что дело будет стоить двадцать рублей, Юзич получил вперед с Бодлевского деньги и ввел его в заповедную квартиру через наружную ее дверку, мимо буфетчика, который сделал вид, будто ничего не замечает. Там на столе тускло горел сальный огарок, едва освещая фигуры семи человек, сгруппировавшихся вокруг стола, за которым восседал красноносый чиновник — тот самый, что поутру на чистой половине углублялся в полицейскую газету. Он тасовал замасленную колоду карт и умоляющим голосом обращался к рыжему угрюмому господину с портфелем в руках.

— Ну сделай ты мне такое божеское одолжение! Сорок грехов тебе за это простится, мошенник ты эдакий! — говорил он ему. — Ну что тебе стоит! Душечка моя! сваляемся на одну игорку.

— Сказано, нет! — зарычал на него рыжий, сверкая исподлобья своими угрюмыми глазами. — Нашел дурака — сваляйся с ним до дела, а он, пожалуй, отначится, так я, значит, двойного сламу должон лишиться! Ишь ты, вицмундирник какой! губа-то у тебя не дура! Ты прежде дело сделай, а там, пожалуй, стукнемся на счастье.

— Все струмент свой отыграть хочет, — пояснил Юзичу один из семерых, лукаво подмигивая на красноносого чиновника, который, вероятно, чувствуя себя очень огорченным ответом рыжего, только вздохнул от глубины души и смиренно, с видом угнетенной невинности, воздел к потолку глаза свои, как бы говоря этим: «Ты видишь, Господи, сколь много и не право обижен я!»

Никто из присутствующих не поклонился Бодлевскому при входе и вообще не выразил ни словом, ни знаком каким-либо привет-

ствия; но все очень внимательно и бесцеремонно вымеряли его своими взглядами.

Эти семь человек были виленские и витебские мещане, известные в трущобах под общим именем «виленцев» и занимавшиеся специально подделкой паспортов. Профессия эта преемственна и до сих пор продолжается в Петербурге между выходцами из двух означенных губерний.

— Готово! — сказал Юзич, обращаясь безлично ко всей компании.

— Значит, можно в ход *помадку*[55] пускать? — спросил чиновник с добродушной улыбкой, в которой, однако, так и просачивалась алчность акулы.

— А ты, голова, зачем мухорта с ветру привел? — бесцеремонно вмешался рыжий, бросая неприязненные взгляды на Бодлевского. — Зачем морды казать? Не всякой ведь роже калитки есть!

— Ничего, мухорт с нами заодно поест, — благодушным тоном успокаивал его чиновник.

— А коли облопается да клюю прозвонит?[56]

— А мы на сей конец не дураки: прикосновенность учиним, к делопроизводству притянем — и выйдет девица того же хоровода. На себя не всяк ведь показывать-то охоч, — возразил на это канцелярски-крючковатым тоном чиновник.

Рыжий, вероятно, восчувствовал силу последнего аргумента, ничего не ответил, только сплюнул в сторону.

Чиновник, потирая свои красные, дрожащие руки, встал с места и с особенным каким-то сладеньким подходцем приблизился к Бодлевскому.

— Нам надо познакомиться, — сказал он весьма любезно. — Вместе уху станем стряпать — вместе хлебать; значит, дело товарищеское. Честь имею рекомендоваться! — присовокупил он, отдавая скромный поклон, — отставной губернский секретарь Пахом Борисов Пряхин. Ныне приватно в конторе квартального надзирателя письмоводством занимаюсь.

Бодлевский при этом последнем сообщении сделал весьма удивленную мину, так что Пахом Борисыч поспешил пояснить ему с

обычным добродушным вздохом:

— Что делать-с! бывают обстоятельства, когда всяк человек на предлежащем ему месте к пользе ближнего нужен бывает. А это-с, — прибавил он, указывая на членов своей компании, — это — ближние мои. Так-то-с!..

Бодлевский слегка поклонился, но ближние не удостоили его поклон ни малейшим вниманием. Они вообще были не совсем-то довольны присутствием при деле постороннего человека.

— Предварительно, — начал опять чиновник, — позвольте попросить у вас рюмку водки, а то у меня трясучка с перепою: рука не тверда-с. Я, поверьте, не столько для себя, сколько собственно для руки прошу. Позвольте монетку-с!

Бодлевский дал ему сколько-то мелочи, которую чиновник тотчас же опустил в свой карман, и, подойдя к полочке, где стоял заранее купленный им же самим полштоф водки, налил себе рюмку и, нацелясь, проглотил ее залпом.

— А теперь — приступим, благословясь, ибо всякое доброе начинание напутственного

благословения требует, — говорил он со своею улыбкою, творя крестное знамение, и, потирая руки, сел на прежнее место.

Угрюмый рыжий молча положил перед ним портфель и вынул из кармана какие-то две стклянки. В одной заключалась жидкость черная, в другой — чистая, как вода.

— Мы ведь — химики: наукой тоже занимаемся! — шутливо пояснил Бодлевскому Пахом Борисыч и вслед за тем скомандовал: — Чижик! *на стрему*[57].

Молодой парень поднялся с постели, на которой было развалился, и вышел из «квартиры» в наружную дверку.

— Ну-с, а теперь *затыньте-ка*[58], братцы, хорошенько! — предложил чиновник остальным — и вся компания тесно стала, локоть к локтю, вокруг стола. — А мы газетку вынем да на столик положим — тут же вот рядышком с портфелькой. Это, изволите ли видеть, — пояснил он Бодлевскому, — собственно, на тот конец делается, если бы, избави нас боже, посторонний человек в нашу келейную беседу ворвался — так мы как будто ничего, яко агнцы какие непорочные, сидим и мирно изве-

стия с политического горизонта читаем. Понимаете-с?

— Как не понять!

— Известно-с... А теперь не угодно ли?.. Извольте нам со всей откровенностью, яко пред зерцалом, объявить: к какому званию и состоянию желаете вы приписать известную вам особу — по купечеству ли или в дворянское сословие?

— Я думаю, в дворянское лучше будет, — заметил Бодлевский.

— Всеконечно так! по крайней мере приобретается право беспрепятственного проезда во все города и селения Российской империи. Посмотрим, нет ли у нас чего подходящего.

И Пахом Борисыч, раскрыв портфель, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидетельствами и иными видами, стал перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочем, ни одной из портфеля: все на тот конец — если какая тревога случится, так чтоб немешкотно спрятать их.

— Ага! новенький! — воскликнул он, разглядывая какой-то вид. — Откуда это?

— От одного человека приезжего добыл, — пробурчал себе под нос рыжий.

— Те-те-те! совсем подходящее дельце! Дворяночка-с! — с удовольствием говорил чиновник, продолжая рассматривать вид. — Очевидно, ныне сам Господь Бог помогает — вот оно что значит, благословенье-то! А Вольтеры — поди ж ты вон! — другое толкуют! (Пахом Борисыч видимо старался блеснуть своим образованием.) Нда-с... «Дано сие из ярославского губернского правления», — продолжал он, уже читая текст вынутого им вида, — «дано сие вдове коллежского асессора Марии Солонцовой на свободное прожительство» и так далее, как следует быть, по надлежащей форме. Здесь, что ли, добыто? — обратился он снова к рыжему.

— В Москве, сказывал...

— Нешто стырен?

— Амба! — лаконически и еще угрюмее обыкновенного выговорил рыжий.

— *Амба!* — повторил серьезным тоном чиновник, как бы преисполнясь особенным уважением к той бумаге, которую он держал в руках. — Амба!.. так вот как! В *домухе опатру-*

лено[59].

— Клёвей, брат! почти что *на гопе*[60]: у Рогожского, сказывал.

— Ну, это точно что клёвей; потому, значит, только и последствий, что в ведомостях пропечатают: такого-то, мол, числа усмотрено неизвестного звания и состояния...

— А ты ешь пирог с грибами! — сурово перебил его рыжий. — Видно, с одной рюмки-то мелево расшатало?

— Что ж! Я — ничего! — кочевряжился в ответ на это замечание Пахом Борисыч. — Я только говорю, что отпусти, Господи, рабу твоему, потому что, в силу 332-й и 727-й статей Свода уголовных узаконений, за это надо сгореть.

Едва успел он выговорить эти слова, как удар с размаху по голове, который молча нанес ему рыжий, заставил его стукнуться затылком в стену и, уж конечно, замолчать на минуту — так что он только глазами заморгал от боли.

— Это что же? оскорбление чести, можно сказать... — забормотал оторопелый Пахом Борисыч. — Теперь я и работать не могу: в го-

лове треск и темень... Ей-богу, не могу... Надо, по крайности, рюмку для прояснения...

— Ну, черт, ступай пей! — разрешил ему рыжий. — Да гляди: если еще раз мелево пустишь — не заставь руку расходиться! — *ломату задам* добрую[61].

Оскорбленный Пахом Борисыч молча пропустил в себя рюмку, молча воротился на место и молча же принялся за работу.

Он откупорил стклянку с бесцветною, чистою жидкостью и вынул из портфеля тщательно завернутую в бумажку рисовальную кисточку.

— Ну, полно, дядинька! развеселись-ко! Стоит из-за пустяков таких? — утешал его Юзич, ободрительно похлопывая по плечу, и Пахом Борисыч действительно развеселился.

— Известно, не стоит! — заговорил он своим обычным тоном, в котором, однако, заметно слышалось чувство собственного достоинства. — Я и внимания не хочу обращать, потому честь и амбицию свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидеть не может. Военные за это между собою на поединки выходят, гражданские чины по закону деньгами

бесчестие взыскивают, а с него — что взять? Одно остается — простить ему это.

Это означало, что Пахом Борисыч в глубине сердца своего был очень оскорблен.

— Ну, вот ты и прости! — предложил ему Юзич.

— Я и простил!.. — махнувши рукой, произнес Пряхин. — Так вам угодно ли будет известную особу переименовать в Марию Солонцову — вдову коллежского асессора? — обратился он к Бодлевскому.

XI
КАПИТАН ЗОЛОТОЙ РОТЫ

Бодлевский не успел еще в ответ на это утвердительно кивнуть головою, как вдруг наружная дверка быстро распахнулась и в комнату стремительно влетел высокого роста мужчина, статный, сильный и красивый блондин, немного косоватый, с золотыми очками и в форменном военном сюртуке.

Компания испуганно повернула к нему головы, но не тронулась с места: как стояла она, тесно сплотившись вокруг стола, так и теперь

осталась.

— Здорово, соколики, виленцы почтенные! Вы это что тут? какими делами занимаетесь? — заговорил он, в одно мгновение подлетая к столу и садясь на стул вскочившего Пахома Борисыча.

— Это что такое? — продолжал он, захватывая одною рукою стклянку с бесцветною жидкостью, а другою вид вдовы коллежского асессора. — Это у вас, значит, хлористая жидкость для вытравливания чернил? Хорошо-с! А это чей-то вид — значит, мы тут пачпортики подделываем? Важно! Отменно важно! Ай да молодцы! Что дело, то — дело! Гей! Свидетели!

И блондин довольно резко свистнул. Из наружной дверки появились две лихие физиономии, торчавшие на плечах весьма внушительного свойства.

Рыжий молча подошел к блондину и яростно схватил его за ворот. Остальные в тот же момент поразобрали — кто стул, кто пилку, кто железный лом — и приготовились к защите.

Блондин между тем, отнюдь не изменяя в

лице самоуверенно-хладнокровного и спокойного выражения, быстро опустил руки в карманы и вынул пару маленьких двухствольных пистолетов. В наступившей тишине, которою сопровождалась эта сцена, ясно было слышно, как щелкнули на двух взводах курки под его пальцами. Он поднял правую руку и направил дуло в упор к груди своего противника.

Рыжий опустил его ворот и, презрительно скося на него свои глаза, сверкавшие ненавистью и злостью, молча отошел в сторону.

— Сколько надо будет дать? — глухо спросил он.

— Ага!.. Вот этак-то лучше! и давно бы так следовало! — заговорил блондин, спокойно усевшись на стуле и слегка поигрывая своими пистолетами. — А вы за сколько работаете?

— За одну красную, — ответил рыжий.

— Мало. Мне гораздо больше надо; да, впрочем, вы, милый мой, врете; я ведь знаю вас: вы менее как за беленькую и рук марать не станете.

— Благодарим за комплимент! — вмешал-

ся Пахом Борисыч.

Блондин с усмешкой кивнул ему головою.

— Мне надо гораздо больше, — настойчиво и с внушительной расстановкой повторил он, — и если вы мне не дадите по крайней мере двадцати пяти, так я сию же минуту донесу на вас полиции, а вот и двое свидетелей кстати.

— Сергей Антоныч! господин Ковров! помилосердствуйте! — откуда же взять нам столько! Как перед Богом, так и перед вами говорю! ведь нас десять человек. Да вас трое; да кроме того троим — мне, Юзичу и Гречке — двойной слам следует, — убеждал его умоляющим голосом Пахом Борисыч.

— Гречке, за то что осмелился меня за ворот схватить, — вовсе сламу не полагается; вперед наука! — порешил Сергей Антоныч.

— Господин Ковров! — начал снова чиновник, — мы с вами люди благородные...

— Что-о? что ты такое сказал? — презрительно перебил его Ковров. — Себя на одну доску со мною поставил! Ха-ха-ха! Нет, брат, я пока еще на царской службе состою и с мундиром честь свою ношу! Я, брат, себя пороком

или воровством каким не марал еще, слава Богу! а *ты* что такое?

— Гм!.. а Золотая-то рота? кто капитаном-то считается?.. — злобно и как бы про себя заметил Гречка.

— Кто считается? Я — поручик Чернояр-ского драгунского полка Сергей Антонович Ковров! Слышали? Я считаюсь! — гордо и высокомерно сказал он, окидывая компанию своими самоуверенными взглядами. — А вы все еще и не доросли до Золотой-то роты, потому вы — трусишки! Чупров! — крикнул он одному из своих, — ступай сними маску с Чижика, а то мальчишка, пожалуй, еще задохнется, и руки развяжи ему, кстати, да дай еще доброго подзатыльника, чтобы вперед получше караулил.

«Маска», которую употреблял в подобных обстоятельствах Ковров, была не что иное, как клеенка, вырезанная в величину человеческого лица и с одной стороны густо смазанная липким варом, посредством терпентинного масла приведенным в нетвердеющее состояние. Ковровские молодцы употребляли этот «струмент» с изумительной сноровкой:

обыкновенно делалось так, что один из них, тихо подкрадываясь сзади к избранной жертве, ловким ударом влеплял ей в физиономию липкую клеенку — и жертва тотчас же становилась нема и слепа, задыхалась от недостатка воздуха; засим, если представлялась надобность, скрученные назад руки перетягивались бичевой, и начиналась дальнейшая «помада», смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное.

Золотая рота образовалась в половине тридцатых годов. Первыми основателями ее были три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, зато все уж они могли с честью назваться отчаяннейшими головорезами, которые нигде и ни в чем не знали преград для своих самых дерзких подвигов. Настоящий вожак этой шайки, поручик Ковров, был в полном смысле то, что называется triple canaille[62]. Дерзкий, храбрый и самоуверенный, он обладал, кроме того, еще красотою, манерами и светским лоском, известным под именем образования. Перед членами Золотой роты, и в особенности перед Ковровым, трепетали все

остальные хороводы. Он повсюду имел своих тайных агентов, которые незаметно, но зорко следили за каждым предприятием мазуриков. В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг нежданно-негаданно являлся Ковров с кем-либо из своих и требовал контрибуцию, грозя в противном случае тотчас же донести полиции — и мошенники, для того чтобы «смирить ему звонок», невольно должны были жертвовать часть сламу, какую он сам заблагорассудил себе назначить. Действуя необыкновенно тонко и ловко во всех своих предприятиях, он вел себя так, что под него никак нельзя было подпустить иголки, и таким образом грабил вдвойне: и мирных обывателей града С.-Петербурга, и мазуриков вместе. Подобный промысел искони существует и в мазурничьем мире: между ними есть разряд людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют собственно тем, что узнают о всякой покраже, и за одно это знание, за одно отрицательное соучастие свое получают известную долю — лишь бы только молчали да полиции не выдали. Впрочем, надо приба-

вить, что подобных людей в этом мире очень немного, и все они пользуются у самих мазуриков глубочайшим презрением. Не пользовался им только Ковров, но это потому, что он вообще действовал en grande[63] и пускался со своей Золотой ротой на такие отчаянные, рискованные подвиги, о каких остальные хороводы и мечтать не дерзали. Мазурики, какого бы разряда они ни были, вообще очень уважают риск, хитрость и силу — поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его в то же время до последней степени.

— Кому это пачпорт изготовляете? — спросил он, взяв со стола бумагу и преспокойно запихивая ее в свой карман.

Гречка кивнул головой на Бодлевского.

— Ага, так это для вас? очень приятно слышать! — сказал Ковров, смеривая его глазами. — Итак, господа, двадцать пять рублей, или прощайте — до приятного свидания в следственной камере.

— Господин Ковров! позвольте с вами говорить по чести! — вмешался опять Пахом Борисыч. — Мы взяли за дело двадцать рублей — вам весь хоровод даст в этом свое чест-

ное слово! — ведь не подлецы же мы какие! Ведь не станем же мы из-за двадцати каких-нибудь паршивых рублишек лгать вам и марать честь своего хоровода!

— Вот это — дело! это хорошо сказано! Хорошее слово я люблю и всегда готов уважить! — поощрительно заметил Сергей Антонович.

— Ну, так сообразите же сами, — продолжал чиновник, — сообразите, что, отдавши вам всю выручку, мы все на шишах должны остаться! За что же нашему труду пропадать занапрасно!

— Пусть вот они заплатят! — сказал Ковров, вскинув глаза на Бодлевского.

Бодлевский снял с себя золотые часы — единственное наследство от своего отца — и вместе с оставшимися пятью рублями бросил их на стол перед Ковровым.

Ковров опять вымерил его глазами и улыбнулся.

— Вы — благородный молодой человек, — сказал он, — вашу руку! Я вижу, вы далеко пойдете.

И он с чувством пожал руку граверу.

— Только надобно вам знать на будущее время, — прибавил он дружески-внушительным тоном, — что я в своих сношениях с этим народом никогда не пользуюсь вещами, а всегда заставляю платить контрибуцию чистыми деньгами. Эй, вы! — крикнул он, обращаясь к компании. — Ступайте кто-нибудь с часами к вашему святоше Прову Викулычу — пусть он мне разменяет их по совести — слышите ли, по *совести!* — на две трети того, что стоят: вещь хорошая, в магазине надо шестьдесят рублей заплатить. Да пусть приготовит мне *ерша в салфетке*[64]*; я* приду к нему в гости, а иначе — плохо будет! — крикнул он вдогонку удалявшемуся Юзичу, который через минуту возвратился и подал Коврову сорок рублей. Ковров пересчитал и положил себе двадцать в карман, а остальные молча, но с джентльменской улыбкой возвратил Бодлевскому.

— Одно вынимается, а другое кладется на смену, — сказал он, подавая Бодлевскому вид вдовы коллежского асессора. — Теперь старый плут Пахомка может и за делопроизводство свободно приниматься.

— Да что ж тут приниматься? — с улыбочкой заметил Пахом Борисыч. — Вид ведь чистенький, дворянский; особых примет, якобы глаза серые, нос умеренный, писать по закону не требуется — значит, и так сойдет полегоньку. А теперь бы мне вот рюмочку, да потом и за трыночку, — заключил он, направляясь к штофу и на пути пригласительно показывая Гречке колоду карт.

— Мы с вами будем знакомы; мне ваше лицо понравилось, и потому, надеюсь, сделаемся друзьями, — сказал Ковров, вторично пожимая Бодлевскому руку. — А теперь пойдемте выпьем. Вы мне за стаканом расскажете, для чего вам нужен этот пачпорт, а я, за ваш поступок с часами, зла вам не пожелаю. В этом дает вам свое честное слово поручик Сергей Ковров! Я тоже умею быть великодушным! — заключил он, и новые друзья, в сопровождении всей компании, направились в «чистую половину».

Ночная оргия в «Ершах» находилась уже в полном своем разливе. Был двенадцатый час ночи. Чистая половина вполне представляла

собою смешение языков. Грязь ее обстановки как-то сама собою утроилась к этому заповедному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно мазурики, покончившие дневные счеты, и с горя, общипанные мешками, а наипаче Провом Викулычем, угарно пропивали ему же свои последние гроши. Подле каждого почти сидела женщина весьма непрезентабельной наружности. Компания мастеровых — все та же, которая и днем тут заседала, — по сию пору разваливалась на прежнем своем месте, за двумя составленными столиками; только почтенные члены ее, что называется, «лыка не вязали», обретаясь в том вялом состоянии, когда человек становится уже «не помнящим родства». Один только угощатель мальчонка сохранял еще кое-какие бессознательно-нервные признаки усиленной жизненной деятельности. Он, закрыв свои отяжелевшие глаза, как-то конвульсивно размахивал в беспорядке руками, опрокидывая на скатерть пивные бутылки и стаканы, судорожно мотал головою и по временам с большим усилием выкрикивал какие-то дикие, бессмысленные

звуки.

Один только Пров Викулыч посреди этого всеобщего хаоса невозмутимо сохранял свою благоразумную степенность за буфетной стойкой, и чем солиднее казался он, тем резче являл собою этот контраст со всем окружающим. А на «квартире», где при нагорелом сальном огарке Пахом Борисыч и Гречка азартно резались в трынку, шла своя обычная деятельность под бдительным присмотром и руководством вездесущего Прова Викулыча, не перестававшего с известными интервалами юркать в свою дверцу. Там поминутно приходили и уходили его доверенные люди: ювелиры, которым он продавал золотые вещи; портные и скорняки, покупавшие платья и меха, и, наконец, еще один разряд личностей, преимущественно из евреев, промысел которых состоял в том, чтобы некоторые вещи, какие почему-либо неудобно или опасно было оставить в Петербурге, увозить в Москву и в другие города, где уже они сбывались без всякого опасения и за хорошие деньги. Занятия этого последнего рода требуют особенной честности — и, надо отдать справедли-

вость Прову Викулычу, он умел выбирать людей. Впрочем, честность эта обусловливалась и самой выгодой такого промысла, требующего особенной ловкости, предусмотрительности и сноровки: надо знать — где, что, когда и как и кому выгодней сбывается и какими куда путями удобнее добираться.

Между тем говор и восклицания перекрещивались меж собою по всем углам «чистой половины» и мешались с звуками песни под аккомпанемент торбана и ложек. Эти последние звуки производили два артиста, которые в то время, к одиннадцати часам ночи, постоянно являлись в «Ерши» развлекать своим искусством ночных посетителей. Торбанист — Мосей Маркыч, сухощавый, высокий брюнет, очень серьезного и меланхолического вида, был точно истинный артист: его пальцы с необыкновенною быстротою и художественным тактом бегали по струнам торбана, и когда увлекался он извлекаемыми им звуками, все лицо его как будто преображалось: светлело или туманилось с каждым музыкальным переходом. Не менее художником в душе был и товарищ его — певец и ложечник Иван

Родивоныч, курносый, рябой, приземистый и широкоплечий костромич, в поддевке и красной рубахе. Когда он своим немножко гнусавым тенорком «отхватывал» какую-нибудь *чибирячку*[65] — все поджилки и суставчики его, словно на пружинках, ходенем ходили: ходили брови и скулы, ходили плечи и руки, и пальцы, и коротенькие полешки-ноги; ходила, наконец, грудь и даже самый живот, которыми он выделывал удивительные штуки, к общему удовольствию столпившихся слушателей. Мы потому так обращаем внимание читателя на Мосея Маркыча с Иваном Родивонычем, что ему еще придется впоследствии встречаться с этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущобной жизни и даже ее светлую сторону, если в ней таковая только возможна.

Что ты, черен ворон, вьешься
Над моею головой? —

чувствительно гнусил Иван Родивоныч, а Мосей Маркыч баском подтягивал ему:

Ты добычи не дождешься:
Я не твой, нет, я не твой!

Мое тело здесь не тлеет,
Тлеет лишь одна душа, —

еще чувствительнее выводил свои верхние нотки Иван Родивоныч.

И она-то разумеить,
Сколь ты, Маша, хороша! —

вторил ему басок Мосея Маркыча. Слушатели оставались в полном восторге.

— Здорово, ребята! — гаркнул с авторитетом лихого ротного командира Ковров, молодцевато входя в комнату под руку с Бодлевским.

— Раз, два, ваше-ство! — крикнули в ответ артисты. Почти вся остальная публика, которой хотя бы и по слухам был только известен Сергей Антонович, почтительно привстала с мест и поклонилась.

— Садись, ребята! пей и гуляй не стесняясь! — снова скомандовал Ковров и обратился к музыкантам: — Ершовскую! да живее!

Мосей Маркыч встряхнул своей черной курчавой головой, ударил по струнам, а Иван Родивоныч звякнул ложками и пошел вприпляску:

Как на гору, значит, еж ползет —
Под горою горемыка йдет.
Ты куды же, куды, еж, ползешь?
Ты куды же, горемыка, йдешь?
Я иду-ползу на барский двор,
Ко Агафье свет Ивановне,
К Серафиме Сарафановне.

И вдруг, на этом последнем стихе, он как-то конвульсивно встряхнулся всем телом, лихо топнул ногами, еще лише подзвякнул ложками — и вся компания, наполнявшая эту комнату, с гиком, свистом и каким-то жиганьем, подхватила вслед за ним, стуча и топая каблуками:

Ах, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши — да,
Все по четверти ерши, ерши, ерши — да,
По полувершку ерши, ерши, ерши — да,
Запущу — так и держи, держи, держи!

— Тук-тук, у ворот! — выкрикнул Иван Родивоныч, стараясь перекричать весь этот шум, гам и топот.

— Кто тут? — вопросил его Мосей Маркыч.

— Еж!

— Зачем пришел?

— Попить-погулять, с вашим девкам баловать.

— Что принес?

— Грош.

— Ступай прочь: хвост нехорош!

— Тук-тук, у ворот! — повторил опять Иван Родивоныч.

— Кто тут? — своим заученным тоном снова ответил Мосей Маркыч.

— Еж!

— Что принес?

— Пятак!

— Шишки! идешь не так! — порешил торбанист — и ложечник снова пустился вприпляску:

Загуляла тут ежова голова,
На чужой стороне живучи,
Много горя принимаючи,
Свою участь проклинаючи!

— Ах, ерши, ерши, ерши — да все по четверти ерши! — подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и

жиганьем, еще сильнее прежнего приходя в какой-то дикий, шальной экстаз от тех ловких, размашистых телодвижений, которыми сопровождались «Ерши» Ивана Родивоныча.

Оргия в этом роде длилась далеко за полночь. Бодлевский, все щупавший свой боковой карман — там ли его паспорт, вышел наконец из заведения, словно в каком-то чаду, с крайне расстроенными нервами. Он чувствовал себя как-то тяжело счастливым; его давило и сознание этого счастия, и чувство неизвестности того, что задумала Наташа, и вопрос, как-то еще все это кончится, и убеждение, что первое преступление им уже сделано. Все эти ощущения свинцовым наплывом ложились на его душу, тогда как в ушах его свежо отдавался дикий отзвук ершовской песни.

XII
КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ

Было девять часов вечера. Наташа засветила ночную лампу в спальной княгини Чечевинской и осторожно вышла в смежную комнату приготовить ей перед сном успокоительных порошков, которые только что прописал доктор.

Княгиня все еще была очень слаба. Хотя беспамятство ее и миновалось, но по временам с нею начинали делаться истерические припадки; по временам она впадала в забытье и то нервно вздрагивала, то продолжительно дрожала всем телом. Мысль об ударе, нанесенном ей дочерью, не покидала ее ни на минуту.

Наташа только что сменила с дежурства горничную старухи. Ей предстояло просидеть над больной до полуночи. В доме княгини всегда господствовала тишина, а во время болезни ее эта тишина удесятерилась. Все ходили на цыпочках и говорили шепотом, боясь кашлянуть или звякнуть в буфете чайной ло-

жечкой. Дверные звонки были завязаны полотенцами, и вся улица перед домом широко и мягко устлана соломой. К девяти часам домашние уже расходились по своим уголкам и ложились спать; одна только дежурная тихо сидела у изголовья старухи.

Налив полрюмки воды, Наташа всыпала туда порошок и вынула из домашней аптеки маленькую стклянку с бледно-желтоватою жидкостью. Это был опиум. Осторожно осмотревшись кругом, она медленно приложила к рюмке горлышко стклянoчки и влила туда счетом десять капель. «Будет достаточно», — подумала она и усмехнулась. Лицо ее, как и всегда, было холодно-спокойно, и ни малейшая тень какого-либо ощущения не пробегала по нем в эту минуту.

Старуха, приподнятая под спинку Наташиной рукою, поморщась, проглотила поднесенное ей лекарство — и через несколько минут опиум оказал свое действие: время от времени конвульсивно подергивая нижнею губою, она впала в глубокий и тяжелый сон. Наташа, чутко вытянув шею, неподвижно и внимательно из-за угла подушки глядела на ее ли-

цо, следя за симптомами одурения, и когда убедилась, что сон окончательно сковал ее члены и что старуха вполне уже лишена на несколько часов возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе к изголовью большое свое кресло и, не сводя спокойно-внимательного взора с ее лица, тихо запустила руку под нижнюю подушку. Подвигаясь вперед с величайшей осторожностью и не более как на несколько линий, рука ее поминутно останавливалась, чуть только оттенок малейшего нервного движения пробегал по лицу старухи, к которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но старуха спит непробудно — и рука опять на какие-нибудь полвершка тихо подвигается вперед. Прошло уже около получаса, а глаза горничной все еще напряженно вперялись в сонное лицо и рука все еще подвигалась вперед под подушкой, уклоняясь по временам несколько в стороны и как бы нащупывая там что-то. Выражение лица Наташи было в высшей степени спокойно и сосредоточенно, но в этом спокойствии в то же время крылось нечто другое, заставлявшее предполагать, что

если — не дай бог — очнется как-нибудь в эту минуту старуха, то другая, свободная рука в то же мгновение задушит ее горло.

Наконец кончики пальцев нащупали там что-то твердое. «Это он!» — подумала Наташа и остановилась перевести дух. Через минуту, ухватясь за свою находку, рука ее так же медленно и осторожно стала подвигаться назад.

Прошло еще с добрых десять минут, когда наконец Наташа увидала маленькую мошонку из разноцветного сафьяна, какими обыкновенно торгует город Торжок наряду с другими своими сафьяновыми и золотошвейными изделиями. В этой мошонке у старой княгини хранились два ключа, с которыми она никогда не расставалась: днем носила в кармане, а ночью клала к себе под подушку. Один ключ — обыкновенный — был от ее комода, другой — изящный, маленький — от ее заповедной шкатулки.

Около часу спустя ключи эти тем же порядком и с тою же осторожностью были положены на свое обычное место, под подушку княгини.

Наташа тщательно вытерла рюмку своим

носовым платком, чтобы в ней не оставалось ни малейшего запаха опиума, и спокойно, как и всегда, досидела часы своего дежурства.

XIII
ОТОМСТИЛА

Старуха проснулась на другой день часу в первом. Доктор, заезжавший уже два раза утром, был даже доволен столь продолжительным сном, которого больная почти не знала со времени полученного ею удара и который, по его мнению, должен был произвести благодетельный перелом болезни.

Княгиня издавна уже сделала себе привычку — переглядывать свои финансовые документы и поверять приходорасходные книги. Всесильная привычка, образуя собою в человеке нечто органическое, не покидала ее и в болезни; по крайней мере в то время, когда сознание и спокойствие возвращались к ней, она выдавала ключ от комода, приказывала подать себе заветную шкатулку и затем, выслав дежурную вон из комнаты, предавалась наедине своему любимому занятию, превра-

тившемуся теперь в нечто весьма близкое к детской забаве. Она вынимала свои банковые билеты, именные и безыменные, и — то любуясь их цветными рисунками, то перекладывая с места на место — щупала толщину пачек, пересчитывала их и несколько тысяч наличных денег, на всякий случай лежавших дома, и наконец бережно, в порядке опять укладывала все это в шкатулку. Горничная, возвращаясь в спальню по ее звонку, ставила шкатулку на старое место — и княгиня, после этой забавы, чувствовала себя еще на некоторое время спокойной и довольной.

Дежурные уже успели достаточно познакомиться с этой прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась им совершенно в порядке вещей, делом заведенного обыкновения.

Приняв какое-то лекарство и обтерев лицо и руки полотенцем, смоченным в каком-то освежающем винегре, княгиня приказала прочесть ей несколько молитв, с той главой Евангелия, которая следовала в нынешний день, и затем приняла визит своего сына. Со времени ее болезни, то есть с тех пор как бы-

ла сделана духовная, утверждающая его единонаследие, он поставил себе не совсем-то веселою обязанностью являться к матери каждое утро минут на пять, причем ни разу не заводя разговора о сестре, осведомлялся только о здоровье, являл себя почтительным сыном и, в заключение нежно, со вздохом сокрушения поцеловав руку, уносился на рысаке поторчать в приемной какой-нибудь танцовщицы или в ресторан.

По уезде сына старуха приказала достать себе шкатулку и, по обыкновению, выслала вон из спальни дежурную женщину.

Это была великолепная шкатулка из черного дерева с инкрустацией изящнейшей отделки.

Ключ щелкнул в замке, пружинная крышка отскочила — и глаза княгини остановились неподвижно, пораженные недоумением и ужасом.

Двадцати четырех тысяч наличными деньгами, которые она сама своими руками положила вчера поверх прочих бумаг, сегодня в шкатулке не было. Всех безыменных банковых билетов тоже не было. Билеты на имя до-

чери, княжны Анны, тоже исчезли. Оставались только именные — старухи и сына — да кое-какие векселя. На место всего пропавшего была положена записка с надписью:

«A madame
la princesse Tchetchevinsky»[66].

Пальцы старой княгини так трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза ее дико бегали, как у помешанной. Наконец ей как-то удалось-таки развернуть почтовый листок — и она стала читать:

«Вы меня прокляли, прогнали и несправедливо лишили наследства. Я у вас краду мои деньги. Можете доносить полиции; но в то время, когда вы прочтете эту записку — ни меня, ни того, кто по моему поручению сделал покражу, уже не будет в Петербурге.
Ваша дочь княжна Анна Чечевинская».

У старухи руки не опустились, но, как нечто совсем ей не принадлежащее, безжизненно брякнулись на ее колени. Бегающие, сумасшедшие глаза остановились, и в них

вдруг появилось глубокомысленное выражение. Княгиня делала страшное, нечеловеческое в ее положении усилие, чтобы собрать все присутствие духа и владеть собою. Один только слабый, глухой стон вырвался из ее груди, да зубы скрежетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушена: матовый, синеватый просвет дня, сквозь опущенные гардины, достаточно освещал комнату. Тогда старуха диким, неровным движением, напоминавшим подобные же движения перепуганных обезьян, скомкала это письмо рукою, быстро положила его в рот и конвульсивно, с усилием двигая челюстями, стала жевать его, стараясь проглотить поскорее.

Минута — и письма уже не существовало. Княгиня заперла шкатулку и позвонила дежурную. Отдавши ей спокойным голосом обычное приказание, она имела еще достаточно силы, приподнявшись на локте, глядеть, как та запирала комод, и потом положить к себе под подушку на всегдашнее место торжковскую мошонку с ключами. После этого она опять приказала ей выйти.

Когда спустя два часа приехавший в тре-

тий раз доктор захотел наконец поглядеть больную и вошел в ее спальню — там уже лежал только вытянувшийся, окоченелый труп старухи.

Дочь княгини Чечевинской, последняя отрасль древнего и никогда ничем не запятнанного рода, — распутная женщина и воровка!

Наташа отомстила.

XIV
БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКРАЖИ

В тот же самый день, утром к девяти часам, в коммерческий банк хорошо одетая дама представила нумера нескольких безыменных билетов. Одновременно с нею молодой человек, тоже весьма изящно одетый, представил билеты именные, на обороте которых был сделан рукою владетельницы передаточный бланк: «Княжна Анна Чечевинская». По сличении с подписью того же самого имени в банковых книгах бланк признан действительным — надпись делала одна и та же рука.

К двенадцати часам банковский казначей

хорошо одетой даме выдал полтораста тысяч наличными деньгами, а изящному молодому человеку — семьдесят. Дама подписалась французской подданной Терезой Доре, а молодой человек — костромским купеческим сыном Иваном Афанасьевым.

В тот же самый день, только несколько позднее, а именно в начале второго часа, по парголовской дороге легковой извозчик вез двух седоков: скромно одетую молодую женщину и скромно одетого молодого человека. К вечеру эти же самые путешественники ехали уже в чухонской ратке по каменистой, горной финляндской дороге, в направлении к городу Або. Вез их вольнонаемный финский крестьянин из-под Парголова, промышлявший извозом.

Через четыре дня хоронили в Невском монастыре старую княгиню Чечевинскую. Провожающих было очень много и между прочими m-me Шипонина с тремя грациями. Все с несколько таинственным любопытством перешептывались между собою. В кругу дам особенно много шептались с тремя грациями. Князь Шадурский тоже присутствовал на по-

хоронах, только без жены — m-me la princesse [67] была нездорова — и тоже с любопытством расспрашивал и шептался. Хоронил старуху молодой сын ее, все старавшийся сделать официально-печальную физиономию и все забывавший поминутно про это старание.

Княжны Анны на похоронах не было. Когда одна из трех граций с благородным участием спросила молодого Чечевинского, почему ее нет, — тот неопределенно и кратко ответил, что сестра очень больна. Все почему-то ждали на похоронах какого-то скандала, но скандала никакого не было.

Возвратясь из монастыря, молодой князек первым делом открыл заветную шкатулку, которую до этого времени он видал только мельком, и то очень редко. Он ожидал найти там гораздо более, но нашел лишь полтораста тысяч: сто — на имя покойницы и пятьдесят — на свое. Эти деньги составляли личное ее достояние, полученное в приданое. Молодой князек сделал кисленькую мину — этих денег могло для него хватить года на три, не более. Никто никогда не знал при жизни старухи, до какой именно цифры простирается

ее состояние, и потому молодому князьку и в голову даже не пришло, не было ли у нее еще каких-нибудь денег. В счетные же ее книги он, по безалаберной ветрености своей, даже и не заглянул, считая их сухой материей, где только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда истрачено да какие проценты получены.

В этот же день дворник одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте снес в квартал отметку, в которой было прописано, что польский уроженец Казимир Бодлевский выбыл за город; а управляющий домом покойной княгини Чечевинской объявил полиции, что крепостная девица Наталья Павлова пропала без вести, о чем он, управляющий, по прошествии трехдневного срока и доводит до надлежащего сведения.

А в это время уже по Ботническому заливу легко скользило маленькое суденышко некоего финна, отважного мореходца, промышлявшего под рукой невинною контрабандой. Финн стоял на корме, а молодой сынишка его заправлял парусами. На палубе сидели молодой человек и молодая женщина. На груди у

женщины висел спрятанный под сорочкой мешочек, хранивший в себе двести сорок четыре тысячи наличными деньгами, а в карманах у той и у другого было по паре заряженных пистолетов — на всякий случай, ради предосторожности против добрых людей. Имевшиеся же при них паспорты гласили, что женщина была дворянка, вдова коллежского асессора Марья Солонцова, а мужчина — польский уроженец Казимир Бодлевский.

Судно прорезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу.

XV
ГЕНЕРАЛЬША ФОН ШПИЛЬЦЕ

Мы должны будем теперь вернуться к самому началу нашего рассказа, то есть к тому именно дню, в утро которого семейство князя Шадурского посетила Божья милость в виде подкинутого младенца.

Выйдя из будуара жены, князь тотчас же приказал закладывать коляску, оделся и поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша фон Шпильце жила в Морской, на одном из лучших ее мест. Она занимала большую, поместительную квартиру с немножко странным расположением и характером комнат. Тут были и зала с колоннами, и гостиная с изящнейшим камином, и великолепная лестница со статуями; и в то же время другая, тоже чистая лестница, только попроще, без швейцара, цветов и статуй, которая вела с другого подъезда в ту же самую квартиру. Только с этой уже стороны квартира генеральши фон Шпильце отличалась не изящно-аристократическим, но удобно-индустри-

альным характером — и именно была приспособлена к тем условиям, каких требуют так называемые chambres garnies[68]: темная прихожая, темный коридор, и не прямой коридор, а какой-то изломанный, который шел разными закоулками и зигзагами. Направо и налево по бокам этого коридора помещались разные двери, которые вели каждая в отдельную комнату, очень изящно меблированную разными драпри и весьма покойною, комфортабельною, мягкою мебелью. Каждая из них могла назваться не то кабинетом, не то будуаром, не то гостиной и вообще являла собою какой-то смешанный, но очень милый, удобный и привлекательный характер. На всем лежала печать роскоши, и опять-таки роскоши не аристократически-показной, а интимно-комфортабельной. Можно было бы подумать, что все это отдается внаймы разным лицам как обыкновенные chambres garnies, а между тем жильцов тут никогда не было; комнаты, очень тщательно прибиравшиеся каждодневно прислугою, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую. На этой последней

половине господствовала прислуга мужская, в ливрейных или черных фраках; вторая же половина оставалась под присмотром исключительно женщин. Три или четыре горничные, весьма миловидные, постоянно молчаливые, скромные и опрятно одетые в простые холстинковые платья, имели обязанностью прислуживать на этом отделении и содержать его в постоянной чистоте и опрятности. Генеральша самолично каждое утро делала осмотр всей своей квартиры, наблюдая, все ли в порядке. Она паче всего любила порядок. Прислуга ее, необыкновенно ловко выдрессированная, являла собою одну только несколько странную особенность: вся она, начиная от швейцара, отставного усача гвардейца, наряженного в ливрею, и кончая скромными горничными, при каждом посещении постороннего человека так пронырливо заглядывала ему в глаза, как словно бы прицеливалась, нельзя ли сорвать с него что-нибудь на чай. Вероятно, ее издавна приучили к этому сами же знакомые генеральши фон Шпильце.

Сама генеральша — особа лет тридцати пяти. Зовут ее — Амалия Потаповна. Это очень

полная, дородная дама, среднего роста, одетая всегда не иначе как в шелковое, шумящее, широкое платье. Лицо ее носит чуть заметные следы очень тонких косметик, а черты этого лица являют какой-то смешанный характер. Рыжие немецкие волосы, карие, жирные глаза в толстых веках, с еврейским прорезом, несколько вздернутый французский нос, крупные русские губы и слегка калмыцкие скулы — все это очень неправильное, хотя и характерное в отдельности, в целом являло собою отчасти соединение спеси с пронырливым лукавством и в то же время не было лишено не то что красоты, а так себе, известного рода приятностей и привлекательности, которые иногда очень ценят некоторые любители. Генеральша говорила на нескольких языках, но на всех дурно и с каким-то особенным, не совсем приятным акцентом, так что из разговора ее выходил какой-то винегрет, в котором, подобно кускам дичи и говядины, огурцов и картофелю, свеклы и прочей винегретной приправы, мешались между собою фразы и слова французские, немецкие и русские с еврейским оттен-

ком. Кто и что она, за каким генералом была замужем и когда, в какое именно время была — того никто не знал; знали только, что она — генеральша фон Шпильце и под этим именем испокон веку была всем известна. Как, и когда, и откуда она появилась на петербургском горизонте — это также для всех была темна вода в облацех; но казалось, как будто тоже испокон веку она пребывала в сем городе. Некоторые старожилы передавали, и то как темные слухи, что в начале двадцатых годов, то есть во времена своей первой цветущей юности, она пользовалась покровительством одной весьма важной и значительной особы, через что приобрела тогда, вместе с весом и влиянием, весьма большое состояние. Но что это была за особа, что за вес и влияние и каково состояние, благоприобретенное ею, — об этом никто и никогда не мог дать ясного, положительного ответа. Одни утверждали, будто генеральша фон Шпильце родом эльзасская француженка; другие говорили, что она рижская немка, а не то и чухонка; третьи — что она варшавская полька; четвертые подозревали в ней житомирскую еврей-

ку; пятые — нежинскую гречанку или женевскую швейцарку; шестые, наконец, выдавали за достоверный слух, что она, во-первых, дочь какого-то киргизкайсацкого хана, а во-вторых — симбирская дворянка. Как уж все это вязалось между собою и насколько присутствовала тут истина — сие только одному Господу Богу известно! Выходила же из всего этого загадочная, но всем известная личность, называемая генеральшей Амалией Потаповной фон Шпильце. И действительно, будучи не то немка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконец, русская — она соединяла в своей особе всего понемножку. Даже самое имя ее было какое-то смешанное: *Амалия* — и вдруг *Потаповна!* Казалось, как будто коренные представители всех национальностей собрались между собою и каждый бросил свою посильную лепту в общую сокровищницу, из которой и произрос столь замечательный фрукт, как генеральша фон Шпильце.

У ней была бездна знакомых. Серебряная плоская ваза, стоявшая на изящном мозаичном столике в ее гостиной, вечно была переполнена всевозможными визитными карточ-

ками. Тут мешались между собою карточки мужские и женские, мешались титулованные имена известнейших фамилий и сильных тузов мира сего — с тузами откупной, золотопромышленной и вообще финансовой колоды; карточка великосветской Дианы — с карточкой известнейшей блестящей лоретки; имена художников и артистов — с именами сынов Фемиды и Марса; фамилия строгого, нравственного отца семейства — с фамилией какой-нибудь темной личности, какого-нибудь известного шулера, афериста, шарлатана или chevalier d’industrie[69]. Словом, весь свет знал генеральшу фон Шпильце, и она весь свет знала.

Но приемных дней у нее не было. Каждый, у кого только имелась до нее какая-либо надобность, должен был делать ей визит и писать письмо, в котором испрашивал себе свидание. Тогда генеральша назначала особую аудиенцию, на которой и можно было изложить ей свою надобность. Вероятно, этих различных надобностей было достаточное количество, потому что генеральше приходилось давать ежедневно весьма много аудиенций.

Иногда случалось так, что она принимала с девяти часов утра до часу ночи — и всегда посетители один за другим сидели в ее приемной, приезжая каждый в заранее назначенный самою генеральшею час и ожидая, пока ливрейный лакей раскроет дверь и скажет: «Пожалуйте-с!» Иногда же случалось и так, что посетитель, входивший с парадного подъезда, по лестнице со статуями, выходил из подъезда непарадного, дабы избежать какой-нибудь отчасти неловкой или не совсем приятной встречи, что всегда очень обстоятельно умела предупреждать генеральша фон Шпильце. А для этого в том случае, если у нее находилась уже с визитом какая-нибудь особа, то о вновь прибывшем посетителе докладывал не лакей, как обыкновенно, а собственная горничная генеральши, которая подходила к ней, будто что-нибудь по хозяйству шептала ей на ухо. Генеральша, подумав и быстро сообразив, тоже шепотом отдавала горничной свои инструкции, которые та уже и сообщала официальному лакею. Круг ее деятельности был очень обширен и весьма разнообразен; она всегда была занята и потому очень

дорожила своим временем, избегая на аудиенциях лишних, посторонних слов и давая самые ясные и короткие ответы. У нее был великолепный повар, а в буфете всегда имелся большой запас самых тонких и дорогих вин, но обедов или ужинов генеральша никогда не давала и открытых вечеров не делала. У нее бывали иногда (если предстояла надобность) вечера интимные, маленькие, на которых присутствовали две-три, много четыре особы, которые сами, по своим надобностям, пожелали бы быть на таком вечере, уже заранее условясь с хозяйкою насчет избранного дня и часа. На больших вечерах и балах большого света генеральша никогда не показывалась; но инкогнито, в простые дни и вечера, карета ее очень часто останавливалась иногда у подъезда какой-нибудь великосветской львицы или строгой Дианы, недоступной и целомудренно-гордой в блеске общественной обстановки. В это время обыкновенно отдавалось приказание никого не принимать, что и было исполняемо швейцаром, весьма строго до тех пор, пока не кончался интимный визит. А если бы кто-либо из непринятых полю-

бопытствовал узнать, чей это экипаж стоит у подъезда, то заранее выдрессированный кучер генеральши отвечал лаконически: «господский» или, еще проще, ровно ничего не отвечая, посвистывал да глазел себе в сторону.

Генеральша была особа в своем роде весьма многозначительная. Ее все побаивались, показывали перед нею знаки глубокого уважения, и все почти, хоть раз в своей жизни, чувствовали в ней настоятельную надобность. Причина довольно простая: генеральша знала все тайны света, да и не одного только света, — тайны, какого бы рода они ни были, и мистерии целого города были известны ей в совершенстве. Разные семейные отношения, дела между мужем и женою, приязни и неприязни, стремления и намерения, образ мыслей и убеждения, аферы и проделки и, наконец, вся скандалезная потаенная хроника Петербурга — вот те богатства, коими обладала генеральша. Но при этом, надобно заметить, она решительно была лишена известной женской добродетели, называемой слабостью язычка. Сплетни или болтовни бес-

цельной, беспричинной никто никогда не слыхал из уст Амалии Потаповны: она знала-ведала про себя и никому не открывала своих сведений. Другое дело, если кому-либо представлялась настоятельная нужда в этих сведениях, тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать, разыскать, но и то не иначе как при сильных побудительных причинах, на которые бы могла рассчитывать наверное.

Какие нити, какие пружины употребляла она для всего этого, читатель узнает впоследствии, когда он более интимным образом познакомится с различными специальными отраслями многосторонней деятельности генеральши фон Шпильце.

XVI
РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Шадурский давно уже, еще до женитьбы своей, был знаком с Амалией Потаповной и неоднократно имел нужду в ее аудиенциях. Она даже очень благоволила к нему и выражалась о нем не иначе, как «князь Шатурски — das ist un vrai gentilhomme»[70]. Написав на своей визитной карточке, что имеет самую крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с швейцаром наверх к генеральше и минут через десять был принят.

— Вообразите, ко мне нынче утром подкинули девочку! — начал он, усаживаясь подле нее, как добрый и старый знакомый.

Амалия Потаповна ответ на это заменила кивком головы, который словно бы выражал собою: «так-с!..»

— Я очень не рад такому сюрпризу, — продолжал он.

— А то ж объявить до полиции, — предложила ему генеральша.

— Fi donc![71] — махнул рукою Шадур-

ский. — Рад не рад, а делать нечего: подкинули, так уж и позаботься о ребенке.

— O ja… aber das zeugt ihre edles Herz[72], — похвалила Амалия Потаповна, изъявляя ему знак благоволения рукою. — А то ж я вам буду находить un bonne nourrice pour cet enfant, s’il vous plaot, monsieur?[73] — предложила она.

— Нет, не то! Я бы вас попросил о другом, — возразил Шадурский.

— Ganz zu ihren Dinsten, ganz! ganz![74] — любезно поклонилась генеральша, которая, благоволя к Шадурскому «за его изящные манеры», иногда для него даже время свое на лишние слова расточала.

— Я его хочу отдать на воспитание в какие-нибудь хорошие руки и буду просить вас позаботиться об этом, — предложил он.

— А зачем нельзя? Хоть в минут! Не! cela est tout à fait possible pour moi![75] — согласилась генеральша.

— Чем скорее, тем лучше!

— И то правда! А какие кондиции ваши? — спросила она, принимая деловой тон, который вмиг и уж как-то невольно, сам собою появлялся у нее, чуть только разговор начинал

касаться денег, условий и т. п.

— Я вам дам единовременно десять тысяч, — говорил Шадурский, — распорядитесь ими для этого ребенка, как будет лучше, уж это вы сами знаете; а мне — чтоб уж больше никогда никаких забот и беспокойств не знать с ним, хоть и не слыхать о нем вовсе; десять тысяч, надеюсь, это слишком достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша.

— O ja! certainement[76], — согласилась фон Шпильце. — Но скажите, vous se soupçonnez personne?[77] — с подозрительной расстановкой добавила она.

— Personne, madam[78], — ответил, пожав плечами, Шадурский.

— Und haben sie nichts genört?[79]

— То есть насчет чего это? — переспросил он.

— Un petit scandale, que est arrive dans le grand monde…[80]

— Какой скандал? — притворился Шадурский, начав с первых же слов догадываться, в какую сторону клонит генеральша, в намерении выпытать от него что-нибудь подходя-

щее.

— Ах, так вы не слыхали? — равнодушно и рассеянно проговорила она.

— Ничего не слыхал, а что?

— Нет, а то ж так!

— Однако?

— Non, commerage![81] и говорить не стоит! — поспешила замять генеральша, видя, что он ничего еще не знает, и опасаясь, как бы не обмолвиться чем-нибудь лишним. «Пусть от других сплетни узнают, лишь бы от меня без нужды и без цели ничто не выходило» — было постоянным ее правилом.

Шадурский, оставшийся немало доволен тем, что она, по-видимому, не имеет на него никаких подозрений, в свою очередь тоже поспешил отклониться от дальнейшего разговора насчет скандала.

— Послушайте, Амалия Потаповна! по старой дружбе у меня к вам будет еще одна маленькая просьба! — сказал он с тем решительным выражением в лице и в голосе, с каким обыкновенно говорит человек, у которого долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или

неловкое и которого наконец, по пересилении самого себя, что называется, прорвало.

— Дело для меня очень близкое и интересное, — добавил он, стараясь говорить и небрежнее, и равнодушнее, чтобы смаскировать этим то маленькое волнение, которое заставило посильнее забиться его сердце от некоторой щекотливости предстоящей просьбы.

— Н-ну? — протянула генеральша, вытянув вперед свою мордочку.

— Я бы попросил вас разузнать кое-что... по секрету...

— Ага!.. je comprends... je comprends bien ça![82] — с живостью подмигнула ему Амалия Потаповна.

— Нет... да вы что думаете? — спросил Шадурский, который искал, как бы половчее объяснить ей свое дело.

— Eine Dame, glaube ich? jung und charmant?[83] — опять подмигнула генеральша.

— Нет, не совсем так... Мне бы, вот видите ли, хотелось бы знать... как вам сказать-то это?.. хотелось бы знать, *кто* интересовал

мою жену в нынешнюю зиму, — выговорил наконец Шадурский, стараясь принужденными улыбками смягчить смысл своей фразы и потупясь, чтобы не встретиться с взглядом генеральши.

Эта последняя действительно глядела на него во все свои толстые, изумленные глаза.

— Как!.. — воскликнула она, — aber sie selbst?[84] Такой прекрасный, красивый мужчин! Est-ce possible?[85]

Шадурский покраснел и еще более потупился. Ему окончательно стало неловко. Он закусил губу и пожал плечами.

— Non! vous vous trompez, monsieur![86] — сказала она решительным и разубеждающим тоном. — Я ж ничего не знаю, а я бы все знала, кабы что было... Et dans le monde on n'a jamais parle de cela! [87]

— Да в свете-то, может, и точно никто не знает, — согласился Шадурский, — но... я имею некоторые причины предполагать...

— Да! а то ж я и забыла! ведь вас не было по зиме! — домекнулась m-me фон Шпильце.

— Ну, вот то-то же и есть!.. Я не то чтобы из ревности... а так, собственно...

— Ah, oui! monsieur est un peu curieux! ich verstehe[88], — любезно поддакнула генеральша.

— Ну, понятное дело!.. — подхватил Шадурский. — Спросить ее самое, согласитесь, не совсем-то ловко: может быть, я и ошибаюсь; а между тем хотелось бы знать *кто*... Дело прошлое, — продолжал он, как бы оправдывая не то себя, не то супругу, — дело прошлое — и я нисколько не претендую... в наш век... тем более Жорж Занд... Вы понимаете!

— N-nu ja-a![89] понимай!

— Тем более что и сам я небезгрешен бывал иногда, — говорил князь, стараясь улыбаться и думая отговорками своими смягчить дело настоящей, голой истины — и перед генеральшей (как будто ее можно было провести этими смягчениями!), и перед своим собственным самолюбием. Его уж давно-таки помучивал вопрос: кто любовник жены? чем прельстил он ее — умом ли, красотой или положением? и не разыгрывает ли он, муж, перед ним комической роли благодаря незнанию своему? Впрочем, надо прибавить, что если бы в этом любовнике нашел он челове-

ка, равного ему по положению в свете, то смотрел бы сквозь пальцы на отношения жены, позволяя себе самому гласно делать втрое более для спасения своего самолюбия, и только потребовал бы, чтобы этот избранный не скомпрометировал перед обществом честь его имени, если не желает подставить лоб свой под дуло пистолета. Но в то же время нельзя не прибавить, что ревность оскорбленного самолюбия по временам испускала самовольные и ох какие болезненные крики в его сердце — крики, которые он старался заглушать, обманывая это же самое самолюбие тем, будто ему решительно все равно, что бы ни делала супруга, и что он почитает себя неизмеримо выше всего окружающего мира и потому смотрит на все презрительными глазами.

— Только ваше честное слово, что это умрет между нами! — прибавил Шадурский, побаивавшийся, чтобы генеральша как-нибудь при случае, под рукой, не сболтнула кому о его просьбе и о том обстоятельстве, которое ее вызвало.

Генеральша даже обиделась при этом. И в

самом деле, зачем ей болтать в ущерб своим собственным интересам?

— Я надеюсь на вас, по старой нашей дружбе! Вы узнаете обо всем подробнее и обстоятельнее, понимаете? — сказал он заискивающим и ласковым тоном.

Генеральша покивала головой и с нежной сентиментальностью посмотрела на Шадурского.

— O, si j’etais votre femme![90] — вымолвила она со вздохом.

— Так что ж бы? — спросил князь, видя, что она приостановилась и не договаривает.

— Je vous aurais aimé! je vous serais fidèle...[91] — томно и тихо проговорила она, покачивая в лад головою, и в заключение опять вздохнула.

Шадурский молча поклонился; но вдруг, сообразив, что эта струнка может быть ему также полезна, вскинул на генеральшу такой взгляд, который очень красноречиво говорил: «А почем знать? быть может, оно еще и будет так!»

Генеральша очень скромно, но кокетливо улыбнулась на это...

Для читателя сомневающегося — если бы такой нашелся — мы не можем от себя прибавить, что Шадурский не был первый, да не он и последний, а очень, очень много весьма солидных мужей не раз обращались к генеральше с подобными поручениями.

— Итак, вы постарайтесь же обделать; я буду очень, очень благодарен, — сказал князь, подымаясь и глядя на свои часы. — А что касается до подкидыша — так горничная жены привезет его к вам, в моей карете, часа через полтора.

— S’gu-ut![92] — протянула Амалия Потаповна.

— Сегодня же я и пакет с деньгами привезу вам! — присовокупил Шадурский, дружески пожимая ее мягкие, потные руки.

— Sehr gut! — повторила генеральша. — Mais envoyez seulement la voiture nach andren [93] подъезд, — присовокупила она с улыбкой, подмигнув ему глазками, как человеку, которому таинственная роль этого «andren» подъезда была уже давно и очень коротко знакома.

«Теперь бы надо к *ней* заехать: успокоить

там, что ли… Она писала, а я не собрался еще ни разу, — размышлял сам с собою Шадурский, медленно проходя мимо лестничных статуй. — Неприятно, черт возьми; ну, да один-то раз куда ни шло! Только то скверно, что экипаж открытый: неравно увидят еще как-нибудь… Разве во двор приказать ему там въехать?» — думал он, садясь в коляску и справляясь по письму княжны Анны об адресе ее тайного приюта.

Его сиятельство, тридцатисемилетний муж и соблазнитель, сей гордый, демонический Чайльд-Гарольд российский, — стыдно сказать! — чувствовал теперь какой-то школьнический, заячий страх за свою романическую проделку.

На Невском проспекте с ним поравнялся один из известнейших вестовщиков большого света и, грациозно послав ему рукою воздушный поцелуй, поехал, не отставая, рядом.

— Une grande nouvelle![94] — кричал он Шадурскому. — Вы не слышали?

— Что такое?

— Как! Вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандале?

— Ничего…

— Мой Бог! Об этом говорит уже весь свет… Это — вещь небывалая!..

— Что же такое?

— La jeune princesse Tchetchevinsky…[95]

— Ну?

Сплетник, вместо ответа, сделал руками несколько пантомимных, очень выразительных и понятных жестов.

— Что за вздор! этого быть не может! — с улыбкой возразил Шадурский, хотя сердчишко его и сильно-таки екнуло при этой пантомиме.

— Mais… Comment[96] быть не может?! Говорят, будто есть особы, которые читали даже письмо ее к своей матери, и предерзкое, пренепочтительное письмо! Pauvre mère! elle est bien malade pour le moment![97] Это ее убило!

— Кого же обвиняют в этом? — спросил Шадурский.

— Voilà une question![98] Конечно, княжну! Помилуйте. Ведь это кладет пятно не только на семейство, mais… même sur toute la noblesse![99] Это… это une femme tout-à-fait perdue![100] О ней иначе и не говорят, как с

презрением; с ней никто более не знаком, ее принимать не станут!..

— Oui, si cela est vrai…[101] конечно, так и следует! — с пуристическим достоинством римской матроны проговорил Шадурский, трусивший в душе от всех этих слухов и убежденный в эту минуту, что действительно так следует. — Et qui suppose-t-on être son amant?[102] — спросил он.

— Вот в том-то и загадка, что не знают. Во всяком случае, это — подлец! — заключил благородный сплетник.

— О, без сомнения! — подтвердил Шадурский. А сердчишко его снова сжалось и екнуло при этом роковом слове.

— Но у нее есть брат; он, вероятно, разыщет. C’est une affaire d’honneur[103], — продолжал сплетник.

— Что же, дуэль?

— Или дуэль, или пощечина!

Шадурский даже побледнел немного, несмотря на свое образцовое умение и привычку владеть собою и скрывать свои настоящие чувства.

— Du reste, adieu![104] Мне в Караванную!

Еду к баронессе Дункельт — узнать, что там говорят об этом, — заключил сплетник и, послав Шадурскому еще один воздушный поцелуй, скрылся за поворотом на Караванную улицу.

— Пошел домой! — закричал между тем этот своему кучеру.

Кучер, получивший за пять минут перед тем приказание ехать в Свечной переулок, остался очень изумлен столь неожиданным поворотом дела и, не вполне на сей раз доверяя своему слуху, обратил вопросительную мину к своему патрону.

— Пошел домой, говорю тебе, скотина! — закричал этот последний, вероятно торопясь сорвать на кучере бессильный гнев свой за слово «подлец», произнесенное сплетником.

Возница тотчас же повернул лошадей в обратную сторону.

«Вот так-то лучше будет», — подумал Шадурский, и через несколько минут коляска остановилась перед подъездом его собственного дома.

— Можешь откладывать: я больше никуда не поеду сегодня! — обратился он к кучеру и

скрылся в дверях не без внутреннего удовольствия за счастливую встречу и за все предыдущее поведение с княжною, которое отклоняло всякое подозрение от его ничем не запятнанной личности.

XVII
ДВЕ ПОЩЕЧИНЫ

Шадурский прямо прошел на половину жены. Он хотел сообщить ей, что участь подкидыша обеспечена, полагая в то же время найти у нее своего управляющего, г-на Морденко, который ежедневно являлся с отчетами и докладами — утром, в девять часов, к князю, а в первом или в начале второго — к самой княгине. Она с некоторого времени вообще стала интересоваться делами. Шадурский намеревался взять у Морденко десять тысяч, обещанные им генеральше.

Быстрыми и неслышными в мягких коврах шагами подошел он к дверям будуара, распахнул одну половину и вдруг окаменел на минуту, пораженный странным и неожиданным дивом...

Супруга его лежала в объятиях г-на Морденко.

Князь, не двигаясь с места и не спуская с них холодного взора, в котором тускло засвечивалось какое-то ледяное бешенство, стал натягивать и застегивать на пуговку свою палевую перчатку, которую, подходя к будуару, уже стянул было до половины руки.

Княгиня, пораженная еще более, чем муж, в первую минуту дрожала всем телом, приникнув к диванной подушке и закрыв лицо своими бледными тонкими руками. Морденко, ошалелый и немой от страха, глядел во все глаза на это, по-видимому, хладнокровное, застегивание перчатки, тогда как рука его машинально и неудачно искала на краю стола принесенные к докладу бумаги. Это был высокий, несколько сутуловатый и сангвинически-худощавый мужчина лет сорока, породистый брюнет, с бронзово-бледным, энергическим лицом и глубокими темно-карими глазами.

Застегнув наконец свою пуговку, князь подошел к нему медленными шагами и с размаху дал сильную и звонкую пощечину.

— Вон, животное!.. — тихо прошипел он, скрежеща зубами. — Сегодня же сдать все дела и чтобы к вечеру духу твоего тут не было!.. Вон!

Уничтоженный, убитый и перетрусивший Морденко отыскал наконец свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочках вышел из будуара.

Князь затворил за ним двери.

— Хоть бы это-то из предосторожности сделать догадались! — укоризненно посоветовал он, кидая на жену убийственно-презрительный взгляд.

Княгиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь от своей подушки.

— С кем?! с хамом... с холуем... с лакеем!.. И это — русская аристократка! — шипел он задыхающимся голосом.

На этих словах, видно уж чересчур задетая за живое, княгиня словно очнулась и, стремительно вскочив со своего дивана, ринулась к мужу.

— Tu vois par là, miserable, ce que tu as fait de ta femme! Tu es un lâche![105] — злобно про-

рыдала она, с наглым трагизмом потрясая руками своими в самом кратчайшем расстоянии от физиономии князя. Это была единственная и как будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись.

Тому это показалось уж чересчур отвратительно. Он позабыл себя от бешенства, и вдруг, в ответ на укоризненное восклицание княгини, раздался хлесткий звук новой пощечины.

Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на пол...

Шадурский с минуту постоял над нею, молча и холодно глядя на ее рыдания, и тихо вышел из будуара. Он уже успел овладеть собою.

— Сними с меня эту перчатку! — спокойно и твердо сказал он лакею, войдя в кабинет.

Тот аккуратно исполнил это экстраординарное приказание.

— Брось ее в огонь! — сказал он еще более равнодушным тоном — и лайка тотчас же затлелась в пламени камина.

Князь чувствовал, что он «разыграл хорошо», что он должен быть необыкновенно эф-

фектен и величествен в эту минуту.

Жалкий человечишко!.. он рисовался перед самим собою своим quasi[106] байроническим демонизмом.

XVIII
КНЯЗЬ И КНЯГИНЯ ШАДУРСКИЕ

Князь Дмитрий Платонович Шадурский и супруга его, княгиня Татьяна Львовна, были уже шестой год женаты. Супружество их могло назваться вполне приличным супружеством. В официальных случаях, когда того требовали обстоятельства, они являлись в свет вместе или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и с самой безукоризненной полнотою все условия, каких требовали этикет и понятия той жизни, в замкнутом кругу которой они вращались. Князь всецело представлялся солидно-вежливым почтительным мужем; княгиня — уважающей своего мужа супругой. Никогда ни малейшего косого взгляда или слова, которые, вырываясь иногда почти невольно из надсаженного сердца, могли бы хоть как-нибудь, хоть чуть заметно

обнаружить их истинные чувства! Друг о друге они относились всегда не иначе как с полным уважением — с уважением, заметьте, но не с любовью: настолько они имели ума и такта, чтобы не «изъявлять» любви своей. Да, впрочем, любви-то никакой у них и не было. Взамен ее было уважение к внешнему супружеству: князь уважал жену потому, что она носила его имя; княгиня, не уважая князя, уважала самое имя, которое отнюдь не позволила бы себе скомпрометировать перед светом. Свет — это фиктивное понятие, между прочим, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин, принадлежащих к нему, они считают светом тот замкнутый круг общества, который организовался здесь, на месте, в Петербурге или в Москве. Авторитет и сила этого света действительны и могучи только на месте. От этого очень часто происходит то, что целомудренные Дианы в Петербурге — перерождаются в шаловливых Киприд в Париже; но, по возвращении, непременно делаются опять целомудренными Дианами — по крайней мере по внешности представляют себя таковы-

ми своему свету.

О княгине пытались кое-что сплетничать, но это были сплетни глухие, темные, не имевшие никакого действительного основания, — и потому им не давали ходу, о них не думали, на них не обращали особенного внимания, считая их только сплетнями, и наконец скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своим внешним поведением не подавала к ним ни малейшего повода: она никого не отличала, никому не давала предпочтения — напротив, была решительно со всеми ровна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать в любовники. У князя Дмитрия Платоновича были кое-какие грешки и по части актрис, и по части Диан; но и те и другие, как человек солидный и опытный, он умел окутывать достодолжно-приличным флером. О его грешках иногда интимно поговаривали в том тоне, который мог только приятно щекотать его ловеласовское самолюбие, и никогда никто не заикался в тоне оскорбительном или компрометирующем. На эти грешки смотрели как на легкие и милые шалости, которые за кем же из мужчин не во-

дятся! Главное дело в том, что все формы внешнего приличия отменно были соблюдаемы этою четою, вся внутренняя, домашняя сторона медали отменно скрывалась ими от посторонних глаз, и потому их все уважали, все были довольны, и они сами также были довольны своею внешнею, показною стороною.

Князю Шадурскому пошел уже тридцать восьмой год, княгине — двадцать пятый. Он женился сильно уже поистраченный и поистертый заграничною жизнью; она вышла за него с силами еще довольно свежими; только румянец начинал немножко блекнуть от бессонных ночей, которые она проводила на балах, танцуя до упаду. Татьяна Львовна более всего на свете любила балы и танцы. Князь был хорош собою, и она могла назваться красавицей. Оба были блондины: князь — более с рыжеватым отливом, княгиня — с оттенком пепельным. Он свою блазированную физиономию очень успешно старался устроить на английский покрой; физиономия княгини, когда она была девушкой, напоминала эфирного, непорочного ангела, а когда сделалась

дамой — выражение невинности сменилось характером гордой и недоступной Дианы. И то и другое было вполне прекрасно. Она в раннем детстве была увезена за границу, нарочно для того, чтобы там воспитываться, и возвратилась оттуда восемнадцати лет, ни слова не разумея по-русски, так что когда выходила замуж, то должна была скопировать русскую подпись своего имени для внесения в церковную книгу. Все знания ее в русском языке простирались только до двух-трех молитв, смысла которых она не понимала, а тараторила в долбяжку, как попугай ученый. Впрочем, знала еще слова: caracho, strastouy и kacha[107]. Когда во время венчания поп спросил ее обычно-формальной фразой: «Не обещалась ли еси другому?» — то Татьяна Львовна так странно и бессмысленно поглядела на него, что шафер поспешил ей подшепнуть на ухо: «Нет», и невеста, долго не могшая совладать с этим односложным звуком, наконец с большим усилием выговорила: «niette». Однако в три года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку и выражалась на нем с книжной отчетливостью в звукопро-

изношении, как истая иностранка, которая по книгам выучилась говорить по-русски. Впрочем, с годами княгиня делала все более и более успехов.

С первого появления своего в свете, тотчас по приезде из Италии, она произвела необыкновенный фурор, бывши сразу же всеми замеченной и оцененной по достоинству. Многие матушки смотрели на нее с завистью, юные и девственные их дочери — с завистью еще большей: первые боялись за отбой женихов, вторые ненавидели опасную и первенствующую соперницу. Молодые дамы приняли ее под свое милостивое покровительство, впрочем, до тех пор, пока она оставалась девушкой. С выходом замуж роли переменились: матушки сделались равнодушны, дочки преданны, а сверстницы-дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, из которых десятка два, если не больше, были влюблены в нее без памяти, все без исключения остались ее поклонниками, как до свадьбы, так и после свадьбы, если даже не усилили свое поклонничество после этого обстоятельства. Почтенные старички, старцы и

старикашки не менее молодых людей изъявляли Татьяне Львовне свое благоволение, а с тех пор, как она надела на себя чепец, очень любили разговаривать с нею о предметах немного игривых, причем масляно улыбались и даже облизывались. Татьяна Львовна, с своей стороны, относилась весьма благосклонно к этим невинным обожателям и также любила разговаривать с ними об игривых предметах. Это было единственное преимущество старцев перед молодежью.

Сердце Татьяны Львовны, по приезде в Россию, пребывало свободным и ничем не заинтересованным: она оставила его в Милане одному молодому итальянскому графу — по крайней мере ей самой так казалось. Из соотечественников влюбленных и невлюбленных никто не удостоился чести быть замеченным ею. Князь Шадурский, однако, не был влюблен, даже и увлечен-то не был нисколько, а женился так себе, почти ради того, чтобы насолить благоприятелю. Татьяну Львовну любил до безумия один флигель-адъютант, лучший представитель военного дендизма того времени, молодой, красивый, пылкий,

отличный и ловкий вальсёр, недурной каламбурист, добрый товарищ и любимец весьма многих особ прекрасного пола. К сожалению, при довольно круглом состоянии, он был человек без громкого титула, а просто старый дворянин и вдобавок еще с вульгарной, плебейской фамилией — Еремеев. Несмотря, однако, на незвучную, беститульную фамилию, он, благодаря своим внешним блистательным качествам, с гордым достоинством и честью носил титул великосветского льва. Военная молодежь решительно ставила Еремеева для себя образцовым и почти недосягаемым идеалом, учась у него носить аксельбанты и перенимая изящные манеры, вместе с изящным покроем сюртуков. Если m-sieur Еремеев был лев военный, то князь Шадурский вполне имел право считать себя львом гражданским. Поэтому последний ненавидел в душе своего соперника и, дружески пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю, не упуская ни малейшего случая насолить и напакостить доброму приятелю. Видя, что Еремеев страстно влюблен в Татьяну Львовну и, того гляди, сделает

ей предложение, Шадурский решился перегородить ему дорогу. Достав себе, за два бала вперед, мазурку молодой красавицы, он успел своим напускным байронизмом и оригинальничаньем блестящей болтовни остановить на себе несколько ее внимание. Затем — в остальную половину мазурки — с десяток ловких, метких и довольно ядовитых фраз насчет Еремеева, брошенных мимоходом, успели за минуту сделать последнего смешным в глазах Татьяны Львовны, так что когда он, после ужина, явился ангажировать ее на тур вальса — Татьяна Львовна, поймавшая в этот самый миг тонко-иронический взгляд Шадурского, отказала m-sieur Еремееву. Засим, дня через четыре, в мазурке же, князь сделал ей предложение и... она обещалась подумать.

Это чистое эфирное создание, этот неземной, обаятельно-идеальный ангел на деле был весьма практически расчетлив. Ангел сообразил, что, во-первых, надо же выйти замуж, чтобы пользоваться свободой независимого положения, а во-вторых — через родителей и посторонних, не— светских людей навел некоторые необходимые справки, по ко-

торым оказалось, что состояние Шадурского гораздо круглее состояния еремеевского, и, в-третьих, наконец, несравненно привлекательнее быть княгиней Шадурской, чем m-me Еремеевой. Два последние обстоятельства решили выбор Татьяны Львовны — и через два с половиной месяца хор конюшенных певчих гремел ей «Гряди, голубице».

Еремеев не дождался этого хора: он как только узнал о помолвке, так тотчас же перечислился в армию и через неделю уехал на Кавказ.

Шадурский торжествовал и весь сезон был необыкновенно доволен собою. Да и было чем: во-первых, победил Еремеева и в лице его всю влюбленную великосветскую молодежь, а во-вторых — сделался мужем и обладателем прелестнейшей и блистательнейшей женщины, которой все удивлялись, сходили с ума, завидовали и о красоте которой говорил целый город. Какова пища для его чуткого самолюбия!

Не далее, однако, как через полгода обнаружилась обоюдная холодность молодых супругов, и они же сами первые заметили это.

Ну и ничего: заметили и разошлись, каждый в свою сторону, как кому было удобнее, определив, впрочем, раз навсегда свои условные отношения перед глазами света, о чем мы уже сказали несколько выше.

Князь Дмитрий Платонович жуировал по сторонам, под известным только флером приличия и скромности, и не обращал решительно никакого внимания на жену свою как на женщину. Это ее сначала бесило. Она чувствовала, что хороша собою и молода и богата страстною жаждою жизни, любви, наслаждения, и между тем остается одна и все одна, без всякого удовлетворения этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело, она плакала и не раз-таки вспоминала вульгарную фамилию так романтически влюбленного в нее Еремеева. Вскоре у нее родился сын — князь Владимир Шадурский, но это обстоятельство нимало не возвратило к ней сердце мужа и только самое ее развлекло на некоторое время, чтобы через несколько месяцев потом дать еще больший простор тоске и скуке и этой неудовлетворенной жажде переживать свои юные силы. Более четырех лет дли-

лись скрытые страдания молодой, покинутой мужем женщины. Тщеславие Шадурского было вполне удовлетворено женитьбой — чего еще требовать от него? Любви? Но разве мог он дать то, чего у него никогда и не бывало? Достаточно и того, что он дозволил себе увлечься на некоторое время. Маленькая ревность и маленькие сцены, которые выводила ему сначала супруга, сделали только то, что она ему окончательно надоела. А он к тому же еще так любил напускать на себя чувство неудовлетворенности, так любил показывать, что ему все надоедает в жизни, что все находит он пошлым и ни к чему привязаться надолго не может. Найти себе «друга» весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на «дружбу» молодежи; но тут-то искать не хотела Татьяна Львовна. Она знала, что все друзья этого рода на язык невоздержанны и на самолюбие отчасти щеголевато-хвастливы; что при случае, после нескольких бутылок вина в приятельской беседе, ни за одного из них, пожалуй, нельзя бы было поручиться, что он вдруг, par hasard [108], не скомпрометирует как-нибудь имя

тайной дамы своего сердца. А княгиня пуще всего дорожила своим именем. Она наконец обратила внимание на мужнина управляющего, г-на Морденко. Энергически красивый плебей (он был из вольноотпущенных отца Шадурского) занял прочное место в сердце княгини. Темный, никому не известный человек, ничтожный управляющий, он поневоле должен быть скромен; лета его давно перешли тот возраст, когда человек любит болтать о своих победах, — значит, похвастаться своими отношениями ему негде и некому, да и небезопасно в рассуждении управительского места. По всем этим соображениям княгиня нашла, что его можно приблизить к себе, — и Морденко всегда оставался глубоко почтителен с нею. Как умный хохол и как человек, прежде всего зашибающий копейку, он понимал, что положение его и очень выгодно, и вместе с тем очень шатко. Поэтому, будучи всегда беспрекословно покорен воле и желаниям своей патронессы, он был крайне осторожен, и одна только случайность — и то по вине самой княгини, слишком стремительно бросившейся к нему навстречу, — сде-

лала возможным такое неожиданное и неприятное столкновение, какое произошло у них с князем Шадурским. Татьяна Львовна, переродившаяся по прошествии четырех лет совсем уже в практическую, ловкую и опытную барыню, умела хорошо скрывать свои отношения, которые особенно укрепились во время отсутствия мужа в деревню. Некоторые услужливые руки из деревенской дворни нашли нелишним сообщить матушке барыне-княгине о грехе или — что то же — о «байроническо-сельском» романе ее мужа. Таким образом, Татьяна Львовна знала про связь супруга своего с княжною Чечевинскою, тогда как этот последний и не догадывался об отношениях ее к г-ну Морденко и только тогда убедился в существовании какой-то связи, когда увидел уже несомненные признаки беременности своей жены. Но... он мог представить себе все что угодно, только не г-на Морденко!

Татьяне Львовне пошел между тем восьмой месяц; однако положение ее было заметно только трем человекам: Морденке, камеристке мамзель Фанни и князю Дмитрию

Платоновичу Шадурскому.

XIX

НЕОЖИДАННОЕ И НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЙ ПОЩЕЧИНЫ

Приняв дела от Морденки, причем во время сдачи разговоры ограничивались только самыми необходимыми деловыми фразами, князь Шадурский мрачно ходил по своему кабинету и с досады беспощадно грыз свои прекрасно обточенные розовые ногти. Стыд, презрение, злоба и ревность одновременно сосали теперь его сердце. Целый день он не выходил из кабинета и даже обедать не садился. Однако подкидыша не забыл отправить в карете, со всеми достодолжными инструкциями, к генеральше фон Шпильце.

Был уже час одиннадцатый вечера, когда в кабинет вошел лакей и объявил Шадурскому, что княгиня изволят просить их пожаловать к себе.

— Хорошо... пошел вон! — проговорил князь и направился было к дверям, но вдруг

подумал и вернулся назад.

Через четверть часа — новый посланный, который получает тот же ответ. Но Дмитрий Платонович на сей раз уже не направляется к дверям, а продолжает себе из угла в угол шагать по комнате. Он твердо решил не сдаваться ни на мольбы, ни на убеждения и потому положил не ходить к супруге. «Все кончено между мной и этой женщиной! и только для света мы — муж и жена!» — мысленно решил он сам с собою, не без наслаждения предаваясь рисовке мрачного трагизма. Прошло еще минут десять — и на пороге кабинета, из-за тяжелой портьеры, показалась сама княгиня. Бледная, больная, с покраснелыми и припухшими от слез глазами, нетвердо вошла она, шатаясь, в комнату и в изнеможении опустилась на кресло.

— Что вам угодно? — сухо, но вежливо спросил князь.

— Я очень дурно себя чувствую, — с усилием проговорила Татьяна Львовна.

— Тем хуже для вас! — ядовито улыбнулся он.

— И для вас столько же: я чувствую, что

должна буду выкинуть.

Шадурский опешил.

— Как!.. но это невозможно!.. — бормотал он, совсем растерявшись от этого нового сюрприза.

Княгиня тоже улыбнулась на сказанную им глупость.

— Я чувствую, говорю вам! — подтвердила она. — Я пришла спросить: угодно вам, чтоб это все здесь, у вас в доме, произошло?

— Боже сохрани! Как можно в доме? — испугался Дмитрий Платонович.

— Так везите же меня куда-нибудь, — твердо и настойчиво порешила княгиня.

— Но как же это?.. куда?.. я, право, не знаю... — говорил он, в недоумении стоя перед женою.

— Вы, кажется, теряетесь еще больше меня! Стыдитесь! Мужчина! — с злобным презрением проговорила Татьяна Львовна.

Князь действительно во всех почти экстренных случаях жизни, если только они производили на него угрозливое или страшливое впечатление, мигом терял присутствие духа и из гордого аристократа Чайльд-Гарольда

становился мокрой курицей. Однако последнее замечание жены не шутя задело его за живое.

— Извольте, я готов; только куда прикажете? — спросил он, оправившись и даже встряхнувшись немного, почему немедленно же принял опять свой прежний сухой и вежливый тон.

— Куда прикажете! Понятное дело, к акушерке какой-нибудь! — пояснила жена, начинавшая уже терять терпение.

Князь вспомнил о Свечном переулке — и весь демонизм его тотчас же возвратился к своему хозяину. По правде-то сказать, впрочем, он и не знал, куда б иначе кинуться, если бы не Свечной переулок. Бегать по городу и отыскивать самому ночью какую-нибудь акушерку было бы более чем неудобно, да и рискованно в отношении времени для больной. И потому тут ничего уже больше не оставалось делать, как только остановиться на Свечном переулке, давши затем полную волю разыгрываться своему демонизму.

«В довершение всего только этого недоставало! — думал он, пуская на губы мефисто-

фельски-ироническую улыбку. — Недоставало только свести этих двух женщин под одною кровлею… и где же?.. в каком месте?.. Вот случай-то с его игрою!.. Вот она где настоящая-то ирония судьбы!» — заключил он мысленно и с той же улыбкой прибавил вслух:

— Извольте идти одеваться — через десять минут карета будет готова.

Княгиня поблагодарила наклонением головы и холодно вышла из кабинета. Она вполне поняла сего Чайльд-Гарольда и потому презирала его. Впрочем, и Чайльд-Гарольд не оставался в долгу: он тоже презирал супругу за г-на Морденко.

А что, если бы на месте этого г-на Морденко был кто-нибудь другой, вроде титулованного камер-юнкера или флигель-адъютанта? Ведь князь, пожалуй что, и не презирал бы тогда свою супругу?

Даже наверное не презирал бы, осмелимся уверить мы сомневающегося читателя.

— Есть у вас свободная комната? Я привез больную, — вполголоса и почти шепотом говорил князь востроносенькой немецкой жен-

щине в белом чепце, боясь, чтобы голос его не услышала как-нибудь княжна Анна. Демонизм и игра в герои все-таки не мешали ему потрухивать неприятного столкновения.

Удобная запасная комната отыскалась тотчас же на противоположном конце от той, которую занимала княжна Чечевинская. Князь высадил из кареты жену свою и под руку ввел ее в предназначенную горницу.

— Бога ради, только поскорей! Употребите все зависящие от вас средства, чтобы это скорее кончилось! — шепотом упрашивал он востроносенькую немку и, осторожно выйдя в смежную комнату, закурил сигару и преспокойно уселся на диван дожидаться финала всей этой истории.

Прошло часа три. Князь починал уже третью сигару. У него было очень скверно на душе, ибо там боролось чувство оскорбленного самолюбия (в самом деле, неприятно мужу находиться в подобном положении у акушерки) и чувство страха за возможность столкновения с княжной, боязнь, чтобы все это как-нибудь не раскрылось, не было узнано в свете, боязнь титула почтенного рогоносца, —

словом, князю было очень нехорошо. Его по временам била дрожь нервной лихорадки, в особенности когда страдальческие вопли жены становились громче и, стало быть, слышнее в других комнатах серенького домика. Мимо него раза два прошмыгнула востроносенькая немка и раз пять ее помощница. При каждом скрипе отворявшейся двери Шадурский вздрагивал и, весь обданный жаром, тревожно вскидывал глаза на роковую дверь. Немка мимоходом бормотала ему что-нибудь успокоительное, и Шадурский, по уходе ее, повергался в прежнее состояние внутренней борьбы вышеозначенных чувств, боязней и соображений до нового неожиданного стука дверной ручки. Утомленный всеми этими ощущениями, он уже впадал в легкое забытье. Окружающая обстановка комнаты с немецкими литографиями в рамках, стоны жены, вспоминание всего случившегося в этот день, княжна, Морденко, акушерка, фон Шпильце, подкидыш — все это мешалось между собою и сливалось в какие-то отрывочные, мутно-неопределенные образы; пальцы его уже слабели, бессознательно еще кое-как

удерживая потухшую сигару; нервно-нойное, болезненное чувство под ложечкой тоже смирялось и затихало, подобно больному зубу перед усыплением, — как вдруг скрипнула дверь...

Князя будто кольнуло что: он вздрогнул, очнулся и поднял глаза.

На пороге стояла княжна Анна. Колебавшееся пламя свечи, которую держала она, кидало неровный отсвет на ее бледное, встревоженное лицо. Сквозь ночной белый шлафрок видно было, как дрожали ее руки, как тревожно волновалась грудь. Она увидела князя — и, Боже мой, чего только нельзя было прочесть на этом любящем, страдающем лице в одно только мгновение! Тут было и удивление, и безотчетный порыв к нему, и страх, и надежда, и гордое чувство матери, и радость свидания, и горький упрек за невнимание, за равнодушие — много и сильно говорило это лицо, эти глаза, эта улыбка.

— Дмитрий... Бога в тебе нет! Можно ли так забыть, оставить меня!.. Дмитрий!.. Милый, ненаглядный... Ты видел ее... видел... нашу девочку, дочку нашу? — лепетала она об-

рывавшимся от волнения голосом, кинувшись к князю и, как слепая, трогая, ощупывая его руками, словно бы хотела убедиться — точно ли это он стоит перед нею?

Князь, бессознательно вскочивший с места при ее появлении, как провинившийся школьник, стоял неподвижно — смущенный, озадаченный, растерянный до последней крайности. Он не мог собраться с мыслями, не мог сказать ни одного слова. А тут еще из соседней комнаты обличающие стоны жены раздаются. Он струсил и искренне желал провалиться сквозь землю.

— Что же ты не приезжал ко мне?.. Ведь я одна, совсем одна, пойми ты это!.. Я ведь измучилась, ждавши тебя, — продолжала лепетать больная, не замечая, от наплыва своих ощущений, этого неподвижного смущения и холодности князя. — Мне так хотелось видеть тебя, взглянуть бы только на тебя, слово услышать — ведь мне тяжело, невыносимо... я как в лесу, ничего тут не знаю... А ты — хорош, и не едешь, и слова не напишешь!.. Ну, да я не сержусь теперь... я не сержусь... Я люблю тебя... Я — мать. Ну обними, ну поцелуй

свою Анну!.. целуй меня — теперь ведь мы одни с тобой. Да что же ты стоишь? Что это с тобою? Дмитрий, что с тобою?.. — отшатнулась она через минуту, с изумлением вглядываясь в смущенную фигуру опешившего князя, ни одним словом, ни одним взглядом и движением не ответившего сочувственно на ее беззаветно-искренний порыв.

— Княжна... извините... я не один, я не один... Уйдите... нас могут увидеть... уйдите, княжна... — бормотал он, кое-как собравшись с силами. Слова дрожали, путались на его языке.

— Княжна... уйдите... Да что это с тобою, Дмитрий, что это за слова ты говоришь?.. Господь с тобою, опомнись!.. — еще порывистее отшатнулась Анна, глядя во все глаза на Шадурского.

— Уходите же, Бога ради, я вас прошу!.. — настаивал между тем тот, стараясь отвести от себя ее протянутые руки... — Вы забываетесь... нас увидят... что могут подумать?..

Перетрусивший Чайльд-Гарольд говорил уже окончательные глупости, которые какими-то проблесками мелькали у него в голове

и сами собою, бессознательно как-то, подвертывались на язык.

— Так это-то твой привет матери твоего ребенка? — проговорила она по видимому спокойно, однако в сущности с колюче-горьким чувством в душе.

— Я не один... я не один здесь, — повторял князь, со страхом озираясь на дверь, из которой каждую минуту могла появиться акушерка.

— А! ты не один здесь?.. Да, я слышала!.. я по голосу узнала ее... по этим крикам догадалась, что это — ваша жена, — говорила княжна все тем же наружно-ровным и спокойным голосом.

У князя все лицо передернуло, словно от внезапной ожоги. Этого-то только он и боялся... «Черт возьми, узнала!.. Стало быть, не скроется... стало быть, узнают все!» — мелькало у него в голове — и это мелькание прожигало мозг, вызывало краску стыда и хватало за сердце. Паче всего князь страшился, чтобы не пронюхали как-нибудь скандала с его законной супругой.

— Стало быть, кончено. Все кончено между

нами. Покорно благодарю, что вы наконец-то раскрыли мне глаза... Жаль, что поздно немного... Ну, да все равно! Теперь я хочу знать, где мой ребенок, что сделали вы с моим ребенком? — спрашивала княжна уже строгим и холодным тоном.

— Завтра... завтра все узнаете... завтра я напишу... заеду... только уйдите, умоляю вас!.. Уйдите же! — почти крикнул он, выведенный наконец из себя своим отчаянным положением. Он боялся также, чтобы немка не застала его вместе с княжною и чтобы через это не открылся настоящий виновник беременности этой девушки.

Княжна холодной и презрительно-страдательной улыбкой встретила его отчаянную выходку.

— Вы очень боитесь моей встречи с княгиней Шадурской? — не без иронии спросила она. — Извольте. Я вас избавлю от нее. Можете быть покойны: того, что происходит с нею в той комнате, через меня никто не узнает: я честнее вас.

Анна направилась к двери. Шадурский на цыпочках шел за нею, стараясь выпроводить

поскорее неприятную гостью. В коридоре, куда вышел вместе с княжною, притворив за собой дверь, он почувствовал некоторое радостное спокойствие: «Наконец-то, слава тебе Господи, счастливо отделался и, кажись, — навсегда». Тут уже, видя, что главная беда почти миновала, ему вдруг захотелось немножко порисоваться с романической стороны, хоть чем-нибудь скорчить из себя порядочного человека, хоть как-нибудь сгладить гнусное впечатление последней сцены.

— Прости... прости меня, Анна! — нарочно поглуше и подраматичнее прошептал он, стараясь схватить руку девушки.

Она увернулась от князя и отвела его руку.

— Бог с тобой, Дмитрий! — прорвалось у нее рыдание. — Я твоего зла не хочу помнить... Только дочку... Бога ради, дочку мне!

И с этими словами она скрылась за дверью своей комнаты.

Час спустя все уже было кончено.

Княгиня разрешилась мальчиком. Ребенок, несмотря на преждевременное появление свое на свет, был жив и даже здоров.

Шадурский сунул сторублевую ассигна-

цию в руку немки, бережно укутал в шаль и салоп свою супругу и почти на руках снес ее в карету, к вящему изумлению акушерки, которая, глядя на все это, только ахала да чепчиком своим из стороны в сторону покачивала.

Ребенок остался у нее на воспитание. Больная по видимому была спокойна и молча сидела, откинувшись в угол кареты.

— Вы никогда больше не увидите вашего ребенка, — холодно и внятно проговорил наконец Шадурский, стараясь сделать голос свой тверже и металличнее. Он и тут рисовался.

— Но где же этот несчастный ребенок будет находиться, по крайней мере? — слабо спросила больная.

— Этого вы также никогда не узнаете! — порешил Дмитрий Платонович.

— Но это бесчеловечно!

— Совершенно согласен с вашим мнением...

— Наконец, это гнусно — шутить таким образом!

— Не гнуснее вашего поступка! — с улыбочкой в голосе возразил Шадурский. — Впро-

чем, все, что я могу сказать вам, — прибавил он минуту спустя, — так это то, что вы были у той самой акушерки и под тою самою кровлею, где находится теперь княжна Чечевинская. Таким образом — вы совершенно сравнялись с этой женщиной. Впрочем, нет! Виноват, вы хуже ее! вы — любовница лакея! — заключил он с ядовитою желчностью и после этого во всю остальную дорогу не проронил более ни одного уже слова.

XX
АРЕОПАГ НЕПОГРЕШИМЫХ

Через десять дней после этого происшествия княгиня Татьяна Львовна чувствовала себя уже настолько хорошо, что могла в постели принимать визиты добрых своих приятельниц, являвшихся к ней осведомиться о здоровье.

Для света княгиня была больна какой-то febris[109] или чем-то вроде застужения, воспаления и т. п. — словом, одною из тех болезней, которыми всегда удобно можно прикрываться.

Около ее постели сидели m-me Шипонина со старшей грацией, сорокалетнею девою, баронесса Дункельт и еще два-три дипломата в юбках — особы все веские, досточтимые, авторитетные и вообще очень компетентные в делах мира сего.

Князь Дмитрий Платонович, все время не говоривший с женою, только из приличия отправлял к ней ежедневно своего камердинера осведомляться о здоровье. Теперь же он в первый раз нашел нужным прийти к ней лично — потому нельзя же: княгиня уже принимала своих приятельниц.

— Как вы чувствуете себя нынче? — спросил он, вежливо целуя ее руку и с видом участия — в той, однако, дозе, насколько это было нужно и прилично.

— Сегодня мне гораздо лучше, — мило ответила княгиня, и мило опять-таки настолько, насколько могло это быть допущено в приличном супружестве.

— Пароксизм не возобновлялся? — с заботливым участием продолжал Шадурский.

— Благодаря Бога, нет... Садитесь и слушайте, — предложила ему супруга, указывая

на кресло у своих ног. — Мне сообщают чрезвычайно интересные новости.

— Ах да, да! это ужасно, это невообразимо! — говорил ареопаг компетентных судей. — Мы говорили о скандале...

— Да! скажите, пожалуйста, что это такое? — любопытно подхватил Шадурский. — Я слышал кое-что, но, признаюсь, никак не могу поверить.

— Можете не только верить, но даже веровать, как в истину, — докторальным тоном заметил один из дипломатов в юбке.

— Неужели же правда? — воскликнул Шадурский, растягивая в знак удивления свою физиономию, которая так и блистала в это мгновение могучим чувством непогрешимого достоинства.

— К стыду и к несчастью — правда! — отчетливо сказала Шипонина, печально покачав головой. — Я сама видела несчастную мать, сама читала письмо.

Замечательно, что сей достопочтенный ареопаг, говоря о скандале, не только не объяснил, в чем он заключается, но даже в разговоре между собою избегал самого слова «скан-

дал», заменяя его безличными местоимениями *то* и *это*. Может быть, «ужасность» самого «проступка», а может, и присутствие сорокалетней девственницы связывали ареопагу органы болтливости.

— Подобной безнравственности никогда еще не бывало в нашем обществе! — горячо разглагольствовала баронесса Дункельт, считавшая десятками своих любовников и в том числе присутствующего князя, который тоже во время оно отдал ей должную дань.

— Неужели после этого кто-нибудь согласится принять ее? — вопрошал один из дипломатов.

— Я надеюсь, что ни одна порядочная женщина не позволит себе этого! — решительным и авторитетным тоном проговорила княгиня Шадурская. — По крайней мере мой дом навсегда закрыт для нее, как и для каждой потерянной женщины. Я стыжусь, что была даже знакома с нею!

— Конечно, таких поступков прощать никогда не следует: они черным пятном ложатся на целое сословие! — с благородным негодованием заключил Дмитрий Платонович.

И все остальные вполне согласились с его справедливым мнением.

Таким образом, в силу безапелляционного приговора ареопага непогрешимых, княжна Анна Чечевинская была подвергнута вечному остракизму.

XXI
ПРОБУЖДЕНИЕ

Получив письмо старой княгини, Анна поняла, что все ее связи со светом окончательно порваны. Но ничего, кроме полнейшего и равнодушного презрения, не шевельнулось в ее сердце при мысли об этом разрыве. Да и что ж кроме презрения могло там шевельнуться? Что дал ей этот свет, что нашла она в нем? Один только холод, ни капли искреннего слова, наконец гнусный, вероломный обман — и ничего более. Но в обман она еще не хотела поверить, она все еще старалась обманывать самое себя и ожидала свидания с князем. Но князь не приезжал. В достопамятную для княгини Шадурской ночь княжна, услышав из своей комнаты крики

больной, как-то невольно, инстинктивно почувствовала, что это именно звук голоса Татьяны Львовны. «Он тоже должен быть здесь? Что все это значит?» — мелькало у нее в голове. Немка, между делом, вошла навестить и ее. Тут-то, по рассказу ее о внезапном ночном посещении и из ее описания «кавалера» и «дамы», приехавших к ней, княжна догадалась, что это именно были Шадурские. Последовавшая сцена уже известна читателю.

Между тем положение ее было весьма печально. Денег ни копейки, платья — только то, что было на себе; известий после письма матери — никаких, от Шадурского — тоже, и, наконец, Наташа, обещавшая заложить для нее кое-какие вещи, также пропала неизвестно куда. Последний раз она виделась с нею в утро перед получением письма и затем словно в воду канула. Немку эти обстоятельства весьма сильно беспокоили, и только по доброте душевной она ничего пока еще не высказывала своей пациентке, что, однако же, не мешало той очень хорошо замечать и чувствовать все это. Она решилась наконец еще раз написать Шадурскому и заклинала его от-

крыть ей, что сталось с их ребенком; но князь разорвал и сжег это письмо, вместе с предыдущим, дабы не оставлять никаких существенных доказательств своих отношений к ней.

Княжна мучилась и терзалась невыносимо. Эта неизвестность все больше и больше томила ее душу, наводя только мрачные мысли, которые не покидали ее ни на минуту. Она уже от всего отрешилась в своей прежней жизни, и даже от самой мысли о любовнике, в котором так долго не хотела разочароваться и которого наконец стала презирать; одно только привязывало ее к жизни — это жажда узнать, что сталось с ее ребенком, жажда увидеть его еще раз, вырвать из чужих рук и всецело отдаться безумной любви к своему младенцу, никогда, ни на минуту не выпускать его из своих объятий. Этот ребенок был теперь для нее *все* — все ее богатство, все счастье — и радость и мука в одно и то же время. Жажда видеть свое дитя дошла в ней наконец до какого-то отчаяния, почти помешательства и породила наконец непреклонную решимость во что бы то ни стало добить-

ся своей цели, которая вполне уже сделалась для нее единственной целью всей жизни.

Она написала письмо к самой княгине Шадурской. Это были не слова, а слезы наболевшей, истерзанной души. Она, ни слова не упомянув о Шадурском и о своих отношениях к нему, раскрыла только с полной откровенностью, что она *мать* подкинутого к ним ребенка, и умоляла сказать ей, где он и что с ним сделалось. Но ответа на это письмо не было. Княжна подождала, или, лучше сказать, всем существом своим прострадала тоской ожидания два дня — и все-таки ответа не было. Она написала к ней новое, еще отчаяннее первого, письмо, отправив его лично с востроносенькой немкой — и результат вышел все тот же.

Тогда княжна Анна оставила свой тайный приют. Она наконец совершенно пробудилась и вполне уже поняла, что такое тот свет и те люди, которые до сих пор ее окружали. Все связи с этой жизнью с той же минуты были окончательно порваны в ее сердце. В нем жило одно только чувство, одно стремление — во что бы то ни стало видеть и отнять

своего ребенка, и с этой неотступной мыслью она впервые вышла за порог серенького домика в Свечном переулке.

XXII
ДЕТИ

Слова князя Шадурского о том, что жена его никогда не увидит и не будет знать своего новорожденного сына, были не что иное, как одна только эффектная фраза.

Г-н Морденко написал княгине письмо, где извещал о новом своем адресе. Татьяна Львовна ответила тотчас же и, рассказав подробно всю последующую историю, приказала ему разведать под рукой, у кучера, в какую улицу ездил он с господами ночью. Таким образом адрес акушерки из Свечного переулка сделался известен и княгине, и г-ну Морденко.

Муж просил ее готовиться к отъезду вместе с ним за границу, что должно было последовать недели через полторы. Княгиня тайком от него переслала Морденке довольно значительную сумму денег с приказанием

взять ребенка от акушерки и поместить его в хорошие руки. Генеральша фон Шпильце, с своей стороны, сделала то же самое.

В Средней Мещанской улице, «близ пожарного депо», жил некоторый «бедный, но честный майор» в отставке, «будучи обременен многочисленным семейством и женой, болезненным состоянием одержимой». Это, однако, нисколько не мешало ему брать «на воспитание» посторонних детей. «Бедный, но честный» майор назывался — Петр Кузьмич Спица.

На Петербургской стороне, в Гулярной улице, можно сказать, среди древес и злаков сельских, обитал в собственном домишке один из вечных титулярных советников и присяжных столоначальников, по фамилии Поветин. Жил он скромно, тихо и богобоязненно, вместе с женою, но без чад и домочадцев, в коих отказала им попечительная судьба.

К бедному, но честному майору был помещен, стараниями г-на Морденко, сын княгини Шадурской, во святом крещении нареченный именем Иоанна Ветхопещерника и того же

месяца прописанный в местное мещанское сословие под фамилией Вересова.

К титулярному советнику Петру Поветину, стараниями генеральши фон Шпильце, была отдана на воспитание дочь князя Шадурского, во святом крещении именем святыя Марии Магдалины нареченная и записанная в мещанское сословие под фамилией Поветиной, по восприемному отцу и воспитателю ее.

Пятилетний князь Владимир Шадурский приготовлялся, со своим штатом нянек и гувернанток, к отъезду с родителями за границу, где предполагалось начать и кончить курс его воспитания и образования, которое должно было приготовить и дать русской земле русского гражданина.

XXIII
ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ДИАНА

Был холодный весенний вечер. Петербург изобилует ими. По небу ходили низкие и хмурые тучи; с моря дул порывистый, гнилой ветер и засевал лица прохожих мелко моросившею дождливою пылью. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонарей, по весеннему положению, не полагалось.

Часов около восьми у подъезда дома князя Шадурского остановилась женщина, закутанная в большую шаль, с густым темным вуалем на лице, и робко дернула за ручку звонка.

— Мне необходимо надо видеть княгиню — отдайте ей эту записку, — сказала она отворившему ей швейцару и вслед за ним вошла на площадку парадной лестницы.

Княгиня прочла поданную ей записку и улыбнулась. В ней загорелось Евино любопытство и желание поглядеть, какова-то стала княжна Анна после всего случившегося с

нею.

— Проси сюда эту женщину, — сказала она человеку и, подойдя к зеркалу, поправила на себе какую-то шемизетку, пригладила отделившуюся прядку волос и, повернувшись вполоборота, оглядела общий вид свой.

Сердце ее билось каким-то особенным самодовольным злорадством. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посещению.

Через минуту робко, с замирающим сердцем вошла княжна Анна в будуар Шадурской и только тут, оставшись с ней наедине, подняла с лица свой черный вуаль. Это лицо было бледно, смертельно бледно; на черных ресницах глубоких прекрасных глаз искрились две крупных слезы; бледные и сухие губы чуть-чуть дрожали нервною дрожью. Стройная, высокая фигура ее, охваченная мягкими складками черной шали и платья, походила скорее на призрак, чем на живое существо. Она была грустно, тоскливо-прекрасна, как подсудимая, которая ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего разрешить для нее роковое *быть или не быть.*

Княгиня Шадурская встретила ее вопросительной миной, не забыв предварительно устроить себе холодное и нравственно-строгое лицо.

Княжна Анна молчала. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы сказать что-либо.

— Что вам от меня угодно? — с ледяною вежливостью спросила наконец Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посетительнице не указала на кресло.

— Вы это уже знаете, — прошептала бедная девушка.

— Я знаю только то, что поступаю, может быть, слишком опрометчиво, дозволив себе принять вас, — возразила княгиня своим прежним тоном. — Вы должны знать, что более не существуете уже для общества, и верьте, только из одного христианского чувства я принимаю вас нынче... Только покорнейше прошу, чтобы это был последний раз, — поспешила добавить она.

— Мне света не нужно: мне нужен ребенок мой! — твердо сказала девушка.

— Как!.. и вы решаетесь так прямо гово-

рить об этом? Где же девическая скромность? — благонравно удивилась княгиня, которой стало уже невмоготу притворяться строгой христианкой, а так и подмывало явиться в настоящем своем образе беспощадно строгой Дианы.

— Зачем говорить слова? — возразила Анна. — Я прошу у вас моего ребенка.

— К сожалению, я ничего не могу сказать вам о нем. Я его почти и не видала.

— О, сжальтесь! не мучьте же меня! — простонала мать, ломая с мутящей тоской свои руки, и, вдруг зарыдав, опустилась на колени перед гордой княгиней. — Отдайте, отдайте мне его! Скажите, где он! — умоляла она, захлебываясь от глухих и тяжелых рыданий.

— Я уже сказала вам, — промолвила Шадурская, не делая ни малейшего движения, чтобы поднять с полу несчастную.

— Вспомните, ведь вы тоже мать!.. Мать... Поймите же меня! — стонала княжна, в исступлении подползая к ней на коленях и судорожно ловя ее руки.

— Встаньте, — повелительно сказала княгиня. — Между нами нет и не может быть ни-

чего общего... Вы сами захотели упасть в ту пропасть, которая навеки отделила вас от всех честных и порядочных женщин, — ну, так на себя и пеняйте же! — с жестокой, желчной холодностью говорила она, безжалостно измеряя глазами ползавшую перед ней жертву и более чем когда-либо сознавая в себе все величие своего достоинства.

— И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту! — с горьким упреком прервала ее княжна Анна.

— Ошибаетесь, я не мораль читаю вам, — сухо возразила княгиня. — Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мне более писем: они могут компрометировать меня.

Княжна тотчас же после этих слов поднялась с полу и гордо выпрямилась.

— Вы не скажете мне, где мой ребенок? — решительным тоном спросила она.

— В последний раз говорю вам — нет! и покорнейше прошу оставить меня! — поклонилась Татьяна Львовна.

— Так будьте же вы прокляты! все прокляты! — задыхающимся шепотом проговорила княжна, страшно дрожа всем своим телом, и

повернулась к двери.

— Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? Третьего дня ее хоронили и... вы — ее убийца! — безжалостно-равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя к своему дивану.

Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на месте, потупя свою голову так, как будто ожидала сейчас удара секиры, и вслед за этим тотчас же молча вышла из будуара.

Морской ветер хлестал одежду прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморось густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть.

Нева плескалась волнами своими в гранитную набережную, за рекой крепостные часы с безысходною тоскою медленно играли «Коль славен наш Господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая, стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути.

— Кажется, недурна, — процедил себе

сквозь зубы беспутный шатун-гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой с каждым шагом все более и более терялся в холодном и моросящем тумане петербургской ночи...

Часть вторая
НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХ КОРНЕЙ

I
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

1858 года, месяца сентября, числа не упомню какого, в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» под рубрикой «Приехавшие» было пропечатано:

> *«Из-за границы:*
> *Его сиятельство князь Дмитрий Платонович Шадурский с супругой.*
> *Князь Владимир Дмитриевич Шадурский, гвардии корнет.*
> *Коллежский советник Давыд Георгиевич Шиншеев с дочерью Дарьей Давыдовной.*
> *Баронесса фон Деринг, ганноверская подданная.*
> *Ян Владислав Карозич, австрийский подданный».*

Далее за сим в полицейской газете следо-

вала рубрика «Выехавшие», которая для сущности нашего рассказа не представляет ровно никакой надобности, и потому мы оставляем в покое полицейскую газету.

По этой выписке и собственно по году, к которому она относится, читатель может видеть, что от начала нашего повествования до приезда из-за границы вышепоименованных личностей прошло двадцать лет. Воды утекло много. Старые годы и старые грехи заменились годами новыми и новыми грехами. В жизнь вышли новые отпрыски старых корней. Они-то главнейшим образом и составят предмет предлагаемого повествования.

За два дня до появления в полицейской газете известного уже вам объявления к Петербургу на всех парах подходил пассажирский поезд Варшавской железной дороги, на которую в то время пересаживались во Пскове из почтовых экипажей, принимавших путников на русской границе.

В одном из отделений первого класса сидели три дамы и четверо мужчин. Все они, очевидно, составляли одно общество и, казалось,

были более или менее коротко знакомы друг с другом.

Впрочем, беседу их нельзя было назвать общею, она имела разрозненный и интимный характер, ибо все это маленькое societe [110] делилось на три отдельные группы.

Первую группу составляли две личности: дама, весьма элегантно одетая в дорожный костюм, с белым тюлевым вуалем на пепельных волосах, который, обрамляя ее довольно полное лицо, придавал некоторую свежесть поблекшей коже. На вид ей было лет за сорок пять, и каждый мало-мальски прозорливый и опытный человек при взгляде на это лицо непременно бы заметил про себя: «Ах, матушка, а и пожила же ты, однако!» Лицо это видимо блекло и увядало, несмотря на все старания, на все хитрости и уловки удержать былую свежесть; но всякий бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавице гордой, великосветской, ибо на нем и до сих пор еще во всей неприкосновенности сохранялся холодный отблеск характера строгой Дианы. Мужчина, сидевший подле нее, на вид имел тоже лет около сорока и глядел джентльме-

ном того покроя, который приобретается посредством долгого шатания по белу свету, где человек не то что воспринимает, но всасывает в себя характер последней модной картинки, последних модных потребностей, привычек и взглядов. Довольно плотной и красивой наружностью своей он представлял тип того, что называется bel homme et brave homme [111]; второму качеству в особенности способствовали рыжие усы, густая рыжая борода довольно объемистого свойства и умные проницательные глаза. Поблекшая ex[112]-красавица, сколько можно было догадаться из некоторых взглядов, улыбок и слов, была заинтересована рыжебородым bel homm'ом, а этот в свою очередь интересовался поблекшей красавицей, хотя (внутренно-то), быть может, и вовсе не с той стороны, с какой она предполагала.

У противоположного окна расположилась другая группа: дама на вид лет тридцати, не более, хотя на самом деле ей было тридцать восемь, одетая с такою же элегантно-роскошною простотою, как и первая, с тою только разницею, что первая уже увядала, а эта еще

проходит период второй молодости, блистая созрелой красотой и женственной силой. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали характер силы, коварства и решимости. «Либо королева, либо преступница», — сказал бы физиономист при взгляде на это лицо.

Подле нее расположились в довольно интимных позах двое стариков, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство их собеседницы не производили на них достодолжного воздействия: старческие улыбки и масленые взгляды красноречиво убеждали в силе впечатления. Один из стариков являл из себя мужчину еще довольно бодрого; его небольшой рост, приземистость и некоторая коренастость говорили в пользу его здоровья; одет он был весь в черное; белье отменной тонкости и белизны; на шее красовался, даже и в дороге, орден Станислава, на брюшке мас-

сивная золотая цепочка, на пальцах многоценные перстни. Дорогая артистической работы палка и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. О лице его распространяться много нечего; разве сказать только то, что оно носило плебейский, армянско-восточный характер и старалось бакенбардами своими походить на лица солидно-влиятельных петербургских чиновников. В другом старце, напротив, с первого же взгляда невольно давал себя чувствовать прирожденный аристократизм, которым весь он был проникнут. Но, несмотря на этот аристократизм, pur sang [113], несмотря на солидные годы (ему было под шестьдесят), в старце проглядывало нечто комическое, нечто не совсем-то солидное, что происходило от желания молодиться и *выглядеть* юношей, даже в некотором роде *гаменом:* пестрый, легонький галстук, коротенький пиджак, полосатые панталоны, легкие, изящные ботинки и, наконец, стеклышко в глазу ясно изобличали в нем если не былого ловеласа, то, во всяком случае, настоящего любителя балета и стереоскопных картинок. Во всей фигуре его было что-то истощен-

ное, болезненное, в лице порою мелькало даже нечто идиотическое. Старец страдал размягчением мозга. Члены этой последней группы для препровождения времени играли в «чет или нечет». Оба старца, скомкав в кулаке по ассигнации, наперерыв старались, чтобы собеседница угадала четное или нечетное число. Она, смеясь, весьма небрежно и кокетливо произносила то или другое слово — и каждый раз ассигнация которого-либо из старцев переходила в ее дорожную сумку. Там уже лежало немалое количество этих выигранных ассигнаций.

Третью группу составляли: молодая девушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человек, наружности, напротив, весьма красивой, в которой, несмотря на европейский партикулярный костюм, сквозило нечто кавалерийско-военное. В восточном типе девушки ясно сказывалось фамильное сходство с кавалером Станислава, а в молодом человеке — с пепельнокудрой полной дамой в белом вуале и со старцем-гаменом. И девушка, и молодой человек мало как-то интересовались друг другом — совершенный контраст двум осталь-

ным группам. Девушку больше занимал роман Поля Феваля, а молодого человека — красота собеседницы двух старцев. Его более тянуло все к этой последней, чем к своей соседке, но незаметный взгляд пепельной дамы каждый раз останавливал его подле некрасивой девицы. От зоркого взгляда рыжебородого джентльмена не ускользал этот немой разговор, и он каждый раз только чуть-чуть улыбался про себя какой-то двусмысленной улыбкой, незаметно перекидываясь взглядом с собеседницею старцев.

Наконец пепельная дама не выдержала и подозвала к себе молодого человека.

— Вольдемар, ты забываешь наш разговор, — сказала она ему тихо, весьма близко подвинувшись к его лицу.

— Какой это, maman[114]? — спросил он небрежно.

— Наши планы…

— Но ведь это скучно!

— То от тебя никогда не уйдет, а тут — состояние… Ты забываешь…

— Brigadier, vous avez raison![115] — шутливо ответил он, целуя ее руку, и уселся на

прежнее место, затем чтобы снова не обращать почти никакого внимания на смуглую девицу.

— Господа, мы у пристани — конец игре! — сказала красивая дама своим обязательным старцам, захлопывая пружину дорожной сумки.

— Игре, но не знакомству, баронесса? — заметил гамен и вставил стеклышко.

— Так не забудьте же имя... генеральша фон Шпильце, — весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя с помощью его из вагона.

Тот ответил молчаливым, но многозначительным пожатием руки.

На платформе все это маленькое общество, перезнакомившееся между собой за границей и еще теснее сплоченное теперь путешествием, весьма дружески продолжало болтовню и прощание, в ожидании своих людей и экипажей. Наконец кавалер Станислава вместе с некрасивой девицей сели в щегольскую двухместную карету, запряженную кровными рысаками; в столь же щегольской коляске поместились гамен с пепельной дамой и молодым

человеком, а рыжебородый джентльмен и баронесса — в наемном экипаже и со всеми чемоданами отправились вдвоем в отель Демута.

— Ну, как твои дела? — спросил он ее в карете.

— Успешны; девятьсот тридцать в выигрыше да впереди тысяча шансов: трем дуракам головы вскружила. А ты как?

— Так же, как и ты... Вообще, петербургский сезон, кажется, обещает... У тебя не бьется сердце? Нисколько?

— Да чего ж ему биться? — удивилась она.

— Как! а воспоминания?.. Тогда и теперь — Боже мой, какая разница!

Баронесса опять улыбнулась своею презрительною мимикой и ничего более не ответила.

Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльмен, которого баронесса фон Деринг называла своим братом, был Ян Владислав Карозич, как значилось в отметке полицейской газеты. В кавалере Станислава и его некрасивой спутнице тоже нетрудно узнать коллежского советника Давыда Геор-

гиевича Шиншеева с дочерью Дарьей Давыдовной. Зато редко бы кто, после двадцатилетнего расстояния, решился признать в расслабленном гамене, в этом полушуте гороховом, страдающем размягчением мозга, прежнего гордого Чайльд-Гарольда и великосветского льва — князя Дмитрия Платоновича Шадурского.

Sic transit gloria mundi…[116]

II

СТАРЫЙ ДРУГ — ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

На другой день, утром часов около одиннадцати, Карозич спустился из своего номера в общую залу — пробежать свежие новости. Едва отыскал он в куче русских и иностранных газет «Independance Belge», как к нему очень учтиво подошел неизвестный, но весьма изящно одетый господин, с висками и черненькой бородкой à la Napoleon III[117], и с предупредительной галантной вежливостью спросил по-французски, с несколько еврейским акцентом:

— Вы приезжий иностранец?

— Так точно. Я поляк... А вам что угодно?

— Я комиссионер, к вашим услугам... Если вам нужно в сенат или другое присутственное место, на биржу, к банкирам, осмотреть ли город и достопримечательности, указать на магазины, сделку промышленную устроить, свести с каким-нибудь человеком — одним словом, все, что касается до петербургской жизни и потребностей, — я ваш покорнейший слуга, можете пользоваться моей специальной опытностью. Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе.

Комиссионер проговорил все это быстро, но необыкновенно плавно, отчетливо, сознавая собственное достоинство, и с последним словом своего монолога выжидательно поклонился.

— Очень рад, — ответил Карозич, — мне нужно будет узнать один адрес.

— Адрес? и это могу! — подхватил комиссионер. — Мне почти все дома в Петербурге и все адресы сколько-нибудь замечательных лиц вполне известны.

— Генеральшу фон Шпильце знаете?

— Амалию Потаповну? Боже мой, да кто ж ее не знает! Так этот-то адрес нужен?

— Этот самый; вы меня очень много обяжете, если сообщите...

— Отчего ж не сообщить? Всегда могу! Конечно, вы могли и сами узнать в адресном столе, но это не совсем-то удобно и мешкотно для иностранца, и притом вы не знаете даже, где Адресный стол помещается, тогда как я могу сообщить сию же минуту, — значит, вам двойной выигрыш: время и спокойствие.

— Ну так сделайте одолжение: мне очень нужно знать.

— Хорошо, хорошо, с удовольствием. А не угодно ли вам осмотреть Эрмитаж, например, Исакиевский собор, к Излеру вечером отправиться? Последнее в особенности я вам рекомендую.

— Мне нужен адрес, только адрес, и пока больше ничего! — с легкой настойчивостью возразил Карозич, ясно заметив, что господин отлынивает от дела и старается заговаривать о вещах посторонних.

— Ах, однако, мой кофе совсем простыл, да и газету еще не дочел я! — скороговоркой

пробормотал комиссионер, быстро направляясь в противоположный конец комнаты, к своему месту, откуда весьма любезно кивнул из-за газеты Карозичу:

— Извините, я одну только минуту.

Но прошло и целых десять, а он все еще не двигался с кресла, уткнув нос в свою газету, и словно совсем позабыл не только об адресе, но и о существовании самого-то Карозича.

Этот последний наконец понял, что предварительно надо дать денег, а потом уже спрашивать, что нужно, и потому, вынув из кармана бумажник, направился к столику комиссионера.

— Ваша специальность — ваш труд, — начал он, сжав в кулаке трехрублевую ассигнацию. — Всякий труд должен вознаграждаться. Поэтому — так как я неоднократно буду еще пользоваться им — позвольте мне...

За недоговоренной фразой последовала обычно-секретная передача, вроде известных передач *за визит* малознакомым докторам.

— Ах, помилуйте, что вы! как будто уж и нельзя без этого? Мне очень совестно, право, — смущенно заговорил комиссионер, пря-

ча в карман (тоже маскированно и незаметно) полученную бумажку. — Извините меня, я так заинтересовался политикой: из Италии весьма интересные новости, — прибавил он, радушно пожимая его руку. — Так вам нужен адрес m-me фон Шпильце? Позвольте, я вам запишу: «Большая Морская, дом № 00, имя — Амалия Потаповна». Вам ее самое нужно видеть? — спросил он, отдавая клочок.

— Ее лично.

— Ну, так ступайте в правый подъезд, где швейцар стоит, а в левый не ходите...

Карозич хотя и не понял, почему это не должно ходить в левый подъезд, если есть надобность лично до самой генеральши, однако, не продолжая далее расспросов, решился последовать совету комиссионера.

* * *

Лишние двадцать лет на плечи хоть кого изменят. Генеральша фон Шпильце тоже отдала свою дань времени. Хотя на калмыцко-скуластом лице ее все так же лежал слой очень тонких косметик, но это уже была набеленная и нарумяненная старуха пятидесяти пяти лет от роду. Дородная полнота ее раз-

бухлась в тучность. Одни только широкие шелковые платья шумели на ней по-старому. Впрочем, и рыжие немецкие волосы, и карие жирные глаза в толстых веках также пребывали в благополучной неизменности; зато вздернутый французский нос — увы! — преобразился в сущую картошку и напоминал плохо пристегнутую пуговку. Но апломб, важность и манера держать себя с клиентами и посетителями, как и во время оно, остались все те же, если еще не усилились, ибо, как известно, ничто столько не способствует к умножению в человеке гордости, важности и самолюбивого апломба, как сознание своих преклонных лет, своей почтенной и безукоризненной старости. А m-me фон Шпильце не только старость, но и всю жизнь свою считала вполне почтенною и безукоризненною.

Генеральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку с надписью «Jann Wladislav Karositch»[118] — имя, ей совершенно неизвестное. Это ее весьма заинтересовало, так что она решилась тотчас же принять его.

— Я к вам от княгини Шадурской, — начал

Карозич, отдав ей джентльменски изящный поклон. — Она просит вас принять меня под свое покровительство, — добавил он с мило-игривою улыбкой.

Генеральша осмотрела всю его фигуру испытующим взглядом.

— Княгиня принимает это дело близко к своему сердцу? — спросила она неторопливо.

— Весьма близко, сударыня.

— Очень рада быть ей полезной, только попросите княгиню приехать в модный магазин, здесь же, в этом самом доме — вы, вероятно, заметили внизу?..

— Зеркальные стекла? — подхватил Карозич.

— Он самый. Попросите княгиню переменить свою портниху и вперед заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послезавтра в два часа я сама буду там ожидать ее, а вас попрошу явиться ко мне за полчаса до ее приезда.

Проговорив это, генеральша слегка поклонилась солидным, сдержанным поклоном, который ясно говорил: «Можете удалиться», — и Карозич тотчас откланялся.

— Ба! Это вы?! Вы здесь?.. Какими судьбами?.. Вот неожиданная встреча!.. давно ли?

Карозича внутренне передернуло от этой действительно неожиданной встречи, застигшей его врасплох на лестнице генеральши фон Шпильце, однако он весьма любезно улыбнулся и еще любезнее пожал протянутую ему руку.

— Ну что? Как дела, батюшка мой? Верно, швах, коли в Россию перебрались! О, родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя! Признайтесь-ка, ваше, верно, тоже немножко встряхивалось, когда через заставу переезжали? Впрочем — pardon![119] — с этой стороны я ваших качеств не знаю! — бесцеремонно говорил Карозичу его знакомец, не выпуская руки его из своих радушных ладоней.

— Ну, что Баден-Баден, рулетка? Что cercle des lapins, cercle des poignards[120]? — продолжал он, остановясь на площадке.

— Да что, в самом деле плохо, — вздохнул Карозич. — Принужден был уехать.

— То есть как же это? *мит гросс шкандаль?*

— Ну, нет, это уж последнее дело; но... надо

было сохранить честь своего имени — благоразумие того требовало, — сквозь зубы процедил Карозич.

— Это правильно. Однако что же мы стоим-то тут? Отправимтесь лучше позавтракать к Дюссо да потолкуем, — предложил незнакомец, взяв Карозича под руку и сводя его с лестницы. — Я вас сегодня не выпущу, зане мы друг другу зело полезны быть надлежим. Эй! швейцар, — крикнул он мимоходом отставному усачу в ливрее, — скажи генеральше, что я к ней после заеду, а теперь кликни мою коляску.

Знакомец Карозича — высокий блондин, с великолепной русой бородой и усами, немного косоватый, в золотых очках, казался мужчиною лет сорока восьми, впрочем, необыкновенно крепким, бравым и бодрым. Одет он был столь же джентльменски-модно, как и Карозич, только во всей фигуре его както сразу давала себя чувствовать старовоенная, кавалерийская складка. Это был также один из числа наших знакомых — Сергей Антонович Ковров.

— Ну что, вы все еще по-старому продол-

жаете держаться теории экономистов-собственников и принципа одиночности? — полушутливо расспрашивал Ковров, трудясь над холодной пуляркой за завтраком, который был подан нашим знакомым в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо.

— Я нахожу это практичнее, — прожевал Карозич, в глубине души крайне досадовавший на свою встречу.

— Вы ошибаетесь. Совсем отживший принцип! Девятнадцатый век, батюшка мой, — век социализма, и я нахожу гораздо практичнее теории ассоциаций.

— То есть в отношении зеленого поля?

— О зеленом поле нечего и говорить: тут уж без крепкой и, заметьте, хорошо организованной ассоциации и шагу ступить нельзя. Но нет, я нахожу, что и во всех остальных отраслях индустрии она необходима в наше время.

— А языки? а малодушие? — с улыбкой заметил Карозич.

— Стало быть, вы полагаете, что по пословице «Один в деле — один и в извороте» гораздо лучше выходит? Не спорю; тут, конеч-

но, есть своя доля справедливости; но ведь для этого у нас голова, а в голове мозги; надо рассудить да зорко разглядеть сначала, кого принимаешь в долю, каков он, значит, гусь из себя выходит. Люди, батенька мой, в этом случае берутся не зря, а с разбором. Он у меня, каналья, сперва сорок искусов да двадцать мытарств пройдет, прежде чем я-то приму его. Вот оно что-с!

— Все-таки это менее надежно, — возразил Карозич.

— Зато более гуманно! — отпарировал Ковров. — Сами едите — давайте есть другим! а иначе — что ж это? своего рода плантаторство, эксплуатация. Да и наконец, черт возьми, мне без риску скучно работать! да и не то что скучно, просто — гадко! противно! Вот что-с! Я вам скажу откровенно: для меня то дело, где нет ни малейшего риску, — не дело, а дрянь!

Карозич улыбнулся.

— Ну вот, вы улыбаетесь, а улыбаться тут, право, нечему: я говорю дело, — заметил Ковров. — Вспомните два года назад в Гамбурге, когда и вам, и мне порознь весьма-таки плохо

приходилось — ну, не встреться мы на ту пору, не узнай по случайной старине друг друга да не соединись наконец вместе — что бы вышло? Ведь, слава Богу, если бы только конечное разорение, а могло бы ведь и сырыми стенами попахнуть.

— Это так, — вздохнул Карозич после минутного размышления.

— Ну вот вам и ассоциация! Пример, кажется, довольно нагляден. А теперь позвольте вас спросить — вы приезжаете в Петербург в первый раз после двадцатилетнего отсутствия, — ведь вы все равно что в чужой город приехали. Спрашивается: как вы начнете свою деятельность без связей и поддержки со стороны ассоциации?

— У меня есть уже некоторые знакомства в свете, — пояснил Карозич.

— Кто это? Генеральша фон Шпильце, что ли?

— Положим, хоть бы и она.

— Хорошо-с. Персона доброкачественная, в некотором роде ингредиент, необходимый в делах мира сего. А что вы скажете, батенька мой, — заговорил он вдруг, неторопливо воз-

вышая тон и пристально прищурясь на Карозича, — что вы скажете, как если, при посредстве той же самой благодетельной генеральши, вас в одно прекрасное утро административным порядком из городу вон отправят. Что вы мне скажете на это?

— То есть как же это, однако? — в недоумении откинулся Карозич на спинку стула.

— А так-с, что эта самая генеральша — особа весьма многосторонняя, и связи у нее почище наших с вами. Генеральша сия — изволите ли видеть, — пояснил Ковров, медленно прожевывая кусок и в то же время не переставая наблюдать своего собрата, — генеральша сия есть в некотором роде меч, и меч не простой, а обоюдоострый, и чего для нас с вами невозможно сотворить, то она созидает весьма легко и удобно.

— Но у меня ведь не одна генеральша, — защищался Карозич, — у меня есть много и других — людей порядочного общества и людей состоятельных, с которыми я был знаком за границей, а ведь это, согласитесь, поле довольно широкое.

— Да, но все это общество столько же ва-

ше, сколько и мое, — возразил Ковров, — вам еще нужно вступать в него здесь, в Петербурге, тогда как я уже давным-давно член этого общества, живу в нем и действую. Как видите, шансы немножко неравны. И наконец, я — человек открытый и, как порядочный человек, буду с вами откровенен: я вам буду вредить в этом обществе, да и во всяком, где бы вы ни показались.

— Это, однако, почему же? — полухмуро, полуулыбаясь спросил Карозич.

— Потому, — объяснил Ковров, — что вы — сила, вы — такая же сила, как и я; вы так же умны и почти так же опытны, как и я. Порознь мы будем только мешать и портить друг другу; вместе — мы можем обделывать великолепные дела. Не спорю, вы, в свою очередь, также можете мне нагадить и подстроить невкусную каверзу, но пока — большинство шансов на моей стороне: вы одни, одни, не забудьте! а у меня — целая партия... Если, впрочем, вы приехали сюда с целью сделаться мирным гражданином, забыть свое прошлое, то помогай вам Господи! — прибавил он, дружески взяв Карозича за руку. — Я вам

мешать и смущать вас не стану; если же нет, то выбирайте сейчас между враждой и дружбой. Как мне прикажете считать вас?

Карозич с минуту нахмурился, провел по лицу ладонью и наконец решительно сказал ему:

— Другом!

— Оно гораздо удобнее для обоих. Теория ассоциации, значит, торжествует! Браво! Я радуюсь столько же за идею, сколько за вас самих, — говорил Ковров. — Поверьте, милый Карозич, нам выгоднее быть друзьями; положим, — продолжал он, — в то время, как вы только выступали на поприще, я уже был капитаном, но... время и люди уравняли нашу опытность, недаром же я и тогда еще предрек, что вы далеко пойдете. Но, знаете ли, хотя вы в тысячу раз сдержаннее, уклончивее, сосредоточеннее меня — я, черт возьми, слишком открыт! — но это, мой милый, отнюдь не помешает мне очень тонко понимать вас и видеть насквозь ваша внутренняя: видите ли, как я бесцеремонно и простовато откровенен с вами?

— То есть вы мне даете этим понять, что

надо мной и моими поступками будет контроль? — серьезно спросил Карозич.

— Да, мой друг, маленький тайный контроль, вы не ошиблись! И это, поверьте, нелишнее с такою силою, как вы!

— Значит, вы мне не доверяете? — сухо, оскорбленным тоном спросил Карозич.

— Нисколько, равно как и вы мне, надеюсь, — очень просто и равнодушно ответил Ковров.

— Но ведь я над вами контроля не утверждаю?!

— Потому что не имеете возможности; а будь у вас средства да надежная партия — тогда, позвольте мне в том уверить вас, непременно бы учредили и даже постарались бы меня, как лишнего человека, что называется, *подвести под амбу.*

Ковров при этом сделал весьма выразительный жест столовым ножом.

«Амба!»... При слове «амба» в памяти Карозича мелькнуло как будто что-то знакомое, но далекое, когда-то и где-то им слышанное и давно позабытое. Однако из выразительного жеста ножом он понял, что такое означает

«подвести под амбу», и личные мускулы его слегка передернуло.

— Успокойтесь, с вами этого не случится, если вы не шпион, — утешил его Ковров. — А шпионом вам быть здесь, кажись, несколько мудрено, если принять в соображение ваше прошлое и вашу заграничную жизнь. Да, наконец, оно и менее выгодно… Вы сколько раз меняли свое имя и паспорт? — неожиданно прибавил он. — Раза три было ведь.

— Что же из этого? — недовольным тоном возразил Карозич.

— Я ни разу! Я как был, так и есть отставной поручик Черноярского полка Сергей Антонов сын Ковров. Ergo[121], я ловчее вас и, однако, вот предлагаю вам как благородный человек дружбу, равное значение и равную долю в барыше и в несчастии.

— Хороша дружба, — иронически заметил Карозич.

— Coûte que coûte, mon cher![122] Товар лицом продаю, — пожав плечами, согласился Сергей Антонович. — Со временем, когда мы нашими общими аферами запутаемся с вами в один неразрывный гордиев узел, эта дружба

может перейти в дружбу Кастора и Поллукса — истинную, настоящую, если который-нибудь из нас не захочет сделаться Александром Македонским. А теперь, для доброго начала, мы с вами задушим одного младенца неповинного.

— Младенца? — выпучил глаза Карозич.

— Да, задушим младенца в честь нашей дружбы и союза! — подтвердил Ковров. — Это на моем собственном argo значит распить бутылку шампанского. Хоть я этого брандахлысту и никогда не употребляю, но на сей раз готов сделать исключение.

— Итак, договор решен и подписан! — пять минут спустя заключил Сергей Антонович, чокаясь с Карозичем стаканами. — Мы с вами старые друзья, а старый друг и по пословице — лучше новых двух выходит!

III
ПРОМЕЖУТОК

Читатель до сих пор остается в полной неизвестности относительно судьбы некоторых лиц, брошенных автором двадцать лет тому назад, кто на судне контрабандиста среди Ботнического залива, кто — среди приготовлений к отъезду за границу, кто — так себе, позабытым в толкотне и суетне Петербурга. Что, например, сталось с беглянкою Наташей и ее спутником Казимиром Бодлевским? Что поделывала во все это время почтенная чета Шадурских? Что, наконец, остальные? Об остальных еще речь впереди, судьбу их читатель узнает в надлежащем месте; о Шадурских же с Бодлевским и Наташей мы намерены поведать вкратце сию же минуту, для чего, собственно, и начали эту главу.

Судно перерезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу. Поздно вечером прокралось оно на стокгольмский рейд, и отважный финн в легком челноке, лавируя в тени между крутыми смоленими бо-

ками многочисленных судов — дело было для него привычное, — причалил со своими пассажирами к берегу в одном укромном местечке, близ одной укромной таверны, куда редко проникала бдительность таможенных надсмотрщиков. Бодлевский, заранее приуготовя надлежащую, весьма скромную сумму для расплаты за провоз, очень жалостливо стал уверять финна, посредством пояснительных жестов, мин и русских слов, насколько тот мог понимать их, что он весьма бедный человек и даже не имеет возможности заплатить вполне условленные деньги. Недочет был невелик, всего каких-нибудь два рубля, и добродушный финн оказал ему великодушие: хлопнув его по плечу, назвал добрым камрадом и сказал, что с бедным человеком спорить не станет и услугу оказать всегда готов. Он даже приютил его с Наташей на ночлег в укромной таверне, под своим покровительством. Финн был в самом деле очень честным контрабандистом. На другое утро, окончательно простившись со своим поднадутым перевозчиком, наша чета направилась в дом английского консула и выпросила себе ауди-

енцию. Здесь уже главным деятелем явилась Наташа.

— Мой муж — поляк, — говорила красавица, сидя против консула в его кабинете, — я же сама по отцу — русская, по матери — англичанка. Мой муж замешан в политических делах; ему предстояла Сибирь, но нам случайно удалось бежать в то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политические беглецы и отдаемся правительству и защите английских законов. Будьте человеколюбивы, приютите нас и отправьте в Англию!

Обман, посредством хитро сплетенных и очень правдиво рассказанных подробностей дела, удался как нельзя лучше — и через два-три дня первое же попутное судно под английским флагом увозило в Лондон совершенно счастливых путников.

Бодлевский уничтожил и свой собственный паспорт, и вид вдовы коллежского асессора Марии Солонцовой, который был нужен Наташе только на всякий случай, пока она находилась в пределах России. В Англии гораздо удобнее казалось им назваться новыми именами. Но в новом положении и с этими

новыми именами явилось одно большое неудобство: решительно нельзя было пустить в ход своих капиталов, не навлекая на себя весьма опасных подозрений. Разностороннее искусство лондонских мошенников известно всему свету: в клубе их Бодлевскому, который не замедлил свести там необходимые и приятные знакомства, удалось еще раз добыть себе и Наташе удивительно подделанные паспорта, опять-таки с новыми именами и званиями. С ними-то несколько времени спустя и появились они на континенте. Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключом кипели в обоих; в горячих головах роилось много золотых надежд и планов: хотелось, во-первых, пристроить куда-нибудь понадежнее свои капиталы, потом поездить по Европе, избрать себе где-нибудь уголок и поселиться для мирной и беспечальной жизни. Может быть, все это так бы и случилось, кабы не карты и не рулетка да не желание ненасытно приумножить на счет фортуны свои капиталы — и попали они, рабы Божии, в лапы одной доброй компании, агенты которой обыгрывали их и в парижском Frascati, и в

Гамбурге, и на различных водах, так что не прошло и года, как Бодлевский в одну прекрасную ночь вполне мог применить к себе известное изречение: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего». Впрочем, год-то прожили они блистательно, появление их в каждом городе производило некоторый эффект, и в особенности с тех пор, как Наташа стала титулованной особой: в течение этого года ей удалось приобрести, по случаю, очень дешево австрийское баронство, конечно, только на бумаге. Спустив все свое состояние, Бодлевскому ничего более не оставалось, как только самому вступить в члены той же самой компании, которая так успешно перевела в свои карманы его деньги. Красота Наташи и качества Бодлевского явились аргументами такого рода, что признать обладателей их своими сочленами компания нашла весьма полезным. Дорого заплатила чета за науку, зато наука пошла впрок и стала приносить порою плоды весьма обильные. И пошли тут дни за днями и годы за годами, ряд самых мучительных, тревожных ночей, целый ад сильных ощущений, волнений душевных, самых тон-

ких и ловких хитросплетений, вечная гимнастика ума ради уловок, обмана и изворотливости, целый цикл афер и мошенничества, целая наука хоронить в воду концы и вечный призрак суда, тюрьмы и... может быть — эшафота. Бодлевский, с его упорным, настойчивым и сосредоточенным характером, достиг высшей школы в искусстве вольтов и тому подобных штук. Он мог обыграть на чем угодно: и на зеленом поле ломберного стола, и на зеленом поле бильярда, в лото, в кегли, в орлянку. Тридцати лет от роду, он казался старше по крайней мере десятью годами: эта жизнь, эти упорные усилия и вечная работа ума, вечная тревога ощущений перешли в нем в какое-то фанатическое служение своему делу — факирство перед своим идолом. Он явно сохнул физически и старел нравственно, одолевая все трудности своей профессии, и только тогда успокоился и просветлел духом своим, когда во всех многоразличных отраслях своего призвания достиг последнего совершенства, почти идеала. С этой минуты он переродился: он помолодел, он самоуверенно и солидно ободрился, даже поздоровел весьма

заметно, и именно с этих пор принял вполне уже джентльменский вид и выдержку. Что касается Наташи, то жизнь и стремления, общие с Бодлевским, вовсе не имели на нее такого сильного, сокрушающего влияния, как на этого последнего. Ее гордая, решительная натура принимала иначе все эти впечатления. Она отнюдь не переставала расцветать, хорошеть, наслаждаться и пленять собою. Все то, что вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственных страданий у ее любовника, в ней встречало полнейшее равнодушие, и только. Происходило это вот отчего: решаясь на что-нибудь, она всегда решалась сразу и необыкновенно твердо; весьма немного времени ей нужно было на очень верное и тонкое соображение, чтобы быстро взвесить все выгоды и невыгоды дела — и затем уже без устали непреклонно и холодно идти к задуманной цели. Первая цель ее жизни была месть, потом — блеск и комфорт, расплата за них — может быть, плаха. Наташа твердо знала, что это так, да иначе почти и быть не может, и потому, вступив на избранный однажды путь, уже постоянно остава-

лась спокойной и равнодушной, продолжая блистать и пленять собою мошенников и честных. Ее ум, образование, ловкость, находчивость и прирожденный такт дали ей возможность за границею, везде, где она ни показывалась, быть постоянно в среде избранного аристократического общества, да и место-то занимать там далеко не из последних. Многие красавицы завидовали ей, ненавидели, злословили ее — и все-таки искали ее дружбы, потому что она почти всегда первенствовала в обществе. Ее дружба и участие казались так теплы, так искренни и нежны, а ее эпиграммы так ядовиты и безжалостно колки, что каждое злословие меркло перед этим солено-ядовитым огнем, и, стало быть, ничего уже лучше не оставалось, как только искать ее дружбы и расположения. Если, например, в Бадене дела шли хорошо, то всегда можно было наверное предсказать, что по окончании водного сезона Наташа будет в Ницце или в Женеве царицею сезона зимнего, явится львицею львиц и законодательницей моды. И она, и Бодлевский всегда держали себя так умно, так осторожно, что ни малейшая

тень не ложилась на честь и достоинство вымышленного имени Наташи. Бодлевскому, впрочем, раза два приходилось перекрещивать себя в новые клички и совершать внезапные экскурсии с юга Европы на север, но таков уж был самый род его занятий, что необходимо требовал этих внезапных перемен местностей — иногда по чутью денег и выгодной аферы, а иногда и по чутью полицейских комиссаров. Доселе все ему сходило с рук благополучно и до «чести его имени» неприкосновенно, как вдруг открылся один маленький подложец; дело пустячное, да беда — произошло-то оно в Париже: могло судом и галерами попахнуть, — и вот новая, необыкновенно быстрая перемена паспорта и новая экскурсия — в Россию, возврат на родину, после двадцатилетнего отсутствия, с именем новым, почтенным и никакою фальшью не запятнанным.

Таким-то вот образом в полицейской газете значилось, что прибыли в С.-Петербург Ян Владислав Карозич с баронессою фон Деринг.

Очередь за Шадурскими.

Жизнь этой великосветской четы представляет весьма немного интереса в течение двадцатилетнего промежутка. Нравственный удар, нанесенный князю господином Морденко, был, конечно, очень силен; но это оттого, что нанес его именно господин Морденко. Что касается до его супруги, то «он помирился с ней по размышлении зрелом», ибо прежде всего приличие было сохранено, тайна происшествия не нарушена, отъезд за границу еще более укрепил эту тайну, и князь Дмитрий Платонович остался совершенно доволен, насколько могло только простираться довольство в подобном положении. Но княгиня Татьяна Львовна совершенно не удовольствовалась такою развязкою. Она не простила мужу второй пощечины и с этих пор считала себя вправе поступать и распоряжаться собою, как ей угодно. До истории с г-ном Морденко и до этой пощечины они полагали, что уважают друг друга, а после сих многозначительных обстоятельств начали полагать, что перестали друг к другу питать уважение. Впрочем, жили вместе и все внешние формы соблюдали неукоснительно по-прежнему; значит,

внакладе осталось одно только фиктивное чувство взаимного уважения, от которого ни тому ни другому теплее или холоднее не было, и, следовательно, можно сказать с достоверностью, что течение их жизни нимало не изменилось, за исключением разве того, что супруги в отношении своих сердечных дел совершенно перестали чиниться друг перед другом, особенно же во время своих заграничных поездок. Разница между ними замечалась только та, что супруга занималась своим сердцем, ни на минуту не переставая быть строгой Дианой, занималась им в камере-обскуре приличия, где для ее только глаз отчетливо и ясно мелькали фигуры какого-нибудь гарсона или виконта, ее парикмахера и оперного тенора. Супруг же изображал все это въяве, стараясь приобрести славу женатого повесы и ловеласа, подобно тому как прежде старался приобрести славу российского Чайльд-Гарольда, но, увы! вследствие означенных стараний, под старость дней своих достиг размягчения мозга и комической наружности модного гамена. Словом сказать, эта обоюдная жизнь в течение двадцатилетнего

промежутка не была ни возмущена, ни потрясена чем-либо особенным и, отличаясь известными читателю качествами, шла себе ровно и гладко по колее обыденной пошлости. Но в этот же самый промежуток успел вырасти и отлиться в особую форму сын их.

IV
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ШАДУРСКИЙ

У князя Владимира в детстве не было детства, не было того, что мы привыкли обыкновенно понимать и называть детством. Оттого-то и в юные годы у него не было юности. Он остался каким-то странным выродком. У него не было детства, говорим мы, и оттого никогда впоследствии не было зрелости. Князем Владимиром еще и в колыбели уже все любовались. С тех пор как только не стал он проносить ложки мимо рта и начал кое-как смыслить человеческие слова, ему постоянно приходилось слышать необыкновенные похвалы и восторги в свою пользу. Все восхищались его наружностью, называли красавцем, и действительно он был красивый ребе-

нок. Всякая его шалость и всякая вовсе не красивая выходка служили поводом к похвалам и восторгам. Мальчишку, например, возьмет кто-нибудь поласкать на колени, а он ручонкой или зубами цапнет за щеку, и начинаются «ахи»: «Ах, какой смелый ребенок! quelle independance![123] И какой умный ребенок, как он все это понимает!» и т. п. — бесконечные рассказы об уме, смелости и тому подобных прекрасных качествах. Князьку хочется в песке покопаться, а его останавливают: «Mon prince, mon prince! que faites-vous! est-ce convenable?[124] Это прилично детям мужика или чиновника какого-нибудь, а не княжескому сыну!» — и князь, убежденный последним аргументом, перестает копаться. Затем, например, хочется ему чего-нибудь такого, что никак не может быть удовлетворено в данную минуту, — князь тотчас же хлоп на пол! начинает злиться, терзать свое платье, с криком и плачем катается по паркету, брыкаясь руками и ногами, а окружающие предстоят в изумлении, взирая на эти проделки и удивляются: «Какой необыкновенный, сильный характер у этого ребенка, какая настой-

чивость!»

Около пятилетнего возраста его личные качества начали выясняться рельефнее. Обозначались они по большей части в Летнем саду, на этой первой арене детской общественной жизни, куда отправлялся он на гулянье вместе со своей нянькой и гувернанткой. Подходит к нему мальчик и приглашает играть. Князек окидывает его смелым взглядом и говорит: «Я не пойду играть с тобою: у тебя панталоны грязные». Мальчик отходит от него сконфуженный, огорченный, чтобы дать место другому, одетому столь же изящно, как и князек. Второй зовет его играть точно так же.

— А вы кто такой? — спрашивает князь.

— Я?.. Ваня...

— А ваш папа кто?

— Он... офицер...

— Он князь или генерал?

— Нет, не генерал...

— А!..

И маленький князек не обращал более ни малейшего внимания на офицерского сына. Он сразу примкнул к кружку аристократическому, куда, впрочем, привела его гувернант-

ка, ибо в Летнем саду няньки и гувернантки, принадлежащие аристократическим семействам, всегда держатся отдельно, составляют свой кружок и с остальными не мешаются. В кружке детей аристократической породы маленький князек сразу одержал верх над остальными детьми. Он разыгрывал роль маленького царька и деспотствовал в играх, как ему было угодно. Из девочек старался всегда выбирать ту, которая лучше всех одета, красивее всех лицом, выше ростом и старше годами. В детях такого характера необыкновенно рано пробуждаются бессознательные инстинкты.

Однажды на даче он дал пощечину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тот не смел по его приказанию выдернуть из грядки какое-то растение. Княгине Татьяне Львовне это показалось уже слишком для такого ребенка, и она пожелала внушить своему сыну пример христианского смирения.

— Проси у него прощения! — сказала она ему, подозвав обоих.

— У кого? — с удивлением спросил маленький князек.

— У этого мальчика... ты его обидел, и я требую, чтобы ты просил прощения.

— Madame! Vous oubliez que je suis le prince Chadursky![125] — гордо ответил князек и, круто повернувшись, отошел от своей матери. Княгиня ничего не нашлась возразить против такого сильного и неоспоримого аргумента.

И это говорил шестилетний ребенок! Таким образом, маленький Шадурский с самого раннего возраста был убежден в трех вещах: во-первых, что он — князь и что равных ему никого нет на свете; во-вторых, что он — красавец, и в-третьих, что он может желать и делать все, что ему угодно, ибо за красоту и за те качества, которые почитались в нем милыми и умными, ему многое прощалось. Однажды его побили, то есть драку начал он первый и хватил за ухо того же садовничьего сына. Садовничий сын, спустивший ему прежнюю оплеуху, на этот раз распорядился иначе и порядком-таки помял задирчивого князька, надававши ему в свой черед оплеушин. С князьком в тот же день сделалась нервная горячка, и долго после этого обстоятельства не

мог он слышать о садовничьем сыне и его побоях без того, чтобы не задрожать всем телом и не засверкать глазами от бессильной злости и оскорбленного самолюбия. Урок этот послужил ему единственно в том отношении, что он на будущее время не дрался уже без разбору, а вступал в бой только с слабейшими себя. Его упражняли в гимнастике, которая ему приходилась очень не по нутру: он был изнеженный мальчишка. Но когда ему сказали, что гимнастика развивает силу, князек предался ей со всем жаром, имея тайную цель — уничтожить садовничьего сына, как только сделается силен. Хотя уже этого садовничьего сына давным-давно не было на месте, но князек по временам с детским злорадством предавался мечтам о том, как он отыщет этого негодяя и каким образом и сколько именно раз будет бить его. Эти мечты всегда сопровождались злостным раздражением и слезами. Восьми лет от роду он прекрасно болтал по-французски и по-английски, с трудом пополам понимал по-русски, ловко гимнастировал и ездил на лошади, грациозно танцевал, стараясь подражать словам и мане-

рам взрослых, отменно хорошо знал, что у m-me N. фальшивые волосы, а у m-lle M. три вставных зуба, о чем подслушал однажды у кого-то и потом постоянно сплетничал другим; а не знал ни читать, ни писать, и заставить его учиться не было никакой возможности. Сведения его об отечестве простирались, впрочем, настолько, что он знал qu'il y a un pays, qui s'appelle la Russie, habitee par des moujiks[126].

Знал он также, что есть на свете Paris et les provinces[127], а когда его спрашивали, что же это за province, князек отвечал: «Dit on, que c'est Tamboff»[128]. Этим и ограничивались пока все его научные познания. Впрочем, ради беспристрастия мы должны сообщить, что и в двадцать лет их прибавилось весьма немного против прежнего. Вообще маленький князек знал много такого, что дети не должны знать, и не знал того, что все дети обыкновенно знают. Это была какая-то тройная смесь пародии на взрослых, enfant terrible [129] и барчукского тупоумия. Десяти лет от роду он был сдан на попечение почтенного старца гувернера, monsieur Popo или Coco

[130], что, впрочем, совершенно все равно. Monsieur Poro был старичок добродушно-почтенного вида, отменной нравственности и без масленой улыбки не мог видеть свежих, розовых щек молодых мальчиков и девушек, что, без сомнения, относилось к его добродушию. Monsieur Poro плотно кушал, безмятежно почивал и умеренно водил гулять своего питомца, но — как ни бился и как ни старался — за букварь усадить его не мог. Однажды, возвращаясь к себе в комнату, старец застиг в ней своего воспитанника, который предавался прилежному рассматриванию коллекции игривых картинок с подписями и объяснениями весьма двусмысленного свойства. Старец сначала было испугался, потом принял вид суровый, а потом не выдержал: мгновенная суровость уступила месту обычному благодушию, и на лице его заиграла масленая улыбка. Князек, с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазками, стал упрашивать старца прочесть ему подписи, чтобы вполне уяснить себе смысл и значение картинок. Monsieur Poro прочесть ему все сразу не захотел, ибо смекнул, что это любопытство и эти литогра-

фии могут послужить благим и завлекательным предлогом для обучения молодого князька чтению и письму, и действительно, первый урок был дан им тотчас же по подписям, которые так хотелось узнать питомцу. Старец убедил его никому не говорить об этих занятиях и обещал, если воспитанник сумеет молчать, показать ему впоследствии множество картинок и книжек еще лучше настоящих. Таким образом князь Владимир выучился читать по игривым картинкам.

Ему было не более двенадцати лет, когда он читал уже «La Justine»[131] маркиза Сада. Это было одно из первых сочинений, которые прочел он благодаря библиотеке monsieur Popo. С одним из томов «La Justine» поймала его однажды сама княгиня Татьяна Львовна.

— Что это у тебя за книга? Как ты смеешь это читать? Кто тебе дал ее?

— Signor Rigotti[132], — резко и смело ответил мальчик, смотря в глаза своей матери.

— Лжешь! не может быть! Я скажу твоему отцу и monsieur Popo, какие ты книги читаешь, безнравственный мальчишка! — возмутилась княгиня, ибо signor Rigotti, певец ита-

льянской оперы, был в то время близок ее нежному сердцу.

— А вы разве читали ее? — невозмутимо спрашивал юный князек.

— Я не читала, но я знаю!.. Я непременно пожалуюсь и гувернеру, и отцу, я все расскажу им! — волновалась княгиня.

— А когда так, так и я расскажу! — возразил князь Владимир.

— Что ты расскажешь, дерзкий мальчишка?

— Вы думаете, я боюсь их? Нисколько не боюсь! А вот я знаю, что у вас с Риготти! — нагло ответил он. — Я знаю... я видел... и тоже все расскажу отцу и... и всем расскажу!

Княгиня, никак не ожидавшая подобной развязки, разрыдалась, подверглась продолжительному припадку истерики, но про «La Justine» маркиза Сада никому не сказала ни слова.

Двенадцатилетний мальчик понял, что с этой минуты мать до некоторой степени у него в руках, что поэтому он может командовать ею и еще более делать все, что ему угодно. Четырнадцати лет он тайком посещал

вместе с добродетельным и на вид пуританически-строгим monsieur Popo различных героинь загородных балов и места вроде знаменитого Rue Joubert, № 4. В эти молодые годы князь Владимир Шадурский был уже развращен совершенно, развращен так, как иному не приходится и в сорок лет развращаться. Словом сказать, это был вполне достойный ученик достойного monsieur Popo. Все это, в совокупности с блистательною наружностью, с потворственными восторгами и отношениями к нему окружающих, сделало из князя эгоиста, деспота, вспыльчивого человека, цинически-развратного втайне и элегантно-приличного въяве. Никогда не встречая противоречия своим прихотям, он не знал, не понимал, что значат слова «нельзя» и «невозможно», — для него все было «можно», все было доступно и достижимо, стоило только пожелать хорошенько. Это убеждение поддерживалось еще более сознанием того, что он богат и знатен. Воспитание и образование свое князь Владимир получил преимущественно за границей — в Париже и в Италии.

К двадцати годам прибыл он наконец в

Россию, с тем чтобы поступить на службу в кавалерию. Все окружающие его — а он сам более всех — были убеждены, что ему стоит только захотеть, и он весьма легко и удобно сделается чем угодно: и бюрократом, и администратором, и финансистом, и дипломатом, и по любой из этих отраслей непременно займет пост видный и соответственный его званию и положению в свете; но князь Владимир предпочел военную службу, ибо, во-первых, ему более всего нравился блестящий мундир, а во-вторых — более всего на свете, после себя самого, любил он лошадей, собак и оружие. С протекцией да с помощью известных убедительных аргументов выдержал он кое-как, с грехом пополам, экзамен и надел красивую форму. Форма окончательно развязала ему руки, и вступление свое на жизненное поприще князь Владимир ознаменовал тем, что через полторы недели после приобретения полной самостоятельности проиграл на бильярде десять тысяч серебром да на пятнадцать надавал векселей в разные руки.

Он положительно стал блистать в петербургском обществе. Его кровные лошади и ве-

ликолепные экипажи красовались на Невском проспекте, на Дворцовой набережной и на Елагинской стрелке — повсюду, где только хотя сколько-нибудь пахло beau mond'ом[133]. Толпа приятелей, сеидов и поклонников всегда окружала молодого князя, ибо рада была поесть на его счет у Дюссо, покататься рядом с ним в его лондонском тюльбюри и с независимым видом поглазеть на француженок из его литерной ложи. Князь олицетворял в своей особе тип новейшего великосветского денди военного покроя. К женщинам относился он пренебрежительно и при своем непомерном сластолюбии измерял женские достоинства не чувством и умом, а единственно их стоимостью, количеством бросаемых на них денег. Двадцатипятилетний молодой человек выработал себе какой-то старческий, гнусненький взгляд на эти отношения: он ни разу не любил, ни разу даже влюблен не был порядочно, потому что слишком рано привык *покупать* себе наслаждения, а *брать* их чувством не мог, не умел и вообще считал слишком скучным и продолжительным.

Последняя заграничная поездка его, вме-

сте с отцом и матерью, ясно показала этому почтенному семейству, что состояние их приходит в расстройство. Княгиня Татьяна Львовна, которая вернее всех понимала настоящее положение дел, составила в голове своей верный план поправления обстоятельств. Мишенью для своих целей она мысленно избрала дочь господина Шиншеева, уже известную читателям некрасивую девицу, которую мечтала соединить узами законного брака с своим сыном и через то наложить искусными маневрами некоторые узы на состояние Давыда Георгиевича Шиншеева. План атаки был открыт ею князю Владимиру, но этот последний как-то мало обратил на него внимания, хотя и признавал всю его практическую справедливость. Князя Владимира в то время более всего занимала баронесса фон Деринг, которая казалась столь обольстительной двум старцам и в особенности расслабленному га-мену. В отношении этой обольстительной особы молодого князя разбирала сильная досада за то, что она видимо отдавала преимущество не ему, а его поврежденному батюшке.

Впрочем, молодой князь, не теряя отчасти из виду планов своей матери — в будущем, но не в настоящем, — надеялся на успех и у баронессы фон Деринг.

V
РАУТ У ГОСПОДИНА ШИНШЕЕВА

Месяц спустя по приезде Давыда Георгиевича все его знакомые получили великолепно литографированное, на атласной бумаге, краткое послание, приглашавшее их провести вечер в его доме.

Давыд Георгиевич очень любил представительность и блеск, поэтому давал обеды, балы и, кроме своих обычных jours fixe[134], делал иногда большие рауты.

Около десяти часов вечера половина широкой улицы перед его домом сплошь была заставлена рядами экипажей. К ярко освещенному подъезду то и дело подкатывали щегольские кареты, из которых, мгновенно мелькая перед глазом изящной ножкой и блестящей головкой, выпархивали дамы, подобрав свои платья, и тотчас же исчезали в па-

русине подъезда. Подъезжали и извозчичьи кареты-мастодонты, изрыгая из своих темных пастей также хорошеньких женщин; подплетались, наконец, и дребезжащие дрожки несуразных ванек, с которых одиноко и необыкновенно быстро спрыгивал какой-нибудь господин, уткнув кончик носа в поднятый воротник пальто, торопился расплатиться со своим автомедонтом и еще проворнее скрывался за парусину, как бы боясь, чтобы кто не заметил его общипанного ваньку. У подъезда важно распоряжались красивые городовые, бородатый дворник и помощник швейцара. Сам же швейцар, особа очень жирная и надменно-важная, с гладко выбритым подбородком, двумя ярусами возвышавшимся над бантом белого галстука, красовался в своем блистательном костюме на внутренней площадке сеней, близ пылающего камина, и при каждом новом посетителе слегка дергал ручку проведенного вверх звонка, выкрикивая имя новоприбывшего.

Тонкое, чуть заметное благоухание еще внизу охватывало обоняние гостя и сопровождало его вверх по изящно-легкой, бе-

ло-мраморной лестнице, убранной дорогими коврами и декорированной древними вазами, статуями, экзотами, цветущими камелиями и целым рядом ливрейных лакеев, неподвижно стоящих в некотором расстоянии друг от друга по широким ступенькам и на двух верхних зеркальных площадках.

Целая анфилада освещенных комнат открывалась с обеих сторон площадок, и в этой анфиладе мелькали черные фраки, шлейфы роскошных платьев, блестящие мундиры, красивые бороды и красивые усы, пышные куафюры и пышные плечи — и носился надо всем этим какой-то смутный, мягкий шелест, в котором мешались между собою и нежный свист шелковых платьев, и разноречивый говор, и легкое звяканье шпор, и где-то в отдалении виртуозные звуки рояля.

Давыд Георгиевич, по приезде из-за границы, в первый раз парадно принимал гостей в своем вновь отделанном доме. Он внутренне очень гордился эффектом, который производит на посетителей это изящное великолепие. Его самого слишком сердечно занимали и радовали переходы от ярко освещенных зал

к умеренным гостиным, украшенным настоящими гобеленами, китайскими болванчиками и этрусскими вазами, дорогими бронзами и еще более дорогими картинами. Он любил думать, что понимает толк в искусствах, тратил на искусства огромные деньги, и действительно, среди дюжинных произведений, купленных им от шарлатанов за настоящих Тицианов, Ван Дейков и Поль Поттеров, красовались и настоящие, неподдельные Гвидо Рени, Дель Сарто, Каламы и др. Почти каждая из них была освещена особо приноровленными для картин лампами, и на каждой великолепной раме неукоснительно присутствовала дощечка с знаменитым именем художника. Но более, чем гостиные во вкусах Людовика XIV, XV, Renaissance[135] и Империи, более, чем маленькая комнатка со стрельчатым сводом и разноцветным окном, в стиле Moyen âge [136], освещенная вверху одним фонариком, Давыда Георгиевича занимала обширная столовая, вся из резного дуба, в русском вкусе, с полками, где теснились севрские фарфоры, богемский хрусталь, старое, тяжелое серебро и золото в стопах, кубках и блюдах, — столо-

вая, украшенная картинами Снейдерса и медальонами, из которых выглядывали чучела медвежьих, кабаньих, лосьих и оленьих голов. Еще более радовала его диванная в персидском вкусе, мягкая, низенькая мебель которой, составляя резкий переход от дубовой столовой, в соединении с приятным розовым полумраком, господствовавшим в ней, так манила к лени, неге и послеобеденной дремоте. Этой последней в особенности помогал ровный и тихий плеск фонтанов, бивших рядом с диванной, в роскошном зимнем саду Давыда Георгиевича.

Общество, собиравшееся на его обеды, балы и рауты, носило на себе несколько смешанный характер; в нем не было ничего исключительного, ничего кастового, и, несмотря на то, каждый член этого общества непременно желал изобразить, что он привык принадлежать к самому избранному и высшему кругу. Сам Давыд Георгиевич, почитая себя в некотором роде финансовой знаменитостью, любил окружать себя тоже знаменитостями всевозможных родов, но более всего льнул к титулам и звездам, питая к ним некоторую

сердечную слабость. Благодаря своему богатству, он считал себя человеком, принадлежащим к великому свету. В его гостиных, в его приемной и в кабинете всегда было разбросано несколько визитных карточек с титулованными и великосветскими именами, хотя самые густые сливки аристократического общества, сливки, держащие себя слишком замкнуто и исключительно, вообще говоря, не были знакомы с золотопромышленно-откупным Давыдом Георгиевичем, и только некоторые из пенок от этих сливок, вроде князей Шадурских, удостаивали его своих посещений. Большая же часть титулованных имен, красовавшихся в доме г-на Шиншеева, принадлежала людям, посвятившим себя различным промышленным, акционерным и тому подобным спекуляциям. Впрочем, молодые и холостые люди grand mond'a почти все, за весьма немногими исключениями, ездили в дом его и упитывались отменными яствами и питиями его стола. Рядом со звездами и титулами вы бы могли здесь встретить разных тузов и знаменитостей бренного мира сего. Тут ораторствовал о благодетельной гласности и

либеральных реформах известный патриот Василий Андреевич Штукарев, умилялся духом своим и г-на Термаламаки, Эммануил Захарович Галкин рассказывал с чувством, что он «изтинный зловянин». Тут же, скромно покуривая драгоценную сигару, с благодушной иронией улыбался на все это известный барон — царь наших финансов, всегда самым скромным и незаметным образом одетый в черное платье. Давыд Георгиевич с него-то именно и брал пример в своей солидной, постоянно черной одежде. Рядом с этими господами помещались некоторые тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лицея и правоведения (это не то что университетский отпечаток), который, не сглаживаясь «по гроб жизни», всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно-либеральном тоне о selfgouvernement[137] и сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и новом

изречении, bon mot[138] Петра Александровича.

Все эти господа составляли преимущественно публику кабинета Давыда Георгиевича — кабинета, украшенного бюстами некоторых весьма высоких особ и картинами двоякого содержания: одни изображали некоторые баталии, прославившие оружие российского воинства; другие представляли сюжеты более игриво-пикантного свойства. Было даже одно изображение, всегда очень тщательно задернутое шелковой шторкой.

Комната, отведенная под библиотеку Давыда Георгиевича, представляла зрелище другого рода. Какие книги заключались в этих великолепных дубовых шкапах — Давыд Георгиевич по большей части не ведал; он знал только, что богатые переплеты их стоили очень дорого, да знал еще, что на карнизах шкапов красовались бронзовые бюсты семи древних греческих мудрецов, певца богоподобныя Фелицы да холмогорского рыбаря. Знать же что-либо более этого Давыд Георгиевич не находил нужным. На огромном овальном столе, занимавшем всю середину этой

комнаты, были разбросаны изящные альбомы и кипсеки, краски, кисти и прочие принадлежности живописи. Вокруг стола сидело несколько известных наших художников, которые украшали своими рисунками альбомы Давыда Георгиевича. За плечами каждого из них поминутно менялись группы мужчин и хорошеньких женщин, с любопытством заглядывавших сквозь лорнеты на рождающиеся рисунки наших знаменитостей.

Общество артистов, приглашаемых на всевозможные рауты — по большей части не ради приятных их качеств, но собственно ради увеселения почтеннейшей публики, — делилось на две категории: тут были артисты-боги, которых нужно было упрашивать сыграть что-либо, и они милостиво снисходили на просьбы общества; и были артисты-пешки, парии, которым обыкновенно говорилось: «А что бы вам сыграть нам что-нибудь!» — и артист скромно пробирается на цыпочках вдоль стенки, с футляром под мышкой, и с неловким смущением начинает потешать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой последней категории обыкно-

венно всегда есть один или два, покровительствуемые хозяином, и всеми ими вообще никто не занимается, а лакеи смотрят на них свысока, причем иногда обносят чаем. Артисты эти, исполнив свою должность, то есть отыграв перед почтеннейшей публикой, робко стушевываются или, как говорят они обыкновенно, «уходят вниз *покурить»,* куда, в случае надобности, за ними посылают человека: «Поди, мол, братец, кликни там артистов».

Но вот наступает некоторый антракт; в обществе залы несколько затих разноязычный говор, как будто источник попугаечной болтовни начинает иссякать понемногу. Минут десять тому назад только что отзвучал «неподражаемый» ut diez Тамберлика, когда он, к общему прочно-сдержанному аханию и восторгу, пропел свое «Скашитэ ей» и «Ее уш нэт», — и казалось, что из-под сводов этой двусветной залы не успел еще испариться отзвук его ut diez'a, как толпа хорошеньких женщин уже обступила рояль и кидает томно-просящие взгляды на одного молодого «любителя» из восточных человеков, с наружностью французского парикмахера, который

может петь à la[139] Тамберлик и à la Кальцорали. И вот упрошенный и умоленный «любитель», поломавшись предварительно перед дамами, начинает петь. Дамы тают и приходят в восторг.

Но не успевает он еще кончить свой плохо спетый романс, как вдруг:

Ва-а-зьми в ручки пи-и-иста-
ле-этик! —

раздается неподдельно-мужицкий голос из соседней гостиной — и вся толпа спешит в эту комнату «посмеяться» рассказам Горбунова из невиданного и только по этим рассказам знакомого ей простонародного быта.

Не увлеченными общим потоком остаются только два графа: граф Скалозуб да граф Редерер — две гениальные и аристократические звезды большого света. Подле них пребывают также не увлеченными подсевшие к ним два литератора невеликосветские: один фельетонист, обличающий в демократическом журнале икнувшую губернаторшу, другой — кисло-желчный публицист, карающий в газетах монополию, откупа и аристократизм «с демо-

кратическо-социальной точки зрения». Оба они слушают, как граф Редерер (артист, карикатурист, бонмотист, поэт и фокусник вместе) и граф Скалозуб (французско-нижегородский литератор) обдумывают экспромтом некоторый сюрприз к отъезду графини Александрины — сюрприз, заключающийся в некоторой proverbe[140] с куплетами, танцами, живыми картинами и превращениями, на четырех языках.

— Ах, это очень остроумно, прекрасно, бесподобно и так тонко вместе с тем! — восхищаются и поддакивают два литератора невеликосветские, прислушиваясь к речам двух литераторов великосветских.

— N’est-ce-pas?[141] Вы находите? — откликаются им с благодушной улыбкой два графа.

— Экое абсолютное, китайское тупоумие! Не постигаю, как могут быть у людей подобные кретинические интересы! — шепчет публицист фельетонисту, отходя с ним от двух графов к сигарному столику и пряча незаметным образом в свой карман хозяйскую сигару.

— Аристократишки, баре! уж я ведь хоро-

шо знаю их! — презрительно отвечает фельетонист публицисту и тоже зорким оком своим норовит стянуть хорошую сигару.

«Ва-азьми в ручки пистолетик» производил на публику очень утешительное действие, и только три грации, наши старые знакомки mesdemoiselles Шипонины, не были им довольны parce que ça sent trop le moujik[142]. Три грации, коим в сложности было около ста семидесяти лет, так и продолжали именоваться, по преданию, тремя грациями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сентиментальную любовь к небесно-голубому цвету и добродетельную целомудренность весталок, почему всё боялись, что их кто-нибудь похитит. Они по-прежнему продолжали сплетничать и страстно посещать общество, хотя уже и не под эгидой своей матушки, по смерти которой с непритворною горестью называли себя всем и каждому «тремя сиротками».

— Как дела? — тихо спросил Бодлевский, улучив удобную минуту и садясь в кресло с баронессою фон Деринг.

— Как видишь, произвела общий эф-

фект, — столь же тихо ответила баронесса, но ответ ее сопровождался такой рассеянной миной и столь равнодушным видом, что можно было подумать, будто она произносит одну из самых общих, ничего не значащих фраз.

Надо прибавить, что этот вечер был первым парадным и официальным выездом баронессы в общество петербургского beau monde'a. И действительно, ее красота, соединенная с таким живым умом и любезностью и облеченная в такой восхитительный наряд, произвела общий, весьма замечательный эффект. О ней заговорили, ею заинтересовались, и первый же вечер доставил уже ей несколько весьма хороших позированных в обществе поклонников.

— А я все более около солидных капиталов, — продолжал Бодлевский. — Нынче мы в ролях практических деятелей дебютировали. Ну, а те что? — прибавил он, незаметно скосив глаза в сторону старого Шадурского, который на другом конце комнаты лорнировал баронессу, стоя рядом с самим хозяином, и, казалось, вел разговор о ней же.

— В паутинке, — коварно улыбнулась она.

— Значит, скоро и мозги сосать можно?

— Скоро — затянуть только покрепче... Однако здесь не место для таких разговоров, — сухо прибавила баронесса, и Бодлевский почтительно удалился.

Татьяна Львовна Шадурская втайне очень тревожилась. Ее нежное внимание и матерински аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншееву. Ей так хотелось видеть ее соединенною узами законного брака со своим сыном, что это желание сделалось наконец любимою и заветною мечтою княгини Татьяны Львовны, старавшейся даже при этих мечтах позабыть о своем прирожденном аристократизме. Да и как не мечтать, если через соединение их является возможность привести в хорошее положение свои колеблющиеся дела или по крайней мере раз и навсегда отвязаться от князя Владимира, который перестанет безвозвратно пожирать родительские деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, как действовать на слабую струнку Дарьи Давыдовны. Дарья Давыдовна была очень

некрасива, неловка, неграциозна и до болезненности самолюбива. Самолюбие с честолюбием могли почесться ее отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами и ее батюшки, нигде и никогда не разлучавшегося со своим Станиславом. При этих двух свойствах ее души, судьба вдобавок наделила ее еще весьма влюбчивой и пылкой натурой. К сожалению, Дарья Давыдовна постоянно влюблялась в столь аристократически-блистательных молодых людей, что ни один из них не обращал на нее никакого внимания. И самолюбие Дарьи Давыдовны вечно уязвлялось. В князя Шадурского она почему-то не влюбилась, но выйти за него замуж была бы весьма не прочь — для приобретения соответственного положения в большом свете. Не прочь бы от этого был и коллежский советник Шиншеев. Одна беда: молодой князь Шадурский, на их взгляд, решительно не оказывал никакой склонности к женитьбе, Дарье же Давыдовне дарил свое внимание ровно настолько, насколько требовали приличия, ибо все оно было поглощено надменно-холодною красотою баронессы фон

Деринг, — красотою, которая под своей ледяной оболочкой заставляла иногда предполагать нечто противоположное. Вот это-то обстоятельство — это чересчур исключительное внимание — и тревожило так княгиню Шадурскую. Оно отдаляло осуществление ее заветных целей. Княгиня не терпела баронессу, не терпела за ее красоту, еще не успевшую поблекнуть, за своего мужа и особенно за сына, отдававших ей такое исключительное предпочтение, а между тем она принуждена была принимать ее, сама ездить к ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяны Львовны расположилось чересчур уж нежно в пользу брата баронессы — Владислава Карозича. Все эти обстоятельства в общей сложности и тревожили ее так сильно.

Княгиня случайно сидела в уединенном уголке одной из гостиных, откуда могла через растворенную дверь очень хорошо обозревать все, что происходило в смежной комнате, где помещалась ее антипатия — баронесса фон Деринг, тогда как самое ее совершенно заслонял от посторонних глаз роскошный трельяж, весь опутанный картинно-пол-

зучими растениями. Ей очень хотелось, чтобы в ее уединение заглянул Карозич, но Карозич не догадывался о желании княгини, которая вдруг, обок с собою, услышала за трельяжем весьма интересный для нее разговор. По голосам она узнала графа Редерера и графа Скалозуба.

— Полюбуйся-ко, это очень интересно, — говорил один другому, подходя к двери. — Оба Шадурские — старец-молокосос и молокосос-старец — изволят таять перед баронессой.

— Ах, это в самом деле очень любопытно! — отозвался другой со смехом. — Вот прекрасный сюжет для водевиля! Напишем-ка! Водевиль под названием: «Два ловца за одним зверем, или Папенька и сынок — соперники».

— Браво! — подхватил Скалозуб. — Брависсимо! Я сочиню куплеты, ты сделаешь музыку, и поставим у княгини Александрины на сцену.

— Но ведь все узнают, догадаются, — возразил Редерер.

— Пусть узнают! Зато смеху-то сколько будет, смеху! Ведь это очень комично!

И два графа солидно прошли в смежную комнату продолжать на более близком расстоянии свои наблюдения для будущего водевиля.

Слова обоих графов с первых же фраз их разговора словно ножом резнули по сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза в сторону баронессы и с горечью увидела подле нее своего супруга, оперевшегося на руку князя Владимира. Ей сделалось жутко, тем более жутко, что она очень хорошо понимала, насколько в самом деле было комического в этом соперничестве сынка и батюшки. Намерение двух графов касательно водевиля побудило ее серьезно и немедленно переговорить со своим сыном.

— Я отнимаю от вас одного поклонника, — любезно улыбнулась она баронессе, подав руку князю Владимиру и отводя его от красавицы.

Красавица ответила столь же любезным кивком головы, который, в сущности, означал, что ей это решительно все равно, а князь Владимир не без удивления вскинул вопросительный взгляд на свою матушку.

— Мне надо серьезно переговорить с тобою, — тихо сказала она, уводя его по анфиладе комнат к зимнему саду, который представлял более удобств для интимных разговоров. — Ты ставишь себя в весьма неприятное и смешное положение, — продолжала княгиня, приняв озабоченно-строгий и холодный вид. — Над князьями Шадурскими, слава Богу, до сих пор никто еще не смеялся, а теперь начинают, и имеют полное право. Я не назову тебе, кто говорил, но вот что я слышала сию минуту.

И она от слова до слова передала ему разговор двух графов. Молодого князя сильно-таки передернуло. Он был и взбешен, и сконфужен в одно и то же время.

— У тебя ни на грош нет самолюбия, — заключила княгиня уже с некоторою желчью в голосе. — Она на тебя и внимания не обращает, а ты, как мальчишка, вздыхаешь перед нею! Это стыдно, князь! Я, признаюсь, была о вас лучшего мнения.

Княгиня договаривала свою грозную проповедь, выходя из темной, извилистой аллейки лавровых и миртовых деревьев. Молодой

князь, совершенно уничтоженный, слушал ее, закусив свою губу и немилосердно комкая в руке замшевую перчатку. Вдруг на одном из поворотов, в самом устье этой аллейки, оба они невольно остановились в приятном изумлении.

Шагах в пятнадцати расстояния, на чугунной скамейке, сидела незнакомая им женщина. Она, очевидно, ушла сюда освежиться и отдохнуть от жара залитой огнями залы. Беспредельное, тихое спокойствие ясно выражалось в ее полуутомленной улыбке, в ее больших голубых глазах и во всей ее непринужденно-грациозной позе. По обеим сторонам скамейки и вокруг небрежно закинутой головки молодой женщины необыкновенно эффектными пятнами на темном фоне окружающей зелени выглядывали белые венчики нарциссов и лилий. А над этой головкой в виде не то навеса, не то какого-то фантастического ореола красиво рассыпались прихотливо-зубчатые листья экзотов — пальм и папирусов, бананы и музы, перевитые игриво-смелыми побегами цветущих лиан, кисти которых тихо колебались в воздухе, спускаясь

очень близко к головке отдыхавшей под ними женщины. Голубые лучи от матового шара солнечной лампы, спрятанной в этой купе растений, пробивались сквозь просветы широких, длинных и лапчатых листьев и падали необыкновенно прихотливой, неясной сеткой на лицо и бюст красавицы, черные волосы которой, несмотря на свое роскошное обилие, были зачесаны совершенно просто, и вся она, такая чистая и прекрасная, среди этой зелени напоминала античную дриаду — как та мраморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана и которая легким изгибом своего тела и изящным поворотом головы, казалось, хотела любопытно заглянуть в лицо отдыхавшей красавицы.

Шадурские с минуту оставались в том молчаливом онемении, которое всегда производит на человеческую душу внезапный вид необыкновенной красоты. Оба они, скрытые в тени миртовых ветвей, не были видны.

— Что, какова? — самодовольно прошептала княгиня.

Шадурский только головой покачал, с дилентантским наслаждением рассматривая

сквозь pince-nez[143] незнакомую женщину.

— Кто это? — едва слышно спросил он.

— Не знаю и никогда не встречала.

— Странно… Une femme inconnue…[144] Очень странно!.. Надо будет узнать непременно!

— А как хороша-то?

— Изумительно!

— А кто лучше: баронесса или она?

— Какое же тут сравнение! — ответил князь, пренебрежительно двинув губою. — И как это я до сих пор не заметил ее! Vraiment c’est un sacrilège de ma part![145] — продолжил он, тихо поворачивая назад в темную аллею, чтобы появлением своим не потревожить уединенный отдых красавицы.

— Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама? — спрашивал он полчаса спустя у двух своих приятелей, когда поразившая его особа появилась в зале, под руку с Дарьей Давыдовной.

— Знаем, — отвечали в голос оба приятеля, из которых один в своем кругу звался просто Петькой, а другой, с академическим аксельбантом, — князем Рапетовым.

— Кто же она? Скажите мне, Бога ради!

— Никто! — с глупым нахальством прохохотал Петька. Рапетов серьезно покосился на него.

— Ее зовут Юлия Николаевна Бероева, — сказал он.

— В первый раз слышу, — заметил Шадурский.

— Не мудрено: elle n’est pas des nôtres[146], — объяснил Петька. — Муж служит чем-то у Шиншеева, а Шиншеев, говорят, ухаживает за женою и на вечера свои приглашает, как декорацию, ради красоты ее.

— Donc c’est une conquête facile![147] Примем к сведению, — фатовато заметил Шадурский.

— Ну, не совсем-то facile[148]! — возразил Рапетов. — Вы слишком скоры на заключения, любезный князь, позвольте вам заметить.

— Это почему же? — с усмешкой обернулся Шадурский. — В вашем тоне как будто маленькая ревность есть! — шутливо прищурился он на Рапетова.

— Ревности нет никакой, а если хотите

знать, почему вы тут ничего не добьетесь, мой милый ловелас, так я вам объясню, пожалуй.

— Очень интересно послушать.

— Госпожа Бероева — честная женщина; любит немножко свой очаг, много своего мужа и бесконечно своих детей, — отчетливо-докторальным тоном проговорил Рапетов.

— И потому? — снова усмехнулся Шадурский с самоуверенным задором.

— И потому — ухаживайте-ка вы лучше за баронессой фон Деринг! Это, кажись, благонадежнее будет.

— Благодарю за совет! — с колкою сухостью пробормотал князь Владимир. — Только *мне* сдается, что через несколько времени и я, в свой черед, посоветую вам — не давать опрометчивых советов.

— Это, кажется, вызов? — спокойно спросил защитник Бероевой.

Князек немного осекся; он совсем не ожидал подобного оборота, ибо вызова и в помышлении своем, опричь романов, никогда не имел.

— Какой там вызов! Есть из-за чего! — по-

старался улыбнуться он с натянутой небрежностью. — Я только говорю про то, что не прочь на деле доказать вам… ну хоть la possibilite d’une conquête[149].

— Коли есть охота — не препятствую, — коротко поклонился ему Рапетов.

— А я пари держу, что ничего из этого не выйдет, — вмешался Петька. — В наш положительный век женщины, брат, только на карман полагаются, — пошло сострил он и сам расхохотался.

Самолюбие князя было сильно задето, в особенности же подстреканиями Петьки.

— Пари? Идет! на сколько? — предложил он, протягивая ему руку.

— Ужин с квасом у Дюсы, — сторговался тот.

— Ладно! Князь Рапетов, разнимите руки.

— Можете разнять сами, господа, — ответил Рапетов с заметною сухостью. — Между такими порядочными и честными людьми свидетелей не надо, — добавил он, отходя от приятелей.

Пари состоялось без его посредничества.

— Граф Каллаш! — возгласил человек, стоявший у главного входа в большую залу.

При новом и почти неизвестном, но громком имени многие взоры обратились к дверям, в которые должен был войти новоприбывший. Легкий говорок пробежал между присутствующими:

— Граф Каллаш...

— Кто такой?..

— Венгерское имя... Как будто что-то слышал.

— В первый раз появляется?

— Что это за Каллаш? Ах да, это одна из старых венгерских фамилий!..

— Интересно!..

Подобные вопросы и замечания беглым огнем перекрещивались между собою в многочисленных группах гостей, наполнявших залу, когда в дверях ее появился молодой человек...

Он замедлился на минуту, чтобы окинуть взором окружающую обстановку и присутствующих; затем, как бы чувствуя замечания и взоры, устремленные на его личность, но совершенно «игнорируя» их, без застенчиво-

сти, ровной и самоуверенно-скромной походкой прошел через зал; Давыд Георгиевич с приятной улыбкой поспешал ему навстречу.

Люди опытные, привыкшие к обществу и приглядевшиеся к жизни и нравам большого света, часто по первому шагу очень верно судят о той роли, которую будет играть человек в среде их. Люди опытные по первому взгляду молодого человека, по первой походке его, по тому, как он только вошел в залу, решили уже, что роль его в свете будет блистательна, что не одно женское сердце затрепещет впоследствии при его появлении и не одна-то дендическая желчь взбудоражится от его успехов.

— Как хорош! — смутным шепотом проносилось между дамами. Мужчины по большей части молчали, некоторые только пощипывали кончик бакенбарда, и все вообще делали вид, что не замечают нового гостя. Одно уже это могло почесться блистательным началом самого верного успеха.

Действительно, наружность его нельзя было оставить без внимания; между тысячью молодых людей он все-таки был бы заметен.

Высокий, стройный рост и необыкновенная соразмерность всех членов так и напрашивались на сравнение с Антиноем. Матовая бледность постоянно была разлита по его красивому, немного истомленному лицу. Высокий лоб, над которым от природы вились заброшенные назад черные волосы, и тонкие сдвинутые брови носили печать страстно-тревожной и постоянно напряженной мысли. Цвет глубоких, немного запавших глаз определить вполне было невозможно. Это были какие-то темные глаза, которые порою загорались южно-лихорадочным огнем, чтобы вслед затем потухать и заволакиваться тем неопределенным туманом, сквозь который, кажется, чуешь глубину бесконечную. Небольшие усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали неприятно-саркастическую улыбку, сдержанно мелькавшую иногда на его сладострастно очерченных губах. Естественная грация хороших манер и вполне скромный, но необыкновенно изящно сделанный костюм довершали наружность молодого человека, который — несмотря на всю свою кажущуюся скромность, где таилось, однако, глубокое,

гордое сознание своей силы и достоинства, — несмотря на эту кажущуюся мерку под общий ранжир, на желание незаметно затеряться в толпе, — был все-таки заметен и оригинален. Таково уже, значит, магнетическое влияние силы и красоты человеческой. Лет его, точно так же как и глаз, определить вполне было невозможно — казалось около тридцати, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Он сохранил наружность человека молодого, но с тем благородным отпечатком, который показывал ясно, что тут было пережито, перечувствовано и переиспытано вволю. Более тонкий психолог и физиономист в этом холодном, мало выдающем свои помыслы лице, быть может, разгадал бы, вместе с сильной волей и непреклонной энергией, натуру гордую, упорно-страстную, неблагодарную, которая берет от людей все, что захочется, требует от них это все как должное и за то даже головой никогда не кивнет им. Таков был граф Николай Каллаш.

Граф являлся совершенно новым светилом в петербургском обществе, на горизонте которого появился не более недели. До этого вече-

ра его видели только раза два в опере да раз на Дворцовой набережной. Проходя по зале с Давыдом Георгиевичем, он то кланялся кивком головы, то протягивал руку шести-семи личностям, с которыми познакомился дня за два, у Сергея Антоновича Коврова, где сошелся с ним и г-н Шиншеев, езжавший к Коврову играть в карты. Давыд Георгиевич тотчас же представил его своей дочери и некоторым из самых высоких звезд и знаменитостей обоего пола, на которых к концу вечера граф произвел самое выгодное впечатление. С Тамберликом он очень разносторонне говорил на итальянском языке об опере; с одним из attache [150] английского посольства, который неизменно показывается всюду с слишком бесцеремонными позами, весьма остроумно рассуждал по-английски о последней карикатуре Понча, с графом Редерером и Скалозубом — по-французски о русской литературе и могуществе русской державы; с тузами мира финансового вставлял весьма практические замечания о каком-то новом проекте какого-то общества. Наконец, блистательным образом разыграл ноктюрн собственного сочинения,

причем некоторые артисты-боги остались приятно изумлены, а дамы даже совсем забыли своего идола из восточных человеков; после ноктюрна шутя набросал в альбоме премилый эскиз в какие-нибудь четверть часа; за эскизом прошел в комнату, где на зеленом поле шла значительная игра, шутя поставил значительную карту и проиграл; проигравши, скромно вынул из бумажника пачку ассигнаций, отсчитал, что было нужно, доложил еще часть золотом и равнодушно удалился от стола, словно бы подходил туда не более как выпить стакан лимонада.

Граф Каллаш — новое лицо с аристократическим именем, граф умен, остер, образован, граф так талантлив и так хорош собою, и, наконец, граф так богат, так мило, так джентльменски умеет проигрывать. Граф не мог не произвести самого блестящего впечатления, и сильнее всех это впечатление отразилось на некрасивой Дарье Давыдовне, которой он оказывал предпочтительное внимание при каждом удобном, подходящем случае.

* * *

Княгиня Шадурская спустя несколько вре-

мени после разговора с сыном вернулась на свое старое уединенное место — за зелень трельяжа. Вскоре подле нее появился Бодлевский. Он был не в духе, по временам досадливо пощипывал бороду и явно старался принять угрюмо-рассеянный вид, отвечая княгине только односложными словами. Это наконец ее встревожило. Беспокойство и маленькая ревность копошились в ее сердце.

— Что с вами? Отчего вы так рассеянны, так не в духе? Не скрывайтесь, отвечайте мне! — говорила она, устремляя на него с нежным участием свои влюбленные, хотя и не юные взоры.

Бодлевский только пожал плечами.

— Отчего вы не были вчера *там*... в Морской?.. Я ждала вас, — продолжала княгиня с беспокойно-ревнивой ноткой в голосе. — Послушайте, Владислав, вы два раза уже не были там... Я знаю... Я уже... надоела вам, не правда ли?

Бодлевский вскинул на нее притворно удивленный взгляд; княгиня горько улыбнулась.

— Вы удивляетесь моим словам... удивляе-

тесь, конечно, до какого унижения может дойти женщина, — с горечью говорила она. — Я знаю, я не молода, мне уже тридцать семь лет (княгине было за сорок пять), поэтому вам кажется смешною любовь старухи... Вам нравится кто-нибудь лучше, моложе меня... Слушайте, не скрывайтесь!

— Перестаньте, княгиня! в мои года позволительно иметь более прочные привязанности, — ответил Бодлевский, поцеловав ее руку.

Лицо княгини просияло.

— Ну так что же! О чем вы задумываетесь, что тревожит вас? — пристала она с большей энергией.

— Мало ли что может тревожить меня! — загадочно проговорил Бодлевский, уклоняя в сторону неопределенный взгляд.

— Скажите, откройте мне, — настаивала она.

— К чему же? Это вас нисколько не касается.

— Мне кажется, я имею некоторое право на вашу откровенность, — с укорливой улыбкой заметила Татьяна Львовна. — Наконец, я

хочу, я *требую,* чтобы вы сказали мне.

Бодлевский молчал, как будто обдумывая что-то и словно борясь сам с собою.

— Я жду, — настойчиво повторила княгиня.

— Извольте, если это вас так интересует! — выговорил он наконец с тем полным вздохом, который иногда обозначает у людей решимость. — Видите ли... я проигрался в карты, а мой банкир не прислал еще Капгеру телеграмму на выдачу мне денег... Я, впрочем, уже телеграфировал ему, но... ответа нет... Вот что тревожит меня, и вот почему вчера я не был там, — заключил Бодлевский, стараясь не глядеть на княгиню.

— Только-то и всего? — удивилась она. — И вы молчали, вы не могли прямо сказать мне тотчас же!.. Сколько вы проиграли?

— Десять тысяч, — сквозь зубы процедил Бодлевский.

— Приезжайте завтра туда, в магазин; около двух часов я привезу деньги.

— Но, княгиня...

— Без всяких *но*!.. Я не люблю возражений... — сказала она с такой кокетливостью и

с такой милой миной, что Бодлевскому не оставалось ничего более, как только вновь поцеловать ее руку в знак своего полного согласия.

Это были первые деньги, добытые им от княгини.

«Экой дурак! не хватил цифры побольше! — рассуждал он мысленно, слушая влюбленные речи пожилой красавицы. — Экой дурак, а она бы дала непременно! Впрочем, мое от меня не уйдет и впоследствии», — успокоительно заключил он свое самоугрызение.

Молодой Шадурский изъявил Давыду Георгиевичу желание быть представленным Бероевой. Г-н Шиншеев тотчас же исполнил это желание, и князь Владимир через полчаса успел уже надоесть ей до зевоты своей пошло-ловеласовской болтовней. Князь Владимир помнил, что перед ним женщина «не его общества», и потому отчасти держал себя не совсем так, как стал бы держаться перед особой своего круга. Бероева это поняла и раза два довольно тонко оборвала юного ловеласа, но именно потому, что это было тонко,

юный ловелас не домекнулся о настоящем значении ее слов или не желал домекнуться. Петька, не переставший наблюдать за своим приятелем, от души радовался его неуспеху, предвкушая уже наслаждение выигранного ужина. Это только бесило молодого Шадурского. Зевок Бероевой и случайно пойманная при этом ирония во взгляде князя Рапетова, наконец, торжествующая улыбка Петьки, коля его самолюбие, в то же время разжигали до злости настойчивое желание добиться своей цели.

— Так или иначе, рано или поздно, но я выиграю пари! — говорил он Петьке, стараясь решительной самоуверенностью тона прикрыть вопль самолюбия и донимавшее его бешенство.

— А я уж было думал, что ты после кораблекрушения повезешь меня кормить ужином, — со вздохом обманутой надежды заметил ему Петька.

— Обделывай скорее свои дела, Наташа, обделывай! — самодовольно потирал руки Бодлевский, уезжая в карете со своей сестрой,

баронессой фон Деринг, с шиншеевского раута. — Я тебя порадую, — говорил он, — завтра мы начинаем осуществлять наши проекты: десять тысяч у меня в кармане!

— Как так?.. — изумилась Наташа.

— Очень просто: старуха Шадурская к двум часам привезет их к генеральше фон Шпильце.

Баронесса, вместо ответа, обвила руками шею Бодлевского и поцеловала его в *лоб*.

VI
АГЕНТСТВО И КОМИССИОНЕРСТВО

По Большой Подьяческой улице уже несколько дней сряду прохаживался неизвестного звания человек и все останавливался перед воротами одного и того же каменного дома. Подойдет, поглядит, нет ли билетов с известною надписью: «Одаеца комната», — видит, что нет, и пройдет себе далее. Неизвестного звания человек аккуратно два раза в день совершал свои экскурсии по Большой Подьяческой улице: пройдет раз утром и не показывается до вечера; пройдет раз вечером

и скроется до следующего утра. Наконец, на седьмые или восьмые сутки, труды хождений его увенчались успехом. У ворот болтались прикрепленные кое-как жеваным мякишем хлеба две бумажки. Одна гласила, что «одаеца квартера о двух комнатах с кухней», а другая изображала об отдаче «комнаты снебелью ат жильцов». Прочтя это извещение, неизвестный человек тотчас же повернул назад и быстро направился к Канаве, куда, очевидно, влекла его настоящая причина восьмидневных хождений. Эта настоящая причина привела его в Среднюю Мещанскую улицу, под ворота грязно-желтого, закоптелого дома, где безысходно пахло жестяною посудой и слышался непрерывный стук слесарей и кастрюльщиков. Означенная причина заставила его подняться в третий этаж по кривым, обтоптанным ступеням темной, промозгло-затхлой каменной лестницы и войти в общипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной, однако, с неряшливым поползновением на комфорт. По всему заметно было, что квартира служит обиталищем особы, не отличающейся целомудренностью

своих привычек.

— Кто там? — послышался резко-сиплый, неприятный голос женщины из-за притворенных дверей другой комнаты, откуда разило смешанным запахом цикория, зажженной монашенки и табачищем.

— Все я же-с! — крякнув, ответствовал неизвестного звания человек.

— А, Зеленьков! Войди сюда!

— Оно самое и есть: Иван Иваныч господин Зеленьков! — проговорил тот, входя с кабацким разлетцем, потряхивая волосами, подергивая плечами и вдобавок подмигивая глазом, что в сложности выходило препротивно.

— Что, пес этакой! — с ругательной любезностью обратился к нему сорокалетний нарумяненный лимон в распашном шелковом капоте и с крепкой папироской в зубах. — Опять, поди-ка, ни с чем пришел?

— Ан вот-с нет, коку с соком принес! — поддразнил языком Иван Иванович.

— Говори дело: есть билеты?

— Пара! — крикнул господин Зеленьков и с торжествующим видом вытянул два свои

пальца к носу нарумяненного лимона.

— Слава тебе, тетереву! — с удовольствием улыбнулся лимон. — А то уж мне куды как надоело ходить-то с докладами каждое утро! Подходящее, что ль? — обратился он к Зеленькову.

— Самая центра! потому как одна от жильцов комната при небели, а другая — фатера на всю стать, с кухней, и две комнаты при ней.

— Ладно! Это, значит, годится, — сказал лимон и, зажегши с окурка новую папиросу, принялся, размахивая руками, шагать по комнате тою особенной походкой, с перевальцем, которая у особ подобного рода называется «распаше». Иван Иванович тоже вынул из кармана обсосанный окурок сигарки, очевидно, про запас припрятанный, подул на него, закурил и небрежно расселся на линялом штофном диване.

— Теперича ты вот что, — заговорил лимон, делая свои соображения, — в эфтим самом доме живет...

Неопрятная особа, остановившись на этих словах, подошла к туалетцу и, вынув из ящи-

ка клочок бумаги, прочла написанное на нем.

— Живет Егор Егорыч Бероев, а у него жена Юлия Николаевна, — продолжала она. — Так ты вот что, как будешь нанимать квартеру либо комнату там, что ли, старайся вызнать наперед, по какой лестнице живет этот самый Бероев, и коли квартера придется по той самой лестнице, бери ее беспременно.

— Значит, фатеру брать? — спросил Иван Иванович.

— Фатеру либо комнату — это один черт выходит; платеж ведь не твоего кармана дело, так и рассуждать тебе нечего. Ты, главное, старайся узнать, по какой лестнице; а там, коли Бог поможет на наше счастье сиротское, что придется эта квартера по одной лестнице, так ты и занимай ее сразу.

— Это мы, Сашенька-матушка, можем; капиталу в голове настолько-то хватит! — похвалился Зеленьков, тряхнув волосами.

— Опосля этого, — внушала Сашенька-матушка, — как ты переедешь туда, говори всем, что был господский человек; господа, значит, вольную написали, и теперь, как ты при своем капитале состоишь, так хочешь заняться

по торговой части.

— Это столь же очинно можно! — согласился Иван Иваныч. — Коли господский, так и господский, я не перечу. Оно к тому же у меня и рожа ничего... как следует быть... одно слово — халуйственная-с, — так это сюда же дело подходячее и, значит, нам на руку, — говорил Зеленьков, охорашивая перед зеркалом свои белобрысые жесткие усы, придававшие его физиономии действительно нечто ухарски-лакейское и именно халуйственное.

— Потом, — продолжала Сашенька-матушка свои наставления, — сойдись ты мне беспременно в приятном знакомстве с прислугой этих самых Бероевых; коли там куфарка либо горничная — сам уж будешь видеть, — так ты постарайся до марьяжу знакомство довести, чтоб она, значит, к тебе ходила беспременно в гости; подарков да кофиев не жалей, потому опять же, говорю, не твоего карману дело. Ты только знакомство амурное своди поскорей, а я к тебе теткой на новоселье приеду и навещать стану, и ты ко мне каждый день в аккурат являйся с лепортом насчет делов этих самых. Ну, вот тебе и все пока! А это

на задаток, — заключила она, вручив Ивану Ивановичу трехрублевую ассигнацию. Иван Иванович философски посмотрел на зеленую рубашку ассигнации и горько улыбнулся.

— Александра Пахомовна! — заговорил он униженно-обиженным протестом. — Что же это такое значит? Какой же я такой выхожу вольноотпущенный человек и при своем капитале состою, а костюмчика по званию своему не имею — и сейчас всякий меня мазуриком обзовет. А вы взгляньте-с: ведь сюртучонок-то у меня — масленица! весь засалимшись, словно резинковый непромокаемый, лоснится. Так это на что же похоже-с?

Александра Пахомовна с серьезным видом оглядела весьма неказистый костюм господина Зеленькова.

— И теперича вы знаете, — продолжал господин Зеленьков, — что я завсегда как вам, так и их превосходительству по гроб жисти своей преданный раб, и о костюмчике не для себя собственно выговариваю, потому мне это дело не стоящее, мне все равно, в чем ни ходить: Зеленьков и в рогожке щеголем будет и всегда будет — Иван Иваныч Зеленьков, а

костюмчик пристойный, собственно по вашему же делу, требуетца — так вы подумайте-с и на гардероп мне вручите.

Александра Пахомовна подумала и вручила на гардероб три пятирублевых бумажки, с внушением не пропить их.

Господин Зеленьков не без достоинства ответил, что он дело свое завсегда понимать может, и, откланявшись с обычно-ухарскими ужимками, направился на Толкучку — покупать себе новое платье.

В тот же самый день, к шести часам вечера, он переехал в комнату, отдающуюся от жильцов, которая, на сиротское счастье Александры Пахомовны, пришлась как раз над квартирой Бероевых.

Это все совершилось спустя две недели после раута Давыда Георгиевича Шиншеева, а побудительной причиной к совершению послужили нижеследующие обстоятельства.

Князь Владимир Шадурский провел скверную ночь: уязвленное самолюбие лишало его сна, взбудораженная досада и до детскости капризная, избалованная настойчивость в

своих желаниях — настойчивость, в этом случае пока еще совершенно тщетная, бессильная, — не давали ему ни минуты покоя; он все думал, как бы этак гласно, героически, донжуански достичь своей цели, чтобы натянуть нос и Рапетову, и Петьке, — и все-таки ничего не выдумал...

Между тем полнейшая невозможность встретить в скором времени Бероеву, очевидный неуспех у нее, слишком заметная, даже как будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно возрастающее подтрунивание Петьки заставили его через три-четыре дня решиться на последнее, слишком рискованное средство: он поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша обещала уведомить его о результатах, и на другой день утром князь Владимир получил письмо лаконического содержания — в нем значилось только шесть письменных знаков: *«2000 р. с.»*.

Князь, не думая ни минуты, схватил перо и на той же бумажке написал: *«Согласен»*. Бумажка с тем же самым посланным отправилась в обратное путешествие, а господин Зеленьков получил приказание выжидать объ-

явления о квартирах у ворот указанного ему дома.

VII
«НА ЧАШКУ КОФИЮ»

Иван Иванович Зеленьков благодушествовал. Он уже около месяца занимал свою «комнату снебелью», а хозяйка его апартамента — курьерская вдова Троицына — оказывала ему всякое уважение, потому что Иван Иванович Зеленьков при самом переезде своем в новое помещение вручил ей сразу вперед за месяц свою квартирную плату. Это обстоятельство, паче слов самого Зеленькова, убедило курьерскую вдову Троицыну, что постоялец ее — человек отменный, точный и взаправду при капиталах своих состоит. Иван Иванович казался ей истинным щеголем, да и самому себе таковым же казался: он носил набекрень пуховую шляпу вместо прежней потертой фуражки; драповая бекеша с немецким бобриком предохраняла от стужи его бренное тело, которое в комнате украшалось темно-зеленым сюртуком с отложными ши-

рокими бортами и металлическими пуговицами, шелковым жилетом и широкими панталонами невыразимо-палевого цвета. Иван Иванович аккуратно каждое утро посещал мелочную лавочку, где проводил полчаса и более в приятных разговорах с приказчиком. Приказчик тоже оказывал Ивану Ивановичу уважение и удовлетворял его расспросам. Всем петербургским жителям уже давным-давно известно, что мелочные лавочки служат своего рода клубами, сборными пунктами для всевозможной прислуги. Иван Иванович Зеленьков успел заслужить благоволение и от этих посетителей, ибо рассказывал им разные истории, балагурил и иногда почитывал «Пчелку». Зоркое око его вскоре заприметило между многочисленными посетителями курносую девушку Грушу, отправлявшую обязанности прислуги у Бероевых. Курносая девушка Груша, солдатская дочь, являла собою вполне порождение Петербурга: она могла быть и горничной, и кухаркой, и белошвейкой, и всем чем угодно, и, в сущности, ничем. Хотя курносая Груша никакими особенно приятными качествами души и наруж-

ности не отличалась, однако Иван Иванович начал преимущественно перед нею «точить свои лясы». Курносая Груша сначала ответствовала молчанием, пренебрегала лясами Ивана Ивановича, отвертывалась от своего искателя, а потом, видя такое его постоянство, начала улыбаться, отвечать на лясы лясами же, и наконец мягкое сердце ее не выдержало. Приятные качества Ивана Ивановича вполне победили курносую Грушу, особенно когда он, догнав раз ее на лестнице, подарил шелковый фуляр, а в другой — золотые сережки. Груша вдруг ощутила потребность более обыкновенного подыматься наверх к курьерской вдове Троицыной то за одолжением спичками-серинками, то за угольками. Наконец она появилась и в апартаменте гостеприимного Ивана Ивановича. Иван Иванович с тех самых пор, как уловил в свои сети некрепкое, но доброе сердце девицы Груши, и сам несколько изменился: он по утрам, перед тем как отправляться к Александре Пахомовне с отчетом о своих действиях, неукоснительно забегал в цирюльню, где приказывал брить свою бороду, уснащать гонруазом усы и

покруче завивать коками свои белобрысые волосы. Разноцветные галстуки также стали принадлежностью его костюма. Словом сказать, грязненький Иван Иванович Зеленьков преобразовался в совершенного сердцееда ради курносой девушки Груши.

Однажды утром он встретился с нею в мелочной лавочке и сказал с поклонцем:

— Послушайте, Аграфена Степановна, как я собственно желаю решить судьбу насчет своего сердца, так не побрезгуйте нониче ко мне на чашку кофию — притом же моя тетенька будут.

— Очинно приятно, — отвечала Груша и обещала быть беспременно.

Когда к шести часам вечера она вошла к господину Зеленькову, комната его уже представляла вполне праздничный вид. На окошке не валялось ни сальных огарков, ни оторванных оловянных пуговок, ни сапожной щетки, ни даже полштофов — все это было выметено, вычищено и запрятано куда-то. Перед высокоспинным волосяным диваном стоял покрытый расписной салфеткой стол; на столе — самовар с кофейником, сдобные бул-

ки с сухарями, селедка и огурцы с копченой колбасой, пряники и орехи с малиновым вареньем. Все это было разложено на тарелках, между которыми возвышались штоф и бутылка.

На диване восседала Александра Пахомовна, одетая скромнее обыкновенного, хотя и с неизменной папироской в зубах. Иван Иванович почтительно сгибался перед нею на стуле, уткнув между колен свои сложенные пальцы.

— Вот-с, тетенька, и они-с! позвольте рекомендовать, — с торопливою развязностью вскочил он при входе Груши.

— Честь имею представить, — продолжал Зеленьков, расшаркиваясь и размахивая руками, — Аграфена Степановна, очень хорошие девицы, а это — моя тетенька!

Тетенька с величественной важностью поклонилась Аграфене Степановне, а Аграфена Степановна очень сконфузилась и не знала, как сесть и куда девать свои руки.

— Садитесь, пожалуйста! без церемонии! — шаркал и лебезил Иван Иванович. — Чем угощать прикажете? Тут всяких пита-

ньев наставлено — кушайте-с!

Обе гостьи тяжело откланивались, но к питаниям не прикасались.

— Тетенька-с!.. Аграфена Степановна! Сладкой водки не прикажете ли-с али тенерифцу? Выкушайте рюмочку, это ведь легонькое, самое дамское!

Гостьи жеманно отказываются; Иван Иванович, однако, не отстает, атакуя их с новою силой, и наконец побеждает: гостьи выкушали по рюмке сладкой водки и посмаковали тенерифцу.

— Ах!.. ах, разлюбезное это дело! — восторженно умиляется, и сам не зная чему, Иван Иванович, причем егозит на стуле, всплескивает руками и щелит свои и без того уже узкие масляно-бегающие глазки.

— Нет, черт возьми! — вскакивает он с места и, схватив со стула гитару, запевает разбито-сладостным тенорком, со своими ужимками:

И вы, ды-рузья, моей красотки
Не встречали ль где порой?
В целым нашим околотки
Нет красоточки такой!

Эта девушка-шалунья,
Эфто Грунюшка-игрунья —
Только юбка за душой!

Тетенька сосредоточенно курит папироску, пуская дым через ноздри; Аграфена Степановна конфузится и краснеет, а Иван Иванович снова уже швырнул на диван гитару и в каком-то экстазе, ударяя себя кулаком в перси, говорит:

— Тетенька! распропащий я человек, потому — круглый сирота! И при моем сиротстве горькием только вы одни у меня и остались... Добродетельная, можно сказать, сродственница! Хоша я и при своем капитале, однако же проживаю в уединении. Только и услады одной, что чижа вот с клеткой купил, и преотменно, я вам скажу, поет, бестия, индо все уши прожужжит! Одначе ж он не человек, а как есть по всему чиж, так и выходит глупая он птица; а мне, при таком моем чувствии к коммерческим оборотам, требуетца теперича подругу. Правильно ли я полагаю, Аграфена Степановна?

Аграфена Степановна потупилась, покраснев еще более прежнего. Тетенька ободри-

тельно улыбнулась и с важностью приступила к расспросам.

— Вы, значит, здесь в услужении проживаете, при своих господах?

— По наймам... внизу тут — у Бероевых, — ответила Груша, кое-как оправляясь от смущения и радуясь, что настал разговор посторонний.

— По наймам?.. Так-с. А сколько жалованья вам кладут они?

— Три рубля в месяц да полтину на горячее. Только двое прислуги: куфарка да я при барыне и при детях.

— Так-с. Стало быть, господа-то небогатые?

— Где уж там богатые! Живут себе помаленьку.

— И большое семейство?

— Нет, не так-то: сам хозяин, да жена при нем, да двое детей: мальчик и девочка.

— Значит, четверо. А сам-то — в чиновниках али так где служит?

— Он, этта, сказывали, по золотой части какой-то у Шиншеева — богач-то, знаете?

— Слыхала. Так это, стало быть, место доходное?

— Уж Христос их знает! Слышала я точно, что другие больно уж наживаются, а он — нет; одним жалованьем доволен. И притом же должность его такая, что на месте не живет, а побудет, сколько месяцев придется, здесь с семейством, а там и ушлют в Сибирь на полгода и больше случается. Вот и теперь уехамши, недель с пять уж есть. Барыня-то одна осталась.

— Гм... А может, он и получает какие доходы да куда-нибудь на сторону их относит? — с подозрительно-лукавою миной спросила тетенька.

— Ах нет, как можно! — совестливо вступилась Груша. — Он всякую копейку, что только добудет, все в семейство несет, даже и оттуда, из Сибири-то, присылает. Нет, для семейства он завсегда большой попечитель.

— Ну, а как живут-то, не ругаются?

— Ой, что вы! душа в душу живут. Вот уже шесть годов они женаты, да я пятый год при них служу, так верите ли Богу — ни разу, то ись, не побранилися между собою; а чтобы это ссоры, неудовольствия какого — и в помине нет! Оченно любят друг дружку, уж так-то

любят — на редкость, со стороны смотреть приятно. И такой-то у них мир да тишина, что вовек, кажется, не отойду от места. И мать такая хорошая она; деток своих до смерти любит; обоих сама выкормила.

— А может, так, одно притворство? — попыталась тетенька смутить рассказчицу. — Может, у нее какие ни на есть амуры на стороне заведены! Ведь тут у нас это не на редкость бывает!

— Ну уж нет! — с гордым достоинством, горячо перебила Груша. — Может, у других где — оно и так, а у нас не водится! Наша-то без мужа ровно монашенка живет, все с детьми занимается, сама обшивает их да учит шутём в книжку читать, и коли куда погулять выйти, так все с детьми же. Нет, уж такой-то домоседки поискать другой! Вон, этта, как-то бал ономнясь у Шиншеева был. Так что ж бы вы думали? Муж еле-еле упросил поехать, а то сама и слышать не хотела: что, говорит, там делать мне? А не ехать тоже нельзя, потому — сам Шиншеев просить приезжал.

— Что ж, разве она образованности не име-

ет, если ехать не хотела? — опять ввернула тетенька свое замечание.

— Нет, она оченно, можно сказать, образованная, — вступилась Груша, — все в книжку читает, и на фортепьяне до жалости хорошо играть умеет, и на всяких языках доподлинно может — это сама я слышала. А только не любит этого, балов-то. Она, чу, сама барского рода, у родителев жила в Москве, да родители разорились, в бедности живут, так они теперича с мужем, при всех недостатках, от себя урывают да им помощь оказывают.

— Что ж, это хорошо, — похвалила тетенька, затягиваясь папироской. — А почему это сам Шиншеев приезжал к ним звать-то? — продолжала она. — Уж он, верно, даром, для блезиру, не позовет ведь служащего, потому какая ему компания служащий?

Груша на минуту раздумчиво остановилась.

— Верно, уж он это неспроста! не ухаживает ли он за самой-то, подарков каких, гляди, не делает ли тайком от мужа-то? — допытывала Александра Пахомовна.

Груша опять подумала.

— Это было, — утвердительно сказала она. — Шиншеев-то больше норовил приезжать к нашей без мужа. Приедет, бывало, детям игрушек, конфет навезет; а она, моя голубушка, сидит словно в воду опущенная. Раз я таки подслушала, грешным делом: сидит, этта, он у нее да и говорит: «Хорошо будет, и мужу вашему хорошо; а теперь, хоша он и честный человек, а вы в бедности живете; лучше, говорит, в богатстве жить». Так она индо побледнела вся, затряслася, сама чуть не падает, и уйти его попросила. Всю-то ночь потом проплакала, так что просто сердце изныло, на нее глядючи. Он ей опосле этого браслетку прислал золотую, с каменьем разным — так что ж бы вы думали, моя матушка? Назад ведь ему отослала: я сама и относила ведь! Право!..

— Стало быть, она дура, коли от фортуны своей отказывается, — солидно и с сознанием полной своей правоты заметила тетенька.

— Нет, не дура, — возразила девушка, — а только в законе жить хочет да Егора Егорыча своего любит, только и всего. А мужу про Шиншеева не сказала, — продолжала Гру-

ша, — потому — горячий он человек и мог бы места своего решиться. Отчего ей и труднее, что все сама в себе переносит. Вот и теперь: тоскует, сердечная.

— К чему же тосковать-то? — апатично спросила Александра Пахомовна, наливая кофе.

— Как к чему, дорогая моя! Шуточное ли дело теперича, нужда какая!.. Должишки у них есть — ну, платят по малости; в Москву тоже посылают, самим жить надо. Егор-то Егорыч теперь уехал, когда-то еще пришлет денег, Богу известно, а ей ведь всего пятьдесят рублей оставил; выслать обещался, да вот и не пишет ничего, а она убивается — уж не случилось ли чего с ним недоброго?

— Ну, у Шиншеева бы спросила, — посоветовала тетенька.

— Да, легко сказать-то, у Шиншеева! — возразила Груня. — У него уж и так они сколько жалованья-то вперед забрали — чай, отслуживать надо! А спросить еще совестится, особливо знамши то, как приставал-то он. Да и скареда же человек-то! — с негодованием воскликнула девушка. — Сперва, этта, да-

вал-давал деньги, а теперь и прижался: пущай, мол, сама придет да попросит; пущай, мол, надоест нужда, так авось с пути свернется. Вот ведь каково-то золото он! Мы хоша люди маленькие, а тоже понимаем. А она к нему — хоть умри, не пойдет, — продолжала Груня. — Теперича управляющий за фатеру требует, сами кой-как перебиваемся вторую неделю; Егор Егорыч не пишет — так она уж, моя голубушка, сережки брильянтовые да брошку свою продавать хочет, чтобы пока-то извернуться как-нибудь.

При этом последнем известии внезапная мысль пробежала по лицу Александры Пахомовны. Она в минуту сообразила кое-что в мыслях и неторопливо приступила к новым маневрам.

— Так вы говорите, что она очень нуждается... Гм... это видно, что женщина, должно быть, хорошая, даже вчуже слушать-то жалко, — заговорила она, с сострадательной миной покачивая головою. — Вы говорите, что она даже вещи продавать хочет? — продолжала тетенька. — И хорошие вещи, брильянтовые?

Груня подтвердила свои слова и заверила в достоинстве брильянтов.

— Барыня сказывала, что мало-мало рублей двести за них дать бы надо, — сообщила она.

— Так-с, — утвердила тетенька. — В этом я могу, пожалуй, помочь ей.

Девушка с удивлением выпучила глаза на Александру Пахомовну.

— Теперича ежели продать их брильянтщикам, — продолжала эта последняя, — так ведь они работы не ценят и за камень самое ничтожество дают вам. А вы вот что, душенька, скажите вашей барыне, коли она хочет, я могу продать ей за настоящую цену, потому у меня случай такой есть.

— Это точно-с! у тетеньки — случай! — поддакнул, крякнув в рукав, Иван Иванович.

— Потому как я состою при своей генеральше в экономках, — говорила тетенька, — и не столько в экономках, сколько собственно при ее особе, можно сказать, в компаньонках живу, так надо вам знать, что генеральша имеет свои странности. Ну вот просто не поверите, до смерти любит всякие драгоценно-

сти, и везде, где только можно, скупает их по самой деликатной цене, потому — это она не по нужде, а собственно прихоть свою тешит. Так если вашей барыне угодно будет, — заключила Александра Пахомовна, — я могу генеральше своей сегодня же сказать, и она даже, если вещи стоящие, может и более двухсот рублей дать — это ей все единственно.

Совершив таким образом последний маневр, тетенька успокоилась на лаврах и, закуря новую папироску, окончательно уже предоставила поле посторонней болтовни Ивану Ивановичу Зеленькову.

Груша в тот же вечер передала Бероевой предложение зеленьковской тетки.

VIII
НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

На другой день, около двух часов пополудни, во двор того дома, где обитали господин Зеленьков и Юлия Николаевна Бероева, с грохотом въехала щегольская карета и остановилась у выхода их общей лестницы. Ливрейный лакей поднялся вверх и дернул за звонок у дверей Бероевых.

— Дома барыня?

— Дома.

— Скажите, что генеральша фон Шпильце приехала и желает их видеть по делу.

Известие это застигло Юлию Николаевну в ее маленькой, небогатой, но со вкусом и чистотою убранной гостиной, где она, сидя в уголке дивана, одетая в простое шерстяное платье, занималась каким-то домашним рукоделием; а у ног ее, на ковре, играли двое хорошеньких детей. Мебель этой комнаты была обита простым ситцем; несколько фотографических портретов на стенах, несколько книг на столе, горшки с цветами на окнах да пиа-

нино против дверей составляли все ее убранство, на котором, однако, явно ложилась печать женской руки, отмеченная чистотой и простым изяществом вкуса. В этой скромной домашней обстановке, с этими двумя розовыми, светлоглазыми малютками у ног она казалась еще прекраснее, еще выше и чище, чем там, на рауте, в пышной фантастической обстановке тропического сада. Мирно-светлое, благоговейное чувство невольно охватило бы каждого и заставило почтительно склонить голову перед этим честным очагом жены и матери. Стоило поймать только один ее добрый, бесконечно любящий взгляд на этих веселых, плотных ребятишек, чтобы понять, какою великою силой здоровой и страстной любви привязана она к своему мужу, как гордо чтит она весь этот скромный семейный быт свой, несмотря на множество скрытых нужд, лишений и недостатков материальных. Она умела твердо бороться с этими невзгодами, умела побеждать их и устраивать жизнь своего семейства по возможности безбедно и беспечально. Она глубоко уважала мужа за его твердость и донкихотскую честность. Чи-

татель знает уже несколько обстоятельств Бероевых из добродушной болтовни курносой девушки Груши. В пояснение мы можем прибавить, что Егор Егорович Бероев — бывший студент Московского университета и во время оно учитель маленьких братьев Юлии Николаевны — женился на ней, не кончив курса, в ту самую минуту, когда разорившегося отца ее посадили за долги в яму, а старуха мать готова была отправиться за насущным хлебом по добрым людям. Эта женитьба поддержала несколько беспомощное семейство, которое перебивалось кое-как уроками Бероева, пока наконец он, по рекомендации одного богатого школьного товарища, получил место по золотопромышленной части у Давыда Георгиевича Шиншеева. Делец он оказался хороший, Давыд Георгиевич имел неоднократно случай убедиться в его бескорыстной честности и потому поручал ему довольно важные части своей золотопромышленной операции. Обязанности Бероева были такого рода, что требовали ежегодных отлучек его в Сибирь на промыслы, а Давыд Георгиевич, по правилу, свойственному почти всем людям

его категории, эксплуатировал труд своего работника, попридерживал его в черненьком тельце относительно материального вознаграждения. Он всегда был необыкновенно любезен с Егором Егоровичем, приглашал его к себе на вечера и обеды, сам иногда ездил к нему, не без тайных, конечно, умыслов на красоту Юлии Николаевны, но весьма туго делал прибавки к его жалованью, несмотря на то что не задумался бы кинуть несколько тысяч в вечер ради баронессы фон Деринг. Бероев же, считая вознаграждение за свой труд достаточным, по донкихотским свойствам собственной натуры, и не помыслил когда-либо об умножении своих достатков. Жалованье его сполна уходило на нужды семейства, а так как этих нужд было немало, то и в кассовой книге Шиншеева значилось, что этого жалованья забрано Бероевым уже вперед за три месяца. Неожиданная отлучка в Сибирь, спустя неделю после шиншеевского раута, захватила его врасплох, так что он мог уделить только очень незначительную сумму из своих прогонов, надеясь извернуться и выслать ей деньги в самом скором времени. Но...

должно быть, изворот оказался неудачен, и Юлия Николаевна уже несколько времени находилась в весьма затруднительных обстоятельствах, которые наконец вынудили ее на продажу двух вещиц, не почитавшихся ею необходимыми. Она искала только случая, как бы сбыть их по возможности выгоднее. В таком-то положении застиг ее визит Амалии Потаповны фон Шпильце.

Не успела она еще опомниться от недоумения при новом, незнакомом имени и значении самого визита, как в комнату вошла уже генеральша, в белой шляпе с перьями, завернутая в богатую турецкую шаль, с собольей муфтой в руках, украшенных кружевами и браслетами, и, с любезным апломбом особы, знающей себе цену, поклонилась Юлии Николаевне.

— Я слышала, ви желайт продать брильянты? — начала она своим обычным акцентом.

Юлия Николаевна вспомнила слова Груши, сообщившей ей вчера о предложении зеленьковской тетки, и потому отвечала утвердительно, прося присесть свою гостью.

— Могу смотреть их? — продолжала гене-

ральша, незаметно оглядывая обстановку гостиной.

Бероева вынесла ей из спальни сафьяновый футляр с брошем и серьгами.

— Ah, cela me plaît beaucoup! — процедила генеральша, любуясь игрою бриллиантов. — Je dois vous dire que j’ai une passion pour toutes ces bagatelles...[151] Это ваши малютки? — с любезной нежностью вдруг спросила она, делая вид, что сердечно любуется на двух ребятишек.

— Да, это мои дети, — ответила Бероева.

— Ah, quels charmants enfants que vous avez, madame, deux petits anges![152] Поди ко мне, моя душенька, поди к тетенька! маленька, — нежно умилялась генеральша и, притянув к себе детей, поцеловала каждого в щеку. — O, les enfants! c’est une grande consolation![153] А тож я это понимай... сама мать! — покачивала головой фон Шпильце и в заключение даже глубоко вздохнула. — Мне нравятся ваши безделушки... Я хочу купить их, — свернула генеральша на прежнюю колею, снова принимаясь любоваться игрою каменьев. — А что цена им? — спросила она.

— Заплачены были двести восемьдесят, а я хотела бы взять хоть двести, — отвечала Бероева.

— Oh, ce n’est pas cher![154] — согласилась Амалия Потаповна. — Така деньги почему не дать! Я буду просить вас завтра до себя, — продолжала она, возвращая футляр вместе со своей карточкой, где был ее адрес. — Demain à deux heures, madame[155]. Я пошлю за ювелир и посоветуюсь с племянником, а там — и деньги на стол, — заключила она, любезно протягивая Бероевой руку.

Юлия Николаевна со спокойным, светлым и довольным лицом проводила ее до прихожей, где ожидал генеральшу ливрейный гайдук с богатой бархатной собольей шубой.

IX
ВЫИГРАННОЕ ПАРИ

На следующий день, в назначенное время, Бероева приехала к генеральше.

Петька, предуведомленный молодым Шадурским, нарочно в это самое время прохаживался там мимо дома, чтобы быть свидетелем ее прибытия, и видел, как она, расспросив предварительно дворника, где живет генеральша, по его указанию вошла в подъезд занимаемой ею квартиры. Петька все это слышал собственными ушами и видел собственными глазами. Теперь в его голове не осталось ни малейшего сомнения в существовании связи между Бероевой и Шадурским. Он сознал себя побежденным.

Лакей проводил Бероеву до приемной, где ее встретила горничная и от имени Амалии Потаповны попросила пройти в будуар: генеральша, чувствуя себя нынче не совсем здоровой, принимает там своих посетителей.

«В будуар — так в будуар; отчего ж не пройти?» — подумала Бероева и отправилась

вслед за нею.

— Ах! я отчинь рада! — поднялась генеральша. — Жду ювелиир и племянник... Племянник в полчаса будет — les affaires l'ont retenu[156], — говорила она, усаживая Бероеву на софу, рядом с собою.

— Et en attendant, nous causerons, nous prendrons du cafe, s'il vous plaît, madame![157] Снимайте шляпа! — с милой, добродушно-бесцеремонной простотой предложила генеральша, делая движение к шляпным завязкам Бероевой.

Юлия Николаевна уступила ее добродушным просьбам и обнажила свою голову.

— Я эти час всегда пью ко-офе — vous ne refuserez pas?[158] — спросила любезная хозяйка.

Бероева ответила молчаливым наклонением головы, и генеральша, дернув сонетку, отдала приказание лакею.

Будуар госпожи фон Шпильце, в котором она так интимно на сей раз принимала свою гостью, явно говорил о ее роскоши и богатстве. Это была довольно большая комната, разделенная лепным альковом на две поло-

вины. Мягкий персидский ковер расстилался во всю длину будуара, стены которого, словно диванные спинки, выпукло были обиты дорогою голубою материею. Голубой полусвет, пробиваясь сквозь кружевные занавесы, сообщал необыкновенно нежный, воздушный оттенок лицам и какую-то эфирную туманность всем окружающим предметам: этому роскошному туалету под кружевным пологом, заставленному всевозможными безделушками, этому огромному трюмо и всей этой покойной, мягкой, низенькой мебели, очевидно, перенесенной сюда непосредственно из мастерской Гамбса. В другом конце комнаты, из-за полуприподнятой занавеси алькова, приветно мигал огонек в изящном мраморном камине и выставлялась часть роскошной, пышно убранной постели. Вообще весь этот богато-уютный уголок, казалось, естественным образом предназначался для неги и наслаждений, так что Юлия Николаевна невольно как-то пришла в некоторое минутное недоумение: зачем это у такой пожилой особы, как генеральша фон Шпильце, будуар вдруг отделан с восточно-французскою роскошью

балетной корифейки.

Человек внес кофе, который был сервирован несколько странно сравнительно с обстановкой генеральши: для Амалии Потаповны предназначалась ее обыденная чашка, отличавшаяся видом и вместимостью; для Бероевой же — чашка обыкновенная. Когда кофе был выпит, явившийся снова лакей тотчас же унес со стола чашки.

Прошло около получаса времени, и в будуаре неожиданно появился новый посетитель, которому немало удивилась Бероева.

Это был князь Владимир Дмитриевич Шадурский.

— Меня прислал ваш племянник, — обратился он к генеральше, успев между тем и Бероевой поклониться как знакомый. — Он просил меня заехать и передать вам, что непременно приедет через полчаса, никак не позже...

— Il ne sait rien, soyez tranquille[159], — успела шепнуть генеральша Бероевой.

— Вы мне позволите немного отдохнуть? — продолжал Шадурский, опускаясь в кресло и вынимая из золотого портсигара то-

ненькую, миниатюрную папироску. Генеральша подвинула ему японского болванчика со спичками.

Князь Владимир курил и болтал что-то о новом балете Сен Леона и новой собаке князя Черносельского, но во всей этой болтовне приметно было только желание наполнить какими-нибудь звуками пустоту тяжелого молчания, которую естественно рождало натянутое положение Бероевой. Амалия Потаповна старалась, по возможности, оживленно поддакивать князю Владимиру, который с каждой минутой очевидно усиливался выискивать новые мотивы для своей беседы. Генеральша не переставала улыбаться и кивать головою, только при этом поминутно кидала украдкой взоры на лицо Бероевой.

— Что это, как у меня щеки разгорелись, однако? — заметила Юлия Николаевна, прикладывая руку к своему лицу.

— От воздуху, — успокоительно пояснила генеральша и бросила на нее новый наблюдательный взгляд.

— Ваше превосходительство, вас просят... на минутку! — почтительно выставилась из-

за двери физиономия генеральской горничной.

— Что там еще? — с неудовольствием обернулась Амалия Потаповна.

— Н... надо... там дело, — с улыбкой затруднилась горничная.

— Pardon! — пожала плечами генеральша, подымаясь с места. — Je vous quitte pour un moment... Pardon, madame![160] — повторила она снова, обращаясь к Бероевой, и удалилась из комнаты, мимоходом, почти машинально, притворив за собою двери.

Князь продолжал болтать, но Бероева не слышала и не понимала, что говорит он. С нею делалось что-то странное. Щеки горели необыкновенно ярким румянцем; ноздри расширились и нервно вздрагивали, как у молодой дикой лошади под арканом; всегда светло-спокойные, голубые глаза вдруг засверкали каким-то фосфорическим блеском, и орбиты их то увеличивались, то смыкались, на мгновение заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобы тотчас же взорам этим вспыхнуть еще с большею силой. В этих чудных глазах светилось теперь что-то вакхиче-

ское. Из полураскрытых, воспаленно-пересохших губ с трудом вылетало порывистое, жаркое дыхание: его как будто захватывало в груди, где так сильно стучало и с таким щекотным ощущением замирало сердце. С каждым мгновением эта экзальтация становилась сильнее, сильнее — и в несколько минут перед Шадурским очутилась как будто совсем другая женщина. От порывистых, безотчетных метаний головой и руками волосы ее пришли в беспорядок и тем еще более придали красоте ее сладострастный оттенок. Она хотела подняться, встать — но какая-то обаятельная истома приковывала ее к одному месту; хотела говорить — язык и губы не повиновались ей более. В последний раз смутно мелькнувшее сознание заставило ее обвести глазами всю комнату: она как будто искала генеральшу, искала ее помощи и в то же самое время ей почему-то безотчетно хотелось, чтобы ее не было, чтоб она не приходила. И точно: генеральша не показывалась больше. Один только Шадурский, переставший уже болтать, глядел на нее во все глаза и, казалось, дилетантски любовался на эту опьяняю-

щую, чувственную красоту.

Но вот он поднялся со своего кресла и пересел на диван, рядом с Бероевой. По жилам ее пробегало какое-то адское пламя, перед глазами ходили зелено-огневые круги, в ушах звенело, височные голубоватые жилки наливались кровью, и нервическая дрожь колотила все члены.

Он взял ее за руку — и в этот самый миг, от одного этого магнетического прикосновения, жгучая бешеная страсть заклокотала во всем ее теле. Минута — и она, забыв стыд, забыв свою женскую гордость и вне себя, конвульсивно сцепив свои жемчужные зубы, с каким-то истомно-замирающим воплем сама потянулась в его объятия.

Долго длился у нее этот экстаз, и долго смутно ощущала и смутно видела она, словно в чаду, черты Шадурского, пока наконец глубокий, обморочный сон не оковал ее члены.

В тот же самый вечер проигравший пари свое Петька угощал Шадурского ужином у Дюссо и, с циническим осклаблением слушая столь же цинический рассказ молодого князя,

провозглашал тост за успех его победы.

X
СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД

Было семь часов вечера, когда Бероева очнулась. Она раскрыла глаза и с удивлением обвела ими всю комнату: комната знакомая — ее собственная спальня. У кровати стоял какой-то низенького роста пожилой господин в черном фраке и золотых очках, сквозь стекла которых внимательно глядели впалые умные глаза, устремленные на минутную стрелку карманных часов, что держал он в левой руке, тогда как правая щупала пульс пациентки. Ночной столик был заставлен несколькими пузырьками с разными медицинскими средствами, которые доктор, очевидно, привез с собою, на что указывала стоявшая тут же домашняя аптечка.

— Что ж это, сон? — с трудом проговорила больная. Доктор вздрогнул.

— А... наконец-то подействовало!.. очнулась! — прошептал он.

— Кто здесь? — спросила Бероева.

— Доктор, — отвечал господин в золотых очках, — только успокойтесь, Бога ради, не говорите пока еще... Вот я вам дам сейчас успокоительного, тогда мы поболтаем.

И с этими словами он налил в рюмку воды несколько капель из пузырька и с одобрительной улыбкой подал их пациентке. Прошло минут десять после приема. Нормальное спокойствие понемногу возвращалось к больной.

— Как же это я здесь? — спросила она, припоминая и соображая что-то. — Ведь, кажется, я была...

— Да, вы были у генеральши фон Шпильце, — перебил ее доктор, — я и привез вас оттуда в карете, вместе с двумя людьми ее. Бедная старушка, она ужасно перетрусила, — заметил он с спокойною улыбкой.

— Скажите, что же было со мною? Я ничего не помню, — проговорила она, приходя в нервную напряженность при смутном воспоминании случившегося.

— Во-первых, успокойтесь, или вы повредите себе, — отвечал доктор, — а во-вторых — с вами был обморок, и довольно сильный, до-

вольно продолжительный. Мне говорила генеральша, — продолжал он рассказывать, — что она едва на пять минут вышла из комнаты, как уж нашла вас без чувств. Ну конечно, сейчас за мною — я ее домашний доктор, — долго ничего не могли сделать с вами, наконец заложили карету и перевезли вас домой — вот и все пока.

— Вы говорите, что она только на пять минут уходила? — переспросила больная.

— Да, не более, а воротясь, нашла вас уже в обмороке, — подтвердил доктор.

— Стало быть, это сон был, — прошептала она.

— Какой сон?

— Не знаю, не помню... только страшный, ужасный сон.

— Гм... Странно... Какой же сон? — глубокомысленно раздумывал доктор. — Вы хорошо ли его помните?

— Не помню; но знаю, что было что-то — наяву ли, во сне ли — только было...

— Гм... Вы не подвержены ли галлюцинациям или эпилепсии? — медицински допрашивал он.

Больная пожала плечами.

— Не знаю; до сих пор, кажется, не была подвержена.

— Ну, может быть, теперь, вследствие каких-нибудь предрасполагающих причин... Все это возможно. Но только если вы помните, что был какой-то сон, то это наверное галлюцинация, — с видом непогрешимого авторитета заключил доктор.

«Сон... галлюцинация — слава Богу!» — успокоенно подумала Юлия Николаевна и попросила доктора кликнуть девушку, чтобы осведомиться про детей.

Вошла Груша и вынула из кармана почтамтскую повестку.

— Почтальон приносил, надо быть, с почты, — пояснила она, хотя это и без пояснения было совершенно ясно.

Юлия Николаевна слабою рукою развернула бумагу и прочитала извещение о присылке на ее имя тысячи рублей серебром.

— От мужа... Слава тебе, Господи! — радостно проговорила она. — Теперь я совершенно спокойна.

— Однако дней пять-шесть вы должны по-

лежать в постели, — методически заметил доктор, убрав свою аптечку и берясь за шляпу. — Тут вот оставлены вам капли, которые вы попьете, а мы вас полечим, и вы встанете совсем здоровой, — продолжал он, — а пока — до завтра, прощайте...

И низенький человек откланялся с докторски-солидною любезностью, как подобает истинному сыну Эскулапа.

— В Морскую! — крикнул он извозчику, выйдя за ворота, — и покатил к генеральше фон Шпильце.

— Nun, was sagen sie doch, Herr Katzel?[161] — совершенно спокойно спросила его Амалия Потаповна.

— О, вполне удачно! могу поздравить с счастливым исходом, — сообщил самодовольный сын Эскулапа.

— Она помнит?

— Гм... немножко... Впрочем, благодаря мне, убеждена, что все это сон, галлюцинация.

— S’gu-ut, s’gu-ut![162] — протянула генеральша с поощрительной улыбкой, словно

кот, прищуривая глазки.

— Ну-с?! — решительно и настойчиво приступил меж тем герр Катцель, отдав короткий поклон за ее поощрение.

Амалия Потаповна как нельзя лучше поняла значение этого выразительного «ну-с» и опустила руку в карман своего платья.

— Auf Wiedersehen![163] — поклонилась она, подавая доктору кулак для потрясения, после которого тот ощутил в пальцах своих шелест государственной депозитки.

Амалия Потаповна поклонилась снова и торопливой походкой стала удаляться из залы. Сын Эскулапа еще торопливее развернул врученную ему бумажку: оказалась радужная.

— Эй, ваше превосходительство! пожалуйте-ка сюда! — закричал он вдогонку.

Генеральша вернулась, вытянув шею и лицо с любопытно-серьезным выражением.

— Это что такое? — вопросил герр Катцель, приближая депозитку к ее физиономии.

— Это? Сто! — отвечала она с таким наивно-невинным видом, который ясно говорил: что это, батюшка, как будто сам ты не ви-

дишь?

— А мне, полагаете вы, следует сто?

— Ja, ich glaube[164], сто.

— А я полагаю — триста.

— Зачем так? — встрепенулась Амалия Потаповна.

— А вот зачем, — принялся он отсчитывать по пальцам, — сто за составление тинктуры, сто за подание медицинской помощи да сто за знакомство с вами, то есть мою всегдашнюю долю, по старому условию.

Генеральша поморщилась, вздохнула от глубины души и молча достала свое портмоне, из которого еще две радужные безвозвратно перешли в жилетный карман Эскулапа.

— Вот теперь так! и я могу сказать: auf Wiedersehen! — с улыбкой проговорил Катцель и, поправляя золотые очки, удалился из залы.

XI
ДВА НЕВИННЫХ ПОДАРКА

Доктор Катцель, несколько дней сряду навещавший Бероеву, нашел наконец, что она поправилась и может встать с постели. Хотя Юлия Николаевна чувствовала некоторую слабость в ногах и по временам небольшую дрожь в коленях, но доктор Катцель уверил ее, что это ничего не значит, ибо есть прямое, нормальное следствие бывшего с нею припадка, которое пройдет своевременно, после чего, ощутив в руке приятное шуршание десятирублевой бумажки, он откланялся с обычной докторски-солидной любезностью.

Позволение встать с постели пришлось как нельзя более кстати для Юлии Николаевны: это был день рождения ее дочки. Прежде всего она оделась и поехала в почтамт — получить присланные деньги. Муж писал ей, что оборот, который он предполагал сделать, удался совершенно и вследствие этого высылаются деньги; что вскоре и еще будет выслана некоторая сумма, ибо промысловые дела

идут отлично, а с весной на самых приисках есть надежда пойти им еще лучше. Все это могло задержать Бероева на неопределенное время, и поэтому он полагал, что вернется едва ли ранее семи-восьми месяцев.

— Лиза, что тебе подарить сегодня? — приласкала Бероева дочку, возвратясь из Гостиного двора с целым ворохом разных покупок.

— Что хочешь, мама, — отвечала девочка, кидая взгляд на магазинные свертки, откуда между прочим торчали ножки разодетой лайковой куклы.

— Я тебе с братишкой привезла гостинец, по игрушке купила, — с тихой любовью продолжала болтать она, лаская обоих ребятишек. — Отец целует вас и пишет, чтобы я тебе, Лиза, для рождения подарила что-нибудь! Чего ты хочешь?

— Не знаю, — застенчиво сказала девочка, кидая новый взгляд на соблазнительные свертки.

— Видишь ли что, — говорила Юлия Николаевна, — ты теперь девочка большая, умница, тебе уже пять лет сегодня минуло. Я для тебя хочу сделать особенный подарок.

— Какой же, мама? — любопытно подняла на нее Лиза свои большие светлые глазенки.

— А вот постой, увидишь. Когда я сама была маленькой девочкой и когда мне, точно так, как тебе, минуло пять лет, так папа с мамой подарили мне старый-престарый серебряный рубль. Он и до сих пор еще цел у меня. Подай мне вон ту шкатулочку с туалета...

Дети бросились за маленькой палисандровой шкатулкой.

— Вот видишь ли, какой он старый, — продолжала Бероева, показывая большую серебряную монету еще петровского чекана, — старее тебя и меня, старее бабушки с дедушкой, да и прадедушки вашего старее: этому рублю сто пятьдесят два года — видишь ли, какой он старик! Так вот, я теперь дарю его тебе.

Лиза обвила пухлыми ручонками ее шею и принялась крепко целовать все лицо: нос, рот, глаза, подбородок и щеки, как обыкновенно любят выцеловывать дети.

Она была в восторге от подарка, целый день не выпускала его из рук; ночью положила с собою спать под подушку, рядом с новою куклою, и только на другой день к вечеру

спрятала в свою собственную шкатулку — на память.

* * *

Прошло около двух месяцев со дня внезапной болезни Бероевой. Семейная жизнь ее текла мирно и тихо, в своем укромном углу, среди занятий с детьми, кой-какого рукоделия да книг с нотами. Почти нигде не бывая и почти никого не принимая к себе, она жила какою-то вольною затворницею, переписывалась с мужем да московскими родными и была совершенно счастлива в этом ничем не смущаемом светлом покое, словно улитка в своей раковине. Одно только, что изредка тревожило ее, это воспоминание о внезапном припадке у генеральши фон Шпильце — воспоминание, которое всегда ставило ее в тупик и поселяло страх: что, если начало этой болезни, этих галлюцинаций, есть еще у нее в организме и разовьется впоследствии до серьезных размеров. Бероева была убеждена, что это — галлюцинация. Мужу она ничего не писала пока о случившемся, зная, что это его будет постоянно грызть и тревожить.

Между тем к концу второго месяца ее под-

стерегал страшный, неожиданный удар: она явно почувствовала и явно убедилась, что припадок не был галлюцинацией, что все испытанное ею и казавшееся сном была голая действительность, дело гнусного обмана, коварная ловушка, западня, в которую, когда потребуется, ловила честных женщин генеральша фон Шпильце. В ней поселилось теперь твердое убеждение, что это так, хотя существенных доказательств она никаких не имела и не могла разгадать всех нитей и пружин этой дьявольской интриги. Бероева почувствовала себя беременною. Горе, стыд, оскорбление женского достоинства и ненависть за поругание ее лучших, святых отношений одновременно закипели в ее сердце.

«А если она не виновата, если я сама причиной всему, если во мне самой загорелось тогда это гнусное желание?» — думала иногда Бероева, и эта мысль только усиливала ее безысходное горе. Были минуты, когда она ненавидела и презирала самое себя, обвиняя только себя во всем случившемся. И это естественно — потому что, не имея никакого понятия о трущобах подобного рода и агент-

ствах добродетельной генеральши, ей и в голову не мог прийти заранее обдуманный план: назначение господина Зеленькова, счастливая мысль мнимой тетушки Александры Пахомовны и все прочее, что послужило к осуществлению прихоти молодого князя. Она была слишком хороший и честный человек для того, чтобы допустить явную, неопровержимую возможность такого черного дела. И вот эта-то двойственность в предположениях — то обвинение себя самой, то подозрение на генеральшу и князя — мучила ее нестерпимо. И между тем она должна была терпеть, молчать и таиться. Образ мужа и эти веселые дети стали для нее каким-то укором; чем нежнее были письма Бероева, чем веселее и счастливее ласки ребятишек, тем больше и больше давил ее этот укор, хотя и сама себе она не могла дать верного отчета: что именно это за укор и почему он ее донимает?

«Как быть? открыться ли мужу? — приходило ей в голову. — Открыться, когда сама не знаешь и не помнишь и не понимаешь, как было дело, — какой дать ему ответ на это? Себя ли винить или других? Поселить в нем со-

мнение, быть может, убить веру в нее, в жену свою, отравить любовь, подорвать семейные отношения, и наконец — этот будущий ребенок, если он останется жив, — чем он будет в семье? Какими глазами станет глядеть на него муж, который не будет любить его? И как взглянут на нее самое законные дети, когда вырастут настолько, что станут понимать вещи?» Вот вопросы, которые неотступно грызли и сосали несчастную женщину. Наконец — худо ли, хорошо ли — она решилась скрывать, скрывать от всех и прежде всего от мужа. «Пусть будет, что будет, — решила Бероева, — а будет так, как захочет случай. Если откроется все и он узнает — пусть узнает и поступает, как ему угодно, но я сама не сделаю первого шага, не напишу и не скажу ни слова».

Таково было ее решение, которое не покажется странным, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины к мужу и боязнь поколебать ее каким бы то ни было сомнением, если вспомнить, что у нее были дети, для счастия которых она считала необходимою эту полную, взаимно верующую и вза-

имно уважающую любовь. Она предпочла лучше мучиться одна, но не отравлять, быть может, мучениями его жизни. Она решилась лучше скрыть, то есть обмануть, лишь бы не поколебать свое семейное счастье. Из-за одной уже этой боязни у нее не хватало духу и энергии открыть мужу то, что для нее самой было темной и сбивчивой загадкой. В этом случае Бероева поступила как эгоистка, но эгоизм такой сильно любящей женщины и понятен, и простителен.

«А если и откроется — Божья воля, — все же не через меня!» — порешила она и все-таки продолжала втайне ждать, страдать и сомневаться.

XII
ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Читатель, верно, не забыл еще обещания княгини Шадурской относительно десяти тысяч, которые так бескорыстно и самоотверженно посулила она Бодлевскому на рауте Шиншеева. Мы должны сообщить, что посул этот не остался одним посулом. На другой день Татьяна Львовна нарочно проснулась ранее обыкновенного, то есть неслыханно рано — в восемь часов утра, тотчас же послала за управляющим, подробно справилась у него о состоянии своих собственных (не общих с мужем) фондов и приказала непременно доставить ей десять тысяч к часу пополудни. Управляющий поморщился, озабоченно почесал у себя за ухом, однако обещал исполнить.

В доме, который занимала генеральша фон Шпильце, нижний этаж отдавался под магазины. В одном из помещений этого этажа находился магазин модный, под какою-то французскою фирмой. Зеркальные окна, изящные станки для платьев, манто и шляпок, изящ-

ные шкафы дубового дерева и всегда изящно наряженные мастерицы представляли взорам посетителя весьма приятную и привлекательную картину. Не будучи компетентными судьями в тонкостях женских нарядов, мы не можем сказать, что именно привлекало сюда заказчиков и заказчиц, особенно последних, но, судя по тому, что перед подъездом этого магазина часто останавливались довольно богатые экипажи, из которых выпархивали любительницы нарядов — и пожилые, и молодые, — мы можем предположить, что, вероятно, магазин этот удовлетворял их вкусам и потребностям.

Некоторые утверждали, что содержит его все та же неизменная и достолюбезная генеральша, но содержит не официально, а на имя какой-то вышедшей из привлекательных лет француженки, которая, состоя налицо, заправляла делами магазина.

Не беремся опять-таки судить, насколько это достоверно, хотя и не можем не заметить, что в этом предположении заключается некоторая доля истины, если принять во внимание, во-первых, то обстоятельство, что из до-

машних комнат магазина была проделана дверь на вторую лестницу генеральши, не на ту, где помещался швейцар и экзоты, а на ту, которая вела во второе и уже известное читателю отделение генеральской квартиры с более индустриально-комфортабельным характером. Во-вторых, предположение о прикосновенности m-me фон Шпильце к магазину получало еще некоторую достоверность и оттого, что вышедшая из привлекательных лет француженка занимала два апартамента во второй квартире генеральши. Вероятно, особе этой было вредно часто спускаться и подыматься по лестнице, потому что некоторые заказчицы, желая переговорить о фасонах и отделках или расплатиться по счету, просили обыкновенно дежурную мастерицу проводить их к m-me Фанни.

Так поступила на сей раз и Татьяна Львовна, приехавшая в условный час с обещанной суммой. Бодлевский уже дожидался ее в отдельном кабинете. Она сполна вручила ему привезенные деньги и только нежно просила при этом не манкировать впредь их свиданиями из-за таких пустяков, как карточный про-

игрыш, которого, в сущности, и не воображал делать Бодлевский.

Бедная Диана! Она любила самоотверженно, пылко и боязливо, со страхом потерять взаимность, и потому приносила даже капитальные жертвы. Такова, между прочим, всегда бывает любовь преклонных женщин. Последняя любовь пожилой красавицы и первая любовь семнадцатилетней девушки — две разительные крайности, которые, однако, сходятся между собою в этом пылком самоотвержении, с тою, впрочем, маленькой разницей, что там самоотвержение и жертвы — моральные, а здесь они — чисто материальные и по большей части касаются «презренного, но благородного металла».

Ощупав полновесную пачку в своем боковом кармане, Бодлевский в тот же день приступил к необходимым операциям. Он нашел большую и прекрасно меблированную квартиру в Моховой улице, с двумя отдельными ходами — для себя и баронессы, куда перебрался с нею в тот же вечер, ибо проживание в отеле Демута, где два номера обходились им шесть рублей в сутки, было весьма накладно.

Деньги Шадурской пришлись теперь как нельзя более кстати: фонды их находились в столь плохом состоянии, что даже те девятьсот тридцать рублей, которые баронесса выиграла в «чет-нечет» у двух старцев на железной дороге, были уже на исходе. Теперь, с переездом на приличную независимую квартиру да с таким кушем в запасе, можно было бы приняться за дела на широкую ногу.

На другой день Сергей Антонович Ковров привез к Бодлевскому графа Каллаша.

— Вы, господа, еще не знакомы — так прошу познакомиться: дольщики и ассоциаторы должны быть вполне известны друг другу, — говорил Ковров, рекомендуя одного другому.

— Очень приятно, — отвечал венгерский граф, и, к удивлению Бодлевского, по-русски, — очень приятно! Я уже имел честь слышать о вас неоднократно... Ведь у вас, кажется, дело было в Париже по части фальшивых ассигнаций?

— О нет, вы ошибаетесь, любезный граф, — возразил с приятной улыбкой Бодлевский. — Дело это не стоит ни малейшего внимания — так себе, ничтожный подлог, да и притом же

оно тотчас позабылось, так как я не пожелал присутствовать в ассизном суде.

— А предпочел отвояжировать в Россию — это так, это верно! — вклеил свое замечание Сергей Антонович.

— Вообще, если у меня и случались в жизни маленькие неприятные столкновения, так это именно больше по части подлогов... Есть, знаете, у каждого свой камень преткновения, — говорил Бодлевский, не обратив большого внимания на ковровскую вклейку. — А у вас, — отнесся он с польской любезностью к графу, — если не ошибаюсь — по части векселей...

— Ошибаетесь! — бесцеремонно перебил его граф. — У меня было разное. А впрочем, я не люблю говорить об этом!

— Ровно как и делать? — улыбнулся Бодлевский. Граф пристально посмотрел ему в глаза.

— Да, равно как и делать, потому что я презираю все это, — твердо сказал он.

— Ба!.. Рисуетесь, милый граф, рисуетесь! — лукаво кивнул Бодлевский. — Презирали бы, так не были бы в нашей ассоциации.

— Это две вещи совершенно разные, — скороговоркой и как бы про себя процедил граф Каллаш.

— Ну, этого я, признаюсь, не понимаю!

— Ах, друг ты мой любезный! — пожал плечами Сергей Антонович, беря обоих за руки. — Да если нам нельзя иначе! Пойми ты: ведь надо же поддерживать честь своей фамилии! Ведь он — граф Каллаш!

— А это настоящая фамилия графа? — осведомился Бодлевский.

— В настоящую минуту — настоящая, — холодно и раздельно отчеканил граф, — а что касается до прошлой, — прибавил он, — то ни вам, ни ему, ни мне самому знать ее не следует.

— А! это дело десятого рода! — почтительным склонением головы удовлетворился Бодлевский.

— Вообще, господа, мы собрались сюда не для того, чтобы экзаменоваться и хвалить личные качества друг друга, — заметил граф Каллаш. — Я по крайней мере полагал, что еду к m-sier Карозичу для переговоров и условий по общему делу… Я полагаю, — заключил

он, вставая с места, — что пора обдумать наш проект, и потому желал бы видеть баронессу фон Деринг.

— Баронесса сейчас выйдет, — предупредил Бодлевский и торопливо направился на ее половину.

По первому взгляду, казалось, и он на графа, и граф на него произвели не совсем-то выгодное впечатление. Но что до личных впечатлений там, где в виду общий интерес всей ассоциации!

Через пять минут вышла баронесса — и ассоциаторы открыли совещание о предстоящем выгодном деле.

XIII
ИСПОВЕДНИК

— Вы не слыхали père[165] Вильмена?

— О, quel beau style! Quelle elloquence, quelle extase![166]

— Vraiment, cet homme est doue du feu sacre![167]

— Поедемте слушать Вильмена!

— Но ведь надо рано вставать для этого?

— Ну вот! уж будто нельзя поспеть к двенадцати часам!

— Да что делать там?

— Как что? Помилуйте! слушать, наслаждаться, prendre des leçons de morale et de religion…[168] И вы еще спрашиваете, что делать?

— Но ведь мы не католики…

— О, какой вздор! Это ничего не значит. Dieu est seul partout et pour tous; et de plus tout les nôtres y sont[169], почти весь beau monde бывает… c’est à la mode enfin![170]

— А! это дело другое! Поедем, поедем непременно!

— Ну, что, как вам понравился Вильмен?

— Oh, superbe, charmant! nous sommes toutes enchantees! [171]и т. д.

Таков был перекрестный огонь восторгов, вопросов, аханья и замечаний, которые с некоторого времени волновали петербургский beau monde. Российские дамы православного вероисповедания, обыкновенно почивавшие сладким и безмятежным сном во время собственной обедни, наперерыв спешили теперь вместе с петербургскими католичками слушать элоквенцию père Вильмена. И точно: слушали и умилялись. Хотя père Вильмен, случалось, ораторствовал почти по два битых часа, но дамы все-таки слушали и умилялись или по крайней мере старались достойным образом изображать вид сердечного умиления. То-то была выставка благочестивых, восторженных, кокетливо тронутых экспрессией лиц и утренних нарядов! Диагональный ли столб солнечного света, падавший из купола вовнутрь прохладного храма, густые ли звуки органных аккордов, сливавшиеся с звучными голосами певцов итальянской оперы, производили на православных

петербургских дам такое умиление, или же умилялись они просто потому, что так следует, потому что «cela etait à la mode[172]?» — наверное не знаем, но полагаем, что последнее предположение имеет на своей стороне большую долю вероятия и даже истины.

Когда père Вильмен, смиренно опустя очи долу и сложив на груди свои руки, пробирался к кафедре, выражение его физиономии носило разительную печать иезуитизма, оно так и напоминало собою одну из гравюр Каульбаха к гетевскому «Reineke-Fuchs»[173], на которой сей знаменитый Рейнеке изображен в ту минуту, как он в иезуитском костюме и в смиренно-мудрой позе изволит выслушивать от петуха-прокурора формальное чтение своего приговора. Но, взойдя на кафедру, pire Вильмен преображался. Когда, ощутивши достаточную дозу экстаза, он кидал громы своего красноречия — облик его принимал совсем иной характер: он напоминал собою грозно-вдохновенный, сурово-фанатический лик Савонаролы. Жесты его принимали величественность пафоса, черные глаза как-то углублялись и метали искры, а громкие фран-

цузские фразы лились неудержимо-театральным потоком.

И дамы плакали и умилялись.

Зато по окончании проповеди и службы или в светской гостиной с père Вильменом совершалась новая метаморфоза. Здесь как-то сама собою проступала на первый план его умеренная толстота, с маленьким, но солидным брюшком пятидесятилетнего человека, и плавную, изящную речь его всегда сопровождали методическая понюшка душистого табаку «rapè» и самая благодушная улыбка. Он так и напоминал собою блаженной памяти придворных французских аббатов восемнадцатого века. Так и казалось, что вот-вот возьмет он флейту, сядет к пюпитру и разыграет арию моцартовского «Дон Жуана» или из «Волшебной флейты» или продекламирует отрывок из Расина, а не то, пожалуй, под шумок, с самым добродушным видом, расскажет вам нечто во вкусе Лакло и Кребийона-сына.

Почтенный père Вильмен считался в Петербурге лицом временно-приезжим. У него был какой-то ничтожный официальный предлог, который именно и послужил ему

причиной приезда в Россию; но некоторые лица петербургского католического духовенства не совсем-то его долюбливали и особенного благорасположения сему патеру не выказывали, ибо, помимо официальной его причины, провидели иную, постороннюю цель его пребывания в Петербурге. Они подозревали в добродетельном père Вильмене тайного иезуитского агента.

Лица эти основали свои соображения частью и на том еще обстоятельстве, что père Вильмен явился в Россию не один, а со своим слугой, который часто показывался вместе с ним там, где, по всем житейским соображениям, в слуге не было ни малейшей надобности: он сопровождал его и в церковь, и в консисторию, и в коллегию — словом, почти повсюду, куда официально показывался père Вильмен. Даже и в неофициальных посещениях некоторых светских гостиных этот слуга каждый раз старался втереться в прихожую. Такое ревностное хождение, по-видимому, без всякой нужды, за своим господином и подало повод к догадке о тайной иезуитской миссии père Вильмена, ибо известно, что бра-

тиям приснодостойного ордена Лойолы никогда не дается одиночных, самостоятельных поручений: в каждую миссию их отправляют непременно по трое, дабы они наблюдали и выслеживали действия друг друга, о которых своевременно делали бы тайные шпионские донесения своей орденской власти. Таковой-то шпион, всегда равноправный с миссионером брат ордена, часто принимает на себя роль слуги, если обстоятельства не позволяют ему взять роли сотоварища. Третий тайный брат-наблюдатель принадлежал к постоянным петербургским жителям. Это был некий благочестивый старичок, получивший особое тайное предписание для своих наблюдений. Догадка на этот раз вполне оправдалась. Назойливый слуга père Вильмена, в сущности, был шпион и орденский сотоварищ его — брат Жозеф.

С некоторого времени достойный отец Вильмен стал весьма-таки стесняться наблюдений брата Жозефа и даже не шутя побаивался их; но вскоре его совершенно успокоило одно постороннее обстоятельство: брат Жозеф стал оказывать страстное влечение и сер-

дечную привязанность к российской очищенной, известной тогда под популярным и балладо-романтическим названием Светланы. Маленький прием ее утром продолжался удвоенным приемом к обеду и оканчивался исчезновением брата Жозефа к вечеру. Светский костюм, который носил он в качестве слуги, гарантировал его страстные отношения к Светлане от соблазна людей посторонних. Брат Жозеф после ежевечернего исчезновения часа на три, на четыре очень скромно и тихо возвращался восвояси, кое-как сваливался на свое иноческое ложе и тотчас же засыпал мертвым сном до радостного утра. Братья, казалось, поняли друг друга: они без слов заключили между собою взаимный договор — не препятствовать своим эпикурейским склонностям, ибо эти индивидуальные качества души и сердца нисколько не касались принципов и сущности их иезуитской миссии. Зато в сфере этой последней обоюдное шпионство неослабно поддерживалось полным разгаром.

Père Вильмен в короткое время приобрел себе вместе с огромною популярностью до-

вольно значительный кружок католических исповедниц. Он любил чаще всего исповедовать на дому, в молельных или будуарах, где ревностные католички откровенно слагали с себя весь груз своих прегрешений. Père Вильмен особое внимание оказывал богатым светским дамам и преимущественно богатым старушкам. Все ужасы ада и все блаженство рая фигурировали в его келейных поучениях этим особам — в поучениях, направленных преимущественно на бренность земных благ и стяжаний и на отречение от них в пользу благ душевных. Посильным результатом поучений было, что несколько благочестивых старушек, устрашась ужасов Вильменова ада и прельстясь его раем, великодушно отказались от имений своих в пользу почтенного ордена, к которому имел честь принадлежать добродетельный pater. В его портфеле уже хранились два-три духовных завещания да наличными деньгами и драгоценными вещами тысяч на пятьдесят с излишком. Все это были благочестивые плоды, собранные им на пользу и процветание заветного ордена.

Père Вильмен, и сам того не подозревая,

нашел себе сильного пропагандиста в молодом графе Каллаше.

Граф Николай Каллаш занял довольно видную роль в обществе. Предположения опытных светских людей, сделанные о нем на рауте Шиншеева, оправдались. Граф блистал в весьма модных гостиных, пользовался приятельством и дружбой лучших из светских молодых людей, имел неограниченный кредит у Шармера, у Никельс и Плинке, у Дюссо и Елисеева; Сабуров поставлял ему помесячно лучший экипаж и лучших рысаков своих; две-три лучшие камелии до вражды поругались между собою за право ходить с ним в маскараде; несколько светских барынь с замиранием сердца ждали, кому из них этот Парис отдаст заветное яблоко, и все вообще восхищались его красотой, умом, его французскими стихами, его романсами и рисунками в альбомах. Старушки тоже полюбили его. Одни только мужчины — въяве друзья и приятели — были тайными врагами графа, и иные из них не задумывались под сурдинку распускать про него разные неблагоприятные сплетни. Но — странное дело! — это только

увеличило обаяние графа в глазах женщин. Он знал свою силу, свое могущество над ними и пока пользовался ими для весьма тонкой, красноречивой пропаганды в пользу père Вильмена, который его же стараниям был обязан большей частью своей популярности. Не одна из особ прекрасного пола, увлеченная рассказами графа, отправлялась на исповедь или для религиозной беседы к père Вильмену, и, можно сказать с достоверностью, ни одна из них не выходила от патера без того, чтобы после нескольких визитов не оставить ему своей посильной лепты. И это были не одни католички — весьма многие из русских православных барынь, очень уж возлюбя французское красноречие, делали свои вклады то золотыми вещами, то кой-какими деньгами в пользу разных филантропических целей, выставляемых или Вильменом, или графом Каллашем.

Время шло своим чередом, а французский иезуит, благодаря своим личным достоинствам и ловкой невидимой пропаганде графа Каллаша, приобретал все больше и больше влияния на умы некоторых из русских ба-

рынь.

XIV
НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Père Вильмен хотя избрал себе для виду, так сказать, официально, скромную келию в одном из тех мест, где обыкновенно останавливается приезжее католическое духовенство, однако секретным образом предпочел нанять для себя, вместе со своим слугой, частную, свою собственную и совершенно отдельную квартиру, взятую третьим братом-наблюдателем на свое имя. Сделать это было нетрудно, так как третий брат-наблюдатель принадлежал к ордену тайно, жил в мире и даже числился на службе в одном из присутственных мест. Квартира нужна была сему добродетельному триумвирату для особых важных совещаний по делам своей секретной миссии. Подозрительная осторожность вообще прежде всего свойственна истинным сынам Лойолы, которые в настоящем случае опасались делать свои совещательные сходбища в официальной келии отца Вильмена:

там мало ли что случится — их могли подглядеть, подслушать, да и сами они могли подать повод к излишним толкам. Все эти соображения побудили их взять отдельную квартиру. Она была очень невелика, всего-навсего две комнаты с передней и кухней, и вдобавок весьма скромно убрана. Несколько плетеных стульев, ломберный стол да кожаное высокое кресло составляли мебель приемной комнаты. Украшением же ей служили черное распятие да черная библия и несколько католических священных гравюр в простых рамках, между которыми висели два портрета: генерала иезуитского ордена и Игнатия Лойолы — его основателя.

В этом-то скромном жилище преподобного отца появилась однажды баронесса фон Деринг.

Появилась она со своей соблазнительной красотою. Красота эта, казалось, еще увеличивалась от противоположности с богатым, но вполне скромным нарядом, который во время визитов ее к отцу Вильмену всегда был один и тот же: роскошное черное платье и никакого постороннего цвета в аксессуарах. Предсто-

яла она пред ним ревностною католичкою, жаждущею испить живой воды от прохладного источника его поучений. Весь ум тонкого, искусного кокетства опытной в этом деле баронессы был постепенно употреблен ею против своего назидателя. И чем казалась она скромнее, недоступнее, тем распалительнее действовало кокетство ее на воображение сластолюбивого старца. Она открылась ему, что с тех пор, как поучается откровенно религии в его высоких беседах, ею овладела одна заветная мечта, к осуществлению которой стремится всем сердцем, но... но осуществить которую может единственно содействие Вильмена. Эта мечта — самой сделаться иезуиткой и своим влиянием, своей красотой и положением в свете тайно вести иезуитскую пропаганду.

— Мне недостает только одного, — говорила она с пылающими глазами и порывистым чувством католическо-религиозной экзальтации, — мне недостает знания... знания тех идей, правил и принципов, на которых зиждется храм иезуитизма; я не знаю приемов, которыми успешнее можно действовать; по-

мочь в этом может мне только мой добрый исповедник и наставник.

Уловка удалась как нельзя лучше. Умная, влиятельная и прекрасная пропагандистка иезуитских интересов, пропагандистка в России — была для монаха чистейший клад, упустить который он почел бы великим прегрешением. Старческая страсть к молодому, сильному и красивому телу помогала еще при этом закрыть ему глаза, чтобы не иметь никакого сомнения или недоверия в своей прозелитке.

Через несколько таких визитов и поучений крепость его сердца со всем гарнизоном нравственных сентенций и благоразумного опыта сдалась на капитуляцию незаметно осаждавшему неприятелю. Неприятель был своего рода паук, опутавший вконец иезуитскую мушку. Патер Вильмен совсем забывался перед своей искусительницей и, приуготовляя в ней почву для уразумения иезуитской пропаганды, откровенничал с нею даже о таких вещах, которых бы никому, кроме пославших его, открывать был не должен. И все это нравственное кораблекрушение произве-

ла в нем одна только грешная красота его духовного чада.

— Мы — члены великой семьи. Я — тайный агент великого ордена, — открывался он баронессе со своим обычным красноречием. — Нас много: наше братство непрерывною сетью покрывает всю Европу, и Азию, и Америку, но... нас мало в России. У нас нет родины, нет отечества, наша задача — мир. И он будет наш, потому мы — сила! Мы уже были несколько лет тому назад в России, мы были сильны, имели тайное, но огромное влияние; наши коллегии украшали многие города, например, в Орше — какой монастырь принадлежал ордену! А здесь, в Петербурге, у нас тоже был свой дом, мы уже было взяли в руки воспитание русского юношества, мы готовы были совсем вкорениться в России; но... нас выгнали за границу! Однако мы снова вкоренимся здесь, потому мы — сила, мы живые корни, родник, который как ни заваливай камнями, а он все-таки просачивается. Нас гонят и преследуют, а мы меж тем строим громадные дворцы, держим в руках несметные капиталы — и мы победим, потому у нас ве-

ликая задача и великий дух. Мы достигнем, что в мире не будет ни России, ни Франции, ни Германии, ни папы, а будет едино стадо и един пастырь, будет один наш орден и один генерал-командор...

— Вот, — продолжал он, вынимая из портфеля длинный реестр, — вот плоды моей недолгой пропаганды в России! Я здесь всего четвертый месяц, а между тем приобрел уже в пользу ордена четыре завещания от одного старика и трех праведных старушек-полек. По этим завещаниям нам отказано полтораста тысяч, и все эти записи составлены нами и помощью одного тайного нашего брата... есть тут один старичок... я через своих познакомился и сошелся с ним... А вот в этом хранилище, — говорил он, указав глазами на черную шкатулку, служившую фальшивым пьедесталом для распятия — хранятся посильные приношения деньгами и вещами на пятьдесят три тысячи. Вот мои плоды! — восторгался старик, пожирая сладострастными глазами роскошный бюст баронессы. — А мои клиенты, мои духовные дети, которых я с каждым днем приобретаю здесь! В нынешний приезд

свой, надеюсь, немало завербовал новобранцев в нашу духовную паству.

До слепоты влюбленный старец и не воображал, какую ловушку приуготовил сам себе своей откровенной болтовнею. Надо отдать справедливость баронессе: чуть ли это была не единственная женщина, которая так ловко умела превращать в мягкий воск таких хитрых и крепких иезуитских кремней, да еще и лепить из них все что угодно по своему произволу.

Она, впрочем, показывала вид, что совсем отреклась от себя и своей воли, что она вся, и нравственно, и физически, подчинена влиянию и воле монаха и с религиозным фанатизмом, беспрекословно готова исполнять все по первому его слову, по первому взгляду, — и pure Вильмен в самодовольном ослеплении воображал себя полным владыкой над своей фанатически преданной и покорной прозелиткой.

XV
ИСКУШЕНИЕ

После пятинедельного знакомства баронесса делала уже третий визит père Вильмену не в обычную пору. По взаимному соглашению, они условились видеться друг с другом вечером, с девяти часов, так как в эту пору наступали исчезновения брата Жозефа. Père Вильмен третий раз уже находил благовидный предлог удалять на несколько часов свою иезуитскую прислугу, состоявшую из весьма пожилой и непривлекательной женщины французского происхождения. В отсутствие ее он сам, лично, впускал и выпускал свою тайную посетительницу.

Квартира его находилась во втором этаже одного каменного дома и четырьмя окнами своими выходила на улицу. В угольной, смежной с приемною, комнате, служившей père Вильмену для отдохновения после его теологических занятий, баронесса уже третий раз находила прекрасно зажаренную холодную пулярку и холодную бутылку доброго шам-

панского. Добрый père Вильмен был уроженец Шампаньи, и потому нет ничего мудреного, что он любил шампанское и пулярки.

Третий раз уже он разделял с баронессой свою скромную трапезу и на сегодня решительно не заметил, как она, зажигая свою сигаретку, словно невзначай переставила свечу со стола на окошко.

Вдруг с внезапным шумом растворились двери, и в комнату быстро влетели три нежданные гостя.

— Муж!.. Боже! мой муж! — пронзительно взвизгнула баронесса и цепко повисла на шее несчастного патера.

— Да, муж, изменница! — закричал во все горло Бодлевский, стараясь придать своему голосу возможно большую громовность. — Муж, который пришел сюда с законною властью! — продолжал он, указывая на стоявших посреди комнаты посторонних господ.

Весь дрожащий и ошалелый от страха, патер поднял глаза свои по направлению руки мнимого мужа и с ужасом увидел русского полицейского офицера и, за ним, городового сержанта.

— Простите! пощадите!.. Он обольстил меня! — истерически кричала между тем баронесса, не отрывая рук своих от шеи Вильмена.

— Тише... тише... Бога ради, не кричите так — вы меня погубите! — умолял перепуганный иезуит, тщетно стараясь выбиться из крепких объятий.

— Как!.. ты старик, и ты забыл свой сан! ты громишь порок проповедями и обольщаешь чужих жен! — усиливал свой голос Бодлевский. — Людей сюда, свидетелей!

— Тише же, тише... Берите все, что хотите, только не губите меня... ради Бога! ради моих седин! — умолял Вильмен трепещущим голосом.

— Послушайте, крик напрасен, — посреднически обратился к двум сторонам полицейский надзиратель. — Я здесь законная власть и законный свидетель, следовательно, сейчас же могу без шуму кликнуть понятых и составить акт на месте преступления. Но дело вот в чем, — продолжал он, стараясь успокоить и мужа, и любовника. — Зачем вам ссориться и подымать уголовное дело, которое во всяком случае окончится весьма скверно для бедного

старика?.. Он уже и так наказан! Он предлагает мировую сделку, говорит, что вы можете взять, что угодно, — не помириться ли вам и в самом деле? Пощадите его честь и его седины!

Бодлевский и слышать ничего не хотел, продолжал кричать и бесноваться и каждым воплем своим повергать в неисчерпаемую пучину ужаса pire Вильмена, который умирал при мысли, что на крик могут собраться люди, может случайно воротиться брат Жозеф и увидеть его в таком виде, застать в таком положении... При одной мысли у несчастного трещала и кружилась голова, захватывался дух и сжималось сердце.

— Все, все берите... — безумно повторял он, вырвавшись наконец от баронессы и указывая свидетелям своего позора на заветный пьедестал под распятием.

— Плачь, плачь, несчастный старик, проси, умоляй его, чтоб он сжалился, иначе тебя ждут позор, уголовный суд и каторга, — говорил надзиратель, силою ставя иезуита на колени перед Бодлевским и нагибая для поклона его голову. Затем он снова, вместе с Виль-

меном, принялся убеждать неумолимого супруга.

Баронесса все время продолжала рыдать в истерике и тем только увеличивала крик и суматоху.

Наконец после долгих убеждений и после того, как злосчастный патер открыл свою черную шкатулку, Бодлевский согласился на мировую.

— Мы поделимся самым честным и безобидным образом, — говорил полицейский офицер, проверяя реестр иезуитских приобретений. — Четыре завещания и вещи на шесть тысяч оставим вам, а остальные сорок семь тысяч наличными деньгами — уж извините, святой отец, — возьмем себе, по законному праву, за бесчестие.

Старик был огорошен случившимся, так смущен и перепуган, что даже и не нашелся ничего возразить на это требование и безусловно согласился отдать свои деньги.

— А для верности, — продолжал офицер, — садитесь и пишите под мою диктовку, что вы на полюбовной сделке заплатили сорок семь тысяч мужу обольщенной вами женщины.

Это хотя и никому не покажется, но останется, для верности, в кармане барона фон Деринга.

Совсем убитый патер и на это согласился, не прекословя, и машинально стал писать под диктовку полицейского. Он считал каким-то сверхъестественным чудом и карой неба внезапное появление трех неизвестных сквозь лично им самим замкнутые двери. Патер и не подозревал, что в сем бренном и грешном мире существуют некие инструменты, «перьями» и «фомками» у мошенников называемые, а в просторечии известные под общепринятым именем отмычек и ломиков, с благодетельной помощью которых всякая дверь растворяется бесшумно и беспрепятственно.

— Теперь, padre[174], вы можете благословить и отпустить нас с миром, — сказал надзиратель, почтительно подставляя руку под отеческое благословение père Вильмена.

Но père Вильмен не двигался с места и глядел на все безумными глазами.

— Благословите же, padre, — настойчиво повторил полицейский.

— Dominus vobiscum![175] — бессознательно пролепетал иезуит, машинально делая в воздухе какое-то бессильное движение рукою.

— Ну вот, теперь позвольте пожелать вам покойной ночи и приятных сновидений, — заключил, откланиваясь, офицер, и вся компания немедленно же удалилась, и через минуту на улице послышался грохот быстро удалявшейся четырехместной кареты.

Нечего, кажется, прибавлять, что роль полицейского разыграл переодетый Сергей Антонович Ковров, а хожалого сержанта — весьма удачно гримированный граф Каллаш.

Ассоциаторы поровну разделили между собою благоприобретенные деньги, а добродетельный иезуитский агент через неделю незаметно скрылся из Петербурга.

Часть третья
ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

I
У СПАСА НА СЕННОЙ

Была пятница — день постный.

На Сенной площади торговля кончилась, ибо со спасовской колокольни давно уже пробило шесть — урочный час для прекращения зимней торговой деятельности на Сенной.

С левой стороны этой площади (если направляться от Невского к Покрову) дремали какими-то безобразными глыбами навесы мясных, зеленных и посудных рядов, укутанные на ночь грязными рогожными полостями; с правой — тянулась неопределенная, слившаяся в одну гряду масса розвальней с рыбой и сеном, над которою, подобно частоколу, торчали поднятые вверх оглобли. Самая площадь, то есть центр торговли, давно уже спала, а вдоль Садовой улицы, рассекающей Сенную на две разные половины, подобно

быстрому потоку реки, пронизывающей своим течением воды большого и тихого озера, кипела неугомонная деятельность: укутанные кое-как и кое во что пешеходы шлепали взад и вперед по лужам; извозчичьи сани глубоко ухали в ухабы, наполненные грязной и жидкой кашицей песку и снегу; громыхали проносящиеся кареты, которые направлялись к Большому театру. По краям площади, в громадных, многоэтажных и не менее улицы грязных домах, мигали огоньки в окнах и фонари над входными дверями, означая собою целые ряды харчевен, трактиров, съестных, перекусочных подвалов, винных погребов, кабаков с портерными и тех особенных приютов, где лепится, прячется, болеет и умирает всеми отверженный разврат, из которого почти нет возврата в более чистую сферу и где знают только два исхода: тюрьму да кладбище. По этим окраинам Сенной площади тоже кипит своего рода жизнь и деятельность. Вон хрипящие звуки трех шарманок: одна из них поет, с аккомпанементом слепца-кларнетиста, бесконечную «Лучинушку»; другая сипит под бубен и разбитые выкрикивания шар-

манщика развеселую песню «Вдоль как по речке, еще ль по Казанке» — песню, которая особенно нравится гулящему люду Сенной; третья — итальянской конструкции, с флейтой, вибрирует «Casta diva»[176], и все эти разнородные звуки стоят в мглисто-неподвижном воздухе гнилого вечера и своим диким диссонансом, какою-то кричащею тоскою врываются в душу: в этих диссонансах, среди этого мрака вам невольно слышится убийственный голод и холод — это какие-то вопли отчаяния, а не музыкальные звуки... Но не одни шарманки оглашают собою окраины Сенной; из низеньких подвалов темного Таировского переулка, как из глухой пропасти, порою вторят им то скрипка с клавикордами, отжившими мафусаилов век, то подобный скрипу несмазанной двери голос беззубой женщины:

Моя рушая коша-да
Вшиму городу краша! —

на мгновение донесется вдруг оттуда с попутным порывом ветра и тотчас же затеряется в закоулках торговых навесов да в высоких

выступах и углах каменных громад, — затеряется и смолкнет, заглушенное громыханьем карет, ухабным уханьем ванек и другими не менее выразительными звуками. Вон, на другом конце площади, около знаменитого Малинника[177], раздается крупный говор и руготня, которые с каждой минутой становятся все громче и крупнее, собирают кучку праздных прохожих зрителей; кучка растет, прибывает и превращается наконец в целую толпу, *из* середины которой разлетается во все концы обширной площади тараторливая женская перебранка, издали очень похожая на кряканье всполошенных уток. Что это за крики и что это за толпа? На что она смотрит и порою разражается таким поощрительным рыготаньем? Пьяная драка... клочья... кровь... Вон раздается призывной свисток полицейского-хожалого, которым он зовет на помощь подчаска, а в эту самую минуту, с противоположной стороны, у Полторацкого переулка, новые крики... «Караул! караул!» — слышится оттуда, и, судя по короткому, обрывающемуся выкрику, можно с достоверностью предположить, что человека взяли за горло и душат...

Вы смущены этим криком? Он скверно, зловеще подействовал на ваше ухо и болезненно на ваше сердце? Но вот прошла минута — и его не слыхать, он донесся до вас только урывком, на одно мгновение, после которого успел уже, подобно всем этим разнородным звукам, затеряться и утонуть в обычном гуле городской жизни...

И вот надо всеми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной мрачной, слякотной площади низко висит непроницаемо черное, сырое небо, и сыплет легкий снежок, который, не успев еще долететь до земли, превращается в мелкий, моросящий дождик.

Был восьмой час на исходе.

На гауптвахте шагал по платформе часовой с ружьем, укутанный в свою сермягу, а против него, с другой стороны улицы, мокли и дрожали разнородные группы нищих на паперти Сенного Спаса. В церкви кончалась служба. Нищих на этот раз собралось изрядное количество: завтра родительская суббота — значит, сегодня на всенощной изобилие купчих и прочих молельщиков, щедрых на

подаяние по случаю предстоящего помина родителей и сродников.

Вот группа простоволосых, босоногих девчонок и мальчишек, от пяти до двенадцати лет, в лохмотьях, со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои закоченелые от холода руки, то есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаянием. Текут у них от холода не то слезы из глаз, не то из носу посторонние капли; и стоят эти дети на холодном каменном помосте не по-людски, а больше все на одной ноге толкутся, ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение, другая, конвульсивно съежась и скорчась, старается отогреться в висящих лохмотьях. Чуть выходит из церкви богомолец — эта орава маленьких нищих накидывается на него, разом, всей гурьбой, невзирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищих взрослых, обступает его с боков, и спереди, и сзади, иногда теребит за платье и протягивает вверх посинелые ручонки, прося «Христа ради копеечку» своим надоедливо-пискливым речитативом. Она мешает ему идти,

провожает со ступеней паперти и часто шагов на двадцать от места стоянки преследует по мостовой свою жертву, в тщетном ожидании христарадной копеечки. Копеечка, по обыкновению, выпадает им очень редко, и вся орава вперегонку бросается снова на паперть, стараясь занять более выгодные места в ожидании новых богомольцев. Это — самый жалкий из всех родов нищенствующей братии. Не один из этих субъектов успел уже побывать в исправительном доме, откуда выпущен на поруки людей, с которыми сходятся в стачку по этому поводу нищие взрослые, всегда почти эксплуатирующие нищих малолетних. Все эти мальчишки и девчонки, еще с пелен обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления; это — либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который достигает их очень рано, если еще раньше разврата не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до двенадцатилетнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах Сенной площади, за самую ничтожную цену,

отдаваться разврату.

Нищие взрослые держат себя несколько солиднее малолетков. Если проходит богомолец не подающий, взрослые встречают его только протянутой рукой и просительным склонением головы. Но чуть изъявит он малейшее желание совершить обряд христианского милосердия, взрослые точно так же обступают со всех сторон доброхотного дателя и несколько десятков сморщенных, грязных рук, с громким христарадничаньем, жадно протягиваются к нему во все промежутки и скважины сплоченной толпы, где только может протискаться промышленная пятерня пальцев. Часто случается, что доброхотный датель, после такого маневра со стороны нищей братии, по приходе домой не доискивается платка, кошелька или часов с цепочкой. Эти обступания целым кагалом производятся преимущественно за вечерними и всенощными службами, где рано наступивший мрак зимнего вечера по возможности скрывает такие эволюции нищей братии от зоркого ока полицейских-хожалых, имеющих иногда обыкновение забирать ее в арестантские си-

бирки. Истинная бедность и нищета редко показывается в среде патентованных надворных и притворных (то есть стоящих в церковных притворах) попрошаек. Истинная бедность и нищета прежде всего совестлива, застенчива и робка; она держится одиноко, отдельно, и если решается обратиться с просьбой к прохожим, то просьба эта звучит прямым физиологическим голодом и действительной нуждой.

Первый план между взрослыми попрошайками занимают бабы. Те же платья, как и у малолетних, те же кое-как сшитые лоскутья и расползающиеся швы лохмотьев, тот же официально-нищенский, как песня, выработанный и заученный речитатив, и на руках — завернутые в тряпки младенцы, часто, за неимением собственных, взятые напрокат. Вот стоят две безобразные, безносые старухи, которых во время оно не пощадила отвратительная болезнь, но пощадила смерть, дозволив им перейти летами за ту грань, где на Сенной по большей части оканчивается промысел разврата и начинается промысел нищенства. Они не успели добыть себе младен-

цев напрокат, а потому, вместо них, завернули в тряпье по полену и баюкают его, как ребенка. Впотьмах не видно, да и кто станет заглядывать, что там такое лежит у старухи!

Второй план, ближе к притвору, заняло все то, что посильнее физически. Тут горбятся и хромятся попрошайки мужеского пола с ходебщиками «на построение». Третий план, в самом притворе, завоевала себе аристократия нищенства, всегда отличающаяся какими-нибудь особенностями и по преимуществу уродством. Вон в самом мрачном, темном углу дрожит и жмется высокая, худощавая старуха с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, которые зорко высматривают добычу; клок черных с сединою волос выбился ей на лоб из-под мокрого платка и придает еще более дикий вид этой и без того уже дикой физиономии. Она тоже что-то кутает в лохмотья, но это не ребенок и не полено — это безобразная старуха карлица-идиотка, которую она, как младенца, держит у себя на руках для привлечения людского сострадания. Идиотка очень мала и страшно худощава, седые космы волос ее спутались в беспорядке и мешают

смотреть тупым бельмам навыкате. Трусливо-порывистые ужимки и движения сопровождают каждый взгляд идиотки, которая, чуть выдается ей спокойная минута, быстро схватывает в рот бахромку платка своей няньки, либо втянет туда же клок своих собственных волос, либо, наконец, с аппетитом принимается жевать комок штукатурки, сколупнутый ею от мокрой, отсырелой стены. Нищая старуха со своею странною ношею боится быть все время на виду; она прячется и жмется в темном углу от людских, а наипаче полицейских взоров, но это прятанье заставляет ее еще зорче высматривать добычу. Чуть появится в дверях доброхотный датель, нищая с идиоткой бросается с быстротой и ловкостью дикой кошки в толпу собратов и, продираясь вперед, подставляет изможденную, высохшую руку. Едва эта морщинистая рука ощутит на закорузлой коре своей ладони поданную копейку, как уже старуха с тою же быстротою удаляется в темноту своего обычного места, из которого она, словно паук из гнезда, жадно кидается на добычу.

Вот у внутренних церковных дверей рас-

положился не человек, а какое-то подобие человека, скорее, намек на человеческий организм, безотрадно представляющийся взорам в виде кривого, горбатого и безногого существа, которое держится на деревянных колодках, прикрепленных к бывшим лядвеям, а ныне обрубкам человеческого тела, обрубкам выше колен, и движется с помощью рук, заменяющих ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминает ежа или дикобраза, а в маленьких, глубоко ушедших глазах, которыми существо это поводит из стороны в сторону, светится что-то мышиное. «Господи, Исусе Христе, владычица Тифинская!» — бессознательно произносит оно с каким-то высвистом своим фальцетным голосенком, и правая рука его при этом необыкновенно быстро болтается, как бы торопясь наделать возможно большее количество крестных знамений. «Касьянчику-старчику Христа-а ради!» — выпевает он дрожащим голосом, силясь повыше вытянуть за подаянием свою руку, и подаяние по большей части, благодаря выгоде первого места, попадает прежде других в ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчи-

ку-старчику никогда не удалось бы занять лучшего нищенского места, если бы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась в образе соседа и сотоварища его, известного под именем Фомушки-блаженного. Рыжий, коренастый мужчина лет тридцати пяти, росту выше чем среднего, плечистый и плотный — он представлял действительно весьма внушительный и надежный оплот для такого жалкого существа, как Касьянчик-старчик. Фомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Порыжелая бархатная скуфейка, на манер монашеской, частью прикрывала спутанные длинные космы его рыжих и жестких волос. Одутловато-мясистые жирные щеки и клюквенно-пухлый нос служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физиономии; физиономия эта украшалась рыжею щетиною вместо усов и клоками неопрятной бородищи, которая отдельными щепотьями произрастала у него в различных направлениях. Стальной обруч, заменяя собою пояс блаженного, охватывал в талии его черную хламиду, которая также старалась походить

на монашескую ряску. Полы хламиды, вися оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильным слоем уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, закорузла тут в виде целых пластов, комков и наростов. От этого костюма и от самого Фомушки разило на три шага невыносимым смрадом. Но в этом смраде и в этой грязи своей Фомушка находил особенную усладу, а почитатели его относили все это к подвижничеству. Фомушка бойко и независимо стоял себе на своем месте, ежеминутно почесываясь и тяжело сопя носом на весь притвор церковный. Вся остальная братия чувствовала достодолжное почтение к его внушительному кулачищу, с которым в самом деле нехорошо бы было повстречаться в пустом, уединенном месте.

Совершенный контраст с Фомушкой-блаженным представляла кривошейка — vis-à-vis [178] ежа Касьянчика — женщина лет за сорок с выражением благообразно-постного смирения в желтоватом лице. С головы ее спускался большой черный платок, а остальной костюм, отличаясь своею опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом мо-

нашенок и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особа эта, подобно Фомушке-блаженному, покровительством которого пользовалась наравне с Касьянчиком-старчиком, составляла своего рода авторитет и была известна под именем Макриды-странницы. Она резко отделялась от остальной братии, к которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стояла с книжкой — и, стало быть, подвизалась доброхотными сборами на построение храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида-странница купно с Фомушкой-блаженным и Касьянчиком-старчиком составляли одно целое, как бы одну семью, и преследовали одни и те же цели.

Позади всех этих групп разнородной нищей братии ежилась от холода еще одна новая личность, которая, крадучись кошачьей походкой, прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо стараясь быть незамеченной ими. Но нищие вообще народ очень зоркий: крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически-терпеливым

молчанием. Эта личность являлась в виде высокого, длинного, сухого старика в ветхом халатишке, подпоясанном дырявым фуляром. Энергически сжатые губы и брови, нависшие над тускло-неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно-черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергаментно-бледной, выцветшей и давно не бритой физиономии.

Служба кончилась; из церкви повалил народ. Вышел благочестивый блюститель порядка, и толпа нищих ребятишек, издали еще завидя приближение врага, на время его прихода разбежалась в темные закоулки поблизости церкви, а нищие взрослые постарались притвориться не нищими и сделали вид, будто тоже выходят из церкви.

Но блюститель порядка скрылся во мраке — и публика паперти заняла свои прежние роли.

Вышел чахоточный купец и сунул грош в руку Касьянчика-старчика.

— Не плошай! — ткнул его пальцем в голо-

ву Фомушка и протянул к дателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой «для блезиру»[179] лежало несколько медяков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, образовавшейся вокруг дателя толпы, незаметно стянул грош с Макридиной книги и, с судорожной поспешностью сунув в карман, протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки, в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошаек. Едва Фомушка-блаженный очутился за спиною купца, как его тяжеловесная лапища легонько давнула загривок старика.

— Ты что, леший? опять двурушничать [180]? — просопел он ему шепотом.

Старик только окрысился, защелкал зубами да часто замигал веками со злости и перебрался подальше от блаженного.

Вышла молодая купчиха, охотница до раз-

дач, — и на паперти повторился тот же самый процесс. Старик, в отдалении от Фомушки, снова двурушничал.

Вышла купчиха, пожилая, толстая, сонная, с благочестиво-тупым и забито-апатическим выражением в лоснящемся от поту лице, и, как к знакомой, приветливо обратилась к Макриде:

— Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка! — заговорила она на полужалобный распев. — Приходи-тко завтра на блинки... родителев помянуть... Не побрезгуй... да вот и блаженного упроси с собою.

Фомушка при появлении этой особы мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплуа юродивого.

— Раба Степанида! — забормотал он, крестясь. — Ангели ликуют, на Москве колоколам трезвон... Ставь столы дубовые, пеки кулебяку с блинами: я те, раба Степанида, к небеси предвосхищу.

— Предвосхищи, Фомушка, предвосхищи, блаженненький! — слезно умилялась низко-

лобая толстуха, уловив только звукопроизношение, но не поняв значения последней фразы юродивого, и сунула пятак в его лапу.

Ободренный Фомушка уже нараспев, скороговоркой доканчивал свою мысль:

— Предвосхищу, мать моя, предвосхищу, идеже вся святии упокояются; на венчиках красные, христосские яица, в яицах Фомушкина копеечка мотается — тук-тук-тук молоточком!

При фразе насчет упокоения и молоточка бессмысленный, овечий страх отразился на физиономии толстухи. Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля Фомушку и строго повела на него бровями.

— Не печалуйся, раба, не печалуйся! — снова забормотал блаженный. — Гряди домой с миром, хозяин твой пьян лежит, надо полагать, бить будет; а ты, раба Степанида, сто лет проживешь.

Раба Степанида успокоилась и вздохнула.

— Это точно что, это ты правильно, голубчик, Божью волю предсказываешь, — заговорила она в минорном тоне, — пожалуй, и вправду бить станет, потому, надо быть, вер-

но, хмельной воротился да самовару не нашел... Ох-тих-тих! житье-то наше!

— Блаженный, мать моя, в просветлении теперь находится, в просветлении! — благочестиво пояснила ей Макрида. — А то тоже бывает, что на него затмение находит, яко мертв лежит, — это значит: душа его с Богом беседует.

— Касьянчику-старчику копеечку Христа-а ради! — прерывает их дребезжащий козелок безногого.

Купчиха, повторив свое приглашение на блинки, оделяет пятаками Макриду с Касьянчиком и продолжает свое тучное шествие далее, с таким же наделом прочей братии. Сухощавый старик, озираясь на Фомушку, из-за чьей-то дальней спины протягивает свои длинные руки.

Из церкви почти все уже вышли, когда на паперти появился невысокого роста плотный старичонко, по-видимому из отставных военных, в серой шинели и в солдатски скроенной фуражке с кокардой. Чувство амбиции и чувство самодовольства оживляли фигуру старичонки, необыкновенно ярко сочетаясь

между собою и высказываясь в свиных глазах и в закрученных кверху, нафабренных щеточках-усах.

— Осипу Захарычу — нижайший поклон! — неожиданно обратился он к худощавому старику. — Что поделываете, батенька, доброго?

— Да вот... страдаю все... почечуй... — както глухо, ненаходчиво и болезненным тоном отвечал старик, видимо конфузясь от неожиданной и притом нежеланной встречи. — Молиться вышел, — продолжал он, стараясь неопределенно глядеть куда-то в сторону. — Благолепие — в храме-то... истинно сказать...

— Да что это вы в таком легком костюме-то? а еще больны! и не бережетесь, — укорил отставной, с участием покачав головою.

Старик кинул взгляд на полы своего халатишка и окончательно сконфузился.

— Это я... так... ничего... «не пецытеся», сказано... торопился к молитвенному бдению... не успел...

— Да! торопился он! — укорливо стали обличать его кое-какие бабенки из нищих, затараторя все разом. — Поди, чай, нарочно натя-

нул на себя!

— Богачей этакой, да чтоб одежины хорошей у него не было.

— Скареда, одно слово!

— Торопился!.. А сам промеж нашего брата двурушничал — только хлебушки сиротские перебивает!

— У самого-то, поди, посчитай-ка добра! Сундуки, чу, ломятся... Тоже ведь — сиротское все!

— Что и говорить! Кащей-человек!

Старик еще в самом начале этого потока обличающих замечаний торопливо поклонился отставному и, стараясь ни на кого не глядеть, бегом спустился со ступеней на площадь.

— Ну, вы, тетки! Чего стоите?! Что младенцев домой не несете?! Поди-ко, переколели все от холоду — марш домой! Живо! — заговорил самодовольный отставной, обратившись в несколько начальственном тоне к двум бабам с младенцами на руках.

— Петра Кузьмич! господин Спица! майор ты наш милостивый! — просительски заклянчили бабенки. — Уж уважь ты нас, сирот, —

оставь младенцев-то до завтрева!.. Опосле обеден — вот те Христос — принесем!

— Ну, ну, ладно! без разговоров! это вздор, этого нельзя! — строго отрезал господин Спица.

— Почему ж те нельзя? Мы ведь прокату твоей милости завсягды верно, со всем уважением...

— Неси домой, сказано! — перебил майор, начальственно топнув ногою. — Отдайте там барыне, жене моей, да скажите, чтоб накормила их. А то вы — твари бесчувственные! на нас положились только, так вы мне всех младенцев переморите!

— Да завтра мы бы и за ранней, и за поздней постояли бы... ноне выручки не больно-то казисты: еле-еле гривну в обедню настоишь — сам знаешь!..

— Врете, колотовки! Завтра родительская — выручка лихая будет, поэтому назавтра прокату — сорок копеек с младенца, коли кто брать хочет! — решительным тоном объявил для всеобщего сведения майор Спица.

— Что ж так дорого? Несообразно больно! Завсягды по пятнадцати, много-много уж по

двадцати брали, а ноне — накося! Сорок! — возражали недовольные нищенки.

— Ну стойте без младенцев, мне все равно, — заключил майор, показывая намерение удалиться.

— Да что ты, батюшка, больно кочевряжишься со своими младенцами-ту? — заметил ему косоглазый и криворукий слюняй. — Твой товар нашим бабам не больно-то еще и подходячий. Потому у твоих младенцев лицо чистое, а нам на руку то, коли младенцу все лицо язва источила... За язвленного в родительскую точно что — можно копеек тридцать пять, а за твоех больше четвертака не моги!

Майор ответил слюняю только юпитеровским презрительно скошенным взглядом.

— Опять же вон у Мавры и не горлодера совсем, — пояснила одна из заинтересованных в деле бабенок.

— Так что ж, что не горлодера?! — возразил недовольный майор. — Ну, щипни его, подлеца, полегоньку или булавкой чуточку ткни — он тебе и будет кричать сколько хочешь!

— Так как же, Пётра Кузьмич, возьми по четвертаку со штуки! — пристали опять бабенки.

— Тридцать пять — и ни одной копейки меньше! — порешил майор.

— Мы те надбавим, ты нам спусти — вестимо, дело торговое, полюбовное... Хочешь тридцать да на косушку в задаток?

Майор колебался. Косушка действовала соблазнительно.

— Ну, уж так и быть, черти! Право, черти! — согласился Петр Кузьмич, махнув рукою. — Себе в убыток отдаю... Вынимай же, что ль, на косушку да тащи ребят к барыне... Скажи, что я скоро буду — знакомого встретил, чаю напиться зашел...

На гауптвахте барабанщик пробил повестку к вечерней зоре. Публика паперти очнулась и побрела в разные стороны, направляясь преимущественно к Полторацкому кабаку и перекусочным подвалам.

II
ПЕРЕКУСОЧНЫЙ ПОДВАЛ

В промежутке торговых навесов и каменных домов левой стороны образовалось нечто вроде переулка, который в течение дня переполнен группами закусывающего люда. Закусывают на ходу или стоя перед грязноватыми лотками со всякой всячиной. Днем тут — неугомонное, непрерывное движение; вечером же царствует тьма и пустота, ибо те же самые, вечно стоящие и вечно бродящие группы серого народа передвигаются несколько дальше — к Полторацкому дому и Таировскому переулку. Тьма перекусочного ряда всегда пребывает неизменною, потому что крыши зеленых навесов заслоняют собою свет газовых рожков. Этот импровизированный переулок служил для нашей братии обычным переходным путем от паперти Спаса до Полторацкого дома[181].

Мокрый снег пополам с мелким дождем зарядили надолго. Туман и холод... Дикий воздух, дикий вечер, и все какое-то дикое, угрю-

мое...

Вон потянулась нищая братия.

Впереди всех — голодною походкою и частыми, широкими шагами забирает прямо по лужам высокая, тощая фигура старухи. Она кое-как прикрывает дырявым платком свою идиотку. Идет потупясь, ни на кого не глядит и только сжимает в кулаке несколько собранных грошей, словно боясь, чтобы у ней кто не отнял их. Вслед за этим, далеко опередившим остальных, авангардом подпрыгивали мальчишки и девчонки, разбрасывая ногами брызги во все стороны; тянулись и ковыляли убогие кривыши, костыльники, сухоруки, немтыри и так называемые слепенькие. Салопницы — также аристократия нищенства — отделились гораздо раньше и пошли вразброд: кто на Вознесенский, кто в Гороховую; зато ходебщики «на построение» оставались при главном корпусе кривышей и костыльников, купно с Фомушкой-блаженным и Макридой-странницей. Шествие всей этой оравы убогих, грязных, дырявых заплат и вопиющего о хлебе безобразия замыкало собою, в виде арьергарда, безногое, цепко-ползущее

существо, какое-то пресмыкающееся, скорее гном, нежели человек, — гном, напоминающий черного большого жука, что с тяжким усилием, медленно и бочком, забирает вперед своими неуклюжими лапами. Это был горбатый еж, называющий себя Касьянчиком-старчиком.

— Фома, а Фома! — пискнул он своей болезненно-надорванной фистулой, остановясь на краю широко разлившейся лужи, словно таракан, обведенный кружком воды.

Фома не слышал и продолжал шлепать сапожищами.

— Фомка-черт! — с раздражением крикнул безногий, пустив ему вдогонку рыхлый комок снегу.

— Я-у! — отозвался каким-то лаем блаженный.

— Кульком хочу — чижало ползти: лужица... — отрывисто и с передышкой пояснил свою надобность Касьянчик.

Фомушка-блаженный захватил безногого своею сильной лапищей и, словно куль муки взвалив его сразу к себе на спину, зашагал через лужу кратчайшим путем к главному кор-

пусу.

— Ночуем ноне как? По купечеству к кому, что ли, пойдем али так, в ночлежных? — осведомился старчик за плечами.

— Не! Увеселиться желаю! — порешил блаженный, что означало у него всеночный загул в честной компании. — А тебе только бы кочерыжки свои распаривать по хозяйским лежанкам, — презрительно укорил он безногого, спускаясь с ним в преисподняя перекусочного подвала по обледенелой и сплошь забитой нанесенным снегом лестнице.

— Сала! Сала!.. Горшков! Молока! — завопил Фомушка продавщицким речитативом, вприпрыжку вертясь по подвалу со своим кульком-Касьянчиком.

— Продай молока! Молока давай! — приступила к нему почти вся сбродная орава детей и взрослых, и к спине старчика потянулось несколько десятков рук и ручонок, причем каждая норовила дернуть, щипнуть или колупнуть безногого.

— Стоп-машина! — скомандовал Фомушка, подняв кверху указательный палец. — Вам чего? Молока?

— Молока, Фомушка, молока! — опять приступила орава.

— Погоди, народ! Еще не доили быка! — сострил блаженный, спуская на пол Касьянчика, — и орава дружно зарыготала.

В перекусочном подвале столпилось изрядное количество народа, так что становилось весьма тесновато и душно.

Подвал являл собою низкую, почти квадратную комнату со сводами, узенькие тусклые оконца которой приходились как раз под потолком, в уровень с тротуаром, ибо стены этой комнаты были выведены в земле под уровнем уличного грунта. Правый угол занимала огромная русская печь, пылавшая красными языками жаркого пламени, которое заменяло собою освещение. Там нагревались чугуны с похлебкой и горохом и шипела на сковороде салакушка. Пареная треска вместе с горьким запахом жарящегося масла и кислой квашеной капустой исполняли этот триклиниум такого аромата, что у голодной оравы нищих от аппетита судорожно передергивало скулы. Пар от печи, масла и дыхания валил густыми клубами в настежь растворен-

ную дверь, служившую с улицы, между прочим, проводником грязи, дождя и снега, которые свободно залетали сквозь нее в этот приют голодных отрепьев петербургской жизни. Низенькие стены, по которым убийственная сырость расписала свои темно-зеленые жилы, потеки и целые оазисы прыщевидных пупырышков-грибков, украшались, кроме этой естественной живописи, еще и суздальскими литографиями, где сквозь густые слои сурика и охры с трудом можно было разобрать «Геенну огненную» и «Царя Соломона-премудрого».

У печи возился повар, скорее похожий на пароходного кочегара, чем на повара, и в суровом молчании удовлетворял требования своих потребителей, зачерпывая жестяным ковшом кому похлебки, кому гороху, причем предварительно взималась условная плата — полторы копейки с порции. Немногие места у стен на скамейках были уже заняты, так что большинство должно было стоя лакать свою похлебку прямо из деревянных посудин. В одном углу сидела высокая старуха и кидала огрызки своей идиотке, которая, не разбирая, пожирала их с торопливой жадностью шар-

маночной обезьяны.

Вообще весь этот подвал представлял какую-то дикую берлогу, озаренную красным отблеском мигающего пламени, — берлогу, где совершалось не менее дикое кормление голодных зверей. Тут насыщали себя только парии нищенства, которые не могут тратить на свое пропитание зараз более полутора или много двух копеек. Все же прочее забирало в подвале только перекуску, вроде студня, бычачьих гусаков да трески пареной, и, завернув эти снеди если не в бумагу, то в полу одежды, отправлялось ужинать в Полторацкий, который являл в себе несравненно более комфорта, ибо, по естественному своему предназначению, изобиловал водкой, вмещал приятное общество и даже иногда оглашался звуками приватного гитариста.

III
ПОЛТОРАЦКИЙ

В Полторацкий надо было не спускаться в преисподняя, но подыматься почти что в бельэтаж, и вот туда-то, под предводительством Фомушки, направилась теперь из перекусочного подвала ватага ходебщиков, калек и убогих.

Чуть перед этой компанией завизжала на блоке гостеприимная дверь кабака, чуть только обдало ее спиртуозными испарениями, как вдруг свершилось великое чудо: слепые прозревали, немтыри получали прекрасный дар слова, кривыши выпрямлялись, сухоруки, костыльники и всякие другие калеки убогие нежданно-негаданно исцелялись, становились здоровыми, крепкими людьми, и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдруг, в одно мгновение ока, от одного лишь чудодейственного веяния полторацкой атмосферы. Один только еж — Касьянчик-старчик — не изменял своему убожественному горбу и безножию — и то потому,

что в самом деле был человек горбатый и безногий.

— А! Грызунчики! Грызуны! *Грызуны*[182] привалили! Много ль находили, много ли окон изгрызли? Псковские баре, витебские бархатники! Ах вы, братия — парчовое платие! Наше вам, с кипятком одиннадцать, с редькой пятнадцать! Добро пожаловать, Грызунчики! Милости просим, камерцию поддержать!

Таков был приветственный взрыв восклицаний, которыми полторацкие завсегдатаи встретили нищенскую ораву, не перестававшую один за другим подваливать к стойке с лаконическими требованиями косушек. Некоторые из братии недостававшую сумму денег дополняли карманными платками; один даже предъявил очень хороший портсигар, что, без сомнения, составляло негласные трофеи притворного стояния. Трофеи эти мгновенно исчезали за кабацкой стойкой.

Сивушный пар; густая толпа перед стойкой; многочисленные группы за отдельными столиками; крупный, смешанный говор, женские восклицания, порою хлест побоев и

вопли; копоть от непокрытой стеклянным колпаком лампы; в стороне — маркитант с горкой разных закусок, преимущественно ржаных сухариков, ржавой селедки и соленых огурцов, раздробленных на мелкие кусочки; наконец, шмыганье подозрительных личностей с *темным товаром;* суетливая беготня подручных да подносчиков, собирающих порожние посудины, и обычные отвратительные сцены вконец опьяневших субъектов, из которых некоторым тут же гласно-всенародно обчищают карманы, сдирают одежду и обувь, — вот та мутная, непривлекательная картина, какую с первого взгляда представляет знаменитый в летописях петербургских трущоб кабак Полторацкий.

Нищие расселись как попало: кто на подоконник со своим студнем, кто, за недостатком столов, даже и на полу, в уголок приткнувшись; одна только компания Фомушки, состоявшая из Макриды с Касьянчиком и криворукого, косоглазого слюняя с двумя немтырями, заняла отдельный стол для своей трапезы. Эти ужины нищей братии возбуждали сильное неудовольствие маркитанта, ви-

девшего в них подрыв своей коммерции.

В компании Фомушки шел разговор о двурушничанье худощавого старика-халатника в то время, как к блаженному подошел одетый в партикулярное платье высокий рыжий человек, угрюмого выражения в злобных глазах исподлобья, и бесцеремонно опустился подле него на скамейку, отодвинув для этого, словно какую вещь, Касьянчика-старчика.

— Чего тебе, Гречка? — отнесся к нему своим обычным лаем Фомушка.

— Ничего; звони, знай, как звонилось[183], а мы послушаем, — отрезал Гречка и расселся таким образом, что явно обнаружил намерение слушать и присоединиться к разговору.

— Надоть ему беспременно ломку, чтоб не двурушничал, — продолжал косоглазый слюняй.

— Кому это? — осведомился Гречка.

— Хрыч тут один есть — такой богачей, сказывают, а сам промеж нас кажинную субботу за всенощной христарадничает, — так вот, говорю, ломку ему надо.

— Какой богачей?

— А вот Фому спроси, он его знает.

— Какой такой богачей-то? — повторил Гречка, отнесясь к блаженному.

— Есть тут такой, — неохотно отвечал этот. — Морденкой прозывается… скупердяище, не приведи Бог.

— Все это одна жадность человеческая, любостяжание, — заметила Макрида в назидательном тоне.

— Да богачей-то он как же? — добивался настойчивый Гречка.

— А тебе-то что «как же»? Детей крестить хочешь, что ли? Небось, на зубок не положит.

— Нет, потому — любопытно, — объяснил Гречка.

— Любопытно… ну, в рост капитал дает под проценту да под заклад — вот те и богачей!

— И много капиталу имеет?

— Поди посчитай!

На этом разговор прекратился, и Гречка сосредоточенно стал что-то обдумывать.

— Подь-ка сюда! — хлопнул он по плечу блаженного.

Они отошли в сторону.

— Половину *сламу*[184] хочешь? — вполго-

лоса предложил Гречка.

— За какой товар? — притворился Фомушка.

— Ну, за вашего... как его... Морденку, что ли?

— А как шевелишь, друг любезный: на сколько он ворочает? — прищурился нищий.

— *Косуль*[185] пять залежных будет — и ладно.

— Мелко плаваешь!.. Сто, а не то два ста — вон она штука!

Гречка выпучил глаза от изумления.

— *Труба!.. Зубы заговариваешь*[186]! — пробурчал он.

— Вот те святая пятница — верно! — забожился Фомушка.

— Ну, так *лады*[187] на половину, что ли?

— *Стачка*[188] нужна, — раздумчиво цмокнул блаженный.

— Вот те и стачка, — согласился Гречка. — Первое: твое дело — сторона; за *подвод* половину сламу; ну а остальное беру на себя: я, значит, в *помаде*[189], я и в ответе.

— А коли *на фортунке к Смольному затылком*[190], тогда как? — попробовал огоро-

шить его Фомушка.

Гречка презрительно скосил на него свои маленькие злые глаза.

— Что — *слаба*[191], верно? — усмехнулся он. — Трусу празднуем? Не бойся, милый человек: свою порцию миног сами съедим[192], с тобою делиться не станем, аппетиту хватит!

Фомушка подумал. Товарищ казался подходящим и надежным.

— Миноги, стало быть, за себя берешь? — торговался он.

— Сказано, съем! — огрызся товарищ. — Мы-то еще поедим либо нет — бабушка надвое говорила… Раньше нас пущай других покормят; много и без нас на эту ваканцию найдется, а мы по вольному свету покружимся, пока Бог грехам терпит, — рассуждал он, ухмыляясь.

— Ну, коли так, так лады! — порешил Фомушка, и ладони их соединились.

— Майора Спицу знаешь? — продолжал он уже интимным тоном. — Этот самый майор, значит, первый ему друг и приятель… От него мы всю подноготную вызнаем насчет нашего клею.

— Как, и ему тырбанить?[193] — с неудовольствием насупился Гречка. Он уже считал деньги Морденки в некотором роде своею законною собственностью.

Фомушка свистнул и показал шиш.

— Нас с тобой мать родная дураками рожала? — возразил он. — Больно жирно будет всякому сдуру тырбанить — этак, гляди, и к дяде на поруки до дела попадешь[194]. А мы вот как: *у херова* дочиста вызнаем, потому как он *запивохин*[195], так мы ему только селяночку да штоф померанцевой горькой — и готово.

— *Ходит!* — согласился и одобрил Гречка. — А где же поймать-то его? — домекнулся он. — Надо бы *работить*[196] поживее.

— В секунт будет! — с убеждением уверил блаженный. — Он, значит, *осюшник*[197] на косушку сгребал, за младенцев заручился — и теперича нигде ему нельзя быть, окромя как на Сухаревке.

— Стало быть, махаем, — предложил Гречка.

— Махаем! — охотно согласился Фомушка, и два новых друга немедленно же удалились

из Полторацкого.

IV
СУХАРЕВКА

Высокая надворная стена четырехэтажного дома, который с уличного фасада смотрит еще несколько сносно, представляла почти невозможное и весьма опасное явление. Человеку свежему и непривычному трудно было бы взглянуть без невольного ужаса на этот угол, выходящий на первый из многочисленных и лабиринтообразных дворов Вяземского дома. Представьте себе этот угол, образуемый двумя громадными каменными стенами, который дал трещины во всю вышину четырехэтажного здания, и, вследствие этих трещин, вы видите, как покоробило эти две соприкасающиеся стены, как одна из них выдалась вперед, наружу — цемент не выдержал, и связь между кирпичами двух соседок порвалась, — того и гляди, что в один прекрасный час вся эта гниль, вся эта насквозь пробрюзгшая стена рухнет на вашу голову. Она и то разрушалась себе понемножку. Штукатурка

давным-давно отстала и почти вся отвалилась. Нет-нет да, гляди, упадет откуда-нибудь новый кусище, обнаружа после себя неопределенного цвета кирпичи, которые, словно червь, источила и проела насквозь прелая сырость. Вместе со штукатуркой валится иногда и гнилой кирпичик. В крепкие морозы вся стена бывает покрыта слоем льда, а в оттепели — извилистыми потеками воды, которую источают из себя эти самые кирпичи до новой заморози. И вот к этой-то стене прилажена снаружи каменная лестница, более удобная для увеселительного спуска на салазках, чем для всхода естественным способом, ибо вся была покрыта толстым слоем намерзлой и никогда не соскабливаемой грязи. Лестница эта, примыкавшая левою стороною к стене, с правой стороны своей не была защищена никакими перилами, а вела она довольно крутым подъемом во второй этаж этого огромного дома, так что в темную ночь, в особенности хмельному человеку, не было ничего мудреного поскользнуться или взять немного в сторону, для того чтобы неожиданно грохнуться вниз и размозжить себе голову о камни. Но,

несмотря на это видимое неудобство, по головоломной лестнице то и дело спускались и поднимались разные народы во всякое время дня и ночи. Лестница оканчивалась наверху узенькой и точно так же ничем не огороженной площадкой перед входною дверью, которая вела на коридор, в благодатную Сухаревку.

Гниль и промозглая брюзгость — вот два необходимые и притом единственные эпитеты, которыми можно характеризовать и все и вся этой части Вяземского дома. Прелая кислятина и здесь является необходимым суррогатом воздуха, как и во всех подобных местах, куда струя воздуха свежего, неиспорченного, кажись, не проникала еще от самого начала существования этих приютов. Некрашеные полы точно так же давно уже прогнили, и половицы в иных местах раздались настолько, что образовали щели, в которых могла бы весьма успешно застрянуть нога взрослого человека, а уж ребенка и подавно. Ходить по этим полам тоже надобно умеючи, ибо доски столь много покоробились, покривились, иные вдались внутрь, иные выпятились на-

ружу, что на каждом шагу являли собою капканы и спотычки каждому проходящему неофиту. Грязные, дырявые лохмотья и клочья какой-то материи заменяли собою занавески на окнах, а эти последние отличались такою закоптелостью, что в самый яркий солнечный день тускло могли пропускать самое незначительное количество света; по этой-то причине мутный полумрак вечно господствовал в Сухаревке. Рваные, поотставшие и засырелые обои неопрятными полотнищами висели по стенам в самом неуклюже-безобразном виде. Вся остальная обстановка со всеми харчевенными атрибутами как нельзя более гармонично соответствовала этим обоям, полам и занавескам.

В средней, то есть наиболее чистой, комнате — если только можно применить к ней слово «чистая», ибо и тут стояла полуразрушенная, почернелая от копоти и сажи голландская печь, — восседали две личности, уже несколько известные читателю. Это были майор Спица и Иван Иванович Зеленьков, сохранивший еще доселе свой «приличный костюмчик» и неизменно холуйственную фи-

зиономию. Оба знакомца разговаривали о чем-то, как видно было, весьма по душе. Майор взирал на Ивана Ивановича милостивым оком веселого Юпитера, ибо Иван Иванович угощал майора пивом.

— Доброму соседу на беседу! — подойдя к столу вместе с Гречкой, сказал Фомушка, обратившись к майору. — Примешь, что ль, в компанию, ваше высокоблагородие? Штоф померанцевой поставлю, потому сказано: ныне увеселимся духом своим.

Сладостное известие о померанцевой подействовало, как и надо было ожидать, достодолжным, то есть самым благоприятным, образом. Фомушка с Гречкой присоединились к обществу майора. Две-три рюмки еще более умаслили надменно-свиные глазки господина Спицы и развязали ему язык. Он стал уверять Фомушку в своей истинной любви и дружестве.

— А ведь мы двурушника-то побьем — вот те кол, а не свечка, коли не побьем! — сказал между прочим Фомушка, ударив кулаком по столу...

Гречка притворился, будто не знает, о ком

и о чем заводит речи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этот двурушник. Фомушка сообщил. Зеленьков очень изумился.

— Как?.. Так неужто он милостыню сбирает? — воскликнул он.

— А ты его знаешь? — вопросил блаженный, который имел привычку тыкать всем и каждому без разбору.

— Оченно даже, можно сказать, коротко, — амбициозно заметил Иван Иванович, несколько задетый этим тыканьем.

Фомушка налил ему рюмку. Амбиция господина Зеленькова смягчилась: он почувствовал даже некоторую всепрощающую теплоту относительно Фомушки.

— Знаком, стало быть? — в виде пояснения спрашивал последний.

— Личным пользуюсь... комиссии всякие справлял, как, значит, закладывать поручали господишки разные.

— К самому, стало быть, хаживал?

— Хаживал, и на фатере бывал; а живет он мерзостно — скупость-то что значит!

— Большую фатеру держит?

— Три комнаты да кухня.

— Бобылем живет али есть кто при нем?

— Окроме куфарки — никого; две персоны, стало быть; да сын иногда захаживает.

Фомушка слегка толкнул Гречку. Тот как бы невзначай крякнул: «Смекаем, мол». Но от зоркого глаза Ивана Ивановича это незаметное движение не ускользнуло. «Что-нибудь да неспроста», — сообразил он мысленно и покосился на Спицу, но захмелевший майор очень благодушно почивал, откинувшись на спинку стула.

— А недурно бы эдак тово... запустить лапу в сундучок к Морденке-то? Кабы добрый человек нашелся! — прицмокнув языком, схитрил Иван Иванович, не относясь собственно ни к кому из присутствующих.

— Соблазн! — со вздохом и столь же безотносительно откликнулся Фомушка.

Гречка ни словом, ни знаком не выразил своего участия в мысли Зеленькова; он только сдвинул свои брови да понуро потупился.

Прошла минута размышления.

— А где он живет? — неожиданно спросил блаженный. Зеленьков быстро, но присталь-

но вскинул на него сообразительный взгляд.

— Н... не знаю, право, где теперь... давно уже не был... не знаю... Слыхал, что переехал, — нехотя отвечал он каким-то сонливо-апатическим тоном и для пущей натуральности даже зевнул.

Фомушка опять толкнул локтем своего соседа и наполнил рюмки.

— Это вы для меня-с? Чувствительнейше благодарен и на том угощении, — отказался Иван Иванович, решась быть осторожнее.

— Да ты пей, милый человек... будем мы с тобою други называться, — убеждал нищий, насильно тыча ему расплесканную рюмку.

— Душа меру знает... Как перед Богом — не могу, — вежливо расшаркался Зеленьков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть обшлагом свою пуховую шляпу.

— Ну, была бы честь предложена — от убытку Бог избавил, — полуобидчиво заключил блаженный и с размаху хлобыстнул одну за другой обе рюмки.

Иван Иванович окончательно расшаркался и отошел к китайскому бильярду, именуемому во всех заведениях этого рода «биксом».

— А ведь *мухортик-то*[198] — штука, — вполголоса отнесся блаженный к своему товарищу. — Смекалку, ишь ты, как живо распространил… Из каких он?

— Надо полагать, из *алешек*[199], — сказал Гречка.

— А может быть, из *жоржей*[200].

— Гм… Может, и оно! Я его кой-когда встречал-таки… Коли из жоржей, так, стало быть, *на особняка идет*[201], — размышлял Гречка.

— А мы его, милый человек, *захороводим*[202], потому — польза.

Гречка подумал и согласился на это предложение. Фомушка пожелал поверить свои соображения и узнать обстоятельнее, кто и что за птица сидевший с ними человек, для чего растолкал почивавшего майора.

— Отменный человек, полированный человек, — хрипло пробормотал майор, пытаясь снова уснуть безмятежно. Остальные сведения, кое-как добытые от него Фомушкой, заключались в фамилии Ивана Ивановича да в том, что Иван Иванович — человек, нигде не служащий, а занимающийся разными комиссиями.

— Дело на руку, — решили товарищи и отправились к Зеленькову с бесцеремонным предложением насчет Морденкиных сундуков, основываясь на его же мнении, что недурно бы запустить туда лапу.

Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстрелянных воробьев для человека, не знакомого с нравами и бытом людей этого разряда, может показаться более чем странным. А между тем, невзирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсем детскою, поражающею наивностью. Но в этом случае не совсем-то наивность и опрометчивость руководили поступком двух приятелей. «Он нас не знает, мы его не знаем; деньги нужны всякому — никто себе не враг; а попадется да проболтается — знать не знаем, ведать не ведаем; и с поличным люди попадаются, да вывертываются благодаря *незнайке,* так и мы авось увернемся. Бог милостив». Таким или почти таким образом формулируются соображения мошенников в обстоятельствах, подобных настоящему. Убеждение, что смелость города берет, и возможность отпе-

реться и не сознаваться при самых очевидных уликах помогают им сходиться для общего дела с людьми, почти им незнакомыми, но в которых они провидят известную дозу существенной пользы.

Иван Иванович, никак не ждавший столь прямого подхода, сначала было опешил, даже перетрухнул немного: «Что-то вы, господа, какие шутки шутите?» Потом, видя, что товарищи отнюдь не шутят, а очень серьезно и обстоятельно предлагают ему весьма выгодную сделку, Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумье: «Быть или не быть?» — решал он сам с собою.

— Ты, милый человек, не бойсь, ты только подвод сделай, укажи да расскажи, а делопроизводством другие заниматься станут. Наше дело с тобой — сторона; мы, знай, только деньгу получай, а черную работу подмастерья сварганят, — убеждал блаженный.

— Они в деле, они и в ответе, — пояснил Гречка. Иван Иванович колебался. «Хорошее дело — деньги, а хороший куш и того лучше; брючки бы новые сделать, фрачок, жилетку лохматую, при часах с цепочкой, и вообще

всю приличную пару... пальто с искрой пустить, кольцо с брильянтом. В Екатерингоф поехать... вина пить... Хорошо, черт возьми, все это! А попадешься? Что ж такое — попадешься? Дураки попадаются, а умный человек никогда не должон даже этого подумать себе, не токмо что допустить себя до эдакова поношения, можно сказать!»

Такие-то соображения и картины относительно разных удовольствий и костюмов молнией мелькали в голове Зеленькова.

— Кабы мы тебя на убивство подбивали, ну, ты тогда не ходи; а то мы не убивать же хотим человека, а только деньжат перехватить малость, стало быть, тут греха на душу нет, — убеждал блаженный.

«И в самом деле, — согласился мысленно Иван Иванович, — ведь украсть — не убить! А в эфтим деле кто Богу не грешен, царю не виноват?»

— Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питаяйся, — продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обыкновенно очень умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство, — ну, тогда

бы посягнуть точно что грех: у нища и убога сиротское отъяти. А ведь он, аспид, кровопийца, неправым стяжанием владает; а в писании что сказано? Лихоимцы, сребролюбцы, закладчики — в геенну огненную! Вот ты и суди тут!.. Ведь он не сегодня-завтра помрет — с собой не возьмет, все здесь же оставит волкам на расхищение — так не все ль одна штука выходит? Лучше же пущай нам, чем другим, достается.

— Это точно что, это вы правильно, — мотнув головой, поддакивал Иван Иванович и в конце концов дал свое согласие на дело. Перед ним еще ярче, еще привлекательнее замелькали разные брючки, фрачки и тому подобные изящные предметы.

V
ПАТРИАРХ МАЗОВ

В это время мимо вновь созданного триумвирата прошел самоуверенно-тихою и степенно-важною поступью благообразный маститый старик в долгополом кафтане тонкого синего сукна. Видно было человека зажиточного, солидного, который знает себе цену и умеет держаться с ненарушимым достоинством. Этот высокий лысый лоб, на который падала вьющаяся прядка мягких серебристых волос, эти умные и проницательные глаза, широкая и длинная борода, столь же седая, как и волосы, наконец, строгий и в то же время благодушный лик придавали ему какой-то библейский характер — кажись, так бы взять да и писать с него Моисея, какого-нибудь пророка или апостола. При появлении его некоторые из присутствующих почтительно встали и поклонились. Старик ответствовал тоже поклоном, молчаливым и благодушным.

— А, патриарх!.. Се патриарх грядет, — воскликнул Фомушка и, скорчив умильную ро-

жу, с ужимками подошел к нему, заградив собою дорогу.

Старик приостановился и медленно поднял на него свои полуопущенные взоры.

— Что чертомелишь-то, кощун! дурень! — тихо сказал старик внушительным тоном и строго сдвинул свои седые, умные брови.

— Потому нельзя, никак нельзя иначе, — оправдывался нищий.

Старик более не удостоил блаженного никаким словом, но слегка отстранил его рукою и прошел в смежную комнату, откуда сквозь затворенную дверь слышна была циническая песня, которую горланили около десятка детских голосов.

— Ваше степенство! Пров Викулыч! не откажи в совете благом — дело есть, — остановил его в дверях вновь подскочивший Фомушка и подал знак своим двум товарищам, чтобы те следовали за ним в смежную комнату.

В этом высоком, сановитом старике читатель может узнать старого знакомого — ершовского буфетчика. Пров Викулыч, по всей справедливости, мог носить титул патриарха

мазов[203]. Несколько лет назад он оставил свою буфетческую должность и «отошел на покой». Известно было, что он сколотил себе весьма изрядный капиталец; но где и как хранились его деньги — того никто не ведал. Он, будучи одиноким человеком, занимал со своею кухаркою небольшую, но опрятную квартиру в одном из соседних домов, и главным украшением жилища его служило «Божие милосердие» в серебряных окладах, с вербными херувимами, страстными свечами, фарфоровыми яйцами и неугасимой лампадой. На полке присутствовали избранные книги, служившие постоянным и любимым чтением хозяину. Тут были святцы, Четьи-Минеи в корешковых переплетах с застежками и два тома из Свода законов — десятый и пятнадцатый. Пров Викулыч был отменный начетчик, искусный диспутант и великий юрист. Он с полным убеждением и верою исполнял обряды религии, очень усердно посещал в каждый праздник храм Божий, соблюдал среды и пятницы и все посты, а говел четырежды в год неукоснительно. И это — по чистой совести — никто из знавших его не мог бы на-

звать фарисейским лицемерием: все сие творил он по внутренним побуждениям совершенно искренно. Великим грешником также себя не считал, ибо в жизнь свою не сотворил ничего против заповедей «не убий» и «не укради»; а перекупку заведомо краденых вещей, которую с переменою звания совсем оставил, он не почитал подходящею под осьмую заповедь, тем более что все стяжание свое намеревался по смерти завещать в разные монастыри, буде сам не успеет принять сан монашеский, о чем всегда любил мечтать с особенной усладой душевной. Любимым занятием Прова Викулыча были религиозные препирания с раскольниками; здесь он входил в истинный, даже ожесточенный пафос, особенно когда мог побивать противника на основании текстов Писания. Капитала своего Пров Викулыч не трогал, а жил, так сказать, на общественном иждивении. Мы уже сказали, что он был великий юрист. Всевозможные статьи, параграфы и пункты, особенно пятнадцатого тома, были знакомы ему в совершенстве. Знанием всей казуистики, всех ходов и закорючек полицейских и судебных мест вла-

дел он с замечательною прозорливостью. Но «хождений по делам» и стряпчества Пров Викулыч на себя не принимал. Он обучал только приходящих к нему за советом мошенников. Если который из них попадался под следствие — учил всевозможным отводам, указывал тайные лазейки и все те пункты закона, которые хотя мало-мальски могли послужить в пользу подсудимого. Следуя словам Писания, которое повелевает посещать в темнице заключенных, он навещал иногда знакомых арестантов для осведомления о ходе их дел и подачи благих советов. Если арестанту хотелось на поруки, Пров Викулыч, как личность ни в чем зазорном не замеченная и под судом и следствием не состоящая, являлся поручителем, даже деньги свои давал иногда в долг, когда подсудимый мог отделаться взяткою, а наличных не имел. И, кажется, не было примера, чтобы деньги эти впоследствии ему не возвращались. Если задумывалось какое-нибудь ловкое, сложное и рискованное предприятие, знакомые мошенники почти всегда предварительно шли к нему за советом. Пров Викулыч сметливым оком своим соображал и

обдумывал дело, давал опытный и умный совет, как ловчее, тоньше и безопаснее его обделать, приводил закорючки и пункты, которые могут служить и pro, и contra[204] в данном случае, и как скоро предприятие удавалось — получал свою долю благодарности. Таким-то способом и жил он на общественном иждивении. Крайне осторожный и осмотрительный, он сохранил себе официально «честное имя» и был твердо уверен, что никогда и ни в чем не попадется. Если б вы назвали его мошенником, он бы до глубины души оскорбился, ибо с полным убеждением почитал себя честным человеком и истинным христианином. «Возлюби ближния своя», — неоднократно повторял он, как свое нравственное убеждение, и на этом основании помогал мошенникам, раздавал нищим милостыню. Жоржи чтили в нем истинного своего благодетеля и называли патриархом мазов.

Мое тело — тело бело
Разгуляться захотело... —

отхватывали сиплые детские голосенки в отдельной, непроходной комнате, когда за по-

рог ее ступили Пров Викулыч и компания Фомушки.

Опрокинутые стулья, чайный прибор, пивные бутылки и водка служили признаками оргии, происходившей в этом уголке. С десяток мальчишек, от десяти— до пятнадцатилетнего возраста, в разнокалиберных костюмах, наполняли небольшую горницу. Некоторые из них были положительно пьяны. Посредине происходила пляска. Двенадцатилетний мальчик отхватывал вприсядку трепака перед женщиной, еще молодой и даже недурной когда-то, на которой, однако, уже неизгладимо лежало отталкивающее клеймо разврата. Ее испитое, горящее хмельным румянцем лицо вполне гармонировало с такими же испитыми лицами мальчишек. Подле танцующей пары ухарски восседал на табурете один взрослый и своими восклицаниями поощрял безобразную пляску.

— Цыц, вы, чертенята! Брысь под печку! — топнул на них Пров Викулыч. — У добрых людей пятница, а они срамные песни орут!

— Беса плясовицею и скаканием тешат! — промолвил от себя богобоязненный Фомушка.

Ребятишки немного притихли, взрослый почтительно привстал с табурета, плясунья удалилась за двери даже с некоторой робостью, потому что Пров Викулыч баб не любил.

— Что у вас за кагал тут жидовский? — несколько благосклоннее спросил он, с достоинством рассевшись на диване.

— А вот — *звонков*[205] обучаю... Хотите — икзамет можно сделать? — с улыбкой отозвался взрослый красивый парень лет двадцати пяти, в камлотовом пиджаке.

— Не «икзамет», а экзамен, слово греческое, — докторально-педантически и совсем уже благосклонно поправил патриарх, любивший иногда щегольнуть своим знанием и начитанностью.

Камлотовый пиджак, сознавая ученое превосходство патриарха, скромно ухмыльнулся и провел рукой под носом.

— Ну, делай, пожалуй; а я погляжу да вот с добрыми людьми покалякаю, — согласился старик, приглашая компанию Фомушки подсесть к дивану.

Фомушка «сделал уважение» ему рюмкой

мадеры, которою всегда эти господа угощают таких сановитых людей и которую очень любил Викулыч, хотя сначала и отказывался пригубить по случаю пятницы. Затем, представя ему Зеленькова, Фомушка вполголоса приступил к изложению задуманного дела с Морденкой, а камлотовый пиджак начал экзамен.

Он поставил табурет посредине комнаты и вынул из кармана ременный жгут.

— Вы, новички, слушай! — обратился он к трем мальчикам, из которых один, бледный, худощавый ребенок лет десяти, стоял позади всех у окна и не то со страхом, не то с удивлением глядел на все происходившее в этой комнате.

Видно было, что он дичился, что все это казалось ему странным и чем-то новым, невиданным.

— Слушай! — повторил камлотовый пиджак. — Вот Сенька будет у меня форточничать, а вы — чур! — глядеть да учиться! Когда, значит, пойдем на работу и случится при эфтим деле в форточку пролезть, так надо, чтоб было аккуратно и без шуму. А коли нашумим,

ребятки, так березовой каши в части похлебаем! Ну, Сенька, полезай! — скомандовал он плясавшему мальчишке. — Да гляди у меня, пострел: буде чуточку только сдвинешь табурет — жгут!

Сенька скинул сюртучонок и ловко полез между ножками и нижней перекладиной табурета. Камлотовый пиджак — жгут наготове — в наблюдательной позе стал над мальчишкой.

Сдвинул.

Раздался удар по спине и крик, слившийся со смехом мальчишек.

— Ах ты, девчонка!.. Он еще голосить тут вздумал!

— Да ведь больно... не приноровишься сразу... — простонал со слезами на глазах пролаза, вскочив на ноги.

— Затем и бьют, чтоб было больно, — пояснил ментор. — Даст Бог, на Конной попадешься к Кирюшке в лапы — еще больнее будет — значит, с младости приучаться надо[206].

Мальчик, убежденный этим аргументом, полез опять и опять сдвинул на полвершка табуретку. Новый, еще сильнейший удар, но

на этот раз ни малейшего крика.

— Молодец!.. Валяй сызнова да делай начистоту! — ободряет ментор — и ученик его с изумительною ловкостью пролезает наконец между ножек — туда головой, а потом обратно ногами — ни на одну линию не сдвинув табуретки.

— Молодец, Сенька! ай да молодец! — восклицает ментор, приходя в истинный восторг. — Пошел, налей себе стакан водки в награду.

Пров Викулыч слушает Фомушку с компанией и в то же время, самодовольно поглаживая свою прекрасную бороду, с благоволивой улыбкой смотрит на искусство юного Сеньки. Одно только не совсем-то нравится ему: «Зачем мальчуга водку дует? потому пятница, и опять же нравственный ущерб, хотя, с другой стороны, трудно и не испивать в этаком положении». Так рассуждает Пров Викулыч, а камлотовый пиджак уж представляет на его благоусмотрение новые плоды своей ланкастерско-педагогической деятельности. Он сел на табурет, положил к себе в карман довольно узких панталон кошелек с деньгами и клик-

нул нового мальчишку.

— Начинаю! — сказал мальчишка и, немного засучив рукав, осторожно запустил пальцы в карман учителя. Через минуту он подал ему кошелек.

— Ну, брат, чистота!.. Вот уж подлинно, можно сказать, *золотая тырка*[207] — изумился ментор, — гляди-ко, черт, без *ошмалашу*[208], прямо полез да еще говорит: «начинаю», и хошь бы чуточку *трёкнул*[209]! И знаю ведь, что тащит, бестия, а хошь убей — ничего не слыхал!..

— Чисто! очень чисто! — похвалил Пров Викулыч, который успел уже выслушать план задуманного дела и дать надлежащий добрый совет, сущность которого читатели узнают в надлежащем месте.

— Первый хороший праздник, — сказал камлотовый пиджак молодому воришке, — я тебя беру с собой в Казанский. Это — словно бы уж и не жулик, а целый маз выходит. Пшел, собака, выпей водки!

— Клугин! — обратился Сенька к своему ментору. — Скажи Прову Викулычу, что мы нынче новичка привели.

Клугин вывел из толпы бледного ребенка в пестрядинном халате, того самого, который озирался на все с робким изумлением, и подвел его к патриарху.

— Как зовут? — отнесся к нему этот последний в том солидно-благодушественном тоне, как относятся обыкновенно законоучители ко вновь поступившим гимназистам.

— Миколкой, — чуть не задыхаясь, ответил мальчуган.

— Из мастеровых, надо полагать? — продолжал Викулыч, взглянув на его пестрядинный халатик.

— Сказывал, у сапожника в ученье жил, да убег от него третёва дни, — объяснил бойкий Сенька. — Мы нонче дрова таскать лазали и видим — в пустой конуре собачьей сидит кто-то... Смотрим, а это он... Ну, вытащили да и привели... Голодный был...

— Есть родители али сродственники какие? — допрашивал новичка Пров Викулыч.

Мальчик дрожал и готов был разрыдаться. Нижняя губа и подбородок его нервно трепетали — предвестие близких, но сдерживаемых слез.

— Не бойся, милый, отвечай... Мы худа не сделаем, — погладил его по головке Викулыч. — Есть, что ли, родители?

— Нету... никого... — с трудом ответил несколько ободренный мальчик.

— Кто ж тебя в ученье-то отдал?

— Господа отдали...

— Так... А зачем же ты убежал от хозяина?

— Бил меня... все бил... есть не давал.

— Как же он тебя бил-то?

Мальчик отстегнул халат и показал грудь, плечи и часть спины. Ременная шпандра оставила на них синяки полосами. Видно было, что эта хозяйская шпандра без разбору и долго и часто гуляла по его тщедушному телу: не успевали сглаживаться полосы старых побоев, как поперек их накипали новые синяки.

— За что же это он так? — продолжал Пров, покачав головою.

— За разное... Пьяный все больше... Молочник вот разбил... в лавочку долго бегал... клейстер переварил, — припоминал он причины побоев, а слезы не выдержали и покатились.

— Ну, не плачь, малец, не пускай нюни! —

утешал его старик, подымаясь с места и откланиваясь присутствующим. — Поживешь с нашими ребятами, поправишься, молодцом станешь.

— Хочешь водки? — предложил ему Клугин по уходе патриарха. — Хвати-ка стакан, веселее будешь.

Ребенок отнекивался.

— У! бабье какое! Учи его, ребята! лей ему в глотку! — скомандовал опытный педагог, и мальчишки разом накинулись на своего нового товарища, хватив его за голову и руки.

— Пей, а не то к хозяину сведу! — пострашал ментор, у которого одним из первоначальных педагогических приемов было систематическое приучание питомцев к пьянству, разврату и праздной жизни.

Угроза насчет хозяина подействовала сильно: несчастный мальчик, весь дрожа от наплыва столь разнородных ощущений, с отвращением проглотил большой стакан водки и без чувств повалился на пол.

— Ур-ра-а! — закричали мальчишки, — и через минуту опять появилась там испитая женщина, и опять раздавалась прежняя пес-

ня.

Таким-то вот образом из неиспорченного ребенка, которого разные хозяева ни за что ни про что истязали и морили голодом, как последнюю собаку, приуготовляется негодяй и воришка, а впоследствии, быть может, кандидат на каторжную работу, которого мы, в пылу благородного негодования и с утешительным сознанием своей собственной высокой честности, будем клеймить своим презрением, говоря, что поделом вору мука и что закон еще слишком снисходителен к подобным негодяям.

Я полагаю, что мы будем совершенно правы, сограждане! Не правда ли, и вы ведь полагаете то же?

VI
НИЩИЙ-БОГАЧ

На другой день за вечернею службой Морденко по-вчерашнему слонялся в притворе за спинами нищей братии и по-вчерашнему же двурушничал, с каким-то волчьим выражением в стеклянных глазах, которое появлялось у него постоянно при виде денег или какой бы то ни было добычи. Фомушка на сей раз не донимал его тычками. И однако, Морденко все-таки спустился с паперти раньше остальной нищей братии, преследуемый градом критических и обличительных замечаний со стороны косоглазого слюняя и баб-попрошаек. Угрюмо понурив голову, шел он в своем дрянном, развевающемся халатишке, направляясь к Средней Мещанской, где было его обиталище. Саженях в десяти расстояния за ним шагал высокий человек, ни на минуту не упуская из виду понурую фигуру старика.

У ворот грязно-желтого дома, того самого, где обитала Александра Пахомовна, мнимая тетушка Зеленькова, и где неисходно пахло

жестяною полудой, старик Морденко столкнулся с молодым человеком.

— Здравствуйте, папенька, — сказал этот последний тем болезненно несмелым голосом, который служит признаком скрытой нужды и подавляемого горя.

Неожиданность этих слов заставила вздрогнуть старика, погруженного в свои невеселые думы. Он исподлобья вскинул тусклые глаза на молодого человека и глухо спросил его ворчливо-недовольным тоном:

— Что тебе?.. Чего пришел, чего надо?..

— Я к вам... навестить хотел...

— Навестить... Зачем навещать?.. Не к чему навещать!.. Я человек больной, одинокий... веселого у меня мало!..

— Да ведь все ж... я сын вам... повидать хотелось...

— Повидать... а чего видать-то? Все такой же, как был! Небойсь, не позолотился... Участие, что ли, показывать?.. Зачем мне это?.. Разве я прошу?.. Не надо мне этого, ничего не надо!..

— Я к вам за делом...

— Да, да! знаем мы эти дела, знаем!.. Денег,

верно, надо?.. Нету у меня денег. Слышишь ли: нету!.. Сам без копейки сижу!.. Вот оно, участье-то ваше! Только из-за денег и участье, а по сердцу не жди.

У молодого человека сдержанно сорвался горький и тяжелый вздох.

— Хоть обогреться-то немного... позвольте, — сказал он, тщетно кутаясь в свое холодное, короткое пальтецо, и видно было, что ему тяжела, сильно тяжела эта просьба.

— Разве холодно?.. Мне так нисколько не холодно, — возразил старик, — и дома не топлено нынче... два дня не топлено.

— Ну, Бог с вами... Прощайте, — проговорил юноша и медленно пошел от старика, как человек, которому решительно все равно, куда бы ни идти, ибо впереди нет никакой цели.

Тень чего-то человеческого раздумчиво пробежала по бледно-желтому, неподвижному лицу Морденки.

— Иван!.. Эй, Ваня! вернися... Я уж, пожалуй, чаем тебя напою нынче, — сказал он вдогонку молодому человеку.

Тот машинально как-то повернулся назад

и прошел вслед за стариком в калитку грязно-желтого дома.

Высокий человек, неуклонно следовавший за Морденкой еще от самой паперти Спаса, сделал вид, будто рассеянно остановился у фонаря, а сам между тем слушал происходивший разговор и теперь вслед за вошедшими юркнул в ту же самую калитку.

В глубине грязного двора, в самом последнем углу, в который надо было пробираться через закоулок, образуемый дровяным сараем и грязной ямой, одиноко выходила темная лестница. Она вела во второй этаж каменного двухъярусного флигеля, где находилась квартира Морденки. Низ был занят под сараями и конюшней.

— Постой-ка... надо вынуть ключи, — сказал он, остановясь у входа, и достал из-за пазухи два ключа довольно крупных размеров, захвативши их в обе руки таким образом, чтобы они могли служить оружием для удара.

— Лестница темна, не ровен час, лихой человек попадется, — пробурчал Морденко и осторожно занес уже было ногу на ступеньку,

как вдруг опять остановился...

— Ступай-ка ты, Иван, лучше вперед... а я за тобою.

Молодой человек беспрекословно исполнил это желание подозрительного старика.

— Разве вы Христину отпустили? — спросил он, нащупывая ногами ступеньки.

— Нет, держу при себе... нельзя без человека; уходить со двора иной раз приходится, — пояснил Морденко, отыскивая на двери болт с висящим замком.

— Да где ж она у вас теперь-то?

— А я ее запираю в квартире, пока ухожу, — так-то вернее выходит, по крайности знаю, что не уйдет... А тебе-то что это так интересно? — вдруг спросил он подозрительно.

— Так. Вижу, что вы с ключами...

— То-то — так ли?.. У вас все «так»... А на свете «так» ничего не бывает.

Он отомкнул сначала висячий замок, а потом другим ключом отпер уже самую дверь и вошел с сыном в темную комнату, откуда пахнуло на них сыростью кладовой, где гниет всякая рухлядь.

Высокий человек, как кошка, неслышно

все крадучись за ними, вошел наконец в нижние сени, где плотно прижался к стене. Сюда долетел до него и последний разговор с сыном.

Растрепанная, заспанная женщина внесла в комнату сальный огарок.

— А ты зачем палила свечку? Я разве затем покупаю, чтобы она у тебя даром горела? — обратился к ней с выговором Морденко.

— Чего горела?.. Где она горела?.. И то впотьмах цельный вечер сидишь, — проворчала чухонка.

— А вот я удостоверюсь, вражья дочка, я вот тебя поймаю! Ты думаешь, у меня не замечено? Нет, брат, шалишь!..

И найдя на окне бумажную мерочку с отметиной, Морденко приложил ее к огарку; пришлась враз — и старик успокоился: Христина точно просидела в потемках.

— Поставь-ко самовар нам... обогреться хочу, — сказал он ей более дружелюбным тоном; но Христина не оказала к дружелюбию особенного расположения: это глуповатое, скотски-терпеливое существо пришло нако-

нец в некоторое негодование.

У Морденки люди обыкновенно не выживали более двух недель; одна только Христина как-то умудрялась выносить свою пытку уже в течение трех месяцев, да и у той начинало лопаться терпение. Она находилась чисто в плену, в заточении у Морденки. Уходя рано утром за провизией, он запирал ее на ключ в своей квартире. То же самое было, если шел куда-либо по делу или вечером в церковь, последнее в особенности хуже всего, так как он запрещал жечь свечку, и несчастная чухонка принуждена была сидеть в совершенной темноте часа два или три сряду. Вырваться и уйти от него было весьма затруднительно, потому что расчетливый старик отбирал обыкновенно паспорт и прятал его в потаенное, ему одному известное, место. Отходы прислуги совершались почти всегда со вмешательством полиции, которая вынуждала наконец Морденку к расчету и отдаче паспорта. Оставаясь один в своей квартире, он становился совершенным мучеником, сидел запершись на все замки, боялся, что кто-нибудь войдет и убьет его, еще больше боялся

отлучиться из дому, потому что, пожалуй, ворвутся без него лиходеи в безлюдную квартиру и оберут все дочиста. Тогда он сквозь форточку посылал дворника за майором Спицей, обитавшем в том же самом доме, и умолял найти ему какую-нибудь прислугу. Майор, старый однодомчанин с Морденкой, был, кажется, единственный человек, сохранивший к скупому аскету несколько благоприятные отношения в силу особого обстоятельства, о котором вскоре подробно узнает читатель. Майор обыкновенно брал на себя поручение Морденки и доставлял ему какую-нибудь старую Домну или Пелагею, чтобы эта недели через полторы сменилась, по майорскому же отысканию, какою-нибудь Матреной или Христиной.

Итак, Христина не оказала особенного расположения к дружелюбному тону Морденки.

— Чего тут самовар?.. Лучше печку затопить — третий день не топлена, — протестовала она, — крыс морозим в фатере... жить нельзя... пачпорт мой подавай сюда — уйду совсем!..

— Уйди, уйди; я погляжу, как ты уходить

станешь, — кивая головой, полемизировал Морденко.

— Думаешь, не знаю, куда ты в халатишке шатаешься? Христарадничать ходишь, милостыней побираешься!

— Дура, и видно, что дура! — возразил Морденко. — Побираюсь... ну, точно что побираюсь, так ведь это богоугодное и душеспасительное дело, потому — унижение приемлешь! Вот и ты — поругай побольше, а я со смирением выслушаю; тебе-то — мучение вечное, а мне — душе своей ко спасению.

Христина в кухне закопошилась с самоваром; Морденко ушел в другую горницу переодеться. Халат служил ему только для вечерних хождений на паперть Сенного Спаса; для дневного же выхода в люди или по делам старик имел костюм совершенно приличный, состоявший из синего сюртука старинного покроя, узких панталон и старинного же покроя пуховой шляпы с козырьком, какие лет пятнадцать тому назад можно еще было встретить на некоторых старикашках; зато костюм домашний, обыденный представлял нечто совсем оригинальное. В него-то именно облекся

Морденко в другой горнице. Это была грязная рубаха, заплатанное нижнее белье, больничные шлепанцы-туфли на босу ногу и какая-то порыжелая от времени шелковая женская мантилья — очевидно, из заложенных ему когда-то и невыкупленных вещей, — которая совершенно по-женски была накинута на его сутуловато-старческие плечи.

В комнате был страшный холод, пар от дыхания ходил густыми клубами, но старик оставался как-то нечувствителен к этому холоду, тогда как сын его, кутаясь в пальтишко, дрожал как в лихорадке; эта затхлая сырость пронимала гораздо хуже сырости уличной. Морденко вышел из другой комнаты с жестяным фонарем и переставил в него из подсвечника сальный огарок. Комната осталась в густом полумраке; по стенам легли радиусами три светлые полосы, на потолке тускло замигали пятнами несколько кружков — отсвет от дырочек на крышке фонаря.

— Так-то лучше, безопаснее, — заметил он, — а то, оборони Бог, заронится как-нибудь искра — пожар случится, все погорим... Что дрожишь-то? или тебе в самом деле холод-

но? — обратился он к сыну.

Тот, в затруднении, не ответил ни слова.

— Жаль, затопить нельзя: вчера только что топлена, а у меня правило — через день... регулярность люблю.

— Ан врешь, не вчера, а третьёводни! — оспорила его Христина из кухни.

— Ан врешь, вчера!

— Ан третьёводни!

— А побожись!

— Чего «божись» — сам без божбы знаешь!

— Врешь, меня не надуешь, у меня записано... Сейчас справку наведем, — говорил он, взяв с окна какую-то тетрадочку и просматривая по ней свои отметки. — А ведь и вправду третьёводни... ошибся... Ну, так, стало быть, затопим.

И он пошел к изразцовой печке.

Морденко, кроме кухни, которая служила и прихожею, занимал квартиру в три комнаты. Первая, в которой теперь находится он с сыном, служила приемной. Это была большая горница в три окошка, сырая, закоптелая и почти пустая. Посредине стояли стол да три стула; у окна — клетка с попугаем; по стене,

близ печки, сложено с полсажени сосновых дров. Дверь с висячим замком вела в смежную однооконную комнату, называвшуюся спальней; из этой смежной комнаты виднелась дверь в третью, замкнутая большими замками на двух железных болтах и запечатанная двумя печатями. Это была кладовая, где хранились заложенные вещи.

На столе появился наконец грязнейший зазеленелый самовар; Морденко насыпал в чайник каких-то трав из холщового мешочка.

— Чаю я не пью, — пояснил он при этом, — чай грудь сушит, а у меня вот настой хороший, из целебных, пользительных трав... летом сам собираю... оно немного терпко на вкус, зато для желудка здорово и греет тоже — никаких дров не нужно.

В печке между тем затрещали четыре полена, но сырые дрова не загорались, а только тлели и вскоре совсем потухли. Морденко воспользовался этим обстоятельством и поспешил закрыть трубу. Из печки повалил едкий дым. «Авось после чаю скорей уберется, как глаза-то заест», — подумал старик, взглянув сквозь свои круглые большие очки на за-

кашлявшегося сына. В нем как-то странно боролись человеческое чувство к своему ребенку и нелюбовь к обществу, желание отделаться поскорей от лишнего человека.

— Что дыму-то напустил?.. Зачем трубу закрываешь? Угар пойдет! — огрызлась на него Христина.

— Дура, молчи!.. Угар... что ж такое угар! Жар в комнате вреден для здоровья, а небольшой угар — ничего не значит, ибо комнаты большие — разойдется.

— Вот так-то и всегда!.. Эка жисть-то чертовская! — ворчала Христина, удаляясь в свою холодную кухню.

В это время что-то странное стукнуло в форточку, словно бы о стекло хлопнулись два птичьих крыла.

Морденко обернулся и как-то загадочно проговорил с улыбкой:

— А!.. прилетел!..

— Кто прилетел? — отозвался Ваня, покосясь на окошко.

— Он прилетел...

И с этими словами старик, кряхтя и кашляя, отворил форточку. В нее впорхнуло ка-

кое-то странное существо и, хлопая крыльями, уселось на плечо Морденки. В полумраке сначала никак нельзя было разглядеть, что это такое. Оно поднялось на воздух, с шумом описало несколько тяжелых кругов по комнате, шарыгая крыльями о стены, задело попугаячью клетку и снова уселось на плечо.

«Безносый», — неожиданно крякнул попугай, встрепенувшись на своем кольце.

Морденку очевидно утешило это восклицание.

— А ты не осуждай! — с улыбкой обратился он к попугаю в наставительном тоне. Птица, сидевшая у него на плече, продолжала хлопать крыльями и, как бы ласкаясь, вытягивала свою странную, необыкновенную голову, прикасаясь ею к шее старика. Вглядевшись в нее, можно было догадаться, что это голубь, у которого совершенно не имелось клюва: он был отбит или отрезан так ловко, что и следов его не осталось; торчал только один высунутый язык, и это придавало птичьей физиономии какой-то необыкновенно странный и даже неприятный характер.

— Это мои друзья, — говорил старик, качая

головой, — больше друзей у меня нет никого — только Попочка и Гулька... На улице птенцом нашел, сам воспитал, сам вскормил, а он теперь благодарность чувствует...

И старик подставил голубю наполненную какою-то мякотью чашку, в которую тот окунул свою бесклювую голову и таким образом кормился. Этот голубь вместе с попугаем гуляли прежде на воле по всем комнатам; но однажды между ними произошла баталия, и попугай откусил голубю клюв, так что этот уже поневоле должен был за дневным пропитанием прилетать к старику.

И эти три существа составляли между собою нечто целое, совершенно замкнутое в самом себе, изолированное от всего остального мира; даже полудикая Христина звучала между ними каким-то диссонансом, который, несмотря на свою дикость, все же таки хоть как-нибудь напоминал жизнь человеческую, ближе подходил к ней, чем эта странная троица. Голубь никогда не издавал воркованья, ниже какого звука, кроме хлопанья крыльев; попугай, напротив, был птица образованная и любил иногда по часу крякать целые фразы,

коим обучал его Морденко.

Временем старик начинал бояться даже свою Христину: чудилось ему, что она «злой умысел на него держит», и он запирался тогда на замок в свои комнаты, не имея в течение суток никакого сообщения с кухней. Впрочем, на ночь он и постоянно замыкался таким образом.

И вот тогда-то, оставаясь уже вполне принадлежащим своему особому миру, делаясь живым членом своей собственной семьи, помещался он обыкновенно в глубокое старинное кресло; голубь садился ему на плечо, попугай вертелся в клетке — и были тут свои ласки, шли свои интимные разговоры, начиналась своя собственная жизнь.

«Разорились мы с тобой, Морденко!» — пронзительно кричала птица из своего заточения.

— Разорились, попинька, совсем разорились! — со вздохом отвечал Морденко, гладя и целуя бесклювого Гульку. И голоса этих двух существ до такой степени походили друг на друга своею глухотою и хриплой дряхлостью, что трудно было отличить — который был по-

пугай, который Морденко; казалось, будто это говорит одно и то же лицо.

Человек, кажется, не может зачерстветь и одеревенеть до такой степени, чтобы не питать хотя сколько-нибудь *живого* чувства к *живому* существу. Часто человеконенавидцы привязываются к какой-нибудь собаке, кошке и т. п. Я слыхал об одном убийце, который «в тринадцати душах повинился да шесть за собою оставил». Этот человек, без малейшего содрогания клавший «голову на рукомойник» людям, то есть резавший и убивавший их, во время своего заключения «в секретной» до такой степени привязался к пауку, свившему свою ткань в углу над его изголовьем, что когда этого убийцу погнали по Владимирке — он затосковал и долго не мог забыть своего бессловесного, но живого сожителя по секретному нумеру. Одну из подобного рода странных привязанностей питал Морденко к двум своим птицам. Он совсем не любил сына; иногда только мелькали у него кое-какие проблески человеческого чувства к этому юноше, но и те мгновенно же угасали. Любил он только голубя да попугая; полюбил также под ста-

рость и деньги, к которым сперва был почти равнодушен. Но привязаться к ним заставило его одно исключительное обстоятельство.

Впрочем, здесь отнюдь не была любовь денег для денег, своего рода искусства для искусства, — нет, Морденко был лишен этой мании Кащея и Гарпагона. Он в деньгах видел только средство к достижению своей цели, но не самую цель.

Морденко во всю свою жизнь не мог позабыть одного оскорбления — пощечины князя Шадурского, полученной им в присутствии Татьяны Львовны — единственной женщины, в отношении которой у него шевельнулось когда-то нечто похожее на человеческое чувство, шевельнулось единственный раз в течение всей его жизни. В первую минуту он даже не понял этого оскорбления; в первую минуту он до того потерялся, до того струсил встречи со своим бывшим барином, что пощечина только ошеломила его и еще более обескуражила. Да и что мог он сделать? Ответить князю тем же? Такая мысль и в голову не могла прийти ошеломленному Морденке,

который очень хорошо еще помнил себя холопом, крепостным его сиятельства, облагодетельствованным его высокими милостями до звания управляющего.

Морденко все-таки был раб в душе и в минуту рокового столкновения постигал только то, что перед ним стоит сам его сиятельство.

Нравственное значение пощечины понял он позднее, когда все уже было покончено с князем, когда, переехав из княжеского дома на свою собственную квартиру, сделался уже вполне лицом самостоятельным. Тут только, в тишине да в уединении, вдумался он в смысл предшествовавших обстоятельств — и в душе его закипела вечная, непримиримая ненависть к Шадурскому. Это столкновение перевернуло вверх дном все планы, всю карьеру, всю судьбу Морденки, который сколотил себе на управительском месте некоторый капиталец, мечтал о мирном приумножении его, мечтал со временем взять за себя «образованную девицу дворянского происхождения», дочь коллежского асессора, стало быть, в некотором роде штаб-офицера. Самолюбие его рисовало уже привлекательные картины,

как разные «господа» будут приятельски жать ему руку, заискивать, приезжать на поклоны, потому что он будет человек богатый, денежный — капиталом ворочать станет, — как будет обходиться с ними «запанибрата», даже иногда, при случае, в некотором роде третировать этих «господ», он — бывший лакей, вольноотпущенный человек его сиятельства. Все это были сладкие, отрадные мечты, питавшие и поддерживавшие его самолюбие; а известно, что ни одно самолюбие не способно расширяться до таких безобразно громадных, невыносимых размеров, как самолюбие холопа, пробивающегося из своей колеи в денежное барство. Близкие отношения к княгине еще более возвысили его высокое мнение о себе. Хотя при посещении знакомых князя он и должен был почтительно подыматься с своего места и почтительно отвешивать им поклоны, чего те знакомые не всегда удостоивали и заметить, однако это не мешало самолюбивому хохлу тем более презирать их, мечтать о том, что, дескать, «поклонитесь нам когда-нибудь пониже», не мешало считать себя чем-то особенным, необыкновенным. Он при-

знавал только двух человек: себя да князя Шадурского, не упуская случая вставлять повсюду свою любимую фразу: «Мы с князем»; остальное же человечество втайне презирал и игнорировал, хотя и не осмеливался еще, по положению своему, высказывать это въяве. «Только бы капиталишку сколотить, а там уж я вам покажу себя!» — злобствовал он порою.

И вдруг все это здание, воздвигаемое им с таким примерным и долголетним терпением, с таким ловким тактом и осторожностью, рухнуло в одну минуту, от одного взмаха княжеской руки. Прощай мечты о панибратстве с господами, о всеобщем уважении и заискивании, о благородной и образованной девице! — все это растаяло, яко воск от лица огня, и от прежнего Морденки, управляющего и поверенного князя Шадурского, тайного любовника самой княгини Шадурской, остался ничтожный мещанинишко, вольноотпущенный человек Морденко. Вся прислуга, вся дворня княжеская, которую он держал в струне, которая лебезила перед ним, стараясь всячески угодить, и трепетала от одного его взгляда, ибо он мог сделать с каждым из них все, что

ему угодно, стоило только шепнуть самому князю, — теперь эта самая дворня знать его не хочет, шапки перед ним не ломает, с наглостью смотрит в глаза, подсмеивается, не упускает случая сделать какую-нибудь дерзость, насолить чем ни попало — с той самой минуты, как пронюхали, что он более не управляющий. Каждая последняя собака норовила теперь хоть как-нибудь облаять его, хоть чем-нибудь насолить ему за прежнее долготерпение и поклоны. Вся дворня ненавидела втайне этого деспота: не могла забыть и простить ему того, что он — «свой брат-холоп» — так вознесся над прежними своими сотоварищами. Да, много пережил Морденко в одни только сутки, с минуты роковой встречи! В волосах его с одной ночи появилось значительное количество седяков, лицо осунулось и похудело, и сам он весь осунулся, погнулся как-то. Ему неловко было поднять глаза, на людей взглянуть: боялся встретить ненависть и наглую насмешку.

В тот же день перебрался он на свою отдельную квартиру, в Среднюю Мещанскую улицу, где и поднесь проживает.

Он думал, что княгиня любит его. В прежнее еще время, являясь к ней иногда с докладами (не более как управляющий), умный и сметливый хохол понимал, в чем кроется суть настоящего дела: видя тоску одинокой, покинутой мужем женщины, замечая часто следы невысохших слез на ее глазах, он постиг, что у нее есть свое скрытое горе, причина которого кроется в ветреной невнимательности князя. Он понял, что эта женщина оскорблена — оскорблена в своем чувстве, в своей молодости, в своей потребности жить и любить. Ему стало жалко ее. Княгиня, проверяя отчеты, часто замечала остановившийся на ней сострадательно-симпатичный, грустный взгляд управляющего. Ей некому было высказаться, вылить свое горе, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить душу. Жаловаться родным или приятельницам — княгиня была слишком горда и слишком самолюбива для этого. Однажды только намекнула она матери своей о холодности мужа.

— Ну, что же, мой друг, это — пустяки! Кто из них не ветреничает? Они все такие, на это не надо обращать внимания... Старайся сама

чем-нибудь развлечься и не думай об этом.

Таков был ответ ее матери, после которого Татьяна Львовна закрыла для нее свою душу. Приятельницам своим, как мы говорили уже, она не решилась бы сказать из гордости и самолюбия. Раз как-то в ее присутствии одна из великосветских приятельниц открылась в подобной же холодности своего супруга другой, общей их приятельнице, и именно баронессе Дункельт.

— Милая, ты слишком хороша собой, чтобы сокрушаться о такой глупости, — отвечала баронесса. — Хорошенькой женщине стыдно даже и признаваться в этом: значит, она сама виновата, если не сумела удержать привязанности мужа. Смотри, как я, полегче на эти вещи: за тобой многие ухаживают в свете — выбирай и даже почаще переменяй своих друзей: право, будет недурно!

Татьяна Львовна, готовая уже было сочувственно протянуть руку оскорбленной приятельнице и сама рассказать ей свое такое же горе, прикусила язычок после практических слов баронессы Дункельт. Совету ее, однако, она не последовала по той причине, что о ба-

ронессе ходили весьма несомнительные слухи о том, как она ужинает по маскарадам, уезжает оттуда с посторонними мужчинами и даже посещает con amore[210] квартиры своих холостых друзей. Княгиня, как известно уже читателю, слишком уважала носимое ею имя, и потому в результате этого разговора для нее осталась прежняя замкнутость, прежнее одинокое, безраздельное горе.

Однажды нравственное состояние ее под гнетом этих мыслей и ощущений дошло до нервности почти истерической. Морденко явился со своими отчетами. В это утро она уже в третий раз замечала на себе его грустно-сочувственный взгляд.

Княгиня наконец вскинула на него свои пристальные глаза.

— Что вы на меня так смотрите, Морденко?

Управляющий вздрогнул, покраснел и смутился.

— Скажите же, зачем вы на меня так смотрите?..

— Извините, ваше сиятельство… я… я ничего… я…

— Вам жалко меня? — перебила она, взявши в обе свои ладони его мускулистую, красную руку.

Морденко опустил глаза. По этой жилистой руке пробегала нервная дрожь.

— Ну, скажите прямо, откровенно, вам жалко меня? — повторила она особенно мягко, и в голосе ее дрогнули тщетно сдерживаемые слезы. На глазах показались две крупные росинки.

— Да, жалко, ваше сиятельство, — с усилием пробормотал управляющий.

— Ах, жалейте меня!.. Меня никто не жалеет! — зарыдала она, бессознательно приникнув головою к своим рукам, которые все еще держали, не выпуская, пальцы Морденки. Эти пальцы увлажнились ее истерическими слезами.

— Вы у нас такая молодая... такая хорошая, — говорил управляющий, почтительно стоя перед княгиней.

Ему в самом деле было очень жутко и жалко ее в эту минуту.

— Хорошая я... Вы говорите: я хорошая, молодая? — подняла она опять на него свои гла-

за. — За что ж меня не любят?.. За что же он оставил меня?

— Бог не без милости, ваше сиятельство... Вы все-таки законная их супруга... не крушитесь! все же к вам вернутся, полюбят...

— Кто полюбит?.. Он?.. Пускай полюбит, да я-то уж не полюблю его!

— Зачем так говорить, ваше сиятельство?

— Нет, уж будет!.. довольно с меня! Я много молчала и терпела, а теперь не стану!..

— Да ведь этим не обратите сердца-то их к себе.

— И обращать не хочу!.. Я полюблю, Морденко, да только не его! Слышите ли вы — не его!

И она опять зарыдала истерическими слезами.

Это был последний пароксизм, последняя вспышка ее женского чувства к своему мужу. Он именно с этой минуты и мог бы вернуть к себе ее любовь, которая еще всецело принадлежала ему, все бы могло быть прощено и позабыто этою женщиною, если бы только он обратился к ней. Но... князь Дмитрий Платонович и не домекнулся о той глухой борьбе,

которая кипела в сердце его супруги. Она подождала, поглядела — видит, что ничто не берет, — оскорбление еще пуще засело в ее душу — да со злости сама и отдалась г-ну Морденке, единственному человеку, проявившему к ней участие...

Морденко думал, что она любит его. В голове хохла загвоздилась мысль, что отношения их могут продолжаться и после разрыва с князем. Этим он думал сначала мстить своему бывшему патрону и потому, перебравшись на новую квартиру, тотчас по городской почте уведомил княгиню о своем новом помещении. Татьяне Львовне это извещение послужило поводом только к разузнанию, где находится ребенок. Князь Шадурский, оставя его на время у акушерки, думал съездить туда сам с приказанием отправить его в воспитательный дом. Он хотел только обождать несколько дней, чтобы опять не столкнуться как-нибудь с княжной Чечевинской. В это время к Морденке подоспели письмо и деньги княгини, вследствие чего он и предупредил князя, взял ребенка и поместил его в другие частные руки. После этого уже все было

кончено между ним и княгиней. То маленькое чувство кровной аристократки к кровному плебею, которое затеплилось было в ее душе, разом угасло после полученной им пощечины. Быть может, оно бы могло еще продолжаться и впредь, ибо она ждала, она надеялась, что ее любовник ответит на оскорбление тем же самым ее мужу. Морденко вместо того струсил, согнулся — и с этой минуты она уже презирала его. Ей было стыдно перед собою за свою связь, за свое ошибочное мнение, будто он «достоин ее». Вторая пощечина князя сделала только то, что княгиня, оставшаяся верной супругой своему мужу до Морденки и немного было полюбившая самого Морденку, со злости вполне уже последовала теперь практическому совету баронессы Дункельт и стала дарить свою привязанность каждому, кто только мало-мальски имел честь понравиться ей. Этим она мстила своему мужу за все, чем он был не прав перед ней. Таковою мы уже видим ее в настоящее время — таковою и изображаем в нашем рассказе. Черты довольно непривлекательны; но прошу покорно каждого из вас безусловно обвинить

единственно только женщину в ее разврате — женщину, которая во время своей еще честной жизни видит добрый пример мужа, постоянно слышит добрые советы довольно легкого свойства, и эти советы дают ей все, начиная с родной матери и кончая приятельницами. Бросайте после этого в нее камень!

Окончательный разрыв с княгиней произвел на Морденку сильное впечатление. Это было для него первое и последнее разочарование. Он инстинктивно догадывался, что причиной разрыва должна непременно служить все та же проклятая пощечина. Злость его мучила, грызла, подступала к горлу и душила. Он заболел разлитием желчи. Сознавши раз, что все старое кончено, что к прежнему нет уже возврата, а виной всему случившемуся — одна только прихоть, каприз скучающей барыни, которая вдобавок не имеет к нему, «пострадавшему», ни малейшего чувства, — он возненавидел их всех до последней степени, на какую только способна душа человеческая. Паче всего вопияли мечты самолюбия о панибратстве с господами, о всеобщем почтении. С этими грезами тяжелее всего было рас-

статься.

Тогда Морденко вздумал мстить.

Но как мстить? Что может сделать он, ничтожный мещанин, темный вольноотпущенный, раздавленный холоп, что может сделать он его сиятельству князю Дмитрию Платоновнчу Шадурскому? Убить его? За это в Сибирь пойдешь, плети примешь, да и что это за мщение убийством? Хлопс человека — и все покончено мгновением! Нет, надо мстить так, чтобы он чувствовал, мучился, каялся, ненавидел бы, злился на себя до бешенства — и все-таки ничего бы с тобою поделать не мог. Надо, чтобы он почувствовал все то, что я теперь чувствую, — это вот будет месть так уж месть! Не то что убийство!

Морденко думал-думал и наконец выдумал.

Через несколько времени в полицейских ведомостях появилось объявление, гласившее, что в Средней Мещанской, дом такого-то, в квартире № 24, ссужаются деньги под залог золотых, серебряных и иных вещей. Заклады принимаются с восьми часов утра до двенадцати ночи.

VII
БЛАГОДЕТЕЛЬ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Этим объявлением Морденко вступил в новый фазис своей жизни, сопричтясь к многочисленному классу петербургских благодетелей рода человеческого.

Кто не знает этих благодетелей? Кому из петербуржцев хоть раз не приходилось иметь с ними дела? Не знаете их вы, баре, питающие себя у Дюссо и Мартена, содержащие Берт и Луиз; но не знаете потому, что у вас есть свои собственные, особые благодетели, благодеяния коих суть гораздо горче тех, что выпадают на долю люда мелкоплавающего. Впрочем, одно стоит другого. Все эти Бланы, Розенберги и Кохи — родные братья Беков, Карповичей, Алтуховых и прочих. Разница та, что первые ареной деятельности избрали почву элегантную, вторые — почву голода и холода, плача и скрежета зубного. Первые дают вам деньги под верное обеспечение на пять и даже на десять процентов в месяц, так

что за тысячу рублей вы через год уплатите две тысячи двести и все-таки будете благодарны Блану и Коху за его благодеяние. Вторые — под залог вещи, стоящей пятьдесят рублей, дадут вам пятнадцать, много двадцать и возьмут непременно уже по десяти процентов в месяц. Для первых обеспечение бывает двоякого рода: либо это собственность, дом, земля, фамильные драгоценности; либо очень скверная, в высшей степени безнравственная, воровская проделка, состоящая в том, что корнета, занимающего деньги, заставляют, sine qua non[211], подписываться на векселе ротмистром, несовершеннолетнего — совершеннолетним и т. п. Это по большей части делается с богатыми наследниками, после чего такой опрометчивый господчик совсем уже попадает в лапы ростовщика, который стращает его уголовной палатой, вопиет о подлоге, с наглостью изображает себя невинной, обманутой жертвой и тянет уже со своего клиента сумму, какая заблагорассудится. Бывали примеры, что за двадцать пять тысяч через три года отдавали сто, лишь бы выручить подложную подпись, которую заставля-

ли их делать в нетрезвом виде благодаря ростовщичьему завтраку с обильными возлияниями.

Обеспечение ростовщиков второй категории состоит исключительно из вещей. Доброму вору — все впору: неси к нему платье, мех, белье, золотую или серебряную вещицу — благодетель рода человеческого тотчас же примет, не обинуясь, оценит вещь сам, по собственному благоусмотрению, и выдаст ничтожную сумму, часто с вычетом «законных» десяти процентов за месяц вперед. Тут долгих сроков не бывает: месяц, полтора, много три, и затем — проститесь со своею вещицей навсегда, буде не выкупите в срок, определенный самим благодетелем. Разница между ростовщиками большой и малой руки та, что первые начинают дело с капиталом в двадцать пять тысяч, вторые — с тысячи, а иногда и того меньше. В результате через пять-шесть лет у первых оказывается уже капитал во сто, у вторых в десять тысяч. Уличного воришку, крадущего у вас из кармана платок или табакерку ради голода, вы считаете негодяем, подлежащим законному наказанию. Ро-

стовщику — вы любезно протягиваете руку, любезно разговариваете с ним, считаете его в самом деле благодетелем рода человеческого и, сами давая ему связывать себя по рукам и ногам, как бы говорите: «Ограбь меня, батюшка, будь благодетелем, обери вконец!» — и благодетель, стоящий вне закона, обирает вас, да и сам, не шутя, считает себя добродетельным и нравственным человеком, ибо он помощь вам оказывает, Богу молится, храм Господень по праздникам посещает и душу свою питает назидательным чтением Библии и книг высокого, духовно-нравственного содержания.

У Морденки было сколочено пятнадцать тысяч капиталу. Но, на первый раз, он начал дело только с тремя. Через год у него было до шести, еще через год — до десяти. Легко составляется состояние ростовщика, но трудно дойти до такого состояния, и не всякий может, ибо для этого надо родиться. Морденко, может быть, и не был рожден с ростовщичьими наклонностями, но сделался самым злейшим из петербургских ростовщиков, квинтэс-

сенцией этого благодеющего мира. Больше сухости и бессердечия, более эгоистической преданности своим интересам, в жертву которым приносилось все, вряд ли можно бы было встретить. Ни малейшего человеческого движения, ни малейшего сострадания к своему должнику — один только расчет, расчет и расчет.

Как же, однако, совершается с человеком такая резкая метаморфоза?

А вот как.

После появления в полицейской газете известного объявления о принятии в заклад различных вещей Морденко несколько успокоился. Цель его новой жизни была уже определена, верный план мести за пощечину рассчитан как нельзя лучше. Время должно было привести его в исполнение. Перед этой задачей своей жизни все остальное попятилось назад на последнюю ступень, все это принималось Морденкой потолику, поколику могло служить его главной цели, быть подходящим для его главного интереса. Как дрогнуло его сердце, когда у дверей квартиры его раздался первый звонок, возвестивший о первой вещи,

принесенной ему в заклад! Он вышел в приемную; там печально стояла красивая женщина, одетая очень бедно. Лицо ее показалось даже как будто несколько знакомым ему. От всей фигуры ее веяло скромным, благородным достоинством, по лицу же нетрудно было разгадать, что на душе ее лежит какое-то большое горе.

— Вы публиковали, что принимаете вещи в заклад, — начала она, поклонясь Морденке.

— Так точно, сударыня, принимаем...

Она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел массивной работы золотой крестик, и подала ее ростовщику. Морденко внимательно осмотрел пробу, принес из другой комнаты маленькие весы, вроде аптекарских, и бросил вещь на одну чашку. Женщина не следила за всеми этими эволюциями: она сидела на стуле у окна, подперши ладонью подбородок, и неопределенно глядела во двор. Морденко мимоходом вскинул на нее несколько взоров. Лицо ее все более и более казалось ему знакомым; он старался припомнить, где и когда видел эту женщину.

— Я могу, сударыня, дать вам за эту вещь

двадцать пять рублей, — вежливо сказал он.

— Только двадцать пять?! — изумилась она. — Помилуйте, за нее ломбард даст семьдесят пять: она заплачена двести.

— В ломбарде сегодня не принимают: прием будет послезавтра; а больше дать не могу.

На глазах ее навернулись слезы.

— Бога ради, — сказала она дрогнувшим голосом. — Бога ради, дайте мне больше... Это все, что я имею... моя последняя вещь.

— Надо быть, фамильная? — заметил Морденко, взглянув исподлобья на женщину. Ему было жаль ее. Он уже подумывал: «Не дать ли в самом деле больше? Вещь она — тово... стоящая».

— Это... благословение моего отца... — с трудом наконец решилась выговорить женщина. — Мне она очень дорога, не хотелось бы потерять ее...

— Так вы лучше уж снесите ее в ломбард: сохраннее будет, — посоветовал он.

— Но ведь вы же сами говорите, что сегодня нет приему, а мне необходимо сегодня же... Бога ради, помогите мне!

Тот тон, которым сказаны были эти по-

следние слова, сильно шевельнул душу Морденки: он понял, что эта женщина стоит на страшном рубеже, что не помоги он ее нужде, ее голоду — быть может, завтра же она махнет рукою и пойдет на улицу продавать самое себя, свою красоту, свою молодость. Сердце его сжалось... «Дам-ка я ей без залога денег», — мелькнуло в его голове. Он уже запустил было руку в свой боковой карман, как вдруг брови его судорожно сжались и энергическое лицо передернулось нервным движением. «А моя цель, а мщение? — встал перед ним роковой вопрос. — К черту сострадание! Этак ведь допусти себя с первого разу, так потом и пойдет... Всех нищих ведь не наделишь копейкой!»

— Больше двадцати пяти рублей никак не могу, сударыня, — сухо поклонился он.

— Она не пропадет у вас? — решительно спросила женщина.

— Это будет зависеть от вас, — ответил он с прежнею сухостью.

Та стояла в решительном раздумье.

— Ну, нечего делать!.. давайте двадцать пять.

Морденко вынул из ящика две записные книги. В одну внес он число, месяц, год и сделал пометку: *«№ 1-й»*, причем рука его нервно дрогнула. «Первый нумер! сколько-то их будет потом?.. Благослови, Господи, начало!» — подумал он в эту минуту. Затем обозначил название вещи и сумму — «25 р. с.».

— Пишите расписку, сударыня, — предложил он, подав другую книгу и обмакнув в чернило перо.

— Что же нужно писать? — спросила женщина.

— Я вам сейчас продиктую... Пишите: «Такого-то года, такого-то числа и месяца я, нижеподписавшаяся, заложила господину Морденке собственно мне принадлежащую золотую цепочку, с золотым крестом, за двадцать семь рублей пятьдесят копеек». Пишите прописью, сударыня, словами, а не цифрами.

— Как за двадцать семь? Ведь я... за двадцать пять?.. — в замешательстве спросила женщина.

— А законные проценты, как вы полагаете? — улыбнулся он. — Мне-то ведь жить чем-нибудь надобно?.. Без профиту нельзя-с.

Женщина поникла головой и опять опустила перо на бумагу.

— «За двадцать семь рублей пятьдесят копеек», — продолжал ростовщик своим казенным тоном. — Написали-с?

— Готово.

— Извольте продолжать, сударыня: «сроком на один месяц, по прошествии коего, буде не внесу в уплату вышеозначенной суммы, то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи...»

— Но... как же это так?.. Помилуйте! — изумленно вскинула она на него голову.

— «...То лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи», — докторально-методическим и сухим тоном повторил Морденко.

Женщина вздохнула и написала требуемое.

— Далее-с... «и обязуюсь нигде не искать судом на такие действия господина Морденки, признавая их, с своей стороны, совершенно правильными». Теперь выставьте, сударыня, внизу, в сторонке-с, год, число и час. Который час у нас теперь? — добавил он, взглянув

на карманные часы. — Без семнадцати минут одиннадцать. Итак, напишите-с: «десять часов и сорок три минуты пополуночи».

— Это для чего же? — спросила женщина.

— Для того-с, что как ежели через месяц явитесь в означенный срок с уплатой, то и вещицу свою получите, — объяснил ростовщик и подал своей клиентке несколько ассигнаций и несколько мелочи, присовокупив: — Перечтите-с!

— Вы ошиблись, — сказала та, пересчитав врученную ей сумму.

— Никак нет-с, сударыня, я не могу ошибиться, — улыбнулся он, с несокрушимым сознанием полной своей непогрешимости.

— Но тут только двадцать два с полтиной?!

— Так точно-с: двадцать два с полтиной. Проценты за месяц вычтены вперед.

— Но ведь в расписке уже написаны проценты?

— То само собою, а это для верности, на тот конец, ежели вы не выкупите вещь — так за что же пропадать моему законному? Согласитесь сами!..

Женщина горько улыбнулась, Морденко

ответил тоже улыбкой, только самого ростовщически-любезного свойства.

— Теперь не угодно ли вам подписать свое имя, фамилию и звание, — предложил он.

Женщина, очевидно, пришла в большое затруднение. Она колебалась. Морденко опять подал ей обмокнутое перо.

— Зачем же это? — нерешительно спросила она.

— Помилуйте-с, как же это «зачем»? Ведь это документ... без того силы не имеет.

Женщина взяла перо, и Морденко стал следить за ее рукою. *«Княжна Анна Чечевинская»*, — прочел он и отшатнулся. Теперь он уже вспомнил, почему ее лицо показалось ему знакомым, и на губах его мелькнула злорадная улыбка. Морденко видел ее раза два у Шадурских и знал от Татьяны Львовны об отношениях Анны к своему патрону. «А!.. барская кровь!.. — подумал он с нервическою дрожью. — Это неспроста... Сам Бог помогает моей цели... Начало доброе!» И он в волнении стал ходить по комнате, не заметив даже, как княжна молча ему поклонилась и вышла за двери. Морденко был мнителен и суеверен. В

этой случайности он видел доброе предзнаменование, нечто таинственное, мистическое, и с этой минуты уже твердо дал себе клятву — до конца преследовать свои цели. Прошел месяц, княжна не явилась за выкупом, и цепочка навсегда осталась у Морденки, который хранил ее как первый памятник своей индустрии, как начало задуманной мести. Да, ему трудно было только начало, трудно было задавить только первый человеческий порыв своего сердца, а потом уж стало все легче и легче, так что через год, когда много уже довелось ему видеть в своей квартире и скорби, и нужды, и горя, и слез человеческих, сердце его было уже сухо и глухо, и сам он весь зачерствел, превратясь в какую-то ходячую железную машину, в автомата, выдающего деньги и принимающего заклады. Теперь уже ни один стон человеческий не в состоянии был дойти до его сердца, ни одна горькая слеза не могла прожечь черствую кору, под которой гнездилась только одна мысль, одно лихорадочное желание — отомстить его сиятельству князю Шадурскому.

Привычка — дело великое! Но паче всего и

легче всего можно привыкнуть к человеческому горю и страданию. В подобной школе человек скорее всего становится закоренелым циником. Так привык и Морденко к сценам, почти каждодневно повторявшимся у него в квартире.

Сына своего тотчас же по взятии от акушерки поместил он к майору Спице. Отсюда его знакомство с Петром Кузьмичом, который, имея свою специальную отрасль промышленности, дававшую ему кое-какой доходец, не приходил с Морденкой в столкновение по части ссуд и закладов, а потому оба сии мужа и состояли в бдагоприятельских отношениях. Они иногда навещали друг друга, но Морденко чаще захаживал к майору под предлогом взглянуть на сына, а в сущности, за тем, чтобы даром напиться чужого чаю. К сыну он был совсем равнодушен, даже втайне находил, что лучше бы было, если б мальчик поскорее протянул ноги: тогда по крайней мере за воспитание не платить бы и сумму, данную на этот конец княгиней, отчислить навеки к своему капиталу. Но мальчик жил, и — волей-неволей — приходилось его одевать,

обувать и платить за ученье. В отношении этого ребенка в сердце отца существовала какая-то странная двойственность: иногда пробивалась в нем теплота родительского чувства, голос крови, иногда же беспричинно переносил он на него свою ненависть к «барыне-матери», которая все-таки родила этого ребенка на свет, все-таки он *сын* ей приходился. Из этого источника и истекала его постоянная холодность.

Время шло — дни за днями, годы за годами, — капитал ростовщика накоплялся и принес уже плоды сторицею против своей первоначальной стоимости, а вместе с тем накоплялась и ненависть. Это уже было единственное живое существо, наполнившее собою, если можно так выразиться, весь организм старика. Вне этого чувства и вне задуманного плана для него ничего не существовало. Капитал его возрос уже до двухсот тысяч, а он, еженедельно сводя свои счеты, все еще бормотал своими старческими губами: «Мало... мало... мало...» — и все еще считал недостаточным для осуществления своей цели...

Это постоянное преследование одной и

той же мысли перешло у него наконец в род помешательства. Он никому никогда не высказывался в ней — и тем-то, стало быть, сильнее и глубже развивалась его idee fixe [212]. Под влиянием ее он состарился преждевременно, погнулся, высох, как мумия, пожелтел, как пергамент. По временам на него находил страх смерти, и он мучился, терзался и до исступления молился Богу, чтобы не послал ему смерти преждевременной, ранее окончания задуманной цели. Страшно бы было взглянуть тогда на эти сверкающие глаза и шевелящиеся губы посреди почти мертвенно неподвижного лица полоумного старичишки. Думая, что денег все еще мало и мало, он стал отказывать себе во всем, даже в необходимом — в пище, в одежде, в тепле и под конец сделался отчаянным скрягой, даже начал ходить по вечерам за христарадною милостынею, мечтая этими скудными грошами пополнить свой капитал.

В Петербурге есть несколько особого рода магазинчиков, приютившихся большею частию по подвальным этажам на улицу. В маленьких окнах этих магазинчиков вы можете

увидеть и хорошую картину, писанную масляными красками, и оружие в дорогой оправе, бронзу и хрусталь с севрским фарфором, женскую шляпу и мужской пиджак. Тут же лежит черешневый чубук рядом с отделанным в кружева зонтиком и биноклем, разбросаны всевозможные безделушки, вроде яшмовых пресс-папье, костяных точеных шахмат, малахитовых подсвечников и тому подобных вещей комфортабельного домашнего обихода. Войдите внутрь магазинчика (дверь обыкновенно с пронзительным колокольчиком), и вы увидите куски материй, лампы, статуэтки, блонды и кружева, меха и книги, женские платья, несколько стенных и столовых часов, мебель и даже цветы. Вы бы наверное не поняли, что это за сброд продается тут, если б не вывеска над входом. А вывеска эта обыкновенно гласит, что «здесь покупают, перепродают и берут на комиссию различные вещи», а иногда она ограничивается весьма остроумным и лаконическим: «продайте и купите». В эти-то магазинчики преимущественно сбывают ростовщики остающиеся у них за невыкупом вещи, которые иногда сбываются ими и в

другие руки — ювелирам, портным, меховщикам и тому подобным ремесленникам. Продается вещь всегда за цену вдвое или втрое больше той суммы, какая была отпущена под ее залог, и все-таки покупатель остается в барышах очень хороших.

Морденко все свои вещи точно так же сбывал в одну из подобных лавчонок, с хозяином которой вел дела уже в течение многих лет, и оба были как нельзя более довольны друг другом, ибо, при взаимной помощи, сильно приумножили капиталы свои.

Пятнадцать лет спустя после начала ростовщической деятельности в руках Морденки появилось несколько значительных векселей князя Шадурского. Долгие годы слишком роскошной жизни понизили кредит князя Дмитрия Платоновича. Многие заимодавцы его с некоторого времени стали весьма призадумываться в возможности получения с него всей суммы сполна со следуемыми процентами. Морденко, не переставший исподволь наблюдать за ходом денежных дел и обстоятельств своего ех-патрона, ловко воспользовался минутой раздумья этих заимодавцев и

понемножку стал скупать у них, по выгодной для себя цене, векселя князя. Дмитрий Платонович, узнав об этом, очень обеспокоился и послал к Морденке своего поверенного — проведать, с какою целью делается им эта скупка и что он намерен предпринять. Морденко, во всяком случае ожидавший со стороны князя подобных вопросов, принял на себя умильно-огорченный вид и с чувством видимого чистосердечия просил передать своему «благодетелю», что он не забыл, сколь много был взыскан, во время оно, княжескими милостями, благодаря которым имеет теперь некоторый капиталец; но что в жизни его было «некоторое обстоятельство», вследствие которого он сознает, что бесконечно виноват перед своим благодетелем и, чувствуя угрызения совести и искреннее раскаяние, желает хоть сколько-нибудь загладить свою прошлую вину.

— Скажите его сиятельству, пусть они не изволят беспокоиться, — говорил он поверенному. — Я взысканиями своими тревожить их не стану, а скупил бумажки эти по той собственно причине, как проведал я, что недоб-

рожелатели их сиятельства хотели бы потеснить моего благодетеля, — так пускай же лучше находятся бумажки эти в моих руках, чем причинят огорчение князю. Я с ними делать ничего не хочу.

Прошло более двух лет. Морденко действительно ничего не предпринимал против князя: он был спокоен, потому что векселя перед отходом в его руки уже протестовались прежними заимодавцами, стало быть, для него имелось впереди еще десять лет полного спокойствия. Не тревожился также и Щадурский, увидевший из двухлетнего бездействия своего бывшего управляющего подтверждение слов, сказанных им поверенному.

VIII
ИВАН ВЕРЕСОВ

Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать характеры людей, с детства потерявших отца и мать, выросших на чужих руках, в чужих людях, лишенных материнской ласки, заботы и влияния? В таких характерах, сообразно личному темпераменту, господствуют две резкие противоположности.

Сангвиник как-то спартански закаляется в этой суровой житейской школе. В нем развиваются сильный, стойкий, энергический характер, железная, непреклонная воля. К людям у него какое-то инстинктивное недоверие, иногда и некоторая мизантропия даже; он ни в чем на них не полагается, потому что верит только в себя и в свои силы. Он не согнется ни пред какой грозою и без протекций, без поддержки пробивает себе дорогу в жизни своим умом, своими боками. Такие люди — по преимуществу вечные борцы нашей жизни; им ничто не дается даром: каждый шаг, каждый глоток свободного воздуха они

должны отстаивать и брать себе с бою, должны завоевывать себе право жить. Из них, при счастливом направлении, часто выходят государственные мужи, полководцы, законодатели; ими же, при направлении неблагоприятном, укомплектовываются сибирские рудники и каторжные арестантские роты.

Лимфатик представляет явление совершенно противоположное. Мне сдается, что именно про него-то и была сложена пословица: «На бедного Макара все шишки валятся». Это — человек приниженный, робкий, забитый, никогда не смеющий гордо поднять свою голову, смело возвысить свой голос. Его удел — вечно терпеть, вечно томиться своим одиночеством и пассивно выносить суровые тычки людей и житейских обстоятельств. Все, что может выйти из него для жизни, — это честный труженик, который тихо и незаметно сойдет в могилу среди своих кропотливых и часто неблагодарных занятий. В нем, точно так же как и в первом, с младенчества засело недоверие к людям, даже боязнь людей, но сердце его всегда остается мягким, добрым, сострадательным. Первый для дости-

жения своей цели не задумается свалить десятки, сотни людей, чем-либо замедляющих его ход. Второй — даже мухи никогда не обидит. Он никогда и ни с чем не борется, как баран на заклание, подставляет свою безответную голову; протест его слаб, сокрыт в глубине его души и разве тем только иногда проявляется, что бедняга либо запьет себе мертвую, либо руки на себя наложит, но... никогда никому не выскажется. Сердце его часто полно любовию, хочется кому-нибудь протянуть свои братские объятия, и случается, что во всю его неприглядную жизнь никто не откликнется на эту любовь — так весь век и пройдет в тщетных исканиях. Это наши тихие, смирные обыденные люди, разыгрывающие в жизни плачевную роль библейского козла отпущения.

К этой последней категории принадлежит сын Морденки и княгини Шадурской — Иван Вересов.

Вскормлен он был у майора Спицы на соске да на коровьем молоке и, как известно уже читателю, с самой минуты своего рождения на свет лишен материнской ласки и заботы. У

майора имелись свои собственные дети, так что майорше и со своими пострелятами по горло было возни, а маленькому приемышу, по обыкновению, доставались первая колотушка и последний кусок. Ходил он кое-чем прикрытый от влияния стихий, вечно в обносках: старая рубашонка и старые башмачонки его сверстников для него сходили за новые, да и за то еще воспитательскую руку в благодарность целовать заставляли. Бывало, майорские пострелята нашумят, нашалят, разобьют что-нибудь — а первому все же Ваньке достается. Когда же подросли все они настолько, что мало-мальски смыслить стали, так и сами начали то щипком, то тычком ублажать своего сотоварища. Ребенок вечно чувствовал свое одиночество и с этих уже пор приучался видеть людскую неправду.

От отца тоже не видал ласки, потому если тот и придет к майору проведать своего сынишку и внести следуемую за воспитание сумму, так первым вопросом у него было: «Не шалит ли, постреленок? а буде шалит, так драть его, каналью, розгачами да дыхание слушать: жив — дери его снова!» Во всем этом

было очень мало утешительного — недоставало родной души, привязаться сердцем не к кому.

Раз как-то вздумал он приласкаться к отцу — тот поглядел с суровым удивлением: черты ребенка живо напоминали черты матери, — Морденку зло разобрало.

— Это что за нежности! С чего это? Притворяться, поди-ка, вздумал? Врешь, меня не надуешь! Садись-ка лучше за букварь! — проворчал он — и ребенок с этой минуты боялся уже подходить к нему.

Другой раз, возвращаясь домой, застал он его на дворе в слезах; остальные ребятишки дразнили своего сотоварища.

— Чего нюни распустил? — остановился Морденко.

Мальчик отнекивался.

— Ну, отвечай, не скрывайся!

Оказалось, что они его побили.

— А! побили? А ты не дерись, веди себя скромненько, не задирничай! Вот пойдем-ка к Петру Кузьмичу, пускай он тебя взъерепенит по-военному, для острастки, да и своих пострелят тоже, чтоб не дрались!

Но пострелятам ничего не досталось, а Ванюшку по уходе родителя точно взъерепенили на все четыре корки, потому — жаловаться не смей.

Другого бы все это ожесточало, а забитого Вересова только пуще запугивало да, как улитку, заставляло еще сильнее замыкаться в свою тесную раковинку.

Очень рано, между прочим, стал занимать его вопрос: почему это у других детей есть матери, а у него нет? отчего это нет? где она находится? зачем про нее никто никогда не упоминает? Однажды как-то он решился спросить об этом отца, в одну из редких минут его ласковости.

Отец тотчас же нахмурился и отвечал:

— У тебя не было матери.

— Как же это не было?.. У других есть ведь.

— То — другие, а то — ты!.. У тебя не было, и молчи, значит.

— Она умерла? — решился мальчик еще на один вопрос.

Морденко задумался, помолчал с минуту и отрывисто ответил:

— Умерла.

— Как же она умерла?.. отчего умерла?

— Молчать! — закричал он, стукнув кулаком по столу так, что мальчик, весь дрожа, в испуге отскочил от него на несколько шагов — и с тех пор расспросы о матери более уже не возобновлялись.

Однажды старик пришел к майору в особенно приятном расположении духа.

— Ну, Ваня, поди сюда! — обратился он к сыну. — Тебе теперь пошел десятый год, грамоте ты знаешь, каракули тоже строчишь кой-как — пора, брат, в науку. Отец вот за тебя ходи тут да клянчай, да кланяйся у начальства в прихожих, чтобы сынка на казенный счет приняли, а сынок, пожалуй, и не чувствует... А все зачем? — чтоб из тебя человек вышел, а не болваном бы вырос. Учись же, каналья, а станешь лениться — три шкуры спущу, заморю под лозанами!.. Ступай одевайся!

И, наградив сына родительским благословением, он тотчас же отвел его «в казну», где и сдал на попечение дежурного чиновника.

Этою «казною» было училище театральной дирекции.

Для Вересова началась новая эпоха, новая

жизнь, несколько лучшая в материальном отношении, но, в сущности, столько же неприглядная, как и прежде. Одели его в синюю курточку и повели пробовать голос; голосу не оказалось никакого, слуху тоже; вместо скрипичного ut Ваня издал звук, напоминающий скрип несмазанной двери; учитель выругался, класс откликнулся хохотом — и сконфуженного Ваню послали вон из учебной комнаты, с замечанием, что в хоры он совершенно негоден. Те же результаты были и в музыке, и в танцах. Наука *батманов* и всевозможных *па* оказалась решительно неприменимой к большому и вдобавок сильно застенчивому мальчику, который от нетерпеливых криков француза-учителя и смеха товарищей терялся уже окончательно, делаясь действительно смешным и жалким. Оставалась последняя надежда — на искусство драматическое. Спустя уже года четыре по вступлении в школу ему предстояло в первый раз выйти на подмостки домашнего школьного театра.

Готовил роль добросовестно, надеялся отличиться — и провалился. Как вышел на сцену да увидел блестящие первые ряды, как

услышал в последних рядах сдержанное хихиканье товарищей — так до того оробел и потерялся, что, смешавшись на первом же слове, стал истуканом и уже не произнес больше ни одного звука. Занавес тотчас же было велено опустить, учителю сделан строгий выговор, а Вересов отправлен в карцер для исправления. Насмешки удесятерились с этой злосчастной минуты и не прекращались до самого выпуска из заведения.

Это полное фиаско так подействовало на мальчика, что он заболел. Отец, дня через два придя в дирекцию узнать, каков был дебют, нашел сына в лазарете и страшно озлился.

— Ишь ты, барская кровь! неженка какой! — ворчал он, стоя перед его постелью. — Болеть умеешь, а трудиться нет!

Вересов ничего не отвечал ему на эти укоры и лежал, с головой укутавшись в байку. Отец постоял, плюнул и ушел; а между тем в голове сына гвоздем засели его слова — «барская кровь». Вспомнил он, что в детстве еще Морденко под сердитую минуту презрительно обзывал его иногда «барчонком» — и в душе мальчика тревожно возник прежний во-

прос: кто же наконец была его мать и отчего ему не говорят про нее? Почему фамилия отца — Морденко, а его — Вересов? И уж отец ли он ему?

Чем дальше вдумывался он во все эти вопросы, тем более терялся; по одним соображениям казалось, что Морденко точно его родной отец, даже некоторое фамильное сходство убеждало в этом; по другим — Вересов склонен был думать, что он не сын ему, что тут кроется какая-то тайна, загадка, которую тщетно силился он разгадать. Но ничего не узнал он ни до выхода, ни после выхода своего.

Выпустили его из школы, как неспособного, «*на выход*», то есть на бессловесные амплуа народа и гостей, и назначили четырнадцать с полтиной в месяц жалованья. На эту сумму надлежало ему жить: нанимать комнату, кормиться и «прилично одеваться».

Отец ни одной копейкой не помог ему при выпуске и жить к себе тоже не принял, так что Вересов первое время должен был ходить ночевать все в ту же театральную школу. Старый скряга ограничился одним только роди-

тельским наставлением, что «ты, мол, теперь взрослый человек, получаешь казенное жалованье, стало быть, приучайся жить аккуратнее и не ропщи. Уж если старшие положили тебе такое жалованье, значит, и с ним жить можно: я, мол, в твои лета и того не имел. Ступай себе с Богом, а от меня помощи не проси: я баловству не потворщик».

И стал себе Вересов с тех пор перебиваться из кулька в рогожку.

Был у него один только талант — рисовать и лепить, и он отдался ему с жаром, не пропускал ни одного класса в рисовальной школе, а у себя дома почти все свое время проводил над куском глины или за картоном. В этом искусстве видел он для себя единственный честный кусок хлеба, единственный исход из своего грустного положения. А положение в самом деле было донельзя грустное. Чтобы хоть как-нибудь хватало денег дотянуть до конца месяца, расплатиться с лавочником и квартирною хозяйкой, он принужден был работать на уличных продавцов гипсовых статуэток. Но знаете ли вы, как ничтожно оплачивается этот труд? Есть в Петер-

бурге несколько антрепренеров, из немцев и из наших православных, которые ведут торговлю гипсовыми вещицами. Всякий из них имеет двух-трех несчастных, закабаленных художников, да кроме того держит еще несколько ходебщиков, которые, шатаясь по городу, обязаны сбывать его товар покупателям. Каждая Венера или Нимфа, проданная за целковый, наверное была приобретена антрепренером за десять, много за пятнадцать копеек серебром. Мелкие же вещицы оплачиваются тремя, а иногда и одной копейкой. Но, несмотря на столь скудную плату, места у антрепренеров постоянно заняты охочими работниками, так что приходится еще добиваться постоянных заказов, и к каждому антрепренеру обыкновенно похаживают два-три голодных бедняка, в ожидании милостивого позволения брать постоянную помесячную работу, которая, в общей сложности, приносит труженику пять-шесть рублишек в месяц. Из-за этих-то вот пяти-шести рублишек и бился Иван Вересов.

В последнее время ему особенно круто пришлось. Жалованье в дирекции забрано

вперед; антрепренер требует вылепки каких-нибудь новых фигурок, потому что старые Венеры да Купидоны уже надоели; буде не выдумает новых, то совсем перестанет пользоваться заказами. Хозяйка тоже требует за квартиру, не топит печку и грозит выгнать, если не принесет хоть сколько-нибудь деньжишек. Вересов уже вторые сутки не обедал; его начинала бить лихорадка. Боязнь заболеть и через то окончательно лишиться заказов у антрепренера побудила его обратиться к одному товарищу по рисовальной школе. Товарищ, на беду, сам сидел без гроша, но, к счастью, пользовался обедом в кредит. Вересов, утолив кое-как свой двухсуточный голод, нашел у товарища целый портфель фотографических снимков с замечательнейших статуй европейских музеев. Издание было изящное и стоило порядочных денег, а к товарищу попало по случаю очень дешево. Разглядывая фотографии, Вересов схватился за возможность вылепить по ним новые группы и, вместе с этою счастливою мыслью, представилась ему перспектива получения денег и новых заказов от антрепренера. Он выпросил

себе у товарища на время, для работы, его дорогое издание и, уже совсем почти успокоенный, пошел было к себе домой, как вдруг вспомнил угрозу хозяйки выгнать его с квартиры и повернулся в обратную сторону.

«Без денег нечего и думать возвращаться. А хорошо бы теперь прямо засесть за работу — да как работать в холодной комнате и без свечи?» Размышляя таким образом, пошел к своему антрепренеру — но не застал его дома; значит, и эта надежда лопнула. Оставалось последнее и уже самое крайнее средство — попросить у отца.

Вересов долго не решался; но ведь не бродить же целую ночь по улицам в одном холодном пальтишке, и — нечего делать — он направился к Средней Мещанской.

Встреча его с Морденкой у ворот грязно-желтого дома уже известна читателю.

IX
ЧАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ

Едва успел старик налить себе стакан настою из целебных, пользительных трав, как в прихожей раздался стук в наружную дверь.

— Алчущие и жаждущие, — заметил он не без довольной улыбки.

Вошла бедно одетая женщина с лицом, истощенным заботою и нуждою.

— Чем могу служить? — произнес Морденко свою обычную в этих случаях фразу.

— Пришла вещь свою выкупить.

Лицо ростовщика приняло угрюмый оттенок: он очень не жаловал выкупов.

— Фамилия? — отрывисто спросил Морденко.

— Иванова.

— Что заложено?

— Кольцо обручальное.

— Это, матушка, не ответ. Мне надо знать какое: золотое или серебряное? У меня ведь не одна ваша вещь хранится, — внушительно

выговаривал он.

— Золотое, — сообщила женщина.

— Когда было заложено?

— Месяц назад.

— Ровно месяц?.. Стало быть, сегодня срок... Хорошо, поглядим, поищем, — говорил он, вынув из ящика большую конторскую книгу и отыскивая в ней нужную ему запись; женщина с спокойным равнодушием следила за его указательным пальцем.

— Что ж вы, матушка, понапрасну меня беспокоите? — с неудовольствием поднял он на нее свои совиные очки. Женщина чутко встрепенулась.

— Срок вашему закладу давно уже прошел, а вы требуете, сами не зная чего!

— Как прошел?! да ведь ровно же месяц?! — тревожно изумилась та.

— Гм... месяц... извольте взглянуть! — Он подал ей другую книгу, по величине и виду совершенно равную первой. — Это ваша расписка? ваша рука?

— Моя... Что ж из этого?

— Месяц истек вчера... прошли уже целые сутки... Стало быть, вы изволили просрочить

и, по закону, лишаетесь своей вещи! — С этими словами он запер книги в свой ящик и сухо поклонился выкупщице.

— Господи!.. Да неужели же вы за такую малость захотите отнять у меня вещь? — тихо проговорила она.

— Я не виноват, сударыня, я не виноват... Сами на себя пеняйте — зачем просрочили... Я люблю аккуратность и точность: двух минут против срока не потерплю; а делай-ка я поблажки, так самому с рукой ходить придется... Не могу, матушка, извините!

— Так неужели ж ему пропадать за два целковых?

Морденко пожал плечами.

— Я вам сделал одолжение, — возразил он, — я вам оказал доверие, а вы доверия моего не оправдали... сами просрочили, да сами на меня и плачетесь. Это, матушка, нехорошо-с! Эдак я от вас в другой раз, пожалуй, и не приму закладу.

— Да уж мне и закладывать больше нечего — последнее снесла, — проговорила женщина с глубоким вздохом и какою-то подавленной, горькой иронией.

— Это уж ваше дело, матушка, ваше дело; вам уж про то и ведать.

— Да ведь это — обручальное... это ведь навек человеку! — приступила она к нему с мольбою.

— Для меня это все единственно, матушка, все единственно, — возражал Морденко. — Я уж тут ничего больше не могу для вас сделать и прошу вас — оставьте меня, пожалуйста!.. Я человек хворый, а вы меня раздражаете... Уйдите лучше, матушка, уйдите!..

Женщина с минуту еще молча стояла на своем месте. По щекам ее катились обильные крупные слезы; она тихо повернулась и тихо ушла из квартиры Морденки.

Вся эта сцена произвела на Вересова томительно-тяжелое впечатление. Сердце его болезненно сжалось и щемило. Он на себе самом чувствовал печальное положение ушедшей женщины.

— Вот и делай людям добро! вот и одолжай их! — расхаживал Морденко по комнате. — Сами же нечестно с тобою поступят, а потом мытарем да лихоимцем, процентщиком обзывают!.. Мытарь... А мытарь-то Господу Богу

угоден был — вот оно что!..

Не успел он еще кончить своего монолога, как в прихожей раздался стук в двери.

— Эк их нелегкая там разносила!.. Что ни говорят, а все к мытарю... все к мытарю ползут!.. Ох, люди, люди — фарисеи вы!..

В комнату робко вошел мужчина и, отвесив почтительный поклон, остановился у дверей. Морденко, вглядываясь, поднял на него свой фонарь — и луч света упал на рыжую физиономию пришедшего, осветив особенно его глаза, которые как-то озабоченно бегали в разные стороны, словно бы искали чего. Наружность нового гостя и преимущественно его странные глаза показались старику подозрительными.

— Что надо? — весьма нелюбезно возвысил он голос, запахивая на груди порыжелую мантилью.

— К вашей милости, — несмело и тихо заговорил рыжий, что — на опытный глаз — не совсем-то согласовалось с его внушительною фигурою. — Явите божеское одолжение, не дайте помереть с голоду...

— Я, брат, подаяний не творю: не из чего.

Ступай себе с богом — Бог подаст! — перебил Морденко, замахав рукою.

— Я не за подаянием, — поспешил объяснить пришедший, — я, собственно, по той причине, что не откажите принять в заклад... вещь принес... с себя заложить хочу.

— Какая такая вещь там? — приподнялся Морденко, опершись об стол кулаками. Пришедший скинул свое кургузое пальто и стал расстегивать жилетку.

— Вот ее самую заложить хочу.

— Жилетку-то?.. Нет, брат, не принимаю! — решительно отказался Морденко.

— Что ж так, ваша милость? За что эдакая напасть на бедного человека? — взмолился рыжий. — Ведь вы же платье всякое берете. За что же-с мне-то отказ?

— Не то что платье, милый человек, а и пуговицу медную, гвоздик железный приму, — внушительно пояснил ему старик, — принеси ты мне костяшку от порток — и на ту отказу не будет: положенную цену дам, потому и пуговка, и костяшка в своих деньгах ходит; а ты не в пору пришел — я не в пору не приму! Вот тебе и сказ!

— Будьте благодетелем! Ребятишки малые не емши сидят! Не откажите! — жалобно умолял рыжий со слезами в голосе.

— Чего тут, друг любезный, «не откажите!» — уж отказал; стало быть, и просить нечего! Ступай себе с богом! — порешил Морденко, — и рыжий удалился.

По уходе его старик еще тревожнее зашлепал своими туфлями из угла в угол; физиономия просителя шибко казалась ему подозрительною, недоброю, так что он только ради этого обстоятельства и отказал его просьбе; а с другой стороны, известная уже скаредность и жадность напевали другую песню: «Эх, брат, напрасно отказал!.. жилетка все ж таки вещь; за нее дашь грош, а возьмешь гривну!» И вследствие всех этих соображений старик был теперь недоволен и жизнью, и людьми, и собою.

Вересову стало больно и тяжело оставаться с ним дольше. После двух виденных им сцен он решился уже не заикаться старику ни о своей нужде, ни о своей просьбе. «Будь что будет; пойду и так к хозяйке!» — решил он и минуту спустя по уходе рыжего распростился

с Морденкой.

Спускаясь по темной лестнице, он наткнулся в самом низу на какое-то живое существо и, вглядясь несколько пристальнее, различил, что кто-то сидит на нижней ступеньке, подперев руками свою голову. По голосу, которым этот кто-то отозвался на оклик, Вересов узнал в нем рыжего.

— Что вы здесь делаете? Зачем вы сидите здесь? — с участием спросил его молодой человек.

— Да идти некуды, — ответил рыжий голосом, полным отчаянного горя. — Домой не пойду... неохота глядеть, как дети помирать станут...

Вересову как-то стыдно стало в эту минуту, что он сын Морденки: он жалел и презирал его в одно и то же время.

— Спасите, выручите меня! — обратился к нему рыжий. — Ведь вы сынок ихний, вас они послушают... мне хоть сколько-нибудь бы денег... Ей-богу, в Канаву, в прорубь кинусь!..

— Пойдемте! — решительно сказал ему Вересов, в минуту обдумавший что-то. — Пой-

демте... Мне самому дозарезу нужны деньги, авось успеем, тогда поделимся с вами.

Морденко сильно озадачился и даже струсил от этого нежданного возвращения сына вместе с подозрительным рыжим.

— Папенька, дайте ему денег под жилетку, — начал Вересов в сильном волнении. — Побойтесь Бога: у человека дети помирают!.. Если вам мало жилетки, так вот — альбом с фотографиями! он стоит рублей пятьдесят... Примите его в залог и дайте нам сколько-нибудь... я сам теперь в страшной крайности — на квартиру показаться не смею.

Старик молча развернул альбом, пересмотрел на свет жилетку и подал сыну записную книгу, проговорив:

— Для порядку пиши расписку: «Мы, нижеподписавшиеся», и далее...

Выйдя в другую комнату, он стал оттуда диктовать продолжение. Возврат сына и его слова до того поразили старика, что он не нашел причины к отказу, да притом и заклады оказались хорошими, особенно альбом фотографий, так что Морденко спешил только поскорее разделаться со своими посетителями и

потому, без дальних разговоров, отправился в смежную горницу — доставать деньги.

Пока молодой человек сидел, погруженный в писание расписки, рыжий напрягал все свое зрение, чтобы следить за стариком, который, продолжая диктовать, чиркнул спичку и зажег огарок. Смежная комната осветилась. Рыжий переместился на такой пункт, с которого ему удобнее было обозревать комнату и следить за движениями старика. Сквозь притворенную дверь он заметил два болта, замки и печати на дверях, ведущих в заднюю горницу, и видел, как Морденко снял с себя толстый кожаный пояс, носимый им на теле под сорочкой, и стал рыться в этом потайном чемоданчике. По известному всем шелесту рыжий догадался, что в чемоданчике мирно покоились ассигнации.

«За жилетку полтинник, да за альбом два рубля, итого три рубля; а расписку пиши в три рубля тридцать», — сказал Морденко, войдя через минуту в комнату с зелененькой бумажкой в руках.

Сначала расписался Вересов, а за ним приложил свою руку и рыжий.

«Виленский мещанин Осип Гречка», — гласила подпись рыжего.

— Выкупать будете вместе, что ли? — спросил Морденко, отдавая деньги.

— Я выкуплю все, — вызвался Вересов, — а жилетку вы им потом возвратите.

Через минуту дворник выпустил их в калитку и видел, как они вместе спустились в мелочную лавочку, помещавшуюся в том же самом доме, толкуя о том, что надо разменять деньги и разделиться поровну.

В лавочке спросили они себе по фунту ситника с колбасой, тут же на месте и закусили им, и, поделив между собою сдачу, очень дружелюбно простились друг с другом.

X
ГОЛОВУ НА РУКОМОЙНИК

— Сею, вею, руки грею, чисто брею — не потею! — с припляской, потирая ладони, ворвался Гречка в заднюю комнату Сухаревки, где вчерашний день происходило секретное совещание с патриархом Провом Викулычем во время ланкастерского обучения звонков.

— *Что звякало-то разнуздал?*[213] Чему обрадовался? — степенно покачал головой владыка. — «Помни день субботний», сказано!

— Ну, уж ты, ваше степенство, проповеди-то отложи до завтрева; ноне *клей*[214] есть! Я про дело повестить пришел, — возразил ему Гречка, подавая руку Зеленькову и Фомушке, которые в этой уединенной комнате, вместе с советчиком-патриархом, поджидали его прихода.

— От двурушника, что ли? — обратился к нему блаженный.

— Оттоль-таки прямо и *прихрял*[215]! Все

как есть, по совету его степенства, исполнил: дети, мол, помирают, примите жилетку в заклад! — рапортовал Гречка.

— Стало быть, по патриаршему изволению и благо ти есть! — заметил Фомушка.

— Прижался в сенях, смотрю — женщина какая-то идет к нему, значит, прошла, а я себе жду, — продолжал рыжий. — Глядь, через мало времени выходит все та же самая женщина. Сама идет, а сама плачет, ну вот навзрыд рыдает, просто сердцу невтерпеж... Ах ты *псира*[216], думаю, старая! при древности-то лет да народ эдак-то грабить!

И столь мне стало это обидно, что, думаю себе, не будет же тебе, голубчику, спуску! и сейчас поднялся наверх.

Гречка стал сообщать компании свои дальнейшие действия и наблюдения, и компания вполне одобрила столь блистательно исполненную им миссию.

— Только вот что, братцы! Все бы оно было *рахманно*[217], да в одном *яман*[218] выходит — загвоздка есть! — прицмокнул языком рассказчик. — Старик *шишку-то*[219] на себе ведь носит, поясом она у него сделана, при те-

ле лежит. Как быть-то тут?

— *Нелады, барин!*[220] — озабоченно отозвался блаженный. — *Бабки*, стало быть, *финажками* так в ем и набиты? Умен, бестия: боится, чтоб не *сворочили*, при себе содержит... Нешто бы *на шарап*[221] взять? — предложил он после минутного раздумья.

— Не дело, сват, городишь, — заметил на это благоразумный Викулыч. — С шарапом недолго и *облопаться да за буграми сгореть* [222]. Лучше пообождать да попридержаться — потиху, посладку выследить зверя, а там — и пользуйся.

— А не лучше ль бы поживее? *Приткнуть* [223] чем ни попало — и баста!.. У меня *фомка* востер!.. — похвалился Гречка.

— *Лады!*[224] — согласился блаженный. — По крайности дело потише обойдется, и расправа короче.

При этих словах Иван Иванович Зеленьков, догадавшийся, в чем заключается смысл последнего предложения Гречки, невольно вздрогнул и изменился в лице.

— *Слаба!*[225] — прищурясь глазом, кивнул на него блаженный, сразу заметивший

эту внезапную бледность. — Что ж, брате мой, это уж не дело! По-нашему — взялся за гуж, не говори, что не дюж, товарищества не рушь и от дела не отступай.

— Правильно! — подтвердил Гречка. — Думали варганить так, а выходит эдак; стало быть, Божья воля такая, чтоб быть тому делу, и как есть ты наш товарищ, так с обчеством соглашайся.

— Да что тут долго толковать! — перебил блаженный. — Именем Господним благослови, отче, хорошее дело вершать — лиходеев вниз по матушке спущать! — отнесся он к Викулычу, подставляя как бы под благословение свою руку.

Пров медленно поднялся с места и отрицательно покачал головою.

— Нет, судари мои! — сказал он решительно. — На экое дело нет вам моего благословения: это уж уголовщиной называется — *дело мокрое*[226], смертоубийство есть.

— Да ведь мы все ему же как бы получше, поспособнее хотим, — оправдывался рыжий, — потому, ежели обокрасть его, все равно с тоски повесится, руку на себя наложит;

без капиталу ему — ровно что не жить.

— А мы ему же в облегчение, — поддакнул Фомушка, — от великого греха душу его стариковскую слободим да еще мученический венец прияти сподобим; по крайности, кончина праведная.

— Уж быть тебе, кощуну эдакому, быть кончену *Кирюшкиной* кобыле[227], попомни мое слово! — постучал пальцем о край стола Викулыч. — И благодарности мне своей не несите: не надо мне, не хочу я с крови благодарность принимать; и не знаю я вас совсем, и про дело ваше не слышал, советов я вам не давал никаких — слышите?

— Это — как вашей милости угодно будет, мы и втроем повершим, а за вами уж будем благонадежны, не прозвоните, коли ничего не знаете — это верно! — сказал Гречка, запирая двери за ушедшим Викулычем.

— Как же вершать-то станем? Кто да кто? — совещался Фомушка, относясь к обоим сотоварищам.

— Я и один покончу, дело нетрудное, — вызвался Гречка. — Барахтаться, чай, не будет, потому — стар человек.

— Да ведь впервой, поди-ка?

— Что ж, что впервой? Когда ж нибудь привыкать-то надо! Авось *граблюха*[228] не дрогнет...

— Так надо бы поскорей, не по тяжелой почте, а со штафетой бы отправить.

— Чего тут проклажаться — послезавтра утром раненько, часов эдак в шесть, и порешу.

— А чем полагаешь решить-то? — полюбопытствовал блаженный.

— На храпок. Взять его за горлец да дослать штуку под душец, чтобы он, значит, не кричал «к покрову!». Голову на рукомойник — самое вольготное будет[229], — завершил Гречка, очень выразительно махнув себя поперек горла указательным пальцем.

XI
ФИГА

Условились так, что Гречка один отправится на дело, покончит кухарку и старика, заберет все наличные деньги и все драгоценности, которые могут быть удобно запрятаны за голенища и в карманы; мехов же и тому подобного «крупного товару» забирать не станет, чтобы не возбудить в ком-либо разных подозрений, и с награбленным добром явится в Сухаревку, в известную уже непроходную отдельную комнату, где его будут поджидать Фомушка с Зеленьковым и где, при замкнутых дверях, произойдет полюбовный дележ. Сговорившись таким образом, товарищи расстались.

Два человека уходили из Сухаревки в совершенно противоположном настроении духа и мысли.

«Коево черта я стану делиться? Из-за чего? — размышлял Гречка, направляясь в ночлежные Вяземского дома. — Один дело работить стану, один, пожалуй, миноги жрать, а с

ними делись!.. Нет, брат, дудки! Шалишь, кума, в Саксонии не бывала. С большим капиталом от судей праведных отделаемся — как не отделаться нашему брату? иным же удается; а ежели и нет, так по крайности знаешь, что за себя варганил, за себя и конфуз принимаешь... все ж не так обидно... Коли клево сойдет — лататы зададим: ты прощай, значит, распрекрасная матерь Рассея. Морген-фри, нос утри! А вы, ребята теплые, сидите в Сухаревке — дожидайтесь! — так вот сейчас я к вам взял да и пришел! Как же!» — И Гречка, махнув рукою, очень выразительно свистнул.

А Иван Иванович сильно волновался и беспокоился. Убить человека — не то что обокрасть... Стало быть, очень опасное дело, если сам патриарх возмутился и от благодарности даже отказался... А кнут? А Сибирь? Ивана Ивановича колотила нервная дрожь: в каждом проходящем сзади его человеке он подозревал погоню; думалось ему, что их подслушали и теперь догоняют, схватывают, тащат в тюрьму, — и он ускорял шаги, торопясь поскорее убраться от мест, близких к Сенной площади, стараясь незаметнее затереться в

уличной толпе, а сам поминутно все оглядывался, ежился и вздрагивал каждый раз, когда опережавший прохожий невзначай задевал его рукавом или локтем. Для бодрости он зашел в кабачок и порядочно выпил; но бодрость к нему не возвращалась. В страшнейшей ажитации, словно бы преступление уже было совершено, закутался он с головой в одеяло и чутко прислушивался к каждому звуку на дворе, к случайному шлепанью чьих-то шагов, к стуку соседних дверей — и все ждал, что его сейчас арестуют. Охотно соглашаясь принять пассивное участие в воровстве, он ужасался мысли об убийстве.

Замечателен факт, что многие мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средством к пропитанию, либо похваляясь им как удалью, с отвращением говорят об убийстве и убийцах — «потому тут кровь: она вопиет, и в душе человеческой один токмо Бог волен и повинен». Такое настроение мыслей, сколько мне удавалось заметить, господствует по большей части у мошенников, не успевших еще побывать в тюрьме, ибо мошенник до тюрьмы и тот же

мошенник после тюрьмы — два совершенно различных человека, и для этого последнего убийство уже является делом очень простым и обыкновенным, как факт удали или кратчайший путь к поживе. Так цивилизует мошенника наша тюрьма. И в этом нет ровно ничего мудреного, потому что тут уже человек приходит в непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми злодеями. Впрочем, об этом предмете и подробнее, и нагляднее читатель узнает впоследствии.

Наконец Иван Иванович заснул. Но и во сне ему не легче было. Все эти брючки и фрачки, все эти пальто с искрой, о которых он столь сладостно мечтал, представлялись ему забрызганными кровью. «Вот это на фрачке — Морденкина кровь, а на жилетке — кухаркина, а это ваша собственная, Иван Иванович господин Зеленьков», — говорит ему квартальный надзиратель. И видит Иван Иванович, что везут его, раба Божьего, на колеснице высокой, со почетом великим, — *к Смольному затылком*[230]; Кирюшка в красной кумачовой рубахе низкий поклон ему от-

дает: «Пожалуй, мол, Иван Иванович господин Зеленьков, к нам на эшафот, на нашей кобылке поездить, наших миног покушать, да не позволите ли нам ваше тело бело порушить?» И трясет Ивана Ивановича злая лихоманка; чувствует он, как ему руки-ноги да шею под загривком крепкими ремнями перетягивают, как его палачи кренделем перегнули да тонкую белую сорочку пополам разодрали... И редко-редко, размеренно стукает сердчишко Ивана Ивановича, словно помирать собирается... Вынул Кирюшка из мешка красное кнутовище, и слышит Иван Иванович, как зловеще посвистывает что-то на воздухе: это, значит, Кирюшка плетью играет, руку свою разминает, изловчается да пробует, форсисто ли пробирать будет. А сердчишко Ивана Ивановича все тише да реже екает. Ничего-то глазами своими не видит он, только слышит, что молодецки разошелся по эшафоту собачий сын Кирюшка и зычным голосом кричит ему: «Бер-регись! Ожгу!» — сердце Ивана Ивановича перестало биться, замерло — словно бы висело оно там, внутри, на одной тонкой ниточке, и эта ниточка вдруг по-

рвалась...

Он проснулся в ужасе, весь в холодном поту.

— Господи! спаси и помилуй всяку душу живую! — крестясь, прошептал он трепещущими губами. — Нет, баста! будет уж такую муку мученскую терпеть!

Глянул Иван Иванович в окошко — на дворе еле-еле свет начинает брезжиться... На какой-то колокольне часы пробили шесть. «Ровно через сутки покончат его, сердечного... человека зарежут», — подумал он и при этой мысли снова задрожал всем телом.

Иван Иванович скорехонько вскочил с постели, оделся и, трижды перекрестясь, вышел со двора.

Теперь уж он знал, как ему быть и что надо делать.

Бывали ли вы когда-нибудь рано утром в конторе квартального надзирателя? Помещается она по большей части в надворных флигелях, подыматься в нее надобно по черной лестнице — а уж известно, что такое у нас в Петербурге эти черные лестницы! Входите вы в темную прихожую, меблированную одним

только кривым табуретом либо скамьей да длинным крашеным ларем, на котором в бесцеремонной позе дремлет вестовой, какой-нибудь Максим Черных или Хома Перерепенко; во время же бдения этого Черныха или Перерепенку можно застать обыкновенно либо за крошкой махорки, либо за портняженьем над старыми заплатами к старому мундиру. Следующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеенкой столами сидят в потертых сюртуках, а иногда во фраках три-четыре «чиновника». Подбородки небритые, голоса хриплые, физиономии помятые — надо полагать, с перепою да с недосыпу, и украшены эти физиономии по большей части усами, в знак партикулярности, ибо владельцы этих усов занимаются здесь письмоводством приватно, то есть по найму. Двое из небритых субъектов занимаются за паспортным столом, заваленным отметками, контрамарками, плакатами и медяками. Один субъект с серьезно нахмуренной физиономией (опохмелиться хочется!) очевидно напущает на себя важности, ибо он «прописывает пачпорта» и под командой у

него состоит целая когорта дворников в шерстяных полосатых фуфайках, с рассыльными книгами в руках. Другой субъект — физиономия меланхолическая — занимается копченьем казенной печати над сальным огарком; он, очевидно, под началом у первого, который небрежно и молча, с начальственно-недовольным видом швыряет ему бумагу за бумагой для прикладки полицейских печатей. Другой стол ведет «входящие и исходящие»; за третьим помещается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсом и потому подвязанный белым платком; он один, по преимуществу, имеет право входа в кабинет самого квартального надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно полуофициальная, полусемейная: старые стенные часы в длинном футляре, план города С.-Петербурга, на первой стене — портрет царствующей особы; наконец, посредине комнаты — письменный стол с изящною чернильницей (контора довольствуется оловянными или просто баночками); на столе — «Свод полицейских постановлений» довершает обстановку официальную.

Обстановка неофициальная заключается в мягком диване и мягких креслах, в каком-нибудь простеночном зеркале, у которого на столике стоит под стеклянным колпаком какой-нибудь солдатик из папье-маше, с ружьем на караул да в литографированном портрете той особы, которая временно находится во главе городской администрации. Этот портрет имеет целью свидетельствовать о добрых чувствах подчиненности квартального надзирателя, и потому с переменой особ переменяются и портреты.

Немного ранее восьми часов утра в прихожую конторы начинают набиваться разные народы. Хома Перерепенко так уж и не подметает полов — «потому, нехай им бис! все едино загыдят!». Вот привалила целая артель мужиков разбираться с маслянистым, плотным подрядчиком и в ожидании этой разборки целые два часа неутомимо переругивается и считается с ним. Вот два плюгавых полицейских солдата привели «честную компанию» всякого пола и возраста, звания и состояния: тут и нищие, забранные на улице, и пьяницы-пропойцы, подобранные на панели, и «бу-

яны» со скрученными назад руками, и мазурики, несколько деликатнее связанные попарно «шелковым шнурочком» повыше локтя. Тут и немецкий мастер Шмидт с своим подмастерьем Слезкиным: Шмидт, как некую святыню, держит в руках клок собственных волос — доказательство его побоища с «русски свин» Слезкиным, а «русски свин» всей пятерней старается побольше размазать рожу свою кровью — «чтоб оно супротив немца чувствительнее было». Тут же зачем-то появилось и некое погибшее, но скверное созданье в раздувном кринолине; и мещанка Перемыкина поближе к дверям конторы протискивается, всхлипывая нарочно погромче, все для того же, чтобы до сердца начальства пронять, потому — пришла она просить и «жалиться» на своего благоверного, что нисколько он ее, тигра эдакая, не почитает, а только все пьянствует и эва каких фонарев под глазами настроил, индо раздушил да расплющил всю, и потому надо, чтобы начальство наше милостивое в части отпороло его, пса эково!.. При этом она всем и каждому очень пространно повествует о своем горе несообраз-

ном. Один за другим появляются красивые городовые в касках и молодцевато проходят «с рапортициями» в самую контору. Тут же, наконец, присутствует и Иван Иванович Зеленьков, забравшийся сюда с самого раннего утра, к сильному неудовольствию заспанного Перерепенки. Иван Иванович, с выражением гнетущей мысли в лице, нетерпеливо и озабоченно похаживает от угла до угла передней. Он просил, умаливал и давал четвертак на чай Перерепенке, чтобы тот разбудил надзирателя «по самоэкстренному делу», но Хома Перерепенко оставался стоически непреклонен, потому — «их благородье почиваты зволят, бо поздно поляглы, и нэма у свити ни якого такого дила, щобы треба було взбудыты ихню мылость». Так Иван Иванович ничего с ним и не поделал; но Гермес надзирательской прихожей, умилостивленный зеленьковским четвертаком, особо доложил об Иване Ивановиче «их благородию», когда «оно зволыло проснуться».

Надзиратель — лет пятидесяти, плотный и полный мужчина высокого роста, с густыми черными бровями и сивыми волосами, кото-

рые у него были острижены под гребенку, с осанкой выпускного сокола — восседал в большом кресле за своим письменным столом. На нем были надеты персидский халат и бухарские сапоги. Пар от пуншевого стакана и дым «Жукова», испускаемый из длинного черешневого чубука, наполняли комнату особенным благоуханием. Надзиратель имел очень умный, пристальный и проницательный взгляд, носил бакенбарды по моде двадцатых годов, то есть колбасиками, кончавшими протяжение свое неподалеку от носа, говорил густым басом, по утрам очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплевывался.

С известной уже и столь идущей к нему осанкой встретил он робко вошедшего в кабинет Зеленькова.

— Ты зачем? — бархатно прозвучал его густейший бас.

— По самоэкстренному делу, ваше скородие... секрет-с... Прикажите припереть дверцы-с...

— А ты не пьян?

— Помилуйте-с... могу ли предстать не со-

ответственно...

— То-то, брат! Пьянство есть мать всех пороков!.. Притвори двери да сказывай скорей, какое там у тебя дело.

— Большое-с дело, ваше скородие... С одного слова и не скажешь: очинно уж оно экстренное.

— Да ты не чертомель, а говори толком, не то в кутузку велю упрятать!

— Вся ваша воля есть надо мной... Злоумышление открыть вашей милости явился...

— А... стало быть, опять в сыщики по-старому хочешь? в фигарисы каплюжные?

— Что ж, это самое разлюбезное для меня дело! — ободрился Зеленьков. — Однажды уж мы своей персоной послужили вашему скородию в разыскной части, и преотменно-с, так что и по сей момент никто из воров не догадался — право.

— А ведь ты, брат, сам тоже мошенник?

— Мошенники-с, — ухмыльнулся, заигрывая, Зеленьков.

— И большой руки мошенник?

— Никак нет-с, ваше скородие, шутить изволите: мы в крупную не ходим, а больше все

по мелочи размениваемся; с мошенниками — точно что мошенник, а с благородными — благородный человек... Я — хороший человек, ваше скородие: за меня вельможи подписку дадут, — прибавил Зеленьков, окончательно уже ободрившись и вступив в свою всегдашнюю колею.

— Да ты кто такой сам по себе-то? — шутил надзиратель, смерть любивший, как выражался он, «балагурить с подлым народом».

— Я-то-с?.. Я — природный лакей: я тычками взращен! — с гордостью и сознанием собственного достоинства ответил Иван Иванович.

— Дело!.. Ну, так сказывай, какое злоумышление у тебя?

Иван Иванович многозначительно ухмыльнулся, крякнул, провел рукой по волосам и начал вполне таинственным тоном:

— Бымши приглашен я известными мне людьми к убийству человека-с, и мне блеснула эта мысль, чтобы разведать и донести вашему скородию...

— И ты не брешешь, песий сын?

— Зачем брехать-с?.. Я — человек махонь-

кий: мне только руки назад — вот я и готов. А убивство, изволите ли видеть, сочиняется над Морденкой, — еще таинственнее прибавил Зеленьков, — изволите знать-с?..

— Знаю... Губа-то у вас не дура — разумеете тоже, где раки зимуют...

— Это точно-с, потому — какой же уж это и мошенник, у которого губа дура, так что и рака от таракана не отличить!

— А уж будто ты, в душе, так и отказался? Кушик-то ведь, брат, недурен? Поди, чай, просто-напросто струсил? а?

Зеленьков вздрогнул и на минуту смешался. Сокол смотрел на него в упор и затрогивал самые сокровенные, действительные мотивы его души.

— Ну вот, так и есть! По глазам уж вижу, что из трусости *фигой*[231] стал! — и надзиратель, в свою очередь заигрывая с Зеленьковым, с усмешкой погрозил пальцем.

Иван Иванович опять ободрился.

— Помилосердствуйте-с, ваше скородие, — отбояривался он, — кабы это еще обворовать — ну, совсем другое дело, оно куда бы ни шло... а то убивство — как можно!.. деликат-

ность не позволяет... Ни разу со мной эдакого конфузу не случалось, и при всем-с том за такой проступок страшному ведь суду подвергаешься.

— Так, господин философ, так!.. Ну, так сказывай, фига, как и чем его приткнуть намереваетесь — верно, насчет убоины да свежанины? а?

— Так точно-с, ваше скородие, проницательно угадать изволили! Так точно-с, потому, значит, голову на рукомойник, — ухмылялся господин Зеленьков, гнусненько подлещаясь к выпускному соколу. — Да позвольте, уж я лучше расскажу вам все, как есть, по порядку, — предложил он, — только вы, ваше скородие, одолжите мне на полштоф, и как я, значит, надрызгаюсь дотоле, что в градус войду, так вы явите уж такую Божескую милость, прикажите сержантам немедленно подобрать меня на пришпехте и сволочить в часть, в сибирку, за буйство, примерно, и безобразие, потому, значит, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрения не держали, а то — в супротивном случае — живота решат; как пить дадут — решат, ваше скоро-

дие!.. Одолжите *стремчатовый*[232].

И ощутив в руке своей просимую сумму, Иван Иванович, совершенно уже успокоенный, приступил к своему обстоятельному рассказу.

XII
ОБЛАВА

На следующий день, еще до рассвету, когда Иван Иванович покоился уже безмятежным сном в арестантской сибирке, к грязно-желтому дому в Средней Мещанской торопливо подходили четыре человека. Это были сокол и его приспешники — три геркулеса в бронях сермяжных.

Один из хожалых был оставлен в дворницкой для наблюдения за воротами и охранения этого пункта; остальные, вместе с соколом и дворником, поднялись на лестницу Морденки. Надзиратель чиркнул восковую спичку и внимательно оглядел местность; один из хожалых постучался в дверь.

— Кто там? — раздался заспанный голос кухарки.

— Дворник... воду принес, отворяй-ка.

Послышался стук отпираемых замков, крючков и засовов. Городовые отстранились на темный, задний план. Чухонка, приотворив немного дверь и увидя незнакомого человека в форме рядом с домовым дворником, боязливо и подозрительно спросила:

— Чего нужно?

— Нужно самого господина Морденку.

— Да вы с чем? с закладом, что ли?

— С закладом, тетушка.

— А с каким закладом? Красные вещи али мягкий товар?

— И то и другое.

— Что-то уж больно рано приходите... Ну да ладно! мне все равно... Сказать пойти, что ли...

С этими словами она подошла к двери, замкнутой большим железным болтом, и мерно стукнула в нее три раза. Ответа не последовало. Через минуту она столь же мерно стукнула два раза. Это был условный телеграфический язык между Морденкой и его прислугой, посредством которого последняя давала ему знать о приходящих. Делалось это или

ранним утром, или поздним вечером, то есть в ту пору, когда Морденко запирался. Три удара означали постороннего посетителя, последующие два — «интерес», то есть что посетитель пришел за делом, стало быть, с залогом; один же удар после первых трех оповещал, что посетитель является выкупить свою вещь.

В ответ на два последние удара из глубины комнаты послышался старчески продолжительный, удушливый кашель, и глухой голос простонал:

— Лбом толкнись!

Послушная чухонка немедленно исполнила это странное приказание и слегка стукнулась лбом об двери.

— Это что же значит? — спросил ее удивленный надзиратель.

— А то, батюшка, что, надо так полагать, скоро совсем уже с ума спятит: хочет знать, правду ли я говорю, так для этого ты ему лбом стукнись...

Сокол только плечами пожал от недоумения; вероятно, вслед за соколом и многие читатели сделают то же, ибо им покажется все

это чересчур уже странным и диким; но... таковым знавали многие то лицо, которое в романе моем носит имя Морденки и которое я описываю со всеми его эксцентричными, полупомешанными странностями.

Как только Христина стукнулась об дверь, послышалось из спальни медленное, тяжелое шарканье туфель и отмыкание замков да задвижек в первой двери, что вела из приемной в спальню. Затем снова удушливый кашель и снова шарканье — уже по смежной комнате.

«Морденко, здравствуй!»

— Здравствуй, милый! здравствуй, попинька!

«Разорились мы с тобой, Морденко!» — крикнул опять навстречу хозяину голос попугая, очень похожий на голос самого старика, который, по заведенному обыкновению, не замедлил со вздохом ответить своему любимцу:

— Разорились, попинька, вконец разорились!

— С кем это он там разговаривает? — полюбопытствовал сокол у кухарки.

— С птицей… это он каждое утро…

«Господи, что за чудной такой дом! лбом стукаются, с птицами разговаривают — нечто совсем необыкновенное!» — размышлял сам с собою надзиратель.

— Отмыкай у себя! — сказал Морденко, и Христина взялась за железный засов той самой двери, об которую стучалась, и отодвинула его прочь; в то же самое время Морденко с другой стороны отмыкал замки и задвижки и точно так же снимал железные засовы.

— Это у вас тоже постоянно так делается? — спросил надзиратель, с каждой минутой все более и более приходя в недоумение.

— Кажинную ночь, а ино и днем запирается.

— Ну, признаюсь, это хоть бы и на одиннадцатую версту ко всем скорбящим впору, — пробурчал надзиратель.

На пороге появился Морденко с фонарем и ключами, в своем обычном костюме — кой-как наброшенной старой мантилье.

— Что вам угодно? — спросил он с явным неудовольствием.

— Есть дело кое-какое до вас.

— Заложить что-либо желаете?

— Нет, я не насчет закладов, а явился собственно предупредить вас... Позвольте войти?

— Да зачем же... это... входить?.. Можно и здесь... и здесь ведь можно объясниться, — затруднился Морденко, став нарочно в самых дверях, с целью попрепятствовать входу незваного гостя.

— Мне надобно сообщить нечто *вам,* именно вам — по секрету... Вы видите, кажется, что я — полицейский чиновник?..

— Не вижу; мундир этот ничего особого не гласит: может, и другого какого ведомства, а может, и полицейский — Господь вас знает... Я зла никому никакого не сделал...

— Да против вас-то есть зло!.. Позвольте наконец войти мне и объясниться с глазу на глаз.

Морденко видимо колебался: он не доверял незнакомому человеку, пришедшему в такую раннюю пору; наконец, бросив вскользь соображающий взгляд на тяжелую связку весьма внушительного вида и свойства ключей, он проговорил с оттенком даже

некоторой угрозы в голосе:

— Ну, войдите... войдите!.. буде уж вам так хочется объясниться.

Надзиратель вошел в известную уже читателю приемную комнату и поместился на одном из немногих, крайне убогих стульев.

— Не известно ли вам, — приступил он к делу, — не было ли когда на вас злого умыслу?

Морденко встрепенулся, остановясь на месте и раздумывая о чем-то, склонил немного набок голову, неопределенно установив глаза в угол комнаты.

— Был и есть... всегда есть, — решительно ответил он, подумав с минуту.

— Не злоумышляли ль, например, на жизнь вашу?

— Злоумышляли. Вот скоро год, как у наружной двери был выломан замок... Я отлучался из дому — у меня все на болтах, на запоре: коли ломать, так нужен дьявольский труд и сила, от дьявола сообщенная, а человеку нельзя, невозможно; так в мое отсутствие и своротили. А двери вот в эту комнату выломать не удалось — силы не хватило... Так и

удрали. Об этом и дело в полиции было... следствие наряжали и акт законный составили.

— Ну, так вот и нынче на вашу жизнь злоумышляют, — любезно сообщил надзиратель.

Морденко нахмурился и пристально, серьезно посмотрел на него.

— А!.. я это знал! — протянул он, кивая головой. — Я это знал... А *вы-то* почему знаете?

— Я-то... Я был извещен.

— А кто известил вас?

— Это уж мое дело.

— Нет-с, позвольте!.. Ваше дело... А зачем вы пришли ко мне? Кто вас послал? — допытывал он, строго возвышая голос. — Есть у вас бумага какая-нибудь, предписание от начальства, по коему вы явились не в обычную пору?

— Нет, бумаги никакой не имеется, — улыбнулся надзиратель со своей соколиной осанкой.

— А!.. ни-ка-кой!.. Никакой, говорите вы?.. Так зачем же вы без бумаги приходите? Почему я должен вам верить? Почем я могу вас знать? А может быть, *вы* именно и держите

злой умысел на меня? — наступал на него весь дрожащий Морденко, тусклые глаза которого светились в эту минуту каким-то тупым и кровожадным блеском глаз голодной волчихи, у которой отымают ее волченят. Он поставил свой фонарь и судорожным движением крепко сжал в кулаке связку ключей.

«Ого! — подумал про себя квартальный, — да тут, пожалуй, раньше чем его убьют, так он меня, чего доброго, насмерть по виску хватит».

— Как вам угодно, — сухо поклонился он, поднявшись со своего места. — Я пришел с моими людьми только предупредить вас и, может быть, преступление... Но если вам угодно быть убитым, в таком случае извините. Люди мои спрятаны будут на лестнице, и мы, во всяком случае, успеем захватить, кого нам надобно... хоть, может быть, и несколько поздно... Извините, что потревожил вас. Прощайте.

Тон, которым были произнесены эти слова, и присутствие домового дворника в прихожей рассеяли несколько сомнения Морденки.

— Нет, уж коли пришли, так останьтесь, — проворчал он глухим своим голосом, в раздумчивом волнении шагая по комнате и не выпуская из руки ключей.

— В таком случае, — предложил надзиратель, — позвольте уж ввести моих людей и разместить их как следует. Одного мы спрячем в кухне, а другого в этой комнате.

Он указал на спальню.

Морденко с тоскливою недоверчивостью подумал с минуту.

— Вводите, пожалуй! — махнул он рукою.

Люди были впущены в квартиру и спрятаны. Кухарке отдано приказание — впустить немедленно и беспрекословно каждого, кто бы ни постучался в дверь.

— Я знаю... я знаю, что меня нынче убить хотят... Я все знаю! — ворчал Морденко, измеряя шагами от угла до угла пространство своей приемной комнаты.

— А, это очень любопытно, — подхватил надзиратель. — Через кого же вы это знаете?

— Через кого?

Остановка посреди комнаты и долгий испытующий взгляд.

— Через ясновидение, государь мой... Мне ясновидение было такое... Я знаю даже, кто и злоумышленники.

— А кто же, вы полагаете? — спросил собеседник, уже сильно начинавший сомневаться, не с помешанным ли имеет он дело.

— Я не *полагаю,* а *удостоверяю!* — подчеркнул старик безапелляционным образом.

— Ну, так сообщите; интересно знать.

— Извольте, милостивый государь. Это — она, кухарка, Христина, — указал он на кухню, произнося свои слова таинственным шепотом, — она и приемный сын мой, называющийся Иваном Вересовым, — в актерах живет, стало быть, прямой блудник и безнравственник... Они уже давно сговорившись — убить меня, — продолжал он, расхаживая в сильной ажитации, — мне сегодня всю ночь такое ясновидение было, что сын большой топор точит, а она зелье в котле варила. Допросите ее, какое она зелье варила. Непременно допросите!

— Да ведь это только одно ясновидение, — заметил надзиратель.

— Ну да, ясновидение! Потому-то, значит,

она и взаправду варила, что мне царь небесный этакое ясновиденье послал!

— Ну, на сей раз — извините — оно обмануло вас: ни кухарка, ни сын ваш не участвуют здесь. Это мне положительно известно.

— Нет, участвуют! Уж это я знаю, и вы меня не разуверите!.. Положительно... Да, *положительно* только один Господь Бог и может знать что-либо; а мне сам Господь Бог это в ясновидении открыл — так уж тут никакие мудрования меня не разуверят!.. Незаконнорожденный сын мой давно уже на меня умысел держит; я вот потому хочу начальство упросить, чтобы его лучше на Амур сослали... Разве мне это легко?.. Как вы полагаете — легко мне все это? Мне — старику... отцу, одинокому?.. Легко, я вас спрашиваю! — остановился он, сложа на груди руки, перед своим собеседником, и старческий голос его дрогнул, а на сухих и тусклых глазах вдруг просочились откуда-то тощие слезы.

Но прошла минута, он замолчал — только еще суровее, с сосредоточенным видом стал ходить по комнате своими медленными и тяжелыми шагами.

Несколько времени длилось полнейшее молчание, один только маятник стучал да Морденко ходил. Сырость и холод этой квартиры порядком-таки стали пронимать квартального.

— Однако у вас тово... холодновато... Нельзя ли затопить? — попросил он, поеживаясь и растирая руки.

Морденко при этой неожиданной просьбе искоса взглянул на него, как бы на своего личного врага.

— Затопить нельзя... вчера топлено, — сухо возразил он, — а вот чаю не угодно ли? У меня настой хороший — из целебных трав...

— Нет, этого не хочу, — отказался квартальный, — а нет ли у вас тово... насчет бы водочки?

Старик встрепенулся и так поглядел вокруг себя, словно бы услыхал что-нибудь очень оскорбительное для нравственности и даже кощунственное.

— Боже меня упаси! — отрицательно замотал он головой. — Никогда не пью и в доме не держу... В водке есть блуд и соблазн. Я плоть и дух свой постом и молитвой питаю, так уж

какая тут водка!

Квартальный полюбопытствовал оглядеть Морденкину квартиру, что старику не больно-то нравилось; однако нечего делать — пошел за ним с фонарем. «Кстати, — подозрительно думалось ему, — огляжу хорошенько, не хапнул ли чего в спальне тот-то... спрятанный?»

Они вошли в эту комнату. Там особое внимание посетителя обратило на себя висевшее на стене довольно странное расписание:

Понедельник — картофель.
Вторник — овсянка.
Среда (день постный) — хлеб и квас.
Четверток — капуста кислая.
Пяток (день постный) — хлеб и квас.
Суббота — крупа гречневая.
Воскресенье — суп молочный и крупа ячневая.

— Что это у вас за таблица? — осведомился квартальный.

Морденко немножко замялся и закашлялся.

— Гм... это... гм... э... обиходное расписание стола моего, — объяснил он, — в какие дни

какую пищу вкушать надлежит... Я во всем люблю регулярность — поэтому у меня и распределено.

— Но неужели же этим можно быть сыту? — изумился надзиратель, поедавший ежедневно весьма почтенное количество разных жирных снедей нашей российской кухни.

— Кто, подобно мне, дни свои в посте и молитве проводит, — с глубоким и серьезным смирением заметил старик, — тот и об этой пище забудет... Ибо он насыщен уже тем, что духом своим с творцом беседует.

— А это что за комната у вас, под замками и печатями?

Вопрос шел о кладовой.

— Это... гм... гм... Это — моя молельня, — поморщился Морденко. — Туда я от сует мирских уединяюсь и дни свои в духовном созерцании провождаю... Там мне Господь Бог и ясновидения посылает.

«Врешь, старый хрыч, там-то, надо быть, у тебя раки-то и зимуют!» — усомнился про себя выпускной сокол.

Старая стенная кукушка, маятник которой, словно старик на костылях, спотыкаясь, отби-

вал секунды, захрипела и прокуковала шесть. Старый попугай в своей клетке захрипел точно таким же образом и тоже начал куковать. Надзиратель не выдержал и расхохотался. Морденко очень обиделся.

— Над бессловесной тварью грех смеяться, — заворчал он, отвернувшись в сторону, — бессловесная тварь на обиду не может ответствовать обидою же; а почем знать, может, она тоже чувствует... Он у меня птица умная... все понимает...

Прошло еще некоторое время среди молчания и ожиданий. Надзиратель уже начинал сердиться и подумывать, что следует задать Зеленькову изрядную вспушку за ложное показание, как вдруг в наружную дверь слегка постучали. Часы показывали половину седьмого. Все встрепенулись при этом внезапном стуке, у всех слегка дрогнуло сердце. Кухарка пошла отворять, и в ту же минуту раздался ее короткий пронзительный крик и глухой звук падения человеческого тела.

Убийца тотчас же был схвачен и связан двумя силачами.

Гречке не удалось. Зато совершенно уда-

лась облава выпускного сокола.

XIII
ДОЗНАНИЕ И АКТ НА МЕСТЕ

Связанный Гречка молчал — только мрачно глядел исподлобья, поводя вокруг злобными глазами, да тихо покачивался со стороны в сторону, как медведь, пойманный в тенета. Его, хоть и скрученного, не выпуская, держал за шиворот один из городовых сержантов. Остальные отправились в прихожую поглядеть, что сталось с кухаркой. Она лежала в обмороке, с раскроенной щекой. Рана, хотя и не очень опасная, нанесена была железным орудием. Вскоре посредством вспрыскивания холодной водой женщину эту удалось привести в чувство.

Тогда один из людей был послан за понятыми, которые набираются в этих экстренных случаях из живущих в том же доме. Началось полицейское дознание.

— Кто таков? — вопросил надзиратель, взяв у Морденки перо, чернила и лист бумаги.

— Виленский мещанин Осип Иванов Гречка, — бойко отвечал связанный.

— Лета?

— Сорок пять.

— Исповедания?

— Ну, уж этого не знаю, а надо полагать — христианской веры.

— Зачем приходил в квартиру господина Морденки?

— Жилетку свою выкупать... у меня тут жилетка в закладе — в полтине серебра заложена.

— Правду ли показывает? — отнесся допросчик к Морденке.

Старик молчал, переминаясь с ноги на ногу, и не знал, что отвечать.

— Правду ли он показывает? — повторил квартальный.

— Да уж всеконечно правду, ваше благородие, — отозвался Гречка, — жилетка моя, надо полагать, лежит у него в той запертой комнате.

— Там нет никакой жилетки! никакой жилетки нету! — тревожно забормотал встрепенувшийся Морденко.

— Нет, есть! — оппонировал Гречка. — Коричневая плюшевая, в желтую клетку, с бронзовыми пуговками. Да прикажите отпереть, ваше благородие, так и увидите сами; а то что ж человека занапрасну вязать? Я не разбойник какой, а пришел вещию свою выкупить.

— Так, друг любезный, так!.. А кухарке-то щеку зачем раскроил?

— Сама подвернулась... Она первая с кулачищами на меня накинулась, а я только, оборонямшись, призадел ее маленько...

— Что и говорить! Не видал я, что ли? — вмешался державший его городовой.

— А ты молчи, милый человек, потому ты по закону не свидетель; а как есть ты наш телохранитель, значит — ты и молчи! — наставительно поучал его Гречка.

— Ишь ты, законник какой уродился! — балагурил выпускной сокол, с удовольствием потирая свои красные, полные ладони. — Надо быть, на юридическом факультете экзамен держал? а?

— Это что пустяки толковать, ваше благородие! А вы прикажите лучше отпереть ту комнату, потому я вам дело докладываю.

— Пожалуй, будь по-твоему... Господин Морденко, отоприте! — предложил надзиратель, который, занимаясь специально разыскной частью, очень хорошо знал, что к ростовщикам часто приносятся краденые вещи. Он собственно для себя хотел оглядеть коллекцию Морденки, в чаянии, не встретится ли там что-нибудь подходящее, за что можно бы уцепиться при случае во многих из производимых им розысков, где часто по одной случайно попавшей нитке разматывается целый запутанный клубок.

Старик еще пуще стал морщиться и заминаться от его предложения.

— Да на что вам она, эта комната? — упрашивал он жалобным голосом. — Ничего там интересного для вас нету... Там образа мои хранятся...

— Однако вы слышали показание этого человека? Надо же мне удостовериться! Я — закон! — внушительно произнес он со своей осанкой, — а закон беспристрастен.

— Я не отворю ее, — решительно сказал Морденко.

— В таком случае, когда придут понятые, я

сам буду отворять при свидетелях.

Последний аргумент подействовал. «Пусть лучше уж один поглядит, чем при людях-то — соблазну меньше», — и со вздохом глубокого сокрушения снял старик дрожащею рукою печати, отомкнул висячий и дверной замки, отодвинул засов — и дверь растворилась.

Большая двухоконная комната снизу доверху была заставлена шкафами и полками, где хранились всевозможные вещи. Против дверей висела на стене вышитая гарусом картина: какой-то швейцарец с мушкетом. Эта картина, подобно стеклянной раме в киотах, ходила на петлях и, отпираясь посредством особого механизма, открывала за собою целый потаенный шкафчик, наполненный золотыми вещами, часами карманными, брильянтами и тому подобными драгоценностями. На вешалках висели меха и множество всякого платья. К каждой вещи был привязан ярлык, на котором старинным почерком помечен нумер и сделана лаконическая надпись: «Не укради!»

— Для чего же у вас эти надписи? — спросил следователь.

— А это такой талисман, — пояснил Морденко. — Ежели, оборони Бог, заберется сюда мошенник да протянет к ним руку, так рука у него тут же и отсохнет.

— Это вы тоже по ясновидению?

Морденко состроил кислую физиономию: ему крайне неприятны были все эти вопросы.

— И по ясновидению, — поморщась, отвечал он с большою неохотою, — и по секрету от одного опытного человека, добродея моего.

— Ваше благородие! вот моя жилетка! А вот и книжка, которую при мне отдавал им в заклад ихний сыночек! — воскликнул тем временем Гречка, по приказанию следователя введенный в ту же комнату под конвоем городового. Надзиратель очень озадачился последним сообщением преступника, а Морденко пристально поглядел на него весьма многозначительным взглядом, который ясно вопрошал: «А что, не моя ли правда выходит?»

— Кто же были твои сообщники? — продолжал следователь свои вопросные пункты.

— Никаких таких сообщников у меня и не было, ваше благородие, и не знаю я, зачем вы

меня это спрашиваете? — твердо ответствовал Гречка.

— Ну, а Фомка-блаженный?.. Этот как тебе придется? — вздумал огорошить его допросчик.

Гречка вздрогнул, но в тот же миг оправился и уставил на него недоумелые глаза.

— В первый раз слышу имя такое, ваше благородие, — убедительно возразил он, — и никакого такого Фомки не знаю я. Так и запишите.

Гречка строго хранил все условия договора, заключенного в Полторацком.

В эту минуту в комнату вошло новое лицо.

Старик встретил его злобной, торжествующей усмешкой.

— Я пришел выкупить альбом и жилетку — вчера вечером деньги кой-какие получил, — начал Вересов, обращаясь к отцу и не различая еще в слишком слабо освещенной комнате посторонних людей.

— Опоздал, друг любезный, опоздал! — кивал головою старик с какой-то злорадной иронией, — очень жаль, но что же делать, на себя пеняй, — опоздал... Надо бы раньше было, то-

гда б удалось, а теперь опоздал... опоздал...

— Ваше благородие! — раздался голос Гречки. — Что ж тут таиться. Пишите показание, повинен, мол; а вот и сообщник мой, — прибавил преступник, нагло указав на Вересова, — чай, сами изволили слышать, что пришел мою жилетку выкупать?

Вересов ничего еще не понимал, но уже догадался, что здесь, должно быть, произошло что-нибудь недоброе, страшное. Вспомнил он, что, проходя переднюю, слышал стоны кухарки; теперь же — видит полицию и связанного человека. Он побледнел, смутился и, ослабев, опустился на стул.

— Пишите же, ваше благородие, пока на меня такой стих нашел, а буде не запишете, так раздумаю и откажусь, пожалуй! — торопил Гречка, в уме которого, при входе Вересова, блеснула такая мысль: «Махну-ка, что молодец, мол, сообщник мой! Отец авось не захочет подымать на родного сына уголовщину и потушит дело, по крайности цел отвертишься». Как задумал, так и махнул!

— Пишите же, ваше благородие, — понукал он, — хоша от вашего акта завсегда в *не*

могу-знайку можно отыграться потом; одначе ж, так как ваша милость при этой оказии ни одной зуботычины мне не закатили, так хочу я по крайности уважение оказать вам: пущай вам за поимку вора Гречки награду пожалуют! Пишите, что в субботу вечером мы с сыном ихним вот на лестнице внизу на убивство уговор держали.

Вошли понятые, между которыми находился и приказчик из мелочной лавки. У Гречки сделан обыск, причем найдено: за голенищем — большой складной ножик, как видно, весьма недавно наточенный; в карманах — небольшой железный ломик с заостренным концом и рублевая бумажка. Во время дознания, в суете, эта бумажка куда-то вдруг исчезла, затерялась, так что никак не могли отыскать. Она покоилась за пазухой Морденки, который, воспользовавшись удобной минутой, очень ловко стащил ее со стола, при мысли, что «вот, мол, ты убить меня хотел, так вот же тебе».

Кроме Осипа Гречки, о случившемся происшествии показали: с. — петербургский мещанин Осип Захаров Морденко, что «воспи-

танник» его был всегда груб, дерзок и непочтителен, что он, Морденко, подозревает его, Вересова, в злом умысле на себя, потому что он закладывал вещи вместе с Гречкой, как видно из собственноручной расписки их в записной книге.

Выборгская мещанка Христина Ютсола, согласно Морденке, показала: что самолично впускала и выпускала из квартиры Ивана Вересова с неизвестным ей человеком, за которого она, однако, ясно признает Осипа Гречку.

Дворник дома видел, как в субботу вечером Морденко встретился у ворот с Вересовым и как они, поговорив между собою, вошли в калитку, а непосредственно за ними вошел в ту же калитку высокий человек в коротком пальто. Около часу спустя он же, дворник, выпускал из калитки Вересова с высоким человеком и видел, что спустились они в мелочную лавочку, откуда вскоре выйдя, дружелюбно между собою распрощались и пошли в разные стороны. В высоком человеке дворник признает Гречку.

Приказчик мелочной лавки заявил, что приходившие к нему два человека, в коих он

ясно узнает Вересова и Гречку, купили по фунту ситного хлеба и колбасы, меняли трехрублевую бумажку, сдачей поровну разделились между собою, съели купленные ими припасы, причем разговор шел о посторонних предметах, и наконец, дружелюбно простясь, удалились из мелочной лавки.

— Что вы на это скажете, молодой человек? — в начальственно-менторском духе отнесся к Вересову надзиратель.

— Что показания кухарки, дворника и сидельца — сущая правда, — отвечал Вересов голосом, который, видимо, старался сделать спокойнее. Он был очень бледен и слегка дрожал.

— Стало быть, вы при свидетелях чистосердечно признаете себя виновным?

— Нет, я не виновен, — с твердым убеждением возразил молодой человек.

— Тут есть явное противоречие, по крайней мере так учит нас логика, — заметил надзиратель, многозначительно шевельнув толстыми бровями, и, приняв свою повелительную осанку, официально звучным голосом проговорил Вересову:

— Именем закона — вы арестованы!

По этой фразе читатель может судить, что сокол в часы досуга был любитель французских романов, из коих и почерпнул свое «имя закона», которым очень любил эффектно поражать в иных подходящих случаях.

XIV
НОВАЯ ГЕРОИНЯ

В уютном и хорошо убранном будуаре горел камин. Языки красного пламени кидали мигающий, колеблющийся отблеск на стены и потолок, с которого спускался посредине комнаты шаровидный фонарик, разливая мягкий матово-синий полусвет на близстоящие предметы.

Перед теплым камином, развалясь в кресле и протянув ноги к решетке, сидел молодой кавалерист и как-то тупо, без малейшего оттенка какой-либо мысли, смотрел на огонь. Видно было, что его донимала одуряющая скука. Сидел он почти неподвижно и только изредка барабанил по ручке кресла своими удивительно обточенными ногтями.

Позади его, на покрытой дорогим ковром кушетке, лежала молодая женщина и рассеянно рассматривала английский кипсек, облокотясь на свои белые, тонкие, аристократически очерченные руки. Она была бледна или, быть может, только казалась бледною от беспрестанной игры на ее лице света и тени, мгновенных отблесков красного пламени и синего отлива лучей висячей лампы. Светло-русые кудри порою падали ей на лицо, затрудняя рассматривание картинок, тогда она встряхивала красивою головкой и открывала правильный овал миловидного, симпатичного лица, оживленного нетерпеливо-досадливою минкой маленьких губ и таким же выражением в ярких, больших голубых глазках. Во всей ее фигуре сказывалось что-то бесконечно детское, начиная с этих недоразвившихся форм и кончая наивно-капризной игрою лица и движений, которые замечаются у хорошеньких, балованных девочек. Она казалась слабым, тонким, грациозным ребенком, а между тем ей было уже двадцать лет. Глаза ее как-то машинально блуждали по раскрытому кипсеку и порою с мимолетным выражением

тоскливой грусти останавливались на молодом человеке, который вовсе не обращал внимания на ее присутствие, казалось, даже совсем не замечал ее, словно бы ее и в комнате не было, и продолжал себе тупо глядеть на уголья да барабанить по ручке кресла. По глазам этой женщины можно было заметить, что она очень еще недавно плакала.

Часа полтора между ними длилось глубокое непрерывное молчание, и чем дальше тянулось время, тем чаще и тревожнее взглядывала молодая женщина на своего сомолчальника; наконец не выдержала: тихо поднявшись с кушетки и надев мимоходом давно упавшую с ноги туфлю, она подошла к спинке кресла, на котором сидел кавалерист, и облокотилась на нее, наклонив к нему свою головку так, что тихо качавшиеся кудри ее с легким щекотанием коснулись его красивого лба. Этим шаловливо-кокетливым движением она думала пробудить внимание молодого человека, но он только отмахнул их рукою, как отгоняют надоедливую муху, и по-прежнему продолжал тихо барабанить.

Женщина затаила дыхание и через его го-

лову заглянула в каминное зеркало, стараясь поймать выражение его лица и встретиться там с глазами молодого человека. Но глаза все так же тупо были устремлены в камин, и на красивой, хотя и несколько поношенной физиономии все так же не появлялось ни малейшего присутствия мысли... женщина пожала плечами и с немой тоской огляделась вокруг. Но в ту же минуту, поборов в себе это проявление тоскливого чувства, попыталась весело улыбнуться, и, неожиданно запустив свои тонкие пальцы в волосы молодого человека, загнула назад его голову и звонко поцеловала его в лоб.

— Машка... Что это за телячьи нежности... — апатично пробурчал он себе под нос, скосив глаза и в новом положении своей головы все в тот же огонь камина, как будто там открывалось для него нечто особенно интересное.

Женщина тотчас же опустила руки и минуту стояла в самом нерешительном раздумье.

— Что ты сегодня опять такой хмурый? — наконец произнесла она несмелым голосом, в

котором дрожали слезы и душевное волнение.

— Скучно… — сказал кавалерист, зевая и даже не взглянув на нее.

— Скучно… хм… прежде не было скучно… а теперь… Бог с тобой, Володя! — сорвалась у нее тихая, подавленная укоризна.

Кавалерист досадливо цмокнул языком.

— Послушай, Мери, ты, право, надоела мне со своими вздохами! — нетерпеливо проговорил он. — Все одно и то же — это черт знает что, наконец!.. Сперва я не скучал с тобою, а теперь скучаю — что ж из этого!.. Пожалуйста, не говори мне больше таких глупостей: это несносно!

Мери, насильственно задержав в груди прерывистый вздох, молча отошла от его кресла и села на свое прежнее место… В глазах ее показались слезы.

Минуты через две кавалерист вдруг обернулся.

— Ну да!.. так и знал! — проговорил он с сильной досадой. — Опять слезы… Чего же ты хочешь от меня, наконец?.. Кажется, все есть: сыта, одета, долги по магазинам заплачены —

чего еще? Чего хныкать-то? глаза на мокром месте устроены? Или прикажешь мне лизаться с тобою, что ли? Это скучно и глупо... прощай!

— Куда же ты?.. Останься! — стремительно кинулась к нему с нежной мольбою молодая женщина, стараясь заградить дорогу к двери. — Останься... полно!.. ну прости меня, ну, я... я буду весела!.. Куда же ты?

— К Берте: она пикник дает сегодня — все наши будут, — равнодушно проговорил он, зашагав — руки в карманы — по комнате.

— К Берте... — почти бессознательно повторила она, совершенно убитая, стоя посреди комнаты.

— Нда-с, к Берте! — не без язвительности подтвердил он, и через минуту, как бы собравшись с духом, начал: — Послушайте, милейшая моя Марья Петровна, я хочу объясниться с вами окончательно. До сих пор я был настолько деликатен, что говорил одними только намеками; но вам неугодно было понимать их — так теперь я стану говорить с вами прямо.

Мери, стоя на прежнем месте и нервиче-

ски не отымая от угла губ своих скомканный батистовый платок, изумленно глядела на него во все свои большие глаза.

— Мне этих сладостей от вас не нужно, — продолжал он, — если угодно играть в буколику, так играйте с кем-нибудь другим, а не со мной. Мне нужна не идиллическая любовница, а содержанка, камелия — понимаете ли? — ка-ме-лия! Этого требует мое положение в полку и обществе. Так если угодно, чтобы наши близкие отношения продолжались, — извольте одеваться и ехать со мною в общество камелий, а нет — так черт с вами!

Последнее оскорбление было уже чересчур велико. Сильно закусив нижнюю губу, чтобы не выдать наружу все то, что происходило внутри, Мери тихо отошла к своей кушетке и машинально села на прежнее место.

Кавалерист прошелся еще раза два, искоса кидая взгляды на молодую женщину, и, круто повернувшись, вышел из комнаты.

Мери чутко прислушивалась к его удалявшимся шагам. Через минуту она услыхала стук затворившейся за ним двери — и долго подступавшие к горлу рыдания прорвались

наконец наружу.

«Так неужели же все, все уже кончено?» — буравил мозг ее неотступный вопрос, и ничто не давало на него утешительного ответа.

XV
ИДИЛЛИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ПЕТЕРБУРГА

Петербург имеет свои идиллические страны; целый квартал этого холодного, промышленного, официального города взялся с давних времен разыгрывать роль петербургской Аркадии и не без успеха фигурирует в своем амплуа, убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь в одном укромном уголке имеет-таки буколическую сторону.

Страна эта лежит на юго-западной оконечности обширного острова, известного во времена допетровские под именем Койвисари, а в послепетровские — под именем стороны Петербургской. Граничит эта вышеназванная буколическая страна: к северу — речкой Карповкой, к югу — речкой Ждановкой, к западу — Большой Невкой. В полиции известна

под именем второго квартала Петербургской части; у извозчиков и старожилов — под именем Колтовской. Изобилует многочисленными породами чиновников, от коллежского регистратора до надворного советника включительно, кои подразделяются на бегающих к отправлению служебных обязанностей и не бегающих, то есть покоящихся в лоне семейств по окончании поприща служебного. Обитательницы в большинстве своем оказывают пристрастие к кофею и чесанию языка, обыкновенно насчет ближнего своего или насчет благоверного, не в пору загулявшего «среди долины ровныя, в компании прохладной». Достопримечательности страны: колтовский Спас — очень древняя деревянная церковь, дача с жестяным куполом и еще другая дача, нынче совсем почти заброшенная, зато весьма блиставшая в первой четверти девятнадцатого столетия. Колтовские старожилы помнят еще необыкновенной вышины шест, принадлежавший к этой даче: на него в известное время выкидывался флаг, который можно было видеть за несколько верст — из окон домов Дворцовой набережной. Теперь

уж ничего этого не осталось; дача принадлежит другому владельцу, строение все более и более приходит в ветхость, сад заглох, запустел... одна только деревянная мостовая (тоже достопримечательность Колтовской), служащая ныне на пагубу извозчичьих дрожек, напоминает собою местным жителям то время, когда процветала покинутая дача, когда гремела там знаменитая роговая музыка и с нею вместе вся страна Колтовская.

15 сентября 1864 года Колтовская торжественно праздновала свое обновление: она вымостилась. До этого же времени, без сомнения, составляющего важную эпоху в жизни Колтовской, узенькие улицы и закоулки ее представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовеки не высыхающей грязи. Были места, в которые ни один извозчик не соглашался везти вас, какую бы вы плату ни давали — из опасения застрянуть среди колтовских грязей, где для пешехода требовались особенное искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кое-как пробраться вдоль стен, цепляясь за ставни и заборы. Зато, однако, и по сю пору отважный путеше-

ственник-исследователь может открыть такие улицы и переулки, в коих не имеется ни одного строения. За забором с одной стороны — какой-нибудь бесконечный огород; с другой — вечно дремлет заглохший, тихий сад, безмятежный притон тысячи ворон и галок, о чем свидетельствуют их неуклюжие черные гнезда на высоких березах и пронзительные крики с тревожными перелетами под сумеречную пору. Если бы вы спросили меня: проезжал ли когда по такой улице хоть один экипаж? — я почти с уверенностью отвечал бы вам: нет; потому — за каким чертом и кого понесет нелегкая в эту безлюдную трущобу? На улице — ни малейших следов колесной колеи: зимой она занесена глубоким, полутораааршинным снегом, летом — сплошь покрыта обильною растительностью: лопухами, колючим репейником, травою, которая служит безвозмездною пищей для двух-трех коров, неизвестно кому принадлежащих, да для рыжей свиньи с поросятами. Кроме этой дачной публики вы никого не встретите на такой улице — хоть простойте там от зари до зари.

Колтовская — по преимуществу страна дворянская, семейственная, тогда как, например, Спасская, бывшая третья Адмиралтейская часть города, — по преимуществу плебейская и холостая. В Колтовской, как уже сказано выше, мирно живут всевозможные чиновники со чады и домочадцы. Пройдите хоть по любой улице — и наворотные дощечки поминутно будут гласить вам: дом коллежского секретаря Миронова, дом жены титулярного советника Агафьи Ивановны Упокойкиной, дом надворного советника и кавалера Пахомова и т. д., и т. д. Даже вид самых строений отличается буколически-семейственным характером: маленькие домики в три или пять окон, с мезонином, с зелеными ставнями, с неизменным садиком и цепной собакой во дворе. В окнах, за кисейными занавесками, увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайскою розою, какую-нибудь канарейку или чижа в клетке — словом, куда ни обернись, на что ни взгляни — все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патриархальной. Есть даже такие семейства, которые и знать ни о

чем, кроме Колтовской, не хотят, — которые роднятся, кумятся и женятся между собою, между своими коренными колтовчанами. Это — мир совершенно особый, замкнутый, почти совсем изолированный от остальной городской жизни; спокойствие его несколько возмущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники; во все же остальное время безмятежный мир и тишина царствуют над колтовской страной.

В этой-то буколической стране обитал один из вечных титулярных советников Петр Семенович Поветин, с женою Пелагеей Васильевной. Супруги были однолетки, то есть каждому по шестидесяти пяти (в эпоху последних событий нашего рассказа), и казалось, что они в один час зачались, в один родились на свет и в один должны сойти со света. Мне нигде не приводилось встречать пары, более созданной друг для друга, чем Петр Семенович с Пелагеей Васильевной. Оба кругленькие, маленькие, у обоих кожа на лице лоснится красненьким румянцем, и все это лицо как-то постоянно улыбается: улыбаются

глаза, брови, ноздри, щеки и губы, так что при взгляде на Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной вы сами невольно улыбнетесь и подумаете: «Господи, какие это бесконечно добродушные люди!» Действительно, бесконечное добродушие было отличительным качеством этой четы; все знакомые и соседи звали их не иначе как голубками, и только некоторые сатирические умы к голубкам прилагали эпитет «сизоносые» — эпитет совсем неосновательно сатирический, ибо если носы Петра Семеновича и его супруги и отличались наряду с пухлыми их щечками некоторою приятною красноватостью, то виновата в этом была одна только создавшая их природа, а никак не та всеобщая причина, что сандалит нос у человека пьющего. И Петр Семенович, и Пелагея Васильевна испивали в количестве весьма умеренном: по рюмке сладкой наливки за обедом было совершенно достаточно для того, чтобы увеселить сердца их. Рюмка — это была положенная мера, далее которой никогда не переступали супруги. Зато если неоснователен был эпитет, то самое название — «голубки» — придалось им как

нельзя более кстати. Оба супруга принадлежали к коренным, исконным колтовчанам, то есть в Колтовской родились, выросли, встретились, слюбились, повенчались и, повенчавшись, зажили себе помаленьку, в ненарушимом мире и согласии. Сожительствовали они уже около сорока пяти лет, разлучаясь друг с другом только на то время, пока Петр Семенович обретался в должности, за канцелярским столом, в месте своего служения, и во все долгое время этого супружества соседи их решительно не запомнят, чтобы между Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной вышла когда какая-нибудь ссора или неудовольствие: они вечно оставались довольны друг другом, ибо общность желаний, помыслов и стремлений столь была велика между ними, что решительно невозможно придумать даже малейших поводов к возражениям и размолвке с той или другой стороны. Жили они, что называется, «своим домком», в наследственном домике Пелагеи Васильевны. Домик был маленький, деревянный, с мезонинчиком. Комнатки походили скорее на клетушки; но клетушки эти отличались

необыкновенным уютом, домовитостью, опрятностью, так что в них именно «жилось», тогда как часто в больших и хороших квартирах «не живется», хотя, казалось бы, весь комфорт, все удобства с изысканной предупредительностью сосредоточены в них, так что только бы жить да жить, а все-таки, глядишь, не живется почему-то... Какие-то невидимые лары и пенаты покровительствовали маленькому домику в Колтовской и берегли его спокойствие. На дворе, охраняемом цепной Валеткой, сосредоточивалось все обиходное хозяйство Пелагеи Васильевны: тут были и сарайчики, и чуланчики, и коровничек для буренки, и ледничок для сливок и всякой живности. Тут же в корыте, врытом в землю, безмятежно полоскалось семейство утят, чесался о забор и хрюкал откармливаемый поросенок, рылись в навозной куче куры, пользовавшиеся особенной симпатией домовой хозяйки, которая каждой из них даже отдельное имя присвоила: тут были и Чернушка с Рябушкой, и Хохлушка с Мохноножкой, и Ушатка, и Желтошейка. Конечно, всю эту живность гораздо удобнее можно бы было заку-

пать на Сытном рынке, но Пелагея Васильевна редко хаживала в рынок — она именно любила «свой домок», свое собственное хозяйство. С другой стороны к надворным строениям примыкал тенистый садик, в котором Петр Семенович копал грядки, сажал кукурузу, постоянно не удававшуюся, и табак, тоже не достигавший полного роста. Тут же у него произрастали разнородные маки, шпанская земляника с клубникой, турецкие бобы и огурцы, пышные подсолнечники и дыни. Петр Семенович собственноручно смастерил, во-первых, маленькую тепличку, а во-вторых — сколотил стол и настлал дерновую скамью под группой трех плакучих берез. В двух-трех клумбах являлось царство резеды, левкоя, настурции, георгины и мальвы, а далее шли яблонька и кусты малины, смородины и крыжовника. Шестого августа, когда Колтовская празднует свой приходский праздник, Петр Семенович собственноручно снимал с яблони лучшие плоды и нес их «на освящение плодов земных» к Спасу к обедне. Все оставшиеся засим яблоки Пелагея Васильевна мочила с брусникой, приуготовляя на зиму

салат к жаркому. Малина со смородиной шла у нее на изготовление наливок, которые выходили отменно вкусными из-под опытной руки колтовской хозяйки.

Жизнь этой четы протекала с невозмутимым однообразием: вчера — как сегодня, сегодня — как вчера. Утром — встанут себе с петухами, умоются, причешутся. Богу помолятся и подходят к столу, где уж кипит светлый самовар и ждет разливки кофе в жестяном кофейнике.

— Здравствуйте, попочка!

— Здравствуйте, цыпинька!

Петр Семенович целует ручку Пелагеи Васильевны; Пелагея Васильевна, наоборот, — ручку Петра Семеновича, засим поцелуются в губы и садятся подкреплять свои силы.

С первых же дней счастливого супружества они почтили друг друга разными кличками, и эти клички оставались за ними неизменно до конца их жизни.

— Вы, попинька, что желаете нынче к обеду?

— К обеду-та? а зажарьте мне, цыпленок мой, курочку с грибками да спеките ватруше-

чек с лучком.

И к обеду непременно являются означенные блюда.

Когда рюмка наливки взвеселит сладкие сердца престарелых супругов и они, возблагодарив создателя своего милостивого за насыщение их благами земными, поцелуют ручки и губки друг друга, глаза их увлажняются приятно-веселою негою, и нега эта вызывает новые разговоры:

— Попушка любит свою цыпиньку?

— Любит.

— Очень любит?

— Очень.

— Да?

— Да!.. А цыпинька любит попушку?

— Любит.

— Очень?

— Очень.

— Милая попушка!

— Славный петушонок мой!

И засим новое лобзание, весьма нежного супружеского свойства.

Странно судьба распоряжается с людьми: она не может дать им полного счастия и все-

гда вставит в жизнь человеческую какую-нибудь вечную колючку, которая имеет назначение отравлять собою источник человеческих радостей. Это ироническое отношение судьбы отразилось и в жизни колтовской четы добродетельных супругов. Трудно бы было найти двух людей, более их расположенных к супружеской, семейной жизни, более их желавших плодиться, размножаться и населять землю, и — увы! — этому заветному желанию никак не суждено было исполниться. Но от первых до последних дней своего супружества Петр Семенович с Пелагеей Васильевной не переставали утешать себя тщетной надеждой, что авось, Бог даст, у них что-нибудь и родится.

— Попушка! — скажет, бывало, иногда Пелагея Васильевна с застенчивым и таинственным видом, положа руку на плечо супруга, — милушка мой, кажется, меня поздравить надо.

— Ну да, толкуй, — ухмыльнется Петр Семенович, приучившийся уже в течение тридцати пяти лет понимать, к чему обыкновенно клонит такой приступ у его дражайшей поло-

вины, а самому так вот и хочется всем сердцем, всей душою поверить в истину слов ее.

— А что ж, разве невозможно? — возражает престарелая Бавкида. — И по писанию даже возможно выходит! Вспомните-ка про Захарию и Елизавету да про Авраама с Сарой?

— Ах вы, глупушка-попушка! так ведь на то они и патриархами нарицались и обитали в Палестине, а мы с вами в Колтовской, — вот вы и сообразите тут.

— Что ж, по человечеству все едино выходит... Опять же я чувствую...

И оба ухмыляются, необыкновенно довольные друг другом.

— А как назовем-то мы новорожденного? — спустя несколько минут начинает Петр Семенович, которого так и подмывает свести разговор на достолюбезную ему тему.

— А уж конечно, под число: под какое число родится, под такого святого и назовем.

— А я желаю Петром назвать... Пусть его Петр Петрович будет!

— Ну да! что и говорить! Разве не знаете, что коли по отцу назвать, так ребенок несчастливый уродится?

— Это все пустяки одни: вон у нас в департаменте Фома Фомич по отцу назван — а какой счастливый! В ранге статского состоит, начальник отделения...

— Ах, вот что, цыпинька! — восклицает Пелагея Васильевна таким тоном, словно бы сделала Архимедову находку. — Окрестим-ка его Фомой, в честь Фомы Фомича! Пускай он будет такой же счастливый! Опять же и для начальства это очень лестно, что в честь его младенца нарицают, — все-таки видно, что чувствует человек.

— Вот что дело, то дело, старуха! — соглашается наконец Петр Семенович, и засим начинаются разговоры о приданом для новорожденного. Впрочем, Пелагея Васильевна на сей конец давно уж обеспечена: у нее бог весть с каких пор еще нашито всего вдоволь: и пеленок, и распашонок, и одеяльце, и подушечка, — все это уже до малейшей подробности сообразил ее предусмотрительный ум, обо всем она позаботилась, все это имеется у нее в наличности, в комоде; одного только нет — новорожденного... Для нее истинное наслаждение составляло перебирать, пере-

сматривать по временам имущество будущего ребенка и ремонтировать его, заменяя новыми погнившие от долговременного лежания вещи. Это была ее заветная мечта, самое заветное наслаждение, источник надежд, ожиданий и огорчений от слишком продолжительной несбывчивости этих надежд. Но главное утешение все-таки в том, что Пелагея Васильевна до конца дней своих не переставала с убеждением мечтать об осуществлении в своей особе новой Сары, которая произведет на свет нового Исаака. Об этой заветной мечте знали все соседи, вся улица, и при удобном случае, покачивая головой, непременно замечали:

— Экие чудасеи, прости Господи, согрешение одно с ними, да и только! До старости дожили, зубы все почитай стерли, а все еще амурятся... Голубки, одно слово!

Петр Семенович с Пелагеей Васильевной весь избыток своих матримониальных чувств по необходимости изливали на чужих, посторонних детей, один вид которых производил в них сердечное умиление и сокрушенный вздох о собственном бесчадии. И дети

необыкновенно любили их: они, как собаки, инстинктивно чуют добрую душу. Бывало, летним вечером выйдет Петр Семенович на улицу, запросто, по-домашнему, в стареньком халатике, усядется за воротами на скамеечке — и гурьба ребятишек, гляди, вокруг него трется. Мастерит он им петушков бумажных, строгает какую-нибудь палочку, кораблик делает; а Пелагея Васильевна, которая успела уже, нарочно по этому случаю, набить карманы пестрыми лоскутками и каким-нибудь сладким домашним печеньем, с нежностью оделяет ими каждого мальчугана и каждую чумазую девчонку.

В 1837 году жила на даче в Колтовской одна особа, которую в околотке все звали «генеральшей». Генеральша по соседству познакомилась случайно с «голубками». Хотя знакомство это состояло в перекидке двумя-тремя словами в течение всего лета да в поклоне при встрече на прогулках, однако генеральша знала о сокрушении голубков по поводу бесчадия и видела их нежную любовь к посторонним детям. На следующий год, в одно ве-

сеннее утро, у ворот маленького домика остановилась щегольская карета, из которой вышла все та же блистательная генеральша и, к крайнему удивлению и переполоху буколических супругов, вошла в их парадную клетушку, носившую обычное наименование «залы». Генеральша предложила им — не желают ли они взять к себе на воспитание маленькую девочку, за которую она будет платить им ежегодно по двести рублей серебром. Предложение это принесло Поветиным радость великую, придясь как нельзя более по сердцу, так что они немедленно же изъявили полное свое согласие. Тогда генеральша вынула назначенную сумму и взяла с Поветиных расписку в получении — «за воспитание девочки». В тот же день, к вечеру, в квартире их поместилась, в мезонинчике, маленькая люлька рядом с кроватью для мамки — и домик огласился пискотней ребенка, необыкновенно гармонически услаждавшей слух чадолюбивых супругов.

— А не правда ли, цыпушка, веселее как-то стало? — умилялся Петр Семенович, — и канареечка на окне щебечет, и ребенченок гу-

лит.

И цыпушка от души соглашалась с мнением своего супруга.

Девочку окрестили и назвали Марьей. Кажется, незачем говорить о том, что росла она в холе, в тепле да в довольстве, что ей все в глаза глядели и наглядеться не могли.

Ежегодно у ворот колтовского домика останавливалась генеральская карета, что на целый день подавало тему для соседских разговоров: генеральша привозила условную плату за воспитание, брала расписку и проведывала девочку. Каждый раз она оставалась не более десяти минут, и, несмотря на то что Пелагея Васильевна как угорелая начинала метаться из комнаты в кухню и из кухни в комнату, торопясь приготовить кофе для дорогой гостьи, дорогая гостья ни разу не соблаговолила отведать его под кровлей Пелагеи Васильевны.

— Что ж это такое, попчик мой, — с неудовольствием замечала Пелагея Васильевна по уезде генеральши, — никогда-то моего угощения принять не хочет, словно брезгует... Уж

право, мне это не по сердцу... У покойницы матушки (царство небесное!) примета была, коли уж от радушного хлеба-соли человек отказывается — недобрый он, значит, человек...

— Ну, глупел вы эдакой! — миролюбиво ответствует Петр Семенович, торопясь потушить восстающие в сердце супруги сомнения, хотя сам вполне чувствует то же. — Не видала она, что ль, нашего кофею! У нее — чу, такой, какого мы с тобой и отродясь не пивали, у нее — мокка аравийская, а у нас — цикорий... А все ж она доброе дело нам сделала, что девчонку-то отдала: жизнь-то ведь скрасила.

И действительно, это было единственное доброе дело, сотворенное генеральшей фон Шпильце, которая, впрочем, отдавая ребенка, о добрых делах и не воображала, а думала только о том, как бы, в уважение просьбы князя Шадурского, поудобнее пристроить его подкидыша.

Пелагея Васильевна каждый раз выводила Машу напоказ генеральше — и генеральша, гладя ее по головке и целуя в розовую щечку, не без удовольствия про себя замечала, что девочка все более выравнивается и хорошеет.

Однажды, когда ей пошел уже семнадцатый год, Амалия Потаповна с особенным вниманием оглядывала наружность воспитанницы и, выслав ее из комнаты, очень заботливо обратилась к Пелагее Васильевне с советом: беречь и хранить как можно строже ее нравственность, чтобы не вздумала влюбиться, потому — она уже девушка на возрасте... Пелагея Васильевна даже несколько оскорбилась этим предостерегательным советом.

— Что ж, сердце девическое! — возразила она. — Полюбит — так запрету не положишь; на то теперь и годы ее такие. А коли самое полюбит хороший человек, так и замуж возьмет.

На это генеральша с уверенностью заметила, что она сама знает, за кого Маше следует выйти, и «сама будет отыскивать ей хороший жених».

«Впрочем, она еще почти ребенок... слаба... мало развита — надо подождать еще: пускай вполне разовьется — так лучше станет; да и пристроить ее надо повыгодней, половчей», — мысленно рассуждала Амалия Потаповна, уезжая от Поветиных.

Маша с первых еще лет как-то инстинктивно, по-детски не возжаловала генеральшу; хотя Пелагея Васильевна и говорила ей, что ее «надо любить, потому — она ей благодетельница», но Маша как-то туго понимала это и оставалась при своем безотчетном нерасположении к Амалии Потаповне.

У нее было мягкое, доброе сердце, которому, впрочем, мудрено бы было и сделаться иным посреди окружающей обстановки — в образе Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной. С десятилетнего возраста Машу стали водить в пансион, который держала на Большом проспекте одна старушка француженка из отставных гувернанток, и эти пансионские годы продолжались у нее до семнадцатилетнего возраста. Стало быть, она училась «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», как учатся вообще наши русские девушки. Впрочем, Пелагея Васильевна приходила в неописанный и даже несколько горделивый восторг, видя, как ее «дочурка» читает разные книжки, «и даже по-французскому; а говорит-то, говорит с мадамой — хоть ни словечка не понимаешь, а сердцем чувствуешь, что

говорит хорошо: без запиночки, эдак складно выходит». Так повествовала Пелагея Васильевна всем своим соседям, не упуская малейшего удобного случая распространиться перед кем бы то ни было об успехах своей воспитомки.

Петр Семенович очень любил «почитать что-нибудь», а Пелагея Васильевна «послушать книжку занимательную». Бывало, под вечер, вставши от послеобеденной высыпки, усядется он за большой «аппетитной» чашкой чая и примется читать вслух, а Пелагея Васильевна с Машей вяжут чулок либо штопают что-нибудь и слушают чтение Петра Семеновича. А Петр Семенович читал всякие книжки, какие только под руку попадались: и «Юрия Милославского», и «Трех мушкетеров», и разные аббатства с таинствами Анны Редклиф, и водевиль «Жена или карты», и Гоголя, и старый истрепанный нумер «Современника» либо «Отечественных записок», — все это поглощалось им с равным удовольствием. Маша, глядючи на него, тоже полюбила чтение, и читала с наслаждением, с увлечением непосредственного читателя все без разбору.

Это, конечно, не прошло без весьма значительной доли влияния на ее внутренний мир и впечатлительное воображение. Маша всей душой любила свою мирную, тихую, безвестную жизнь с отцом и матерью — так называла она своих воспитателей, которые в двадцать лет безраздельной жизни до того сроднились с нею, что привыкли думать, будто она и взаправду их собственная родная дочь, будто ничто в мире разлучить их не может. У Маши была в мезонине своя отдельная девическая келья, окошками в садик, и в эти окошки засматривали ветви березы и лапчатые листья клена, сквозь которые, бывало, пробивается по весенним утрам горячий луч солнца и обливает комнатку зеленовато-золотистым светом. Комод с зеркальцем и несколькими книжками, бонбоньерка, бюстик Наполеона, железная кровать под белым тканьевым одеялом да столик со множеством коробочек и блюдечек с разными семенами, которыми был заставлен и подоконник, рядом с двумя-тремя горшками цветов, — вот и вся обстановка, являвшая скромную горенку молодой девушки. Но в этой скромной горен-

ке жилось беззаботно и счастливо: в ней и молилось по душе, и мечталось по сердцу, и работалось по воле.

А между тем незаметно подступила и та пора, когда впервые смутно, бессознательно начинает ощущаться потребность чувства, потребность молодой жизни, молодой любви... И чувствовала Маша, что душа чего-то просит, как будто чего-то недостает ей, а чего недостает ей, чего просит она — Бог весть!.. Нет ясного ответа. Она поняла только, что внутри ее произошел какой-то переворот, но не поняла еще его сущности, не могла еще ясно сознать его и поневоле таила в себе эту смутную просьбу девической души.

Года два спустя после известного уже читателю разговора о хорошем женихе и строгом сбережении девической нравственности генеральша внезапно появилась в квартире Поветиных и безапелляционно объявила, что срок воспитания кончен, что теперь настало время, когда она может взять Машу к себе, поэтому пусть ее сейчас же одевается и едет.

Слова эти громом пришибли стариков. Они растерялись, побледнели и в первую ми-

нуту даже не поняли хорошенько, о чем это говорит генеральша, и возможно ли на самом деле, не в шутку, такое объявление с ее стороны. Однако генеральша не чувствовала в себе расположения к шуткам, ибо ею руководили весьма важные побуждения относительно Маши, и во имя этих побуждений ничто уже не могло изменить ее намерения.

— Матушка!.. Ваше превосходительство!.. не обидьте вы нас, стариков! — со слезами умоляли ее Поветины. — Не надо нам ваших денег... Мы вам отдадим... у нас есть одна тысчонка в сберегательной, да сгоношимся еще кое-как, продадим кое-что — все деньги, что потратили вы на нее, с радостью выплатим вам — только не берите вы ее от нас... Пожалейте вы нас, матушка!..

Пелагея Васильевна, совсем растерявшись от неожиданного горя, даже в ноги кланялась генеральше, руки ее целовала — но все было напрасно: воля Амалии Потаповны осталась неизменной. Она сказала, что везет Машу к отцу и матери, что теперь подошли такие обстоятельства, когда ее настоящим родителям уже незачем скрываться и можно взять ее от-

крыто в свой дом, что для счастия самой Маши это необходимо, что родители, наконец, имеют на нее законное право, так как Маша находилась у Поветиных только на воспитании за деньги, в чем имеются их собственноручные расписки, и, следственно, никаких больше разговоров по этому поводу быть не может.

— Что ж, матушка Пелагея Васильевна, — решительно, хотя и с великой грустью начал старик Поветин, обратясь к жене, — видно, уж так Богу угодно... надо смириться... Коли родители свое детище к себе взять желают, так нам с тобой грех противиться сердцу родительскому!.. Дело-то уж оно больно святое да кровное... Тяжело — что делать! — а надо... надо... Ступай, собирай дочурку...

И у старика побежали по щекам горькие слезы: в эту минуту он отрывал у себя самый больной и самый заветный кусок своего сердца.

Генеральша предложила им сто рублей в награду, но старики наотрез отказались принять эти деньги и только умоляли об одном, чтобы им позволено было навещать Машу у

родителей. Генеральша охотно изъявила свое согласие и даже обещала сама заехать за ними и свезти их дня через два или три, когда все уже устроится для Маши в ее новом положении. Молодая девушка совсем обезумела от горя. Она привыкла думать, что живет с родными отцом и матерью, а тут вдруг оказываются какие-то новые... Да и правда ли еще все это? Ей что-то больно не верилось этой генеральше, в отношении которой у нее еще с детства закралось антипатичное чувство. Она и теперь как-то невольно чуяла, что не быть ничему доброму из этой разлуки, из этой внезапной перемены жизни. Но — делать нечего: в слезах, почти без чувств, почти совсем больную положили ее в генеральскую карету; дверца захлопнулась, и колеса грузно потащились по клейким колтовским грязям.

У ворот стояли двое стариков. Пелагея Васильевна дрожала как в лихорадке и бессмысленно глядела по сторонам каким-то убитым, пришибленным взглядом; Петр Семенович смотрел вослед удалявшейся карете и долго еще осенял ее крестными знамениями. Соседи выглядывали из окон и форточек, делая

догадки и соображения: что бы это такое могло у сизоносых случиться?

XVI
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Делами князей Шадурских заправлял некто Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский, надворный советник и кавалер двадцатилетнего беспорочия и ордена святого Станислава третьей степени. Толстенький старец был многоученый энциклопедист по части сутяжничества, крючкотворства, стряпчества, фанатизма, администратизма и тому подобных высокопрактических предметов. Делишки свои обделывал необыкновенно тонко и кругло. Поступил к Шадурским непосредственно после Морденки и в течение двадцатилетнего бескорыстного служения интересам княжеской фамилии исподволь сколотил себе капитальчик тысяч во сто. Княжеская фамилия во многих критических казусах обращалась непосредственно к Полиевкту Харлампиевичу, который и ссужал ее из собственного кармана самым благодушнейшим

образом, зная, что первые деньги, проходящие прежде всего через его собственные руки, первому ему же и пойдут в уплату. Он был знаком со всем светом, ибо в каждом провидел «нужного человека», который — рано ли, поздно ли — на что-нибудь да пригодится. Любил слушать конюшенных и почтамтских певчих, из храмов же предпочитал — Казанский. В мире искусства отдавал преимущество высоким трагедиям, с большой похвалой относился о «Жизни игрока», «Велизарии» и «Руке Всевышнего», которая отечество спасла, не без гордости присовокупляя при этом, что во время оно даже лично знавал Нестора Васильевича Кукольника и многих сочинителей. Из газет любил «Пчелку»; ездил по городу не иначе как в дышле, на паре рыженьких шведок, в широких крытых пролетках, именуемых обыкновенно «докторскими», иногда давал «нужным людям» обеды, на которых по преимуществу красовался цвет губернского правления, управы благочиния и надворного суда. В заключение можно прибавить, что Полиевкт Харлампиевич был человек необыкновенно мягкий, приветливый, сладостно

улыбающийся, с чувством руки пожимающий и самый ревностнейший христианин.

Вскоре после известного уже читателю происшествия с Юлией Николаевной Бероевой Полиевкт Харлампиевич появился на секретной аудиенции в приемной Амалии Потаповны фон Шпильце. Он был прислан с весьма немаловажным поручением от самой княгини Татьяны Львовны, которая возложила на него это поручение, зная его тонкие дипломатические способности.

Причина, вызвавшая таковую секретную миссию, была нижеследующего рода.

Молодой князь Шадурский, выиграв с Петьки пари, заключавшееся в ужине у Дюссо, и поставив для этого на карту честь и судьбу женщины, на некоторое время успел удовлетворить свое самолюбивое тщеславие, а затем — снова обратился к баронессе фон Деринг, за которой неукоснительно продолжал ухаживать и его расслабленный батюшка.

Все это крайне досаждало княгине Татьяне Львовне и повергало ее в немалую печаль. Не говоря уже о том, что она замечала порою двусмысленные, иронические взгляды, кото-

рые кидались иногда на двух соперников и которые до глубины души пронзали ее чуткое самолюбие, княгиня Татьяна Львовна имела еще другую, более практическую и тяжеловесную причину боязни за поведение ее сына относительно баронессы фон Деринг. Расслабленный гамен почти совсем не занимался делами, сын его точно так же: они умели только подписывать векселя да поручать Полиевкту Харлампиевичу Хлебонасущенскому, чтобы он откуда бы то ни было доставал им денег. Одна только княгиня понимала настоящее положение дел, существенно интересовалась им и изыскивала всяческие средства, лишь бы извернуться и поддержать достоинство и кредит Шадурских в обществе. Задача была нелегкая, стоившая княгине многих горьких минут и размышлений. Но чем более размышляла она, тем неотразимее приходила к заключению, что единственное спасение состоит в женитьбе князя Владимира на Дарье Давыдовне Шиншеевой. Это был бы исход, не компрометирующий ее сына, за которого теперь приходилось почти каждый месяц то там, то здесь уплачивать весьма значитель-

ные суммы. Князь не хотел убедиться никакими резонами, считая решительно невозможным посократить свои широкие потребности, то и дело давал новые векселя, занимал деньги — и деньги необыкновенно быстро проскользали между его рук, уподобляясь воде, в решето наливаемой. Татьяна Львовна неоднократно приступала к нему с решительным объяснением, тщетно усиливаясь втолковать в эту голову весьма некрасивое и опасное положение семейства, если дела будут продолжаться таким образом; но князь Владимир как назло ничего не хотел ни слушать, ни понимать.

— Э, полно, maman! попович выручит! он ведь немало накрал у нас денег, — возражал он ей обыкновенно с изумительной беззаботностью.

— Женись, — настаивала княгиня. — Не все ли равно тебе? Женись поскорее!

— На ком это? на уроде?

— Тут уж нечего думать о красоте: красоту можно всегда найти и потом, а денег не найдешь.

— Урода я приберегаю на после, comme

dessert, pour la bonne bouche[233], когда уж совсем плохо придется; а пока еще кредит мой держится — слуга покорный!

— Но ты нисколько не думаешь о нас — что с нами-то будет тогда?

— Ну, тогда об этом и подумаем.

— У тебя нет ни жалости, ни сыновнего чувства, — укоряла княгиня со слезами материнского чувствительного огорчения, — ты рассуждаешь как эгоист!

— А что ж, эгоизм — дело недурное, — отшучивался князь Владимир, нимало не поддаваясь на практические доводы своей матушки.

— Если так — так знай же! — попробовала она пустить в ход тяжеловесную угрозу. — Ты вынудишь меня и отца опубликовать тебя в газетах, что мы по твоим векселям не плательщики.

Но князь не смутился.

— Merci pour le scandale[234], — хладнокровно поблагодарил он, — только знайте и вы, что может из этого выйти. Во-первых, вы замараете мою репутацию как порядочного человека; во-вторых, испортите мою карьеру;

в-третьих, окончательно подорвете свой собственный кредит; в-четвертых, на брак с уродом нечего уж будет и рассчитывать после такого милого скандала et enfin — que dira le monde?[235]

Княгиня, и без этого объяснения понимавшая всю силу столь неотразимых аргументов, увидела, что придуманная ею угроза не попала в цель, и окончательно упала духом.

Да, впрочем, и было отчего. Она знала и видела, что главная причина беспутных трат — баронесса фон Деринг, которой в Петербурге не особенно-то посчастливилось: она не попала в сливки высшего общества и осталась в молоке, то есть в том свете, который составляет слой, лежащий непосредственно под густыми сливками, и к которому, между прочим, принадлежал дом Давида Георгиевича Шиншеева. Так было относительно сливок женского рода; сливки же рода мужского считали даже за некоторую модную честь быть принятыми в кружок баронессы. Она рассчитывала, что будет введена в высшее общество при посредстве княгини Шадурской, но сильно ошиблась в расчете. Кня-

гиня, кажется, скорей бы удавилась, чем решилась бы на такой подвиг в отношении женщины, затмевавшей ее красотой, — женщины, которую она считала своею соперницей во всем, которую ненавидела от всей души и, наконец, благосклонности которой добивались два слишком близкие ей человека — муж и сын. Все это ставило между ними неодолимые преграды относительно ввода в высшее общество. С другой стороны — этому помешала ассоциация Бодлевского и Коврова. Для действия на сливки прекрасного пола ассоциация имела гораздо более полезного агента в лице графа Каллаша, чем в лице Наташи. Прекрасная женщина нужна была для действия на сливки пола непрекрасного, которые, будучи у ее ног, тем удобнее могли попадаться в руки ассоциаторов. Для этого требовалось положение несколько изолированное, независимое, которое трудно сохранить женщине, попавшей в тесный кружок сливок, где каждое действие ее могло подвергаться строгому, беспощадному контролю явных приятельниц — тайных завистниц и соперниц. Наташе весьма удобно было разыгры-

вать видные роли между сливками за границей, где она действовала одна, с Бодлевским; в Петербурге же, с образованием ассоциации, ей предстояло быть в одно и то же время и светскою женщиной, и необыкновенно тонкой куртизанкой, то есть вечно плыть между Сциллой и Харибдой — положение далеко не из легких; но того требовали ближайшие интересы ассоциации. Она держала себя таким образом, что светская молва никому не могла приписать титул ее любовника, а между тем благодаря своему исключительному, «эмансипированному» положению и тонко-завлекательному кокетству Наташа могла всем и каждому подавать эту сладкую надежду. Короче сказать, ее ловкое воженье за нос имело результатом только ущерб для карманов непрекрасной половины сливок аристократических и финансовых. Она составила свой собственный круг, в котором блистали всевозможные титулованные имена мужчин, и между ними — оба Шадурские. Кроме того, что каждый из ее знакомых проигрывал ей в карты (игру баронесса всегда затевала у себя как бы экспромтом, от нечего делать), и про-

игрывал весьма значительные куши, она ухитрялась с одного и того же вола драть по две и даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый из этих господ льстил себя тайной надеждой добиться ее благосклонности. На этой-то струнке и играла под сурдинку опытная баронесса. Поводом обыкновенно служил какой-нибудь уединенный визит, интимный прием с глазу на глаз в своем будуаре и, как бы невзначай, между прочим, ловкий подвод разговора на временно затруднительные обстоятельства, сводящиеся к невозможности уплаты по каким-нибудь пустячным счетам (тысячи в три, в пять, а иногда и более). Предупредительный искатель обыкновенно с любезностью предлагал услуги своего кармана; баронесса награждала за это милым пожатием руки, обворожительным взглядом и после некоторого колебания соглашалась на предлагаемый ей «заем», прося только, чтоб эта приятельская услуга осталась втайне. Искатель, конечно, самым искренним образом давал свое слово и уезжал, вполне уверенный, что получил новый шанс к крепким бастионам ее сердца. Стоило, например, баро-

нессе заметить, что ей очень нравится какая-нибудь драгоценная вещь, виденная ею в таком-то магазине, — и очень часто случалось, что дня через два эта самая безделушка являлась на ее камине или туалете, незаметно поставленная туда, в ожидании будущих благ, рукою предупредительного обожателя. Оба Шадурские были одними из самых ревностных ее данников. Татьяна Львовна все это знала и потому вполне справедливо опасалась за свое состояние, ибо в течение одной только зимы батюшка с сыном починали уже тратить пятнадцатую тысячу на прихоти очаровательной акулы — а что же предстоит еще дальше, если дела пойдут таким образом! Княгиня, конечно, могла бы принять более энергические меры, то есть секретно попросить влиятельных людей о временном удалении сына из Петербурга по каким-нибудь подходящим поручениям, хоть о срочном переводе его на Кавказ, а расслабленного гамена увезти, по совету докторов, лечиться за границу, но... участь ее собственного сердца препятствовала употреблению столь энергической меры: образ Владислава Карозича

(Бодлевский тож) слишком нежно царствовал в этом сердце и парализовал собою всякие решительные начинания. Ведь это уж, может быть, последний... последний! и — как знать? — отыщется ли кто-нибудь еще, равный ему по достоинствам и положению, кто бы согласился впоследствии вступить в амплуа поклонника ее увядшей красоты?

Стало быть, об энергических мерах нечего и думать, а надо поискать другие, более удобные, которые привели бы к желанным утешительным результатам.

Княгиня знала дилетантскую слабость своего сына к женщинам. Она понимала, что отвлечь его от баронессы может только одна женщина, которая бы явила собою какие-нибудь новые, оригинальные стороны, могущие служить контрастом качествам баронессы, но контрастом столь же обольстительным и завлекательным, как и эти качества. Словом, требовалось увлечение в другую сторону; и его-то предстояло отыскать в возможно скором времени.

Среди таких размышлений однажды застал княгиню Полиевкт Харлампиевич Хлебо-

насущенский, явившийся к ней доложить о весьма затруднительном обстоятельстве: по двум векселькам молодого князя надо было произвести плату в три тысячи рублей серебром, да кроме того их сиятельство призывали его, Хлебонасущенского, с требованием взаймы четырех тысчонок, которых, как перед истинным Богом, нельзя достать.

— Да скоро ли же этому конец? — вспылила княгиня, выслушав представление управляющего. — Куда же поглощаются все эти деньги?

— Вашему сиятельству уж небезызвестно, куда именно, — хитростно ухмыльнулся Полиевкт Харлампиевич, прилизывая ладонью свои височки, — все туда же-с... Конечно, их сиятельство прихоть свою тешат: говорят, что изволили госпоже баронессе в карты проиграть... Оно известно, долг обязательный, а только нашим-то делам тяжеленько становится; не вытянем, матушка, ваше сиятельство, как перед истинным говорю, — не вытянем, потому — квинту натягиваешь, натягиваешь, она тебе пищит, пищит да и лопнет.

— Я придумала средство — может быть, по-

действует... слышала я, что тут есть одна особа, которая может помочь... Посоветуемся, — предложила Татьяна Львовна — и вследствие этого совещания Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский отправился на секретную аудиенцию к Амалии Потаповне фон Шпильце.

— Я беру большое участие в молодом князе, — говорил он ей, — потому как я знал его еще вот эдаким (примерное указание на аршин от полу), так мне известен вполне его характер... Молодой князь нисколько не жалеет себя, здоровью его вред наносится, а родители сокрушаются, в особенности ее сиятельство. А мне, по моей близости к их семейству, поручено, так сказать, спасение молодого князя. Спасение может произойти от особы прекрасного пола, которая сумела бы на время развлечь их душу... Только надо все это обделать как можно политичнее... Княгиня уж не останется в долгу насчет благодарности... А вам, изволите ли видеть, ваше превосходительство, нужно девицу юную, непорочную, богобоязненную, так сказать, и притом образованную — чтобы, значит, для молодого князя но-

вость в этом предмете была...

Генеральша подумала, сообразила и дала обещание исполнить просьбу Полиевкта Харлампиевича, предварив его, что в случае удачи нужно будет дать за труды три тысячи серебром. Полиевкту Харлампиевичу внутренно очень не понравилась такая почтенная сумма, однако он отвечал, что за этим дело не станет, только, как человек пунктуальный и сообразительный, почел нужным осведомиться, что именно следует разуметь «удачей» в настоящем разе. Амалия Потаповна пояснила, что, по ее разумению, удача будет заключаться в том, если князю понравится избранная ею особа и он обратит на нее существенное внимание. Полиевкт Харлампиевич сообщил, что и по его личному разумению под удачей следует понимать то же самое, и откланялся, заявив надежду, что ее превосходительство не оставит его своим посильным содействием, ибо чрез то самое она поможет совершению даже очень доброго дела насчет спасения жизни молодого человека.

На другой день Амалия Потаповна поехала в Колтовскую.

XVII
В ТЕАТРЕ

Большой театр был полон. Зала горела тысячью огней, радужно игравших в хрустале огромной люстры. Все ярусы лож представляли непрерывную пеструю шпалеру женских головок и нарядов. Если бы наблюдатель захотел проследить по выражениям этих лиц те чувства, которые пробуждают в этих душах звуки итальянской оперы, то увидел бы он слишком большую разницу между низом и верхом огромной залы. В бенуаре и бельэтаже — выставка пышных куафюр, открытых плеч, блестящих нарядов... Одни физиономии блещут бесцеремонным, гордо-самоуверенным нахальством — это оперная принадлежность самых модных, гремящих камелий. Здесь господствует слишком большая открытость бюста, рук, плеч и спины. Здесь из каждой безделки, из каждого бриллиантика, ленты, кружевной оборки так и выглядывают убитые на них и нетрудно доставшиеся тысячи. Другие физиономии носят характер эле-

гантной скромности и невозмутимого достоинства римских матрон; они так и стремятся изобразить, будто наслаждаются звуками, но — увы! — внимательный глаз наблюдателя непременно подметил бы, что наслаждение это не истинно сердечное, а деланное, фальшивое, сочиненное, ибо так уже надлежит, так «принято», что хотя бы мы и ничего, кроме страусовой польки, в музыке не смыслили, но, находясь в числе абонентов итальянской оперы, обязаны изображать наслаждение мотивами Россини и Мейербера. Эти физиономии принадлежат Дианам большого света и представительницам золотых мешков.

Переведите свой бинокль ярусом выше — и вы явно придете к заключению, что женские личики как бы говорят своими взглядами: «И мы тоже абонированы в итальянской опере, потому что и мы тоже принадлежим к порядочному обществу».

Это — ярус блаженного самообольщения и бюрократически-превосходительных самолюбий. Наряды, что есть мочи, стремятся подражать бельэтажу и уравняться с ним.

Подымайте бинокль выше и выше — и глаза ваши проследят сознательное внимание к музыке, сознательное наслаждение ею. Ложи переполнены зрителями, глаза и шеи тянутся к сцене, в куафюрах отсутствие пышности, в нарядах господство черного и серого цветов; на физиономиях все менее и менее написано дутых претензий — вы начинаете мириться с оперой, вы приходите к мысли, что здесь не исключительно только выставка волос, бюстов, нарядов и косметик. Но закиньте совсем свою голову, чтобы узреть тропические страны горных мест, где самой судьбой предназначено быть блаженному раю, — и, Боже мой, какой искренний, увлекательный, юношески пылкий восторг прочтете вы на лицах этих студентов, кадетов, бедненьких чиновников, гувернанток, учениц консерватории! Вы увидите уже ясно, что не внизу, а вверху помещаются истинные дилетанты и настоящие, искренние ценители музыки, и тем смешнее, тем жалче покажутся вам роскошно-комфортабельные нижние ярусы.

В изображаемый нами вечер особенное внимание элегантных рядов партера привле-

кали две ложи. Одна приходилась почти против другой, с тою только разницей, что одна принадлежала бельэтажу, а другая — литерная — приходилась ярусом выше. Из обеих выглядывало по прелестной женской головке, на которые в антрактах были устремлены почти все бинокли черных фраков и блестящих мундиров.

Обе вполне прекрасны, неподдельно свежи, неподдельно молоды, чего — увы! — никак нельзя было сказать про тех Аспазий бельэтажа, которые молодость покупают в косметических магазинах и скорее годятся на амплуа театральных Мегер, чем на роли Фрин и Лаис нашего времени.

— Кто эта особа? — спрашивали в партере, указывая на головку бельэтажа.

— Как! вы не знаете?.. О, barbar![236] да где живете вы после этого?! Не знать хорошенькой женщины в Петербурге!.. Это — танцовщица, mademoiselle Брав…

— А чье она приобретение, чья собственность?

— Князя Желторецкого.

— Il n’a pas un mauvais goût, le prince![237]

— Да вот и он... Глядите, входит в ее ложу...

— Гм... а ведь недурно быть обладателем такой женщины?

— Еще бы! А вы слыхали, какой он ей праздник задал?..

— Magnifique, mirobolant![238]

— А там кто такая? вон, видите — в литерной? Une tête de Greuze![239] — говорили, указывая на другую головку.

— А! в самом деле, это совсем новинка!.. Кто она? С кем она? Кто знает?

Но о последней никто в партере не мог сообщить надлежащих сведений. Между тем впечатление было произведено весьма заметное — новинкой заинтересовались.

— С нею кто-то есть, однако, — продолжались партерные наблюдения, — кажется, дама, постойте-ка, поглядеть, что ли, в бинокль...

— Ба! да это известная генеральша!.. Ну, так и есть: она!

— Она? Те-те-те... Стало быть, дело в купле и продаже.

— Разумеется, так!

— Понимаем...

И говор в таком роде расходится далее, по всему партеру.

Общее впечатление, производимое двумя головками, не бесследно отразилось на молодом князе Шадурском. Самолюбие его, привыкшего сознавать в себе чувство постоянного первенства, тотчас же засосал неугомонный червячок. Молодая, почти девочка, mademoiselle Брав являла собою слишком разительный контраст с теми блеклыми женщинами, которые давно уже не представляли ничего нового для князя и людей его категории. Отношения ее к Желторецкому показались Шадурскому чем-то новым, оригинальным и потому уже привлекательным. Желторецкий был его товарищ и даже весьма сильный соперник в общественном положении, поэтому князь Владимир втайне очень его недолюбливал. Теперь же, видя в театре всеобщее внимание к ложе бельэтажа, слыша этот говор, расточавший похвалы молодой девушке, подле которой в одном из антрактов появился сам Желторецкий, тогда как никто, кроме его, не переступал за порог той ложи, — князь Владимир поддался сильной до-

саде, подстрекнувшей в нем ревнивые помыслы: «Зачем, дескать, он, а не я первый выдумал эту штуку? Зачем я несколько месяцев понапрасну торчу у баронессы фон Деринг, тогда как по своему положению мог бы, даже должен иметь свою собственную любовницу, о которой бы все говорили, любовались и завидовали бы мне?»

Сама судьба являлась на помощь молодому князю. Он не упустил из виду и литерной ложи, где сидела другая, никому не известная, но точно так же всеми замеченная девушка, за которою вырисовывался силуэт генеральши фон Шпильце.

«А чем черт не шутит?» — решил сам с собою Шадурский и тихо удалился из партера.

XVIII
СТРАНА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, НО БЕЗ ПРИМЕСИ ИДИЛЛИИ

— Eh bien, calme-toi! calme-toi, mon enfant, mon petit bijou![240] Ну что ж, ну, зачем плакать? — нежно утешала генеральша фон Шпильце на пути из Колтовской, увозя в карете рыдающую Машу. — Вить я тебе тетенька, родной тетенька, я ж тебе люблю, mon ange![241] У меня хорошо тебе будет.

Но Маше как-то противны были эти ласки.

— Зачем, зачем вы увезли меня оттуда? — рыдала она.

— А что ж, нельзя иначе; мы вместе жить будем; старики приходить будут, и мы до стариков приезжать будем, — объясняла Амалия Потаповна.

Последнее обещание несколько утешило молодую девушку, так что она уже гораздо спокойнее доехала до квартиры генеральши.

Эта роскошная лестница, швейцар, цветы и вся обстановка великолепного жилища г-жи фон Шпильце произвели сильное и новое

впечатление на Машу: она еще и в жизнь свою не видала ничего подобного, ибо вообще о роскоши и богатстве составила себе смутное понятие только по книжкам. Генеральша показала ей предназначенную для нее комнату во втором отделении своей квартиры — и комната эта после бедной девической кельи показалась Маше верхом изящного комфорта. Тотчас же по приезде было послано вниз за модисткой, которая сняла с Маши мерку и принесла целый выбор шляпок, манто и прочих нарядов.

Маша дивилась и не верила глазам своим, не понимая даже, почему все это вдруг так случилось и зачем, по какой причине все это внезапно является к ее услугам только теперь, тогда как до этой минуты она должна была жить в бедном колтовском домике. Что все это значит? и неужели генеральша ей родная тетка, и кто были ее настоящие родители, где они теперь? — допытывала она самое себя — и ни на один из множества подобных вопросов не могла доискаться положительного ответа, ибо генеральша очень коротко, хоть и весьма нежно сказала ей: «Так

нужно было», — и затем, посредством нового притока ласк, отстранила дальнейшие объяснения.

Обеденный стол был накрыт только для двоих, но сервирован так великолепно, что бедной девушке не шутя показалось все это каким-то сном, фантастической сказкой — начиная от массивных серебряных канделябр, от хрустальной вазы с дорогими фруктами и кончая блюдами, которых она никогда еще не едала. Маша едва прикасалась до кушанья (ей было не до еды), но чувствовала, что простому кулинарному искусству Пелагеи Васильевны далеко до этих артистических поварских произведений.

В доме генеральши поражало Машу все, что ни попадалось на глаза, — все для нее казалось новым, невиданным, заставляло вглядываться, размышлять и в первые минуты настолько рассеяло, что тоска разлуки и воспоминание о Поветиных примолкли в ее сердце. Наплыв ощущений, испытанных ею в течение этого дня, был слишком велик и разнообразен, так что ей необходимо надо было успокоиться. Генеральша проводила Машу в

ее комнату и спросила, не хочет ли она почитать что-нибудь? Маша согласилась. Амалия Потаповна прислала ей французский роман — одно из тех произведений, которые завлекательно действуют на молодое воображение, раскрывая перед ним заманчивый мир сладострастных образов и ощущений, и незаметно, капля за каплей вливают соблазнительный яд в свежую, ко всему чуткую душу.

Амалия Потаповна в своей сфере была тонким и опытным стратегом. Роман действительно увлек молодую девушку, так что она безотчетно поддалась нравственному обаянию тех инстинктов, на которые жгуче действовали эти страницы, необыкновенно быстро и жадно поглощаемые ею. Генеральша несколько раз осторожно, на цыпочках подходила к ее двери, заглядывала в замочную скважину и каждый раз отходила необыкновенно довольная собою: медикамент действовал — девушка читала.

Часу во втором ночи она закрыла книгу, кончив последнюю страницу, и с сладким чувством необыкновенной истомы и неги, улыбаясь, потянулась на своей новой, эласти-

чески-мягкой постели, ощущая холод чистого батистового белья.

Она закрыла глаза — и в разгоряченном воображении ее соблазнительно зареяли картины только что конченного романа, туманно проносилась целая вереница сцен и образов, из которых каждый вводил молодую девушку в новый, неизведанный ею мир, раскрывая его заманчивые тайны. Ею овладело какое-то странное чувство, странное состояние нервов, так что случайное прикосновение своей же руки к собственному телу заставляло ее как-то электрически вздрагивать и испытывать в эти минуты такого рода небесприятное ощущение, как будто прикасалась и, гладя, поводила по телу не ее собственная, а чья-то другая, посторонняя рука. Маша крепко обняла свою подушку, прильнув к ней пылающей щекой, и через минуту заснула под неотразимым веянием тех же образов и ощущений.

Проснулась она рано, в комнате было еще темно, только ночная лампа чуть мерцала потухающим светом. Нервы ее поугомонились, и тут-то, в этой предрассветной тишине, на-

пало на нее раздумье. Ей показалась чуждою, холодною, неродною эта роскошная комната, как будто какая тюрьма, неприветно огородили ее эти оклеенные дорогими обоями стены, — и на Машу напал даже страх какой-то. Представилось ей, что ее навеки разлучили с Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной, что она уж больше никогда их не увидит — и сердце ее мучительно сжалось. «Зачем это она прислала мне вчера такую книгу? Я никогда еще таких не читала, — подумалось ей между прочим. — Что это, хорошая или дурная книга? Отчего это вчера мне было так приятно читать ее, а сегодня как будто стыдно?.. как будто совесть мучит? Отчего я боюсь этой женщины — все какою-то недоброй кажется она мне... Какая моя жизнь здесь будет, что-то предстоит мне тут?» — раздумывала Маша, и чем больше вдавалась она в такие мысли, тем безотраднее представлялись картины этой будущей жизни. Становилось тяжело на душе, подступали слезы. Маша встала с постели, бросилась на колени и долго молилась, без слов, без мысли — одним немым религиозным порывом.

Легкий скрип двери вывел ее из этого экстаза. Она чутко вздрогнула и оглянулась: на дворе уже совсем светло, а у порога стоит горничная генеральши и объявляет, что их превосходительство уже встали, ждут кофе пить и просили поскорее одеваться, чтобы ехать вместе с ними в Колтовскую.

Все сомнения Маши мигом рассеялись, комната снова казалась приветливой и светлой, жизнь такой легкой, веселой, генеральша такой доброй, хорошей женщиной — даже полюбила ее Маша в эту минуту, — и она, быстро вскочив с колен, набросила на себя утренний пеньюар, несколько сконфузилась при мысли, что посторонний человек подглядел ее молитву.

Свидание со стариками необыкновенно весело и счастливо настроило Машу на нынешний день. В первый раз в своей жизни она с таким сладостным трепетом подъезжала к родному деревянному домику, в первый раз обнимала такими крепкими объятиями дорогих ей людей. Генеральша уверила, что станет каждую неделю привозить ее в Колтовскую — и Маша была уже вполне счастлива

одним этим обещанием. Немного взгрустнулось ей только тогда, когда поднялась наверх, в свою покинутую комнату, где и зеркальце, и Наполеон с бонбоньеркой, и стол с семенами стояли по-прежнему и, казалось, так приветливо глянули ей навстречу.

«Все по-старому... одной меня только нет!» — подумала Маша и смахнула рукой выкатившуюся на ресницы слезку. Несколько вещиц она взяла с собою на память о прежней жизни.

Потом рысаки генеральши помчали ее по Невскому проспекту, который кипел экипажами и пестрым гуляющим людом. Маше редко доводилось посещать Невский, так что теперь она с детским наслаждением высовывала головку в каретное окно и любопытно оглядывала встречные предметы. Генеральша завезла ее в кондитерскую Rabon и купила конфет в дорогой бонбоньерке; потом заехали они в два-три роскошных магазина, где Амалия Потаповна приказала завернуть для Маши несколько ценных туалетных безделушек, а по приезде домой их ожидал уже по-вчерашнему сервированный стол, которому на

сей раз счастливая девушка оказала гораздо более существенного внимания. Роскошно отделанное платье, принесенное ей к вечеру из магазина, и объявление генеральши, что они вместе поедут в театр, в итальянскую оперу, довершили ее неописанный восторг. Маша еще никогда не бывала в театре.

Когда она из полуосвещенной аванложи вступила в залитую яркими огнями залу, то даже попятилась назад, даже испугалась чего-то — столь поразил ее весь этот блеск, громадность размеров театра, копошащийся внизу партер и ряды лож, унизанные зрителями. О звуках нечего уже и говорить. Музыка и голоса, в сочетании с оптическим обманом декораций и блестящими костюмами, произвели на нее такое сильное впечатление, что она млела и замирала в переливах этих мелодий, считая все происходящее перед ее глазами волшебной грезой из какого-то фантастического мира. Сердце сладко и трепетно занывало в груди, яркие образы прочитанного вчера романа с новою силой восстали в ее экзальтированном воображении, и в эти мгновения впервые сознательно захотелось

ей жить, чувствовать, любить — любить всею душою, всею волею, всем существом своим.

Дверь в ложу осторожно приотворилась, и в ней показался красивый молодой человек в блестящей военной форме.

— Князь Шадурский, — отрекомендовала его генеральша восторженной и смущенной девушке.

XIX
КОНВЕНЦИЯ

— Ты, Marie, слушай, а я выйду, мне жарко, — наклонилась к ней Амалия Потаповна спустя минуты две после рекомендации и, кивнув из-за спины ее Шадурскому, удалилась вместе с ним в аванложу.

— Н-ну?.. Was sagen sie denn dazu, mon prince?[242] — обратилась она к нему с улыбкой.

— Кто это с вами? — спросил он шепотом.

— C’est mon elève…[243] А вам нравится?

— Влюбиться готов.

— Ого!.. так скоро?.. En bien, pour quoi pas?[244]

— Да, верно, уж влюблен кто-нибудь раньше?

— Personne, mon prince, personne![245]

— В самом деле? Так ведь я готов влюбиться надолго — matrimonialement[246].

— Comme de raison[247].

— А условия?

— Avant tout — la modestie: das ist ein edles Mädchen, et surtout une innocence irreprochable [248].

Глаза Шадурского блеснули тем удовольствием, в котором проявляется достигаемое удовлетворение самолюбия. Эффект, произведенный танцовщицей Брав, подстрекнул его во что бы то ни стало самому добиться того же: «Пускай, мол, и у меня будет женщина, которая станет производить такой же эффект своей молодостью, своим именем моей любовницы; пускай и мне завидуют, как этому Желторецкому!» Одного подобного побуждения было уже совершенно достаточно для того, чтобы князь Владимир стал преследовать вновь загоревшуюся мысль, позабыв все остальное.

— Итак, ваши условия? — повторил он ге-

нераль́ше.

— Условия?.. Ich habe schon gesagt[249].

— Как, только-то и всего? — изумился Шадурский.

— Н-ну, што ишо там?.. Vous voulez en faire votre maîtresse, n’est-ce pas?[250]

— Понятное дело.

— Ну, и коншин бал!

— А ваш гонорар?

— Фуй… за кого вы меня берете? — оскорбилась генеральша, то есть сделала вид, будто оскорбилась, ибо гонорар был обусловлен уже заранее, в разговоре с Полиевктом Харлампиевичем Хлебонасущенским. В подобных подходящих обстоятельствах генеральша любила иногда изображать собою женщину в некотором роде добродетельную и благородную.

Наступил антракт. Маша появилась на пороге аванложи. Ее глаза блистали тем живым восторгом, которому поддается чуткая душа под обаянием музыкальных звуков. На лице играла улыбка — это лицо все сияло, все улыбалось, дышало полною жизнью и ярко гово-

рило о том счастии, о тех новых ощущениях, под обаянием которых она ходила целый день и которые шли для нее crescendo et crescendo[251]. У нее закружилась голова. Прислонясь рукой к дверному косяку, она чувствовала во всем теле какую-то истомную слабость, какое-то легкое качание, будто пол под нею плавно колыхался, и Маша крепче держалась за косяк, потому ей казалось, что сейчас силы оставят ее и она упадет. Полуоткрытые глаза блуждали по малиновым бархатным драпировкам аванложи, мимоходом скользнули по зеркалу — и Маша не без самодовольного удивления заметила, что она никогда еще не была так хороша собою, как сегодня, как в эту минуту.

«Любить, любить надо!» — смутно шептало ей сердце, как будто кто другой переселился в ее душу и говорил ей оттуда эти слова. «Любить, любить надо!» — вслед за своим сердцем повторяла Маша почти бессознательно, чуть слышным шепотом, и невольно както остановила глаза на молодом человеке, который тоже не спускал с нее пристального взора и видимо любовался ею.

В ложу вошли двое старикашек — люди высокосолидные и высокозначительные, что било в нос каждому с первого же взгляда на их наружность. Один был гражданин, а другой — воин, и оба в сложности имели за сто тридцать лет.

— Ah, merci, merci, madame![252] — заговорил один из них сладостно-разбитым, дрожащим голосом, поминутно хихикая. — Vous êtes si aimable, si spirituelle!.. je ne puis oublier jusqu'à present cette nuit athenienne, que vous nous avez donnee... кхе, кхе, кхе!.. Quelle femme superbe. Et quelles formes antiques a cette petite poularde de Pauline![253]

Но вдруг, заметив присутствие молодого Шадурского, в некотором роде молокососа, старец осекся, немножко сконфузился и тотчас же переменил тон и манеру держать себя: папильон мгновенно преобразился в его превосходительство.

— Кто эта особа... с вами в ложе? — солидно спросил он, указав на стоявшую в дверях Машу, которая хотя и слышала его восторги, но не поняла их по причине полного неведения касательно прелестей этой nuit

athenienne[254], приводившей в такой экстаз почтенного старца.

— Моя племянница Marie, — представила ее Амалия Потаповна. — Барон фон Шибзик, граф Оксенкопф, — указала она затем на обоих старцев.

Маша поклонилась.

«Какие у нее все важные знакомые, все графы да князья, и на визитных карточках в гостиной все больше знатные фамилии», — подумала она в простоте сердечной.

Дрожащий барон подошел к ней и, сладко щурясь, отечески потрепал по ее свеженькой щечке. Через минуту оба старца, так неожиданно стесненные присутствием «молокососа», удалились из ложи, весьма недовольные тем, что нигде проходу нет от этих мальчишек, забывших всякое почтение и дисциплину. Шадурский же, со своей стороны, остался, напротив, необыкновенно доволен появлением старцев, ибо понял причину, приведшую их сюда.

«Значит, она в самом деле замечена всеми, если уж и эти две подагры не задумались притащиться во второй ярус», — решил он сам с

собою и обратился к молодой девушке совсем бесцеремонным, дружеским тоном:

— А мы с вами, mademoiselle Marie, надеюсь, будем хорошими друзьями, потому что отчасти даже родственники... Я тоже несколько довожусь племянником вашей тетушке.

— Ах, какой повес! ах, какой повес! — закатив жирные глазки, качала головой генеральша. — Marie, il est amoureux dejà! je vous felicite![255] — пошло вздохнула она.

Девушка сконфузилась и потупила глаза. Пошлость генеральши врезалась каким-то непрошеным диссонансом в ее светлое, поэтическое настроение. «Любить... его бы можно любить, да зачем она говорит об этом?» — мелькнуло у нее в голове.

— Marie, — снова обратилась к ней Амалия Потаповна, — князь предлагайт нам катиться на тройке — за город, а потом к нам ужинать. Ты согласна?

Девушка ответила улыбкой и, воспользовавшись первым аккордом оркестра, удалилась в ложу.

XX
НА БРУДЕРШАФТ

Ночь была славная, синяя, морозная — одна из редких петербургских ночей, где по зимам чаще всего господствует туман и прелая слякоть. Небо искрилось необыкновенно яркими звездами; прохваченный добрым морозцем и потому крепкий и белый, снег хрустел и визжал под полозьями лихого троечника, который с ямщицкими покриками, кругло помахивая кнутом, ухарски заставлял своих серо-пегих выносить широкие, красивые сани — только пар валил столбом, да снежная пыль подымалась из-под копыт, и с какою-то бодрящей приятной колючестью иглы этой блестящей пыли резали зарумянившиеся щеки укутанной Маши, которая сидела рядом с Шадурским. Генеральша, ради простора и спокойствия, выбрала себе переднее сиденье, за спиной ямщика. Петербургские троечники знали молодого князя и, ездя с ним, животов не жалели: потому — барин богатый, на водку по красненькой иной раз

швыряет — только бы ему, значит, удовольствие предоставить.

Мигом оставили они за собой ярко освещенные улицы, мигом промелькнуло перед глазами мрачно-высокое, угрюмо-громадное здание четвертой части, напоминающее собою какой-то замок или, скорее, тюрьму. Вот и Циммерманов мост на Обводном канале, а в стороне, направо — очень эффектный вид огромной фабрики, представляющей по вечерам славную иллюминацию, когда все пять или шесть этажей ее заблещут длинными рядами газовых огней в многочисленных окнах. Вот и громадная чугунная арка Триумфальных ворот, в просторечии известных под именем «Нарвских трухмальных», — а там, за воротами, уж и городу конец, там уж пошло Петергофское шоссе с нескончаемым рядом дач по обеим сторонам. Кое-где огоньки мелькают... Песни доносятся откуда-то... Тянется обоз с сеном в город... Вот в стороне три цветных фонаря над воротами одной дачи, и с случайным ветром донеслось оттуда несколько аккордов модного вальса... А тройка мчится себе мимо и мимо, обгоняя других попутных

троечников, с которыми ямщик перекидывается бойким замечанием или выкриком. И видит Маша, что напихано там, в этих попутных санях, много народу, словно сельдей в бочке, мужчин в шубах и женщин в нарядных капорах — и, надо полагать, очень там весело, потому — слышатся оттуда беззаботный хохот и женский визг и пошленький мотив «фолишона». Ничего-то подобного не видала еще Маша — а в этот день, как нарочно, ей суждено было испытывать все новые и новые ощущения. Любо ей было впервые так шибко мчаться на тройке, любо глядеть на это глубоко ушедшее, забрызганное звездами небо, на эти высокие деревья, запушенные свежим инеем и облитые бледным светом месяца, который падал и на дремавшую генеральшу. Надо полагать — она спала от усталости, а вернее, что притворялась спящей. Сердце замирало у Маши от ощущения быстрой езды, дыхание чуть-чуть спиралось от бодрого морозного воздуха, а в ушах звенели лихо подобранные бубенцы — и овладело ею в эту минуту такое широкое, удалое чувство, от которого жизнь неудержимым ключом закипа-

ет, восторженная слезка просится на глаза из тяжело переполненного счастьем сердца, — такое чувство, когда душа просит простору, когда человеку птицей хочется быть или так бы вот взять и закричать во всю грудь от этого наплыва светлых, восторженных ощущений, когда, кажись, мира целого мало для того, чтобы высказаться, и хочется всем и каждому броситься на шею, обнять, целовать — до самозабвения, до одури какой-то.

— Господи! как хорошо! как хорошо все это!.. Ночь-то какая славная! — тихо шепчет Маша, закрывая глаза, и слышит, что близко наклонился к ней молодой князь, чувствует, что смотрит он на нее во все глаза — этой радостной красотой любуется. Нашептывает ей что-то внутри, что он красив и молод, что его можно любить, и рисует себе она его черты, его взгляд, улыбку — а сама между тем все более и более слышит близость его: правую щеку ее холодом опахивает ветер с морозною пылью, а по левой тепло скользит его дыхание. «Вот-вот поцелует... вот поцелует», — трепетно думает Маша, а самое охватывает тревожный страх, боязнь этого поцелуя и в то

же время тревожно-застенчивое желание его.

Но князь, на первый раз, был очень скромен.

— Marie, je veux vous faire encore une surprise[256], — нежно обратилась генеральша к девушке, когда та по приезде с катанья вошла в залу, переодетая в новый изящный пеньюар, заранее дожидавшийся ее в уборной самой генеральши, по желанию которой и было совершено переодевание. Она, с видом авторитета, внушила на ухо Маше, что «так следует по вечерам между своими, а перед кузеном и тем более нечего церемониться». Маша была столь много счастлива в этот день, и к тому же пеньюар, как новый наряд, настолько занял ее, что без рассуждений, тотчас же исполнила желание Амалии Потаповны, лишь бы в свою очередь сделать ей что-нибудь приятное.

— Какой сюрприз? — подняла она свои удивленные глаза.

— Тетушка хочет отпраздновать ваше новоселье, — объяснил за генеральшу Шадурский, — и потому мы будем ужинать в вашей комнате: там уже и стол приготовлен. Вы, ста-

ло быть, наша хозяйка; ведите же нас.

Ужин был действительно превосходный. Генеральша не желала ударить лицом в грязь перед молодым князем и потому, заезжая из театра домой перед катанием на тройке, успела распорядиться обо всем самым предусмотрительным образом.

Три бокала шампанского, выпить которые она убедила Машу, привели эту последнюю в крайне веселое расположение. Глазки ее заблистали еще ярче прежнего, из пересохших губ порывисто вылетало жаркое дыхание. Она чувствовала жажду, а князь советовал утолять ее шампанским, и Амалия Потаповна вполне соглашалась с его мнением, не забывая сама, для примера и поощрения «племянницы», наполнять свою рюмку. Маша чувствовала себя необыкновенно легко и приятно, она уже без застенчивости болтала с князем и генеральшей, звонко смеялась и пела, вскакивала на стул, со стула на диван, прыскалась водой и бегала по комнате. Шампанское было для нее дело непривычное и потому весьма скоро произвело надлежащее действие.

— Ну, я пойду уже спать, а ты, Marie, занимай кузена, — сказала Амалия Потаповна, грузно подымаясь с места, и поцеловала в лоб молодую девушку.

— Послушайте-ка, ma tante[257], мне что-то не хочется ехать домой: лень, да и поздно, прикажите мне там где-нибудь сделать постель, — предложил Шадурский, на что Амалия Потаповна с улыбкой ответила: «Bon!» [258] — и удалилась из комнаты. Маше после нескольких бокалов шампанского нисколько не показалось странным последнее предложение молодого князя.

Она продолжала прыгать, смеяться и не оказывала особенного сопротивления, когда тот, поймав ее за руки, начинал покрывать их поцелуями; ее очень забавляло, если она успевала выдернуть свою ладонь из-под его губ в то время, как они готовились прикоснуться к ней. Ей весело было с каким-то наивно-грациозным, кошачьим кокетством дразнить молодого человека.

— Послушайте, кузина, мы с вами ведь родня — так выпьем на брудершафт! — вдруг пришла ему фантазия.

— На брудершафт?.. А что это значит, выпить на брудершафт?

— А вот я вас научу. Это значит, что мы поцелуемся и после этого будем *«ты»* говорить. Согласны?

— Нет, не хочу... Ведь это только муж да жена говорят или брат с сестрою...

— А мы с вами кузены — не все ли равно?

— Ну, выпьемте, пожалуй!.. Как же это?

— А вот как, — объяснил князь, налив два бокала, — давайте сюда вашу руку...

— Нате хоть обе!

— Нет, надо правую, которая с бокалом. Садитесь ближе ко мне — сюда, на диван.

— Ну, а теперь что?

— А теперь мы скрестим наши руки, как кольцо с кольцом, и выпьем... Пейте, кузина! разом только! разом! да и все до дна — вот так! Молодец, кузина!

Маша выпила залпом и весело засмеялась.

— Теперь я тебе буду *«ты»* говорить, — заметил Шадурский.

— «Ты» говорить?.. А я-то как же?

— И ты мне тоже.

— Ах, как это странно — «ты»!.. Влади-

мир — ты... Володя. Воля — ты, — словно сама с собою тихо говорила она в полузабытьи, медленно выговаривая слова и как бы вслушиваясь в гармонию их произношения. — А ведь это хорошо *«ты»* говорить! — вдруг с живостью вскочила она с места.

— Еще бы не хорошо! только ты постой, ты сиди — мы еще не кончили наш брудершафт! — притянул он ее к себе за руку.

— Как не кончили; да ведь мы уж на *«ты»?* — старалась она вывернуться.

— А целоваться-то — разве забыла?

— Э, нет, я целоваться не хочу... не хочу... и не хочу!

— Мало ли чего ты не хочешь!.. Теперь уж нельзя, теперь надо, — говорил он, насильно обняв ее одной рукой за талию, а другой стараясь повернуть к себе ее головку, которую она порывисто и грациозно то опускала низко на грудь, то вдруг закидывала кверху или отводила в стороны, закрывая ладонями свои смеющиеся губки, чтобы увернуться от его поцелуев, покрывавших уже ее глаза, лоб и шею и щеки.

Наконец ему удалось отвести от лица ее

руки, и она, изнеможенная этой борьбой, уже не сопротивлялась более его долгому, впивающемуся поцелую.

Это был еще первый подобный поцелуй в ее жизни, и под неотразимым его обаянием она без сил, без движения, в каком-то чудном забытьи, ощущая все это словно сквозь сон, опрокинулась на державшую ее руку.

Князь чувствовал на этой руке и на своей груди нечастые конвульсивные вздрагивания всем телом молодой девушки, видел томление, разлившееся по ее красивому лицу, — и с видом дилетанта, сделавшим бы честь пятидесятилетнему ловеласу, любовался на свою добычу.

И вот эта добыча чувствует уже, как раскрылся ворот ее пеньюара, ощущает чужую щеку на своем обнаженном плече... болезненное, но бессильное чувство стыда вынуждает у нее последние сопротивления, последние усилия. Она, полная неизвестности о том, что с ней делается, что с ней будет — без слов, одним только красноречивым взглядом, полным слез, молит его отсрочить роковой миг и старается стыдливо прикрыть свою грудь и

плечи.

Под утро ее разбудили новые ласки любовника. Здесь только она опомнилась и с криком ужаса вырвалась из его объятий.

— Князь… я — бедная девушка… Стыдно! — через силу проговорила она, давя в груди истерические рыдания. Но князь был не из стыдливого десятка.

— Прочь!.. подите прочь от меня! не подходите! — возвысила она голос, отстраняя его рукою. — Господи, Господи! что они со мною сделали! Как я людям-то в глаза погляжу теперь!.. О, какая подлость!.. Несчастная я, несчастная! — И она, рыдая, бросилась на свою подушку.

Князю еще никогда не доводилось быть свидетелем подобной сцены. Он испугался, струсил и, став перед ней на колени, начал просить прощения, уверять в своей любви, клясться, что он все это загладит, говорить, что хочет жениться на ней, и все прочие пошлые и глупые слова, которые обыкновенно говорятся подобными героями в такие критические минуты.

Но Маше слышались в его словах искренность и страсть и нежность — она мало-помалу поверила его уверениям, потому что вообще девушке в ее положении легко верится словам и клятвам человека, к которому расположено ее собственное сердце. Его мольбы и кроткие, несмелые ласки успокоили Машу, она доверчиво подняла его с колен и проговорила с глубоким вздохом:

— Ну, что кончено, того не воротишь... Ты от меня взял все — у меня ничего больше нет теперь: так люби же меня.

Бедная душа от той самой минуты покорилась своей печальной необходимости. Ей както и верилось, и не верилось князю, что он на ней женится, и скорее даже не верилось — почему? — она сама не знала, а хотелось ей только, чтобы он любил ее, чтобы среди новой жизни ее у тетушки-генеральши была бы хоть одна близкая, теплая и любящая душа, которой бы можно было довериться. И она с детской откровенностью рассказала ему про свою прежнюю тихую и безвестную жизнь в Колтовской, про своих стариков, про то несколько странное участие, которое прини-

мала генеральша в ее судьбе чуть что не с первого дня рождения.

Князь слушал ее с интересом, обдумывая в то же время, каким образом отделает для нее квартиру, куда перевезет ее как свою содержанку. Он, между прочим, сообщил Маше и о своем намерении переселить ее от генеральши, уверяя, что впоследствии и старики к ней переедут и будут жить они по-прежнему все вместе, что непременно случится после женитьбы — стоит только выпросить позволение отца и матери, которые наверно согласятся беспрекословно. Предположение о жизни вместе со стариками так обрадовало Машу, что она разом все простила и все позабыла своему нечаянному любовнику, сердечно привязавшись к нему за это доброе обещание.

Часам к девяти утра он тихо простился с нею, оставя молодую девушку наедине раздумывать обо всем, что случилось в течение роковой для нее ночи. Эту ночь она считала только странной случайностью — «видно-де уж судьба такая» — и не подозревала, что все это было не более как одним из обыкновенных петербургских способов обольщения.

XXI
СОДЕРЖАНКА

Князь каждый день начал бывать у генеральши, проводя почти все время с Машей. Амалия Потаповна притворилась, будто ничего не знает и не замечает, говорила с ней о Шадурском как о своем родственнике, восторгаясь его благородными и возвышенными качествами, красотою и прочим и замечая при этом, что хорошо было бы, когда б он на Маше женился, в чем нет ничего невероятного, потому князь Владимир сам признавался ей, будто влюблен и намерен просить позволения на брак. Все это говорилось для того, чтобы возможно большее время продолжить заблуждение девушки и окончательно поселить в ней любовь и безграничное доверие к молодому князю, который, выйдя из комнаты Маши, в то же утро рассказал генеральше сцену, последовавшую за пробуждением.

Маша, ежедневно слушая эти сладкие напевания Амалии Потаповны и новые уверения Шадурского, все более и более подчиня-

лась их баюкающему действию. Ей уже теперь верилось в возможность их осуществления. Она только скрывала от мнимой тетушки свои окончательно близкие отношения к мнимому кузену, полагая, что та ничего не подозревает, а допускает близость между ними единственно ради родственных отношений. О своих стариках она перестала напоминать генеральше. Жгучее чувство боли и стыда наполняло ей душу каждый раз, как только приходила на ум близость свидания с ними. Маша чувствовала, что у нее не хватит решимости взглянуть прямо в глаза этим честным и прямодушным людям, что с первой же встречи расскажет им все, как было, а это страшно огорчит, даже убьет их окончательно. Ей почему-то бессознательно казалось, что они не так-то легко поверят намерению князя касательно женитьбы и, может быть, станут увещевать ее забыть его, не видеться с ним более, а это уже она считала решительно невозможным, потому что с каждым днем все более и более привязывалась к нему. Словом, девушка чувствовала, что свидание с ними было бы слишком горько и тяжело для нее,

чувствовала, что она невольно преступила те заветы, которые внушала ей добрая старушка, а все, что исходило из ее помыслов и поступков, она привыкла считать добрым, честным, хорошим и потому в глубине души сознавала себя сильно виноватою перед нею и ее заветами. Все это начинало мучить ее, как только оставалась она наедине сама с собою, и затихало лишь в те минуты, когда приезжал Шадурский. Она всячески отдаляла возможность свидания и была рада, что Амалия Потаповна не напоминает ей про Колтовскую. Ей не хотелось видеть своих стариков до того времени, пока она не станет женою Шадурского. Тогда она поедет к ним, перевезет их к себе и, счастливая, окончательно облегчит свою душу откровенною, честною исповедью. Князь Владимир постоянно был ласков и нежен с нею. Немудрено — он еще впервые обладал такою молодою, чистою девушкою, да и к тому же мечта его о заведении своей собственной содержанки не успела еще осуществиться. А ведь в последнее время он только и наслаждался этою самолюбивою мечтою.

Между тем Полиевкт Харлампиевич не дремал. Амалия Потаповна внушила князю, чтобы он поручил Хлебонасущенскому отыскать и омеблировать квартиру «для своей новой любовницы» — и князь не без самодовольной гордости передал это распоряжение управляющему. Юное самолюбие его требовало, чтобы весь свет поскорее узнал, что у молодого князя Шадурского есть своя собственная содержанка. Полиевкт Харлампиевич поусердствовал желаниям князя. Он нанял очень милую, изящную квартиру из четырех или пяти комнат и омеблировал ее вполне комфортабельно, впрочем, не на чистые деньги: с мебельщиком и иными поставщиками заключено было условие, что мебель, лошади с экипажем и вся утварь домашняя берутся напрокат, с платой помесячно. Молодой князек уж и без этих последних расходов достаточно-таки понагрел карманы Хлебонасущенского, у которого наличных оставалось теперь немного, а делать для него новые займы Полиевкт Харлампиевич до времени не находил удобным, так как за княжеским семейством в последние месяцы понакопился весь-

ма изрядный должок, который следовало получить ему из первых сумм, имеющих прибыть из имений.

В неделю все было устроено. Князь заехал к генеральше часу в девятом вечера и предложил Маше по-прежнему прокатиться с ним на тройке. Генеральша отказалась от катания, по причине будто бы головной боли, и отпустила молодую девушку, которую после загородной прогулки князь Владимир привез прямо уже в новую, предназначенную для нее квартиру.

— Вот, Мери, это все — твое; с нынешнего вечера ты живешь здесь, — сказал он, вводя ее в комнаты, походившие на изящную и милую игрушку. — Вот это твоя гостиная, вот столовая, будуар, ванна мраморная — не правда ли, мило?

Девушка глядела на все изумленными и детски радостными глазами.

— Как это ты говоришь, что я здесь останусь, — а тетушка-то? — возразила она.

— О тетушке не беспокойся: это все уж я беру на себя, уж я знаю, что делаю, — успокаивал князь, — ведь я же тебе говорил раньше,

что увезу тебя от нее — ну и увез!

Маше показался несколько странным такой род успокоения, но она смолчала и только задумалась несколько.

Князь заметил это.

— Ну что же, ты как будто не рада? — спросил он, вглядываясь в ее глаза. — Ведь тут тебе лучше будет — ты теперь полная хозяйка — все это твое, говорю тебе.

— Это все так... А что подумает тетка, когда узнает, что я ушла от нее?

— Опять-таки повторяю — это не твое дело. Тетка знает, что я женюсь на тебе, и женюсь очень скоро; как видишь, даже и квартира для нас готова.

Чем более раздумывала Маша над его словами, тем более казалось ей как-то странным все это.

— А где же старики мои будут? — решилась наконец спросить она. — Тут для них ведь нет помещения...

Шадурский не задумался.

— Само собою, нет, — сказал он, — для них готовится другая квартира в этом же доме... Теперь она занята жильцами, но скоро очи-

стится... Одним словом, нечего тебе тут раздумывать и беспокоиться, — воскликнул он весело, — я знаю, что делаю, а вы, во-первых, извольте не рассуждать, во-вторых, снимайте свою шляпу и — марш хозяйничать за чайный стол!

Князь был необыкновенно весел весь вечер: самолюбие его начинало удовлетворяться. Он мечтал, как будет хвастаться теперь перед приятелями своей содержанкой, как будут собираться они иногда в этой самой квартирке, как он введет Машу в общество их женщин, как она будет появляться на улице в щегольской коляске и сидеть в бельэтаже Большого и Михайловского театров; много подобных сладких мечтаний рисовало ему услужливое воображение, и чем отраднее были мечтания, тем веселее становился молодой князь. Он был очень нежен, очень ласков с молодой девушкой и казался ей таким любящим, что она невольно верила всем его словам и обещаниям, прогоняя от себя сомнение и холодный анализ. Да и прогнать-то их не было ничего мудреного, потому что она любила молодой, беззаветно-горячей, первой и

потому верующей любовью.

Целый вечер он строил перед нею планы их будущей семейной жизни и — надо отдать ему справедливость — весьма искусно лавировал между Сциллой и Харибдой, мешая вымышленные мечты о женитьбе и последующей жизни, служившие для вящего обморочения доверчивой девушки, с мечтами действительными о жизни не жены, но содержанки. Впрочем, эти последние мечты открывал он ей весьма осторожно, не проговариваясь, и только урывками, настолько, насколько это было возможно, чтобы каким-либо противоречием не возбудить в ней ненужных подозрений. И девушка к концу вечера была уже совершенно счастлива, мечтала и сама вместе с ним, строя множество воздушных замков, которые он, в свой черед, старался еще как можно более изукрасить; она слушала его игру на прекрасном роялино, пела, смеялась и с детскою радостью разглядывала каждую мебель, каждую драпировку и вещицу своей новой квартиры.

На другой день Маша в нарядной шляпке и

щегольской шубе каталась, по просьбе и настоянию князя, по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Экипаж и рысаки были вполне прекрасны. Князь почти все время скакал рядом с нею верхом на своей пегой кобыле, составлявшей предмет зависти записных кавалеристов и спортсменов. Чуть усматривал он какого-нибудь приятеля, идущего или едущего навстречу, тотчас же с фамильярной улыбкой наклонялся несколько в сторону молодой девушки и начинал с нею болтать. Проехал Желторецкий, кинул беглый взгляд на Машу и на Шадурского, перекинулся с ним поклоном — и сердчишко князя Владимира екнуло самолюбивою и тревожною радостью. Это были первые публичные минуты его торжества.

Вторые минуты подобного же свойства настали для него в Михайловском театре, куда поехала Маша опять-таки по его просьбе и настоянию. Ей было теперь несколько неловко сидеть одной-одинешеньке в ложе, особенно во время антрактов, когда на эту ложу устремлялось достаточное количество бесцеремонных биноклей. Она чувствовала застен-

чивое смущение, которое, отражаясь и на ее лице, придавало ей необыкновенно милый и грациозный характер, что заставляло еще более обращать внимание дилетантов, ибо эта застенчивая скромность вновь созданной фаворитки являла слишком выгодный для нее контраст с наглостью записных куртизанок. О ней уже начинали поговаривать как о содержанке молодого Шадурского; одного этого было вполне достаточно, чтобы Маша явила собою интересную новость.

Князь Владимир с совершенно равнодушным видом сидел в партере, будто не замечая этих биноклей, и с тем же самым внешним равнодушием не преминул на несколько минут появиться в ложе Маши. Все сие сделано было с целью, дабы утвердить начинавшее распространяться мнение, что молодая застенчивая девушка — новое приобретение князя.

— Послушай-ка, князь, кто это такая? — спрашивали его потом в партере несколько любопытных и ближайших его приятелей.

— Женщина.

— Это мы видим... и вдобавок — прелест-

ная женщина. А ты, как кажется, весьма близок к ней?

— Не знаю... может быть, — уклончиво ответил Шадурский, нарочно прекратив дальнейший разговор ради пущего эффекту, и, внутренне довольный собою более, чем когда-либо, направился к своему креслу.

Теперь цель его была почти достигнута, самолюбие начинало все более и более удовлетворяться — оно радовалось и ликовало, предчувствуя дальнейшее распространение желанного говора.

Маша с каждым днем все глубже и сильнее привязывалась к князю. В этой первой и восторженной любви она забыла все остальное, даже ее старики стали для нее теперь как-то дальше и чужее. Боль укора сдавливала ее сердце при мимолетном воспоминании о колтовском домике; но так как новое чувство ее было слишком светло и радостно, то она старалась отгонять от себя эти воспоминания, утешаясь и баюкая себя надеждою, что скоро явится к ним замужнею женщиной и принесет с собой великую радость, которая

вполне вознаградит всех троих за теперешнюю разлуку.

Между тем, чем больше разрасталась ее любовь и чем больше проходило время, тем меньше князь говорил о скорой женитьбе и планах будущей жизни. Вскоре он замолк об этом совершенно, однако по-прежнему был нежен, предупредителен и ласков, показывался иногда на улице рядом с ее экипажем и в театральной ложе, а Маша, поглощенная наплывом своего нежного чувства, казалось, и сама позабыла про свадьбу. Для нее существовал только один идол, на которого она молилась; в каждой повести, в каждом романе, прочитанных ею, в лице героя постоянно рисовался он — прекрасный, возвышенный, храбрый и благородный; и не было той идеальной добродетели, не было того идеального качества, которых бы втайне она не приписала ему. Это была какая-то детски слепая любовь, слившаяся всею своей горячей глубиной с совсем ребяческой, беспечной веселостью, так что Маша необыкновенно стройно и гармонично казалась в одно и то же время и грациозно-прихотливым, наивно-милым ребен-

ком, и глубоко любящей женщиной.

Если б меня спросил кто-либо, как, почему и за что, за какие качества, за какие достоинства нравственные, за какой поступок, наконец, полюбила так эта девушка молодого князя — я бы, признаюсь, пришел в немалое затруднение касательно ответа, столь категорического. Есть два рода любви — и любви совершенно искренней, хорошей и честной. Одна любит за что-нибудь и вследствие чего-нибудь, другая — ни за что и без всяких причин. Та любовь, которая зарождается вследствие сознания каких-либо нравственных достоинств человека, не выходит непосредственно из сердца; она первоначально логически складывается в умственном сознании и уже из головы сознательно переходит в чувство. Другая же зарождается непосредственно в сердце, без всякого вмешательства головы, которая начинает работать уже потом, изобретая всяческие достоинства и нравственные совершенства для избранного субъекта. Это именно «влеченье — род недуга», по меткому слову поэта. Но спросите вначале у этой последней любви, за что именно она любит — и

вы никогда не получите иного ответа, как только следующий: люблю за то, что любится. И это будет единственно искренний ответ, потому что подобная любовь сама себе цель и причина, сама себе оправдание. Это — любовь чисто физическая. Она — факт, и отрицать ее невозможно, как невозможно и отыскать логически правильных причин, за что и почему именно она любит. Такова была любовь Маши.

Однажды князь заехал к ней часов около четырех дня и нашел ее очень грустною. Хотя она и старалась не высказывать этого, напуская на себя веселость, однако от его взгляда не скрылся тайно сосущий ее червяк. Расспросы, участие, настояния — ничто не помогло ему понять причину ее скрытой тревоги и грусти. Наконец, после неотвязных и долгих просьб с его стороны, Маша нехотя рассказала, в чем дело.

Дело было в том, что она отправилась гулять одна, пешком, и, торопясь домой, в надежде застать у себя дожидающего князя, обогнала двух по видимому весьма приличных

молодых людей.

— Ба, да это Мери! — сказал один другому. — Обрати, друг любезный, внимание на эту женщину: премилое создание — рекомендую!

— Какая Мери? кто она? — откликнулся другой, идя с товарищем непосредственно вслед за нею.

— Мери — содержанка молодого Шадурского.

— Да?! а он уже разве обзавелся?

— Как же, недели две уж есть.

— А! стало быть, одною камелиею больше.

— Надо полагать, так.

— Гм… А должно быть, она оберет его вконец, как ты полагаешь?

— Если не дура, так оберет, конечно, — c’est une profession, comme une autre[259].

— Eh bien, filons, je veux la voir[260].

И молодые люди, обогнав в свою очередь спешившую Машу, забежали несколько шагов вперед и бесцеремонно оборачивались на нее, оглядывая с ног до головы сквозь свои pince-nez[261].

Она слышала их разговор, во время кото-

рого кровь бросилась ей в голову, болезненно защемилось сердце стыдом и негодованием и всю ее кинуло в нервическую дрожь. Не будучи в состоянии совладать с собою и желая поскорей избавиться от назойливых лорнетов двух вполне приличных молодых людей, она прыгнула в сани первого встречного извозчика и поехала домой.

— Как бы я желал знать, кто эти господа, чтобы вытянуть их хорошенько хлыстом по физиономии! — вскричал Шадурский, напуская на себя горячность благородного негодования.

— Нет, они правы, мой друг! — возразила Маша, вскинув на него взор свой, необыкновенно оживленный в эту минуту волнением. — Что ж, разве ты не тратишься на меня? разве вся эта комната, все эти безделушки, наряды мои не стоили тебе денег? разве не правда все это?.. Я не хочу, чтобы ты тратился на меня больше. Слышишь ли — не хочу!.. Я не подумала об этом раньше, а словно вот ребенок принимала игрушки... Знаешь ли, когда человеку живется хорошо, так он и глаза на все закрывает, пока не разбудят его. И как

мне это в голову не приходило? — тихо и стыдливо кручинилась она, припав на его плечо и опустя глаза свои в землю.

— Очень сожалею, что теперь пришли такие глупости, — возразил Шадурский. — Я делал все это столько же и для себя, сколько для тебя, мой друг, и тут вовсе нечем так огорчаться.

— Нет, есть чем! Они из моей любви сделали какую-то подлость, считают продажной...

— Экие ведь люди какие есть на свете! — продолжала потом Маша, несколько поуспокоясь от своего волнения. — Все-то они сумеют загрязнить да оклеветать!.. Зачем все это? Ну что им до нас? чем мы им жить мешаем? кому какое зло мы делаем нашей любовью? Нет-таки, нужно бросить грязью!.. И кто это старается, право?

Бедная, верующая душа и не подозревала, что первый постарался тот, кого она почитала высшим своим идолом, кому отдала все свое сердце.

— Однако все это пора кончить... До свиданья, Маша, скоро никто не посмеет говорить таким образом... Прощай — я еду к отцу, — за-

ключил Шадурский, желая этими словами подать ей надежду на исполнение давно обещанной женитьбы и, стало быть, утешить ее, а в сущности, чувствуя только потребность избавиться поскорее от неприятной сцены да от сознания своего двусмысленного нравственного положения после ее последних слов. Это был первый упрек совести, который на мгновение почувствовал он в отношении этой женщины.

Но натура князя Владимира была такого свойства, что не принимала глубоко никаких впечатлений: на первом плане, как известно уже читателю, стояло в ней одно только всепожирающее самолюбие. Едучи домой, он уже размышлял не об этом невольном упреке, а о намерении Маши не принимать от него никаких трат на ее прихоти. Ему любовница нужна была не для сердца, а для света, поэтому она должна остаться такою, как была до последнего дня, то есть показываться в публике в качестве его любовницы. Он, в сущности, даже остался очень доволен уличным разговором двух молодых людей: известность такого рода весьма льстила его самолюбию;

не нравилось только мнение насчет того, что если Маша не промах, то оберет его совершенно, ибо этим мнением особа князя характеризовалась в некотором роде близорукой и бесхарактерной пешкой, — самолюбие вопияло.

Однако хочешь не хочешь — а надо чем-нибудь покончить свое фальшивое положение относительно обещанной женитьбы. Князь наконец пришел к заключению, что далее нельзя уже тянуть такую канитель, и потому решил приступить, без откладываний в дальний ящик, к не совсем-то приятному объяснению с Машей.

Остаток дня он употребил на обдумывание этого объяснения, которое надо было устроить как можно ловчее, дабы выйти из него полным джентльменом, сохранив к женщине свои настоящие отношения.

На другой день он нарочно постарался не видеться с Машей и приехал к ней уже поздно вечером, приняв на себя крайне встревоженный, угрюмый и озабоченный вид.

— Что с тобою нынче? — спросила удивленная девушка, когда на ее приветствие он

только крепко-крепко пожал ей руку и, не сказав ни слова, как усталый, опустился в кресло.

— Послушай, Мери, — вперил он в нее долгий, испытующий взгляд.

Девушка чутко вытянула шею.

— Ты всегда была откровенна со мною — стало быть, будешь и сегодня... Скажи мне, ты хочешь быть моей женою?

— Ты это знаешь, — ответила Маша, недоумевая, какой смысл и значение имеет предложенный им вопрос, соединенный с таким экстраординарным вступлением.

— Нет, ты отвечай мне положительно!.. Я этого требую.

— Быть твоей женой... — проговорила девушка в каком-то мечтательно-светлом раздумье... — Да! Я была бы тогда счастливейшей женщиной, — подтвердила она с восторгом, на мгновение сверкнувшим в ее глазах.

— А разве теперь ты несчастна? — неожиданно, нахмурясь, огорошил Шадурский.

Такой внезапный вопрос несколько смутил ее. «Как? Неужели я несчастлива?» — внутренне спросила она самое себя. И эта

мысль отозвалась в ней каким-то нехорошим укором.

— Нет, нет!.. Счастлива, совсем счастлива! — воскликнула она в ответ и ему, и самой себе в одно и то же время, влюбленно бросаясь ему на шею, словно бы хотела этим движением затушить сделанный внутренно самой себе упрек.

— Так что ж?.. — ласково взял он ее за руки, стараясь говорить и глядеть задушевнее. — Послушай... Бога ради, будь же ты откровенней! Скажи, что ты *более* хочешь: выйти за меня замуж или любить меня?

— Но... послушай...

— Одно из двух! — настойчиво перебил Шадурский. — Да или нет?

Краска гордости выступила на лице девушки.

— Я не понимаю, что ты говоришь, — произнесла она твердым голосом, — ведь вот теперь я не жена твоя... а кажется... умела любить.

— И любишь?

— Да, люблю! — честно и открыто вскинула она на него свои взоры.

— Ты хорошая девушка, — грустно вздохнул Шадурский, наклоняя к себе ее голову. — Ну, а вот скажи-ка мне, любила ль бы ты меня и впредь, если б... вышли такие обстоятельства, если б я должен был отложить нашу свадьбу на неопределенный срок... на очень долгий срок, а может быть... и совсем не жениться на тебе. Тогда как?

— Все-таки любила б, — отвечала Маша вполне просто и с ясным сознанием, что иначе и быть не может.

— И для тебя не было бы оскорбительно имя моей любовницы, имя содержанки? — настойчиво допытывал князь, продолжая ее гладить по голове и играть мягкими кудрями.

Маше вспомнилось вчерашнее уличное столкновение. Она подумала с минуту об этом вопросе и еще ближе, еще нежнее прижалась к Шадурскому.

— Я знаю и люблю только тебя одного, а до других — какое нам дело! — с увлечением проговорила она.

— И ты думаешь, что когда-нибудь не станешь каяться?

— Ах, какой ты странный сегодня! — удив-

лялась Маша, пожав плечами. — Да в чем же мне каяться?.. Любила — ну и довольно с меня!.. Ведь мы же счастливы... Не разлюби только... да нет! ты не такой, ты не разлюбишь!

И она покрывала его поцелуями, с наслаждением любуясь правильными чертами этого красивого лица.

Шадурский успокоился внутренно: тревоживший его вопрос был порешен благополучно. Теперь уже он принял на себя вид негодующий и огорченный, с которым объявил Маше, что свадьба их действительно должна быть отложена на неопределенный срок — до смерти отца, потому что тот и слышать не хочет об этой женитьбе, грозясь лишить его наследства в будущем, поддержки в настоящем и намерен, в случае надобности, просить высшую власть о формальном запрещении вступать ему в брак, несмотря на все усиленные просьбы и мольбы, которыми он, князь Владимир, целые сутки будто бы осаждал своих батюшку с матушкой. Одним словом, рассказанная им история, со многими частными подробностями, была сплетена очень ловко и

изобличала в нем большие авторские и актерские способности.

Маша верила и слушала его совершенно спокойно.

Проводив его от себя, уже поздно вечером, девушка долго еще ходила взад и вперед по комнате. По сосредоточенному и мрачному выражению лица ее можно было предположить, что в этой голове бродят далеко не веселые думы, которые только теперь наедине одолели ею всецело. Главным укором вставал перед нею образ двух колтовских стариков, забытых, покинутых ею, но... чем дальше длилась разлука, тем невозможнее казалась мысль о свидании. Это часто случается с нами. Если мы чувствуем себя перед кем-либо виноватыми и, вместо того чтобы сразу, скорее покончить дело, медлим личным свиданием, личным объяснением, то чем более будет проходить время, тем тяжелее начнет представляться минута этого свидания, которую мы наконец внутренно перед самим собой начинаем отдалять под всевозможными предлогами. Это, конечно, малодушие, но, к сожалению, оно свойственно чуть ли не боль-

шей половине рода человеческого.

Маша долго раздумывала о предстоящем ей положении — официальной любовницы князя Шадурского. Краска стыда кидалась ей в лицо при этой мысли — она предчувствовала, что ей предстоит вынести еще много наглости и много бесцеремонных толков и сплетен от разных вполне приличных господчиков, но — любила прежде всего и больше всего одного только князя Владимира, и поэтому все эти невеселые призраки в конце концов стушевывались перед ее светлым чувством.

— Что ж с этим делать — теперь уже поздно, — решила она сама с собою и покорно склонилась перед своей участью.

XXII
ОСОБЫЙ МИРОК

Петербургская jeunesse doree[262], к которой сопричисляют себя и многие из наших vieux garçons[263], делится в своих ловеласовских похождениях на две категории. Одну из них составляют «отшельники камелии», другую — поклонники балета. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мужская половина этих двух категорий придерживалась слишком строгой исключительности: часто «отшельник камелий» становится почитателем какой-нибудь богини хореографического искусства, а балетоман — поклонником махровых цветов без запаху. Разнообразие здесь ничему не мешает; означенные же категории составляют, так сказать, только личные симпатии каждого: один отдает предпочтение цветам, другой — прелестным, посвященным искусству *па* и *батманов,* подобно тому как один любит трюфели, другой — омары, из чего никак не следует, чтобы тот или другой стали отказываться от целого обеда, в кото-

рый входят и те и другие снеди. А вот иное дело трюфели и омары, то есть самые снеди. Что касается прелестных ножек и махровых цветов, то можно сказать с достоверностью, что первые отнюдь не смешиваются с последними: они составляют свой собственный, особый, замкнутый мирок, в который допускаются одни лишь посвященные. Посвященным не может быть всякий, причисляющий себя к избранной jeunesse doree, — стоит только быть введенным туда кем-либо из прежде посвященных.

Каждая из более выдающихся корифеек-солисток непременно имеет «свою партию», своих поклонников, кои совершают для нее надлежащие идоложертвенные требы — и, Боже мой, сколько озабоченности, сколько хлопот выказывают эти балетные факиры в критические минуты своего поклонения! А критическими минутами бывают обыкновенно эпохи перед бенефисом «предмета», или перед дебютом какой-нибудь новой соперницы, или же, наконец, просто так, ни с того ни с сего, когда вдруг придет богатая фантазия поднести «предмету» драгоценный подарок

либо лавровый венок со множеством великолепных букетов. Глядя то на серьезно-озабоченные, то на пылающие увлечением физиономии этих поклонников, слыша их горячие споры и сообщения «по секрету», с обыкновенно серьезным и важным видом, видя эту суетню, рыскание по городу от одного факира к другому, вы смело подумаете, что это люди, готовящиеся к совершению какого-нибудь государственного переворота, что миру угрожает какая-нибудь опасность или же готовится уж нечто до того великое и торжественное, что у вас не найдется даже и слов надлежащим образом изобразить это великое «нечто», — ничуть не бывало: поклонники заняты приуготовлением пышной овации на послезавтрашний спектакль своему хорошенькому идолу. Для них это дело вполне серьезное, дело первой и величайшей важности, перед которым — круглое *ничто* все остальные дела бренного мира сего. И добро бы юноши, а то ведь нет: сильную долю в этих казусах берут на себя дрожащие, облизывающиеся старцы, наши vieux garçons, наши расслабленные гамены...

А в театре, в театре-то что делается! Боги!.. что это за треск и шум; что за добросовестное отбивание каблуков и ладоней! Взгляните вы на эти первые ряды партера, взгляните сзади — и вы узрите великолепные английские проборы рядом с великолепными и пространными лысинами, волосы всех родов и оттенков, от смоли воронова крыла до тощих седин снеговидных. Взгляните спереди и полюбуйтесь, с каким напряжением, с каким слюняво-сладострастным дрожанием устремлены эти огромные бинокли на одну известную точку — на соблазнительные ножки танцовщицы. Право, можно бы было подумать, что здесь собрался многоученый ареопаг астрономов, силящихся открыть и разглядеть новую планету.

Картина поистине умилительная!

Как в настоящее время у нас существуют *муравьисты* и *петипатисты,* а в последние дни начинают слагаться *мадаевисты,* так и в былые времена всегда существовали эти различные *исты.* Каждый сезон, даривший Петербургу новую танцовщицу, производил на свет и новых *истов*. Так, у нас были розати-

сты, черритисты, ферраристы, иеллисты, эйслеристы и т. д., и т. д. Все это были истинные и присяжные поклонники балета. Многих из них уже нет на свете, а многие еще и до наших дней, достигнув почти семидесятилетнего возраста, остаются неизменно верными своему «любительскому» призванию, которое составляет для них в некотором роде серьезную цель и задачу всей жизни.

Этим-то вот господам известно все, что только мало-мальски может касаться балетного мира. Они посвящены во все закулисные тайны, им «ведоми и знаеми все пути и яругы», которыми нужно добираться до интимности с той или другой жрицею Терпсихоры; они извещаются о всевозможных закулисных интригах, в коих иногда и сами принимают косвенное участие; до них из первых рук доходят всевозможные сплетни, скандальчики и интрижки этого особого мирка. Со многими из жрецов и жриц вышеозначенной музы эти господа входят даже в духовное родство, идут к ним в кумовья, сватья и посаженые отцы, дабы закрепить узы своего авторитета в закулисном мире. Для этой же самой цели они у

себя по временам и празднества устрояют, на которых блещут все habitues[264] балетного мира и которые отличаются совсем особенным, своеобразным характером.

Князь Желторецкий, познакомясь с mademoiselle Брав, тоже примкнул к этому миру, куда стремятся многие индивидуумы из нашей блистательной jeunesse doree, у которых еще не совсем прорвались карманы.

В этот же самый мирок, совершенно отличный от мира присяжных махровых цветов, хотел и Владимир Шадурский ввести свою Машу, имя которой было англизировано в Мери ради вящего благозвучия.

Они с Желторецким были явные приятели и даже *на «ты»*, стало быть, это являлось вовсе не трудным, тем более что сам Желторецкий сделал первый шаг, пригласив его «с барыней» приехать к себе на дачу, где, по прихоти своей Брав, он устраивал для нее катанье с гор и на коньках, а потом ужин с танцами.

Маше не хотелось ехать. Ей так полюбилось свое одиночество, это отсутствие посторонних лиц, что положительно не хотелось

расставаться с ним хотя бы не на долгое время. Кроме князя Владимира, она никого не желала ни знать, ни видеть — чувство, хорошо знакомое всем любящим много и сильно. Она чувствовала, что будет всем чужая на этом вечере — и не ошиблась.

Въезд на дачу ярко был освещен пылающими плошками. На дворе теснились кареты и ямские тройки. Из дома раздавалась музыка. В ярких окнах мелькали силуэты гостей.

Маша вошла в большую, старинного покроя, залу с расписным потолком и египетскою мебелью времен консульства. Царица пикника встретила ее очень приветливо и повела к дамам, которые, напротив, оказали ей прием весьма холодный, так что бедная девушка и сама почувствовала холод какой-то во всех членах и томительную неловкость. Дамы бесцеремонно бросали косвенные взгляды на ее наряд; но наряд был вполне безукоризнен, чего нельзя было сказать про наряды этих дам, несмотря на всю их пышную роскошь, яркость, богатство и шикарность. Маша, от нечего делать, поневоле стала наблюдать собиравшееся общество.

Тут были представители и петербургского спорта, и морского яхт-клуба, и шахматной игры (развлечение вполне элегантное), и клуба английского. Последние преимущественно были известны тем, что вели огромную игру на зеленом поле:

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.

Более сказать про них нечего, так как дальнейшая биография их обществу неизвестна, а приятная наружность с самоуверенно-приятными манерами служит достаточно убедительным аргументом, чтобы их везде охотно принимали.

В залу между тем время от времени входили вновь приезжающие гости; большая часть приглашенных являлась «с семейством» (разумей, с левой стороны), например: граф Алимов и с ним подруга холостых дней его, с нею сестрица или какая-нибудь кузина, еще не пристроенная. Иные появлялись с братцами, дядюшками и матушками — представители великосветской златой юности необыкновен-

но мило и даже с нежной фамильярностью относились к этим братцам и дядюшкам своих дам. Они трепали их по плечу, с некоторыми были *на «ты»*, что необыкновенно льстило самолюбию братцев и дядюшек: «Вот мы, дескать, каковы! запанибрата с князьями-графами!» — и не отказывались от распития с ними бокала вина или стакана пуншу, к которому особенно оказывали пристрастие дядюшки. Словом, златая юность смотрела благосклонно на дядюшек с братцами, а братцы с дядюшками — благосклонно и даже иногда сквозь пальцы на златую юность. И все были довольны и счастливы.

Братцы и дядюшки по большей части пребывали в области буфета и около зеленых столов, а серебряные аксельбанты, шитые венгерки и шармеровские фраки — около сестриц и племянниц.

Терраса, спускавшаяся к широкому пруду, горела разноцветными фонарями; по углам катка пылали смоляные бочки, за купами близстоящих деревьев то и дело вспыхивали бенгальские огни и шарахались в морозную высь длиннохвостые ракеты, при звуках тру-

бачей, гремевших в павильоне разные польки и марши. На катке раздавался визг и хохот. Золотая юность веселилась.

— Ах, душка, что это вы говорите!.. Ай-ай, девицы, какой противный мужчинка!.. Ай, нет, страсти какие!.. Ай, нет, девицы, умираю!.. Это ужасть... до смерти просто смешит! — визжали дамы, перешептываясь по временам одна с другой и с громким хохотом наивничая в ответ на любезности своих кавалеров. В обществе этих дам слышался исключительно русский говор, ибо «по-французскому» они не разумеют, — совершенный контраст с махровыми цветами без запаху, где полновластно царит вульгарный жаргон Парижа да изредка немецкие фразы.

Шадурский, боясь, чтобы кто не подумал, будто он чересчур нежный и даже ревнивый любовник, совершенно покинул свою Машу на произвол судьбы и хозяйки и избегал даже часто попадаться ей на глаза; а хозяйка слишком была занята — во-первых, своим собственным удовольствием, во-вторых, многочисленными гостьями, составлявшими ее прямое, родное ей общество, — так что Маша

весь вечер почти была одна. Дамы как-то чуждались и не сходились с нею; она же сама, по робости и непривычке к такому большому обществу, тоже держалась как-то в сторонке. Грудь ее томило какое-то беспокойно-сосущее, тоскливое чувство, которое испытывает самолюбие человека, попавшее в чуждое ему общество, вдобавок еще считаемое им почему-то выше себя. В этих случаях один уже вид чужого веселья при сознании своего полного одиночества наводит на душу тоску невыразимую. Она тщетно искала глазами Шадурского и не находила: князь заблагорассудил удалиться к одному из карточных столов, где потешался над некоим индивидуумом, из категории братцев, который числился прихлебателем в этом обществе и употреблялся на посылки, играя часто роль Гермеса в отношении сердец златой юности и героинь балета. Этот юноша с очень важным видом отдавал приказания оркестру, поил водкой кучеров и пивом музыкантов, подставлял стулья титулованным господчикам, провожая и указывая им дорогу, когда кому-нибудь из них заблагорассудилось выйти на террасу либо в

другое место, и поправлял плохо горевшие фонарики — и все это с необыкновенным сознанием своего достоинства и близости к таким светлым особам.

Маша, закутанная в теплую ангорскую шаль, стояла на террасе, когда к ней подошел расслабленной подагрической походкой один из старцев-гаменов, скрывавших под завитым паричком и нарумяненными щеками свой шестой десяток.

— Что вы, милочка, стоите тут?.. Пойдемте, я вас покатаю, — предложил он бесцеремонно, по праву своего солидного возраста, взяв ее за талию и норовя поцеловать в щеку своими отвисло-мягкими губами.

Маша, никак не ждавшая такого приема, быстро отшагнула от него в сторону и смерила старца холодным и строгим взглядом.

Несколько дам, сгруппировавшихся на другом конце террасы, при виде этого маневра разразились бесцеремонно громким хохотом.

Маша вспыхнула: она не могла понять — над нею или над старцем захохотали они.

— Ох, какая гордая «мадам»! — запахнулся

тот в свое богатое меховое пальто, отходя от Маши и направляясь на противоположный конец, к хохотавшей группе. — Вы, птички, будете подобрее ее, вы поцелуете старичка? а? не правда ли?

— Поцелуем, дединька! поцелуем! — защебетали птички.

— Я знал, что не откажетесь!.. Вы ведь любите старикашек...

— Какой вы старикашка, дединька?.. Что это, душка, вы на себя сочиняете? Вы еще совсем молодой — вам все девицы скажут! Вы еще лучше иного молодого будете... Те — мальчишки, а вы — мужчина хоть куда!

— Хе, хе?.. Нда!.. Мы еще постоим за себя... постоим... Ну, кто же хочет целовать меня?

— Я!.. я!.. я, дединька!.. Я!.. — завизжали все они в один голос, и дединька стал по порядку подходить к каждой из них и со всеми перецеловался в губы.

— Спасибо, девочки, спасибо... merci, наградили, не обидели старичка! — говорил он расслабленным голосом, совсем размякнув, как булка в чаю, от этих молодых поцелуев.

— Мы ведь, дединька, добрые, мы не гор-

дые, мы не такие дикие — не то что другие, — затараторила одна из птичек этой группы.

— Чтой-то, девицы, нынче иные какие недотроги становятся, просто ужасти! Не прикоснися к ним...

— Ну, ну, ну, полно, полно... — уговаривал дединька, по незлопамятности своей уже позабывший «обиду» Маши, будучи вполне вознагражден за нее ее антагонистками.

— Да нет, право, дединька, — перебила его шпилька, — мы уж и то сидим себе да думаем: зачем это к нам, к театральным, вдруг посторонние лезут?

— Ну, кто же, кто же посторонний?.. разве я посторонний?

— Да мы, душка, не про вас; вы — наш совсем, с нами в колыбельку, с нами и в могилку, вы — наш родной, дединька, а вот другие...

— Да кто же другие?.. Все ведь свои, кажись...

— Нет, уж есть; мы знаем кто!.. И зачем это?.. Мало им, что ли, содержанок-то по городу? И знакомились бы себе!..

Взрыв бурака, возвестившего начало фей-

ерверка, прервал этот разговор, наполнив всю террасу визгом и писком неимоверным. Все общество из комнат повалило сюда. Маша увидала наконец Шадурского и бросилась к нему. Он стоял рядом с двумя фраками и весело разговаривал с ними.

— Князь, сделайте честь, представьте нас, — заговорили фраки, как только она приблизилась. Шадурский назвал того и другого, прибавя, что оба — его хорошие приятели.

Маша мельком взглянула на них и узнала в обоих тех самых вполне приличных молодых людей, которые так нахально лорнировали ее однажды на улице и выражали весьма нелестное для нее мнение как о «содержанке» Шадурского. В ней закипела наконец какая-то нервическая злость, которая так и подмывала ее высказаться.

— Я вас несколько помню, господа, — начала она дрожащим от волнения голосом, — вы как-то раз очень много оглядывали меня на улице... Помните, князь, я вам тогда еще говорила... Я никак не ожидала, что вы — приятели его.

— Tais toi!.. prst!..[265] — осторожно дернул

он ее за руку, с шепотом наклонясь к самому уху, а у самого все лицо передернуло от сильного неудовольствия.

Приятели ухмыльнулись, переглянулись и, как ни в чем не бывало, продолжали прежний веселый разговор с князем Шадурским, который, по-видимому, стал еще любезнее к своим собеседникам, желая сгладить впечатление Машиных слов: оба были сыновья весьма важных и чиновных сановников.

За прудом, на поляне, загорелся фейерверк, приковав к себе общее внимание и взоры.

Маша снова осталась одна.

Сердце ее тоскливо щемило, грудь подымалась от волнения. Она слышала весь разговор птичек и особенно колкие замечания шпильки, которые вполне приняла на свой счет, — да к тому же еще дединька со своими мягкими губами, наконец, поведение Шадурского с двумя его приятелями после ее слов — все это произвело на нее слишком тяжелое, грустное впечатление. Она готова была заплакать. Внутренняя дрожь взбудораженных нервов так и подымала рыдания к горлу. Маша при-

зывала всю силу воли, чтобы удержаться.

«Зачем же он с таким негодованием хотел тогда дать им пощечину хлыстом, а теперь знает и... так любезно говорит с ними?.. Что же это значит?» — думала Маша, испытывая горькое чувство недоумения, которое всегда предшествует первому разочарованию. Ей сделались невыносимы и противны весь этот праздник, все эти самодовольные лица, все это веселье, треск ракет и звуки музыки — и захотелось прочь отсюда, бежать, уехать как можно скорее, чтоб остаться одной — одной совершенно.

— Друг мой, я совсем больна... Бога ради... увези меня... голубчик, отсюда; уедем... Я не могу... — робко шептала она, взяв Шадурского за руку и сдерживая слезы.

Тот с неудовольствием и досадой повернул к ней голову.

— Что это за капризы еще?.. С чего это?

— Пожалей меня... Бога ради... я так ослабла... я упаду сейчас... уедем.

Он подал ей руку и поспешно увел с террасы. Через две-три минуты, когда все еще любовались разноцветными звездами римских

свечей и бураков, от треска которых непривычные лошади храпели и бились на дворе, карета князя Шадурского выехала за ворота дачи.

XXIII
ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Несколько времени они ехали молча. Маша поминутно взглядывала на Шадурского и в то время, как свет от редких фонарей, западая в каретное окошко, слабо освещал лицо ее соседа, она замечала, что лицо это было пасмурно, выражало досаду и неудовольствие.

— Володя... ты сердишься? — тихо спросила она из своего уголочка.

Князь не отвечал и сделал вид, будто не слыхал ее слов.

Девушка наклонилась к нему, как бы желая разглядеть его черты — засмотреть в его взоры, и повторила вопрос свой.

— Я терпеть не могу подобных штук, — сказал он с желчью в голосе, — это пошлые капризы, и больше ничего!

— Нет, не капризы, милый! далеко не капризы, — горячо вступилась за себя девушка. — Если б ты знал, что я вытерпела, если б ты знал, как мне горько было!

И она сквозь слезы рассказала ему все, что было с ней на террасе.

Шадурский упорно молчал, ни одним звуком и движением не выразив участия к ее рассказу.

— Бога ради, — заключила она, кротко припав к его плечу, — Бога ради, не вывози ты меня на эти балы, не знакомь ты меня ни с кем!.. Зачем нам навязываться? Пусть их веселятся, а мне и с тобой хорошо; мне, кроме тебя, никого и ничего не надо. Ведь ты послушаешься меня? да? не правда ли?

Шадурский по-прежнему молчал и хмурился.

— Володя, ты слышишь, что я тебе говорю? — взяла она его за руку после минутного молчания.

Ответа не было. Маша с беспокойством бросила на него несколько взглядов. Такое молчание — отзыв на ее кроткую, полную любви исповедь — начинало становиться

обидным, жестоким, оскорбительным. Она, затаив тяжелый вздох, робко и тихо отодвинулась в свой уголок и во всю дорогу уже не проронила ни одного слова. Слезы невольно потекли по ее щекам, и девушка спирала в себе дыхание, закусывала губы, лишь бы не показать ему этих горьких слез. Ей не хотелось, чтобы он заметил их.

Она чувствовала себя нехорошо. У нее в мыслях и в сердце с каждой минутой скапливалось все более и более горечи, а у него на душе было как-то скверно и досадно. Князь злился на Машу — и только на одну ее: он ждал, что появление ее в первый раз среди такого большого общества произведет хороший эффект, что она будет блистать, по крайней мере наравне с mademoiselle Брав, и затмит собою всех остальных женщин; а Маша вместо того как-то стушевывалась в течение всего вечера, как-то съежилась и умалилась морально в сравнении с самыми заурядными из героинь балета. В ней не было ни того шику, ни того несколько бесцеремонного лоску, который составляет принадлежность этих дам. Князь не понимал, что подобные натуры

могут только сильно и честно любить, но не блистать. А для него-то именно и требовалось лишь это последнее, потому он и злился на безвинную виновницу оскорбления своему самолюбию и готов был наделать ей бездну мелких, колких неприятностей, но на первый раз удержался, в надежде скоро переработать ее на нужный ему лад — дескать, глупа и дика еще. Но, как бы то ни было, он испытывал первое разочарование в отношении своей любовницы.

Равным образом и она впервые познакомилась с тем же самым чувством, только у Маши оно шло совсем из другого источника. Ей казалось странным, что князь, все-таки оказывавший ей до сих пор везде видимое уважение, решился повезти ее в такое общество, где она не была ограждена от пассажа с мягкогубым старичишкой. Еще страннее показалось то, что, узнав об этом пассаже и о тех грубых, аляповатых намеках, какие делала на ее счет шпилька, он не выразил ни удивления, ни негодования. «Что же все это значит? — думалось ей. — Или я в самом деле для него не более как просто содержанка?

Неужели же и он — *он*-то — за всю мою любовь платит мне таким презрением? Быть не может!»

Князь молчал, и, стало быть, ничто не могло опровергнуть эти невеселые думы. Ей было больно, что тот, кого она почитала своим идолом и нравственным совершенством, так грубо, так апатично принял ее задушевную исповедь, ее оскорбление — оскорбление, нанесенное женщине, которая думала, что она для него — любимая женщина. Хоть бы одно какое слово, один какой знак участия, утешения — полнейшее ничего, и только!

Он довез ее до дому, постоял, пока отворили подъезд, и, даже не кивнув ей головой, укатил к себе, чуть только наглухо захлопнулась за ней дверь.

С тех самых пор начался для обоих ряд постепенных разочарований, несмотря на которые одна все-таки любила крепко и горячо, а другой не расставался еще с надеждой переработать честную девушку в своего рода камелию, как того требовал идеал, созданный его самолюбием. Маша, однако, упорно отка-

зывалась от дальнейших выездов в общество женщин нашей jeunesse doree, что каждый раз непременно бесило Шадурского. Она сделала для него одну уступку: согласилась принимать у себя его приятелей, когда того хотелось князю, не выключая даже и двух вполне приличных молодых людей, хотя внутренно ее весьма-таки коробило от их присутствия да и вообще от всего общества этих «приятелей», которые после нескольких бутылок за ужином либо за завтраком забывали, что перед ними находится женщина, а помнили только в лице Маши «содержанку» и потому далеко не церемонились в своих разговорах и выражениях.

Таким образом дело тянулось около года. Наконец Маша положительно надоела Шадурскому, так что он только искал благовидного предлога, чтобы отделаться от нее окончательно.

Читатель знает уже (из рассказа нашего про тот вечер, когда впервые познакомили его с Машей), какого рода ультиматум предложил ей Шадурский, намереваясь отправиться на пикник к Берте. Вероятно, также не

забыто и то гнетущее впечатление, которое произвели на эту девушку его жесткие слова и насмешки над ее искренним чувством.

Поведение его с нею в последнее время показывало ясно, что он идет к прямому разрыву. Маша видела это, с каждым днем убеждаясь все более и более в близости этого разрыва, в полном исчезновении любви со стороны князя и, несмотря на всю осязательную очевидность фактов, старалась обмануть сама себя, отыскивая для него всевозможные оправдания его поступков с нею и нарочно закрывая глаза, чтобы не так страшна казалась та пропасть, над которой стояла она.

XXIV
КИНИК

Лампа начинала тускнеть, а Маша часа полтора спустя по уходе князя уже не плакала, а только по временам надрывисто вздыхала судорожно-глубоким вздохом, как дышится всегда после тяжелых слез, долго надсаживавших грудь. Теперь ей поневоле было уже ясно, что князь ее не любит, но не подозревала она только одного, что он никогда не любил ее. Маша обвиняла сама себя в том, что он утратил к ней чувство, терялась в догадках — отчего бы это могло так случиться, искала причин, выдумывала даже эти причины, которые после некоторого размышления оказывались вполне несостоятельными и даже несуществующими, кроме одной, вполне действительной, настоящей: зачем она, по его настоянию, не сделалась полной камелией.

Ей было страшно решиться на такую жертву, страшно и больно махнуть рукою на все заветное, доброе и честное, что сызмалетства жило в ее сердце, отказаться от сознания

честно любящей женщины и ради одной прихоти человека сделаться записной куртизанкой, вступить в их общество, быть соучастницей этих блистательно-цинических оргий, на каждом шагу подвергая себя зависти, сплетням, клеветам, унижениям и интригам своих новых товарок и бесцеремонным оскорблениям своего человеческого достоинства, которые безнаказанно мог бы нанести ей каждый наглец, непременный член этих кутежей и оргий, приятель того избранного общества мужчин, что вращаются среди подобных женщин.

И вот теперь, во время долгой, бессонной ночи, когда множество подобных дум перебродило в ее голове, когда сердце ясно говорило ей, что, несмотря на все оскорбления, нанесенные ее чувству любимым ею человеком, она все еще любит его, Маша почти готова была согласиться на эту последнюю и самую тяжелую для нее жертву, лишь бы удержать за собою его привязанность. Ей надо было только знать, любит ли он ее хоть насколько-нибудь. Если любит, так вернется — и тогда первым словом услышит ее полное и по-

корное согласие на все его прихотливые требования; а если не любит, если не вернется — тогда... Маше страшно было подумать об этом; она всей душой, всем существом своим желала верить, что не все еще кончено между ними, и нетерпеливо ждала его приезда.

Целых трое суток, не делая шагу из своей квартиры, провела она словно в каком-то чаду, с часу на час ожидая возвращения князя. Каждый стук подъезжавшего экипажа, каждые шаги на лестнице заставляли ее чутко вздрагивать, с тревожным замиранием сердца бросаться к окну, от окна в прихожую, к двери — и все напрасно. Теперь ей уже захотелось увидеть хоть кого-нибудь из посещавших ее приятелей Шадурского, чтобы расспросить их, узнать, что с ним сделалось; но и из этих господ, как нарочно, ни один не заехал к ней в это время.

Маша наконец села к своему письменному столику и начала писать к нему письмо, умоляя пожалеть ее и возвратиться; но, не дописав даже до половины, положила перо и задумалась.

«Нет, не надо!.. Пожалуй, подумает, что на-

вязываюсь, — подсказал ей внутренний голос женского самолюбия. — Не надо!.. Уж если не любит, так никакие письма не заставят вернуться... ни к чему унижаться!»

И разодранный в клочки листок почтовой бумаги полетел под стол, в плетеную корзинку.

Прошло еще три мучительных дня — о Шадурском ни слуху ни духу. Машу взяла тоска и одурь страшная. Нигде и ни в чем утешения, ниоткуда участия. Мысль о том, чтобы обратиться к «тетушке» фон Шпильце, ей и в голову не могла прийти, потому что в течение того времени, которое Маша прожила с Шадурским, она приобрела настолько опытности, чтобы не сомневаться в значении той роли, которую приняла на себя генеральша, знакомя ее с князем; тем более что и этот последний признался однажды в своем обмане, когда девушка при каком-то разговоре назвала Амалию Потаповну его теткой. Прирожденный аристократизм князя Шадурского возмутился при одной только мысли о родстве черт знает с кем, когда в том миновала практическая надобность.

— Ты, пожалуйста, не вздумай еще при ком-нибудь сказать это, — остановил он Машу, — она столько же мне родня, сколько мой сапог доводится братцем этой лампе.

— Как... значит, вы меня обманывали? — в недоумении воскликнула Маша.

— Значит.

— Но... как же это так!..

— Очень просто; отчего же немножко и не обмануть хорошенькую девочку, если она нравится, если мы ее даже любим? — объяснил Шадурский, смягчая своею лаской ту неприятную и горькую пилюлю, которую должна была проглотить девушка при столь неожиданном открытии. И вслед за тем, шутя и лаская, он рассказал ей всю историю этого «невинного» обмана.

Маше как женщине, и притом женщине, любящей беззаветно, без размышлений, не пришло и в голову ни малейшего упрека, какой она могла бы сделать своему любовнику за его невинную шутку. Она даже вполне оправдала его в силу совершенно особой женской логики — оправдала потому, что любила и была убеждена, что и его побудила на такой

поступок тоже одна только любовь. Но в силу той же самой женской логики все затаенное негодование и горечь она перенесла сполна и непосредственно на свою мнимую тетушку, к которой еще и прежде никак не могла победить в себе безотчетно антипатичного чувства.

Теперь она ее презирала, испытывая при одной мысли об этой тетушке то нервическое ощущение, которое возбуждает прикосновение к холодной и скользкой лягушке. С отчаяния она надумала ехать в Колтовскую, выплакать перед стариками все свое горе, покаяться и жить с ними вместе, по-старому, в тишине да в безызвестности. Как надумано, так и сделано. Не медля ни минуты, надела она салоп, взяла извозчика и поехала. Это действительно был единственный исход из ее тяжелого нравственного состояния, последняя надежда на облегчение своего горя.

Пока извозчик-ванька усердствовал, погоняя свою лошадку, Маше все казалось, будто едет он необыкновенно тихо; она досадовала и торопила его, потому что самой хотелось не ехать, а лететь скорее в Колтовскую. Вот и

знакомая улица, и родной домик с мезонином виднеется. У Маши как-то болезненно заныло в груди. В каждом прохожем ей чудился сосед или знакомый — и как-то совестно было ей глядеть этим встречным в глаза, словно стыдилась чего. Ей все казалось, что каждый непременно узнает ее, а Маше очень не хотелось, чтобы ее узнавал кто-либо, и потому, только еще подъезжая к Колтовской, она поторопилась опустить на лицо свой вуаль.

С замиранием сердца переступила она за порог калитки, огляделась: ни кур, ни утят, ни Валетки не видать во дворе, и конура собачья полуразрушена — как будто и признаков нет прежнего домовитого хозяйства. Что же это значит все?

Еще с большей тревогой в душе ступила она на деревянное крылечко и постучалась у двери. Из комнаты доносились до нее гитарные аккорды, и чей-то сиплый бас громко выкрикнул:

— Entrez![266]

Маша вошла в комнату и не узнала скромного и чистенького обиталища своих стариков. Там, где прежде на окнах стояли герани и

кактусы с китайскою розою, ныне помещаются пустые полуштофы, косушки и пивные бутылки; белых кисейных занавесок и следа нет; пол захаркан, засыпан табачною золою и давным-давно уже не мыт; вместо веселого, звонкого щебетанья канареек раздается сиплый романс под аккомпанемент гитары:

О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, человек!
Воззри, сколь жизнь ведешь ужасно! —
Он к Иову из тучи рек.

«Не уезжай, не уезжай, голубчик мой!»

Нету также и стариков: вместо них поселился какой-то новый обитатель, который, с гитарою в руках, лежит на диване — офицерская шинель в рукава поверх рубашки, длинные белобрысые усы, красное и одутловатое рыло, а в голове, очевидно, изрядное количество винных паров, о чем свидетельствует стоящий рядом на столе полуштоф и кислая капуста в тарелке.

Маша отшатнулась и стояла, словно при-

шибленная своим недоумением, не зная, что и подумать обо всем увиденном ею. Офицерская шинель при ее появлении вскочила с дивана, изобразила наиприятнейшую улыбку, расшаркалась туфлями и прилично запахнулась.

— *М-медам!* — произнес хриплый бас, налегая особенно на букву «е», вероятно, ради пущего шику. — *Же сюи шарме!*[267] Чему обязан счастием зреть...

— Я хотела видеть Поветиных... Петра Семеныча с Пелагеей Васильевной, — несмело сказала Маша, едва оправляясь от первого впечатления.

— Я за них!.. Я за них, налицо, *м-медам!* Или, может быть, *медемуазель?* Позвольте честь иметь рекомендоваться: ихний племянник, отставной капитан Закурдайло, по рождению — благородный человек, по убеждениям — киник. Прошу садиться! — говорил он, продолжая шаркать и поминутно запахиваясь.

— Вы... племянник? — едва могла выговорить изумленная Маша.

— Так точно-с; *ву заве резон!*[268] А вас, ка-

жется, это удивляет? Такова была сила обстоятельств и законное наследие: у меня есть права и акты.

Последние слова капитана зловещим предчувствием кольнули сердце девушки.

— Где же они... старики-то? — спросила она, желая и в то же время боясь предложить этот вопрос, в ожидании рокового ответа.

— Тетенька моя, Пелагея Васильевна, волею Божьею помре, а дяденька, Петр Семеныч, находится в Обуховской больнице в отделении умалишенных.

Известие это до того поразило Машу, что она, с помутившимися глазами, в изнеможении опустилась на первый попавшийся стул.

— Вы, смею предполагать, не воспитанница ли ихняя? — вопросил капитан, раскуривая трубку.

Маша не в силах была отвечать и только утвердительно кивнула головой.

— Так-с... слыхал... слыхал... Стало быть, чувствуете потерю? Это делает вам честь. Не забывай отца твоего и матерь твою, даже если бы ты сидел между принцами. Таково мое правило. Не прикажете ли закусить, чем Бог

послал? Нет? Ну, так я один закушу, с вашего позволения, — заключил капитан, глотая рюмку водки.

— Расскажите... что это... как все это случилось? — обратилась к нему девушка, чувствуя в эту минуту полное сиротство.

— Очень просто: все люди смертны. Я — человек, значит — я смертен. Так говорит философ. Все, что я знаю — ничего не знаю. Наслышан же от соседей таким образом: после отъезда воспитанницы, то есть вас, медмуазель, тетенька Пелагея Васильевна (царство небесное!) впала в тоску; жаловалась, что желает вас видеть и не знает, где вы обретаетесь и совсем забыли ее. Даже была сна и аппетита лишившись, заболела вскоре горячкою и отошла в предел Всевышнего. Так повествуют наши хроники. Дяденька же, Петр Семеныч, после такого пассажа с тетенькиной стороны предался пагубной страсти насчет крепительного напитка и лишился умственных способностей. Вызывали наследников. Я на ту пору, прочтя извещение «Сенатских ведомостей» о вызове наследников и находясь временно в Санкт-Петербурге, предъявил свои права, так

как я довожусь тетеньке родным племянником по мужской линии, — и, по наведении достодолжных справок, был введен в пользование. Вот и весь мой анекдот в том заключается.

— Где же она похоронена? — спросила Маша, с трудом глотая подкатывавшие к горлу рыдания.

— Места погребения с точностью указать не могу, но наслышан, что на кладбище Смоленския богоматери. Впрочем, человеку после смерти все равно, где бы ни был погребен он. А вот вам, медам, не угодно ли купить у меня кое-какие остатки мебели? — продолжал Закурдайло, указывая на стол, диван и два-три убогих стула. — Я все сбываю понемногу, потому, говорю вам, я — киник. Меня и в полку все киником звали — и я горжусь. Это все вещи, и потому — излишнее; как человек, я только обязан удовлетворять мои физические потребности, а это все, — заключил он, кивнув глазами на мебель, — это все — комфорт и суета. Я помышляю так, чтобы мне в монахи идти. Как вы полагаете?

— Вы говорите, старик в Обуховской?.. Его

можно там видеть? — сказала Маша, подымаясь с места.

— Хоть сию минуту; на это, кажется, запрету там не полагается, — расшаркался Закурдайло и, когда Маша ступила за порог, в прихожую, остановил ее благородно-просительным жестом руки.

— Я не прошу взаймы, потому что не имею привычки отдавать, — начал он с достоинством, — но, м-медам! Отъявленному пьянице и негодяю капитану Закурдайле на выпивку!.. На выпивку пожалуйте нечто! Нечто на выпивку!

Маша опустила руку в карман и подала ему рублевую бумажку.

Капитан снова запахнулся и стал расшаркиваться.

— *Же сюи шарме!.. Же сюи аншанте де вотр бонте, м-медам!*[269] И непременно поцеловал бы вашу ручку, если бы вам не скверно было протянуть ее такой ска-а-тине, как ваш покорнейший слуга. *Адью, медам, адью! Ж-же ву занпри!*[270]

И капитан любезно захлопнул за нею двери.

— В Обуховскую больницу, — сказала Маша извозчику, не помня себя от щемящего горя и рыданий.

XXV
XIV ОТДЕЛЕНИЕ ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Каждому петербуржцу очень хорошо знакомо по наружности длинное здание на Фонтанке, близ Обухова моста, — здание в совершенно бесцветном, казенном стиле, с фронтоном, на котором в высоком слоге изображено: «Градская Обуховская больница», вместо «городская», что, без сомнения, составляло бы слог обыкновенный, тривиальный.

Если вы войдете в эту «градскую» больницу с ее главного подъезда, то, пройдя шагов двадцать по площадке сеней, очутитесь в поперечном коридоре, перед дверью, где прибита доска с надписью: «XIV отделение». Для человека, который, не будучи знаком с назначением этого отделения, переступил бы за порог ведущей в него двери, неожиданно предстало бы, в иную пору, очень грустное зрели-

ще. Первое, что могло бы неприятно поразить его, — это отчаянные крики ужаса и страдания, корчи и борьба человека, подставленного коротко остриженной, а иногда и совсем бритою головою под холодные струи душа, имеющие назначение освежать его больную голову. Он рвется, мечется под сильными руками трех-четырех служителей и наконец, изнеможенный, покоряется своей участи.

Вид страдания, каково бы оно ни было, неотразимо действует на каждого болезненно-грустным впечатлением; но грустнее всего и обиднее всего для нравственного и разумного достоинства человеческого — это вид умалишенного и его страданий. Грустнее всего то, что, несмотря на всю тяжесть впечатления, вы порою не удержитесь от самой неожиданной и вполне невольной улыбки.

Старуха Поветина умерла от тоски. Когда так нежданно и быстро разлучили ее с Машей, когда эта последняя совершенно потерялась у нее из виду, так что та совсем уже не знала, ни где она, ни что с нею, бедная старуха не выдержала такого испытания и упала духом. Любящая и привязчивая душа ее не

сжилась с этим сиротством, затосковала, захирела, и — вскоре одной незначительной простуды было совершенно достаточно, чтобы Пелагея Васильевна, обессиленная уже своим моральным горем и каждодневною скрытою тоскою, отправилась к праотцам, в болотистую почву Смоленского кладбища.

Горе и сиротство старухи были вполне равносильны и для ее мужа. Но со смертью ее тяжелый груз этой печали удесятерился. Поветин остался круглым бобылем и, как известно уже читателю, запил весьма нешуточным образом. За нетрезвость и бесполезность его выгнали со службы — старик сошел с ума.

И вот в одно утро очутился он в ванне, под холодной струей воды, принял эту купель посвящения, которая неукоснительно встречает каждого грядущего в дом умалишенных; затем облекли его в больничный халат серого сукна, на ноги надели шлепанцы-туфли и впустили в длинный, довольно широкий, но полутемный коридор, по одной стороне которого идет ряд дверей с окошечками от отдельных нумеров. В одном из них ему указали железную кровать под тощим и довольно гряз-

новатым байковым одеялом и сказали, что это его место и что здесь он может спать. Старик очень любезно поклонился и не прекословил.

— Скажите, пожалуйста, ведь это здесь родильный дом, не так ли? — отнесся он тотчас же к своему сотоварищу по нумеру, который, сидя на кровати перед маленьким столиком, писал какие-то бумаги.

— Здесь-то? — отозвался с необыкновенной важностью и достоинством сотоварищ, тоже весьма уже пожилой человек. — Нет, здесь отделение умалишенных, сумасшедший дом, а не родильный.

— Это неправда, это не может быть, я знаю наверное, что здесь родят; с тем меня и привезли сюда, — оспорил Поветин.

— Что-о? — строго поднялся с места сотоварищ. — Ты осмелился опровергать меня? Ты знаешь ли, кто я таков и какой сан на мне? Я — император! Император Петр Первый, великий преобразователь России, посажен сюда хитростию и происками бунтовщиков-изменников. Кланяйся мне! я доверяю тебе мою тайну — пойдем!

И он, всемилостивейше взяв Поветина под руку, повел его из нумера в длинный коридор, где ходили на свободе человек до двадцати больных. Каких только звуков и голосов не было слышно в этом коридоре!

— Ку-ка-реку-у! — кричит один несчастный, сидя на корточках и воображая собою курицу, которая испорчена злыми людьми и потому поет петухом.

— La mia letizia![271] — раздавалось на противоположном конце, мешаясь с декламацией оды «Бог» Державина.

— Аксеновский паде, подержи, по-дер-жи на уме! — убеждал пустое пространство четвертый субъект, помешавшийся в роковой момент своей жизни, когда нежданно-негаданно застал свою жену с ее любовником.

— Пой акафист мне, пой! — настаивал пятый, тщедушный человек, приставая к угрюмому дьякону.

— Зачем акафист? Я тебе матку-репку спою, — мрачно ответствовал помешанный дьякон.

— Нет, ты мне акафист споешь! Стойте! — взял он за руки Поветина с императором. —

Ангелы и архангелы мои, Варахиил и Михаил! казните его, каналью! жупелом, жупелом его хорошенько!

— Ну что же, разве это не сумасшедший дом? — очень рассудительно и, по-видимому, совершенно здраво обратился к Поветину император. — Этот несчастный воображает, будто он Бог... И я обречен томиться между ними!..

— Да, Бог; вы правы! А и устал же я сегодня, господа! ух как устал — моченьки нету! — сказал, руки в боки, тщедушный.

— Отчего же вы устали? — благодушно отнесся к нему император, как здравомыслящий к помешанному, и толкнул при этом слегка Поветина: дескать, слушай, слушай, какую дичь понесет!

— А как вы думаете? в нынешнюю ночь дважды смахал на небо и к обеду, как видите, вернулся! а к вечеру опять-таки — *фить!* — ответил тщедушный, взмахнув рукою кверху.

— А далеко это до неба?

— Да, порядочный таки конец! Прямым путем, по столбовой дороге, — сорок пять, а в объезд, пожалуй, верст семьдесят будет.

— Зачем же вы так часто катаетесь?

— Да ведь нельзя же: администрация! Я в переписке с Авраамом; знаю, что там пружина в замке испортилась, а он мне депешу не шлет; ну, я и поехал! Моли меня, человече, о чем хочешь — все тебе дам, все исполню! — прибавил он, вдруг обратясь к Поветину.

— Да вот... скоро срок мне... на сносях хожу — родить скоро надо, — кланялся Петр Семенович, — так уж нельзя ли, чтобы девочку родить, девочку Машу...

— Этого не могу; не в законах природы, и ты сумасшедший! — серьезно, подумав с минуту, ответил тщедушный. — Для этого я создал женщину, Еву; а вот росту тебе прибавить, вершка четыре или пять, — изволь! Это могу хоть сию минуту.

— Ты опять кощунствуешь!? — укоризненно подошел к тщедушному молодой человек очень симпатичной наружности. — Мир создал не ты. Этот мир, эта природа, звезды, солнце, луна, все эти моря и горы, деревья и цветы — ведь все это так хорошо, — говорил он, одушевляясь и постепенно приходя в больший и больший экстаз, — все это так пре-

красно, что не могло быть создано грубою рукою мужчины. Мир создала женщина, прекрасная, чудная женщина. Только рукою женщины и могло все это так создаться... Она — моя богиня, я в нее влюблен, я ей поклоняюсь... Я — секретарь создания... Вот вам, люди, завет моей богини: не ешьте мясного, не носите кожаного, потому всякий последний червячок жить хочет; убить его мы не имеем права. У нас есть мед, коренья и плоды. Любите мою богиню, обожайте ее!

В эту минуту тщедушный, оскорбясь пропагандой, которая шла в разрез с пунктом его помешательства, влепил сильную и звонкую пощечину секретарю создания. Пошла потасовка. Два служителя, мирно игравшие доселе в шашки, вскочили со скамейки и бросились к дерущимся. Тотчас же появились на помощь к ним еще трое, с холщовой сумасшедшей рубашкой, кожаными рукавицами и ножными браслетами.

Через минуту оба бойца были уже лишены возможности продолжать поединок: руки тщедушного человека мигом упрятались в длинные рукава рубашки, а руки секретаря

создания[272] очутились в толстейших кожаных нарукавниках, которые, словно хомут, надевались на шею и плечи и стягивались на пояснице крепчайшими ремнями. Секретарь создания в минуты бешеной экзальтации становился необыкновенно силен, так что рубашка оказывалась для него мерою недействительною, ибо прочные швы ее трещали на нем, как опорки. Когда оба увидели себя в невозможности продолжать побоище руками, то ярость тщедушного обратилась на себя самого: он упал навзничь и стал колотиться затылком об пол, а секретарь, воспользовавшись как-то минутой оплошности сторожей, вырвался из их рук и, кинувшись на своего противника, принялся пинать ногами. В минуту на том и другом очутились ножные браслеты, с которыми они могли только стоять, но уж никак не ходить, почему оба были унесены в темную комнату, обитую мягким войлоком, и пристегнуты ремнями к железным кольцам.

Вся эта сцена и энергическая расправа произвели столь сильное впечатление на старика Поветина, что он не на шутку перепугался

и трусливо побежал в свой нумер, откуда уже боялся выходить. И эта боязнь осталась у него постоянною. Он уже и носу не показывал в общий коридор, трепетал при одном виде служителей и с утра до ночи, сидя на своей кровати, перебирал пеленки и распашонки, заготовленные еще покойницею Пелагеей Васильевной в ожидании будущего сына или дочери. Старику не препятствовали захватить эти вещи с собою в больницу, да он бы и не расстался с ними, так как они служили для него теперь единственным развлечением, предохраняя от мучительной тоски. Помешательство его было тихое, кроткое и заключалось в том, что он перебирал, раскладывал, гладил, развешивал и гладил, развешивал и вновь складывал свои ребячьи принадлежности, ожидая скорого разрешения себя от бремени. Он сладко мечтал о том дне, когда родит на свет девочку Машу, уверял всех, что ходит уже на сносях и чувствует, как ребенок играет у него в животе.

Сумасшедшие весьма основательно улыбались на эту идею и, по большей части с искренним сожалением, находили его поме-

шанным.

Маша со слезами бросилась к нему на шею.

Врач, специально заведывающий отделением умалишенных, ждал благодетельных последствий для больного от этой встречи.

Но Поветин не узнал свою приемную дочку.

— Ах, наконец-то мне вас привели!.. Ведь вы акушерка? — застенчиво обратился он к девушке.

— Папочка, голубчик, ведь я — Маша! Маша! неужели вы меня не узнаете? — рыдала та, стараясь заставить его поглядеть на себя.

— Маша?.. Нет, ведь это я еще должен сперва родить Машу; вы потрудитесь освидетельствовать меня, — убеждал Поветин.

— Да вы помните, как мы жили с вами в Колтовской — вы, я и Пелагея Васильевна — мама моя?

— В Колтовской?.. Пелагея Васильевна? Цыпушка? Да, да, помню... как не помнить?.. Пелагея-то Васильевна — тю-тю! И Маша, дочка наша, — тоже тю-тю... Утки в воду, комари-

ки ко дну!.. Вот, стало быть, я и должен родить себе Машу снова. Да, это так!.. У меня пеленки, у вас распашонки; калоши распрекрасные хороши, сапоги для ноги — новеньки-сосновеньки, березовые; а Пелагея Васильевна тю-тю!..

— Да ведь я не умерла, меня только увезли от вас... Помните генеральшу-то?.. Она и увезла, — говорила Маша, стараясь дать его памяти и сознанию все нити воспоминания о прошлом.

— Увезла?.. — повторил Поветин. — Ну, вот то-то и есть! Поставил бы тире, да чернил нет на пере!.. Увезла да похоронила, и кончен бал, кончен бал, кончен!

Тоскливо глядела Маша на эти мутные глаза, в которых, несмотря на всю кротость и мягкость их выражения, не светилось никакой определенной, сознательной мысли, на всю его жалкую, болезненную и коротко остриженную фигурку, и долго еще старалась она привести его хоть в минутное сознание, но все было напрасно: старик мешался в мыслях и словах, копошился в своем узле и настоятельно просил освидетельствовать его.

— Нет, не удалось, — со вздохом проговорил доктор, безнадежно пожав плечами, и эти слова каким-то тупым отчаянием повеяли на Машу: до этой минуты она все еще ждала и надеялась; теперь ей оставалось только навещать безумного да приносить ему чаю и булку.

Пришибленная чувством этого отчаяния, вышла она из больницы с мучительными угрызениями совести: ей все казалось, что виновата во всем случившемся единственно только она одна — зачем было оставлять стариков, забыть их, не видеться с ними? И эти угрызения слишком уж тяжело легли на ее душу.

XXVI
АУКЦИОН

Маша занемогла. Обстоятельства последних дней сокрушили ее и морально, и физически. На третьи или на четвертые сутки болезни она услышала у дверей своей квартиры весьма бесцеремонный звонок и через минуту столь же бесцеремонные и вполне незнакомые ей голоса. Кто-то и зачем-то желал ее видеть, а горничная отбояривалась, как могла, не хотела допустить пришедших до барыни.

Маша позвала ее звонком узнать в чем дело. Горничная замялась и не находила удовлетворительного ответа, боясь обеспокоить больную неприятным известием.

— Позвольте-с войти, — постучались в эту минуту в дверь будуара, — девушка ваша впущать не желают.

— Кто там?

— Мы-с... надо будет счетец один подписать; дело коммерческое. Из княжеской конторы к вашей милости присланы, от их сия-

тельства-с.

Одного имени князя было уже совершенно достаточно, чтобы Маша с нетерпеливою поспешностью накинула на себя пеньюар и через силу вышла к дожидавшимся. Ей так сердечно хотелось узнать хоть что-нибудь про все еще любимого человека, услышать хоть какую бы то ни было весть про него, которая сменила бы ей собой эту томительную неизвестность.

В гостиной стояли мебельщик, бакалейщик и приказчик от хозяина, помесячно отпускавшего для Маши экипаж. Дело было в том, что Хлебонасущенский, устраивавший «для метрессы их сиятельства апартамент» и забиравший все нужное напрокат, выплачивал поставщикам деньги ежемесячно из конторы Шадурских. За два месяца до разрыва князя с Машей практический человек пронюхал, что фонды ее сильно падают у Шадурского, и потому позадержал платеж поставщикам, прося их пообождать до следующего срока. А как пришел этот следующий срок, так и отправил их всех к Маше: «Там-де получите, а князь больше за нее не плательщик».

— И более ничего не говорили вам про него? — с напряженным беспокойством спросила она.

— Больше ничего.

— Чего же хотите вы теперь?

— Известное дело, насчет уплаты: свое заработчее получить желательно.

— У меня денег нет... Я ничего этого не знала... Что ж с этим делать теперь?

— Это не беда-с, коли денег нет... Может, кто другой за вас пожелает уплатить — это ведь дело завсегдашнее.

— Нет, никто не пожелает, — вспыхнула Маша, догадавшись по улыбке, с которой была произнесена последняя фраза, куда бьет намек мебельщика.

— Так, может статься, поручится кто-нибудь?

— И поручиться некому.

— Опять же и в этом роде препятствия нам нет; вы только подпишите нам счетец, тогда мы будем покойны.

— Зачем же это? ведь подпись не деньги?

— А уж это так, для проформу такого требуется, чтобы, значит, быть нам благонадежны-

ми насчет того, что от уплаты не откажетесь.

— Я заплачу; я продам все вещи свои...

— А на много ли вещей-то будет? И в каких качествах они?

— Много: платье, белье, золотые вещи, брильянты, — высчитывала Маша, которая в эту минуту ничего не хотела иметь от Шадурского: даже этот пеньюар — и тот, казалось, теперь будто давит ей горло.

— Что ж, это самое любезное дело, — заметил один из претендентов, — тысячи на полторы хватит?

— Больше, гораздо больше! Хотите, берите сейчас же все, что есть, в уплату? — как-то стремительно предложила девушка.

— Нет-с, это дело не модель — поступать так, чтобы самим брать, как вздумаешь; а вы вот как-с, — вразумляли претенденты, — вы подпишите эти самые счеты маненечко задним числом, а мы завтра же, пожалуй, представим на вас ко взысканию; вещи законным порядком опишут и назначат к продаже с аукционного торга.

— Хорошо, — согласилась Маша.

— Тогда, за уплатой нам, буде выручиться

с продажи остаток какой, — в виде утешения говорил мебельщик, первым подсовывая ей свой счет для подписания, — так он сполна к вашему же профиту пойдет.

— Мне ничего не нужно, — сухо возразила Маша, выставляя, одну за другою, свои подписи на поданных ей бумагах.

Она говорила и делала все это полубессознательно и совсем почти машинально: в голове ее гвоздем засела теперь одна уже всепоглощающая мысль о совершившемся разрыве, и чуть только успели уйти эти господа, как напряженно-нервное состояние разрешилось истерическим припадком.

После этого случая Маша прохворала недели две. При ней безотлучно находилась ее девушка Дуня, которая распоряжалась и насчет хозяйства, и насчет аптеки с доктором.

Пришел помощник надзирателя с письмоводителем и оценщиком — производить опись, пришли и кредиторы. Доктор, пользуясь болезнию Маши, хотел законным предлогом отклонить это обстоятельство; Маша решительно воспротивилась и, требуя как мож-

но скорее описи, сама указывала и вспоминала горничной вещи, почему-либо позабытые тою при осмотре. Ей все скорее и скорее хотелось развязаться со всем, что хоть сколько-нибудь напоминало Шадурского и время, прожитое с ним вместе.

Казалось, все эти вещи, вся обстановка словно какой невыносимый гнет давили бедную девушку. Менее чем в час с четвертью все уже было описано и казенные печати приложены.

Дело оставалось только за продажей с аукционного торга.

* * *

С одиннадцати часов утра в квартиру Маши стал набираться особого рода люд, специально посещающий аукционы. Явилась власть, в лице того же квартального помощника с портфелькой под мышкой; явилась сила пассивная, в образе аукциониста с деревянным молотком в кармане; привалила, наконец, и сила активная — особого рода торговое братство, семья маклаков, ходебщиков по аукционам, которые, составляя в самом деле заправскую силу, являются царями каждого

аукциона и ворочают там весьма нешуточными делами. У них есть свои законы, свои обычаи и даже отчасти свой собственный технический язык. Стоит вглядеться в эту толпу, когда она наполняет аукционную комнату: тут и чуйки, и «пальты», костюмы зажиточные и убогие, физиономии одутловато-сытые и тоще-голодные; но на тех и других ярко написана жажда рублишка. Укомплектовывают эту корпорацию обыкновенно толкучники и апраксинцы, которые проторговались вконец и, обанкротившись, примазываются кое-как, ради насущного хлеба, к маклаковскому обществу, куда вступают по большей части *племянниками,* что обязывает их, за какой-нибудь гривенник или пятиалтынный, справлять подручную работу на *хозяев,* то есть бегать за ломовиками и отправлять, под своим присмотром, купленное добро в *складочные* на толкучий рынок. Члены этого братства искони разделили себя на две категории. К первой принадлежат физиономии сытые, в «пальтах» и лисьих купецких шубах; ко второй — физиономии испитые и голодные, в пальтишках и чуйках. Первые ворочают всем

делом и называют себя *хозяевами;* вторые батракуют и *племянничают.* Хотя нет того дня, чтобы между членами не выходило ссоры и даже потасовки, однако мудрое правило «рука руку моет» всевластно царит над маклаковским обществом. Тут же труждающиеся и обремененные *прогаром,* то есть банкротством, находят для себя в некотором роде мирное и тихое пристанище, ибо аукционный промысел во всяком случае дает своим адептам-племянникам возможность хлеб жевать, а хозяева иногда сколачивают и капитальцы весьма почтенного свойства.

Наконец появились в Машиной квартире и кредиторы с несколькими посторонними покупателями и двумя-тремя толкучными жидовками, что торгуют подержанным платьем и разным тряпьем. Таков обычный характер публики, присутствующей на всевозможных аукционах. Помощник с аукционистом взглянули на часы и послали за хозяйкой. Маша вышла к ним, бледная и смущенная: она не ждала такого большого сборища.

Гурьба маклаков встрепенулась — по комнате пошел легкий, полушепотливый гово-

рок. Аукционист даже с некоторой подобающей торжественностью стал на свое место за столом, постучал для начала молотком своим и, заглянув в реестр, внятно-монотонным голосом начал выкрикивать.

— Шубка на лисьем меху, воротник соболий — три рубля; кто больше?

Корпорация маклаков тотчас же выслала из своей среды пять «выборных хозяев», назначение которых в этом случае — торговаться, то есть справлять службу за «обчество», пребывающее на сей конец в полном безмолвии.

Подручный аукциониста вытащил и понес напоказ публике продающуюся вещь.

— Три рубля — кто больше? — повторил аукционист, флегматически постукивая слегка молотком и обводя взорами публику.

— С кипейкой! — пискнул чей-то голос в углу, за многочисленными спинами покупателей.

— Мартын не алтын, а Федосья с денежкой, — пробасил, в виде остроты, один из выборных, и острота эта очень утешила братию.

— Три с копейкой — кто больше?

— Десять рублев!

— С пятачком!

— Гривна!

— Полтинка!

— С семиткой!

— Тринадцать рублей семь гривен — кто больше? — монотонит между тем аукционист.

Из публики, не принадлежащей к маклаковскому «обчеству», продирается вперед солидных лет господин с явным намерением набивать цену, чтоб оставить вещь за собою.

— Куды те, лешего, прет? стой на месте! — дерзко ворчат на него ближайшие «племянники», нарочно заслоняя дорогу. — Чего толкаишься? барского форсу показывать, что ли, захотел?

Солидный господин оскорбился и подымает перебранку с ближайшим из оттиравших его маклаков. А тем только того и надо. Пускается в ход первая из обычных маклаковских уловок: господина обступают несколько человек и своим смехом да новыми дерзостями неослабно поддерживают начатую перебранку, стараясь во что бы то ни стало от-

влечь внимание солидного господина от молотка аукциониста. А молоток этот меж тем все постукивает себе полегоньку, и не успел еще солидный господин сделать маклакам достодолжное внушение насчет своего ранга и сана, как молоток громко пристукнул последний раз — и вещь осталась за одним из выборных обчества в двадцати рублях, тогда как стоила триста. Маклаки утешаются. Господин — с носом; видит, что поддался на уловку, и дает себе слово впредь на таковую уже не поддаваться, а стойко выдерживать характер, не отвлекая внимания от аукциониста. Маклак — народ зоркий: взглянет на физиономию и нюхом чует уже, как легавая собака, в чем кроется дело.

— Бурнус-манто бархатный, стеганый, на гагачьем пуху — два рубля. Кто больше? — снова постукивает аукционист.

— Рубль!

— Пятачок!

— Три копейки!

— Пять рублев!

— Шесть!

— *Продал!* — замечает, обращаясь к соседу,

маклак, предлагавший пять рублей, что на языке маклаков значит — отступился и больше торговаться не намерен.

— Четырнадцать рублей восемь копеек, — кто больше?

— Десять рублей! — возглашает солидный господин, стоя в кучке маклаков, все-таки не допускающих его продраться вперед к аукционисту.

— С рублем, — спокойно замечает в ответ ему один из выборных.

— Еще десять! — настаивает солидный.

— Еще с рублем, — отпарировал другой выборный.

— Ишь ты — голь, шмоль и компания, а как форсится! — дерзко смеются в глаза солидному господину окружающие маклаки, с целью подстрекнуть его на продолжение торга.

Аукционист придерживается и не выкрикивает вновь надбавившуюся сумму.

Один из выборных исподтишка одобрительно мигает ему глазком: хорошо, дескать, дружище, порадей на мир — не оставим.

— Десять рублей! — горячась, набивает

меж тем антагонист маклаков, явно задетый за живое.

— Забастуйте-ко лучше, ваше благородие, не равно карман у вас с дырам: проторгуетесь.

— Кто больше? — вопрошает аукционист.

— Пятак!

— Пятнадцать рублей! — настойчиво кричит солидный, начиная «зарываться».

— Рублик!

— Еще пятнадцать!

— Продали! — с предательской усмешкой слышится на стороне маклаков.

В конце концов, после пятиминутного торга, незаметно оказывается весьма почтенная цифра.

— Сто сорок три рубля, пять копеек. Кто больше? — кричит аукционист.

Молчание.

— Раз! — удар молотка. — Кто же больше?

Опять молчание.

— Два!.. Никто, что ли, не хочет? Сто сорок три рубля, пять копеек — больше кто?

Опять-таки полнейшее молчание. У солидного господина начинает сильно вытягивать-

ся физиономия: видит, что зарвался и снова попался на удочку.

— Три! — возглашает аукционист, пристукнув молотком. — Вещь за вами, позвольте получить деньги.

В гурьбе маклаков раздается громкий хохот.

— Честь имеем с дешевой покупкой поздравить! — апраксински-вежливо обращаются некоторые из них к своему антагонисту. — Позвольте вам, господин, билетик с адресом наших складов вручить: у нас такое манто при безобидной уступочке за девяносто пять можете получить всенепременно-с!

— Штука-то, братец, важнецкая!.. Лихо на перебой поддели! Вперед не суйся! — слышится говор в гурьбе — и действительно, проученный таким образом солидный господин — можно сказать с достоверностью — уж больше не сунется на аукционную продажу и не заставит повторить над собою вторую из обычных маклаковских проделок, известную под именем *перебоя.*

Маша с полнейшим равнодушием глядела на этот сбыт ее имущества. С выздоровлени-

ем прежняя тоска не возвращалась к ней более; напротив, ею овладела какая-то бессознательно-рассеянная и глубокая апатия, совершенная нечувствительность ко всему, что бы с ней ни случилось. Этот апатический покой был похож на неодолимый сон человека, которого привели с пытки, но который знает меж тем, что завтра его снова поведут на нее, и убежден, что в конце концов нет спасения и ждет его одна только смерть неизбежная. Она сидела и словно не замечала того, что вокруг нее происходит, — ни этого шума, ни этой тараторливой перебранки, которая поднялась между жидовками и маклаками, когда дело дошло до шалей, кружев, мантилий и шляпок.

К двум часам пополудни все уже было кончено. Маклаки, по обыкновению, пошли в трактир *вязку вязать,* то есть производить между собою свой собственный, круговой торг на приобретенные вещи. Власть забрала выручку для отправки в «надлежащее место» на удовлетворение кредиторов, которых, кроме прежних трех, понабралось еще человека четыре. Управляющий домом явился за полу-

чением двухмесячных квартирных денег. Но с этим Маша уже сделалась сама: все вещи, не вошедшие в опись — белье и платья, она предложила ему взять на квит. Афера была слишком выгодна, чтобы отказаться, — и управляющий забрал все остальное имущество Маши, внеся за нее хозяину квартирные деньги. А она даже рада была поскорее развязаться со всем, что напоминало ей о недавнем образе жизни. Когда дело и с управляющим было кончено, Маша случайно заглянула в свой кошелек: от прежних достатков теперь покоилось там пять рублей и несколько копеек, составляющих в данную минуту почти все ее достояние.

— Небиль вам, сударыня, напредки не требуетцы? — обратился к ней кредитор-мебельщик.

— Нет.

— Ну, так вытаскивай, ребята! — обернулся он к приведенным на всякий случай носильщикам. — Да глядите у меня, бережней, об косяки не шарыгай — не попорти!

Через полчаса Маша прошлась уже по совершенно пустым комнатам. Какое-то неизъ-

яснимо-грустное чувство охватило ее при виде этих оголенных стен и окон. Шаги раздавались резче, голос гулче и звучнее, с явно заметным эхом. И необыкновенно живо, полно и ярко представила себе Маша всю эту уютную, милую обстановку, которая не далее еще как за два, за три часа наполняла эти комнаты; Маша вспомнила князя, его место у камина и первое счастливое время своей жизни в этой самой квартире. И это грустное чувство — чувство хозяина над своим разрушенным пепелищем и минувшим счастьем — заныло в ней еще сильнее, впервые после болезни пробив кору ее безразличной апатии.

Маша отошла к окну и тихо-тихо заплакала горючими и горькими слезами, приложив к холодному стеклу свой лоб и бессознательно глядя на пестревшую движением улицу.

В это время в прихожей опять позвонили, и вошел пожилой господин, весьма джентльменской наружности.

— Что вам угодно? — обратилась к нему удивленная Маша.

— Я... позвольте рекомендоваться: домохозяин здешний — потому...

— Я покончила уже все расчеты с вашим управляющим, — возразила девушка.

— Но, сударыня... я желал бы...

— Квартиру очищу завтрашний же день непременно, — снова перебила она.

— И, помилуйте, что такое квартира? Это все пустяки!.. Я к вам вовсе не с тем намерением...

— Я не понимаю, что ж иначе могло вас привести сюда? — резко спросила его Маша, которой в эту минуту было несносно каждое постороннее лицо и хотелось остаться одной совершенно, в полной тишине и безлюдном молчании.

— Привело сочувствие, — улыбнулся пожилой господин, — сочувствие к вам, ну и... к вашим стесненным обстоятельствам. Я вовсе не намерен гнать вас с этой квартиры — я, напротив, хочу предложить вам остаться в ней.

— Я не имею средств на это, — сухо ответила Маша, которой эти слова показались одним из двух: либо пошлой и круглой глупостью, либо весьма аляповатой насмешкой над ее положением...

— Вот именно с тем-то я и явился сюда! —

самодовольно подхватил хозяин. — Я — человек прямой... пришел предложить вам свои услуги относительно средств и прочего... Вы теперь лишены удовольствия кататься по Невскому — у вас завтра же снова явится пара рысаков, и ложа, и мебель, стоит только пожелать вам, сказать мне одно слово — я человек слишком богатый, для меня это — сущая безделица...

— Я вас попрошу удалиться отсюда, — с вежливой сухостью поклонилась ему оскорбленная девушка.

— Но подумайте, сударыня, ведь вы отказываетесь от собственного счастья; я могу предложить вам вдвое более, чем вы получали от Шадурского.

— Я повторяю вам: извольте выйти отсюда.

— Не ведь — мне кажется — право, все равно, у кого ни быть на содержании?.. И что ж тут такого оскорбительного?

— Вон! — возвысила голос Маша, строго и энергично сдвинув свои брови — и в этом жесте, в этих сверкнувших гневом глазах и в звуке ее голоса сказалось столько неотразимо

повелевающей силы, что нахальный господин съежился, умалился как-то и, невольно покоряясь этой силе, поспешно скрылся за дверью.

— Кто больше даст... Тоже аукцион своего рода! — с горьким чувством негодования проговорила Маша, злобно закусив нижнюю губу и в волнении шагая по комнате. — Там торгуют вещи, здесь — человека торгуют.

XXVII
НА НОВУЮ ДОРОГУ

Лишь в эту минуту обнаружилось перед нею во всей своей цинической наготе то незавидное социальное положение, в котором стояла она даже и в то время, когда князь притворялся влюбленным и называл ее с глазу на глаз своею невестою. Маша убедилась наконец, что служила для него только вещью, которую покупают, когда она нравится, и бросают, как несвежие перчатки, когда пройдет минутная прихоть. Ей сделалось больно за свое человеческое достоинство. Нечего уж было закрывать себе глаза по-прежнему и те-

шиться иллюзиями. После стольких ударов, упавших на нее всею тяжестью своего гнета и сильно надломивших эту свежую натуру, Маша перестала быть беззаботно-милым ребенком и переродилась в женщину, в *человека*, который просто, прямо взглянул в лицо печальной действительности.

— Что же мне делать теперь? как распорядиться с собою? — задала она себе роковой вопрос. — Я ничего не умею, ничему как следует не учена; в няньки — молода, в гувернантки... по совести сказать, не гожусь. Да и кто возьмет? Гувернантка из камелий! На сцену идти — талант нужен; да и с талантом-то попробуй-ка пробейся!.. Шить в магазины? Это бы скорее всего; да поди поищи сперва работы! Разве не видала я, разве не при мне приходили к этим магазинщицам такие же несчастные, как я, выпрашивать работы? Что же, находили они работу? брали их, не отказывали им? Как же, дожидайся! Но что делать, однако? Распутничать?.. Господи, да неужели же тут нигде уж нет честного куска хлеба? Быть не может! — с отчаянием воскликнула девушка.

Эта действительность, не прикрытая розовым флером, при первом взгляде испугала ее. Не дешево далась ей борьба со своим внутренним миром, да не дешевою казалась и предстоящая — с действительной и суровой жизнью.

На другой день в холодной, нетопленой квартире сидела Маша на подоконнике, не обращая внимания на то, что от окна дуло чувствительным холодом. Перед нею стояла горничная девушка, которая одна не покидала ее в это время.

— Прости меня, Дуня, — сказала она, протянув ей руки, — я виновата перед тобою... Мне, право, совестно...

— Ой, полноте, Марья Петровна, чтой-то вы, чем это вы виноваты передо мною-то? — перебила несколько удивленная девушка.

— Да как же, за два месяца вот жалованье не заплатила.

— Ну так что ж, коли нет? откуда ж взять? надо так судить по человечеству. На нет и суда нет. Ведь я тоже чувствую; а вам об этом и беспокоиться нечего.

— Нет, Дуня, все же так нельзя... Это ведь

заработанное... Вот у меня осталось тут пять рублей — мне теперь ничего не нужно; возьми их.

— Что вы, сударыня! Господь с вами!.. Я всегда найду про себя копейку: город, слава те Господи, не клином сошелся.

— Не клином... Нет, Дуня, клином, да еще каким клином-то! — с грустным одушевлением покачала Маша головою. — Я-то вот вчера и сегодня ходила работы искать, в шести магазинах была — и нигде ничего! В одном — просто отказывают, в другом — говорят, что все уже полно — зайти через неделю предлагают, в третьем — спрашивают, у кого училась да где работала; от известных, вишь ты, принимают только; а в одном — так и вспоминать-то гадко! — оскорблений наглоталась... Француженка содержит; узнала меня: «Что это, — говорит, — из содержанок да в швейки? Мало разве своего дела?..» Э, да и говорить-то не стоит! — с горечью махнула Маша рукою. — А ты воображаешь еще — «не клином сошелся»!

— У меня два места есть, — сообщила Дуня, — выбирай хоть любое: одно к полковни-

це на Остров — я еще прежде жила у ей, хорошая очень полковница. Пять рублей в месяц, горячее со стола да фунт кофию отсыпного; а другое место выходит в Коломну, к чиновнице...

— Ах, знаешь ли, Дуня! — радостно перебила ее Маша — и по лицу ее стало заметно, что какая-то внезапная, светлая мысль озарила ее голову, — знаешь что? Тебе ведь не два же места разом брать — дай мне какое-нибудь!.. Порекомендуй меня: скажи там, что знаешь одну девушку... Я пойду!

Дуня пришла в изумление.

— Чтой-то вы, Марья Петровна, — заговорила она, — ну разве можно вам в услужение идти? Ни с чем даже не сообразно!

— Отчего же нельзя?

— Да ведь это только нашей сестре впору, а вам-то и дело оно совсем непривычное, да и... неприлично даже.

— Пустяки, привыкну!.. А неприличного — что ж тут неприличного? На содержанье приличней, что ли? Нет, ей-богу, Дуня, рекомендуй меня! Сходи сегодня же; чем скорей, тем лучше. Я уж порешила.

Маше стало как-то светлей и легче на душе: она увидела, что не все еще хорошее потеряно для нее в жизни, что еще есть честный исход, есть труд — и мирное затишье снизошло в ее душу. О князе и своей недавней жизни старалась она не думать, потому что при каждом мимолетном воспоминании начинало болезненно ныть ее сердце, словно разбереженная рана.

К вечеру того же дня был приведен извозчик, и на его неуклюжие дрожки уложила Дуня скромный и довольно тощий чемоданчик, тюфяк, ущедренный от себя управляющим взамен прежнего роскошно-эластичного, да подушку своей бывшей госпожи, которая, с узелком в руках, отправилась пешком, вслед за извозчиком, в Коломну, к Сухарному мосту, где ожидало ее место. Дуня выговорила ей у хозяйки-чиновницы четыре рубля в месяц жалованья «с горячим» и теперь отправилась вместе, для окончательного устройства ее в новом и непривычном еще положении.

— Ну, Господи, благослови! на новую жизнь да на добрую дорогу! — перекрестилась Маша, выходя за ворота богатого дома,

где оставляла столько горечи, любви, воспоминаний — светлых, заманчивых, и столько тяжелого разочарования...

XXVIII
У ДОРОТА С КАМЕЛИЯМИ

Теперь мы попросим читателя вернуться несколько назад к тому самому вечеру, когда князь Шадурский уехал от Маши, объявив, что отправляется на пикник к Берте. Прежде чем катить к Дороту, он завернул домой, чтобы послать за тройкой, и на столе у себя нашел небольшое письмо с городской почты:

> *«Сегодня, в час ночи, вас ждут в маскараде. Черное домино, в волосах белая живая камелия.*
> *Маска».*

«Мистификация или нет? — подумал Шадурский, вглядываясь в почерк. — Рука женская, но неизвестно — чья. Во всяком случае, это интересно. Поеду! — решил он и заблаговременно оделся в надлежащую для маскарадов форму. — А пока убить до часу время — к

Берте».

У каждой почти из наших известных камелий бывают в жизни весьма сильные критические моменты, которые проходят и опять возвращаются, чуть не периодически.

Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуется покровительством какого-нибудь златорогого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для нее в некотором роде руном Язоновым, и потому Берта сорит себе деньгами напропалую, кидает их зря, туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает, что колхидское дно неисчерпаемо и создано, дабы удовлетворять каждому минутному ее капризу и взбалмошной прихоти. Но вдруг какими-нибудь судьбами златоносный источник иссякает: либо Язон находит Медею, либо руно подверглось чересчур уж неумеренной стрижке — и вот бедный цветок без запаху остается без всякой поливки: Берта сидит на бобах.

Хорошо, если вместо златорогого барана подвернется на выручку златорогий бык либо златохвостый боров, — Берта спасена и снова

сорит себе деньгами.

Но если не наклевывается ни одно из подходящих животных — положение Берты через несколько времени становится критическим до трагизма. Эти промежутки от одного покровителя до другого суть ее смутное время, период междуцарствия, со всеми его горестями и неудобствами. Берта в унынии — Берта в безденежье, Берта лишается своего кредита. В прихожей ее с самого раннего утра появляются неприятные ей личности: магазинщицы, модистки, каретники, комми из всевозможных лавок, кредиторы, которые во дни сытные любезно открывали ей карманы, а во дни глада нелюбезно предъявляют ей заемные письма. И весь этот тяжкий люд назойливо ползет со счетами, с требованием уплаты. Берта атакована, Берта в осадном положении и, ради требований своего избалованного желудка, обыкновенно весьма прожорливого, принуждена закладывать алчным заимодавцам свои кружева, бриллианты, серебро и все эти petits riens[273], которых в квартире любой камелии находится всегда вдесятеро более, чем самых обыденно необхо-

димых вещей. Берта, наконец, в отчаянии, на нее представлено несколько векселей — ей грозит даровое помещение, со столом, освещением и отоплением, в Первой роте Измайловского полка, в знаменитом Hôtel de Tarasoff, где для вящего почета стоит форменная будка и к будке приставлен гвардейский часовой с ружьем. Что тут делать Берте? Как ей извернуться?

Мы, впрочем, взяли почти крайнюю грань злосчастного положения Берты. Прежде чем достичь до сих красивых степеней, она перепробует разные способы спасения. Тут пойдут в ход и соблазнительные жертвоприношения кредиторам, буде который податлив на этот счет — в некотором роде сцены жены Пентефрия с Иосифами целомудренными, — и обращения за участием к особам вроде генеральши фон Шпильце; но самым простейшим способом по большей части являются пикники, которые служат также одним из средств для временной поддержки существования камелий, вполне уж увядших.

И вот Берта заказывает в литографии билеты «для входа» на отличной глазированной

бристольской бумаге, засим едет ко всем своим приятельницам и каждой вручает билетов по тридцати; приятельницы, сознавая, что с каждой из них может случиться, если уже не случалась, подобная же проруха, volens nolens[274] навязывают эти билеты приятелям, приятели своим приятелям и т. д. Кроме того, Берта и сама не плошает: она тоже раздает их своим приятелям, а некоторым, особенно тароватым, рассылает при особенно милых, любезных и раздушенных письмах. Цена билету от десяти до двадцати пяти рублей; бывает и больше, но, впрочем, редко. Двадцать пять назначают камелии цветущие; десять — камелии увядшие.

И вот таким образом составляется пикник, с ужином и *столовыми* винами, обыкновенно у Огюста или Дорота. Ужин по большей части скверненький, да и тот подается, из экономии, часу в пятом утра, когда большая часть «гостей» поразъедется или, соскучившись томить свой аппетит, упитается ранее, на свой собственный счет. А в результате у Берты, за покрытием расходов, — глядишь, оказывается в кармане несколько сотен. Все

ж таки поддержка. У Берты, кроме того, в пикнике кроется и другая, затаенная цель: может быть, кто-нибудь пленится ею, и — счастливый случай — междуцарствию конец, кредиторы долой, существование до нового критического момента обеспечено.

Поэтому камелии очень любят пикники как средство выручающее.

Такого же свойства был и тот пикник, на который отправился Шадурский.

Народу — не особенно много и не особенно мало; впрочем, красовалось несколько представительных субъектов из гаменов и jeunesse doree. Общество смешанное: кто заплатил двадцать пять целковых, тот и прав, ходи себе полным хозяином и повествуй потом, что я-де был на пикнике с князем N., с графом X. и т. д. Словом, все обстояло благополучно: десять музыкантов, что называется, наяривали изо всей мочи фолишонный кадриль; какой-то неуклюже-тучный господин бегал по всем углам ресторана и навязывал всем и каждому, знакомым и незнакомым, билеты на следующий, посторонний пикник; Эрмини стреляла своими громадными серы-

ми глазами; Жозефина как-то изловчалась сентиментальничать по-французски, что, действительно, штука довольно мудреная — француженка и сентиментальность! Жюли, ради своей далеко не первой молодости, брала более насчет скромности; Луиза Ивановна — насчет немецкого «ach!»[275] и шампанского; Прозерпина отчаянно-ловко канканировала и подпевала французские куплеты, а одна французская актриса щеголяла своим знанием русского языка, даже с известного рода пикантностью. Но венец всего собрания является в образе набеленной, нарумяненной и всячески раскрашенной кубышки, которая хотя тоже называется Прозерпиной, но, соответственно весьма преклонным летам своим, известна более под именем бальзамированной египетской мумии, и если годится на роль Прозерпины, то разве только в собачью комедию. И она тоже танцевала, и даже — о, ужас! — канканировала. В качестве танцующих кавалеров фигурировали более купчики да вновь испеченные прапорщики. Одним словом — повторяем, — все было как всегда, ничем не хуже, ничем не лучше, — в конце

можно было, по обыкновению, ожидать какого-нибудь скандальчика, и все это обещало некоторый дивиденд злосчастной Берте, которая, несмотря на свои кружева и бриллианты, — быть может, взятые напрокат, по случаю спуска собственных, — никак не могла утерпеть, чтобы поминутно не бегать в прихожую, где какая-то кривоглазая особа, немецкой расы, продавала и отбирала входные билеты.

В одной из уютных и довольно изящных беседок зимнего сада, освещенных висячими шарами, заседала компания блистательных молодых людей. Шампанского, судя по бутылкам, добросовестно истреблено изрядное количество. Разговоры шли «завсегдашние», то есть самые обыкновенные, которые, однако, надо полагать, отличаются для этих господ особенною занимательностью и интересом, ибо тема их останется неизменной во веки веков. Это — всегда одна и та же, постоянная и никогда не надоедающая им тема — где бы и как бы они ни сошлись — о лошадях, женщинах, собаках и новом производстве. Надо удивляться только той необыкновенной общ-

ности, которая господствует в их понятиях касательно этих разнородных, но достолюбивых предметов.

— Князь! здоровье твоей Мери! — обратился к Шадурскому его vis-à-vis, белогубый юноша, протягивая через стол свой бокал, чтобы чокнуться.

— Это с какой стати? — спросил князь, притворяясь удивленным.

— Эге!.. да ты, брат, тово... Уж не ревнуешь ли? — улыбнулись два-три человека соседей.

— Я?.. Да мне-то что ревновать ее?

— Ну нет, такую женщину отчего ж и не поревновать немножко... Да, кстати, что ее нигде не видать, что она у тебя поделывает?

— А кто ее знает! — сгримасничал князь.

— Вот мило! Кто знает! Да кому ж больше и знать, как не тебе?

— Я не знаю.

— Ха, ха, ха!.. Почему?

— Да так... Очень просто: я ее бросил.

— Бросил! — это слово вмиг облетело весь стол и привлекло к Шадурскому общее внимание. — Бросил!.. Ну, полно, любезный друг, шутишь! — усомнился один из состольников.

— Parole d’honneur[276], без всяких шуток… Да и что ж тут особенного? — с достоинством истинно порядочного человека возразил Шадурский.

— А в таком случае, это — новость. Да, впрочем, за что же? помилуй!..

— А так себе, просто бросил… Надоела.

— Но разве может такая женщина надоесть? — с цинически-двусмысленной улыбкой вмешался белогубый юноша, предлагавший выпить за ее здоровье.

— Почему же нет? Как и всякая женщина.

— Однако чем же она успела надоесть-то? Ведь это еще не слишком древняя история?

— Чересчур уж сахару много — тем и надоела, и потом — как-то странно держит себя… будто и в самом деле порядочная женщина, — опять сгримасничал князь. — Ну, однако, ведь это скучно — тянуть все одну канитель, — добавил он для перемены разговора. — Здоровье моей пегой кобылы, господа!

— Браво, князь! Это — дело существенное! — подхватила блистательная компания, единодушно сдвигая стаканы.

— Кто хочет отправиться со мной в маска-

рад? Сейчас еду, — предложил Шадурский, взглянув на часы.

— Да что там делать, в маскараде?

— А здесь-то что? Скука везде одна и та же, но все-таки разнообразие.

— Нет, уж оставайся-ка лучше и ты с нами! Стоит ли ездить?.. Погибнем все вместе — «мертвые сраму не имут», так ведь это, кажется, говорится? — уговаривали Шадурского.

— Нет, мне нельзя... Я должен ехать, — значительно возразил этот, и возразил с целью, чтобы дать понять, будто у него есть серьезная интрига в маскараде.

По правде же говоря, и весь разговор-то затеял он с тем, что уж больно хотелось похвастать анонимным приглашением.

— Меня, кажется, сбираются мистифировать, — с иронической миной заметил он, помолчав минуту, и бросил на стол вынутое из кармана письмо маски.

— Кто же это, не знаешь? — полюбопытствовали некоторые.

— Не знаю... Но по этому письму, по руке, доберусь потом до правды!.. Знаю только одно, que c’est une femme du monde[277], и, ка-

жется, как будто Варинька Корсарова, — с самодовольной улыбкой сделал он предположение.

— Ты думаешь?..

— Почти уверен, — сказал Шадурский, и сказал таким тоном, что каждый должен был понимать: не *почти*, а *совсем* уверен.

— Почему ж ты полагаешь, что это мистификация?

— Н... не знаю... может быть, и нет, — замялся он, и опять-таки замялся таким образом, что выходило — *наверное* нет.

— Счастливец! — вздохнул белогубый. — Желаю полного успеха! — и сам остался необыкновенно доволен, потому что назавтра есть еще одна новая тема для разговора, кроме лошадей и производства, о том, что Варинька Корсарова влюблена в Шадурского, пишет ему письма, была вчера для него в маскараде и т. д.

Это — самый обыкновенный и самый невинный способ пустить, ни с того ни с сего, по ветру имя порядочной женщины — способ, на который очень падки блистательные юноши подобного сорта.

XXIX
МАСКАРАД БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Самые популярные из петербургских маскарадов, бесспорно, маскарады Большого театра. Хотя порою по всем залам атмосфера доходит там почти до банной температуры, хотя в столовой постоянно накурено табачищем до того, что не только съесть что-либо, но и дохнуть невозможно, чтобы не закашляться до удушья, хотя, наконец, по всем лестницам распространяется вонь нестерпимая от жарящихся на кухне рябчиков и бифштексов — однако петербургская «публика» весьма усердствует и благоволит к театральным маскарадам. Что в них особенно заманчивого — не знаю; но театральный маскарад служит пунктом безразличного вмещения всех каст и сословий. Вы думаете, например, что эта великосветская дама (блистающая на словах своей наивностью и целомудрием относительно некоторых предметов житейской опытности), в то время как она с любопытством спрашивает, что такое маскарад, и сожалеет, что ни-

когда не видала его, — вы думаете, она и в самом деле никогда не бывала там? Жестоко ошибаетесь: бывает, довольно часто, почти постоянно бывает; но ездит с предосторожностями и фокусами: она нарочно подобрала себе для этого камеристку одного роста с собой, подобрала глупенькую великосветскую приятельницу, тоже подходящего роста; и вот втроем отправляются в то заманчивое место, о котором в салоне обе говорят, что не имеют ни малейшего понятия. У камеристки в запасе есть несколько пар перчаток и несколько бантиков. Втроем появляются они в маскарадной зале, каждая порознь интригует, кого вздумается, потом сходятся все трое в женской уборной, чтобы перемениться своими домино и капюшонами, отстегнуть какой-нибудь старый и пристегнуть новый бантик и затем снова появиться, в новом образе, среди маскарадной залы. Увы! теперь одной из них нельзя уже притвориться неведением маскарадных таинств, потому что камелия, увидя ее в ложе со своим покровителем, разыграла сцену ревности и учинила велий скандал, сорвавши в коридоре маску с лица простова-

тенькой приятельницы целомудренной дамы.

Да, между этими Дианами большого света выходят иногда в маскарадных ложах прелюбопытные стычки, причем каждая злобно и ревниво замечает в глазу другой малейшую соринку, а назавтра, без масок, обе будут казаться милейшими приятельницами и удивляться одна перед другой: что это, дескать, наши мужья находят в этих маскарадах, и уверять одна другую, что обе не имеют о запретном плоде никакого понятия.

А эта престарелая матрона, считающая себе под шестьдесят лет, хотя и говорит, что ей только сорок? Глядя на нее в гостиной и слушая там ее речи, вы останетесь убеждены, что это — пирамида строгой, непоколебимой нравственности, а между тем эта пирамида, скрывши под капюшоном и маской свое разрушающееся безобразие, из темной литерной ложи высматривает себе поклонников, очень юных и вполне ей неизвестных.

А этот почтенный старичок? Весь на пружинах, стан в корсете, шея на подпорках, дабы голова не качалась чересчур уже шибко,

лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу, другая на маскарадном паркете.

— Ваше превосходительство! живой покойник! вы зачем пожаловали сюда?

— Отдохнуть от важных моих занятий.

— Так, совершенно правильно: два часа ночи — самое удобное время для отдыха.

— Я, впрочем, больше для внука, — как бы в оправдание замечает старичок.

А внук, должно быть, тоже больше для дедушки, который очень усердно и внимательно лорнирует проходящих под масками внучек.

И он постоянный посетитель маскарада!

Маскарад, как и все в Петербурге, имеет своих завсегдатаев. Есть личности, которых вы видите везде и всюду, а другие — которых можно встретить только в маскараде.

Вон необыкновенно важной, суровой походкой шагает какой-то друз или маронит в национальном своем костюме, которого маски известного сорта называют «туркой». Он первый из первых посетителей маскарада: появляется добросовестно и буквально первым, как только еще начинают зажигать лам-

пы, и уходит последним, когда они уже потушены. Иные из завсегдатаев приезжают «для моциону», другие — «для возбуждения аппетита», третьи — «для сна», чтобы задать где-нибудь в уголку добрую высыпку, четвертые — для искания приключений с особами вроде пирамиды; но пирамиды предпочитают больше приключения с «восточными человеками» из армянской породы, которые тоже расхаживают по зале, в пестрых нарядах, и всеми силами стремятся походить на «конвойных князей», хотя сами только живут в приказчиках по «азиатским магазинам».

Вон слоняется из угла в угол по зале, по фойе и по всем коридорам плюгавенькая рыжая личность в очках. Это самый усерднейший из всех усердных фланеров петербургских. Чуть происходит где-нибудь чтение, концерт, лекция, спектакль, даже гулянье — можете быть твердо уверены, что вы встретите этого господина. Надо удивляться только, как хватает времени и терпения, чтобы выработать себе такое исключительное вездесущие, так что просто кажется, будто оно для него священнейший долг, в некотором ро-

де — обязанность служебная. Если бы за ужином он как-нибудь случайно подсел к вам, изъявя желание вступить в разговор, то не вступайте и удалитесь благоразумно, потому — что за охота говорить с незнакомым человеком? — у вас в маскараде, вероятно, и без того отыщется много своих собственных, вполне вам известных знакомых.

Тут же, вечно окруженный масками, болтает на всевозможных языках наш «вечный жид», который с незапамятных времен живет в Петербурге и чуть ли не был графом Калиостро. Он не стареется и не изменяется нисколько: таким знавали его наши деды, а быть может — и внуки даже. Иные — Бог их прости — говорят, будто Антон Антоныч Загорецкий был с него списан Грибоедовым, другие — называют папашей покойницы Юлии Пастраны.

Вот, между прочим, проходят не совсем-то твердой походкой мрачные физиономии нечесаного свойства, в очках, с претензией на изображение сатирического ума в глазах и улыбке. Они, вопреки принятому обыкновению, пропагандируют сюртуки и пиджаки в

маскараде, стало быть, некоторым образом заявляют свою «борьбу с предрассудками» и «приносят служение прогрессу и обществу». У некоторых из них, как выражение уже самой крайней борьбы с рутиной, а быть может, и с коньяком, из-под неопрятного жилета виднеется полоса белой сорочки. Это жалкая литературная и «обличительная» тля, благодаря которой слово «литератор» сделалось в последнее время каким-то презрительно-ругательным прозвищем.

Вон шныряет, словно гончая собака, достолюбезнейшая личность «всеобщего дядички», которого останавливают на каждом шагу тысяча знакомых и бездна масок. Некоторые из них ради нежности называют его даже «тетичкой». Можете быть уверены, что к концу маскарада «всеобщий дядичка» не успеет еще раскланяться со своими знакомыми — до того их много.

Но всех завсегдатаев не перечтешь. Из женщин можно отметить один только вновь народившийся маскарадный тип, еще не существовавший в эту эпоху конца пятидесятых годов, к которой пока еще относится те-

чение событий нашего рассказа. Это особого рода маски, которые называют себя, Бог уж их знает, с какой стати, «нигилистками», хотя между заправскими нигилистками и ими такая же разница, как... Выбирайте сами любое сравнение из двух совершенно противоположных предметов. Те по крайней мере, несмотря на все свои странности, думают о чем-нибудь серьезном и добросовестно режут себе лягушек, а эти — всю свою жизненную задачу полагают в шнырянье по маскарадам, ходят там с «литераторами», но чуть завидят какого-нибудь кавалергарда или гусара — опрометью бросаются к нему и рассказывают о том, как им надоели литераторы, а когда сами они надоедят кавалергарду, то удаляются под сень «литераторов» и повествуют о том, как им надоели кавалергарды. Вообще, эти маски чувствуют влечение к личностям двух означенных категорий и убеждены почему-то, что это именно и есть нигилизм.

Хотя в нашем маскараде и тени нет того, чем являются парижские Большой оперы, но все-таки и это довольно пестрый калейдоскоп. Огни люстр, звуки музыки, бродящая

толпа, пестрые наряды, впрочем, с преобладанием черного цвета, шляпы, медные каски, гусарские венгерки и белые султаны уланских шапок, фраки и эполеты, восточные человеки и комические уроды в эксцентричных костюмах, в которые наряжают театральных статистов, наконец, отчаянный канкан, на поприще которого подвизаются личности обоего пола, составившие себе из этого танца житейскую специальность и получающие «за труды» по два рубля награждения да белые перчатки в придачу, — все это представляет довольно живую, яркую и пеструю картину.

— Так ты дашь место моему мужу? — слышится в проходящей толпе.

— Я уже дал тебе честное слово...

— Ну, если он будет определен, в следующий маскарад — я твоя...

И пара затирается толпою.

— Я тебя знаю!

— И я тебя знаю.

— А кто я такая?

— Маска, ищущая ужина.

Это один варьянт маскарадных разгово-

ров; другой — несколько короче, зато разнообразнее:

— Я тебя знаю.

— Знаешь? Ну, это не делает тебе чести. Убирайся!

Засим можно самым невольным образом подслушать множество фраз, уверений и возгласов:

— Душка штатский, дай рубль на память.

— Ты мне не верь, я подлец: право, подлец!

— Верю.

* * *

— Знаешь, зачем у тебя усы в струнку вытянуты?

— Зачем?

— Ты воображаешь, что они у тебя стрелы амура; только венгерская помада ведь некрепка: кончики гнутся и не пронзят ничьего сердца.

— А ты читала мой «Переулок»?

— Нет, не читала.

— Ну, стало быть — дура... А ты прочти: это диккенсовская вещь, право. Все в восторг

приходят, одобряют.

— А ты угостишь меня ужином?

— Гм... Коньяку бы выпить...

— А у меня Пупков сегодня был.

— С чем тебя и поздравляю.

— Так ты меня любишь?

— Люблю... только ты привезешь мне завтра браслетку?

— А я его обличу!

— Обличи, обличи, каналью! распечатай его на все четыре корки... Коньячку не хочешь ли?

— Можно!

— И за сто зе это меня все маски так любят?.. так любят, так любят, сто, право зе, дазе устал! — восторженно говорит Эммануил Захарович Галкин, обращая свое свиное рыльце к маске с длиннейшим и потому давно уже ободранным шлейфом.

— Отчего? Оттого, что ты красавец.

— Ой! Узе будто и красавец?.. А впроцем,

говорят, у меня злавьянский тип...

— Совершенно славянский.

И Эммануил Захарович чуть не прыгает от восторга.

— Дядичка, ты мне дашь рольку в любительском спектакле?

— А что за рольку?

* * *

— Отчего ты так озабочен?

— Он жену поймал в маскараде.

— Гм... Поздравляю!

Перекрестный огонь подобных фраз и разговоров во всех концах неотразимо преследует наблюдателя, который под этими черными масками может разгадать по одной только интонации голоса оттенки множества чувств, надежд, желаний, а паче всего пустоты с самолюбивою суетою, одолевающих души человеческие; может догадаться о десятках житейских драм, комедий и водевилей, которые то начинаются, то приходят к развязке под сводами этой большой маскарадной залы.

К князю Шадурскому подошла маска в черном домино, с белой камелией в волосах и с молчаливой робостью взяла его под руку.

Князь пристально оглядывал ее фигуру, очерк лица, губ и подбородка, ее глаза и кисть руки, стараясь по этим признакам догадаться, кто бы могла быть подошедшая к нему особа.

По руке ее заметно пробегала дрожь внутреннего волнения, большие голубые глаза глядели из-под маски грустно и томно, а губы как-то нервически были сжаты. Она нисколько не походила на привычных маскарадных посетительниц, бойких искательниц приключений, и, казалось, была необыкновенно хороша собою.

Шадурский никак не мог догадаться, кто она такая.

— Мне надо говорить с тобою, — начала маска нервным голосом и почти шепотом от сильного волнения.

— Ну, говори, — апатично ответил Шадурский.

— Дело слишком серьезное... Я попрошу полного внимания.

— Это довольно мудрено в маскараде.

— Мне больше негде говорить с тобою.

«Начало весьма недурное и, кажется, обещает», — подумал князь с самодовольной улыбкой, любуясь изящною рукою и стройной фигурой своей маски.

— Ты одна здесь? — спросил он.

— Одна совершенно... Но не в том дело... Пойдем куда-нибудь, где народу меньше.

— В таком случае уедем отсюда, — предложил Шадурский.

— Как уедем?.. куда?.. Ты забываешь, я должна говорить с тобою, — тревожно изумилась маска.

— Ну, вот и прекрасно! Поедем к Донону, к Борелю, к Дюссо, куда хочешь; там поговорим. Я, кстати же, есть хочу.

— Ты шутишь, а мое намерение видеть тебя — вовсе не шуточное.

— Тем лучше. Я о серьезных делах иначе не толкую, как за бутылкой шампанского.

— Князь!.. Бога ради... — сказала маска умоляющим голосом, в котором прорвалось затаенное страдание.

— Я уже сказал. Не хочешь — как хочешь! — категорически порешил он, высво-

бождая свою руку, с явным намерением удалиться. Это был не более как ловкий маневр: он заметил по всему, что маска от него не отстанет, что во всем этом обстоятельстве кроется нечто большее, чем обыденная маскарадная интрижка, и, как человек самодовольно-самолюбивый, заключил, что поступками несмелой маски явно руководит страсть к его особе, и только одно неумение, одна непривычка к делу и новость положения заставляют ее относиться к нему таким странным, необычным образом. А удобной минутой страсти и увлечения какой бы то ни было хорошенькой женщины почему же ему не воспользоваться? Он только по голосу старался догадаться, кто она: голос этот смутно казался ему как будто знакомым. Князь уж совсем было высвободился от нее, намереваясь подойти к случайно попавшейся навстречу знакомой маске, как вдруг первая стремительно схватила его за руку.

— Я умоляю... останься!.. Ты не уйдешь от меня, — встревоженно заговорила она.

— Ты капризна, — зевая, заметил князь, — это скучно. Если хочешь говорить со мною,

так поедем, а иначе — прощай.

Женщина остановилась в раздумье. Это была для нее минута мучительной нравственной борьбы и тревоги.

Князь, отвернувшись, рассеянно глядел по сторонам.

— Я согласна... едем, — едва слышно выговорила она через силу, словно бы давил ее нестерпимый гнет, и, обессиленная этой минутной борьбой, подала ему свою руку.

Шадурский торжествовал, хотя и сам бы себе не мог дать отчета — почему именно он торжествует.

XXX
ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В карете она молча сидела, завернувшись в салоп, и не снимала маски. Князь насвистывал какой-то куплетец.

— В чем же дело? — спросил он с улыбкой, стараясь отыскать ее руки.

— После, — коротко ответила маска и завернулась еще крепче, стараясь этим движением положить предел его исканию.

— Ну, теперь мы можем говорить спокойно: сюда больше никто не войдет, — сказал он, запирая на задвижку дверь за ушедшим татарином, который принес им в отдельный кабинет ресторана ужин с замороженной бутылкой вина в серебряной вазе и затопил камин.

Женщина сняла свою маску — и князь Шадурский, при первом взгляде на ее лицо, невольно отшатнулся несколько в сторону от неожиданного изумления.

Перед ним стояла Бероева.

Читатель помнит, конечно, что одна из невинных шалостей молодого князя Шадурского выпала на долю Юлии Николаевны Бероевой и была разыграна с нею в блестящем будуаре генеральши фон Шпильце, при непосредственном участии этой добродетельной особы, купно с доктором Катцелем. Вероятно, не забыты также и те печальные последствия, какие шалость эта принесла за собою Бероевой.

Муж ее предполагал вернуться из Сибири не ранее семи-восьми месяцев, но подошли такие обстоятельства с промысловыми делами, что задержали его не на восьми-, а на одиннадцатимесячный срок.

Юлия Николаевна, всеми силами скрывавшая от окружающих свою беременность, разрешилась мальчиком в его отсутствие. Она сказала домашним, что едет недели на две в Москву, к родным своим, оставила деньги на содержание детей и дома, а сама отправилась к одной из петербургских акушерок. Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невозмутимое счастье семейное, боязнь за странную участь ребенка, если бы он остался

непрошеным членом в семье, и страх за то невольное сомнение, которое, быть может, затаенно заронилось бы в душу так многолюбимого ею мужа, не покинули ее и до последней минуты. Вместе с ними не покинуло и раз принятое решение — скрыть все эти грустные обстоятельства от окружающих и прежде всего от мужа.

Ребенок родился хилый, слабый — и, Боже мой, с какою гнетущею тоскою посмотрела на него мать в первую минуту облегчения после родов, когда акушерка поднесла к ней показать его! Какое-то странное, раздвоенное чувство проснулось в ее наболевшей душе: мрачная ненависть к отцу и теплое чувство материнской любви к не повинному ни в чем ребенку.

— Что ж, как вы думаете, отправить бы нам его поскорее в воспитательный? По крайней мере разом концы в воду? — предложила акушерка.

Бероева до рождения на свет младенца и сама думала то же. Она еще прежде советовалась на этот счет с нею и вполне соглашалась на ее предложение как на самое удобное и

благоразумное средство. Но теперь, держа в объятиях своего ребенка, она как-то невольно испугалась, услыша эти слова, словно бы что кольнуло ее в сердце каким-то болезненным укором, — и почувствовала она, что любит этого несчастного мальчика столько же, как и других своих детей, что было бы безжалостно, бесчеловечно бросить его почти на произвол судьбы, на чужие холодные руки, когда завезут и сдадут его в какую-нибудь деревню на воспитание, да и решимости и сил не хватало подавить в себе невольное материнское чувство, отказаться навеки от своего ребенка, вычеркнуть его совсем из памяти и сердца. Душа щемила и надрывалась при одной этой мысли, и стало ей мучительно жаль теперь этого хилого, болезненного мальчика.

— Нет... он такой слабенький, — нерешительно возразила она, глядя полными ожидания глазами на повивальную бабку, потому что думала услышать ее согласие.

— Так неужто ж оставлять его? — спросила эта с холодным удивлением.

— Да, я думаю, оставить лучше будет... Жаль ведь бедняжку.

— Ой, что вы! Есть чего жалеть! Да и стоит ли оставлять-то? Ведь только была бы охота, а этих поросят всегда вдоволь будет, — шутила акушерка.

— Нет, уж я оставлю, — положительно сказала Бероева. — Больно бросить его, да и грех... Посмотрите, какой он больной.

— Да, кажись, не живучий.

— Так уж если умирать ему — пусть лучше умрет на моих глазах... Все же спокойнее, да и совесть не так мучить будет... Мы хоть сколько-нибудь похолим его, — говорила она, тихо целуя младенца.

— Что ж, стало быть, вы его с собой брать хотите? — спросила акушерка.

— Н-нет, — раздумчиво проговорила больная. — Если б вы так добры были... я хотела бы лучше у вас; ведь вы принимаете иногда на воспитание? Я платить вам буду.

— Отчего же не принять? Мы берем иногда, — согласилась акушерка. — Двадцать пять рублей в месяц; деньги помесячно вперед; а уход за младенцем — уж вы не беспокойтесь — хороший будет, — объявила она, употребив минуту на соображение: стоит ли

игра свеч, то есть брать или отказаться?

Бероева пожала ей руку и от души поблагодарила за это согласие.

Ребенок остался у акушерки. Мать очень часто ходила и навещала его. Но надо было подумать, из каких доходов платить за воспитание? Где взять денег на это? Средства Бероевых были довольно ограниченны, да и нравственное чувство ее возмущалось при мысли употреблять деньги мужа на чуждого ему ребенка. Первый месяц она попробовала заложить кое-какие вещицы свои и заплатила положенную сумму. Ей пришла мысль переводить статьи в журналы. Она сделала опыт — перевод оказался удачен, но ни одна редакция не согласилась принять его и отказала в работе на будущее время, так как эти «места» бывают постоянно заняты собственными, привилегированными сотрудниками. Тогда Бероева обратилась к модным магазинам, прося у них поденных заказов, — неудача и здесь. Одна только лавка в Гостином дворе вошла с нею в соглашение и за довольно скудную плату поручила доставлять на себя вышивание по батисту. Все это оказалось весьма

ничтожно и далеко не пополняло необходимую на воспитание сумму.

Между тем приехал муж, и с его приездом прекратились и те скудные ресурсы, которые она могла зарабатывать в его отсутствие.

Акушерка, с замедлением платы, стала изъявлять сильное неудовольствие и предупредила, что если дела пойдут таким образом, то она должна будет отказаться от воспитания ребенка и передаст его с рук на руки, по принадлежности — матери.

— Ведь у него же есть какой-нибудь отец, — говорила она, — ну, отец и должен позаботиться, обеспечить...

Бероева рассказала ей все дело — сколько она помнила и понимала его.

— Вы видите, — заключила она, — что я его совсем почти не знаю, а встретиться с ним мне решительно негде.

— Ой, как негде? Помилуйте!.. Да вот вам первое место — хоть бы маскарад... Вам, конечно, лучше всего самолично переговорить с ним, напишите ему *бильеду*, назначьте *рандеву* — он и приедет.

Бероева поразмыслила над этим предло-

жением: оно показалось ей достаточно основательным — и она решилась.

Муж ее, вместе с Шиншеевым, должен был ехать на несколько дней в Москву.

Отсутствием его воспользовалась Юлия Николаевна и, дождавшись кануна первого маскарада, написала Шадурскому известную читателю записку.

— Я не стану корить вас тем, что вы со мною сделали, — Бог вам судья за это, — говорила Бероева с полными слез глазами, объяснив уже князю все обстоятельства, — но ребенок... он ведь ваш... о нем заботиться надо.

— Пожалуй, я не прочь, — равнодушно прожевал князь Владимир, запивая шампанским котлету, — только с условием, — прибавил он с двусмысленной усмешкой.

— С каким условием? — выпрямилась Бероева.

— Весьма легким для женщины.

— Князь, говорите яснее, — с строгим достоинством заметила она, сдерживая в себе то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало в ней с первой

минуты маскарадной встречи.

— Я говорю довольно ясно, — ответил он, наливая новый стакан.

— В таком случае, мы не понимаем друг друга.

— Ну, объяснимся еще яснее. Я обеспечу этого... ребенка, — говорил он с прежним невозмутимым равнодушием «элегантно-порядочного» человека, которое все более и более возмущало Бероеву. — Что касается до вас — вы ведь женщина небогатая, можете располагать мною, как вам угодно... А условие — ваша благосклонность.

Глаза Бероевой как-то зловеще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего места.

— Ваше сиятельство, — произнесла она тем нервно-звучным голосом, которым особенно ярко высказывается у человека чувство глубочайшего презрения, — все сказанное вами до такой степени низко и грязно, что мне гадко даже дышать с вами одним воздухом.

Она сделала движение к двери. Шадурский остановил ее.

— Ne vous echauffez pas, madame[278], — сказал он, став между нею и дверью, — я, пра-

во, не понимаю, что же тут оскорбительного?..

Он действительно не постигал, чем может оскорбляться женщина, не принадлежащая к его избранному сословию, жена какого-то господина, служащего в конторе у какого-нибудь Шиншеева.

— Впрочем, — прибавил Шадурский, повинно наклоняя свою голову, — если я сказал что-либо неприятное, беру назад свои слова и приношу тысячу извинений!.. Но послушайте же, — продолжал он, делая поворот на прежнюю тему, потому что чудная красота стоявшей перед ним женщины распалила его голову, и без того уже сильно разгоряченную вином: он не мог теперь уже давать себе ясного отчета ни в словах, ни в поступках. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая так присуща людям этой категории в трезвом их состоянии и по большей части покидает их в состоянии, противоположном трезвости, обнажая всю грубую, животную сторону их натуры, отменно полированной, но совсем не развитой человечески.

— Послушайте, — говорил он, — вы не совсем правы... Если я соглашаюсь обеспечить ребенка, то ведь только для вас. Почему же я знаю, мой ли это ребенок? И кто меня убедит в этом?

— Подлец! — задыхающимся от бешенства шепотом сказала ему Бероева и сделала новое решительное движение к двери.

Шадурский опять загородил дорогу.

— Подлец? — повторил он с улыбкой. — А знаете ли, чем каждый порядочный человек обязан ответить хорошенькой женщине, если она даст ему пощечину или скажет «подлец»? Он должен обнять и поцеловать ее тут же... Pardon, madame: noblesse oblige![279] — говорил князь, внезапно схватив ее в свои объятия и целуя в лицо.

Бероева вырвалась и закричала.

Шадурский, вконец уже опьяненный этим близким прикосновением к женщине, позабыл все и с помутившимися от хмельной страсти глазами бросился на нее снова.

Вся старая ненависть и все те чувства, которые возбудили в ней его слова, вместе с самосохранением и оскорбленным достоин-

ством женщины — с новой и стремительной силой поднялись в ней в это мгновение. Вне себя, схватила она со стола серебряную вилку — и в то время, как Шадурский снова успел уже поймать ее в свои объятия, Бероева с неимоверной для женской руки силой вонзила ему вилку в горло и потом в грудь.

Князь Владимир с отчаянным криком повалился на пол. Кровь ручьями брызнула из раны.

В ту же минуту сильным натиском с наружной стороны задвижка отскочила, и дверь отворилась; при виде раненого ужас охватил вбежавших на крик людей.

Бероеву застали стоящею посреди комнаты, с окровавленной вилкой в руке. Она вся дрожала и бессознательно водила кругом мутными, но грозными глазами. Кисть руки так конвульсивно крепко держала свое оружие, что казалось, будто закоченела в этом положении.

Тотчас же явилась полиция.

Когда Шадурского подняли с пола и Бероева увидела кровь — мгновенный отблеск сознания и какой-то гнетущей мысли тоскливо

мелькнул в ее взорах. Она выронила вилку, зашаталась и упала без чувств.

В то время как раненого Шадурского положили в карету, чтоб отвезти домой, Бероева была уже арестована.

Часть четвертая
ЗАКЛЮЧЕННИКИ

I
ДЯДИН ДОМ[280]

Между петербургскими каналами есть один, называемый Крюковым. Отличительных достоинств он не имеет, если не считать достоинством его ноголомную набережную. Каждый добросовестный петербуржец, движимый чувствами человеколюбия, конечно, не посоветует ни одному вновь приезжему прогуляться темным вечером по этой гранитной набережной, если только, из личного мщения, не пожелает, чтобы тот свернул себе шею. Эта достопримечательная набережная имеет столь своехарактерный вид, что любой человек, не знакомый с геологическими свойствами петербургской формации, ни на минуту не усомнится отнести Крюкову набережную к плачевным следам недавнего землетрясения — до того оселись вглубь, расщелились и повыдались торчащими косяками ее

массивные гранитные плиты. Это память 7 ноября 1824 года[281].

Крюков канал служит границей между нарядной, показной частью города и тою особенною стороною, которая известна под именем Коломны.

Морские солдаты да ластовые рабочие, часто под хмельком; лабазники из Литовского рынка, которые прут перед собою двухколесные ручные тележки с кладью; театральные мастодонты-колымаги, развозящие с репетиций балетных статистов и оперных хористок; мелкий чиновничек с кокардой на фуражке, гурьба гимназистов, гулящий «майстровой человек» да фабричный с Бердова завода — вот характерные признаки уличного движения Коломны. Впрочем, и здесь есть обитатели весьма комфортабельных бельэтажей, даже красуются пять-шесть барских домов, напоминающих «век нынешний и век минувший», но главный-то слой населения все-таки составляют те классы, представителей которых мы только что показали читателю.

Чуть перевалитесь вы через любой из горбатых, неуклюжих мостов Крюкова канала,

особенно вечером, как разом почувствуете, что вас охватывает иной мир, отличный от того, который оставили вы за собой. Вы едете по Офицерской: улица узкая, сплошные каменные громады, в окнах газ, бездна магазинчиков и лавочек, по которым сразу видно торговлю средней руки; посередине улицы то и дело снуют извозчики; по нешироким тротуарам еще чаще сталкивается озабоченный разночинный народ — и это вечное движение ясно говорит вам про близость к городскому центру, про жизнь деятельную, всепоглощающую, промышленную — одним словом, про жизнь большого, многолюдного города. Но вот узкая улица с ее шумом и суетней впала в окраину громадной площади. Тут движение еще сильнее, еще быстрее. Огни газовых фонарей пошли еще чаще. Ярко освещенные подъезды и еще ярче залитые светом ряды окон двух огромных театров, быстрый топот рысаков, отовсюду торопливое громыханье карет, ряды экипажей, «берегись» и «пади» кучеров да начальственный крик жандармов — все говорит вам, что элегантный Петербург торопится убивать свое многообиль-

ное праздностью время. Но чуть перевалились вы за горб Литовского моста, как вдруг запахло не центром, а близостью к окраине города. Офицерская улица, кажись, и та же — да не та. Пошла она гораздо шире, просторнее; дома, в общей массе, менее высоки и громадны, инде виднеются сады, инде постройки деревянные. Свету вдесятеро меньше, народу тоже, и нет ни этого снования, ни этого грохота экипажей.

В самом деле, какой резкий контраст! Там, за вами, — шум и движение, блеск огней и блеск суетливой жизни, балет и опера, все признаки веселья и праздности; а здесь — тишина, и мрак, и безлюдье; здесь первое, что встречает вас за мостом, — это казенно-угрюмое здание городской тюрьмы, которую вечером, подъезжая к одному из двух театров, и не заметите вы в окутавшем ее мраке.

Если бы кто вздумал вообразить себе нашу тюрьму чем-нибудь вроде Ньюгет или Бастильи, тот жестоко бы ошибся. Внешность ее совсем не носит на себе того грандиозно-мрачного характера, который веет воспоминанием и стариной, этим мхом и плесенью исто-

рии, этой поэзией мрачных легенд былого времени и эпизодами картинных страданий. Наша тюрьма, напротив, отличается серо-казенным, казарменным колоритом обыденно-утвержденного образца. Так и хочется сказать, что «все, мол, обстоит благополучно», при взгляде на эти бесконечно скучные прямые линии, напоминающие своею правильностью одну только отчетистую правильность ружейных темпов «раз-два!». Но знаете ли, мне кажется, что впечатление нашей тюрьмы чуть ли не будет еще потяжелей впечатления, производимого лондонским Ньюгет или какой-либо другой из средневековых европейских тюрем. Там эта архитектура, эти воспоминания наводят на вас хотя и тяжелое, но все-таки, благодаря некоторым из исторических эпизодов, своего рода поэтическое впечатление. Здесь же ничего подобного нет, и вот эта-то самая казенность и давит вашу душу каким-то тягуче-скучным гнетом.

Неправильный и не особенно высокий четырехугольник, нечто вроде каменного ящика, с выступающими пузатым полукругом наугольными башнями, низкими, неуклюжи-

ми, — здание, выкрашенное серовато-белою краскою; ряды черных окон за толстыми железными решетками; внизу — форменные будки и апатично бродящие часовые — таков наружный вид главной петербургской тюрьмы. Только два ангела с крестом на фронтоне переднего фасада несколько разнообразят этот общеказенный скучный вид всего здания. В передней башне, выходящей к Литовскому мосту, вделаны низкие и тяжелые ворота, обок с ними — образ Спасителя в темнице и в узах да несколько кружек «для арестантов, Христа ради», и над воротами — черная доска с надписью: «Тюремный замок». В народе, впрочем, он слывет исключительно под именем «Литовского замка» — название, данное от соседства с Литовским рынком.

Над домом вечного позора
Стоят два ангела с крестом.
И часовые для дозора
Внизу с заряженным ружьем.
Серо, мрачно... В окне решетка,
За нею — воля впереди, —
Но звук шагов считаешь четко,
То будто звук: «сиди, сиди!»...

Так когда-то сложил стихи про Тюремный замок один из арестантов, и стихи эти сделались весьма популярны в среде заключенников.

Около трех часов пополудни со скрипом растворились ворота Литовского замка, за ними завизжали на несмазанных петлях ворота внутренние — железные, решетчатые, — и в низкую полутемную подворотню въехал запряженный понурою клячею четырехколесный черный ящик с нумером, окруженный шестью штыками военного эскорта. Не успел арестант в последний раз, через маленькое решетчатое оконце ящика, бросить взор «на волю», то есть на мир затюремный, на эту жизнь городскую, как ворота снова захлопнулись с грохотом железного засова — и в сводчатой подворотне стало еще темнее.

Конвойный унтер-офицер отомкнул железную задвижку в дверце ящика и крикнул:

— Живее, вы!.. Марш в контору!

Из двери вылезли три-четыре человека в безобразных серых шапках, а один — в своем «вольном» партикулярном платье.

Пока тюремный служитель, известный в замке под именем Подворотни, осматривал внутренность фургона и ощупывал возницу: нет ли чего запрещенного, вроде карт, табаку или водки, военный эскорт повел приехавших арестантов по звучному коридору.

— Отвести на второй этаж![282] — распорядился письмоводитель тюремной конторы, прочтя бумагу, при которой был прислан молодой арестант в «вольном» платье.

— При себе ничего нет? — отнесся он к последнему.

— Ничего.

— Осмотреть! — кивнул письмоводитель.

Один из сторожей выворотил карманы арестанта и приказал разуть ему ноги. Оказались: карандаш, клочка четыре бумажки, какая-то веревочка и в старом портмоне рублевая ассигнация да копеек шесть меди.

Все эти вещи, за исключением медяков, были записаны и оставлены в конторе[283].

Дежурный повел арестанта через главный тюремный двор, посередине которого стоит голубятня, поставленная на собственный счет одним из «благородных» подсудимых, ради

общего развлечения заключенных. Кое-где за решетками окон виднеются их невеселые лица. Вокруг двора идет бревенчатый палисад более двух сажен вышиною; за ним разбиты маленькие садики, отгороженные один от другого точно таким же высоким палисадом и служащие единственным официальным развлечением арестантов. То там, то сям в разных концах огромного двора прохаживались часовые с ружьями, а «первое частное», с красными воротниками на серых пиджаках, пилило дрова и таскало их на всю тюрьму, по камерам[284].

— Деньги есть? — вполголоса обратился «провожатый» к своему спутнику, покосясь на него вполоборота, что явно обозначало интимно-секретное свойство вопроса.

— Отобрали, — коротко отвечал арестант.

— Экой дурень! И чему вас, право, учат в этих сибирках по частям?.. Отобрали!.. А того не знает, что на этакое дело мутузка[285] есть: замотал в нее сигнацыю да и обвяжи поясом по телу: там не щупают!.. Дурень! право, дурень! А сколько денег-то? — спросил он еще тише.

— Рубль... да шесть копеек еще — эти не взяли.

— Фи! — презрительно свистнул солдат. — Шесть копеек! Туды же — деньгами величает!.. Ну да Бог с тобой, давай уж и их, что ли, сюда, а я словцо такое замолвлю за тебя приставнику!

Арестант отдал не прекословя.

— Живее, марш! — прикрикнул дежурный, подымаясь с ним по лестнице, на площадке которой, у дверей налево, виднелась каска и штык часового — специальная привилегия татебного отделения, куда сажают «по тяжким преступлениям», и тут сдал приведенного с рук на руки приставнику, дюжему солдату с черными погонами и в высокой фуражке. Коридорный, по приказу последнего, выкликнул из камеры старосту, «сиделого человека» с широкими калмыцкими скулами, и поздравил его «с новым жильцом». Приставник показал старосте «новичка», переговорил, где поспособнее посадить его, то есть в каком нумере имеется незанятая койка, и, получив надлежащее сведение, вместе с «сиделым человеком» провел «нового жильца» по коридо-

ру в дверь небольшой конурки, которая зовется «приставницкой». Сюда же был «выкликан» и «дневальный» той камеры, где предполагалось поместить приведенного[286]. В приставницкой обыкновенно совершается переодевание «в новые виды», то есть первое посвящение в жизнь заключенную. Новичка заставили снять с себя вольное платье с бельем, а взамен выдали костюм арестантский.

Через минуту молодой человек очутился в толстейшей дерюге-сорочке, серых штанах грубого сукна и таком же пиджаке.

— Вот ты, стало быть, в егеря поступил, — заметил солдат, указав на черный воротник пиджака и кидая ему плетеные лапти с неуклюжей серой шапкой. — Береги вещи, потому они казенные: взыскивать будут. Видишь?

И он ткнул пальцем на нумер и клеймо, выставленные на каждой принадлежности костюма: «РАЗ. Т. 3.».

— Это значит: ты — «разночинец Тюремного замка» — так оно и обозначено, понимаешь? — пояснил дневальный. — А теперь пойдем на «татебное», к милым приятелям, познакомиться.

За арестантом затворилась дверь предназначенной для него камеры — и хриплое щелканье запираемого замка возвестило ему окончательное вступление в мир новый, своебытный, оригинальный и мало кому знакомый на воле.

У вновь приведенного помутилось в глазах: его ошибло этою духотою и вонью, этим прокисло-затхлым и спертым воздухом тюремной камеры. Дневальный дал ему толстую суконную подстилку да тощий тюфячок с подушчонкой и указал место на одной из свободных коек, которые тесно идут по двум противоположным стенам. Почти бессознательно стал он оглядывать настоящее свое жилище, избегая взглянуть на лица новых товарищей.

Это была не особенно просторная комната в два окна с давно потускнелыми стеклами, с низким закоптелым сводом и железною печью в углу. Кое-где по стенкам торчали убогие, маленькие полочки с хлебом и «подаянными» сайками да разной посудой, вроде чашек и кружек; кое-где над койками красовались прилепленные картинки и вырезанные

из бумаги петушки, то и другое — изделия самих арестантов. На передней стене висели темный образ и лампада, заменяющая собою ночник; в углу — бочонок с водою, а на дверях повыше надзирательской форточки расписаны были ряды цифр и следующие знаки: «В. П. В. С. Ч. П. С».

Это — календарь, лежащий, по приговору членов камеры, на обязанности дневального, который отмечает мелом начальные буквы дней недели и под каждою ставит цифру. Наутро каждого дня стирается цифра, обозначающая вчерашнее число, и так до конца месяца. В камере помещалось тридцать человек заключенных. На двух побрякивали цепи. Это — «решенные»; сидят и ждут себе скорого и дальнего странствования в палестины забайкальские. Иные спят врастяжку каким-то тяжелым, безжизненным сном, какой мне случалось подмечать доселе у одних арестантов да у людей натруженных. Иные «дуются» в шашки «на антерес», которым служит грош или милостынная булка. Шашечницу устроить нехитро: взял нож да и наскоблил им клетки на коечной доске, а из соснового поле-

на повырезывал кружки да квадратики — и готово дело. Несколько человек книжку читают и предаются этому занятию с видимым наслаждением. Книжками снабжает их тюремный священник; но «божественные» если и читают арестанты, то больше под праздник, а в мирские дни предпочитают чтение «с воли» и ищут в нем то, что позанятнее. А с воли может протащить книжку хоть тюремный солдат, хоть любой посетитель; и тут есть всякая книжка: и историческая, и нумер старого журнала, и путешествие, и роман, какой попадется; все это поглощается с равным удовольствием, которое выражается в своеобразных комментариях и поощрительных возгласах. Иногда очень уж занятную книжку целая камера, как один человек, слушает, никто слова стороннего не шепнет, никто не спит, никто даже в кости не играет, а об картах на этакую пору и помину нет[287].

А лица, а физиономии? Каких тут только нет, между этими тридцатью существами, которых случайная судьба свела на неопределенное время под низкие своды тесной камеры и заставила денно и нощно пребывать

всех вкупе, нераздельно! Лица старые и молодые, по которым угадаешь все степени человеческого возраста, за исключением детского да глубоко старческого, угадаешь разные национальности и оттенки личного характера в каждом. Вот открытая, добродушная и красивая физиономия молодого парня. Это — убийца. Спросите его, не официально, а по душе, — за что он содержится?

— А из ружья стрелили, — откровенно ответит вам парень, если только на ту пору будет в добром юморе и захочет ответить.

— Как стрелили? кого?

— А начальства своего стрелили — потому женку скрыл под свою милость. Теперичи решенья ждем.

Рядом с ним чухна из-под Выборга. Этого как уж ни спрашивай, вечно получишь один только ответ: *«еймуста»,* ничего не знаю! А содержится «по подозрению» будто в убийстве. Но стоит только взглянуть на эту неуклюже обтесанную, словно дубовый обрубок, приземистую, коренастую и крепкую фигурку, ростом меньше чем в два аршина, на этот приплюснутый книзу череп, на эти узенькие

маленькие щелки-глаза и апатично-животное выражение лица, чтобы с полным внутренним убеждением сознать в нем убийцу.

Вон там, в углу, растянувшись, руки под голову, лежит на койке литвин, промышлявший на пограничном кордоне смелою контрабандою. Что за беззаботно-отважная физиономия! А там вот немец, Bayerischer Untertan[288], который сидит себе сиднем семь лет уже в одной и той же камере; поступил — ни слова не знал по-русски, а теперь режет, как истый русак, без малейшего акцента: в тюрьме научился.

Далее выглядывает тоненький носик черненького жидка: на фальшивой монетке попался.

А это что за крупные, сладострастно очерченные губы? Что за ненормальное развитие задней части черепа? И спрашивать нечего! Сразу угадаешь тебя, богатырь Чурило Опленкович. Только ты не тот хороший Чурило, не древний донжуан земли русской: никакая-то княжая жена Опраксия у души своей тебя не держала, и не было у тебя своей Катерины Микуличны Бермятиной, жены купецкой; и

когда поведут тебя, раба божьего, на место лобное, высокое, так киевские бабы не взмолятся: «Оставь-де Чурилу нам хоть на семена!» — не взмолятся потому, что не горела к тебе ни одна-то душа бабья, ни одно сердце девичье, хотя и тебя, как древнего Чурилу, тоже, быть может, погубила какая-нибудь девка-чернавка. А не горела ничья душа потому, что уж больно неказист ты с поличья, сластолюбие твое было и есть в тебе явление уродливое, болезненное: лютым зверем на меже да в перелеске кидался ты на прохожую, полонил ее себе не красными словами, не ухваткой молодецкою, а насильством да ножевою угрозою. Ну за то самое, друг любезный, и обретаешься теперь «в доме дядином», вместо дома сумасшедшего.

Рядом с Чурилой пригорюнился еще один обитатель тюремный. Этот красного петуха пущал на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютого. Было время, что вились его кудерки, вились-завивались, да пришла на кудри черная невзгода, сбрили с головы его красу светло-русую и повели в город во солдаты. Из города парень убег; осен-

нею ночью на деревню вернулся, стукнул под окошко, брякнул во колечко: «Пустите, родимые, сына — обогреться!» Не пустил батюшко — бурмистра испужался; не покрыла матушка — хозяина побоялась. «Ты ж гори огнем, батюшкино подворье, пропадай пропадом, матушкина светлица!» И пошел мытариться по белу свету, разные виды на себя принимал, пока не изымали в городе Петербурге. Что-то думает он да гадает, про то знает одна голова его забубенная, а что наперед приключится и чем кончится — про то Бог святой ведает.

Всякого народу в этой камере вдосталь, и есть представители многих родов преступления. Тут и святотатцы, и корчемники, и убогий мужичонко, что казенную сосенушку с казенного бору срубил, и покусители на самоубийство; сидят и за воровство большое, и за «угон скамеек», то есть лошадей, и за грабеж с разбоем; тут же и отцеубийца-раскольник, которого мать родная, старуха древняя, сама упросом просила отвести ее в моленную и там порешить топором душу ее окаянную, многогрешную, чтобы через страстотерпную

кончину праведную мученический венец прияти. Сын так и исполнил матерний завет, да и сам помышлял о таком же блаженном конце через своего сына, как до старости доживет, а тут начальство, на грех, не сподобило: таскало, гоняло по разным судам и острогам, пока не попал, какими-то судьбами, в петербургский.

И на каждой из этих физиономий своя печать и своя дума — а дума одна: как бы вынырнуть из дела да из когтей острожных. Иные лица, впрочем, кроме полнейшей безразличной апатии, ничего не выражают; на других — животная тупость; иные же дышат таким добродушием и откровенностью, что невольно рождается вопрос: «Да уж полно, точно ли это преступник?» Но зато есть и такого сорта физиономии, на которых явно лежит печать отвержения. Приплюснутый сверху череп с сильным развитием задней его части на счет узкого, низкого и маленького лба, узкие же глаза исподлобья, широкие, вздутые ноздри, широкие скулы и крупно выдающиеся губы являются по большей части характерными признаками таких преступников.

Это — преступники грубой, зверской силы и животных инстинктов — совершенный контраст с мошенниками и ворами городскими, цивилизованными, из которых если вы спросите любого: кто он таков? — то можете почти наверное услышать в ответ: «кронштадтский мещанин». Мне кажется, что больше трети петербургских мошенников называют себя кронштадтскими мещанами. Почему уж у них такая особенная привязанность к Кронштадту, наверное не знаю, но чуть ли не оттого, что легка приписка в общество этого города. Контраст между физиономией плутяги-мошенника, то есть так называемого мазурика, слишком легко заметен: у этого последнего умный, хитрый, уклончиво-бегающий и проницательный взгляд, который и всему лицу придает выражение пронырливого ума, изворотливой хитрости и сметки.

Но каковы бы ни были эти тюремные физиономии, сколь бы ни разнообразен являлся их характер, однако на всех них лежит нечто общее, и это именно — тот болезненный серый колорит с легким иззелена-желтым оттенком, который образуется на лице вслед-

ствие тюремного заключения. Воздуха, света, движения просит организм, а их-то вот и нет в надлежащей степени. Впрочем, верхние этажи Тюремного замка относительно представляют несколько более выгодные условия для сидения, по крайней мере в отношении света. Но попробуйте войти в этаж подвальный, куда вводит вас низкая дверь с надписью над нею: «По бродяжеству», — вы очутитесь в темном и узком коридоре, в который еле-еле западает слабый дневной свет, проходя через род маленьких стенных труб, примыкающих к крохотным оконцам (не более четверти в квадрате), находящимся выше уровня коридорного потолка. Комната в одно окно, щедро заслоненное железною решеткою, и в этой комнате живет порою до двадцати и более человек. Рядом — камера татарская, где группируют их в одну семью «на выседках»[289].

II
ТЮРЕМНЫЙ ДЕНЬ

Да, невеселая это жизнь. Скучно, томительно-однообразно тянется день заключенного: вчера, как сегодня, сегодня, как вчера, — и так проходят многие недели и месяцы, а для иных даже и многие годы.

Чуть остановится поутру стрелка замковых часов на цифре «7» — во дворе раздаются три удара в колокол. Тюремный день начался — прозвонили утреннюю поверку. Унтер-офицер от военного караула вместе с Подворотней[290] обходят все отделения замка. На двери каждой камеры прибита снаружи красная доска с цифрой, которая показывает число заключенных. Отмыкается замок, и Подворотня начинает считать людей, сверяясь с наддверной цифрой. Если случился ночной побег, отвечает офицер караульный; за побег же, совершенный в течение дня, вина падает на тюремное начальство. Впрочем, арестанты знают «добрых» офицеров и стараются приноравливать дело так, чтоб уж если

бежать, коли можно, в «злое дежурство», — «чтобы, значит, доброго да хорошего человека в ответ под сумление не ввести».

Из прелой температуры, которая в течение ночи сделалась уже совсем банною в этой герметически закупоренной камере, выбегает распотевший народ в настуженные сени — мыться у медных умывален, и это выбегание на холодок очень нравится арестанту, потому что после долгой ночи даже и воздух сеней покажется необыкновенно чистым и живительным: «по крайности — вздохнешь послободнее». А дневальный в это время по обязанности подметает пол. Пока арестант умылся да лоб перекрестил — глядишь, прошел уже час времени, и вот в восемь «кипяток звонят». У кого есть щепотка чаю да кусок сахару, тот бежит на кухню с посудиной; у кого нет — добрый человек из товарищей поделится, напоит. После «кипятка» кто хочет — в школу, а остальные — дрова пилить да воду качать, до одиннадцати часов. В школу, которою служит столовая замка, ходит какой-то чиновник, чтобы учить, а в сущности, только перья да бумагу раздавать учащимся, потому

что арестант предпочитает учиться у своего же брата, арестанта-грамотея. И ходят туда они добровольно, по своей охоте, когда десять, когда двадцать, а когда пятьдесят человек. А те, что выгнаны к дровам на работу, отбывают свое дело по задаче: на каждых четырех человек полагается урок — распилить полсажени дров, и кто отбыл задачу раньше одиннадцати часов, тот продирает себе в садик своего отделения. Эти садики очень пришлись по нраву заключенным: они в большинстве своем очень любят ухаживать за тощенькими кустиками на садовых клумбах; иные достают себе с воли разных семян и по весне сажают их в землю, растят и холят молодые всходы с необыкновенной заботливостью, и — странное дело! — есть неоднократные примеры, что самые зачерствелые преступники с искренним удовольствием предаются этому буколическому уходу за своими цветами.

Вот как описывается тюремный садик в одной рукописи, создавшейся в тюрьме и весьма популярной между арестантами четвертого этажа, где и слагались помещенные в ней

песни[291]:

Сел к окну я. Голубь сизокрылый
Прилетел и что-то мне воркует;
О голубке, верно, все о милой —
Как и я, он, бедненький, тоскует.
Взял я хлеба, на окно посыпал —
Не клевал он, к крошкам не касал-
ся...
Я заплакал — и кусок вдруг выпал —
И вспорхнул мой голубь, испугал-
ся.
А внизу-то садик зеленеет,
На кусточках свежие листочки —
И желтеют, вижу, и алеют
Раскрасавчики цветы-цветочки.
В том садочке узники гуляют:
На скамейках там сидят иные,
А другие в косточки играют,
Много их — все больше молодые;
Лица желты, лица у них бледны —
Некрасива серая одежда! — и т. д.

Любимое занятие арестантов во время этих послеурочных прогулок в садике — игра в кости; ей отдается столько же симпатии, сколько и уходу за цветами... Вокруг зеленой скамейки «отабунятся» несколько человек, и

из среды их то и дело вылетает взрыв горячих восклицаний: «очко!.. куш! двенадцать очков! пятка! шесток!» — и все это с необыкновенным увлечением, с азартом, в котором выражается то удовольствие от удачи, то крепкая досада на проигрыш.

— А что нынче — гороховый день? — интересуются арестанты, замечая, что время близится к обеденному сроку.

— Не надо быть гороховому: день сегодня, кажись, у Бога скоромный стоит, вторником прозывается.

— То-то; совсем уж смоталися с пищей-то с этой, ажно и забыли. Стало быть, щи?

— Кабы щи! хоть и серяки они, эти щи-то наши, — а все ж нутро чувствует, как чемодан напрешь. А то вот Гришка Сапогов на кухню бегал, сказывал — потемчиха[292]!

— Ой, ее к черту! совсем щенячья эта пища, а не людская, право!

— Это точно что! — соглашаются арестанты и, в ожидании потемчихи, апатично тянут время до обеденного часа.

Бьет одиннадцать, и раздается звонок к обеду. Народ валит в столовую, захватив с со-

бою из камер деревянные ложки и свои порции хлеба[293]. На столах уже дымятся горячим паром большие медные баки — на восемь человек по одному; между баками расставлены жестянки с квасом.

— Го-го! ребята, щами пахнет, словно бы вкуснее: не столь кисло.

— Начальство будет... Верно, начальства ждут...

— Ой ли? радости-веселости мои! давай, на счастье, *сламу ловить*, ребята, — только, чур, по разу, не плутуй![294] — раздается говор между арестантами в разных концах столовой, пока гурьба усаживается на длинные скамейки.

— Ну-у! селитра[295] привалила! — с явным неудовольствием замечают кое-где по столам при входе военного караула.

В столовой появляются восемь человек солдат с ружьями и офицером. Четверо становятся у одних дверей, четверо у других, противоположных. Таково тюремное обыкновение, которого весьма не жалуют арестанты: оно оскорбляет их самолюбие.

— Что-то словно к тигре какой лютой при-

ставляют!.. И зачем это, право?

— А затем, чтоб память не отшибло с еды: пожалуй, забудешь, что у дяди на поруках сидишь. Гляди еще, бунту затеешь какую.

— Как же, *гарнизон* да *уланы*, что ни есть, первые бунтовщики; это уж завсегда; ни то их и караулят.

И много еще слышится у них промеж себя замечаний в подобном же роде. Офицер меж тем шагает себе по среднему проходу вдоль столовой и часто поневоле урывками слышит недовольные речи; поэтому многие из них, зная, что большой караул выказывает точно бы какое-то недоверие к арестантам, входят в столовую не с восемью, а только с четырьмя людьми, и то лишь ради соблюдения формальности. Арестанты — как дети: им льстит это доверие, они ценят его, ибо очень тонко умеют понимать человечность отношений к себе, которая служит для них первою отличкой «доброго, хорошего офицера». Тюремный начетчик Китаренко (из заключенных же) стоит у налоя и толково читает своим внятным, монотонным голосом Четьи-Минеи, которых, однако, ни одна душа спасенная не

слушает, потому либо занимается она едою, либо разговор приятный с соседями ведет: Китаренко же читает так себе, для блезиру, чтобы начальство ублагодушествовать, потому оно раз уже так постановило и, значит, нечего тут рассуждать.

От обеда до двух часов — время вольготное. Двери в камерах не на замке, а только приперты для виду. Арестанты делают визиты: приходят, по соседству, из камеры в камеру, сидят, балагурят, сплетничают. Люди смирные занимаются чтением либо спать завалятся на койки, а для людей азартных существуют карты да кости, да шашки в придачу. И вот раздается хоровая песня. Это запевало Самакин собрал охочих людей в одну камеру и заправляет голосами. А песни здесь не вольные, а свои, тюремные, арестантские — и первая песня поется про Ланцова; слышно, будто он сам про себя и сложил ее, на утеху заключенников. Вторая песня про общую недолю тюремную, про то, как:

Сидит ворон на березе,
Кричит воин про борьбу.

А третья песня называется «душевною». Но если вы услышите последнюю, то наверное придете в немалое удивление. Это не более, не менее, как «Farewell»[296] байроновского Чайльд-Гарольда в искаженном виде. Какими судьбами попали эти стихи в заключенный мир, а оттуда перешли на волю, в мир мошенников, и — главное — почему они так сильно пришлись им всем по душе, что даже самая песня получила название «душевной»? Все три[297] издавна уже составляют любое пение всех арестантов. Попоют они себе до двух часов, а там — от двух до четырех — либо воду качать, либо дрова пилить да «на этаж» таскать их. В четыре опять «кипяток прозвонят», и хоть спи, хоть гуляй до шести, когда вторично наступает штыковой церемониал в столовой, за ужинными щами либо горохом; а там — после ужина — вечерняя поверка да выкличка — кому назавтра ехать в суд или к следствию; затем внесет дневальный парашку (ушат), и — дверь на запор, на всю долгую ночь, до утренней переклички.

В этом порядке и протекает тюремная жизнь. Изредка разве навестит начальство

какое-нибудь, обойдет два-три этажа — все, конечно, обстоит благополучно, — и начальство уезжает... В неделю раз или два подаяние кто-нибудь из купечества сайками принесет, да изредка буйство произойдет какое-нибудь или согрубение, — согрубителя суток на пять в «карцию» посадят, хотя вообще буйному народу вольготнее живется, чем смирному; к буйному и приставник, и коридорный уважение даже какое-то чувствуют, потому, надо полагать, боятся: с шальным человеком в недобрый час не шути. А в «карцие» житье неприглядное: первое дело — потемки, второе — пройтиться негде, третье дело — ни скамейки, ни подстилки нет: валяйся на каменном полу, как Бог приведет, да услаждайся хлебом с водою. И все-таки, несмотря на все эти неудобства, случаются желающие на «поседки». Иной нарочно мимо идущему начальству (своему тюремному) закричит вдогонку: «блинник!», или сгрубит чем-нибудь, или в коридор покурить выйдет — лишь бы только посадили его в «карцию». Дело понятное: сидит-сидит человек, денно и нощно, все в том же самом разнокалиберном обществе

тридцати человек — инда одурь возьмет его: уединения захочется, которое в этом случае является чисто психической потребностью. Как попасть в уединение? Просить, что ли? Никто во внимание не примет. Одно только средство: пакость какую-нибудь сделать. Ну, так и делают!

И вот в этом заключается все дневное разнообразие тюремной жизни.

Но чуть после вечерней поверки щелкнет последний затворный поворот дверного замка — в камере спочинается развеселая жизнь заключенника! Покой, простор, отсутствие приставничьего глаза — «гуляй, арестантская душа, во все лопатки!»

III
ПРОДАЖА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

— Вот вам, заключенники почтенные, начальство милостивое нового жильца жалует! — обратился дневальный к обитателям одной из камер татебного отделения, введя туда молодого человека после переодевания в приставницкой и указав ему койку.

— Нашего полку прибыло, — заметил на это один из сидящих. Прочие ничего не сказали. Иные, ради форсу, даже не удостоили его взглядом, а иные, кто полюбопытнее, стали молча, каждый со своего места, глазеть на приведенного.

— А тебе, друг, — продолжал дневальный, обратясь уже непосредственно к новичку, — коптеть — не робеть, судиться — не печалиться, терпеть — не жалиться, потому у нас такой заказ, чтобы пела, да не ела, с песни сыта была[298]. Слышишь?.. Как звать-то тебя?

Молодой человек, пришибленный впечатлением нового своего жилища с его атмосферой и обитателями, сидел как ошалелый и ли-

бо не слыхал, либо не понял вопроса дневального, который ткнул его в бок, для пущего вразумления, и спросил вторично:

— Как звать?..

— Иван Вересов, — ответил тот, очнувшись от наплыва своих тяжелых ощущений.

— Ты за кем сидишь? за палатой, аль за магистратом, аль, может, за голодной[299]?

— Под следствием... из части.

— А за какие дела?

— Не знаю.

— Ой, врешь, гусь! Чудак человек, врешь! Никак этому нельзя быть, чтоб не знал, — взят же ведь ты в каком подозрении... Ты не скрывайся — народ у нас теплый, как раз научим по всем статьям и пунктам ответ держать, — гляди, чист выйдешь, с нашим нижайшим почтением отпустят, только и всего [300]. Недаром наш дядин домик ниверситетом слывет, мазовой академией называется. Мы с тобой в неделю всю курсу пройдем.

Вересов не поддался на увещание дневального, и это возбудило против него неудовольствие арестантов.

— Ишь ты, брезгует, — ворчливо заметили

иные, — погоди, кума, поживешь — такова же будешь, к нам же придешь да поклонишься! Оставь, Сизой! Ну его!.. Не видишь, что ли, что сам на рогожке сидит, а сам с ковра мечет!

Сизой отошел от Вересова, тоже видимо оскорбленный.

Все это не предвещало ничего хорошего новому арестанту.

Когда он несколько поуспокоился и приобык к настоящему своему положению, к нему лисицей подсел человечек средних лет, с меланхолической физиономией, по имени Самон Фаликов, по профессии крупный вор и мошенник.

— Что ты словно статуй какой сидишь, милый человек, не двинумшись? — начал он с участием. — Ты скажи, по чем у тебя душа горит да что за дела твои? Все мы — люди-человеки, иной без вины коптит; стыда в этом промеж себя нету никакого.

Фаликов говорил тихо и явно бил на то, чтобы придать разговору своему интимное значение. Остальные делали вид, будто не обращают на него никакого внимания, а тот,

пользуясь этим, очень искусно строил жалкие рожи и говорил жалкие слова, приправляя их слезкой и сочувственными вздохами.

Вересову показалась очень жалкой и несчастненькой фигурка человечка Фаликова. Ему давно уже не приходилось слышать ласковое слово, обращенное лично к нему, — в памяти оставались свежи только официальные допросы следователя да нуканье полицейских солдат, так что теперь, после жалких слов Самона Фаликова, он весьма склонен был видеть в нем такого же несчастного, как и сам, и рассказать ему свое горе. Так и случилось.

— Эх, милый человек, тебе еще горе — не горе, а только полгоря! — вздохнул Фаликов. — Ты — как перст, один-одинешенек, а у меня семейство: баба да ребяток четверо, — так мне-то каково оно сладко?

Вересов сочувственно покачал головой.

— Слышь-ко, голубчик, — с таинственным шепотом подвинулся к нему арестант, — сотвори ты мне, по христианству, одолжение! Ты — человек молодой, одинокий... Мы тебя выручим, сгореть не дадим... Уж будь ты на-

дежен, наши приятели так подстроят дело, что сухо будет; много-много, коли под надзор обчества маленько предоставят тебя; так ведь это не беда. А теперича по твоему делу невесть еще куды хуже решат тебя: может, запрещен в столице будешь, а может — и тово.

Фаликов приостановился, наблюдая, какое впечатление производят слова его на Вересова; но этот, не понимая, в чем еще дело, смотрел на него недоуменными глазами.

— А я — человек семейный, хворый человек; детям пропитание нужно, — продолжал еще тише Фаликов, — на волю хочется: помрут ведь без родителя... Будь ты мне другом, купи ты мое дело!.. Я тебе пятьдесят рублей за него с рук на руки дам. Выручи ты меня теперь, Христа ради, а уж мы потом, все вкупе, тебя выручать станем.

— То есть как же это купить? — не понял Вересов.

— А вот я теперича, примером сказать, будто бы за кражу содержусь — ну и... таскают меня по судам, — принялся объяснять Фаликов. — Я тебе, с доброго согласия, и продаю свое дело; ты, значит, прими на себя мою кра-

жу и объявись о том следственному... Меня, стало быть, выпустят на поруки, а не то и совсем ослободят; а тебе ведь все равно, по одному ли али по двум делам показанья давать... Потом завсегда отречься можешь, скажи: в потемнении рассудка, мол, показание на себя ложное дал. Они за меня, конечно, тут хватятся; а меня — *фью!* ищи-свищи! И делу капут!

Вересов молчал. Он, по неопытности своей, никак не ждал от несчастненького человечка такого подхода и молча удивлялся.

— Так что же, душа, берешь, что ли, за пятьдесят-то целковых? — обнял его Фаликов. — Я тебе, значит, все дело скажу и все дела — как быть, то есть, надо — зараз покажу. Есть тут у меня один арестантик, сам напрашивается Христом-Богом: продай да продай; а я не хочу, потому если уж делать такое одолжение, так я, по крайности, любезному мне человеку сделать желаю. А охочих-то людей на куплю эту у нас завсегда много найдется! Так как же, друг, по рукам ударим, что ли?

— Нет, уж ты лучше тому, другому продавай, а я не хочу, — решительно отклонился

Вересов.

Арестант поглядел на него пытливо и присвистнул.

— Эге, да ты, видно, тово... на молоке-то жженный! — дерзко-вызывающим тоном проговорил он, разом скидая с себя личину угнетенной забитости и несчастья, которая своей кажущейся искренностью успела было обмануть Вересова на первых порах.

Как у ссыльных в Сибирь есть обыкновение продавать на пути охочему товарищу свое имя и с именем дальнейшую участь, так и у тюремных подсудимых арестантов водится продажа дела, то есть преступления. На эту проделку ловятся обыкновенно неопытные новички, которыми пользуются люди, основательно «прошедшие курсу», ублажая их обещанием денег и надеждой выпутать впоследствии из дела. Если согласие получено, начинается обучение: как и что показывать, кого запутывать в дело, кого чем уличать и как, наконец, отвертываться от прямых статей закона, применяя в свою пользу разные пункты и закорючки. Словом, начинается основательный курс «юридического образова-

ния», которым постоянно отличаются и даже весьма гордятся мошенники, «откоптевшие свой термин у дяди на поруках».

IV
РАЗВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

...Вечер. Слышно, час девятый на исходе. Дверь давно уже на замке, и коли подойти к ней да послушать в тишине — можно различить, как похрапывает себе коридорный, обреченный по службе на неукоснительное бдение. В камере тоже започивали уж иные, только мало; большая часть ловит свои свободные минуты и предпочитает высыпаться днем. На одном из спящих «ножные браслетики» позвякивают, как перевернется во сне с боку на бок.

Перед образом тускло мигает лампада, и при ее слабом освещении в одном углу собрались игроки. На полу расселся тесный кружок, за ним навалились зрители и с увлечением, жадно следят, как те режутся «в три листика» — любимую игру арестантов.

— Ну, скинь, что ли, кон да затемни став-

ку — по череду! — раздаются оттуда азартные восклицания.

— Козыри вскрышные: вини! бардадым — крести.

— Прошел! — возвещает один и кидает на кон семитку.

— С нашим! — ответствует противник, бросая четыре копейки.

— Жирмашник[301] под вас.

— Ой, барин, пужать хочешь! У самого, гляди, пустая! Ну да лады — под вас ламышник [302].

— Стало быть, в гору? Да нешто и впрямь тридцать два с половинкой? Ой, гляди, зубы заговариваешь, по ярославскому закону!

— Это уж наши дела.

— Замирил!

— То-то! кажи карты.

— Ту, краля, бардадым!

— Фаля!

— Хлюст, ляд его дери!

— Проюрдонил!

— Мишка Разломай! Водки да табаку давай сюда, псира[303]!

И Мишка Разломай с большой предусмот-

рительностью отпускает играющим свои специальные продукты, получая тут же за них и наличную плату. Больше всех одушевлен один молодой арестантик, прозванный товарищами Булочкой за то, что, не имея ни гроша за душою, стал однажды играть на булку подаянную и с этой булки в год разжился игрою на семьдесят рублей — деньги для тюрьмы весьма-таки не малые; поэтому смышленый Разломай ему и особенное «поваженье с великатностью оказывает». Разломай — проныра-человек: он майдан содержит, то есть отпускает в долг разные припасы, а за деньги — водку, вино и карты, иногда верного человека и взаймы ссудить не прочь за жидовские проценты, а запретные продукты свои получает особым контрабандным образом [304].

Вересову не спится. Заложив руки под голову, лежит он пластом на своей убогой койке. В душе какое-то затишье, в голове — ни одной неотвязной думы, словно она устала мыслить, а душа занывать тоскою, да и сам-то он словно бы жить устал под этим гнетом неволи, даже тело — так и то какая-то усталая

потягота разбирает, а сна между тем нет как нет. Лежит себе человек и поневоле прислушивается к говору арестантов.

Это час, в который они особенно любят потешаться сказками да похвальбой о бывалых приключениях на воле.

— Теперича эти самые фараоны[305] — тьфу, внимания не стоящие! никакого дела не сваришь с ними, потому — порча какая-то напала на них: маленьким людишком нашим брезгуют, — сетует жиденький Фаликов среди собравшейся около него кучки, — а вот в прежние годы — точно, замиряли дела отменные! Был, этта, братцы мои, годов с десяток тому, приятель у меня квартальный, Тимофейкиным прозывался. Так вот уж жил за ним, что у Христа за пазухой — помирать не надо! И какие мы с ним штуки варганили — то ись просто чертям на удивление! Раздобылся я раз темными финажками и прихожу к нему: так и так, ваше благородие, желательно клей хороший заварить! «Заварим, говорит, я не прочь». Прошлися мы с ним по пунштам. Ведь вот тоже, хотя и власть-человек был, а простой, нашим братом-мазуриком не

брезгал. Показал я ему финаги[306] — все как есть трёки да синьки[307], — и до сотни их у меня было. «Какой же ты с ними оборот шевелить думаешь?» — спрашивает. «А продавать станем, ваше скородие! Я продавать, а вы — накрывать нас по закону, слам пополам, а барыши выгорят хорошие». Расцеловал меня, право! «Тебе бы, говорит, по твоему разуму, не жохом, а министром финанцы и быть!» — «Много чувствительны, говорю, на ласковом слове». И стали мы с ним это дело варганить. Подыщу я покупателя — все больше по торговцам: «Хочешь, мол, за полтину пять рублев приобресть?» — «Как так?» — «А так, мол, темные, да только вода такая, что и не различишь с настоящей-то, а у тебя сойдет — в сдаче покупателю подсунешь». Ну, плутяга торговец и рад. Условимся на завтра об месте, куда то ись товар принести. А Тимофейкин при продаже-то и тут как тут! «Здравия, мол, желаем, на уголовном деле накрываем!» Ну, покупатель, известно, уж и платит, только не губи, родимый, потому — под плети живая душа идет. И этак мы с ним где пять рублев продадим, там сто возьмем, а ино и больше слу-

чалось.

— Важнец дело! Волшебно, право, волшебно! — с истинным удовольствием замечают арестанты, которым необыкновенно нравятся подобного рода «развивающие» и умудряющие человека рассказы.

— Взятки он шибко брал, бестия, — продолжает поощренный Фаликов, — в квартире у него вещей этих разных — ровно что в любом магазине. Так вот тоже клевые дела с этими вещами-то у нас бывали. Отдаст он мне, примерно, либо часы, либо ложки серебряные с вензелем своим, либо из одежи что — ну и пойдешь с этим самым товаром на толкун продавать; коли не продашь, так ухитришься в лавку подбросить, в темное место, а он потом нагрянет и — обыск. «А, мол, такой-сякой, ты краденое перекупать? Лавку печатать! в тюрьму тебя, злодея!» Ну, и тут, конечное дело, сдерет, сколько душа пожелает, тоже ведь охулки на руку не клал. Никто себе не враг — и делился потом, честно делился! Да беда, звания решили и со службы долой, а кабы не это — не сидеть бы мне с вами, братцы! А ты вот слушай да учись у старших, на-

ука-то эта пригодится! — обратился он в заключение к молодому парнишке, лет шестнадцати, который содержался за то, что в ссоре с товарищем хватил его в грудь булыжником чуть не до смерти.

— Поди-ка, скоро двенадцать часов, — замечает кто-то.

— Полночь... скоро домовой пойдет.

— А может, уж и пошел... Страсть ведь теперь на четвертом-то этаже: ведь как раз над ними.

— Нда, коптел я раз там: натерпелся... Кажинную ночь, как пойдет, этта, по чердаку — ровно ядра катает, возня поднимается — страсть... Одначе там уж привыкли.

— Ой, не приведи ты, Господи![308]

— А что, братцы, кабы этак сказку послушать какую, пока сон не сморил? — предлагает кто-то из слушателей, зевая и «печатая» рот крестным знамением.

— Что сказку, лучше разговоры!

— Нет, сказку смурлыкать не в пример лучше! — почти общим голосом откликается кружок, необыкновенно охочий до этого дела. — Иная сказка десяти разговоров стоит, да

и заснешь под нее хорошо — по крайности, во сне увидишь.

— Ну, сказку так сказку! Это все едино... Облако! валяй! — мир приговорил!

Кузьма Облако, человек лет под тридцать, с несколько задумчивым, симпатичным лицом, — необыкновенный мастер сказывать сказки. За что он сидит в тюрьме — этого и сам хорошенько не знает, только сидит давно уж, лет около восьми, и потому в шутку говорит, что давно позабыл свои провинности. Все, что выжил он в заключении, — это тюремные сказки, которые составляют исключительное достояние тюрьмы: в ней они задумались, в ней они сложились, отлились в известную форму, — и через старожилов, вроде Кузьмы Облака, передаются из одного тюремного поколения в другое.

Кузьма Облако любит сказки и от мирского приговора никогда не отказывается. Он хоть целую ночь рад говорить, лишь бы слушали. Поэтому и теперь, встряхнув волосами, Кузьма приосанился, вздохнул как-то особенно и начал.

V
СКАЗКА ПРО ВОРА ТАРАСКУ

У одного господина был повар Тараска. Тараске что хлеб сожрать, то вещь своровать. Что ни делал господин, чтобы отучить Тараску от скверной его привычки к воровству — ничто не берет! «Ну, — думает господин, — либо совсем отучить, либо совсем погубить!» Зовет к себе Тараску.

— Что, Тараска, хорошо научился воровать?

— Хорошо, да не совсем. А вот ежели бы вы отдали меня в учение к дяде моему жоху, известному вору, тогда бы я точно что вполне научился.

Господин весьма этому обрадовался, чтобы, значит, сбыть Тараску с рук, и на другой же день, снабдив его всем нужным, отправил с Богом, в дорогу. Случился Тараска с дядею жохом и предался практиковке своего искусства. После непродолжительного времени бездействия наконец дядя предлагает Тараске в лес сходить. Пошли. Отыскал дядя жох нуж-

ное для себя дерево и, указывая на макушку дерева, начал говорить:

— Видишь на макушке дерева воронье гнездо?

— Ну хорошо, дядя жох, вижу.

— В котором, значит, ворона на яйцах сидит? Она теперича спит, и нужно с-под ней яйца те украсть.

— Ну хорошо, дядя жох, украсть — так украсть.

— Стало быть, учись у меня: я полезу на дерево и скраду их так, что ворона во снях и не услышит.

Полез. Ни мало ни много — пять минут прошло — глядь, яйца в руках у дяди.

— Молодец, дядя жох! У сонной вороны не шутка яйца красть; а вот ты и не спал и не дремал, а где у те подметки с-под сапог?

Дядя глядь — ан подметок и нетути! Пока он лазил, Тараска подметки сгладил, попросту отрезал жуликом[309].

— Ну, брат Тараска, тебя нечему учить — ты сам поучить любого маза можешь.

Через некоторое время дядя жох позвал Та-

раску на клей в монастырь, недалеко стоящий[310]. И короче сказать, обчистили они обитель спасенную, и чуть выбрались за ограду — Тараска в задор: давай на месте добычу тырбанить! Дядя — уговаривать, потому безрассудно делить на месте похищенное, а можно разделить в месте безопасном. Однако Тараска упрям — на своем стоит. Нечего делать, начали дележку, поделили весь клей — дошел черед до настоятельской шубы. Тараска говорит: «Моя! потому — я крал, а ты только принимал кражу». А дядя заверяет, что не тот вор, который ворует, а тот, который принимает, бабкой-повитушкой при краже состоит.

— Когда так, — говорит Тараска, — пойдем к настоятелю, пускай он нас по Божеской правде рассудит; и кому, значит, сам он предназначит, тот и владей!

Пошли. А настоятель любил, чтобы ему на сон грядущий сказки сказывали, и об ту самую пору, как прийти дяде с Тараской к келье настоятельской, из оныей монах-сказочник выходит. Дядя с племянником и шасть туда, украдучись. Настоятель совсем уж засыпает, а Тараска и хлоп его ладонью по плечу.

— Ну, как слышь, отец святой, — говорит ему, — жили-были дядя с племянником и задумали монастырь, обитель честную обокрасть. Выкрали между продчиим и шубу настоятельскую. Пошел из-за шубы спор, кому то ись владеть ею. Один говорит: «Моя, потому — крал», а другой: «Моя, потому — принимал». Ну, так слышь, отец святой! ты чу, как думаешь, по правде Божеской, по закону, кому краденой шубой владеть?

— Кто крал, тот и владай, — мычит во снях настоятель.

Как порешил он, так дядя жох с Тараской по этому расчету и поделились честно.

Пошел Тараска к прежнему своему господину. Не по скусу тому этот гость, и зовет он к своей милости Тараску.

— Ну что, Тараска, хорошо ль теперь умеешь воровать?

— Хорошо ли, худо ли — не хвалюсь, а только не клади плохо.

— А что я велю тебе украсть, ты украдешь ли?

— С нашим удовольствием, охулки на руку

не положим.

— Ну хорошо. Украдешь — твоя фортуна, не украдешь — в солдаты сдам. Видишь, вон поп корову ведет? Выкради ты мне корову, чтобы поповские глаза того не видели.

— Можно, — говорит Тараска, — только дайте мне пару маленьких сапожков.

Дали ему, и пошел Тараска. Вот поп ведет корову по дороге, а вор пробежал пролеском и, не доходя попа сажен пятьдесят, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп.

— Ой, кабы парочка — так моему поповскому сыну годилось бы, а как один, так пусть его тут и остается.

А Тараска, следом за ним, поднял сапожок с дороги и побег вперед пролеском. Забежал вперед и, не доходя попа сажен пятьдесят, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп.

— Экой дурень, не подобрал давишнего! Вот и была бы пара! Ну да я его найду!

И, за словом, привязал корову к дереву, а сам побег взад по дороге. Тараска тем часом веревку пополам, корову за рога и привел на господский двор.

— Ну, молодец, Тараска, — говорит ба-

рин, — на тебе отпускную, ступай, воруй себе на волю.

Так вот Тараска оттоле и благодушествует [311].

— Важная сказка! — одобряют арестанты. — Только эта уж больно занятная: никак не заснешь с нею, а ты смурлычь другую, про Ваньку-горюна; по крайности, поучительная, ну и... сон поскорее одолеет.

Кузьма Облако снова встряхнулся, снова откашлялся, вздохнул и начал.

VI

ВАНЬКА-ГОРЮН, ГОРЕГОРЬКАЯ ГОЛОВА

В некотором огромном и могучем царстве жил парешок-мужичок. А жил он уж более ста лет назад. И был он бобыль, такой бедный, такой бедный, каких и теперь очень много. И звали его Ванькой-горюном и горегорькой головой, а хозяйства у него — всего-навсего — одна лошаденка да одна тележонка. Промышлял он извозом, жимши близко города, из коива купцы ездили по базарам

в разные села торговать. Возил Ванька-горюн одного скареда седого и знал, что у него казна куды богатая водилась! И казну ту скаред всегда при себе, на теле содержал.

Любил Ванька-горюн одну девку на селе, а она ему: «Не пойду замуж за бедного, пойду за богачея. Накопи казны да добра всякого, тогда и повенчаемся».

Повез однажды горюн своего скареда на ярмонку. Дорога шла лесом — верст с десяток, если не боле. И вдруг пришла ему благая фантазия — убить старика. Дрожь берет Ваньку — страшно. А дьявол шепчет в левое ухо: «Убей да убей — у него казна богатая; а и Парашка — девка красивая». Призадумался Ванька. «Что ж, думает, ведь скаред куды стар да древен, скоро помрет — на что ему деньги, а я человек молодой, мне они попригоднее будут». А дух добра, ангел Божий, шепчет в правое ухо: «Грех, Ванька-горюн, великий грех! человекоубийцей наречешься! Анафема-проклят тебе будет и от людей, и от Бога!» А дьявол-то шепчет: «Убей да убей, ты парень молодой, жизнь-то еще большая, грех замолить успеешь, в монахи на старости можешь пой-

ти! А от людей — бедности не ждать почету; любовь — и та за бедность не любит!» — «И то правда!» — думает Ванька. Соскочил он с облучка, ровно бы в облегченье лошадке, и идет себе сзади телеги, кнутом цветы лазоревы постегивает. А старик сидит да дремлет. «Валяй! — подтолкнул дьявол, — не то проснется сейчас!» Скочил Ванька на задок и набросил петлю старику на шею. На темную пошел, значит. А петля из кнута у него приготовлена была. Лес зашумел, старик захрапел, а воронье-то, воронье-то закаркало — сила! не приведи ты, Господи, страсть какая! Тут зараз к старику и курносая[312] подкатила. Схватил Ванька теплый труп, бросил его на дорогу и два раза нарочито переехал телегой поперек старика. Потом обратно вскинул его на телегу и ну шарить под сибиркой да под сорочкой! Нащупал гайтан[313], на гайтане крест крещеный да шмель золоченый висят. Его-то Ваньке и надо! Оборвал, этта, гайтанчик-то да как развернул — батюшки-светы! — радужные, пестрые красные, синие, золото чистое, серебро звонкое — так все это и посыпалось на шмеля!

Дрожит, трясется убийца проклятый, а везет свою жертву в город. Объявил. «Уснул, говорит, дорогой, да и упал с передка под колеса». Глянул на Ваньку исправник и позвал в кабинет свой. Ни много и ни мало они там поговоримши, выходят оттудова вместе. «Поезжай себе, мужичок, с Богом домой, — говорит исправник, — а дня через два я тебе вызов дам». Только призывал ли его либо нет — и по сей день неизвестно.

Зажил Ванька на славу. Праздник был на Ванькином селе, девки хороводы водили. Гуляет и Ванька-горюн; сам гуляет, а сам Параньке на ухо шепчет: «Приходи ужо-тко на задворки, к старому дубу». — «Приду, беспременно».

Вот стала, этто, теметь. Устали парни, уморились девки — разошлись себе, кто по домам, кто по кабакам, а кто и по горохам да по старым овинам...

Стоит древний дуб, словно великан какой, стоит да сучьями по ветру качает — ни дать ни взять, как будто руками сам с собой о чем рассуждает.

А под дубом — Иван-горюн, горегорькая го-

лова, с Параней распрекрасной.

— Пойдешь, что ли, за меня?

— Не пойду я, девка, за бедного, пойду за богачея. Накопи казны да добра всякого, тогда и повенчаемся.

И показал ей тут Ванька-горюн казну свою богатую, преступлением добытую. Пристала: «Скажи, душа, не утай, откуда взял экую кучу?» Крепился Ванька, крепко крепился — однако облапила девка, лаской всю правду подноготную выведала. А выведамши, сама говорит Ивану:

— Потоль не пойду за тебя, поколь на могилу купца не сходишь и всю ночь до зари не промолишься и тем прощения себе от Бога и от убиенного выпросишь.

Согласился горюн, горегорькая голова, и пошел в город на кладбище. Ночь — ни зги Божьей не видать. Спотыкнулся об могилу об свежую. В могиле — жертва, над жертвою — крест нов тесов деревянный поставлен. Дрожь проняла убийцу окаянного. С трепетом стал Иван на коленки и молится. Сам молится, а сам шепчет:

— Прости ты меня, жертва бедная, кровь

неповинная, что я тебя убительски убил!

Как сказал он это — земляной бугор на могиле оселся.

— Отпусти ты мне грех анафемский! Я затем к тебе пришел помолиться, чтобы душу свою облегчить. Прости ты меня, жертва, потому и убийце даже зла за гробом не помнят.

Как сказал он это — черкнула по небу молонья, грянул гром, и крест на могиле качнулся.

Не земля стоном стонет, не ветер воем воет — то гудит из могилы голос:

«Кровь за кровь, голову за голову! Через пятьдесят лет ты будешь наказан, со всем родом и потомством твоим!»

И тут сделалось землетрясение. Горемыка ничком лежит на могиле без всякого чувствия, а как пришел в себя — утро красное настало. И пошла горегорькая голова домой, а что головушка думала, то знает только мысль тайная.

Женился Ванька на Параше. А стали звать уж не Ванькой-горюном, горегорькой головой, а Иван свет Иванычем. Соседи и начальство — всякое уважение и великатность ему

показывают, на житье его завидуют. Всего-то у Иван свет Иваныча вволю: дом — не дом, хоромы — не хоромы; сам в лисьей шубе купецкой щеголяет, и жена в парче да в атласе. Ну, и дети чередом пошли — славные ребята, просто загляденье. Патриархом в семье, головой-мудрилой на миру стал Иван свет Иванович. Не житье ему, а масленица. Держит он, между прочим, двор постоялый.

Заезжает к нему однажды какой-то священник, старичок седенький, благочестивый:

— Ну, хозяин, обогрей, накорми, напои меня, человека заезжего!

Пока пошли ему пищию приготовить, старик сидит за столом и книжку божественную читает, а книжка та называется требник.

Вдруг, этта, взгрянул гром с молоньей и послышался с улицы голос:

— Отец Иоанн! выдь из сего дома! Дом сей анафема-проклят есть!

Побледнела хозяйка, почернел хозяин.

Священник глянул в окно — теметь, хуже осенней ночи — и опять себе тихо за книгу.

Пуще гром, пуще молонья, а того пуще голос:

— Отец Иоанн! Вон из дома каинского, да не погибнет доброе с недобрым! Пятьдесят лет прошло!

Вышел священник со своим извозчиком из дому, и поехали они, не оглянувшись, куда им следовало. А ехали они за требой.

Вдруг дорогой вспомнил старец, что требник-то забыл второпях на дворе на стоялом.

Вернулись, глядит — а на том месте, где стоялый двор стоял, теперича стоит огромное казенное здание с железными решетками. У железных ворот часовые с ружьями ходят. А недалече от часовых — стол, и на столе книга лежит, та самая, что стариком позабыта была.

И лежит эта книга раскрыта на той самой странице, где читал священник.

И в этой самой книге огненными буквами написана неведомо кем эта самая повесть.

И при ней сказано:

«Убийцы, душегубцы, святотатцы, воры, обманщики, негодяи и все подобные им люди должны жить в таких мрачных домах, как этот самый.

И где есть такие люди, там должны быть и такие дома.

И дома эти должны называться острогами и тюрьмами, а люди в них сидящие — арестантами»[314].

На этих словах Кузьма Облако скончал свою сказку.

VII
ПАЛЕСТИНЫ ЗАБУГОРНЫЕ

— Это что, ваши-то сказки! — потирая поясницу, обратился к слушателям Дрожин, пятидесятилетний старик, который только что отошел от играющей в углу группы, где он продул все до последней копейки и даже будущую подаянную сайку. Дрожин — высокий и лысый старик с крепко седою, жидковатою бородкой-клином — казался гораздо старее своих лет. Морщинистое лицо его носило на себе следы многих страстей и несчастий, хотя и до сих пор сохраняло какую-то удалую осанку. На лбу и на щеках его можно было разглядеть следы каторжных клейм; а спина — ею в иные минуты любил с гордостью похваляться этот старик — носила на себе буровато-синие перекрестные поло-

сы — печать палача, которую он, по словам Дрожина, неоднократно прикладывал к этой выносливой спине человеческой. Дрожин отличался силой, и эта сила, вместе с печатями палача и богатою приключениями жизнью, давала ему какое-то нравственное превосходство перед остальными товарищами по камере и право на первенство между ними, на общее их уважение. Многие не шутя побаивались Дрожина за его силу.

— Это что, ваши-то сказки! — заговорил он. — Одно слово — тьфу нестоющее! Сидят в тюряхе, что бабы на печи, да побасками займаются! Наш брат-варнак сказок не сложит, потому — наша бывальщина, что твоя сказка. Чудно, да и только!

— На то ты и жиган[315], чтобы всю суть тебе произойти; такая, значит, планида твоя, — заметил ему на это Облако, несколько задетый за живое этим высокомерным отношением к его сказкам.

— Жиган... Не всяк-то еще жиганом и может быть!.. Ты поди да дойди-ка сперва до жигана, а потом и толкуй, — с гордостью ответил в свою очередь задетый Дрожин. — Ты

много ли, к примеру, душ христианских затемнил?

— От этого пока Господь Бог миловал.

— Ну, стало быть, и молчи.

— А ты нешто много?

— Я-то?.. Что хвастать — мне не доводилось, не привел Господь, а вот есть у меня на том свете, у Бога, приятель, тоже стрелец савотейный был за буграми[316], так тот, не хвалючись, сам покаялся мне в двадцати семи. Вот это уж жиган так жиган, на всю стать!

— Для чего же каяться в этаком деле? — возразил чухна из-под Выборга.

— А для того, что перед смертью исповедь держал. Поди, чай, на том свете к чертям-то тебе тоже ведь не хочется на крюк, ась?.. Вот то-то же и есть!.. А впрочем, вы — нехристи, чухны, вам ведь все едино, не то что хрестьянам!.. Нда, братцы вы мои, это не то что ваша тюремная жисть! — продолжал Дрожин после минутного раздумья, медленно поглаживая рукой по колену и сосредоточенно уставя взор свой на пальцы вытянутой ноги, словно бы перед ним проносились теперь картины прошлого. — Я вот теперь — куклим четырех-

угольный губернии[317] и всегда был и есть куклимом; в том и все мои вины состоят государские. Спородила меня мать под ракитовым кустом, сказывали добрые люди, а кто такова — про то и ведать не ведаю. Стало быть, я — Божий. Забрили мне было лоб, а я не будь глуп, да и в беги! Изымали. Кто таков? — спрашивают. — «Иван, не помнящий родства». Пытали, пытали — ничего не допытались. Ну, постебали маненько и отправили с посельской за бугры. Поселили меня по край тайги сибирской. Голодно, холодно, рук зацепить не за што — я и убег. Опять изымали, и плетьми постебали, и положили такую ризалюцию, чтобы мне уж не в посельцы, а на каторгу. Тут и пошла моя жисть прогульная. Кажинную вёсну бегали из каторги на охоту — савотеек стрелять. Изымали опять, и опять постебали, да спровадили опять, и опять постебали, да спровадили за море в Нерчинской...

— Эк тебя часто как! — перебил его Облако, чувствовавший себя в некотором роде оскорбленным, так как Дрожин перехватил теперь его монополию — занимать общество. — Это

человеку помереть надо!

— Не бойсь, щеня, от миног курносая не сгрёбает! — похвальбой ответил Дрожин. — Я уж, почитай, и счет позабыл, сколько раз меня того...

— Да ведь страсть? — с живым сочувствием возразил молодой арестант, что помещика из ружья стрелил.

— Никакой страсти тут нету, — с компетентным видом авторитета ответствовал Дрожин, — первые раза, с непривычки — точно что... щекотно. А потом — я даже люблю, как эдак по спинушке-то пробирать начнут — жарко, по крайности!

— Ну, ври, дядя жиган!

— Чего ври? Вот как перед истинным!.. Потому — привычка. Сказывали, будто скоро пороть не будут! Это нехорошо, потому больше помирать станут, а поротый не в пример выносливей. Да вот хошь я теперь, к примеру: меня ни зима студеная, ни жары горючие, ни лихоманка голодная — ништо, никая то ись болезнь не возьмет. А потому што — поротый. Так-то оно! и ты, млад-человек, исперва старшего послушай, да потом и спорь, поучив-

шись-то!

Вересов невольно приподнялся на своей подушке и во все глаза с изумлением стал глядеть на старого жигана. Теперь ему воочию сделалось ясно, до какого морального и физического отупения и бесчувственности может доводить человека страшное наказание плетьми, если в этом истязании человек мало-помалу становится способным видеть какой-то род своеобразного сладострастия и находит приятным ощущение тяжкой боли. Вот она где, высшая ступень уродливой порчи и нравственного омертвения!

— Да ты, дядя жиган, про Сибирь расскажи, потому — не ровно кому туды в гости на побывку смахать придется, так чтобы, по крайности, знатье было, — заметил кто-то из слушателей.

— Сибирь... Про которую Сибирь? — возразил жиган. — У нас по-настоящему Сибири-то две. Первым делом — батюшка-Сибирь тобольский, а второе — мать-Сибирь забайкальская. Так я тебе, милый человек, про матушку нашу рассказывать стану.

...Широки, брат, эти палестины забугор-

ные!.. Реки у нас широкие, Волга супротив наших — тьфу! Горы наши, слышно, сам черт громоздил, как месиво месил, чтобы стены в аду штукатурить, а леса-то, леса — ух какие потёмные, привольные! Иной на двести верст, словно черная туча тебе, тянется, и скончанья, кажись, ему нет. И дерево растет там крепкое да высокое; всякое дерево, а больше все кедр. Этот самый кедр наперед всех взращен был у Бога; потому, слышно, ему и прозванье такое по писанию есть: кедра ливанский.

...Сидим мы, брат, по зимам-зимским в острогах, жрем пищию казенную, серую, да и с той умудряемся жиру да силы себе набираться, чтобы, значит, к весне бежать посподручнее было. А как придут, этта, весновки, снега сибирские таять почнут, реки потоп на десяток верст тебе пустят, — ты, значит, и выжидай своего случаю. Выгонят куда ни на есть на работу из острога, в поле дерну копать али в лес ломать вишни, — тут ты и удирай. Такой уж у нас абнакновение, чтобы по весне беспременно савотеек стрелять. И утекаем мы партиями: два-три товарища. Запасся хле-

бушком дня эдак на четыре порцией — и прав. В Нерчинском-то работа чижолая: руду копать, а на воле хоть и с голоду помрешь, да все ж она какая ни на есть, а воля прозывается. Главная статья — до моря[318] добраться, потому наш брат-жиган в бегах все больше к Иркутскому путь держит, чтобы поближе, значит, к Рассеюшке любезной. Только до моря-то не близкий путь. Перво-наперво через Яблоновые бугры перебираться нужно — глушь такая, что не приведи ты, Господи! Одни ноги-то — во как поискалечишь себе! а потом — как, значит, перевалился за бугры — тут тебе еще того хуже пойдет: самое распроклятое место — братская степь. За степью леса непродорные. А ты все больше по лесам этим самым скитаешься, потому — иначе изымают. Нашему же брату ловля по осени нужна, а весной она совсем не резонт. Господи Боже ты мой, мука-то мученская какая! Иное место буряты эти — самый что ни на есть рассибирский народ! — словно супротив зверя лютого облаву на тебя держат. А ты знай иди-хоронись себе по лесам по темным. Другой раз, где опасливо, и на дерево влезешь

да ночь просидишь, потому — зверье. Много нашего брата зверь лютый потравляет, кабан да медведь, потому он, зверь этот, до мозгов человечьих лаком, ну и до тела тоже, значит, жрет: мясо-то наше сладкое, говорят, ровно что голубиное. И пуще чем от зверя еще — с голоду мрет савотейник. Пищии никакой, окромя черемши — трава такая вонючая по лесам растет, — водой больше питаешься, а с воды брюхо пучит; ну, слабеет человек. И как только пошагал ты на бугры, так тебе редкий день без того и не пройдет, чтобы на мертвеца не наткнуться. И на степи, и в лесу потом, и по берегу морскому все мертвецы попадаются. И это все голодный мертвец. Лежит себе синь-синешенек, оскалимшись, ровно бы смеется над тобою... Иной ободранный — это, значит, зверь его глодал; смрад идет... Страсти, прости Господи!.. Перекрестишься за упокой да и продираешь себе мимо. «Вот, не нынче-завтра, думаешь, самому то же будет!» — а сам все дале и дале бредешь. Обувь порвалась, никуда не гожая, — нужды нет, потому уж планида твоя такая, чтобы муку эту принимать.

...Вот как-то раз и шли мы с Коряевым — приятель-то мой. Девять дней не емши были. Я-то еще пободрей, а он совсем уж через силу ноги двигает. На восьмой день сел под дерево и... не видал бы, не поверил! — горько всплакался. «Видно, говорит, помирать мне тут! Не могу больше идти». Взглянул ему я на ноги: в кровь поязвлены, распухли все, и сам-то от голоду пухнуть начал. Защемило во мне — жаль его, беднягу, стало; бросить живьем — совесть зазрела: человек ведь, опять же и товарищ. Что тут делать? Сам слаб — того гляди, свалишься; одначе сгребал я его в охапку, взвалил на плечи да и поволок... Как уж волок, худо ли, хорошо ли, а только с роздыхами — день протащил на себе. Заночевали в лесу. Наутресь полегчало ему. «Сам, говорит, пойду, спасибо за послугу». Ну и пошли. А кругом-то лес, трущоба такая, что ни тропинки нет, ни следа человечьего. Нога во мху, что в пуху, тонет, трава высокая, почитай до носу тебе — коленки на руки захлестывает; путаешься в ней на каждыем то ись шагу, а тут еще сучья эти сухие да ветви колючие — все лицо хвоем поранишь... Упал мой Коряев:

«Помираю», — говорит. Взглянул я — точно, как быть надо, взаправду помирает человек. «Что ж, говорю, отходи себе с Богом, а я пойду». — «Нет, постой, споведаться перед смертью желаю; будь ты мне, говорит, заместо отца духовного, а потом на духу весь мой грех батюшке передай; пущай его разрешит, коли можно... Я, говорит, убивца, я двадцать семь душ хрестьянских загубил... Мне место у дьявола в когтях, потому — кровь на мне...» Сказал он это и помер мало времени спустя. А меня голод морит разанафемский просто! И нашел тут на меня соблазн: топор при себе был. «Дай, думаю, отрублю кусок мяса у покойника да поем!» Одначе совесть зазрела. Все едино околевать-то придется, так пошто, думаю, лишний грех великий на душу брать? Перекрестил я тут приятеля и пошел. Не доходя дни за два до моря, встренулся я с товариством — тоже беглые были, восемь человек, — и доплелись мы кое-как до Байкала, побираючись с голоду травой этой самой да луком полевым. Скрали мы себе ночью лодку негожую. Что будет, то будет! Коли не скрепчает ветер — переплывем, а подымутся волны —

ко дну пойдем. Поплыли. Четверо гребут, пятеро воду выкачивают, потому, коли не выкачивать, в минуту и со скорлупой-то своей дырявой потонешь. Ну, добрались кое-как до другого берега — тут уж повольготнее стало, полюднее, и народ-то все милосердый живет, свои православные. Только нет того, чтобы грабить или разбойство чинить какое, а все именем Христовым просишь. И ежели украсть или же — чего хуже — ограбить, так свои же бродяги, не токмо что селенцы, убьют беспременно, потому идешь не ты один, а и за тобою кажинное лето много народу ходит, и, стало быть, из-за тебя все другие пристанища и хлеба куска должны решиться. Поэтому мы в Сибири очинно смирны, и любят нас за то православные-савотейки, и деньгу подают, и в избу к себе примут, а ты им за это на покосах аль на жнитве помогаешь, да бабы еще колдовать просят и подарки за то носят — мы там за колдунов слывем, — и все много довольны. Так-то и бродим до осени, а как утренники осенние пойдут, тут уж ты сам норовишь, чтобы начальство тебя изымало да в острог до весны засадило. Вот

каковы-то они есть, наши палестины забугорные!

...Много раз этаким-то манером лататы задавал я по Сибири, кажинную весну почитай! Раз я до Томского доходил, раз до Перми, а вот на старости лет Господь привел и в Белокаменной побывать, да и с вами в Питере покоптеть. Распроклятый этот Питер! Уж как ведь, кажется, хоронился, ан нет-таки, изловили зверя матерого, волка серо-травленого. Так-то оно, братцы!..

— Да какой черт тебя дергал бегать-то? Сидел бы себе смирно на каторге! — с участием проговорил Кузьма Облако.

— Э, милый человек, уж и как тебе это сказать, сам того не знаю! — развел руками Дрожин. — Вся жисть моя, почитай, в бегах происходит, потому — люблю!.. до смерти люблю это, и голод, и холод, и страх-то, как облавят тебя непору, а ты хитростью, не хуже лисицы, хвостом виляешь, — любо мне все это, и только! Теперича меня опять на Владимирку, значит, безотменно решат, и я до матери-Сибири пойду. Я и дойду, а только с первым случаем убегу — как Бог свят, убегу — не могу я иначе:

человек уж такой, значит, каленый.

— Да что же тебя это тянет в беги-то?

— Как что? Воля! Теперича тебе хочется из тюрьмы-то этой на волю? Ну и мне тоже, говорю — любезное это самое дело!

Мало-помалу арестанты улеглись, и скоро в камере настала сонная тишина, часто, впрочем, прерываемая азартными возгласами дорассветных записных игроков.

— Хлюст!.. Фаля!.. С бардадымом! — раздавались хриплые осерчалые голоса до самой утренней поверки, не давая ни на минуту сомкнуть глаза новому жильцу Вересову, который после всех этих сцен и рассказов находился под каким-то нервно-напряженным, болезненным впечатлением.

VIII
АРЕСТАНТСКИЕ ИГРЫ

На другой день после тюремного обеда Вересов по-вчерашнему лежал на своей койке. После разговора с Фаликовым он ни слова ни с кем не сказал, и с ним никто не заговаривал. Он робел и дичился, а они, по-видимому, не обращали на него ни малейшего внимания. Вересову как-то дико и странно казалось первому заговорить с ними: как начать, что сказать им? Потому, чувствовал он, что между ним и его товарищами по заключению словно стена какая-то поставлена, которая совсем отделяет его от их мира, от их интересов. Между ними, этими тридцатью заключенниками, как будто есть что-то общее, единое, а он — круглый особняк посреди них. И в то же время это отчужденное одиночество среди людей — среди случайного общества, с которым предстояло неразлучно прожить, быть может, долгое время, — начинало тяготить и все больше и больше давило Вересова.

— А что, братцы, поиграть бы нам, что ли,

как? — обратился Фаликов ко всей камере. — Скука ведь!

— Для чего нет? Вот и жильцу-то новому тоже скучновато, кажись, без дела, — согласились некоторые.

Вересову стало как-то легче, свободнее, когда услышал он этот первый знак внимания к своей особе.

— Эй, чудак, вставай!.. полно дичиться — народ-то все свой да Божий, — дернул его за рукав Дрожин.

— Ходи, что ли, поиграть с ними, — ласково обратился к нему же и дневальный Сизой. — Заодно с ребятками познакомишься.

— А после игры уже баста дичиться! — прибавил Фаликов. — Тогда мы все с тобой милыми дружками будем.

Вересов охотно поднялся с койки.

— Что же, братцы, как присудите? — снова обратился Фаликов ко всей камере. — Надо бы сперва, чтобы жилец присягу принял на верноподданство по замку?

— Ну, это опосля! — авторитетно порешил Дрожин. — Сперва давай покойника отпевать! Правильно ли мое слово, ребята?

— Правильно, жиган; покойник не в пример занятнее будет, а присягу на закуску оставим, — согласились почти все остальные члены камеры.

— Кто же попом у нас будет?

— Попом-та? А хоша Фаликов!

— Фаликов! Ну ладно!.. быть так, ребята?

— Быть!

— Стало: быть, коли на миру порешили. А упокойничком кого положим?

— Да хоть тебя самого, жигана старого.

— Ладно! мне все едино помирать! Ну, теперича вы, певчие, по обе стороны становись: на два клира, значит. А ты, Сизой, как есть ты дневальный — человек начальный, так ты — к форточке на стрёму! Да зёмко стреми, чтобы начальство милостивое не тово!

В минуту вся камера разделилась на две половины. Фаликов свил себе из полотенца крепкий и толстый жгут, а на плечи накинул арестантское одеяло, старому жигану бросили на пол подушку, на которую он лег головой, как покойник, сложив на груди руки, закрыв глаза, — и затем началось отпевание.

— «Помяни, Господи, душу усопшего раба

твоего!» — заговорил в церковный распев Самон Фаликов, становясь в ногах у покойника и принимаясь кадить жгутом, как словно бы настоящим кадилом.

Присутствующие набожно перекрестились.

— Умер родимый наш, умер наш Карпович, — продолжал тем же речитативом Фаликов, обходя вокруг лежащего Дрожина, как обыкновенно делается при отпевании.

Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
Как тебя, сударь, прикажешь погребать? —

затянул правый клир каким-то мрачным напевом.

В гробе, батюшки, в гробике,
В могиле, родимые, в могилушке!
—

дружно откликнулась левая сторона.

А поп все ходит вокруг покойника, ходит, крестится с поклонами да кадит своим жгутищем.

Государь ты наш, батюшка, Си-

дор Карпович,
Чем тебя, государь, прикажешь зарывать? —

начинают опять тем же порядком правые.

Землею, батюшки, землицею,
Землицею, родимые, кладбищенскою! —

подхватывает в голос левый клир, отдавая при окончании каждого стиха поклон стороне противоположной.

Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
Как с тобою прощаться-расставаться?
— Все с рыданьем, батюшки, с надгробным.
С целованьем, родимые, с расстаношным.

При этом последнем стихе поп положил над покойником земной поклон и поцеловал его в лоб. За ним поодиночке стали подходить арестанты. Каждый крестился, кланялся в землю и, простираясь над Дрожиным, целовал его в лоб или в губы, смотря по своему

личному вкусу и сопровождая все это хныканьем, которое долженствовало изображать горький плач и рыдание.

А два клира меж тем поочередно продолжают свое мрачное, монотонное отпеванье:

Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
А и чем тебя, сударь, прикажешь поминать?

— Водочкой, батюшки, водочкой,
Сивухою, родные, распрегорькою.

Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
А и чем прикажешь нам закусывать?

— Нового жильца с почетом! — обратился к двум сторонам Фаликов — и, по слову его, два дюжие арестанта взяли под руки Вересова, так что он даже — хоть бы и хотел — а не мог шелохнуться в их мускулистых лапищах — и, подведя его к покойнику, насильно положили ничком на последнего.

Миногами, батюшка, миногами,

Миногами, родимые, горячими! —

fortissimo откликнулся левый клир, и, вслед за этим возгласом, покойник внезапно облапил Вересова за шею, цепко оплел его ногами — и на спину нового жильца посыпались частые нещадные удары жгута. Толпа хохотала. Многие торопились наскоро свивать из полотенцев новые жгуты, стараясь принести свою посильную лепту в пользу спины несчастного Вересова.

— Это для того, чтобы вечная память была, — наклоняясь к его уху, прокричал Фаликов, и вслед затем, по его знаку, оба хора завыли «вечную память» под аккомпанемент хохота остальной камеры.

Истязание продолжалось до тех пор, пока все не натешились вволю.

— Это, милый, не беда, что вздули, — сказал Дрожин, отпуская Вересова из своих медвежьих объятий, — потом сам над другими будешь то же делать.

Вересов все время не издал ни единого звука, но теперь — весь бледный, дрожащий — поднялся с полу и, как зверь, не разбирая, ринулся на первого попавшегося арестанта.

— Го-го!.. Да ты драться еще! — весело воскликнул Фаликов. — Ребята! отабунься[319]! Колокол лить.

В то же мгновение нового жильца плотно окружили десять человек, сцепясь друг с дружкой руками, так что он очутился как бы в живой клетке, а к ним вскарабкались на плечи еще трое арестантов — и вся группа образовала род акробатической пирамиды. Это было делом одной минуты. Раздался пронзительный крик боли, тотчас же заглушенный песнею:

Поп Мартын!
Попадья Маланья!
Спишь ли ты?
Звони в колокольчик!
Бим! бам! бом!
Ти-ли, ти-ли, бом!

Верхние трое, для ступней которых служили пьедесталом плечи десяти нижних арестантов, вцепились в волосы Вересова и, приподняв его таким образом кверху на воздух, стали раскачивать в стороны и постукивать об пол его ногами. Из глаз несчастного сыпались искры и брызнули крупные слезы. Воло-

сы его трещали под руками его мучителей; грудь выдавливала из себя глухие, короткие стоны от нестерпимой боли этой чудовищной, варварской пытки.

— Лихо язык болтается да и звонит-то гулко! — острил Самон Фаликов. — Пущай это ему за то, что дела моего купить не желал, окаянный!

— Вот ведь оно тиранство — а люблю! — дилетантски заметил Дрожин, с разных сторон любуясь на картину пытки. — Право, люблю! Меня самого еще куды тебе жутче тиранили! Пущай и другой знает, каково оно жарко!

— Двадцать шесть![320] — громко выкрикнул Сизой, быстро отскочив от своего наблюдательного поста у дверной форточки.

Верхние мигом спрыгнули с плеч, нижние подхватили почти бесчувственного Вересова и, бросив его на койку, разбежались как ни в чем не бывало[321].

IX
РАМЗЯ

Дверь в комнату отворилась — и в коридоре показался сиделый острожник, староста, вместе с дюжим приставником и новым арестантом.

Это был человек высокого роста; на вид ему казалось года сорок три-четыре, и вся наружность его — глубоко впалые, задумчивые глаза серого цвета, высокий, несколько лысый лоб, широкая черная борода, подернутая значительною проседью, — имела в себе что-то душевное и в то же время сановитое. Взглянув на него, нельзя было не угадать присутствия страшной, железной физической силы в этом сухом, мускулистом теле; вообще в нем сказывался скорее человек духа, чем плоти.

Вызвали дневального Сизого, и вчетвером, по обычаю, отправились в приставницкую.

— Ну, стало быть, двух теперь к присяге поведем — любо, ей-богу, — потер себе руки старый жиган.

— К присяге?.. Почеши ногу[322], брат, этого к присяге не поведешь! — с достоинством прочного убеждения заметил молодой убийца «начальства свово».

— Ой ли? Что же он — ворон какой али нехристь?

— Ни ворон, ни нехристь; а только не поведешь.

— Да ты чего?.. Ты его знаешь, что ли?

— Не знал бы — не сказывал.

— А что он за птица? как прозывается?

— Рамзя.

— Не слыхал таковской; надо так думать — заморская.

— Поближе маленько: олонецкая.

— Мм!.. Каков же таков человек он есть?

— А уж это, милость твоя, — благодушный человек, не нам чета: благодетель.

— Фу ты, ну ты — кочевряга! А ты как его знаешь?

— Рамзю-то? Сами с тех мест, олонецкие.

— Олонецкие? Это, значит, те самые молодцы, что не бьются, не дерутся, а кто больше съест, тот и молодец? — с презрительной иронией заметил Дрожин. Вообще весь по-

следний разговор его отзывался каким-то весьма высокомерным тоном. На душе у старого жигана как-то неспокойно и завистливо стало: он почти мельком только видел вновь приведенного арестанта, но с первого же взгляда разом почуял в нем нравственно сильного, могучего человека, который невольно, хоть и сам, быть может, не захочет, а наверно возьмет первый голос и верх над камерой, вместе со всеобщим уважением, которое до этой минуты по преимуществу принадлежало старому жигану.

— Что ж такое делал Рамзя-то этот, что в благодетели попал? — спросил он прежним тоном, только с значительной долей раздражения, накопившейся после минутного раздумья.

— А то делал, что вот, примером, у меня теперича хоша бы коровенка пала, — принялся объяснять олончанин с тем же достоинством прочного убеждения, — он узнает там стороною, что вот, мол, у Степки Бочарника коровенка пала и ты, значит, через это самое нужду терпишь, — пойдет купит коровку-то где ни на есть да и приведет к тебе: на вот, вла-

дай теперь ею; а нет — вот тебе деньга: подь да купи. Во какой человек-то он!.. кормилец, одно слово... Да это что: теперь — хлебушка нету у мужика, мужик подь к нему: он даст, а не то опять же деньгу тебе даст. Совсем благодетель наш был, по всему, как есть, право!

— Коли так, за что же его опосля этого в тюряху-то забили? — раздумчиво, но уже без желчи спросил дядя жиган.

— А верно уж за то самое и забили, — предположил Степка Бочарник, — потому человек господам согрубление делал, опять же и супротивность всякую... А только он благодетелем нам: вечно Бога молить станем, право...

Сизой ввел уже переодетого арестанта. Рамзя вошел с тем кротко-строгим, сдержанным видом, который всегда отличал его сановитую фигуру; первым делом перекрестился на образ и молчаливо отдал степенный поклон на обе стороны.

Арестантам, непривычным к такого рода вступлению в тюремную жизнь, показалось донельзя странным благочестивое движение Рамзи. Многие фыркнули, а многие и прямо захохотали. Рамзя словно бы и не слышал и с

полным достоинством, спокойно обратился к Сизому за указанием своей койки.

— Сизой! — перебил его жиган. — Ты что это, леший, из-за черт знает чего «двадцать шесть» орешь? Мы думаем: начальство, а тут всего-то навсе какого-то мазуру оголтелого привели.

Эта выдержка и строгое достоинство, которые с первого шагу проявил в себе Рамзя, снова подняли в старом жигане всю желчь раздражения и боязнь за утрату своего первенства. Он чувствовал, что если самым убедительным способом не поддержит все свое влияние и значение теперь же, на первых порах, то того и гляди утратит их безвозвратно. Поэтому-то Дрожин и пустил в онику дерзкую, оскорбительную выходку против Рамзи.

Но этот последний, не удостоя своего противника ни одним словом, только оглядел его тихим, спокойным взглядом своим и поместился на указанное ему место, рядом с Вересовым.

— Ну что ж, теперь пора и за присягу, — предложил Фаликов.

— Вот заодно и другого жильца приве-

дем, — откликнулся Дрожин, с иронией кивнув на Рамзю. — Булочка! становись-ко по правиле да крест на спину! — продолжал он, обратясь к молодому, ожирелому арестантику с бабьим лицом, который пользовался особенным и даже ревнивым покровительством старого жигана.

Булочка снял с себя все верхнее платье, расстегнул ворот сорочки, закинул с груди на спину свой нательный крест; стал среди камеры, упираясь в пол руками и ногами.

— Ну, вставай, девчонка!

Дрожин скинул с койки ослабевшего Вересова.

— Фаликов, вяжи ему глаза полотенцем.

— Братцы!.. не бейте меня... помилуйте... Христа ради! — через силу простонал Вересов. На глазах его показались слезы.

— Бить не станем, только под присягу подведем — и конец, — утешил его Дрожин.

Фаликов подошел уже к нему со сложенным полотенцем.

Вересов тревожно обвел вокруг камеры взор, помучённый тоскою... Положение было безысходно. Случайно, с робкой мольбой и

смутной надеждой скользнули его глаза по вновь приведенному арестанту и, словно обессиленные, опустились к земле, вместе с поникшею на грудь головою.

Рамзя поднялся со своей койки.

— Оставь его, — сказал он ровным, тихим, спокойным голосом, взяв за руку Дрожина.

Жиган никак не ждал такого внезапного и прямого подхода. От неожиданности он даже оторопел несколько в первую минуту. Вся камера, живо заинтересованная началом столь необыкновенного столкновения, стала в напряженном, молчаливом внимании.

— Да что ты мне за указчик? — азартно поправился Дрожин. — Что хочу, то и делаю!

— Сам над собой делай, что хочешь, а этому — не бывать, — с прежней спокойной уверенностью сказал Рамзя, отводя от него Вересова, которого заслонил собою.

— Да ты что? ты чего? бобу захотел, что ли? — взъелся жиган, показав ему свой кулачище. — Кишки выпущу!.. Проходи лучше, не замай!.. Видали мы и не таковских!

— Видали ль, не видали ль — про то вам знать. А над слабым человеком не велика

честь свою силу казать — ты над ровней покажи.

— Это правильно!.. Что дело — то дело!.. Резонт говорит! — заметили некоторые из арестантов.

Для Дрожина наступил тревожный момент: его значение начало колебаться.

— Да ты что ко мне с проповедями-то? Ты мне смертный конец аль духовный отец? Прочь, мразь! Плевком расшибу — не попахнет! Пусти его! — бешено кинулся Дрожин на Вересова.

Рамзя схватил его за кисть руки и, не выпуская, опустил ее книзу.

Жиган с размаху шибко хватил его в грудь кулачищем; но противник, пошатнувшись немного, только сдвинул слегка свои брови и сжал суховатой, жилистой рукою кисть руки Дрожина.

На лице последнего мгновенно промелькнуло чувство страдания, но он пересилил себя, скрыв свою боль, и, ради посторонних глаз, заставил свои личные мускулы принять мрачно-спокойное выражение.

Между тем железная рука Рамзи сжимала

все сильнее и сильнее.

Глухо раздался второй удар в грудь — и Дрожин заскрежетал с каким-то давящимся от бешенства рыканием, как раненый зверь; но противник, по-прежнему слегка пошатнувшись, твердо стоял на своем месте. Только чуть заметное судорожное движение передернуло его спокойные брови.

В камере царствовало глубокое, напряженное молчание — слышно было, как тяжело, перерывчато дышал старый жиган, как изредка похрустывали суставы его пальцев. По лицу разлилась болезненная бледность, а он еще старался улыбнуться.

— Ишь ты... жарко... — через силу проговорил он, захлебываясь хриплыми звуками своего голоса и кривя рот насильственной улыбкой — ради поддержания своего достоинства в глазах всех арестантов. Рука его снова замахнулась, но, описав по воздуху какое-то бессильное движение, как плеть, опустилась книзу. Рамзя, ни на йоту не изменяя своему сосредоточенному спокойствию, постепенно все более и более усиливал свое сжиманье. Казалось, эта рука с каждой минутой как-то

цепко впивалась в руку жигана, словно какая-то высшая нервная сила управляла силой его могучих мускулов.

Из-под ногтей Дрожина просочились алые капли крови.

А бледность все сильнее и сильнее покрывала его лицо зеленовато-мертвенным оттенком; налитые кровью глаза начинали безжизненно тускнуть; посинелые губы кривило конвульсивною дрожью.

С глухим стоном он упал перед Рамзей на колена и, надорванно прошептав: «Руку... руку... Христа ради», без чувств повалился на пол.

Рамзя тихо разжал свои пальцы, тихо отошел к своей койке и сел на нее в спокойном раздумье, подперев ладонями лоб.

Рука бесчувственного Дрожина была размозжена и налилась сине-багровыми полосами там, где приходились сжимавшие ее пальцы.

Из арестантов никто не шелохнулся. Над ними еще всевластно царило впечатление нежданной сцены. Они были изумлены, поражены, раздавлены спокойною силою и волею

незнакомого им человека — и теперь, стоя от него в почтительном отдалении, без слов, но общим единодушным сознанием, каждый про себя, признали его первенство. Один Фаликов перетрусил до смерти и — тише воды, ниже травы — дрожал и прятался за спинами товарищей.

— Плесните, братцы, водой на старика-то, — кротко кивнул головой Рамзя, бросив взгляд на все еще бесчувственного Дрожина.

— Эко дело какое... ведь мне, пожалуй, теперь отвечать за него, — пробурчал себе под нос дневальный Сизой, смачивая водою темя и виски жигана.

— А за этого не отвечать? — строго спросил Рамзя, указав ему глазами на Вересова.

— Да что ж... мы, ваша милость, его не били: мы с ним маленько играли только, — оправдывался Сизой.

— Знаю я ваши игры — хорошие игры!.. И вам не совестно, братцы? — вскинул он свой глубокий, неотразимый взор на всю камеру.

Большая часть арестантов потупили головы; кто почесал в затылке, а кто ухмыльнулся какою-то застенчиво-оправдательной ухмыл-

кой.

— Жаль мне вас, братья... забыли вы, что людьми прозываетесь, — вздохнул Рамзя, с грустной укоризной покачав головою.

— Да ведь скука, ваша милость, — несмело заметил кто-то из более шустрых арестантов, — сидишь-сидишь — инда одурь возьмет; со скуки больше и бесимся.

— А ты какой веры? — внушительно задал ему вопрос Рамзя.

Арестант смутился.

— Веры-то?.. Да тут всякой есть, ваша милость... А мы все, почитай, больше русской... веры-то.

— Русской... Слыхал я, что точно всякие веры бывают на свете, а эково закона, чтобы ближнего своего ради потехи мучить, — не слыхал ни в одной вере человеческой... Волк волка — и тот не зарежет мучительски занапрасно, а вы — люди, братцы!

— Какие мы люди!.. мы — арестанты! — с горечью вырвалось у Кузьмы Облака.

Строгое, простое и прямое слово Рамзи, казалось, видимо подействовало на человеческие струны заключенников. Многие не шутя

задумались над его укором.

— А за старика не бойся, — прибавил Рамзя, обратясь к Сизому, — за него, коли что, я сам своей головой отвечу.

Между тем Дрожина привели в сознание. Не смея глаз поднять на людей от жгучего чувства стыда и оскорбленного самолюбия, он как-то стесненно, неловко сел на первую койку, словно бы ощущая устремленные на него взоры всей камеры, и мрачно задумался.

Этот человек, стоически переносивший на своей спине удары палача и еще накануне искренно похвалявшийся неестественной любовью к плети, удовольствием при процессе полосования своего собственного мяса, — сегодня в глазах тридцати товарищей упал в обморок от пожатия руки. Но... обессилило его не столько чувство страшной и совсем еще неведомой доселе боли, сколько невозможность сломить своего противника, обессилило сознание нравственного превосходства этого противника, сознание потери своего первенства, значения и влияния на своих товарищей. Вот чего не вынесла закаленная душа старого жигана! Коса нашла на камень —

и камень сломил ее.

— Ох, кабы топор!.. — с глубокой, тоскливой горестью, глухо и словно бы сам с собою заговорил понурый Дрожин. — Взять бы мне теперь эту самую руку да и отхватить по локоть!.. Не выдержала, проклятая, — выдала старика... Сведите, братцы, в больницу: неможется. А не то — пожальтесь лучше на меня приставнику, хоть за буйство, примерно, — пущай меня в карцыю запрут.

Дрожину невыносимо тяжело было оставаться на глазах товарищей, свидетелей его поражения, — хотелось замкнуться наедине, с самим собою, чтобы не видеть лица человеческого, пока не перегорит это чувство стыда, пока не угомонится уязвленное и униженное самолюбие — а угомонится оно, верно, не скоро.

— Пойдем, что ли, я сведу тебя, — подошел к нему Сизой.

Дрожин поднялся медленно, тяжело, как человек, подавленный исключительно своим глубоко-горьким чувством, и, не подымая глаз, обратился ко всей камере:

— Коли ежели что — начальство, так ска-

жите, что сам невзначай чем-нибудь... ну хоть дверью прищемил. Слышите?

— Ладно, дядя жиган, скажем.

— То-то, не забудьте, да... Простите, коли чем изобидел кого...

После этих слов Дрожин замедлился в каком-то нерешительном раздумье.

— Прости уж, что ль, и ты, добрый человек! — поклонился он Рамзе, весь зардевшись при этом поклоне. Рамзя ответил ему тем же.

— Не попомни, брат, и ты на мне, отпусти зло мое, — совестливо и тихо сказал он, — что ж делать, не хотел я тебя обидеть — ты сам того пожелал... А мне теперь, может, еще тяжельче твоего... Прости, брат!

И после этих слов его дядя жиган, избегая взглянуть на кого-либо, вышел из камеры.

X
ИСТОРИЯ РАМЗИ

Через несколько дней и Вересов, и Рамзя свыклись с обиходом тюремной жизни. Старый жиган все еще не показывался в камеру: ему лечили в больнице переломленные суставы. Арестанты безусловно уважали Рамзю, но не боялись, как прежде старого жигана: они полюбили его. Ни в споры, ни в карты никогда не мешался Рамзя. Никто не слыхал от него ругательства, насмешки или праздного скоромного слова: со всеми он был тих и ласков, никого не чуждался, никого не презирал. Это именно было спокойное благодушие великой силы. Об одном только скучал он, что праздно время коротать приходится, потому что из татебного отделения не гоняют ни на какую тюремную работу, а кабы дрова пилить или воду качать — он бы один за троих справлялся — такова уж натура у человека была. В церкви, от которой никогда не увертывался Рамзя, он не молился, а если и молился, что весьма вероятно, то наружно не

показывал виду, но стоял все время с глубоким, строгим и сосредоточенно-благоговейным вниманием. Голос был у него высокий и чистый, симпатичный. Часто в садике или сидя на своей койке, погруженный в какую-то грустно-светлую, мечтательную задумчивость, он негромко затягивал песню — не тюремную песню, а из тех, что певал когда-то на широкой воле. Любил он также стихи петь, что калики перехожие по Руси разносят, — про Книгу голубиную, про Асафа-царевича да про Иосифа, странника прекрасного:

Ты поди, млад юнош, во чисто поле,
Ты поди, прекрасный, ко своей братье,
Снеси ты им хлеба на трапезу,
Снеси им родительское прощенье,
Ты прощенье им, благословенье,
Чтобы жили братья во совете,
Во совете жили бы во любови,
Друг друга они бы любили,
За едино хлеб-соль вкушали.

Так как случай привел его заступиться за Вересова в первую минуту своего вступления

в жизнь острожную, то Рамзя и на все последующее время приголубил его около себя. Больше всех любил он водить разговоры с ним да еще с Кузьмой Облаком и с олончанином Степкой Бочарником, которого еще прежде знавал когда-то на воле.

Часто ночью, когда у майданщика Мишки Разломая море идет разливанное и «три листика» в полном разгаре соберут в «игральный угол» многочисленную кучку любителей, они вчетвером усядутся себе на двух койках, наиболее отдаленных от этого заветного уголка, — и пойдут у них тихие разговоры. Рамзя потому удалялся от Разломая, что водки он не пил и табачного духу сильно-таки недолюбливал.

— Ах, уж скоро ли меня решат-то! — с затаенною тоскою вырвался у него однажды вздох во время одной из таких полуночных бесед. — Кажись, сам ведь во всем повинился, ни одного своего преступления не стаил — чего бы еще? Нет-таки, в Питер вот пригнали зачем-то; здесь еще, слышно, следоваться да судиться будем. А уж мне — хоть бы и в Сибирь скорей!..

— Чай, не хочется? — заметил Кузьма Облако.

— А пошто не хотеться-то? — возразил Рамзя. — Вестимо дело, родного места жалко, да ведь и в Сибири люди — живи только побожески, везде сподручно будет... Срок каторги отбудешь, а там на поселение...

— Да ведь идти-то долго и тяжело: в кандалах ведь, — сказал Вересов.

— Эх, родимый!.. Нам ли еще о телесах своих таку заботу принимать!.. Отцы святые во все житие свое в железных веригах ходили, и Господа еще славословили; а тут, нам-то, нешто по грехам своим и в кандалах не пройти? Пройдем!.. на то и испытание.

— За что ж тебя погонят? Зла ты никому никакого не сделал?

— Нет, видно, что сделал, коли вот забрали. Без того — по совести надо полагать — не погонят в Сибирь нашего брата... Работал я на мир, — продолжал Рамзя с каким-то свойственным одному ему спокойным увлечением, — одних от обиды огорожал, а других в обиду вдавал — на том-то и зло мое... Знаю и сам, что рукомесло мое с одного боку непо-

хвальное, да что станешь делать? Видно уж, на что душа родилася, то Бог и дал.

— Ты господский был аль нет? — спросил Облако.

— Господский...

— Что ж ты не жил в ладу с господами? Жил бы себе почтенным образом до старости лет; детей бы, внуков вырастал, — с участием заговорил Вересов.

— Хм... это точно что так... А вот ты, чай, в книжках читаешь, как там сказано... Божественное читаешь?

— Случается.

— А читал, что сказано: «Никто не может двемя господинома работати, либо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, о друзем же нерадети начнет». Это — великое слово, так ты и знай!.. Работал я на мир и мир возлюбил, а мамоне уж опосле этого и работать не приходится.

Вересова порядком таки озадачил этот смышленый ответ, который показывал в Рамзе глубокую силу убеждения.

— Ты вот хоть никогда еще сам не сказывал — а я так думаю, что, надо быть, грамот-

ный, Аким Степаныч? — спросил Облако.

— Грамотный. С измальства еще к грамоти в науку пошел, — отвечал Рамзя. — Отец у нас был, покойник, старец благочестивый и дом в страхе Божием соблюдал, и как готовил нас больше по торговой части, так и грамоте беспременно учиться наказал: перво, говорит, божественное дело будешь смыслять, а второе дело — по торговой части без грамоты ноне ни шагу ступить... Так я и обучался у дьячка у приходского...

— Ну а как же ты от отца остался? жил-то после как? — с любопытством подсел к нему поближе Вересов.

Рамзя поглядел на него тихим, благодушным взором и слегка улыбнулся.

— Тебе, вижу я, — начал он, — историю мою послушать хочется?.. Не столь-то я охоч рассказывать историю-то эту. Ну да вы люди простые, незлобные, опять же и свой брат заключенник, не начальство какое. Да с чего же начать-то — никак не сообразишь... Нешто про то, как я на свою дорогу вышел?..

И он на несколько времени задумчиво подперся рукою.

— Это самое дело, — как бы припоминая, с глубоким вздохом начал Рамзя, — почитай, что с измальства пошло... Был у нас дедко — уж лет под сто старику было, одначе бодрый и в памяти... Бывало, как подойдет это весна, станет древо листвою одеваться, цикорей замахровеет — так дедко тотчас в лес, и в лесу это у него пчельник... Пчелка жужжит, тишина такая и благоухание!.. Там и келейка была у него срублена, и место изгородью огорожено — хорошо было об вешнюю пору!.. Перво-наперво молитву сотворит; отец Гервасий молебен ему отслужит и все место на четыре стороны и кажинный угол петой водой окропит, затем, чтобы пчелка роилась благодатливо...

Так, бывало, мы с дедкой и днюем, и ночуем вплоть до самых заморозков, как ульи в амшаник хоронить время приспеет.

И так мне полюбился душевно этот самый лес, что, кажется, и не вышел бы оттоле никогда: так вот и тянет, так вот и тянет! Моченьки моей нет в деревне — все бы мне это к лесу да к лесу! все бы это мне на тишь да благодать лесную очами своими дивоваться и вре-

мя так провождать...

Пустыня ты, мати прекрасная!
Ты прими меня, мати возлюбленная!
Как придет на свет весна красная —
Оденутся древесы райскими листьями,
Запоют птицы голосами архангельскими —
И я из пустыни вон не выду,
А тебя, мати пустыня, я не покину,
Разгуляюсь я, млад вьюнош, во дубравушке.
Частые древа со мной будут думу думати,
Мелкие листья со мной станут говорити,
Райские птицы станут распевати —
Меня, млада вьюноша, потешати.

Вот эта самая песня в те поры у меня с ума не сходила — все, бывало, с дедкой и поем ее. Оттоль-то я и *стихи* петь полюбил, как у него научился.

И одно время такое это было, что просто и невесть что со мною сделалось: стал ровно полоумный какой — по шестнадцатому году было. Как взыгралася только эта весна, так меня ровно силой какой — в лес да в поле! Сбежал парень с села, совсем сбежал; куда и про что — того и сам не разумеет, а и на селе никто не ведает.

Дня через два отыскали меня наши ребята, к отцу привели. Засадил меня он дома за работу. Работаю день, работаю два, а самого так и томит истома какая-то, словно тошно становится — ажно обомлел весь: и все-то бы мне в лесу... Пал я отцу в ноги: «Пусти, говорю, батюшка-осударь, отпусти во пчельник, на дедкино место! Пчелка без присмотру, без прихолы, а *мне* невмоготу дома!» (дедка-то об Егорьеве дне Богу душу отдал). Подумал отец да и отпустил меня в лес. Так я лето цельное в лесу провождал, за пчелкой ходил. И вовсе мне это занятие не скучно было: взял я с собою книжек божественных разных; читаю, как свободное время выдастся, а свободного времени в лесу-то много.

Читаю это я, а самому словно чудится это

обители всякие благословенные, иноки благообразные, и древа, и цветики тут всякие; кресты на обителях позлащенные, и житие мирное, сподобливое... Все это в юности моей такое помышление на уме у меня было, чтобы мне это беспременно в иноки идти; и кажинный праздник я все, бывало, на клиросе пою и читаю — значит, так уж сам собою, с измальства к божественному житию приобычался... Ну, а потом и ничего: к торговому делу приглядку имел — отец в город посылал торговать, значит.

Вел это самое дело я умеючи. Не поставьте, братцы, в похвальбу, а только скажу не хвастаясь: не оболгал никого насчет товару и в обман али в сумление какое никого не вводил, а вел дело по цене, начистоту — и потому самому больше — купцы в городе любили со мною эту камерцию водить.

Только отец об зимнем Миколе преставился. Мы с братом в раздел пошли. Разделили добро честно, по-христиански, и на том порешили промеж собой, чтобы мне — как я, значит, холостой — жить с братом вкупе. К женитьбе я тогда пристрастия не имел никако-

го — так и жили мы. Лето я на пчельнике, а зиму в торгах; а брат при домашнем обиходе.

Над отцом я и псалтирь читал, и опосле этого стал больше еще к божественному чтению приникать — потому сожаление и печаль в ту пору такая меня брала, что в том все свое и утешение полагал. Стал читать я Евангелие святое — напало тут на меня такое раздумье горькое, что я тебе, милый человек, и сказать не умею. И все-то из сердца у меня нейдет то, что там сказано: «Аще хощешь совершен быти — иди, продаждь имение твое и даждь нищим», — вот все это и мерещится мне; потому знаю, как сам Господь сказал: «Аще кто хощет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по мне грядет», — так и не могу спокойно дома сидеть...

— Ведь вот ты, Иван Осипыч, и в книгах лучше нашего читаешь, — прибавил Рамзя, относясь к Вересову со своей обычной строгой и в то же время приветно-кроткой улыбкой, — а знаешь ли, что хоть бы это значило: «возьми крест свой и по мне гряди»? Так вот и не кори меня за то, что пошел я по своему пути...

А на ту пору неурожай был, да погорело у нас на селе дворов с тринадцать. Стал я смекать, что тут на мир поработать надо — ну и продал имение свое и роздал нищим.

Так вот от той поры это самое дело и пошло со мной...

Стал брат домекать, что я свое добро расточаю. Из этого самого в семье у нас эта свара пошла. Думаю себе: непригоже нам, братьям единокровным, ровно псам каким, нечестиво лаяться. Нечего делать, в раздел идти надобно. Пошли в раздел. Я свои остатки забрал, а в год с двумя месяцами сам остался нищ и убог.

Думал я себе насчет монастыря, чтобы, значит, в иноки идти; однако после такое размышление на меня нашло, что думаю: человек я мирской и миру пользу приносил, равно брату единоутробному; про что же мне отщетить себя от мира? В иночестве мне для своей души спасенье, а миру помощи никакой нет. И надумал я себе, чтобы сначала на мир порадеть, а потом, коли Бог грехам потерпит, о душе своей грешной помыслить. Еще пуще навело меня на мысль то безобразие, которое над миром чинилось.

Работа на мир — дело хорошее: «и сын человеческий не прииде да послужат ему, но послужити и дати душу свою избавление за многих». Ты вот это уразумей!..

А безобразие вижу я такое, что вот хоть бы иной мужик, раздобревши да разбогатевши, своего же брата, мужика, теснит да презирает, потому — стяжение имеет многое и сам в купцы норовит.

Придет к нему разоренный за помочью, а он насмеется ему и прогонит, а не то на жидовских процентах отпустит. А что теперича бурмистры, головы эти самые, чинят худо нашему брату, мужику серому, особенно который победней да побезответней, — и исчислить-то так просто нет тому конца.

За что же, думаю, терпит мужик от всех — уж не говорю, от господ иных либо от земских, а то от своего же брата, мужика? Какая тому причина есть, и за что один кичится, а другой преклоняется, когда и в писании сказано: «Довлеет ученику, да будет яко учитель его, и раб, яко Господь его?..» Вижу я, что все это в миру противу Божеских писаний творится, дьявольским попущением; ибо забыли

люди, что сказано: «Иже бо вознесется — смирится, и смиряйся — вознесется... Всякая гора да унизится, и всяк дол да возвысится...»

Вот, господин ты мой, так и я попамятовал себе про то, что Господь низложит сильные со престол и вознесет смиренные; а позабыл Христовы же слова великие: «претерпевый до конца, той спасен будет». За то-то вот самое и терплю я теперь, по грехам своим.

— Ну а преступление же ты какое сгрешил? — перебил рассказчика Кузьма Облако, которому совсем чудным делом казалось, что такой человек попал острожником на татебное отделение как тяжкий преступник.

— А такое преступление, — пояснил ему Рамзя, — что уж больно мне стало отвратно все это несчастие да безобразие глазами своими зреть и слова единого не измочь вымолвить противу него... Помочь уж ничем не мог я по той причине, что сам был нищ и убог, и опять же на себя великое нарекание за то за самое от брата и от господ своих принимал, что имение свое расточил понапрасно и глупо...

Смирения во мне мало было, а больше все

удаль бродила и гордость: озлился я противу всего — да во темные леса!..

От тех пор и стал рукомеслом своим заниматься.

Рамзя опустил свою голову и задумался. Когда же через минуту он поднял ее снова, глаза его стали еще светлее, задумчивее и кротче. Он вздохнул облегчающим грудь глубоким вздохом и продолжал:

— Только не загубил я ни одной души человеческой и не уворовал тайно и подло, яко тать в нощи, ни у кого даже зерна единого, а шел напрямую!.. И все больше именем Христовым вымогал, потому — наставить на путь истинный всегда желал, и уж редко-редко когда кистенем пригрозишь — и то уж на такого ирода, который многу пакость чинит да еще тою пакостью похваляется и о имени Христовом в соблазн вводит. Да и то самого потом за кистень-то совесть мучает — инда места нигде не найдешь.

И не было у меня разбору никому: господин ли ты, земский ли, священного ли ты звания, али воин, али наш же брат мужик — это все едино... Памятовал я только одно: «Вси же

вы братья, есте. И отца не назовите себе на земли, един бо есть отец ваш, еже на небесах». Одно слово: коли ты обидчик, лихоимец или теснитель — повинен есть! И никого я не опасался. Одно только, что жить уж мне открыто на деревне было нельзя, а принужден был больше по лесам скитаться — а леса-то мне куды как милы ведь! — либо у мужиков тайно притон имел, и то больше на зиму. Любили они меня, потому как и я их всем сердцем своим и помышлением возлюбил и на пользу миру живот свой рад был положить.

И как прослышу, бывало, что такой-то господин изобидел, к примеру, мужика своего, так я выберу час посподручнее — и шасть к нему, разузнавши наперво, как и чем изобижен мужик.

Войду так, чтобы не заприметил меня никто и чтобы он, значит, тревоги какой поднять не мог. Войду, перво-наперво, по обычаю, на образ перекрещусь трижды, потом самому поклон, и говорю:

«Здравствуй, господин честной! Я, мол, Рамзя».

Как узнает он, что — Рамзя, так ажно и

обомлеет весь! Потому имя мое далече страшно было, и слух такой обо мне повсюду прошел, что зол человек имени одного моего трепетал и слышать не мог.

«Так и так, — говорю, бывало, — ты, мол, мужика своего тем-то и тем обидел». — «Грешен, говорит, изобидел». — «А коли так, подавай мужику то, чем изобидел ты его».

Ну и прочту тут ему натацию-то эту... А который шум подымать захочет да заупрямится, так ты ему кистенем пригрозишься, — ну, и примолкнет...

Возьму деньги с него, сколько там понадобится, а не то хлебом или скотинкой, глядя по тому, чем изобидел. Ну и отдаст, и не перечит: так и проводит с поклоном. На глазах у всей дворни проводит ведь — вот оно что!.. И хоть бы кто пальцем тронул — ни один! потому, значит, дворня чувствовала и любила меня по простоте. Муки, бывало, куля три отложу, так ведь — что бы ты думал? — подводу даст и человеку еще проводить прикажет. Вот каковы-то дела делывались!

Таким-то родом все и боялись меня, а мужики благодарствовали.

Денег водилось у меня много, только не про себя, а держал больше про тот случай, как понадобится кому, так чтобы тут же ему и помочь безотменно. На себя же ни единой копейки, ни единого зерна не потратил, а кормили Бог да люди добрые; они же и одевали, и обували доброхотно, у кого от достатков своих хватало; а коли нет, я не спрошу, и хожу себе, в чем Бог сподобил. И не одну зиму студеную в дырявом зипунишке зубами прощелкал, одначе же ничего: жив и здрав, потому — нутро у меня крепкое. Опять же, на то Господь и испытание человеку посылает.

Но так как чувствовал я, что рукомесло мое с одного боку все-таки непохвальное, так я старался тело свое изнурять стужей и гладом и молитвою — тем и в печали своей облегчение получал...

Таким-то способом девять лет промышлял я — до прошлой зимы, пока не изловили меня.

Стал уж больно лют я обидчикам нашим, и положили они на том, чтобы духу Рамзи не было. Таким-то манером исправник Глотов образ со стены снимал, что уж во что ни стало

бы, а изловит меня, живого или мертвого, беспременно — ну и изловил.

Была у меня мазанка в лесу — дело-то зимою было. Сплю это я в мазанке и вижу такой странный-престранный сон, будто лики небесные невидимо поют: «Блажени плачущие, яко тии утешатся», а я невесть где обретаюсь и за облаком ничего распознать не могу... И вдруг вельми громкий глас с небеси возглашает: «Воспряни от сна, рабе Акиме! се, час твой приблизися!»

И воспрянул я, и тут же восчувствовал, что ныне быть мне взяту. Перекрестился — да будет по слову твоему! — и выхожу из мазанки, чтобы волю Господню насчет себя исполнить, — гляжу, а тут исправник с командой воинской. Я поклонился да прямо и пошел к ним: я, мол, Рамзя. Тут меня взяли; потом в острог: с год таскали по разным местам, по следствиям да по судам, валили на меня то, чего и во сне-то не грезилось — это все вороги-то; а теперь вот как сам видишь: в сем виде меж вами обретаюсь. Вот и вся моя история.

Конечно, кабы жил я в свое токмо удоволь-

ствие, так ничего бы этого не было — жил бы я на селе и сам бы всякое безобразие чинил и потакал ему... Конечно, не наше дело самим творить суд и расправу, да ведь и то же опять вспомнить надо, что в писании сказано: «Всякое убо древо, еже не творит плода добра, посекают е и во огнь вметают — тем же убо от плода их познаете их». Ну да авось, Бог даст, все переменится! Слышно, мужикам царская воля не нынче-завтра выйдет, стало быть, моему делу скончание пришло. Я так понимаю. Пословица говорит: все перемелется — мука будет, да недаром же и сам Христос-то сказал: «Мнози же будут перви — последние, а последни — первии». Когда же нибудь и это время настанет.

— Ну, да ведь много, чай, и тебе претерпеть-то пришлося? — раздумчиво заметил Облако.

— А мне что терпеть? — с силой глубокого убеждения возразил Рамзя. — Мне терпеть нечего. Сказано: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити», — стало быть, тут и терпеть-то нечего.

XI
ВЫВОД ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ

Кто бы ни был ты, мой читатель, — лицо ли властное и влиятельное, филантроп или нравоучитель, или же, наконец, просто так себе честный человек, но если бы тебе пришла охота посетить Тюремный замок, ради ли простого любопытства или с какой-нибудь предвзятою целью, — ты ничего не увидишь там, кроме внешней, официальной обстановки да бледно-серых, дрябловатых лиц арестантских. Поразит тебя тяжелый воздух, остановят внимание несколько характерных, достопримечательных физиономий, взглянув на которые, ты, под влиянием нового для тебя впечатления, конечно, не замедлишь с проницательным видом воскликнуть: «Какой отъявленный, записной злодей! по лицу уже видно!» — и что же? — почти наверное ошибешься, потому что, может быть, две трети поразивших тебя физиономий будут принадлежать очень добрым, мирным и честным людям, попавшим сюда случайно, в силу

несчастного стечения обстоятельств. Конечно, есть исключения; но в большинстве своем физиономии самых тяжких злодеев, кроме тупой апатии или голой животности с каким-то оттенком разврата, ничего более не выражают, ибо мрачно-картинные, так сказать, академически злодейские физиономии суть величайшая редкость.

Как бы ни напрягал ты свое внимание и свою наблюдательность, желая проникнуть в суть тюремного быта, тюремных нравов, тебе едва ли удастся подметить какую-либо действительно характерную, существенную черту. При обходе твоем, равно как и при обходе каждого начальственного или филантропического посетителя, все будет обстоять благополучно, и благодетельный порядок будет царствовать — словом, тебе останется только умилиться духом твоим, посетовать, пожалуй, о «несчастных» и затем — уезжать себе с Богом на чистый воздух. Внутренняя *суть,* то есть все то, что ревниво укрывается от официальных взоров начальства, для тебя останется неизвестно, оборотной стороны медали ты не увидишь, потому арестант — человек скрыт-

ный и поболее тебя проницательный (неволя учит), человек себе на уме и, стало быть, вечно настороже. Итак, посещай ты тюрьму хоть десять раз сряду, хоть и больше, — тебе волей-неволей придется отложить всякое попечение: всё и всегда перед тобой, повторяю, будет обстоять благополучно.

А между тем это — целая жизнь; целый своехарактерный мир кроется под оборотной стороной медали: здесь найдутся — своя история, свои предания, песни, сказки, пословицы, свои нравы и законы, свой язык, который несколько отличается от языка «вольных» мошенников, и, наконец, своя тюремная литература, тюремное искусство.

Да, литература и искусство! Тут вращаются тюремные песни арестанта Симакина, рисунки образного чеканщика Нечевохина. Вот передо мною лежит теперь довольно толстая, отчетливо написанная рукопись: «Дом позора. Панорама без картин и стекол. Тайные записки арестанта. Соч. Г. Сущовского. Тюремный замок. 1863. СПб.».

Таково ее заглавие. Вещь весьма оригинальная, тем более что, будучи всецело созда-

нием тюрьмы, она совершенно наивно, непосредственно, хотя и весьма ярко, передает почти все нравственное мировоззрение арестантов. В этом заключается ее главный интерес. Читатель прочел уже из нее маленький отрывок в стихах «о зеленом садике»[323]. Конечно, цикл этой вполне изолированной литературы, пословиц и сказок и менее изолированных песен весьма невелик и немногообразен, но тем не менее он есть, он существует, он, как органический продукт нашей тюрьмы, отражает в себе ту нравственную сторону жизни и души заключенника, которую не раскроют никакие формальные следствия, никакие присяги с увещанием и без оного.

В самом деле, странная эта нравственная сторона, и невольно призадумаешься над нею. Какой-нибудь старый жиган Дрожин — на шестом десятке готовящийся к третьему пешеходно-кандальному путешествию в Сибирь. Поневоле остановишься над такою личностью. Вся жизнь человека проходит в том, что он бегает из какой-то необъяснимой любви к бегам, из смутной инстинктивной жажды «воли вольной». И он не лжет, когда гово-

рит, что в этом только все вины его государские заключаются. Врать ему нечего, потому что сиделые и бывалые арестанты любят скорее наклепать на себя в камере какое-нибудь небывалое и непременно жестокое преступление, ради пущего значения меж товарищами, чем прикидываться смиренниками и «ничевошными». Человек в течение многих лет каждогодно рискует своей спиной, мало того — рискует умереть голодной смертью, потонуть в Байкале, быть растерзану зверем лютым — и все-таки бежит. У иного с бегами соединяется надежда на что-нибудь, на перемену состояния, что ли; у Дрожина ничего этого нет: он бежит для того, чтобы бежать. Что это за странная потребность? Как хотите, но — потребность чисто психологическая, а может быть — и психиатрическая, и притом весьма-таки сродная русскому человеку. Ведь Дрожин не один — Дрожиных целые сотни, если не тысячи. Не живется на месте; в лесу поймают, затем обычная судейская процедура, затем, бывало, спину исполосуют. И вот дополосовался человек до дикой, неестественной, чудовищной любви к плети, до сладострастия

истязаний. Факт невероятный, а между тем все-таки, к сожалению, факт. В нем сильно развиты какие-то своего рода кровожадные инстинкты: он с наслаждением, дилетантски любуется на пытку человека, наслаждается воплями страдания. Ведь, казалось бы, это изверг, чудовище, в котором ничего нет человеческого, — неправда: как бы ни был нравственно безобразен, он все-таки человек. Тот же самый жиган, когда рассказывает про свои палестины забугорные, вспоминает мрачную поэзию своих бегов — человеком становится. Тот же самый жиган, больной и голодный, стало быть, в том положении, когда каждое существо наиболее склонно к эгоизму и самохранению, волочил на себе целый день умирающего товарища потому только, что человека пожалел в нем. Он же смягчается на мгновение, когда услышал короткий рассказ Степки Бочарника про деяния Рамзи. В нем заговаривают человеческие струны после его поражения — при отходе в больницу, при прощании с Рамзею. Нет, старый жиган все-таки человек, и не совсем еще заглохли в нем хорошие движения. Но он человек надо-

рванный, порченый, и бездна в нем привитого, наносного варварства. Он до сих пор еще не был убийцей, но легко может им сделаться — и по холодному расчету, и по наслаждению убить человека. А какая причина тому? Что из него выработало этакого зверя? Полосование, и только одно полосование.

Замечательно то, что полосованные являются зверьми по преимуществу; от них это качество, как зараза, переходит мало-помалу на остальных товарищей по заключению. Главная причина, стало быть, — сообщество; потом есть еще и другие, столь же, пожалуй, немаловажные причины. Вообще в объективном характере арестантов является странное слияние этого зверства с чем-то детским, наивным, доверчивым. Зверство же само по себе есть прямой продукт нашей русской системы общего заключения. Понятно, почему первую роль в камерах играет физическая сила, здоровый кулак и прошлое арестанта, богатое ловкими приключениями, а главное — отчаянным злодейством. Такой человек, который и в тюрьме готов решиться на все что угодно, которому нипочем дальнейшая его

судьба, всегда становится большаком не только по своей камере, но и по всей тюрьме. Он играет первую роль, пользуется общим уважением и почти безусловным влиянием на нравственную, непоказную официально сторону арестантов, которые в массе своей необыкновенно склонны подчиняться влиянию силы. Читатель видел уже, как следила вся камера за исходом борьбы Дрожина с Рамзею и как подчинилась она силе и авторитету последнего тотчас же после окончания единоборства. Но Рамзи попадаются очень и очень редко, чаще же всего господствуют по камерам Дрожины — ну, а каков поп, таков и приход, по пословице. Рядом с этим влиянием идет общее озлобление арестантов на свое незавидное положение, лишение свободы и, наконец, на суды, на эту часто невозможную медленность решений. Есть примеры, что сидят по семи-восьми и более годов. Эти уже настолько свыкаются со своей жизнью, что им даже тюрьма успеет полюбиться; и вот они уже сами начинают всячески затягивать дело, отдаляя срок решения, лишь бы только не расставаться со своим «дядиным домом».

Большая часть делали это тоже из страха плетей и длинной Владимирки. Вообще же арестант, недавно посаженный, томится своей неволей, томится до болезненной тоски, на которую, разумеется, никто не обращает внимания, томится до ожесточенного сдавленного озлобления. На ком всего безопаснее сорвать свое дело? Конечно, на своем же брате, арестанте, и пуще всего на новичке, с которым еще не определились нравственные связи и отношения. Отсюда и вошли в обыкновение их игры, зверски жестокие и полные возмутительного цинизма, которые служат им одним из любимейших развлечений, представляя собою своего рода зрелища, спектакли.

В тюрьме ведь скука смертная, работы почти никакой, а татебное отделение и совсем от нее избавлено. Это называется строгостью присмотра за «тяжкими» преступниками. Сидят, сидят себе люди в полнейшей праздности и бездействии — ну и точно, бесятся со скуки, колокол льют, пальто шьют, покойника отпевают. Эта праздная скука доводит иногда до весьма печальных результатов. Вот, напри-

мер, однажды из окна был пущен «дождевик» в одного из тюремных начальников. К счастью, булыжник только сильно контузил его. Но как вы полагаете, ради чего был пущен камень? Один арестантик подержал со скуки пари с приятелем на полтинник, что он убьет «дождевиком» первого, кто пройдет в подходящем расстоянии по двору. Скука убивает на пари, за пятьдесят копеек, без мести, без злобы, первого попавшегося человека! Ведь уж это, как хотите, факт такого аномалического свойства, который прямо указывает человеку место не в тюрьме, а в больнице умалишенных.

Прямой результат из всего этого — лень, отвычка от работы, затем уже идет боязнь труда и, наконец, неспособность к труду. Выпустят из тюрьмы с волчьим видом — что делать? Легче всего — воровать... И это тем более сподручно, что арестант в тюрьме необходимо приобрел все нужные знакомства, теоретическое знание дела, юридическую сноровку в казуистике полицейских и судейских формальностей — словом, все, чтобы сделаться отменным вором. Недаром же ведь тюрем-

ные мазы почитаются высшими мазами, а сам «дядин дом» слывет у воров «мазовой академией».

А результаты гигиенические? Расстройство груди, тюремный тиф, скорбут и неестественный тайный разврат и порок, явно убивающий душу и тело.

Удивляются иные добрые, филантропические люди, почему это достаточно пробыть в тюрьме весьма незначительный срок, чтобы человек слабохарактерный или без предварительной и прочной закваски нравственной вышел оттуда формальным негодяем, готовым на каждый низкий поступок и преступление? Удивляются добрые, филантропические люди и находят это странным — потому, кажется, и заботы надлежащие о нравственности арестантской они прилагают, и в церковь-то арестантскую гоняют, пастырь поучения читает им, книжки душеспасительные и назидательные выдает на руки. Нет, хоть что хочешь, ничто не берет! Книжек этих арестанты почти не читают, а читают свои, «которые позанятней», поучений уразуметь не хотят — вообще народ к религии холодный,

хотя промеж себя и верует в Бога — и к пастырям особенного доверия не оказывает.

— Ты, гляди, на исповеди не открывайся, — учат они своих новичков, — не равно потом беды какой не вышло бы: ведь он для того и наручников не надевает.

Вот и поди тут с ними!

А между тем какой-нибудь Аким Рамзя одним своим взглядом, одним своим словом, смело-прямым, хоть и негромко сказанным, сразу повлияет в тысячу раз более и благотворнее, чем всевозможные поучения и предупредительно-нравственные меры — «потому свой брат, а не начальство», говорят арестанты.

Но, повторяем, Рамзя — очень редкое исключение, и единственно благодаря его влиянию Иван Вересов не сделался негодяем и успел сохранить свои честные начала. Сама судьба как будто послала тут на выручку крепкого человека, Рамзю, а без того быть бы ему невинною жертвою нашей системы общего заключения. Впрочем, и наше одиночное вполне стоит общего, если даже не почище его, хотя, конечно, в другом совершенно

роде.

Но об этом после. Настоящая, и без того уже длинная, глава приняла неподходящий к романам характер публицистической заметки. Я вижу, как хмурится лицо иного читателя, и потому спешу принести его благосклонности мое чистосердечное извинение.

XII
В СЛЕДСТВЕННОЙ КАМЕРЕ

Мы в следственной камере. Обстановка известна: это — обстановка любого присутственного места средней руки. Комнаты, оклеенные неопределенного цвета обоями, шкафы с бумагами. Столы с кипами дел и геморроидальными чиновничьими физиономиями, три-четыре солдата в касках и с ружьями, подле темных личностей с серо-затхлым, болезненным цветом лица, с которыми читатель познакомился уже в «дядином доме»; затем — всякого звания и состояния люди обоих полов и всех возрастов, от воришки и нищенки до элегантнейшего великосветского денди... Тут поэт смело мог бы восклик-

нуть:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!

И все это ждет очереди своего дела, все это притянуто к следствию: иной — как истец, другой — как ответчик, третий — как свидетель: всем есть место, до всех есть дело.

Вводят из передней комнаты мужичонку в арестантском сером костюме. Мужичонко на вид — маленького роста; волосы каштанового цвета, длинные, взбитые в беспорядке; безусое и безбородое лицо добродушно до того, что выражение его переходит даже во что-то детское, беспечное, во что-то бесконечно невинное и светлое.

— Кто таков? — раздается голос следователя.

— Из господских... — робко начинает, озираясь по углам, мужичонко.

— Как зовут, сказывай; какой губернии, уезда какого? — подшептывает ему сзади вольнонаемный писец, стоящий тут для того, чтобы выслушать допрос и после записать показание со слов мужичонки.

— Крестьянин... Калужской губернии, Козельского уезда. Иван Марков, — поправляется мужичонко, однако все еще робким голосом.

— Сколько лет? — спрашивает следователь.

— Двадцать три.

— За что взят?

— Милостыньку просил, вашеско благородие.

— По какому виду живешь?

Мужичонко заминается и молчит, уставя в следователя свои глаза, которые при этом вопросе вдруг сделались глупыми, бессмысленными и как бы ровно ничего не понимающими из того, что спрашивают у их обладателя. Вообще видно, что последний вопрос следователя больно ему не по нутру.

— Что ж молчишь-то, или *без глаз ходишь* [324]?

Мужичонко при этом вопросе вздрагивает и, словно очнувшись от забытья какого-то, встряхивается всем телом.

— Ну что же? точно? без глаз?

— Есть воля ваша, вашеско благородие!

— На исповеди и у святого причастия бываешь?

— Не, не бываю...

— Почему так?

— На исповедь не ходил, потому — раскаиваться не в чем, значит, коли пашпорта нет.

— Так что ж, что нет?

— Да как же без пашпорта каяться-то? Знамо дело, без пашпорта и каяться нельзя.

— Зачем в Петербург пришел?

— На заработки пришел... А как вышел срок пашпорту, домой собрался, — продолжал арестант, немного приободрившись и оправившись от первого смущения. — Двадцать пять рублев денег имел, да на серскасельской машине украли и мешок и деньги — я там жил, значит... Ну, домой вернуться не с чем — я так и остался...

— И давно без паспорта?

— Поболе года уже... да год по пашпорту жил.

— Женат или холост?

— Женат... жену в деревне оставил.

— Как же она там без тебя живет? Поди, чай, избалуется?

— А пусть ее балуется!.. Мне же лучше!..

Этот ответ немало изумляет следователя.

— Как так? — спрашивает он. — Да коли она там с другим парнем слукавится?

— Что ж, в этом худа никакого нет. Пущай ее слукавится... по крайности, как ежели домой вернусь, так авось, Бог даст, работника лишнего в семью родит — мне же подспорье будет... Это ничего, это хорошо, коли слукавилась.

— Ну конечно, это твое дело!.. Как же ты без глаз-то больше года прожил? Чем занимался?

— В поденной работе жил... То у того, то у другого хозяина, пока держали, где день, где два, а где и неделю — так вот и жил.

— А милостыню зачем стал просить?

— А вот — летось жил я у хозяина на Обводной канаве; порядимшись были дрова к Берендяке на лесной двор таскать, да заболел я тут. Хозяин не стал держать на фатере; говорит: «Помрешь, пожалуй, а мне с тобой и тягайся тогда! — иди, благо, куда знаешь!..» Ну, я и пошел.

— Куда ж пошел-то?

— А в кусты...

— Как в кусты?

— А так, в кусты... за Московскую заставу — там и жил в кустах тех.

— Больной-то?

— Да, нездоровый; так и жил.

— А ночевал-то где?

— А все там же, в кустах... был на мне зипунчик такой в те поры; так вот им-то прикроешься от холоду и спишь себе.

— А кормился где и как?

— Да есть-то в ту пору оченно мало хотелось мне... Ну, деньжата кое-какие пустяшные были; выйдешь на дорогу — там лавочка была, — купишь себе булочку да и кормишься день, а ино и два... А то вот тоже травкой питался...

— Какой травкой?

— А кисленькой... Травка такая есть... щевелек прозывается — ею и питался... Ну, а там ягодка поспевать стала — так ино вот ягодки али бо листиков там разных пощиплешь — ну и ешь себе...

Мужичонко на минуту приостановился и о чем-то грустно раздумался.

— А потом в здоровье чуточку поправился, — продолжал он, — вышел из кустов, только в силу еще не взошел — работать не мог и места не сыскал себе, — по той причине и милостыньку стал просить.

— И долго в кустах ты прожил?

— Да за полтора месяца прожил-таки — не оченно долго!

— А ты не врешь?

Мужичонко остался очень удивлен этим последним вопросом. Действительно, он рассказывал все это столь простодушно и с такою детски наивной откровенностью, что трудно было тут подметить неискренность и ложь.

— Пошто врать! — заговорил он на вопрос следователя. — Я должон со всем усердием открываться; как это было, так и рассказываю... Уж соблаговолите, ваше благородие, отправить меня на родину! — прибавил он после некоторого размышления. — Надоскучило мне тутотко без глаз-то мотаться... Дома отец али бо мир хоть и всыплют сотню-другую, а все же оно легче, потому — дома; значит, в своей стороне. А чужая сторона, какая она? —

без ветру сушит, без зимы знобит. Уж это самое последнее дело.

И мужичонку уводят в другую комнату — записывать его показание, а на место его появляются две новые личности.

— А!.. Божии страннички, мирские ходебщики! добро пожаловать! — приветствовал вошедших следователь.

Те по поклону.

Один из них — ражий, рыжебородый, длинноволосый и сопящий мужчина в послушническом подряснике, с черным стальным обручем вместо пояса. Другой — нечто ползущее, маленькое, низенькое, горбатенькое и на вид очень несчастненькое и смиренное. Вползло оно вместе с ражим своим сотоварищем и забилось в угол, как еж, откуда подозрительно поводило своими глазками, словно таракан усиками.

Читатель, конечно, узнал уже обоих.

— Кто таков? — обратился следователь с обычным форменным вопросом к Фомушке-блаженному.

— Кто? я-то?

— Да, ты-то!

— Сам по себе! — отрывисто прошамкал блаженный, с нахальством глядя своими быстрыми плутовскими глазами прямо в глаза следователю.

— Вижу, что сам по себе; да каков ты человек-то есть?

— Божий.

— Все мы Божьи; а ты мне объявись, кто ты-то собственно?

— Я-то?

— Да, ты-то!

— Я — птица.

— Гм... вот оно что!.. Какая же птица?

— Немалая!..

— Однако какая же?

— Да высокого таки полета...

— А какого бы, желательно знать?

— А по крайности будет — соколиного...

— Ого, как важно!.. Ну так вот, ваша милость, желательно бы знать чин, имя и фамилию.

— Чью фамилию, мою?

— Ну, разумеется!

— У меня фамилия важная...

— Тем-то вот оно и интереснее.

— Да антерес не антерес, а только важная. При всех посторонних не объявлюсь, а на секрете — пожалуй, уж так и есть, уважу!

— Ну, это положим, вздор вы изволите говорить. А вы, мой милый, без штук: фамилия!

— Сказано раз, что важная... А впрочем — ну их! пущай все знают! — тотчас же раздумал блаженный.

— Вот эдак-то лучше!.. Ну, так какая же?

— Князь Волконский! — дерзко и громко брякнул Фомушка и с самодовольством окинул всю комнату, как бы желая поглядеть, какой это эффект произвело на присутствующих.

— Ну а паспорт ваш где, князь Волконский? — с улыбкой допытывает его следователь.

— А нешто у князьев есть пашпорты? — с уверенностью стойкого и законного права вздумал вдруг авторитетно диспутировать Фомушка, заложив руки за спину. — Нас каждый знает! Какие у нас пашпорты? Никаких таких пашпортов мы не знаем, да и знать не должны! Мы странным житием занимаемся, потому как мы это самое странное житие воз-

любили, так по нем и ходим... А что касается звания и фамилии, то так и пиши: князь, мол, Волконский!

— Ну а товарищ-то твой, — спросил следователь, кивнув головой на ежа, крестившегося и копошившегося в углу, — тот, уж верно, князь Трубецкой?

— Это уж пущай он сам объявляется, — ответил странник, лихо встряхнув своею рыжею гривою, и отступил в сторону как человек, сознающий, что вполне покончил свое дело и ждать от него больше нечего. Фомушка явно бил на изображение из себя юродивого, сумасшедшего, не без основания полагая, что это поможет ему от беды отвертеться.

— Ну, отвечай, кто таков? — следует тот же вопрос к горбатому ежу.

— Господи Исусе!.. — слышится из угла, вместо ответа, какой-то свистящий фистуловый шепот, причем искалеченная рука как-то тревожно и торопливо мотается, творя крестное знамение.

— Да отвечай же, кто таков? — понукая, подсказывает ему рядом стоящий писец.

— Не знаю, батенька, не могу знать со-

всем, — скорбно ответствует еж.

— Ну а имя как? — допрашивает следователь, которого, очевидно, развлекательным образом занимают эти два интересных субъекта.

— Не знаю, батюшка, ничего не знаю... Люди зовут Касьянчиком-старчиком, а сам я не знаю, отец мой... Господи Исусе, помилуй нас, грешных! Мати пресвятая!..

И опять та же история.

— Так не знаешь, как тебя зовут?

— Не знаю, батюшка, запамятовал!.. Вот те Христос — запамятовал!

— Говоришь, что Касьяном? а?

— Сказывают людишки добрые, что надобно быть Касьяном; сказывают, словно бы так, родненький...

— А может, и не Касьяном, а по-другому как? — играет с улыбкой следователь.

— Может, и не Касьяном, родимый, все может! — охотно соглашается старчик. — Может, и по-другому как, а мы об эфтим безвестны... безвестны, родненький!..

— На исповеди и у святого причащения бываешь?

— Бываю, батюшко, бываю, четырежды в год бываю... По монастырям, отец мой...

— Сколько лет тебе?

— Не знаю, отец мой, ничего не знаю. И где хрещен, и где рожон — и того не знаю!

А на вид старчику лет около пятидесяти, если не больше.

— Где же ты проживал, чем занимался, этого не упомнишь ли?

— Ничего не помню, родненький, ничевошеньки! А вот с измалолетствия, как себя только запомню, так все больше по монастырям да по обителям честным в странном житии подвизался; а что до всего остального — ничего не помню.

— Ну а как же вы, голубчик, за всенощной, на паперти, у купца Верхобрюхова из кармана бумажник вытащили? Как он у тебя очутился за пазухой да как его тебе товарищ твой — его-то сиятельство — передал? Это как случилось, расскажи-ка ты мне?

— Ничего не знаем, родители вы наши, ничевошеньки!.. Это все по извету злых людей, от диавола, иже плевелы посевает, внушенному на нас, странных людей, честным и спо-

добливым житием изукрашенных...

— Ого, каким книжником заговорил!.. Впрочем, друг любезный, ведь ничего не поделаешь: свидетели есть... с поличным пойманы.

— Ничего не знаем, ничевошеньки, отец мой! А что если лжесвидетельством — так это можно! И супротив апостоли эллини нечестивии лжесвидетельствовали; так это нам же душе своей ко спасению... А мы как есть ничего и знать не знаем, и ведать не ведаем — хоть под присягу святую идти!

— Да как же бумажник-то за пазухой вдруг очутился?

— Зол человек подсунул, нарочно подсунул, по злобе своей лютой, чтобы нас-то, странных людей, лихой пагубой погубить. Я знаю, кто и подсунул-то: это молодец верхобрюховский, приказчик его, с ним рядом выходил, и пока, значит, его степенство милостыню честную творил нам, молодец мне и сунь — толпа-то ведь большая, — а сам схватись за меня с товарищем вкупе, а товарищ-то мой — Христа ради юродивый, блаженный, он и воды не замутит об оную пору,

не токмо что... А теперь этот самый молодец лжесвидетелем супротив нас поставлен. Он мало ли чего наскажет! потому у него супротив нас злоба — злоба, родитель мой, лютая!

Таким образом Фомушка, в качестве сумасшедшего, сопит да отмалчивается, а Касьянчик-старчик, невзирая на все очевидности, упорно стоит на своем «ничевошеньки» и делает отвод свидетеля, потому знает и ведает он, что с помощью этих двух закорюк — пусть будет дело ясно, как дважды два — четыре, — он все-таки выйдет сух из воды.

Начинается затем очный свод со свидетелями кражи, причем, конечно, обе стороны остаются при своих показаниях.

На сцену выступил привезенный из тюрьмы для неоднократно повторяющихся допросов Иван Вересов и с ним Осип Гречка, который пока еще содержался при части в секретной. Гречка не отступался от первых своих показаний, данных при составлении полицейского акта на месте преступления. Он все еще надеялся, что Морденко одумается, что в нем прорвется кровное чувство отца, которое

не допустит его довести дело до уголовной палаты. А Морденко меж тем упорно стоял на своем убеждении в виновности Вересова, доказывая, что он давно уже подозревал «в приемном сыне своем» злостные умыслы против себя, что этот приемный сын всегда был груб, дерзок, непочтителен и безнравствен.

Показания свидетелей точно так же говорили далеко не в пользу Вересова — все это составляло явные улики против него, так что для окончательного обвинения недоставало только собственного сознания его в преступлении.

Следователь решительно становился в тупик. С одной стороны, эта полная гармония в показаниях кухарки, Христины Ютсола, домового дворника и мелочного сидельца, подкрепляемая «чистосердечным» сознанием самого Гречки и доводами Морденки, казалось, ясно указывала на слишком очевидные тесные отношения молодого человека с преступником, а следственно, и на участие его в преступном замысле. С другой же стороны, один взгляд на честное, открытое лицо обвиненного, на ту неподдельную искренность, которая

звучала в его словах, на ту кроткую, безропотную покорность, с которой склонялся он перед постигшей его бедой, невольно поселяли в душе следователя какое-то безотчетное убеждение в его невинности. Он свел его на очную ставку с Зеленьковым, Зеленьков показал, что хотя и видал Вересова раза два у Морденки, в прежнее еще время, но что он, сколько ему известно, в замысле на убийство не участвовал — даже имени его почти не было произнесено в Сухаревке, где происходила при Зеленькове первая стачка. Следователь думал было ухватиться за это показание, видя в нем факт, говорящий в пользу обвиненного, но все-таки должен был тотчас же прийти к убеждению, что показание Зеленькова при настоящем положении дела не имеет ни малейшего значения, так как, по его словам, первая сухаревская стачка происходила в пятницу, а Гречка настаивал на том, что, встретясь случайно с Вересовым, держал с ним уговор в субботу, и уговор этот держал внизу на лестнице Морденкиной квартиры. Спросили еще у Зеленькова, упоминал ли Гречка имя Вересова в субботу, когда после заклада жи-

летки вернулся в Сухаревку доложить о своей рекогносцировке. Оказалось, что не упоминал. Но и это обстоятельство могло только указывать на возможность того факта, что Гречка нашел более удобным и выгодным для себя сделать преступление в сообществе Вересова, чем в сообществе Фомки-блаженного и Зеленькова, — поэтому, быть может, он так настойчиво и отклонял при допросах всякую солидарность этих двух людей с совершенным преступлением. Так думал следователь. Гречка же, в сущности, не запутывал их потому, во-первых, что дал слово блаженному в случае неудачи принять все дело исключительно на себя, а во-вторых — если не забыл еще читатель, — он, возвращаясь из Сухаревки, пришел к соблазнительному заключению, что лучше одному, без раздела, воспользоваться плодами убийства, тем более что, по условию, отвечать-то все-таки одному придется. Наконец, донос Зеленькова оставался для Гречки полнейшею тайной: он мог иметь подозрение столько же на него, сколько и на Фомушку, и на всякого другого, кто бы как-нибудь случайно подслушал их уговор и потом

донес полиции. У Гречки был все-таки своего рода гонор, воровской point d’honneur[325]: коли уж раз на стачке дал такое слово — не выдавать, так держись, значит, крепко этого самого слова, чтобы и напредки всякий другой товарищ веру в тебя имел.

— Вы соглашаетесь с показаниями кухарки, дворника и сидельца? — спрашивал следователь у Вересова.

— Вполне.

— Эти показания почти несомненно доказывают ваше прямое соучастие в деле.

— Я знаю, и их, может быть, достаточно для суда, чтобы приговорить меня, — сказал Вересов с тем кротким, покорным спокойствием, которое является следствием глубокого и безысходного горя. — Может быть, меня и действительно приговорят как тяжкого преступника, — добавил он с тихой улыбкой, в которой сказывалась все та же безропотная покорность.

Следователь поглядел на него с участием.

— Но, Бога ради, сообразите, что можете вы сказать в свое оправдание! — предложил он.

Вересов только пожал плечами.

— Я уже сказал, как в действительности было дело. Но... у меня ведь нет свидетелей; слова мои бессильны... Все — против меня. Что же мне делать?!

В комнату вошел священник и поклонился следователю, мягко разглаживая свою бороду.

— Вы меня оповещали. Не опоздал?

— Нет, батюшка, в пору. Вот — стул. Увещание одному молодцу сделать нужно; потрудитесь, пожалуйста.

— Могу! — поднял брови свои батюшка, опускаясь на предложенный стул. — Могу... А какого рода увещание-то?

— Да вот, кажется, понапрасну оговаривает в сообществе.

— Неповинного?

— Кажется, что так.

— Вот оно что!.. Могу, могу! А где же молодец-то?

В комнату привели Гречку. Конвойный солдат, с ружьем у ноги, остался в дверях; священник отодвинул свой стул на другой конец комнаты, подозвал к себе арестанта и, с расстановкой, методически понюхав табаку, на-

чал вполголоса свое пастырское увещание.

— Сын мой — нехорошо... надо покаяться, надо... покаяние душу очищает... десять праведников не столь угодны Господу, сколь один раскаивающийся грешник.

В этом роде длилась его назидательная беседа, но Гречка слушал с каким-то бессмысленным видом — да и слушал ли еще! — он тупо устанавливал свои глаза то на угол изразцовой печки, столь же тупо переводил их на окно, сдерживал зевоту, переминался с ноги на ногу и видимо скучал и тяготился продолжительностью своего стоячего положения. Вотще употреблял батюшка весь запас своего красноречия, стараясь текстом, примерами и назиданием пронять его до самого сердца: сердце Гречки — увы! — осталось непронятым.

— Да вы, батюшка, это насчет чего ж говорите мне прокламацию эту всю? — перебил он наконец увещателя. — Я ведь уж все как есть, по совести, показал их благородию. А их благородие это, значит, пристрастные допросы делать желают; так опять же насчет этого будьте, батюшка, свидетелем; а я стряпчему

за эдакое пристрастие на их благородие жалиться могу! Чай, сам знаете, по закону-то духовое увещание — прежняя пытка!

— Зачерствелое сердце, зачерствелое... соболезную, — покачал головой священник, подымаясь с места и не относясь, собственно, ни к кому с этим последним замечанием. — Мой пастырский долг, по силе возможности, исполнен: извольте начинать ваш юридический, гражданский, — прибавил он, с любезной улыбкой обращаясь к следователю, и, отдав поклон, удалился из камеры так же, как и вошел, мягко разглаживая бородку.

Началась очная ставка. Гречка, с наглым бесстыдством, в глаза уличал Вересова в его соучастии.

— Что же, друг любезный, врешь? Где же у тебя совесть-то, бесстыжие твои глаза? — говорил он, горячо жестикулируя перед его физиономией. — Вместе уговор держали, а теперь на попятный? Это уж нечестно; добрый вор так не виляет. Ведь ты же встренул меня внизу на лестнице!

— Да, — подтвердил Вересов.

— Ведь я же сидел и плакался на батьку-то

твоего?

— Да, — повторил Вересов.

— И ты же стал меня расспрашивать, что это, дескать, со мною?

— Да, расспрашивал.

— А я же тебе говорил, что спасите, мол, меня — с голоду помираю, с моста в воду броситься хочу?

— Говорил...

— А ты мне что сказал на это?.. Нукася, припомни!

— Я к отцу позвал; сказал, что выручу.

— Ну да! это правильно! Только прежде, чем к отцу-то звать, ты сказал, что выручишь, буде помогу тебе ограбить, а не то, добрым часом, и убить его. Вот оно как было! Ты же мне рассказал, что и фатера у него завсегда при замках на запоре состоит, и что деньги он при себе на теле содержит.

— Это ложь, — вступился Вересов.

— А!.. теперь вот ложь! — перебил Гречка. — Ах ты, Иуда иудейская! Аспид ты каинский!.. Ишь ведь святошей-то каким суздальским прикидывается, сирота казанская!.. А откуда ж я могу знать, что деньги-то батька

твой в кожаном поясе под сорочкой носит? Кто ж, окромя тебя, сына евойного, сказать бы мне мог про это?.. Что? замолчал, небойсь?.. Пишите, ваше благородие, — обратился он к следователю, — что остались, мол, оба при своих показаниях. Видите, замолчал! Сказать-то ему больше нечего.

Вересов отвернулся к окну, чтобы скрыть от посторонних глаз навернувшиеся слезы — тихие, но горькие слезы безысходного, беспомощного, придавленного горя.

— Что ж вы скажете на это, Вересов? — участливо отнесся к нему следователь.

— Видит Бог — не виноват я!.. Ну да что ж... от судьбы не уйдешь ведь!.. — с безнадежным отчаянием махнул он рукою, и голос его не выдержал, трепетно порвался. Он еще больше отвернулся к окну, чтобы скрыть свою новую слезу, невольную и жгучую.

— Позвольте мне, ваше благородие, в тюрьму! — стал между тем просить Гречка. — Что ж меня теперича занапрасно в секретной держать? Я ведь во всем, как быть должно, со всем усердием моим открылся вашему благородию: начальство к нам тоже ведь навещать

наезжает, я могу начальству сказать, потому — лишний народ, сами знаете, без дела содержать по частям в секретных не приказано; а я открылся... так уж, стало быть, позвольте в тюрьму.

Следователь махнул рукою — и конвойный увел Гречку с его мнимым сотоварищем.

В тот же день черный фургон привез в подворотню Тюремного замка новых обитателей. Это были: Осип Гречка, Фомушка-блаженный и Касьянчик-старчик.

XIII
СЕКРЕТНАЯ

Героева не скоро пришла в сознание. Она решительно не помнила, как ее увозили из ресторана, как доставили в одну из частей, как наутро, за неимением там места, перевели в другую часть, куда, по сделанному в тот же день экстренному распоряжению, было отдано для следствия ее дело. Все это время мысль ее не действовала, нервы словно окоченели, потеряв способность впечатлитель-

ности; ее не пронимали ни уличный холод, ни спертая, удушливая духота женской сибирки, где она очутилась на наре, в обществе уличных воровок, нищенок, самых жалких распутниц и пьяных баб, подобранных на панели. Она глядела, дышала и двигалась как автомат, вполне машинально, вполне бессознательно; ни в одном взгляде ее, ни в одном вздохе, ни в одном движении не промелькнуло у нее ничего такого, что бы напомнило хоть легкую тень какой-либо мысли, хотя бы малейший признак отчетливого сознания и чувства. Душа и мысль ее были мертвы, скованы какой-то летаргией — одно только тело не утратило способности жить и двигаться.

Очнулась она уже «в секретной», после долгого, мертвецкого сна, который одолел ее всею своей тяжестью, победив наконец это более чем суточное напряженно-закоченелое состояние.

Секретные по частям отличаются видом далеко не презентабельным. Это обыкновенно узкая комната, сажени полторы длиною да около сажени в ширину, с решетчатым, тусклым окном и кислым, нежилым запахом. Ма-

ло свету, и мало воздуху, а еще меньше простору; пройтись, расправить кости, размять члены свои уж решительно негде: на полуторасаженном расстоянии не больно-то разгуляешься.

Бероева смутно очнулась и огляделась вокруг. Сероватый и словно сумеречный полусвет западал в ее окошко. Перед нею стоял убогий столик, грязный, пыльный, бог весть с которых пор не мытый и не скобленный; тут же кружка с водою, на поверхности которой тоже плавали пыль да утонувшая муха; в углу стояло ведро под стенным умывальником — и эти предметы, за исключением постели, составляли все убранство секретной.

Бероева чувствовала какую-то усталость и лом в костях и жгучий зуд по всему телу. Она оглядела себя и свое ложе — убогую деревянную кровать с грязной подстилкой, с соломенным мешком вместо тюфяка и такою же подушкой. Брезгливое содрогание невольно передернуло ее члены, когда увидела она то, что служило ей изголовьем... Мириады насекомых, клопов и даже червей каких-то повысыпали сюда из своих темных щелей, почуяв с

голоду новую и свежую добычу. Она стала прислушиваться — все тихо, глухо, не слыхать ни говора, ни отголосков уличной жизни; только крысы пищат да возятся за печкой. Одна из этих подпольных обитательниц торопливо пробежала по полу и вильнула чешуйчатым хвостом, мгновенно улизнув под половицу, в свою маленькую норку.

С нервическим трепетом поднялась она с кровати и толкнулась в дверь, но плотно запертая крепкая дверь даже и не шелохнулась от ее толчка — словно бы толчок этот пришелся в каменную стену. Она постучалась еще, и на этот раз посильнее, — ответа нет как нет, и все по-прежнему тихо да глухо. Бероева тоскливо прошлась по своей тюрьме — под ее ступней слегка скрипнула половица, — и пискливая возня за печкой, казалось, будто усилилась от этого скрипу да от ее шагов, нарушивших тишину карцера. Из подполья снова выглянула большая серая крыса и, словно котенок, нетрусливо проползла до середины комнаты, понюхала воздух, поводила усиками и, спугнутая новым движением арестантки, шмыгнула в темноту, под ее кровать, где и

скрылась уже безвозвратно.

Бероева смутно сообразила теперь свое положение, собрала свои мысли, насколько это было возможно в ее положении, вспомнила все, что случилось с нею, — и тут-то, при этом страшном воспоминании, которое, в сущности, и было для нее прямым, настоящим пробуждением, возвратом к действительной жизни, при виде всей этой мрачной, отвратительной обстановки, которая, словно могила, оковала ее своей безжизненностью в настоящую минуту, — на нее напал какой-то ужас, почти инстинктивно разразившийся невольным, отчаянным криком. Она судорожно и что есть мочи стала колотиться в дверь, не переставая кричать ни на минуту — и через несколько времени надзирательская форточка отворилась. В ней показалось апатичное лицо полицейского солдата.

— Чего орешь-то? что надо? кажись, все ведь есть по порядку! — просипел он крайне недовольным тоном.

— Пусти меня, пусти, Бога ради! — кричала она, совсем почти обезумев в этот миг от отчаяния.

— Куды пусти?! Что ты, чего бьешься-то?

— Дети… где дети мои?.. Пусти!.. Я в суд пойду… я к царю пойду… я скажу ему! все скажу, всю правду!.. Отпирай же двери!..

— Ладно!.. никак с ума спятила… Пусти да пусти, а куды я пущу?.. Начальство не велит, с нас тоже взыскивать будут… Сиди лучше добром, коли посадили.

— Да отворишь ли ты, бездушный!

— Какой я бездушный? я не бездушный, а только что нам не приказано — ну, значит, и нельзя. Вот погоди, скоро обед из тюрьмы привезут; я те обедать принесу, поешь себе с Богом; а чего уж нельзя, так и нельзя!.. Не моя воля, а будешь бунтовать, дежурному скажу — ей-богу, скажу! — пущай его сам как знает, так и ведается с тобой!

Бероева с воплем грохнулась без чувств подле двери.

Солдат поглядел: видит — лежит, не кричит и не дышит.

— Экая барыня какая несообразная, — проворчал он, покачав головою, затем крикнул подчаска, отомкнул дверь — вдвоем перетащили ее на кровать.

— Вспрысни водой малость — може, и прочухается, а не то дежурному да дохтуру доложить придется, — сказал он подчаску, который исполнил все сполна по данному приказанию.

Бероева очнулась — и солдаты снова заперли дверь ее камеры.

Она увидала, что уж тут ничего не поделаешь, что это — сила, которая неизмеримо превышает ее собственные силы и возможность, которая — бог весть что еще будет впереди — а пока, в настоящую минуту, давит, уничтожает собою ее волю, — и она смирилась в каком-то тупом, деревянном отчаянии.

Привезли из тюрьмы обед; а развозят его по всем петербургским частям для содержащихся там арестантов, обыкновенно, в продолговатых черных ящиках, куда вставляются сосуды вроде деревянных коробок; в эти коробки опускаются плотно закрытые баки с похлебкой, кладется хлеб в нужном количестве порций, и затем ящики отправляются в ежедневное свое путешествие.

Бероева почти и не взглянула на эту холодную, мутно-серую похлебку, которую солдат

так и вынес нетронутой из ее нумера. Голод побудил ее только прожевать несколько комков арестантского хлеба да запить их стоялою водою из своей кружки. Да и эта-то пища, при ее тяжелом нравственном состоянии, показалась горькой и противной.

В этот день ее никто не тревожил, кроме добровольных и неофициальных обитателей ее камеры. Начинало темнеть — и, под светом петербургских сумерек, стены секретной становились еще мрачнее, холодней и неприветливей. Один только солдат-полицейский время от времени отмыкал свою форточку и наблюдал, чем занимается арестантка. Часов около семи вечера, когда совсем уже стемнело, он принес ночник, распространивший новую вонь от своей копоти и дрянного деревянного масла, и затем на всю уже ночь, до утра, замкнул на ключ секретную камеру.

Бероева кое-как застлала своим салопом грязную подстилку с изголовьем и, не раздеваясь, легла на свое скрипучее арестантское ложе, тщетно стараясь как-нибудь забыться.

Воцарилась опять мертвая тишина и глухое молчание. Только изредка потрескивал

нагорелый ночник, а в окно мелкий зимний дождь барабанил; петербургский ветер иногда с каким-то стоном завывал в трубе, да крысы бегали по полу и отчетливо грызли зубами половицу... В камере сделалось холодно и сыро.

Среди ночи тревожно раздались вдруг частые удары колокола, и поднялся шум на съезжем дворе. В тишине камеры ясно донесся до нее торопливый говор людей, понукания, возгласы и конский топот; затем, через какие-нибудь пять минут, тяжелый грохот многочисленных колес, затихавший мало-помалу в отдалении, — и все опять смолкло.

Бероева заглянула с постели в свое окошко, подняла вверх глаза и увидела в непроницаемой черноте ненастной ночи, как на высокой каланче зловещие фонари подымались.

«Пожар где-то в городе, — подумала она, — может быть, в нашем доме... может, мои дети горят...»

И душа ее сжалась мучительной, смертельной тоской, а фантазия неотвязно и ясно стала рисовать ужасный кроваво-огненный образ пожара и двух ее малюток, задыхав-

шихся в едком дыму и жарком пламени.

Наутро дверь ее тюрьмы отворилась.

— Где был пожар? — стремительно бросилась она к вошедшему солдату.

— На Охте... амбары, слышно, какие-то горели, — с обычной апатией ответствовал сторож.

— Слава тебе Господи! — отлегло у нее от сердца.

— Эка баба какая, нашла чему радоваться! — заметил про себя полицейский, покачав головою.

Бероева взглянула за дверь: там, в коридоре, стоял солдат с ружьем и в каске. Ее повели к следственному допросу.

XIV

ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГВАРДИИ КОРНЕТА КНЯЗЯ ШАДУРСКОГО ЖЕНОЮ МОСКОВСКОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЮЛИЕЮ БЕРОЕВОЙ

— Вы — Юлия Николаевна Бероева? — начал следователь обычным официальным порядком с предварительных формальных вопросов.

Арестантка подтвердила.

— Ваше звание? — продолжал он.

— Жена бывшего студента.

— Это не составляет звания. Кто ваш муж — дворянин, купец или из мещан?

— Из почетных граждан.

— Хорошо-с; так и запишем. На исповеди и у святого причастия, конечно, бываете... Под следствием и судом состояли?

— Нет.

— Прекрасно-с. Теперь я, как следователь, должен вас предупредить, что чистосердечное раскаяние преступника и полное его со-

знание смягчает вину, а потому смягчает и степень его наказания. Факт вашего покушения на убийство князя Шадурского засвидетельствован под присягою достаточным количеством разных лиц. Я отобрал уже показания от прислуги ресторана — и показания их все до одного совершенно сходятся. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что именно побудило вас решиться на это убийство?

Краска — быть может, стыда, быть может, оскорбленной гордости — выступила на лице Бероевой.

В это время кошачьей, мягкой походочкой, приглаживая височки рыженького паричка и уснащая физиономию улыбочкой самого благодушно-богобоязненного и сладостного свойства, вступил в камеру Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский. Сияющий Станислав украшал его шею, а медалька «Да не постыдимся» с двадцатилетним беспорочием — борт его синего фрака; спина его изображала согбение самого приятного свойства — согбение, в котором, однако, кроме несколько почтительной приятности, сказывалась еще подобающая его летам солидность вместе с со-

ответственным званию и рангу чувством собственного достоинства. Он очень любезно, как знакомому, протянул руку следователю и обратился к нему с любезным же осклаблением:

— Вы, кажется, уж начали допрос подсудимой? Извините, что имел неосторожность прервать... Продолжайте — я вам не мешаю.

Следователь довольно сухо кивнул ему головою из-за кипы бумаг, а Полиевкт Харлампиевич уселся на стуле и приготовился слушать. Он еще вчерашний день явился в следственное отделение с поклонами о позволении присутствовать при производстве дела.

— Потому его сиятельство князь Шадурский, по тяжкой болезни своей, очень желают знать ход причин и обстоятельств.

Следователь поморщился, но ответил:

— Как вам угодно.

Бероева собралась с мыслями, призвала на помощь весь запас своих сил и воли и начала обстоятельный рассказ о происшествии. Она не забыла ни визита генеральши фон Щпильце, явившейся в образе эксцентрической любительницы бриллиантов, ни своего посеще-

ния к ней на другой день, ни угощения кофеем, ни внезапного появления молодого князя, ни своего странного припадка, следствием которого была беременность.

— Это все очень заманчиво и занимательно, — ввернул свое словцо Полиевкт Харлампиевич с обычно-приятным осклаблением, — но юридические дела требуют точности. Вы можете подтвердить чем-нибудь справедливость своих показаний? У вас есть факты, на основании коих вы живоописуете нам?

— У меня есть ребенок от князя, — застенчиво, но твердо ответила арестантка.

— Хе-хе... ребенок... Но где же доказательства, что это ребенок их сиятельства? И где же он у вас находится?

— Это уже, извините, до вас не касается, — сухо обратился к нему следователь. — Вы можете, пожалуй, наблюдать, сколько вам угодно, за правильным ходом дела; но предлагать вопросы предоставьте мне. Показание это слишком важно, и потому извините, если я вас попрошу на время удалиться из этой комнаты.

Полиевкт Харлампиевич закусил губу и

окислил физиономию, однако — делать нечего — постарался скорчить улыбочку и, несолоно хлебавши, с сокрушенным вздохом вышел в смежную горницу.

Бероева сообщила адрес акушерки, который тотчас же и был записан в показание.

— Кроме повивальной бабки, знал еще кто-нибудь о вашей беременности? — спросил ее следователь. Подсудимая подумала и ответила:

— Никто. Я от всех скрывала это.

— Какие причины побудили вас скрывать даже от мужа, если вы — как видно из вашего показания — были убеждены, что обстоятельство это есть следствие обмана и насилия?

Бероева смутилась. Как, в самом деле, какими словами, каким языком передать в сухом и кратком официальном акте вполне верно и отчетливо все те тонкие, неуловимые побуждения душевные, тот женский стыд, ту невольную боязнь за подрыв своего семейного счастия и спокойствия — одним словом, все то, что побудило ее скрыть от всех обстоятельства беременности и родов? Она и сама-то себе едва ли бы могла с точностью опре-

делить словами все эти побуждения, потому что она их только чувствовала, а не называла. Однако, несмотря на это, Бероева все-таки по возможности постаралась высказать эти причины. Обстоятельство с нашей формальной, юридической стороны являлось темным, бездоказательным и едва ли могло служить в ее пользу.

— Вы хорошо были знакомы с князем? — продолжал следственный пристав.

— Нет, я его видела всего только три раза, — ответила арестантка, — в первый раз на вечере, где мне его представили, потом у генеральши и, наконец, в маскараде.

— Вы говорите, что написали ему анонимное письмо по совету акушерки?

— Да, по ее совету.

— Хорошо, так мы и запишем. Если показание подтвердится, то обстоятельство это может отчасти послужить потом в вашу пользу.

Затем следователь перевернул несколько листков из дела, прочел какую-то серую четвертушку и снова обратился к подсудимой:

— Медицинское свидетельство говорит, — начал он, держа перед собою бумагу, — что

нанесены две довольно глубокие раны: одна — в горло с левой стороны, на полдюйма левее от сонной артерии; другая — в грудь, непосредственно под левой ключицею, глубиною около трех четвертей дюйма. Точно ли вы нанесли эти раны, как показывают свидетели, нашедшие вас с вилкою в руке?

Бероева слегка побледнела и выпрямилась. В ее глазах на мгновение мелькнул отблеск гордого достоинства женщины.

— Да, это правда! — с необыкновенной твердостью проговорила она. — Я не отрекаюсь, я действительно хотела его убить — я защищалась от нового насилия.

Следственное дознание было все сполна прочтено Бероевой, которая каждый ответ по предложенным вопросным пунктам скрепила своей подписью, и затем ее снова увели в секретную, под военным конвоем.

Полиевкт Харлампиевич, откланявшись следователю, проскользнул в смежную горницу, где работали вольнонаемные писцы с коронным письмоводителем, и, проходя мимо стола того субъекта, которому только что сда-

но было на руки «для подшития» дело Бероевой, незаметно, но многозначительно мигнул ему глазком на прихожую.

Субъект заглянул в комнату следователя, увидел, что тот прилежно занялся себе другими спешными делами. Вследствие этого субъект потянулся и вздохнул, словно бы от тяжкой усталости, вынул из кармана папироску и прошмыгнул на цыпочках, с рессорным качанием в корпусе, за дверь следственной камеры, сказав мимоходом письмоводителю:

— Покурить пойду.

Дока письмоводитель только ухмыльнулся да головой мотнул: «Понимаем, мол!» И точно, он понимал, потому — был жареный и пареный человек, прошедший огнь и воду и медные трубы, и, по чистой совести, с гордостью мог бы назваться «пройди-светом».

Субъект вслед за Полиевктом Харлампиевичем вышел на лестницу.

— Вы, милый мой, доставьте мне нужную справочку, — начал последний, пожимая руку субъекта, которая ощутила на своей ладони прикосновение свернутой государственной депозитки.

— Какую прикажете-с? — поклонился субъект в любезно-благодарственном роде.

— Адрес акушерки, что показывала Бероева.

— Это могу! И всегда готов с моим усердием...

— Да только поскорее! Нынче же, как кончится присутствие, так прямо ко мне и бегите. Вот вам моя карточка: тут место жительства обозначено. А я уж вам буду еще благодарен.

— Будьте без сумления-с! — успокоил субъект. — Потому я людскую благодарность очень сердцем своим ценю и завсегда понимаю. До свиданья-с!

И к пяти часам в бумажнике Полиевкта Харлампиевича уже покоился адрес акушерки, а в кармане субъекта лежала новая синенькая бумажка, в придачу к таковой же утренней.

XV
СЕМЕЙНАЯ ГОРЕСТЬ И ОБЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская разыгрывала роль нежной, любящей матери и потому считала нужным раза три в день просиживать по часу и даже более у изголовья своего сына. Она, по случаю трагического происшествия, уже второй день сряду облекала себя в черное бархатное платье — как известно, привилегированный цвет уныния и печали — и находила, что черный бархат к ней необыкновенно идет, сообщая собою всей фигуре ее нечто печально-величественное, и втайне весьма сожалела о том только, что возлюбленный рыцарь ее сердца, Владислав Карозич (Бодлевский тож), лишен возможности восхищаться ею в этом наряде, который столь гармонировал с унылой бледностью лица блекнущей красавицы. Бледность же она устраивала тем, что в эти два дня румян вовсе не употребляла, ограничась одною пудрою и очень тонкими, дорогими белилами. Она на-

ходила, что особенно интересна в то время, когда, облокотясь на ручку кресла, с такой необычайной нежностью и скорбью устремляла томный взор свой на лежащего сына, не забывая почти ежеминутно с подобающей грацией подносить изящный флакон с освежающим спиртом к обеим ноздрям своего аристократического носа. Княгиня, кроме шуток, любовалась собою в этой новой для нее роли скорбящей матери, хотя, в сущности-то, скорбеть было вовсе не о чем, потому что раны князя не представляли никакой опасности ни для его жизни, ни даже для его дальнейшего здоровья. Он бы даже мог и не лежать, но лежание его входило в тонкие юридические соображения Полиевкта Харлампиевича, и потому надлежало беспрекословно покориться сему тягостному искусу. Князь Владимир даже и в первую минуту катастрофы был вовсе не настолько слаб и болен, как это казалось окружающим и ему самому; он просто-напросто струсил и перепугался; а трусость, соединенная с этим внезапным испугом и подкрепленная винными парами, вконец расстроила его изнеженные нервы. Князь

и вообразил, что он очень опасно ранен и еще опаснее болен. Старый Шадурский, наш расслабленный гамен, ради конвенабельности тоже присутствовал порою у постели сына, особенно в то время, когда приезжали навещать его и осведомляться о «катастрофе» разные особы обоего пола. Княгиня внушила гамену, что он должен казаться опечаленным отцом, и гамен точно во время этих визитов добросовестно старался казаться таковым и, вставляя в глаз свое стеклышко, кисло взирал сквозь него на больного, уныло покачивая головою.

— Quel grand malheur, quelle catastrophe tragique![326] — в минорном тоне восклицали навещавшие особы. — Скажите, Бога ради, как это все случилось?

— Не понимаем! — печально пожимала плечами интересная в своем горе княгиня. Гамен тоже пожимал плечами, по примеру супруги, и тотчас же вбрасывал в глаз свое стеклышко. Молодой князь, с своей стороны, в качестве тяжко больного, предпочитал в этих случаях полное молчание, предоставляя поле красноречия либо матушке, либо — в ее от-

сутствие — Полиевкту Харлампиевичу.

— Не понимаем! — говорила княгиня. — Анонимное приглашение в маскарад... какая-то женщина... бог знает, какая она и кто она! Он так опрометчив, молод... маскарадная интрига... поехал с нею ужинать куда-то, и вдруг она вонзила ему вилку...

В этом месте рассказа на глазах княгини обыкновенно навертывались материнские слезы, и она спешила поднести флакон к своему носу.

Посетители прилично вытягивали физиономии и, вместе с гаменом, сочувственно качали головами.

— Для чего же это сделано? С какой целью? — вопрошали они.

И в этом случае, по большей части, дальнейшим комментатором являлся Полиевкт Харлампиевич. Он с большою обстоятельностью рассказывал все событие и приводил дальнейшее объяснение на предложенные вопросы.

— Цель очень ясна, — почтительнейше докладывал он, — эта женщина — жена какого-то мещанина, что ли, — принадлежит, по

всем вероятиям, к известной категории: акула-с, как есть акула алчная!.. Разыграла все это затем, чтобы сорвать с их сиятельства изрядную сумму, будто бы за свое бесчестие по поводу мнимого насилия... Насилие!.. Разве насильно при всей публике поедет кто-нибудь из маскарада ужинать в ресторацию?.. И анонимное послание ее тоже, должно быть, насилие? Помилуйте-с! Возмутительный факт, который следовало бы в настоящее время благодетельной гласности по всем журналам предать... Теперь следствие идет, надо будет на одну доску с этой женщиной становиться! И так, можно сказать, оскорблены какою-то тварью честь и достоинство имени их сиятельства, герб оскорблен! За это — Сибирь-с и кандалы, по закону!.. Ведь бедный князь теперь, так сказать, жертва, мученик неповинный!..

И в этом убедительном роде катился дальнейший поток красноречия Полиевкта Харлампиевича, сладостные глазки которого тоже подчас увлажнялись слезою искренне преданного и чувствительного сердца.

Посетители разъезжались в благородном

негодовании и развозили по городу толки о «катастрофе», с комментариями во вкусе Хлебонасущенского. Некоторые, впрочем, как водится всегда, не могли обойтись и без злословия: говорили с ироническими улыбками о силе победителя женских сердец, которого победила вилкой какая-то маска; но вообще князь Владимир гораздо более обыкновенного обратил теперь на себя общее внимание; о нем заговорили все, и барыни, и камелии, все немедленно признали его очень интересным, сочувствовали его положению и находили самое происшествие весьма трогательным, ужасным и романическим. Вся пучина презрения, порицаний и самых безобразных толков с отвратительными заключениями в великосветском и demimond'ном[327] приговоре выпадала, конечно, на исключительную долю *какой-то* госпожи Бероевой.

XVI
ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ ЗАТРОНУТА

После допроса Бероевой Полиевкт Харлампиевич вернулся прямо к княгине, весьма смущенный и озабоченный. Княгиня только что проводила нескольких посетителей и потому пока еще находилась в комнате сына, вместе с расслабленным гаменом.

— Ну что? какие вести? — подняла она томные взоры на вошедшего.

— Недоброкачественные, матушка, ваше сиятельство, недоброкачественные-с! — кисло сообщил Хлебонасущенский. — Надо поговорить серьезно, посоветоваться всем вкупе с откровенностью... Я, уж извините, распорядился, пока что, до времени, никого не принимать из посторонних.

— Что же такое? Что там еще, Бога ради, говорите скорее! — встревожилась Татьяна Львовна.

Молодой князь весьма бодро и быстро поднялся со своей подушки, вовсе не соответственно положению тяжко больного.

— Да вот что-с! — с некоторым затруднением от щекотливости предстоящего разговора начал Хлебонасущенский, откашлявшись и потирая руки. — Тварь-то ведь эта показывает, будто у нее имеется плод преступной любви и будто виновник плода-то — их сиятельство...

— Как так? — изумилась опешенная княгиня.

— Не могу подлинно знать, а только она показывает это очень настойчиво, — ответствовал почтенный адвокат и ходатай. — Указывает даже местожительство той акушерки, у которой этот плод хранится на воспитании.

Молодой Шадурский изменился в лице.

— Ежели оно истинная правда, — продолжал Хлебонасущенский, — то дело может принять весьма зловредный оборот касательно личности и чести их сиятельства, потому — живая улика налицо, опять же буде акушерка покажет соответственное, то на их сиятельство непременно ляжет юридическая тень подозрения... Это может повредить карьере и гербу...

И вслед за этим вступлением Полиевкт

Харлампиевич передал всю главную сущность показаний Бероевой.

Мать и сын остались под сильным впечатлением этого рассказа; княгиню он даже вконец поразил своею новостью; один только старый гамен, как ни в чем не бывало, вставил в глаз стеклышко и, как-то старчески облизываясь, спросил плюгавого сатира:

— Et dites donc, est-elle jolie?[328] Хороша она собою?

Но на его неуместный вопрос даже и Хлебонасущенский не обратил в эту минуту достодолжного внимания, а княгиня смерила гамена своим строгим и холодным взглядом.

— Я уж там подмазал кой-какие колеса; мне сегодня же сообщат адрес акушерки, — с хитростным подмигиванием сообщил Хлебонасущенский, — уж вы, значит, ваше сиятельство, для ясности дела, признайтесь-ка мне, как бы отцу духовному, правду ли она показывает-то? было у вас такое дело или не было?

— Было, — нехотя процедил сквозь зубы Шадурский и тотчас повернулся лицом к стене, чтобы не встретиться с глазами матери и

управляющего. В эту минуту, вместе с сделанным сознанием, в нем заговорил слабый отголосок совести.

Надолго ли только?

— Ну, стало быть, все отменно хорошо теперь! — самодовольно потирая руки, заключил ходатай. — Уж вы, значит, ваше сиятельство, на очной ставке с Бероевой говорите на все ее улики, что знать ничего не знаете и никогда никакой интриги с ней не имели; а остальное — в руце Божией! Надо надеяться и не унывать, а мы уж механику нашу подведем! будьте благонадежны-с!

Шадурский ничего не ответил, а княгиня позвала Хлебонасущенского и вышла вместе с ним из комнаты.

— Послушайте, мой милый, — начала она ласково и серьезно, — вы понимаете сами, какое это дело... кончайте его, не жалея денег, — мы уж вам отдадим... Тут фамильная честь затронута.

— Уж будьте благонадежны-с, матушка ваше сиятельство! — повторил ходатай, чередуя поклоны с улыбками. — Полиевкт Хлебонасущенский недаром уж по этой части мудрецом

у самых опытных юристов слывет! будьте благонадежны-с!

— Вольдемар!.. что ж, она хороша собою!.. а?.. Quel est le genre de sa beaute, blonde ou brune?[329] расскажи-ка ты мне, пожалуйста! — приставал меж тем гамен к своему сыну, шаловливо поигрывая своим стеклышком.

Но Вольдемар не почел за нужное отвечать ему что-либо и, лицом к стене, лежал все в прежнем положении.

XVII
ДЕЛЬЦЕ ПОЧТИ ОБДЕЛАНО

Отпустив от себя, с надбавочной пятирублевой благодарностью, субъекта, принесшего адрес акушерки, Полиевкт Харлампиевич тотчас же было приказал закладывать в пролетку пару своих рыженьких шведок, но тут же одумался и отменил это приказание. «На грех мастера нет, — сообразил он с присущей ему предусмотрительностью, — еще, пожалуй, кто-нибудь заметит, что приезжал, мол, на своих лошадях, да как, да что, да зачем

приезжал, да потом как-нибудь лишнюю закорючку в показания того гляди влепит!.. Все-таки оно сомнением называется — а лучше на извозчике поеду». И точно, уложив в бумажник полновесную пачку ассигнаций и застегнув с аккуратностью на все пуговицы свой синий фрак и пальто, он взял на улице первого попавшегося ваньку и отправился по данному адресу.

— Я имею к вам некоторое поручение от госпожи Бероевой, — начал Хлебонасущенский, оставшись наедине с акушеркой в ее гостиной. — Мы одни, кажется?.. можно говорить спокойно?..

— Совершенно одни; здесь никто не услышит. — И она вплотную приперла обе двери в комнате. — Вы это насчет чего же?

— А насчет того обстоятельства, которое вам известно...

— То есть что же именно?

«Эге! да ты, матушка, видно, себе на уме! — подумал Хлебонасущенский. — Надо полагать, нашего поля ягода, старый воробей».

— Именно насчет ребенка, — ответил он, наблюдая косвенно, какое впечатление про-

изводят на нее эти слова. Но действие слов никакими внешними признаками не обнаружилось.

— Что же такое насчет ребенка? — уклончиво спросила акушерка, которая думала: «Уж не подсыл ли от мужа?»

— А вот... касательно дальнейшего обеспечения жизни и воспитания, — пояснил Хлебонасущенский.

— Вы, стало быть, родственник?

— Нет-с, но... я посредник в этом деле, беру участие, потому что мне поручено... Ведь госпожа Бероева, как вам очень хорошо известно, не имеет средств сама платить за воспитание.

— Ну так что же?

— Так вот... эту заботу принимает на себя одно лицо... которое поручило собственно мне это дело и уполномочило переговорить с вами...

— Стало быть, вы хотите, чтобы я взяла на себя воспитание?

— Да, чтобы его продолжали, так как дитя уже находится у вас и так как в этом деле необходимо сохранить полнейшее инког-

нито.

Хлебонасущенский полагал, что эти слова заставят как-нибудь прорваться сдержанную акушерку, но та предпочла полнейшее молчание.

«Экой кремень, баба! — с досадой помыслил он в это мгновение. — Ничем-то ее не проберешь, проклятую!» И, вслед за своей мыслью, продолжал дальнейшие подходы:

— Средства ее очень ограниченны; вы сами знаете, что она не могла даже уплатить вам за последнее время, так что вы совершенно справедливо отказывались от содержания младенца... Теперь это неудобство устранено благодаря вашему доброму совету, которого она послушалась.

Кремень-баба увидела, что посреднику известны такие факты и отношения, каких, по всем логическим видимостям, не мог знать муж, и потому уразумела, что Хлебонасущенский должен быть действительно посредником и поверенным Бероевой.

— Что ж, если вам угодно, я, пожалуй, могу принять на себя воспитание, — согласилась она.

— Очень обяжете, — поклонился Полиевкт Харлампиевич, — только помните, под условием строжайшего инкогнито... нужно как можно тщательнее скрывать от мужа.

— Это уж конечно, — подтвердила акушерка.

— Итак, если вы согласны, — заключил он, — то я буду иметь удовольствие каждый месяц, считая с нынешнего числа, привозить вам следующую сумму. Угодно вам теперь же получить вперед за месяц?

— С большим удовольствием.

— Сколько прикажете-с?

— Да так, как было условлено, двадцать пять рублей.

«Наконец-то прорвало», — подумал великий законник.

— Потрудитесь получить, — прибавил он вслух, вынимая деньги, — да, кстати, там есть еще должок за госпожою Бероевой, так заодно уж, для очистки, и его прикинем! Сколько именно?

— Пятьдесят.

— Итого семьдесят пять рублей! Отменно-с!.. Перечтите и потрудитесь выдать мне

расписочку в получении. Оно, в сущности, можно бы и без этого, но мне, собственно, больше для удостоверения того лица, которое...

— Извольте, я напишу, — согласилась акушерка и тут же настрочила все, что потребовалось, под диктовку Хлебонасущенского.

— Могу я поглядеть младенца? — любезно спросил он, пряча в карман «документ».

— Отчего же, сколько угодно. — И она крикнула в дверь: — Рахиль, принеси ребенка!

Средних лет служанка, по типу лица — очевидно, жидовка, внесла на руках спеленутого мальчика.

Хлебонасущенский поглядел на него с невинно-нежной улыбкой, даже слегка пощекотал мизинцем по щечке, пролепетав при этом: «У, ти, дусинька какой, калапузик!» — и отпустил с Богом жидовку.

Едва затворилась дверь, как великий юрист и ходатай изменил свою позу, свою улыбку, все выражение лица и начал строго-холодным, официальным и даже отчасти злорадно-торжествующим и инквизиторским

тоном:

— Ну-с, теперь, когда я лично удостоверился в тайном нахождении у вас незаконнорожденного ребенка госпожи Бероевой, в чем у меня даже и форменный документ имеется, где вы особо расписались в получении долга за прошлое время, я вам должен сообщить, что госпожа Бероева — уголовная преступница и теперь находится под судом и следствием в тюрьме.

Эта неожиданная перемена тона и еще более неожиданное сообщение произвели такой эффект, что кремень-баба изменилась в лице и, почувствовав, как подкашиваются у нее ноги, опустилась на кресло.

Перед нею, круто выпрямясь, стоял и строго глядел в упор торжествующий практик.

— Госпожа Бероева, — продолжал он в том же роде, — сделала покушение на жизнь князя Шадурского, ее схватили на месте преступления, и вот она, не далее как сегодняшнего числа, объявила, что задумала преступление по вашему совету и наущению, что вы первая подали ей мысль написать князю анонимное письмо. А знаете ли, чем это пахнет?

— Господи Боже мой!.. Да что же я-то тут?.. Я ведь ни при чем, — заговорила огорошенная женщина.

— Нет-с, извините, при чем! и даже очень при чем! Вы — не более не менее как сообщница убийцы; и вы не отвертитесь, потому у меня в кармане доказательство сообщества — ваша расписка. Вы уже тем прикосновенны к делу, что тайно приняли к себе родильницу, тайно оставили у себя незаконный и преступный плод, вы — потворщица гибельного разврата; а все это — позвольте вам сообщить — пахнет лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь, в каторжные работы.

— Ну, до Сибири-то еще сколько-то там тысяч верст считается! — возразила кой-как собравшаяся с мыслями кремень-баба. — Оно несколько далеко!.. А я что ж?.. я ничего... и никаких советов не давала, а только по своей доброте душевной дала ей приют... Опять же, по-христиански, я никакой родильнице в помощи отказать не могу, на то я и бабушкой называюсь. Стало быть, я тут ни при чем таки.

— А все-таки она вас в дело запутала — и

дело-то скверное, — смягчил несколько тон Полиевкт Харлампиевич, — пойдут таскать по судам да следствиям да по полициям; оно, гляди, и станет в копейку... Да еще, пожалуй, в подозрении оставят. А скандал-то, скандал! ведь это разойдется по городу, вы на много практики своей лишитесь, а это уж и сколь невкусно!..

Кремень-баба призадумалась: в последних словах ее нежданного гостя была-таки существенная доля справедливости.

— Это, пожалуй, что и так, — подтвердила она в раздумье, — да что ж с этим делать-то!

— А вот в том-то и штука, что делать-то!.. — подхватил еще более умягченный Хлебонасущенский. — Я знаю, что нужно делать тут; а вы вот хоть и куда какая дока тоже по своим частям, а не знаете!.. То-то оно и есть!..

— Да вам-то что до этого? чего вам нужно? зачем вы явились ко мне? что это за роли вы разыгрываете? — взъелась акушерка, придя наконец в сильную досаду.

Полиевкт Харлампиевич, как ни в чем не

бывало, улыбнулся и многозначительно потер свои руки.

— Хе-хе... милая барыня!.. в ярость пришли... а вы не яритесь: это я только с разных сторон ощупывал вас, испытать желал, с кем то есть дело имею — ну и проник теперь вашу суть... Ведь вы дока, барыня, как я вижу, ух какая дока!.. Ну, так давайте-ка говорить всерьез! Хотите вы хорошие деньги получить?

— Кто ж от денег прочь? — ухмыльнулась милая барыня.

— Ну конечно, никто, в ком мозгов хоть на золотник имеется! — скрепил Хлебонасущенский. — Так вот в чем дело! — продолжал он, — эта госпожа точно оговорила вас и запутала; вы это сами увидите через день-два на деле. Стойте вы на одном: что и знать-то ее не знаете, и в глаза никогда не видали, и дел с ней никаких не имели, и ребенка у вас нет и никогда не было! Чем бы ни уличала она — отвечайте одно: вздор, ложь, оговор, ничего не знаю, ни к чему не причастна! Понимаете?

— Как же не понять!.. Только что ж из этого?

— А то, что извольте получить теперь три радужных да еще одну — на прислугу вашу, с тем чтобы вы внушили прислуге-то: пускай то же самое говорит, что и вы, — понимаете? — объяснил Полиевкт Харлампиевич, вынимая из толстого бумажника четыре сотенных. — В этих уж я расписки не потребую, — продолжал он с величайшей любезностью, — потому они только в задаток идут, а буде исполните удачно мое поручение, то и вновь получить имеете!.. Ну что, теперь питаете еще такую же симпатию к Бероевой? — шутя подмигнул Хлебонасущенский.

— Какая там симпатия? много их таковских-то! — подхватила милая барыня, вконец очарованная двоякой выгодой: деньгами и успешным выходом из предстоящего дела.

— В прислуге-то уверены? — заботливо осведомился ходатай.

— Ой, да что прислуга! в ней — как в самой себе! особенно если вы впоследствии еще что-нибудь для нее прикинете, — успокоила акушерка. — А младенца-то, я полагаю, лучше бы было как можно скорее с рук сбыть, — посоветовалась она в заключение.

— Всенепременно!.. Совсем долой его, и как можно скорей!

Затем Полиевкт Харлампиевич приступил к подробному и самому обстоятельному обучению — как и что говорить против всех показаний Бероевой; а после этой назидательной лекции поскакал «к матушке ее сиятельству» с уведомлением, что подкуп акушерки с прислугой обошелся якобы в четыре тысячи рублей серебром — просила, дескать, пять, да уторговал тысчонку ради выгод княжеского семейства, и что засим дальнейшее дельце, по неизреченной милости Господа, почти совсем улажено.

XVIII
ЕВРЕЙСКАЯ БЕРЛОГА

В Петербурге нет и не было официально «жидовского квартала»; но с тех пор, как евреям дозволено селиться в столицах, они сами по себе завели нечто в этом роде. Центр еврейского населения в Петербурге — как мы уже говорили гораздо раньше — представляют Подьяческие улицы. Садовая — от Кокушкина переулка до Никольского рынка — и набережная Екатерининского канала, близ Вознесенской церкви.

Затем некоторая часть этого населения уклонилась от своего главного центра и перебросилась за Фонтанку, у Обухова моста, по Обухову же проспекту. Тут, в одном доме, она оселась так прочно, что самое место, в среде знающих людей, получило название «еврейского двора» или «жидовского подворья», подобно тому как под Невской лаврой существует «чухонское подворье» — сборный пункт приезжих чухон и «желтоглазых»[330], откуда, между прочим, можно добывать лучших

лошадей-шведок, так как торговля ими составляет специальность «чухонского подворья».

В центре импровизированного квартала есть целые дома, сплошь заселенные одними только евреями; их легко отличить по особенному характеру грязи и запустения: снаружи в окнах — ни штор, ни занавесок, а занавешиваются они от солнца каким-нибудь камзолом или юбкой, от холоду же затыкаются бебехом, то есть подушкой или перинкой детской. На черных лестницах и во дворе под окнами вы почти всегда можете найти в изобилии рыбью шелуху, срезанную кожицу картофеля и лука, которые так и выкидываются куда ни попало.

Узкая, темная и сильно грязная лестница огромного и грязного же дома то зигзагами, то спирально вела на чердак, выше четвертого этажа. По этой лестнице осторожно нащупывала ступени женщина с ребенком на руках, которого она кутала в салоп допотопной конструкции, с длинным капишоном. В настоящее время эти салопы-антики встречают-

ся только у кой-кого из кумушек-сердобольниц с Выборгской стороны да у бедных, заезжих из провинции евреек; но лет пятнадцать тому назад их можно было видеть еще на многих из зажиточных купчих старого склада.

Пройдя в конец по темному чердачному коридору, женщина уткнулась наконец в низенькую дверь и постучалась.

— Кто там? — возвысился резкий, скрипучий, «недовольный» голос женщины, сопровождавшийся плачем и криком ребят да ворчливым тараторством взрослых.

За дверью была слышна возня; казалось, что-то прибирали торопливо на скорую руку, как-то тревожно шмыгали туфлями, хлопнули крышкой сундука и наконец успокоились. Один только детский гам да писк раздавались.

— Да кто же там? — с досадой повторил нетерпеливый женский голос, приближаясь к двери.

— Свои, — откликнулась по-еврейски пришедшая женщина.

— Кто свои? Своих много тут! Назовися!..

— Да я, я — Рахиль! не узнала разве?

— Что ж ты молчишь? давно бы сказала! — возразила хозяйка, отворив ей двери.

— Божья помощь, Божья благодать над вами! — поклонилась пришедшая, не скидывая своего салопа.

— Спасибо, Рахиль… Садись, раздевайся…

Боковая дверь в стене, ведущая в темную и маленькую каморку, чуть-чуть приотворилась, и из нее наполовину высунулась озабоченно-внимательная физиономия мужчины, лет сорока, в порыжелой атласной ермолке и круглых очках на кончике длинного остренького носа.

— Божья помощь! — снова поклонилась пришедшая, приподнявшись с убогого кожаного стула.

— Ты одна? — осторожно спросили круглые очки.

— Одна как перст…

— А никто не шел за тобою сзади?

— Никого не видала.

— Ну, то-то!.. Сара, запри же дверь на крюк! верно, опять позабыла!

Хозяйка досадливо махнула ему рукой —

дескать, успокойся, все уже сделано.

Пришедшая спустила с плеч свой салоп, перевела дух от усталости и огляделась.

Это была низкая, чердачная комната, с закоптелою русскою печью в углу и со скошенным к середине потолком — сообразно кровельным стропилам; комната тесная, полутемная, грязная, с явными признаками неряшливого беспорядка и бедности. Под двухстекольным маленьким оконцем приткнулся кое-как стол, с одной стороны которого Сара — болезненно-желтолицая, средних лет женщина, в каком-то подобии чепца, с разноцветными слинялыми лентами, поверх шелкового черного парика с прошивным белым швом на месте пробора — приготовляла к обеду какую-то рыбу; а с другой стороны присел на табурет мальчуган лет десяти и, болтая ногами, с явным неудовольствием пронзительно монотонил в долбежку заданный урок по засаленной еврейской книге в древнем черном переплете. Рядом с ним, угрозливо держа наготове розгу, восседала совершенная сова в образе старушечьем — почтенная, беззубая, крючконосая бабка этой се-

мьи, с тупо-старческими свинцовыми глазами, в волосяном парике затхло-рыжего цвета, над которым торчали желтые и лиловые банты, в каких-то лохмотьях вместо одежды — и все время неугомонно ворчала, с мелочной, затаенно-старческой злостью ворчала то на своего ученика, то на болезненно-желчную хозяйку — невестку свою, то на полунагих замарашек-жиденят, которые ревели, пищали и дрались на полу за право обладания замученным котенком, валяясь по разбросанным вонючим бебехам. Позеленелая медной окисью люстра о семи подсвечниках, прикрепленная посредине сильно закоптевшего потолка, сырость, грязь и нестерпимая вонь чесноку да сырой рыбы дополняли обстановку этой мрачной берлоги. В полураскрытую дверь от темной каморки было видно, как при свете сального огарка круглые очки пересыпали что-то вроде сухой травы с большого жестяного противня в маленькие тюрички из бумаги.

— Берко что делает? — спросила пришедшая, кивнув на каморку.

— А что и всегда: чай фабрикует, — отвечала Сара тем тоном, который показывал, что

занятие Берки не составляет тайны для ее гостьи.

— Капорский?

— Да, капорка!.. Впрочем, нынче не голый: он теперь из одного трактира — тут поблизости — покупает от мальчишки спивной чай... Вот и теперь еще сушится на печке... потом мешаем с капоркой... так-то лучше выходит, и сбыт ничего.

— А сбыт по-прежнему, все за город?

— За город... Маймисты перекупают.

— Помогай Бог, помогай! — вздохнула пришедшая и развернула принесенного ребенка.

— Чье это у тебя дитя? — спросила хозяйка, не без удивления оглядев его, потому что, пока оно было закрыто салопом, Сара полагала, что это вещи, которые Рахиль принесла для сбыта, в качестве «темного» товара.

— Дитя-то?.. Христианское, — улыбнулась Рахиль, показывая ребенка.

— Зачем оно у тебя?

— К вам принесла...

— Ой, полно говорить загадки!.. у нас и своего писку довольно... Берко! Берко! — стала она кликать своего мужа, — брось капор-

ку! ступай сюда! — Рахиль дитя принесла, говорит — христианское!..

Берко вышел из своей каморки; старуха бабушка, не выпуская розги, тоже подошла и злобно наклонилась к младенцу.

— Христианское... христианское... — повторяла она почти бессознательно, хотя все с тою же брюзгливо-старческой злостью, и разглядывала с разных сторон ребенка, будто необыкновенную и невиданную диковину.

— Зачем у тебя христианское дитя? — любопытно спросил подошедший Берко.

Маленькие чумазые замарашки тоже поднялись с полу, оставя своего котенка, почесываясь, обступили пришедшую, словно лисенята, которым матка только что принесла в берлогу на завтрак вновь украденную курицу.

— Сбыть его надо — мне хозяйка поручила... не поможешь ли? — обратилась Рахиль к еврею.

— Куда же сбыть?.. Как его сбыть? — изумился Берко, поправляя очки и ермолку.

— Куда-нибудь... все равно... Я не знаю, куда мне с ним теперь?.. — говорила Рахиль. — Хозяйка мне приказала: «Как хочешь, только

чтоб его не было; сейчас же, куда знаешь, неси со двора», — я и понесла... Помоги мне, Берко! Ты разумный человек, ученый человек — ты сбудешь!

Берко прицмокнул языком и раздумчиво поглядел в окно.

— Ты не солгала? — строго спросил он, минуту спустя.

— Ой, Боже мой! зачем я буду лгать... я прошу, помоги мне.

— Херим? — еще строже вопросил еврей.

— Херим! — открыто подтвердила женщина.

Берко с важностью погрозил ей пальцем:

— Смотри, женщина!.. не будь клятвопреступницей!.. Херим — великое слово, великая клятва!.. по закону — смерть за ложную клятву...

— Херим, херим! — с твердым убеждением и настойчиво повторила Рахиль.

Берко медленно прошелся по комнате между разбросанными бебехами и, словно соображая что-то, заложил за спину руки.

Сара и сова-бабушка внимательно наблюдали каждое его движение.

— Хорошо! — остановился он перед Рахилью. — Посиди здесь — я сбуду христианского ребенка — сейчас же сбуду... Сара! подай мой картуз да убери лишнее в каморке.

И Берко, накинув на себя, поверх длинного суконного сюртука, коричневую камлотовую шинель, надел рыжую котиковую шапку, бессменно служащую ему зиму и лето, и вышел за дверь квартиры, оставя в полном недоумении касательно своих намерений все свое семейство и пришедшую гостью.

XIX
ПРИТОН НИЩЕЙ БРАТИИ

На Фонтанке, между Обуховым и Измайловским мостами, есть один узкий, кривой переулченко, который тремя неравномерными зигзагами выводит путника с набережной на Большую Садовую улицу, как раз напротив Управы благочиния. Здесь когда-то находились дома и бани купца Малкова, отчего и самый переулченко официально получил название Малковского. Теперь эти дома давно уже принадлежат другим владельцам, но имя

переулка напоминает и до сих пор о владельце первоначальном, который, по плану и расположению своих построек, быть может, был даже и основателем его.

Но, во всяком случае, это — очень скверный переулченко, и для хождения в глухо-ночное время далеко не безопасный, ибо для карманов, боков и одежды прохожего может быть весьма убыточен. С левой стороны его (если идти от Фонтанки) во всю длину тянется глухая, заплесневело-черная стена огромного здания бывшей питейной конторы. Эта безоконная и безворотная стена в устье переулка на Садовую кончается низеньким зданием преобширнейшего и прегрязнейшего кабака, который и по наши дни здравствует вполне благополучно. С правой (от Фонтанки же) стороны, после бань, весьма непрезентабельного вида, тянется древний, расшатавшийся и довольно высокий забор, который на середине переулка обрывается воротами и затем вновь продолжается до угла каменного старого дома, где лепится и громоздится друг на друга, в духоте, грязи и копоти, густое население рабочего мастерового

люда. Если бы вы зашли в ухабистый Малковский переулок и заглянули в те ворота, что прорезали собою старый, покривившийся забор, то взорам вашим представилось бы весьма картинное (без шуток!) безобразие. Представьте себе трехэтажный разрушающийся дом, на тяжелых, глубоких и узких сводах, над которыми лепятся животрепещущие деревянные галереи, а за ними видны каменные лестницы, с обвалившимися перилами в виде точеных деревянных столбиков. Как еще до сих пор не рухнули эти галерейки и лестницы — один Господь только ведает! Посредине этого бесфасадного здания выдается каменная пристройка, с очень картинно обвалившейся штукатуркой и тремя или четырьмя темными, бесстекольными оконцами, — пристройка, напоминающая собою снаружи нечто вроде старой, неуклюжей башенки. Обок с этой башенкой, под низким и глухим сводом, притаился почти незаметно сквозной и узкий коридорчик, который есть не что иное, как проходец на соседние закоулочные дворы и задворки, где представляется царство навоза, дров, ломаных телег и дровней, ста-

рых ящиков из-под водки, бочек, гнилых досок и тому подобного хламу. Иные из галерей и балкончиков этой странной конструкции дома сохранили кое-где сплошные рамы в мелкую клетку, с битыми, разнокалиберными стеклами, на других — свободно гуляющий ветер пестро колышет развешанную на протянутых веревках разноцветную домашнюю рухлядь по части белья и носильного платья; тут и сорочки, и зипуны, и платки ковровые, и юбки ситцевые, и все, что только может напялить человек на свои плечи. В ясный, солнечный день яркие лучи необыкновенно живо и тепло освещают эти древние лохмотья, инде сквозь их дыры и прорехи проникая на заплесневелую стену, где, колеблясь, ложатся ярко-золотистыми пятнами.

И вот в такой-то солнечный день, особенно если это будет праздник, на эти галерейки и на двор высыпает много народу — сидят себе на солнышке да калякают. Тут по преимуществу сходятся два возраста — старческий и детский, и все это толчется в дырявых лохмотьях и пестрых заплатах, играя в орлянку да в бабки. Средний человеческий возраст по

большей части пребывает в трактирах: он ради праздника сбрасывает лохмотья, наряжается в хорошие чуйки и платья и занимается чаепитием, «кофиями» да водочкой по малости балуется. По двору бродят тощие собаки, которые поставляют себе в непременнейшую обязанность кидаться на каждого постороннего, если бы таковой вздумал завернуть во двор этого странного дома.

Странный дом, между прочим, служит притоном для нищей братии.

Если бы наблюдатель, взглянув на двор, со двора под навесы каменных арок да на галерейки, оттуда переступил за порог нищенской квартиры — ему бы во всех этих пунктах представились картинки совершенно в теньеровском вкусе.

— Маврушка! старушка ты, красоточка, — игриво мелет коснеющим языком раскрасневшийся от водки беззубый старичонко, похотливо обнимая и трепля по морщинистой щеке седую нищенку, обнажившую от лохмотьев свою грудь и костлявые плечи, — я тебя облюбил, Маврушка, и завсегда с нашим почтением оченно то ись облюбил, а ты, пада-

лина дохлая, на Слюняя заглядываешеся!.. а?.. не срамно тебе это!.. нет?..

— Что мне Слюняй!.. невидаль какая!.. — с нежной истомой и своего рода кокетством цедит сквозь зубы захмелевшая старуха. — Я соблюдаю себя, чтобы завсегда как была, есть и буду... Я, значит, верность тоже иметь желаю... и чувствую, значит... (Старуха начинает пьяно всхлипывать и плачет.) И ты меня не обидь... никогда ты меня не обидь... а не то — наплюю...

— Да!.. верность!.. — бормочет малковский Отелло. — А сама Слюняю подмигивала... Зачем за обедней шепталась с ним? Не видел я, что ли!.. Это нехорошо... я тебе друг и полюбовник есть — так ты и понимай это, песья дочка, подлюха!.. По-цалуемся... Ну!.. п-цалуемся же!

— Душенька... миленький... поднеси шкальчик... — не вяжет лыка вконец уж размякшая Дездемона.

И эти безобразные сцены почти на каждом шагу разыгрываются в странном, разрушающемся доме.

Вот, под навесом, старый солдат нещадно

лупит ремнем по спине мальчика и девочку, направляя попеременно то на того, то на другую свои удары. И на пронзительные крики этих детей никто не обращает ни малейшего внимания: они не раздирают ничьего уха, не коробят ничьих нервов, не смущают ничьего сердца — потому каждый занят тут сам по себе, своим делом, своей подругой, своею беседой приятной и своим еще более приятным полуштофом. Старый солдат в полную волю дает моцион своей расходившейся руке. Самому лень было идти на улицу просить подаяния — «потому праздник, всякая тварь, по писанию, отдыхать должна», — он и послал двух сирот, доставшихся ему на попечение от его подруги, что померла в Калинкинской больнице. Показалось ему, с пьяных глаз, что дети мало принесли подаяния, надо бить их — зачем мало, значит, выручили; подозревает, что себе утаили и добивается, куда и как оно утаено.

Безобразная лупка ремнем продолжается долго — пока дети не упадут замертво, пока не устанет рука их мучителя. Посмотрит тогда он на их синяки с кровавыми рубцами и

подумает: «Ладно! с язвами-то, надо полагать, больше творить им станут милостыню Христову — это дело, значит, нам на руку!» — и пойдет заливать водкой остаток своей расходившейся злости.

А там вон, на куче навоза, под опрокинутыми телегами, за грудой пивных ящиков, притаились в бочке двое жалких болезненно-исхудалых существ и жадно тянут водку из горлышка косушки, заедая ее грошовым пряником да паточными леденцами. Это — мальчик лет тринадцати и девочка лет десяти. Хозяева их, которым они нужны для тех же целей, как и солдату побиваемые дети, напились сегодня пьяны до бесчувствия — этим обстоятельством воспользовалась укрывшаяся пара, чтобы украсть у них несколько денег и косушку водки. Эти дети с год уже как сдружились между собою, у них все общее, они — муж и жена. И пьяная Дездемона со своим Отелло, и побиваемые мальчик с девочкой, и вся остальная артель очень хорошо знают, что чернавка Катька — полюбовница Гришки косого и что Гришка косой вчера напропалую бил свою Катьку за то, что та грош христарад-

ный от него утаила. Но сегодня Гришутка с Катюшкой в согласии живут — пойти поглядеть нешто, что они там в бочке-то делают! И вот человек шесть осторожно, на цыпочках подкрадываются к куче навоза, приманив за собою двух-трех тощих собак-дворняжек.

— Ату их!.. Жучка! Арапка!.. у-сю-сю!.. у-лю-лю! Бери их! рви их!.. — раздаются вдруг азартные восклицания в подкравшейся кучке. — А, черти! вы тут целоваться!.. Глядикося, бабонька, обнимаются!.. Ах вы, провал вас дери!..

И начинается травля собаками влюбленной пары, сопровождаемая утешительным хохотом и весельем охотников. Гришка косой уже храбро борется вповалку ногами, руками и зубами с псом Арапкой, проникнувшим в его бочку, а Катюшка успела как-то выскочить из своего тайного убежища и с криком удирает по двору — только босые пятки мелькают — от двух собак, хватающих ее за икры да за лохмотья убогой юбчонки, сквозь которую в огромных прорехах белеется ее худенькое детское тело.

И эта травля устраивается не потому, что-

бы орава нищих находила предосудительными отношения Гришки косого к Катьке-чернавке, а просто ради потехи: дай, дескать, помешаем да потравим их маленько, шутки ради; притом же и собаки не злые — так только погрозят, а чтобы порвать — никогда не порвут своего, домашнего человека.

И будь на месте этой малолетней пары дряхлый Отелло со своей беззубой Дездемоной — травля учинилась бы и над ними в точно таких же размерах и из таких же побуждений. Но, к чести малковских сердец, надо прибавить, что ни одна такая потеха не доходит до чересчур серьезных последствий, потому что в среде обитателей странного дома каждый раз у кого-нибудь возникает горячий протест против травли, особенно на малолетних.

Эти темные закоулки в чуланчиках и сараях, на погребах и чердаках, под телегами, в бочках, за дровами и во всех подобных местах служат, равно и зимой и летом, удобным местом для дележа затаенных денег и для любовных отношений нищим-малолеткам; а нищие взрослые пользуются ими с другою це-

лью: забившись в такой укромный уголок, втайне от всех артельных и посторонних глаз, какая-нибудь баба или солдат подпарывает там свою жилетку или юбку и зашивает деньги, разменяв их предварительно на ассигнации.

XX
ЖЕРЕБЬЯ НА ЗАКЛАДКУ

К этому притону направлял свои стопы еврей Берко, тщательно завернувшись в камлотовую шинель от пронзительной снежной завирухи и нахлобучив на глаза неизменную котиковую шапку.

Сопровождаемый лаем собак, поднялся он на лестницу и вошел в квартиру, где обитала нищая братия.

Духота жарко натопленной печи, дым махорки и пар от ежеминутно растворяемой двери, общая грязь и сырость, писк грудных младенцев и руготня баб, говор мужчин и пьяные возгласы — человек двадцать разного народа и всякого возраста, в полной бесцеремонности, по-домашнему, кто как попало и в

чем попало, штопают, пьют, едят, спят, дерутся, обнимаются, в карты играют — вот та картина, которую увидел вошедший Берко.

— А где зе вас больсий? — спросил он с обычно-еврейским гнусливым распевом, остановясь в дверях.

— Какого тебе большего? старосту, что ли?

Еврей утвердительно покачал головою.

— Слюняй! а Слюняй! Подь к жиду — тебя кличет!..

Косоглазый и криворукий Слюняй лениво поднялся с кровати, на которой, поджав под себя ноги, играл в кости с благочестивым ходебщиком на мнимое построение храмов.

— Чего тебе, гамоно ухо? зачем мою милость тревожишь? — в шутливо-грозном тоне подступил он к еврею.

— Сэкрэт... великий сэкрэт, — сообщил ему Берко, мигнув глазами на дверь, за которую тотчас же вышел со старостой.

Минут через пять они воротились.

— Гей!.. артель! на сходку! Полно ругаться! Ходи сюда все да слушай! — возвысил голос косоглазый Слюняй, становясь посредине комнаты.

Вся братия беспрекословно тотчас же бросила свои занятия и обступила набольшого.

— Кто хочет младенца купить? Кому младенца надо — предложил набольший.

— Мне!.. Нам!.. Я хочу!.. Тетке Мавре надо! Аксинье надо!.. Матрешка, ты, кажись, хотела?

— Пошто Мавре?.. Мавра и с поленом питается...

— У ёй кукла из тряпья сверчена — заместо живого сходит...

— Да!.. Ты, леший, знаешь — нужно ли, нет ли! про то мое знатье!

Такого рода возгласы градом посыпались со всех сторон вслед за предложением старосты.

— Цыц, народ! — повелительно поднял он вверх свою руку, вытянув указательный палец. — Кому нужно — вались направо, кому нет — на месте стой...

Пять-шесть баб, молодых и дряхлых, отделились на правую сторону.

— Ты, Аксюха, куда это навалилась? — обратился к одной из них староста. — У тебя уж один младенец есть ведь! — чего ж те надо?

— Я другого еще желаю! — вступилась за себя старуха.

— Да куды-те с двумя деваться-то!

— Обеих на руки сгребу: одного на правую, другого на левую — так и промышляться буду.

— А подаянье, стал быть, зубами приймать станешь?

— Зубами ли, другим ли чем — про то уж наше дело.

— Ну ладно, по мне — все равно! тягайся, пожалуй, и ты с другими!.. — согласился староста, махнув на нее рукою, и вслед за тем провозгласил во всеобщее сведение:

— Младенец мужеский, третий месяц идет, здоровый, сказывает жид. Кто может — тягайся, а кто нет — отступись сейчас же, потом отступаться уж не дам... Ну — раз!.. Отступайся... Два!..

Одна бабенка, после минутной нерешительности, торопливо, но с неудовольствием отошла в сторону.

— Три! — махнул Слюняй. — Стал быть, пятеро тягаться будут? Ну ладно, теперь жеребья закладывать! Тащи жеребья на закладку!..

сюда!.. живо!..

Оставшиеся женщины бросились к своим сундукам и поспешно закопошились там в разном тряпье и свертках. Все они принесли свои жеребья: какую-нибудь старую копейку с рубцом, надкушенным на ней с помощью зуба, какой-нибудь погнутый грош с особой отметиной — и все эти монетки опустились в шапку, которую обеими руками держал перед собою староста. Каждая баба непременно сама, собственноручно клала в эту шапку принадлежащий ей жеребий.

— Кого желаете в Соломоны-цари?.. Кто выймать станет? Робенка, что ли, какого взять?

— Нет, пущай сегодня слепыш выймает! Слепыша желаем! Он — божеский человек, честный, потому — незрячий, — затараторили тягальщицы.

— Слепыш так слепыш! Ведите сюда Миколу!

К шапке подвели слепого старика, и он, по слову старосты, осторожно стал вынимать из нее один за другим брошенные жеребья. После каждой вынутой монеты, которую тотчас

же с рук на руки получала владелица, Слюняй непременно встряхивал свою шапку.

— Последний чей? — вопросил он, когда на дне уж ничего не осталось.

— Мой! — стремительно подступила к нему обрадованная Мавра — поэтическая Дездемона малковского Отелло.

— Ну, стал быть, и ребенок твой! — порешил Слюняй, хлопнув ее по ладони. — Теперича литки с тебя на артель надо! Вали на четверть да ходи получать покупку.

Женщина отдала ему деньги на четверть ведра водки и, мигнув своему Отелло, поспешно стала одеваться. Отелло вышел вон из квартиры, а одновременно с ним удалился и староста с продавцом-евреем, который в сенях вручил ему, по условию, обещанный во время предварительных переговоров процент, хотя сумму еще предстояло ему самому получить у себя на квартире, при окончательной отдаче ребенка.

Между тем вернувшийся с чердака Отелло, где он из подпоротой жилетки доставал свои общие с Маврой деньги, сунул их в руку Дездемоне, а та тщательно завязала бумажку в

конец платка и отправилась вместе с Беркой за получением покупки.

XXI
ЯЗВЛЕНИЕ

Когда Мавра возвратилась домой с приобретенным младенцем, в нищенской артели кипело разливанное море. Четверть была уже роспита, что совершилось необыкновенно быстро, словно бы всю эту артель томила жажда Сахары: малковского Отелло общим приговором заставили раскошелиться еще на четверть — и хмельной старичонко выложил до копейки свои последние деньги.

— Ты не тужься, не жмись! — ублажали его товарищи. — Теперь Маврушка, знаешь ли, каких делов понавертит? Прибыль-дела пойдут, потому теперь младенец у вас — во что!

— Поязвить бы его надо, — заметил старичонка.

— Можно и поязвить, — согласились некоторые. — Теперича малёшенек еще: пущай пока Мавруха и так походит с ним, а потом

для че не поязвить? Поязвим!..

— Не! я теперь желаю! — настаивал старичонка.

— Ну, мало ль чего ты желаешь! пообождешь!

— Не желаю ждать!.. *мой* молоденец, я платил деньги, а не вы платили — значит, и молчи!

— Да гляди, пес, не вынесет — помрет.

— Не смеет помирать!.. Никак он этого не может, потому деньги за него заплачены!..

— Да, как же!.. Так он у тебя и спросит: «Позвольте, мол, ваше ничевошество, Калина Силантьевич, помереть мне!» Позволенье возьмет!..

— Он этого не должон — помирать-то!.. Аксюха двухмесячного на острой водке травила, да вот жив-живехонек... и я потравлю!..

Голоса в артели разделились: одни, хоть и пьяные, настаивали, что никак не должно язвить и нельзя допущать до этого, потому рано еще; а другие относились индифферентно: дескать, пущай его, коли уж охота есть такая! Нам-то что — не наш младенец, не мы ведь, и в сам-деле, деньги за него платили. Пусть его

травит! Индифферентная сторона, по большинству своих голосов, одержала верх; а когда принесли из кабака вторую четверть, на которую так великодушно изволил раскошелиться Калина Силантьевич, пьяная орава и вконец махнула на него рукой: твори, мол, что знаешь — твое добро! И старичонка немедленно же пожелал приступить к язвлению.

Мавра сначала колебалась, но потом одолело ее такого рода корыстное соображение: «Случается, что и моложе травят, да не помирают же: авось и этот не помрет!.. А с язвленым-то как пойдешь завтра побираться — гляди-кося, сколько надают! За две недели в барышах будешь!» И старуха не поперечила настойчивому желанию своего возлюбленного.

Силантьевич осведомился, есть ли у нее деньги — оказалось, что ни гроша.

— Ну и у меня ни копейки! — с досадой развел он руками. — Пойти, нешто, попросить у кого... Братцы!.. Займите кто до завтра полтину!

— На что тебе?

— Да вот, острой водки малость самую купить... Мне тут по знакомству — с одной мускательной лавки — добудут... Одолжите, братцы!

— Это те на што ж? Младенца травить? Не, брат, трави сам, как знаешь, а от артели нет тебе на это соглашенья раньше месяца!..

— Эки черти, завидно вам, что ли, что младенцем раздобылся!.. Займите, милые, разлюбезные!.. Поспособствуйте!..

— От артели, сказано, нет тебе ничего!.. Твое добро; околеет — на нас пенять станешь; а ты сам как знаешь, так и орудуй!.. Вон — Дырин ногу себе травит: попроси у него, може и даст...

Один из нищих, менее прочих пьяный, сидел на печи и растравлял себе к завтрашнему дню руку и ногу. Налив из пузыречка в черепок острой водки, он опускал в нее медную гривну и потом, обернув свои пальцы в тряпицу, прикладывал эту гривну к голому телу. Минут через десять на этом самом месте образовывалась отвратительная, зияющая язва.

— Дырушка, батюшка, одолжи-ка на минутку гривенку свою, — заискливо обратился

к нему Калина.

Дырин, вместо всякого ответа, молча, но выразительно показал ему шиш.

Калина плюнул к нему на печь и отошел с великой досадой.

— Ладно же, и без вас обойдемся!.. Маврушка! Наставь-ко самоварчик...

Пьяная орава меж тем стала песни играть и потому никто не обратил достодолжного внимания на дальнейшие намерения хмельного Калины; а он тем часом все похаживал, шатаясь из угла в угол, да поваркивал себе под нос: «Ладно, ужо увидим, черти!.. и без вас потравим».

Ах ты, теща моя,
Доморощенная!—

раздавалось в среде гульливой оравы, когда старуха Мавра пронесла кипящий самовар за Калинины ширмы, в его угол, который они вдвоем занимали в артели.

Вдруг, через несколько минут, оттуда послышался пронзительный, неестественный крик младенца и руготня Калины с Маврой:

— Перепустил, черт! говорю, перепустил!..

Будет...

— Молчи, ноздря!.. не твое дело!..

— Батюшки!.. отымите!.. — раздался ее крик, сопровождаемый вторичным воплем младенца.

Слюняй и несколько человек бросились за ширмы.

Калина, захватив под спину ребенка, держал его под открытым краном самовара и ошпаривал крутым кипятком щеки, шею и плечи. Мавра силилась отнять свою покупку; но Силантьич вцепился ей в ворот свободною рукою и не допускал до младенца. Хмель разобрал его уж окончательно — он сам почти не понимал, что делает.

Ребенка вырвали у него из рук. Калина вошел в амбицию, вздумал сопротивляться и полез было в драку. Его повалили — и на пьяного старичишку посыпался град пинков и ударов. Мавра выла, а Силантьич, валяясь по полу, сипел хриплым голосом:

— Бейте, ну, бейте меня! А все ж таки поязвил. А все ж таки поязвил!

И наконец завопил неистовейшим образом: «Караул! грабят!» После чего орава отсту-

пила, оставив на произвол судьбы избитого сочлена.

Мавра, не переставая выть и жаловаться на свое бездолье горемычное, подняла его с полу и уложила спать. Орава же, сознав свою победу над Калиной, казалось, еще с большим одушевлением продолжала пить и горланить «тещу доморощенную», со звуками которой мешались стоны и кашель старичишки, всхлипывания его подруги да надрывающий душу, непрестанный крик поязвленного младенца.

XXII
КОНЦЫ В ВОДУ

Была уже глухая ночь, когда Силантьич проснулся и, кряхтя да охая, попросил испить водицы. По всей комнате раздавался храп нищей братии. Лампадка перед темными образами, в переднем углу, слабо озаряла спящий вповалку народ. Все это, перепившись вконец, валялось как попало, на лавках и под лавками, без разбора пола и возраста. Не спала за ширмами одна только старуха

Мавра. Сидя на табурете перед своим убогим столишкой, она бережно держала на руках младенца и все еще вздыхала да плакалась на то, что пропадом пропали теперь ее денежки кровные, христарадные, потому — младенец уж кончается.

Ребенок точно кончался. Он уже не кричал, а только хрипел да корчился в предсмертных конвульсиях.

Старик, напившись из кадки, вернулся за ширмы и выпучил глаза на младенца.

— Что с ним? — спросил он у Мавры.

— Отходит, — прошептала та с новыми слезами и ругательствами на своего возлюбленного.

Силантьич, проспавшись изрядное время и, стало быть, несколько протрезвясь, припомнил теперь, хотя и смутно, все, что натворил за несколько часов перед этим. Он с ярой досадой схватился за свои виски и начал дергать жидкие, седые волосенки, шепотом пеняя самому себе на давишнее безобразие.

— Прысни на него водою, пущай встрепохнётся, — с сердцем посоветовал он Мавре.

— Чего встрепохнётся!.. Он уже помер, гля-

ди... не дышит, не шелохнется... двадцать пять рублев мои! — плакалась в ответ старуха.

Старик поднялся с кровати, положил руку на грудь младенца и чутко стал прислушиваться.

— Холодеет, — прошептал он несколько минут спустя, — пуще холодеет... помер...

— Что ж теперь делать нам?! — со страхом откликнулась Мавра.

Калина понуро молчал, свесив ноги с постели. Он, казалось, что-то соображал и раздумывал.

— Надоть бы старосту взбудить, — домекнулась старуха.

— Нишни!.. не теперь, поутру шепнем... А ты молчи, знай ни гугу!.. Слышь?.. Чтобы никто ись ни-ни!.. понимаешь?

Мавра утвердительно кивнула головой.

— То-то!.. подай-ка мне веревку, что ль, какую!.. Да вот что еще, — шепотом распоряжался старик, — выдь на двор, поищи там кирпичика аль булыжника, потяжельче который, да тащи сюда живее... где у нас кулек-то?

— Под кроватью, кажись...

— Ну, добро, отыщу уж!.. Ступай за камнем!..

Старуха осторожно вышла за дверь. Калина приготовил веревку да рогожный кулек и, в ожидании своей возлюбленной, прилег на кровать, обок с изуродованным, мертвым ребенком. Он все еще раздумывал, как бы половчее дело это обстроить.

«Слюняю беспременно надо будет всю правду сказать, — размышлял Калина. — Он, собака, хоша и слупит за молчок рублев пять-шесть, да нечего делать! Артели — для виду скажем, что ночью Мавруха назад отнесла его к жидам: раздумала, мол... догадаются, ироды!.. Ну да пущай догадаются! коли Слюняй накажет, чтобы ни гугу, значит, так и молчи! дело полюбовное... Водки за молчок ведь потребуют... нечего делать, и водки поставить придется!.. Разорение, да и только! Последние двадцать пять канули!.. Охо-хо!.. знать, за грехи наши тяжкие...»

Скрипнула дверь — Мавра принесла кирпич под полою.

— Страсти просто... боязно как-то... на чердак ведь за проклятым бегала, — сообщила

она, еле переводя дух от волнения, — а на чердаке-то, гляжу — в углу зеленое что-то светится... я было назад, а он как порстнёт мимо меня — инда обмерла вся... думала — черт, а это, гляжу, — кошка... Перепужала до смерти, чтоб ей пусто было!

— Те... молчи, народ еще перебудишь! — унял ее Калина, погрозив рукою. — Привязывай, что ль, скорее кирпич-то к нему!.. я оденусь тем часом...

Он стал обуваться, натянул на себя кой-какую одежонку и, стащив с гвоздя чужую широкую шинель, накинул ее на плечи. Старуха меж тем плотно подвязала веревкой кирпич под спину младенца и вдвоем с Калиной опустила в кулек его маленький трупик.

Нищий нахлобучил шапку и спрятал под полой шинели свою необычную ношу.

Кто-то забредил впросонках... Кто-то со стоном на другой бок перевернулся!..

Старики вздрогнули и на несколько мгновений замерли на месте. Они стояли не шелохнувшись, пока все умолкло и заснуло.

— Господи, помоги!.. Пронеси счастливо, царица небесная! — покосился Калина на

лампадку, мутно кидавшую свое мерцание на мертвецки пьяный сон безобразной оравы.

— Кулек-то, гляди, не брось тоже!.. лучше назад принеси — вещь годящая, — наказывала Мавра, отпуская из-за ширм Калину Силантьевича.

Ночь была глуха и черна. По безлюдному Малковскому переулку слабо мигали залепленные снегом два-три фонаря, да и в тех-то масло горело словно бы нехотя каким-то убогим, тощим светом, который ничего не озаряет, а только еще усиливает окружающий мрак. Прямо в лицо гудела холодом мелкоснежная завитуха, и ветер порывисто развевал полы одежды.

Старик один-одинешенек шагал по переулку, старательно запахивая свою шинель. Кулек с кирпичом и младенцем оттягивал ему руку и все выставлялся наружу, к крайней досаде нищего, у которого сердце колотилось далеко не спокойным еканьем: «Ну, как на хожалого наткнешься да остановит тебя?»

— Борони, Господи, пронеси, Владычица! — бормотал он старческими губами и все

шел далее...

Вот наконец и набережная Фонтанки.

Силантьевич стал, прислушался и огляделся вокруг. Нигде ни души, все пусто и глухо, одна только завитуха сыплет нескончаемым снегом, да шальной ветер еще порывистей гуляет на просторе.

Старик спустился на реку и в серых потемках наткнулся на три елочки и жердяную огородку.

«Прорубь... — подумал он, — тебя-то нам и надо». Тонкая ледяная кора, которою за ночь затянуло эту прорубь, звучно хрустнула под тяжестью опущенного кулька, затем сквозь нее вода хлынула — и ноша Силантьевича благополучно пошла себе ко дну.

«Концы в воду!» — махнул он рукою, подымаясь по оледенелому спуску.

XXIII
ОЧНЫЕ СТАВКИ

Прошла неделя с тех пор, как с Бероевой снят был первый допрос у следственного пристава. В течение всего этого времени ее никуда не вызывали — она безвыходно сидела в своем секретном нумере. Тоска, упорная и долгая, непрестанно глодала ее грудь своими тихо ноющими захватами. У нее сжималось сердце при мысли о детях; о своем положении она менее думала даже — с воспоминанием о них и совсем забывала его порою. Да и притом у нее все-таки еще мелькала впереди смутная надежда на свободу, на полное оправдание себя при следствии и перед судом. «Ведь есть же на свете правда!» — старалась она уверить себя и все ждала и ждала исхода.

Но тянулись дни за днями, тянулись долгие бессонные ночи — и на душе арестантки становилось все мрачнее и тяжелее; надежда, мелькая уже гораздо реже, с каждым днем и с каждым часом слабела все больше, а с ней

вместе слабели и силы Бероевой. Мрачная комната, со своей суровой обстановкой, подпольными обитательницами, вечной сыростью и холодом по ночам, отсутствие сколько-нибудь мыслящего лица человеческого, за исключением сонливой физиономии молчальника сторожа, и неизвестность о дальнейшем ходе своего дела — все это непрестанным гнетом своим ложилось на душу заключенницы, давило на ее мозг такого рода впечатлениями, что она уже крайне близка была к умопомешательству; блуждающие глаза, потерянный вид, нервно-боязливые движения являлись признаками, обличающими начало болезненной мании, к которой так располагает постоянное одиночное заключение. В течение этой недели, казалось, все забыли о ее существовании, кроме сторожа, приносившего ей утром обед да воду, а вечером вонючий ночник. Грязная копоть этого ночника мутила обоняние и першила в горле; клопы и черви беспрепятственно ползали по ее платью и белью, о перемене которого никто не заботился, так как при съезжих домах арестанты по большей части содержатся в соб-

ственном костюме, причем неоднократно бывают случаи, что женщины в секретных остаются в одном и том же одеянии, белье без перемены по три-четыре месяца, если даже не больше; это белье истлевает до такой степени, что, порождая миазмы, вконец расползается на теле.

Затхлый воздух, насыщенный нежилою сыростью, и отсутствие движения в трех-четырехаршинном пространстве успели уже наложить свое болезненное клеймо на организм заключенной. Грудь ее подалась вовнутрь, плечи слегка осунулись, равно как и все черты ее красивого лица; члены отощали, во всем теле появилась какая-то вялость; глаза поблекли и украсились вокруг буроватою синевою, загораясь блеском только во время ночных пароксизмов нервной лихорадки, которою, под влиянием условий своего заключения, начинала уже страдать арестантка! Еще две-три недели такого существования — и в исходе для Бероевой представилась бы только больница для умалишенных с последним путешествием в болота какого-нибудь из петербургских кладбищ.

Но смутная надежда на доброе окончание дела все еще тлела в ней слабеющей искоркой. Каждое утро она начинала ожиданием, что сейчас раскроется дверь и ее поведут в следственную камеру, где она уличит своих противников во всех их гнусных замыслах и спутанной интриге против нее — в интриге, затаенные нити которой, однако, до сих пор еще оставались для нее темнейшею загадкой.

И наконец она дождалась.

Одурманенная струею свежего воздуха, которым пахнуло на нее из надворного коридора, вышла она, вместе с вооруженным солдатом, в следственную камеру, шатаясь и еле различая затуманенным взором группы каких-то посторонних лиц, как будто несколько знакомых, но каких именно — Бероева не успела ясно разглядеть и составить себе о них какое-либо представление.

Она с трудом переводила дыхание, казалась очень слабою и больною, так что следователь предложил ей сесть и оправиться.

Он был очень угрюм, с оттенком крепко озабоченной мысли в лице, как бы говорив-

шей, что обстоятельства следствия становятся очень темны и запутанны. Первые знаки участия его к арестантке подействовали на нее несколько ободряющим образом, но затем вид этой угрюмой, досадливой озабоченности снова мучительной ноющей болью оледенил и сжал ее сердце. Оно забилось тоской ожидания.

— Вам надо дать теперь очную ставку с госпожою фон Шпильце и другими лицами, — обратился к ней следственный пристав, — вы должны уличить их и подтвердить справедливость ваших показаний.

Бероева тихо взглянула на него взглядом безмолвной благодарности. Эти слова зажгли в ней надежду и убеждение, что ее правота восторжествует, но от ее последнего взгляда брови следователя, казалось, еще больше нахмурились.

— Госпожа фон Шпильце! потрудитесь войти в эту комнату! — возвысил он голос — и на пороге появилась блистательная генеральша в дорогой шали, с сверкающими кольцами на толстейших коротких пальцах. За нею — в обычно-почтительном согбении,

кошачьей поступью пробирался Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский.

— Я не какая-нибудь! — резко и с самоуверенной гордостью начала Амалия Потаповна своим несколько крикливым полиглоссическим акцентом, к следователю в особенности: — Je suis une noble dame, monsieur!..[331] Я известна барон фон Шибзих, граф Оксенкопф, генерал Пупков, сенатор Пшесиньский... я знакома со все князья и графы... Я до шеф-жандарма пойду... Меня нельзя оскорблять — я сама генеральша!..

— Да вас никто еще не оскорбил, — попытался прервать ее следователь; но генеральша не унималась.

— Нет, оскорбиль, оскорбиль! ви оскорбиль! — возвысила она голос, жестикулируя руками. — Меня до полиции призывают, на одна доска со всяки мошенник ставят! Я — благородна генеральша, я ничего не знай, я будет жаловаться! граф Оксенкопф, сенатор Пшесиньский...

— Это вы можете, а теперь — успокойтесь... У меня мало времени...

— Вы, monsieur, на моя квартир могли при-

езжать, а не меня звать в police[332]...

— Ну, благодаря вам и то целую неделю тянули; ведь вы на третью только повестку отозвались... у меня, повторяю, времени нет! — возвысил голос и тот в свою очередь.

Генеральша, получив отпор, поугомонилась и, погрозив еще раз, но уже как бы про себя и притом вполголоса: «О, я будет жаловаться!» — затихла и приняла вид недоступного достоинства.

На очной ставке с Бероевой генеральша фон Шпильце показала, что даже и не знала о ее существовании до того времени, как однажды женщина по имени Александра (звания и фамилии не упомнит), лет пять тому назад проживавшая у нее в услужении и по отходе от места изредка посещавшая ее, генеральшу, явилась к ней в прошлом году и стала рассказывать о том, что она, Александра, узнала про бедственное положение некоей Бероевой, ищущей продать свои бриллианты, и предложила генеральше сделать эту покупку, причем сообщила и адрес Бероевой. Горничная обвиняемой, солдатская дочь Аграфена Степанова, повторила при этом свое показание о

том, как и где она познакомилась с Зеленьковым и как встретила однажды у него на квартире женщину Александру, которую он называл своею теткою и которую она, после случайного разговора с нею о Бероевой, нигде и никогда больше с того вечера не видала. Показание ее — невольным образом, конечно — во многом не разнилось с теми обстоятельствами, что передавала теперь генеральша фон Шпильце. Зеленьков же повторил, что с теткой своей Александрой (в показаниях он вымышленно назвал ее Ивановой) виделся вообще очень редко, но что в то время он имел намерение жениться на девице Аграфене Степановой и, встретив как-то на улице свою тетку, пригласил к себе как единственную свою родственницу, чтобы она посмотрела его невесту и дала ему необходимые советы. Далее показывал он, что после этого вечера тетка заходила к нему один только раз, и то ненадолго, причем объявила, что пришла проститься, так как она нашла себе место в отъезд за границу, куда именно — не сказывала, но обещала писать, однако же писем до сих пор не присылала еще, называла также и

фамилию господ, на которую он мало тогда обратил внимания и теперь, за давностию времени, позабыл совершенно.

Справки о местопребывании Александры Ивановой, которые еще раньше, основываясь на показаниях Зеленькова, наводил следователь в канцелярии генерал-губернатора, не привели ни к каким результатам, так как по спискам оказалось несколько Александр Ивановых, проживающих с господами за границей.

В эту минуту Полиевкт Харлампиевич внутренне торжествовал при виде плодов своего разностороннего и предусмотрительного гения. Келейные уроки и наущения его, которые, за исключением девушки Груши, давал он, вместе с деньгами, всем прикосновенным к делу лицам, не пропали даром. Цель совокупных показаний их развивалась вполне стройно и согласно с планом, заранее им предначертанным.

Вслед за переспросом горничной Аграфены и Зеленькова, Амалия Потаповна фон Шпильце в своих доводах продолжала показывать, что, имея свободные деньги и страсть

к хорошим вещам, надеялась она в то же время сделать доброе дело, оказать христианскую помощь нуждающейся, и поэтому поехала по сообщенному ей адресу. Бриллианты ей понравились, и она пригласила госпожу Бероеву приехать к себе на другой день для окончательной сделки. Когда госпожа Бероева явилась по приглашению, то, минут пять спустя, с ней сделался болезненный припадок, кончившийся продолжительным обмороком, причина которого ей, генеральше, неизвестна. Она распорядилась тотчас же послать за своим домашним врачом, господином Катцелем, который тщетно старался привести в чувство больную и, не успев в этом, должен был увезти ее в бесчувственном состоянии на ее квартиру, в карете, одолженной генеральшею. Бриллианты по этому случаю остались некупленными и находились при продавщице. Был ли в то время у генеральши фон Шпильце князь Владимир Шадурский, она за давностью времени не упомнит, но кажется, что не был. Где находится в настоящее время проживавшая у нее женщина Александра — ей неизвестно, ибо с того самого времени она

о ней не имеет никаких известий. Самое Бероеву генеральша не знает и о том, кто она, равно как и об образе ее жизни, сведений никаких сообщить не может.

Амалия Потаповна говорила все это с такою твердостью и непоколебимым убеждением, что казалось, будто сама истина глаголет ее устами. На все доводы и возражения Бероевой она только пожимала плечами да улыбалась с той убийственной иронией, которая показывает, что предмет, вызывающий эту улыбку снизу вверх, до того уже стоит неизмеримо ниже нас, что в отношении его нет места человеческому слову, а существует одна лишь выразительная гримаса. Вслед за генеральшей выступила к столу следственного пристава маленькая черненькая фигурка в изящнейшем черном фраке, в золотых очках. Это был Herr Katzel[333], который объяснил, что, будучи призван генеральшей фон Шпильце, нашел у нее в обмороке неизвестную женщину, в которой ныне узнает подсудимую арестантку, подал ей необходимое медицинское пособие и потом пользовал больную уже у нее на дому, в течение пяти или

шести дней. Симптомов своей болезни она ему не могла объяснить, равно как не мог он от нее добиться и сведений о предварительных причинах. Полагает же по тем признакам, какими сопровождался припадок, что это было когнестивное состояние мозга вследствие обморока. Признаков беременности усмотрено им не было в течение того недолгого времени, пока пациентка пользовалась его искусством.

— Но у меня есть факты, есть доказательства! — воскликнула наконец вне себя арестантка, побиваемая на каждом шагу гранитною наглостью доктора и генеральши. — Пусть акушерка подтвердит все, что я рассказала вам, у нее ребенок мой!..

Вошла акушерка и за нею служанка ее Рахиль. Бероева, с мольбой и надеждой, кинулась им навстречу.

— Бога ради!.. — проговорила она, едва удерживая рыдание. — Бога ради!.. спасите меня!.. Вы одни только можете!.. Докажите им!..

Но две вошедшие особы, с недоумением отстранясь от ее порыва, глядели на нее сухим

и холодным взглядом, как бы совсем не понимая, что это за женщина и о чем это говорит она.

— Какой я вам спаситель?.. Я вас и знать-то не знаю, кто вы такая, и вижу-то в первый раз отроду! — заговорила акушерка, бойко вымеривая глазами Бероеву.

— Как в первый?! Боже мой, да где ж это я?! А ребенок мой?

— Никакого ребенка я от вас не принимала и не понимаю даже, о чем это разговор идет ваш... Я по своему ремеслу занимаюсь, — продолжала она тоном оскорбленного достоинства, — и никогда в этаких конфузах не стояла, чтобы по полициям меня таскать да небывалые дела наклепывать... Я человек сторонний и дела мне до вас никакого нет, потому как я, господин пристав, никогда и не знала их, — обратилась она в рассудительно-заискивающем тоне к следователю, для большей убедительности жестикулируя руками, — и теперича из-за такой, можно сказать, морали на много практики своей должна лишиться, а у меня, господин пристав, практика все больше по хорошим домам — у генераль-

ши Вейбархтовой, у полковницы Ивановой тоже завсегда я принимаю; так это довольно бессовестно со стороны этой госпожи (энергическое указание на Бероеву) порочить таким манером порядочную женщину.

Подсудимая собрала весь запас своих сил и твердости: она решилась бороться, пока ее хватит на это.

— Ребенок окрещен в церкви Вознесенья — вы сами мне это говорили, — назван Михаилом; наконец, он у вас и теперь находится, я узнаю его! из сотни детей узнаю! — говорила она, энергично подступая к акушерке.

Эта состроила притворно-смиренную рожу, явно желая издеваться над своей противницей.

— Во-первых, я вам ничего и никогда не говорила, потому — Господь избавил от чести знать вашу милость! — дала она отпор. — Во-вторых, никакого ребенка у меня нет и не было; господин пристав на этот счет даже обыск внезапный у меня делали и ничего не нашли; а что у Вознесения точно крестить мне много доводилось, так это сущая правда — на то я и

бабушка. А вы уж если так сильно желаете запутать меня в свои хорошие дела (не знаю только для чего), так вы потрудитесь назвать господину приставу крестного отца; господин пристав могут тогда по церковным книгам справку навести: там ведь ваше имя должно быть записано; ну опять же и крестного в свидетели поставьте — пускай уличит меня, ежели я в чем причастна.

Бероева тяжко вздохнула и понурила свою голову: она не помнила в точности числа и дня, в которые окрестили младенца, не знала также, кто его крестные отец и мать, потому что в то время предоставила это дело исключительно на волю акушерки и, наконец, сама же просила ее скрыть от священника свое настоящее имя и фамилию под каким-нибудь другим вымышленным, что акушерка исполнила, в видах сохранения полнейшего инкогнито родильницы.

— Ну-с, матушка, говорите, доказывайте на меня! — приступила она меж тем к Бероевой. — Вот я вся, как есть, перед вами!.. Что же вы не уличаете? видно, что нечем?.. Да-с, матушка, я недаром ко святой присяге ходила

теперь из-за вас, я как перед господом Богом моим, так и перед начальством нашим, господином приставом, против совести не покажу! Я — человек чистый, и дела мои все, и сердце мое — начистоту перед всеми-с! А я развращения не терплю и нравам таким не потворщица! Это уж вы, матушка, других поищите, а меня при моей амбиции покорнейше прошу оставить.

Бероеву одолел внутренний ужас от этого наглого цинизма лжи и бессовестности. Она почти в полном изнеможении опустилась на стул и долго сидела, закрыв помертвелое лицо обеими руками.

Рахиль вполне подтвердила показания акушерки, объяснив, что личность Бероевой вполне ей неизвестна и видит ее она только впервые перед следственным приставом, что при ней Бероева никогда не приходила в квартиру ни за советами, ни для разрешения от бремени и что, наконец, никакого ребенка она к ним не приносила и на воспитание не отдавала.

Эти два показания являлись самым сильным аргументом против Бероевой, потому

что, обвиняя фон Шпильце, Катцеля и Шадурского, она, в защиту себя и в подтверждение истины своих слов, приводила свидетельство акушерки и ее прислуги. То и другое оказалось против нее — значит, все шансы на добрый исход дела с этой минуты уже были проиграны.

Теперь оставалось дать ей еще одну и уже последнюю очную ставку.

— Карету привели, ваше бо-родие! — возгласил приставу дежурный солдат, вытянувшись в дверях камеры.

— Не угодно ли вам одеваться, — предложил вслед за этим следователь, обращаясь к арестантке.

Полиевкт Харлампиевич поднялся со стула, посеменил да повертелся на месте, как бы отыскивая или припоминая что-то, обдернул борты своего синего фрака и, раза два кашлянув в руку, улизнул из комнаты.

Через минуту шибко задребезжали по мостовой колеса его «докторских» дрожек; пара рыженьких шведок быстрее обыкновенного задробила копытами, направляясь к дому его сиятельства князя Шадурского.

Вскоре после него отъехала от части и наемная карета, в которой поместились: Бероева с следователем и его письмоводитель со стряпчим да на козлах — дежурный городовой во всей форменной амуниции.

Бероева, накинув на лицо густой вуаль, всю дорогу старалась прятаться в угол кареты, чтоб не обращать на себя мимолетного внимания встречных людей. Ей не хотелось в присутствии двух свидетелей расспрашивать пристава, куда и зачем везут ее: она и сама догадывалась о цели этой поездки.

Карета въехала во двор богатого барского дома, предназначенного не для отдачи внаем под жильцов, но для широкого житья на большую ногу одного только аристократического семейства, и остановилась у маленького, непарадного подъезда, в одном из уголков образцово чистого двора, куда указал извозчику ливрейный лакей в красном камзоле и коричневых штиблетах.

Подымаясь по узенькой, изящно витой мраморной лестнице, Бероева сообразила, что ей, по-видимому, предстоит свидание с

самим Шадурским, в его собственной отдельной квартире. Это посещение, по заранее данному распоряжению Хлебонасущенского, было обставлено всею возможною келейностью, чтобы не подать о нем ни малейшей догадки случайным, посторонним людям, которые, пожалуй, могли бы еще перетолковать его как-нибудь не в пользу обитателей барского дома, — потому этих обитателей неприятно коробило при одной уже мысли, что дом их будет посещен «полицией» и что «с этой полицией» придется формальное дело иметь.

Сердце Бероевой медленно, но упруго колотилось в груди с судорожным захватом дыхания, при мысли, что через минуту она станет с глазу на глаз с человеком, который был первым и наиболее тяжким виновником всех ее несчастий, разрушивших ее тихий семейный очаг, ее мир душевный, и которого она ненавидела всеми силами своей души, презирая так, как только может презирать кровно оскорбленная честная женщина.

«Что-то будет?.. Как-то встретимся?.. Чем-то кончится это свидание?..» — смутно думала она, с трудом подымаясь на лестницу, по-

тому что ноги не слушались ее и, дрожа, подкашивались на каждой ступени.

Городовой остался в прихожей, а Полиевкт Харлампиевич вместе с княгиней Татьяной Львовной встретили прибывших в гостиной молодого князя. Хлебонасущенский был официально-серьезен и в высшей степени спокоен, княгиня — бледна и сильно взволнованна. Скользнув беглым и холодным взглядом по привезенной арестантке, она с поклоном, полным аристократического достоинства и любезности, обратилась к следователю:

— Бога ради, будьте с ним как можно осторожнее!.. он так нервозен... Эта сцена произведет на него сильное впечатление... Доктор сейчас уехал и говорит, что опасность еще не миновала и может возвратиться... Au nom du ciel![334] Я умоляю вас!..

И при этих словах княгиня, с сокрушенным видом великой материнской горести, не без грации поднесла батистовый платок к своим когда-то прекрасным глазам.

— Будьте покойны, сударыня, — коротко и сухо поклонился следователь в ответ на ее материнскую тираду.

Полиевкт Харлампиевич с величайшей осторожностью, будто в присутствии тяжко больного, на цыпочках пробрался за дверь смежной комнаты.

— Приготовьтесь, приехали! — шепнул он Шадурскому. — Да смотрите же, говорите так, как я вас учил, а иначе все дело пропало и вам не миновать уголовной палаты!.. Слышите?

Князь Владимир в ответ ему скорчил очень кислую гримасу и, махнув рукой, принял вид и положение тяжко больного.

— Пожалуйте, господа! а вы, матушка, ваше сиятельство, уйдите, удалитесь отсюда! — вполголоса проговорил Хлебонасущенский, высунувшись из-за двери, ведущей в спальню молодого князя.

— Господин Хлебонасущенский! Очный свод этот слишком важен для того, чтобы при нем мог присутствовать кто-либо посторонний, — обратился к нему следователь, не переступая еще порога княжеской опочивальни. — Потрудитесь выйти из комнаты его сиятельства и не входить туда, пока мы не кончим.

Княгиня, стоявшая позади всех, слегка побледнела при этом, но Хлебонасущенский наружно остался невозмутим.

— Если так *угодно вам,* господин пристав, — ответил он с ударением, с вежливой почтительностью сгибая свой корпус, — то я могу исполнить ваше *желание,* но... позвольте сообщить вам, что его сиятельство слишком еще слаб: с ним делаются беспрестанные обмороки; неравно еще случится что-нибудь — нужны ежеминутный присмотр и бдительность, а это свидание, того и гляди, не пройдет даром для его здоровья — таково по крайней мере убеждение доктора.

Члены прибывшей комиссии переглянулись между собою.

— Я бы попросил ее сиятельство княгиню присутствовать при этом, — продолжал Хлебонасущенский, сомнительно пожав плечами, — но... княгиня и без того уже так расстроена... ее печаль, ее слезы — все это еще более подействует на нашего больного... Притом же не думаю, чтобы мое присутствие в качестве домашнего человека, присматривающего за болящим, могло принесть какой-ни-

будь ущерб для дела: я ведь не позволю себе вмешиваться в него ни единым словом.

— Можно послать на это время кого-либо из людей, хоть камердинера, что ли, — заметил следователь.

Хлебонасущенский в своей улыбке, соединенной с пожатием плеч, выразил и некоторое оскорбление, и собственное достоинство.

— Мне кажется, господин пристав, я не подал вам поводов к подобному оскорбительному недоверию, — сухо заметил он, — впрочем, если опять-таки *вам* так *угодно*, то... конечно...

— Нет, Бога ради! я ни на кого не полагаюсь, кроме его! — с некоторой стремительностью воскликнула княгиня, обращаясь к следователю. — Сын мой привык к нему с детства, он как родной ухаживает за ним во все время этой болезни... Бога ради!.. я умоляю вас, если только возможно... — И княгиня опять приложила платок к своим ресницам.

Пристав снова переглянулся со стряпчим. Этот последний незаметно махнул рукою и тихо проговорил:

— Пускай его!.. вреда ведь особенного не

будет — в дело не позволим вмешаться.

— Итак, пожалуйте, господа!.. А вы, ваше сиятельство, все-таки удалитесь лучше отсюда: коли что случится, я уж прибегу, уведомлю, — говорил Полиевкт Харлампиевич, вводя прибывших в княжескую спальню.

В этой спальне пахло уксусом и отсвечивало синеватым полумраком, который значительно скрадывал оттенки цвета и выражений лиц присутствовавших. Предусмотрительный Хлебонасущенский до приезда пристава предупредил княгиню, сам опустил оконные шторы и гардины и приказал — будто бы для освежения воздуха — окурить всю комнату уксусом, для чего собственноручно даже поливал его на раскаленные плитки, направляя с ними лакея в разные углы княжеской опочивальни. Словом, вся обстановка соответствовала как нельзя более положению трудно больного человека.

Письмоводитель поместился с походной своей чернильницей и портфелем у туалетного столика, а Хлебонасущенский стал в ногах у князя, за спинами следователя, стряпчего и обвиненной, чтобы удобнее, в случае надоб-

ности, телеграфировать с ним глазами и маленькими жестами.

Князь приподнялся на подушке, причем сделал вид, будто это ему стоило тяжелого усилия; он избегал частых встреч со взорами следователя и в особенности Бероевой, говорил тихо, медленно, с частыми и тяжелыми переводами духа, так что Хлебонасущенский в глубине души своей весьма умилялся при виде этой удачно выполняемой роли.

Бероева почти уже не имела сил сама продолжать доводы и улики: она была слишком растерзана и пришиблена нравственно в одно это утро рядом предшествовавших очных ставок.

Шадурский казался очень взволнованным, голос его дрожал и порою совсем прерывался, причем Хлебонасущенский каждый раз очень заботливо обращался к нему с успокоительными замечаниями.

— Не волнуйтесь, князь... вам это вредно... Конечно, такое страшное воспоминание, но... выпейте воды, успокойтесь.

И князь прихлебывал глотками воду из стакана и на время принимал вид более спо-

койный. Положение его в самом деле было трудное, щекотливое, потому что совесть немножко скребла за сердце при виде женщины, которую он топит ради спасения собственной репутации. Но князь утешался почему-то мыслью, что Хлебонасущенский, вероятно, и ей не даст совсем уж погибнуть, что тут, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы, а потому на очной ставке его сиятельство собственноустно подтвердил, что обвинение, будто он был у генеральши фон Шпильце одновременно с Бероевой, — ложь, что никогда и ни в какие отношения с Бероевой он не вступал и намерений к этому не высказывал, что видел ее не более двух раз: впервые на вечере у Шиншеева, где был даже представлен ей, но знакомства не продолжал, находя его для себя излишним; во второй же раз — в ресторане, во время внезапного покушения на его жизнь, когда он выразил сомнение в принадлежности ему какого-то неизвестного ребенка, и теперь, со своей стороны, полагает, что эта женщина — сумасшедшая, почему, вероятно, и покушение было совершено ею в припадке умопомешательства. О

жизни, занятиях и поведении Бероевой князь никаких сведений, по совершенному незнанию, сообщить не может и в маскараде ее не узнал; поехал же с нею ужинать потому, что, получив предварительно вызывающее анонимное письмо, находящееся ныне при деле, счел ее за обыкновенную искательницу приключений.

Таков был смысл этих показаний, после которых все присутствовавшие невольно нашли князя сильно усталым и взволнованным. Он в изнеможении опустился на подушку и даже застонал немного.

Хлебонасущенский с материнской заботливостью бросился подавать ему воды и запахивать одеяло. Бероева ничего не отвечала, но только посмотрела на князя взглядом столь тихим, пристальным и неотразимым, как суровая совесть, как последний приговор преступнику, что мнимо больного взаправду уж бросило в жар и озноб. Он не мог вынести этих безмолвно карающих глаз опозоренной женщины и поспешил сомкнуть свои веки.

Минут восемь спустя, когда снова пришедший в себя князь с великим усилием подпи-

сал свои показания и очный свод, наемная карета с пятью экстраординарными посетителями ехала уже обратно в часть из княжеского дома.

XXIV

ЗАБОТЫ КНЯГИНИ О СУДЬБЕ БЕРОЕВОЙ И ЕЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ

Княгиня пошла навстречу Хлебонасущенскому.

— Радуйтесь, матушка, ваше сиятельство, радуйтесь! — вприпрыжку возвестил он ей, потирая ладони, — теперь уже делу конец, и Богу слава! чистенько вышло, чистенько!.. больше уж не будут тревожить их сиятельство, и, значит, этак через недельку они могут благополучно отправиться за границу, для поправленья в здоровье своем... Так-то-с, матушка, так-то-с!.. Полиевкт Хлебонасущенский — уладил.

В тех экстренных случаях, когда княжеское семейство ощущало настоятельную нужду в великом юристе и практике, Полиевкт

Харлампиевич, чувствуя силу свою — что без него, значит, ничего не поделаешь, — всегда позволял себе на это время некоторую холуйственно-игривую фамильярность в разговоре и обращении с Шадурскими; но все-таки эта фамильярность не превышала пределов известной почтительности. Словом, это была фамильярность молодого пуделька, которого ласкают за поноску, а впрочем, и поколотить могут — и пуделек, про себя, очень хорошо это понимает и чувствует...

— Скажите, пожалуйста, кто эта несчастная женщина? — осведомилась княгиня, почувствовав сострадание к Бероевой.

— А ничего-с! как есть ничего! — с нагло-паясническо́й ухмылкой мотнул головой Хлебонасущенский.

— Бедная!.. Мне очень жаль ее, — продолжала соболезновать княгиня, — она так несчастна... горя у нее столько в лице...

— Ничего, пройдет-с!.. «Кто горя не пытал, тот жизнью не живал», — сказал один стихотворец.

— Скажите, что же с ней теперь сделают?

— На Конную повезут.

— Куда? — с удивлением переспросила княгиня, не понявшая этого выражения.

— На Конную площадь, Рождественской части, второго квартала, где ихнего брата обыкновенно публичному позору предают, — пояснил великий юрист, которого все еще не покидало светлое настроение духа по поводу удачного окончания «малоприятной истории».

Слабонервную княгиню не шутя покоробило от этого объяснения дальнейшей перспективы, какая предстояла Бероевой.

— Нет, это уж слишком!.. — быстро воскликнула она, в волнении поднявшись с кресла. — Это наказание ведь все-таки будет связано с нашим именем!.. Я не хочу этого, положительно не хочу!.. Да и для нее тоже слишком жестоко... Она и без того наказана...

— Хе, хе, хе!.. Сострадательное сердце иметь изволите, матушка! — И Хлебонасущенский, при сей оказии, отправил в обе ноздри добрую понюшку душистого табаку, слегка отвернувшись бочком от княгини. — А вы не тревожьте себя понапрасну, — продолжал он, отряхая пальцы, — мы ее сумасшед-

шею сделаем!

— Как сумасшедшею? — пуще прежнего изменилась княгиня.

— А так-с, как обыкновенно бывают сумасшедшие.

— Я не понимаю вас, мой милый...

— Хе, хе, хе!.. Оно точно что — хитрая штука, ваше сиятельство; ну да ведь на то мозги у человека. Я уж эту удочку успел закинуть в показаниях его сиятельства князя Владимира Дмитриевича. Внушил-с! внушил то есть, что покушение и все это прочее, так сказать, сделано в потемнении рассудка, что Бероева, значит, сумасшедшая и оттого понапрасну оговаривает себя и других в противозаконной связи и в ребенке каком-то... Это, значит, ей все в мечтах представлялось, а она за действительность принимает... С таковым моим взглядом и медицинское показание доктора Катцеля отчасти согласуется.

Княгиня слушала великого юриста с возрастающим изумлением и любопытством.

— А если эта женщина в здравом рассудке? — возразила она.

— Ну так что ж, что в здравом? Ну и пущай

ее на здоровье!.. Мы в этом ей не препятствуем!.. С Богом!

— Так как же сумасшедшею ее после этого сделать?

— А уж у нас на то мастера есть такие... Через освидетельствование обыкновенно это делается; ну и медики при сем случае тоже... Да это уж пустячное дело, статья третьестепенная!

— И что же потом с нею сделают?

— Обыкновенно что — в сумасшедший дом посадят, лечить будут...

— Но это ужасно! — как бы про себя заметила княгиня с содроганием, нервно шевельнув плечами.

— Ничего тут ужасного нету, ваше сиятельство, — невозмутимо возразил Хлебонасущенский, — что ж такое? Там очень хорошо содержат, и притом даже очень благородные люди сидят... гимнастикой развлекают их, чтение, музыка даже... пища хорошая и все такое — в отменном виде содержатся!.. А ежели супруг пожелает взять ее к себе обратно, то и в этом ему препятствия не окажется: можно будет устроить так. Это даже, я нахо-

жу, прекрасный исход всему делу! — заключил Полиевкт Харлампиевич, — потому — иначе ее репутация сильно пострадала бы, да и в ссылку еще отправили бы, с семейством навеки разлучили бы, а теперь это дело будет и для нас, и для нее безобидно: и закон утолен, и граждане помилованы. Так-то-с!

На княгиню, однако, эта картина благоденствия в сумасшедшем доме мало произвела утешительного действия. Она сидела, погрузясь в серьезную задумчивость. Из рассказа Хлебонасущенского и из признаний, вынужденных ею у сына, она знала почти вполне настоящую историю в том виде, как происходило дело в действительности и как извратили его на следствии. С настоящего же часа, после того как сама увидала убитую горем Бероеву, ей стало жаль эту женщину; голос совести мучительно заговорил в душе княгини, борясь с чувством страха за честь ее сына и ее фамилии. Ей сильно бы хотелось теперь сделать что-нибудь хорошее для Бероевой, чтобы облегчить ее дальнейшую судьбу и тем успокоить внутреннего червяка, который с этой минуты стал сосать ее сердце.

Хлебонасущенский по-своему объяснил себе это тяжелое раздумье.

— Вы, матушка, уж об их сиятельстве не извольте больше беспокоиться, говорю вам! — приступил он к новым утешениям. — Теперь, значит, делу этому дан самый правильный ход. А что если их сиятельство и пошалили маленько — так ведь что ж с этим делать! — молодость, кровь у них горячая, не уходились еще... С кем грех не случался? Быль молодцу не укор, говорит пословица, а конь — о четырех ногах, да спотыкается; кто Богу не грешен? Лишь бы перед царем быть чисту, а Бог простит, понеже милосердию его несть конца — неисчерпаемый кладезь, учит нас премудрость... — Полиевкт Харлампиевич, вспомнив свою семинарскую старину, заговорил наконец в любимейшем своем высоконазидательном тоне. Но и этот поучительный тон не произвел на княгиню желаемого действия, и потому опытный практик тотчас же сообразил, что время ему удалиться, так как ее сиятельство не чувствует больше охоты предаваться с ним дальнейшим измышлениям и разговорам. Крякнув раза два в руку

и, по обыкновению, обдернув борты фрака, он посеменил на месте и взялся за шляпу.

— Позвольте пожелать полного успокоения, — проговорил он уже более почтительным, официальным тоном, — а мне пора-с... Надо тут еще кой-какие колеса подмазать у бабки-голландки и у прочих.

Полиевкт Харлампиевич откланялся и удалился. Вслед за ним поднялась и княгиня. Отдав приказание никого не принимать, она медленно и задумчиво прошла в свою образную.

Опустясь там в готическое кресло, обитое темно-зеленым бархатом, княгиня долгое время бессознательно как-то созерцала блуждающим взором дубовые резные стены этой маленькой молельни и ее темно-зеленые бархатные драпировки, отделанные золотой бахромой и кистями в византийско-русском вкусе; потом наудачу раскрыла богато переплетенное Евангелие и стала читать.

Чтение это благотворно подействовало на впечатлительные нервы Татьяны Львовны, так что она опустилась на колени и стала молиться перед изящнейшим дубовым киотом,

где теплилась день и ночь хрустальная неугасимая лампада перед рядами больших и малых образов, сверкавших золотыми ризами, яхонтом, рубином, алмазами и унизанных прошивными нитями старого жемчуга. У благочестивой владелицы этой маленькой изящной молельни были соединены в одной и той же комнате самые разнообразные предметы христианского поклонения: древний фамильный тельник с мощами и тончайшей работы католические мраморные мадоннки, приобретенные ею в Риме и Неаполе, которые прихотливая фантазия княгини поместила обок с темными ликами старосуздальского православного письма, в богатейших старинных окладах; дорогие иерусалимские четки обвивались вокруг заздравной московской просфоры, а один из великолепных экземпляров французских библий был украшен скромным восковым херувимом и засохшею лозою, которые хранились тут с прошлогодней вербной недели. Княгиня долго молилась и усердно клала земные поклоны. Вскоре глаза ее увлажнились слезами.

Случайно напав сегодня на изречение о

любви к врагам и прощении ненавидящих нас, она тепло молилась за Бероеву, за облегчение ее горя и судьбы, а еще более того молилась и благодарила за чудесное избавление от смерти ее сына и затем паче чудесное избавление его от пятна гражданского и позора уголовного.

В голове княгини рядом со скорбными помыслами об арестованной женщине сияла теперь отрадная мысль: «Наша фамильная честь спасена, наше имя не запятнано!»

Молитва немного утешила и облегчила ее душу. Княгиня вместе с тем приняла твердое намерение облегчить и судьбу Бероевой, даже избавить ее от грядущей суровой развязки, даже помочь ей материально и нравственно, по мере своих сил и возможности. Как, и когда, и посредством чего долженствуют произойти это облегчение, избавление и помощь — княгиня не могла еще сообразить и отчетливо представить себе ни в деталях, ни даже в главных чертах, но только была твердо и тепло уверена, что все это воспоследует непременно и притом очень скоро. И такое убеждение, успокоив сосущего ее червяч-

ка, более всего способствовало облегчению ее сердца и утешительному успокоению духа. Поднявшись с колен, она подошла к зеркалу — оправиться и поглядеться. Капли слез оставили грязноватые следы своих потеков на очень тонкой и дорогой штукатурке ее физиономии. Вследствие этого тотчас же ощутилась безотлагательная надобность в благодетельной помощи белил и прочих молодящих косметик, почему просветленная духом княгиня немедленно же и удалилась, на весь уже нынешний день, из своей уютной и располагающей к религиозному настроению молельни.

XXV
ПРИЕЗД БЕРОЕВА

Егор Егорович Бероев еще в Москве, почти накануне своего отъезда в Петербург, прослышал темные, нескладные вести о каком-то романическом убийстве, сделанном будто бы какою-то дамою в маскараде; говорили, что эта дама имела продолжительную связь с каким-то аристократом и убила его из ревности и т. д. На этот мотив разыгрывались дальнейшие вариации, в подобном же роде. На железной дороге, за Чудовской уже станцией, он снова и совершенно случайно наткнулся на тот же самый рассказ, только в форме более упрощенной и ближе подходящей к действительности. Во время трехминутной остановки на одной из станций промежуточных, когда еще спали все пассажиры в вагоне, Бероев услышал, что упоминали его фамилию, называя женщину, сделавшую убийство. Он поневоле оглянулся. Говорили два гвардейские офицера — драгун и гусар. Один рассказывал другому как новость, полученную им из пись-

ма, об их общем знакомом князе Шадурском.

— Кто же эта маска? — спрашивал другой.

— Какая-то Бероева... дама замужняя... Говорят, удивительно хороша собою.

— Ну а муж-то что же?

— Да его нет в Петербурге... Вероятно, раньше еще разошлись.

— Странное обстоятельство!

— Действительно, очень странное.

Но страннее всего оно показалось невольно слушавшему Егору Егоровичу, так как довольно громкий разговор этот происходил непосредственно за его спиною. Что-то острое болезненно ударило его в сердце после этих случайно пойманных на лету фраз... Бероева... очень хороша собою... отсутствие мужа — обстоятельства, довольно близко подходящие к нему и его жене. Притом же он знал, что есть на свете некто князь Шадурский и что этот субъект был даже случайно как-то представлен Юлии Николаевне на вечере у Шиншеева. Но — связь любовная, убийство и его жена — все это так не ладило между собою, представляя такие диаметрально противоположные понятия, что ему сделалось

стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутного сближения, которое пробежало в его голове. «Странная случайность, совпадение фамилии — не более», — подумал он и постарался рассеяться. Но какое-то летучее, беспокойное ощущение, нечто похожее на темное, неясное предчувствие, время от времени врывалось непрошеным в его душу и начало копошиться в мозгу. Он тотчас же с негодованием старался отгонять его; но чуть только поезд подошел к дебаркадеру петербургской станции, им овладело какое-то нервное нетерпение: с лихорадочной поспешностью выпрыгнул он из вагона, торопливо схватил свой чемодан, проклиная медленность багажных приставников, и, уже не помня себя от мучительно жадного нетерпения — увидеть наконец свой угол, жену и детей, приказал извозчику гнать что есть мочи в Большую Подьяческую. Чем ближе подвигался он к этой улице, тем больше усиливались его лихорадка и тревожное колоченье сердца и ощущения, которым под конец уж он поддался безотчетно, будучи не в силах совладать с ними. Чуть не вывихнув ручку

дверного звонка, переступил он порог своей квартиры, и первое, что представилось ему — испуганно-встревоженное, растерявшееся лицо курносой девушки Груши, — показалось ему вестником чего-то недоброго.

— Где жена? Что дети? — спросил он голосом, который вдруг как-то застрял у него в горле.

Груша — показалось ему — очень смутилась и неопределенно ответила: «там», мотнув головою на внутренние покои.

Стремительно бросился он в женину комнату. Пусто... Он в детскую — двое ребятишек с радостным криком повисли у него на шее. Тут только, после первой ошеломляющей минуты свидания, заметил он, что глаза детей заплаканы и даже красновато припухли от продолжительных слез, а личики осунулись и побледнели как-то. Жарко обнимая детей и ничего еще не успев различить, кроме них, в этой комнате, Бероев, однако, инстинктивно чувствовал, что в ней никого больше нет, и мгновенно, желая удостовериться, точно ли это так, не обманули ли его глаза, окинул взором всю детскую, но видит опять-таки — нет

жены. Мучительная тревога усилилась.

— А где же мама? — пытливо обратился он к обоим. Дети горько, не по-детски как-то, заплакали.

— Что с вами, детки? о чем вы? чего вы плачете?

— Мамы нет, — едва смогли они ответить, всхлипывая от обильно подступивших рыданий.

— Как нет?! Да где же она?.

— Не знаем...

У него опустились руки и помутилось в глазах.

«Боже мой... да неужели ж это правда?» — подумалось ему.

В дверях появилась и стала в отупелой нерешительности смущенная и бледная Груша. На добродушных глазах ее тоже виднелись капли.

— Аграфена, что все это значит?

Та и совсем уж расплакалась. Дети, увидя это, пуще ударились в слезы и обхватили руки и колени отца.

— Где Юлия Николаевна?.. Ну, что же ты молчишь?.. Отвечай же мне, Бога ради! Не

мучьте вы меня!..

— Да как и сказать-то — не знаю... Нет их...

— Ушла она куда, что ли?.. Давно ее нет?

— Больше недели уже...

— Так где же она? Говорила вам что-нибудь, как уезжала отсюда?

— Ничего не сказали, а только в часу девятом вечера стали одеваться! Я им платье черное шелковое достала, мантилью тоже... Они пока детей спать уложили и приказали ждать к часу ночи... Только не вернулись... На третий день дворник объявку в часть подал, а в части сказали, что барыня не пропали, а что там уже знают, где они находятся... А как и что — про то мы неизвестны... Меня тоже звали в часть... спрашивали, только все постороннее, а про дело ихнее ничего не спросили... и не сказывали мне...

Этими словами для Бероева уже все было сказано. Голову его словно какой раскаленный обруч железный охватил кругом и сжимал своими жгучими тисками: «Значит, правда... значит, все это так, все это *было...»* Колени его сами собой подогнулись, как у приговоренного к смерти, когда палач взводит его

на ступеньки эшафота, и он в каком-то бессмысленном, тупом оцепенении опустился на детскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя пред собою. Испуганные и затихшие дети со страхом и недоумением глядели на него во все глаза, прижавшись в стороне друг к дружке и не понимая, что это значит, что стало вдруг с их отцом. А он меж тем сидел неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замечая; наконец, словно бы проснувшись после тяжелого сна, с усилием провел по лицу рукою, осмотрелся и, весь разбитый, пошел вон из дому, не сказав никому ни слова.

XXVI
ПЕТЛЯ

После очной ставки с Шадурским Бероева снова очутилась в своем затхлом и тесном карцере. Пока впереди для нее еще мелькала кой-какая смутная надежда на добрый исход, она старалась поддерживать в себе слабеющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а с нею вместе исчез и остаток этой бодрости. Едва лишь миновала первая, деревянно-ошеломляющая минута последнего удара, нанесенного последним свиданием с Шадурским, едва лишь снова охватили ее четыре голые стены секретного нумера — перед ее глазами со всей осязательной отчетливостью раскрылся весь ужас ее положения, вся грозная сторона будущей развязки: приговор суда, признающий в ней убийцу, публичный позор, эшафот, Сибирь и вечная разлука со всем, что так заветно и дорого ее сердцу...

Ничто не действует столь пагубно на мозг и душу человеческую, как одиночное заключение: притупляя рассудочные и нравствен-

ные силы, оно до чрезвычайности развивает воображение за счет всех других способностей, и притом развивает в самую мрачную, болезненную сторону. Все и вся начинает казаться ужасным, темным, гиперболическим — и человек безотчетно поддается самой последней степени безысходного отчаяния. Это такое положение, с которым никакая пытка не сравнится.

Бероева долго лежала на своей убогой кровати, а в голове ее, среди какого-то звона, шума и бесконечного хаоса, всплывали, тонули и снова выныряли, развертываясь во всей беспощадной наготе, самые тяжелые картины и образы. Она ни о чем не думала, ничего больше не соображала, потому что совсем лишилась даже возможности мыслить; а эти картины и образы как-то сами собою, без всякой воли с ее стороны, как нечто внешнее, постороннее, вставали пред ее нравственным взором и проносились бесконечной, хаотической вереницей.

И это длилось целые сутки. Если бы у нее было зеркало, то, поглядевшись в него, она, наверное, не узнала бы себя и с ужасом отско-

чила, словно бы вместо своего лица ей показалось чье-нибудь другое. От бровей, поперек лба прорезалась у нее суровая складка; широко раскрывшиеся, безжизненно-тусклые глаза ушли глубоко в глазные впадины, скулы осунулись, а в длинной, роскошной косе сильно засеребрились седые нити, и волосы стали падать с каждым днем все больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую.

Она не плакала, только веки ее были сухо воспалены и ощущалась в них резь, если сомкнуть их или внезапно посмотреть на свет. Да тут и не могло быть места слезам, которые как бы то ни было, но все-таки облегчают и даже освежают душу, а это глухое отчаяние сушит и давит все в человеческом организме.

Полицейский приставник два раза входил, по обязанности, в ее нумер: приносил обедать и потом поставил и зажег ночник, каждый раз, по обыкновению, кидая ей мимоходом два-три слова. Но Бероева не понимала, что и о чем говорит он ей, даже почти не расслышала ни слов, ни шагов его, потому что все звуки сливались теперь в ее ушах в какой-то

смутный, безразличный шум. Погруженная в омут обуявших ее образов, она почти и не различала даже присутствия постороннего человека в своей комнате. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из другого мира, либо покончившее все расчеты с землею, либо никогда и не имевшее с нею ничего общего.

Среди ночи нагорелая светильня в истощившемся шкалике начала трещать, помигала с минуту умирающими вспышками, затем отделился от нее кверху последний синий огонек — и в карцере мгновенно разлилась непроницаемая, густая темнота вместе с горьковатым смрадом дымящейся копоти.

В эту самую ночь, еще в блаженном неведении, муж Бероевой на всех парах мчался к Петербургу.

Арестантка не спала. Целый день и всю ночь затем, до этой минуты, она почти неподвижно лежала в одном и том же положении. Но теперь, вместе с могильною темнотою, когда фантазия еще ярче стала рисовать образы сирот-детей и мужа, разлуку с ними и палача на эшафоте среди Конной площади, меж гу-

стой толпы равнодушно любопытных зрителей, ею овладела мутящая тоска, а вместе с тоскою мелькнул и слабый проблеск какого-то сознания.

«Нет, могила лучше... не будешь мучиться, позора не увидишь... лучше, лучше, лучше...»

И, вместе с этою мыслью, Бероева торопливо опустила руку в карман, достала носовой платок и села на постели.

В мрачном и сосредоточенном спокойствии свертела она из платка жгут, накинула его себе на шею и, завязав под горло узел, медленно, но сильно стала затягивать его обеими руками.

Однако операция эта не удалась: она была мучительна, но не привела к счастливой цели, так как в ослабевшей руке Бероевой не оказалось теперь настолько силы, чтобы можно было удобно задушиться.

Но, раз напавши на мысль о самоубийстве, Бероева уже не покидала ее. В этой мысли для нее являлся единственный выход из своего положения, и она твердо решилась покончить с собою.

Надо было только придумать легчайший

способ. Но за этим дело не стало. Бероева нашла, что повеситься будет, кажись, всего удобнее: надобно только дождаться свету, чтобы высмотреть, нет ли где в окне или у печной заслонки подходящего эацепа, который бы выдержал тяжесть ее тела. А пока, чтобы не терять даром времени, она в темноте принялась за работу: прогрызая зубами подол своего шелкового платья, отрывала каймy за каймою и из этого материала старательно сплела себе веревку, то и дело пробуя, крепко ли связаны узелки на ней.

Часа через два работа была кончена, поэтому, тщательно запихав себе за лиф импровизированную веревку, Бероева стала несколько спокойнее, как человек, определивший себе окончательную цель, и только ждала желанного рассвета.

Но с рассветом по коридору заходили полицейские солдаты — того и гляди, приставник или подчасок в форточку заглянет и дверь отомкнет, — время, стало быть, неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантский день войдет в свою обычную колею.

И точно, приставник не заставил долго ждать своего обычного утреннего визита в форточке. Заметив сквозь нее на арестантке изорванное платье, он отпер ее дверь и подозрительным оком окинул всю комнату. В подобных случаях у бывалых полицейских, по опыту, иногда развито чутье удивительное.

Бероева притворилась спящей. Солдат постоял над нею, поглядел на ободранные полы платья, заглянул под кровать, под тюфяком и под подушкой без церемонии пошарил рукою и решил про себя, что дело, мол, неспроста. «Надо приглядывать почаще, чтоб чего еще не скуролесила над собою, а то ведь своей спиной отдуваться придется, коли эдак за нее да взбучку зададут». И, приняв таковое решение, солдат удалился из нумера.

Час спустя коридорная деятельность полицейских угомонилась. Все затихло, не слыхать ни говору, ни шагов — удобная минута наступила.

Арестантка внимательно стала оглядывать комнату — нигде нет подходящего крючка или гвоздя; в окне только выдается головка железной задвижки; окно высоко — в рост

человеческий, — не достанешь; но та беда, что как раз против дверной форточки приходится. Не смущаясь этим, она затянула петлю, вскочила на стол уже закреплять у оконной задвижки свободный конец своей веревки, как вдруг дверь быстро распахнулась, и полицейский приставник ухватил ее за руку.

— Эге-ге, барынька!.. Дело-то не тово... Зачем на стол влезла?.. Что это в руках?.. Петля?.. Э-э, вон оно что!.. Гусенок! А Гусенок! Подь-ка, позови их благородие, дежурного, скажи, мол: приключение!

Подчасок побежал было за дежурным, но в конце коридора остановился и вытянулся в струнку: дежурный самолично входил сюда, вместе с другим, «партикулярным» человеком.

— Приключение, ваше благородие!

— Какое?

— Не могу знать, ваше благородие!

— Куда ж ты бежал?

— Доложить вашему благородию, что, мол, так и так — приключение.

Поравнявшись с полурастворенной дверью Бероевой, дежурный указал на нее свое-

му спутнику:

— Здесь.

— Ваше благородие! Пожалуйте сюда поскорее! Отойти никак не могу: приключение! — в свою очередь, кричал дежурному приставник изнутри нумера.

Бероева уже стояла на полу, когда в дверях остановились два посетителя. Солдат, не отпуская, держал ее за руку, на том основании, что, «не ровен час, затылком, а либо лбом об стену с неудачи хватится, потому примеры-то бывали». Арестантка же, словно бы не понимая, что около нее творится, стояла, глубоко потупив глаза и голову: две неудачи еще упорнее разожгли теперь ее мономаническое искание смерти.

— Что здесь? — лаконически спросил, войдя в нумер, дежурный.

Приставник еще лаконичнее, молча, указал ему пальцем на окно, с которого спускалась приготовленная петля.

— Вас желает видеть... супруг ваш... сегодня приехал только, — наклонился к Бероевой дежурный.

Та подняла глаза и отступила в величай-

шем изумлении. Она не чувствовала в себе смелости ни броситься к нему на шею, как бы сделала это прежде, ни даже сказать ему что-либо, и потому, как будто подсудимая в ожидании решения своей судьбы, снова стала перед ним, потупив взоры и опустив голову.

Дежурный вышел из комнаты и мигнул за собою приставнику.

— Притвори-ка дверь да стань у форточки, пусть их одни поговорят там, — распорядился он в коридоре.

Бероев, оставшись с глазу на глаз с женою, подошел к ней, кротко взял за руку, поднял ее голову и тихо поцеловал беззвучным, долгим и любящим поцелуем.

Это движение сделало в ней переворот и мгновенно вызвало к жизни все существо ее: она не одна теперь, она не потеряла еще любви человека, которому раз навсегда отдала свою душу, и, зарыдав, с невыразимым, но тихим стоном, опустила на грудь к нему свою горемычную голову.

Прошла минута какого-то жгуче-радостного и жгуче-тоскливого забытья.

Наконец она нервно и словно бы испуган-

но отшатнулась и спешно отвела от себя его руки.

— Нет, стой... отойди, не прикасайся ко мне! — заговорила она через силу глухим, рыдающим голосом: ей было больно, тяжело отталкивать от себя любимого человека, тяжело расстаться с этим тоскливо-радостным забытьем на его груди, однако она пересилила себя: — Не прикасайся... Скажи мне прежде, ты веришь в меня? — говорила она, ожидая и боясь его ответа. Этим ответом порешалось ее нравственное «быть или не быть» — судьба ее нравственного и даже физического существования: коль верит, так не страшна дальнейшая судьба, какова б она ни была, не верит — смерть, и смерть как можно скорее.

— К чему этот вопрос? Ведь я с тобою, ведь я люблю тебя! — сказал Бероев, снова простирая к ней свои руки.

— Нет! Это не то. Мне не того от тебя надо! — снова отшатнулась она. — Мало ли что любят на свете!.. Любят, так и прощают, а меня прощать не в чем. Ты мне скажи одно: веруешь ли ты в меня, как прежде веровал, или нет?

— Да! — открыто и честно подтвердил Бероев.

— Спасибо... спасибо тебе! — тихо вымолвила она, сжимая его руку и снова бросилась на шею, как за минуту перед тем, и долго и сильно рыдала. Но это уже было благодатное, спасительное рыдание, в котором разрешалась вся черствая засуха безнадежного отчаяния, накопившегося в груди этой женщины.

— Ну, теперь слушай! — проговорила она с тяжело вырвавшимся судорожным вздохом, после того как успела вволю наплакаться.

— Я знаю, я уже все знаю! — прервал ее Бероев. — Мне все уже рассказал следователь и показал все дело.

— Это еще не все. Ты знаешь дело, да души-то моей не знаешь пока, перестрадала да передумала-то я сколько — вот чего ты не знаешь!.. Да, Боже мой, как и рассказать-то все это! — говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли. — Я и сама хорошенько не понимаю, как оно случилось, и не знаю, как и что это они сделали тогда со мною!.. Но... вот видишь ли, — продолжала она, кротко и ласко-

во, с бесконечной любовью смотря в его глаза, — теперь вот, после того как ты сказал, что веруешь в меня по-прежнему, — я виновата перед тобою... Прости меня!.. Я виновата тем, что скрыла от тебя, что раньше не сказала, тогда бы ничего этого не было... Я усомнилась в твоей вере... Прости меня!

И она, с новыми слезами, покрыла его руки долгими, любящими поцелуями.

— Зачем ты скрыла от меня? — тихо, но без укора и любовно прошептал Бероев, склоняя к ее щеке свою голову.

Арестантка горько усмехнулась; но эта горечь относилась у нее не к вопросу мужа, а единственно лишь к самой себе: это был укор, который внутренно она делала себе за свои прежние сомнения и недоверие.

— Боялась, — ответила она вслед за своей горькой улыбкой, — и за себя, и за ребенка, и за счастье наше, за веру твою боялась. Прости, но... что ж с этим делать теперь? Выслушай меня!

И Бероева слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу, все те сомнения и страхи, которые со времени беременности и

до последних дней неотступно терзали ее; рассказала все дело, насколько она помнила и понимала его, — и перед Бероевым со всею осязательностью внутреннего, глубокого убеждения встала теперь ее безусловная чистота, неповинность и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которое побудило ее скрыть от него всю эту историю и ее последствия.

— И вот видишь ли, до чего было довело меня все это! — закончила она, указав на висевшую на стене и не сорванную еще петлю.

Бероев при виде этой петли ясно почувствовал, как от внутреннего ужаса холодом мураши у него по спине побежали.

— Пять минут позже — и всему бы конец! — смутно прошептал он, под тем же впечатлением и даже со страхом каким-то покосясь на стену.

— Но теперь уже этого не будет! — с верой и увлечением глубокой любви прервала его арестантка. — Оправдают ли они меня или не оправдают — мне все-таки легче будет, чем до этой минуты. В Сибирь... Что ж, и в Сибирь пойду, лишь бы ты да дети со мною! Там уж,

даст Бог, одни мы будем, там, может, губить некому будет! Хуже, чем тут, ведь уж едва ли где можно, а мне и здесь теперь ничего, я и с этим вот помирилась... Ты, мой милый, добрый, ты теперь со мною — больше мне нечего бояться?!

XXVII
ПРОЙДИ-СВЕТ

Героев пришел сюда от следственного пристава, который разрешил ему свидание. Следствие было почти окончено, стало быть, препятствий видеться с арестанткой уже не имелось. Уличный холодок освежил его и придал бодрости, когда он вышел из своей квартиры на воздух. Он поехал в часть — узнать обстоятельно все дело; но в части не сообщили ничего положительного, а послали в другую, при которой содержалась арестантка и где производилось следствие. Пристав, с глазу на глаз, в своем кабинете рассказал ему все факты, имевшиеся у него в руках, и потребовал к себе из канцелярии самое дело.

Это обстоятельство весьма заинтересовало

собою двух смышленых господ: доку письмоводителя и того писца, который сообщил Хлебонасущенскому «справочку» об адресе акушерки и на руках у которого хранилось самое дело, так как он, по прямому своему званию и назначению, вел в нем письменную часть, записывал показания свидетелей, очные своды и прочее. Одно уже то, что Бероев, прося доложить о себе приставу, назвал свою фамилию, показалось этим господам весьма интересным: «новый гусь — новый пух», — помыслили про себя оба и решились наблюдать: «в аккурат и по пункту, что бы, мол, это значило и что из того произойдет?»

Дока письмоводитель недаром называл себя жареным и пареным Пройди-светом. Он умел очень ловко принимать разные виды и образы, за что от почтенных сотоварищей и благоприятелей своих удостоился даже раз навсегда особого прозвания.

«Кузька Герасимов — э, брат, это не пес и не человек, это — оборотень, сущий оборотень!» — выражались о нем упомянутые сотоварищи, когда, бывало, соберутся все вкупе в каком-нибудь трактирчике ради братствен-

ных прохождений по очищенной и путешествий по пуншам. «Кузька Герасимов — это такой человек, что просто — во!.. Кого хочешь проведет и выведет; в чернила по маковку окунется и сух выйдет, и чист — и еще, гляди, паче снега убелится. А уж как пристава своего закрутил — малина!.. Таким смиренством и чистотой перед ним форсит, что тот и по гроб жизни своей в том убеждении скончает, что Кузька Герасимов — воплощенная честность и добродетель!.. Так, брат, ловко прикидываться умеет!.. Тонко ведет дела свои, бестия, очень тонко! Пристав-то его молодо-зелено еще, к тому же из правоведских, а этот — орел-чиновник, ну и, значит, знает подход! Кусай его, кто хочет, как орех на зубах — в три века не раскусишь, что он за человек есть, — столь это умеет тонко честностью своею прикидываться, потому — мозги!»

Действительно, мозги у жареного Пройди-света отличались каким-то особенным канцелярски-крючкотворным устройством и весьма тонкою сметливостью, которая, собственно, и помогала ему очень успешно разыгрывать роли честного, добропорядочно-

го, надежного и неподкупного чиновника в глазах тех, перед кем, по его соображениям, таковые роли надлежало разыгрывать.

Когда пристав так внезапно, во время келейного разговора своего с Бероевым, потребовал к себе следственное дело о его жене, орел-чиновник собственноручно понес его в кабинет своего непосредственного патрона.

— Там просят справочку одну, — начал он, вручив приставу бумаги и называя одно из текущих дел, — оно, я знаю, у вас на столе находится... Позвольте мне переглядеть, я в зале на минутку присяду, чтобы не мешать вам... поищу там себе...

И, взяв со стола целую кипу бумаг, Пройди-свет удалился в смежную комнату, приперев, ради благовидности, и дверь слегка за собою. Близ этой двери он, как бы ненароком, поместился у столика и навострил уши: ладно, все как есть дочиста слышно, что говорится, а этого только ему и требовалось.

После трех часов, едва следователь кончил свои занятия и уехал куда-то, Кузьма Герасимыч Герасимов, вместо того чтобы отправляться в недра семейства своего и садиться за

мирную трапезу, махнул на извозчике к Полиевкту Харлампиевичу Хлебонасущенскому.

— Что скажете, батенька? Нет ли чего хорошенького? — озабоченно усадил его великий юрист и практик, прочтя на физиономии оборотня нечто такое, что ясно говорило, будто приход его неспроста и непременно заключает в себе какую-нибудь мерзопакостную закорючку.

— Да все помаленьку двигается... А вот — арестантка наша чуть не повесилась нынче, — пробурчал тот сквозь зубы, напуская на себя соответственную мрачность.

Физиономия Хлебонасущенского изобразила вопрос и холодное удивление.

— Однако не совсем ведь, чтобы уж до смерти? — присовокупил он.

— Помешали, — сообщил письмоводитель, — вовремя захватили, потому — в этот самый момент к ней муж приехал... И я вам скажу, тонкая-с иголка, муж-то ее, может, еще и другой какой оборот в деле выйдет.

— А вы разве слыхали что? — с живым интересом перебил Хлебонасущенский.

— Нет-с... я только так, между прочим, —

уклонился Пройди-свет, крякнув в руку и созерцая карниз потолка.

Но великий практик сразу уже понял, что дело тут вовсе не «так» и не «между прочим», а что Пройди-свет только фальшивые траншеи ведет, потому — душа его некоторого елею жаждет и требует необходимой смазки.

— Славная у вас квартирка! — снова крякнув, начал оборотень.

— Нда-с, квартирка так себе, ничего, живет понемножку.

— Отменная-с... Ведь это, поди-ко, даровая у вас, по положению следует в княжеском доме?

— По положению... А что?

— Нет, я только так это... к тому веду речь свою, что необыкновенное счастье в наше-то трудное время казенной квартирой заручиться.

— А у вас разве не казенная?

— Пользовался прежде, но семейство меня удручает: каждый год почти приращение... Ну и тесновато стало, на вольную пришлось перебираться... А уж это что за житье на вольной! Звания того не стоящее... К тому ж и жа-

лованье наше маленькое... Трудновато жить, по нынешнему-то времени, трудновато-с!..

— А вы бы приватных занятий каких-нибудь искали себе! — в виде благого совета попытался увильнуть Хлебонасущенский.

— Хм!.. Помилуйте-с! Какие уж тут приватные! И служебных — по горло, сами изволите знать... Трудно, очень трудно... Просил было онамедни взаймы у одного денежного человека, да нет, не дает!.. Говорит, безденежье всеобщее... Ну, оно конечно...

— Взаймы?.. — как бы бессознательно повторил Хлебонасущенский, глядя ему в переносицу, и затем приостановился. — А ведь это можно устроить, пожалуй! — присовокупил он вдруг, приняв вид самого родственного участия к Пройди-свету.

Тот быстро вскинул на него свои вглядчивые глаза.

— Вы полагаете?

— Полагаю... Это я с большим удовольствием мог бы устроить для вас.

— То есть как же оно?.. тово...

— А из собственного источника... Впоследствии, Бог даст, сочтемся как-нибудь... Не так

ли?

— Оно конечно... и я... тово... чувствительнейше благодарен...

За сим наступило приятное, но немножко неловкое молчание.

— Так позвольте, мы уклонились несколько от предмета беседы: вы, кажись, про мужа что-то говорили?

— Так-с. Приезжал он нынче к следственному о деле справляться, и — я вам доложу — отменно принят был в кабинете, очень образованный и даже, надо полагать, ученый человек, сведениями обладает, ну и... разговор был-с. Наш-то говорит ему: «По моему, говорит, внутреннему убеждению, она невинна, она защищалась от насилия». Это насчет князя-с. «А только тут, говорит, дьявольская интрига, надо полагать, подведена под нее; я, говорит, имею основание думать, что подводит интригу-то князь Шадурский, то есть собственно господин Хлебонасущенский». Вот оно что-с! «Я, говорит, пытался всячески устранить его, да ничего не поделаешь, пока нет у нас ясных фактов и доказательств, потому — теперь сила у них и в руках и свыше:

только нахлобучку за этого барина получил, будто за пристрастные мои действия против князя, да и дело отнять хотели для передачи другому лицу, и никаких, говорит, резонов моих во внимание не взяли». Вот оно как-с! «Я, говорит, все силы употреблял — и все ничего! Давайте, говорит, вместе действовать, ищите, разыскивайте, помогайте мне, может, что и окажется». И, кажись, у этого Бероева в руках какие-то нити... Горяченько хочет приняться за пружинки, горяченько-с...

Лицо Хлебонасущенского немножко вытянулось. «А чем черти не шутят?» — подумал он в эту минуту и решился принять свои меры, какие, по соображениям, окажутся нужными.

Кузьма Герасимыч, по относительной маловажности своего сообщения, получил только «серенькую взаймы»[335] и забожился, что буде окажется нечто, то уведомит, не медля ни минуты.

И точно, в тот же самый день, часов около шести вечера, Полиевкт Харлампиевич получил от него уведомление весьма важного свойства, которое заставило уже не шутя вы-

тянуться его физиономию.

XXVIII
НАДЕЖДА ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯНА

Успокоив и утешив, насколько хватало силы и уменья, свою жену, Бероев вышел из ее нумера с невыразимой болью и злостью в душе. Часа два беседы с нею помогли окрепнуть несокрушимому уже теперь убеждению в том, что она от начала до конца послужила неповинною жертвою — сперва гнусной прихоти князя Шадурского, а потом — еще более гнусной его трусости и подлой, подпольной интриги. Височные жилы и глаза его наливались кровью, грудь высоко и тяжело подымалась от судорожного дыхания, и ногти невольно впивались в ладони крепко сжатых кулаков, когда он сходил с лестницы полицейского ареста. Вся злоба, ненависть и жажда мести, какие только могут существовать в сердце человека, кипели у него против Шадурского. Но в то же время воспоминание о петле, которую так неожиданно увидел он на стене карцера своей жены, это лицо, измож-

денное глубоким страданием, эти поседевшие в столь короткое время волосы и, наконец, та скорбь и отчаяние, которые звучали в каждом слове ее рассказа, надрывали его сердце болью и жалостью, почувствовать какие может только безгранично любящий, близкий человек. Эта скорбь говорила ему, что нечего терять ни минуты времени, что надо действовать и спасать — как можно скорее спасать ее отсюда, пока еще уцелели в ней жизнь и рассудок.

Не составив себе никакого определенного плана о том, какие принять теперь меры и как именно начать действовать — он как-то наобум поехал прямо к акушерке. Но посещение это вышло вполне неудачно. Ни мольбы, ни угрозы — ничто не заставило ее признаться в истине дела. Кулак-баба тотчас же сообразила, во-первых, что с этого барина взятки гладки, тогда как Хлебонасущенский уже дал, да и еще дать обещался, а во-вторых, изменение показания пахнет теперь тюрьмою, если чем не похуже, так как ребенок скраден, а за это, да еще за ложное свидетельство, она сама становится участницей уголовного дела.

Вследствие таких соображений она, как и перед приставом, заперлась во всем, очень сухо отвечала Бероеву, плакалась, что ее, неповинную и темную женщину, хотят, бог знает почему, запутать в какое-то скверное дело, и наконец, без дальних церемоний, настоятельно стала требовать, чтобы Бероев тотчас же вышел вон из ее квартиры.

Делать было нечего, надежда лопнула, исхода не видать — и Бероев совсем упал духом.

Выйдя от нее на двор, он чувствовал, как у него подкашивались ноги, как закружило и одурманило голову... Ему сделалось дурно... С трудом дотащился он до подворотни и, в изнеможении и отчаянии опустив на руки свою голову, оперся ими об стену. Иначе он бы не выдержал и упал бы на месте.

Дворник, который до той минуты, сидя на приворотной деревянной тумбе, флегматически покачивал ногою в лад какой-то песне, что мурлыкал себе под нос, обернулся и поглядел на него с изумлением.

«Что за притча такая?.. Некогда, кажись бы, надрызгаться... Шел к бабке-голландке совсем, как быть надо, тверезый человек, а вы-

шел — словно три полштофа сразу хватил... Пойтить поглядеть нешто?»

И он, разглядывая, неторопливо подошел к Бероеву.

— Эй, сударь!.. нехорошо... с утра-то!.. Право, нехорошо. Ну что стоять-то так?.. Ступайте-ко лучше... пойдем я провожу — извозчика кликну... Потому — не резонт. Э-э!.. Да он никак болен!.. А я думал — пьян, — сообразил он, заглянув в побледнелое лицо Бероева. — Эй, барин... слышьте, что с вами? Больны вы?.. Ась?.. Воды бы испить, что ли... Пойдем, сведу в дворницкую, передохните чуточку, а здесь — нехорошо... Народ ходит.

И, подхватив больного под руку, он осторожно спустился с ним в свою «дворницкую», низенькая дверь которой выглядывала тут же, в подворотне.

Выпив стакан воды, Бероев пришел в себя.

— Надо быть, разговор какой у вас вышел, — принялся толковать с ним дворник, — это, что ни на есть, сволочь последняя — эта самая бабка-голландка. В Христов день с проздравкой придешь — гривенник, сука, отвалит, а больше и не жди... Вот в полицию те-

перь таскают — там, надо быть, в портмуне-то заглянуть ей...

Бероеву явилась внезапная мысль.

— Послушай, брат, — начал он, — не замечал ты, месяца три с небольшим назад, была ли у нее одна женщина... родить к ней приезжала и жила потом несколько дней?

— Да здесь их много приходит к ней... Это случается. А какая такая женщина из себя-то?

Бероев как можно подробнее и понятнее старался описать ему приметы своей жены.

Дворник раздумался.

— М-да... этта, помнится, кажись, что была... Как же, как же, помню!.. Точно, что приезжала и родила тут... мальчика, сказывали, родила... Она и опосля того приезжала сюда сколько-то разов... Это я теперичи доподлинно вспомнил.

— Где теперь этот ребенок?

— Да у ей, у бабки же должон быть, там оставлен... Она этим делом займается, воспитывает тоже.

— Его нет теперь там... Верно, отдала куда-нибудь... Ты не знаешь?

— Не знаю, может, и отдала... у них всяко

случается!

— Он с неделю назад еще был тут — это я знаю положительно.

— С неделю?.. Постой-ка, брат... с неделю...

Дворник потупился и снова стал припоминать. У Бероева чуть дух в груди не захватило от ожидания и надежды.

— С неделю... Нда, точно... Теперь вот, помню... оно и в самом деле, не больше как ден шесть минуло. Стою я, этта, часу в шестом у ворот, а девка ейная, жидовка, вышла с младенцем — на руках у ей младенец в салопе завернут был. А я еще шутем окликнул ее: «Куды, мол, несет те нелегкая с дитем-то?» А она ухмыляется: «Гулять, говорит, иду». Постояла малость, поглазела так на стороны да и пошла. А потом через сколько-то времени вернулась, только уж одна, без ребенка. Я себе и подумал: «Верно, снесла куда ни на есть, аль, может, у родителев оставила».

— И этого ребенка ты больше не видел?

— Не видел, точно не видел. Да и зачем? Мне оно ровно что ни к чему.

— А не помнишь, он один в то время был у нее на воспитании?

— Кажись, что один... Другого-то не чуть было, а по крику надо бы услышать; ну и видишь иной раз тоже, как воду аль дрова принесешь. А видал-то я раз два эдак случаем, точно — одного только.

— И вот в эту неделю его там не было?

— Надо быть, и в самом деле не было, потому, коли бывают у нее эти самые робятки на спитании, так с ними завсегда жидовка эта ейная водится, а все эти дни, кажись, не при деле она: так себе, попусту валандается.

По мере этих расспросов лицо Бероева прояснялось: надежда еще есть — спасение возможно. Это придало ему новую бодрость.

— Ты не заметил ли, — продолжал он наводить на дальнейший след словоохотливого собеседника, — не приезжал сюда около этого же времени один господин, пожилой, небольшого роста, с бакенбардами?

И он постарался напомнить ему фигуру Хлебонасущенского, хотя и сам был знаком с этой фигурой только по рассказу следственного пристава.

Дворник опять потупился и стал соображать.

— Как же, как же!.. Три раза был... точно. Эге, да вот оно что! Теперь вспомнил! — внезапно воскликнул он, оживляясь глазами и улыбкой. — Впервой-то, помнится, приехал он на извозчике в тот самый раз, как жидовка дитю со двора унесла. После него, только что уехал, она чуть не следом и унесла — с полчаса времени прошло опосля того, не больше. А потом он два раза на своих лошадях приезжал, парой — рыженькие еще эдакие лошадки, шведочки — хорошие лошадки! Не знаю уж для каких делов, а только точно что был; третьевадни последний раз, этта, приехал и долго сидел; я еще к кучеру подошел: «Чьи, мол, такие лошади?» А он, пес, облаял: «Господские», говорит. «А чьего господина?» — «Мово», говорит. «А как зовут, мол?» — «Зовут, говорит, зовуткой, бабиной дудкой», да еще нехорошее слово такое ввернул, ляд его дери! А больше с того разу и не приезжал.

Бероев поразмыслил над этим фактом. День последнего приезда совпадал с кануном очной ставки акушерки с его женою. Очевидно, Хлебонасущенский учил ее, как и чем уличать обвиненную.

— А перед этим разом когда еще приезжал, не упомнишь ли? — спросил он.

— Дня-то теперичи доподлинно не упомню, а только, кажись, в этот самый вечер, как бабке надо бы первую повестку получить, значит; этта, позыв к приставу в часть. Я ведь и городового проводил к ней с повесткою-то. А после повестки, часа эдак через два, коли не поболе, и барин, значит, приехал, долго опять-таки сидел он тут; я ему потом и калитку отворял, как выпускал-то. Это так, верно будет, это я доподлинно помню.

Новое сообщение дворника опять-таки навело Бероева на мысль, что и это посещение неспроста сделано, а имело целью подготовить акушерку к первому допросу. Все эти факты — если бы дворник не отказался подтвердить их формальным образом, под присягой — могли бы иметь очень хорошее значение и повлиять на благоприятный исход для Бероевой. Заручившись так неожиданно столь важными и драгоценными сведениями, он откровенно высказал этому дворнику все свое горе, показал ему в довольно наглядных чертах всю главную суть дела, затеянного

важным барином против его жены, и дворник простым своим разумом понял, что дело это больно неладное. Видно, в словах Бероева звучало много искреннего и глубокого горя, которое само собою, помимо его воли, выливалось наружу, потому что рассказ этот видимо прошиб до самого сердца его собеседника.

— Ах они, ироды лютые! Да это что ж такое? да я первый хошь под присягу пойду, потому — могу улику налицо предоставить. Коли надо — я для этого дела не прочь, не отступлюся, значит. Верно! Так точно вы, сударь, теперичи начальству об эфтим самом объявку подайте, что Селифан, мол, Ковалев так и так, заявить, значит, может. И барыню-то вашу я в лицо признаю, коли покажут мне ее, да и господина-то энтого самого не позабыл еще: рожа-то, хоша и под вечер было дело, а памятна таки, потому — что дворники, что извозчики — на это самое дело больно горазды, на рожи-то, значит, уж это служба наша, почитай, такая.

На прощанье Бероев, не разбирая, сунул дворнику в руку первую попавшуюся ассигнацию, на которую тот поглядел с видимым

замешательством, но не без внутреннего удовольствия.

— Это вы что же, сударь?.. Это уж лишнее... Я, значит, не для того, а по совести, как есть, так и говорю, а депозитку еще не за што бы пока жаловать вам...

Селифан немножко ломался, желая для виду и амбицию свою несколько показать.

— Ну, брат, бери! — откликнулся Бероев, взволнованный нетерпением и радостью неожиданной надежды. — Ты ведь мне точно гору какую с плеч свалил... Только спасай, Бога ради! Поддержи меня! Покажи все, как знаешь, по правде!..

— Да уж насчет эфтих делов будьте без сумления, мы и без денег постоим... барин-то вы, вижу я, хороший — ну и, значит, конец!.. Уж я энту сволочь, голландку-то, допеку, потому скареда ехидная: николи-то с нее, каков он гривенник есть — так и того-то, почитай, не увидишь, хошь бы в самый великий праздник Христов! А за депозитку, значит, коли уж вам охота такая, благодарствуем. Выпьем малость самую за вашу милость, дай Бог здоровья!..

И дворник с поклонами проводил его за ворота.

Бероев, прыгнув в санки первого случившегося извозчика, отправился немедля в часть — передать приставу вновь собранные сведения и порадовать жену доброю надеждою. Он был слишком взволнован в эту минуту, которая казалась ему целым веком, от нетерпения разъяснить поскорей всю истину запутанного дела.

Дворник постоял у ворот, поглядел ему вслед, потом развернул ассигнацию.

— Ишь ты — синяга[336]! — не без удовольствия мотнул он головою. — Чудак, шальной барин-то какой, синягу, почитай, ни за что отвалил. Ну да ведь и то — теперичи, значит, в часть меня тягать станут, от дела свово отбивать — так оно за труды ништобы. Да гляди, потом и сотнягу, может, отвалит, коли покажу, значит, как оно есть по совести — это, стало быть, на руку нам!.. Синяга!.. Эко дело какое! Надо быть, горе-то не свой брат... Пойти нешто в харчешку, хлебнуть малость за его здоровье... Право, пойти бы!.. Можно!..

И он, махнув рукою, весело зашагал по на-

правлению к ближайшей харчевне.

XXIX

ХЛЕБОНАСУЩЕНСКИЙ И КОМПАНИЯ ПОРЮТ ГОРЯЧКУ

И — распрекрасная столица,
Славный город Питинбрюх;
Шел по Невскому пришпехту
Сам с перчаткой рассуждал! —

Пошатываясь, выводил залихватские нотки дворник Селифан Ковалев, возвращаясь к своим воротам из харчевни, около часу спустя по уходе Бероева.

У ворот повстречался он с Рахилью, которая шла из мелочной лавки с какими-то покупками в руках и остановилась, посмеиваясь на веселый вид захмелевшего Селифана.

— Ты чего это, песья дочка?.. а?.. Ты что? Для че бельмы-то вылущила на меня?.. Хмелен я? Ну так что ж, что хмелен? Слаб человек, грешен человек — потому, значит, я пьян... А вам смешно?.. Вот погоди, завтра-те вместе с голландкой твоей — обеих к Исусу потянут — так ты там зубы-то поскаль!

— Куда-а? — ухмыльнулась, прищурясь на него, Рахиль.

— А туда, где тебе Кузьмину тещу покажут да попотеть заставят — в часть, значит, к следственному. Аль забыла, как намедни звали?

— Зачем в часть? — недоверчиво спросила Рахиль.

— А там уж обозначится зачем!.. Там ужо доведают, куда вы с голландкой ребенка-то скрали.

— Какого ребенка?

— А того, что барынька-то у вас на спитании оставила.

По лицу еврейки пробежало беспокойное облачко.

— Чего похмырилась?.. Аль не вкусно?.. Ась? — продолжал меж тем Селифан, загораживая ей дорогу. — Ты думаешь, вам оно с рук так и сойдет? Нет, брат, шалишь! Поперхнешься!.. Неповинного человека не моги запорочить! Правда-то Божья выплывет!.. Вы думаете, там ваших делов никто и не знает? ан нет, врешь, шельма! — я знаю: Селифан Ковалев и докажет, значит!

— Что ты знаешь-то? Ну что ты знаешь? пьяная твоя рожа, — беспокойно наступала на него еврейка.

— А то я знаю, что у вас ребенок был, а теперь нетути, а ты его со двора снесла, а теперича перед следственным обе зарекаетесь: знать, мол, не знаем. А мне оно известно, я на вас, иродов-кровопивцев, и докажу начальству, потому — барин-то добрый — вона, синягу ни за што дал... а от вас, каков он гривенник есть — и того не жди!.. А я выпил, дай Бог ему здоровья... и сам завтра с вами пойду... Вот оно что!..

Хмельной Селифан долго еще бормотал на эту тему, только уже сам с собою, потому что Рахиль после этих слов озабоченно и поспешно шмыгнула мимо его — поскорей сообщить своей барыне, что дворник, мол, болтает недоброе что-то.

У страха глаза велики. Акушерка, выслушав и раза три внимательно переспросив свою служанку во всей подробности — насколько та могла передать ей разговор свой, — очень встревожилась и немедленно послала ее к дворнику, с поручением, чтобы

тотчас залучить его к себе на квартиру. Ей хотелось самой разузнать от него, в чем дело, и задобрить какою-нибудь подачкою. Она высунулась в форточку — дворник бродил себе по двору и все еще бормотал про гривенник и синягу.

— Селифанушка! А Селифанушка! Подымись-ко сюда, голубчик!

— Для че вам?

— Надо... Подымись, я тебя чайком попою...

— Ладно! Теперича так и чайком, а то и гривенника николды не дождешься! Некогда ходить мне по чаям... Вот ужо в части повидаемся!

Маневр не удался. Кулак-баба спешно стала одеваться и, встревоженная, поскакала прямо к великому юристу и практику за надлежащими советами — потому дело такое, что и ума не приложишь.

Едва успела она, запыхавшись, передать ему всю неясную суть полученного ею известия, которое немало-таки озадачило Полиевкта Харлампиевича, как вдруг туда явился новый, нежданный посетитель.

У Хлебонасущенского екнуло сердчишко чем-то нерадостным.

— Ну, что скажете, милейший мой Кузьма Герасимович?

— Нехорошо-с... дело тово... весьма экстраординарный оборот! — с внушительной важностью шевельнул бровями Пройди-свет, письмоводитель. — Позвольте объясниться конфиденциально-с?

Хлебонасущенский удалился с ним в кабинет.

— Оно, изволите видеть, дела у нас много... — начал ему рассказывать письмоводитель. — Я прихожу нынче в канцелярию после обеда, соснувши этак с часик. Позаняться надо было бумажонками там кой-какими спешными. Вдруг прилетает, этта, господчик — Бероев-то этот. Гляжу я, словно бы муха его укусила, себя не чует человек от полноты душевной. «Дома, говорит, господин пристав?» — «Уехавши». — «Скоро будет?» — «К ночи, говорю, надо полагать, вернется, а раньше едва ли. Да вам что, говорю, угодно? Ежели какая-нибудь экстренность по делам, то либо написать ему потрудитесь, либо мне, го-

ворю, сообщите для передачи, а мы уж немедленно же и зависящее распоряжение сделаем, коли это важная экстренность». Дал я ему тут письменную принадлежность, а он вот что-с изобразить изволил! Не угодно ли пробежать? — закричал Пройди-свет, вытаскивая из бокового кармана свернутый лист бумаги.

Хлебонасущенский поморщился и стал читать, сначала довольно хладнокровно, но потом руки его невольно дрогнули и физиономия потеряла всякую приятность, ибо значительно вытянулась и побледнела.

Дело казалось нешуточное. Это было формальным образом изложенное письмо на имя пристава о всех обстоятельствах, узнанных Бероевым от дворника, где между прочим и о Полиевкте Харлампиевиче упоминалось.

— Что же вы теперь намерены делать? — слабо спросил он Пройди-света.

— В ихнюю часть телеграфировать будем, чтобы дворника этого назавтра к допросу представить.

— А нельзя ли как-нибудь сделать отвод этого свидетеля?

— М-м... трудновато-с, — призадумался

письмоводитель, потирая палец о палец. — Приметы экипажа вашего явственно обозначены, а также и число посещений, — объяснил он. — Могли, значит, кроме его, еще и другие лица видеть — мелочной сиделец, например, — и ежели на повальном обыске окажется, что точно заприметили этих шведочек, то, я вам доложу-с, для вашей амбиции мораль подозрительная может произойти. Притом же и вы тогда к следственному делу всенепременно будете притянуты. А эту самую персону, что в гостиной у вас теперь сидит, завтра же арестуют вместе с жидовкой и по секретным упрячут. Может, и до сознания доведут; особливо как ежели дворник уличать-то их станет.

Практик в сильном волнении зашагал по комнате: «Господи! Все было так хорошо устроилось, все было ехало как по маслу, можно сказать, к счастливому финалу приближались. Рубикон перешли, и вдруг — дворник какой-нибудь с этим ослом Бероевым все труды и усилия за один мах похерят. Оскорбительно!»

— Задержите телеграмму! — стремительно

повернулся он к Пройди-свету, озаренный новой мыслью.

Тот замялся и, ничего не ответив, только за ухом почесал, с улыбкой весьма сомнительного качества.

— Непременно, во что бы то ни стало, задержите! — настойчиво приступил Полиевкт Харлампиевич, который в эту минуту не без основания сообразил, что в дальнейшем деле, при таковом его обороте, будет страдать уже его собственная шкура, не говоря об остальных, а в том числе и о шкуре князя Шадурского.

— Ну нет-с, оно довольно затруднительно насчет приостановки! — вздохнул письмоводитель, словно бы после сытного обеда, во всю широкую грудь. — Боже борони, что-нибудь окажется — сам под суд попадешь, — продолжал он, — а у меня — жена да дети, и человек я к тому же недостаточный, как вам небезызвестно: так мне-то оно не тово-с...

— Сколько вам надо? — решительно и без всякой уже церемонии спросил его Хлебонасущенский.

Тот замялся: очевидно, хотелось хватить

цифру покрупнее.

— Вы уж лучше на этот счет сами извольте почувствовать и сообразить, сколько бы за такое дело можно положить, без обиды, по совести, — ответил он Полиевкту. — Вы мне, например, назначьте, а я, коли мало, скажу: «мало», а коли много, я — «много» скажу. Так мы это дело по чести, промежду себя, и обстроим.

Хлебонасущенский подумал.

— Радужную[337]... желаете? — предложил он.

Пройди-свет упер в него свои глаза, выражавшие очень ясно: «Гусь ты, братец, точно что гусь, да напал-то на лебедя!»

— Желаете? — повторил тот.

— Мало.

— А две — тоже мало?

— Всеконечно-с... Да уж коли сами спросили, стало быть, чувствуете, что мало!

— Ну а три?

— Мало! — с сокрушенным вздохом опустил он глаза свои в землю.

— Ну а четыре?

— М-м... почти что мало, к сожалению: де-

ло рискованное...

— Пять?

— Это будет достаточно.

— Но я нахожу, что пять уже много.

— Взгляды, знаете ли, бывают различны, и мнения разноречивы — это даже и в английском парламенте случается. А княжеская касса богата: ее пятьсот рублей на бедного человека не разорят, полагаю.

Хлебонасущенский согласился с этим аргументом и заплатил. Он сам очень хорошо сознавал, что последнее сообщение Пройди-света весьма и весьма-таки важно и стоит, пожалуй, даже побольше, чем пятьсот рублей, но не мог не поторговаться, потому таков уж обычай, такова натура. Условились — до утра скрыть бумагу от следственного пристава и, стало быть, отсылку вызова предоставить, обычно формальным образом, на его собственное благоусмотрение. По такому расчету времени у Хлебонасущенского все-таки оставалось немного — даже менее суток; поэтому он немедленно отправился на генеральный совет к ее превосходительству Амалии Потаповне фон Шпильце. Обсудив дело, генераль-

ша в ту же минутку послала за своим вечным фактотумом, Сашенькой-матушкой, мнимой теткой господина Зеленькова, которая по-прежнему продолжала проживать на своем скверном пепелище. Хлебонасущенский, однако, по своей предусмотрительности и осторожности, счел за лучшее уехать ранее прихода этой достойной особы, которой немедленно были сообщены, лично самой Амалией Потаповной, очень важные и секретные инструкции. Результат этих инструкций, равно как и общий результат чрезвычайного совета, читатель узнает непосредственно из глав последующих.

XXX
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ПОД НОВОЮ КЛИЧКОЙ

Проснулся наутро Селифан Ковалев часу в пятом и долго сна своего не мог одолеть, к великому неудовольствию водовоза, который, стоя с своей бочкой у ворот, раз восемь уже принимался дергать за ручку дворницкого звонка. Первых четырех Селифан Ковалев и не почувствовал; пятый кое-как отдался в его ухе, на шестом он смутно подумал себе сквозь сон: «Надо быть, звонят», — и на этом вполне справедливом предположении снова было успокоился сном блаженного; но седьмой звонок привел его к сознательному подтверждению предшествовавшей мысли, что точно, мол, звонят.

— Коего черта несет там спозаранок?.. Встать, нешто, отомкнуть ворота али еще соснуть малость? Пущай его звонится!

Наконец пронзительный звон в осьмой раз вполне уже заставил его проснуться. Вскочил Селифан с горячей лежанки, Господа Бога

мимоходом помянул бормотанием, почесался, прочухался и слышит — трещит его головушка, больно трещит: опохмелья, значит, требует.

Пошел он, по утреннему обыкновению, босиком отворять ворота.

— Ты что, леший, не отпираешь? Инда кляча промерзла!

— Трещит, брат, тово...

— Шибко?

— Шибко... не приведи Бог, тоись...

— Зашибся, значит?

— Было дело, по малости...

— Опохмелиться надо...

— Это точно что...

— Пойдем?!

— Никак этого невозможно, потому — рано еще: в фартал надо сбегать в девять часов, панель тоже скребсти, дрова таскать... Опосля фарталу смахаю.

— Эвона, «фартал!»... Нешто, пущай трещит башка до тех-то пор?

— Пущай ее!..

— Пройдет до девяти-то, буде тово хватишь!

— Никак нет, знаю я в себе эту ризолюцию: хуже, гляди, сделаешь; лучше, как ни на есть, обождать; опосля хвачу.

— Ну, шут те дери! Орудуй сам по себе, коли так!

Селифан постоял-постоял, зевнул раз пяток на остром холодке — все-таки трещит, окаянная. «Такая, значит, линия и такой предел, что ничего не поделаешь, окромя того, что опохмелиться человеку беспременно надо».

На этом он и порешил сам с собою.

Справил, как быть надо, всю свою должность дворницкую: воды да дров по жильцам натаскал, лестницы кое-где для виду подмахнул, панель поскреб и в квартале совершил обычно-утреннее посещение с книгой да с отметками — а все-таки трещит, проклятая, ничуть не желает затихнуть и похмельную чарку настойчиво требует: просто моченьки нету, хоть ложись да помирай на месте.

Нечего делать, против линии не пойдешь — и Селифан Ковалев спустился в преисподнюю ближайшей распивочной, хватил косушку, закусил капусткой кислой и вышел с твердым намерением за работу приняться.

И точно, принялся — только горит его душа; как ни ретиво старается он грязно-ледяные глыбы с мостовой железным ломом скалывать, а она горит да горит и словно бы все подмывает его: «Не спуститься ли, мол, Селюшка?» — «Нишни, не балуй!» — строго выговаривает он самому себе, а душа и знать не хочет этих строгостей: «Ой, спустимся, Селюшка! ублажимся, голубчик!» Поддался Селифан на это лукаво-сладкое искушение и перед обедом снова спустился и снова хватил. «Ведь вот каков человек я есть окаянный! — укоризненно мыслит он сам с собою. — И знаю, что не резонт, что коли побежишь по этой самой дорожке, так и удержу на тебя не будет, а не могу, потому — тянет... Лучше бы уж было не ходить и не пить совсем, чем так-то... Эх, грехи наши тяжкие. Слаб человек, прости Господи!..»

Разобрало-таки Селифана, и чувствует он, что на взводе состоит и что целый день-деньской ему таким манером промаяться придется: тут и опять-таки ничего, значит, не поделаешь, потому линия...

Часу в четвертом, только что прилег было

Селифан Ковалев на свою лежанку задать доброго храпака и затем стряхнуть с себя всю эту блажь похмельную, над ухом его раздался звонок. Хожалый принес ему повестку — явиться назавтра к одиннадцати часам утра в ***скую часть к следственному приставу, и при сем удобном случае, заодно уж, для порядка ругнул его за пьяный образ, причем дал доброго подзатыльника, в качестве доброго начальника, и удалился с гражданским сознанием верно исполненного долга. После его ухода, едва Селифан опять успел себе сладко растянуться на своем нехитром ложе, раздался вдруг новый звонок. «Эк их расшатала нелегкая!.. Кого вам надо?»

У ворот стоял человек в бекеше с меховым воротником и нетерпеливо постукивал о сапог своей тросточкой.

— Какая здесь, любезный, квартера отдается? — спросил он.

— Да вам какую надо?

— Да ту вон, что у ворот билет наклеен.

— Та фатера — две комнаты и кухня с чуланом.

— А много ли ходит?

— Триста в год.

— Дорогонько… А покажи-ка ее.

— Сичас… Вы ступайте на ту вон лестницу, а я только ключи захвачу.

Господин в бекеше осмотрел квартиру и остался ею доволен.

— Хорошо. Я сегодня же переезжаю сюда, — сразу решил он на месте. — Ты уж, друг любезный, никому больше не показывай. На вот тебе задаток. Довольно будет три рубля?

— Очинно даже довольно.

— Ну и прекрасно. А это вот тебе для первого знакомства! — И господин сунул ему в руку рублевую ассигнацию.

Дворник заметил, что бумажник у него не пуст. «Надо быть, исправный жилец будет», — решил он про себя и пожелал осведомиться, как фамилия будущего постояльца.

Господин слегка замялся; но это было одно только мгновение, после которого он с предупредительной поспешностью ответил:

— Петров… Иван Иваныч Петров.

— Так-с. Чиновник-с, полагается?

— Нет… по торговой части — на коммерческой конторе служу.

Дворник поклонился и проводил с лестницы господина, который, спускаясь, повторил свое обещание переехать сегодня же, часу в седьмом вечера. «Потому — человек я холостой, одинокий, — объяснил он, — сборы у меня невелики — всего на один воз только хватит, так у меня дело недолгое, горячее дело».

И они расстались в ожидании переезда.

XXXI
БАЙКОВЫЙ ЛОЗУНГ

Часов около шести вечера, когда Селифан Ковалев ощущал по-прежнему еще некоторое приятное кружение в голове и неприятную трескотню в затылке, к воротам дома, хранимого его бдительностью, подъехал на простом ваньке давишний наниматель, а за ним, шагах в тридцати, остановился бойкий и сильный рысак одного из петербургских лихачей. Высокого роста, плотный человек, завернутый, что называется, по-старокупечески в хорошую лисью шубу, быстро отстегнул богатую полость изящных, легких санок и, осторожно оглядясь во все стороны, неторопливо

пошел вслед за господином в бекеше, стараясь не упустить его из виду. Лихач, в некотором расстоянии, тоже подвигался за этим последним.

— Погода... — тихо и как бы сам с собою проговорил человек в лисьей шубе, проходя мимо господина в бекеше, который, разочтясь со своим ванькой, в эту минуту дергал за ручку звонка.

— Пока серо еще... — столь же тихо и тоже будто сам с собою промолвил господин в бекеше.

— Кажись, снег будет...

— Нишни! Стырься, откачивай дале![338]

Лисья шуба, словно совсем посторонний прохожий, прошла вперед, и лихачьи санки за ней потянулись.

В воротах показался дворник.

— Кого вам? А, это вы, сударь?

— Я, братец, я... Квартира моя готова?

— Да что ей делается? Вестимо, готова, стоит себе.

— Ну, это хорошо... Стало быть, я вот и переезжаю.

— А небиль-то ваша где же?

— А там еще... едет... при ней кухарка моя осталась с ломовиком — укладываются, а я вот вперед их проехал, чтобы встретить, значит...

— Так-с оно... Стало быть, проводить на фатеру прикажете?

— Нет, братец, что там в пустыре-то одному мне делать?.. Они ведь с возом придут не раньше как через час еще, а мне вот холодно что-то... прозяб я малость — так как бы эдакто во... чайку бы хватить, что ли?.. Нет ли здесь трактира поблизости?

— Как не быть! Вот он, на перепутье!

— А!.. Ну, так вот что, друг любезный! — необыкновенно ласково и задушевно обратилась бекеша к Селифану Ковалеву. — Я уж тебе поклонюсь — помоги ты хозяйство наверх перетащить, как воз-то приедет.

— Отчего же... Это мы завсегда, с нашим почтением... это очинно можно.

— Ну и прекрасно!.. За труды на чай получишь, а пока они там едут, сходи-ка ты мне в трактир да принеси чайку, а я пока в дворницкой у тебя, что ли, посижу, попьем да покалякаем малость промежду себя: ты мне про

соседей порасскажи — новому жильцу ведь все это надо знать, сам ты понимаешь. Смахай-ко! На вот и деньги.

— Да мне недосуг... никак невозможно от ворот отлучиться, — замялся дворник.

— Ну вот, вздор какой!.. Толкуй про ольховую дудку! Отлучиться!.. Ведь не на целый вечер, а всего-то на пять минут. Махай! Я, брат, человек негордый, простой, из мещанства тоже, и своим братом никак, значит, не гнушаюсь и не брезгаю. Как сдачу получишь, так хвати там себе осьмушку: разрешаю, значит! — добавил новый постоялец.

Дворник, с пьяных глаз, почесал задумчиво за ухом, улыбнулся при перспективе чайку и осьмушки и — слаб человек — не устоял против искушения.

Отправился. Высокий мужчина в лисьей шубе, все время внимательно следивший издали за действием бекеши, пошагал теперь на другую сторону улицы и продолжал оттуда свои наблюдения за шедшим Селифаном. Лихач меж тем оставался на прежнем месте.

Господин в бекеше выждал минуты две и тоже отправился вслед за дворником. Прохо-

дя мимо лихача, он промолвил: *«Ясно»*, — и, вслед за этим словом, тот повернул своего коня на другую сторону, к человеку в лисьей шубе.

XXXII
«УТЕШИТЕЛЬНАЯ»

Бекеша вошла в дверь «ристарации» под фирмой «Македония».

— А я, брат, раздумал, — сказал он, подходя к Селифану, который стоял у буфета в ожидании двух чайников — с кипятком и прелым трактирным настоем.

— Что ж так? — отозвался, повернувшись, дворник.

— Да так, вишь... пока что до чаю, водки рюмку захотелось: прозяб я больно. Ты еще не хватил?

— Не хватил пока.

— Ну, так вместе, значит. Эй, почтенный! две большие рюмки бальзаминчику иль померанчику — что у вас тут позабористей? — распорядилась бекеша к буфетчику. — Да вот что: тебя как зовут-то, братец?

— Крещен Селифантом.

— Ну так вот что, Селифанушка, — продолжал он, хватая вместе с дворником по огромной рюмке, от которой последнего видимо огорошило, — присядем-ко мы в той-от комнате да побалуемся, по малости, чаями.

Тот раздумчиво прицмокнул языком.

— Не досуг бы мне это... неравно что по дому случится...

— Ой, чему там случиться! Ведь нам тут не час часовать — в один секунд будем готовы! — ублажала его бекеша. — Пойдем по пуншикам слегка продернем!.. Ну?.. Да и все ж оно в трактире не в пример антереснее, чем в дворницкой. Так ли?

«Пуншики» победили раздумье. Очень уж соблазнительны показались они Селифану.

— Пусти-ка, брат, машину — кадрель из русских песен — да изобрази нам два стакана пуншу позабористей! — распорядился господин в бекеше, приютившись с Селифаном у крайнего, угольного столика в смежной комнате.

Там и сям восседала обычная «публика»: извозчики с чайком да солдат с «душенькой»;

грязнец-чинушка из самых замотыжных: отставной сюртук с медными пуговками и красным воротником да отдельная группа личностей, напоминавших своею внешностью и приемами гуляющих приказчиков из-под Щукина и купеческих артельщиков.

Машина еще не докончила своей «кадрили из русских песен», а дворник Селифан с новым жильцом, опорожнив по стакану, едва лишь успели приняться за вторые, как в «Македонии» появился высокий плотный человек в лисьей шубе и, осмотревшись по сторонам, направился прямо к столику новых приятелей.

— Ба-ба-ба!.. Иван Иваныч! Дружище! Вот где встренулись!.. Ну, как живешь?.. Сем-ко, брат, и я к твоему столу примажусь. Эй, малец!.. Тащи-ко нам сюда бутылку лисабончику! Аль, может, ты, Иван Иваныч, тенерифцу желаешь?

— Можно и лисабончику, и тенерифцу, — согласился Иван Иванович. — Да ты, Лука Лукич, с чего это натуру-то свою изображаешь так?

— А мы ноне кутим, потому — мы ноне

подряд один с торгов за себя взяли.

Селифан поднялся, с намерением откланяться своему угощателю.

— Нет уж, друг, будем сидеть все вкупе! — удержала его за руку лисья шуба. — Это не модель таким манером девствовать, и ты, значит, компанства нам не рушь.

Селифан не нашелся, чем и как поперечить столь неожиданному и настойчивому заявлению нового гостя. Он грузно опустился на стул и принялся за стакан лисабончику, который любезно преподнес к нему Лука Лукич, привстав со своего места и, ради почету, примолвив: «Пожалуйте-с». Роспит был и лисабончик, роспита и тенерифцу бутылочка промеж приятных разговоров. Купец казался сильно захмелевшим, но в сущности было совсем другое: глаза его, когда он мельком, исподтишка, значительно взглядывал на своего собеседника в бекеше, были совершенно ясны и трезвы.

Селифан поднялся было вторично, с намерением поблагодарить да и отправиться восвояси.

Лука Лукич встал перед ним, заградив до-

рогу, и с ухарски-сановитой повадкой распахнул свою шубу.

— Проси ты у меня, милый человек, чего только душа твоя пожелает, и Лука Лукич — моей матери сын — все это тебе с нижающим удовольствием предоставит. Хошь сладкой водки? Могу!.. Эй, малец! Сладкой водки французской графинчик предоставь на сей стол по эштафете! А может, денег хошь? И денег могу, сколько потребуетца. На, получай, доставай себе сам из моего кредитного общества!

И он, выложив на стол замасленный толстый бумажник, усердно стал совать его под нос хмельному Селифану.

— Ты, говорю, получай на свой пай, сколько тебе потребуетца: в эфтим разе препятствия от нас нет! — продолжал он, напуская на себя размашистый экстаз широкой натуры. — Ты все что хошь, то и бери за себя: только, говорю, компанства не рушь, потому я из себя такой человек есть, что никак без этого мне невозможно — люблю!.. Уж как я, значит, загулял да, загулямши, на компанию напал — последнюю нитку с себя спущу, лишь бы эта

самая компания пребывала со мною вкупе! Ты объявил мне: каков ты человек есть? звание твое и протчая?

— Двор... н-ник, — едва-едва смог пролепетать ему коснеющим языком Селифан Ковалев и опустил на ладони свою отяжелевшую голову.

Шуба с бекешей многозначительно переглянулись.

— Ну, дядя мой тоже в дворниках живал, — продолжал Лука Лукич, — стало быть, мы с тобою на одном солнышке онучи сушили. Верно! Ты — дворник, а я — подрядчик, и я, значит, желаю с тобою компанство иметь, потому Лука Лукич — моей матери сын — нониче гуляет. Сторонись, душа! третья миралтейская скачет!

И с этими словами он ухарски опрокинул в глотку довольно крупную дозу спиртуозной жидкости и поставил стакан к себе на голову — ради очевидного доказательства, что в нем не осталось ни капли.

— Что здесь коптеть!.. — продолжал он, окинув глазами комнату. — Отдернем лучше на Крестовский, к Берке Свердлову в гости.

Ходит, что ли?

— Ходит! — охотно согласился Иван Иваныч.

— Ну а коли ходит, хватай его под руку! — скомандовал Лука Лукич, кивнув на угасшего Селифана, которого подхватили они вдвоем под мышки и поволокли из харчевни.

— Карчак! подкатывай, — свистнул высокий своему лихачу и усадил рядом с собою почти бесчувственного дворника.

Иван Иваныч ловко вскочил на облучок — и добрый конь шибко тронулся с места.

Но вместо Крестовского острова компания очутилась близ Сенной площади, недалеко от устья большого и широкого проспекта. С одной стороны этого проспекта, вблизи названных мест, высится громадный домище с колоннами, нишами и широким балконом, над которым большая вывеска гласит, что в этом домище обретается пространная гостиница, а непосредственно под этой вывеской — другая, только более скромных размеров, извещает, что тут же имеется и «учебное заведение для девиц», так что желающий может, пожалуй, читать обе вывески разом, совокупя

их в одну. Но это не более как курьезная частность, о которой мы упомянули мимоходом и которая нисколько не касается сущности нашего рассказа. По другой стороне проспекта, немножко наискосок от этой гостиницы, несколько лет тому назад тянулся старый каменный забор, к которому с внутренней стороны примыкали ветхие деревянные пристройки, где помещались конюшни ломовиков и ванек-извозчиков. Так по крайней мере гласит изустное предание, хотя оно отнюдь не относится ко дням давно минувшим. Нашелся ловкий антрепренер, который воспользовался фасадом кирпичного забора, то есть значительною частью его, проделал в этом заборе целый ряд окошек и на развалинах конюшен воздвиг животрепещущее здание, чуть ли не из барочного леса, которому торжественно дал соответственное наименование. Это наименование в одно прекрасное утро возвестила окружному люду Сенной площади блистательная вывеска золотом по голубому полю, с изображением чайника и прочей трактирной принадлежности. С первых же дней существования новая харчевня

эта приобрела огромную популярность и образовала свою собственную публику, которая придала ей свое собственное неофициальное имя — «Утешительная». Так она с тех пор «Утешительною» и прозывается. О причинах такой популярности ее не трудно будет догадаться читателю, если он последует за двумя приятелями, которые, подкатив на своем лихаче к наружным, «показным» дверям этого «заведения», втащили туда и дворника Селифана. Здание это напоминает нечто вроде манежа: налево — ход в кабак, направо — длинная зала, освещенная газом и разделенная тонкими перегородками десятка на два чисто лошадиных стойл. Устройство этих перегородочных отделений вполне напоминает конюшню, даже общий проход посередине, во всю длину залы, еще более увеличивает такое сходство. В каждом стойле помещается кое-как сколоченный столишко с двумя деревянными скамьями; за каждым столишкой непременно восседают любезные дуо, трио, квартеты и т. д. Прямо же из главного, уличного входа открывается в глубину широкая, длинная и низкая постройка, тоже носящая

наименование «залы» и сплошь заставленная такими же столами и скамейками. Эта последняя зала является любимейшим пунктом обычных здешних посетителей: каждый вечер она буквально битком набита, так что вы с величайшим трудом должны продираться из конца в конец, буде только пожелаете вступить в это веселое отделение «Утешительной». А вступить туда можно, не иначе как заплатив гривенник за марку, которая, вместе с пропуском за решетку, дает посетителю право потребовать за счет ее чего-либо съедобного либо испиваемого, буде стоимость сих продуктов не превысит десяти копеек. Это отделение «Утешительной» вполне играет роль своеобразного cafe chantant[339] для обитателей Сенной, Вяземской лавры[340] и всех вообще примыкающих и близлежащих трущоб. В «Утешительной» удовлетворяется эстетическое чувство подпольного трущобного мира.

Пар, духота, в щели ветер дует, по стенам в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзло, а потолок — словно в горячей бане, весь, как есть, влажными капля-

ми унизан, которые время от времени преспокойно падают себе на голову посетителей, а не то в стаканы их пива или чашки чая, и вместе со всеми этими прелестями — чад из кухни, теснота и смрад, — нужды нет! И что за дело до всех этих неудобств! Лишь бы жару поддать песенникам! И вот народ, наваливаясь на спину и плечи один другому, ломит массою в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде, под визг кларнета и громыханье бубен, раздается любимая «Утешительная» песня:

Полюбила я любовничка,
Полицейского чиновничка,
По головке его гладила,
Чертоплешину помадила.

И публика выходит из себя от несдержимого восторга, ревет, рукоплещет и требует на сцену Ивана Родивоныча.

Быть может, вы помните еще этого приземистого костромича, который во время оно отхватывал песню «Ах, ерши, ерши!» в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а «коротконожка макарьевского притона» — как обзывают в сих ме-

стах Ивана Родивоныча — нисколько не изменился: все так же поет и пляшет, передергиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза как будто больше еще подслеповаты стали. Иван Родивоныч — поэт и юморист Малинника и «Утешительной». В наших трущобах пользуется большою популярностью его песня:

По чему можно признать
Енеральскую жену?

Песня действительно очень остроумная, особенно когда дело начинает касаться жены Протопоповой.

И вот, по требованию своей публики, Иван Родивоныч появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией ученого медведя.

— Шаль!.. Черную шаль! — кричит ему публика.

Иван Родивоныч снова кланяется и запевает с уморительными ужимками:

Гляжу я безумно на черную шаль,
И хладную душу терзаить печаль;
Когды лигковирен и молод я был,

Младую девицу я страшно любил.
Младая девчонка ласкала меня —
Одначе ж дожил я до черного дня...

— Когда, значит, полтора рубли шесть гривен в кармане осталося. Верно! — прерывает он самого себя в пояснение, а вслед затем обращается к публике: — Полтора рубля шесть гривен — сколько составит?

Смех и молчание.

— Два рубля десять копеек — умные головы! — отвечает один за всех Родивоныч, и публика остается как нельзя более довольна объяснением.

— А как ты смекаешь, служивая голова, — вдруг неожиданно обращается он к какому-нибудь солдатику из толпы, — почему это, сказывают бабы, быдто нас с тобой в крымску кампанью англичанин маненько пощипал?

Смех и ожидание ответа. Солдатик слегка конфузится.

— Потому это, друг любезный, так оно случилось, что у его ружья-то аглицкие, а у нас — казенные. Верно! А Христос тогдысь на горе Арарате глядел, как воруют в комиссариате. И

это верно!

Восторг толпы доходит до своего апогея.

А в это самое время ловкие карманники не теряют минуты и торопятся пустить в ход свое искусство, пока публика столь единодушно занята песнями развеселого хора «московских национальных певцов» да едким балагурством Ивана Родивоныча. Воруют уж тут без разбора: и у своих, и у чужих, и у брата родного, и вообще у кого придется, по пословице — всем сестрам по серьгам, потому что толпа-то уж больно густа, да и минута удобная для практики в искусстве.

После песенников на эстраду вступает немецкий «бальный оркестр» из пяти-шести человек, и исполняет этот оркестр «известнейшие и любимейшие публикой пьесы», как гласят о том обыкновенно маленькие серые афиши.

Но этих злополучных артистов, которые и много дерут, и в рот хмельное берут, никто почти и слушать не хочет, ибо публика на сие время предпочитает стойла в зале направо. Там обыкновенно помещается бродячая лотерея — промышленник с корзинкой, напол-

ненной всяческой дрянью по части «галантерейных» безделушек.

— Латарея без проигрыша! билет по две копейки! — возглашает он монотонным речитативом, и публика тотчас же обступает «латарейщика», глядя, как кто-нибудь из охотников пытает свою фортуну. А в то время, точно так же как и при песнях, производится ловкая и незаметная охота на карманы.

Но публика почему-то мало обижается таковою охотою и, как ни в чем не бывало, продолжает усердно посещать концерты «Утешительной», которые часто устраиваются там ею же самою. Особенно в этом отношении замечателен один *жорж*. Голос у него удивительный: высокий и очень симпатичный тенор. Как засядет этот жорж к столу, да подопрет уныло голову ладонью, да как затянет русскую песню, нежно вибрируя и разливаясь голосом на верхних нотках, так толпа и потянется сразу к нему, обступит и слушает, слушает долго, внимательно, ни одного звука мимо ушей не уронит — и только тихие восклицания порою из массы вырываются: «Ай да ляд его дери! Лихо поет, распроединствен-

ный друг!» А приятели жоржа-певца тем часом не дремлют и производят старательные рекогносцировки в карманах заслушавшихся и увлеченных меломанов.

Лука Лукич с двумя сочленами своей компании направился непосредственно в нумера «Утешительной», не заглядывая в развеселую залу, и, как человек знакомый и бывалый, выбрал для себя одну из отдаленных и отдельных комнаток. Стол под грязной салфеткой, кривое зеркало, клоповный диван да грязная постель составляли убранство нумера, в котором поместились вновь прибывшие посетители.

— Ну-тко, Сенюшка! предоставь-ка нам сюда бутылку самодуринского[341], — приятельски подмигнул половому Лука Лукич, незаметно передавая ему из руки в руку что-то завернутое в бумагу.

Сенюшка побежал исполнять приказание и минут через десять притащил на подносе откупоренную бутылку, по-видимому хересу, вместе с тремя налитыми стаканами, которые он, ради почету и уважения, собственноручно поставил перед каждым из трех собе-

седников.

Беседа, впрочем, вязалась не особенно ладно и преимущественно шла со стороны Луки Лукича, заключаясь в сладких приставаниях к Селифану Ковалеву, чтобы тот «опрокинул», во здравие его, принесенный стаканчик.

Хмельной дворник с трудом наконец исполнил эту неотступную просьбу — и минут через пять бесчувственным пластом повалился на пол.

Два приятеля тотчас же перетащили его на постель. Иван Иваныч стал прислушиваться.

— Дышит? — спросил Лука.

Тот утвердительно кивнул головою.

— Стало быть, надо темную накрыть[342]?

— Надо.

— Щипанцами за горлец нешто? На храпок его взять[343]?

— Ни-ни... Знаки будут — дело мокрое.

— Ну так мякотью дыхало принакроем [344].

— Это, пожалуй что, получше будет.

— Лады! По мне — все едино... Затягивай-ко, брат, песню, да погромче: неравно очнется да заорет либо барахтаться станет, все-

таки оно маленько посуше выйдет. А то гляди, как ни на есть, услышит из хозяев кто да прибежит, чего доброго, — тогда напляшешься! Поблажки, чай, не будет, ни за што сгоришь! На грех мастера нету!

Иван Иваныч откашлялся и громко затянул:

Ах дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!

Лука Лукич тотчас же подхватил ему в голос баском, даже, подпевая, каблуками притопнул, а сам меж тем положил пластом на постели бесчувственного Селифана и плотно накрыл подушкою его лицо. Он сел подле него, с полнейшим хладнокровием, словно бы исполняя какое-либо обыденное дело, осторожно надавливал подушку, стараясь, чтобы в легкие его не могла проникнуть ни малейшая струя воздуха.

По мере того как длилась эта операция, оба приятеля становились сосредоточеннее; Лука нажимал уже молча, вполне серьезно и озабоченно, «чтобы дело в акурат пришлось», а лицо Ивана Иваныча все больше и больше

покрывалось томительной бледностью, голос дрожал и обрывался, так что ему с трудом приходилось пересиливать себя, чтобы допеть до конца «дела» свою песню, под аккомпанемент которой совершалось это тихое, оригинальное убийство. По выражению его глаз и по той дрожи, которая кривила мускулы его лица, видно было, что ему впервые еще приходится быть свидетелем и участником такого дела и что при виде этой систематически производимой насильственной смерти его пронимает невольный холод ужаса. Сидя у стола, он отвернулся от своего товарища и пел «Дербень Калуга», заткнув уши и прикрыв лицо руками, чтобы не видеть этой страшной сцены и не услышать как-нибудь стона их общей жертвы или ее последнего, глухого хрипения в подушку. Ему было страшно при мысли, что человек умирает, умирает насильственной смертью — «без покаяния, сердечный, словно пес какой, — слава тебе Господи, что хоть не от моей руки, что не я его покончил!» — думал он, боясь оглянуться на приятеля, для которого подобного рода профессия, очевидно, давно уже была делом

привычным.

Прошло минут семь. Селифан Ковалев сделал несколько бессознательных, конвульсивных движений и содроганий всем телом, но рука, державшая на его лице подушку, была тверда и безмилостна: через две-три минуты после этих конвульсий на постели уже лежало безжизненное тело.

— Сварганено! — промолвил Лука, подымаясь с постели. — Теперь, брат, берем его под руки, да и лататы поживее[345]...

На лицо покойника нахлобучили шапку и, подхватив его под мышки, поволокли на улицу, в качестве бесчувственно пьяного человека.

— Эка нализался, скот любезный! Как его теперича домой сволочишь?.. До бесчувствия, почитай... А тут еще — ишь на дворе завируха какая поднялася! Так и метет снежище! Ну ползи же, что ль, чижало ведь тащить тебя! — приговаривал все время Лука Лукич, усаживая труп Селифана рядом с собою в лихачевские санки и бережно обхватывая его рукою. Иван Иванович поаккуратнее застегнул полость, по-прежнему вскочил на облучок — и

рысак стрелою помчался по улице, направляясь к набережной Большой Невы.

— Ух ты!.. Фю-ю-ю!.. Кати-малина!.. Лихо!.. — кричали и гаркали оба приятеля, изображая собою гулящую братию, и когда они спустились на ледяную дорогу Большой Невы, до слуха полицейского солдата, что стоит на Гагаринском спуске, долго еще долетала песня:

Как по питерской, по тверской-ямской
По дороженьке...

У Мытнинского перевоза поднялись на берег Петербургской стороны не трое, а двое живых седоков в санях лихача извозчика.

XXXIII
ТЫРБАНКА СЛАМУ

Эти двое седоков немедленно же возвратились в тот самый нумер «Утешительной», где за час было совершено убийство. К ним также присоединился теперь и лихач Карчак, который поставил своего коня на кормеж во дворе трактира.

— Оглядеть бы, братцы, исперва-то комнату хорошенько, чтобы потом как-нибудь нижайшей благодарности не оказали[346], — предложил Лука, снимая свою лисью шубу.

— Это ты в правиле, — согласился лихач, — береженого и Бог бережет, говорится.

— То-то! Однова был, этта, случай такой, что сварганили молодцы дело, — продолжал первый как бы для пущей убедительности в своем предложении, — и совсем бы, кажись, чисто сварганили, так что и концы в воду, да лих — комнату забыли углядеть, а в комнате-то комиссия опосля на розыске и найди две вещицы: галстух потемного[347] (родные сразу признали) да пуговку от пальта. Прикину-

ли, этта, пуговку-то на маза[348] — как раз, значит, к пальтишке евойному под остальные приходится, даже на место ее и новую-то, дурень, не догадался пристегнуть. Так от этой самой безделицы и дело все раскупорилось — ни за што сгорел человек. Огляди-тко, Карчак, на постели да по полу пошарь!

Но Карчак и без того, сам по себе догадался сделать осмотр, еще по первой мысли об этой предосторожности.

— Чисто! — уведомил он, обшарив углы вместе с мебелью и подымаясь с пола.

— Ну, а коли чисто, значит, и за тырбанку [349] можно приняться. Вали-ко, брат Зеленьков, рыжую Сару на стол! Аль у тебя, поди-кось, чай, все финажками?[350]

— Финага — барская бабка[351], — заметил Иван Иванович, вынимая бумажник из кармана.

— То-то они, видно, от бар и достались тебе на дело, — подмигнул Лукич, ласкательно похлопывая по бумажнику.

— От крали[352]! — с самохвальной удалью мотнул он головою.

— Это для нас все едино, потому мы — лю-

ди нанятые: сварганили заказ твой чисто — значит, и плати по стачке. Только ты ведь, брат, плутяга не последнего разбора — значит, этта, вор не нашего закалу — как раз, гляди, надуешь.

— Для чего ж ты мараль такую, ни за што, ни про што, на человека взводишь? Это бы уж и обидно, кажися! — оскорбился за себя Иван Иванович.

— Ну, обидно, не обидно — будь хоть по-твоему, — а только, брат, не взыщи, коли попросим тебя, по великатности нашей, разуться да платьишка дочиста перещупать. Ты не красная девушка, да и мы не молодухи, стало быть — не стыдись, душа, раздевайся живее!

— Да для чего же это... конфуз такой?

— А для того, что мы ревизовать тебя желаем, не скрыл ли ты от нас малую толику деньжишек? Может, они у тебя на пальце где ни на есть у мозоля в тряпице али в пальтишке за подкладкой прихоронены — почем знать!.. Может, тебе на дело больше было отпущено, а ты икономию в свой карман соблюл.

— Ну, уже это дело лишнее! — вступился

лихач. — По-моему — сколько было на стачке выговорено, столько и получай, а до остального какое нам дело? То уж его монета, значит; а этак-то, по-твоему, ни в одном хороводе спокон веку не делается, потому — оно не в правиле, и никакого закону нет на это.

— Закону... Я сам себе закон и воля! Нам ведь за экой клей[353], того гляди, сгореть придется, так хоть, по крайности, было бы за что! Твоего всего и дела-то — только на рысаке прокатить, а я почти что руки кровянил. Это задача неровная. Ты ведь, поди-ко, ежели что у ключая[354] касательство какое выйдет, так скажешь, что и знать, мол, ничего не знаю, стоял себе у панели на улице, а садил на себя троих, думамши, что они пьяного в бесчувствии волокут. Так ли?

— Так-то так, это что говорить! На себя кто же охоч показывать? — согласился извозчик.

— Ну, так и молчи. А я, как ни на есть, пуще всех в ответе состою; значит, мне и тырбанкой распоряжаться. Разувайся-ко, Зеленьков! Нечего тут задаром бобы на печи разводить!

Зеленьков с большим неудовольствием ис-

полнил требование Лукича, потому — чувствовал себя в амбиции своей оскорбленным за столь явное недоверие. Сотоварищ его произвел самую внимательную рекогносцировку, перещупал все платье, пошарил внутри сапог и наконец, после всех этих эволюций, пришел к убеждению, что затаенных денег у Зеленькова нигде не имеется.

Совершенная бесцеремонность в отношении к товарищам и полное презрение ко всяким хороводным обычаям и законам были всегда отличительными качествами Луки Лукича, по прозванию Летучего. Сам он не принадлежал исключительно ни к какому хороводу, хотя водил знакомство почти со всеми мошенниками и подчас не отказывался от общих дел с ними, если находил это удобным и выгодным для своей особы. Он был очень силен; прошедшее его отличалось великою темнотою; на лбу его при внимательном исследовании можно бы было набрести на след каторжных клейм, которые на щеках скрадывались черными волосами густо заросшей бороды. Поговаривали, будто Летучий сперва был военным дезертиром, за несколько убийств

наказан шпицрутеном и сослан в каторгу, откуда дважды бежал, и ныне разгуливает по белу свету в образе купца православного. Мелкие мошенники с ним не имели дел: они его побаивались и, показывая знаки великого уважения, старались все-таки держаться от него подальше в стороне, да и Лука Летучий относился к этой мелкой сошке с полнейшим презрением. «Уж если плавать, так плыви с большою рыбой — с Петром-осетром да с Матреной-белужиной, — говаривал он, — а эта мелкая сельдь нам не под пару: с нею лишь конфузом замараешься, и только!» Но и крупные мазы недолюбливали Летучего за его наглую бесцеремонность и неуважение к обычным законам, почему и обзывали его за глаза «каином» и «грабителем». Иван Иванович Зеленьков, получив свыше непременное повеление — во что бы то ни стало, как можно скорей и ловче покончить дворника Селифана Ковалева, в первую минуту нашелся в страшнейшем затруднении касательно исполнения такого экстренного дела. Через мнимую тетушку Александру Пахомовну ему было сообщено приказание отыскать и на-

нять надежных исполнителей, для чего тут же вручена и сумма на эти расходы, да заодно уж объявлено, чтобы за самого себя и за свою судьбу он не боялся, ибо на случай неприятных последствий найдется надежная сила, которая сумеет выпутать и отстоять его перед законом. Иван Иванович, заручившись последним обещанием, действительно не очень-то опасался за свое будущее, ибо уже и в прежнее время, исполняя различные темные поручения свыше, неоднократно имел случай убедиться в чародейственном могуществе этой выручающей силы. Сашенька-матушка вместе со своим quasi[355] племянником составляли одно из самых надежных звеньев обширного министерства генеральши фон Шпильце. Итак, в первую минуту этот племянник нашелся в большом затруднении: как и кого половчее и понадежнее можно выбрать на такое рискованное дело? Но вскоре он успокоился, ибо сметливая сообразительность его натолкнула эти помыслы на Луку Летучего. Человек во всех статьях был подходящий, который за хорошие деньги не откажется по найму придушить кого-либо. Это бы-

ло тем удобнее, что у Летучего постоянно имелся надежный друг и сотоварищ — лихой извозчик Карчак, который обыкновенно сопровождал его во всех отчаянных экспедициях. Иван Иванович не ошибся в своих расчетах: торг был покончен в одной из квартир Летучего[356] сразу, с первого объяснения, заручен задаточной радужной ассигнацией и запит надлежащим количеством крымской.

Теперь все дело заключалось в окончательной дележке.

Летучий развернул бумажник Зеленькова и вынул оттуда пачку ассигнаций.

— Четыреста семьдесят три рубля серебром, — возвестил он, аккуратно пересчитав эту толстую пачку, — двадцать семь рублев от пятисот, значит, замотырил? Проюрдонил [357], пес?!

— На расходы пошли, — оправдался Зеленьков.

— Ну, ин быть по-твоему! — махнул рукою Летучий. — Теперича, по стачке, мне следствует триста; сто получил уже задаточных, стало быть, двести осталось. Давай их сюда! Тебе, Карчак, по уговору, капчук[358] идет, —

продолжал он, обращаясь к лихачу и переходя с ним на барышничий argot Конной площади, — загребай свое, да не нудь калыману [359], потому — больше ни кафи[360] не получишь! Сеньке-половому за самодуринское жирмабешь[361] положить придется, а то — коли меньше дать — обидится да еще, гляди, часом, буфетчику здешнему либо другому кому изболтнет, что мы-де тут клей варили да слам тырбанили, а оно и пойдет, этта, лишний слух бродить по людям да скипидарцем попахивать[362], ведь это все шельма народ: веры в него нисколько нельзя иметь, а только одно и спасенье, коли глотку потуже заткнуть! Тебе, Зеленьков, по этому расчету, значит, остаточных сто сорок восемь рублев приходится, — заключил он, вручив сотоварищу бумажник с его долею денег, — получай и провались отселе поскорей, потому — рыло твое очинно уж мне противно!

Иван Иванович со всею тщательностью запрятал свой бумажник и, не кивнув головою, тотчас же вышел из комнаты, окончательно уже оскорбленный последнею выходкою и пренебрежительным тоном Летучего. Иван

Иванович почитал себя человеком «амбиционным и великатным в обращении», потому и обиделся так скоро.

Летучий в ту же ночь беспутно спустил заработанные деньги.

XXXIV

НАКАНУНЕ ЕЩЕ ОДНОГО ДЕЛА НОВОГО И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕ, ТОЛЬКО ЧТО ПОКОНЧЕННОМ

Было уже около полуночи, когда Иван Иванович Зеленьков поднялся по темной, грязной лестнице грязно-желтого дома в Средней Мещанской и постучался в дверь мнимой тетушки своей, Александры Пахомовны. Он был бледен, взволнован и вообще казался сильно расстроенным.

— Чего дрожишь-то? Или трусу празднуешь, по обнаковению?.. Ох уж ты мне, горе-богатырь, храбрость несказанная! — опривет-ствовала Пахомовна своего жданого гостя. — Говори толком: покончили?

— Ох, матушка, покончить-то покончили, да робость что-то больно берет меня... Запро-

пащая теперь моя головушка...

— А ты не робей!

— Вам-то хорошо говорить: «не робей», а мне-то оно каково?.. Ни в жисть еще такого поручения у меня не бывало. Ведь я теперь — бубновый туз в кандалах[363].

— Да ведь я тебе русским языком толковала, что за свою шкуру бояться тебе нечего, кто б там ни был в ответе, а ты в стороне останешься! — вспылила на него Пахомовна.

— Да так-то оно так, а все ж... как вспомнишь, этта, как он его, сердечного, подушкой принакрыл да как мы его потом мертвого заместо пьяного поволокли, так столь это страшно становится, что вот — сами изволите видеть — как оно трясет меня теперича: ведь убить — не обокрасть, матушка, моей душе, значит, на том свете прямо в ад идти надобно.

— И без того угодил бы — это все единственно.

— Спервоначалу-то оно словно бы и ничего не чувствовал, никакого, значит, угрызения этого самого, — продолжал Иван Иванович, — а вот теперь, чем больше, час от часу

все хуже да страшнее становится: мутит меня, как вспомнишь, — все это перед глазами словно бы наяву представляется... Иду я к вам, примером взять, по лестнице подымаюсь, а самому все чудится, будто покойник-то меня по пятам нагоняет.

— Это пройдет, — успокоила Сашенька-матушка, — это так только покамест — блажь одна с непривычки, невры эти расстроились.

— Нет-с, где уж пройдет! — горестно вздохнул Зеленьков. — Не пройдет, душа моя чувствует...

Сашенька-матушка презрительно скосила на него глаза.

— Что ж ты, небось повесишься или пойдешь да на самого себя доказывать станешь? — с явным недоверием и не без иронии спросила она.

— Да уж и право не знаю, как сказать-то вам... — затруднился тот, пожав плечами.

— Небойсь, брат! — возразила ему собеседница, вполне уверенным, положительным тоном, как человек, до тонкости знающий зеленьковскую натуру. — Небойсь, брат! Руки ты на себя не наложишь, потому — не хватит

тебя на это, опять же и начальству доказывать не пойдешь, потому — трус ты большой руки: спинищи своей пожалеешь, ведь уж я тебя знаю, как свои пять пальцев: так только, помалодушествуешь для близиру, а там и забудешь.

Зеленьков не возражал и сосредоточенно раздумывал о чем-то.

— А и запью же я теперь с горя! Ух как запью! — словно бы сам с собою заговорил он через минуту, уныло качая головою. — То есть вот как!.. Ни в жисть еще так не пьянствовал, как теперь начну! Пущай хоть винищем залью это сумненье свое неотвязное.

— Ну, это статья иная, — согласилась Пахомовна, — только ты, брат, погоди — вином заниматься успеешь и опосля, а наперед надобно будет для ее превосходительства еще одно дельце состряпать.

— Чего там еще? Мало ей одной души, что ли? — с недоумением и досадой уставился он в нее глазами.

— Не о душе речь! Угомонись ты, храбрость подпечная!.. Дело такое, что одна ловкость да хитрость нужна, и только, и опять

же совсем насчет другой персоны касающее.

— Что ж такое?

— А вот завтра узнаешь: утро вечера мудреней, говорится; да мне и самой-то пока вполовину только известно, — ответила она. — Уж вот поутру в Морскую сбегаю, так и рецепт во всей подробности принесу. А теперь вались-ко спать себе. На вот подушку, дрыхни! Я, брат, тебя не выпущу — на ключ замкну, потому — ежели с цепи спустить, в кабак упорхнешь, а там тебя и с собаками не отыщешь! — заключила Сашенька-матушка, удаляясь за свои ширмы.

* * *

На следующее утро пристав совершенно напрасно ожидал к себе дворника Селифана для отобрания от него новых показаний: Селифан Ковалев, конечно, лишен уже был возможности явиться сам по себе куда-либо. Следователь написал новый вызов, на который через день получил ответ, что подлежащее лицо пропало, мол, без вести. Эта пропажа без вести, независимо от дела Бероевой, немедленно же вызвала розыски местной власти, в непосредственном ведении которой состоял

пропавший как дворник. При этом розыске некоторые из жильцов того дома заявили, что накануне, а равно и в самый день исчезновения, видели Селифана Ковалева в весьма нетрезвом виде, что, впрочем, случалось с ним довольно редко.

На третий же день после сего последнего расследования, которое не привело ни к каким экстраординарным результатам, в полицейской газете, под рубрикой «Дневник приключений», появилось известие, что такого-то, мол, числа на Большой Неве, близ Мытнинского перевоза, в месте, где обыкновенно сбрасываются груды сколотого уличного льда, усмотрено было неизвестного звания и состояния мертвое тело, предавшееся гниению. Тело было занесено снегом, из-под которого обнаружилось оно частью во время наступившей оттепели, а эта оттепель, собственно, и поспособствовала разложению. Центральная полицейская власть, сообразя донесения о двух изложенных приключениях и имея в виду, что найденное мертвое тело, быть может, есть не кто иной, как пропавший без вести дворник, распорядилась послать в Петербург-

скую часть городового сержанта, под ведением которого состоял пропавший, с тем что не признает ли его сержант в найденном трупе!

И точно: посланный сразу признал Селифана Ковалева.

Засим, по освидетельствовании его полицейским врачом, последовало заключение такого рода: так как на найденном теле наружных знаков насильственной смерти не оказалось, за исключением незначительного подкожного излияния крови на правой щеке, что могло быть следствием ушиба об лед при падении в минуту смерти, и так как по вскрытии оказалось уже разложение трупа, которое не допустило возможности определить с полною достоверностью присутствие в организме каких-либо веществ, кои бы могли служить причиною смерти неестественной, то, по всей вероятности, дворник Селифан Ковалев умер от апоплектического удара, происшедшего вследствие чрезмерного двухдневного пьянства, о чем, между прочим, свидетельствуют и показания жильцов таких-то и таких-то.

Засим дело о найденном теле оставалось

только предать воле Божьей и забвению.

Но не так взглянул на это обстоятельство Егор Егорович Бероев.

Исчезновение и внезапная смерть Селифана накануне того самого дня, когда он должен был сообщить столь важные показания, явилось в глазах Бероева, а также и в глазах следственного пристава, делом далеко не случайным. Они подозревали в этом факте продолжение той же самой замысловатой интриги, которая так удачно опутала Юлию Николаевну.

В этом смысле была составлена Бероевым новая формальная бумага, где он требовал нарядить отдельное следствие о всех тех обстоятельствах, что ближайшим образом предшествовали этой внезапной смерти.

Между тем, не теряя времени, он сам принялся за розыск. Кидаясь туда и сюда, расспрашивая лавочного сидельца и некоторых жильцов, он не пропустил без внимания ни одного соседнего кабака, ни одного трактира и наконец в харчевне под фирмою «Македония» ему удалось-таки набрести на кой-какой след. В этой харчевне и половые, и буфетчик

знавали покойного Ковалева, ибо он почти ежедневно захаживал туда пить чай. Они припомнили теперь, что в последний раз сидел он там хмельной, с какими-то двумя неизвестными людьми, которые, напоив его вконец, увели с собою под руки. Были рассказаны и приметы этих людей.

Такое начало розысков могло бы обещать и возможность дальнейшего успеха, тем более что энергия, с которой действовал Бероев, служила ручательством, что он до последней возможности станет преследовать свою конечную цель, но...

Среди этих розысков и хлопот его самого внезапно постигло столь неожиданное обстоятельство, которое сразу прекратило для него всякую возможность к дальнейшему раскрытию истины.

XXXV
ОБЫСК

Прошло два дня с тех пор, как Бероев начал свои хлопоты по делу о смерти Селифана Ковалева, а с минуты исчезновения последнего пошли уже шестые сутки. Все эти дни он мало бывал у себя дома, так как время его проходило между розысками, хлопотами и свиданиями с женою.

Заключенная хотела видеть своих детей — Бероев дважды привозил их в ее секретный нумер. Каждый вечер возвращался он домой усталый, разбитый, истерзанный морально, с гнетущею болью и горем в душе, — и вид этих осиротелых и грустных детей наводил на него еще более тяжкую, мучительную тоску. Они не карабкались к нему на шею и плечи, как бывало в прежнее время, не бегали весело по всем комнатам, — и тихие комнаты казались теперь какими-то пустыми, неприветно мрачными, как будто бы из них только сегодня поутру вынесли покойника на кладбище.

Вместо веселого, радостного крика, какой, бывало, встречал его прежде, эти двое детей подходили к нему теперь тихо, несмело и с какою-то робкою грустью спрашивали:

— Что мама? Ты видел маму сегодня?

— Видел... целует вас, сказала, чтобы не плакали, не скучали, она скоро вернется к нам.

— Скоро?.. В самом деле скоро?.. Она не плачет там?

— Нет, детки, не плачет... Зачем же ей плакать?

— А как же при нас тогда она так плакала? Она стала такая худая-худая... Папа, ведь она больна там?.. Зачем она там сидит? Отчего она ушла от нас?..

Что было отвечать ему на все эти детски наивные, бесконечные вопросы, которые повторялись каждый раз по его возвращении? Все это более щемило и надрывало его сердце, и без того уже вдосталь истерзанное. Он сам укладывал их в постельки, сидел над ними, пока не заснут, старался развлечь их какою-нибудь постороннею болтовнею, но такая болтовня как-то туго и трудно подверты-

валась ему на язык, и разговор невольно и незаметно сводился сам собою все на те же больно хватающие за душу вопросы. Но вот, слава Богу, затихли и заснули дети, часто со свежею слезой на пушистой реснице, и для Бероева начинается долгая, болезненно-бессонная ночь, с бесконечными шаганиями из угла в угол по кабинету, с бесконечными думами, которые сверлят и буравят мозг, с гложащей тоскою и леденящим отчаянием...

Было около двух часов ночи. Истомленный Бероев прилег на диван в тяжелом забытьи, от которого, чуть послышится малейший шорох, чуть упадет на розетку кусочек с нагоревшей и оплывшей свечи, или чуть мебель в каком-нибудь углу щелкнет с легким треском и скрипом, — человек уже вздрагивает и как-то лихорадочно просыпается.

Глубокая тишина. Раздраженные нервы, даже и сквозь забытье, остаются как бы настороже, в каком-то напряженном состоянии.

Между тем тишина становится как будто все глубже и глубже — только карманные часы, брошенные на письменном столе, отчеканивают секунды своим сухим и чуть слыш-

ным чиканьем.

Вдруг в прихожей раздался порывистый и громкий звонок.

Бероев вскочил с дивана, не понимая, что это значит — наяву ль оно так случилось или только во сне почудилось? Звонок повторился, только еще громче прежнего. Из детской вместе с тем послышался испуганный, полусонный крик разбуженного ребенка.

Полный недоумения и тревоги, Бероев сам пошел в переднюю — отворять двери.

— Кто там? — окликнул он.

— Сделайте одолжение, отворите нам поскорее, — ответил вполне знакомый, но официально-учтивый голос.

— Да кто там, однако? Разве это время входить к человеку в такую пору?!

— Отоприте, сударь, потому так приказано, — послышался голос домового дворника.

Бероев отомкнул крючок и отступил в необычайном изумлении.

В комнату вошел мужчина, за ним другой, за другим третий. На каблуках у них звякали шпоры, сбоку слегка лязгали сабли, которые они старались придерживать рукою, чтобы

не наделать лишнего шуму. Все трое стали снимать пальто и шинели.

Бероев глянул через их головы за дверь — там в сенях виднелась недоумевающе-любопытная физиономия дворника и торчали два медные шиша от касок.

Теперь он понял, что это такое, но не понимал, каким образом все это может к нему относиться.

— Извините, что мы принуждены тревожить вас в такое время, — вежливо наклонился один из прибывших, по-видимому старший, обтирая душистым платком свои широкие и мокрые от сырости усы и бакенбарды. В то же время он сделал Бероеву пригласительный жест — войти первому из прихожей в комнаты.

Остальные два офицера тоже почли долгом обратить к нему мимоходом и свое извинение, которое, впрочем, с их стороны ограничилось одним только учтиво, но лаконично процеженным сквозь зубы «извините»...

— Сделайте одолжение... — как-то глухо, бессознательно пробормотал Бероев и, по приглашению, первым вступил в свою гости-

ную.

— Я имею честь видеть господина Бероева? — отнесся к нему старший, с учтиво-выжидательным наклоном корпуса.

— Так точно... Я Бероев...

— В таком случае... позвольте... — Он вынул из кармана свернутую бумагу и подал ее Егору Егорычу. — Потрудитесь взглянуть.

Тот неспокойною рукою развернул поданный ему лист и молча прочел предписание, которым предлагалось произвести в квартире обыск.

— Изволили прочесть? — спросил офицер.

Бероев вместо ответа возвратил ему бумагу.

— Дабы вы не сомневались, что обыск наш имеет быть произведен вполне законно, — продолжал офицер, — то при нем будет находиться господин надзиратель вашего квартала.

Он указал при этом на одного из офицеров.

— Потрудитесь вручить нам ключи от вашего письменного стола, комода и — позвольте начать...

— Сделайте одолжение, — опять пробормо-

тал в ответ на это Бероев. Он решительно недоумевал — как, что, зачем и почему производится у него этот обыск?

— Кликните людей, — распорядился старший, обратясь к своему помощнику.

В ту же минуту из сеней вошли два человека, одетые в партикулярные пальтишки. Один из них напоминал своим видом нечто среднее между солдатом и лакеем; физиономия другого сильно смахивала на жидка. Оба стояли у дверей — руки по швам — и ожидали приказаний.

Бероеву предложили: не угодно ли будет ему самому отомкнуть и выдвинуть ящики стола, и затем — смотреть, как производится обыск.

Тот исполнял без возражений все, что от него требовалось. Начали весьма тщательно перебирать бумаги — до малейшего клочка и оборвыша. Письма, какие были, завернули в один лист, перевязали бечевкой и приложили казенную печать, подле которой должен был и Бероев приложить свою собственную. Со всеми бумагами последовало то же самое, после чего они были сложены в особенный

портфель. Один из партикулярных людишек опытным глазом и рукою осматривал внутри стола — нет ли там каких-либо потайных ящиков. Но таковых не оказалось. В комоде точно так же не усмотрено ничего подозрительного. Другой же в это самое время тщательно перетряхивал книжку за книжкой из небольшой библиотеки Бероева, заголовки которых проглядывал один из офицеров.

— Вы мне позволите закурить? — любезно отнесся к хозяину старший, вынув из кармана папиросницу.

Бероев подвинул ему свечу.

— Не угодно ли вам? — еще любезнее предложил тот, подавая ему папироску, от которой Егор Егорович отказался.

Двое остальных офицеров тоже закурили.

Между тем переборка книг была закончена, и ни одной запрещенной между ними не нашлось.

— Вы извините, но... такова уже наша обязанность, наш долг, так сказать, мы должны будем осмотреть все ваши комнаты, всю квартиру, — сказал Бероеву офицер, и два джентльмена в пальтишках приступили к но-

вому обыску.

Точно ловкие собаки-ищейки обнюхивали они все уголки и закоулки комнаты: заглянули под диван и за шкафами, осмотрели, пощупали даже половицы; один из них золу в печке перегреб руками, другой залез в печную отдушину и за заслонкой в трубе пошарил; но кроме пыли, паутины да сажи, оба ничего не вынесли оттуда на руках своих.

Прошли в детскую — все, сколько их было, за исключением двух медных шишаков, которые по-прежнему оставались в сенях, у двери.

Дети, вновь разбуженные и перепуганные появлением незнакомых людей, ударились в крик и слезы. Они тянулись к Бероеву, а этот успокаивал их, как только мог, но дети не унимались.

Между тем обыск шел своим чередом.

Из детской выходила дверь в кухню, а у противоположной стены, в углу, стояла железная печь; обок с этой печью помещался умывальный шкафчик. На шкафчик взлез один из сыщиков и, порывшись в печке, достал оттуда какой-то сверток бумаги, потом большой пакет, стряхнул с них пыль и бросил

на пол.

— Есть еще что-нибудь? — спросил один из офицеров.

— Есць, васе благородзие!.. Дерзи-ка, братець, помоги мне, — отнесся он к своему сотоварищу и с помощью его спустил оттуда небольшой литографский камень.

— Это что такое? — изумился Бероев.

— Вам лучше знать, — с улыбкой пожал плечами старший офицер, — а впрочем — это камень.

Квартира была обыскана сполна; но интересных предметов за исключением вещей, спрятанных на печке, нигде более не отыскано. Приступили к осмотру последних. Камень был отшлифован в том виде, как обыкновенно приготовляют к литографской работе. Сверток заключал в себе три полных экземпляра «Колокола» за полугодие прошлого, пятьдесят девятого года, а в пакете лежали два письма, сильно компрометирующие того, к кому они адресованы, и несколько полулистов почтовой бумаги, переписанных одною и тою же писарскою рукою и заключавшие в себе несколько копий возмутительного воз-

звания. Бероеву теперь стало ясно, что это дело того же самого ума, который сплетает всю эту адскую интригу, обрушившуюся на его семейство, что это — та же самая рука, которая утопила его жену и теперь, невидимая, чрез посредство посторонней силы давит его самого. Но каким же образом попали сюда все эти вещи? Кто и когда успел подложить их? Где эти тайные агенты, которые служат верным орудием этого дьявольского ума и воли? Где искать и как узнать их, как распутать всю эту черную интригу? Вопросов — целая бездна, но нет на них ни одного ответа, — и он в отчаянии поник головою.

— Господин Бероев, мы должны арестовать вас. Извольте одеваться.

— Я готов, — ответил тихо Бероев.

Меж тем в детской все еще раздавался плач. Перепуганная и ошеломленная Груша не могла ни унять, ни убаюкать обоих ребятишек. Они, словно каким-то детским инстинктом, почуяли, что отцу их предстоит что-то недоброе, и все порывались к нему.

«Пойти проститься, — подумал Бероев, колеблясь в своем намерении. — Хуже, пожа-

луй, расплачутся... Лучше уж не ходить... А может, не увижу больше?.. Может... Нет, не могу я так!» — И он пошел в детскую.

Один из офицеров направился по его следам и остановился в дверях.

— Спите, дети... Бог с вами... успокойтесь... Я — ничего, это все так только... Я ведь с вами, — говорил он, с трудом произнося каждое слово, потому что из груди подступало к горлу что-то давящее, болезненно-горькое, колючее.

— Не уходи от нас!.. Папа, голубчик, милый ты наш! Не уходи! — захлебываясь от слез, рыдали дети.

— Не уйду, не уйду, мои милые... Куда же мне уйти? Я с вами останусь... Ну, полно же плакать, гости уже уехали.

— Нет, они здесь, они в той комнате... не ходи к ним, они страшные.

— Ну, полно же, полно... Я сейчас приду к вам, опять приду... Я только на минуту.

И он силился улыбнуться спокойною, веселой улыбкой, но почувствовал, что это выходит не улыбка, а какая-то гримаса, которая только кривит его личные мускулы. Долее

уже у него не хватало силы и решимости выносить эту сцену. Крепко прижав к груди обоих детей, он по нескольку раз поцеловал каждого, с трудом отрываясь от одного к другому личику.

— Господин Бероев, нам — время... потрудитесь кончить, — послышался в дверях посторонний голос, старавшийся соблюсти всю возможную официальную деликатность в интонации.

Бероева покоробило нервною дрожью. Поцеловав детей еще один, уже последний раз каким-то болезненно-сильным прощальным поцелуем, он оторвал от своей шеи их ручонки и пошел в другую комнату. В дверях замедлился, как бы вспомня что-то, и подозвал Грушу.

— Я не вернусь, — шепнул он ей тихо, — так если что понадобится — деньги там, в столе у меня... Не оставь детей, Груша, да сходи навестить жену; только ничего не говори ты ей... Прощай!

И он почувствовал, как неудержимо клокочет и подкатывает к горлу какая-то мутящая тяжесть. Голос его порвался, и мускулы лица

затрепетали тою дрожью, которая бывает вестником слез, готовых уже хлынуть. Он больно, чуть не до крови закусил свои губы, чтобы не выдать перед глазами посторонних людей всю глубину своего волнения, чтобы не подметили они того глухого рыдания, которое вместе с невольным стоном чуть было не вырвалось из его груди, и, спешно надев шинель да шапку, пошел впереди всех очень быстрым шагом, которому преднамеренно старался придать всю возможную твердость.

— Сироты вы, мои сироты горемычные! — послышался ему уже в передней истерический, надрывающий душу вопль Аграфены, с которым сливались рыдания и крики детей, все еще тоскливо звавших к себе отца, порываясь вслед за ним из комнаты.

Но... выходная дверь захлопнулась, и Бероев ничего уже больше не слышал.

У ворот ожидала карета. Он сел в нее с двумя офицерами; один медный шишак поместился на козлах, другой стал на запятки, и лошади тронулись.

Молчание, уличный холод да сырость, и темная-распретемная ночь, с мутно-краснова-

тым отблеском фонарей, с мертвыми улицами и с чем-то свинцово-тяжелым, давящим в воздухе.

...Везут куда-то...

Бероеву сделалось страшно.

XXXVI
НА КАНАВЕ

Карета через каменные ворота сделала несколько поворотов и въехала в глубину длинного двора, с левой стороны которого возвышалась кирпичная стена, казавшаяся теперь, среди мрака, чем-то вроде громадной глыбы без определенных очертаний: мрачность этой стены сливалась как-то с мраком самой ночи.

Остановились перед одним из входов. Бероева попросили выйти. Он пошел по лестнице, предшествуемый двумя приехавшими с ним офицерами и в сопровождении тех же солдат. Длинный корпус, по которому особенно звучно раздавался лязг сабель о каменные плиты, привел их в комнату, очевидно служившую приемной.

— Я пойду доложу, потрудитесь, пожалуйста, обождать здесь, — сказал старший, указав Бероеву на широкий диван, обтянутый кожей, и вышел в противоположную дверь, с истинно военной грацией, придерживая слегка свою саблю.

Бероев бессознательно стал оглядывать эту чистенькую комнату. Оставшийся с ним офицер, скрестив свои ноги и полуприсев к столу, барабанил пальцами по его борту; два солдата, дисциплинарно вытянувшись, дремали у дверей в стоячем положении. Это ожидание чего-то неизвестного среди тишины, не нарушаемой ни единым словом, казалось нестерпимо долгим и томительным. Наконец сквозь затворенные двери послышались по коридору шаги сначала в отдалении, потом все ближе, и в комнату вошел прежний офицер, вместе с другим, по физиономии и незастегнутому сюртуку которого можно было догадаться, что его сейчас лишь подняли с постели.

— Господин Бероев? — не без приятной улыбки и не без зевоты отнесся он к Егору Егоровичу.

Тот привстал со своего кресла.

— Потрудитесь следовать за мною.

Вновь пошли по длинному и темноватому коридору, в конце которого дрожало синевато-белое пламя газового рожка. Поднялись по лестнице в следующий этаж, сделали несколько переходов по таким же коридорам и по таким же лестницам и наконец остановились перед дверью, которую необыкновенно предупредительно отворил перед Бероевым офицер, поднятый ради него с постели.

Это была небольшая, но очень милая и опрятная комната, с веселенькими обоями и опущенными шторами. Железная кровать с очень чистым бельем покрыта пушистой байкой, стол со свечой да два-три стула составляли скромную, незатейливую, но довольно комфортабельную обстановку этого уединенного, укромного убежища. Везде и во всем сказывалась предусмотрительная и как бы матерински-заботливая рука.

— Не угодно ли вам раздеться? — предложил офицер Бероеву.

— Нет, позвольте, уж лучше я так, как есть, останусь, — возразил арестованный.

— Но это, к сожалению, невозможно, — по-

жал тот плечами, — вы должны раздеться совершенно, что называется вполне, даже снять белье и... прочее.

Бероев не прекословил больше и стал исполнять то, что от него так мягко требовалось.

В комнату вошел человек в партикулярном черном сюртуке, по-видимому лакей, с физиономией, быть может, и не глупой, но неподвижной и как-то застывшей, словно бы ее вылепили из гипса. Этот человек принес сюда на подносе нечто, покрытое белою салфеткою.

— Быть может, вы не привыкли сами раздеваться, в таком случае он вот может помочь вам! — предложил офицер.

— Нет, зачем же?.. Это лишнее.

— Как вам угодно. Не смею стеснять вас, но... потрудитесь теперь переодеться в другое платье — для ночи оно гораздо удобнее.

Человек поднял салфетку, которою был покрыт принесенный поднос, и подал Бероеву белье вместе с туфлями и серым халатом, а снятую одежду сполна унес из комнаты.

— Не смею больше беспокоить вас, — учти-

во поклонился офицер, — но, быть может, вы имеете привычку почитать что-нибудь перед сном? Я могу вам прислать газету, из наших или иностранных, если угодно.

— Благодарю вас, мне ничего не нужно, — поморщась, процедил сквозь зубы Бероев.

— В таком случае, позвольте пожелать покойной ночи.

И, отдав легкий поклон, удалился из комнаты.

Однако, несмотря на пожелание этого господина, ночь для Бероева далеко не могла назваться покойною. Когда в душе человека скопляется уже слишком много отчаяния и горя, они либо доводят до сумасшествия и самоубийства, либо же сами себя притупляют — своею собственной силой и бесконечностью, так что человек наконец деревенеет как-то и доходит до абсолютного равнодушия ко всему на свете и прежде всего к своей собственной особе: «Ждать больше нечего, надеяться не на что. Будь что будет, а мне все равно! Пытка так пытка, смерть так смерть!» И таковое состояние, по преимуществу, является результатом величайшего озлобления на

судьбу и людей, результатом напрасно потраченной борьбы и энергии. В этом положении человек становится способным либо совершенно искренно издеваться над своими собственными физическими и моральными мучениями и в то же время издеваться в глаза над своими инквизиторами; либо же он заковывается в броню такого спокойствия, которое недоступно человеку в его обыденно-житейском, нормальном положении, ибо это спокойствие не есть истинное, а только кажущееся, оно не что иное, как следствие величайшей напряженности нервов, которые как бы застывают в этом состоянии. Это напряжение — натянутая до последней возможности струна: повернете колок еще на пол-оборота — и она лопнула. Бероевым овладело состояние именно этого последнего рода.

Спать ему пока еще не хотелось, думать — но о чем оставалось думать? Голова и так уж была чересчур утомлена множеством тех дум, которые роились в ней за последнее время, так что под конец эта голова словно бы устала и морально, и физически от бесконечного наплыва всех этих мыслей. В таком состоя-

нии Бероева как-то рассеянно, безучастно стали занимать внешние предметы его комнаты; да и то, нельзя сказать, чтобы они его «занимали», а просто так себе, нашло на него какое-то пустое, безотносительное, бесцельное любопытство. Он взял свечу со стола и пошел оглядывать свою комнату, углы, окна, двери и пол, — ничто не напоминало в ней о месте заключения: комната как комната, ничем не хуже, ничем не лучше и не особеннее миллионов подобных же комнат в домах частных владельцев. Приподнял он байковое одеяло, приподнял тюфяк — опять-таки ничего, все очень исправно и чисто; на одной только доске заметил выцарапанное ногтем чье-то имя, год и число. «Верно, мой предшественник... память по себе оставил», — подумал Бероев, опуская приподнятый край тюфяка, и, окончив на этом осмотр своего помещения, поставил на прежнее место свечу и принялся по диагонали вымеривать шагами пространство пола. Прошло не более семи-осьми минут после этого, как дверь осторожно отворилась и вошел солдат с унтер-офицерским характером физиономии и всего наружного склада.

— Вы, сударь, кажись, что-то изволили под тюфячок у себя спрятать? — заметил он в виде вопроса.

— Я? Ничего! — немало изумился Бероев.

— Никак нет-с, вы приподымали сейчас тюфяк, — положительным тоном заверил вошедший.

— Да, подымал... А впрочем, огляди, пожалуй, — предложил арестованный.

Солдат очень тщательно обревизовал подозреваемое место и, с извинением в том, что потревожил, удалился из комнаты.

«Однако, это штука!» — не без значительного удивления подумал Бероев, но в чем именно суть этого секрета, посредством какой хитрой механики открывается этот ларчик или эта «штука», он, несмотря на свой обзор простой обыкновенной комнатки с веселенькими обоями, никак не мог догадаться. Оставалось только прийти к успокоительному заключению, что штука, мол, да и конец. Так он и сделал.

Наутро вчерашний человек с неподвижной физиономией прибрал постель, принес ему умывальник и затем чаю стакан. Бероев

выпил молча, не сказав ему ни слова; тот принес еще, и это точно так же было выпито, тот вернулся с третьим. И все это сопровождалось покойнейшим молчанием как с той, так и с другой стороны. «Очень гостеприимно, — подумал про себя Бероев, — однако если не сказать ему „довольно“, так он, пожалуй, и не перестанет носить?» Выпит и третий — неподвижная физиономия явилась с четвертым.

— Будет, любезный, будет!.. Спасибо!

Неподвижная физиономия тотчас же удалилась с принесенным стаканом и более уже не возвращалась. Но вскоре после нее пришел новый посетитель.

— Позвольте рекомендоваться, — начал он с величайшей любезностью, — я врач, к вашим услугам.

И засим уселся подле Бероева.

— Как вы провели ночь?.. Хорошо ли вы себя чувствуете?

— Благодарю вас...

— Не нужен ли вам мой совет? Быть может, вы страдаете каким-нибудь хроническим недугом, от которого, конечно, вас пользовал какой-нибудь мой collega, в таком слу-

чае никак не должно прерывать лечения, и мы с большой готовностью будем продолжать его.

— Я совершенно здоров, — коротко наклонился Бероев.

— А!.. Ну, так до свиданья... Если понадобится моя помощь — всегда к вашим услугам.

И врач удалился с той же любезностью.

Прошло часа два после этого визита, в течение которых заключенный, от нечего делать, по-вчерашнему машинально мерил шагами свою комнату. Опять приотворилась дверь, и опять-таки новый посетитель, с тою же неизменной и неисчерпаемой любезностью. Это был молодой, изящного вида господин, на котором гражданский вицмундир сидел как-то джентльменски-щеголевато, причем его пестрый жилет и широкие панталоны в клетку — черную с белым — изобличали в нем независимый образ мыслей новейшего времени. Эта независимость еще рельефнее выражалась его усами, вытянутыми в струнку, козлиной бородкой и длинными, закинутыми назад волосами. Такая наружность делала его более похожим на какого-нибудь за-

езжего артиста, художника или на литератора.

— Я к вам!.. Мое почтение! — сказал он с немецким акцентом в выговоре, таким тоном, как будто его приход был приходом доброго, старого и притом давно жданного знакомого. — Если хотите, поболтаем немножко. Позвольте присесть.

— Если вам угодно.

— С большим удовольствием!.. Ну как? Довольны ли вы вашей комнатой? Тепло ли вам? Не нужно ли чего? Да не хотите ли позавтракать? Если угодно, мы даже вместе можем исполнить это. Ей! Подать сюда две котлетки! — сказал он, просунув свой нос и прелестные усы в скважину чуть-чуть приотворенной двери.

— Благодарю вас, я не завтракаю, — поспешил отклониться Бероев.

— А, вы не завтракаете? Не имеете обыкновения, значит? Ну, как угодно... Ей!.. Не надо котлеток! Но в таком случае позвольте-ка мне все-таки узнать, что вы желаете к обеду? Какие блюда, например, хотелось бы вам выбрать?

— Это все равно.

— Ну нет, однако, если бы мне предложили на выбор французскую, немецкую или русскую кухню, я бы выбрал по своему вкусу, ведь поросенок под хреном совсем не то, что жареные бекасы. Не так ли?

Джентльмен, очевидно, хотел казаться остроумным, но Бероев в эти минуты менее всего был расположен сочувствовать какому бы то ни было остроумию и потому просто-напросто ответил, что будет есть то, что подадут.

— Как угодно, — пожал плечами обладатель независимых панталон и либеральной бородки, — мы по крайней мере постараемся озаботиться, чтобы это было питательно и вкусно. А позвольте спросить, вы в котором часу привыкли обыкновенно обедать?

— В четыре.

— Очень хорошо-с. Ну, а теперь насчет вин. Какое вино вы предпочитаете?

— Я не стану пить никакого.

— Хм... Но, может быть, вы любите добрую сигару? В таком случае мы можем предложить вам из отличнейших.

Эта беспримерная любезность начинала уже досадливо коробить арестованного.

— Или не пожелали ль бы вы теперь почитать что-нибудь? — продолжал меж тем донельзя обязательный посетитель. — Что вам угодно? «Современник», «Русское слово», «Искру» или из газет которую-нибудь? У нас все есть.

— Вы так обязательны, так желаете угодить моим вкусам, что мне остается только от души благодарить вас за эту внимательность, — сказал он самым вежливым тоном, под которым старался скрыть свое раздражение. — Позвольте же вам сообщить, что я более всего люблю уединение.

Он поклонился, джентльмен тоже, причем обиженно выдвинул свою нижнюю губу, якобы от улыбки, и сухо вышел из комнаты.

Едва ли что более способно надоесть и вывести из себя человека, чем эта вечная предупредительная и тонкая любезность. Так оно показалось теперь Бероеву. Ровно в четыре часа молчаливый человек с каменной физиономией принес обед, который действительно был очень питателен и вкусен. Видно было,

что изготовила его привычная и притом поварская рука. Но в этом обеде имелась одна чисто местная особенность: ни ножа, ни вилки здесь не полагалось, ибо эти орудия еды вполне заменялись одною ложкою. Да и притом присутствие их было бы тут вполне излишне, так как и хлеб, и мясо, и вообще все, что подлежит действию столового ножа и вилки, явилось сюда уже заранее разрезанным на кусочки. После обеда ничья уже любезность не тревожила Бероева до самого вечера.

XXXVII
КАКИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Иван Иванович Зеленьков очень дурно провел ночь на жестком диване Сашеньки-матушки. Но не диван был тому причиной, а словно бы страх да совесть пощипывали за сердце Ивана Ивановича.

— Александра Пахомовна, милостивая вы моя государыня! Не нудьте вы души человеческой, позвольте слетать... В один секунд

предоставлюсь к вам самолично... Коли забожиться — так правда будет!

Такими словами на рассвете дня разбудил Зеленьков Александру Пахомовну, но та, с первого просыпу, только погрозилась на него весьма гневными глазами и отвернулась.

— Матушка вы моя!.. Не я прошу — душа моя просит! Она, грешница, чувствует, значит, и горит... — продолжал Зеленьков, тоскливо озирая комнату, — щемит мне это преступление мое, как змея сосет душу... Не с веселья, а с горя великого желаю я напитка этого самого... Дайте вы мне грех залить: вопиет ведь он, анафемский!.. Хоть чуточку-то позабыть себя позвольте вы мне!

Пахомовна молчала, закрывши глаза, и делала вид, будто не слышит.

— Ох ты Господи!.. лучше уж разрази ты меня, окаянного!.. Нудит меня за душу, — смерть как нудит!.. Ох, батюшки, тошнехонько!.. Ой тоска какая! — время от времени стонал Зеленьков, то вскакивая и садясь на диване, то вдруг кручинно принимаясь бродить по комнате; тер себе грудь и голову, тоскливо озирался во все стороны, словно человек, из-

немогающий от жажды, ищучи в бесплодной пустыне хоть единую каплю спасительной воды, и снова, в великой скорби и томлении, кидался на свое жесткое ложе.

Минут с десять молчит Зеленьков, только вздыхает глубоко порою, а там опять вскочит и снова за оханья свои принимается.

— Ой, матушки мои, помираю!.. Голубушка вы моя, добродетельница!.. Взвою я сейчас, вот как пес какой, слезами взвою, не выдержу!.. Отпустите вы меня, отпустите!..

И он наконец пришел в какое-то дикое исступление, стал рыдать и колотиться затылком об стену. Александра поглядела на него с изумлением, и видит, что дело это плохое и уж как-то чудно больно выходит, да скорее давай напяливать на себя юбчонку с кацавейкой и сама побежала за водкой для Зеленькова, не забыв, однако, замкнуть его в квартире на время недолгого своего отсутствия.

Водка уходила кричащую совесть; Иван Иванович выпил с такой жадностью и наслаждением, как никогда еще ему не случалось, а выпивши, тотчас же повеселел, поправился и стал совсем «человеком». Пахомовна при

виде сего самодовольно осклабилась и даже нежность к нему почувствовала.

— Вот теперь как есть мужчина, во всех приятностях своих! — заметила она, строя ему отвратительно нежные глазки и зажигая в зубах папироску. — Только уж больше и в уме не держи пока о винище этом, потому — говорю тебе — дела нам с тобой нынче еще по горло хватит. Скоро вот бежать в Морскую надо.

И часов около восьми утра, снова замкнув на ключ Ивана Ивановича, она побежала с докладом к Амалье Потаповне фон Шпильце, а к десяти — Ивану Ивановичу были уже сообщены новые инструкции.

Кому из петербуржцев не была знакома знаменитая толкучка, дотла сгоревшая в Духов день 1862 года? Хоть она и возродилась теперь, как феникс из пепла, но это еще феникс молодой, неоперенный, и притом феникс, во многом уже безвозвратно утративший свою прежнюю «прелесть» и свой допожарный характер. Не случись этого пожара, толкучка, наверное, просуществовала бы еще

во всей своей неприкосновенности многие десятки, если даже не сотни лет. А теперь приходится изобразить ее картину по одним лишь воспоминаниям.

Место, где ютилась она, осталось то же; это — все прежний, неправильной формы четырехугольник, занимающий чуть ли не более четверти квартала, да уж вид-то толкучки далеко не тот. В былое время на этом пространстве во всевозможных направлениях, по всевозможным лабиринтообразным, кривым и ломаным линиям шли узенькие улички, переулчонки, проходцы, по обеим сторонам которых возвышались животрепещущие деревянные постройки самой отчаянной, невообразимой архитектуры: верхние этажи были гораздо шире нижнего, служившего им основанием, и подпирались всевозможными подпорками, бревнами, досками, и в этих постройках гнездились тысячи лавок и лавчонок, а в промежутках между ними, равно как и площадочках и вдоль переулчонков, лепилось друг возле друга, в вечной тесноте и давке, множество прилавков, ларей, лотков, столов, и все это было буквально завалено вся-

ким хламом, о существовании которого вам, пожалуй, может быть, и в голову не пришло бы, но который здесь известен искони под именем «товара», менялся, продавался, покупался и проходил сквозь все двадесять мытарств и девять кругов преисподней, на потребу люда петербургского, на разживу торгашам да на похмелье мазурикам, для коих блаженной памяти толкучка была истинной матерью-кормилицей. Все эти лавки и лавчонки сооружались по традиционной толкучно-апраксинской системе: все они, во-первых, проходные, для того, чтобы в случае надобности можно было «сквозняка задавать»; во-вторых, свету дневного они недолюбливают; внизу-то еще ничего — свет, пожалуй, и допускается, ибо тут, для виду, предполагается торговля «с зазывцем и начистоту», но чем выше подымались вы — во второй и третий этажи, тем сильней начиналось господство полумрака, и сей полумрак для знающего человека мог служить признаком того, что здесь поблизости где-нибудь «темный товарец» находится: а темный товарец по преимуществу пользуется уважением толкучников.

В тех местах, где между лавчонками остается сколько-нибудь путного пространства, образующего маленькую площадочку, а также и по всем этим уличкам и проходцам вечно снует взад и вперед тот особенный люд, который вы можете встретить единственно лишь на Толкучем рынке. Тут уж идет толкотня в полнейшем и буквальнейшем смысле этого слова. Этот люд, от первого до последнего, составляет совсем особенный вид петербургского пролетариата и известен в своих сферах под именем продавцов и покупателей «с рук». Один несет сюртучонко ветхий или такие же штаны, другой сломанную бритву, третий башмаки или калоши с изъянцем, четвертый предложит вам лампу какую-нибудь, у пятого вы найдете на руках и за пазухой две-три какие попало книжонки без заглавия и переплетов, шестой отзовет вас с таинственным видом в сторону и, озираясь, осторожно вынет из кармана какую-нибудь серебряную ложку или цепочку золотую, с объяснением, что продается, мол, по несчастию, потому жена или теща померла — хоронить надо, так, мол, не купите ли Христа-ради? И если вы,

сжалившись над таковым злосчастным положением продавца, заплатите ему сумму, которая покажется вам действительно вполне ничтожной сравнительно с настоящей стоимостью золотой или серебряной вещи, то, пришед домой, будете приятно изумлены неожиданным сюрпризом: цепочка вдруг окажется медной, ложка — оловянною. Профессия эта называется «обначкою», то есть подменом. Этот народ почти всю свою жизнь проводит «на толкучке», по крайней мере день его сполна принадлежит этому рынку, начинаясь открытием торговой деятельности ранним утром и кончаясь с прекращением ее к вечеру. Есть захочется — тут же под боком и «обжорный ряд» к его услугам; спать захочется — в Апраксином переулке «ночлежные» имеются; заплатил за ночь две-три копейки — и спи себе с Богом. Таким образом, все насущные житейские потребности удовлетворяются тут же, на месте, и вследствие этого продавцы и перекупщики «с рук» составляют непосредственный и характерный продукт толкучки: они — ее прямое порождение. Но что было всего замечательнее в старой, до-

пожарной толкучке, это некоторое место, скрывавшееся в одном из грязнейших углов и носившее название «развала». На развале шла, бывало, совсем особенная торговля: тут уже не было ни лавок, ни ларей, ни столов, а просто-напросто товар разваливался на земле, на рогожках. Тут было сборище самого непригодного, старого, заваляшего хламу, всевозможных родов и качеств: черенья от ножей и вилок, сломанные рамы от картин, битая посуда и стекло, рваные книги, полусгнившие лоскутья, беспалые перчатки, облупившиеся портреты, костыли, изъеденное ржавчиной железо, каска без шишака и так далее — словом сказать, тысяча самых разнообразных, но никуда не годных предметов по всем отраслям житейского обихода. Этот «развал» обрамлялся целым рядом шкафов, ларей и лавок без окон и дверей, представлявших самую пеструю и яркую картину: тут на каждом шагу бросались в глаза зеленые, желтые, синие, красные лоскутья, перемешанные с иным тряпьем всевозможных цветов и оттенков, и все это любезно развевалось по ветру, все это перетасовывалось между собою, являя

из себя какой-то невообразимый хаос и кутерьму, особенно когда оно сочеталось с вечным гамом, толкотней и юрким движением Толкучего рынка. Тут помещался так называемый «лоскутный ряд», где обретались изношенные фраки, юбки, драпри, бурнусы и всяческие остатки материй и сукон от жилетов, от платья и прочего. Но лучшее и оригинальнейшее украшение лоскутного ряда составляли безобразные жидовки. Напялив на плечи до десятка самых разнородных кацавеек, бурнусов, манто и салопов, перекинув на руку несколько кисейных и иных юбок, а на голове у себя воздвигнув целую пирамиду из женских шляпок, насаженных одна на другую, — эти жидовки, неподвижно сидящие длинным рядом, друг подле дружки, тараторили, штопали и вязали чулки, а не то — тихо прохаживались взад и вперед по «развалу», изображая собственной своею особой целый ходячий магазин тряпья и лоскутьев. Глядя на эту ветошь, вы, быть может, подумаете, что все эти содержатели подобных лавчонок перебиваются из одного лишь куска хлеба, из насущного дневного пропитания, что это все бедняк —

народ, достойный всякого сожаления и поддержки, — и вы жестоко ошибетесь: большая часть этих торговцев — люди весьма богатые, которые, через несколько лет подобной торговли под толкучим, случается, наживают себе дома и дачи, выдают дочерей замуж за «енералов», и «енералы» эти дерут со своих тестюшек огромное приданое, не гнушаясь тем, что тестюшки раз по пятнадцати, коли не больше, бывали под следствием будто бы «по оговору» в приеме и покупке краденых вещей, на которых, собственно, они и все благосостояние-то свое построили.

На одном конце «развала» приютилась небольшая лавчонка, снизу доверху заваленная книгами, ландкартами и эстампами. Хозяин ее, маленький горбун с сморщенным лицом вроде печеного яблока, напоминал своею наружностью подземного крота. Напялив на кончик носа круглые очки, он по целым дням молчаливо рылся в грудах своих книжек, перебирая их, прочитывая заглавия, и сортировал по полкам. Каких только книг не возможно было достать посредством этого горбуна, и чего только не хранилось на пыльных полках

его лавчонки! И он каждую свою книжонку, хотя бы это была самая последняя и заваляющая, знал как свои пять пальцев, знал, что она в себе заключает, в каком месте она у него хранится и какую цену можно запросить за нее с покупателя.

Горбун с сосредоточенным любопытством внимательно переглядывал картинки в одной старопечатной французской книжке и все ухмылялся да потряхивал головой, словно бы эти гравюрки представляли сюжеты чересчур уж игривого свойства.

— Здорово, дедушка! — оприветствовал его, хлопнув по плечу, высокого роста видный старик с букинистским мешком за плечами. Горбун между букинистами прозывался дедушкой.

— Здорово, внучек, — с невозмутимой ровностью ответил он, продолжая перелистывать картины, хотя этот внучек скорей бы мог назваться ему братцем.

— Какая это у тебя? — ткнул ему в книгу пришедший.

— Отменная, внучек, могу сказать — антик!.. антик-книжица! *Лекон-фесьон сенсер*

прозывается, *д'юн вьель аббес*...[364] Вон оно что! А дальше-то уж и не разберу: глазами стал плох. По картинкам судить — должно, насчет духовенства: ишь ты, все монахи с монашенками изображены.

— Чудно! — ухмыльнулся «внучек», рассматривая картины. — Право, чудно! И токмо соблазн один выходит... А я к тебе с приятелем: вон он, гляди, каков!.. Да войди ж ты к нам, Иван Иваныч, — кликнул он Зеленькова, который у наружного прилавка разглядывал «божественное» в куче литографированных эстампов.

— Слышь-ко, дедушка! Ты как меня, к примеру, понимаешь? — При этом пришедший букинист снова хлопнул по плечу хозяина.

— Ну, как там еще понимать тебя! Все мы стрекачи-труболеты, одно слово! — отшутился горбун с благодушной улыбкой.

— Нет, ты, дедушка, говори не морально, а всурьез, по-истинному: как ты понимаешь Максима Федулова? Каков я, по-твоему, есть человек?

— Ништо, человек-то ты был бы хороший, да беда — Бог смерти не дает, а то ничего бы!..

— Ну вот, опять ты только на смех ведешь! А ты скажи мне: много ли, мало ли ты со мной камерцию свою водишь?

— Да годов с двадесять будет, пожалуй.

— Надувал я тебя коли? аль заставлял кашу полицейскую расхлебывать? говори ты мне!

— Это что говорить! Николи этого за тобой не водилось.

— Ну, и скольких я литераторов на своем веку перезнавал? От скольких сочинителев книжонок в твою лавчонку переправил?

— И это многажды случалось.

— Ну и, стало быть, я человек верный?

— Да ты это как, всурьез? — пытливо вскинул на него глаза хозяин лавчонки.

— С тем и пришел! — с достоинством подтвердил Максим Федулов.

— Ну, как ежели всурьез, то конешное дело — верный, — согласился горбун.

— И можешь ты на меня положиться?

— Сказано: «не надейся убо на князи...»

— Да я не князь, — перебил его букинист.

— А не князь, так грязь — и тово, значит, хуже, — опять отшутился «дедушка».

— Коли грязь, пущай грязь, будь хоть по-твоему! — шутя же согласился Федулов. — Оба мы книжники — и, значит, одного поля ягода.

Старик лукаво усмехнулся и головой покачал: отрезал, мол, здорово.

— Ну да ладно, что тут тары-бары точить! — порешил он, ударив его ладонью в ладонь. — Конешное дело, положуся!.. Да ты насчет чего же это?

— А насчет заграничного звону, — подмигнул ему Федулов.

Старик зорко и осторожно покосился на Зеленькова.

— Чего-с? — протянул он, цедя свое слово сквозь зубы.

— Ты, дедушка, не бойсь его, — кивнул Максим на Зеленькова. — Не сумлевайся: это — человек верный, старинный мой благоприятель.

Дедушка еще пытливей и зорче поглядел сперва на того, потом на другого и наконец успокоился.

— Чего заграничного, говоришь ты? — переспросил он, словно бы еще не вникнул.

— Звону, дедушка, звону, с лондонской ко-

локольни.

— Нет у меня такого товару, и не соображу, о чем ты это говоришь, — зарекся горбун, отрицательно закачав головою.

— Ну, врешь! Еще намеднись сам же просил, не подыщется ль, мол, у меня покупателев? Вот я тебе и подыскал. У меня есть уж два экземплярца! — показал он из бокового кармана сверток печатной бумаги, повернувшись спиною ко входу — «чтобы не было соблазну посторонним глазам». — Один свой был, другой у товарища добыл, за третьим к твоей милости пришел. Уважь, дедушка, потому — беспременно три надо: в отъезд, слышь ты, взять желают, для пересылки.

— За какое время? — осведомился горбун, сделавшись посговорчивее.

— За прошлый год, полугодие полное требуется.

— Можно! Пятьдесят на серебро, а меньше в цене — ни копейки.

Максим Федулов стал маклачить, прося «уважить насчет спуску», но горбун упорно и крепко стоял на цене, заявленной им с первого разу. Нечего делать, пришлось Ивану Ива-

новичу раскошелиться и дать. Горбун внимательно переглядел на свет каждую ассигнацию, проверил нумера, пересчитал раза два всю сумму на том основании, что «деньга, мол, допрежь всего, счет любит», и наконец, после всей этой процедуры, систематически уложил полученные деньги в большой сафьянный и отчаянно замасленный бумажник.

— Ты, Федулов, постой-ка тут с приятелем заместо меня, а я пойду пошарю, может, здесь, а может — и дома схоронено; не упомню что-то.

Федулов на это только головой кивнул: «Хитри, мол, „не упомню“! Знаем мы тебя!» И горбун удалился в самый темный уголок своей лавчонки. Разобрав целую груду книг на нижней полке, которая плотно примыкала к самому полу, он осторожно стал выдвигать ее. Эта полка, имевшая особенное, потайное назначение, подавалась у него взад и вперед на двух желобках, незаметных для постороннего глаза. Выдвинув ее, старик приподнял приходившуюся в том самом месте часть половицы и очутился перед своими тайными и

в высшей степени интересными сокровищами. Тут были у него и масонские, и раскольничьи книги, и рукописи беспоповщинские, и книжки зело нескромного свойства, и, вместе со старопечатными, древними, запрещенные политические издания. Все это хранилось под половицей, в особого рода деревянном футляре или ящике, и все это — увы! — сделалось жертвой толкучего пожара шестьдесят второго года.

Старик, слышно, не пережил своего несчастия и тоже отправился к праотцам, унеся с собою необычайную любовь к книгам и громадную библиографическую память.

Отыскав, что требовалось, он тем же порядком замаскировал свой тайник и мигнул Федулову:

— Это, что ли?

— Во, во, во!.. Оно самое! Давай его сюда!..

— Тс... хорони половчее, молокосос!..

— Не вам, хрычам, учить нашего брата!.. Ладно, этак-то теперь не заприметить.

— Добро, проходите отсель поскорее! Нечего вам тут задаром рассиживать!.. Купил товар — и уходи своею дорогою... Да слышь, —

прибавил он озабоченно и торопливо, — коли попутает луканька, что в недобрый час попадетесь вы с этим добром, — я не продавал, и вы у меня не покупали, и знать я ничего не знаю. Слышишь?

— Это уж вестимое дело! Прощай, брат дедушка!

— Ну, то-то... Проваливай, внучек!

И, спровадив своих покупателей, старик снова напялил очки и снова принялся за *конфесьон сенсер,* только что приобретенную им от какого-то гимназиста.

Иван Иванович долго еще бродил по Толкучему рынку, заходил во множество лавчонок, справляясь, не имеется ли где литографского камня, и наконец, к немалому своему удовольствию, отыскал и его, между всяческим сбродом и хламом, рядом с бюстом Каратыгина и заплесневелой полуаршинной пушкой.

Пока генеральша фон Шпильце сообщала Сашеньке-матушке инструкции для Ивана Ивановича Зеленькова и пока тот приводил их в исполнение, Полиевкт Харлампиевич не

дремал и усердно работал над дальнейшими деталями своего обширного плана. Теперь уже он непрестанно памятовал, что дело зашло слишком далеко, особенно после убийства дворника Селифана, что буде мало-мальски успокоишься и сядешь сложа руки, то дамоклов меч того и гляди упадет ему на голову, да и не ему одному, а пойдет скакать, что называется, по всем по трем, не минуя ни Амалии Потаповны, ни Шадурского, ни Пройди-света, ни акушерки и всех прочих прикосновенных к делу лиц.

Но «дамоклов меч только висит и никогда не падает» — так весьма остроумно заметила одна французская книжица, и хотя Полиевкт Харлампиевич тоже был не прочь от согласия с этой мыслью, однако, будучи человеком предусмотрительным и заботливым, пользуясь образцовой репутацией честного и добропорядочного гражданина, он неусыпно продолжал работать.

«Ведь вот они, люди, сами себе портят и сами себя топят! — рассуждал он относительно обоих Бероевых. — А все что виновато? Гордость их сатанинская и высокомерие! Христи-

анского смирения перед судьбой, перед роком своим у этих людей ни на волос нет, а это-то и вредит!.. Я желал уладить безобидно, сумасшедшею ее сделать хотел — и все бы это отменно покончилось. Так нет же! Муженек заварил кашу! Ну а коли уж заварил, так не взыщи, если больно солоно придется расхлебывать!.. Я — видит Всевышний Создатель мой — я спасти хотел! — заключил Полиевкт свои рассуждения, — я, насколько возможно, даже добра им обоим желал; но... обстоятельства приняли иное течение: теперь уже спасать их — значит губить и резать самих себя. Пускай же оба идут по своему надлежащему течению!»

И он глубокомысленно засел к своему письменному столу, долго тер лоб свой, долго кусал перо, строчил на большом листе бумаги, зачеркивал, переправлял и снова строчил, пока из-под пера его не вышло новое произведение. Это было нечто вроде воззвания к русскому народу, написанное хотя и весьма витиевато, но неглупо и очень красно.

«Посмотрим, голубчик, как-то ты от этого отвертишься! — злорадно помыслил Хлебона-

сущенский, перечитывая свое произведение. — Прибавить разве еще немного красноты и возмутительного духу этого или и так оставить?.. Нет, хорошо, кажись, будет и так... Теперь остается только два-три письмеца подходящих состряпать, якобы тут целый заговор и целая тайная агенция имеется, а засим и дело почти готово!..»

И Полиевкт снова принялся за писание. Вскоре и письма были готовы. Тогда он повез их к Амалье Потаповне фон Шпильце, с тем чтобы та отдала их переписать надежному человеку на обыкновенной почтовой бумаге. Генеральша обещала исполнить. Она во всем этом деле принимала живейшее участие, чувствуя, подобно Хлебонасущенскому, и над своей головой точно такой же дамоклов меч; поэтому все те обстоятельства, которые мы передаем теперь читателю, являются результатом ее секретных аудиенций и советов с великим юристом и практиком. «Черт знает, из-за каких пустяков и дело-то все началося! — думал в иные минуты Хлебонасущенский. — А ничего, кроме сей тактики, не придумаешь... отступать нельзя, потому — зашло-то

оно уж чересчур далеко... Надо действовать!..»

И они, как уже убедился читатель, точно что действовали.

Приехав от генеральши, Полиевкт Харлампиевич снова заперся в своем кабинете и старательно стал переписывать по транспаранту известное уже возмутительное воззвание, стараясь придать своей руке возможно больший общеписарский почерк. Переписав экземпляров около осьми, он остановился, справедливо подумав, что и того будет достаточно для ясной улики.

На другой день после этого Сашенька-матушка принесла к генеральше литографский камень и три экземпляра «Колокола», уложенные и запакованные сеном в корзине из-под вина; а Полиевкт Харлампиевич явился туда же с пакетом своих прокламаций.

— Что письма? — спросил он.

— Schon fertig![365]

— Вы уж, матушка, по-православному объясните мне, по-российски, а то я не понимаю.

— А зачем не понимай?

— Да уж так. Я всегда желал полным пат-

риотом остаться, потому и не захотел учиться...

Генеральша удовлетворилась сим патриотическим аргументом и объявила, что, мол, все уж готово, что она сама скопировала письма эти, и притом буква в букву с оригинала, только руку свою несколько изменила, ибо всегдашний почерк ее отчасти и «там» известен: пожалуй, еще как-нибудь вспомнят или догадаются. Полиевкт Харлампиевич от глубины души своей поцеловал ее пухлую, потную ручку за эту рациональную предосторожность.

— Вы добрый союзник, ваше превосходительство! Вы — дипломат искусный, — восторженно и сладостно воскликнул он, сопровождая этим восклицанием свой поцелуй генеральской ручки.

Теперь — вся предварительная подготовка уже исполнена: камень, «Колокол», два письма и восемь экземпляров воззвания состоят налицо. Главная суть остается, стало быть, в том, каким образом втайне подсунуть все это в квартиру Бероева.

— Надо скорей, и как можно скорей это

сделать! — настаивал Хлебонасущенский. — Этот человек нам положительно вреден! Посмотрите, как хлопочет он, какие тени подозрения старается на нас-то набросить! Каждый день он шибко подвигается вперед, каждый день ведь хоть что-нибудь да уж непременно откроет новенького в свою пользу — меня обо всем этом досконально извещают... Ждать, говорю вам, невозможно-с; надо сократить этого барина, а иначе — сами сократимся!..

Амалия Потаповна подумала и взяла на себя отыскание средств к тайной подброске. И она действительно отыскала — отыскала, как всегда и во всем, при посредстве своих верных, драгоценных и незаменимых агентов.

Хотя Иван Иванович Зеленьков давным-давно уже съехал с квартиры, нанятой им в том самом доме и по той самой лестнице, где жили Бероевы, однако знакомства своего и нежных отношений с курносой девушкой Грушей не прерывал и о сю пору, находя это знакомство лично для себя весьма приятным. Курносая девушка Груша отличалась

умом не особенно прочного свойства и сердцем очень чувствительным; поэтому, не вдаваясь в невозможный для нее анализ, что за человек есть этот Иван Иванович, она беззаветно прилепилась к нему всем своим нежным и добрым, простоватым сердцем, будучи вполне убеждена, что «душенька ее Иван Иванович расприкрасный человек и оченно даже смирного ндрава». Иногда она отпрашивалась у барыни «со двора» и летела на это время к Ивану Ивановичу, а иногда и Иван Иванович к ней захаживал; впрочем, последнее случалось несравненно реже первого, и, таким образом, с самого начала этого знакомства в мелочной лавочке до самых последних событий нашего повествования нежные отношения Ивана Ивановича к девушке Груше не прекращались. И это, как нельзя более кстати, послужило теперь целям Амалии Потаповны и Хлебонасущенского.

Когда Амалия Потаповна на секретном совещании своем с Александрой Пахомовной передала ей о крайней необходимости подброса известных уже вещей в квартиру Бероева и о крайней затруднительности этого пас-

сажа, мысль генеральши упала на всегдашнего исполнителя ее поручений — Зеленькова, и вдруг Сашенька-матушка, к великой радости ее превосходительства, объявила, что это дело более легкое, чем кажется. При сем она с некоторой горечью стала рассказывать о нежных отношениях генеральского агента к бероевской служанке, и эта горечь служила признаком тех затаенных, но тем не менее весьма нежных чувств, какие Александра Пахомовна не переставала сама питать к Ивану Ивановичу Зеленькову. Узнавши все эти обстоятельства, генеральша снова посоветовалась с Полиевктом Харлампиевичем и затем отдала новые инструкции своему фактотуму.

Результатом последних было то обстоятельство, что Иван Иванович немедленно же приобрел себе, для большего удобства, широкую шинель, схоронил под сюртуком, у самого сердца, пакет с заветными бумагами, а сверток «Колокола» вместе с камнем опустил в очень вместительный карман шинели и на следующий день, с восьми часов утра, отправился пить чай в одну из харчевен Подьяческой улицы, которая приходилась почти как

раз против дома, где жил Бероев. Хотя чаепитие Зеленькова продолжалось очень долгое время, однако он не столько занимался чаем, сколько пристальным глазением в окошко, Иван Иванович делал свои наблюдения. Он переменил чай на пиво, а пиво на селянку, что заняло у него добрых часа два времени, а сам меж тем ни на шаг не отходил от своего стола и частенько продолжал поглядывать на улицу.

В одиннадцатом часу он заметил, что из знакомого дома вышел человек с двумя детьми и сел на извозчика.

Человека этого он видел только впервые, но детей признал тотчас же: это были дети Бероевой, которых Иван Иванович неоднократно встречал во время житья своего в этом доме, когда они выходили гулять вместе с матерью или с Грушей. По детям не трудно было догадаться ему, что незнакомый человек — их отец, Егор Егорович Бероев. Поэтому Зеленьков поспешил расплатиться за все истребленные им пития и снеди и сейчас же направился по знакомой лестнице, в знакомую квартиру. Его встретила Груша.

— Ты одна, Груша?

— Одна.

— А кухарка-то где же?

— На рынок только что вышла.

— А барин дома?

— Никого нет дома, одна, как есть.

— Ну здорово, коли так... Позволь присесть малость... устал я нынче... ходьбы было много.

И он присел в кухне на табурет, не скидая шинели. Минут пять прошло в обыкновенной перекидке словами. Иван Иванович начал как будто мяться немного.

— Сам-то... с детьми, нешто, уехал?.. Куда это? — спросил он.

— А к барыне... видеть она их оченно желала, бедная, он и повез.

— Ну, это дело хорошее. Жаль мне твою барыню, уж так-то жаль!.. Подумаешь, беда какая стряслася... А вот что, Грушенька, — перебил он самого себя, — смерть мне что-то пить хочется... Как бы этак пивка хватить, что ли, стаканчик?.. Ась?.. не возможно ли?

— Отчего ж невозможно? Это — пожалуй...

— Да идти в пивную не хочется: устал я

что-то... Будь-ко ты такая хорошая, смахай!.. Вот тебе и денег на пару пива, а я пока посижу — фатеру покараулю.

Груша была очень рада, что может хоть чем-нибудь услужить своему возлюбленному, и потому не заставила повторить его просьбу: мигом накинула на голову платок и побежала. А Иван Иванович тем часом, не теряя ни минуты, шмыгнул в смежную горницу, огляделся — и видит, что печка тут как нельзя удобнее пришлась ему на помощь для исполнения заказанного дела: благо, взбираться не трудно, потому — рядом с ней умывальный шкафчик стоит. Взобраться на него да положить за карниз железной печи бумаги и камень было делом одной минуты, после чего Иван Иванович как ни в чем не бывало вернулся в кухню и стал поджидать прихода Груши с парою пива.

Покалякав с ней минут десять, он простился и пошел, как было назначено, к Александре Пахомовне.

«Ах ты, Господи Боже мой! — скорбел он, идучи своею дорогою. — И что я за человек-то анафемский!.. Вертят мною, как хотят, а я

молчи... Ведь теперь это, значит, барину этому какая ни на есть беда через меня, подлеца, приключится: без того уж и не подослали бы. И за что, подумаешь? Добро бы он худо что сделал мне, изобидел бы, как ни на есть, а то ведь ровно ничего... и не знаю-то я его совсем... Опять же вон намедни убить человека заставили...

Э-эх! Нехорошо, Иван Иваныч, нехорошо!.. А что поделаешь? Уж, знать, судьба моя такая: и не желаешь, а варгань... И что это за сила у них надо мною? С чего они заполонили меня? Совесть-то проклятая, поди-ко, измучает теперь! И ничего больше не придумаешь, окромя того, что получить мне теперь с их превосходительства зарабочие деньги да загулять... Ух как!.. Мертвую с горя запью, право!»

И меж тем Иван Иванович хотя и скорбел в душе своей, а все-таки шел к Сашеньке-матушке с отчетом о благополучно исполненном поручении.

Теперь читатель знает уже наполовину, как все это случилось. Другую половину за-

мысловатого фокуса взялся исполнить уже новый механик.

Механик этот...

Но нет! — насекомое сие столь достолюбезно, столь достопримечательно и настолько является продуктом петербургской жизни, что автор намерен проштудировать его под микроскопом, в надежде, что любознательный читатель и сам не прочь бы познакомиться (только не в жизни, а по портрету) с этим санкт-петербургским «инсектом». Для сей цели автор даже начинает отдельную главу, из коей, между прочим, читатель в надлежащем месте окончательно уже уяснит себе вопрос о том, как произошли все описанные нами в предшествовавших главах происшествия, и — смею надеяться — уяснит все сие без всяких комментариев со стороны автора.

Итак, приступаю.

XXXVIII

ОДИН ИЗ ВЕЗДЕСУЩИХ, ВСЕВЕДУЩИХ, ВСЕСЛЫШАЩИХ И Т. Д

Насекомое это, по родовым и видовым своим признакам, называется... Но нет, опять-таки нет! Автор, право, затрудняется «в настоящее время, когда и проч.», назвать его «настоящим» именем. Историческое происхождение его теряется во мраке веков. Автор не знает, упоминают ли о нем Зороастр и книги «Вед» (надо полагать — да), но Библия, например, дает уже некоторые указания на его существование в библейский период. У римских историков времен упадка тоже находим довольно обстоятельные сведения об этом виде, и затем, чем ближе подходит дело ко временам новейшим, тем все более можно убеждаться в повсеместном его распространении. Можно сказать с большей или меньшей достоверностию, что под градусами земной широты и под всеми меридианами, где только обитает двуногая порода, водятся и виды

означенного насекомого. Но чем страна «цивилизованнее», тем более шансов для его существования. В настоящее время наиболее совершенствованный вид его водится во Франции и преимущественно в Париже. Однако опытные исследователи утверждают, что и остальная Европа не обижена на сей счет, так, например, между германскими странами, говорят они, будто бы благословенная Австрия представляет соединение условий, особенно благоприятных для акклиматизации сего насекомого. Одни находят его положительно полезным, другие — положительно вредным; но если бы последние, вследствие какого-нибудь coup d’etat[366], очутились на месте первых, то автор никак не поручится за то, что они тотчас же не примутся за разведение означенного насекомого, подобно тому как разводится шелковичный червь, из видов политико-экономических.

Насекомое это не везде одинаково: оно принимает свои оттенки, качества и большую или меньшую степень развития и совершенства сообразно условиям климата, жизни и обстоятельств какой-либо страны. Русская

почва не может похвалиться выработкой вполне удовлетворительного вида сего насекомого, да и слава Богу, тем паче что оно приходит к нам в качестве немецкого товара. По крайней мере в большинстве случаев это бывает так.

Если бы кто спросил меня, что за человек Эмилий Люцианович Дранг, — я бы ответил просто названием настоящей главы: я бы сказал, что это человек вездесущий, всеведущий, всеслышащий и т. д.

Эмилий Люцианович Дранг (сам он для пущей звучности и громоносности произносил свою фамилию не иначе как *Дрранг)* — молодой человек лет тридцати двух, одаренный приятною наружностью, а притом надо заметить, что эта наружность — самого независимого свойства. В обществе таких людей обыкновенно называют «приятными во всех отношениях». Эмилий Люцианович белокур, но не то чтобы очень, а так себе, средственно; ростом не высок и не низок, а тоже этак — средственно; носит английский пробор впереди и сзади, что уже служит признаком известного рода фешенебельности, закручивает усы и хо-

лит пушистую бороду. По внешнему виду его можно принять за все что угодно, только это «все что угодно» непременно будет «цивилизованное» и «либеральное». Можно его принять и за либерального проприэтера-помещика, и за либерально-отставного военного, а пожалуй, и за либерального литератора, если не за либеральнейшего человека; словом — это наружность, годящаяся для сцены на «цивильные» роли среднего возраста, но никак не на «пейзанские». Одет он всегда благоприлично и даже щеголевато и усвоил себе манеры, вполне соответственные костюму. Происхождение свое скрывает под мраком неизвестности, говоря изредка при случае, что он «сын благородных родителей». Воспитание получил в «каком-то» заведении, где отличался любовью к секретным аудиенциям с начальством, за что неоднократно бывал бит своими товарищами. Ходят слухи, будто служил он в каком-то полку, но, получив за свои приятные качества несколько неприятных прикосновений к физиономии, должен был расстаться с мундиром и избрать другой род общественной деятельности. В настоящее

время одни утверждают, будто он служит или числится где-то, другие же утверждают, будто нигде не служит и не числится, а сам Эмилий Люцианович на этот счет ровно ничего не утверждает. Он просто-напросто «пользуется жизнью» и потому «жуирует». Где бы, когда бы и какой бы ни вышел либеральный протест, он всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, в чем тут кроется самая суть дела, какие его нити и пружины и кто вожаки. В нравственном отношении — он атеист, в экономическом — коммунист, в политическом — республиканец, в социальном — поборник «святого труда», женской эмансипации, коммун и артелей и вообще самых радикальных мер и salto mortale[367]. Таковым по крайней мере старается он изображать себя при случае, в разговоре, до дела же и до душевной искренности — в Петербурге кому какое дело!.. Приятный, милый человек — и баста.

Эмилий Люцианович Дранг вездесущ. Об этом мы сообщили уже читателю. Куда бы вы ни пошли — можно смело поручиться, что дело не обойдется без встречи с прекрасным

Эмилием. Летом вы его встретите на Елагинской стрелке, у Излера, у Ефремова, и в Павловске, и в Петергофе, и на вечерах во всевозможных клубах; зимою — то на Невском, то в Летнем саду, то на Дворцовой набережной. Загляните в любое из питательных заведений: к Палкину, к Доминику, к Дюссо — и вы непременно узрите Эмилия Люциановича, питающего себя если не обедом или завтраком, то уж наверное каким-нибудь слоеным пирожком или бутербродом. Эмилий Люцианович — непременно любитель просвещения и ценитель изящных искусств. Ни одно литературное чтение, ни одна публичная лекция не обходится без Эмилия Люциановича, и особенно без того, чтобы он не задал самой яростной работы своим каблукам и ладоням в ту минуту, когда кого-либо из фигурирующих авторов дернет нелегкая ввернуть что-нибудь «либеральное». В театрах вы точно так же столкнетесь с господином Драгом, который особенно предпочитает те пьесы, где взяточников порицают, рутину и порок бичуют громовыми монологами, и вообще, где новейшие драматурги изображают себя на счет своих

благородных и возвышенных чувств касательно прогресса и прочего. Он даже сам иногда порывается играть на сцене Жадова, Назимова, мыловара из устряловской комедии и вообще роли подобных либеральных и благонравных юношей. Для удовлетворения своим сценическим порываниям Эмилий Люцианович даже сам устраивает иногда «любительские» спектакли «с благотворительною целью» и через то вступает в конкуренцию с известным мастаком по этой любительской части, который повсюду знаем и ведаем под именем «всеобщего дядички». Паче же всего к маскарадам стремится дух прекрасного Эмилия. Маскарад — его жизнь, его сфера и как бы отечество его. Сколько можно в этой густой, говорливой толпе невольно подслушать любопытного! Сколько от иной болтливой и глупенькой маски можно, якобы ненароком, выпытать интересного!.. Да, Эмилий Люцианович Дранг принадлежит к числу неизменных членов-завсегдатаев всевозможных петербургских маскарадов.

Спрашивается, чем же существует Эмилий Люцианович? На какие средства доставляет

он себе все эти разнообразные удовольствия? Из чего он фланирует и жуирует? Где источник его доходов и какие его ресурсы? Для большинства смертных города Петербурга все сии вопросы суть сфинксова загадка, и автор может разъяснить только один из них, да и то лишь отчасти. Для входа во все публичные увеселительные места, а также на чтения и концерты Эмилий Люцианович Дранг постоянно имеет либо «почетные», либо просто бесплатные билеты. Но ради каких уважительных причин таковые имеются у него, и притом постоянно, — мы объяснить не беремся и считаем за лучшее заблаговременно уже поставить на сем месте благодетельную точку.

Круг знакомства Эмилия обыкновенно обширен. Он в особенности обладает тонким искусством втираться в семейные дома, делаться, что называется, своим, домашним человеком, приобретать благорасположение старушек, становиться на приятельское *«ты» с* мужьями и братьями и подлаживаться к молодым бабенкам и девчонкам, которые, называя его своим искренним другом, посвящают его

во все домашние тайны и секреты и вообще конфидируют иногда о таких предметах, насчет которых в иных случаях следовало бы держать язык за зубами.

Он обладает также особенной способностью заводить и случайные знакомства: в вагоне попросит отворить или затворить окошко, потому что дует или потому что жарко, привяжется к этому казусу и разговор затеет, а потом при встрече любезно кланяется; на легком невском пароходе непременно первый подымет либеральный протест насчет того, что долго не отчаливают от пристани или противозаконное число пассажиров напихивают, причем необходимо отпустит гражданскую фразу вроде того, что «и о чем это полиция думает!», и что «этакая мерзость, этакое послабление только *у нас* возможно», затем опять-таки по сему поводу примажется с разговором к соседу, и опять-таки при встрече любезно раскланяется с ним. Одним словом, это — необыкновенный мастер на уловление знакомства.

Но кроме обширности круг знакомств Эмилия Люциановича отличается еще и необык-

новенным разнообразием. Он знаком решительно с целым городом. Проследите за ним из конца в конец, хоть на Невском проспекте, и вы увидите, что шляпа его то и дело отчеканивает поклоны, на которые ему отвечают по большей части то любезными, то приятельскими осклаблениями. Люди с титулом и происхождением, купцы, мещане, попы, чиновники, аферисты, студенты, семинаристы, актеры и артисты — со всем этим, можно сказать, повально знаком Эмилий Люцианович. Но преимущественно предпочитает он студентов, академических офицеров и паче всего — артистов с литераторами. Эти последние почему-то пользуются особенною его симпатиею. Со многими он *на «ты»,* со многими *на «вы»,* с остальными просто на поклонах; но, так или иначе, вы можете быть уверены, что только отыщется какое-нибудь теплое местечко, где мало-мальски осядется и начнет ежедневно собираться постоянный приятельский кружок, Эмилий Люцианович Дранг уж тут как тут! Сначала в стороне держится, а потом завяжет какое-нибудь случайное знакомство, по вышеописанным примерам, и непре-

менно успеет примазаться к приятельскому кружку — таковы уже свойства его вкрадчивости и уменья. Таким образом, в прежние, но, впрочем, недавние годы он постоянно терся в ресторане Еремеева, который тогда служил сборным пунктом для всех почти русских авторов, для многих артистов, литераторов и тому подобного народа. Во времена же ближайшие он показывался зачастую у «дяди Зееста», в маленьком деревянном домишке близ Александринского театра, и там изображал себя якобы влюбленным, в числе многих, в толстую буфетчицу Густю. Толкаясь таким образом везде и втираясь повсюду, Эмилий Люцианович знал и видел всех и вся. Никто, например, лучше, обстоятельнее и подробней его не мог бы рассказать какую-нибудь сплетню, какой-нибудь уличный или общественный скандал, какое-нибудь городское происшествие, — он какими-то непонятными, неисповедимыми судьбами знал все это подробнее всех и раньше всех; только строго различал при этом, что именно можно и следует рассказывать и чего нельзя и не следует. И вот, таким-то образом, кроме явной и всеоб-

щей своей характеристики «милого и приятного во всех отношениях человека», Эмилий Люцианович Дранг вполне мог еще назваться существом вездесущим, всеведущим, всеслышащим и т. д.

Когда Александра Пахомовна доложила генеральше фон Шпильце, что и последнее, самое трудное поручение выполнено Зеленьковым в точности, Амалия Потаповна немедленно же позвонила своего лакея.

— Бери извозчик и катай на Моховая улиц и Пантелеймон! — озабоченно отдала она ему приказание. — Ты знаешь Эмилий Люцианович, господин Дранг?

— Знаю, ваш-псходительство.

— Говори ему, пускай сейчас летайт на меня, отшинь, отшинь нужда большая — дело. Да скорей ты, а то дома уже не будет!

Амалия Потаповна, как видно, хорошо знала привычки прекрасного Эмилия: его действительно только утром и можно было застать в своей квартире; во все же остальное течение дня и ночи вездесущий порхал по всему городу, уподобляясь то резвому папи-

льону, то гончей собаке.

Генеральский лакей, слава Богу, успел захватить его как раз в ту самую минуту, когда наш гончий папильон юркнул в сани извозчика и вполне уже приготовился искать по свету, где есть уголок и пища для его любознательности.

«Дело... А, дело! Дело — прежде всего, это, так сказать, наш долг, обязанность», — решил Эмилий Люцианович и поскакал к генеральше.

— Н-ну-с, пани генералова!.. Целую ручки-ножки паньски... Что скажете, моя блистательная фея?

Так начал Дранг, вступая в обольстительный будуар госпожи фон Шпильце. Он был на сей раз в добром юморе и, очевидно, искони пользовался известного рода фамильярностью в отношениях своих к этой особе.

— Фуй! Шилун какой! — скокетничала генеральша, ударив его слегка по ладони. — Хотийт фриштыкать? Вина какого?

— От яствий и пития никогда не прочь, — охотно согласился он, принимая при этой фразе позу и интонацию горбуновского «ба-

тюшки».

— Фуи-и, шилун! — еще кокетливее повторила генеральша с примесью какой-то благочестивой укоризны во взоре.

Тотчас же принесли холодный завтрак. Генеральша любила-таки покушать всласть и вплотную, а потому приналегла на снеди и вина свои вместе с прекрасным Эмилием, который во время процесса питания, казалось, сделался еще благодушнее.

— Ну-с, моя прелестная сослуживица, повествуйте на ваших двунадесяти языцех, какое такое у вас дело до меня имеется? — сказал он, откинувшись в глубокую спинку кресла и принимаясь ковырять в зубах.

Генеральша впоследнее улыбнулась игриво-кокетливым образом и тотчас же сообщила себе солидный и вполне деловой уже вид. Она необыкновенно таинственно сообщила ему, что имеет положительные сведения относительно зловредности некоего Бероева.

— Откуда ж вы их имеете? — несколько скептически спросил ее Дранг.

— А через мой агент...

— Хм... В чем же заключается эта зловред-

ность-то?

Генеральша рассказала, будто ее агент давно уже знаком с прислугой Бероева, ходил часто к нему в дом и однажды, то есть на днях, получил от этого Бероева приглашение к участию в подпольном распространении возмутительных воззваний, которые Бероев будто бы намеревается литографировать в своей квартире. Все это показалось Дрангу несообразным как-то.

— Кто это Бероев? — спросил он с прежним скептицизмом.

— У Шиншеев служийт.

— Гм... понимаю! Это, значит, благоверный той дамы, у которой теперь на шейке уголовщина сидит, а в уголовщину эту, кажись, и моя блистательная фея ein bisschen [368] замешана, так ли-с? — прищурился он на нее пытливым глазом.

Генеральшу неприятно передернуло.

— Ну-у, што ишо там? — процедила она с неудовольствием. — Это завсем сюда не идет.

— А нейдет, так чего же вы ждете? Знаете чуть ли не о целом заговоре и молчите да за мной посылаете! А вы действуйте сами —

ведь не впервой-с?

— Ай, мне неловко! — замахала руками генеральша.

— Отчего же до этого разу всегда ловко было?

— Ай, как же!.. Тут это дело mit seine Frau [369]! Мне завсем неловко, завсем неловко!

— Нда-с, то есть вы боитесь, что ваши действия по этой причине не будут приняты в должное внимание, так ли-с?

— Certes mon bijou, certes, comme de raison! [370]

— Понимаем-с! Но если вам неловко, то мне еще неловче: я ведь его не выслеживал, не знаю никаких подробностей, этак, пожалуй, того и гляди, как кур во щи влопаешься.

Генеральша объяснила и подробности.

Дранг — руки в карманы — прошелся по комнате и плутовски в упор остановился перед генеральшей.

— Вы уж лучше признайтесь-ка мне, как бы перед либер готт[371]! — начал он, следя за движениями ее физиономии. — Бероев-то, должно быть, очень опасен для вас по тому делу, так вы этак... тово... на время устранить

его желаете, а иным путем — никоим образом устранить вам его невозможно, не так ли?

Генеральшу снова стало коробить и ежить: она имела дело с очень наглым, очень умным и проницательным господином.

— Ну, а если бы и так? — пыталась она косвенно согласиться в виде вопроса.

— А коли так, то и работайте сами как знаете! — откланялся Эмилий Люцианович. — Что я, о двух головах, что ли? За ложный донос — доносчику первый кнут, вы это знаете? Этак-то, коли начнется следствие да откроется настоящее дело — вы думаете, нас-то с вами пощадят за наши заслуги? Нет-с, ваше превосходительство: на казенный кошт полярную географию изучать отправят, в гости к моржам да к пушному зверю на побывку прокатимся! Вот оно что-с!

Генеральша погрузилась в досадливые рассуждения: дело срывается и — того гляди — совсем, пожалуй, лопнет. Скверно! А надобно бы работать поживее, потому что Бероев не дремлет и сильно хлопочет о раскрытии истины запутанного дела.

Дранг меж тем продолжал расхаживать по

мягким коврам генеральского будуара и, судя по улыбке, обдумывал что-то небезынтересное.

— Вот что я вам скажу, моя королева! — остановился он перед Шпильце, скрестив на груди свои руки. — Ведь дело с Бероевым, так или иначе, разыграется пустяками, непременно пустяками! Ну, подержат-подержат, увидят, что вздор, и выпустят, даже с извинением выпустят, а я-то что же? Только себя через то скомпрометирую, кредит свой подорву.

Генеральша слушала его во все уши и глядела на все глаза.

— И это еще самое легкое, — продолжал Эмилий Люцианович, — хорошо, если только этим все кончится, а если дело разыграется так, что самого к Иисусу потянут — тогда что? Ведь я, понимаете ли, должен буду все начальство в заблуждение ввести, обмануть его, а ведь это не то, что взять да обмануть какого-нибудь Ивана, Сидора, Петра, это дело обоюдоострое, как раз нарежешься — и похерят меня, раба Божьего, а вы-то в стороне останетесь, вам оно ничего!

— Н-ну? — по обычаю своему, цедя, протя-

нула генеральша.

— Н-ну, — передразнил ее Дранг. — Поэтому, если уж рисковать, так хоть было бы за что. Я ведь материалист, человек девятнадцатого века и в возвышенные чувствования не верую, а служу тельцу златому.

— Н-ну? — повторила генеральша.

— Н-ну, — опять передразнил ее Дранг. — Понять-то ведь, кажется, не трудно! Если уж вам так приспичило во что бы то ни стало припрятать на время Бероева, то выкладывайте сейчас мне пять тысяч серебром — и нынче же ночью он будет припрятан самым солидным, тщательным и деликатным образом.

Генеральша помялась, поторговалась — нет, не сдается прекрасный Эмилий: как сказал свою цифру, так уж на ней и стоит. Нечего делать, послала она за Хлебонасущенским, посоветовалась с ним наедине, и порешили, что надобно дать. Пришлось по две с половиной тысячи на брата — и Дранг помчался обделывать поручение, в первый раз в жизни ощущая в своем кармане целиком такую полновесную сумму и поэтому чувствуя себя лег-

че, благодушнее и веселее, чем когда-либо.

XXXIX
ДОПРОС

Вечером щелкнул дверной замок, и в комнату Бероева вошел унтер-офицер с каменно-молчаливым лакеем. Последний держал на руках платье, которое было снято Бероевым при переселении в его последнее обиталище.

— Потрудитесь, сударь, одеться, только поторопитесь, потому там... ждут, — сказал военный.

Лакей молча, с дрессированной сноровкой, стал подавать ему одну за другою все принадлежности костюма, ловко помог пристегнуть подтяжки, ловко напялил на него сюртук и засим начал складывать казенное платье.

— Готовы-с? — лаконично спросил военный.

— Готов.

— Пожалуйте-с.

И они пошли по гулкому коридору. Приставник, как бы для выражения известного

рода почтительности, следовал за Бероевым на расстоянии двух-трех шагов и в то же время успевал служить ему в некотором роде Виргилием-путеводцем среди этого лабиринта различных переходов. Лабиринтом, по крайней мере в эту минуту, казались они Бероеву, которого то и дело направлял военный словами: «направо... налево... прямо... в эту дверь... вниз... по этой лестнице... сюда», пока наконец не вошел он в просторную и весьма комфортабельно меблированную комнату, где ему указано было остаться и ждать.

Мягкий диван и мягкие, покойные кресла, большой, широкий стол, весьма щедро покрытый свежим зеленым сукном, на столе изящная чернильница со всею письменной принадлежностью, лампа с молочно-матовым колпаком и на стене тоже лампа, а на другой — большой портрет в роскошной золоченой раме; словом сказать, вся обстановка несколько официальным изяществом явно изобличала, что кабинет этот предназначен для занятий довольно веской и значительной особы.

После трехминутного ожидания в комнату

вошло лицо, наружность которого была отчасти знакома Бероеву, как обыкновенно бывает иногда очень многим знакома издали наружность значительных официальных лиц. Благовоннейшая гаванна дымилась в руке вошедшего. Расстегнутый генеральский сюртук открывал грудь, обтянутую жилетом изумительной белизны. Довольно красивые черты лица его выражали абсолютную холодность и несколько сухое спокойствие, а манеры както невольно, сами собой, обнаруживали привычку к хорошему обществу. Он вошел ровным, твердым, неторопливым шагом, остановился против Бероева и вскинул на него из-за стола, разделявшего их, острый, проницательно-пристальный взгляд.

— Господин Бероев? — быстро спросил он своим тихим, но металлическим голосом, и притом таким тоном, который обнаруживал непоколебимую внутреннюю уверенность, что на этот вопрос отнюдь ничего не может последовать, кроме безусловного подтверждения. Вопрос, стало быть, предложен был только так, для проформы и как бы затем лишь, чтобы было с чего начать, на что опереться.

Во всяком случае, арестованный не замедлил отвечать утвердительно.

— Вы имеете семейство, детей? — спросил генерал тем же тоном и плавно пустил кольцо легкого дыма.

— Имею, — глухо ответил Бероев: ему стало горько и больно, зачем это хватают его за самые больные и чуткие струны его сердца.

— Очень сожалею, — сухо и как бы в скобках заметил генерал.

Бероеву с горечью хотелось спросить его: «о чем?» — однако почему-то не спросилось, не выговорилось, и он ограничился лишь тем, что, закусив нижнюю губу, неопределенно свернул глаза куда-то в сторону. Минута молчания, в течение которой он хотя и не видит, но чувствует на себе неотразимый, вопрошающий и пытающий взгляд, так что стало наконец как-то не по себе, неловко. А глаза меж тем все-таки смотрят и смотрят.

— Я должен предварить вас, — наконец начал генерал тихо и слегка вздохнув, тогда как магнетизация взорами все еще продолжалась, — я должен предварить вас, что нам уже все известно, и притом давно. Поэтому, госпо-

дин Бероев, излишнее запирательство с вашей стороны ровно ни к чему не послужит и только увеличит еще вашу ответственность. Вы, впрочем, не юноша, не... студент и потому поймете, что порядочному человеку в таких случаях не приходится лавировать, тем более что это — повторяю — будет совершенно напрасно: нас обмануть невозможно — мы знаем все. Слышите ли, все!.. Между тем полное чистосердечное раскаяние ваше, вместе с откровенной передачей всех известных вам фактов и обстоятельств, значительно послужит к облегчению вашей участи и... даже... быть может, к полному прощению. Вспомните, ведь вы не один — ведь у вас семейство.

Генерал кончил и продолжал смотреть на Бероева.

Этот собрался с духом и начал:

— Если вам, генерал, точно известно все, как вы говорите, — заметил он, — то я удивляюсь только одному: каким образом, зачем и почему я нахожусь здесь?

— Это что значит? — металлически-сухо и внятно спросил генерал, ни на йоту не возвышая голоса, и между тем каждый тихий звук

его обдавал невыразимым холодом.

— То, что я — невинен, — столь же тихо и внятно проговорил Бероев, нимало не смутившись: над ним еще всецело царило прежнее чувство абсолютного равнодушия ко всему, что бы с ним ни случилось.

Генерал слегка усмехнулся тою усмешкой, в которой чувствуется как будто и иронии немножко, а больше сожаления, что вот-де, глупый, запирается, тогда как я сию же минуту могу раздавить его неопровержимыми доказательствами.

И он вынул из кармана ключ, отпер ящик стола и достал оттуда пачку бумаг, обернутую в серо-казенный лист папки, с печатной надписью: «Дело».

— Вам незнакомы эти бумаги?

— Совершенно незнакомы.

— Гм… А эти письма?

— В первый раз вижу.

— Будто?.. Ну, я напомню вам их содержание.

Он развернул одно из писем и стал читать.

«Дело наше двигается. Польские братья работают неутомимо, надо, чтобы все подня-

лось одновременно, разом, и — мы победили! Уведомьте, как шла наша агитация в Сибири. Надобно по-прежнему действовать, а вам это удобнее, чем кому-либо. Действуйте, действуйте и действуйте. Письмо это вам передаст З. Рекомендую вам его как надежного члена и товарища. Передайте ему на словах о результатах вашей последней поездки».

Бероев слушал и не верил ушам своим.

— Я ничего не понимаю... — как бы про себя прошептал он, в недоумении пожав плечами.

— Не понимаете? — быстро вскинул на него генерал свои острые взоры. — Ну а это?

И он развернул другое.

«Переписывать неудобно, да и не безопасно. Притом же это будет слишком медленно, а дело не ждет: нам надо скорей и скорей. Надо распустить как можно более экземпляров. Постарайтесь лучше добыть литографский камень. М. доставит вам к нему всю необходимую принадлежность, и — начинайте работать вместе».

— Это тоже незнакомо? — спросил генерал по прочтении.

— Вполне, — ответил Бероев.

— А литеры З. и М.?

Тот, недоумевая, пожал плечами.

Брови его собеседника сурово сдвинулись, но голос остался все так же тих, только сделался как будто еще тверже и металличнее.

— Послушайте, господин Бероев, что это, насмешка?

— Насмешка?! — изумленно повторил арестованный и с гордым достоинством отрицательно покачал головой.

— Все эти вещи найдены, однако, у вас в квартире, — продолжал тот.

— При мне, — подтвердил Бероев, — но как они туда попали — не понимаю.

— Послушайте, милостивый государь, — перебил его генерал, нетерпеливо сжимая зубами свою сигару, — если вы намерены разыграть со мною комедию запирательства, то...

— Комедию запирательства?! — перебил его в свою очередь Бероев. — Для чего, вопрос? Это было бы уже совсем глупо... Я привык несколько более уважать себя, для того чтобы запираться перед кем бы то ни было и

в чем бы то ни было.

— И однако ж...

— И однако ж должен повторить все то, что и до сих пор говорил: более у меня нет оправданий. Скажу только одно, что все это дело — гнусная интрига против меня, интрига, которую ведет слишком сильная рука, но я еще поборюсь с нею! И... вы тоже, надеюсь, узнаете ее!

Генерал сделал нетерпеливое движение, ему, очевидно, казалось, что Бероев заговаривает не о том, о чем следует, и даже чуть ли не начинает вилять в стороны, дерзко путать нечто вовсе не идущее к делу — система, которую генералу случалось иногда наблюдать в подобных казусах, и потому он перебил своего ответчика:

— Вам не угодно иначе отвечать на мои прямые вопросы?

— Я отвечал уже, — спокойно возразил Бероев.

Генерал взглянул на свои часы: он, по-видимому, куда-то торопился, потому что и прежде, во время этого допроса, раза два уже взглядывал на циферблат, и затем громко по-

звонил в изящный бронзовый колокольчик. В дверях почтительно остановился молодой офицер в дежурной форме.

— Можете везти, — отнесся к нему начальник, вскинув глазами на Бероева.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ступайте, — проговорил он, обращаясь к арестованному.

Бероев замедлился на мгновение в глубоком и грустном раздумье.

— Генерал, — сказал он тихо и как-то понуро потупясь в землю, — вы, конечно, знаете, что с моей женой...

— Знаю. Ну-с?

— Могу я уведомить ее о себе... успокоить хоть несколько?..

— Нет-с.

Бероев больно закусил губу и, круто повернувшись, поспешными шагами вышел из комнаты. В лице его в это мгновение было слишком много горя и боли душевной.

Генерал смотрел ему вслед. Ни одно движение арестанта, ни один мускул его лица, казалось, не ускользнули от этого проницательного взора.

Когда дверь осторожно затворилась за вышедшим Бероевым, генерал раздумчиво перелистывал бумаги, пересмотрел только что прочтенные им письма и еще раздумчивее зашагал по кабинету.

«Хм... — размышлял он сам с собою, — странно одно тут: все эти бумаги писаны, очевидно, не его рукою... Ни одного подозрительного письма или каких-нибудь бумаг его руки решительно не найдено... в прежних и других делах — по сверке тоже не оказалось, — стало быть, в тех, кажись, не замешан... Странно!»

И вслед за этим размышлением, походив еще с минуту, среди каких-то внутренних колебаний, он снова позвонил в колокольчик.

— Объявите Бероеву, что он может написать письмо, не касаясь главной сущности своего дела, — сказал он вошедшему офицеру, — только... немедленно же передайте это письмо по назначению — пусть там доложат мне о нем сегодня же.

Офицер почтительно звякнул шпорами, и затем он — в одну дверь, генерал — в другую.

XL
ЗА РЕКОЮ

Вновь повели арестанта разными коридорами, через разные комнаты; только все это — казалось ему — будто уже не те, по которым вели его по привозе в это место, да и не те, по которым сейчас проходил он к допросу, а как будто совсем другие, новые. В одной из них он прошел мимо нескольких молодых и подпреклонных лет людей. Все они были одеты очень порядочно, иные даже щеголевато, и независимой наружностью своей походили на все что угодно, только никак не на чиновников. Тут, между этими господами, заметил он нескольких разноформенных сынов Марса, и все они очень любезно и весело разговаривали между собою, так что встреть вы их всех вкупе в каком-нибудь ином публичном месте, то непременно подумали бы, даже не без некоторого чувства умиления: «Какие, мол, славные ребята! Душа нараспашку! Ну добрые малые, да и конец!» Но теперь Бероев этого не подумал, даже не остановился

на мысли, зачем это и для чего собрались они сюда, — хотя многие физиономии мельком показались ему как будто несколько знакомы, как будто видел и встречал он их зачастую в разных публичных местах. Но... в Петербурге мало ли кого встречаешь и мало ли у каждого из нас есть эдаких знакомых незнакомцев.

Его привели в одну из комнат, носившую вполне официальный, канцелярский характер добропорядочного присутственного места и предложили четвертушку почтовой бумаги, объявив об известном уже читателю дозволении написать письмо.

«Бога ради, не убивайся, не падай духом, — писал Бероев. — Я арестован по какому-то подозрению, но — ты знаешь меня хорошо, — стало быть, знаешь, что я невиновен. Я убежден, что это разъяснится очень скоро, у меня еще есть слишком много терпения и мужества, чтобы доказать свою правоту! Только повторяю — не теряй надежды и мужества ты, моя добрая и несчастная Юлия. Надеюсь скоро видеться с тобою, я добьюсь правды в твоем деле во что бы то ни стало. Напиши к

родным в Москву, чтобы приехали и пока на время взяли к себе детей; они теперь с Грушей; все необходимое у них есть: я оставил деньги. Милая моя! Потерпи Бога ради, поспокойнее еще некоторое время, и верь, как я верую, что скоро кончатся все наши беды. Прощай, благословляю тебя заочно и крепко-крепко целую. Жди же меня и не горюй; да помни, что твое здоровье, твоя жизнь нужны еще для наших детей».

Бероев писал все эти утешения для того, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить тот удар, который нанесет жене известие об его аресте, чтобы хоть немного придать ей бодрости, но сам далеко не был убежден в своих словах: бог весть, еще скоро ли кончится его дело, да и как еще оно кончится! И потому, чем спокойнее был смысл его фраз, чем больше он старался ободрить ее, представляя все дело одним только легким недоразумением, тем тяжелее и больней хватало его за душу чувство тоскливой, безнадежной безысходности. Он знал, что все-таки жена его иссохнет, истает от тщетного ожидания и неизвестности; но хотел, чтобы эта неизбежная судьба

пришла к ней как можно позднее, хотел во что бы то ни стало замедлить, отдалить ее.

— Письмо ваше будет отправлено, быть может, сегодня же, мы постараемся, — пытался утешить его офицер, передавая свернутый, но не запечатанный листок бумаги одному из своих сотоварищей. — А теперь, — прибавил он с присущею всем им и как-то искусственно выработанной предупредительностью, — нам время уж; потрудитесь отправиться со мною.

Спустились во двор к одному из подъездов. Там уже ожидала извозчичья карета. Офицер пригласил в нее Бероева и сам уселся подле него. Стекла, все до одного, были подняты, и шторки опущены весьма тщательным образом. Дверца захлопнулась — и колеса грузно загромыхали по снежным выбоинам мощеного двора.

— Куда вы теперь везете меня? — спросил арестованный.

Со стороны провожатого последовало на это полнейшее молчание.

Бероев подумал, что он не расслышал, и повторил свой вопрос.

Опять-таки одно молчание и больше ниче-

го, как будто с ним ехала мертвая мумия, а не предупредительно любезный джентльмен, каковым он был еще не далее как за минуту. Бероев понял, что далее распространяться бесполезно, и потому прекратил свои расспросы. Все время ехали молча. Куда держат направление кони, не видно сквозь опущенные шторки, только огонь от фонарей мелькает и исчезает на мгновение, наполняя внутренность кареты то тусклым полусветом, то минутною темнотою. Но вот колеса покатились ровнее и мягче, как будто по деревянной настилке, — надо полагать, через длинный мост переезжают... Сквозь колеблющуюся занавеску на миг мелькнула сбоку, у края каретного окна, бесконечная лента ярких фонарей вдали — мелькнула и исчезла... И опять громыхание мостовой, затем опять небольшая деревянная настилка и — раздался наконец гулко-резкий грохот колес: карета въехала в крытые ворота... Бероев осторожно приподнял чуть-чуть свою шторку и мельком заметил золотую ризу образа, вделанного в стену, с горящей перед ним лампадой, и далее — сверкнувшую грань на штыке часового.

Проехав еще некоторое пространство по каким-то обширным дворам, возница остановил наконец лошадей, и офицер поспешно выпрыгнул из кареты, захлопнув за собою дверцу.

Через минуту Бероев услыхал голоса подле своего окошка.

— Здравствуйте, батенька! Что скажете хорошенького?

— А вот-с, нового постояльца привез к вам. Потрудитесь расписаться в получении.

— Можно. А куда его? В секретное?

— Кажись, что на тот конец, — там уж прописано.

— Эге-ге!.. Ну да, впрочем, место свободное найдется. Эй! Кто там, позвать приставника!

— Кого прикажете, ваше ско-родие!

Бероева попросили выйти из кареты и, мимо караульной, повели по каким-то сводчатым коридорам. Впереди и позади его, мерно и в ногу, военною походкой шагали два солдата с ружьями у плеча. Сбоку виднелся сухощавый профиль офицера, не того, однако, с которым он приехал сюда, а впереди шагах в десяти расстояния торопливо ковылял пожи-

лой инвалид, позвякивая связкой ключей весьма почтенной конструкции. Сначала в коридоре как будто кисловато припахивало казармой, махоркой да щами с печеным хлебом, а потом, чем дальше подвигались они в глубину этого полуосвещенного, мрачной постройки коридора, тем более улетучивались эти жилые запахи, и все казалось как-то глуше, мрачнее и безжизненнее, только шаги солдата, звяканье ключей гулко раздавались под пустынно-звучными сводами.

Вышли на свежий воздух, прошли мимо палисада какого-то небольшого мостика и опять поднялись на лесенку — в новый и такой же мрачный коридор. Бероев мельком заметил в темноте контуры обнаженных деревьев, как будто что-то вроде садика, но затем внимание его тотчас же было отвлечено ковылявшим инвалидом, который остановился наконец у одной из дверей. Визгнул ключ в замке — и крепкие петли слегка заскрипели...

Опять совершился обряд переодевания в казенный серо-суконный халат, и арестант очутился один-одинешенек в своем новом помещении.

Это была просторная сводчатая комната с желтыми стенами. Жарко натопленная печь сообщала воздуху какую-то влажно-теплую прелость, которая имеет свойство в самое короткое время размаять человека, меж тем как плиты каменного пола сохраняли присущий им холод. Кровать, табурет да небольшой столик служили необходимою мебелью, и если прибавить к этому умывальник в углу да ночник на стене, который своим беспрестанным миганием до ломоты в висках раздражал глазные нервы, то обстановка этого склепа будет уже вполне обрисована.

Бероев долго, в течение нескольких часов, сидел на табурете, подперев руками отяжелевшую голову. Это было какое-то безжизненное, тупое оцепенение, до которого доводит человека мертвящее чувство отчаяния.

Наконец где-то далеко в воздушной тишине раздалась монотонная прелюдия, разыгранная на малых колокольцах, и вслед за нею удары большого колокола медленно отсчитали полночь. Этот звук, казалось, проникал сюда как будто под землю, как будто в могилу какую.

«Слу-ша-а-ай!» — раздалось где-то наверху, в тяжело-мглистом воздухе, и Бероев судорожно встрепенулся.

— Значит, теперь уже за рекою... — прошептал он, смутно озираясь во все стороны своего склепа, и вдруг зарыдал в первый раз в своей жизни, таким глухим и тяжелым рыданием, от которого «за человека страшно» становится и которого не приведи Бог услышать или испытать человеку.

А старые куранты меж тем после полуночного боя продолжали в вышине разыгрывать свою полуночную мелодию, и бесконечное «слушай» долго еще замирало в очередной перекличке на отдаленных бастионах...

XLI
У ДЯДИ НА ДАЧЕ

Правую сторону тюремного фасада, вдоль Офицерской улицы, занимает женское отделение. Центр его — круглая башня на углу Тюремного переулка. Оно составляет как бы нечто вроде status in statu[372], в общем строе и порядке «дядиного дома», и потому в среде арестантов слывет под именем «дядиной дачи».

«Дядина дача» почти совсем изолирована от общей тюремной жизни, и только одна контора является звеном вполне равносильным как для «дядина дома», так и для «дядиной дачи». Высокий острый частокол отделяет маленький дворик женского отделения от большого двора. Этот дворик представляет весьма унылый вид: там и сям произрастают на нем два-три убогих, тощих, полузасохших кустишки, от которых ни красы, ни тени. На протянутых веревках белье арестантское сушится. С одной стороны частокол с вечно запертыми воротами, с другой — угрюмого вида

наружные галереи женской тюрьмы. Высокие серые стены, черные окна за железными и сетчатыми решетками, а по ту сторону частокола — будка да штык часового, — на всем какой-то бесцветный колорит давящего мрака, на всем какое-то клеймо, невольно говорящее всякой грядущей сюда душе человеческой, что это — дом уныния, «дом позора». На общем дворе да по мужским отделениям видно еще хоть какое-нибудь движение, слышится хотя какая-нибудь жизнь, хоть какие-нибудь звуки-то жизни доносятся оттуда до уха постороннего наблюдателя; на женском дворике — пустота, и в женских камерах — тишина да пришибленность какая-то, как будто вошел сюда когда-то робкий, болезненно-скорбный испуг да так и остался навеки.

А между тем условия тюремного существования на женском отделении не в пример лучше и комфортабельнее, чем на мужских; но... то, что порою легко и спокойно может выносить мужчина, является трудно и тяжело переносимым для женской души. Если, говоря примерно, из десяти мужчин один способен почувствовать *нравственно позорный*

гнет тюрьмы (другие по большей части чувствуют только *неволю),* то из десяти женщин разве одна только не почувствует его. Верно, уж таковы коренные свойства женской натуры, что тут является совсем обратная пропорция. Входит, например, в любое из мужских отделений стряпчий, прокурор или какое ни на есть «начальство» — арестанты не выказывают никаких признаков смущенной робости: они так же спокойны, как и до этого прихода, разве только с мест иные вскочат ради «почтительности»; на женском же — во взоре каждой почти заключенницы вы сразу и легко прочтете какой-то недоумелый испуг, болезненное смущение, и во всяком движении ее, в эту минуту, здесь невольно скажется вам страдальчески-пришибленная, приниженная робость. Начнут ли расспрашивать про дело, по которому содержится арестантка, — она невольно потупится и как будто застыдится, как будто ей совестно становится раскрывать перед человеком свой грех, свою душу. И поневоле вам покажется, что в тюрьме более, чем где-либо, женщина чувствует и сознает свое печально-пассивное, беззащитное, бес-

помощное социальное положение. Тут она как будто живее понимает свое бедное и общее женское бессилие.

Мы сказали, что условия женской тюремной жизни (по крайней мере в нашей тюрьме) лучше и комфортабельнее, чем мужской. Это оттого, что о женщине-заключеннице заботится женщина же. Женская душа скорее и больнее, ближе к сердцу почувствует горе и нужду ближнего, особенно же нужду женщины-матери, жены, дочери; а, быть может, ничто благотворнее не подействовало бы на арестанта, как мягко-теплое человеческое отношение к его личности и судьбе — отношение, в которое именно женщина способна становиться в тысячу раз более, чем любой филантроп-мужчина. Арестант любит и чтит это отношение: только фарисейски-черствой и как бы казенной филантропии да официально-начальственной сухости не переваривает он. И вот где именно хорошее, доброе поле для женского дела, для человечески-женской благотворительности! И это будет настоящая благотворительность, а не одна модная светская филантропия, которая — увы! — по пре-

имуществу господствует в этом деле. Слава Богу еще то, что между светскими нашими филантропами есть несколько счастливых человеческих исключений, которым, собственно, и обязана женская тюрьма тем, что она является на деле. Пусть не исключительно один мужчина, а и женщина, даже пускай по преимуществу женщина войдет в наши тюрьмы, да только не рисуясь ролью ангела-утешителя, а с искренним желанием добра и пользы, пусть она протянет человеческую руку помощи и примирения отверженцу общества, пусть она чутким и мягким сердцем своим почувствует его боль и нужду, его великую скорбь арестантскую! Это будет хорошее, честное дело, достойное *женщины-человека.* А у нас-то на широкой России оно даже более, чем где-либо, необходимо и насущно, потому — какого только народа, и винно и безвинно, не перебывает ежегодно по нашим отвратительным тюрьмам! Недаром же у нас и пословица в народе сложилась: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся» — пословица, горький и страшный смысл имеющая: она — безнадежный плод бедности, горькой нужды с

нищетою, но еще более того — отчаянный плод бесправия и произвола.

XLII
БЕРОЕВА В ТЮРЬМЕ

Солдат тюремной команды вывел из конторы вновь прибывшую арестантку и повел ее коридором «на дачу». Внизу позвонил он у низкой двери, довольно дубоватой конструкции, которую отомкнула пожилая и, по-видимому, мускулисто-сильная придверница.

— Получите дачницу, — шутливо обронил он ей слово.

Та кликнула одну из надзирательниц.

На ее зов в ту же минуту спустилась с темноватой лестницы маленькая старушка с добрым, благодушным лицом, одетая весьма скромно в темное шерстяное платье.

— Получите-с, — повторил, обращаясь к ней, провожатый, только уж без шутливого тона, — приказано сдать в татебное.

Старушка добродушно поклонилась приведенной арестантке и посмотрела в ее убитое, печальное лицо.

— Пойдем, милая, — сказала она, подымаясь на лестницу. — Как зовут тебя?

— Бероева...

— Тебя из части прислали, верно?.. У нас будет получше, полегче, чем в части-то, здесь еще ничего, можно сидеть... Ну и товарки все-таки будут, и повольней немножко. Ты не печалься: что делать, с кем беды не случается!

Надзирательница привела ее в маленькую комнату и достала тюремное платье. Бероева переоделась и пошла вместе с нею в назначенную камеру.

Это была длинная комната, окна которой выходили на галерею. В конце ее чернелись рядом две двери, с надписью на каждой: «Карцер». Мебель этой комнаты была весьма незатейлива: два-три длинных стола да простые скамейки, на которых сидело несколько арестанток, занимаясь шитьем грубого холста. С левой стороны шли четыре двери со стеклами, которые вели в четыре отдельные комнаты. Три из них тускло и скудно освещались решетчатыми окнами, по одному в каждой, четвертая была темна совершенно. В этих комнатах помещались железные кровати

арестанток, очень аккуратно застланные чистым бельем и покрытые буро-верблюжьими одеялами. Во всем с первого взгляда кидались в глаза такая же чистота и порядок, только воздух в низкой комнате был как-то больнично тяжел и тепел от нещадно натопленной печи. Впрочем, «пар костей не ломит, а холод руки знобит да работать не велит», — говорят на этот счет арестантки.

Старушка поместила Бероеву в первую от входа «татебную» комнату, где уже сидели три-четыре арестантки, одетые точно так же, как и она. Оглядясь и попривыкнув несколько к своему новому положению, новая жилица заметила, что ее «камера» резко отличается своим костюмом от всех остальных арестанток. Те были одеты в полосатые тиковые платья с белыми косынками на шее, наряд же Бероевой и ее камерных товарок отличался каким-то траурным характером: такая же белая косынка и черное платье.

— Отчего это? — спросила она свою соседку. Та горько усмехнулась.

— Оттого, милая, что мы татебные — по тяжким, значит.

— Это, милая, затем, чтобы позору больше было, чтоб и здесь ты не забыла его, да чтобы всяк видел, какая-такая ты преступница есть! — подхватила другая со столь же горькой и едкой улыбкою.

— Этот хороший наряд татебным капотом прозывается, — заметила третья, тряхнув свою черную полу.

При этих словах четвертая — молодая, хорошенькая девушка — приникла лицом в подушку и вдруг тихо, но горько заплакала.

— Эх, Акуля!.. Опять ты... Полно, девушка, полно, милая!.. Слезами не поможешь — себя только надорвешь! — соболезнуя, отнеслась к ней первая арестантка.

Бероева с участием и любопытством смотрела на горючие слезы молодой, хорошенькой девушки.

— Вот бедняга-то! — обратилась к ней другая товарка, участливо кивнув на девушку. — Четвертый месяц сидит, а все еще к татебному капоту своему не может привыкнуть: как заговоришь только про этот наряд прекрасный, она и в слезы, индо вся душа выноет, глядючи...

— К позору, мать моя, не сладко привыкать! — со вздохом заметила первая.

Молодая девушка поспешно и как-то нервически вытерла свои ресницы и, вся зардевшись, быстро вышла из комнаты. В ту ж минуту, поместясь у стола, поближе к свету, она энергично принялась за арестантское шитье, как будто этой работой хотела заглушить взволновавшую ее скорбь и свое горькое горе.

— За что она сидит? — спросила Бероева, которую сразу и как-то любовно расположили к этим «тяжким» преступницам их общительность к ней самой и это человеческое отношение к горю молодой девушки.

— Эх, милая! — горько махнула рукой одна из татебных, — и рассказывать-то, так индо сердце сожмется!.. Ведь она что? Ведь она малолеток почти: шестнадцать годков едва минуло. Она из Сестрорецка, вишь ты, и родителев имеет, только, слышно, в большой уж очинно строгости родители-то соблюдали ее — ну, а известно сердце девичье — волюшки хочется. Стал тут к ним писарек один антилеристский похаживать, ну и... в тайную любовь вовлек молодую девушку, жениться,

конешное дело, обещался, и все такое. Она от родителев скрыла; говорит теперича, что и сама не ведала, в антересном ли она али не в антересном. Пошла однажды это в погреб за молоком, что ли, — на четвертом месяце дело-то было, — пошла да оступилась, да и бухнулась с лестницы. Как бухнулась — боль сразу же почувствовала, ну и... выкинула мертвого младенца. Родителев дома-то не случилось на ту пору, а она, дурочка, со страху да с боязни гневу отцовского, возьми младенца-то да и зарой в углу, во дворе под колотыми щепками. Соседка ихняя мимоходом видела все это, ну и по злобе али так уж просто, только возьми да и объяви начальству. Вот Акуля-то и сидит теперь, а судят-то, вишь, ее — за детоубийство. Сказывала она, будто и дохтур дал отписку от себя, что ребенок-то мертворожденный был, однако же слышно так, будто Акулю-то теперь в Сибирь решают. Вот оно что, милая!.. А и девушка-то какая хорошая! Смирная, богобоязливая, грамотейница такая — и все вот плачет да убивается. На минутку словно полегчает ей, повеселеет чуточку, а там — как вспомнит про свое горе —

опять за слезы по-старому!

— А то у нас другая тоже есть благородная, так той уже была и вычитка — решили, значит, — словоохотливо сообщила другая арестантка.

Все они как будто хотели сразу же выказать Бероевой доброе, товарищеское общение, не косились, не дичились ее, а, напротив того, сами делали первый шаг к сближению. Да и как тут не желать сблизиться, несмотря на всю разнородность характеров, былого положения в жизни и, наконец, самых проступков или преступлений, если всех этих женщин общая их недоля да неволя свела под одну кровлю и заставила жить в одной и той же комнате, делить одно и то же тюремное существование и одни и те же тюремные интересы! Вообще в среде женщин-арестанток, несмотря на дикость и порочность некоторых, выказывается неизмеримо более, чем у арестантов-мужчин, человеческого участия, теплоты и общительности в отношении «новых жильцов». Здесь нет ни тех цинически-бесчеловечных игр, ни того презрительного отношения, которое у мужчин встречает

каждого «новичка», если только этот новичок с первого же разу не выкажет себя чем-нибудь вроде Акима Рамзи. Эта общительность и человечность происходит, во-первых, от мягкости, вообще присущей женской натуре, а во-вторых — оттого, что женщин-арестанток несравненно менее заедает тюремная скука и бездействие, так как все они занимаются большей частью шитьем да вязанием, то есть работой по преимуществу женской, наиболее привычной для них, за которую вдобавок арестантка получает и плату.

— За что же эта благородная содержится? — спросила Бероева.

— А уж так судьи рассудили, милая. Она, вишь ты, замужняя женщина, — продолжала арестантка, — и хорошая жена мужу своему, и дети есть, даже теперь ее там наверху в лазарете вместе с ребятницами[373] содержат, потому что младенец при ней: тут в тюрьме и разрешилась. Жили они, слышно, мирно да честно, только грех такой с ней случается, что и сама не ведает, откуда и как он приходит. Как только затяжелеет она, так ее и тянет что ни на есть украсть, словно сила нечистая тол-

кает неодолимо. Оно, конечно, с нашей сестрой в этакую пору всякая блажь случается: иная на одну какую-нибудь пищу накинется, иная — ни с того ни с сего, гляди, либо мел, либо известку, а не то уголья ест; ну потом сама, чай, знаешь, обыкновенно и проходит это; а у нее, милая ты моя, тоже, надо полагать, — блажь на воровство. Ну и украла, а ее поймали да в наш монастырь засадили. Тут она и родила. Отсидела свой срок, и выпустили. Опять затяжелела и опять украла. Ну — засадили да стали судить, а тем часом она у нас разрешилась. И таперича за вторичную кражу ее, по строгости да и по закону, присудили в Сибирь. Уж что тут слез да горя-то было, батюшки мои!.. И вспомнить больно... Муж у нее служил; так вот, слышно теперь, службу свою бросил и с нею вместе, заодно уж, тоже в Сибирь идти пожелал, и детей с собою забирают, чтобы всем семейством не разлучиться, значит. Так вот оно, милая, каковы дела у нас бывают[374].

Бероеву проняло чувство, близко подходящее к ужасу от страшного смысла этих рассказов: если подобные факты решаются та-

ким образом, то какого же решения должна она ожидать себе — в деле, где известные уже обстоятельства делали ее положительно виновной!

Она не скоро оправилась от тяжелого впечатления, в которое глубоко погрузили ее эти невеселые думы.

Под вечер вошла к ней в комнату старушка надзирательница и села у нее на кровати: ей хотелось поближе познакомиться с новою арестанткой. Вынув из кармана шерстяной чулок, она принялась за вязание и понемногу затеяла разговор. Арестантки любили Мавру Кузьминишну, потому — хорошего да честного и богобоязненного человека в ней видели. «Николи-то она тебя ничем не изобидит, николи и крику да брани не подымет, а все по тихости, по простоте да по-любовному, и про горе твое, про печаль порасспросит, и пожалеет, сердобольная, да еще при случае и начальству доброе слово за тебя замолвит». И замечательно, что на женском отделении нашей тюрьмы существуют более близкие и добрые отношения между арестантками и их ближайшим, непосредственным женским

«начальством», чем на мужской половине относительно приставников.

Бероева тоже с первого взгляда как-то почувствовала хорошего человека в этой старушке и душевно расположилась к ней. Незаметно разговор свелся на ее дело, в котором арестантке нечего было таиться, и она подметила две-три слезинки, тихо смигнутые старушкой во время ее грустного рассказа.

— Вот что я скажу тебе, моя милая! — утешила ее Мавра Кузьминишна. — Дело твое, даст Бог, и иначе еще может окончиться. К нам вот иногда благодетельницы наши приезжают — расскажи ты это все которой-нибудь, может, и к сердцу примут, хлопотать начнут: случаи такие бывали у нас, да жаль вот, одной-то нет теперь — уехала, а то бы она приняла это близко... Ну да и другие авось не оставят... Сделай же это. За свою судьбу неповинную не стыдно просить, право, сделай!

Бероева, умягченная этим мягким участием, которое встретила она и в старушке и в тюремных товарках, в первый раз со времени своего заключения заснула более тихим и спокойным сном. Теперь уже кончилось для

нее могильное, глухое одиночество, теперь она хоть и в тюрьме, но с *людьми:* благо, всю гуманную, воскрешающую силу которого вполне глубоко может почувствовать только человек, перенесший долгое одиночное заключение.

На следующий день она незаметно стала осваиваться с незатейливым тюремным бытом и вглядываться в других, нетатебных заключенниц. Тут были всякие женщины, всякие характеры и всякие возрасты, от двенадцатилетней девочки, не помнящей родных и взятой за бродяжничество, и до странной старухи немки, которая содержится в тюрьме уже несколько месяцев. На первый же день, как только привели ее, она избрала себе помещение в темной комнате и с тех пор безвыходно сидит там на своей кровати да головой тихо покачивает, но ни с кем ни одного слова не сказала, так что никто из арестанток не знает, как и за какое дело она содержится. Приедет ли стряпчий или товарищ прокурора справиться о делах арестанток да узнать, нет ли у них каких-либо просьб по судам, — ста-

руха нехотя отвечает, что просьбы никакой у нее нет и что в настоящем своем положении она счастлива совершенно: «Ich bin hier ganz glücklich, ganz glücklich, mein Herr!»[375] — бормочет она, а больше ничего от нее не добьешься.

Тут были и молодые женщины, которые, вполне помирившись с тюремным бытом, постарались устроить в нем для себя даже некоторые приятности и завели совершенно невинные, вполне платонические романы с так называемыми «любезниками» мужской половины. Убогому и далеко не красивому наряду они умудряются придать какое ни на есть убогое, тюремное кокетство: иная волосы как-нибудь помудренее причешет, иная покрасивее белый платочек на голову прикинет, и ходят между арестантками, вполне довольные своим незатейливым убранством. Одна из них с затейливо-лукавой улыбкой подошла к Бероевой и таинственно спросила:

— Вы грамотная?

— Грамотная...

— И писать тоже умеете?

— Умею... А что?

— У меня, душечка, просьба, большая просьба к вам: прочтите, пожалуйста, мне записочку одну, только так, чтобы надзирательницы не видели и из товарок мало бы кто приметил: это у меня от душеньки моего — тоже в арестантах тут содержится... А сама-то я не разберу... Прочтите, пожалуйста!

— Извольте.

И они вошли вместе в татебную комнату, где Бероева у окна тихо прочла ей:

«Я тебя тоже очень люблю, только пришли мне денег тридцать копеек, а можешь больше, то и больше пришли».

— Вот и все, — сказала она, отдавая клочок бумажки.

— Все?.. Ах он, злодей, мой злодей. Так мало, — покачала головой «нарядница». — Надо послать ему, нечего делать...

— А вы часто посылаете ему? — спросила Бероева.

— Часто... Вот что заработаю здесь на шитье, то все почти и посылаю, да еще Галилееву даю за доставку — солдат это у нас есть такой, что записки наши переправляет. А он, злодей, хоть бы написал-то побольше... Хоть

бы слов-то любовных каких-нибудь!.. Как подумаешь, так и не стоило бы нашей сестре любить-то их, мужчин этих противных.

— А вы давно его любите?

— Нет, не очень-то давно. Здесь же в тюрьме полюбила.

— Да как же это? — изумилась Бероева. — Разве тут видятся с арестантами?

— Нет, как можно видеться!.. А мы за обедней переглядываемся. Они с одной стороны на хорах стоят, а мы напротив — ну, вот этак и видим друг дружку. А потом либо они, либо мы их как ни на есть узнаем и напишем сейчас записочку, а больше и ничего. Они нам свои новости иной раз описывают, а мы им свои, ну и опять же вот разные любовные слова — и только, да деньги, когда бывают, посылаем тоже, однако это уж больше мы им, а не они нам. Потом, случается, как выйдут из тюрьмы, так отыщут друг дружку и живут вместе, а иной женится; только это редко, а больше бывает так, что пишем записки да переглядываемся издали, а как выпустят на волю, то никогда и не встретишься больше, так что это промеж нас одна только тюремная

любовь.

Арестантка потупилась на минутку и затем снова приступила к Бероевой с прежней застенчиво-лукавой улыбкой:

— Душечка моя, что я вас попрошу еще... сделайте вы мне божеское одолжение такое — уж я вам заслужу, чем ни на есть, а уж беспременно заслужу!

— Что же вам надо? — спросила Бероева.

— Ответик написать... Сама-то дура неученая, так вот и не могу, а хочется, очень хочется написать ему что-нибудь...

— Да разве у вас тут никто не умеет? — попыталась немного уклониться Юлия Николаевна.

— Как вам сказать!.. Уметь-то, пожалуй, и... умеют, да только одна каракули пишет так, что и не разберешь ничего, а другая — все на смех. Ты ее попросишь почувствительнее что-нибудь, а она возьмет нарочно да такого нагородит, что только срам один; засмеют товарки, опять же и душенька выбранит в ответе: что ты, мол, за глупости мне написала! Скажешь ей это, а она потешается: только обида одна выходит. А то тоже третья есть у

нас — французинка, то есть она не то чтобы совсем французинка — она русская, а только у актерки французской в горничных жила и брильянты у нее украла... Теперь как из начальства ежели кто приезжает, так она все норовит беспременно по-французскому заговорить с начальством-то, ну и кочевряжится этим перед нашею сестрою. Так вот эта французинка очень хорошо умеет письма писать, и даже со стишками с разными, так что очень даже чувствительно и хорошо, да одна беда: не пишет даром, а все ты ей заплати, а из чего заплатишь, если вот ему, злодею, тридцать копеек надо послать!.. Наши заработки не бог весть какие... Так уж я к вам! — заключила она со вздохом, — будьте вы такая добрая, не откажите мне!..

Юлия Николаевна, нечего делать, согласилась.

— Что же вам написать-то? — спросила она.

— Что-нибудь такое... поласковее... Со стишками нельзя ли? Вы не знаете ли каких-нибудь стишков таких, чтобы пожалостнее были?

— Нет, голубушка, таких не знаю...

— Не знаете?.. Ах, какая жалость, право! Француженка у нас, так та очень много знает... Ну да все равно!.. Вот вам, душечка, бумажка и карандаш — уж не взыщите, какие есть!

И она вынула ей из-за пазухи оборвыш бумаги вместе с обгрызанным кусочком карандаша.

— Вы постойте-ка! — шепнула она, как-то сметливо подмигнув ей. — Я вот попрошу товарку одну покараулить, чтобы кто не вошел часом, а сама стану говорить вам — вы этак со слов-то моих и пишите!

«Нарядница» мигом привела в исполнение свой план и стала около Бероевой в углу, у небольшого стола, на котором обыкновенно обедают татебные[376].

— Вы пишите ему так, — начала диктовать арестантка. — «Милому другу моему Гречке! — мой усердный поклон, и посылаю тебе я, Катюша Балыкова (это меня Катюшей Балыковой зовут), посылаю я тебе, тирану моему, тридцать пять копеек серебра деньгами, а больше не могу, потому — нет у меня. Люблю

я тебя, душа моя, крепко, а ты, злодей, не любишь меня». — На этих словах арестантка задумалась.

— Эх, хорошо бы что-нибудь пожесточе написать ему! — воскликнула она. — Что я, мол, страдаю и мученья принимаю, что-нибудь этакое... Ну, и пишу тебе эту тайную записку от сердца моего, и все такое. Любовных бы словечек каких-нибудь подобрать? Не можете ли вы? Подберите-ка! — обратилась она к Бероевой.

— Да каких же это? Я не знаю, не умею я, — отозвалась Юлия Николаевна.

— Ах, какая обида!.. Ну да нечего делать, и так будет хорошо! Ведь хорошо будет? А?

— Прекрасно.

Бероева прочла ей написанное, и Катюша Балыкова осталась очень довольна, сожалея, впрочем, о любовных словах, которые она сердцем чувствует, и очень бы хотелось ей написать их, да одна беда: подобрать сама никак не умеет, чтобы этак складно выходило.

— Потому, это точно что трудно, — рассудила она в заключение, — иное дело, если любишь которого человека, так тут можно еще

словцо такое задушевное найти: душа сама напишет, а для другой писать, как вы вот для меня, когда, значит, сама не чувствуешь, это точно что даже очень трудно.

Засим благодарностям и радостям не было конца, и Юлия Николаевна через свою маленькую услугу приобрела себе добрую и любящую товарку в лице Кати Балыковой.

— Вот мое горе какое! Вы знаете ли за что я сижу-то здесь, — сказала она однажды Бероевой. — Ведь я от мужа своего убежала, за что и сужуся теперь!

— Как же это так случилось? — спросила та, видя, что Балыковой хочется высказать свое горе.

— А так вот. Вы не думайте, что я воровка или распутница какая, — начала она, — я совсем по другому содержуся... Мой тятенька, видите ли, ундер департаментский и выдал меня тоже за ундера, вместе с тятенькой служат. Только муженек-то мой любезный и захоти, чтобы я иксикутору нашему полюбовницей была, в этой надежде, собственно, и женился на мне. «Нам, говорит, с тобой тогда не в пример лучше жить будет, потому — к

дровяной части, говорит, приставят, а тут доходы и все такое, и мне, говорит, иксикутор на этот счет словцо такое замолвил». А я этого никак не пожелала, потому хоть не особенно люб был мне муженек-то мой, однако же лучше хотела я по-божескому, в законе себя соблюдать. Стал он меня бить за отказ мой, да целые дни, бывало, поедом ест и все пристает-то, все пристает, так что даже противен стал за это самое. «Какой ты, говорю, муж есть, коли законную свою жену на этакое непутное дело толкаешь!» Ну, сказать-то ему на эти слова мои, конечно, нечего, кроме как кулачищем... Что ни день, то пуще бьет да ругает... И сам иксикутор стал уж тут прямо ко мне приставать; чуть только встретится со мной во дворе или в колидоре, сейчас с любезностями: «Полюби, говорит, а не то хуже будет, покаешься — да уж тогда сам не захочу». Я было тятеньке пожаловалась, тятенька стал мужа корить, а тот говорит: «Не твое отцовское дело промеж мужа с женою становиться, ты, говорит, наших делов не знаешь, да и знать не должен». Надоело мне все это, так надоело, что хоть с мосту да в воду! Я и

убежала — из городу совсем убежала, куда глаза глядят. В Петергофском уезде меня поймали, да в стан. «Кто такая?» — спрашивают, а я себе и думаю: назваться мне своим именем — к мужу отправят, лучше, думаю себе, назовусь по-другому, и объявилась, что звать меня Лукерьей Сидоровой. А икзикутор с мужем тем часом объявку подали о моей пропаже. Начальство подвело так, что очную ставку дали: не окажется ли, мол, такая-то бродяга Лукерья Сидорова Катериной Балыковой? Ну и оказалась. Я говорю свою причину, а муженек с икзикутором доказывают на меня, что и воровка-то я, и распутница-то, и все такое... Бог им судья за это!.. Вот и гощу теперь «у дяди на даче». Да лучше пускай куда ни на есть решат меня — хоть на каторгу, — только бы не к мужу!.. К мужу опять ни за что не пойду я, лучше сгнию весь век свой в тюрьме проклятой, потому противен он мне — хуже смерти самой!.. Да, вот таким-то манером загубил меня мой тятенька родной, а жила-то я у тятеньки такой хорошей да веселой девушкой... А впрочем, я и тут вот веселая, ей-богу, веселая! — добавила она с улыбкой сквозь

слезы и засмеялась. — Вот Гречку со скуки полюбила... Он хоть тоже не молодой, далеко не молодой, а полюбила почему-то... И Бог его ведает, какой такой он человек, может, еще почище муженька моего будет — не знаю ведь я его совсем, а вот так это, люблю себе сдуру — ей-богу! — закончила она, утирая слезу, и весело засмеялась, махнув беззаботно рукою.

Таким образом, поневоле и мало-помалу входя в изгибы и глубь этой жизни, Бероева становилась к ней лицом к лицу, и эта замкнутая сама в себе жизнь незаметно открывала ей многие свои тайны. Тут узнала она характер наших женских преступлений — по большей части горький плод невежества относительно законов, через что эти несчастные, зачастую не ведая, что творят, играют часто пассивную роль в каком-либо преступлении гражданском; плод нужды с нищетою, породивших порок и разврат, и, наконец, плод невыносимого гнета — разного гнета, которого не искать стать у русской женщины: есть его вдоволь! Тут и былой барский гнет, и семейный, и мужний, и общественный... Не

пересчитать всех этих горьких и ядовитых плодов, или иначе пришлось бы, может, исписать целые томы. И это нисколько не преувеличено, это все так, все оно есть, все существует на деле — надо только приглядеться немножко да одуматься. Были тут и бродяги беглые, и воровки, и женщины «за веру правую свой крест несущие», и участницы в подделке фальшивых бумаг да денег; были такие, что на жизнь мужей посягали. И замечателен тот факт, что на мужей посягается чаще, чем на жизнь любовников. Были и детоубийцы — из страха общественного позора да власти родительской покрывшие дело тайной любви своей жестоким преступлением. Наконец, и просто убийцы были, но эти последние между женщинами весьма нечасто случаются, они уже очень редкие исключения в женской тюрьме, так как женщину вообще очень редко влечет к преступлению ее личная преступная и злобно направленная воля. Женщина — по преимуществу преступница пассивная, причем у нее зачастую служит мотивом любовь. Ее вовлекает в злое дело, в качестве сообщницы, либо ослепленное подчинение во-

ле любимого человека, либо оскорбленное, обманутое чувство, либо же, наконец, несчастно сложившиеся обстоятельства угнетающей жизни да разврат, который начался, быть может, ради насущного куска хлеба, потом убил в ней нравственную сторону и затянул под конец в омут, доведший ее до тюрьмы и ссылки. Вот каковы по преимуществу мотивы женских преступлений.

Тихо и глухо тянется жизнь на женском отделении. Утром раньше всех поднимутся с постели стряпухи да камерная «старостиха»; подвяжет она *присягу*[377] свою и вместе с помощницами приведет в должный порядок наружный вид подчиненных ей комнат. Затем — тот же «кипяток», что и на мужской половине, и начинаются работы. Одни садятся за шитье арестантского белья да военных палаток либо на разные казенные заведения такие же заказы швейные исполняют; другие опускаются в подвальный этаж, где помещается мрачно-сводчатая, темноватая прачечная, по которой прелый и горячий пар вечно ходит густым и тяжелым облаком. И таким

образом дотягивается до вожделенного вечера тюремный день арестантки.

А вечером соберутся в кружки да по кучкам на кроватях рассядутся. Тут идет беседа, там «сказочку про козочку» рассказывают, здесь Четьи-Минеи читают[378], а там вон тихо песню затянула какая-то. Песни здесь те же самые, тюремные, что на мужской половине, впрочем, «песельницы» предпочитают больше «романцы разные».

Происшествий такого рода, которые взволновали бы чем-нибудь камерную жизнь, здесь почти не случается. Редко даже нарушается когда обычно глухая тишина и порядок. Раз только та арестантка, что любит письма на смех писать, устроила тюремную штуку. Подозвала она к себе одну из «новеньких», молодую и какую-то придурковатую девушку.

— Хочешь, я тебе сказку скажу? Чудесная сказка!

— Скажите, тетушка!.. Я очинно даже люблю!..

— Ну ладно! Я буду говорить, а ты за мной все *ну* повторяй, непременно же повторяй, говорю, а то и сказка не выйдет — так и не до-

скажется. Так непременно же *ну*, слышишь?

— Непременно, тетенька, непременно!

— Ну так слушай. Жили себе дед да баба...

Арестантка замолкла на минутку, в ожидании *ну* со стороны слушательницы.

— Что ж ты *ну*-то не говоришь? балбень ты этакой!.. Говори: *ну!*

— Ну, тетенька! Ну! Ну!

— Была у них внучка, а у внучки — сучка, — продолжала пересмешница.

— Ну?! — подхватила девушка.

— Вот теперь хорошо, в аккурат! Так и повторяй!.. И посеял дед горошек.

— Ну?!

— Растет горошек до скамейки...

— Ну?!

— Сломал дед скамейку — растет горошек до окна.

— Ну?!

— Высадил дед окошко — горошек до потолка.

— Ну?!

— Проломил дед потолок — растет горошек до крыши.

— Ну?!

— Разломал дед крышу — горошек до самого неба. Как тут быть с горошком?

— Ну?!

— Поставил дед лестницу-поднебесницу...

— Ну?!

— Полез по ней дед — добывать горошку.

— Ну?!

— За дедом баба на ту ж дорожку.

— Ну?!

— За бабой внучка — за внучкой сучка.

— Ну?!

— Вот только дед лезет-лезет — не долезет, баба лезет — не долезет. Досада обоих взяла.

— Ну?!

— От великой от досады дед плюнул бабе.

— Ну?!

— Баба внучке...

— Ну?!

— Внучка сучке...

— Ну?!

— А сучка тому, кто говорит *ну*.

Девушка обиделась, и в ответ сама плюнула на рассказчицу, затем уже обе «в цепки» принялися, и поднялася женская драка, самая упорная из всех возможных драк, доходящая

до мелочного, шпилько-булавочного, но тем не менее ужасного ожесточения. Розняли, как прибежала надзирательница, и обеих засадили в «темные», откуда долго слышались потом их горькие всхлипывания.

И вот изредка только подобными приключениями нарушается приниженная тишина в среде обитательниц «дядиной дачи», да еще филантропические наезды кое-когда бывают. Но об них читатель узнает в надлежащем месте.

И среди такой-то жизни Бероева нашла себе искреннего, теплого друга, к которому привязалась почти с первого шага своего в женской тюрьме. Этим другом была для нее благодушная, сердобольная старушка надзирательница Мавра Кузьминишна. С ней одной по душе делила арестантка неисходное горе, и она одна только своей тихой, голубиной мягкостью да беспредельной и покорною верой в божескую правду могла иногда хоть на время утешить, рассеять и утолить измученную мысль и душу заключенницы.

XLIII
ТЮРЕМНЫЕ СВИДАНИЯ

— Героева! Ступайте вниз: к вам посетители, — объявила надзирательница, входя в камеру.

Юлия Николаевна поспешно оставила урочное шитье толстой арестантской рубахи и, наскоро накинув платок, побежала в назначенное место. Это был час свиданий. В редкие минуты таких внезапных вызовов она оживала душою, потому что эти минуты приносили ей жгуче-горькие, но вместе с тем и глубоко отрадные ощущения — она видела своих детей, которых приводила к ней Груша, она ласкала, целовала их, она живее чувствовала себя матерью в эти мгновения, всецело и до мелочей отдаваясь на короткое время материнской заботе.

Но на нынешний раз, казалось, арестантка спешила более чем когда-либо. Она знала, что это приехала ее старая тетка, что она теперь привезла детей проститься, в последний раз, перед завтрашним отъездом их в Москву, где

они будут жить под ее крылом — бог весть до коих пор, пока не настанут лучшие времена для обоих заключенных. Тетка, вызванная сюда письмом Бероевой, отлучилась от своих домашних на короткий срок, не более как дней на пять, собрала в дорогу детей и уже торопилась восвояси, но все-таки прежде всего успела выпросить себе разрешение на это время ежедневно видеться с арестанткой. Видеться с Бероевым нечего было и думать; однако добрая старуха каждый раз брала грех на душу и лгала — ради утешения, — что она ездила к разным властям, и власти будто бы сказали ей, что дело его идет очень хорошо, что все окончится одними пустяками и притом, по возможности, постараются окончить скорее. Она точно что ездила; только ничего подобного ей не говорили.

— Да в чем же дело-то его? — с тоскливым недоумением спросила ее однажды арестантка.

Старушка несколько смутилась.

— Да Господь святой знает, в чем дело!.. Этого уж они ведь не скажут, а говорят только, что ничего...

Хотя всех этих вымышленных известий было очень недостаточно, чтобы успокоить Бероеву, и хотя каждый раз после таких сообщений она только с тоскливой досадой плечами пожимала, однако и эти скудные вести все же хоть сколько-нибудь придавали ей бодрости и надежды. Старуха видела это и потому лгала, основывая свои добродушные выдумки на письме самого Бероева, которое прочла ей Юлия Николаевна еще в первое посещение.

Тюремная контора между часом и двумя пополудни представляет зрелище весьма разнообразного свойства. Мрачная, большая комната кажется еще более неприветной от частых железных решеток, которыми для пущей безопасности снабжены ее окна. Одни окна выходят на Офицерскую улицу, и за ними ежеминутно мелькает автоматически расхаживающая фигура часового с ружьем на плече; другие смотрят во внутренний, надворный коридор, так что в этой половине комнаты от них идет еще менее свету, чем от уличных окон. Деревянная балюстрада делит

всю камеру на две половины. В первой — столы под черной клеенкой, канцелярские чернильницы с обрызганными, исписанными перьями и тюремные книги да отчеты, над которыми корпят служебные физиономии весьма неприветливого свойства и далеко не красивого образа. Вторая половина — окнами в надворный коридор — отведена для свидания заключенных с навещателями. Во входные двери то и дело шмыгают туда и обратно тюремные сторожа да вооруженные солдаты, которые конвоируют арестантов по вызову конторы ради всяческих канцелярских надобностей. В первой половине поминутно и отрывисто раздаются сипло-резкие голоса с начальственным тембром: «А?.. что?.. за каким нумером?.. Марш в камеру!» и т. п. Во второй половине тихо; тут разговаривают робким полушепотом: каждому хочется наговориться о своих кровных, домашних, семейных делах, которые, по большей части, жутко бывает человеку выставлять напоказ, во всеобщее сведение, потому что эти дела домашнего очага уже как-то невольно хочется ревниво хранить у сердца. Вся эта половина сплошь заня-

та самыми разнообразными группами. Вон бледная, истощенная трудом да тяжелой думой женщина в убогом платьишке пришла навестить заключенника-мужа: не хочется ей плакать при людях, делает она усилия, чтобы задержать свои слезы, а те то и дело навертываются на ресницы, и неловко ей от этого становится, и старается она пониже потупить свою голову, чтобы застенчиво смигнуть эти непрошеные слезы. Целую неделю работала она да по грошам урывала от насущного хлеба, чтобы снести несколько копеек мужу да купить ему сайку на гостинец. И мужу-то как будто не по себе. Посадил он на колени ребенка, смущенно гладит его по голове, а двое других ребятишек буками прижались к матери и с угрюмой тупостью озираются по сторонам. Взглянет он любовно на этих ребяток... и словно еще жутче станет ему... «Вот, мол, — дети, а поди-ка, смыслят, что отец в тюрьме, — невольно читаешь на его смущенном лице, — а подрастут, и того пуще домекнутся тогда... Э-эх, нехорошо!..» И начинает он както учащеннее гладить волосики своего ребенка. А подле этой группы — другая: к старику

немцу с простовато-благочестивым лицом пришли его взрослые дети и тоже с гостинцем: яблоков принесли, и старик, с ребячьим наслаждением, по маленьким ломтикам, кусает свой гостинец, словно хочется ему продлить это вкусное удовольствие: в тюрьме по преимуществу познается цена вольной, домашней пищи, какова бы она ни была. А далее рыжая купеческая бородка ведет с навещателем своим — судя по выражению физиономий — какие-то переговоры насчет «коммерческих делов» весьма шпильнического свойства: надо полагать, за злостное банкротство содержится. За ним, крепко прижавшись друг к дружке, уселась новая пара: молодой человек в арестантском пиджаке и молодая хорошенькая девушка; шепотом говорят они что-то между собою, но так энергично, так быстро и вместе так безотрадно — «верно, любят друг дружку», — со вздохом замечает про себя вдова-купчиха с-под Ивана Предтечи Ямского, которая приехала сюда подаяния внести в пищию заключенным Христа ради, на помин «души раба Власия». Тут же сидит и франт из породы аферистов, с нафабренными

усами и в розовом галстуке, который тщится улучить удобную минутку, чтобы передать секретно оплаченный уже в подворотне фунт табаку своему товарищу — такому же франту в черном «дворянском» пиджаке. Словом, куда ни обернись, везде разместились самые разнообразные группы: там тихо, одушевленно разговаривают, здесь — понуро-уныло молчат, пришибленные горем; в третьем углу скользит беззаботная улыбка и слышен сдержанный веселый смех; в четвертом — вдруг прорвалось накипевшее рыдание в прощальную минуту, и во всех почти углах и концах этого отделения идет еда и угощение: тут и пироги, и ветчина, и булка, и лакомство всякое. Для заключенных это самые светлые, самые душевные минуты в их однообразно-скучной тюремной жизни. Но не все заключенные пользуются правом свидания в конторской комнате. Это счастливое исключение принадлежит по преимуществу арестантам привилегированных классов: дворянам, купцам, почетным гражданам, вообще тем, «к кому ходят почище»; классы же непривилегированные под это исключение

по большей части подводит какая-нибудь тюремная протекция. Все же не имущие таковой пользуются иным местом свидания, которое способно навеять на любого посетителя самое мрачное впечатление: в подворотне замка, в правой от входа стене, есть довольно пространная ниша, отделенная от проезда толстой железной решеткой с таковою же дверцей. Сквозь эту дверцу посетитель подымается на несколько ступеней и входит в длинноватую и полутемную камеру, которая посередине перегорожена вдоль двумя мелкосетчатыми решетками, в расстоянии аршина одна от другой. В промежутке между ними расхаживает часовой, а две зарешеточные половины камеры наполняются: одна — посетителями, другая — арестантами. Сквозь эту двойную железную вуаль кое-как можно еще разглядеть знакомое лицо, но пожать ему руку, сказать тихое слово по душе да по сердцу или передать из кармана в карман какую-нибудь булку — нечего уже и думать: зоркое око и ухо «дежурного», который, помимо часового, долженствует присутствовать при свиданиях, решительно не допустит ни до чего подобно-

го.

На женском отделении это дело идет несколько сноснее. Там вместо двух решеток ограничиваются одной. С одной стороны стоит толпа родственников и знакомых, с другой — приникли лицом к окошку заключенницы. Идет смешанный гул и говор, на многих грустных и убитых глазах виднеются слезы...

— Прощайтеся!.. Время прощаться! — восклицает надзирательница и, растворив дверь решетки, отделяющей посетителей от заключенниц, становится в этой двери, протянув свою руку. Через ее руку идет торопливое прощание, поцелуи и благословения — торопливое потому, что сзади еще целая толпа дожидается своей очереди проститься и передать какой-нибудь пирог да сайку.

— Матери могут остаться — мужьям и братьям нельзя!.. Матери, оставайтесь! — снова покрывает прощальный гул толпы громкий голос надзирательницы, и несколько старух, крестясь из чувства благодарности, спешат отделиться в сторонку, чтобы потом, когда опустеют камеры, вдосталь и по душе нагово-

риться лицом к лицу, без ненавистной решетки, со своими заключенными дочерями.

* * *

— Ну, Юлинька, я тебе радостную весточку привезла, — начала старуха, расцеловавшись с Бероевой, когда та вошла в контору. — Вот поздоровайся с детками — и расскажу.

— Какая весточка? — стремительно бросилась к ней арестантка, предчувствуя, что тетка, верно, что-нибудь про мужа скажет ей.

Старушка отвернулась в сторону: она боялась, чтобы глаза как-нибудь не выдали ее невинной лжи, потому очень уж неловко было ей смотреть на Бероеву: хоть и ради доброго дела привирала, а все-таки неловко.

— Да ведь я Егора-то Егорыча видела, — промолвила она и, чтоб занять чем-нибудь глаза да руки, принялась поправлять на внучке шейную косынку.

— Видела!.. — воскликнула Бероева. — Ну что же он? Говорите мне! Говорите, Бога ради, все скорее!

— Видела, — повторила старуха, — говорила с ним... Ну ничего... надеется, что скоро выпустят...

— О, дай-то Господи!.. Что же он, исхудал? измучился? Болен он? Не скрывайте от меня. Умоляю вас, ничего не скрывайте! — порывисто наступала на нее Бероева, хотя вся беседа, по обычаю конторских свиданий, шла тише чем вполголоса.

— Ну, вот уж ты сейчас и болен! Ничего, здоров и бодрый такой, не убивается... Одно только крушит его: думает все, что ты-то тут убиваешься. Не велел он тебе этого... Люди вы еще молодые, да и ребята есть — так вот для них-то надо поберечь себя, вот он что сказать тебе велел-то!

Старушка говорила все это потому, что всеми силами и всей любовью души своей желала, чтобы Бероева легче, мужественнее переносила свою убийственную судьбу. Она знала, что добрая весть о муже сильно подкрепила и ободрила ее на будущее время, и потому в последний раз перед расставанием с детьми, на бог весть какой срок, решилась даже на более крупную ложь — сказала, что виделась с Бероевым.

«Доселе-то хоть с детками видалась, — размышляла старуха, — все же утешение было, а

теперь, как увезу-то их, так и последней радости лишится — еще пуще затоскует, совсем убьет себя... Лучше уж еще раз солгать, прости Господи, да лишь бы утешить покрепче, чтобы подольше-то хоть надежда какая-нибудь была у нее, а там, Бог даст, может, и счастливо все обойдется».

— Говорил он с вами что-нибудь о своем деле? — нетерпеливо спросила Бероева.

— О деле-то... н-нет, — слегка замялась старушка, — о деле там-то ведь нельзя рассказывать: тайна ведь это, а только и сказал, что все пустяки и скоро все кончится, что, главное, убиваться тебе отнюдь не следует. И начальство ведь про дело-то его то же самое говорило — так чего ж тебе крушиться? — в виде последнего убедительного аргумента заключила старуха. — А вот я тебе денег да белья привезла, — присовокупила она, передавая ей несколько ассигнаций вместе с полотняным узелком, — пускай у тебя ни в чем тут недостатка не будет.

XLIV
СТАРЫЙ РУБЛЬ

Пробило два часа — конец тюремным свиданиям. Надо было расстаться. Бероева крепко обняла и долго целовала обоих детей своих, словно бы уж ей не суждено было увидеться с ними. Несколько крупных горячих слез упало из ее глаз на их печальные личики. Дети тоже плакали; но как-то странно и больно становится глядеть на эти тихие слезы: жизнь хотя и бессознательно, но рано научила этих двух детей не по-детски как-то плакать.

— Глянь-ко, Дюжикова, — заметила, кивнув на них, одна арестантка другой, — глянько, дети-то, детки Божии, плачут-то как... словно и понимают, что сиротами, почитай, остаются.

— А то не понимают? Известно, чувствуют: не чужую отняли ведь, а мать родную...

— Мама... — тихо и грустно проговорила девочка, прильнув к плечу Бероевой. — Что я тебе скажу, мама... только ты не откажешь

мне? Ты сделаешь это?

— Что, моя милая?

— Нет, скажи прежде, ты не откажешь?.. Ну, милая, хорошая мама, не откажи ты мне! — умоляла девочка, охватившие ручонками ее шею.

Бероева пообещалась.

— Ты помнишь, мама, целковый тот старинный, что в рожденье подарила мне? — говорила девочка, вынимая из кармана заветную монету. — Я его с собой привезла... Возьми его, мама: ты себе булку купишь...

— Полно, дурочка! — с грустной, любящей улыбкой прервала ее Бероева.

— Нет, мама, нет! — стремительно перебила девочка. — Ты обещала мне!.. Если любишь меня, так возьми... Добрая, милая, голубушка ты моя, отчего же ты не хочешь?.. Ведь я видела — тут всем родным приносят — вон и той маме тоже дочка принесла, а ты не хочешь... Возьми: тебе ведь пригодится он.

И девочка решительно положила монету в руку матери.

— Спасибо, Лиза... — тихо промолвила Бероева, чутким сердцем угадавшая душевное

движение девочки, и с новыми, горькими слезами, как-то судорожно стала расточать обоим детям свои последние ласки и благословения. Тревожное чувство говорило в ней, что казенный предел тюремным свиданиям кончился, и уж надзирательница поглядывает в их сторону с намерением подойти и сказать, что пора, мол, потому — иначе беспорядок... начальство... и прочее — и она не могла оторвать от детей свои взоры, прекратить свои поцелуи, ей мучительно хотелось подольше и вдоволь, досыта наглядеться на них в последний раз, и в то же время болезненно чувствовалось, что это «вдоволь и досыта» слишком еще далеко от нее, что оно никогда не придет и даже невозможно для матери.

Потрясенная до глубины души, возвратилась она в камеру, зашила в лоскуток заветный подарок и бережно спрятала его на груди, повесив на одну тесьму со своим шейным крестиком. С этой минуты старинный рубль сделался для нее величайшей драгоценностью, самой заветной святыней, с которой соединялись бесконечная материнская любовь и живое воспоминание о последних прощаль-

ных мгновениях.

«Где бы я ни была, что бы со мной ни случилось, я не расстанусь с ним!» — решила она в эту минуту величайшей скорби, чувствуя, что среди наступившего для нее душевного сиротства и нравственного одиночества эта вещь является уже единственным звеном, связующим ее жизнь и душу с детьми и со днями прошлого, светлого и улетевшего счастья.

XLV
ОПЯТЬ НА МУЖСКОМ ТАТЕБНОМ

Немного прошло времени с тех пор, как мы покинули Ивана Вересова под честной эгидой Рамзи, на татебном отделении, но много прибавилось там постояльцев в этот промежуток. Жизнь — все та же, что и прежде, с тою только вечно повторяющейся разницей, что на место некоторых старых «жильцов», угодивших либо на волю, либо на Владимирку, в палестины забугорные, прибывают день ото дня «жильцы» новые, с тою же, по большей части, перспективой воли — «с

подозрением» да длинной Владимирки и Уральских бугров. Так что, в сущности, можно сказать, что на татебном отделении, равно как и на прочих, ничто не изменилось.

Дрожин после знаменитого рукопожатия Рамзи недель шесть провалялся в лазарете, пока ему залечили размозженную кисть. Начальству показал, что, по нечаянности, сам причинен в своем несчастии: дверью, мол, невзначай ущемил. Начальство недоверчиво головою покачало, однако удовлетворилось таким объяснением — по очень простой причине: другого, истинного, ему никогда не дождаться от арестанта, пока оно остается «начальством» и взирает на него исключительно как на субъект, за каждый малейший проступок подлежащий исправительным внушениям, кои суть весьма разнообразны и строги.

Смутно было на душе старого жигана, пока он раскидывал умом-разумом — как ему быть и как держать себя при вторичном появлении в среде камерных сотоварищей? Как пройдет первая минута встречи с ними и вернется ли к нему все то влияние, на какое он присвоил себе право до рокового появления

Рамзи? Все это были кровные, близкие сердцу вопросы, которые долго тревожили старого жигана в лазарете. Почти все время своего лечения он был необыкновенно мрачен, ни с кем слова не проронил и по большей части лежал, отвернувшись к стене от лазаретных товарищей.

— Что, дядя жиган, с тобой, слышно, здорово поздоровался новый благоприятель? — иронически подошел к нему однажды кто-то из больных.

Жиган, как тигр, мгновенно поднялся на кровати и так грозно сверкнул на подошедшего своими налившимися кровью глазами, что того чуть ли не на сажень отбросило от его постели, словно молнией обожгло, и сразу уж отбило вперед всякому охоту тревожить жигана какими бы то ни было вопросами, да и для остальных послужило достаточно внушительным примером.

Наконец Дрожин надумался, как ему быть по выходе.

Пришел однажды в лазарет один арестантик из дрожинской камеры — попросить какой-то примочки в аптеке и вместе с тем на-

вестить одного больного. Дрожин благодушно кликнул его к своей постели.

— Ну, как там у нас, благополучно? — спросил он.

— Ништо, живем, дядя жиган!

— А что креститель-то мой — здравствует? — осведомился он с осторожной и не то надменной, не то добродушной усмешкой.

— Это Рамзя-то? — домекнулся арестантик. — Ништо, соблюдает себя, как быть должно.

— Что же, как там он у вас, на каком положении?

— Большаком, дядя жиган, голова целой камере.

— Хм... И не обижает?

— Грех сказать — этого за ним не водится.

— Хм... Ну, это хорошо... Это хорошо, что не обижает, так и след! — раздумчиво повторял Дрожин. — А за товариство, за всю ватагу-то стоятель?

— Уважает... Хоша и строг, а лучшего ватамана и днем с фонарем не сыщешь. В старосты по этажу выбираем.

— Хм... Ну что ж, так-дак-так! — порешил

он, как бы сам с собою. — Коли выше всех головою взял, стало быть — сила. Снеси ему поклон мой, скажи: старый-де жиган челом тебе бьет.

И с этой минуты его уже не тревожили неотвязные, прежние вопросы.

Вернулся он в камеру осанистый, бодрый и как-то серьезно-веселый.

— Здорово живете, братцы!

— А!.. Дядя жиган!.. Выписался!.. Что граблюха-то[379], щемит?.. Здорово! — оприветствовала его целая камера; но в этих возгласах и в тоне, которыми они произносились, Дрожин — увы! — уже не расслышал былой почтительности, внушаемой уважением к его прошлому и страхом к его силе. Очевидно, сила новая и более крепкая взяла здесь нравственный верх.

На мгновение его личные мускулы передернуло что-то нехорошее, как будто досада на настоящее и сожаление о прежнем значении своем, но старый жиган в ту ж минуту преодолел свое чувство и с спокойно-серьезным видом подошел к Рамзе.

Молча поклонился он. Тот ответил выжи-

дательным, но в высшей степени спокойным поклоном.

— Вот тебе моя рука — та самая! — начал Дрожин. — Стар человек я, годы осилили мою силу, а и в былое время не стать бы с тобою меряться: больно уж дивная сила, брат, у тебя. Будь же и мне ты ватаман, а я тебе — слуга, — заключил он и снова поклонился.

— Не то, брат, ты говоришь, — ответил ему Рамзя. — Я, по своему разуму, так полагаю, что по единой токмо силе не надо быть старшему промеж людьми, а все мы есть братья и возлюбим друг друга по-братски. Вот моя вера. Хочешь ты мне быть не слугой, а другом и братом — изволь! А не хочешь — Господь с тобою!

Они поцеловались. На душе у Дрожина посветлело, словно бы груз какой с нее свалился. Он сознавал, что с честью вышел из затруднительного положения, что таким образом значение его, быть может, не вовсе еще потеряно, а с удалением Рамзи всецело опять к нему же возвратится, и старый жиган попрежнему станет дядей жиганом, большаком и силой на всю камеру и на весь этаж. «Мы

еще авось вернем свое! Бог не выдаст — свинья не съест!» — подумал он и, весело, соколиным взглядом окинув всех товарищей, остановился на Вересове.

— Ты, брат, не сердись на меня, старика! — подошел он к нему. — Ты еще млад-человек, а я тебе чуть не в дедушки гожуся, стало быть, тебе и не след на мне зло мое помнить, да и зла мы тебе не желали, а только так, в шутки играли с тобой, ну а точно, что шутка шутке рознь бывает. Это уж такое у нас заведение.

И он слегка поклонился Вересову, но не поцеловался и руки не протянул, потому — памятовал, что он старик, а тот — молокосос еще, и перед молокососом, значит, достоинство свое непременно надо соблюсти, чтобы он это чувствовал, да и другие тоже.

— Да тут, кажись, без меня новых жильцов поприбавилось? — продолжал Дрожин, оглядывая товарищей. — Тебя, милый человек, как обзывать, к примеру? ась?

— Как случится да как понадобится. Где Петром, где Иваном, а где и капитаном. А крещен-то я Осипом, по прозванию Гречкой, да содержусь-то не в этой камере, а сюды, соб-

ственно, визитацию, вишь ты, сделал — в гости к приятелям.

— Бойкая птица, — одобрительно заметил Дрожин: он мало-помалу, исподволь намеревался войти в свою прежнюю роль. — А ты кто, милый человек? Рожа-то твоя как будто малость знакома мне: может, когда на мимоезжем трахте встренулись, как оба с дубовой иголкой портняжили? Ты не из савотейников ли?

— Что было, то проехало и быльем поросло: бабушка моя про то сказывать вовеки заказала, — отрезал вопрошаемый, — и мне, вишь, тоже рожа твоя знакомой сдается, да ничего себе — помалчиваю, а в мире сем Фомушкой блаженным прозывают.

— Те-те-те!.. Старый знакомый! Наслышан, брат, я о тебе много был, про странствия да про похождения твои! А что Нерчинский, не забыл еще? Вместе ведь раз лататы задавали оттелева!

И он, весело хлопнув по плечу блаженного, веско потряс его громадную лапищу.

— А тут еще что за зверь сидит? — мотнул он головой на товарища Фомушки.

— Се убо горбач! — весело промолвил блаженный, ткнув указательным перстом в темя Касьянчика-старчика.

Оказался налицо и еще один старый знакомый — новый, временной жилец «дядина дома» — беглый солдат Абрам Закорюк, который содержался тут пока, до близкого отправления своего в арестантские роты Финляндии.

Дрожин остался очень доволен как двумя этими встречами, так и вообще своими новыми знакомыми. Требовалось только вконец уж показать себя и свое достоинство.

— Эй, Мишка Разломай! — отнесся он к этажному ростовщику, маркитанту и майданщику. — Отпусти ты мне в долг мать нашу косуху! Шесть недель в рот ни капельки не брал, индо нутро все пересохло. За первой идет вторая, за второй третья, а там — как Бог на душу положит, потому беспременно надо мне теперича новоселье на старую койку справить.

XLVI
ЗАВЕТНЫЕ ДУМЫ

Веселая компания гуляла. На тюремной гауптвахте с час уже пробили вечернюю зорю, по камерам кончилась поверка — стало быть, беспокоить до утра некому. В майданном углу затевалась обычная трынка да три листика, а пока Абрам Закорюк потешал бойкими россказнями.

— Чудный был, братцы, у нас в полку солдатик, — повествовал он, руки в боки, молодцеватым фертом стоя середь камеры. — Наезжает раз ишпехтырь-инерал, икзамет, значит, производить. Вызывает он этого самого солдатика к черной доске. «Ну, говорит, как бы ты, любезный, поступил, коли бы на войне неприятеля встренул?» Солдатик ни гугу, только знай себе в струнку тянется. «Ну, говорит, ты бы его, понятное дело, приколол, потому, говорит, для расейского солдатика одного неприятеля приколоть немудреная штука». — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — «Ну, молодец, говорит, так и следует.

А кабы двух али трех встренул, тогда бы как?» Солдатик опять ни гугу, только бельмами похлопывает. «Ну, говорит, для расейского солдата и двух-трех, говорит, тоже, пожалуй, не штука приколоть». — «Так точно, приколол бы, ваше превосходительство!» — «Молодец! А как, говорит, двадцать али тридцать встренул — тогда бы как?» — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — «Ну, братец, врешь, говорит, тридцати не приколешь; тогда в эвдаком случае благородно ретировался бы». — «Так точно, ваше превосходительство, благородно ретировался бы!» — «Это значит наутек бы пошел. Молодец! — говорит. — А кабы ты меня на войне встренул, тогда бы как?» — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — «Ну, братец, врешь, говорит, меня-то, начальства свово, нельзя колоть: а ты, говорит, подумай хорошенько, как бы ты поступил, встренувши меня?» — «Благородно ретировался бы, ваше превосходительство!» Тут его, раба Божьего, взяли да и тово — веником маненько попарили. Не ретируйся, значит, и не коли! Так-то оно, братцы, наша служба такая, что повернулся — тово, и не довернулся — то-

же тово, а впротчим — очинно вальготно.

— Ваше дело — военное, а наше дело — священное, — замечает ему на это Фомушка, — потому как я из дьячковских сыновей и премудрость, значит, уразумел. Мне бы теперь, по-настоящему, архипастырем надо быть, кабы не враги наши... а я вот — в блаженных только состою.

— Это чином выше, — вставил словечко Закорюк.

— Выше ли, ниже ли, а только я хочу повествованье некое рассказать, — возразил ему Фомушка. — Был я еще малолетком, при отце на селе состоял, и поехали мы всем причтом на Христов день со славлением в соседнюю деревню, верст за семь. Цельный день, аж до ночи, славили, ну и наславились, уж так-то наславились — до утробы пресыщения. Сложили нас всех в тележку, стебанули меринка, он и потрусил себе: не впервой, вишь, — дорога-то знакомая. Наутро пономарь идет за благословеньем — заутреню благовестить. Приходит к отцу, а отца нетути! «Что ж, говорит, должно, мы батюшку-то вчерась где-нибудь по дороге невзначай оброни-

ли. Надо быть, что обронили, говорит, потому — оченно уж дело-то грузно было. Поедем искать, говорит, может, и найдем где-нибудь». Поехали. Смотрим — а отец-то как раз за селом, у кирпичного завода, в канавке лежит, ликом горе, и солнышко лик ему припекает, и свинии нечестивии обступили его, сердечного, да во уста, во уста-то так и лобызают. А он, голубчик мой, очесами-то не узрит, а только лежит себе, козелком потряхивает да бормочет: «Много благодарен! Много благодарен! Воистину, мол, воистину!»

Дружный и веселый хохот камеры покрывает окончание как того, так и другого рассказа. Один Рамзя только сидит поодаль от других, сохраняя невозмутимое спокойствие и серьезность. Ему, кажись, не совсем-то по душе приходились такие рассказы, но протестовать против них каким-либо резким или поучающим словом он не стал, потому что знал цену каждому своему слову, умел угадывать минуту, когда оно может влиять своей нравственной силой, и вдобавок отлично знал этот народ, с которым теперь приходилось ему иметь дело. Тут именно все зависит от

минуты, потому что это — народ порыва, иногда хорошего, иногда дурного, но непременно порыва; это — капризное, своенравное дитя; на него обаятельно действует только факт или пример, совсем выходящий вон из ряда, поражающий либо своей грандиозностью, силой, либо своей смешной, комической стороной. Насколько легко подчиняется он обаянию всякой силы, настолько же легко и развенчивает свой кумир, отнимает от него сразу все добровольно данное ему уважение, при первой оплошности, при первом случае, когда эта сила неловко станет в смешное положение. А Рамзя чувствовал, что, выступи он теперь, в данную минуту, перед полупьяной ватагой, настроенной на сатирический и смешливый лад, ему вся эта ватага отгрянула бы только дружным уничтожающим смехом, который в тот же миг свергнул бы его с того пьедестала, на который стал он с первого появления в эту среду. А Рамзя дорожил своим значением. «Мало ль что мне не по нраву! — рассуждал он мысленно в эту минуту. — Не всяко лыко в строку. Тут еще грех невелик, что погалдят промеж себя да пересмехом по-

займутся, а вот коли какое дело всурьез пойдет да недобром для них же самих запахнет — ну, тогда встань и затяни вожжу, тогда поймут, что ты, мол, за дело, а не за пустяковину ратуешь». И он засветил у своей койки сальный огарок, заслонил его бумагой со стороны окна, чтобы со двора свету незаметно было, и кивнул Вересову:

— Почитать бы, что ль, книжку занятную, — предложил он ему, вытаскивая из-под подушки растрепанную книжицу, — присядь-ко, Иван Осипыч, призаймемся малость.

И через минуту по камере тихо, но внятно раздался его ровный, певучий голос:

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь —
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь!

И... к концу этого стихотворения около Рамзи мало-помалу собралась уже тесная кучка; буйный смех замолк, уступя место серьезному, чуткому вниманию. В майданном углу

тем же часом пошли в ход три листика, и вся камера разделилась на две группы: одна жадно и любопытно следила за игрою, другая жадно и любопытно слушала некрасовские стихи.

Рамзя обвел глазами свою группу, и довольная улыбка мелькнула на его губах: он знал, как и чем в иную минуту нужно действовать на этот народ, и внутренне улыбнулся этому сознанию.

Осип Гречка содержался на том же татебном отделении, только в другой камере, где, с некоторыми варьяциями, совершалось почти то же самое: та же игра и подобные же рассказы; но он меж тем угрюмо лежал на своей койке, закинув за голову руки, и все время ни в россказнях, ни в игре, ни в чтении не принимал участия. Он думал крутую, серьезную думу... Надоел ему душный острог, надоело уголовное дело, по которому теперь его судят, о покушении на жизнь ростовщика Морденки — отца Вересова, надоела вся эта жизнь сидячая, скучная, подневольная, и — ох как хотелось бы ему попытать теперь вольной воли, погулять без надзора по белому свету. Хо-

рошо бы убежать отсюда — да только как убежишь-то? А надобно, беспременно надобно, во что бы то ни стало! Потому — очень уж опротивело все это, тоска по прежней горемычно-беззаботной жизни вконец загрызла. Как быть-то?.. Надо подумать!

И вот он думает да передумывает разные мысли.

«Запутал я ни за што и энтово щенка, — мыслил он насчет Вересова. — Ну, вот и терпит, страдает человек... Коли виноватому скверно, каково же оно невинному-то!.. Душа-то у него чистая: ведь тогда ни за што помог мне — от доброго только сердца своего, значит, а не из чего-либо протчего. И не гадал, чай, что влопается в такую передрягу!.. А и скаред же этот Морденко, батька-то его!.. Думал я, этта, что кровь не выдержит, заговорит свое; думал, что не захочет детище родное под уголовщину вести; помилует, думал, дело замнет да потушит, — ан нет, живодерина! ему и кровь своя ровно что ничего, и сына роднова топит!.. Не выгорела у меня, значит, эта задача, ошибся... А коли не выгорела, что ж и щенка-то задаром топить? Выгородить

его нешто из дела, объявить начальству, что так, мол, и так — в эндаком разе впутывал его занапрасну, на сердце родительское, мол, расчет в мыслях своих держал и потому оговорил неповинного... Мне ведь все равно: потому, как ни на есть, а уж удеру отселева беспременно: либо пан, либо пропал. Только как удрать-то?.. Нешто надежного товарища подыскать бы да вместе хватить?..»

И мысль Осипа Гречки сама собою возвращалась все к той же первоначальной и заветной думе о побеге.

Несколько дней таил он про себя эти мысли, все выглядывал да придумывал умом-разумом, кого бы ему посподручнее выбрать в товарищи, и наконец решил, что надежнее всех, кажись, будет Дрожин, а буде Дрожин откажется, то можно за Фомку-блаженного приняться.

Однажды, улучив минуту, он при встрече, по секрету, сообщил свои намерения старому жигану.

Старый жиган раздумчиво потупил голову и наконец махнул рукой как на дело совсем ему неподходящее.

— Нет, брат, помогай тебе Микола-святитель одному бежать, а меня уж не замай, — ответил он Гречке. — Я уж лучше, как быть должно по закону и во всей правиле, в Сибирь пройдусь.

— Как!.. Нешто так-таки, как голодная[380] решит?! — изумился Гречка.

— И впрямь. Как решит, так и будет.

— Да что ж это такое?.. Али уж так, по век свой покаяться задумал?

— Для чего каяться? Смертный конец не пришел еще.

— Так рази начальству поблажать?

— А что же? Для чего не поблажить ему маленько? Хотят меня в Сибирь, примерно, — что ж, что удовольствие можно им сделать, пущай, как малые ребятишки, побалуют со мною — уж так и быть, потешу их, прогуляюсь; а из Сибири убегу. Авось либо там, либо здесь повидаемся еще с тобою, милый человек ты мой!

Гречка только плечами пожал.

— А эдак-то что бежать! — продолжал пояснять ему Дрожин. — Убежишь, а тут тебя, того гляди, и принакроют, не хуже русака под

кочкой. Этак бежать никакого удовольствия нету. А вот — дойти до места да оттелева дернуть, ну, это точно что дело! Раздолье, по крайности, будет, а иначе я не люблю и не согласен.

Он опять потупился и подумал с минуту.

— А мы вот как, брат, устроимся с тобою, коли хочешь! — предложил старый жиган, набредя на подходящую мысль. — Пущай нас прежде, как след, решат по закону да на Владимирку погонят; а как перевалимся за бугры, дело-то там обнакновенно повольготнее пойдет, ну, так вот там уж где-нибудь за Тобольским, при подходящем случае, мы и ухнем вместе. Сторона-то, брат, там привольная, богатеющая сторона. Идет, что ли, на это?

— Н-нет, не ходит, дядя жиган, — неподходящее...

— Ну, а инак я не согласен! Да и что! С вами-де водиться, что в крапиву садиться! — порешил бывалый варнак, отходя от Гречки.

Тот остановил его за рукав.

— Только, чур, дядя, язык-то у колокола подвяжи про энтот случай, чтобы никто из

товариства ни-ни!

Дрожин скосил губы в пренебрежительную улыбку.

— Что я, — просвирня тебе аль посадская баба? — возразил он слегка оскорбленным тоном, — слава те Господи, не первый год варначить: колокольню в исправности привык держать да и тебя еще, дурня, поучить могу.

И он отошел от Гречки с чувством некоторой обиды на его неуместное предостережение.

Дело с Фомушкой обошлось несколько проще.

— Вот что скажу я тебе, приятель, — ответил он на Гречкино предложение, — мне пока еще не рука ухать из «дядина дома», потому — неизвестен я, как меня решат. Верней, что с нижающей благодарностью отпустят [381]; а коли проще, старую золу разгребать начнут, — ну, так не грех и попытаться, а то, гляди, себе только хуже натворишь. Хочешь пообождать малость — считай меня за барина[382]; одначе ж я все-таки наперед желаю другого манеру попытать — может, и склеит-

ся.

— Какого такого манеру?

— Э, брат, лакома тетка до орех, да зубов нету! — возразил ему Фомушка. — Никак невозможно в том открыться, потому всяк Еремей про себя разумей! А вот поживи, так, может, и увидишь, какой такой этот манер мой.

Таким образом, и в отношении блаженного Гречка мог рассчитывать только вполовину, да и то не наверное. Неудачи подмывали его еще более, разжигая неугомонную жажду воли вольной. Он был упрям, и что раз, бывало, задумает, то уж норовит во что бы то ни стало исполнить. Снова начал Гречка выгадывать себе подходящего товарища и раздумывать о средствах к побегу. Слышал он, как одному хвату, несколько лет тому назад, в темную ночь удалось пробраться на тюремный чердак, с чердака на крышу, а с крыши — по веревке на улицу — в Тюремный переулок спуститься. Ходили меж арестантами тоже слухи и о том, будто под пекарней есть подземный проход, который спускается в водосточную трубу, впадающую в Крюков канал,

и будто этот проход исподволь весьма долгое время прорывали три арестанта-хлебопека; да беда: в то же время говорили, что начальство однажды пронюхало про эту потайную работу подземных кротов, когда она была уже доведена почти до самого конца, и немедленно же снова засыпало землею да грузом кротовую нору, а самих кротов послало рыть другие норы в мать-Сибирь забайкальскую. «Ройся, мол, там невозбранно, сколько душе твоей захочется!»

Однако все эти способы представляли слишком мало удобств — надо было изобрести какой-нибудь новый, собственный, и Гречка целые дни и целые ночи бессонные строил в голове своей разные проекты.

Наконец способ придуман — оставалось только ждать удобной минуты для выполнения этой страстной, не дающей покоя мысли да подыскать товарища. За этим все дело стало. Гречка решил побег как единственную задачу своей жизни в данную минуту, и оставался твердо, стойко убежден, что так оно должно быть и так непременно случится.

Раз он отправился в тюремную контору и

объявил, что желает открыть всю истину своего дела. И действительно, рассказал стряпчему со всей откровенностью непреложной правды, как было задумано и совершено им намерение убить и обобрать Морденку и каким образом он воспользовался случайными обстоятельствами, чтобы оговорить Вересова, в том расчете, что в Морденке «кровь заговорит на жалость к родному детищу» и заставит его замять все дело; а теперь, видя, что оговор этот решительно не привел к желаемому результату, объявляет о невиновности Вересова, «чтобы, значит, человек не терпел понапрасну».

Однако, признаваясь во всех обстоятельствах дела, касающихся лично его самого, он ни полусловом, ни полунамеком не выдал того, что у него были сотоварищи, вместе замышлявшие убийство. Гречка обвинял исключительно себя — и последнее признание его было принято во внимание судебною властью.

XLVII
ФИЛАНТРОПКИ

В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставивших задачею своей жизни филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и, таким образом, составили нечто вроде цеха филантропок. Великосветские филантропки подразделяются на многие разряды. Одни из них памятуют речение Писания «о скотолюбцах»: «Блаженни, мол, иже и скоты милуют», и на этом основании всем сердцем возлюбили своих кинг-чарльзов и левреток, причем, однако, стремятся к учреждению общества скотолюбцев, но только «стремятся» покамест — и больше ничего. Другие и понаслышались кое-каких верхушек о женском труде и мечтают о составлении общества поощрения швейных, переплетных и иных мастерских, где бы они могли быть «председательницами» и оказывать начальственное влияние на весь ход избранного дела. Третьи заботятся о «падших»

(но об этих мы будем говорить впоследствии). Четвертые избрали ареной своей филантропической деятельности остроги, тюрьмы и вообще все наши места заключения. Пятые... Но если пересчитывать всех, то, пожалуй, и целой главы будет недостаточно для самого краткого упоминания многоразличных отраслей нашей жизни, дающих пищу праздно-чувствительной деятельности великосветских филантропок. Полезней всех из них, бесспорно, четвертые, иже унаследовали заповедь Писания о посещении во узах заключенных. Эти между множеством чудачеств хорошее творят, насущную пользу иногда приносят, а прочие...

Прежде всего каждая светская филантропка отличается своею превыспренней набожностью, которая у иных переходит даже в фарисейское ханжество, но этак ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо почтеннее: говору и благоудивления больше. Как тут не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что сотни голосов будут превозносить тебя паче облака ходячего, будут называть тебя своим ангелом-хранителем, спасителем,

целителем и проч., станут повествовать о твоих великих добродетелях везде и повсюду, вынимать частицы за твое здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно.

Дама-филантропка, кроме непременного благочестия, всегда стремится занять в свете такое место, которое давало бы ей вес и значение. Она в ладах со всеми сильными иерархического мира, и сильные мира постоянно изъявляют ей знаки своего почтения. Она непременно надоедает каждому из них своими еженедельными и беспрестанными ходатайствами, просьбами, справками и проч.; сильные мира хотя и морщатся про себя, хотя и досадливо губами прицмокивают, тем не менее в глаза ей показывают предупредительную готовность исполнять малейшее ее желание, даже каприз — ну и исполняют, иногда «по силе возможности», а иногда и по силе невозможности. Стало быть, так или иначе, дама-филантропка достигает своей цели; иногда она счудачит, а иногда и действительно доброму, честному делу поможет. Только это «иногда» выходит у нее как-то без разбору, без нравственной оценки качества

патронируемого дела — точно ли оно хорошее и честное или плутяжное, которое только прикидывается честным? — лишь бы список «добрых дел» ее пополнялся все более, лишь бы увеличивалось число «благословляющих» ее добродетели.

Каждая дама-филантропка очень любит проявление набожности в покровительствуемых субъектах. Набожен — стало быть, хорош; почтителен к ее особе — и того еще лучше, а коли к тому же да бойким языком благодарственные восклицания рассыпает — тут уж конец всем рассуждениям: филантропка берет его под свое покровительство и зачастую во что бы то ни стало стремится создать нового молельщика за себя перед Господом [383].

XLVIII
АРЕСТАНТЫ В ЦЕРКВИ

Интересный вид представляют арестантские камеры в утро перед обедней какого-либо праздника или воскресного дня.

Народ как будто приободрился, вымылся, прихолился, и каждое затхло-серое арестантское лицо невольно как-то праздником смотрит. У кого есть своя собственная ситцевая рубаха, попавшая сюда какими ни на есть судьбами, помимо казенного контроля, тот надел ее на себя, подпоясался мутузкой, аккуратно складки обдернул, и сидит она на нем не в пример ловче и наряднее, чем грубо-холщовая сорочка из тюремного цейхгауза, — все-таки волю вольную хоть как-нибудь напоминает. У кого галстук или гарусный вязаный шарф обретается, тот его вокруг шеи обмотает и ходит себе щеголем по камере.

— Ишь ты, праздник! — замечают иные с оттенком какого-то внутреннего удовольствия.

— Нда-с, праздник! — в том же тоне откли-

кается какой-нибудь другой арестантик. И все они очень хорошо знают, что праздник сегодня, а замечания, подобные только что приведенным, вырываются у них как-то невольно, от некоторой полноты душевной.

Мишка Разломай да татарин Бабай глядят серьезно, хотя они чуть ли не довольнее всех остальных: знают, что ради праздника иному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку в кости да в карты прокинуть, лишнюю трубочку табаку в печную заслонку вытянуть, а это все им на руку, потому к ним же придет всяк за такими потребами: кто чистыми заплатит, а кто и сам еще в долг на процент прихватит — стало быть, в конце концов у Разломая с Бабаем скудные арестантские деньжишки очутятся.

— Может, братцы, пищия для праздника Христова получше сготовится, — замечают некоторые.

— Авось либо приварок не сухожильный положат да по порциям на столы поделят.

— Эвона чего захотел!

— Что ж, иной раз случается. Опять же и по закону.

— Толкуй ты — по закону!.. Нешто на арестанта есть закон? На то, брат, мы и люди беззаконные прозываемся.

— По всей Расее закон есть.

— Это точно! Закон положон, да в ступе истолчен — вот он те и закон!

— Никак без закону невозможно; почему, ежели что расказнит меня, так статья и пункта должна быть на это.

— Ну, то не закон, а пятнадцатый том прозывается.

— А не слыхал ли кто, милые, подаяньем нонче будут оделять?

— Будут. Саек, сказывали, инеральша какая-то прислала.

— Ой ли?! Кто хочет, братцы, сайку на табак выменять? С почтением отдам.

— А много ли табаку-то?

— Да что... немного; щепоть, на три затяжки.

— Ходит! Давай, по рукам! Для праздника можно.

Среди таких разговоров растворяется дверь и входит приставник.

— Эй, вы, живее!.. В церковь! В церковь

марш! Все, сколько ни есть, отправляйся! — возглашает он с торопливой важностью.

Иные поднялись охотно, иные на местах остались.

— Ты чего статуем-то уселся? Не слышишь разве? — обращается то к одному, то к другому приставник.

— Да я, бачка, татарин... мугамеда я.

— Ладно, провал вас дери! Стану я тут еще разбирать, кто жид, а кто немец. Сказано: марш — и ступай, значит.

— Да нешто и жидам с татарами тоже? — замечает кто-то из православных.

— Сказано: всем, сколько ни есть! Начальство так приказало — чтобы народу повиднее было — нечего баловаться-то... Ну, вали живее! Гуртом, гуртом!

— Ну-у... Пошло, значит, гонение к спасению! — махнули рукою в толпе, и камера повалила в тюремную церковь[384].

Арестантский хор в своих серых пиджаках, который с час уже звонко спевался в столовой, наполнил клирос; начетчик Кигаренко поместился рядом с дьячком у налоя. Вон показались в форточках за сетчатыми решетка-

ми угрюмые лица секретных арестантов, а на хоры с обеих сторон тюремная толпа валит с каким-то сдержанным гулом, вечно присущим всякой толпе людского стада. Там и сям озабоченно шнырят приставники, водворяя порядок и стараясь установить людей рядами.

— Ну, молитесь вы, воры, молитесь! — начальственно убеждает один из них.

— Да нешто мы воры?.. Воры-то на воле бывают, а мы здесь в тюрьме, значит, мы — арестанты, — обидчиво бурчат некоторые в ответ на приставничье убеждение.

Вот показалась и женская толпа в своих полосатых тиковых платьях. Тут заметнее еще более, чем в будничные дни по камерам, некоторое присутствие убогого, тюремного кокетства; иная платочек надела, иная грошовые сережки, и все так аккуратно причесаны, на губах играет воскресная улыбка, и глаза бегло отыскивают в мужской толпе кого-то — вот отыскали и с усмешкой поклон посылают. Пожилые держатся более серьезно, солидно, и на лицах их ясно изображается женское благочестие, а иные стоят с какой-то угрюмой

апатичностью, ни на что не обращая внимания. В этой толпе не редкость, впрочем, и горячую, горькую слезу подметить порою, и усердную молитву подглядеть.

Мужчин размещают по отделениям, которые и здесь сохраняют официальную классификацию по родам преступлений и проступков; но во время первоначальной легкой суматохи по приходе в церковь так называмые любезники ловко стараются из своих отделений затесаться незаметно либо на «первое частное», либо на «подсудимое», чтобы стать напротив женщин, с которыми тотчас же заводятся телеграфические сношения глазами и жестами. «Любезники» обыкновенно стараются на это время отличиться как-нибудь своею наружностью и являются по большей части «щеголями», то есть пестрый платок или вязаный шарфик на шею повяжет да волосы поаккуратнее причешет — другое щегольство здесь уже невозможно, — а многие из них, особенно же «сиделые», достигают необыкновенного искусства и тонкого понимания в этом условном, немом разговоре глазами, улыбкой и незаметными жестами. Началась

обедня. Внизу было совершенно пусто: у стен ютился кое-кто из семей тюремной команды, да начальство на видном месте помещалось. Ждали к обедне графиню Долгово-Петровскую, на которую двое заключенных возлагали много упования.

Эти заключенные были — Бероева и Фомушка-блаженный.

Наконец в начале «Херувимской» внизу закопошилось некое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то счел нужным поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначавшееся для ее сиятельства, а начальство все косилось назад, на церковные двери, которые наконец торжественно растворились — и графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, полный достоинства поклон, направилась к своему креслу и благочестиво положила три земных поклона.

XLIX
ФОМУШКА ПУСКАЕТ В ХОД СВОЙ МАНЕВР

— Братцы! Не выдайте!.. Дайте доброе дело самому себе устроить! Все деньги, что есть при себе, на водку вам пожертвую, не выдавайте только! Не смейтесь! — шепотом обратился Фомушка-блаженный к окружающим товарищам.

— На што тебе? — осведомились у него некоторые.

— В том все мое спасение; на волю хотца! — объяснил им Фомушка. — Коли сиятельство спрашивать станет, скажите, по-товариству, что точно, мол, Христа ради юродивый.

— А насчет магарыча не надуешь?

— Избейте до смерти, коли покривлю! Избейте — и пальцем не шелохну!.. Человек я верный.

— Ну ладно, не выдадим, скажем, — согласились некоторые.

— А ты, Касьянушка-матушка, — ласка-

тельно обратился он к безногому ежу, — размажь ей по писанию, при эфтом случае, как то исть нас с тобой за правду Божию судии неправедно покарали...

— Смекаю! — шепнул ему старчик, догадливо кивнув головою.

Фомушка самодовольно улыбнулся, хитростно подмигнул окружающим товарищам: глядите, мол, начинаю! — и, выбрав удобный момент, когда перед выходом с дарами замолкла среди всеобщей тишины «Херувимская», грузно бухнулся на колени с глубоко скорбным, тихим стоном и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием вполголоса различных молитв и такими же вздохами.

Арестанты едва удерживались от смеховых фырканий, взирая на эти «занятные» эволюции.

Графиня обратила на него внимание и с удивлением повернула вверх на хоры свою голову.

Фомушка истерически взвизгнул и, бия себя в перси кулачищем, с тихим рыданием простерся ниц, как будто в религиозном экс-

тазе.

Графиня продолжала смотреть. Начальство, заметив это, тотчас же засуетилось и отдало было приказ — немедленно убрать Фомушку из церкви, но благочестивая барыня милостиво остановила это усердное рвение и просила не тревожить столь теплой и глубокой молитвы.

Желание ее, конечно, было исполнено.

Фомушка меж тем до самого конца обедни время от времени продолжал выкидывать подобные коленца, и графиня каждый раз с удивлением обращала на него свои благочестивые взоры...

Бероева же все время стояла прислонясь к стене, так что снизу ее не было видно. Она вся погрузилась в какую-то унылую думу и, казалось, будто ожидала чего-то.

«Ah, comme il est religieux, ce pauvre prisonnier, comme il pleure, comme il souffre! [385] — мыслит графиня. — Надо будет расспросить его, за что он страдает... Надо облегчить участь...»

И по окончании обедни она обратилась к начальству:

— За что у вас содержится этот несчастный, который так тепло молился всю службу?

— По подозрению в краже-с, ваше сиятельство...

— Может ли это быть?.. Я решительно не хочу верить.

— Так аттестован при отсылке к нам. Состоит под следствием вместе с сообщником своим — может быть, ваше сиятельство, изволили приметить — горбун безногий.

— А, как же, как же — приметила!.. Так это, говорите вы, сообщник его... Но может ли это быть? Такая вера, такое умиление! Я желала бы видеть обоих.

— Слушаем-с, ваше сиятельство.

И к графине были приведены оба арестанта.

Фомушка еще в ту самую минуту, как только сделали ему позыв к сердобольной филантропке, умудрился состроить юродственную рожу и предстал перед лицо ее сиятельства с выражением бесконечно глупой улыбки. Касьянчик, напротив того, выдерживал мину многострадательную и всескорбящую.

— Гряди, жено благословленная, гряди, го-

лубице, на чертово пепелище! — забормотал блаженный, улыбаясь и крестясь и в то же время издали крестя графиню.

Последняя никак не ожидала такого пассажа и — не то испугалась, не то смутилась.

— Как тебя зовут? — спрашивала она кротким вопросом.

— Добродетель твоя многая, перед Господом великая — царствие славы тебе уготовано, — продолжал крестить себя и ее блаженный, нимало не обратив внимания на вопрос графини.

— Что ты такое говоришь, мой милый, не понимаю я, — заметила она, стараясь вслушаться в Фомушкино бормотание.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его! — юродствовал меж тем блаженный со всевозможными ужимками. — Раба Анастасия — новый Юрусалим, узорешительница милосердия!.. Фомушка-дурак за тебя умолитель, царствия отца тебе упроситель... Живи сто годов, матка! Сто годов жирей, не хирей! Господь с тобою, алилуя ты наша, сиятельство ваше!.. сиятельство!..

— Mais il est fou, ce malhereux![386] — до-

мекнулась графиня и обратилась с вопросом к Касьянчику: — Что он — юродивый?

— Юродивенький, матушка, Христа ради юродивенький, — жалостно запищал убогий старчик.

Графиня поглядела на Фомушку удивленным взглядом. Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали ее даже «сиятельной ханжой», и очень любила посещать Москву с ее сорока сороками. Каждое такое посещение не обходилось без усердственных визитов к знаменитому Ивану Яковлевичу Корейше. Московский блаженный всегда отличал от прочих свою сиятельную гостью и, как говорят, постоянно давал ей знамения своего благоволения к ее особе: откусывая кусок просфоры, он влагал его в уста графини. Рассказывают также, будто для вящего изъявления своего благоволения к графине он еще и не такие курьезы проделывал над нею. Чествуя Ивана Яковлевича, она, конечно, чествовала и других юродивых.

— Как тебя зовут, мой милый? — повторила она прежний вопрос.

— Дурачок, дурачок, матка! Дурачком зо-

вут, Фомушкой. А у тебя утробу-то благостью вспучило, благостью, матка, а я за тебя умолитель, душа милосердливая: Фомку-дурака любит Господь, Фомушка — Божий дурак, только в обиде от силы мирстей...

— По Господней заповеди, ваше сиятельство, — начал пояснять многострадательный Касьянчик, — яко же апостоли от эллины нечестивии гонения претерпевали, такожде и он, Божий человек, за напраслину ныне крест несет на раменах... А только он неповинен: он — Христа ради юродивый, мухи ниже, клопа ползучего николи не обидит, а не токмо что от человека татебно уворовать вещию! Ему коли и подаянье-то сотворят во имя Спасителево, так он и то, дурачок, возьмет да тут же на нищую братию разделит, а сам — нини, то ись ни полушечки себе не оставит...

Фомушка во время этого монолога только улыбался наибессмысленнейшим образом, с беспрестанными поклонами, творил крестные знамения, осеняя таковыми же и графиню.

— За что же вас взяли? За что вы терпите? — спросила Настасья Ильинишна.

— По злобе людстей, вашие сиятельство! Зол человек оговор возвел, — пояснил ей Касьянчик и рассказал историю о том, как приказчик купца Толстопятова, имея на Фомушку злобу за то, что блаженненький уличений в гресех ему многажды творил, мимоходом взял да и подсунул-де нам толстопятовский бумаженник, а сам туточко же и завопил: «Воры-де вы, хозяина мово обокрали!»

— Тут нас и взяли, — продолжал он рассказывать, — воззрился я только к небеси, на церковку Божию, воздыхнул и прегорестно залился слезами: «Господи! испытание на веру нашу посылаеши — буди по восхотению твоему!» И сдали нас в темницу, в темницу, матушка, вашие сиятельство!.. Охо-хошеньки!.. А какие мы воры? Мы в странныем-убогом житии подвизаемся, имя Христово славословим, а нас злоба-то людская вона в кои наряды нарядила.

— Помилуй, матушка, заступись! — слезно взмолился он после короткой паузы, пригибая свою убогую голову к обрубкам ног. — Ты наша защита, аньял небесный ты наш!.. Одна только ты и можешь!.. Божий человек по век

свой молитвенник за тебя будет, — продолжал он, указывая на улыбающегося Фомушку, — его молитва юродственная что тимьян ко престолу взыдет... Защити, огради нас, государыня ты наша милостливая!

Это скорбно-слезное воззвание вконец растрогало графиню: на ее ресницах показались даже слезы.

Вынув из кармана изящную записную книжку, она отметила в ней имена двух арестантов с нумером их дела и приступила к утешениям.

— Будьте покойны, мои милые, будьте покойны!.. Я употреблю все усилия — сама поеду, стану просить...

— Аньял ты телохранитель наш! — с чувством нагнул Касьянчик свою голову, изображая земной поклон, а Фомушка-блаженный, слегка подпрыгивая, вполголоса завыл:

«Величит душа моя!»

— Ваше сиятельство, это ведь выжига-с... одно притворство-с, — рискнул заметить ей кто-то из тюремного начальства.

Графиня с неудовольствием воззрилась на возразившего.

— Пожалуйста, оставьте при себе ваши замечания! — произнесла она явно недовольным тоном. — Я умею понимать людей и очень хорошо различаю правду и искренность.

Начальство опешило и уже не дерзало больше соваться с замечаниями.

— Ступайте теперь, мои милые, ступайте! — с кротким благодушием обратилась она меж тем к арестантам. — Я за вас буду ходатайствовать, надейтесь и молитесь... Прощайте!..

Оба заключенника удалились. Касьянчик знаменовался крестным знамением и воссылал горе сокрушенные вздохи, а Фомушка глупо улыбался и еще глупее подпрыгивал.

— Теперь я хочу к *моим* пройти: проводите меня, — изъявила желание графиня и направилась в женское отделение.

L
ТРУДНО РАЗЛИЧАТЬ ПРАВДУ И ИСКРЕННОСТЬ

— Надо молиться и работать, — назидала графиня почтительно стоявших вокруг нее арестанток, обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности. — Бог создал нас всех затем, чтобы мы молились и трудились...

— Надо быть, ты и трудишься-таки! — шепнула насчет графини одна арестантка своей соседке.

— Что ты говоришь, моя милая? — спросила графиня.

— Я, ваше сиятельство, к тому это, что истину-правду Господню рассуждать вы изволите, — смиренно ответила ей хитрая арестантка.

— Хорошо, моя милая, похвально, что ты чувствуешь, — одобрила графиня, — вам надо более, чем кому-либо, молиться, поститься и трудиться, — продолжала она, — потому что постом, трудом и молитвою усердною вы хотя

частию можете искупить перед Господом ваши заблуждения, грехи и преступления ваши. Старайтесь исправиться и принимайте со смирением свою кару. Не ропщите на начальство: строптивым Бог противится — вы это знаете?..

— Знаем, ваше сиятельство.

— Ну, то-то... В часы досуга занимайтесь не разговорами соблазнительными, а чтением душеспасительных книжек и христианским размышлением, — слышите?

— Слышим, ваше сиятельство.

— Ну, то-то. Хорошо вам тут жить? Всем ли вы довольны?

— Хорошо жить, ваше сиятельство, и всем даже очинно много довольны.

— Это похвально; неудовольствие даже и грех было бы заявлять в вашем положении, да и не на что: мы все, что только можем, с охотой делаем для вас и вашей пользы. Ну, прощайте, мои милые! Очень рада видеть вас. Молитесь же, трудитесь и старайтесь раскаяться и исправиться. Прощайте!

В эту минуту к графине, которая осталась довольна собою и своим поучением, робко и

смущенно подступила Бероева.

— Что тебе надо, моя милая, о чем ты? — матерински обратилась к ней графиня.

— Выслушайте и защитите меня! — тихо вымолвила арестантка, глотая подступившие слезы.

— Я готова, моя милая, изложи мне свое дело. Ты кто такая? Как зовут тебя?

— Юлия Бероева.

— Бероева... — протянула, прищурясь на нее, филантропка. — Что-то знакомое имя... помнится, как будто слыхала я... Ну, так что же, моя милая, в чем твое дело?

Юлия Николаевна кратко рассказала ей свое дело и внезапный арест ее мужа.

— Ну, так что же, собственно, нужно тебе?

— Нужно мне... вашей защиты! Мой муж невинен — клянусь вам — невинен!.. Ради моих детей несчастных, умоляю вас, войдите в это дело!.. Облегчите ему хоть немного его участь! Вы это можете — вашу просьбу примут во внимание. Господь вам заплатит за нас.

Эти слова каким-то тихим воплем вырывались из наболелой и надорванной души. Гра-

финя слушала и в затруднительной нерешительности пережевывала губами. Она считала княгиню Татьяну Львовну Шадурскую в числе своих добрых знакомых и уже раньше кое-что слышала от нее о деле молодого князя.

— Моя милая, — начала она тем самым тоном, каким за минуту читала назидательные поучения о труде и молитве, — моя милая, что касается твоего мужа, то я ничего не могу тут сделать. Я вообще этих... идеи не люблю. Я знаю, к чему ведут все эти идеи, поэтому никак не могу просить за него.

— Но он невинен! Они сами это знают! Его напрасно взяли! — стремительным порывом прервала ее Бероева.

— Хм... Какие, мой друг, несообразности говоришь ты! — с укором покачала головой графиня. — Если они знают, что он действительно невинен, так зачем же стали бы его держать-то там? Что ты это сказала?! Опомнись! О ком ты это говоришь?.. Ай-ай, ой-ой! Нехорошо, нехорошо, моя милая!.. Как это ты, не подумавши, решаешься говорить такие вещи! *Напрасно!* — верно уж не «напрасно». Да и

притом в твоем собственном деле ты не совсем-то правду сказала мне.

— Как не совсем-то правду?! — вспыхнула Бероева.

— Так. Я ведь знаю немножко твое дело — слыхала про него. Нехорошее, очень-очень нехорошее дело! — недовольным тоном продолжала филантропка. — Ты употребляешь даже клевету — это уж совсем не по-христиански... Я знаю лично молодого князя Шадурского: это благородный молодой человек. Я знаю его: он не способен на такой низкий поступок, он тут был только несчастной и невинной жертвой.

Графиня сделала два-три шага и снова обернулась к Бероевой.

— Впрочем, если ты считаешь себя правою и если ты права в самом деле, то суд ведь наш справедлив и беспристрастен: он, конечно, оправдает тебя, и тогда я первая, как христианка, порадуюсь за тебя, а теперь, моя милая, советую тебе трудиться и раскаяться. Лучше молись-ка, чтоб Бог простил тебя и направил на путь истинный! А по делу твоему трудно что-либо сделать, трудно, моя милая.

— Да, потому что это князь Шадурский, потому что это барин! — с горечью и желчью вырвалось горячее слово из сердца арестантки. — А будь плебей на его месте, так ваше сиятельство, быть может, горячее приняли бы мое дело к сердцу. Благодарю вас — мне больше не нужно вашей помощи.

Графиня остановилась, как кипятком ошпаренная таким несправедливым подозрением, и измерила Бероеву строгим взглядом.

— Ты дерзка и непочтительна! Ты забываешься! — сухо и тихо отчеканила она каждое слово и, повернувшись, с достоинством вышла из камеры.

— В темную! — строго шепнуло приставнице тюремное начальство, почтительно следуя за графиней.

Дрожащую от гнева арестантку отвели в узкий, тесный и совсем темный карцер, который в женском отделении тюрьмы служит исправительным наказанием. Сидя на голом, холодном полу, Бероева переживала целую бурю нравственных ощущений. Тут было и отчаяние на судьбу, и злоба с укоризнами и презрением к самой себе за то малодушие, ко-

торое дозволило ей увлечься нелепою надеждою. Она чувствовала себя кроваво оскорбленной и сознавала, что сама же вызвала это оскорбление. «Поделом, поделом! Так тебе и нужно! — злобно шептала она в раздражении и нервически ломая себе руки. — Не унижайся, не проси! Умей терпеть свое горе, умей презирать их! Разве ты еще недостаточно узнала их! Разве ты не знаешь, на что они все способны? О, как я глубоко их всех ненавижу! Какой стыд, какое унижение! Зачем я это сделала, зачем я обратилась к ней?!» И она в каком-то истерически-изумленном состоянии без единой капли слез, но с одним только нервно-судорожным перерывчатым смехом, злобно и укоризненно издевалась над собою, продолжая ломать свои руки, но так, что только пальцы хрустели, и злобно-суровыми, как буря, глазами зловеще смотрела в темноту своего карцера.

К вечеру ее выпустили оттуда.

LI
НА ПОРУКИ

Вскоре после посещения филантропки судьба некоторых заключенных изменилась, и прежде всего, конечно, изменилась она для Фомушки с Касьянчиком. Графиня Долгово-Петровская решилась ходатайствовать за «божьих людей». Дело о бумажнике купца Толстопятова за отводом единственного свидетеля — приказчика — должно было и без того предаться воле Божьей, с оставлением «в сильном подозрении» обвиняемых. Поэтому, когда подоспели ходатайства графини, то, в уважение этой почтенной особы, и порешили, не мешкая, чтобы дело двух нищих, за недостатком законного числа свидетелей, улик и собственного их добровольного сознания — прекратить, освободя обвиняемых от дальнейшего суда и следствия и предоставя их на попечение ходатайницы. Ходатайница тотчас же поместила обоих в богадельню — «пускай, мол, живут себе на воле, с миром и любовью, да за меня, грешную, Бога молят».

— Вот, брат, тебе и манер мой! — сказал блаженный на прощание Гречке. — Расчухал теперь, в чем она штука-то? Стало быть, и поучайся, человече, како люди мыслете сие орудовать следует! Ныне, значит, отпущаеши, владыко, раба твоего с миром.

— Так-с, это точно «отпущаеши», — перебил его Гречка, снедаемый тайной завистью, — да только кабы на волю, а то под надзор в богадельню!.. Выходит, тех же щей да пожиже влей.

— Эвона что!.. Хватил, брат! Мимо Сидора да в стену, — с ироническим подсмеиваньем возразил блаженный. — В богадельне-то живучи, никакой воли не нужно: ходи себе со двора, куда хочешь и к кому хочешь, и запрету тебе на это не полагается. А мы еще авось промеж хрестьянами сердобольными какую ни на есть роденьку названую подыщем, в братья или в дядья возведем! Ну и, значит, отпустят нас совсем, как водится, на сродственное попечение; таким-то манером и богадельне-матушке скажем «адье!» и заживем по-прежнему, по-раздольному. Понял?

— Нда... теперича понял...

— Вот те и «тех же щей да пожиже влей»!.. — подхватил торжествующий Фомушка. — Там-то хоть и жидель, да все ж не арестантским серякам чета; а ты, милый человек, пока что и серяков похлебай, а на воле, Бог даст, встренемся, так уж селяночкой угощу — московскою!

— А хочешь, опять засажу в тюряху? Как пить дам — засажу! В сей же секунд в секретную упрячут? — с задорливо-вызывающей угрозой прищурился на него Гречка, разудало, руки в боки, отступив на два шага от блаженного.

— Чего ж ты мне это пить-то дашь? Ну давай! Чего ты мне дать-то можешь? — хорохорясь и ершась, передразнил тот его голос и манеру.

— Чего? — мерно приблизился Гречка к самому уху Фомушки и таинственно понизил голос. — А вот чего! Не вспомнишь ли ты, приятельский мой друг, как мы с тобою в Сухаревке на Морденку умысел держали да как ты голову ему на рукомойник советовал? Ась? Ведь щенок-то у меня занапрасно тут томится, — добавил он насчет Вересова, — а по-

настоящему-то, по-божескому, это бы не его, а твое место должно быть!

Фомушка побледнел и заморгал лупоглазыми бельмами.

— Тс... Нишни, нишни! — замахал он на него своей лапищей и тотчас же оправился. — Э! Зубы заговариваешь! — мотнул он головой, самоуверенно улыбаясь. — Николи ты этого не сделаешь, потому — подлость, и уговор же опять был на то. Что, неправильно разве?

На губах Гречки в свою очередь появилась улыбка самодовольная.

— То-то! Знаешь, пес, на какую штуку взять меня! — сказал он. — В самую центру попал... Значит, теперича, друг, прощай! Ну, а... хоша оно и противно помалости, одначе ж поцелуемся на расставанье, для тово, ежели встренемся, чтобы опять благоприятелями сойтися.

И они простились до нового свидания — где Бог приведет или где потемная ночка укажет.

Следователь раздумался над последним

показанием Гречки, в котором он, делая чистосердечное сознание, выпутывал из своего дела Ивана Вересова. Оба подсудимые сидели хотя и на одном и том же «татебном» отделении, но в разных камерах; значит, трудно было предположить о какой-либо стачке между ними; затем последнее показание Гречки во всех подробностях совпадало с показанием Вересова, подтверждая его вполне и безусловно; наконец, нравственное убеждение следователя заставляло его видеть в Гречке, с первого до последнего взгляда, только опытного «травленого волка», у которого в последнем лишь признании зазвучала человечески-искренняя струнка, а в Вересове, напротив того, с самого начала и до конца решительно все изобличало хорошего, честного и неповинного человека, запутанного в дело случайно, посредством стечения несчастно сгруппировавшихся для него фактов и обстоятельств. Это-то нравственное убеждение и заставило следователя, взвесив беспристрастно все эти данные, выпустить Вересова на поруки. Он вызвал к себе Морденку.

Старый ростовщик явился по первой же

повестке; он как-то еще больше осунулся и осуровел за все это время и вошел к следователю тихой, осторожной походкой, с угрюмой недоверчивостью озираясь по сторонам, словно бы тут сидели все личные и притом жестокие враги.

— Вот что, почтеннейший, — начал ему следователь, — вы изъявили подозрение в злом умысле против себя на вашего приемного сына.

— Изъявил и изъявляю, — утвердил Морденко своим старчески-глухим, безжизненным голосом.

— Но это, видите ли, оказывается совсем несправедливо: ваш приемный сын тут вовсе не участвовал.

Морденко медленно, однако удивленно поднял свои брови и уставился на следователя совиными круглыми очками.

— А почему вы это так изволите полагать? — медленно же и недоверчиво отнесся он к приставу.

— А вот дайте прочту вам эти бумаги, так сами увидите, — ответил тот, подвигая к старику первое показание Вересова и последнее

Гречки.

— Нет, уж позвольте... я лучше сам... я сам прочту...

— Как вам угодно. По мне, пожалуй, и сами.

Старик сухой и дрожащей от волнения рукою взял бумагу, протер очки и, сморщив седые брови, с трудом стал разбирать написанное.

— Что ж это такое?.. Я в толк не возьму, — с недоверчивым недоумением отнесся он к следователю, прочтя оба показания.

— То, что вы напрасно подозреваете Вересова, — сказал тот.

Старик сомнительно покачал головою.

— Нет, не напрасно, — сухо и отрывисто пробурчал он в ответ.

— Не напрасно?.. Но на чем же вы основываете ваше убеждение? Или все еще по-прежнему на ясновидении каком-то?

— На ясновидении, — решительно подтвердил Морденко, — Господь Вседержитель через ясновидение ниспослал мне это откровение среди сна полунощного.

«Эге, да ты, батюшка, видно, и в самом де-

ле тово... тронувшись», — подумал следователь, оглядывая старика тем пытливо-любопытным взглядом, каким обыкновенно смотрим мы впервой на сумасшедшего человека. Морденко тоже глядел на него с абсолютным спокойствием и уверенностью своими неподвижными глазами.

— Ввести сюда арестанта Гречку! — распорядился следователь, который для этого случая нарочно выписал его из Тюремного замка.

Вошла знакомая фигура и как-то смущенно вздрогнула, увидя совсем внезапно старика Морденку.

Иногда случается, что самые закоренелые убийцы не могут равнодушно выносить вид трупа убитого ими или внезапной, неожиданной встречи с человеком, на жизнь которого было сделано ими неудачное покушение.

Гречка на минуту смутился, обугрюмился и потупил в землю глаза. Морденко, напротив, пожирал его взорами, в которых отсвечивало и любопытство, и злоба к этому человеку, и даже легкий страх при виде того, который чуть было не отправил его к праотцам.

«Боже мой, Боже мой! — угрюмо мыслил старик в эту минуту. — Убей он меня тогда — и вся моя мысль, вся надежда моя, все тяжкие усилия и кровавые труды целой жизни — все бы это прахом пошло недоконченное, недовершенное... Вот он, промысел-то! Вот он, перст-то Божий невидимый!.. Господь помогает мне, Господь не покинул раба своего...»

— Ну, любезный, — обратился пристав к арестанту, — расскажи-ка теперь вот им все дело по истине, как намедни мне рассказывал.

Гречка поморщился да брови нахмурил и затруднительно почесал в затылке.

— Нет, уж слобоните, ваше благородие!

— Почему так?

— Не могу, — с трудом проговорил Гречка.

— Почему не можешь?

— Да как же, этта... Вы — совсем другое дело, а тут... Нет, не могу, ваше благородие!

— Ну, полно кобяниться-то! Не к чему, право же, не к чему!

— Претит мне это, словно бы жжет оно как-то... Больно уж зазорно выходит, ваше благородие, да и незачем. Не травите уж чело-

века понапрасну, оставьте это дело! — взволнованно сказал Гречка.

— Да вот, вишь ты, старик-то у нас не хочет верить, что Вересов тут ни в чем не причастен, — объяснил ему пристав, — все говорит, что он злой умысел вместе с тобой держал на него. Может, как от тебя самого услышит, так поверит авось. Вот зачем оно нужно.

Гречка крепко подумал с минуту, как будто решаясь на что-то, и все время упорно смотрел в землю.

— Нда-а, этта... статья иная, — процедил он сквозь зубы и, быстро встряхнув головою, сказал — словно очнулся: — Извольте, я готов, ваше благородие!

И он рассказал Морденке все дело, попрежнему не путая настоящих соучастников, но зато не упуская и малейших подробностей насчет того, как выслеживал он старика от самой церкви до ворот его дома, как подслушал в двух-трех шагах разговор его с сыном, как встретился с тем внизу на лестнице, затем — весь дальнейший ход дела и все побуждения да расчеты свои, которые заставили его впутать в уголовщину «неповинную душу».

Морденко слушал, то подымая, то опуская свои брови и с каждой минутой становясь все внимательней к этому новому для него рассказу. По всему заметно было, что на его душу он производит сильное и какое-то странное впечатление.

— Видишь ли ты, старый человек, что я скажу тебе! — обратился уже непосредственно к нему Гречка, одушевленный своим рассказом и впервые заглянув прямо в глаза Морденки, отчего тот сразу смущенно потупился: взгляд у арестанта на эту минуту был недобрый какой-то. — Видишь ли ты, — говорил он, — мыслил я сам в себе, что ты человек есть, что кровь да сердце взбунтуются в тебе по родному детищу: болит ведь оно, это детище, не токмо что у человека, а почитай и у собаки кажинной — и та ведь, как ни будь голодна, а своего щенка жрать не станет. А ты сожрал: под уголовную единоутробу свою подвел. А я думал, ты дело потушишь. Нехороший ты, брат, человек, и оченно жаль мне, что не удалось тогда пристукнуть тебя на месте!

Морденко заежился на своем месте и часто

заморгал глазами; ему сделалось очень неловко от жестких слов арестанта, которого следователь остановил в дальнейшем монологе на ту же самую тему.

— Да что, ваше благородие, коли петь песню, так петь до конца! — махнул рукою Гречка, и по окончании рассказа был уведен из камеры.

После его ухода Морденко почти неподвижно остался на своем стуле и сквозь свои совиные очки глядел куда-то в сторону, как будто кроме него никого тут не было.

— Ну, что ж вы теперь на это скажете, почтеннейший? — как бы разбудил его пристав.

— Ничего, — отрицательно мотнул головой Морденко.

— Кажется, ясно ведь?.. А впрочем, и я еще постараюсь побольше несколько разъяснить вам. Присядьте-ка сюда поближе!

Пристав привел ему все те факты и соображения, которые могли служить в пользу невиновности Вересова. Старик слушал так же молча и так же внимательно — время от времени шевеля бровями своего черство-неподвижного лица.

— Так сын мой, стало быть, невинен? — раздумчиво спросил он после того, как следователь истощил все доводы.

— Я полагаю — так.

— Хм... Жаль, — произнес он в том же раздумье.

— Чего жаль? — изумился пристав.

— Жаль, что он не тово... не вместе... — пояснил Морденко.

— Как жаль?!.. Да вы должны быть рады!

— Я рад, — сухо подтвердил Морденко, по-прежнему глядя куда-то в сторону.

— Не понимаю, — пожал тот плечами.

— Я рад, — точно так же и тем же самым тоном повторил старик.

— А я его выпускаю на поруки, — объявил пристав.

— Зачем?

— Затем, что не надобно его даром в тюрьме держать.

— Хм... Как хотите, выпускайте, пожалуй.

— А вы желаете взять его на свое поручительство? — спросил следователь.

— Я?! — поднял Морденко изумленные взоры. — Я не желаю.

— Да ведь вы сами же видите, что он невинен?

— Вижу.

— Так почему же не хотите поручиться? Ведь вы, между нами говоря, отец ему.

— Отец, — бесстрастно подтвердил Морденко. — А ручаться не желаю. Человек и за себя-то, поистине, поручиться на всяк час не может, так как же я за другого-то стану?..

Он думал про себя: «Взять на поруки — значит, при себе его держать, кормить, одевать да еще отвечать за его поведение... Да это бы еще ничего — кормить-то, а главное — теперь он с разным народом в тюрьме сидел, верно вконец развратился... Если тогда был невинен, то теперь убьет, пожалуй... И мое дело, вся надежда жизни моей пропала тогда... Все же он — барская кровь... барская... Нет, уж лучше Господь с ним и совсем! Пускай его как знает, так и делает, а я сторона!.. Я — сторона».

И старик, в ответ на свою тайную мысль, замахал руками, будто отстраняя от своего лица какое-то привидение.

— А видеть его хотите?.. Он здесь ведь, у

меня, — предложил ему следователь.

Морденко подумал, поколебался немного и отрывисто ответил:

— Не хочу.

И откланялся следователю, боясь втайне, чтобы не встретиться как-нибудь с Гречкой или, что ему еще хуже казалось, с сыном.

— Господин Морденко убедился, кажется, что вы невинны, но отказался взять на поруки, — объявил пристав Ивану Вересову, когда тот был приведен к нему. — Если хотите выйти из тюрьмы, ищите себе поручителя.

Арестант вскинул на него радостно-благодарный взор и молча поклонился.

LII
ФАРМАЗОНСКИЕ ДЕНЬГИ

Но недолга была радость Вересова. Где и как найти ему поручителя? Да и кто захочет брать на свою шею такую обузу? Вересов очень хорошо знал, что масса нашего общества весьма склонна смотреть с дурным предубеждением на человека, сидевшего в тюрьме, не разбирая — виновен ли он или невинен; одно слово — в тюрьме был, — и баста! — этого уже довольно для составления известного приговора. Да и, кроме того, ему решительно не к кому было обратиться. Теперь он начинал чувствовать себя одиноким более, чем когда-либо, более, чем в тюрьме: там у него была хоть одна крепкая, надежная душа человеческая, был честный друг и товарищ — Рамзя, — а на воле что ему оставалось?

И все ж таки хоть и бессознательно, а почему-то хотелось на волю...

Грустно сидел он в арестантском ящике, называемом тюремным фургоном, который

имеет назначение возить заключенных из тюрьмы и обратно, на следствия, суд и к экзекуции. Против него помещался Гречка, а обок с ними еще два арестанта.

— Ну, малец, ты меня прости, что я маленько тово... поприпер тебя, — откровенно обратился он к Вересову, — я же зато и выпутал, а ты не гневися. Что ж делать! Так уж случилось: линия!..

— Я не сержусь... Господь с тобою, — кротко и просто ответил Вересов.

— Ну и спасибо! На нашего брата ведь что сердись, что не сердись. Сердит да не силен, говорится, так знаешь — чему брат? А по мне, хоть и силен, все равно наплевать!.. А ты, друг, лучше вот что скажи: тебя на поруки отпущают?

— Да, на поруки.

— А батько-то, слышно, отказался!

Вересову не хотелось распространяться насчет отца, и поэтому в ответ он только коротко кивнул головою.

— Ну, значит, надо нанять поручителя, — заметил Гречка.

— Как это нанять? — спросил его Вересов.

— Ах ты, простота простецкая!.. Обнаковенно как! — подсмехнулся тот. — Как завсегда промеж нас творится — за деньги.

— Да где ж его взять-то? Я никого не знаю.

— А зачем тебе и знать? Этого вовсе не требуется. Дай полтину в зубы приставнику либо подчаску — он тебе всю эту штуку мигом и обварганит.

— Да коли поручитель-то меня не знает? — возразил Вересов.

— Да и не к чему ему знать. Это уж такая ихняя прахтика; с того только и хлеб жуют.

— Да ведь много, пожалуй, заплатить придется.

— Фью! — презрительно свистнул Гречка, махнув рукою. — За три цалковых кого хошь возьмет, хоть самого Ланцова[387], а не то — сам Ванька Каин из гроба восстань — и от того не откажется.

— Нет, уж видно, в тюрьме придется досиживать! — вздохнул Вересов после грустного раздумья.

— Зачем в тюрьме?! — изумленно спросил его Гречка. — Аль уж она, сударушка, так полюбилась тебе?

— Где полюбиться! Денег нет, — признался Вересов.

— Эвона!.. Только-то и всего!.. Деньги отыщем! Деньги — дело нажитое, — утешил Гречка. — Да хоть я, пожалуй, дам тебе! Три с полтиной — куда ни шло! Больше не проси, потому — не дам: больно жирно будет, а три-то могу — значит, только чтоб на выкуп хватило.

Вересов поглядел на него с немалым недоумением. Его изумлял этот порыв великодушия в человеке, который принес ему столько зла и несчастий. Но к таким порывам иногда весьма бывают склонны непосредственные и — что казалось бы очень странным — глубоко и грубо испорченные натуры. В злодее цивилизованном и утонченном несравненно труднее отыскать признаки сердца и совести, чем в злодее грубом, простом и необразованном. Первый часто совсем теряет эти нравственные свойства, тогда как второй более бывает способен сохранить искру чего-то человеческого под грубой корой разврата и преступления. В непосредственном человеке чаще пробуждается и непосредственное челове-

ческое чувство. Таковы по крайней мере выводы из тех фактов, которые мне лично доводилось наблюдать в людях этого рода. И понятно, почему оно так бывает: простой, непосредственный человек делается жертвой преступления по большей части из трояких побуждений: либо это несчастная, психиатрически-врожденная наклонность, либо негаданный-недуманный прежде страстный порыв, либо же, наконец, экономические и социальные условия жизни и быта. Эти последние, к несчастию, служат наиболее частой, почти общей, характеристической причиной преступлений для задавленного, бедного и необразованного класса. Стало быть, если гнет да голод заставляют человека становиться преступным, то, по удалении той или другой причины, он бывает более, чем цивилизованный, утонченный негодяй, способен к порывистым возвратам хорошего человеческого чувства. Что же касается до негодяев цивилизованных, то читатель в течение нашего длинного рассказа, вероятно, мог уже уяснить себе, какие именно пружины чаще всего являются тут двигателем преступлений. Да и са-

мый характер-то преступления тут уж совсем иной, противоположный нищете и голоду.

Дело клонилось к вечеру, и на татебном отделении не ждали экстренных посещений какого-либо начальства. Поэтому камеры не были замкнуты и арестанты свободно могли переходить из одной в другую, в гости к товарищам — посидеть да покалякать час-другой, до вечерней поверки. Осип Гречка явился в камеру, где содержался Вересов, и направился прямо к нему.

— Вот тебе три с полтиной! Считай, верно ли? — сказал он, подавая три истертые бумажки вместе с крупными медяками.

Вересов стоял в замешательстве: ему не хотелось принять деньги, напоминавшие что-то вроде подаяния.

— Да ну, бери же, что ль! Не жгутся! — грубо сунул тот ему в руку.

— Да что ж ты мне это... Христа ради, что ли, — тихо возразил он смущенным голосом.

— Зачем Христа ради! по товариществу! — объяснил Гречка. — Сочтемся как-нибудь! Разбогатеешь — отдашь, а не отдашь — так и

сам, не спросясь, возьму темной ночью, да еще с процентой. Так ли, ребята?

— Так-то так, — согласился жиган, — да только — что ж это у тебя шальные деньги, что ли?

— Шальные не шальные, а даром нажитые: в трынку ономнясь выстукал.

— Верно, шальные, что непутно кидаешь, — продолжал Дрожин, — лучше бы плепорцию угощения на товариство выставил.

— Ну, уж путно ль, непутно ль — про то наше знатье! — оборвал его Гречка. — Это я мальцу взаймы: поруку ему надо нанять.

— А, ну это статья иная!.. А только все ж, надо полагать, деньги это у тебя, брат, фармазонские.

— Какие? — недоверчиво прищурился Гречка на жигана.

— Фармазонские.

— Это что ж такое значит?

— А ты и не знал? — поддразнил его Дрожин. — Эх вы!.. А еще матерыми ворами-убивцами туда же похваляются!

— Не слыхали, — неохотно и отчасти смущенно сознался Гречка, искоса как-то глядю-

чи в землю. Ему было досадно и на то, что жиган при всех пристыдил его, и на то, что не знает, какая, мол, это штука — фармазонские деньги. А любопытно бы доведаться!..

— А ты расскажи, коли знаешь, — предложил он Дрожину.

— А что дашь за сказ? Даром не стану.

— Чего тебе дать? Шишку еловую, что ли? Ты коли, значит, стар-человек есть и притом жиган, так ты молодым-то в поученье это скажи.

— Даром не стану, — подтвердил Дрожин.

— Ну! Верно, и сам не знаешь! Есть, мол, звон, да не весть, где он? Слыхали, значит, что бывают какие-то фармазонские, а какие такие — про то неизвестны.

Это замечание подстрекнуло старого жигана, который везде и во всем любил пощеголять своей опытностью и бывалостью.

— Ан врешь же вот, песий огрызок! — окрысился он на Гречку. — Видно, и в сам-деле учить вашего брата приходится! Это вот какие деньги, — начал он, окинув глазами всю камеру, — коли станешь ты на них что покупать али кому отдавать, так они сами со-

бою, значит, опять к тебе же в мошну вернутся.

— И скоро вернутся? — с живым любопытством перебил Гречка.

— Сразу же, как только отдашь. И моргнуть не успеешь, а они уж у тебя лежат: потому — сила в них нечистая, и раздобыться ими никак иначе не возможно, как только через тяжкое преступление: надо либо младенца убить, либо над мертвым, над покойником, значит, надругаться и ограбить его, либо святотатство какое ни на есть сделать. Тогда только человек достоин будет[388].

— А иначе никак невозможно? — спросил его Гречка.

— Невозможно! — с видом авторитета ответил Дрожин. — И добыть их все пути заказаны, акроме двух: либо убить того человека, который владает ими, либо через нечистую силу.

— Хм... Штука мудреная... — раздумался Гречка.

— Вот коим манером, сказывают, раздобылся ими один жиган савотейный! — продолжал меж тем старый Дрожин. — Есть та-

кая книга древняя, и писание в этой самой книге от халдейских мудрецов. Запечатана она семью печатями черными, и прозвание ей положено от Гога и Магога — «Сивила египетская», — так и прозывается. И есть на Белом море камень-алатырь, и под этот самый камень-алатырь заложил книгу ту император Пётра Первый. Как заложил, так и зарок положил, чтобы никто книгу ту *Сивилу египетскую* не достал; а достанет ее разбойщик разбойщицкой сын, который во младенческой утробе руки свои покровянит и крови той напьется, и тот разбойщик разбойщицкой сын будет и книгой той во век свой владать. Вот жиган-то прослышал про эту статью. Продрал он с палестин забугорных да на Белое море и нашел тот самый камень-алатырь, а на камне, видит, младенец сидит и ножик с образком в ручках-то держит. Жиган взял от него этот ножик и, как было по зароку заказано, пропорол ему младенческую утробу, руки окровянил и крови напился. Тут перед ним и камень-алатырь с места сдвинулся. Как сдвинулся, так ему книга и обозначилась. И вычитал он там писание насчет фармазонских де-

нег — как, то ись, раздобыться ими: рецепта, значит, такая приложена. Он так и сделал. Пошел на торжище и купил гусака. Что запросили за птицу, то сразу и дал без торгу. Принес гусака этого домой, печку распрежарко затопил и крепко давнул его за шею. Тот и задохся у него под рукою. Не ощипля, не обчистя, метнул его в печку-то и стал жарить. А в книге обозначено, чтобы жарить гусака до полуночи. Вот в самую полночь достал он это жарево смердячее из печи каленой и вышел с ним в поле на развал четырех путей. Сам стоит, а сам кричит: «Продается гусак продажный, цена — рубль запропажный!» Смотрит — по всем четырем путям — ат востока и ат запада, ат моря и ат гор идут к нему спешно четыре епишки — четыре эфиопа. Один давал гривну, другой алтын, третий полтину, а четвертый рубль. Страшно жигану стало, хоть сквозь землю провалиться, так впору бы, а сам, одначе же, помнит, что в книге прописано: «В эвдаком разе, мол, будь тверд, человече, а не будешь тверд — сила нечистая задушит тебя, как ты гусака задушил». Он и выдержал, значит, карафтер свой. Отдал жарево

за рубль и пошел домой, не оглянувшись и слова единого не промолвя. А нечистой силе, значит, хочется рубль-то вернуть; она и кричит ему вдогонку: «Продавал гусака живого, а продал мертвого! Зачем, значит, черта надул?» А жиган знал все это, потому — оно так в книге «Сивиле» прописано, и пришел домой цел и невредим, а рубль этот всю жисть его продовольствовал. Так вот таким-то манером добываются эти фармазонские деньги! Либо через гуся жареного, либо, коли уже ты знаешь, у кого они есть, то через тяжкое преступление, — с авторитетной поучительностью заключил Дрожин[389].

— А много ли таких рублев-то есть? — спросил его крайне заинтересованный Гречка.

— Да гуляют-таки по белу свету! В одной Расее, сказывают, на кажинную губернию по одному такому рублю полагается, да кроме того, не в счет: один на Архангельский город, один на Москву белокаменную, один на Питер да один на Нерчинской.

— Вот она, штука-то! — задумался Гречка. — А как же, то ись, распознать-то его? —

осведомился он.

— Распознать можно, потому примета на нем положена, — объяснил Дрожин. — Фармазонский рубль завсегда старинного чекану — еще от самого императора Пётры Первого. И сказывают, быдто на нем такая печать антихристова приложена, почему што и рубль-то этот с тех пор самых на свету появился, как в Перми али в Вологде, что ли, народился антихрист.

— Э, так вот как!.. А хорошо бы и в сам-деле раздобыться фармазонскими деньгами! — с какою-то лихорадочной мечтательностью воскликнул Гречка. — Ежели бы он да попался в мои руки, воровать бы повек закаялся; не стал бы больше, детям и внукам заказал бы, ей-богу!

Дрожин только головой мотнул на это да недоверчиво усмехнулся.

Гречка ушел из камеры под сильным впечатлением дрожинского рассказа. Целую ночь ему грезились фармазонские деньги, и наутро в горячей голове его, наряду с неугомонной мыслью о воле и побеге, гвоздем засела теперь еще новая мысль: как бы сделать

так, чтобы этим самым рублем раздобыться?

LIII
ОТПЕТЫЙ, ДА НЕПОХОРОНЕННЫЙ

В известную пору дня, этак от десяти утра до третьего пополудни, поблизости тюрьмы и около полицейских частей вы можете встретить на улице неизменно одни и те же личности. В одном месте — это какая-нибудь клинообразная, бойко-плутяжная бородка, в чуйке; в другом — известный небрито-усатый тип, с кокардой на красном околышке засаленной фуражки, с коим необходимо соединяется представление о «жене-вдове и шести сиротах мал мала меньше»; в третьем — вы непременно наткнетесь на подобный же тип, только другого оттенка: засаленный же вицмундир гражданский, с оборванными кой-где, болтающимися пуговками, такая же неумытость и небритие и такой же букет сивушного масла, имеющий свойство, подобно китайским *пачулям*, давать знать о себе за три, за четыре шага.

С десяти утра до третьего пополудни эти

господа, неизбежно как смерть, появляются в означенных местах и фланирующей походкой, мерно, степенно прохаживаются, на расстоянии сорока — пятидесяти шагов, по тротуару. Они уж тут как бы habitues[390] этого тротуара; проходит такой господин, например, мимо мелочной лавки — сидельцу поклон, как знакомому; проходит мимо распивочной — и кабачнику поклон, только еще втрое любезнее. А вот на углу стоит ходячий лоток с различною перекуской вроде печенки с рубцами да печеных яиц — с этим уж «притюремный» или «при-частный» фланер состоит в самых дружеских отношениях: походит-походит себе по тротуару и подойдет к рубцам — постоять, «передохнуть» да покалякать. Яйцо за копейку приобретет, методически, с наслаждением облущит его и кушает, промеж приятных разговоров.

— Что, как делами шевелишь? — осведомляются рубцы.

— Тихо, почтенный мой, тихо... — вздыхает причастный, — ни вчерасть, ни третьёвадни — сам, чай, видел, — ни единого не взял... не знаю, что нынче Бог даст.

— Дрянь дела! — равнодушно замечают рубцы. — Этак ведь, пожалуй, сапожишек больше задаром изшарыгаешь, чем делов настряпаешь.

— Всенепременно так, почтенный мой, всенепременно! — глубоко и грустно вздыхает в заключение причастный.

Вот вышел из части полицейский солдат; причастный, словно щука на карася, кидается за ним вдогонку.

— Михей Кондратьич, а Михей Кондратьич! — Он чуть ли не всю полицию знает по имени и отчеству. — Вы не за мною ли, Михей Кондратьич? — с переполохом ожидания допытывает причастный.

— Нет, не за вами... А что?

— Пожалуйста, почтенный мой, — причастный искательно приподнимает свою шапку, — уж ежели что... не поленитесь сбежать, кликните — я вот все тут вот и буду ходить.

— Ладно, пожалуй, мы выкликнем, — с благосклонным достоинством соглашается вестовой следственного пристава.

— А уж после присутствия, ежели нынче

Бог милость свою пошлет, — позвольте просить на пару пива! — заманивает причастный.

— Могим и на эвтот сорт... отчего же! — снова соглашается полицейский, уходя по своей надобности.

Причастный еще раз искательно берется за козырек, еще раз сокрушенно вздыхает и по-прежнему принимается неторопливо шагать по тротуару.

Все эти господа «при-частные» и «при-тюремные» фланеры суть непосредственное порождение наших судов и следствий. Это — наши присяжные свидетели о чем угодно (плата — смотря по важности) и поручители за кого угодно (плата — тоже смотря по важности и обстоятельствам).

Иные из них, завидя утром подходящего субъекта (нюх такой уж есть у них), который подъезжает к воротам частного дома, стремительно направляют к нему шаги свои и с подобающей таинственностью предлагают:

— Не нужно ли вам свидетеля, милостивый государь? Могу быть к вашим услугам.

Ежели подходящий субъект обладает из-

вестною гибкостью относительно осьмой заповеди, как известно, воспрещающей послушествовать на друга своего свидетельство ложно, то он соглашается на любезное предложение причастного и, отправляясь с ним в первый трактир или пивную, излагает подробно обстоятельства, о коих надлежит свидетельствовать, — за известный гонорар, конечно.

При выходе же подобных субъектов из частного дома причастный точно так же является с предложением своих услуг:

— Не требуется ли, милостивый государь, прошеньице изобразить, или отзыв какой-либо, или протестацию? Позвольте рекомендоваться, к вашим услугам!

И, в случае согласия, точно так же отправляются вместе в пивную, где причастный давно уже пользуется ролью завсегдатая — своего, домашнего человека — и, удалившись в отдельную, уединенную комнату, принимается строчить по заказу. В этом занятии обыкновенно проходит почти весь остальной день причастного, по окончании утреннего фланерства у полицейского дома.

Полицейским и особенно тюремным солдатам очень хорошо известно место жительства этих поручителей, которые обыкновенно стараются приютиться где-нибудь поблизости тюрьмы или части, так что в случае надобности, не отыскав поручителя ни на тротуаре, ни в пивной, солдат бежит уже прямо к нему на квартиру: «Пожалуйте, мол, ручаться!»

Около одной из частей похаживал обыкновенно в качестве такого причастного красноносый старичонко в беспуговном вицмундире и старенькой камлотовой шинели. Какова бы ни стояла на дворе погода — июльский ли зной, осенний ли дождик или крещенские холода, — вы неизменно могли бы встретить коричневую шинелишку с теплой котиковой шапкой, из-под которой пробивались жидкие космы желтовато-серых волосьев. Старичонке этому стукнуло уже под семьдесят лет, но для таких преклонных годов он был еще достаточно бодр телом и еще бодрее духом, особенно когда, бывало, хватит известную дозу очищенной; неподвижно-рыбьи тусклые глаза его отличались необыкновенной зорко-

стью и наметкой угадывать алчущих и жаждущих писания крючкотворных прошеньиц, свидетельства ложна, поручительства и тому подобных предметов.

Это ходячее memento mori[391], своего рода «вечный жид» Съезжинского тротуара, уже более двадцати лет появлялся на своем тротуарном посту, где он был именно как смерть неизбежен, и вечно в одном и том же, неизменном ни при каких обстоятельствах, костюме. Время от времени он менял тротуар одной части на другую, другой на третью, третьей на четвертую и, по прошествии известного периода, опять появлялся на прежнем месте. Впрочем, для него в течение столь долгого и неуклонного служения одному и тому же делу все подобные места равно могли показаться прежними и давно нахоженными.

Прозвание этому старичонке было «отпетый, да непохороненный», а имя, отчество и фамилия — Пахом Борисович Пряхин. Он уже отчасти известен читателю, который познакомился с ним еще в «Ершах», в знаменитой «квартире для трынки и темных глаз», где Пахом Борисович Пряхин в то время занимался

невинной фабрикацией фальшивых видов и паспортов и снабдил подобными же Казимира Бодлевского, тогда еще граверского ученика, и горничную княжны Анны Чечевинской Наташу — ныне блистающую баронессу фон Деринг. Хотя с тех пор над «отпетым, да непохороненным» Борисычем пронеслось двадцать годов с лишком и хотя эти годы попригнули-таки его немножко к земле, ожелтили и повыщипали волосы да неподвижно как-то орыбили глаза, однако Пахом Борисович Пряхин по духу своему остался все тем же отпетым, да непохороненным человеком и как воспоминание о былых временах, как символ неизменности своим вечным симпатиям и привычкам сохранил свой нос сизовато-клюквенного колера вместе с обычным «приношением посильной пользы страждущему человечеству».

Лет пятнадцать прошло уже с тех пор, как Пахом Борисыч покинул навсегда свою выгодную фабрикацию видов. Почувствовал он, по преклонным годам своим, некоторую привязанность к месту, к родному городу Петербургу, в котором он уже так давно и так проч-

но оселся, и не захотелось ему ради выгод мирских заниматься рискованной подделкой, за которую, пожалуй, пришлось бы переменить место жительства и отправиться на колонизацию стран зауральских. Стар стал Пахом Борисыч и возжелал покою, возжаждал более мирного бытия, а потому и переменил прежний род деятельности на более спокойный, менее рискованный и приличествующий его летам и званию. Нельзя сказать, чтобы и до сего окончательного решения он не занимался тем же: нет, Пахом Борисыч и в те времена еще точно так же похаживал по тротуарам около съезжих домов в качестве «причастного» фланера и точно так же строчил прошеньице да брал на поруки, чему много благоприятствовали также и тогдашние приватные занятия его в конторе квартального надзирателя; но, собственно, пятнадцать лет назад он составил себе уже окончательное решение посвятить свою жизнь и мирные, спокойные занятия на посильное служение страждущему человечеству в качестве «причастного строчилы и поручителя». К этому, для окончательной полноты сведения о Пахо-

ме Борисыче Пряхине, мы должны сообщить и то обстоятельство, что Пахом Борисыч Пряхин был родителем достаточно уже известной читателю особы, Александры Пахомовны, или Сашеньки-матушки, quasi[392] тетушки господина Зеленькова и неизменно верной агентши генеральши фон Шпильце. Впрочем, Сашенька-матушка никакого уважения и дочерних чувств к родителю не оказывала, даже не при всяком случае и не при всяком постороннем человеке «тятинькой» удостоивала назвать его, и еще в лета своей юности прогнала с квартиры, на том основании, что к ней «благородные кавалеры приезжают, а тятинька очинно уже безобразен и только в конфуз ее вводит». Тятинька вздохнул, связал свой узелок и, завернув в первый же кабак, хотя и слезно, однако смиренно покорился горестной своей участи. С тех пор он только в случаях крайней нужды являлся «к барышне» и робко выпрашивал у нее гривенничек «на баньку» да коли милость будет — чаишком грешным утробу попарить. Сашенька-матушка морщилась, ругала на чем свет стоит родителя и на гривенники далеко не

всегда раскошеливалась.

Так протекли дни отпетого, да непохороненного Пряхина, и таковы были отношения его к дочери.

LIV
ВЕРЕСОВ НА ВОЛЕ

— Что же мне делать теперь с этими деньгами? — в смущенном раздумье и не зная, на что решиться, спросил Вересов Рамзю.

— Возьми их, непременно возьми! — с убедительной положительностью присоветовал Рамзя. — Это он грех свой против тебя чувствует, совесть в нем завопияла, так он хоть чем-нибудь хочет помириться с нею, хочет, чтобы ты злости на него не питал. Значит, эти деньги надо принять, — заключил Аким, — потому — примирить человека с совестью его — это, брат мой, великое есть дело христианское.

— Да на дело-то такое дал... почти что на обман, — еще смущеннее возразил Вересов.

Рамзя весьма серьезно углубился в минут-

ную думу.

— Хм... на обман... — тихо заговорил он среди своего раздумья. — Человеку ведь воли хочется... нельзя, чтобы каждый человек первее всего воли себе не хотел... Апостол-то что говорит? «Идеже дух Господень, ту свобода». А кто есть сосуд духа Божия? Где духу Божию приличествует пребывать? В разуме, в сердце, в душе человеческой, брат мой!.. Посему, выходит, человек, а наипаче того христианин, первее всего к воле, к свободе должен устремляться.

И Рамзя на минуту снова погрузился в свое раздумье.

— Обман... в чем же обман?.. Отец твой, Бог ему судья, отказался ни за што от сына единокровного... Ты человек неповинный — таково ведь и судия твой следственный мыслит о тебе; сам же он сказал тебе: «Ищи, мол, по себе поручителя». У тебя нет ни друга, ни ближнего, ни знаемого, к кому бы ты мог обратиться в нужде своей и в печали — «коиждой сам о себе да промыслит». Ну и промысли!.. Ведь ты не убежишь, не уворуешь и зла ниже какого не сделаешь, а будешь же ведь

мирно да тихо жить на воле — поручителю через свое озорство тоже зла не принесешь нимало; отчего ж тебе и не нанять его?.. Дело полюбовное, добровольное... Обман... хм... обман, друже мой, там, где человек через обман зло творит себе и ближнему! — с силой искреннего убеждения заключил Рамзя.

Вересов крепко задумался. Он был побежден своеобразной логикой Рамзи, слова которого дышали такой энтузиастической верой и убеждением, да притом воли-то вольной уж больно сильно хотелось ему — и он решился.

Выписав на клочке бумаги свое имя и звание, он вручил его, вместе с полтинником, тюремному солдату и объяснил свою надобность.

— А в какой части дело-то? — спросил тот.

Вересов назвал.

— То-то!.. это надо знать, потому — поручитель допрежь того в часть должен объявиться о желании своем. Ладно, будет сделано! — утешил его тюремный воин и в тот же день, улучив удобную минуту, смахал к Пахому Борисычу Пряхину.

— Арестант-то бедный или богатень-

кий? — осведомился поручитель.

— Голяк! — махнул рукою воин.

— Э, брат, это, выходит, игра свеч не стоит!

— Чего не стоит!.. Деньги все едино получите: три-то рубля на улице ведь не валяются.

— Да что... Кабы он богатенький был, так можно бы этак взять, через месяц отказаться: не ручаюсь, мол, по неблагонадежности.

— Да на што же это?

— А на то, что он тогда опять заплатит, только не отказывайся, значит. Этак бы и тянуть с него оброчек за каждый-то месяц.

— Так-с, губа-то у вас не дура, да все же это не рука нам. Коли не хотите, так и не надо: к другому пойду. Вашего брата ведь довольно шатается! А от такого арестанта никто не откажется, потому — человек он смирный, обиды от начальства уж за него-то не наживешь. Это верно.

Пряхин опешил от столь крутого поворота и тотчас согласился, на том основании, что три рубля и в самом деле на улице не валяются.

Дня через четыре Вересову приказали сдать казенное серое платье, взамен которого

выдали ему из цейхгауза его собственное, и тюремный фургон в последний уже раз отвез арестанта к следственному приставу.

— Который из вас тут на поруки-то просится? — таинственно и украдкой спросил Пахом Борисыч, когда конвойный привел Ивана Вересова, вместе с другим подследственным, в прихожую следственной камеры.

— Я... А что?

— Приятно познакомиться... Я — твой поручитель: господин Пряхин, губернский секретарь в отставке. Деньги-то теперь заплатишь мне, что ли?

— Не давай теперь, — толкнул подследственный локтем своего острожного сотоварища, — это, брат, стрикулист, возьмет, пожалуй, да и поминай как звали, а он пущай прежде поручится, тогда и отдашь.

— Ишь, тюремная крапива... — злобственно прошипел поручитель, отходя в сторону.

— Эва, как окрысился! Верно, в самую центру попал! — самодовольно ухмыльнулся подследственный.

Четверть часа спустя Пахом Борисыч дал подписку в поручительстве и вместе с осво-

божденным Вересовым спустился с лестницы частного дома.

— Ну, давайте же теперь условленное! — нетерпеливо остановил он внизу своего поручейника, вдруг меняя с ним *«ты»* на *«вы»*.

Тот с благодарностью отдал ему деньги.

— Хи-хи-хи... — слюняво и с присвистом засмеялся старичонко, ощущая необыкновенную приятность при виде ассигнации. — А если бы вы мне не отдали, я бы сейчас вернулся и отказался бы от поручительства. Хи-хи-хи... так-то-с!.. А теперь — вот вам для памяти адрес мой, для того, что если вы себе изберете место жительства, то немедленно уведомьте: я должен это знать на всякий случай.

Вересов обещал ему.

— Ну-с, желаю наслаждаться всеми благами, — приподнял старичонко свою котиковую шапку. — Смотрите же, не обидьте меня, старичка беспомощного! Я, по христианскому чувству, сжалился над вами, потому — это мой долг, в некотором роде для души спасения... посильная помощь страждущему человечеству... ну и... прочее... Так уж вы, пожалуйста, обитайте себе смирненько, тихенько,

богобоязненно, чтобы меня тово... под ответственность как-нибудь не подвести. Прощайте-с!

И они разошлись в разные стороны.

Вересов радостно вздохнул полною грудью, когда наконец остался один — один совершенно. Он только теперь почувствовал свободу. Не в силах сдержать широкой радостной улыбки, пошел он без цели, куда глаза глядят, и пошел таким твердым и быстрым шагом, как будто его подталкивала и влекла какая-то сверхъестественная сила. Ему весело идти, куда хочет, идти без отчету, по своей собственной воле, весело ощущать даже самое это движение, глядеть на свободные, здоровые лица встречных людей, окунуться в этот водоворот уличной жизни и совсем потеряться, исчезнуть в нем. На каждую улицу, на каждый дом он глядел теперь как на нечто новое или как на старинного своего друга, с которым бог весть сколько времени не видался. А и времени-то, в сущности, немного ведь прошло с тех пор, как арестовали его, — не более какого-нибудь месяца; но как, однако, в этот месяц изменился Вересов, как его при-

шибла и принизила недобрая доля!.. Теперь это были первые минуты, когда он забылся, под обаянием радостного, счастливого чувства свободы. Он все шел и шел, улыбался и глядел на все такими любопытными глазами, будто жаждал наглядеться на весь мир Божий, и весь этот мир Божий желая обнять, как брата, радостно кинуться ему навстречу и любить, любить его крепко и много... Но усталость наконец взяла-таки свое. Вересов остановился и огляделся вокруг. Присесть хочется — негде присесть, надо идти поневоле. Голод почувствовал — нечем утолить его... в кармане ни копейки, а даром есть не дадут... Жаль тюрьмы: там была своя койка и щи-серяки тоже были. Здесь теперь — воля, и нет ни того ни другого.

Он опять пошел без цели, только уже не так радостно и быстро, как за несколько часов перед этим.

Начинало темнеть; по улицам фонари зажигались. Тысячи роскошных, блестящих магазинов заблистали газовыми огнями. Вон целый ряд фруктовых и бакалейных лавок, сквозь стекла которых так вкусно и заманчи-

во глядят всевозможные роскошные снеди: сыры, копченое, жирные пате и маринады, а там — ананасы да кустики земляники в горшочках да фрукты разные. «Хорошо жить на свете!» — с горькой улыбкой промелькнуло в голове Вересова, когда остановился он перед соблазнительным окном такой лавки и долго рассматривал все эти вкусности, один вид которых голодно поводил мускулы его губ и щек и сдавливал скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемые волчьим аппетитом. Вересов стоял, глядел и дрогнул на ветру; а голод меж тем все сильнее и сильнее начинал донимать его. По улицам проносилось множество экипажей. Сыны Марса в белых и красных шапках и привилегированные сыны биржи да изящных салонов в бобрах и соболях гнали во весь дух своих статных рысаков, стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга и паче того — обогнать какую-нибудь блестящую камелию, которая, с шиком закутавшись в богатую чернобурую медвежью полость, нагло мчится сломя голову, развалясь в своем экипаже.

В воздухе становилось холоднее — к ночи,

должно быть, добрый морозец станет, а у Вересова пальтишко одним Божьим ветром подбито... Остановился он посреди тротуара и с мутящей, голодной тоской огляделся во все стороны. Куда ж идти, что делать, где приютиться, где обогреться ему? Идти — куда хочешь, а приютиться... тоже где хочешь: город велик и пространен.

Голодный человек почувствовал ужас. Среди этого шума, блеска, движения и многолюдства — он одинок и бессилен... И ему почудилось, что этот пышный город — его холодная, суровая могила.

LV

ФЕМИДА НАДЕВАЕТ ПОВЯЗКУ И ПОДНИМАЕТ СВОИ ВЕСЫ

В зале одного присутственного места, обстановка которого была украшена всеми атрибутами современной Фемиды, где меч заменяется гусиным пером, гири весов — пудами исписанной бумаги, хранящейся в виде дел по судейским шкафам, а достославная повязка... Впрочем, одни говорят, будто повязка осталась та же самая, а другие сомневаются, чтобы она когда-либо существовала на глазах суровой богини. Итак, в зале, украшенной атрибутами современной Фемиды, заседал ареопаг ее верных жрецов и обслуживал некое уголовное дело. Называлось оно «Делом о покушении на жизнь гвардии корнета князя Шадурского, учиненном женою московского почетного гражданина Юлией Николаевной Бероевой».

— Дело сомнительное, — заметил, пожевав губами, один из членов.

— Вы находите? — возразил другой, кото-

рый был неизмеримо солиднее первого, и при этом авторитетно вскинул на него юпитеровские взоры.

— Полагаю, так.

— Почему же, любопытно знать?

— А хотя бы свидетельство мужа ее, который сообщил о дворнике... Дворник-то ведь показал бы иное.

— Нда-с, то-то вот и есть, что показал бы, — победоносно прервал Юпитер, — но в деле такого показания нет; дворник давным-давно умер-с.

— Это-то странно: смерть накануне дачи показания, — диспутировал первый.

— Воля судеб, провидение! — пожав плечами, фаталистически поникнул головою второй. — Опять же странного ничего нет: дворник был пьяница и, как видно из медицинского осмотра, умер скоропостижно от опоя, а пьяницу можно и подкупить... Наконец, чье же свидетельство должно быть больше принято во внимание: акушерки ли и прочих лиц или какого-нибудь дворника?

— Да, может быть, и дворник был бы столь же достоверно законный свидетель?

— Допустим, хотя в этом случае мы толчем воду в ступе, — соглашается Юпитер, — но статья 33-я второй книги Законов уголовных гласит, что при равной степени достоверности законных свидетелей, в случае противоречия их, судья должен давать преимущество: мужчине перед женщиною, знатному перед незнатным, ученому перед неученым и духовному перед светским. Заметьте-с, милостивый государь: знатному перед незнатным — стало быть, тут и говорить не о чем. Акушерка имеет дипломы — значит, и знатнее, и ученее какого-нибудь пьяницы дворника. Притом же свидетельство одного не может считаться полным и удовлетворительным, если на него не ссылаются обе противные стороны.

— Но Бероева слишком упорно стоит на том, что она защищалась только от насилия, — ответствовал между тем первый.

— Гм... изнасилование!.. — ухмыльнулся солидный жрец Фемиды. — На теле ее боевых знаков не оказалось — это одно. А второе — какое же тут может быть насилие, если она сама, и притом собственноручным письмом,

вызывала Шадурского в маскарад да потом поехала с ним ночью в ресторацию, в отдельный кабинет? Помилуйте, что это вы говорите!.. И потом эта выдуманная история о ребенке, оговор посторонних лиц, которые ее и в глаза-то никогда не видали, — продолжал солидный чиновник, — все это, по моему мнению, есть не что иное, как желание сорвать с богатенького князька изрядненький кушик — она же, притом, женщина далеко не достаточная; не удалась удочка с ребенком — так давай, мол, поддену его на насилие, авось на мировую пойдет да за бесчестие заплатит, чтоб отвязаться от суда и следствия, по крайней мере других побудительных нравственных причин я не усматриваю... Барынька-то, видно, не промах. Да-с, тут был своекорыстный расчет, — заключил авторитетный жрец Фемиды, — а по смыслу 343-й статьи той же книги сила улик умножается, когда обвиняемому от совершения преступления могла последовать прибыль.

— Но это ведь только ваши личные соображения, — заметил спорщик, принадлежащий к числу еще неопытных служителей богини.

— Допустим и это, пожалуй, — великодушно согласился опытный, — но и одних голых фактов достаточно для полного обвинения: во-первых, подсудимая найдена на месте преступления, с орудием в руке; во-вторых, есть законные свидетели; в-третьих, медицинское свидетельство утверждает, что раны были нанесены именно острым орудием, и притом одна из них всего только на полдюйма от сонной артерии, стало быть, могла иметь весьма серьезные последствия и даже самую смерть. Будь эти раны нанесены в руку, в ногу, в лицо — их можно было бы отнести к разряду увечья, но рана в грудь и в горло, на полдюйма от сонной жилы, в которую орудие не попало, быть может, только вследствие неверного удара, тогда как самая близость к этой жиле показывает намерение ударить именно в нее, — все это, по моему убеждению, должно быть рассматриваемо как покушение на убийство. Наконец, подсудимая и сама не отпирается от своего преступного действия, только выставляет в оправдание причину, ничем не доказанную; на очных же ставках ровно никого не могла уличить — все это, как

хотите, вполне доказывает ее полную преступность и притом умысел.

— А нравственное убеждение следователя? — попытался еще раз возразить ему спорщик, окончательно побитый на всех пунктах.

— Следователь, как видно, еще порядочный молокосос! — тоном безусловного приговора ответил солидный муж и при этом с достоинством поправил на шее регалию. — Ему бы, по-настоящему, надо за это порядочный выговор сделать... Нравственное убеждение... Закон не спрашивает от следователя его личного нравственного убеждения; закон требует, чтобы он исследовал только факты и обстоятельства, каковые бы и представлял, а нравственного убеждения ему, по-настоящему-то, и по закону не полагается.

— Однако, господа, что ж это мы все болтаем! — заключил он через минуту. — Дело-то ведь не ждет — у нас еще вона какая кипа накопилась!

И приговор подсудимой через час уже был составлен.

LVI
ВЫЧИТКА РЕШЕНИЯ

Прошло уже несколько месяцев, а Бероева все еще содержалась в тюрьме, не зная и не ведая, как идет ее дело. Сказано ей было только, что пошло уже в суд, на решение. Раза два и ее вытребовали туда для дачи показаний, но это ни на каплю не подвинуло дела в ее пользу, потому что с ее стороны были одни только голословные, бездоказательные показания, а со стороны ее противников — и значение, и вес и, паче всего, хитрая механика Хлебонасущенского. Впрочем, на это дело она давно уже безнадежно махнула рукой, покорясь своей участи — какова бы она ни была и что бы там ей ни предстояло впереди. В ней теперь неисходно жила одна только мысль, одна болящая дума о муже да о детях.

Но о судьбе мужа — ни слуху ни духу, и за все это время ни одна строчка от него не доходила до арестантки, так что жив ли, сослан ли он или бесследно исчез, умер — для нее оставалось ничем не разрешимым вопросом.

Только из Москвы от тетки доходили к ней письма — с каракульками, которые постоянно вставляла в приписках ее дочь Лиза, начинавшая учиться писать. Каждое такое письмо стоило Бероевой многих нравственных мучений, тоски и слез, живо напоминая разлуку со всем, что было так дорого и свято в ее жизни; но каждое из них в то же время и поддерживало ее, придавая силы и решимость на дальнейшее перенесение своей темной доли: Бероева знала, что рано ли, поздно ли окончатся этот суд и тюремное ее заключение, освободят или сошлют ее — она, во всяком случае, соединится опять со своими детьми, будет жить с ними и для них, и эта мысль много поддерживала ее твердость своим ободряющим влиянием.

Был август в начале. До Бероевой дошли слухи, что дело ее скоро уже решится, и точно: незадолго после этого ее отправили, в обычно-тюремном ящике, который на тюремном argot[393] весьма характерно именуется «мышеловкой», выслушать решение.

У человека всегда как-то является невольный трепет перед той роковой минутой, кото-

рая должна навеки решить его дальнейшую судьбу. Но трудно бы вполне выразить то глухое чувство, которое испытывала Бероева с того самого мгновения, как только ей было приказано отправиться к «вычитке» решения. Оно охватывало ее все сильней и сильней, чем ближе подвигалась «мышеловка» к месту назначения. Там, в этом огромном доме казенной архитектуры, готово уже решение ее судьбы. Какое это решение? Освободят ли или засудят? Оставят в подозрении или сошлют?

«В подозрении... Нет, это — гнусное состояние для честного человека... Пусть уж лучше ссылают! — думалось арестантке, в то время как черный фургон подскакивал и трясся на жесткой, булыжной мостовой. — А дети?.. Мать — преступница... ссыльная арестантка... Нет, дети будут со мною — возле и всегда со мною! Дети потом узнают, виновата ли я была... Но этот несчастный ребенок — где он теперь? Где они спрятали, куда украли его и что с ним сталось теперь, что за судьба его?»

Целая вереница таких тяжелых мыслей отрывочно проносилась в голове подсудимой

женщины, но неотступнее всех остальных возвращался к ней все один и тот же вопрос: оправдают или обвинят? Она знала — почти наверное знала, что обвинят, и все-таки смутная надежда мгновеньями невольно закрадывалась в ее сердце: «А может, и оправдают?» Однако Бероева превозмогла эту надежду и нарочно не давала ей разыгрываться, нарочно старалась в возможно худшем свете представить себе грядущую судьбу, так что ею наконец безотчетно овладело даже какое-то суеверное чувство: «Не надо думать, что все окончится хорошо да счастливо, лучше думать на худое, тогда авось...»

И она не смела, она страшилась выговорить это ободряющее слово, потому что «всегда оно так случается, когда думаешь на хорошее, тут тебе судьба как будто нарочно худое-то и сделает». И бедная женщина, ввиду своего приговора, старалась убаюкивать себя такой суеверной и детски наивной мыслью, которую бессознательно порождало в ней чувство надежды. В подобном состоянии человек уже лишается возможности строго мыслить путем здравой и холодной логики,

потому что слишком трудно человеку разом помириться с не зависящей от его воли грозной развязкой своей судьбы — и он невольно поддается здесь инстинкту как бы самосохранения: «Никто же плоть свою возненавидит, но по природе питает и греет ее», — сказал еще более чем за тысячу лет мыслитель первых веков христианства.

В таком-то мрачном состоянии страха, ожиданий и суеверно-инстинктивной надежды поднялась Бероева на темноватую лестницу присутственного места. Сердце ее так сильно и часто колотилось, чуть не до дурноты, что ей пришлось, отшатываясь к стене или к перилам, останавливаться по нескольку раз на ступеньках, чтобы перевести дух и собрать свои силы. Она поминутно хваталась рукою за грудь, словно бы хотела сдержать и утишить это усиленное сердцебиение.

Конвой привел ее в прихожую, где обыкновенно, сидя на скамейках, арестанты ожидают, пока позовут их «на вычитку к открытым дверям».

Здесь пришлось дожидаться более часу, и в это время разные чиновники, несколько раз

по две, по три физиономии, высовывались в дверь либо же проходили мимо, с любопытством оглядывая привезенную арестантку и тихо перекидываясь между собою какими-то замечаниями, очевидно на ее счет и особенно насчет ее наружности, которая, несмотря на все невзгоды, перенесенные этой женщиной, все-таки оставалась еще как-то грустно, могильно-прекрасной... В это самое время Бероевой пришлось впервые испытать на себе то оскорбительное для нравственного достоинства человечества состояние любопытного, заморского зверька, на которого всякий считает долгом взглянуть, как на диковинку, — состояние, каждый раз испытываемое человеком в подобном положении. Чиновники знали и слышали про интересное дело Бероевой, и потому многим из них было весьма любопытно посмотреть на «интересную героиню» уголовного преступления.

Наконец ее позвали в присутствие, где сторож указал ей надлежащее место, а два конвойных солдата, с ружьями у плеча, стали по бокам арестантки. Это место приходилось как раз перед дверями, которые через минуту рас-

пахнулись, обнаружив в глубине другой комнаты большой стол под красным сукном с золотой бахромой и кистями, на столе — золотое зерцало с четырехкрылым орлом на верхушке, а вокруг сидят чиновники в мундирах с высокими, шитыми воротниками до ушей.

Обстановка торжественная.

Секретарь, в почти таком же мундире, взял со стола приготовленный заранее лист и остановился в открытых дверях, не переступая порога. Мотнув головою, чтобы оправить мешавший ему воротник, он откашлялся и торжественно-звучным, официальным голосом начал читать приговор подсудимой.

Этот приговор осуждал ее на лишение всех прав состояния и ссылку на поселение в Томскую губернию.

— Довольны ли вы решением? — форменно спросил секретарь по окончании.

Бероева взглянула на него взором, исполненным такой горькой иронии, на какую только и может быть способен невинный человек, которого ведут на плаху и спрашивают: нравится ль ему эта прогулка?

Она внятно ответила:

— Довольна.

— В таком случае подпишитесь — здесь вот, как требует закон, — предложил ей чиновник.

Арестантка подписала под диктовку поднесенную ей бумагу, но все это исполнила как-то машинально, бессознательно, потому что и мысли в голове, и ощущения на сердце начинали путаться и мешаться между собою.

LVII
НЕДЕЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЙ

По возвращении в тюрьму Бероева уже не видела более своих тюремных товарок: ее немедленно отделили от прочих и заперли в особый, секретный нумер, потому что она с этой минуты считалась уже «решенною», преступницей.

Одна из надзирательниц принесла ей Евангелие и объявила, что в эту неделю заключенная должна говеть, исповедоваться и причаститься перед предстоящим последним актом ее трагикомедии.

С этой минуты Бероева как будто перерро-

дилась. Надежды уже не было, но не было и слез и отчаяния. Постигшее ее горе было слишком тяжело и громадно для того, чтобы разрешиться ему слезами, воплями и напрасным сетованием на судьбу и людей: оно жило в ней, висело над нею как страшная свинцовая туча, которая, медленно надвигаясь со всех концов горизонта, как будто все опускается ниже и ниже, кажется — как будто вот-вот наляжет она на грудь земли и задавит ее собою; а между тем не разрешается грозою, и если уж разразится, то моментально, чем-то ужасным и неслыханным. Так было на душе Бероевой. Она как будто даже стала совсем спокойна, даже вполне владела собою, словно бы в нормальном человеческом состоянии; но это самообладание и спокойствие заключало в себе нечто гордое, роковое, непримиримое и грозное. При внимательном взгляде сделалось бы страшно за такое спокойствие.

Первым делом она выпросила себе бумаги и перо и написала всего только несколько слов:

«Снарядите обоих детей в дорогу; они идут со мною в Сибирь. Недели через три меня, уж

верно, привезут в Москву — пусть к этому времени они будут готовы».

Попросив об отправке письма, она уже никого и ни о чем не просила более, даже ни с кем не говорила все время. Когда по какой-либо надобности входили в нумер заключенницы, ее находили постоянно за чтением Евангелия; но читала она как-то машинально, безучастно к мысли этой книги, а так — потому что нечем больше наполнить бесконечно долгое, однообразное время. Приходили звать ее в церковь — она молча повиновалась, молча выстаивала службу и точно так же возвращалась оттуда в свою комнату, ни на кого не глядя, ни на что не обращая даже самого мимолетного внимания. Она только беспрекословно исполняла то, чего от нее требовала обычная формальность.

Наступил день исповеди — Бероева стала перед священником.

— Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужас твоего преступления? Раскаялась ли вполне и откровенно и всем сердцем и помышлением своим, чтобы быть достойною приступить к сему великому таинству? — ти-

хо сделал он вступление перед началом своего пастырского увещания.

Эти почти формальные в подобных случаях слова показались Бероевой величайшею иронией, какою только могла судьба издеваться над нею, и она не сдержала горькой усмешки, которая легкой тенью пробежала по ее лицу.

Священник, исполняя подобным вопросом только надлежащий приступ и потому с некоторой рассеянностью глядя на предстоящую арестантку, которых, быть может, не первая уже тысяча предстояла перед ним в точно таком же положении, не заметил ее горькой улыбки, но, взглянув на ее склоненную голову, счел это за утвердительный ответ и продолжал свое увещание.

— Надо надеяться на милость Божию... И разбойник на кресте сподобился, а мы, христиане, и того наипаче, — говорил он с благочестивым воздыханием. — Участь, предстоящая тебе, положим, и весьма горестна, однако же не печалься... Я, как пастырь, желаю дать тебе духовное утешение... Ты разрываешь ныне все узы с прошлою жизнью и перед нача-

лом жизни новой...

Бероевой стало невыносимо горько и тяжело.

— Да, батюшка, с этими людьми и с этою жизнью все мои счеты покончены, — прервала она, с печальным одушевлением вскинув на него свои взоры. — Что бы там ни ждало впереди — теперь все равно! К чему утешенья?.. Мне уж не надо их больше!.. Начинайте исповедь.

Священник поглядел на нее с удивлением, но, видно, в этих глазах сказалось ему слишком уж много замкнутого в самом себе горя для того, чтобы еще растравлять его каким-либо посторонним прикосновением, и потому, помолчав с минутку, он прямо уже начал предлагать ей обычные пастырские вопросы.

На другой день, перед обедней, арестантке переменили костюм: черное платье заменилось полосатым тиковым, в каком обыкновенно ходят «нетяжкие» заключенницы, для того чтобы она не причащалась в своем «позорном татебном капоте».

Два утра следовавших за сим двух дней Бе-

роева постоянно находилась в нервной ажитации. Она смело глядела в глаза грядущей судьбе, но страшилась единственно лишь последнего спектакля, не могла помириться с мыслью о том позоре, который неминуемо ждет ее на прощанье с покидаемой жизнью.

Каждый звук шагов, приближавшихся к ее двери, каждый поворот ключа в замке заставлял ее бледнеть и вздрагивать и холодеть, а сердце колотиться мутящей тоской ожиданья, но оба эти мучительных утра ей суждено было обманываться, и это наконец истомило ее так, что в ожидании следующего дня и тех же неизмененных ощущений она уже тоскливо спрашивала себя:

«Да скоро ли же наконец, скоро ли?.. Хоть бы кончали уже!»

После долгой и почти бессонной ночи для осужденной наступил и рассвет ее третьего утра.

LVIII
ПРОГУЛКА НА ФОРТУНКЕ К СМОЛЬНОМУ ЗАТЫЛКОМ

Во втором часу ночи на Конную площадь грузно ввалились три скрипучие телеги, наполненные грудою каких-то досок и бревен. Остановились посередине: рабочие люди стали скидывать на землю привезенный материал, а другие в это самое время на квадратном расстоянии вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукивание топоров да обухов, и кой-когда доносился до слуха сонного сторожа разный говор с восклицаниями то энергического, то веселого свойства.

— Ну, Андрюха, прилаживай чертохвост, прилаживай доски-ту! Что осовемши сидишь, словно тетерев какой? Работа ништо себе, веселая.

— Что в ей веселого!.. Все едино, как ни есть, а все она работа, значит.

— А тебе как?! Только бы в распивочной

насчет косушек работать бы? Ишь ты, персуля какая важная!

— Терентьич! Кобылу-то утверждать аль нет?

— Кобылу не для чего, потому пороть, значит, не будут, а только так, для блезиру одного, чтобы публике, значит, пример...

— А кого это, мужика аль бабу?

— Бабу, сказывали... Люблю я это, братцы!

— Хреста на тебе нету, что ли?.. «Люблю»!.. Эки слова-то говорит какие!

— А что ж, мы ничего, мы, значит, — слова как слова! Что ж дурного?..

— Да и хорошего ничего — спина, чай, некупленная!

— Чужая — не своя.

— Погоди маленько — может, когда и до твоей доберутся.

— А что ж такое? Мы, как есть, этта, одно слово, что ничево... И для меня тогда, значит, тоже амвон этот самый поставят.

Подошли мимоходом какие-то три неизвестные личности, вида полунощно-подозрительного. Подошли, остановились и на работу поглазели.

— Что это, братцы, строится?

— А нешто не знаете?.. Штука-то ведь, поди, чай, про вашего брата работана. Кому и знать, коль не вам!

— Да ты что ж лаешься? Ты говори, коль спрашивают!

— А что вам говорить?! Вы вот погуляйте поболе по карманам, может, и отведаете... Да ладно, отваливай отседова! Нечего вам тут! Ишь ты, мазура оголтелая!

Три полунощника отходят, весьма недовольные таким нелюбезным приемом рабочих.

— А может, и в сам-деле когда-нибудь достукаешься[394], братцы, до этого цирмуньялу? — раздумчиво замечает на пути один из них своим товарищам.

— Волков бояться, так и в лес не ходить! — откликается другой.

— А ты, ребята, вот что смекай: это дело нам очинно на руку. Толпа-то ведь большая будет — только не зевай да трекай бойчее, а работать граблюхами по ширманам вволю, значит, можно при эфтом случае — самое разлюбезное дело![395]

И три полунощника исчезают в темноте громадной площади.

— Ну, ребятки, теперича, значит, столбушку только приладить — и шабаш, совсем готово будет! — раздается голос рабочего среди звяканья и стука топоров; а в это самое время дежурный городовой обходит окрестные дома и оповещает дворников, что наутро «наказывать будут, так чтобы с каждого дома народу побольше, а коли нельзя, так уж хоть бы по одному человеку согнать на площадь — потому начальство велит, чтобы смотрели, значит».

Часа через два веселая работа была кончена; телеги, с тем же скрипом, рысцой удалились восвояси, и на пустынной площади, в передрассветном сероватом мраке, неясно чернеясь, осталась одна только безобразная масса эшафота.

В пять часов, на рассвете, дверь секретного нумера тихо отворилась, и в комнату осторожной походкой вошла с узлом в руках старушка надзирательница.

Ночник на стене тускло домигивал свой

огонек, едва боровшийся с беловато-серым колоритом утра, слабо проникавшим за решетки тюремного окошка.

Осужденная спала глубоким сном. Истомленный организм ее наконец поддался натуре: тяжелые мысли и черное горе, словно наболелая рана, ненадолго угомонились наконец после нескольких бессонных ночей, в этом опьяненном забытьи, которое одолело ее не более как за час до прихода старушки.

Подойдя на цыпочках к постели Бероевой, она остановилась в нерешительности и долго стояла над нею, глядя в сонное лицо своим бесконечно добрым и грустно-сострадательным взглядом. Ей было жаль будить ее.

«Спит... Пойди-ко, во сне и не чует, бедная, что уже все готово...» — подумала она, покачав своею старою головою, и тихо дотронулась до спящей.

Бероева вздрогнула и широко раскрыла испуганные глаза.

— Вставайте... пора... Уж там ожидают вас, — сказала Мавра Кузьминишна, кротко взяв ее за руку.

— Кто ожидает?.. Зачем?.. — смутно спро-

сила арестантка, позабыв и не разобрав еще со сна, какой смысл имеет этот приход в необычную пору.

Старушка смущенно насупилась, не находя, каким бы образом полегче и в каких именно словах объяснить ей наступившую роковую минуту.

Но Бероева все уже поняла. Еще не дальше как накануне вечером она так тоскливо желала, чтобы с ней поскорее кончали, чтобы не мучили ее долее этой неизвестностью и томительным ожиданием развязки, а теперь, когда наконец так внезапно наступила последняя решительная минута, ей вдруг сделалось страшно — в голове опять проснулся и беспощадно встал этот грозный призрак публичного позора, и она, усевшись на своей арестантской постели, затрепетала всем телом, нервически и сильно вздрагивая по временам и неподвижно уставя на опечаленную старушку свои помученные тоскливым ужасом и как бы совсем одурелые глаза.

— Брр... как здесь холодно... холодно... — болезненно-слабым голосом и словно бессознательно произнесла она, так что звук этого

голоса даже несколько испугал старушку: ей показалось, будто осужденная не то в горячке, не то помешалась.

— Нет, это вам так кажется, — заботливо поторопилась она успокоить ее. — Давайте-ка я вам помогу одеться — теплее будет... Я вот и платье вам принесла.

Бероева с помощью ее поднялась с постели.

— Вот вам чистая рубаха — надо уж непременно во все чистое одеться, — говорила старушка, помогая ей при этом эшафотном туалете, — вот умоемся сейчас — водица-то холодненькая, освежит немножко...

И Мавра Кузьминишна старалась как можно более разговорить осужденную, желая всем сердцем отвлечь и разбить посредством этого ее мрачные мысли. Бероева надела наконец «позорное» платье черного цвета — и туалет ее был кончен.

— Мне дурно... — через силу проговорила она со стоном и, мертвенно-бледная, опустилась на руки старушки.

Та усадила ее на кровать, суетливо подала напиться кружку воды да виски смочила.

Бероевой через минуту несколько полегчало.

— Тоска... Ах, какая тоска... Под сердцем гложет... — снова болезненно заговорила она, в изнеможении хватаясь рукою то за грудь, то за голову. — Страшно... страшно мне... О, если бы можно было умереть в эту минуту! Господи! Боже мой! Дай ты мне это счастье, пошли ты мне смерть! — истерически воскликнула она и тяжко зарыдала. — Мавра Кузьминишна!..

И с этим воплем арестантка, словно в предсмертной, метающейся тоске, поникла головою на грудь неотступно стоявшей перед нею старухи и обвила ее своими бессильными руками. Добрая женщина при виде такого раздирающего душу горя и сама страдала в эту минуту, хотя много и много раз на своем старушечьем веку доводилось ей снаряжать на эшафот осужденных. По щекам Мавры Кузьминишны неудержимо текли слезы, но она все-таки не переставала ободрять арестантку.

— Перестаньте, вы убьете себя, — сказала она ей решительно и строго.

— Да, убью!.. Я хочу убить себя! — с какой-то мрачной, полупомешанной восторженностью откликнулась Бероева.

— Опомнитесь: у вас есть дети... Грешно вам желать этого! — еще больше возвысила та голос, и эти слова, словно электрический удар, пронзили все существо осужденной. Она встрепенулась, быстро обтерла свои слезы и выпрямилась с необыкновенно энергической решимостью.

— Так!.. Да, это правда — спасибо вам, — сказала она голосом, которому усиливалась придать все возможное спокойствие, и с благодарностью посмотрела в глаза старухи.

— Добрая моя!.. Да вы плачете! Вам жаль меня?.. Мавра Кузьминишна, вы — честный, хороший вы человек! Вот все, чем могу отплатить вам за это...

И она крепко пожала ей руки.

— Ну, теперь я спокойна... Пойдемте, Мавра Кузьминишна, — я готова.

Арестантка сделала несколько твердых шагов к своей двери, но перед нею замедлилась.

— Впрочем, нет, — промолвила она, воз-

вращаясь, — простимся прежде... Вы мне были здесь и другом, и матерью. Благословите меня.

И старушка медленно и набожно стала осенять крестным знамением ее благоговейно склоненную голову.

Бероева тихо и долго приникла губами к благословившей ее руке и с твердым спокойствием вышла за дверь секретного нумера.

Семь часов утра. На улицах еще мало движения; снует только чернорабочий люд, кухарки торопливо шлепают на рынок, горничные шмыгают в булочную, мещанка-ремесленница проюркнула в мелочную лавочку — взять на гривну топленых сливочек к кофеишке грешному, дворники панель подметают, да шныряют из ворот в ворота разносчики с криками: «Рыба жива, сиги-ерши живые, огурцы зелены, говядина свежая». В воздухе носится тот утренний гул, который обыкновенно возвещает начало движения и жизни пробудившегося города.

Но вот среди этого гула послышался на перекрестке резкий грохот барабана — любо-

пытные взоры прохожих внимательно обращаются в ту сторону... Что там такое? Толпа народа валит... солдаты, штыки... над толпою чернеется что-то... Из всех подъездов и подворотен, из всех дверей мелочных лавчонок навстречу выскакивает всевозможный рабочий и черный люд, привлеченный барабанным боем.

Приближается торжественный поезд.

Шагов на тридцать опередивши его, бог знает зачем и для чего, ковыляет, широко размахивая руками, полицейский солдат. Каска от торопливости и ходьбы как-то комично сдвинулась у него набок, лицо выражает начальственную строгость и озабоченность: видно, что полицейский чувствует, будто и он тоже власть имущий, поэтому отгоняющим образом помахивает порою на встречную скучившую толпу и все ковыляет, все ковыляет так торопливо, словно чувствует, что спешит по необычайно важному делу.

Вот на статных и рослых конях, плавно покачиваясь, выступают жандармы с обнаженными саблями, а за ними гарнизонный офицер и два барабанщика, которые на каждом

перекрестке начинают выколачивать тот отвратительно действующий на нервы бой, который обыкновенно раздается, когда расстреливают или вешают человека или когда ведут его к позорному столбу на эшафоте. За барабанщиками — каре штыков, а по бокам процессии — опять-таки статные кони жандармов, и посреди этого конвоя медленно подвигается вперед, слегка покачиваясь в стороны, позорная колесница, на которой высоко утвержден дощатый черный помост, на помосте столб и скамейка, а на скамейке сидит человеческая фигура — затылком вперед — в черной шапочке и в безобразном сером армяке без воротника — для того, чтобы лицо было больше открыто, чтобы нельзя было как-нибудь спрятать хоть нижнюю часть его. Руки этой фигуры позади туловища прикручены назад, а на груди повешена черная доска с крупной белой надписью: *«За покушение к убийству»*. За позорными дрогами едут два заплечных мастера: один — приземистый и молодой, другой — рыжебородый, высокий и плечистый, — оба в надлежащем костюме, приличном этому обстоятельству, и везут они

с собою, для проформы, «скрипку» — узенький черный ящик, в котором хранится «инструмент», то есть казенные клейма с принадлежностью и ременные плети; за палачами едут — полицейский пристав, исполняющий казнь, и секретарь со стряпчим, а позади их — священник в епитрахили и скуфейке, с крестом в руке; и, наконец, все это шествие замыкается толпою любопытно глазеющего народа, который валом валит вслед колеснице и порывается во что бы то ни стало заглянуть в лицо преступнице, чтобы поглядеть, «какая такая она есть из себя-то».

Бросьте взгляд на физиономии этой бегущей толпы — и сколько различных оттенков мысли и чувства уловите вы в одном этом беглом обзоре! Тут найдется и тупое, овечье любопытство, и недоумело-запуганный страх, и своего рода фланерское равнодушие, и какой-то тоскливый болящий оттенок в движении глаз и личных мускулов, но более всего, как самое характерное проявление отношений толпы к преступнику, прочтете вы на лицах сострадающее, грустное, христиански-человеческое чувство. Попадется прохожий на-

встречу, взглянет, остановится, и как-то невольно вырывается бессознательный вопрос: «Что это такое?»

— *Несчастную* везут! — отвечают мимоходом в толпе — и прохожий набожно крестится, молясь и за *несчастную,* и за себя, и за всяку душу живую, чтобы Господь помиловал и избавил от этой ужасной доли.

Не любит русский человек подобных церемоний.

Между тем тихо и долго тянется позорный путь осужденной, от Литовского замка до Конной площади, по которому надо проехать, с подобным триумфом, целые пять верст, а эти пять верст покажутся на целую вечность человеку, сидящему на высоком черном помосте, и проехать их надо по самым большим и людным улицам — от Офицерской, пересекая Вознесенский проспект, на Большую Мещанскую, оттуда по Гороховой, затем на Загородный проспект и по Владимирской площади через Колокольную на Николаевскую, а там — вдоль Невского к Московской железной дороге, оттуда уже поезд заворачивает налево, по Лиговке, к своей конечной цели —

на Конную площадь, — целые десять людных улиц, избранных для увеличения позора осужденного преступника.

Но на этой площади, покрытой народом, эшафота, на ней стоящего, не могла видеть Бероева: она сидела лицом назад — ради удовлетворения любопытства бегущей толпы.

Наконец поезд остановился посредине Конной. Два палача отвязали руки Бероевой и, сведя с помоста, ввели ее в каре военного конвоя, пред эшафот, окруженный с четырех сторон штыками, за которыми волновалась прихлынувшая толпа народа.

Секретарь в гражданском мундире выступил вперед и вынул из кармана свернутый лист бумаги.

— Слушай, на кра-ул! — раздалась воинская команда — и ружья конвоя отчетливо-резко звякнули в воздухе. Барабаны ударили «поход», и через минуту, когда замолк их грохот, до слуха толпы отрывочно стали долетать слова читаемой секретарем бумаги: «По указу... суд... за покушение к убийству... на основании статей... положили...» И далее — все, что обыкновенно читается в этих случаях.

— Слушай, на пле-чо!

И священник в последний раз приблизился к Бероевой.

— Да благословит тебя Бог и да даст тебе крепость и веру, — сказал он, осеняя ее крестом. — Теперь, умирая политическою смертью, ты окончательно уже разрываешь все узы с сим миром... Да благословит и направит тебя Бог на путь истины в открывающейся ныне перед тобою жизни новой... Господь с тобою!

И, приложив к губам ее распятие, он отошел в сторону. Тогда два палача, в своих традиционных красных рубахах и в черных плисовых шароварах, с высокими сапогами, взяли осужденную под руки и по лестнице взвели ее на помост черного эшафота. Барабаны снова зарокотали ужасающий живую душу бой к экзекуции.

Толпа заколыхалась еще более, и еще слышнее пошел по ней какой-то смешанный, тысячеголосный гул.

Бероеву подвели к высокому черному столбу, продели ее руки в железные кольца, прикрепленные к этому столбу цепями, и, надви-

нув их до самых плеч, под мышки, оставили ее на позорном месте. Осужденная, слегка приподнятая этими кольцами кверху, как-то повисла всем телом у своего столба. Ветер слегка колыхал ее черное платье и полы серого армяка. Толпа уже в немом молчании глядела теперь на эту серую фигуру с доской на груди. Многие головы обнажились, многие руки поднялись к челу, творя крестное знамение. Эти люди молились за своего ближнего — за «несчастную», голова которой все время была поднята кверху, глаза тоже устремлены в пространство и пристально смотрели в летнее небо, слегка подернутое туманом, чтобы не видеть ни эшафота, ни толпы — свидетельницы позора и никого и ничего в целом мире...

Но вот утренний луч солнца пробился на мгновение сквозь белесоватый туман, заиграл на прорезных крестах Знаменской церкви и ярко ударил в лицо осужденной.

Прошло минут около пяти — и голова ее бессильно-тихо опустилась на грудь и повисла у края доски с белою надписью.

Казалось, будто к позорному столбу привя-

зана мертвая женщина.

В свежем и теплом воздухе далеко пронеслась густым своим звуком протяжная волна первого удара в колокол — у Знаменья заблаговестили к ранней обедне.

Вставало тихое, безмятежное летнее утро.

По прошествии десятиминутного срока акт политической смерти был исполнен. Уголовную преступницу, Юлию Николаевну дочь Бероеву, сняли с эшафота. Военная команда после отбоя удалилась с площади, где остались одни полицейские и народ, не видя уже перед собою сдерживающего оплота, волнами отовсюду хлынул к арестантке. На многих женских глазах виднелись слезы — и трудовые, убогие гривны да пятаки со всех сторон посыпались к ногам Бероевой.

— Прими, Христа ради!.. Прими, несчастненькая! — то и дело слышались в толпе сочувственные, сострадающие восклицания. Кто находился ближе всех к осужденной, тот поднимал с земли эту мирскую лепту и старался всунуть то в руку, то в карман ей подобранные деньги; сама же Бероева стояла, поддерживаемая солдатом, смутно сознавая

окружающие предметы, в каком-то апатическом, бессильном состоянии, весьма близком к бесчувственности.

— Бог весть, может, еще и занапрасно, может, она и не виновата еще — всяко ведь бывает! — толковали в народе.

— Надысь, сказывают, тоже одного безвинного наказали...

— Да уж теперича виновата ли, нет ли — дело поконченное.

— Не приведи Господи!.. Сохрани и помилуй, заступница-матушка! — слышится слезно-сокрушенный бабий голос.

— А для ча ж не пороли ее? — раздается в другом конце голос мужской.

— Потому — благородная, надо быть, — откликаются ему.

— Да и слава Богу... Что хорошо?.. Страсть ведь и глядеть на это, потому — человек ведь...

— Нет, ничево: мы привыкши к эфтим делам!..

— Привыкши!.. Да ты откелева?

— А здешние... Обыватели, значит, с самой с Конной — тут и живем.

— Ну, это точно что... А мы — деревенские, так нам оно в диковину.

— По-настоящему, по-божескому, то есть, рассудить теперича, так хорошенькой душе и глядеть-то на это не след бы, да уж так только, прости Господи.

— Любопытственно, Дарья Савельевна, очинно уж любопытственно!..

— Я доседова с самой Гороховой бежала все... думаешь себе — хоть грошик подать ей: со всяким ведь это может случиться.

— А из себя-то она какая хорошая — и смотреть-то жалость берет.

— Гей, ребята! Пойдем глядеть: палачей повели в кабак водку пить.

— Это уж завсегда палачам по положению, опосля шафота... Пойдем, робя!

— Да чево там глядеть-то? Абнаковенно — пьют... Нешто, кабы самим хватить помалости?

— Эка, чево!.. Поглядим! Цаловальник с них и денег николи не берет!

— Зачем не брать?

— А так уж испокон веку ни один не возьмет — это верно! И как только выпьет палач,

так он сейчас, вслед за ним, и посудину, и шкальчик об землю хрепнет, разобьет, значит, чтобы никто уже опосли из него и не пил боле. А ино даже так и в кабак не впустит, а возьмет да вынесет к порогу — тут и пей себе!

— Это точно, потому как палач по начальству присягу такую дает, что от отца-матери отрицается, коли бы и их пороть — он все ж таки должон беспеременно — отказаться не моги! — и, значит, он от Бога проклятой есть человек за это.

— Как же проклятой, коли ему от начальства приказано так?

— Приказано! Силой ведь никто в палачи не тянет. Разве уж коли сам человек добровольно пожелает тово, а насильно идти начальство не заставляет.

— Это уж самый что ни на есть анафема, значит: хуже последней собаки — почему что даже не каждый убивца-разбойник в палачи пойдет!

— А и достается же этим цаловальникам, коли ежели который попадет в их лапы — на кобылу!

— Еще бы не достаться! потому — злость...

И среди таких разговоров народ расходится в разные стороны.

Но замечательно нравственное отношение этого народа к палачу и преступнику: последний для него только «несчастный», за которого он молится и подает ему свои скудные гроши, тогда как о первом у него свои поверья имеются, и, кроме презрительной ненависти, он ничего к палачу не чувствует. Факт знаменательный и полный глубоко гуманного смысла: в этих поверьях, в этом битье стакана и посудины, в этом презрении к исполнителю кары, быть может, самым ярким образом выразилось отвращение народа нашего и к самой казни.

Потому что много страданий, много боли и крови лежит на его прошлом... Уж и без того преступник тяжким лишением прав и предстоящею каторгою несет искупительную кару закона. «С одного вола двух шкур не дерут», — говорит народный разум.

LIX
ХЛЫСТОВКА-СЛАДКОЕДУШКА[396]

К Митрофаниевскому кладбищу с некоторых сторон прилегают обширные огороды, за которыми далее пойдет уже поле да кое-где мелкий кустарник. Местность вообще смотрит каким-то голым пустырем и отличается вечным безлюдьем. Изредка разве пройдет там какая-нибудь «капорка-огородница», или сермяга прошагает, да проскрипит телега, нагруженная огородным навозом либо овощью, — и только.

Среди этих огородов уединенно стоят, на далеком расстоянии, две-три избы, которые смотрят чем-то покинутым, пустынным, нежилым. Кажется, как будто они заброшены тут людьми на спокойное разрушение.

В одной из них, отличавшейся тем, что стены ее были, аршина на полтора, со всех сторон весьма плотно окопаны землею, почти никогда не было заметно движения и жизни. Вечером вам не мигнул бы в глаза огонек в ее оконцах; днем вы не отыскали бы около нее

живого человека, и только один дымок, вылетавший порой из трубы, заставлял предполагать, что там внутри копошатся какие-то обитатели.

И точно: каждый день на рассвете ползучею, дряхлою походкою медленно выходил из дверей согбенный старец в длинной белой рубахе ниже колен, крестился на восток, отдавая в то же время по поклону на все четыре стороны света, и затем, отворив ставеньки, удалялся во внутрь избы, чтобы точно таким же порядком снова появиться под вечер, когда посумерничает в небе и в воздухе, и затворить ставни до нового рассвета.

Порою появлялась около избы и какая-то пожилая женщина в черном. Справляла она кой-какую хозяйственную работу и, покончив дело, тотчас же удалялась в свою нору.

И эти внешние проявления какой-то таинственной уединенной жизни, среди огородных пустырей, не подвергались ничьим наблюдениям по той простой причине, что наблюдать там решительно некому.

В этой избе только и было двое обитате-

лей: Паисий Логиныч — согбенный старец, с маленьким сухощавым лицом, словно бы оно было вылито из желтовато-белого воску, и с большой лысиной, которую обрамляли длинные, серебряные и мягкие как шелк волосы, неволнисто падавшие ему на узкие, иссохшие плечи. Одетый в свою обычную длинную и белую рубаху, он напоминал собою скорей катакомбного христианина первых веков, чем человека, принадлежащего нашему времени, и это характерное сходство усиливали в нем его старчески светло-голубые и как бы водянисто-выцветшие глаза бесконечно кроткого, почти детского выражения. Паисию Логинычу шел уже чуть ли не девятый десяток, и, однако, для этих лет он был еще довольно бодр и телом, и духом.

Сообитательница его звалась Устиньей Самсоновной. Это была женщина лет гораздо за сорок, постная, строгая — таковою по крайней мере представлялась она по внешности, с первого взгляда. Сутуловато-высокая, сухощавая и вечно одетая в черное, с головною повязкой черного же цвета, как обыкновенно носят женщины хлыстовской секты, она каза-

лась более монахиней, чем мирянкою. Оба они — и старец Паисий, и матушка Устинья — принадлежали к таинственно-темному религиозному согласию, которое известно в народе под именем «хлыстовщины», и оба играли довольно важные роли в местном, петербургском «корабле» этой секты.

Никогда никто не слыхал от Устиньи Самсоновны блажного, пустячного слова, сказанного зря и на ветер, даже улыбалась она редко; но никогда не случалось с ней и того, чтобы облаять или оборвать человека ни за что ни про что. Отношения ее с людьми, которых почитала она *своими* да *божьими*, то есть близкими к секте, постоянно отличались сановитой радушностью; с посторонними же, особенно с *сынами антихристовыми*, она была весьма чутко и осторожно сдержанна и никогда не обмолвливалась лишним, не взвешенным словом.

Устинья Самсоновна хотя и была баба фанатически-придурковатая, однако знала себе цену и поэтому пользовалась в «согласии» величайшим уважением: ее постоянно не иначе называли, как «матушкой» и даже «проро-

чицей». И точно: для местного хлыстовского согласия — как мы уже сказали — она являлась необыкновенно важной и необходимой особой, потому что, живя среди пустынной местности, держала у себя тайную молельню.

Хотя «верховный гость» Данило Филиппович, явившись на землю, побросал все свои книги, за ненужностью, в Волгу и установил — не иметь книжного научения, а ходить по его преданию и по вдохновениям пророков, однако Устинья Самсоновна была великая начетчица и держала у себя старопечатные книги и кой-какие рукописания некоторых посторонних сект: она любила узнавать, какие иные веры есть на свете и, зная догматы этих иных вер, очень успешно могла диспутировать в пользу веры хлыстовской. Сама она в былое время жила келейницей в скиту у филиппонов, в Ярославской губернии, где и произошла всю книжную премудрость; но потом, ища всем хотением и помышлением своим, которая вера правая, после долгих шатаний во тьме кромешной, познала наконец веру хлыстовскую и перешла в нее. Это была женщина «искавшая и обретшая» — женщи-

на, вполне искренно убежденная в избранном догмате и крепко стоявшая «на правиле» хлыстовском. Во время своей девической келейной жизни ей пришлось много и много, во всю широкую вольную волю предаваться любовным страстям, греху и соблазну, так что сама натура ее запросила и заалкала наконец иной жизни — более строгой, суровой и постнической.

И тут-то новым наставником ее явился старец Паисий Логинович, из «братьев-богомолов», который вразумил ее, что все прочие согласия поступают от писания, но не от духа Божьего, тогда как двенадцатая заповедь верховного гостя Данилы Филипповича гласит: «Святому духу верьте». И очень по душе Устинье Самсоновне пришлись пятая да шестая заповеди, в коих Божьим людям дому Израилева говорится: «Хмельного не пейте и плотского греха не творите. Не женимые не женитесь, а женимые разженитесь и с женою как с сестрою живите». Прежняя бурная жизнь опротивела ей вдосталь, так что она, лишь бы покончить со своим прошлым, всею душой прилепилась к вере хлыстовской; взяла свой

скопленный капиталец и вместе с наставником, Паисием Логинычем, направилась во мрашиное гнездо северного Вавилона — с тем чтобы спасать и соединить вкупе Божьих людей, своих «братцев и сестер по духу». И среди этого Вавилона антихристова — где застает ее в данную минуту читатель — Устинья Самсоновна пребывала уже по день своей смерти; а под конец жизни своей суждено было попытать еще одну, новую веру, отчего и пала тайно содержавшаяся ею хлыстовская молельня. Но читателю придется еще короче познакомиться с жизнью и деятельностью по вере этой замечательной женщины, и потому теперь мы оставляем ее, ограничиваясь пока теми краткими сведениями, которые только что сообщили.

LX
НЕЧТО О ХЛЫСТАХ

Многочисленная тайная секта хлыстов всегда оставалась, да чуть ли и по сей день еще не остается, чем-то странным и загадочным для нашего официального мира. Основанная еще при царе Алексее Михайловиче, она постоянно стремилась захватывать в недра свои людей всех классов и сословий, не ограничиваясь, подобно прочим, одним только крестьянством да купечеством. В 1734 году Анна Иоанновна издала указ, из которого ясно можно заметить, что в то уже время хлыстовская секта начинала сильно тревожить этот официальный мир своим необычайно быстрым развитием. «Разного звания духовных и светских чинов люди обоего пола, — писалось в этом указе, — князья и княгини, бояре и боярыни и другие разных чинов помещики и помещицы, архимандриты и настоятели монастырей, а также и целые монастыри обоего пола, как, например, Ивановский и Девичий в Москве, все это сполна при-

надлежало к хлыстовской секте, все это составляло „согласие“ Божиих людей, поклоняющихся Богу живому».

Поповщинские и беспоповщинские согласия, по преимуществу, тяготеют к Москве, веры же «Божьих людей», то есть хлысты со скопцами, облюбили Петербург, хотя первым и Москва тоже «многолюбезна». Но облюбили они этот Питер-град, вероятно, на том основании, что хлыстовское согласие составляет как бы переходную степень к более совершенной вере «Божьих людей», к согласию скопческому, у которого все симпатии — в Петербурге. Можно сказать почти с достоверностью, что скопчество естественным путем истекло из хлыстовщины в прошлом веке. Однако, несмотря на эту более совершенную веру, несмотря на то что скопцы давно уже помышляли о слитии своих кораблей с кораблями хлыстовскими, эти последние продолжают жить вполне самостоятельной жизнью. Прошло более восьмидесяти лет со времени указа Анны Иоанновны, а хлыстовские общины растут и крепнут, приобрели все новых адептов, так что в 1817 году Михайловский замок

в Петербурге сделался одним из важнейших сектаторских пунктов. Там, в квартире полковницы баронессы Б., устроилось тогда постоянное молитвенное сборище сектантов, между которыми было очень много гвардейских офицеров. Душою и чуть ли не «богиней» этого дела явилась женщина энергическая, как говорят, весьма умная, стойкая характером и сильная фанатичка. Это была некто подполковница Т. Как Б., так и Т. принадлежали к очень известным, даже отчасти аристократическим фамилиям. Никакие официальные раскрытия сборищ, никакие официальные внушения не могли остановить стремлений этой пропагандистки, и в 1838 году ее снова накрывают и схватывают вместе со всем согласием, находившимся в сборе в одном уединенном доме близ Московской заставы. Но тут для захвативших вышел скандал неожиданный: кроме лиц, участвовавших в собраниях семнадцатого года, здесь было значительное число новых. Там были гвардейские офицеры, здесь — действительные статские и даже тайные советники, между коими особенно выдавался известный П. А., в

это же самое время богатый русский барин, многоземельный помещик разных губерний, отставной подполковник Д., является вдруг самым ревностным пропагандистом хлыстовщины, становится апостолом, наставником и соединяет в своей пространной аудитории крестьян и дворян, мужчин и женщин, православных русских и лютеран-немцев. Таким образом, пропаганда не умирает — и в 1849 году опять открываются общества хлыстов, которых называли на сей раз адамистами; и тут опять-таки те же самые лица, которые участвовали в сборищах баронессы Б. и подполковницы Т., а между ними были особы весьма даже значительные, так что по поводу некоторых особенных обстоятельств дело о раскрытии тайного общества адамистов более не продолжалось.

Но трудно было официальному миру проникать «во внутренняя» этих собраний, в самый смысл загадочного для него учения, потому, во-первых, что заповедь хлыстовская воспрещает иметь что-либо «писаное» относительно догматов согласия, живущего одним только устным преданием и вдохновением; а

во-вторых, потому, что каждый прозелит, после долгих и трудных испытаний, но прежде совершения при нем каких-либо обрядов, клянется присягою «соблюдать тайну о том, что увидит и услышит в собраниях, не жалея себя, не страшась ни кнута, ни огня, ни меча, ни всякого насильства». Принцип секты — духовное единение и братская любовь — соединяет в одну молельню лиц, не соединенных ни на каких ступенях общественной лестницы.

«Болярин», например, в православной церкви de facto[397] все-таки остается «болярином», а здесь он только «брат», и больше ничего; поэтому-то вместе с тайными советниками, генералами, полковниками, князьями, купцами и помещиками в одной и той же молельне собирались воедино лакеи и служанки, кучера и дворники, солдаты и крепостные. Всех этих людей соединяла вера в грядущего пророка, в торжество своего учения и надежда на *лучшее будущее.*

Этою-то сектою — или, лучше сказать, собственно местом сборища ее — задумала вос-

пользоваться для собственных и совсем особенных целей одна петербургская компания, которую составляли все лица, уже знакомые читателю. Это были: доктор генеральши фон Шпильце — Катцель, интимный друг княгини Шадурской Владислав Карозич (он же и Бодлевский), Серж Ковров и загадочный венгерский граф Николай Каллаш. Но для того, чтобы читатель уяснил себе, какие были цели названной компании и каким образом она воспользовалась хлыстовским тайным приютом, мы необходимо должны будем вернуться несколько назад и отчасти начать дело, что называется, ab ovo[398].

LXI
ЧУДНОЙ ГОСТЬ

За год до последних событий нашего рассказа по разным темным притонам Сенной площади начал время от времени показываться новый и несколько странный посетитель. Темный люд не мог не обратить на него некоторого внимания и отчасти заинтересовался этой личностью, которая была вполне загадочна, ибо появлялась постоянно одна, без товарищей, и внешностью своею нимало не походила на привычных обитателей сенных трущоб, а, напротив того, сильно смахивала на хорошего, благовоспитанного барина. Нельзя было предположить в этом посетителе полицейского агента, ибо темным людям очень хорошо известно, что наши тайные полицейские агенты никогда не появляются среди трущоб «в таких видах», а прикидываются обыкновенно либо солдатами, либо мужичонками, либо лакеишками и тому подобным народом, а тут перед тобой сидит «барин», который нимало и не думает скрывать,

что он «барин», да опять же не было слышно, чтобы кто-либо попался по делу, раскрытие которого, по каким-либо соображениям, можно бы было хотя отчасти приписать загадочному посетителю.

Это был высокий, стройный мужчина, с матово-бледным и отчасти истомленно-красивым лицом, который казался на вид молодым человеком. Появление его в среде подпольного мира постоянно вызывало общее любопытство и приковывало к нему много внимательно наблюдающих взоров; но он как будто не замечал ни этого любопытства, ни этих наблюдений и всегда приходил одетый в весьма изящный костюм, обличавший в нем более чем достаточного человека. Молчаливо и скромно усевшись за какой-нибудь уединенный столик, он спокойно вынимал золотой портсигар, закуривал свою гаванну и спрашивал себе стакан водки или бутылку пива. Посидев около часу, загадочный посетитель взглядывал на свои дорогие часы и подзывал полового, чтобы расплатиться. При этом он нимало не стеснялся вынимать бумажник, в котором покоились весьма круп-

ные кредитные билеты. Однажды половой не мог дать ему сдачи с пятидесятирублевой бумажки.

— Ну, пусть за вами будет: потом сочтемся, — спокойно отвечал ему молодой человек, и этот ответ заметно произвел впечатление на любопытных наблюдателей.

Посидев немного в одной трущобе, он удалялся в другую, из другой — в третью, а дня через три-четыре снова появлялся в первой. В Париже или в Брюсселе его непременно приняли бы за эксцентрика-англичанина, ищущего приключений, но наш трущобный люд об «англичанах» имеет весьма слабое понятие, а об эксцентризме — ни малейшего, потому решительно недоумевал, за какую птицу надлежит ему принимать «чудного гостя».

Голодная трущобная женщина вообще оказалась предприимчивее относительно этого чудного гостя. Иные из них подседали было к его столику и пробовали заговаривать с ним. Дело начиналось обыкновенно с того, что женщина просила угостить ее.

— Чего же ты хочешь? — спрашивал ее молодой человек, не изменяя тому спокойному

выражению своего лица, которое никогда не выдавало его сокровенных дум и ощущений.

— Да мне бы сперва поесть чего, — отвечала голодная, чувствуя какое-то смущение от того, что вот посторонний человек видит теперь ее нищенский голод.

И он точно видел его.

— Может быть, и твои приятельницы тоже хотят?.. Пригласи и их. Спросите там себе, чего хотите.

И все почти наличные женщины, воспользовавшись предложением, немедленно, как голодная стая собак, спешили накинуться на всякую пищу. Одна в нетерпении рвала кусок у другой; другая торопилась поскорее залпом выпить спрошенную за буфетом посудину водки; третья выхватывала от нее эту посудину; четвертая с жадностью накидывалась на пироги и селедки, выставленные за буфетом, и в довершение всего подымался крик, перемешанный с крупной руганью; иногда женщины эти в цепки бросались друг с дружкой, дело доходило до драки. Но странный посетитель относился ко всему происходящему перед его глазами совершенно безучастно, как

будто даже ничего не замечая, и в заключение только расплачивался по счету, поданному за буфетом.

— Зачем вы к нам сюда ходите? — спрашивала его порою какая-нибудь женщина. — Вы такой богатый барин и ходите в экую мерзость? Зачем это?

— Затем, что мне так нравится, — отвечал загадочный посетитель и более сказанного — ни полуслова не прибавлял в пояснение своих поступков, которые как будто постоянно клонились к тому, чтобы только дразнить хорошею приманкою воров и мошенников, чтобы вызвать с их стороны какое-нибудь нападение.

И вскоре подобное приключение действительно последовало с загадочным посетителем.

Фомка-блаженный вместе с Осипом Гречкой (дело было месяца за два до ареста последнего по делу Морденки) не на шутку прельстились хорошей поживой, какая могла бы приплыть в их руки, если бы удалось ограбить чудного гостя. Задумываться над подобным делом было, конечно, не в характере обо-

их приятелей, и потому, улучив однажды минуту, когда он поздней ночью вышел из одного притона, в Таировом переулке, Фомушка накинул ему сзади на голову большой платок, снятый перед этим с трущобной женщины, а Гречка спереди ухватил его за ворот. Но едва успел он сделать это движение, как удар наотмашь повалил его наземь. Чудной гость бил рукою, вооруженною стальным инструментом, известным под поэтическим названием sortie de bal[399], который постоянно хранился в его кармане, и в этом же кармане постоянно обреталась правая рука чудного гостя, при входе и выходе из трущоб Сенной площади. Гречка никак не ожидал такого приема, а сила удара была столь велика, что он без чувств покатился на мостовую. Менее чем в одну секунду чудной гость сорвал с головы платок и в свою очередь схватил за горло Фомушку.

— Караул! — прохрипел, задыхаясь, блаженный.

— Молчи, любезный, сейчас отпущу, — спокойно промолвил давивший и, сжав еще раз настолько, чтобы сразу ослабить грабите-

ля, отнял от его шеи свою сильную руку.

Тот было ударился бежать, но чудной гость на первом же шагу опять схватил его за горло.

— Нет, мой друг, постой: бежать тебе от меня некуда да и незачем, а если побежишь или закричишь — сейчас же положу на месте.

Молодой человек был очень силен; хотя Фомушка, не говоря уже о Гречке, быть может, был и гораздо посильнее его, так что справиться с чудным гостем для него не считалось бы особенно мудрою задачею, но он безусловно покорился теперь его воле, потому, во-первых, что перед ним замертво лежал уже на земле его товарищ, а во-вторых, это спокойствие, решимость и находчивость молодого человека в столь критическую минуту и, наконец, эти загадочные появления и поступки его в трущобном мире — в глазах блаженного невольно окружили теперь его личность каким-то внушающим почтительность ореолом. Недаром же он у них и «чудным гостем» прозывался. «Черт его знает, может, это такая силища, что и десятерых на месте пришибет», — мелькнуло в ту же минуту в глазах

блаженного, и он вполне покорно и безмолвно стал перед своим сокрушителем.

— Вы меня ограбить хотели? — спокойно и незлобно спросил он.

— Есть, ваша милость!.. Есть грех наш перед вами! — раскаянно поклонился Фомушка.

— Вам нужны деньги?.. Сколько вы хотите?

— Ничего не хотим, милостивец, отпусти только! Ничего не желаем — прости ты нас!

— Бог простит, а я не сержусь, только ответь же мне, сколько тебе нужно денег? Я дам, не бойся.

Фомушка задумчиво почесал за ухом и, униженно ухмыляясь, промолвил:

— Сколько милость ваша будет.

— Ну да сколько же, однако? — настаивал меж тем молодой человек.

— Да сколько пожалуете... Вечно Бога молить за вас буду...

— Ну, на вот, бери, сколько тебе нужно.

И молодой человек подал изумленному Фомушке свой толстый бумажник.

— Да вы шутить изволите, ваша милость, — недоверчиво пробормотал блажен-

ный, порываясь и не смея коснуться предлагаемого бумажника.

— Зачем шутить?.. Нисколько не шучу. Ведь если ты грабишь, стало быть, тебе нужны деньги, — не так ли?

— Нужны-то нужны, ваше... Уж как и назвать-то, не знаю... сиятельство, что ли?

— Это все равно, как ни зови. Ты, пожалуйста, без чинов, а говори попроще и покороче: нужно тебе?

— Так точно, ваша милость!

— А нужно, так и бери!

И оставя в руках блаженного бумажник, молодой человек отвернулся и тихо прошелся в сторону.

Фомушка меж тем, совсем не зная что и подумать обо всем происходящем, вынул трепетной рукой пачку банковых билетов и раздумчиво, под влиянием какого-то чувства совестливости, взял только одну двадцатипятирублевку.

— Ну, кончил, что ли? — спросил тот приближаясь.

— Кончил, ваша милость! — И Фомушка почтительно подал ему бумажник, который

тот, даже не заглянув в него, небрежно сунул в свой карман и взял блаженного за руку.

— Теперь ступай за мною, — сказал он, направляясь к Садовой улице.

— Отпустите, ваше сиятельство!.. Ни денег ваших, ничего мне не надо!.. Простите, Христа ради! — взмолился Фомушка, упираясь на месте.

— Чего ты, дурак?! — остановился чудной гость. — Чего ты?! Не бойся, в полицию не поведу тебя и дурного ничего не сделаю.

— Да куды ж вы меня тащите?

— К себе на квартиру — ты нужен мне. Понимаешь ли? Нужен!

— Да нет, вы, верно, по начальству желаете...

— Зачем по начальству, если я мог просто на месте — взять да убить тебя?.. Ступай, зла тебе никакого не будет, — порешил он и снова потащил его за руку.

Фомушка не противоречил более, решась покорно идти с ним и только недоумевая, что из этого выйдет. Он оглянулся назад, на Гречку, но тот уже поднялся и, прихрамывая, поволок свои ноги в противную сторону.

У одного из подъездов на Садовой улице ожидала барская карета. Молодой человек втолкнул в нее Фомушку и сам сел подле. Приехали к небольшому каменному домику щегольской наружности. Сонный дворник при виде кареты поспешно дернул за ручку звонка, и в ту же минуту с лестницы сбежал лакей со свечою. Дворник снял шапку, лакей почтительно поклонился, когда молодой человек проходил мимо. Фомушка не понимал, ни где он, ни с кем он, и еще пуще пришел в изумление, когда очутился с глазу на глаз «с чудным гостем» в его роскошно отделанном кабинете. «Коего дьявола нужно ему от меня? — думалось в это время блаженному. — Ведь коль нашим рассказать — не поверят, черти, ей-ей, не поверят!»

— Хочешь есть или пить? — спросил его молодой человек. — Ты не церемонься, хочешь, так и говори: хочу, мол.

— Ежели теперича такая милость ваша есть… можно и насчет напитку…

— Вина или водки?

— Нам, по простоте, ваше сиятельство, нам эдак водочки бы…

Хозяин распорядился, и человек принес на серебряном подносе муравленый кувшинчик и две золотые чарки.

Фомушка выпил и вскочил с места: у него рот зажгло и глаза выпучило от крепости поданного напитка.

— Сроду не пивал, а пьяница, кажись, добрый! — пробормотал он, крякнув и отряхиваясь головою.

— Ну, теперь давай о деле потолкуем, — начал хозяин, снова оставшись один на один с блаженным. — Тебя как звать-то? По виду — не то на церковника, не то на нищего смахиваешь.

— От святые церкви, во святом крещении Фомою наречен, ваше сиятельство, а мирские людишки — блаженным прозывают, — ответил Фомушка, — и как я теперича в странном житии подвизаюся...

— Нечего сказать, хорошее житие! — усмехнулся молодой человек.

— Что ж, ваша милость, такая уж линия, значит, прописана — надо полагать — по-небесному.

— А если эта линия по-земному да доведет

тебя до Сибири?

— А что ж такое? Не столь страшен черт, как его малюют, как говорится.

— Ну а как ты полагаешь, если уж идти в каторгу, то как лучше идти: за безделицу ли али уж за такую штуку, которую не всякий и выдумать сможет?

— Уж всеконечное дело, ваше сиятельство, за плевок не стоит и конфуз приймать на спину да на лик-то свой, потому все же он, лик-то этот, человеческий, по писанию — образ есть и подобие Божие. А за важнец-дело пропадать не в пример вольготнее, по крайности знаешь за что.

— Это так, это ты разумно рассуждаешь, — одобрительно заметил ему хозяин. — Но ведь тебе, поди-ка, не особенно хорошо на свете жить?

— Ништо, ваше сиятельство, валандаемся помалости.

— А ежели бы тебе предложили жить барином, в полное свое удовольствие, дали бы квартиру хорошую, да хозяйку красивую, да в купцы записали, да рысака на конюшню поставили бы, да денег полон карман — согла-

сился бы ты на такое житье?

— Коли б то не согласился! — облизнулся Фомушка, широко улыбаясь: — Помирать не надо. Да где его добудешь, экого счастья-то!

— Уж это не твоя забота. И ежели бы в расплату за такое житье пришлось потом по Владимирке прогуляться — тоже не прочь бы?

— А зачем прочь? Ведь все едино и без того рано ль, поздно ль достукаешься.

— Резон, мой милый, совершенный резон! А слыхал ты, есть хохлацкая пословица: «Питы — вмерты, и не питы — вмерты, так лучше вже питы и вмерты». Понимаешь?

— Как не понять, ваше сиятельство! Это уж вестимое дело, что коли пропадать, так знал бы по крайности, что было, мол, вкрасне пожито, широким ковшом попито да в алием бархате похожено.

— Ну, стало быть, теперь можно и к самой сути приступать! — решительно поднялся с места хозяин.

— Слыхал ты, — начал он, близко подойдя к Фомушке и в упор глядя в его глаза, — слыхал ты, что есть на свете фальшивые деньги?

— Коли не слыхать! И слыхал, и видывал

даже, да все же ее от настоящей отличить-то можно.

— Можно, оттого что дураки этим делом занимаются, подделать хорошо не умеют, а вот я покажу тебе сейчас две синенькие, отличи, которая из них с фальшью?

И молодой человек, вынув из бюро две пятирублевки, подал их Фомушке и подвинул к нему лампу.

— Шутки шутить изволите, ваше сиятельство! — недоверчиво ухмыльнулся блаженный, внимательно разглядывая бумажки. — Как есть одни только шутки, и больше ничего! Обе они настоящие.

— Нет, одна фальшивая, говорю тебе, а ты вот угадай-ка мне которая!

— Эта, что ли? — неуверенно спросил Фомушка, подавая ему ассигнацию, которую молодой человек внимательно разглядел у лампы.

— Нет, любезный, ошибся: эта настоящая, — улыбнулся он, — а та вот — подделка.

Фомушка только головой покачал от удивления.

— Это за границей, в Лондоне, у англичан

сработано, — пояснил ему хозяин, — я одну только и захватил для примера.

— Ссс... Ишь ты! — удивился блаженный. — Правильно, значит, говорят, что там народ-то — все ученый мазурик... Нашему брату не потягаться с ними. Наш брат все больше на чистоту ломит да на простоту норовит.

— Вот то-то же и есть! А как ты думаешь, хорошо бы и у нас в Петербурге завести такую фабрику?

— Еще бы не хорошо! Известное дело...

— И ты бы не отказался работать для такого дела?

— Я-то?.. Э, я хоть что хошь! Я это все могу, значит.

— А можешь, так делай, внакладе не останешься.

— Да как же это делать-то, ваше сиятельство?

— Как делать? Руками! Руками, любезный мой! Как и все на свете делается — руками да башкой, только в этом деле, все равно как на заводе, всякому работнику своя должность дана. Так вот и ты свою должность получишь.

— А моя какая будет?

— На первый раз вот какая, — приступил хозяин к объяснению. — Прежде всего надо за городом, где-нибудь в пустом, уединенном месте, отыскать подходящий домик или избу, чтобы лишние глаза не глядели.

— Смекается, ваше сиятельство!.. Это — могим! Есть подходящее на примете.

— А есть — и того лучше! Ну, потом ты подыщешь надежных товарищей, — продолжал чудной гость, — чтобы верные да честные люди были.

— И это, значит, могим! — охотно согласился Фомка.

— А затем, время от времени, тебе будут выдаваться на руки деньги, а ты вместе с товарищами пускай их в оборот — покупайте себе что знаете и меняйте фальшь на настоящие деньги. Ты будешь отбирать от них и ко мне приносить, а я вам жалованье хорошее стану платить за это. Только кроме тебя из них ни одна душа не должна знать — как, что и кто и откуда идет все это. Согласен?

— Согласен, ваше сиятельство! — решительно и весело откликнулся блаженный.

Хозяин для поощрения на первый раз дал ему еще одну двадцатипятирублевку и приказал приступить, без лишних проволочек, к отысканию за городом помещения, которое вполне соответствовало бы необходимым условиям.

— А ежели отыщешь, приходи прямо ко мне сюда вот, — распорядился он в заключение. — Будешь допущен ко мне беспрепятственно.

Затем позвонил человека и приказал ему проводить с лестницы блаженного.

На дворе уже рассвело настолько, что Фомушка мимоходом хотел бы прочесть фамилию на дверной доске, но таковой не оказалось.

— Как барина зовут-то? — спросил он у лакея.

— Va tu, coquin![400] — с презрительным неудовольствием фыркнул на него сквозь зубы француз-лакей.

— Ишь ты, настранный подданный, значит, — пробормотал Фомка под нос и у ворот обратился с тем же вопросом к дворнику.

— Барин-то? Известное дело, барина бари-

ном и зовут.

— А фамилья ему как?

— Граф Каллаш, — отвечал тот, завертываясь в зипунишко.

— Один живет, что ли?

— Один, цельный дом занимает. Барин хороший, как есть на всю стать, значит, барин.

Блаженный удовольствовался этим объяснением и пошел своей дорогой.

«Ишь ты, химик какой!.. Граф!.. Шутка ль сказать теперича — граф! — размышлял он, подавляемый чувством безмерного удивления ко всему, что произошло с ним в эту ночь. — Живет-то как!.. А тоже, значит, нашево поля ягода... И из князьев-графов, стало быть, тоже жоржи бывают... А дело клейкое! — размышлял он далее. — И за таким человеком, как за каменной стеною, не пропадешь... И надо, значит, послужить ему, потому — эта служба для своего же кармана».

LXII

ФОМУШКА — ДЕЯТЕЛЬ БАНКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК

Бывалый человек Фомушка знал как свои пять пальцев всю подноготную многоразличных трущоб петербургских — само собою, не тех, в которых действующими лицами являются жоржи высшего полета, с многоразличными образцами коих уже достаточно познакомлен читатель, но те трущобы, где прячется темный люд, подобный самому Фомушке. Пораскинув умом-разумом, он остановил свой выбор на глухой местности за Митрофаниевским кладбищем, где одиноко торчала огородная изба Устиньи Самсоновны. Блаженный очень хорошо знал все удобства этого помещения, ибо на своем многошатальном и пройдошном веку чего-чего только не доводилось ему перезнавать и переиспытывать! Сын деревенского дьячка, поступил он в семинарию, откуда был изгнан в качестве нечестивого козлища; затем удалось ему подладиться к настоятелю некоей пустыни и вте-

реться туда послушником; но, за добрые дела, из этого убежища мирских отшельников он попал уже непосредственно на Владимирскую дорогу, которая и довела своего избранника прямехонько до завода Нерчинского. Там судьба столкнула его с архиереем раскольничьим, и, насобачившись около него в делах старой веры, Фома не преминул при первой же оказии улизнуть из каторги. Наслышан он был много о разных столпах раскола и знал почти всех их заочно, так что из Нерчинского завода очутился в Федосеевском скиту, а оттуда, уже с хорошим фальшивым видом, в качестве торговца пошел махать по широкой Руси да по разным молельням архиерейские службы править. Но душа у Фомушки чересчур уж была златолюбива и многостяжательна; захотелось этой душе побольше денег позагребать в свои лапы, и стал он поэтому к разным согласиям примазываться. В Сибири — то с федосеевцами, то с хлыстами водился, в Саратовской губернии — с молоканами, в Нижегородской — с филиппонами, в Ярославской — у бегунов-сопелковцев важным наставником сделался; а в Костромском

уезде снова с хлыстами сошелся и объявил себя пророком боговдохновенным. Затем около года провитал в странно-архиерейском образе в слободах и посадах Черниговской губернии, пока наконец раскольники не проведали его бесчинные по вере поступки и пока не огласили его посланием, яко хищного волка в стаде Христове и вора-обманщика. Тогда-то уже он и принял юродственный образ, нарек себя Фомушкой-блаженным, сошелся с Макридой-странницей да с Касьянчиком-старчиком и утвердился в Питере, сохранив, из всех прежних своих сектантских связей, некоторые отношения только к хлыстовскому согласию, в силу прежнего знакомства своего с матушкой Устиньей Самсоновной. Однако здесь он избегал близких и тесных сношений с петербургским согласием, потому что пятая заповедь верховного гостя Данилы Филипповича гласит: «Хмельного не пейте и плотского греха не творите», изгоняя вместе с тем безусловно курение поганого зелия, еже от нечестивых галлов и сарацын табаком нарицается, да и на употребление мяса хлыстовский закон смотрит не совсем благосклонно, и чле-

ны согласия строго наблюдают, чтобы «братья и сестры» неукоснительно и вполне следовали правилам, завещанным от верховного гостя. Фомушка же по природе своей был чревоугодник. «Как ни тщусь, а воздержаться не измогу, чтобы диавола не потешить и мамону не угобзить зело!» — говаривал он в покаянные минуты. Поэтому он предпочитал жить в довольно прибыльном образе юродивого и обращался к согласию только в редких и совсем экстраординарных обстоятельствах. Фомушка знал, что изба Устиньи Самсоновны, служащая в качестве молельни местом сборища и «радении» сектантов, устроена с различными тайниками, даже с теплым и жилым подызбищем, вырытым в земле, в качестве будто бы подвала для хранения на зиму огородных овощей, но собственно играющим роль молельни; а зная все это, ему не трудно было сообразить, что эта изба во всех отношениях может служить удобным и, главное, потайным приютом для дела, проектируемого графом Каллашем.

Хотя граф Каллаш, живя на барскую ногу, и нанимал совершенно особый дом, как нель-

зя лучше приноровленный для комфортабельной жизни одного только семейства, однако ни он, ни прочие сочлены задуманного предприятия не рискнули завести фабрику в своих квартирах, среди людного города, где на каждом шагу могут, совсем непредвиденно, подглядеть что-либо посторонние взоры. Почтенные сочлены слишком дорожили своим спокойствием и своей репутацией, поэтому в проект банка темных бумажек непременным условием входил тот пункт, чтобы приуготовленные ассигнации отнюдь и никогда не пускать в обращение собственными руками, а вести это дело через надежных темных людишек, которые если и попадутся, то не беда. Одно только затрудняло компаньонов — это именно выбор подходящего места. Граф Каллаш тщетно ездил по разным окрестностям, высматривал загородные дома и дачи, но все это оказывалось мало удобным: чужие глаза и здесь-таки были, могли, стало быть, видеть, что вот, мол, в известные дни и часы на такую-то дачу собираются какие-то люди, сидят там запершись, что-то делают, потом уезжают. Все это могло возбудить из-

лишнее любопытство, всегда, как известно, подмывающее человека удовлетворить его более или менее положительным образом; а вслед за таким удовлетворением могут пойти бог весть какие сомнительные толки, особливо же если в это самое время начнут чаще обыкновенного попадаться в обращении фальшивые кредитки. И вот все такие соображения поневоле заставляли компанию бесплодно проволачивать золотое время. Наконец графу Каллашу надоели эти тщетные искания и высматривания, так что он, уже сам по себе, не предваряя остальных сочленов, решился попытать счастия в ином направлении. Следствием такого намерения были его посещения трущоб Сенной площади. Энергически-решительный, самоуверенно-сильный и предприимчивый человек не задумался на риске стать, как он есть, лицом к лицу с этим мало кому известным подпольным миром. Он решился на это тем более, что рано ли, поздно ли компании необходимо предстояло запасаться надежными людьми для размена и сбыта будущих фальшивых бумажек. «Попригляжусь к этому народу, — думал граф, на-

мереваясь приводить в исполнение свою новую мысль, — попытаю его да и выберу одного или двух головорезов, которые не призадумались бы рискнуть на такое дело да на которых бы положиться можно было, а таких молодцов, вероятно, только там и поискать-то, да авось с этим народом и помещение скорее найдется, потому — кому же, как не им, и знать про такие трущобы, где сам черт ногу переломит. И после двухнедельных посещений различных притонов, в которых Каллаш умышленно делал все, чтобы только вызвать против себя грабительское нападение, искания его увенчались успехом, уже достаточно известным читателю. Он расчел, что одного такого дошлого „барина“, как Фомушка-блаженный, необходимо нужно приблизить к себе в известном отношении и напрямик открыться ему в настоящих своих намерениях и целях, сделав его таким образом одним из ближайших членов компании и как бы переходным звеном, связующим высших членов с низшими агентами-исполнителями, которые должны были знать только его одного, тогда как все главные деятели оставались бы для

них совершенно темною, мифическою загадкой. Таковы были планы графа Каллаша, и он вполне достиг осуществления их единственно лишь благодаря своей смелой решимости и наглой, самоуверенной откровенности, которою, в иных подходящих случаях, необыкновенно кстати и ловко умел пользоваться этот замечательный человек. Крутое обращение его с Фомушкой, спокойная передача его бумажника во время ночного грабежа и, наконец, этот привоз его прямо-таки в собственную квартиру — все это было делом расчета, который, в свои черед, был делом необыкновенно быстрого и, можно сказать, гениально сметливого соображения со стороны графа. Он знал, что весь эксцентризм подобных действий сразу, ошеломляющим и обаятельным образом повлияет на грубую и непосредственную натуру трущобного обитателя. И действительно: предшествовавшие загадочные появления в трущобах чудного гостя, его неожиданный удар, без чувств поваливший Гречку, и потом ряд последовавших в эту ночь поступков показались Фомушке чем-то больно уж чудным, блистательным и неслы-

ханным, так что он сразу почувствовал величайшее уважение, страх и какую-то рабскую почтительность к этому человеку, ибо ничто так не действует на человека непосредственного, как соединение силы физической с силою нравственною. „С этим барином не пропадешь, это не нашему брату чета! С таким дьяволом — ух как важно можно клей варить! Потому — сила и смелость, да и разума, как видно, палата!“ — решил он, на рассвете шествуя от него восвояси, и с той же ночи подчинил свою волю влиянию и силе этого человека.

LXIII

ФОМУШКА — ПРОРОК, ПО ОТКРОВЕНИЮ ХОДЯЩИЙ

В тот же день утром, сообразив все обстоятельства и не теряя времени, он отправился к Устинье Самсоновне.

— А что, братец, не слышно ли, как скоро гонение будет? — вопросила его промеж постороннего каляканья хлыстовская матушка.

— Гонение? Како тако гонение? — откликнулся Фомка.

— А от антихриста и ангелов его на верных слуг дому Израилева, — пояснила Устинья Самсоновна, очень уж любившая книжно выражаться по Писанию.

— А что тебе в том гонении, матка?

— Как, братец мой, что! Пострадать за веру правую хотелось бы, претерпеть желаю.

— Желаешь?.. Ну, Бог сподобит тебя со временем, коли есть на то хотение такое.

— Да долго ждать, мой батюшка, а мне хорошо бы поскорей это прияти, потому — человек я уже преклонный: может, Бог не сего-

дня-завтра по душу пошлет.

— Можно и поскорей доставить, — согласился блаженный, с видом человека, который знает и вполне уверен в том, что говорит.

— Ой ли, мой батюшка?! Да каким же способом это? — воскликнула обрадованная фанатичка.

— А уж я знаю способ... Дух через откровение свыше сообщил мне... — с таинственной важностью понизил блаженный голос. Устинья Самсоновна ожидательно вперила в него взоры и приготовилась слушать.

Фомушка начал с обычною у него в таких случаях широковещательностью:

— Преданием святых отец наших, верховного гостя Данилы Филипповича и единородного сына его, Христа Иван Тимофеича, про всех верных братьев-богомолов от поколения Израилева — ты знаешь, мать моя, что именно завещано?

— Ну? — тихо вымолвила старуха, пожирая его глазами и боясь пропустить без глубокого внимания хоть единое слово из Фомушкина откровения.

— Тыем преданием завещано нам: живучи

среди новых Вавилонов, сиречь городов нечестивых, кои бо суть токмо гнездилища мрашиные, боротися непрестанно противу силы антихристовой, «дондеже не победите», сказано.

И вслед за этим приступом он вынул из-за пазухи и показал ей полученную от Каллаша ассигнацию.

— Зри сюда! Что убо есть сие?

— Деньги, мой батюшка... — робко произнесла недоумелая старуха.

— Не деньги, а семя антихристово, — авторитетно поправил ее Фомушка. — Но зри еще. Чье изображение имеется на тыем семени?

— Не ведаю, батюшка... Уж ты поведь-ко мне, голубчик, ты — человек по откровению просвещенный.

— На то и просвещен, чтобы поведать во тьме ходящим, — с важностью и достоинством согласился Фомка. — Тут бо есть положено изображение печати антихристовой — уразумей сице, матка моя, коли имеши разумение!

— Уразумела, батюшка, уразумела, касатик мой... Да только... как же это мы-то, вер-

ные, и вдруг... печатью и семенем пользуемся?

— Руки свои оскверняем, потому никак иначе невозможно, доколе в мире сем живем и доколе антихрист воцаряется. А нам надлежит всяку потраву и зло ему творити, дондеже не исчезнет. А ты знаешь ли, матка, чем дух-то святый повелел мне в откровении зло ему учинять? — таинственно и даже отчасти грозно спросил ее Фомушка.

— Неизвестна о том, наставниче, неизвестна... Человек я темный, — сокрушаясь, помотала головой хлыстовка.

— А вот чем! — пристально уставился на нее блаженный. — В этом семени и печати есть его главная сила, и коли эту самую силу сокрушить, то и враг исконный сокрушится и уйдет обратно в греческую землю, где первично и народился, по Писанию. А как сокрушить эту силу вражию?

— Неизвестна, батюшко, и о том неизвестна...

— Я тебе открою сие, только внимай со тщанием. Есть у них закон такой грозный, что буде кто это самое семя и печати его под-

делывать станет, тот да будет биен много и нещадно и в Палестины сибирские на каторгу ссылаем. Про это, чай, слыхала?

— Слыхала, родненький, как не слыхать! Запрошлым летом еще одного за это самое, сказывали, быдто очинно жестоко на Конной стебали.

— А почему стебали-то? Потому самому и стебали, что от подделки веры люди не имут в семя и печати его, а коли веры не имут, стало быть, и сила его сокрушается, а коли сила сокрушается, стало быть, и сам он, яко воск от лица огня, исчезнет с лица земли. Вот оно что, матка моя. Поэтому дух Божий и найде на мя, окаянного и недостойного, и повеле: да ничем иным, как токмо от единого семени побивать ныне антихриста!

Старуха, в мозгу которой глубоко засели и перемешались все предания и верования многоразличных толков, какие она перепытала, и улеглись у нее в какой-то фанатической сумбур, только головою своею благоговейно покачивала да с верою впивалась глазами в блаженного.

— Стало быть, Божьи люди победят, только

зевать да времени упущать не надо нам, да пока до поры крепко язык за зубами придерживать! — заключил он весьма многозначительно и с великим глубокомыслием.

— А вот ты, матка, пострадать за веру ангельское хотение возымела, — неожиданно поддел он старуху, после минуты религиозно-раздумчивого молчания. — Это опять же не кто иной, как токмо аз, многогрешный, могу предоставить тебе.

— Ой, батюшка, да неужто же и вправду-ти можешь? — встрепенулась Устинья Самсоновна.

— Могу, потому это все в нашей власти, — с непоколебимой уверенностью похвалился он.

— Да что же сотворить мне для экой благодати-то надобно?

— Твори волю пославшего, а я научу тебя. Аще хощеши спасенна быти, — начал плут с подобающей таинственностью, — открой свой дом избранникам духа, помести их в тайнице своей, в подызбище... Мы заведем здесь фабрику и станем потайно творить фальшивые печати и семя.

Старуха поняла его мысль, и по лицу ее пробежал оттенок боязни и недоумения, что как же, мол, это вдруг у меня так устроится?

Фомушка сразу заметил ее внутреннее движение и поспешил строго и увещательно прибавить:

— Мужайся, мать моя, если хочешь спасенье прияти! Не поддавайся страху иудейскому: это антихрист тебе в уши-то шепчет теперь, это он, проклятый, в сердце твое вселяется!

Старуха испугалась еще пуще прежнего, ибо уразумела, что Фомушка, Божий человек, проник в ее сокровенные помыслы и что, стало быть, поэтому он воистину есть избранник духа.

— Вот видишь ли ты, маловерная, — с укоризной приступил он к новым пояснениям, — если мы понаделаем великое множество этого семени и рассеем его по свету потайно, так что про нас не догадаются ангелы нечестивии, то сила антихристова тут же и сокрушится и настанет царствие духа, а ты, раба, в те поры Божьей угодницей вживе соделаешься за свое великое подвижничество, за то, что

силу вражию побороть пособляла.

— Так-то так, мой голубчик, — согласилась Устинья, — да все же... коли не успеем да накроют нас...

— О том не пецися! — перебил ее Фомушка. — Это уж я так обделаю, что никак не накроют — у меня уж и людишки такие ловкие подобраны, а мы их в наше согласие, даст Бог, обратим, ну и, значит, к тому времени как дух к нам прикатит, мы себе через то самое еще более благодати подловим, ко спасенью души своей, значит.

Старуха согласилась и с этим многозначительным аргументом.

— А ежели, Божиим попущением, и накроют нас слуги вражии, — вразумительно продолжал блаженный, — то опять же таки этому радоватися подобает, потому, коли накроют — сейчас же и гонение будет на нас: в кандалы забьют, в остроги засадят, бить много почнут и в Сибирь ссылать станут — ну и, значит, ты мученический венец прияти, мать моя, сподобишься, за веру претерпение понесешь, и царствие славы за это самое беспременно будет тебе уготовано.

Старец Паисий Логиныч, строго безмолвствовавший во все время этого увещания, но тем не менее внимавший Фомушке, неожиданно поднялся теперь с своего места и с решительным, повелевающим жестом подошел к Устинье.

— Соглашайся, Устиньюшка, соглашайся! — прошамкал он разбитым и дряхлым своим голосом. — Братец наш правду тебе говорит, великую правду!.. Полно-ка и в сам-деле терпеть нам покорственно от силы антихристовой! Время и слобониться... Миру скоро конец, и всей твари скончание — час приспевает!.. Не мысли лукаво, соглашайся скорее!

Но своеобразная и ловкая логика смышленого мошенника и без того уже вконец проняла фанатическую старуху, так что она тут же порешила с ним на полном своем согласии.

LXIV
ДОКТОР КАТЦЕЛЬ

Планы компании были весьма широки. Она не намеревалась ограничить круг своей деятельности пределами одного только Петербурга; напротив того, впоследствии, при развитии дела, когда оно уже прочно стало бы на ноги, предполагалось завести своих агентов в Москве, в Риге, в Нижнем, в Харькове, в Одессе и в Варшаве. Herr[401] Катцель предлагал было основать фабрику не в Петербурге, а в Лондоне или в Париже, но Каллаш решительно воспротивился этой мысли.

— Здесь, — говорил он, — и нигде более, как только здесь, в Петербурге, можно взяться за такое дело! Разве вы не знаете, что такое лондонская полиция? Там как ни хитри, но едва ли нам, иностранцам, удастся провести английских сыщиков! В Париже — то же самое. А здесь мы все-таки у себя дома, здесь мы пользуемся известным положением в свете, хорошей репутацией; наконец, на случай обыска, ни при одном из нас, а также и в

квартирах наших никогда не будет найдено ничего подозрительного.

Победа в этом случае осталась на стороне графа, тем более что все почти необходимые материалы были уже тайно провезены из-за границы доктором и графом в их последнюю поездку...

Роль главного фабриканта-производителя взял на себя Катцель, который, в сущности, был господин весьма замечательного свойства. Тип лица не оставлял ни малейших сомнений в чисто еврейском происхождении доктора, а его вглядчивые, слегка прищуренные глаза и высокий лоб ручались за обилие ума и способностей. Возвратясь в Россию с докторским дипломом венского университета, он первым долгом подверг себя экзамену в присутствии медицинского совета и, выдержав его блистательным образом, получил право лечения в России. Это была необходимая заручка со стороны законных препятствий, и стоило только преодолеть их, чтобы начать уже действовать широко и обильно, с полной уверенностью. Доктор, между прочим, был очень хороший химик, любил нау-

ку, любил свое призвание и свое лекарское дело; но при всем этом — странная вещь! — он находил какую-то сласть, какое-то увлекательное упоение в том, чтобы посвящать свои знания и свою жизнь мошенническим проделкам. Он сам очень хорошо сознавал в себе эту наклонность и называл ее неодолимою страстью, болезненным развитием воли — словом, какою-то манией, чем-то вроде однопредметного помешательства.

— По своему развитию, по своим убеждениям, — говорил он однажды Каллашу в одну из интимных, откровенных минут, — я постоянно стараюсь быть очень гуманным человеком, но инстинкты, природные-то инстинкты во мне отвратительны. Я знаю это, хотя и не всякому другому дам их в себе заметить. Но что же мне делать, если кроме самого себя я никого не люблю!..

— А человечество? — заметил с улыбкою Каллаш.

— Да, человечество я точно люблю, но это какая-то абстрактная, безразличная любовь... И какое дело человечеству, люблю ли я его или нет?.. Вот, например, деньги — это другое

дело! Деньги я люблю до обожания, во всех их видах и качествах. Это уж во мне, я полагаю, наследственная черта, свойственная вообще сыну израилеву, каким я имею счастье быть. И для добычи денег, — говорил он с увлечением, — я ни над чем не задумаюсь, ни перед чем не остановлюсь!

— Как? — воскликнул Каллаш. — Даже и перед шпионством, даже перед продажею брата своего!.. Но ведь таким образом, извините за откровенность, наше сообщество с вами может быть небезопасно.

— Мм... могло *бы*, — произнес Herr Катцель, упирая на частицу «бы» и нимало не смутившись восклицанием графа. — Но вот видите ли, мой милый друг, этот путь, полагаю, менее выгоден: на нем никогда не заработаешь столько денег, сколько, при добром успехе, мы можем заработать на нашем предприятии, поэтому я его презираю, тем более что это и не сходствует с моими убеждениями. Нельзя в одно и то же время быть волком и лисицею.

— Но этот путь гораздо спокойнее и безопаснее, тогда как наш основан на ужасней-

шем риске, — возразил Каллаш.

— Спокойствие… риск… Да знаете ли, что я презираю какое бы то ни было спокойствие и страстно боготворю один только риск! — воскликнул он с неподдельным порывом увлечения. — Риск!.. Да ведь в риске для меня все! В риске — жизнь, в нем страсть!.. А спокойствие… Помилуйте, да если бы я хотел только спокойствия и безопасности, мне не для чего было бы делаться мошенником. Pardon[402] за откровенный цинизм этого выражения! Для спокойствия мне было бы совершенно достаточно моей науки, моих знаний, моего докторского диплома, наконец; но в том-то и дело, что даже в науке я люблю ее таинственную да темную сторону, которая ни на минуту не дает успокоиться человеку, держит его в вечно напряженном лихорадочном состоянии и заставляет исследовать, пытаться, доискиваться тех тонких, неуловимых своих сторон, которые на первый взгляд кажутся недоступными человеку. А знаете ли вы, — продолжал доктор, под наитием какого-то вдохновенного экстаза, — знаете ли вы, что это за гордо-разумное, что за упоительное

блаженство кроется в том мгновении, когда вы после таких мучительных нравственных страданий, после нескольких лихорадочно-бессонных ночей, убеждаетесь наконец, что вы точно воистину доискались до того, чего вы искали, что вы сделали открытие?.. Пусть оно будет мало, пускай незначительно, ничтожно это открытие, но все же и оно ведь вносит свою лепту в общую массу знаний, все же и в него ведь вы полагали свою душу, страсть, свою разумную волю! О, это — минуты высшего нравственного удовлетворения, которые я не променяю ни на какое спокойствие в мире!

— Стало, вы можете быть вполне удовлетворены одною вашей страстью к науке? — возразил ему Каллаш.

— Нет, не могу! — решительно воскликнул Катцель. — Не могу потому, что в моей безобразно-страстной натуре лежат еще иные инстинкты. Теории Лафатера и Галля до сих пор еще не исследованы, как должно, хотя многие признают их только научным пуфом. Я мало занимался этим предметом, — продолжал доктор, — но весьма был бы склонен думать,

что во мне развита шишка тонкого злодейства и шишка приобретения. По крайней мере я знаю, что страсть к этим двум началам составляет во мне какую-то болезненную манию, и, как ни старался, я никогда не мог одолеть ее, поэтому я ей покоряюсь.

Убить человека, ради того только, чтоб убить, я никогда не способен, — говорил он самым искренним тоном, остановясь перед графом, — но убить его во имя науки, во имя таинственных процессов и законов органической жизни — готов каждую минуту, особенно когда мне за это хорошо заплатят. С первых самостоятельных шагов моих на поприще науки меня всегда как-то тянуло к исследованиям всевозможных ядов, и я добился-таки кой-каких счастливых результатов, но я люблю делать окончательный, так сказать, полный генеральный анализ не над животными, а над людьми, и — я вам скажу между нами — мне удалось таким образом, в разных местах Европы, изучить четыре превосходных яда, и каждый раз не без материальной пользы для своей собственной особы, а однажды, во время моего путешествия по Италии,

отправил ad padres[403], посредством очень тонкого и медленного яда, одного весьма богатого, но чересчур уж долговечного дядю, за что от единственного мота наследника его получил полновесный гонорар — ни более ни менее как пятьдесят тысяч лир, то есть двенадцать тысяч пятьсот рублей серебром на русские деньги. Вы — человек порядочный, человек без предрассудков, и притом же мой товарищ и компаньон по общему предприятию, поэтому я с вами и откровенен так — благо уж нашла на меня такая откровенная минута.

— Ну а здесь, в Петербурге, вам еще не приходилось производить такие исследования? — спросил его граф.

— Пока еще нет, — спокойно ответил доктор, — но здесь удалось мне исследовать один новый, изобретенный собственно мною состав, который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экзальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. Вы слыхали когда-нибудь о Бероевой? — неожиданно спросил Катцель.

— Мм... кое-что слышал... Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского? — отнесся к нему Каллаш.

— Она самая, — подтвердил доктор. — И она-то была моим экземпляром.

Тот поглядел на него с изумлением.

— Ничего мудреного нету, — возразил Каттцель, как бы в ответ на его мину. — Я большой приятель с известной вам генеральшей фон Шпильце, и притом же ее постоянный домашний доктор: у нее почти нет от меня секретов.

— Но... послушайте! — перебил его граф. — Я вот чего не понимаю: с такой головой, с таким характером, с такими знаниями вы служите какой-нибудь фон Шпильце, исполняете ее заказы и тому подобное, тогда как не вы, а она, по-настоящему, должна бы быть у вас, что называется, в услужении.

Доктор горько-иронически усмехнулся.

— Это все должно бы быть так, и могло бы быть так! — проговорил он, с глубоким вздохом. — Да, могло бы быть, если б... если б мне прихватить где-нибудь немножко побольше характера относительно собственной своей

особы... Знаете ли, мне сдается, что я вечно буду в зависимости от какой-нибудь Шпильце, наперекор здравой логике. Это потому опять-таки, что характера для самого себя не хватает. Вы знаете ли, что, например, делал я до сих пор со всеми денежными кушами, которые получал за границей? Тотчас же спускал в рулетку и оставался нищим... В последний раз, перед приездом в Россию, я помышлял уже о том, чтобы отправить ad padres самого себя, как вдруг случай столкнул с Амалией Потаповной, она меня выручила — ну и... закабалила. Она мне дала первые средства жить, через свои заказы... Разбогатей я сегодня — я сегодня же знать ее не захочу, я сам закабалю ее, а завтра спущу все до нитки — и снова в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта — все равно, будет ли он в юбке или в панталонах... В конце концов выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их — клянусь вам! — презираю и ненавижу самого себя.

Граф Каллаш, хотя и сам был из людей бывалых и мало чему удивляющихся, однако не без некоторого содрогания после всех этих

признаний поглядел на доктора Катцеля. «А ведь фигурка-то — маленькая, мизерненькая и такая невинная, безобидная», — невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш ученый, покончив свою исповедь, которою он нимало не рисовался и не бравурничал, взял и спокойно закурил графскую сигару.

«Таков-то наш обер-фабрикант», — не без улыбки подумал в заключение граф Каллаш, внимательно созерцая фигурку доктора.

LXV
ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК

В сенях Устиньи Самсоновны находилась, от полу до потолка, сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре, по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Ото-движные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где, собственно, и крылась важнейшая суть хлыстовского приюта. Пол этого тайничка подымался на скрытых пет-лях, в виде люка, и открывал под собою дере-

вянную лестницу, которая вела в подызбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлыстовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован; стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плитняка известкового и имели с лишком сажень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванных образа хлыстовской секты: посередине, в виде Саваофа, изображен был вышний гость Данило Филиппович, вправо от него — стародубский богочеловек спаситель Иван Тимофеевич, а по левой стороне — лик «богородицы», матери Ивана Тимофеевича — Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного Знамения пресвятой богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый «богиней» или «дочерью бога».

Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадильнице и начинала свое «моление»: «Дай к нам Господи, дай Исуса Христа!»

Это подызбище было перегорожено на две половины: большую, где, собственно, и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длиною и около сажени в ширину. В этой последней совершались «переоболоченья» братии, то есть переодевания перед началом общих «радений», с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подызбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась, обок с железною печкой, еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь, которую с помощью Фомки-блаженного приладили здесь Herr Катцель и граф Каллаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством Фомушки и самих членов, день за день, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными пу-

тями, и проносились порознь, то разобранные по составным своим частям, то упакованные в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом исподволь и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили наконец подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посредине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами; на полках поместились реторты да колбы и ящик с анилиновыми красками; другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни, а за ними — изящная прочная шкатулка с секретом хранила в себе металлические плитки с выгравированными на них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трех— и кончая сторублевым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки, на которых должны были просушиваться приуготовленные

бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Катцель в серой блузе и красной феске, то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава; наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций — он все выискивал и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальши его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто даже по целым суткам и более он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон, и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока наконец в голову не начинал ударять страшный прилив крови и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Катцель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Усти-

нью Самсоновну, либо Паисия Логиныча оглядеть местность — нет ли там лишнего прохожего народу, — выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены, то порознь, то вместе, посещали его раз в неделю и приносили с собою добрый запасец красного вина, которым обер-фабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы.

Обитатели огородной избы благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью при деле, которое производилось с их ведома и притом в их собственном доме. Устинья Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами: «Что же, батюшки-братцы,

скоро ль гонение-то на нас будет? Поскорей бы хотелося!» Или осведомлялась, когда именно думают они семя антихристово рассеять по лицу земли. Старец Паисий в этих случаях больше все помалчивал, только улыбался им с великим благодушием да отвешивал поклон, исполненный большого достоинства.

Между тем одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни в избе Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затеянном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб Божий Фома обретается в тюремном замке, по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Каллаш не мог себе в точности представить, потому что Фомушка, в ожидании будущих благ, получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже с некоторой, возможной для

него, роскошью.

— Мой милый граф, — рассудительно возразил ему однажды Катцель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки, — мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не нуждаючись и даже с невозможной для нас роскошью, и однако ж... однако ж мы продолжаем мошенничать, из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю. Такова уже натура, и против натуры не пойдешь! — заключил Herr Катцель.

И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только подготовляется, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: «Что же я стану задаром время-то золотое терять?» И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетво-

ряли блаженного. «Это что за деньги! — размышлял он порою. — Это все равно что ты их на улице нашел: сами собою, задаром в твой карман приплывают. Это, по-настоящему, не деньги, а вот деньги, которые ты сам своей сметкой, своими мозгами да своими руками добудешь себе — ну, тут уж выйдет статья иная!» Старые привычки брали-таки свою силу над Фомушкой-блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спокойным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать, купно с Макридой и Касьянчиком, на паперти Сенного Спаса, корчить из себя юродивого, таскаться по перекусочным да по разным трущобам, сговариваться с Гречкой об убийстве ростовщика Морденки, и наконец, ни с того ни с сего, ради одной только привычки, украсть при выходе от всенощной бумажник купца Толстопятого — обстоятельство, как известно, доведшее его до «дядина дома», из коего освободился он благодаря лишь ходатайству велико-

светской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.

По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, он наведывался к графу Каллашу, но — увы! — банк темных бумажек не приносил еще никаких положительных результатов. Доктор Катцель все еще делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготовлял пробные ассигнации, но... эти ассигнации все еще не подходили к искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал не удовлетворен в совершенстве, доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих сотоварищей, особенно же с Каллашем; дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своем, и те ему уступали.

— Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека! — убеждал он их в минуты подобных споров. — Иначе возьмите вашего Фомку и пускай он, а

не я, занимается в этой лаборатории! Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, ученому химику, не пришлось бы краснеть за свое изделие и за свое знание. Для вас же будет лучше, — говорил он, — если потом вы сами не отличите их от настоящих: тогда мы будем свободно и смело являться с ними хотя бы в государственный банк, для размена!

Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредитках после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия обер-фабриканта увенчаются полным успехом.

Приходилось ждать и Фомушке, хотя он и не был посвящен в эти споры и успехи доктора. Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоедать ему. «Видно, дело непутевое, и надо так полагать, что ничего из него не вытрясется! Ниче-

го клевого не выйдет!» — стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения, близкого к полному разочарованию.

LXVI
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА — ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ

Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.

Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновения, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирю, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной конторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для жен-

щин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».

Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную — рассудок ее был совершенно ясен.

Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.

— Ну что?.. Как? — спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.

— Да что... Очень плохо.

Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей.

— Но все-таки есть надежда? — спросила надзирательница.

— Мм... нда, пожалуй... однако очень мало.

— Вы полагаете, стало быть, что умрет?

— Нда... мне кажется, не вынесет... Упадок сил чересчур уж велик.

— Да и как быстро наступил-то он!.. И все сильнее, все сильнее ведь!

— Это-то и скверно.

— Что ж тут делать теперь?

— Ну, пропишем что-нибудь... посмот-

рим... может быть... только едва ли...

Бероева слышала кое-что из этого разговора — об остальном она догадалась, и сердце ее сжалось тоской и холодом. Смерть... она не думала, чтобы смерть была так близка... она не чувствовала и не ждала ее. Смерть! — и эта мысль испугала больную.

Мысли ее стали мешаться, путаться, в ушах зазвенел какой-то смутный шум, глаза смыкаются невольно, как бы под обаянием неодолимой дремоты, и наконец наступает какое-то сладкое, дурманящее забытье.

Сын Эскулапа, для успокоения совести, прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Бероевой и растолкала спящую.

Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которое подымается в груди перед обмороком, а иногда в первые мгновения после него.

— Лекарство прими, — предложила сиделка-арестантка.

— Не надо... — слабо проговорила больная,

которую от этого чувства дурноты еще более клонило ко сну: организм просил полного успокоения.

— Да все ж таки прими, моя милая, — ведь дохтур приказал, — убеждала сиделка, продолжая тревожить ее расталкиванием.

— После... — чуть слышно ответила Бероева.

— Да как же так?.. Я, право, не знаю... я надзирательнице кликну — пущай она сама, как знает.

— Оставь, Христа ради... дайте мне покой.

— Да ведь приказано!

Встретя столь настойчивое сопротивление, Бероева нервно, хотя весьма слабо, заметалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, произведя конвульсивно-лихорадочные содрогания во всем теле.

— Бога в тебе нет, что ли! — укоризненно накинулись на сиделку несколько больных арестанток. — Не видишь разве! Все равно помрет... Оставь ты ее, не мучь напоследок — уж и без того ей вдосталь пришлось сегодня... совсем помирает ведь.

Общая укоризна подействовала: сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели.

Но зловеще в ушах Бероевой раздались слова арестанток:

— Все равно помрет... совсем помирает.

Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в ее уме пугающим призраком, и на этот раз больная решилась собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту.

— Мавру Кузьминишну... голубушка. Мавру Кузьминишну, — слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке, — Бога ради, Мавру Кузьминишну! — умоляющим стоном повторила она.

И через несколько минут надзирательница уже держала ее холодеющие руки.

— Мавра Кузьминишна... тут у меня в ладанке, на шее... вы знаете... вместе с крестом старинный рубль зашит... старинный рубль... от дочери... Снимите с меня...

Старушка исполнила ее желание, и Бероева слабою рукою поднесла к губам свою заветную память. На глазах ее появились слезы.

— Бедные мои дети! — горько прошептала

она, продолжительно прильнув к этой ладанке: — Не увижу больше...

Мавра Кузьминишна и больная соседка поддерживали слегка ее голову. Остальные внимательно и в каком-то благоговейном молчании следили со своих кроватей за этою грустною сценою.

— Я умру, говорят они... Нет... Боже мой, нет!.. Неужели... Смерть... Но... если я умру, — продолжала больная, в борьбе с этой мыслью, тихо взяв руку надзирательницы, — напишите к родным — вы знаете куда... Жив ли он, и что с ним... Если он жив — муж мой — пускай ему скажут, что я и в последнюю минуту о нем да о детях несчастных поминала... Он любит нас... А тем, врагам нашим... Бог с ними! Я прощаю им... Пусть и он простит...

И новые слезы полились из глаз умирающей.

— Теперь — моя последняя просьба... последнее желание... Бога ради, сделайте это... Для умирающего человека можно, — продолжала она, подняв на старушку молящие взоры. — Это каприз, но... в нем теперь все, что осталось мне дорого от прошлого... Этот

рубль — подарок дочери моей, — я не хочу с ним расстаться... Умоляю вас! Не откажите моей последней воле!.. Положите его со мною в гроб... Вы сделаете это. Дайте мне слово!..

Мавра Кузьминишна пообещалась, и на лице умирающей, словно тихая тень весеннего облака, легла светлая, довольная улыбка.

— Благодарю вас... — прошептала она, — благодарю... Теперь я умру спокойнее... Не отходите от меня... Будьте хоть вы со мною — все же легче как-то: не одна хоть буду в последнюю минуту... Сядьте здесь... поближе...

Старушка села подле нее и все держала ее руки так нежно и любовно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребенка.

Но зато, после стольких усилий, после минутного напряжения стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уже истощился, и начался окончательный упадок сил...

Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди завет-

ную ладанку, холодела все более. Через полчаса это состояние почти незаметно перешло в какой-то окоченелый сон, так что ни пульса, ни дыхания уже не было слышно.

LXVII
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Слабее, слабее становится тело — с каждой секундой силы угасают все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей воле рукой или пальцем, теперь ей уже трудно сделать это: она не может даже шелохнуть ни единым суставом, да ей и не хочется, она чувствует, что ей было бы болезненно-трудно шевельнуть чем-нибудь. Как хорошо лежать ей теперь неподвижно в этом расслабляющем оцепенении! Словно бы великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит ее под своим обаянием. «Ах, кабы не будили! Ах, кабы они оставили меня!» — смутно промелькнуло в голове Бероевой, так смутно, как иногда в ярко-солнечный день мелькнет на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но ее не будят,

она как будто чувствует, что руку ее держит чья-то другая, дружелюбная рука — это была рука Мавры Кузьминишны, — ее не будят, и она довольна, она рада этому: ей так хорошо лежать в этом забытьи, сковывающем тело.

Глаза смыкаются все больше и больше, и, пока они совсем еще не сомкнулись, Бероева, будто сквозь голубоватый туман, почти бессознательно и бледно различает около себя какие-то фигуры — не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькают и рябят перед ее глазами, как рябят иногда печатные строчки у человека, засыпающего над книгой.

Но вот голубоватый свет тумана перешел в какой-то мглисто-серый, и фигуры исчезли...

Вместо них появляются новые ощущения.

Тяжко-сладкая дремота долит и долит все сильнее, и уже нет того сознания, которое за минуту еще мелькало в ее уме, выражаясь желанием, чтобы ее оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на место его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений.

В ушах раздается неопределенный шум.

Какой это шум? Не то тысячи колоколов гудят во тьме... Кремль и московские соборы в полночь, во время Христовой заутрени... гудят и звонят все сильнее, все ближе — гул и звон со всех сторон охватывают Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звон!.. А в глазах, в глазах-то что за дивный свет ударяет в них сверху! Это яркое солнце ослепительно, нестерпимо режет глаза своим колючим блеском. Целые снопы золотых, бриллиантовых лучей отовсюду, мириадами кидаются в глаза и жгут, и слепят их собою.

Не то звуки плохого, расстроенного фортепиано раздаются в ушах — словно по клавишам без толку и смыслу ударяет чья-то неверная, детская рука, не то грохот барабанов раздается, шум и крики толпы; а в глазах колесами ходят и сплетаются между собою, будто в дивной фантасмагории, какие-то огненные круги, играющие всеми цветами радуги, и эти круги являются в разных размерах — большие и малые, а между ними, на темном фоне, дождем падают, сыплются, и скачут, и прыгают, и вьются, и кружатся мириады светлых точек, бриллиантовых искорок, снежинок. Ра-

дуги налетают на нее со всех сторон, с непостижимой быстротою сливаются вокруг ее тела, опоясывают ее сверкающим обручем — и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске, под нескончаемым дождем светлых искорок, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов.

Но вот стихают этот блеск и шум, становясь все глуше и глуше... Теперь уже будто не барабаны, не колокола и не голоса толпы, а словно бы шум и кипение бесконечного моря. И это не море, а целый океан шипит, волнуется и клубится. Холодно. Плеск волн все тише и слабее — будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свет едва-едва проникает своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодные массы воды — и это именно подводный свет, с зеленоватым отливом... Большие, безобразные рыбы медленно двигаются в безднах океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшные пасти, машут плавательными перьями и смотрят на утонувшую своими холодно-стеклянными, неподвижными глазами. Она опус-

кается все глубже и глубже, и чем глубже, тем все холоднее становится ей. И вот этот водяной холод равномерно разливается по всем членам ее тела. Наконец она совсем уже опустилась на дно морское — навзничь лежит недвижимо и не чувствует больше холода; здесь уже нет ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно оцепенение. Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленовато-подводный свет улетучился кверху.

Наступили мрак и тишина — полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущенного состояния.

— Кажись, умерла, — вдруг послышался оцепеневшей Бероевой шепотливый голос Мавры Кузьминишны, и показалось ей, будто в этом голосе был легкий оттенок испуга.

— Надо быть, умерла, — шепотом же ответил голос больной соседки.

Несколько арестанток тихо, осторожною походкою, в своих серых халатах, подошли к Бероевой и долго, с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присуще человеку перед одром только что

отошедшего брата, глядели в строго-спокойное синевато-бледное лицо умершей.

— Умерла... — невольно промолвили некоторые из них, и это слово, точно так же как и полушепот Мавры Кузьминишны, достигло до слуха Бероевой.

«Умерла?.. Как — умерла? Что это они говорят?» — мелькнуло в ее слабом сознании, которое, вместе с наступившей тишиной и мраком, мало-помалу начало снова возвращаться к ней. Но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность проявить его внешними признаками: звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мертвенно-неподвижное тело.

«Что это вы говорите?!. Я жива! Жива! Поглядите — вот!»

Бероевой в ее исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова, и ей хотелось, всеми силами своего слабого сознания хотелось выкрикнуть их громче, чтобы разуверить окружающих в своей мнимой смерти. Но странно: окружающие как будто и не слыхали ее слов: они продолжали

относиться к ней как к мертвой.

— Надо бы позвать надзирательницу да доктора — пущай поглядят, — вполголоса предложила сиделка и на цыпочках вышла из комнаты.

«Ну вот! Слава Богу! Доктор придет... Он увидит, он разуверит их», — прокрался у Бероевой луч надежды.

Пришел доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем зрачок и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой: готово, мол!

— Умерла? — спросила его Мавра Кузьминишна.

— Конечно. Разве вы не видите?

«Да нет же! нет!.. Я жива!.. Я слышу!..» — силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она действительно крикнула. Но нет, не слышат... Хочет она хоть чем-нибудь подать знак им о присутствии в ней жизни, хочет приподнять опущенные веки — и не может поднять их; силится шевельнуть пальцем — безжизненные мускулы не поддаются невероятно-упорным усилиям ее воли, а между тем она все ясней начинает слышать

движение окружающей ее жизни, даже отдельные людские голоса различает, сознавая, когда и что говорит доктор и когда Мавра Кузьминишна.

При этом в ней поднялось то смутное невыносимо-тяжкое чувство, которое наплывает на грудь и голову человека во время сонного кошмара.

«Да это сон, это кошмар, — думает Бероева, — он сейчас кончится, только сразу никак не могу проснуться... этого ничего нет, это все только снится мне».

Но кошмар не проходит, и, несмотря на все усилия воли, проснуться она не может.

— Накройте ее и уберите койку, да в контору дайте знать о смерти, — распорядился доктор, удаляясь из комнаты, ибо засим ему уже нечего было делать в лазарете.

— Как быть-то? Ведь по закону, кажись, нельзя класть к покойнику в гроб драгоценные вещи? — с озабоченной сомнительностью обратилась старушка к бывшей соседке Бероевой.

Мнимоумершая расслышала и эти последние слова. «Неужели она не положит? Неуже-

ли не исполнит моей просьбы?»

— Так то ж, это ведь не бральянт какой, а просто-напросто старая деньга — чай, сами слышали! — подумавши, возразила арестантка. — Опять же последняя воля — просила-то ведь как!.. Слезно просила!.. Ведь грех не сделать-то!

— То-то, что грех, — со вздохом согласилась Мавра Кузьминишна. — Это на совести будет... Боюсь только, от начальства чего бы не вышло, если узнают... Ну, да уж что об этом думать, коли по христианству должно исполнить! — махнула она рукою. — Последняя воля — великое дело.

Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки.

Если бы воля ее повиновалась ей, то на лице ее отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности, но теперь — лицо осталось мертво и безвыразительно.

И вскоре после этого Бероева, хотя и чересчур слабо, однако ощутила-таки, как ее всю — от головы до ног — покрыли чистою простынею и как два солдата подняли ее вместе с койкой и понесли из больничной палаты.

Арестантка Катя Балыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма к ее Осипу Гречке, проведав теперь о смерти Юлии Николаевны, слезно обратилась к Мавре Кузьминишне допустить ее обмыть покойницу. «Хоть этим-то отблагодарить за душевность ее!» — прибавила она в пояснение своего желания. Надзирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела Бероеву и, разжав ее пальцы, вынула из руки ладанку и надела ей на шею, под смертную арестантскую рубаху.

После того тело, до следующего дня, вынесли в мертвецкую.

Близится ночь. Покойница лежит на столе в тюремной мертвецкой, покрытая все тою же чистою простынею. Перед образом мерцает лампада, в головах у нее восковая свечка теплится и кидает на стену поперечную тень от лежащей женщины. Эта тень рисует неправильный профиль головы, бугорок, в том месте, где на груди сложены руки, и острый, выдающийся угол пальцев ног под простынею.

Тихо. Только сверчок уныло и робко цвирикает под половицей, да изредка треснет нагорелая светильня восковой свечки — и монотонно-глухо раздается внятный голос читальщика Китаренко, который «ради спасения души» выпросился почитать псалтырь над покойницей.

«Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», — смутно звучится в ушах Бероевой, и в мозгу ее копошится новая тень мысли:

«Над кем это читают?.. Надо мной читают?.. Да, надо мной читают!»

«Со святыми упокой, Христе, душу новопреставившейся рабы твоея Юлии, — продолжает меж тем монотонно тягучий голос псаломщика, — иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

«...Но жизнь бесконечная... Я умерла, — шевельнулась новая мысль в сознании Бероевой. — Смерть... А, так вот она — смерть!.. Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу... Умерло тело, душа жива... „Но жизнь бесконечная...“ Сознание, значит, останется: оно — жизнь бесконечная. Страшно. Но это теперь, пока я

на земле, пока меня люди окружают, а дальше-то что же?»

«Земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще: песнь аллилуия».

«Но дальше, что же дальше-то будет? — неотвязно замелькала перед мнимоумершей все та же пытливая, ужасающая мысль. — Теперь я слышу жизнь, а когда закопают в могилу — там уже нечего будет слышать... Какие звуки там, под землею?.. Сознание осталось... А когда тело сгниет и кости истлеют? Тогда же что?»

«Чудны дела твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне», — звучит голос читальщика; а ночь меж тем растет и расстилается над неугомонным городом.

Порою будто туман непроницаемо заложит голову Бероевой и одолевает ее какое-то обморочное, мертвенное состояние, слух притупится, и мысль застынет; но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неяс-

ные звуки, которых нельзя еще различить; однако из этих самых звуков через несколько времени начинают выделяться слова, из слов целые фразы читаемой псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается, и ясно вырастает в нем роковой вопрос: «Что же дальше будет?» — пока и мысль и слух опять не погаснут в новом наплыве каких-то призрачных грез, тающих под конец в этом обморочном, всепоглощающем тумане.

LXVIII
ТЮРЕМНЫЕ ВЕСТИ И НОВОСТИ

Тюремные новости разносятся необыкновенно быстро. Это своего рода телеграф, в котором, впрочем, электрическая проволока и все другие аппараты весьма успешно заменяются одним только языком. В тюрьме, среди одуряющего однообразия жизни, каждое приключение — вроде того, что две арестантки за что-нибудь подрались или один арестант стащил у другого рубаху — считается уже новостью, которая тотчас передается на другие этажи и отделения. Оно и понятно: хо-

тя драка или местное воровство — явление самое обыкновенное в подобной среде, но все же и они в тюрьме отчасти выдаются из скучно-монотонного уровня скучнейшей жизни, где один день ни на йоту не отличается от другого, где завтра тянется, как вчера, а вчера — как сегодня, и так целые недели, месяцы и даже годы. При этих условиях — понятное дело — такое обстоятельство, на которое в иной обстановке никто из заключенных и малейшего внимания не обратил бы — «не плюнул бы», как говорят они, здесь уже приобретает своего рода важность, значение новости или приключения и, как новость, разносится по всем камерам, с достодолжною быстротою.

Утром этого дня новость заключалась в отправке Бероевой на площадь: «К Смольному затылком на фортунке покатили марушку [404] одну с дядиной дачи», — передавали арестанты друг другу; а к вечеру всеобщею новостью для тюрьмы стала внезапная смерть этой самой марушки, и рассказ о том, как умирала и что говорила, что делала при этом арестантка, быстро перелетал из уст в уста, с вариациями, дополнениями и изменениями.

Каждый присовокуплял к нему, что хотел, по своему личному вкусу и соображению: лазаретная сиделка передала придвернице, придверница стряпухам и прачкам, те разнесли по женским камерам, а женщины, в свою очередь, передали мужчинам.

Есть в тюрьме один пункт, в котором деревянная стена отгораживает мужское отделение от женского. Этот пункт и служит главной станцией устных депеш от мужчин к женщинам и обратно. У всех почти заключенных, которые имеют свои тюремные платонические романы, условлены известные часы для свиданий с дамами сердца. Лица не видно, зато голос можно хорошо слышать, стало быть, есть возможность разговаривать. Точно такой же условный час свидания существует и у Гречки с арестанткой Катей Балыковой.

— Что у вас, помер кто-то, слышно? — спросил голос Гречки.

— Ах, уж и не говори!.. Такое это у меня горе!.. Ведь самая душевная моя, любимая моя померла-то! — встосковалась Катя Балыкова. — Сколько раз, бывало, попросишь письмо к тебе написать — никогда отказу не было.

И арестантка со всеми подробностями, насколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой.

— Ты говоришь, деньги приказала положить с собою? — очень серьезно и тихо спросил Гречка видимо изменившимся голосом.

— Ах, уж так-то просила... Со слезами, говорят... Это, мол, самая заветная вещица моя, приказывала им, ни за что, мол, расстаться с нею не желаю.

— Гм... И ты не врешь, что сама видела, как оно в ладанке зашито?

— Зачем врать, своими глазами видела. Потому, что я очинно любила покойницу, — объясняла Балыкова, — так я выпросилась у Мавры Кузьминишны, чтобы взяла меня вместе с собою обмывать да убирать ее, — тут вот и видела, как она, значит, на шею надела ей.

— Гм... А деньга-то самая, рубль старинный, что ли?

— Старинный, точно старинный — тяжельше нонешних.

— Да это верно?

— Что сама видела да слышала, то и говорю, — подтвердила Катя. — Мавра Кузьми-

нишна и допреж того знала про этот самый рубль, — продолжала она, — потому, сказывала она, что покойница ей не раз говорила про него: они со старушкой-то нашей словно дочка с матерью жили. Так вот это она и сказывала, что рубль-то петровский какой-то... верно, особенный... в семье у них издавна хранился.

Если б Катя Балыкова могла видеть Гречкино лицо, то она увидела бы, как изменилось, как просияло оно в эту минуту.

— Ну, прощай, душа, спасибо за новость! — торопливо промолвил Гречка.

— Да куда ж ты, лиходей мой!.. И слова еще по душе не сказали! — укорила Катя.

— Некогда... Ужо поговорим, а теперь не время. Да слышь ты, — внезапно он прибавил, — не знаешь, когда ее хоронить будут?

— А сказывали, будто завтра хотят.

— Завтра?.. Гм... Эка штука... — раздумчиво процедил озабоченный Гречка. — Ну да ладно, завтра, так завтра! Прощай!

И Катя слышала, как удалился он поспешными шагами.

В голове Осипа Гречки горячо кипело мно-

жество мыслей, так что он, видимо, находился в лихорадочном состоянии.

«Старинный рубль... петровский — значит, этта, императора Пётры Первого, как сказывал жиган, — размышлял он сам с собой. — Издавна в семействе хранился и в ладанке зашит... Да еще слезно приказывала в могилу положить с собою... Это фармазонские деньги — они! Беспременно они! Беспременно фармазонские! — решил арестант и еще жутче погрузился в свои думы. — Надо во что б то ни стало добыть эти деньги!.. Во что б то ни стало!.. В часовню забраться, нешто?.. Не заберешься: укараулят... Одна штука — бежать, да бежать как можно скорее!.. А как раздобудешься заветным рублем неразменным — Господи, что за жизнь-то пойдет счастливая! — упоительно предался он мечтаниям. — Живи, ни о чем не тужи, ни о чем не заботься, одет, обут и пищия тебе тут всякая, и напиток хороший! Любо! Уж как любо!.. Ажно дух захватывает!.. Фатеру хорошую найму, сударушка своя собственная будет — барином жить стану... И воровать уж не буду — незачем... Ни за что не буду, ни-ни, и детям закажу —

экого богачества по весь век за глаза ведь хватит... На покое да на волюшке заживем тогда! Одно только скверно, черт побери, очинно уж скверно! — приостановился он в дальнейшем порыве. — Чтобы добыть-то их, эти фармазонские денежки, надо будет над мертвецом надругательство сделать... Иначе не достанутся, сказывал жиган, то ись никак не достанутся... Эх, доля наша, доля горемычная! Каково-то оно есть, это счастье людское, — и за что нашему брату приходится черту запродать свою душу навеки, а даром и не добудешь этого счастья... Ну да что ж такое? Запродать так запродать! — решил он, после минуты раздумья. — Мне что теперь, что после, по Писанию, — все едино пропадать ведь надо... За наши добрые дела, сказывают, будто на том свете в рай ко святым не пущают, а прямо в огненную реку волокут — так, значит, это для нас все равно что ничего, потому и без того сволокли бы, потому хоть и убегу, хоть и на воле буду — а хлеб жевать надо, — ну и, значит, беспременно воровать надо: без того уже нашему брату невозможно как-то, с волчьим видом ни в какую иную работу не примут.

Тут уж лучше, коли пропадать, пропаду, по крайности, за счастье свое; по крайности, узнаешь, каково таково это самое счастье на свете бывает!»

И Гречка окончательно уже решился.

LXIX
ПОБЕГ АРЕСТАНТОВ

«Жил-был на свете добрый молодец, а прозвание молодцу было Хмелинушка-бездельный», — рассказывал Кузьма Облако собравшейся вокруг него, по обычаю, кучке арестантов, когда Гречка вошел в эту камеру, непосредственно после своего решения о скором побеге. Он пришел сюда с целью окончательно сговорить себе подходящего товарища, которого он наметил уже гораздо раньше и недели за три до описанных происшествий успел даже раза два намекнуть ему о возможности побега. Гречка знал, что это человек решительный и предприимчивый, со стороны которого едва ли встретится отказ. Вошел он в камеру в начале седьмого, спустя около двух часов после смерти Бероевой.

«Задумал Хмелинушка жениться, крестьянским хлебом кормиться, — продолжал Облако. — Оженился Хмелинушка — жонка вышла неудачливая: где бы печь истопить да варева наварить, а она в гречку скакать, в конопли хорониться да с чужими парнями водиться. Задумал Хмелинушка нову тесову избу поставить — жить хозяином да Господа славить. Поставил — пришел огонь, повыгнал Хмелинушку вон: погорела изба. Пошел Хмелинушка в поле — полоску боронить, на зиму хлебушки накопить.

Уродило яровое, да пришел град небесный, повыбил Хмелинушкину ржицу. Видит Хмелинушка, во всем ему незадача. Пошел Хмелинушка куда глаза глядят, а навстречу ему Горе идет, на клюку опираючись, над Хмелиною насмехаючись. Само Горе лыком подпоясано, а ноги мочалами изопутаны. Испужался Хмелина Горя безобразного да в темны леса от него поскорей! Глядит — а Горе прежде его в темный лес зашло, навстречу идет да поклон отдает. Пуще того испужался Хмелинушка, бежать ударился да и прибег в почестный пир христианский: нет места во пиру Хмели-

нушке, потому — Горе раньше зашло да на его место уселось. Тут Хмелинушка от Горя — во царев кабак, а Горе встречает, уж и водку-пиво тащит да востер булатный нож подает. Подружился Хмелинушка с Горем, брательски с ним побратался, и говорит ему Горе великое: «Дам тебе я, доброму молодцу, путь пространный, дорогу широкую, дам тебе я хоромину крепкую да теплую, дам тебе я хлеб да одежду богатую. Дорога моя — Володимирка, хоромина — сибирский острог, а хлеб да одежина — казенныи, не просто казенныи, а клейменныи, арестантскии».

— Это ровно как в нашей тетраде списано, — заметил на это один арестантик из грамотных, — там тоже эдак про горе говорится:

Горе плачет и смеется,
Горе вьется вертеном,
Как осина, горе гнется,
Горе ходит с топором[405].

— Что, брат, хороша песня? — подмигнул Гречка одному арестанту, который третий месяц содержался в тюрьме по делу, грозящему неминучей каторгой.

— Одно слово — арестантская, — пробур-

чал вопрошаемый.

— А сказка? тоже, поди-ко, недурна?..

— Ништо себе, живет...

— Точно, брат, живет. Это твое верное слово. Только ты постой, ты сначала почувствуй, брат! — распространялся перед ним Гречка. — Это еще не сказка, а только малая присказка, а сказка-то самая будет нам с тобой впереди, как вот в Конном трактире даром порцию миног отпустят да клеймовой тройцой благословят, чтобы не потерялся и чтобы мать родная признала, значит, да вот как с железной музыкой, в браслетиках, прогуляться пошлют — ну, это тогда точно что уж сказка будет!

Тот, с невкусным выражением в лице, почесал у себя за ухом.

— А вот *я* тебе сказку скажу — моя получше выйдет! — как-то двусмысленно предложил ему Гречка. — Пока что, и моя авось пригодится... Хочешь послушать, что ли?

— Болтай, пожалуй.

— Постой, кума, в Саксонии не бывала! — отшутился Гречка и совсем спокойно уселся подле избранного субъекта, по-видимому, намереваясь только праздное время убить в

приятной компании да послушать, о чем тут люди гуторят.

Арестанты меж тем песню запели. Начал Фалинов, а несколько голосов подтянули:

Вот как муж жену любил... —

выводил он веселые переливы, избоченясь и изображая разными ужимками и всею фигурою, как именно муж любил жену свою.

Уж он так ее любил —
Щепетненько водил,
По морозу нагишом,
По крапиве босиком.
А жена его любила —
Щепетней того водила,
Щепетней того водила,
В тюрьме место откупила,
Откупила, снарядила —
Пятьдесят рублев дала.
Вот тебе, мол, муженек,
Вековечный уголок!
Не толки, не мели —
Только руку протяни,
Только руку протяни,
Да... вспомяни,
Ты... вспомяни
И готовое прими!

Под шумок этой песни Гречка незаметно толкнул в бок избранного товарища и пересел с ним подале.

— Верный ты человек? — многозначительно спросил он его вполголоса.

— Это от случаю: каков, значит, случай, а впродчим, для товарищей — верный.

— И голова твоя забубенная?

— Семи смертям не бывать, одной не миновать, в жизни да в смерти — один Господь волен да повинен.

— Так-то так! Да дело твое, слышно, очинно уж скипидарцем попахивает и скоро, значит, решат.

— Сказывают, будто так.

— Нда... Я вот и сам решенья жду себе. Тоже, поди, чай, не помилуют... Ежели бы удрать-то можно отселева!

— Кабы-то удрать!.. Не удерешь.

— А нешто хотел бы?

— Кабы не хотеть-то!.. Да ничего не поделаешь.

— Один не поделаешь, а вдвоем — выгорит!

Арестант поглядел на Гречку недоумелым

и недоверчивым взглядом.

— Хочешь в товарищи? — с онику предложил ему Гречка. — Я удеру беспременно.

— Да ты уж мне болтал об этом, только пока еще все ничем ничего! Удрать... Да как удрать-то? Кабы знал, так и сам бы давно уж ухнул!

— А уж про то — мое дело!.. Ты мне скажи только: хочешь аль нет?.. Человек-то ты, сдается мне, подходящий; с тобой эту штуку можно обварганить.

— А подходящий, так работи: согласен! Только когда же?

— Да сейчас! Чего ждать-то?

— Ну, полно врать!

— Как перед Истинным!.. Деньги есть у тебя?

— Семь рублев припрятаны, с собою.

— Да у меня двадцать: онамедни на картах взял — значит, хватит про обоих. Теперь ступай к Мишке Разломаю да водки два полштофа купи... И вот еще что... Как бы самдурнинского добыть?

— У него есть, да не отпустит, шельмец, дешево, а я знаю, что есть... Ему тут один благо-

приятель с воли протаскивает.

— Вымоли хоть Христа ради, что ли... Ведь он на тот случай, ежели кому в лазарет идти вздумается, затем только и держит.

— Известно, а то зачем же больше? Так сказать ему нешто, что мы с тобой на белых хлебах с недельку проваляться задумали, ну и вот, мол, болезнь перед дохтуром оказать надо.

— Верно, голова, верно! Так и звони ему, только торгуйся, а то сразу заломит цену, собака. Больше двух рублей не давай.

— Ладно!

И подговоренный отправился исполнять поручение.

Прозывался этот арестант Китаем... Фамилия или кличка у него была такая — неизвестно, только кличка в этом случае совсем пришлась по шерсти. Китай был сухощавый, сутуловатый и долговязый детина, а узкие глаза да широкие скулы действительно придавали его физиономии нечто среднеазиатское, дикое и отважное. На сей раз Гречка не ошибся в выборе товарища: он держал расчет на то, что плети и путешествие за бугры для

этого человека дело еще новое, непривычное, от которого он весьма не прочь бы увильнуть — лишь бы представился случай, а эта дикая отвага и служила для него некоторой надеждой, что Китай не призадумается над исполнением предложенного предприятия. Так и случилось. Мишка Разломай отпустил ему за пять рублей требуемое количество водки и под величайшим секретом добрую щепоть дурмана. В уединенном месте Гречка поставил на караул Китая, а сам тем часом высыпал порошок в один из полуштофов, взболтал его хорошенько и, запихав свою фабрикацию в правый карман шаровар, а нефабрикованную водку в левый, отправился вместе с Китаем исполнять задуманное дело.

— Ты уж только помалчивай — гляди да смекай, что я стану творить, а сам не рассуждай — неравно еще напортишь, — заметил он, отправляясь в коридор, где помещались арестантские карцеры татебного отделения.

В некоторых из этих карцеров вольные слесаря замки починяли. Всех их было три человека.

— Куда вы? Чего вам тут надо? — крикнул

один из них, заметив, как Гречка с Китаем проскользнули в один из затворенных карцеров. Гречка чуть-чуть выставил голову из-за притворенной двери и, сделав подмастерью предупредительный знак к молчанию, стал осторожно манить его рукою.

— Чего те надобно? — спросил его слесарь, подойдя к двери.

— Тихо!.. Тихо ты!.. — шепнул ему Гречка. — Чего горланишь-то?

— Да ты зачем, говорю?!

— А вот с приятелем... два полштофа распить желательно бы... Я ноне именинник.

— Проваливай! Вам тут пить, а с нас взыскивать станут; скажут: зачем, мол, дозволили да не довели... Уходи, что ли, пока добром те просят!

— Эх, приятель, хорошо тебе так-то рассуждать, а мы — люди подневольные. Ты, чай, именины-то не день, а три дня справлять себе будешь, а нашему брату-заключеннику уж и рюмчонку украдучись хватить невозможно!.. Душа твоя христианская, ведь и мы человеки есть тоже!

— Да коли нельзя!.. Ну, ступай в другое ме-

сто!

— Эх, милый человек! Нет у нас другого места. А ты вот что: хочешь — вместе с нами хватить, да заодно и товарищев кликни. Уж мы, так и быть — куда ни шло! — один полштоф на троих пожертвуем; только не горланьте да не гоните, братцы, а мы эдак потиху-посладку, чтобы, значит, никому не обидно было.

Подмастерье крикнул двух остальных работников, и все впятером заперлись в темном карцере. Гречка запустил руку в правый карман и, отдавая подмастерью посудину, еще раз потряс ее в воздухе:

— Эвона какая! Гляди, ребята: помаранчик горестный!.. А это нам, брат, с тобою, — прибавил он, вынув второй полуштоф.

— За здоровье именинника!.. С ангелом!.. Чтобы недолго коптеть, поскорей улететь! — поклонился Китай и стал медленно всласть тянуть через горлышко.

Слесаря не заставили просить себя вторично и, обрадовавшись нежданному и притом даровому полуштофу, с жадностью последовали примеру Китая.

Порция дурману была весьма достаточна для того, чтобы всех троих ошеломило почти сразу. Через пять минут один из них повалился без чувств, другой начинал уже засыпать в углу, а третий, без языка и движения, столбом стоял на месте, в состоянии мухи, опившейся табачным настоем. Повалить его на пол, раздеть двоих, и всем троим завязать рты платками, а руки да ноги крепко перепутать снятым с себя арестантским платьем было дело каких-нибудь шести-семи минут для двух арестантов. Сполна облекшись в костюм опоенных слесарей и захватив с собою весь их инструмент, Гречка с Китаем, как ни в чем не бывало, бойко и бодро пошли по коридору татебного отделения. Одну только жилетку свою, приобретенную как-то в тюрьме, не скинул с себя Гречка, потому что в подкладке ее были зашиты его деньги да в боковом кармане оставлены про запас, на всякий случай, две рублевые ассигнации.

На дворе начинало уже темнеть, а под тюремными сводами и подавно господствовал вожделенный для беглецов сумрак.

— Там подмастерье наш остался еще: кон-

чает... Он и расчет в конторе должен получить, — мимоходом отнесся Гречка к коридорному подчаску, проходя мимо его двери и нарочно изменив свой голос.

— А вы-то куда же, не дождамшись? — полюбопытствовал тот, пропуская обоих.

— А мы зашабашили... в баню нонче хотим, — отозвался Гречка, не обертываясь и прехладнокровнейшим образом спускаясь с лестницы.

Точно так же неторопливо и по видимому беззаботно вступили они на большой тюремный двор. Но что перечувствовали оба, и особенно Гречка, для которого в эту минуту осуществлялись долгие, заветные и самые страстные мечты его! Сердце билось до того, что дух захватывало, колени дрожали и подкашивались от тревожного страха и опасений, что вот сейчас накроют, и от жгучей радости перед вольною волею, которая ожидает впереди — и всего-то через несколько шагов за воротами! Гречка сосредоточил теперь весь свой ум, характер, всю твердость и силу воли, чтобы вполне хорошо разыграть принятую роль и не выдать себя тюремщикам. В

этот решительный и сильно страстный момент сдержанно-скрытых, но самых разносторонних ощущений Гречка усиленно чувствовал жизнь, усиленно переживал ее всем существом своим.

Вдруг на дворе повстречался один долгосиделый арестант, проходивший из конторы на свое отделение. Арестант знал в лицо Осипа Гречку, и Гречка точно так же знал арестанта.

Не дойдя два шага до беглецов, последний остановился и, пропуская их мимо себя, изумленно и взглядчиво всматривался в физиономию Гречки.

Этот почувствовал, как по спине побежали холодные мурашки.

— Кажись, как быдто Гречка! — пробурчал арестант сквозь зубы, но настолько внятно, что беглецы могли расслышать его слова.

Они прошли мимо, будто не заметя встречного и не относя на свой счет его замечания.

— Эй!.. Приятель!.. Гречка! — окликнул их вдогонку знакомый.

Те продолжали идти, но в ту же минуту услыхали за собою быстро приближающиеся шаги.

— Стой! Не то закричу тревогу! — в обыкновенный голос сказал арестант, нагоняя.

Хочешь не хочешь — пришлось остановиться.

— Ты что это, приятель?.. Пошто наряд обменил? Аль лататы задаете?

— Бога в тебе нет!.. Иди, знай, своею дорогою! Не замай нас! — с укоризной и мольбой прошептал ему Гречка.

— Нет, брат, сам не замай! Дай прежде слам сорвать. Ты ведь мне не друг, не закадыка — так мне что за расчет жалеть тебя! Деньги есть?

— Самая малость...

— Давай половину! И за себя, и за барина [406], да скорее!

— На, грабитель! — с ненавистью сказал Гречка, поспешно сунув ему в руку рублевую ассигнацию из запасных.

— Ладно! Сам таков же! — нагло усмехнулся арестант. — С паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, теперь махайте себе с Богом! Мое дело сторона.

Вся эта сцена разыгралась менее чем в одну минуту. Гречка с Китаем пошли было да-

лее, но, едва отмерив с десяток шагов, опять услышали за собою повелительное: «Стойте!»

Они продолжали идти, не оборачиваясь, а в это время один из тюремных солдат, видевший издали всю предыдущую сцену, бежал навстречу арестанту, сорвавшему слам, захватил его на пути и кричал теперь: «Стойте!» — махая рукой часовому, чтобы тот остановил идущих. Но так как все это происходило у них за спиной, то они слышали только крик, не зная его причины и делая вид, будто он вовсе не к ним относится, продолжали идти, стараясь придать своей походке спокойствие и твердость, как вдруг выступивший из-за будки часовой быстро взял ружье на руку и штыком перегородил им дорогу.

Опять поневоле пришлось остановиться и даже изумленным видом замаскировать свое положение.

А время, удобное для побега, меж тем все уходит и уходит, тогда как до главных ворот остается каких-нибудь шестьдесят шагов.

— Вы что за народ? — накинулся на них догнавший тюремный солдат, приведя с собою за рукав и арестанта, получившего день-

ги.

— Народ мы Божий, господин служба, по слесарской части, — собрав все присутствие духа, ответил Гречка.

— А зачем с арестантом останавливались? Что у вас с ним за дела?

— Да мы... мы это так, мы, собственно, ничего, — проговорил беглец, не зная, что отвечать на заданный вопрос.

— Вы ничего?.. А что вы ему в руку сунули?

Гречка вмиг сообразил, что, быть может, этот самый вопрос был уже раньше сделан им попавшемуся арестанту, который, весьма вероятно, что-нибудь уж и нашелся ответить ему, а что ответил — про то пока Бог святый ведает! И скажи теперь Гречка что-нибудь другое, да скажи невпопад с прежним ответом — дело его испорчено вконец — и прости-прощай самая мысль о побеге, а главное, о заветной цели его! Сообразив это положение, он поневоле замялся и медлил отвечать на прямой и настойчивый вопрос солдата.

— Что ж ты бельмы-то выпучил, аль язык застрял в глотке? Говори, что ты ему в руку

сунул?

Положение с каждым мгновением становилось все более критическим, если бы в ту минуту захваченный арестант не догадался выручить, впрочем, из совершенно своекорыстной цели: скажи, что содрал с них рубль, так и рубля бы лишился и в ответчики по делу о побеге попал бы — потому, знал, мол, и не остановил и тотчас не донес по начальству.

— Я, ваша милость, Христа ради попросил у них, — ответил он, скорчив смиренно-жалкую рожу, — они мне — спасибо! — семитку подали.

— Семитку?.. А вот я погляжу, какая такая семитка! Может, заместо семитки, да ножик аль другое что. Вы ведь народ-то дошлый!.. Выворачивай карманы!

— Ваша милость! Мы люди служащие... нам время — отпустите нас! — обратился к солдату Гречка, и в ту самую минуту, пока солдат, слушая эти слова, глядел на говорившего, арестант незаметно и ловко сунул себе в рот рублевую бумажку, а на ладонь выложил действительно медную семитку, состав-

лявшую, вероятно, его прежнюю собственность.

Тем не менее солдат ощупал его платье, осмотрел его вывороченные карманы и, удостоверясь, что, кроме семитки, у арестанта ничего больше не имеется, отпустил его.

— А вы, дружки, марш в контору! — прибавил он, относясь к беглецам. — И вас ведь тоже осмотреть надобно.

— Да за что же нас? Нешто мы воры какие? Мы не знали, что здесь нельзя милостыню подавать, он ведь Христа ради просил.

— Нечего толковать! Ступай!

Со стороны тюремного солдата это, без всякого сомнения, была одна только придирка, на которую, быть может, и он имел какие-нибудь свои расчеты, хотя и нимало не сомневался, что две стоящие перед ним личности — действительно слесаря.

— Да нам что ж, мы, пожалуй, пойдем, — нехотя согласился Гречка, — а только это совсем понапрасну. Обыскивайте здесь, коли угодно, при нас ничего здесь нет.

— Ну, мы там это увидим.

— Эх, беда наша горе! И милостыню-то

грех подать!.. Нам время-то дорого: мы вот тут дела свои справили, а теперь бы нам своей вольной работой призаняться.

— В конторе, чай, ждать заставят, пока начальство, пока что, — ввернул слово Китай.

— И подождешь — не беда!

— Ну, вечер, стало быть, и упустишь! — с досадливым сожалением цмокнул Гречка, почесав затылок. — Слышите, кавалеры? Уж не держите вы нас! Ей-богу, недосуг — мы бы теперь-то на себя кое-что поработали, а эдак-то запрасно и время уйдет, а деньгу не зашибешь.

— Уж мы вас поблагодарим, — ублажал Китай, в свою очередь, — только, значит, нельзя ли отпустить!

— Какая с вас благодарность! — усомнился тюремный солдат, однако не без некоторой надежды на ее осуществление.

— Да вот — все, что есть с собою — две гривенки, примите, не побрезгуйте, — сказал Китай, вынимая из кармана два медяка. — Мы, значит, на благодарности не стоим, потому нынче, ежели только время не упустить, так мы свое наверстаем.

Солдат на ходу принял из руки в руку благопредложенную благодарность и отвязался.

«Господи! Сколько времени-то ушло из-за этого дьявола!» — с досадой и замиранием сердца думал Гречка, приближаясь к тюремным воротам.

— Стой!.. Вы куда? — остановил их подворотня уже у самого выхода.

— Чего «стой»?! — смело встретился с ним глазами Гречка. Потеря времени, и страх, и досада на все эти препятствия придали ему еще более дерзкой решимости. — Чего «стой»! Ты, брат, служба почтенная, *стойка-то* этак на своих, на арестантов, а мы люди вольные.

— Какие такие люди-то? Что вы за люди? Эдак-то, пожалуй, часом и беглого пропустишь.

— Какие люди... Не видишь разве? Майстровые... слесаря... Пусти же, что ли, черт!.. В баню пора.

— Ты, любезный, не чертыхайся. Надо наперво узнать да дело толком сделать. Кто там с вами растабарывал? Седюков, кажись... Эй, Седюков! Поди-ко сюда! Дело есть! — махнул подворотня, крикнул через двор тому самому

солдату, который только что получил благодарность.

Опять пришлось дожидаться, пока Седюков, неторопливым шагом, с того конца двора направляется к подворотне.

А время все идет да идет, и каждая минута становится все более опасной для беглецов — могут хватиться их, могут наткнуться в карцере на опоенных слесарей, тотчас же тревога, погоня — и все пропало от одной какой-нибудь минуты, когда чувствуешь уже, так сказать, запах этой желанной воли, когда ясно уже различаешь движение и гул и уличный грохот городской вольной жизни.

Это были для Гречки жуткие, кручинные, сокрушительные мгновения.

— Вот, ваша милость, не хотят пропущать, — поторопился Гречка обратиться к подошедшему Седюкову, желая предупредить излишние вопросы подворотни и разные дальнейшие объяснения, которые только оттянули бы время.

— Пропусти их, это слесаря, — как бы мимоходом вступился Седюков таким уверенным тоном, который не допускал сомнений.

Подворотня удовольствовался его заявлением — и тюремная калитка в воротах беспрепятственно отворилась перед беглецами.

Половина тяжкого груза свалилась с Гречки. «Слава-те Господи! Двое дураков поверили, да один выручил», — помыслил он с невольной улыбкой великого удовольствия, почувствовав, что калитка захлопнулась за ними.

— Вы слесаря? — остановил их внезапный вопрос, едва лишь они успели сделать каких-нибудь два шага по тротуару.

Беглецы, нежданно-негаданно, у самых ворот столкнулись нос к носу с одним из тюремных начальников, возвращавшихся домой в тюремное здание.

— Вы из тюрьмы, с работы, что ли?

— С работы, ваше высокоблагородие, замки у карциев поправляли.

— Знаю, знаю. Вы где же работали, на каком отделении?

— На татебном, ваше высокоблагородие.

— А на первом частном кончили?

Гречка немного замялся от неожиданного вопроса и хватил наудалую:

— Кончили, ваше высокоблагородие.

— Ну хорошо, ступайте себе...

Те сделали еще два-три шага.

— А впрочем, нет!.. Постойте-ка минуту. Там у меня в квартире на окошке одном больно уже задвижки ослабли, нисколько не действуют: не запираются даже, а по ночам дует. Вернитесь-ка, поправьте заодно уж. Я заплачу.

— Позвольте, ваше высокоблагородие, уж мы бы завтра пораньше... в лучшем виде справим, — отбояривался Гречка.

— Ну, вот вздор! Это такие пустяки — на десять минут работы, не больше. Ступайте-ка, ступайте!

Нечего делать — пришлось снова обратно переступить за порог тюремной калитки.

У Гречки уже мучительно стало ныть сердце, вместе с гложущей болью под ложечкой.

Но лишь пошли они по коридору, как к офицеру подошел фельдфебель тюремной команды с донесением о каких-то хозяйственных надобностях.

— А кстати, на первом частном уже справлены замки, завтра надо оглядеть по всем

остальным отделениям, — отнесся к нему офицер, между прочим подходящим разговором.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, нынче еще не справлены, — возразил фельдфебель.

— Как так? А ты же мне сказал, что уже кончил? — обернулся тот непосредственно к Гречке.

— Помилуйте-с, там самая малость осталась, — ответил этот, стараясь стать в тени, чтобы фельдфебелю не так удобно было разглядеть его физиономию.

— Расчет вы получили? — спросил начальник.

— Нет, не получали еще...

— Так зайдем в контору — заодно уж, чтобы после не возвращаться. Да постойте, однако, — снова обернулся он к двум сотоварищам, — ведь вас, кажется, трое было? Третий-то где же?

— Позвольте, ваше высокоблагородие, — вмешался фельдфебель, с некоторой подозрительностью оглядывая беглецов, — сдается мне, как будто это не те, что утром были, а ка-

кие-то другие...

Для Гречки и Китая наступила самая опасная минута: возбуждено уже два сомнения, из которых последнее, того и гляди, в состоянии разрушить весь маневр и выдать их головою. Надо было снова собрать все огромное присутствие духа, измученного уже тем рядом тревожных впечатлений, которые только что были перечувствованы, надо было сильное умение владеть собою, чтобы не потеряться в первый момент сомнения, чтобы умно и ловко извернуться и отпарировать удар, столь опасно направленный.

— Те двое ушли еще с-после обеда, — спокойным голосом объяснил Гречка, — а нас хозяин на смену прислал: те у него хорошие подмастерья, так он их к князю Юсупову в дом на работу справил: требовали нонче. А третий товарищ кончает еще на татебном, он и расчет должон получить.

— Да как же это вы проходите в тюрьму, когда никто и не знает об этом? — несколько строго спросил начальник.

— Никак нет-с, ваше высокоблагородие, — поспешил возразить ему Гречка, — нас даве-

ча под воротами пропустили, как следует: и опрашивали, и осмотрели всех... Мы объявились там...

— Ваше высокоблагородие, — запыхавшись, вбежал в коридор один из приставников, — двое арестантов убежали.

Гречка с Китаем со страху чуть было на землю не присели и вмиг сделались белее полотна.

— Как убежали?! — встревожился начальник.

— Убежали с подсудимого отделения в пекарню и там в кровь изодрались.

У беглецов немножко отлегло от сердца.

— Что ж ты, дурак, пугаешь только понапрасну!.. Я думал, и нивесть что случилось... Запереть обоих в карцер! Или нет: я сам пойду туда, а вы обождите здесь! — промолвил офицер, обращаясь к Гречке и Китаю, за исключением которых все трое поспешно удалились из коридора.

Гречка выждал с минуту и решительно мигнул своему товарищу: идем!

— Ну что, закончили? — безучастно, ради одного только чесания языка, окликнул их

перед калиткой подворотня.

— Слава-те, Господи, наконец-то отделались! — махнул рукою беглец, вторично переступая порог Литовского замка.

Тюрьма и неволя остались позади. Но пока виднелось это неуклюжее здание, со своими плотными, приземистыми башнями, Гречка не смел предаться радости; он ощущал только *волю,* и радоваться было еще рано: погоня могла последовать каждую минуту. Хотелось бы скорей и скорей бежать ему — мчаться прытче лошади, лететь быстрее птицы, а между тем нужно было идти спокойно, ровной походкой, чтобы не навлечь на себя каких-либо случайных подозрений.

У Никольского рынка Гречка остановился.

— Ну, брат Китай, теперича мне налево, тебе направо, либо тебе направо, а мне налево, понял? — обратился он решительным тоном к своему спутнику. — Может, доведет Господь, где-нибудь и повстречаемся... Денег-то у тебя маловато, так на тебе слесарский инструмент в придачу: продашь, авось пустяковину какую выручишь, а теперь — спасибо за ком-

панию!.. Прощай, брат!

И он, круто повернувшись от своего товарища, быстро зашагал по направлению к Сенной площади.

LXX
ГРЕЧКА ВСТРЕЧАЕТ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ

Очутившись на этой площади, беглец остановился в раздумье. Куда теперь направиться и что предпринять? Прежде всего есть, как некормленой собаке, хотелось, поэтому Гречку обуял великий соблазн полакомиться пищей вольной, выбранной по собственному вкусу и прихоти, после стольких месяцев скудной арестантской еды, и он направился в «Утешительную». «По крайности, пожрешь в самую сласть и песельников с музыкой послушаешь в придачу».

Как-то странно и дико почувствовал он себя на первый раз после долгого заключения среди «вольных» людей и в «вольном» месте; опять же и опасался несколько, как бы его не признал кто-нибудь, как бы молва не пошла

промеж темного люда о его внезапном появлении: первое время беглый всех и всего опасается, пока не привыкнет к своему положению.

Скромно усевшись в один из темных углов, он принялся уже за соображения, чего бы лучше съесть: поросенка ли заливного или яичницу с ветчиной, как вдруг к столу подошел посторонний человек и пристально стал против него.

— Да нешто это ты, Осюшка? — спросил он тихо и удивленно, — Какими ветрами занесло?!

Перед Гречкой стоял сановитый, седобородый старец, с благочестивым и добродушно-строгим выражением лица. Это был патриарх мазов.

— Пров Викулыч!.. Батюшка!.. — воскликнул Гречка, простирая к нему обе руки. — Присядь, благодетель! Да только не кричи: я ведь здесь пока еще под секретом.

— Как под секретом? — сдвинул старик свои седые брови. — Али ты лататы от дяди задал?

Гречка утвердительно кивнул головой.

— Юрок, брат, юрок! — не без удовольствия закачал головой Викулыч. — Как же теперича жить-то? Бирка[407] нужна!

— Точно, нужна. Липовый глазок[408] надобно добыть...

— Да это тебе не штука, а покамест-то как, до картинки[409]! Не гопать же, чтобы влопаться[410].

— Да я уж к твоей милости! — просительски поклонился Гречка. — Уж так-то радешенек, что встренулись!..

— Чего ж те надоть? — спросил Викулыч.

— Затынь[411] ты меня, отец, хоть до завтрева! Оглядеться на воле надо бы спервоначалу... Оболочься — тоже накидалища[412] какое ни есть, опять же и голубей да шифтан [413], а в этом наряде — того и гляди — признают!

— Это могу, — охотно согласился патриарх мазов. — Так нечего тебе тут ухлить задаром, а хряй-то скорей на мою домовуху: там не мокро[414], по крайности! — предложил он.

— Похрястать хочу, — заметил Гречка.

— Туда и хрястанья, и кановки закажу принести, а здесь, говорю, нечего тебе скипида-

риться: зенек-то чужих тут не занимать стать [415].

И едва старые знакомцы успели выйти из комнаты, направляясь ко внутренним закоулкам «Утешительной», чтобы оттуда «невоскресным» ходом проюркнуть на квартиру патриарха, как вдруг им перегородил дорогу еще один старый знакомец.

— Аль мерещится мне? — воскликнул Фомушка-блаженный, растопырив свои лапищи навстречу Гречке. — Друже мой! Се ты ли еси! Тебя ли зрю очесами своими?

— Брысь ты, окаянный! — строго притопнул на него старец.

— Иерарх! — шутовски воскликнул Фомушка, приложив руку ко лбу и вытягиваясь во фронт, по-солдатски. — Тебе убо и честь, по чину патриаршему, дондеже подобает, а подобает сия вовеки! — промолвил он, отвешивая низкий поклон Викулычу.

— Начнет звонить, пожалуй… Нешто и его пристегнуть с собой? Суше дело будет, — тихо посоветовался Викулыч с Гречкой и кивнул Фомушке — идти вместе с ними.

— Ты мелево-то подвяжи, нечего болтать

промеж народу, — обратился к нему патриарх, — дело ведь тайное!

— Э, э, э!.. Стал быть, кума от ткача задала стрекача!.. Ладно! Смекаем!

— А ты, любезный, как живешь-можешь? — осведомился Гречка у блаженного.

— Мы-то?.. Э, мы живем припеваючи! — разудало вздернул свою голову Фомка. — Спасибо тюремной сердоболице! В богадельню поместила — там и проживаем, да кажинную неделю к родным и знакомым отпрашиваюсь у начальства. Ну и ничего: отпущают. Я, первым делом, родных себе подыскал да прикупил, а заместо родных по-прежнему валандаешься промеж теплых людишек. Ино и день, ино и два, и три проживешь.

— А не взыскивают за отлучку? — спросил его беглый.

— Чего там взыскивать?! Им же лучше: по крайности, порция моя остается в кармане. Мне что? Мне теперь ничего, одно слово — благоденствую!

Пришли в квартиру Викулыча, в которой слегка припахивало ладаном, а перед яркими образами неугасаемая лампадка теплилась, и

во всем кидались в глаза чистота и порядок с чисто русским характером. Патриарх прежде всего переодел Гречку в иное платье, потом заставил его сходить к цирюльнику, чтобы радикально изменить свою физиономию, и затем уже, снова придя к Викулычу, Гречка застал у него на столе и пиво с водкой, и поросенка с яичницей.

Викулыч, покалякав некоторое время о Гречкиных делах да о том, какими судьбами удалось ему удрать из тюрьмы, откланялся и снова ушел в «Утешительную». «Вы, мол, хоронитесь тут, а я пойду на людей поглазеть да всякую новость послушать». Хитрый Викулыч, между прочим, про себя сообразил и то обстоятельство, что ежели бы, какими ни на есть судьбами, двоих благоприятелей накрыли у него на квартире или же если бы как-нибудь потом оказалось, что у него тотчас же после побега привитал приятель Гречка, так я, Викулыч, ничего, мол, не знаю и не ведаю, меня, мол, и дома тогда не было, а был я в это самое время в «Утешительной», и все, мол, сие произошло в мое отсутствие, помимо моей воли и ведома. Таким образом, бег-

лец очутился с глазу на глаз с блаженным, в уединенной квартире, где можно было о чем угодно говорить не стесняясь!..

В голове Осипа Гречки тотчас же вспыхнули новые мысли и предположения.

«Одному идти на кладбище... страшно, да и несподручно работать-то будет, — размышлял он сам с собою. — Захороводить[416], нешто, Фомку? Вдвоем все же вольготнее как-то, и дело скорей да спорее пойдет.

А ежели навеки навяжешь себе на шею этого дьявола? — мыслил он далее насчет блаженного. — Век с сим не развяжешься даром! Кому тогда владеть фармазонскими деньгами? Ведь он, пожалуй, захочет? Да и наверняка захочет, так что и не открестишься от него: коли работали вместе — значит, и слам дели на двух!.. Это правильно.

А из-за каких великих благ и милостей стану я делиться, да и как тут поделишься, коли это, значит, рубль неразменный — *один* только рубль?.. Даром не пойдет — посулить придется, потому ежели одному идти... боязно как-то, ведь не на живого человека пойдешь, а на мертвого.

Сказать ему нешто так вон: один месяц — я пользуюсь, другой — ты, а там опять-таки я. Этак-то согласится.

Ну а затем-то как у нас будет дело? Не отдавать же ему и в самом деле!.. Что ж!.. Затем... затем, коли больно уж станет приставать, — затемню[417] его, да и баста! И нечего будет ждать, чтобы стал приставать, а просто в ту ночь либо на другой день и покончу его!»

Все это было соображено в голове Гречки, конечно, неизмеримо быстрее, чем мы успели передать. И, приняв такое решение, он весьма таинственно сообщил Фомушке свои намерения касательно добычи фармазонских денег. Блаженный выслушал его очень внимательно, вспомнил рассказы Дрожина — бывалого и дошлого человека в подобных делах, и немедленно, с великой радостью, дал свое полное согласие. Он уже гораздо раньше подумывал, что дело с фальшивыми бумажками графа Каллаша, должно быть, совсем не удастся, что больших барышей тут, верно, не жди, а потому не отказался от предложения Гречки, которое показалось ему гораздо привлекательнее. «Стоит только раздобыться

этими фармазонскими денежками, — сообразил он сам с собою, — а там уже мне никаких бумажек не надо!»

LXXI
МИТРОФАНИЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Было время, когда Петербург боялся холеры. То были дни всеобщего уныния и скорби. По всем улицам города то и дело тянулись черные погребальные дроги, дымились факелы, мелькали траурные ризы духовенства при «богатых» похоронах, при бедных же ничего не мелькало и не дымилось, потому что из всех городских больниц два раза в день, рано утром и перед вечером, отправлялись ломовые телеги, нагруженные, словно перевозной мебелью, простыми тесовыми гробами. Народ в ужасе метался по улицам, подозревал измену, громко говорил об отравах, останавливал экипажи докторов, в которых, без исключения, подозревал «жидов» и немцев, с яростью кидался на злосчастных сынов Эскулапа, так что «блюстительница общественного спокойствия» ровно ничего не мог-

ла поделать, и все это разразилось наконец волнением, известным под именем «бунта на Сенной», где перед церковью Спаса раздалось тогда знаменитое «На колени!» императора Николая. Холера была новой гостьей, которую народ считал почти что чумою, если еще не хуже. Боялись хоронить холерных на общих городских кладбищах, и потому за городской чертой, в уединенной и пустынной местности, между двух триумфальных арок — Московской и Нарвской, — назвали новое кладбище «холерным».

Это было в 1830 году.

Ровная низменная местность, с петербургски болотистой почвой, и без того представляла вид, наводящий скуку и уныние, а с тех пор, как по ней замелькали низенькие белые кресты, стала еще угрюмее. «Нива смерти» приумножалась с каждым днем, и с тех пор все растет непрестанно, утучняемая петербургскими тифами, чахотками, возвратной горячкой и тысячью иных эпидемий, которые составляют существенное свойство климата.

В 1830 году на месте холерного кладбища не было ни церкви, ни даже часовни, а просто

стоял высокий деревянный крест. Перед этим крестом ставили на землю длинные ряды гробов, священник наскоро отпевал заупокойную литию, и вслед за тем носильщики торопливо разносили своих вечных гостей по глубоким мокрым ямам, зарывая их чаще всего в одну общую пространную могилу.

Жила в то время в Петербурге одна женщина, по имени Хаврония, крепостная шереметевская крестьянка села Павлова. Этой женщине пустынная местность обязана существованием самого кладбища и постройкой при нем бедной деревянной церкви. С неутомимой деятельностью и энергиею ходила она по разным присутственным местам, кланялась, просила, подавала бумаги и наконец выхлопотала дозволение причислить отверженное холерное к числу прочих городских кладбищ и право построить там церковь, которая сооружалась на счет доброхотных подаяний, собранных ею по городу. Хаврония похоронена на этом же кладбище, но где — с точностью неизвестно: кладбищенские старожилы говорят — не то около церкви где-то, а не то и в самой церкви, кажися; но нигде не видать

надписи с именем основательницы, которая говорила бы о ее посильной услуге кладбищу, да и самая-то память о ней с каждым годом утрачивается все больше.

Теперь уже кладбище называется не холерным, а Митрофаниевским; недалеко от убогой, желтой деревянной церкви возвышается новая — каменная, златоверхая, где обыкновенно отпевают «парадных» покойников, а вокруг нее возвышаются мавзолеи, которые гласят мимоходящим любителям эпитафий о рангах, доблестях и заслугах отечеству разных здесь лежащих богатых мертвецов. О тех же, кои не отличались ни рангами, ни достатком, мавзолеи ничего не говорят, по той простой причине, что мавзолеев над ними не полагается: даже не всегда и желтый либо белый крест указывает убогую могилу, большая часть которых тесно стелется по земле, друг подле друга, чуть приметными бугорочками. И все ж таки Митрофаниевское кладбище представляет довольно оригинальный вид, особенно в ясный, солнечный день. Если вам случалось проноситься мимо него с той или с другой стороны в вагоне варшав-

ской либо петергофской железной дороги, вы не могли не заметить, что это плоское обширное поле кажется каким-то пестрым, необыкновенным лугом: белый, желтый, красный, синий, зеленый цвета во всевозможных сочетаниях так и мелькают вам в глаза своей рябящей пестротой — до такой степени усеяно поле это надгробными крестами. Вдали виднеется роща, над рощей — золоченые купола; но здесь, на этой пестрой плоскости, — хоть бы одно свежее тенистое деревцо приютилось! Зато самое кладбище тем более выигрывает во внешнем сходстве своем с весенним клеверным лугом. Каждый год почти к весне отрезывают новое пространство земли под могилы, и каждый год почти, к следующей весне, оно уже является обильно засеянным буграми и крестиками.

Митрофаниевское кладбище — по преимуществу кладбище демократическое: тут хоронится петербургский пролетарий, тут же указано место и преступнику, и тюремному арестанту.

На другой день после побега двух арестан-

тов, часу в первом дня, по дороге, ведущей к Митрофаниевскому кладбищу, плелась ленивым шагом ломовая кляча в телеге с тремя седоками. Первый седок, конечно, был ломовой извозчик, который лениво потягивал махорку из носогрейки и еще ленивее постегивал изредка свою лошаденку; второй седок не составлял собственно седока, а только поклажу: это был простой сосновый гроб, слегка мазнутый водяной охрой и привязанный веревкою к телеге; в гробу лежало тело Бероевой, а на крышке его помещался третий седок — тюремный инвалид с казенной книгой под мышкой.

— Они! — шепнул Гречка, осторожно толкнув под бок Фомушку, когда ломовик поравнялся с первым питейным заведением, что стоит на кладбищенской дороге. Неторопливо расплатясь у стойки, приятели направились к кладбищу, издали следя за этим нехитрым погребальным поездом.

— Ты, брат Фома, как привезут ее — войди в притвор да гляди, куда поставят, — распорядился Гречка, — а мне оно не тово... неравно признает селитра[418], так уж для меня посу-

ше будет меж могилками побродить пока.

— Что поздно приволокли? — отнесся к приехавшим могильщик, который калякал со сторожем, закусывая печенкой, у съестной лавочки, обвешанной мховыми венками и крестиками.

— Чего поздно? Как, значитца, отпустили, так и приволокли. Не рысью же скакать к вам! — отгрызнулся инвалид, слезая с гроба.

— Все же ко времени надо, чтобы покойник за обедню поспевал.

— И опосля вечерень похороните, ништо!

— Знаем сами, что опосля, да все же это непорядок: теперь, поди-кася, надо для его отдельную яму копать, денег-то нам за таких покойников не платят.

— Врешь, пес! От казны тридцать копеек полагается.

— Тридцать копеек... Велики деньги! Да еще лается!.. Тащи его, что ли, в притвор-то — пущай погреется.

— И здесь не холодно.

— А не холодно, так там в тени постоит, у нас чего хочешь, того и просишь — ихнему брату всяко удоблетворение есть. А кто по-

койник-то, мужик аль баба?

— Арестантка.

— Это, впрочим, что мужик, что баба — все одно покойник... А когда померла-то?

— Вчерася днем.

— Ну, вот опять-таки не по времени! Больно уж рано привезли! Трех суток еще нет ей.

— Пущай у вас постоит, а нам не держать же у себя-то.

— А нам нешто держать стать?! Их тут и без того иной раз не знаешь, куда и поставить — как куличей об Христовой заутрене...

— Ну, да что ж толковать! Мертвый — все равно, не живой ведь! — порешил инвалид. — Коли помер, значит, не встанет, днем ли раньше аль позже — все едино, в ту же землю закопать придется.

И гроб внесли в притвор деревянной церкви, который примыкает к ней стеклянной галереей. Поставили на скамейку и заперли до вечерней. Инвалид получил из кладбищенской конторы расписку в приеме тела арестантки Юлии Николаевой Бероевой и поскакал с ломовиком в попутное «заведение».

В шестом часу, после вечерен, священник отчитал литию, и двое могильщиков понесли на плечах гроб Бероевой на самый конец кладбища, в последний «разряд», где обыкновенно хоронится в общих могилах тот люд, за который не полагается особенной платы. В этом последнем разряде реже, чем в прочих, торчат намогильные кресты, зато ряды бугорков несравненно чаще. Тут лежат бобыли, умершие в больницах, нищие, арестанты и люди неизвестного имени и звания, подобранные полицией на улице, после скоропостижной смерти. «Больше все потрошеный народ, — говорят про них могильщики, намекая этим на медицинское вскрытие. — Дружный народ: вместе их заодно отпевают, вместе в одну яму и кладут — помяни, мол, Господи, рабов твоих, имя же их сам веси!»

Недалеко от кладбищенского забора была вырыта свежая и весьма неглубокая яма, на дно которой успела уже просочиться болотная вода. Когда гроб опустили и на крышку глухо и грузно бухнулась первая глыба сырой земли, за которой в раздробь посыпались и застучали об дерево комья, мозг Бероевой

пронизался подобием того ощущения, которое у живого человека называется страхом. Ей снова захотелось крикнуть, чтобы не зарывали ее, чтобы вечно оставили ее на земле, а не под нею, чтобы открыли крышку гроба; но глинистые глыбы и комья быстро валят одни за другими, удары их слышатся все глуше, потому что земля рухает уже на землю, а не на дерево гробовой крышки; но пока был слышен хоть кое-какой звук ее падения, Бероева все еще напрягала свой слух, жадно силясь доловить эти последние намеки надземной, живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи все больше и больше отделяет ее от этого покинутого мира. И когда земля перестала наконец падать в яму, зарытую женщину обуял наплыв новых грез и ощущений, вызванных, быть может, все тем же роковым вопросом: ну что же, мол, теперь-то будет, когда все уже кончено?

И грезится ей, будто она давно уже лежит в этой могиле, будто несколько дней, несколько недель, несколько месяцев прошло с тех пор, как ее зарыли, и лежит она себе, и слышит, как могильный червь непрестанно то-

чит гробовые доски; как земляная мышь прогрызла в крышке маленькую норку и побежала по ее телу да в кожаный башмак засела и грызет подошву, желая полакомиться гнилою юфтою, как пауки по ее лицу — от бровей к губам и от губ к волосам густые нити паутины заткали; как, наконец, корни каких-то трав и растений поросли сквозь щели гроба и мало-помалу опутывают ее своими усцами, впиваются в тело, заползают в уши, в ноздри, в рот... наконец врастают во все это тело и втягивают в себя его питательные соки.

Но снова миновался кошмар, и снова наступает проблеск самого ужасного сознания. В щели гроба стала просачиваться понемногу болотная вода, которою было покрыто дно могилы, и охватила уже своею холодною сыростью спину мнимоумершей. Это уже были не грезы, а действительность. Когда же наконец сознание погребенной получило большую степень ясности, какую только может допустить это исключительное физическое состояние, Бероевой явилась самая ужасная мысль: «А что, если это не смерть, если я заживо похоронена?» На земле она считала се-

бя мертвою, но под землею, когда слух ее не возмущали уже никакие звуки жизни, а сознание меж тем все-таки проявлялось, ей пришла в голову почти полная уверенность, что она жива, что это не более как летаргия. Бероева почувствовала весь ужас трагической мысли, что, быть может, ее скоро ждет пробуждение здесь, под землею, что она проснется, станет кричать о помощи, колотиться головой, руками и ногами в тесную крышу гроба — и на земле никто, никто не услышит и никогда не узнает про это. А быть может, ей суждено будет прожить таким образом не несколько мгновений, но несколько минут, прежде чем задохнуться от недостатка воздуха. О, если б можно было не просыпаться более, если б летаргия прямо перешла в настоящую смерть! А если уже суждено проснуться, то — Господи! — пусть это пробуждение придет как можно позднее, пусть дольше и дольше длится летаргический сон! Инстинкт жизни под землею преобладал более даже, чем на земле. И от этой нечеловечески ужасной мысли для погребенной снова наступил переход в обморочную бессозна-

тельность.

* * *

Могильщики опускали и закапывали гроб, а в это самое время издали незаметно следили за ними два человека, которые, будто прогуливаясь, разбирали намогильные надписи.

Когда же, окончив свою работу, могильщики удалились, два человека, не изменяя своего фланерского вида, подошли к только что засыпанной могиле и в головах воткнули высохший сук, на одной ветви которого моталась привязанная тряпочка.

— Место хорошее, удобное... — тихо проговорил Гречка, вглядываясь в соседние кресты, чтобы получше заметить, где именно находится свежая могила, и внимательно озирая всю окружающую местность.

— Хорошо-то оно хорошо: тихо, далеко, сторожа, поди, чай, и не заглядывают сюда, — отозвался блаженный, — да одно только неладно: забор этот больно высок... Откуда перебираться станем? Подумай-ко!

— Погоди, погляжу получше — может, и отыщем подходящее...

Невдалеке от этого места перерезывала

кладбище неглубокая канавка, вдоль по которой, в направлении к забору, тихо направились теперь двое товарищей.

— Эге-ге! Вот оно самое и есть! — самодовольно воскликнул Гречка, дойдя до самого забора, под которым канавка уходила за черту кладбища, в соседние огороды. В этом месте, между нижней линией забора и дном канавки, пространство, аршина в два ширины и около полутора высотою, было весьма слабо загорожено кое-как прилаженными досками.

— Тебя-то нам и надо! — ухмыльнулся Гречка. — Давнуть легонько плечом — оно и подастся. И в канаве-то сухо — лужицы совсем, брат, нету, — продолжал он, делая дальнейшую рекогносцировку.

— Это значит, что из воды сух выйдешь, знамение так показует, ты это так и понимай! — шутливо сообразил блаженный.

— По крайности, не запачкаешься, — заметил Гречка.

— А мне это все единственно, что чисто, что нет — была бы душа моя чиста, а в теле чистоты не люблю.

— Стой-ка, ты, чистота! — перебил его со-

товарищ. — Гляди сюда, ведь по ту сторону забора Сладкоедушкины огороды выходят!

— Ой ли?.. Да и в самом деле, так! Вот любо-то! — ударил Фомушка об полы своей хламиды. — Вот удача-то!.. И возрадовался дух мой — значит, сила вышнего споспешествует!

— Ну, уж ты от божества-то оставь — тут дело от луканьки пойдет, а ты с божеством некстати! — заметил ему Гречка.

— Главная причина в том, — продолжал Фомушка, — что ходить далеко не надо: прямо от Сладкоедушки и перелезем — чужие зеньки не заухлят[419].

— Да к ней теперича и пошагаем, — порешил Гречка, выходя на дорожку, ведущую извилинами через все кладбище до самой церкви. — Баба знакомая, и в приюте отказу не будет, а там у нее, значит, и схоронимся до урочной поры.

И Гречка с Фомушкой удалились с кладбища.

LXXII
В ОЖИДАНИИ ПОЛНОЧИ

Оба приятеля вскоре пришли на пустынные огороды, к избе хлыстовской «матушки» Устиньи Самсоновны.

В маленьких сенцах над входною дверью виднелся небольшой медный восьмиугольный крест, а под ним на верхнем косяке была начертана мелом затершаяся надпись: «Христос уставися с нами».

— Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас! — проговорил Фомушка, постучавшись в дверь.

— А кто-ся там? — послышался изнутри разбитый старческий голос.

— Все мы же — богомолы-братья, люди Божии, свой народ.

— Аминь! — ответил тот же голос. И Фомушка с Гречкой вошли в чистую и просторную горницу, с одной стороны которой стояла большая русская печь, с другой — помещалась кровать старика за ситцевой занавеской, потом — широкий дубовый стол и широкие

скамьи по стенам, а в переднем углу — образная полка с выглядывающими оттуда темными, древнего письма ликами, на которые прежде всего трижды перекрестились вошедшие и затем уже отдали по поклону хозяевам.

— Устинье Самсоновне!.. Паисию Логинычу! — проговорили оба и получили точно такой же почетливый поклон от хозяев.

Паисий Логиныч подсыпал тлеющих угольев в медную кадильницу с деревянной ручкой и заходил с нею по всем углам комнаты. Воздух наполнился тонкими струйками синеватого дыма и запахом ладана.

— Отче! да это никак для нас, худородных, росной ладон изводишь? — заметил ему Фомушка.

— Дому Израилеву фимиам благочестия подобает, — ответствовал старец докторально-богословским тоном, ни на кого не глядя и продолжая тихо колебать в руке свою кадильницу.

— С чем Бог принес, братцы мои? Что скажете? — обратилась к ним хозяйка, оставляя шитье какого-то длинного белого плата.

— Да что вот... под твой, матушка, покров

притекли, — со вздохом ответил блаженный. — Вы христолюбцы у нас именитые, а мы люди малые... от аггелов антихристовых из Вавилона треклятого спасаемся... В темнице ведь тоже за веру правую гонение принимали, во юзех заключенны были. Укрой нас пока что, до странствия нашего — в Верховную страну[420], на время пока переправляю новообращенного — чай, человек-то знакомый тебе? — добавил он, указывая на Гречку. — Ко столпам нашим усылаю: пущай поживет там да в вере укрепится. А ты прими пока!

— Охота — моя, а дом — Божий, — ответила на это Устинья Самсоновна. — Для брата нет отказу, хоронитесь себе, сколько нужды вашей будет. Милости просим!

— Спасибо, матушка!.. «Голодного напитай, гонимого приюти» — по закону, значит, поступаешь.

— Поужинать, может, хотите? — предложила хозяйка.

— Нету, матушка! До еды ли нам теперь!.. Опосля поедим, чего Бог пошлет, а пока отведи ты нам келейку уединенную — целу ночь

не спали, сон сморил совсем.

Устинья Самсоновна не заставила просить себя вторично и с охотою провела обоих пришлецов чрез сени под лестницу, ведущую на чердак.

Здесь отодвинула она дощатый щит, который был устроен по той самой системе, как потайная дверь, ведущая в подызбище, — и снаружи совершенно казался стеною, так что постороннему человеку невозможно бы было и догадаться о его существовании. Фомушка с Гречкой очутились в тесном и темном тайнике, в котором они могли, впрочем, весьма удобно разлечься на больших мешках, вроде перин, набитых сеном.

— Ну, почивайте себе с Богом, а проснетесь — потрапезуем все вкупе, — сказала им Устинья Самсоновна и снова задвинула вплотную потаенный щиток.

— Дело на лады пошло, кажись, клей будет, — шепотом сказал Гречка, потирая руки.

— А что, бойко хлыстом прикинулся? — также шепотом вопросил блаженный, ощущая внутреннюю потребность в товарищеском одобрении.

— Уж что и говорить!.. Я только дивлюсь, откуда ты насобачился?

— Э, брат! главная причина — премудрость произойти, а тогда уж всякая штука перед тобою сама раскупорится, — с сознанием своего достоинства похвалился блаженный. — Я ведь тоже и сам хлыстом-то был, и по сей день у них в согласии числюсь, даже перекрещен был в Сибири-матушке — потому дела у них важнецкие можно обварганивать.

— Это точно, — согласился Гречка, — и сам вот я, не думал не гадал, как свел было знакомство с Устиньей, а вот оно и пригодилося!

— Тебя-то они сманивали? — спросил Фомушка.

— Было дело!.. Да и как им не сманивать? Человек я тоже на все руки горящий! Только в те поры я ни да ни нет не сказал, а все приглядывался.

— Э, брат, дурень же был! — заключил Фома с укоризной. — А ты бы по-моему, коли ты есть ловкий жорж да человек разумный. Я вот даже архиерейские, братец ты мой, службы правил! И деньга же перепадала — ух какая деньга-то обильная!.. Было, друг любез-

ный, пожито... было! — со вздохом предался он воспоминаниям. — Да одна беда: зарвался! Проведали добрые людишки, что я у поповщины за архиерея правлю и у бегунов наставником состою, оповестили, собаки, окружным посланием, что вор-де и самозванец нехиротанный; потому и веры имать не стали в архиерейство мое. С тех пор вот и пошел по мирскому уж православию во блаженных юродствовать!

— Это статья особая, — перебил его Гречка, — а ты мне теперича лучше вот что скажи: ты знаешь ли, где у Сладкоедушки струмент захоронен? Без лопаты ведь тут не обойдешься.

— Знаю! — махнул рукою блаженный и, перевернувшись на другой бок, через минуту захрапел безмятежным сном праведника.

Но Гречке не спалось. Его жгуче как-то донимала теперь обычная и столь долго лелеянная дума о деле, которое предстоит ему через несколько часов. Долго оно для него было страстной, но недосягаемой мечтой, и вдруг — теперь, столь неожиданно, является возможность осуществить его.

«Храпи, Фома, храпи себе всласть, голубчик! — подумал он, нервно улыбаясь на собственную мысль. — Спать-то ты у меня, может, и завтра будешь, да только уж храпеть тебе вовеки не придется!»

Приятели выспались и поужинали вместе с двумя хлыстами.

— У тебя, мать, будут нынче наши ясные соколы в подызбище работать? — тихо спросил Фома Устинью, отозвав ее в сторону.

— Хотели, братец, быть, точно хотели. А что тебе?

— Осип-то у меня ничего, а про то не знает, — мигнул он на Гречку, — так ты уж, матка, от греха-то прихорони нас лучше в сарае у себя. Мы бы, значит, еще с часик передохнули там.

Хлыстовка провела их в надворный сарай, где у нее были сложены разные овощи и между прочим железные лопаты для огородной работы.

— Надо будет перегодить тут часа с два еще, пока полночь не станет, — заметил Гречка.

— Благо, лопаты под рукою! — откликнулся Фомушка. — А ждать-то можно, для чего не ждать? Я ведь лишь из-за лопат и ублажил Устинью, чтоб в этот сарай нас упрятала.

— Мозги! — не без внутреннего удовольствия, хлопнув слегка по затылку, похвалил его Гречка.

— Эх, кабы водки теперя!.. Жаль, недомекнулись утресь прихватить с собою! — спохватился блаженный.

— Нда, хорошо бы хлобыстнуть перед работой-то. Нешто, смахать?

— Далече. Ничего не поделаешь, и так уж обойдется дело!

Гречка прилег на груду капустиных кочней, подостлав под бок валявшуюся рогожу, а Фомушка все время похаживал себе по сараю, мечтая о том, каких «вертунов» он настроит, раздобывшись фармазонским рублем, и, в темноте наступившего вечера, видел, как, с некоторыми промежутками времени и притом с разных сторон, в избу хлыстовки осторожно прошли четыре человека. Все четверо, более или менее, были знакомы ему.

LXXIII
ГРОБОКОПАТЕЛИ

С дальней колокольни медленно потянулся в ночном воздухе тихий гул, по временам глухо относимый ветром в сторону, и эти удары колокола возвестили полночь.

Между грядками, украдучись, пробирались две человеческие тени, перерезывая огород в направлении к кладбищенскому забору.

— Забирай к канавке!.. к канавке норови!.. — шепотом говорил задний, указывая из-за плеча передовому, в какую сторону держать ему путь.

Перешагнув через несколько грядок, два спутника спустились на дно неглубокого рва и пошли вдоль его, стараясь как можно менее шлепать подошвами по вязковатой почве и не шурстеть в густой и высокой сорной траве. Этот путь привел их к забору, который пересекал канавку, уходившую из-под него на кладбище. Оба остановились. Фомушка хотел было уже сразу принапереть плечом, чтобы выдавить слабо прилаженную подзаборную

загородку, но Гречка поспешно остановил его.

— Тс... куды-то лешего? — с шепотом сдвинул он брови. — Погоди... сперва послушать надо, не чуть ли там человека...

И, выйдя из канавы, он лег ничком на землю и, в глубоком молчании приложив ухо к почве, стал слушать.

Прошло минуты три.

— Ничего не чуть, кажися... шагов ничьих нету, — промолвил он, поднявшись на ноги, и снова, спустясь в ров, приставил ухо к одной из широких щелей дощатой загородки.

— Дай-кось эдак прислушаюсь... по земле не отдает, авось по ветру потянет.

— Да коего дьявола слушать еще?! — с неудовольствием шепнул нетерпеливый Фомушка.

— Голосу да шагов, значит... Ведь тут тоже могильщики чередуются — караулят: обход бывает, — пояснил Гречка, который в эту решительную минуту, в совершенную противоположность Фомушке, сделался вдруг необыкновенно сдержан, осмотрителен и осторожен, как будто вопреки своей старой и страстной мечте; но именно не что иное, как только

страстная жажда осуществить вполне счастливо и без посторонней опасной помехи эту самую мечту заставила его теперь вести себя подобным образом: так игрок, ставя на последнюю карту последний рубль азартно проигранного состояния, осторожно ждет и выслеживает удачную талию.

— И по ветру не тянет... никого нет! — удостоверился наконец Гречка и осторожно, почти без звука, стал медленно разбирать, одна за другою, дощечки канавочной загородки.

Вскоре проход, во всю ширину канавки и в полтора аршина вышины, был готов совершенно. Тихо, с лопатами в руках, переползли на кладбище двое сотоварищей и еще тише, еще осторожнее, почти ползком, пошли по дну, круто согнувшись корпусом вперед, из предосторожности, чтобы на поверхности земли сторожевой глаз не мог случайно подметить движение двух человеческих фигур.

Но это была почти излишняя предосторожность: сторожам нечего караулить последнего разряда — их бдительность сосредоточивается далеко от этих мест, направляясь к ближайшим окрестностям кладбищенской церк-

ви, где действительно может найтись существенная нажива для мошенников, которые имеют иногда обыкновение сбивать и спиливать с монументов бронзовые кресты и доски — товар, принимаемый от них на фунты в иных железных и медно-котельных лавках.

В воздухе стояла одна из тех сыровато-теплых и совершенно черных ночей, которыми иногда отличается петербургский август, когда луна почти совсем не показывается на горизонте. Небо было заволокнуто сплошными облаками, и эти облака еще усиливали ту мглистую темноту, которая разливалась над землею. Понемногу теплый дождик начинал накрапывать медленными и редкими каплями. Все по видимому благоприятствовало делу, задуманному Гречкой.

— Здесь... около энтого места надо искать, — промолвил он, вылезая из канавы. — Тут вот, налево... девять шагов в эту сторону... Кажись, кругом точно те самые кресты видать... ну, так: вот этот высокенький — он, почитай, около самой могилы должон стоять, — шептал Гречка, стараясь острым и зорким взглядом различить замеченные ранее при-

знаки местности, окружающей могилу Бероевой.

— Оно самое и есть, — подтвердил Фомушка, наткнувшись на предмет, служивший для них уже ближайшей приметой. Это была старая могила, на которой, вместо земляной насыпи, стоял, вместе с крестом, покрашенный когда-то желтой краской деревянный ящик аршина в два с половиной длины и в полтора шириною. Подобного рода убогие мавзолеи, долженствующие, по-видимому, изображать собою высокие каменные гробницы с барельефами (кои суть принадлежность более богатых разрядов), встречаются довольно часто на петербургских кладбищах и особенно в последних разрядах Митрофаниевского. Время сбросило погнившие доски, служившие крышкой тому скромному мавзолею, на который наткнулся теперь Фомушка, так что он и в самом деле представлялся открытым ящиком в аршин глубины, что, между прочим, при давишнем осмотре тоже не было упущено из виду обоими товарищами.

— Оно самое и есть! — повторил блаженный. — Теперича, значит, четыре шага влево,

и готово!

— Нашел!.. — откликнулся Гречка. — Вот она, здесь!.. И хворостинка наша в головах не тронута... Постой-ка, брат, приметинку пощупаю... Ну, так! — и приметинка вона мотается.

— Значит, верно! — заключил Фомушка. — Слава те, Господи!

— Молчи, анафема! Ведь сказано: в эком деле не поминать его! — давнул его за руку суеверный Гречка. — Черти скорей лопатой круг около могилы: зачураться надо.

В шепоте, которым произносил он эти слова, было необыкновенно много той всепреклоняющей, повелительной энергии, которая вызывает безусловную покорность, и потому Фомушка, без рассуждений, тотчас же исполнил приказание Гречки.

— Чур меня!.. Чур меня! — шептал меж тем этот последний, оборачиваясь на все четыре стороны.

— Страшно, брат... — с легким содроганием сорвалось с языка Фомушки.

Тот покосился на него со злобою и только презрительно хикнул.

— Копай вот тут, рядом со мною!

Железные лопаты разом врезались в землю — и сырой глинистый ком глухо бухнулся и откатился в сторону.

При этом первом звуке Гречка невольно вздрогнул и еще усерднее приналег на лопату. Оба приятеля переживали не совсем обыкновенные мгновения. Суеверный, свинцово-давящий страх помимо их воли закрадывался в душу, в груди захватывало дух, и кровь напирала в височные жилы, а сердце то замирало, то вдруг начинало колотиться усиленными биениями. Осторожная, бесшумная работа шла среди глубокой тишины — ни слова не было уронено больше, только оба трудно и перерывчато дышали.

Вдруг вдалеке послышалось что-то неясное, как будто похожее на шаги человека.

Оба сильно вздрогнули, инстинктивно остановились и, напрягая ухо, пристально взглянули друг на друга.

Тишина. Где-то вдали цепная собака хрипит и заливается. Ветер на минуту слегка потянул по верхушкам кладбищенской рощи, обвеяв чем-то страшливым и холодненьким

обоих гробокопателей. Прислушиваются — ничего не слыхать; только редкие капли неровно перепадают, шлепаясь на пыльные листья лопушника.

Снова стали копать, копать и слушать — чутко, напряженно, чтобы не проронить ни вблизи, ни вдали ни единого звука.

— Ах ты степь моя, степь моздокская, — неожиданно послышалось позади их, словно бы из кладбищенской рощи.

— Обход!.. Хоронись живее! — чуть слышно вымолвил Гречка, перестав работать. — С лопатой хоронись!

— Да куда же?.. Наземь, что ли, ничком?

— За мною!.. да тише ты!.. Полезай в ящик, да ложись боком, чтобы обоим хватило...

И осторожно, без малейшего шума опустились они с лопатами и легли на дно соседнего деревянного намогилья.

Голос, тянувший «Моздокскую степь», меж тем раздавался все ближе. Вот и шаги уже слышны — шаги смешанные, как будто два человека идут. Ближе и ближе — через минуту, гляди, поравняются с укрывшимися гробокопателями.

Вдруг, шагах в пяти от ящика, послышалось сдержанное рычание большого пса.

— Полкашка! — обозвал голос, напевавший песню.

Пес продолжал озабоченно рыскать меж могилами и глухо рычать.

— Чего брешешь, ну, чего брешешь-то?.. Эка дурень-собака! Брешет себе зря. Совсем дурень... Ну что ты там слышишь?.. Полкашка!..

— Нет, брат, ты его не обидь, — послышался в ответ другой голос, — он у нас справедливый пес. Это он, верно, хорька слышит — хорек тут завелся где-то: намедни-с у отца дьякона цыпленка утащил. Я третьёва дни, как могилу копал, видел его, как он, это, по траве побег. А Полкашку не обидь: он свою правилу собачью знает — он, это верно.

— Может, мазурики где забрамшись?..

— Какие тут мазурики, чего им тут взять?

— Одначе ж пошарить бы.

— Пожалуй... для че не пошарить?

И могильщики, разойдясь один с другим, свернули с тропинки, побродили между крестами. Один даже мимо ящика прошел, мур-

лыча себе под нос все ту же песню.

— Ничего нету!.. Да и Полкаша побег себе! — крикнул издали другой, и через минуту оба удалились.

У Гречки отлегло от сердца: будь немножко почутче нюх у Полкашки да караульщики посмышленее и поретивее — и вся заветная мечта его развеялась бы дымом. Правда, он бы не дешево расстался с нею: он уже решил, что в случае накрытия — сразу бить насмерть обоих; но... как знать чужую неизвестную силу? Пожалуй что и его бы скрутили, и тогда — прости-прощай навеки фармазонский рубль!

«Степь моздокская» меж тем совсем уже затерялась вдали за деревьями; но не прежде, как только вполне убедившись, что опасность миновала совершенно, решился Гречка выползти из намогилья.

Снова лопаты вонзились в землю — работа закипела теперь еще решительней, еще энергичнее прежнего, и вскоре железо ударило о крышку гроба, а минут через пять она вся обнажилась.

На гробокопателей при виде вырытого гроба повеяло легким холодком нервного трепе-

та.

— Вскрой крышку-то, запусти маленько лопату под нее, — шепотом пролепетал блаженный.

Деревянные заклепки заскрипели под напором железа, и крышка соскочила.

Перед глазами Гречки и Фомушки вверх неподвижным лицом, обрамленная белым холщовым саваном, лежала мертвая женщина в арестантском капоте. У обоих крупными каплями проступил холодный пот на лбу.

— Где же деньги-то?.. Не слыхать что-то, — чуть слышно бормотал Фомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукою.

— Больно прыток, — с худо скрытою злостью прошипел Гречка, отстраняя прочь от тела руку блаженного, из боязни, чтобы тот первый не нашел как-нибудь заветного рубля, — больно прыток!.. Забыл, что дядя жиган сказывал? Исперва надо надругательство какое над нею сотворить, а потом уже деньги-то сами объявятся.

— Ну, какого там еще надругательства? — шепотом огрызнулся Фомушка. — Дал ей тумака доброго — и вся недолга! Вот-те и надру-

гательство будет.

— Приподыми-ка ее! — приказал Гречка тоном, не допускавшим прекословья.

Фомушка взял покойницу за плечи и, придерживая рукою, посадил в гробу. При этом движении руки ее тихо опустились на колени.

— Братец ты мой, — с некоторым ужасом изумился блаженный, — да она мягкая, не закоченевшая совсем!

— Толкуй, баба! Мерещится! — отозвался Гречка, хотя сам очень хорошо заметил то же.

В эту минуту невольный ужас мешался в нем с чувством, которое говорило: минута еще — и ты достиг, и ты счастливый человек! — и потому он силился подавить в себе этот суеверный страх, но нервы плохо покорялись усилиям воли и ходенем ходили, тряся его, как в лихорадке.

Наконец почувствовал он, что настала решительная, роковая минута. Глаза его налились кровью, грудь высоко и тяжело вздымалась, а лицо было бледно почти так же, как лицо покойницы. Закусив губу и задержав дыхание, он сквозь зубы тихо простонал бла-

женному: «Держи!» — и, сильно развернувшись, с ругательством наотмашь ударил ее в грудь ладонью. В эту минуту раздался короткий и слабый крик женщины.

Гробокопатели шарахнулись в сторону — и труп упал навзничь, но в ту же минуту, с усилием и очень слабым стоном, в гробу поднялась и села в прежнее положение живая женщина.

Фомушка с Гречкой, не слыша ног под собой от великого ужаса, инстинктивно упали на корячки и поползли, не смея обернуться на раскрытую могилу и не в силах будучи закричать, потому что от леденящего страха мгновенно потерялся голос, как теряется он иногда в тяжелом сонном кошмаре.

Проползя несколько саженей, Гречка поднялся на ноги, а вслед за ним стал и Фомушка: в эту минуту, после первого поражающего потрясения, у них едва-едва мелькнули слабые проблески сознания, и потому оба, под неодолимым обаянием дико-суеверного страха, без оглядки пустились бежать с кладбища. Инстинкт самосохранения и этот бледный луч сознания вели их к той же самой ла-

зейке, с помощью которой удалось им, за час перед этим, пробраться сюда; и теперь, спотыкаясь о кресты и могилы и падая на каждом шагу, дотащились они кое-как до разобранной канавочной загородки и прытко пустились наперекоски, через огородные грядки к избе Устиньи Самсоновны.

LXXIV
СПАСЕНА

— Надо, государи мои милостивые, испервa от духа уразуметь, — сидя за пряжей, наставительно калякала хлыстовка с двумя своими гостьми — Ковровым и Каллашем, тогда как Бодлевский с Катцелем работали в подызбище, а эти — между делом — вышли наверх поглотать воздуха, не пропитанного лабораторными запахами. Устинья Самсоновна каждый раз норовила не упустить малейшего случая и повода потолковать о вере с кем-либо из этих гостей, в надежде, что авось кто-нибудь из них, убежденный ее речами, обратится в веру правую, за что она паки и паки сподобится благодати

Вышнего.

— Надо от духа поучаться, и ходить по духу, и веровать токмо по духу: как тебя дух Божий в откровении вразумит, так ты и ходи, так и верь, — говорила хлыстовка. — Вот когда наша вера истинная стала шириться по земле, тогда на Москве сидел царь Алексий со своим антихристом Никоном, и повелел он Христа нашего батюшку Ивана Тимофеича изымать с сорока учениками, для того чтобы они веру правую не ширили. Пытали их много, а батюшке Иван Тимофеевичу дали столько батожья, сколько всем ученикам его вкупе, однако ж не выпытали от них, какая такая наша вера есть. Исперва на Москве сам антихрист допросы чинил им, а потом сдали их, наших батюшек-страстотерпцев, на житный двор к гонителю египетскому, князю Одоевскому, и тот гонитель очинно ревнив был пытать Иван Тимофеевича: жег его малым огнем, на железный прут повесимши, потом палил и на больших кострищах, и на лобном месте пытал, и затем уже роспяли его на стене у Спасских ворот. В Москве-то бывали вы, государи мои? — спросила обоих Устинья

Самсоновна.

— Случалось, — подтвердил ей Ковров.

— И Спасские ворота знаете?

— Как не знать!

— Ну, так вот, как идти-то в Кремль, по левой стороне, где ныне часовня-то поставлена, тут его и распинали. Я к тому это и говорю, — продолжала хлыстовка, — что значит дух-то! Чего-чего не перенесешь, коли дух Божий крепок в тебе, потому и завет у нас такой: аще победити и спастися хочешь, имай, первее всего, дух Божий и веру в духа.

— Ну, и что же с ним потом-то было? — спросил Каллаш.

— Ой, много с ним всякого было! — махнула хлыстовка. — Когда испустил-то он дух, то от стражи было ему с креста снятие, а в пятницу похоронили его на лобном месте, в могиле с каменными сводами, а с субботы на воскресенье он, наш батюшка, при свидетелях воскрес и явился ученикам своим в Похре. И тут снова был взят, и пытку чинили ему жестокую и вторительно роспяли на тыем самом месте у Спасских ворот. И содрали с него кожу вживе, но едина от учениц его по-

крыла, батюшка, простынею белою, и простыня та дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовские, в воспоминание его, и носят белые рубахи, а на раденьях «знамена» мы имеем — полотенца али бо платы такие полотняные. И потом снова воскрес наш батюшка и начал проповедовать, а учеников ему, с этого второго воскресения, прибавилось видимо-невидимо. И когда в третий раз изыскали и обрекли на мучения — в те поры царица брюхата была и родами мучилась: никак не могла разродиться. И было ей тут пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыном царевичем Петром, когда ослобонят Ивана Тимофеевича. Тут его и слобонили, и стал он явно жить в Москве на покое, проповедуя веру правую тридцать лет; а дом, где жил, доселе цел и нерушен стоит и промеж Божьих людей «Новым Юрусалимом» нарицается.

В эту минуту рассказ ее был прерван топотом неровных, торопливых шагов, который послышался на крылечке, словно бы туда прытко вбежали два человека. Раздался нетерпеливый, тревожный стук в наружную

дверь.

Ковров и Каллаш в недоумении вскочили с места, причем первый опустил свою руку в карман, где у него имелся наготове маленький карманный револьвер, который он постоянно брал с собою, отправляясь в загородную лабораторию.

— Господи Исусе!.. Кого там? — встала из-за пряжи хозяйка, встревоженная этим шумом в такую позднюю пору.

Старец Паисий взял свечу и пошел в сени.

— Кто там? — окликнул он.

— Мы... я... пустите, — отвечал перепуганный, задыхающийся голос Фомушки.

— Чего тебе?

— Христа ради, впустите скорее... Беда! — с отчаянием воскликнул он, стучась в дверь.

Старик отомкнул защелку — и в комнату влетели ошалелые гробокопатели. Лица их были в кровь исцарапаны, одежда перервана и перепачкана землею, а сами они до того дрожали и казались перепуганными, что Ковров с Каллашем поневоле отступили назад, изумленные этим неожиданным появлением.

Фомушка и Гречка, с трудом переводя дух,

стояли посередине комнаты и все еще не могли прийти в себя.

— Ты как здесь? — подошел Каллаш к блаженному. — Что случилось? с чем вы? откуда?

— Ба... а... батюшка, страшно... — с усилием выговорил дрожащий Фомушка.

— Полиция здесь? Накрыли вас или гнался за вами кто, что ли?

— По... покойник гнался... на кладбище... из гроба... — говорил блаженный, почти бессознательно давая свои ответы.

— Да они пьяны, — заметил Ковров, переухмыльнувшись с графом.

— Были бы пьяны — не были бы так перепуганы.

— А зачем носило вас на кладбище? — снова приступил последний к Фомушке.

— Фармазонские деньги... на ей зашиты... могилу раскопали... — без смыслу лепетал блаженный, страшливо озираясь во все стороны.

— Могилу раскопали?.. — озабоченно сдвинув брови, повторил вслед за ним Каллаш. — Э-э!.. Шутки-то выходят плохие!..

— Послушай, — отозвал он в сторону Коврова, — этот дурак мелет чепуху какую-то, но очевидно одно: оба страшно перепуганы и один обмолвился, что могилу раскопали. Это-то и есть причина паники.

— Ну так что ж? — спросил Ковров.

— Очень скверно. Разрытую могилу завтра же могут найти, — принялся Каллаш развивать свою мысль, — поднимется следствие, розыски, обыски, «как да что», а до хлыстовской избы полиции нетрудно будет добраться: ведь по соседству стоит. Понимаешь?

Ковров кивнул головой и озабоченно закрутил свой великолепный ус.

— Вы разрывали могилу? Зачем? Для чего это? — наступили оба на Фомушку.

Гречка меж тем успел уже прийти в себя, а с возвратом полного сознания ему тотчас же явилась в голову суеверная мысль, что это, должно быть, вражья сила подшутила над ними, и потому, желая предупредить Фомушку, чтобы тот не давал ответа, он толкнул его в локоть. Но это движение не скрылось от Коврова.

— Эге, да это, кажись, мой старый знако-

мый!.. — протянул он, пристально вглядываясь в физиономию Гречки. — Помнится, будто встречал когда-то. Ты зачем толкнул его?

— Я?! Мерещится, что ли? — дерзко ответил Гречка. — Вольно ему сдуру молоть ерундищу!

— Где вы были? Отвечай мне! — начальнически и в упор приступил к нему Сергей Антонович.

— Да вам-то что, где бы мы ни были? Чего лезете?

В ответ на это последовал истинно командирский удар по уху.

Гречка отшатнулся в сторону и упал на лавку, но в ту ж минуту, поднявшись на ноги, хотел было броситься на Коврова, как вдруг, в ответ на это движение, увидел он ловко приставленный к своей груди револьвер.

Его попятило назад: он живо вспомнил былые времена и лихого капитана Золотой роты.

Ковров меж тем не отставал от него со своим пистолетом.

— Отвечай, мерзавец, где вы были и что вы делали, или сейчас же, как собаку, положу

на месте!

— Виноват, ваше... ваше сиятельство!.. Простите, Христа ради! — пробормотал оробелый Гречка, ибо вспомнил по старым опытам и слухам, что с этим барином вообще шутки плохие, особенно когда в переносицу зловеще смотрит пистолетное дуло.

— Я не спрашиваю, виноват ли ты, а мне нужно знать, где вы были и что делали — понимаешь? — с расстановками над каждым словом возразил Сергей Антонович, нещадно теребя его за ухо, словно мальчишку-школьника.

— Виноват, ваше сиятельство... на кладбище были, — пролепетал Гречка, окончательно потерявшись от столь неожиданного и столь бесцеремонного отношения к своей особе.

— Зачем вы были на кладбище? — настойчиво наступил на него Ковров.

— Фармазонских денег искали...

— Где вы их искали?

— На покойнице... на арестантке одной тут...

— И разрыли для этого могилу?

— Виноваты, ваше сиятельство...

— Ну, так пойдемте зарывать ее, — сказал Ковров тем спокойно-сознательным тоном, который не допускает возражений. Для подпольной компании было необходимо, чтобы могила была зарыта, потому что иначе и в самом деле мог бы произойти весьма невыгодный оборот для их предприятия вследствие непременных обысков полиции. Надо было немедленно же уничтожить все следы преступления двух гробокопателей.

— Ваше сиятельство... слобоните! Христа ради!.. Не могим вернуться на кладбище! — взмолился Фомушка. — Покойница ведь живая... стонала... сидела в гробу... сам видел своими глазами.

Это было еще одно новое открытие для Каллаша и Коврова; теперь, стало быть, необходимо нужно было пришибить насмерть либо спасти мнимую покойницу.

Ковров мигом накинул свой плед, захватил маленький потайной фонарик и вышел из горницы вместе с Фомушкой и Гречкой.

Он беспрекословно заставил их идти с помощью того же самого убедительного аргумента, который за минуту перед сим развязы-

вал язык гробокопателей.

В глубокой тишине, не нарушаемой ни единым словом, осторожно пробрались они прежним путем на кладбище, и Гречка, весь дрожа от волнения и страха, снова нашел, в темноте, разрытую могилу.

Однако странно: гроб раскрыт, но никого в нем нет — один только саван лежит, брошенный в двух шагах от крышки.

Ковров еще круче закусил свой ус и озабоченно сдвинул брови. Что тут делать теперь? Ясно, что мнимоумершая выползла из гроба, но где искать ее по кладбищу, в какую сторону направиться? Да и когда тут искать, если каждая минута дорога, если для собственной безопасности нужно было как можно скорее уничтожить все признаки раскопанной могилы. Поиски, во всяком случае, отняли бы время. Из двух зол надо выбирать меньшее, а если мнимоумершую найдут завтра где-нибудь на кладбище живою или мертвою, это все-таки менее опасно, чем разрытая могила: там еще вопрос темный, там еще могут быть какие-нибудь сомнения, недоразумения, а здесь — эта разрытая могила, и в ней — свиде-

тель преступления.

Ковров прислушался, пригляделся в темноту — напрасно: не различишь никакого признака, да и не слыхать ни шороха, ни стона, — мешкать было нечего.

— Бери, ребята, крышку — и снова на гроб ее, — шепотом распорядился он, не выпуская из руки револьвера, который держал все время наготове, так что те поневоле повиновались.

— Готово, ваше сиятельство.

— Теперь закапывай гроб хорошенько! Где лопаты у вас?

— А туточки бросили вот...

— Ну, бери дружнее! Да живо у меня, мерзавцы!

— Ой, страшно, ваше сиятельство... руки словно в лихорадке... приняться страшно...

— Закапывай!

И, без дальних разговоров, он весьма убедительно приставил дуло ко лбу Фомушки.

Такой решительный маневр, в особенности после стольких потрясающих ощущений, которые немного обессилили в обоих гробокопателях твердость и способность самосто-

ятельно действовать своей силой и соображать своим рассудком, — такой маневр, говорим мы, произвел свое решительное действие: они опустили накрытый гроб в могилу и проворно стали закапывать.

— Вали землю живее! Живее, канальи! — энергическим шепотом поощрял Сергей Антонович. — За работу по пятирублевке получите.

И минут в пять могила быстро была засыпана в присутствии Коврова, лично наблюдавшего за работой.

Они уже возвращались прежним путем, вдоль канавки, как вдруг, шагах в пяти, послышался слабый, болезненный стон.

Фомушка с Гречкой так и обмерли в ужасе.

— Дальше ни с места! — громко приказал им Ковров и осторожно выполз из канавы, по тому направлению, откуда послышался стон. Действительно, пройдя пять-шесть шагов, он наткнулся на что-то живое. Это была женщина, почти в беспамятстве, и по ее полулежачему положению можно было предположить, что она перед тем ползла по земле.

Ковров на мгновение отодвинул щиток по-

тайного фонарика, и первое, что бросилось ему в глаза — это арестантский капот. Лица он не успел разглядеть, потому что оставить свет еще на несколько секунд было бы не совсем безопасно. Что ж теперь делать с нею? Пришибить? Поздно: могила уже зарыта. Оставить на кладбище? Нельзя: этот арестантский капот мешает. Он, при следствии, пожалуй, все дело выдаст и, быть может, поведет к черт знает какой кутерьме! Что же делать, однако, с этой женщиной? Время не терпит: надо самим как можно скорее уходить с кладбища. Остается одно только средство: была не была — взять ее с собою! Если она за ночь умрет — можно будет снять с нее этот предательский капот, переодеть в другую одежину и тайно вывезти да бросить за чертой города, в стане, на каком-нибудь пустыре, а если поправится, если выздоровеет, то — сама арестантка, стало быть, не выдаст никого и ничего, а будет рада, что из гроба вынули да от тюрьмы спасли.

Ковров торопливо спустился в канавку и приказал Фомушке с Гречкой идти за собою. Он постлал по земле свой плед, завернул с го-

ловой найденную женщину и велел им нести.

Те дрожали как осиновые листья и не решались взяться за страшную для них ношу.

— Трусы! — презрительно отнесся к ним Сергей Антонович. — Не видите разве, это — живая женщина? Ее в обмороке схоронили! Ты неси лопаты и фонарь, — приказал он Фомушке, — и ступай вперед, а ты — бери ее за ноги!

И, вместе с этим, осторожно поднял за плечи завернутую женщину, и вдвоем понесли ее с кладбища, к подзаборной лазейке. Хотя обоих гробокопателей все еще мучило чувство суеверного страха, однако, видя такое хладнокровие и энергию со стороны Коврова, они приободрились несколько, предполагая, что, верно, и в самом деле это живая женщина, потому нечистая сила с мертвечиной не так бы проявили себя.

Все благополучно возвратились в избу Устиньи Самсоновны.

Ковров приказал внести в горницу найденную женщину, а сам, не теряя минуты, прямо спустился в подызбище и позвал Катцеля.

Доктор развернул плед, наклонился, чтобы

рассмотреть ее лицо, — и вдруг быстро отшатнулся в сторону, очевидно, под влиянием какого-то невольно поразившего его чувства.

— Боже мой!.. Да это она!.. — прошептал он в смущении.

— Кто она?

— Она... Бероева...

— Бероева?! — изумленно повторили Ковров и Каллаш, в свою очередь нагибаясь к ее лицу, чтобы удостовериться, точно ли это правда.

Для Сергея Антоновича не осталось более сомнения в этом: он еще прежде знавал Бероеву, она как-то необыкновенно нравилась ему как красивая женщина — а он боготворил красивых женщин. Он знал и ее, и ее мужа, встречавшись с ними у Шиншеева, и, вдобавок, ему очень хорошо была известна настоящая история ее с Шадурским и судьба, постигшая эту женщину, и теперь, заглянув в это истомленное страданием лицо, окончательно удостоверился, что перед ним действительно лежит Бероева.

— Ее надо спасти, непременно спасти! Слышите, Катцель, не-пре-менно! — с одушев-

лением и решительно проговорил он.

— Но куда же мы с нею денемся? — возразил Бодлевский.

— Оставим здесь.

— Здесь... Она нам будет мешать, она может выдать нас.

Ковров оглядел его с нескрываемым презрением и тихо, отчетливо промолвил ему:

— Не выдайте *вы* нас, любезный друг! А она — женщина, обязанная нам спасением жизни, арестантка, приговоренная в Сибирь, — она нас не выдаст, лишь бы вы не проболтались в нежную минуту вашей княгине Шадурской.

Бодлевский вспыхнул от негодования, однако молчал и ушел в подызбище, не принимая более никакого участия в происходящем.

Бероева лежала на лавке, по-прежнему закутанная в плед Коврова.

— Эх, брат, как же ты так плошаешь! — с укором заметил он Катцелю и обратился к хлыстовке: — Матушка Устинья! В Бога ты веруешь?

— Штой-то, мой батюшка, еще не верить-то! Верую! Хрестьяне ведь!..

— Ой ли?.. Ну, коли «хрестьяне», так и поступай же по-християнски! Постель-то у тебя мягкая?

— Мягкая, батюшка, пуховичок ништо, хороший.

— Пуховичок хороший, а больного человека на голой лавке допускаешь лежать! Эх ты, «верую»! Уступи, что ли, Христа ради, постель свою.

— Бери, мой батюшко, бери, Христос с тобой! Я рада: болящего, сказано, посети.

— То-то же! Так вот и походи за нею, пока выздоровеет.

Ослабевшую Бероеву перенесли в другую горенку на постель Устиньи Самсоновны. Старуха раздела и укутала ее в теплое одеяло.

Ковров меж тем озабоченно ходил по смежной горнице.

— Ее третьего дня на Конную вывозили — я случайно прочел в «Полицейских», — шепотом заметил граф Каллаш.

— Да? — отозвался доктор. — О, теперь я понимаю: это была летаргия от нервного потрясения. Субъект для меня весьма интересный — поштудирую, — заключил он, потирая

от удовольствия руки.

— Мерзавцы... негодяи... барчонок... — шептал меж тем про себя Сергей Антонович, хмуро сжимая брови от какой-то неприятной мысли, и вдруг круто подошел к Катцелю.

— Слушай, — начал он ему совершенно серьезно и строго. — Эта женщина всеми своими несчастиями главнейшим образом обязана тебе. Ты ее убил, ты же и воскресишь ее. Ступай к ней!

Но Катцель и без того уже засуетился над изысканием первых пособий: приказал Устинье нагреть самовар, спустился в подызбище и вытащил оттуда баночку спирту да бутылку лафиту.

— Ну, а вам, ребята, спасибо за то, что вырыли! — неожиданно обратился Ковров к Фомушке и Гречке, которые почтительно стояли у дверей. Бывший капитан Золотой роты нагнал-таки на них порядочного страху.

— Вот вам обещанная водка! — продолжал он, кидая им два империала. — А теперь скажите-ка мне, каких это фармазонских денег искали вы?

— Неразменного рубля, ваше сиятель-

ство, — поведал Фомушка-блаженный.

— Дурни! — покачав головою, улыбнулся Сергей Антонович. — Тебе бы, собачий сын, о разменных рублях следовало думать, а ты черт знает о какой чепухе!

— Грешен человек, ваше сиятельство, и плоть моя немощная, — с покаянным сокрушением вздохнул блаженный.

— А ты, кажись, будешь человек годящий, — обратился Ковров к Фомкину товарищу. — Хочешь на меня работать? Внакладе не останешься, лучше всяких фармазонских денег будет. Согласен, что ли?

— Рады стараться, ваше сиятельство! — охотно согласился Гречка, который, впрочем, в глубине души своей подумал:

«А все же, черт возьми, надо раздобыться фармазонским рублишкой».

В душе его смутно и больно щемило от неудачи.

— Ну, теперича с глаз долой! Ступайте дрыхнуть себе, — отпустил обоих Сергей Антонович и осторожно, на цыпочках, отправился в комнату, где лежала Бероева.

— В искусство ваше я верю, — шепотом об-

ратился он к Катцелю, горячо сжимая его руку, — и... если вы — *человек*, умоляю вас, спасите ее: у нее дети ведь!.. А нас она, поверьте, не выдаст. За это уж я берусь.

Доктор улыбнулся, кивнул головой и, ответно пожав руку Коврова, опять наклонился над больною, принявшись за свои скудные наличные средства помощи: для него она, больше чем прежде, представляла теперь любопытный в научном отношении субъект, и поэтому он с великой охотой готов был упорно истощать над нею все усилия и все свое искусство.

— Ну что? — опять войдя через час времени, спросил его Сергей Антонович.

Доктор Катцель самодовольно вытянулся и, вскинув на него торжествующий взгляд, промолвил тихо и внятно:

— Спасена!

Часть пятая
ГОЛОДНЫЕ И ХОЛОДНЫЕ

I
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРИХИНА

— Благослови Господи на новую жизнь да на добрую дорогу! — перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер, с узелком в руках, за ворота богатого дома, где оставляла столько любви, воспоминаний и столько тяжелого разочарования — после того, как была брошена молодым Шадурским (читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой), и после продажи с молотка ее мебели и всего имущества.

Ванька-извозчик шажком довез скудные Машины вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня поутру сговорила ей место за четыре рубля в месяц «с горячим от хозяев», и теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее.

Новая жизнь открылась перед Машей, и

эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства, цвета и запаха.

Эта петербургско-немецкая семья составляет совершенно особый, замкнутый в самом себе и настолько своехарактерный элемент, что о нем стоит немножко побеседовать.

Карл Иванович Шиммельпфениг был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька, Иван Карлович Шиммельпфениг, был немцем лифляндским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения, при поведении отлично-благонравном, папенька его, Иван Карлович Шиммельпфениг, написал в Петербург умилительное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику Адаму Адамовичу Хундскейзеру, прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург при этом самом письме. Адам Адамович Хундскейзер с радостью определил под свое ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силен высоким покрови-

тельством Адама Адамовича, и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни. Юный Карл сказал себе: «Умеренность и аккуратность суть первые добродетели, и если к ним присоединить еще строгую исполнительность, то это будут три грации древних». Сказав себе такой максим, он сделался умерен, аккуратен и пунктуально исполнителен до тошноты, до омерзительности и тем самым обрел фортуну своей жизни, ибо неизменно пользовался покровительством и высоким мнением о себе своих немцев-начальников.

Впрочем, покровительством Адама Адамовича Хундскейзера он пользовался отчасти и по иной, посторонней причине. Хотя Herr Хундскейзер был женат и имел семейство — как подобает всякому чиновнику-немцу в качестве насадителя немецкого элемента на русской земле, — однако это не мешало ему иметь на стороне некоторую слабость. Адам Адамович был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адама Адамовича, ибо известно, что чем старее стано-

вится эпикуреец-смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамович был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию. Поэтому надлежало, как ни на есть, разделаться со старой слабостью. Думал-думал Адам Адамович, как бы все это устроить ему, — и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого ее выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему как немец и как отлично-исполнительный чиновник. Женитьбу на своей слабости Адам Адамович Хундскейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою — наградою не в счет крестов, чинов, денег и всяческих отличий, ибо этой наградой тем паче приобреталось его высокое покровительство. Для этой цели он избрал сына своего старого товарища — и, таким образом, в один прекрасный вечер имел случай от души поздравить юного Карла Шиммельпфенига со вступлением в законный брак со своей слабостью, на которую,

между прочим, в глубине своего сердца питал надежды такого рода, что она, при случае, не откажется продолжать с ним прежние отношения и по выходе замуж, ради больших удобств своего супруга и своих собственных, при дальнейшей супружеской жизни. Таким образом, слабость переменила свое прежнее звание на имя титулярной советницы Луизы Андреевны Шиммельпфениг и, по-видимому, была совершенно довольна и счастлива, равно как и юный Карл тоже был доволен и счастлив, ибо понимал, что вступление в супружество со слабостью его превосходительства, патрона и благодетеля доставляет ему новую силу и крепость.

Нужды нет, что Луиза была старее его тринадцатью годами — он все-таки был доволен и счастлив и с первых шагов своих на супружеском поприще попал под башмак этой немецки-прелестной особы.

Пока немецки-прелестная особа была еще «в поре» — превосходительный ловелас и покровитель оказывал ей время от времени знаки своего сердечного благоволения — в силу старой привычки. Для его экономии это не со-

ставляло теперь расчета, ибо за благосклонность госпожи Шиммельпфениг он платил благосклонностью же господину Шиммельпфенигу, и супруги не оставались внакладе. Так как благосклонность Адама Адамовича Хундскейзера выражалась в прибавках жалованья, в экстренных выдачах, в наградах, в повышении чинами, в орденке и, наконец, в личном дружелюбном расположении самого патрона и покровителя.

Карл Иванович Шиммельпфениг шел в гору, ибо его, что называется, тянул за волосы, всеми легкими и нелегкими, все тот же неизменный патрон и покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамович Хундскейзер поступал таким образом исключительно ради отношений своих к супруге своего подчиненного, — нет, Адам Адамович кроме этого был добрый немецкий патриот и потому тянул в гору Карла Ивановича по высшему принципу, как немец немца — из чувства нравственного родства и национальности.

И Карл Иванович отменно хорошо умел чувствовать это: он знал, куда идет; он ведал, что дойти до цели можно ему только этим пу-

тем; он понимал, что в путешествии по русской иерархической лестнице младший немецкий человек должен крепко и всеми зависящими средствами держаться за вицмундирные фалды старшего немецкого человека, дабы и за его собственные фалды могли потом держаться другие младшие немецкие люди, когда он, Карл Иванович, в свою очередь, сам сделается большим немецким человеком. Карл Иванович, как доброкачественный подчиненный, радушно и разумно снисходил к отношениям патрона и своей Луизы Андреевны, ибо знал, что все это он сам наверстает, что впоследствии он сам будет находиться в точно таких же отношениях к какой-нибудь Минне Федоровне или Маргарите Францевне и тянуть за волосы в гору ее супруга. Такова сила вещей, и, стало быть, уразумев ее однажды, ему не о чем уже было печалиться. Карлы Ивановичи вообще тем и счастливы в жизни, что у них крепкие, выносливые лбы и затылки, хотя эта крепость отнюдь не препятствует развитию задорно-щепетильного самообожательного немецкого гонора и кичливости в отношении русского человека.

Карл Иванович Шиммельпфениг — санкт-петербургско-русский чиновник и немецкий патриот, в самом кристальном значении этого слова. Он, так сказать, один из пионеров германской народности в России. Посмотрите вы на него в разных фазах общественной деятельности: на службе, в клубе, в семействе, в домашнем обиходе — везде и во всем он прежде всего истинный немец — и в больших вещах и в самых последних мелочах, он все тот же, неизменно верный самому себе Карл Иванович.

Не будем говорить о великом; возьмем одни мелочи, ибо из мелочей слагается обыденная жизнь человеческая, и по преимуществу жизнь Карлов Ивановичей.

Карл Иванович — непременно член клуба; но какого клуба? — санкт-петербургского национального собрания, именуемого по-русски шустерклубом. И ни в каком ином клубе он не захотел бы быть членом. Тут у него издавна уже существуют свои интимные нравственные связи и симпатии. Карл Иванович, несмотря на все блага земные, изливаемые на него щедрой рукой фортуны, очень аккуратен

и расчетлив. Это качество не покидает его нигде, ибо оно присуще ему по натуре. Карл Иванович соображает, что ему нужно, например, белье, сапоги, платье и тому подобное. Как поступает в этом случае Карл Иванович? Он знает, что в числе его клубных сочленов, с коими он садится по вечерам за преферанс, находятся: немецкий сапожный мастер Herr Мюллер, немецкий портной Herr Иогансон, немецкий магазинщик белья Гроссман, — и Карл Иванович в отношении этих господ пользуется своими интимными связями и симпатиями, зная, что тут он приобретает все необходимое, что называется, и дешево, и сердито, а в то же время поддержка своей национальности является. Поэтому платье он заказывает не иначе как немцу-портному, сапоги — немцу-сапожнику, белье — немецкому магазину, в полном убеждении, что способствует развитию национальной немецкой промышленности. Он даже — мелочь из мелочей — стричься и бриться ходит не иначе как к «немецкому парикмахеру» на Большой Мещанской.

Нельзя сказать, чтобы Карл Иванович был

чужд эстетических наслаждений: изредка он посещает немецкий театр (но только немецкий) и объясняет супруге своей достоинства некоторых актеров и пьес, из которых особенно нравятся ему те, которые хоть немножко, хоть самую чуточку проявляют в себе немецки-патриотическую закваску. Но если что сделалось в последнее время предметом живейшей ненависти Карла Ивановича, то это русская журналистика, с тех пор как она стала заниматься ост-зейдским «вопросом». Имени Каткова он равнодушно слышать не может — зато боготворит императорско-российского надворного советника и германского пионера г-на фон Мейера, будучи всегда усердным читателем его академически-российских немецких «Санкт-Петербургских ведомостей».

— Что они пишут! Боже мой, что пишут эти вандалы! — восклицает он, диспутируя по поводу нападок русской журналистики. — Немцы!.. А что они будут делать без немцев? Кто дал России просвещение, администрацию и цивилизацию? Кто взял преимущество интеллигенции в высшем ученом собрании русском? Немецкие ученые мужи! Кто в России

лучший чиновник? Немец! Кто лучший командир? Тот же немец! Кто педагог? Опять-таки немец! Кто капиталист, банкир, негоциант, агроном, и врач, и механик? Немец! Кто, наконец, лучший, честный ремесленник, сапожник, булочник? Немец! Все немец, немец и немец! Все — мы! — заключает он с гордым достоинством и, вслед за тем, не без горечи присовокупляет: — А они кричат! они, они-то кричат еще! Какая неблагодарная нация!

В маленьких чинах Карл Иванович был довольно скромен относительно своих русских антипатий; но с постепенным повышением в оных, он постепенно высказывался — так что, достигнув до статского советника, *почти* уже не скрывает своего презрения, а когда достигнет до *действительного* статского, то тогда, можно надеяться, совсем уже проявит всю глубину его.

Кто-то заметил ему однажды, что как же, мол, это — и презираете, и служите в одно и то же время? Это, мол, маленькая несообразность выходит. Карл Иванович смерил дерзновенного своим пятиклассным, статско-советничьим глазом и, вероятно, чувствуя, что

чин «действительного» весьма уже недалек от него, с великим достоинством отчетливо возразил:

— Я служу не отечеству, но моему императору! Я люблю русское правительство; но я презираю русскую свинью.

Вообще названия варваров, вандалов и скифов суть обыкновенные клички, которыми удостоивает нас, грешных, Карл Иванович в своем интимном немецком обществе; но, как высшая степень в порядке этих кличек, у него является энергическое выражение «русская свинья», коим он остается беспримерно доволен.

— Наша служба — это есть наша высшая миссия, — заметил он тому же дерзновенному, который осмелился выразить мысль о несообразности презрения и службы. — Мы, немцы, мы желаем приобщить вашу Россию к циклу цивилизованных государств Европы. Это — наша миссия!

Так понимает Карл Иванович задачу своего служебного поприща.

Но не одною только службою ограничивается цикл цивилизаторской миссии Карла

Ивановича — нет! Он во все отрасли жизни своей бросает семена этой миссии. Известно, что соберутся два или три немца, там тотчас же созидается у них Bund и Verein[421] — непременно Verein, без Verein'а тут никак не обойдется; только этот Verein, при всей своей торжественности, бывает у них всегда безобиднейшего, буколического свойства, и чем невиннее, тем торжественнее. По свойству и качеству этих ферейнов все немцы подразделяются на немцев поющих, немцев танцующих, немцев гимнастирующих и немцев стреляющих, или, лучше сказать, воинствующих. Поэтому уже само собой разумеется, что и петербургский немец никак не мог обойтись без ферейна: «Немец бо есть, и ничто же немецкое не чуждо ему». В Петербурге прежде всего образовался ферейн из немцев танцующих, затем уже пошли немцы поющие, которые образовали новый ферейн, известный под именем Парголовского Liedertafel[422]. Впрочем, между этими двумя категориями нет ни малейшего антагонизма: те же самые немцы, которые поют, те же и танцуют, и наоборот. Воинствующий немец в Петербурге недавно

еще начал вырабатываться; но по тем задаткам, которые он предъявляет в последнем отношении, можно предсказать, что это будет наимилейший немец. Дабы изобразить сии задатки, необходимо наперед изобразить, как он селится на лето по невским болотам, что называется, «на даче». Хотя у него и не сформулирован собственно дачный ферейн, тем не менее он чуется, он сам собою рождается, будучи присущ петербургско-немецкой натуре; одним словом, не существуя de jure[423], он существует de facto[424]. Немец занятой, немец деловой выезжает на дачу по преимуществу в Новую и Старую Деревни, кои давно уже приняли характер чисто немецкой колонии; немец же сибаритствующий, почиющий на буколических лаврах своего благосостояния, перебирается не иначе как в Парголово. Первое Парголово — это в некотором роде немецкое Эльдорадо, земля обетованная, и тут-то — Боже мой! — что за раздолье для буколических наклонностей, что за благодатная почва для поющих и пляшущих ферейнов! Тут-то вот и проявляется в великолепном зародыше будущий фрукт воинствующе-

го ферейна. Представьте себе немецких людей, светлооких юношей, солидных мужей и даже седовласых старцев, которые под вечер, часов около шести, сбираются все вкупе на какой-нибудь близлежащий луг, строятся во фронт по ранжиру и, справа по отделениям, начинают маршировать самым усердным, добросовестным и серьезнейшим образом, до того серьезным, как может быть серьезен только немец. И сколько тут почтенных отцов семейства, сколько солиднейших надворных и коллежских советников! Один отец семейства прицепляет на палку фуляровый носовой платок и гордо марширует впереди — это знаменосец. Два титулярных советника, один коллежский асессор, три булочника и два провизора идут впереди знаменщика и, приставив кулаки к губам, стараются подражать звукам валторны и тромбона, а с ними человек восемь делают преуморительные эволюции руками перед своим животом и трещат языком своим: «бром! бром! тррр-бром!» Эти играют роль барабанщиков. И вот таким образом происходит немецкий парад, после которого парголовские воины церемо-

ниальным маршем расходятся в недра семейств своих, и все при этом необыкновенно серьезны, довольны и счастливы.

Обращаюсь преимущественно к тебе, мой иногородний читатель; мне так и кажется, что, прочтя это место, ты недоверчиво улыбаешься и произносишь: «Эка сочиняет!» Ей-богу, нет! Клянусь тебе, не сочиняю, клянусь тебе — правда, воочию виденная мною при посторонних свидетелях!

Карл Иванович Шиммельпфениг — как вообще всякий петербургский немец его категории, — когда находился в меньших чинах и принужден был ежедневно пребывать в месте служения своего, то жил летом в Новой Деревне; когда же ранги его возвысились, а служебный пост дозволил сибаритствовать, он стал нанимать дачу в Парголове. Карл Иванович — необходимый член Парголовского лидертафеля, хотя голос его, в сущности, напоминает только овечье блеянье; Карл Иванович точно так же, невзирая на свой ранг, постоянно принимает участие и в буколическо-спартанском игрище, где обыкновенно марширует — палка на плечо — в качестве

офицера. Вы думаете, Карл Иванович играет в солдаты просто потому, что поиграть ему хочется? Нет, ошибаетесь! Карл Иванович слишком торжественно и серьезно относится к делу вечерних парголовских парадов: он презирает в них высший принцип; сколь ни кажется это наивно и даже невероятно для такого серьезного, практического по службе человека, он способствует в этих парадах великой идее немецко-национального единства. Он во имя этой идеи и поет, и пляшет, и марширует, купно с немецкими собратами в Парголове летом обитает. Таким образом, относительно буколики и всяческих ферейнов, петербургского немца вообще можно определить так: петербургский немец есть немец дачно-поюще-вопиюще-танцующе-воинствующий. И это определение будет вполне верное, с коим согласится всякий, хоть немножко знающий петербургского немца.

Карл Иванович необыкновенно любит буколику и торжественную представительность; в весьма недавнее время, ради этой торжественной представительности, он даже нарочно брал отпуск и ездил в Германию,

дабы принять личное участие в каком-то празднестве гимнастов или певцов, причем своей особой изображал представителя нашей deutsche Russland[425], и даже в торжественной процессии этого празднества перед ним, в числе представителей прочих национальностей, несли знамя, на коем большими буквами была изображена та же самая Russland. Карл Иванович при этом случае с огромным патриотическим пафосом красноречиво ораторствовал высокопочтенному собранию о великом значении российско-пионерской миссии русских немцев относительно великой идеи общегерманского единства, чем и возбудил величайший восторг высокопочтенного собрания: в честь его было выпито 1874 кружки баварского пива, двадцать восемь раз кричали ему «виват» и даже торжественно пропечатали в газетах.

С этого благодатного и великого дня Карл Иванович вполне уже чувствует себя героем.

Но это только одна сторона его характера, которая, касаясь сфер общественных или умозрительных, рисует в Карле Ивановиче, так сказать, человека публичного. Есть у Карла

Ивановича и другая сторона, которая прячется от посторонних взоров, которая доступна только самому Карлу Ивановичу, его супруге и его кухарке, — это сторона халатная, домашняя, семейная, и с этой-то последней стороны характер Карла Ивановича проявляет весьма скаредные свойства, так что определить, в домашнем отношении, можно так: Карл Иванович есть немец халатно-сентиментально-пивопьюще-скаредный.

Непрестанно памятуя, что умеренность и аккуратность суть две первые добродетели немца-бюрократа (он не любил называть себя «чиновником», а всегда говорил: «мы, бюрократия»), Карл Иванович и в домашний свой обиход вносит те же самые две добродетели. Каждая домашняя надобность, каждая физическая потребность была у него строго расчислена и строго разграничена, для каждой определялся особый бюджет, свыше которого не могла быть передержана ни единая копейка. Все было под счетом, всему велся особенный реестр, ежемесячно поверяемый; и в этом отношении Карл Иванович Шиммельпфениг нашел себе ревностно-усердную и вер-

ную помощницу в супруге своей Луизе Андреевне, которая аккуратною скаредностью далеко превосходила Карла Ивановича. В этом отношении Луиза Андреевна была истая немка. Будь на ее месте француженка, в то время, когда Луиза Андреевна была еще молода и состояла под непосредственным покровительством «штатского генерала» Хундскейзера, — француженка с прожорливою жадностью глотала бы деньги, тряпки, яства и пития, обирала бы трех-четырех Хундскейзеров разом и, не задумываясь над будущим, сорила бы своим легко приобретаемым благосостоянием на все четыре стороны, пока суровая старость, вместе с суровой бедностью, не подстерегла бы ее из-за угла. Луиза же Андреевна, как истая немка, была во время оно воздушно-задумчиво-сентиментальна и обирала одного только Хундскейзера — настолько, насколько вообще возможно обирать расчетливого немца, но и то обирала она его с чувством, с толком, с расстановкой — понемножку да исподволь, откладывая и прикапливая для будущего, что называется, на черный денек. И драгоценные качества ее молодости не покидают

Луизу Андреевну и на склоне дней ее: как тогда, так и теперь Луиза Андреевна очень сентиментальна и очень скаредна.

Нельзя сказать, чтобы в обоих супругах не было наклонности к житейскому комфорту; но эти наклонности они более чем строго соразмеряют со служебным положением Карла Ивановича. Когда Карл Иванович был еще в небольших чинах — супруги довольствовались тремя комнатами, двумя немецки вкусными блюдами за обедом и одною немецкою прислугою, в образе кухарки; они довольствовались этим, умеряя свои желания; зато, пользуясь покровительством Herr Хундскейзера, непрестанно откладывали излишек достатков своих на будущее время. Когда Карл Иванович получил более самостоятельное и выгодное место да чин статского советника, он переселился к Сухарному мосту (где квартиры дешевле), нанял пять комнат, за столом ест уже четыре блюда и восчувствовал надобность в двух служанках: в кухарке и горничной. Когда же Карл Иванович получит еще более выгодное место, купно с чином действительного статского (а он его получит

неизбежно!), то будет жить в семи комнатах, есть пять блюд и кроме двух служанок держать еще немца-лакея. Таким образом, можно сказать, что с возвышением на бюрократическом поприще служебной карьеры возвышается и жизненный комфорт Карла Ивановича.

Но для кого же копит Карл Иванович и его супруга? Детей им Бог не уделил, значит, некому оставить по непосредственно-преемственному наследству. Родственников близких, которых бы они сердечно любили, у них тоже нет. Стало быть, для кого и для чего же они откладывают? Для того, что уж у них натура такая, для того, что это сидит во плоти, в крови и в костях обоих супругов. Иного ответа нет, да, очевидно, и быть не может.

Хотя Карлу Ивановичу и его супруге предназначено сыграть слишком кратковременную и ничтожную роль в настоящем повествовании, тем не менее автор никак не мог удержаться, чтобы не побеседовать с читателем о Карле Ивановиче в этом кратком и беглом очерке. Ибо, говоря о Петербурге, нельзя не сказать и о местной трихине, творящей

вечное, непрерывное нашествие на наши веси и дебри из своей специальной Trichinenland[426], ибо наша санкт-петербургская трихина не такого рода мелкое явление, которое можно бы было пройти без внимания.

Этими-то причинами автор и намерен извинить перед читателем отступление от прямого рассказа.

II
В ЧУЖИХ ЛЮДЯХ

Маша, вместе с Дуней, явилась к Карлу Ивановичу Шиммельпфенигу. Прежде чем соблаговолить лично объясниться с нанимаемой девушкой, почтенные господа Шиммельпфениги заставили ждать ее на кухне с добрых полчаса: Карл Иванович вообще необыкновенно любил заставлять кого бы то ни было (исключая друзей и начальников) дожидать себя — ибо Карл Иванович, по примеру своих же начальников, убежден, что подобное ожидание придает ему в посторонних глазах много весу и значения. Когда ему до-

кладывали, что такой-то или такая-то явилась с просьбой по делу, он даже с большим самодовольствием отчетливо и громко произносил: «Пусть обождет», — хотя бы сам в это самое время просто-напросто считал воробьев на соседней крыше. И, как педантически-строгий формалист, Карл Иванович, соображаясь с рангом и положением просителя, градировал свои фразы насчет ожидания в следующем порядке: a) проси обождать, b) может обождать, c) пусть обождет и, наконец, d) просто-напросто употреблял в неопределенном виде повелительно «ждать!». С этим последним отнесся он и к своей немке-кухарке, когда та заявила ему о прибытии Маши Поветиной.

— Ждать! — воскликнул Карл Иванович из-за широкого листа санкт-петербургских академических немецких ведомостей — и только через полчаса соблаговолил призвать к себе Машу.

— Ты русская? — был первый вопрос, обращенный обоими супругами к нанимаемой девушке.

— Русская.

— А ты не лентяйка?

— Кажется, нет.

— То-то, «кажется»! Надо тебе знать, что мы лености вашей не терпим, и за каждый час, употребленный на леность, я строго буду взыскивать: вычитать из жалованья.

— То есть как это на леность? — застенчиво спросила Маша, не поняв, что именно следует разуметь под часами, употребленными на леность.

— Это значит, — пояснил господин Шиммельпфениг, — что если тебе дадут какую-нибудь работу или пошлют куда-нибудь и при этом скажут, что ты обязана исполнить к такому-то сроку, а ты не исполнишь, проспишь, позабудешь — за все это вычет.

— Но, позвольте... — попыталась Маша перебить его.

— Вычет... За все вычет! — не слушая возражения, продолжал Карл Иванович. — Потому что я тебя нанимаю служить мне, и притом требую, чтобы мне аккуратно служили — потому, за все то время, которое против нашего желания или позволения ты самовольно употребишь на праздность, я буду вычитать.

— Но ведь мне надобно же и отдохнуть когда-нибудь, — возразила девушка.

— Для отдыха мы тебе дадим весьма достаточно времени, но вычитать я буду за нерадивость и неаккуратность. Например: тебя отпустят со двора на два часа, ты пробудешь три — за час я сделаю вычет. Не вычистишь ты мне к утру платье и сапоги, не подметешь и не уберешь аккуратно все комнаты — опять-таки сделаю вычет. Понимаешь?

— Понимаю вполне.

— Ну, теперь насчет обязанностей, — продолжал пунктуальный Карл Иванович. — Штопать, чинить, иногда сшить что-нибудь для барыни, иногда выстирать, выгладить ей воротнички или мне манишки или что-нибудь такое, платье чистить, барыню одевать, голову чесать ей; ну, затем полы подметать, а иногда, по очереди с кухаркой, и вымыть их, ну... и прочее. Одним словом — понимаешь ты — вся домашняя работа. Кроме того — у нас бывают порядочные люди, поэтому я требую, чтобы ты была всегда опрятно и прилично одета. Вот мои условия. Согласна ты? — вопросил наконец господин Шиммельпфениг.

Маше, конечно, больше ничего и не оставалось, как только согласиться на все условия господ Шиммельпфенигов.

— Лизхен, — обратился Карл Иванович к своей супруге, — сдай ей счетом, по записке, все вещи, которые должны находиться у нее на руках, да прибавь, что за каждую утраченную, разбитую или испорченную вещь мы вычитать будем из ее жалованья.

Но Лизхен прибавила бы это сама по себе, без напоминаний своего супруга. Она сдала своей вновь определившейся горничной ваксу, сапожные щетки и метелку — для «барина»; сдала блюдечки, чашки, стаканы и чайные полотенца, сдала свои юбки, манишки и платья, указала ключи от шкафов, где вся эта рухлядь хранилась, и Маша собственноручно должна была отметить в реестре — в каком количестве и какие именно вещи приняты ею.

— Ну уж скареды иродские, прости, Господи! — говорила Маше ее бывшая горничная Дуня, когда та вышла проводить ее в сени. — Знала бы — ни за что не посоветовала бы вам идти к ним.

— Да что ж, они по-своему правы: каждому свое добро дорого, — возразила Маша.

— Эх, да уж больно по-жидовски как-то выходит у них все это! — презрительно скривила Дуня свои губы и прибавила в виде утешения: — Уж вы, Марья Петровна, поживите у них, голубушка, так только, самую малость, пока что... А я вам авось другое место добуду!.. Постараюсь!

— Нет, Дуня, спасибо. К чему другое? — отклонилась Маша от ее предложения. — Все равно, где ни служить. Я ведь не боюсь работы — сама же захотела ее, ну и буду работать. Честно буду работать, так и здесь будет сносно... Проживу как-нибудь — Бог не оставит! Прощай, Дуня!

И две девушки тепло простились между собою братским поцелуем и горячей слезкой, в которой у каждой из них, быть может, скрывалась своя доля подавляемой горечи и боли душевной. Что-то это за новая жизнь? Как-то все это будет да чем-то все это кончится?..

Маша хотела работы — она ретиво принялась за нее, не смущаясь многими трудностя-

ми непривычного для нее дела, и однако все-таки дико и странно как-то показалось ей это новое положение в чужом доме, с чужими людьми, где все, положительно все было ей чужое, и это *чужое* с полным правом распоряжалось, по своему произволу, ее временем, ее волей, ее работой. Она должна была беспрекословно подчиняться любой прихоти и каждому капризу этих чужих, совсем посторонних ей людей, которые так или иначе, но часто на ней самой изливали свое неудовольствие, и эти изъявления надо было принимать молча, сносить терпеливо, потому что от каприза этих людей, более или менее, зависело самое существование молодой девушки: откажи они ей сегодня от места — она сегодня же не будет знать, куда ей деться, как быть, где приютиться, что начать делать? Потому что она не знала той жизни и не приобрела еще того опыта, которым научают долгая нужда да горе с голодом и холодом. То есть, пожалуй, она и знала, что есть на свете жизнь вроде той, которую она, не ведая еще, что творит, вела одно время с молодым Шадурским, но... там у нее была любовь, для которой она все забыва-

ла, все прощала и все переносила безропотно, а для новой, подобной жизни у нее нет да и не могло уже быть любви — натура Маши была слишком чиста и непорочна еще, и потому эта жизнь, полная горького разгула и в то же время горькой беспомощности, также пугала ее своим ужасом и развратом: пока еще она чувствовала к ней только одно отвращение и презрение.

«Нет!.. Лучше я не знаю что, лучше камни ворочать, лучше в каторгу идти, только не это!.. Только не это!» — с ужасом повторяла она самой себе, закрыв глаза рукою, словно бы защищалась от тех ужасов, какие рисовали в ее воображении смутные признаки этой безнадежной жизни.

Прежняя любовь — прежнее чувство было еще не изжито: оно, непрошеное и незваное, то и дело врывалось порою в душу девушки, отравляя все существо ее горечью самых светлых воспоминаний и тяжестью темного разочарования. Маша не могла еще совладать сама с собою, она еще не в состоянии была преодолеть в себе остатки своего чувства к молодому князю, хотя и старалась всеми силами

достичь этого: она думала переделать себя, хотела заставить себя разлюбить и позабыть его — и не могла заставить.

«Пустое! Все это дурь во мне бродит, все это блажь одна, блажь, и только! — твердила она себе порою. — Я должна бросить все это! Буду работать — как можно больше и усерднее работать, чтобы некогда было даже думать о прошлом, работать целые дни так, чтобы к ночи до того устать, измориться, чтобы только спать и спать. А там — опять за работу и опять измориться: усталость отобьет охоту думать, работа, как ни хитри, а возьмет свое!»

И Маша работала — работала так, что даже господа Шиммельпфениги не могли сказать дурного слова.

Чем больше порою подступала ей к сердцу горечь неугомонных воспоминаний и оскорбленной любви, тем пуще принималась она за работу. Она работала упорно, сосредоточенно, даже с каким-то тайным суровым озлоблением, и в эти минуты нарочно сама выбирала какое-нибудь дело потяжелее. Не в очередь мыла полы, чему немка-кухарка была необыкновенно рада, штопала чулки госпо-

дина Шиммельпфенига, чинила юбки и воротнички госпожи Шиммельпфениг до того, что на всех пальцах заусеницы накалывала себе иголкой, печи топила, бегала по двадцать раз в день в мелочную лавку, в булочную, в колбасную, в пивную, и когда, несмотря на все это, у нее в течение дня оставалось еще довольно свободного времени, Маша выискивала себе новую работу.

— Сударыня, у вас нынче три сорочки и пять юбок грязных лежат — позвольте, я их выстираю, — говорила она иногда в этих случаях госпоже Шиммельпфениг, и Луиза Андреевна немедленно соглашалась, даже была рада этому из экономических видов: по крайней мере домашними средствами обойдется дело — прачке платить не надо. Маша даром выстирает, накрахмалит и выгладит. И вскоре таковой образ действия со стороны Маши дошел до того, что госпожа Шиммельпфениг совсем почти перестала пользоваться вольнонаемной прачкой и, как бы чувствуя за собой полное и законное право, свалила почти всю стирку на одни Машины руки.

И молодая девушка исполняла все это бес-

прекословно, как будто оно и в самом деле должно быть так, а не иначе. Она спускалась в подвал, в темную, холодную прачечную, разводила с помощью дворников большой огонь, кипятила воду в чугунке, и в быстро нагретой, сырой, прелой атмосфере, в которой густой пар ходил клубами и туманом, принималась над большим деревянным чаном за тяжелую стирку хозяйского белья. В оконные щели холод идет, дверь кто-нибудь входя или уходя растворит, и в низкосводный, закопченный подвал так и пахнет со двора пронизающим ветром, так и обдает им все тело — что за нужда! Приналяжет Маша на свою работу, и опять станет жарко. Две-три прачки стирают тут же. Обычно желтые, заморенные лица их раскраснелись от упорной работы, растрепанные волосы выбиваются из-под головного платка и космами липнут к мокрому лбу, на котором крупными каплями уже четвертый пот проступает. У одной из них тут же грудной ребенок в платяной корзинке пищит; мать поставила его неподалеку от печи, чтобы потеплее было, потому дома у нее в квартире холод: сама на работе, стало

быть, и печка понапрасну не топлена. Слышит мать жалобный, голодный писк своего ребенка и, вся мокрая, усталая, разбитая, бежит от дымящегося чана к платяной корзинке и, склонившись над нею на колени, наскоро кормит грудью младенца. Другая, молоденькая, быстроглазая, в это же самое время, визгливым тоненьким голосом песню поет — поет и стирает, а досужий дворник, который только что притащил сюда и с громом свалил у печи новую вязанку обледенелых поленьев, облапливает ее сзади всею пятернею и балагурливо заигрывает. Быстроглазая прачка лукаво ухмыляется — и вдруг ему прямо в рожу летит целая пригорсть мыльной воды и обдает всего брызгами. Дворник ругательски ругается, быстроглазая звонко хохочет, ребенок пищит и плачет, а Маша все стирает да моет, словно бы не видит и не слышит ничего — упорно, сосредоточенно склонилась в три погибели над своим чаном, мускулы рук ее то и дело напрягаются. И движутся эти руки непрерывно, словно два поршня или рычага в паровой машине; всю спину и поясницу ей уже давным-давно разломило; ладони и паль-

цы разбухли до опухоли от движения в горячей воде — к завтрашнему утру они потрескаются на морозе, как пойдет она полоскать белье на реку, к завтрашнему утру на них волдыри накипят и мозоли позаскорузнут — нужды нет! Маша стирает себе, не обращая ни на что внимания, потому ведь по своей, по вольной охоте взялась она за эту работу — никто ее, кроме собственного сердца, не нудил на эту каторгу. Пойдет она завтра на плот полоскать в холодной воде свою стирку, простоит на резком ветру часа два, простоит под дождем или снегом; потом возьмет все эти обледенелые рубахи, юбки да кофты и на чердаке развесит их сушиться на протянутых веревках. К этой всей работе Маша еще с детства пригляделась, как жила в Колтовской, у своих стариков: у них тогда во дворе, в маленьком флигелечке, тоже прачка одна квартирушку снимала и все этак-то стирала да мыла. В те поры Маша иногда, от нечего делать, приглядывалась к ее работе, а теперь нежданно-негаданно пришлось ей и к делу применить свою приглядку. Сноровки только большой у нее не было — занятие не совсем

привычное, — зато ретивости много.

Работает так-то Маша и думает в этом суровом труде утолить свое неугомонное сердце, позабыть свою кручину. А сердце меж тем неустанно работает над этой самой кручиной и тихо щемит, занывает оно, и в угрюмо сдвинутых бровях молодой девушки сказывается печать далеко не веселой мысли.

В чужих людях, на месте, где она теперь жила, ей все казалось противным, сухим, на всем у этих людей лежал оттенок какого-то черствого бессердечия. Маша, более чем когда-либо, чувствовала себя одинокою — совсем, бесконечно, безгранично одинокою: ни вблизи, ни вдали не было у нее человека, которому бы можно было раскрыть свою душу, слово перемолвить, ласковым взглядом перекинуться, и она как-то вся ушла в себя, как улитка в свою раковину, герметически закупорилась и преобразилась в какую-то рабочую машину, тем упорнее принимаясь за свой труд, чем больнее начинало подступать к ее сердцу ее молодое горе.

Это была непосредственная, совсем простая, неизломанная натура. Полюбила она

Шадурского безотчетно: сама не зная и не понимая, как и за что, а просто потому, что полюбилось. Поэтому-то ее чувство было в высшей степени искренно и глубоко. Она сама даже и не подозревала всей глубины его. Это было светлое, беззаботное, беззаветное и свежее чувство девочки. Последний удар самого тяжкого разочарования сделал из девочки женщину. И это была женщина любящая и оскорбленная. Тот же самый удар, который произвел в ней этот переворот, осмыслил и ее характер: он придал ему именно ту замкнутую внутри себя сосредоточенность, которая отличала Машу среди ее новой жизни у господ Шиммельпфенигов.

Эта чета и жизнь в их доме были ей положительно противны. Луиза Андреевна уже несколько лет назад утратила последние поблеклые цветы своей третьей молодости и привлекательности. Для супруга, который был на тринадцать лет юнее своей драгоценной половины, тоже уже наступил период почтенной зрелости, о чем свидетельствовали и самый чин его, и известная крупность занимаемого им места. Карл Иванович начинал

уже делаться большим немецким человеком. В лице и во всей фигуре его, по этому случаю, необходимо появилась приятная округлость, и экспрессия этого лица постоянно носила характер гордого и блаженного самодовольства. Карл Иванович вступал в тот возраст, когда, по неизбежному почти закону, он должен был, в ущерб законной супруге, восчувствовать беззаконную слабость к какой-нибудь Минне Францевне и, по примеру своего патрона Хундскейзера, тянуть в гору ее немецкого супруга. Луиза Андреевна очень хорошо понимала и чувствовала неизбежность такого пассажа со стороны своего благоверного. Но — увы! — в настоящей Луизе Андреевне не осталось и тени от прежней, которая была когда-то слабостью штатского генерала Хундскейзера. Насколько округлялся супруг ее, настолько же сама она худела и дурнела. Луиза Андреевна чувствовала, что фонды ее давным-давно уже упали, а между тем желание быть молодою осталось, и — странное дело! — на склоне дней своих она страстно, ревниво, ожесточенно привязалась к своему супругу — грех, в оные годы с ней не случавшийся. И эта

страстная привязанность служила источником множества неприятностей, отравлявших мирный покой их супружеской жизни.

Зачастую, когда супруг находился на службе или вообще вне дома, Луизу Андреевну начинали мучить разные подозрения; она была вне себя: то принималась сентиментально вздыхать и плакать, воображая в себе покинутую жертву и мученицу, то вдруг ни с того ни с сего придерется к прислуге и давай на ней всю свою желчь вымещать. Пилит-пилит, бывало, по целым часам из-за каких-нибудь грошовых расчетов, хотя бы из-за того, что говядина на четверть копейки вздорожала, или что воротничок ее шемизетки дурно выглажен, или пыль в одном уголке зала нехорошо подметена, или просто, наконец, так себе, безо всякой достаточной причины и очевидного повода. Но чем более подходило время к обеденному часу, тем сильнее становилась ажитация отставной Лурлеи. С нервическим подергиванием губ, беспрестанно взглядывала она на стенные часы, тревожно шмыгала по всем комнатам, подлетала ко всем окнам — не видать ли возвращающегося Карла

Ивановича? И если свыше обычно обеденного срока проходило как-нибудь десять — пятнадцать минут, а в прихожей не раздавался мужнин звонок, Луиза Андреевна начинала неистовствовать, потрошить свои тощие косицы, порыжевшие и вылезшие от времени, и вскоре дело доходило до полного истерического припадка. Лурлея желала быть молодою и экономною: она ревниво мучилась от воображаемых измен Карла Ивановича и мучительно злилась при мысли, что эти измены, быть может, сопряжены даже с тратою денег — потому что ведь тратился же и на нее самое когда-то штатский генерал Хундскейзер. Но как ослепляла ее ревность! Как ошибалась на этот последний счет она в своем расчетливом и экономном супруге! Карл Иванович действительно начинал подумывать о заведении слабости, но рассчитывал, как бы получше основать эту слабость на строго экономическом принципе. И вот среди подобных-то беснований появлялся супруг, а с его появлением возрождалась буря. Луиза Андреевна укоряла его в неверности, в черной неблагодарности к ней — к ней, которая со-

ставила все счастье и значение его жизни, которая отдает ему все свое сердце, которая, наконец, так экономна, что до последней тряпки заботится о его благосостоянии, а он, как какой-нибудь шпицбубе[427], бесчестно тратит трудовые деньги на какую-нибудь подлую тварь. Супруг хмурился и молчал, молчал и слушал: его отчасти лимфатическая, благоразумная kaltblütigkeit[428] не изменяла ему ни в каких пассажах его жизни, исключая случаев национально-немецкого негодования по поводу Katkoff und alle diese russische Schweine[429]. Вслед за этой бурей следовала перемена декорации: супруга сентиментально бросалась к нему с объятиями, просила прощения у своего pürliches Püppe[430], объявляла, что она сама все прощает ему и забывает, с тем только, чтобы он забыл свою незаконную слабость, не тратил на нее денег и аккуратно являлся бы к обеду; заставляла его клясться в вечной любви и верности, сентиментально и со слезами рисовала картину того буколического счастья, если бы он вечно оставался в ее хозяйственных объятиях, в лоне своего дома, и в заключение принималась

лобзать его отвратительно-страстными поцелуями, сама повторяла клятвы вечной Himmels Liebe[431] и наконец увлекала за стол, на котором давным-давно уже стыл поданный кухаркою Milchsuppe[432] или габер-суп[433] mit репа. Старая красавица сумасшествовала: она страстно любила и страстно скаредничала. Но зато сколь вкусен казался ей после таковой бури этот немецкий габер-суп с репой! Бури отнюдь не препятствовали ее доброму аппетиту, если даже не поощряли его еще более.

Однако с некоторого времени стала замечать Луиза Андреевна, что ее благоверный как будто поглядывает на Машу масляно-сладкими взорами. Карл Иванович действительно начал поглядывать на нее этим самым образом, и таковое обстоятельство немедленно же послужило обильным источником новых бурь и огорчений. Чуть, бывало, выйдет тот за чем-нибудь на кухню — глядь, супруга уж тут как тут, и стоит в дверях, и сверкает на обоих своим кошачьим взглядом.

— Was wollen sie hier, Karl Iwanitz?[434] — раздраженно-резкой и подозрительной нотой

раздается ее ревнивый голос.

Карл Иванович конфузится и не знает, что ему ответить на столь неожиданный вопрос, при столь неожиданном появлении.

Супруга повелительно увлекает его в комнаты, и начинается трагедия.

Почти с первого же появления Маши в этом милом семействе Луиза Андреевна стала уже косо и подозрительно посматривать на нее: она предчувствовала масляно-сладкие взоры своего супруга, и когда ее предчувствия стали оправдываться, то вся эта старческая злость и ревность окапошилась на голову Маши вместе с Карлом Ивановичем. Старая немка выискивала всевозможные предлоги, чтобы только придраться к Маше и излить свое негодование. Ревность нашептывала ей, что надо бы вымести вон из дому этот опасный соблазн, надо бы поскорее отказать Маше от места, прогнать ее со скандалом, а экономическая скаредность в то же самое время громко предъявляла свои особые расчеты и резоны: Маша такая хорошая горничная, такая усердная работница. Маша, наконец, добровольно и безвозмездно взяла на себя почти

всю домашнюю стирку, поэтому прачке платить не надо — одна статья необходимого расхода уничтожается, пять-шесть лишних рублей ежемесячно в кармане остаются. Как тут прогнать такую благодать? И Луиза Андреевна мучилась, терзаемая ревностью и скаредностью, из которых одна не могла пересилить другую.

Маша очень хорошо все это видела и понимала, так что, всмотревшись да вдумавшись во все это, жить у господ Шиммельпфенигов стало уж вконец ей отвратительно; но... она никого и ничего почти не знала в этом городе, не знала почти той мутной жизни, которая кипит в этом лабиринте, но, и не зная, меж тем пугалась ее призрака: она боялась темного, неопределенного существования. Отойти, оставить это место — хорошо. Но потом-то что же станешь делать? Куда пойдешь, к кому обратишься? чем существовать-то будешь? Тут, у этих Шиммельпфенигов, как ни гнусно, как ни противно, да все же есть хоть какое-нибудь определенное положение, есть обеспеченный угол и кусок хлеба, заработанный хоть тяжелым, да честным трудом, а там-

то что ждет тебя? «Нет, уж лучше терпеть да жить как ни на есть, пока терпится да пока счастливый случай не пошлет какого-нибудь исхода!» — решила с собою молодая девушка и безропотно покорилась своей незавидной доле.

III

МАЛЕНЬКОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИМЕВШЕЕ БОЛЬШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Прошло около месяца с тех пор, как Маша определилась на место, и в это время случилось одно вовсе ничтожное само по себе обстоятельство, которое, однако ж, подобно многим ничтожным обстоятельствам, имело свои большие последствия.

Госпоже Шиммельпфениг вздумалось однажды отправить Машу к своей портнихе с каким-то шелковым платьем, подлежавшим различным переделкам.

Отправилась Маша. А накануне перед этим она долго полоскала белье на плоту, и продуло ее порядком, так что с вечера еще

она почувствовала легкий озноб, и было ей все время не по себе как-то. Путь предстоял немалый — к Симеоновскому мосту. Надо было, между прочим, идти несколько времени и по Невскому, и по Караванной, где жила Маша в счастливые дни своей любви к Шадурскому. Ей в первый раз еще после житья на месте приходилось теперь побывать на Невском. Людная улица навела ее на многие воспоминания, которые усилились еще тем, что на самом почти повороте на Караванную она столкнулась с белогубым юношей-офицериком, который в качестве приятеля Шадурского часто бывал у нее во время оно и даже сильно ухаживал за нею. Белогубый офицерик изумленно приостановился на минутку и тотчас же прошел мимо. Очевидно, он узнал Машу, но как же ему признаться в этом теперь, когда он встречает ее в убогом бурнусишке, с белым узлом в голых руках? Маша сильно смешалась при этой встрече и быстро пошагала далее; однако была рада, что все это прошло таким образом. Но встреча с белогубым и потом путешествие мимо подъезда и ворот того самого дома, где она жила, вдруг

навеяли на нее столько щемящих воспоминаний, пахнули на сердце таким горьким чувством, и затем мгновенное воспоминание о Колтовской да о своих стариках опять встало перед ней таким колючим и тяжелым упреком, что на глаза бедняги проступали на морозе самые жгучие слезы. Она шла и плакала, а самое нервная лихорадка трясла. И встречные люди с удивлением оглядывались, что, вот-то, идет хорошенькая девушка в каком-то жалком костюмишке, а слезы по щекам так и катятся, а она меж тем идет себе и не думает вытирать свои глаза, и словно бы этих слез своих совсем даже не чувствует.

Пришла Маша к портнихе с заплаканными, но, впрочем, уже сухими глазами. На лестнице оправилась и вытерла свои слезы. Толкует она портнихе, что госпожа Шиммельпфениг прислала ее с работой, рассказывает, как и что нужно переделать в принесенном платье, а в это самое время выходит из-за драпри гостья, которая сидела у портнихи в смежной комнате, и с изумленным недоумением уставилась глазами на Машу.

Эта последняя мельком взглянула на во-

шедшую и прямо, глаз в глаз, поймала ее удивленный взгляд. Она сразу узнала в ней одну из мастериц того магазина, где во время оно шила себе наряды, и вспомнила, что эта самая мастерица даже к ней на квартиру не однажды приходила примерять ей платья. Узнавши ее, Маша на минуту снова смутилась и вспыхнула.

«Экая я глупая! — внутренно упрекнула она себя в тот же самый миг. — Чего же я краснею? Или мне стыдно своего положения? Какой вздор!» И она смело взглянула опять в глаза вошедшей женщине.

Та нерешительно улыбнулась и еще нерешительнее поклонилась ей. Маша ответила открытой, приветливой улыбкой и отдала поклон уже без малейшей застенчивости.

— А вы узнали меня? — совершенно просто и прямо спросила она.

— Д... да... узнала... — немножко смущенно заикнулась мастерица, — только... вы... такая перемена...

— Что делать! В жизни всякое бывает, — усмехнулась Маша.

— Нда... — продолжала в том же роде ста-

рая знакомка. — Я вот с месяц назад была как-то у мадам Арман — помните, она тоже одно время шила на вас?..

— Как же, помню. И вот именно с месяц назад я даже работы у нее просила.

— Да, она мне передавала это.

— А передавала, каким наглым образом она отказала мне в этой работе и как издевалась в глаза над переменою моего положения? — с горечью возразила Маша.

— Бог с ней! — вздохнула модистка. — Мадам Арман не совсем-то хорошая женщина.

— Впрочем, я и без ее помощи нашла себе работу: я нынче в горничных живу, — сообщила Маша со свойственной ей простотою.

Модистка опять вскинула на нее изумленные взоры.

— Вас это удивляет? — снисходительно улыбнулась молодая девушка.

— Очень... тем более что князь Шадурский... Как же это он так допустил!.. Это ведь уж бессовестно!

Во время их разговора хозяйку вызвали зачем-то в мастерскую. Маша осталась с глазу на глаз с мастерицей.

— Бог с ним, он нехорошо поступил со мной, — махнула она рукой.

— А я слышала, что его приятели *вас* обвиняют.

— Меня?! — изумилась Маша. — Меня?! Да за что же?

— Конечно, не всякому слуху верь, говорит пословица, и мало ли что люди болтают, — продолжала мастерица, которую так и тянуло за язычок сообщить при сем удобном случае, что именно болтают, а в то же время, по доброте сердечной, хотелось и несколько полегче отнестись к своему сообщению. — Говорят, будто тут причиною один молодой человек, чиновник, что ли, какой-то.

— Какой чиновник?

— Не знаю... болтают ведь они только, и больше ничего... будто князь узнал, что вы обманывали его...

Маша в негодовании только плечами передернула.

— Какая низость!.. Какие мерзавцы! — с презрением прошептала она через минуту.

— Но все же князь, хоть бы из самолюбия, не должен был поступить с вами таким обра-

зом, — заметила мастерица. — Что бы ему стоило хоть как-нибудь обеспечить вас!

— Обеспечить?! Да разве я-то взяла бы от него какое-нибудь обеспечение, после того как он меня бросил?

— А вы слыхали, какая с ним история случилась?

— Когда?

— Да тоже вот с месяц тому назад.

— Ничего не слыхала.

— Как же!.. Помилуйте! Многие говорят про это... Я тоже слышала — у мадам Арман, баронесса Дункельт рассказывала. Ужас какая история!

Маше больно было слышать дурное слово про того, кого она так много любила; ей бы не хотелось ровно ничего слышать про него — ни дурного, ни хорошего; она старалась уверять себя, что он не существует для нее, что он навсегда выброшен из ее сердца, а между тем это сердце дрожало теперь при одном звуке заветного имени, и, несмотря на кажущееся нехотение слушать про него что-либо, она не могла преодолеть в себе другого, тайного и более искреннего желания: ее неволь-

но так и подмывало узнать еще одну новую весть, услыхать хоть что-нибудь про любимого человека — только пусть бы это «что-нибудь» было хорошее и благородное!

Маша молчала и выжидательно смотрела на собеседницу: она не решалась спросить ее, в чем заключается эта история, потому что старалась обмануть даже самое себя, боясь себе же признаться в затаенном и настоящем своем желании.

— Как же, как же! Ужас какая страшная история! — продолжала словоохотливая мастерица. — Представьте себе, ведь его, говорят, чуть было не зарезали!

— Как?! — с испуганным стоном, невольно вырвалось из груди Маши.

— Да, говорят. Вот баронесса Дункельт говорила, а мне сама мадам Арман рассказывала. Говорят таким образом, будто у него были длинные амуры с одной барыней... Замужняя дама, сказывают. Это-то он, мой голубчик, значит, в то самое время, как с вами жил, и с этою, с замужнею, тоже интригу вел. Связь у них, говорят, была. Обманывал, стало быть, двух разом: и вас, и ее. Ну, да, впрочем, они

ведь и все такие, эти господа мужчинки!

При этих словах Маша белее полотна побледнела: обманывал... он все время обманывал... он не любил ее. Вся кровь как будто застыла в ней. Она до сих пор думала, что он только *разлюбил* ее, но *обманывать*... обманывать с самого начала, имея другую любовницу... Стало быть, он только пошутил себе с нею, стало быть, он никогда и не любил ее... он только бездушно шутил и бездушно обманывал, притворялся, что любит... Это было сверх ожиданий Маши, этого она не могла ни допустить в нем, ни даже представить себе. Разлюбить он мог — что ж делать: любви насильно не удержишь, коли она прошла! Но с самого начала притворяться и вести обман — это уже подло. Последние остатки прежнего кумира в сердце Маши с этой минуты были уже в прах разбиты. И эта неожиданная мысль так ее поразила, что она, не давая себе отчета, не взвешивая рассудком сообщения своей собеседницы, чутким сердцем почувствовала только весь страшный смысл и уничтожающий холод слов ее.

— Представьте себе, — продолжала меж

тем модистка, — встретился он с нею в маскараде и поехали вместе ужинать в ресторан, в отдельную комнату, а там она его очень опасно ранила. Говорят, будто из ревности — почем знать, может быть, даже к вам приревновала.

Мастерица передавала Маше один из многочисленных вариантов происшествия с Бероевой, которые в разноречивых слухах ходили тогда по городу.

— Но он-то, он-то хорош гусь, нечего сказать! — попыталась было она прогуляться насчет Шадурского, как вдруг Маша остановила ее решительным движением руки.

— Довольно... не говорите мне больше о нем... — через силу промолвила она надрывающимся голосом: видно было, что рыдания начинают душить ее, и быстрыми шагами она тотчас же удалилась из магазина.

«Обманывал... он только обманывал меня», — смутно мелькало облачко какого-то сознания в голове Маши, а меж тем сама она шла, почти безотчетно, по направлению к набережной Невы, туда, где красовался аристократический дом князей Шадурских.

И вот она уже у самого дома, она заносит ногу на гранитную ступеньку бокового подъезда, который вел в отдельную квартиру молодого князя, она с решительным трепетом, с боязнью ожидания берется за ручку звонка. «Он ранен, — проходит в голове Маши другое смутное облачко, навеянное голосом все еще неостывшей живучей любви к разбитому кумиру, — опасно ранен... быть может, умрет, и не увидишь его больше. Я пойду к нему... я увижу его... в последний раз хоть взгляну на него!»

Но рука бедняги бессильно и тихо опускается от ручки дверного звонка:

«Нет, зачем же!.. Не надо... не надо... ведь он не любил, *никогда* не любил меня, ведь он только *обманывал...»*

И Маша идет далее.

Идет она далее, вдоль гранитной набережной белой застывшей Невы, идет без цели, без мысли, сама не ведая куда, не ведая зачем и почему, идет потому, что нельзя не идти, потому что ноги несут ее, все дальше и дальше. Лицо ее пылает — ей жарко, ей душно; у нее горло судорожно сжимается внутри от

рыданий, которые не могут вырваться наружу и разрешиться спасительными слезами. Ветер со всех сторон поддувает ее плохой бурнусишко — пусть его дует! пусть охлаждает это пылающее лицо, эту горячую голову, ведь ей, бедняге, так жарко, так душно, так тесно среди этого простора широкой ледяной равнины, которая открывается справа, среди этого морозного дня и холодного северного ветра... А что-то теперь госпожа Шиммельпфениг поделывает?

IV

ПЕРВОЕ НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Госпожа Шиммельпфениг негодовала. Она отправила в должность своего Карла Ивановича в двенадцатом часу; она отправила Машу к модистке в первом; теперь уже половина пятого — ровно полчаса прошло сверх обычно обеденного срока, — и нет ни того, ни другой. Что это значит? Почему их нет? Уж не встретились ли они вместе где-нибудь? Уж не заранее ли это условлено между ними? Тем

более что нынче Карл Иванович должен получить месячное жалованье.

Госпожа Шиммельпфениг бегала по комнатам, вздыхала и плакала, плакала и грызла носовой платок; но, вдруг опомнившись, что последнее вовсе не экономно, принялась потрошить свои косицы. Время уходит. Кухарка ропщет и жалуется, что картофельный суп совсем уже перекипел и переварился. Луиза Андреевна негодует, что приходится, в ожидании мужа, лишние дрова палить, и уже рассчитывает, сколько нужно будет вычесть из жалованья Маши за просроченное время, и по этому случаю злобственно радуется, что хоть чем-нибудь отомстит ей за свои подозрения, как вдруг раздается звонок и появляется Карл Иванович, и от Карла Ивановича — о, ужас! — отдает винным букетом шампанского. Луиза Андреевна с визгом падает в обморок; Карл Иванович бросается помогать ей, он в отчаянии, но сентиментальный обморок проходит очень скоро, и начинается трагедия. Карл Иванович не смущается ею. Он выдержал первый шквал с обычным равнодушием, вынул из кармана полновесную пачку ассиг-

наций — жалованье было в наличности сполна, и это обстоятельство несколько утешило сердечную бурю Луизы Андреевны. Но букет? Отчего от Карла Ивановича непозволительно отдает букетом шампанского? Отчего он сам в несколько ненормальном состоянии? Положим, хотя это и прилично-ненормальное состояние, как подобает его солидным летам и солидному рангу, но все оно ненормальное! Карл Иванович трогательно объясняет, что сегодня он был неожиданно приглашен на завтрак к своему старому сотоварищу, человеку равного с ним чина и положения в обществе, и влюбленная Луиза Андреевна успокаивается, кидаясь к нему с объятиями, с мольбами о прощении, с заботами о том, не нужно ли ему гофманских или мятных капель. Но Карл Иванович на сей раз солгал перед своей супругой. Он действительно был на завтраке, только не у товарища равного с ним ранга и положения, а у одного из своих подчиненных, у Herr фон Биттервассера, обладателя очень хорошенькой и очень пухленькой Минны Францевны, который, прозрев тайные чувства начальника к своей законной половине,

сам позаботился, в виду будущих благополучий, о счастливом их соединении и поэтому пригласил патрона на завтрак. Счастливое соединение сердец Карла Ивановича с Минной Францевной покамест предстояло еще в будущем, и — увы! — влюбленная Луиза Андреевна на сей раз была жестоко обманута, поверив словам вероломного супруга! Тем не менее она поверила, она с большим аппетитом кушала Kartoffel-Suppe и Rippenspeer mit Rosinen und Mandeln[435] и сладостные Pfannkuchen[436], а часовая стрелка показывала уже половину седьмого.

Маша до сих пор не являлася.

Госпожа Шиммельпфениг решительно терялась и негодовала от столь дерзко продолжительного отсутствия своей прислуги; господин же Шиммельпфениг, сообразив, что для исполнения возложенного на нее поручения было более чем достаточно двух с половиной часов, очень хладнокровно сказал, что надо будет сделать ей вычет из жалованья, и принялся рассчитывать, сколько именно грошей, со всей строгою справедливостью, необходимо будет ему вычесть, как вдруг нем-

ка-кухарка объявила, что Маша возвратилась, только какая-то странная — на себя не похожа.

Господа Шиммельпфениги приказали позвать ее.

Через силу двигая ноги, вошла к ним молодая девушка — бледная, истомленная, с ярким, лихорадочным взором, и остановилась в дверях, придерживаясь слабою рукою за притолоку.

— Это что значит?.. Где это изволила быть? — сдержанно-строго спросил Карл Иванович, меряя ее тем взором, которым иногда в нужных случаях имел обыкновение мерить своих маленьких подчиненных. Карл Иванович в высшей степени обладал уменьем напускать на себя эту немецки-начальственную ледяную строгость и никак не мог удержаться, чтобы внутренне не любоваться на самого себя в эти минуты, особливо же когда замечал, что этот взгляд и манера производят свое достодолжно-внушительное впечатление.

Но Маша, казалось, будто и не заметила того холода, которым предполагал обдать ее Карл Иванович; по крайней мере ни его тон,

ни его взоры не произвели на нее никакого видимого эффекта.

— Где ты была? — возвысив голос на несколько строгих нот, воскликнули разом обое господ Шиммельпфенигов.

— Я... я больна совсем... извините меня... — с усилием проговорила девушка.

— Снесла ты платье?

— Снесла...

— Так где же ты шаталась столько времени?

Маша ничего не ответила на это. Она и сама хорошенько не знала, что с ней делалось и где, в самом деле, прошаталась столько часов. Немая кручина, обуявшая ее душу, бессознательно вела ее куда-то — без цели, без мысли: организм ее просто требовал движения, ему нужно было уходиться, умаяться, чтобы сбросить с себя то возбужденное состояние, в каком находился он с той самой минуты, как, подавляемая тяжестью глухих рыданий, выбежала Маша из магазина. Угомонилась и опомнилась она на одной из тех гранитных полукруглых скамеечек, которые помещаются позади высоких фонарей на Николаевском

мосту.

Смутным тяжелым взором огляделась она вокруг. Мимо снуют пешеходы, ваньки, экипажи, омнибусы; в конце моста красновато-яркий свет заливает сверху, из купола, мозаичный огромный образ в черной мраморной часовне; а прямо — и перед нею, и позади нее — темно-серая равнина застывшей Невы представляется каким-то непроницаемо-мутным, безразличным пространством, которое далеко по краям замыкается бесконечными рядами зажженного газа, и эти ряды светлых, мигающих точек, цепью охвативших темную равнину, только увеличивали собою контраст мрака и света и казались какими-то фантастическими, одушевленными существами.

Маша с трудом поднялась с гранитной скамейки; слабые и усталые ноги ее тряслись, поясницу ломило, во всех мускулах ощущалась глухая боль, словно бы они палками были избиты, голову разломило, и была вся она в огне, тогда как тело внутренний озноб пронимал. Совершенно больная, с усилием доплелась она кое-как до дому, где встретило

ее справедливое негодование господ Шиммельпфенигов.

— Так где же ты шаталась, спрашиваю тебя? — настойчиво повторил Карл Иванович, озадаченный тем, что ни тон его голоса, ни взгляд его глаз не производят своего впечатления.

— Я больна... позвольте мне лечь... я едва на ногах стою, — тихо проговорила Маша.

Супруги переглянулись, как бы вопрошая друг друга, что им предпринять в настоящем случае.

— Она пьяна! — домекнулась госпожа Шиммельпфениг.

Господин Шиммельпфениг потянул вверх носом и издал такое мычание, которое обозначало, что он только теперь догадался, в чем настоящее дело.

— Хорошо, голубушка!.. Теперь ступай, а завтра мы поговорим с тобою, — сказал он угрозливым тоном. — За все ответит твое жалованье. Ступай!

Маша удалилась, шатаясь от слабости; но вдруг Карл Иванович с ужасом увидел, что физиономия Луизы Андреевны снова вытяну-

лась и изображает крайнюю степень душевного потрясения.

— А!.. Теперь я понимаю!.. — задыхалась она шипящим голосом. — Эта тварь пьяна, вы пьяны... Теперь я все понимаю!.. Да, это был завтрак у товарища!.. Да, это был завтрак, презренный человек!..

И Карл Иванович снова должен был выдержать самый величественный шторм.

Луиза Андреевна требовала немедленно удаления развратной твари, оскорблявшей одним своим присутствием ее честный и высоконравственный дом.

— Пусть идет, куда хочет! Пусть ночует хоть на улице, только не здесь! — неистовствовала она, хлопая дверьми и бегая по всем комнатам. — Вон! Вон сию же минуту! Я в моем доме разврата не потерплю! Дворника сюда! Дворника! Пусть вышвырнут эту мерзкую тварь!

Кухарка позвала дворника.

Не обращая внимания на неистовства госпожи Шиммельпфениг, Маша попросила нанять ей извозчика и свезти в больницу.

Карл Иванович, по давней привычке своей

к подобным демонстрациям любящей супруги, сидел у себя в кабинете и с примерным хладнокровием, для виду, держал перед собою лист санкт-петербургской немецкой газеты доктора Мейера, тогда как фантазия его обреталась далече от этих печатных строчек и соблазнительно рисовала пухленькие привлекательности Минны Францевны Биттервассер.

Дворник нанял извозчика и привел соседнего свободного подчаска, который должен был отвезти и сдать больную по назначению.

Маша наскоро собралась, крепко закуталась в платок, накинула бурнусишко и захватила с собою свой вид да три рубля — единственные деньги, оставшиеся у нее, за кой-какими расходами, еще от прежней жизни, после распродажи с аукциона всего ее имущества. Полицейский под руку свел ее с лестницы и уселся рядом в извозчичьи сани. А госпожа Шиммельпфениг в это самое время уже металась на своей постели в раздирательном припадке истерики.

V
В БОЛЬНИЦЕ

Извозчик дотащился до подъезда одной из ближайших больниц. Подчасок пошел известить о привезенной больной, но в ту же минуту вернулся вместе со швейцаром, который решительно объявил, что мест у них в больнице нету.

— Да как же это, почтенный? — возразил ему солдат. — Так-таки ни одной кровати?

— Так-таки и ни одной.

— Да ведь запасные, чай, должны же быть?

— Мало ли что должны! Сказано: нету, ну и нету!

— Эко дьявольское дело! Это, стало быть, мне теперь снова придется тащить ее в другую больницу!..

— Ну и тащи!

— Да, тащи! Черта ли мне возиться с нею... Я брошу, делайте, как знаете! Мне что!

— Да ведь уж не примем, то ись ни-ни, Боже избави!

— Слышь ты, везти тебя, что ли, в другую

куда али тутотки бросить? А? — отнесся подчасок к Маше.

— В другую, — простонала та.

— В другую... Да мне что же, говорю, валандаться-то с тобою! Время только терять, право, так! Уж ты лучше сама, как знаешь... Чай, я не родня тебе, чтобы дарма хлопоты приймать.

— Я заплачу, — слабо ответила Маша.

— Ну, ин разве так! Эй, почтенный! Вы уж коли не хотите взять ее, так выдайте нам по крайности отказной лист.

— Какие там тебе еще листы! Писать лист, так надо и освидетельствовать, а у нас дежурный только что започивал да не приказывал будить. Ладно, и без отказного уедете!

И швейцар, ежась от холоду, скрылся за стеклянною дверью.

— Ы! штоб вас!.. — проворчал подчасок и приказал ехать в другую больницу.

В другой — та же самая история.

— Кроватей не имеется. Поезжайте в N-скую.

— Да мы сейчас только оттуда.

— Покажи отказной!

— Да не дали нам отказного. Дайте хоть вы-то!

— А нам что! Вези ее хоть в полицию.

— Ну что ты, и в самом деле! Не пьяная ведь, а как есть хворый человек. Да дайте же, что ли, прости вы экие, отказной-то, а нет, я точно в полицию отвезу, да там всю штуку и брякну. Ведайтесь тогда!..

— Нашел, дурень, страх какой! За это бы тебя взашей отседова! Ну да ин ладно уж: тащи в приемный — там освидетельствуют и пропишут.

Маша должна была сойти с извозчика. Дежурный доктор осмотрел ее в приемном покое и подписал отказной лист, с которым надо было ехать в третью больницу.

В третьей оказались свободные кровати, но... надо было ждать на улице: швейцар не пускал в приемную.

— Пошто не впустить! Не на морозе же нам тут зябнуть! — протестовал подчасок.

— Нельзя, потому — не порядок! — величественно возразил ливрейный швейцар.

— Да поколева же дожидаться?

— Дежурного нету: без дежурного нельзя.

— Так хоть фершала кликни, пущай хоть он ее примет.

— Обожди маленько — сейчас придет, на фатеру побежал к себе чуточку: сейчас вернется.

Швейцар ушел, словно бы его долг был уже исполнен. Маша забилась с головой под дырявую полость, чтобы ветер не так поддувал, и сидела, скорчившись да съежась, на дне санок, и слышала оттуда, как энергически чертыхался полицейский подчасок, топчась на одном месте, да как ныл недовольный извозчик, что лошаденка у него, почитай, совсем заморилась, а ты еще стой тут занапрасну — скольких седоков упустил-то. И каждый из них был прав по-своему.

Прошло около получаса, пока наконец явился фельдшер и милостиво соизволил допустить больную до приемного покоя.

— Жди, пока доктор придет, — отнесся к ней фельдшер и указал на деревянную скамью, на которой уже находились в полулежачем положении две больные: старуха, вся обмотанная каким-то грязным и ветхим тряпьем и сидевшая без движения, приникнув к

стене головою, да лет пятнадцати девочка, которая стонала и металась в горячечной тоске. Обе были чрезвычайно трудны, обеим требовалась настоятельная и скорая помощь — и обе меж тем уже около часу дожидались на жесткой скамье приемного покоя.

Маша в изнеможении опустилась между ними.

— Дай же, что ль, извозчику заплатить — не даром же катал тебя, — обратился к ней вошедший подчасок.

Та порылась у себя в кармане и подала ему единственную свою трехрублевку.

— Э, надо будет пойти разменять, — сообщил солдат, раздумчиво глядя на ассигнацию, — сдачу получишь, я отдам там, кому следствует.

Но отдал ли он кому, получил ли кто от него — неизвестно, потому что Маша не добилась потом на этот счет никакого толку — так и канули куда-то ее последние деньги.

Приемный покой глядел как-то мрачно и неприветливо. Маятник на стене монотонно тукал, да скрипело гусиное перо под рукою фельдшера, строчившего что-то в углу за чер-

ным столом. Одинокая свеча, горевшая перед ним, весьма тускло освещала эту комнату, а хриплое дыхание старухи да надрывающие душу стоны горячечной девочки сообщали этой комнате уныние невыносимое. Но фельдшер, давным-давно уже закаленный и окаменелый среди явлений подобного рода, казалось, будто и не слыхал ни этих стонов, ни хрипоты. Он продолжал себе строчить самым равнодушным и спокойным образом, словно бы здесь не было ни одного живого существа. Пописал-пописал малую толику и вышел из комнаты. Трое больных остались одни, предоставленные самим себе и всеблагому провидению. Прошло более получаса, пока возвратился фельдшер, к которому через силу обратилась Маша, прося позвать доктора.

— Ну, подождешь, невелика беда! Какое важное кушанье! И почище тебя ждут, случается! — возразил на это фельдшер и бесцеремонно, громким голосом крикнул в открытую дверь: — Севрюгин! Ходил ты, черт, за дежурным?

— Ходил! — лениво махнув рукою, ответил служитель.

— Что же он?

— Да все там, *у главного* в карты дуется. Сказал: пущай ожидают.

— Сходи, что ль, еще раз.

— Чего там сходи! Ругаться ведь будет... Бегать-то только попусту двадцать раз — чего им и в сам-деле! И обождут! Невелика беда!

Девочка пуще принялась стонать и метаться.

Фельдшер, заложив руки в карманы и посвистывая что-то себе под нос, подошел к ней фланерской походкой, постоял, поглядел и, не без писарской грации, круто повернувшись на каблуках, пошел себе похаживать из угла в угол по комнате.

— Ишь, тоже дьяволы!.. Христа ради, как нищих каких, принимаешь их в больницу, — поваркивал он сквозь зубы, на ходу, с неудовольствием косясь на трех женщин, — а они еще претензии свои заявляют! Где бы начальство за милость благодарить, а они еще — накося! — претензии!.. — И через пять минут снова удалился куда-то из приемного покоя.

Прошло еще добрых полчаса, в течение которых глухая тишина нарушалась только ту-

каньем тяжелого маятника и стоном девочки. Старушечьего хрипенья уже не было слышно. Сперва еще, время от времени, старуха эта конвульсивно слабо подергивалась плечами, а теперь сидела уже совсем без малейшего движения, только голова от стены отделилась и на грудь повисла.

— Доктора!.. Бога ради, доктора, — простонала Маша, едва фельдшер снова показался в дверях.

— Эко зелье какое! Чего пищишь-то, — огрызся он на нее, проходя к своему столу, — будь и за то благодарна, что в приемный покой впустил, а то бы и до сих пор у подъезда на дворе дожидалась. Молчи, знай! Придет тебе доктор, когда время будет.

И через несколько времени дежурный доктор действительно появился в комнате, весьма аппетитно зевая перед сном грядущим.

Прежде всего подошел он к старухе, которая помещалась ближе всех от двери.

— Ну, ти что? — спросил он с сильным немецким акцентом.

Та не отвечала и не двигалась.

— Ну, атфичай, что ти? — повторил он,

толкнув ее рукою.

Старуха от этого движения покачнулась и тихо навалилась на Машу. Эта быстро отодвинулась в каком-то инстинктивном испуге. Вслед за тем старуха и совсем уже брякнулась головой об скамейку.

— Дай свеча! — приказал доктор и при свете приподнял пальцем закрытый глаз ее.

— Зашем мертви принималь? Зашем? — с неудовольствием накинулся он на фельдшера.

— Да она еще живая была, ваше благородие, — оправдывался этот, — она, должно полагать, недавно еще. Я и то не хотел принять ее, потому, говорю, все равно помирающий человек, а он — мужчина какой-то — выбросил ее из саней, а сам ускакал... Я не виноват-с.

Доктор ограничился тем, что сказал ему дурака и распорядился отнести труп в мертвецкую да на завтра вскрытие назначить, и подошел к девочке, которая металась в полнейшем беспамятстве. Заглянув ей в синее лицо и пощупав пульс, он только весьма лаконически проговорил: «Тиф», — и обратился

к Маше. Та кое-как передала ему, что чувствовала.

— Туда же! — распорядился доктор и направился в свою дежурную комнату, где его ждали сладкие объятия Морфея.

Одна из прислужниц, в тиковом платье, повела наверх Машу, поддерживая ее под руку, а другая, вместе с фельдшером, поволокла туда же тифозную девочку. Они именно волокли ее, немножко в том роде, как обыкновенно полицейские волокут пьяных. Девочка металась и стонала, а бессильные ноги ее колотились о ступени каменной лестницы.

В палате, где предназначено было лежать двум вновь поступившим больным, стояли две свободные койки. Одна из них опросталась потому, что утром выписалась из больницы выздоровевшая пациентка; другая — потому, что часа четыре тому назад на ней умерла женщина, страдавшая сильными ожогами по всему телу, полученными ею во время ночного пожара в своей квартире. Гной и пасока из ее ран текли на постельное белье и просачивались сквозь него на скудный тю-

фяк, несмотря на клеенчатые подстилки, которые до того были ветхи, что почти совсем пооблупливались и попрорывались. Белье после покойницы еще не было снято. И эту самую кровать предстояло теперь занять Маше, которая пришла в немалый ужас, когда прислужница отвернула до половины вытершееся от времени байковое одеяло.

— Как!.. На это лечь?! — невольно воскликнула Маша.

— А что ж такое? — хладнокровно возразила сиделка. — Почему не лечь!

— Да ведь тут гной!..

— Ах да, гной-то! Ну так что ж? Белье сейчас переменим. Это не беда!

— Да вы хоть бы тюфяк переменили, — вступилась одна из больных с соседней койки. — Как же, после мертвого человека так прямо и ложиться на то же место! Господи помилуй, что это вы делаете!

— Ты чего там? Лежи, знай, коли Бог убил! — огрызнулась на нее служанка.

— Нет, уж как хочешь, мать моя, а этого нельзя! — продолжала больная. — Эдак-то у вас и без смерти смерть. Запасные, чай, есть

тюфяки-то?

— Да, стану я еще бегать по ночам к черту на кулички! Потом переменят.

Некоторые из больных подняли довольно громкий ропот, услышав который прибежала надзирательница, поспешившая устроить себе начальственно-грозную физиономию.

— Што за шум? Это што такой? Тиши! — распорядилась она, притопнув ногою. Надзирательница тоже была немка. А немецкий элемент, сколько известно, есть элемент преобладающий как в администрации петербургских больниц, так и между петербургскими врачами.

Служанка пожаловалась ей на больную, осмелившуюся протестовать против тюфяка.

— А!.. Бунт!.. Карашо!.. Вот я будийт завтра главни доктор жаловаться!.. Я вам дам бунт!.. Карашо!.. Карашо же! — грозилась немка, мотая головой и расхаживая по комнате.

Пока все были заняты этой сценой, служанка, раздевавшая почти бесчувственную девочку, обшарила ее карманы и, нащупав на носовом платке маленький узелок, в котором были завязаны две-три серебряные монетки,

поспешно сунула его к себе в карман, озираючись, чтобы кто-либо не подметил ее ловкой эволюции.

Несколько больных между тем продолжали свои громкие жалобы, стараясь обратить внимание надзирательницы на зараженный тюфяк из-под покойницы.

— Что нас *главным* стращать! — говорили они. — Мы сами будем жаловаться, как попечители приедут, сами все им расскажем.

Немка походила-походила, подумала-подумала и сообразила, что в самом деле лучше будет приказать, чтобы принесли Маше свежий тюфяк.

— О, штоб вас!.. Дьяволы! — со злобой ворча про себя, отправилась служанка исправлять ее приказание, ибо ей лень было идти в больничный цейхгауз и тащить наверх свежие вещи.

С невольно неприятным чувством легла Маша в постель, зная, что на этом самом месте, на этой самой кровати, за четыре часа до нее, умерла в страшных мучениях женщина. «А завтра еще кто-нибудь умрет, — думалось ей в лихорадочном жару, — а там, может

быть, и я... Да, и я!.. и я!..» — пронимала ее дрожь при этой мрачной мысли, потому что и самая обстановка больничной палаты как нельзя более способствовала усилению подобного настроения.

Теплый и тяжелый воздух, насыщенный больными испарениями и запахом разных мазей, в разных углах — то удушливый кашель, то глухие, страдальческие стоны труднобольных; брезжущий слабый свет от единственной сальной свечи, вставленной в воду, которою наполнен длинный цилиндр жестяного подсвечника, стоящего на полу у печки и весьма напоминающего собою те подсвечники, что обыкновенно ставят над покойниками; длинные халаты словно саваны, болтающиеся на тощих фигурах, тихо бродящих по комнате, вроде каких-то теней; шепотливый говор выздоравливающих и громкая перебранка двух пьяноватых служительниц, которую из соседнего коридора гулкое эхо разносит по смежным комнатам, — вот какою с первого раза представилась эта больничная палата грустным глазам заболевшей Маши. Нельзя сказать, чтобы впечатление, навеян-

ное такой обстановкой, заключало в себе что-либо светлое и успокоительное.

Никто не почел нужным осведомиться у Маши, ела ли она что сегодня, не надобно ли ей чего; никто и первого медицинского пособия не дал ей в первые часы поступления ее под филантропическую кровлю общественной больницы. Да и кому было думать об этом? Дежурный врач, заигравшийся в карты у своего начальника, слишком хотел спать, для того чтобы ломать голову над изысканием каких-либо пособий, дежурному фельдшеру с надзирательницей что за дело без доктора думать о таких вещах, тем более когда он объявил, что хочет спать, и просил не беспокоить себя, — желание, которое необходимо надо исполнить, потому что он состоит в слишком приятельских, дружелюбных отношениях с *главным* доктором. Да зачем эти первые пособия, если — все равно — завтра утром вновь прибывших больных осмотрит палатный ординатор? Кому предназначено умереть, тот умрет и с медицинскими пособиями точно так же, как и без оных, а кому предназначено выздороветь — тому обо-

ждать до утра вовсе не важное дело. Так рассуждают относительно этого дела некоторые господа, заинтересованные в нем непосредственным образом, и нельзя не согласиться, что подобное рассуждение имеет на своей стороне много фаталистической основательности. Ночь провела Маша неспокойно — и от болезни, и с непривычки спать в людной комнате, под аккомпанемент кашля, хрипения и стонов. Под утро, только что забылась она несколько более спокойным сном, как вдруг в восьмом часу утра была разбужена топаньем разных шмыгавших ног, стуком половых щеток, громким говором прислужниц и некоторых больных, но более всего неприятно подействовал на нее холод, резкий, сырой, почти уличный холод, который проникал к ней под плохенькую байку.

Маша раскрыла глаза и огляделась. Две служанки размашисто мели пол и подняли целый столб пыли; мимо дверей два служителя пронесли на носилках длинный, таинственно-черный ящик по коридору, где повчерашнему же была слышна перебранка — верно, спорщицы и до сих пор еще не успели

покончить свои счеты, а в раскрытую форточку клубами залил сырой воздух, отчего многие больные тщетно кутались в байку, забиваясь под нее с головою, и тряслись, щелкая зубами.

Маша чувствовала, что ей сильно ломит голову, с трудом поднялась она, чтобы от холоду прикрыть себя поверх одеяла своим больничным халатом, как вдруг подошла к ней сиделка и, выдернув халат, положила его на прежнее место.

— Мне холодно, — с недоумением отнеслась к ней Маша.

— Все равно, только этого нельзя, — решительно возразила сиделка.

— Да мне холодно... я покрыться хочу...

— Не велено халатами покрываться: доктора запрещают. Это не порядок, на это одеяло есть...

— Ах, Боже мой! Ну, так хоть форточку заприте!

— Как можно запереть, когда только что открыли? Пусть хоть с десять минут побудет. Вы думаете, с вами легко тут дышать-то? С нас тоже начальство требует, чтобы воздух

свежий был, — очищать да проветривать приказано.

И — хочешь не хочешь, а пришлось дрогнуть под байкой.

В девять часов пришел ординатор, осмотрел Машу и нашел, что у нее сильная простуда. Осмотрел он и девочку, причем сообщил фельдшеру, чтобы на ее доске поместил: «Typhus»[437].

— Господин ординатор, — вступилась при этих словах ее соседка, старуха-чиновница, которая лежала тут по недостатку места на «благородном» отделении, — как же это... извините-с... ведь тут у нас не тифозная палата-с.

Ординатор смерил ее удивленным взглядом:

— Ну так что ж, что не тифозная?

— А как же это тифозную положили?

— А зачем ее, в самом деле, положили сюда?..

— Мест больше нет, ваше благородие! Тут свободная койка была.

— Могли бы койку в тифозную перенести, — снова вмешалась старушка.

— Это не ваше дело, — холодно и строго заметил ей ординатор.

— Извините-с, мой батюшка, — продолжала чиновница, — только что же это будет, коли от нее да мы заразимся?

— Ну, заразитесь, так будут лечить, а не в свое дело прошу не мешаться, — радикально порешил ординатор и пошел по порядку осматривать остальных женщин своей палаты.

К десяти часам ждали обычного визита со стороны главного доктора, который имел обыкновение, в виде служебного долга, прогуляться по всем палатам и затем торопился уехать к своим пятирублевым пациентам. По случаю этой предстоящей прогулки по всему больничному зданию ради парада и приличия обильно начадили ароматической смолкой, от дыма которой больные, одержимые удушливым кашлем, закашляли еще сильнее.

Немка-надзирательница торопилась придать комнатам отменно лоснящийся, парадный вид. Если случались пустые кровати, то она самолично взбивала подушки и покрывала их чистыми тканьевыми одеялами, дабы

постели имели пышный и мягкий вид, на случай, если бы вдруг пожаловал кто-нибудь из почетных посетителей, что, однако же, отнюдь не препятствовало нижним наволочкам и простыням оставаться грязными, байкам — вытертыми, а тюфякам — слежалыми до крайнего отощения. Так точно и посуда оловянная сияла наружной чистотой, которая не распространялась на ее внутренность, причем любопытный мог бы заметить на дне этих сияющих кружек целый слой застарелого густого бурого осадка от различных питий и лекарств, потребляемых больными. Кружки только терлись и чистились снаружи, а мыть их внутри было бы слишком много труда для прислуги и для внимания надзирательницы, которая смотрела на это дело с философской точки зрения: больные, мол, больше все из простого звания, к чистоте не приобыкли, имде все равно, потому все это в одну и ту же утробу идет. Зато относительно наружной стороны больницы и немецкий доктор, и немецкая надзирательница постоянно удостоивались великих похвал и благоволений со стороны важных почетных посетителей.

Опасения старушки-чиновницы сбылись: некоторые действительно заразились тифом, а некоторые, заразившись, благополучно успели и к праотцам отправиться. Но судьбе почему-то угодно было уберечь Машу от этой спокойной доли. Простуду ее, соединенную с легкой горячкой, успели все-таки захватить вовремя, не дав развиться болезни до полного совершенства. Молодая и здоровая натура ее взяла все-таки свое, так что через полторы недели Маша стала уже поправляться.

Но тяжки порою бывали для нее дни и ночи во время ее болезни — тяжки именно тем, что она поневоле должна была быть свидетельницею самых безотрадных, самых трагических сцен в этой грустной больничной жизни.

Нечего уж говорить о том, как иные голодные выздоравливающие женщины жадно, вперебой друг дружке, накидывались на обеденные порции овсянки и мутной и жидкой безмасленной кашицы, как плутовали с этими порциями, утаскивая и пряча под кровать лишнюю тарелку бурды, отчего всегда кто-нибудь должен был оставаться без обеда, или

как воровались эти порции у труднобольных да у тех, кто имел маленькую оплошность соснуть в обеденный час. Нечего долго рассказывать и о том, как заболтавшаяся или отлучившаяся прислужница, позабыв и просрочив время, когда больной нужно было дать лекарство, преспокойно выливала в песочницу оставшуюся ложку, чтобы на глаз лекарства оставалось в нужную меру, или как иная сострадательная сестра милосердия из молоденьких смотрит порою гораздо более на красивого фельдшера, чем на больных, подлежащих ее бдительному милосердию. Все это — обстоятельства слишком обыденные и слишком мелочные в больничной жизни. Есть в этой жизни обстоятельства, положим, хотя и столь же обыденные, но зато несколько более крупного свойства.

Без ужаса и содрогания не могла Маша вспомнить двух сцен, разыгравшихся в течение одних суток.

Больничная формалистика разрешает родным и знакомым свидания с больными только в определенные часы дня: по окончании обеда до пяти часов пополудни.

Однажды в палату вбежала бледная, очень бедно одетая женщина, с крупными слезами на испуганном лице, и тревожными взорами спешно стала искать по койкам ту, о которой болело ее сердце, и вдруг с тихим воплем стремительно кинулась к тифозной девочке. Это была ее мать. Только сегодня узнала она про болезнь своей дочери, которая была отдана ею в учение к содержательнице белошвейного магазина, тогда как сама она жила на месте в кухарках, только сегодня сказали ей, что девочка отправлена в больницу, когда она, ничего не зная, случайно зашла в магазин проведать ее. Мать тотчас же кинулась в больницу — не впускают, потому — определенное время посещений еще не настало. Она плакала, умоляла, совала швейцару в руку свои последние гроши, а все-таки должна была больше часу ждать у подъезда, мучимая тоской сомнения и ожидания. С рыданием приникла она к голове своей дочери и долго-долго не могла от нее оторваться, нежно нашептывая ей добрые, ласковые материнские слова; но девочка ничего не слышала: она, как пласт, лежала в полном беспамят-

стве, и только грудь ее медленно и высоко вздымалась под трудным дыханием. В эти минуты мать инстинктивно почуяла, что ее детище домучивается свои последние часы. Она и не заметила, как пролетел срок, определенный для свиданий, и с испуганным недоумением покосилась на сиделку, когда та подошла к ней с извещением, что пора кончить. Она, казалось, даже не разобрала, не поняла этих слов и продолжала шептать нежные слова над головкой умирающей девочки.

Сиделка меж тем, видя, что слова ее не имели успеха, позвала надзирательницу. Эта строго приказала матери удалиться.

— Уйти?.. Как?.. Зачем?.. От Машутки уйти? Да она помирает... Куда ж я пойду?.. — бормотала растерявшаяся женщина, не зная, на кого ей глядеть — на немку ли, которая ей приказывала, или на дочь, к которой рвалось ее сердце, ее мысль, а вслед за ними и взоры невольно тянулись.

— Эти беспорядок! Эти нельзя! Пять часов уже биль! — настаивала немка.

— Милые мои!.. да ведь я никому не мешаю... я ведь тихо... Позвольте остаться: по-

мирает ведь — совсем помирает... Господь вам за меня пошлет!.. Позвольте, милые! — шепотом умоляла мать.

Но надзирательница настаивала на том, что никак не можно допустить такого беспорядка и что если она не уйдет сама, то ее выведут. Женщина не слушала этих резонов и с тихими слезами любовно целовала синеватый лоб умирающей.

Две сильные служанки подхватили убитую горем мать и оттащили ее от постели.

Та было вырвалась от них и с воплем кинулась к дочери, но ее успели подхватить вовремя и повлекли из комнаты. Силясь обернуться, чтобы впоследнее взглянуть на своего ребенка, эта женщина громко рыдала и посылала торопливою рукою благословения умирающей девочке. Ее свели с лестницы, но под сводами все еще раздавались рыдания и вопли, а так как это вполне уже нарушало всякий порядок, то ее, за таковую продерзость, кажется, отправили в полицию.

Больные возмущались и роптали; но что значит ропот какой-нибудь горсти больных и нищих женщин, кому он нужен и кто его

услышит! И вправе ли, наконец, были они, призренные общественным филантропическим учреждением, вправе ли они были роптать и возмущаться там, где в подобном поступке проявилось торжество установленного порядка?

К ночи страдания тифозной девочки усилились: она пуще стала метаться по постели, потому что уже начиналась последняя борьба жизни со смертью — подступал период агонии, и вместе с тем из уст ее вырывались жалобные хриплые крики:

— Ой, жжет!.. Ой, горит!.. Ой, душно мне!.. Ах, дайте воды!.. воды напиться!.. Христа ради, воды... печет меня, печет! — стонала и металась больная, но на ее предсмертные мольбы ни надзирательница, ни прислужницы не нашли нужным обратить хоть какое-нибудь внимание.

Между тем эти крики надрывали душу и драли слух больных женщин, одна из которых поднялась с постели, чтобы напоить умирающую.

— Ты куда! — окликнула ее служанка, преспокойно сидевшая в углу, сложа руки. — Не

тронь ее!

— Да ведь слушать — смерть! Просит-то как! Аль не слышишь?

— Мало ли чего просит!.. Ты думаешь, она и в самом деле хочет пить? Это так только, бред один. Помирает, вишь, так вот и бредит от этого, — пояснила служанка, и, как ни в чем не бывало, стала подстилать себе на полу у печки ночное ложе, составленное из больничных халатов.

Давно уже пробило двенадцать часов, а хриплые стоны девочки все еще продолжались. В палате давно уже наступила ночная тишина, но некоторые из больных не спали: лежа по своим койкам, они поневоле должны были слышать эти беспомощные мольбы и тщетные вопли, которые, между прочим, мешали сладко уснуть служанке, явившейся на свой пост немножко под хмельком.

— О, штоб тебе, лешему, околеть скорей! — проворчала она, сердито поднявшись с полу, и, подойдя к постели умирающей, выдернула у нее из-под головы подушку, которую преспокойно положила на свое собственное место.

— Бога в тебе нет!.. Зачем подушку выдернула?.. От умирающего-то человека!.. Каинское вы семя, что вы делаете? — в ужасе возмутилась соседка тифозной девочки.

— А зачем ей подушка? — огрызнулась служанка. — Все равно помирать-то, что на одной, что на двух! Может, так-то еще поскорей отойдет. Эка пискунья! Покою целую ночь нету от проклятой! Ну да! Как же, как же! Пищи, пищи! — бормотала она про себя, снова укладываясь на свое ложе. — Пищи! Так вот я и встала сейчас для тебя! Дожидайся!

— Ой, жжет!.. Ой, горит!.. Матушка, родная моя, горит, горит нутро мое... водицы!.. — раздавались меж тем стоны несчастной девочки, и раздавались непрерывно до четвертого часа ночи, пока наконец не порвался этот голос, заменясь последним гортанным хрипением, но и то вскоре смолкло — и конвульсивные движения прекратились: девочка лежала спокойно, неподвижно, и широко раскрытые глаза тускло, безжизненно глядели теперь на спящую соседку. Под утро, с первым брезжущим рассветом, соседка проснулась, случайно

взглянула на раскрытые глаза покойницы и, повинуясь безотчетному движению, сперва было вздрогнула и отшатнулась, но тотчас же перекрестилась набожно и покрыла простынею лицо мертвой девочки.

Прислужница меж тем спала пьяно-безмятежным сном.

В семь часов утра явились двое рабочих, из солдат, и принесли с собою черный, обитый клеенкою ящик, вроде тех длинных картонок, куда кладут дамские платья. Маша видела, как сняли они покойницу с кровати, и слышала, как брякнулись ее пятки, и как стукнулся затылок об дно деревянного ящика, и как захлопнулась на нем крышка.

Одной свободной койкой стало больше в больнице и одной страдалицей меньше на земле, койка ждала новой кандидатки на тот свет, — но зрелище смерти, столь обычное в больницах, даже и из больных-то мало на кого сделало впечатление. Одна только Маша долго не могла забыть его, и долго возмущалась душа ее при воспоминании о том бессердечии, с каким относится больничная администрация и больничная филантропия к

этим жалким существам, которые имели несчастие попасть под ее благое попечение.

Да, эта бессердечность обращения становится поистине изумительною. Все те больничные сцены, которые вкратце набросаны нами, вся процедура приема в больницу и прочие милые вещи — все это можно было бы отнести к области смелой фантазии, мало того: все это можно было бы счесть за дерзкую клевету, если бы не существовало на свете слишком много свидетелей, которым, по собственному опыту, приходилось видеть вещи еще более горького свойства и которые своим голосом могут подтвердить справедливость рассказанного. Этот немецки-татарский педантизм и эта отвратительно грубая прислуга, в которую нанимаются за ничтожную плату весьма сомнительные личности — более добросовестные за столь скудную плату не берут на себя такую ответственность и весьма тяжелый труд больничного ухода, — все это в совокупности составляет разгадку тех причин, по которым народ наш избегает лечения в больницах, предпочитая валяться и умирать в своих гнилых, промозглых от сы-

рости, голодных и холодных трущобах. Это факт слишком общеизвестный и слишком печальный. Зато сколь благоденственно и тепло живется на свете разным больничным начальствам! Зато какая внешняя чистота, лоск и порядок господствуют в наших больницах! Зато с каким идиллическим, бараньим самодовольствием бьются сердца почетных филантропов-посетителей, видящих *только* этот наружный лоск и официальный порядок! Зато, наконец, эти прекрасные, обширные здания с громкими надписями на своих фронтонах — какая великолепная для глаз вывеска нашей гуманности и общественной филантропии, над которою, впрочем, обществу не дано ни малейшего контроля, но на которую тем не менее с беднейшего рабочего населения нашей столицы взимается особенный налог в виде больничного сбора — налог за право издыхать, подобно паршивой собаке, от равнодушия и бессердечия, скрытно гнездящихся под этими громкими филантропическими вывесками.

VI
ПОСЛЕДНИЙ РАСЧЕТ С ГОСПОДАМИ ШИММЕЛЬПФЕНИГАМИ

Машу выпустили из больницы. Куда идти? Конечно, на старое место, к Шиммельпфенигам, где оставались кое-какие вещишки ее да жалованье за прожитое время.

«Оставаться у них или нет? — думала про себя Маша, у которой, кроме Шиммельпфенигов, не предвиделось впереди никакого приюта. — Ну конечно, оставаться, если... если... оставят!»

Ей было горько и оскорбительно на самое себя, принявши такое решение: самолюбие и гордость человеческого достоинства, столь много и неправо оскорбляемого в этом доме, предъявляли свой протест против ее решения; голод же и холод с перспективой темной неизвестности в будущем заставляли ее рассудок и физическую природу поневоле подчиняться пока избранному решению. Она явилась к Шиммельпфенигам.

Там уже, на ее месте, вертелась новая горничная, далеко не привлекательная собою, о чем весьма тщательно и преимущественно позаботилась Луиза Андреевна при выборе — во избежание, на будущее время, каких-либо соблазнов с этой стороны для Карла Ивановича. Ее взяли на место во время болезни Маши.

— А, явилась, голубушка! — встретила последнюю госпожа Шиммельпфениг, когда та предстала пред ее кошачьи очи. — Что надобно?

— Я хотела бы знать... как насчет места? — смущенно выговорила Маша, досадуя на самое себя за необходимость этого объяснения. — На время ли взяли новую служанку или совсем?

— От места прочь! — коротко и сухо порешила Луиза Андреевна.

— Но у меня за вами еще жалованье есть.

— Надо вычет... без вычет не можни. Вот Карл Иванович придет, он сделайт.

Пришлось подождать Карла Ивановича, который часа через полтора явился — самодовольный и розовый: дела его по службе были отменно хороши, дела по части сердца тоже

устроились — он уже мог назвать себя счастливым обладателем пухленькой Минны Францевны, причем бумажник его не терпел ни малейшего экономического отощания.

Снова призвали к себе Машу господа Шиммельпфениги. Они приуготовились упорно рассчитываться с нею, упорно отстаивать каждую копейку, если бы только оттянуть ее представилась хоть какая-нибудь возможность. Карл Иванович держал в руках записную тетрадку и реестры вещей, принятых Машей при поступлении.

— Тебе было сдано все по счету — ты это, конечно, помнишь? — отнесся к ней господин Шиммельпфениг.

Маша сделала утвердительный знак головою.

— При сдаче вещей новой горничной некоторых налицо не оказалось. Где они?

Маша вспыхнула и закусила губы от негодования. Неужели же ее еще и в воровстве подозревают? Этого только недоставало!

— Я, кажется, ушла от вас в больницу не тайком, а при людях, — отвечала она, сдерживая свое чувство, — унести с собою мне было

нечего, да и некуда.

— Я этого не знаю и потому об этом не говорю, — уклончиво возразил Карл Иванович. — Я знаю только то, что по этому реестру ты приняла вещи, а теперь некоторых нет. Где они?

— Какие же это вещи? — спросила Маша.

— Нет одного чайного полотенца, одного блюдечка и одного стакана. Одну пару моих носков тоже нигде отыскать не могли.

— Кухонни полотенци одно тоже нет, — поспешила ввернуть словечко Луиза Андреевна.

— Это до меня не касается, кухонных вещей я не принимала, спрашивайте с кухарки.

— Эти все равно! Эти все равно! — заспорила хозяйка, которой, во что бы то ни стало, хотелось заодно наверстать на Маше все свои потери. Но строго-справедливый хозяин остановил ее излишне экономический порыв.

— Так ты не знаешь, где эти вещи? — спросил он бывшую служанку.

— При мне, сколько помнится, все было цело, а что пропало без меня, за то я не могу отвечать.

— Ты должна была сдать по реестру при удалении в больницу, — возразил Карл Иванович, — ты этого не сделала тогда, а мы, при сдаче новой горничной, не нашли этих вещей. Значит, кто же отвечает за них? Я, что ли? или Луиза Андреевна? или Господь Бог, наконец? Ты принимала, ты и ответить должна!

Маше становились противны все эти доводы, вся эта казуистика, и потому, лишь бы поскорее избавиться от объяснений, она коротко и презрительно ответила:

— Я не знаю. Вычитайте с меня, делайте что хотите — мне все равно.

— Нельзя ли почтительнее! — строго возвысил голос щекотливо-обидчивый Шиммельпфениг и, с карандашом в руках, принялся за вычет:

— Чайное полотенце — тридцать копеек, блюдечко и стакан — тоже тридцать — по пятиалтынному штука, носки мои — пятьдесят копеек; итого — рубль десять. Да ты помнишь, матушка, в последний день ты прогуляла без позволенья с часу до половины осьмого — итого шесть с половиною часов. В ме-

сяц тебе приходится четыре рубля, значит, в день около четырнадцати копеек; за шесть с половиной часов я вычитаю с тебя даже несколько менее, чем бы следовало: я вычитаю только пять копеек. Да кроме того в нашей квартире стояли твои собственные вещи, в то время как ты лежала в больнице. Согласись сама, что даром держать и беречь их у себя, когда ты не служишь нам, мы ведь не обязаны. Твои вещи все-таки стесняли нас: новой горничной некуда было поставить своих — мы должны были отвести им особое место, а этого мы также не обязаны делать. Поэтому за сбережение и за постой твоих вещей мы вычитаем с тебя полтинник — итого, в общей сложности, рубль шестьдесят пять копеек серебром. Остальные два рубля тридцать пять можешь получить вместе с паспортом, и убирайся себе с Богом.

Эта наглая копеечная скаредность, которая с видом полной законности запускает руку в дырявый карман нищего, до того поразила Машу, что несколько времени она ни слова не могла вымолвить и только с чувством презрительного удивления глядела прямо в глаза

господам Шиммельпфенигам.

«И это люди! И это христиане, которые так благочестиво ходят каждое воскресенье в свою церковь!» — думалось ей в ту минуту.

— Ну, что ж ты стоишь еще! — возвысил голос Карл Иванович, вручив ей остальные деньги. — Расчет получила сполна, и ступай!

Маша собралась с духом.

— Спасибо вам! — проговорила она со странной улыбкой. — Не знаю, как вы мной, а я вами совершенно довольна. Так это мое жалованье?.. Оно все тут? Ну хорошо... А остальное уж пусть вам на гроб остается! Пригодится, как умирать станете... Пусть уж это от меня вам будет на последний час!.. Прощайте!

— Вон, дерзкая! Вон, тварь! В полицию тебя! — вскочили с места оба Шиммельпфениги разом. — Чтоб и духу твоего сейчас же не было в нашем доме! Вон!

Маша улыбнулась в последний раз и неторопливо вышла из комнаты.

Придя в кухню, она не сдержала себя и разразилась слезами.

— Вышвырнуть ее вещи на двор! Чтобы ни минуты здесь не оставались! — шумели в

комнатах раздраженные возгласы Шиммельпфенигов.

Надо было уходить из этой квартиры — но куда же уходить, куда и как тащить за собою вещи, хоть и скудные: всего-то один узел да тюфяк с подушкой, но все же и их не взвалишь себе на спину, не зная куда идти и где приютиться?

Кухарка и новая горничная господ Шиммельпфенигов сжалились над Машей и ее слезами: они предложили ей — потихоньку от хозяев — вынести ее вещи, пока до времени, на чердак господский. Маша и за то была благодарна.

Надо было расплатиться ей с приказчиком из мелочной лавочки, где она, живя у Шиммельпфенигов, время от времени забирала себе в долг кой-какие мелочи на разные житейские необходимости. Предстояло отдать ему ни много ни мало — всего рубль восемь гривен, и, расквитавшись с этим долгом, Маша вышла на улицу с пятьюдесятью пятью копейками в кармане.

На эти пятьдесят пять копеек ей предстояло кормиться, укрывать от влияний стихий в

каком-нибудь углу свое бренное тело, предстояло, одним словом, *жить*. А сколько времени жить, и долго ли проживешь на эту сумму, и как все это кончится? — темно и одному только Богу известно.

Но все же у нее была кой-какая надежда. Она прямо отправилась на Васильевский остров, где жила на месте у полковницы ее бывшая горничная Дуня. К счастию, Маша знала адрес. Дуня не оставит ее, приютит, посоветует что-нибудь, поможет, придумает, приищет какое ни на есть занятие — словом, не вся еще надежда на честную жизнь потеряна для нее и не все же одни Шиммельпфениги обитают на свете!

Поплелась пешком на Васильевский остров. Отыскала дом. Спрашивает у дворника, где тут полковница Иванова живет?

— Полковница Иванова? Да она уже ден восемь как во Псков уехала.

— А девушка, что в горничных у ней жила, Дуня?

— Дуняша-то? А с нею же, она, значит, и Дуняшку с собой увезла.

— Надолго уехали?

— А Христос их знает! Фатеру, как есть, совсем сдали и уехали.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — подумала Маша с какою-то трагически-злобной иронией над собою.

Поблагодарила дворника за сообщение и пошла вдоль по панели.

Куда пошла — и сама не знала.

Все равно, куда бы ни идти, везде — одно и то же. Лучше не будет.

На дворе уже вечерело. Целый день с крыш обильная вода лилась. По улицам гнилая оттепель мутную кашицу по жидким лужам наквасила, а с неба какая-то неопределенная скверность сеялась. Но к вечеру стало все больше и больше подмораживать. Гнило, холодно и сыро. Кабы снова в больницу теперь! Жаль, что не дольше длилась болезнь, жаль, что там не издохла — теперь все равно, на улице дохнуть придется. Это хуже, потому там тюфяк есть и печка топится. И нужно же быть этой молодости, нужно же было, чтобы судьба наделила здоровым организмом! Живуч и вынослив, проклятый! Экая злоба бессильная, бесплодная закипается в груди! Что

это за злоба? на кого она? на себя, на людей, на судьбу, на жизнь, на весь мир Божий? Бог весть, на кого — это все равно: ни людям, ни жизни, ни судьбе нет до нее никакого дела. Они — сами по себе, ты — сама по себе. Чего ж тебе еще надо?

Но злоба эта вспыхнула на одно только мгновение и затихла, затерялась как-то: Маша не способна была злиться. Ее бессознательно-злобная вспышка тотчас же и исчезла, без следа, без результата, потому что Маша была слишком доброе и кроткое существо, способное только *терпеть* и страдать почти одним лишь пассивным страданием. Минутная злоба вспыхнула в ней не настолько, насколько могла она вспыхнуть в этом слабом, кротком и терпящем существе. Она сама себе не дала в ней отчета, не знала, как эта злоба пришла к ней и как отлетела, а на место того чувства появилась удручающая, тихая скорбь — скорбь без просвета, без исхода и без малейшей надежды.

Идет Маша по длинному-длинному проспекту. У колод извозчики с саешником балагурят, градской страж благодушествует. По

прутьям деревьев в бесконечно тянущихся палисадниках ветер бесплатный концерт в пользу бедных задает; впрочем, проезжающие кареты, громыхая по камням с ухаба на ухаб, заглушают порой своим самодовольным дребезгом певучие ноты и рулады этого сердобольного ветра: «Ты вот, мол, братец, вой себе сколько хочешь, а нам плевать! За нашими стеклами тепло и удобно: ты — стихия несмысленная, а мы изящное произведение комфорта, искусства и цивилизации, и, стало быть, между нами нет ничего общего, и, стало быть, мы и слушать твоих концертов не желаем!» Так громыхают кареты, а ветер знай себе напевает свою песню да качает в такт головы деревьев: «Слушайте, мол, меня и наслаждайтеся! Я, мол, теперь потешаю вас, как потешал было ваших отцов, и дедов, и прадедов! Слушайте и наслаждайтеся!»

Маша идет и старается крепче закутаться в свой платок и запахивает полы бурнусишка, потому в самом деле очень уж неприятно пронизывает холодная сырость.

А навстречу ей парадные похороны тянутся — богатого покойника везут. Впереди едут

жандармы; нанятые люди в траурных костюмах несут размалеванные гербы и в фонарях свечи возженные; чиновники какого-то ведомства на малиновых бархатных подушках различные регалии напоказ выставляют и с примерно похвальным самоотвержением месят ногами жидкую кашицу посередине улицы — собственно только ради этого обстоятельства: а за ними, на высоких дрогах, под пышным балдахином, сам покойник изволит следовать; за покойником — длинный-предлинный ряд карет и экипажей. Зрелище величественно-трогательное и умиляющее душу.

«Ведь вот умирают же люди, умирают же! — думает Маша, провожая глазами колесницу. — Зачем же *ты,* а не *я*! Зачем, зачем не я?! Ты, может, жить хотел и умер, а я и хотела бы умереть, да живу!.. Вот и все-то этак на свете!..»

И Маша отчаянно-тоскливыми глазами провожает этот кортеж и идет себе дальше, дальше... Через Николаевский мост перешла и мимо Пушкинских бань идет... К баням три кареты подъехали; у кучеров на шапках спе-

реди красный розан торчит, а у лошадей в гривы малиновые банты вплетены — это, значит, купеческую невесту привезли в баню париться. Пьяно-красная толстуха сваха пространно расселась квашнею в первой карете и, хлопая перед носом невесты в свои жирные ладоши, визгливо-сиплым голосом величанье какое-то голосит, а из окон двух остальных карет невестины подруги выглядывают.

Экие глупые контрасты, словно перегородки, ставит жизнь на каждом шагу прохожему человеку! Когда ты весел и доволен жизнью, ты проходишь мимо, даже не замечая их, но когда тебя, как муху на лету, сожмет лапа жизни, каждое такое случайное явление начинает получать в твоих глазах какой-то особенный смысл и как будто роковое значение.

Маше почему-то еще кручиннее сделалось, и все на свете стало ей так темно и холодно в эту минуту, что она с невольным ужасом закрыла глаза, стараясь ничего не видеть, не слышать, и зашагала дальше.

— Господи! да неужто же нет мне честного исхода! — с ужасом воскликнула она после долгих дум и размышлений и в отчаянии за-

ломала свои беспомощные руки.

Вот когда только почувствовала она себя вполне одинокой. Она одна — совершенно одна, среди сотен тысяч людей громадного города, и, быть может, ни один человек из этой массы даже и не догадывается про ее положение, и ни одному из них нет до нее никакого дела.

VII
ГОЛОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Среди этой массы людей, в центре этого же самого города, был и еще один человек, который чувствовал себя таким же одиноким, бессильным и беспомощным.

Это был человек голодный.

Он был голоден уже вторые сутки.

Вчера его выпустили из тюрьмы. Вчера он не успел поесть, потому что его слишком рано — за два часа до тюремного обеда — вытребовали к следственному приставу, отпустившему его на поруки. Вчера ему от радости и есть не хотелось: он не подумал, он и совсем даже позабыл о пище, потому что всем суще-

ством своим отдался одному великому, всепоглощающему, всезабывающему и всепрощающему чувству человеческой свободы. Вчера он радовался и горячо любил всех, и даже самой тюрьме простил все вытерпенные в ней свои невзгоды, все то зло и кручину, которые она ежедневно приносила ему в течение более чем целого месяца. Он благословлял свою волю, пока не почувствовал усталости и голода. Усталость и голод заставили его тотчас же ощутить свое полное одиночество, бессилие, бесприютность. Мы оставили его перед окнами блестящего бакалейного магазина, когда голод сжимал его скулы и судорожно поводил мускулы щек. Но тут он вспомнил, что не вся еще надежда пропала: он вспомнил про того самого товарища своего по рисовальной школе, у которого, месяца два назад, взял на подержание альбом фотографий, в тот же день заложенный Морденке вместе с жилеткою Гречки и столь неожиданно послуживший одною из улик в небывалом покушении на отцовскую жизнь.

Вересов надеялся, по-старому, найти у этого товарища временный приют и скудный ку-

сок хлеба. Но квартирная хозяйка встретила его недовольною рожею и объявила, что она таких шеромыжников, которые за квартиру не платят, держать у себя не намерена и потому давно уже согнала этого товарища, а куда переехал он — про то неизвестно, справьтесь, мол, у дворника. Но дворник, словно на беду, оказался пьян и на все расспросы Вересова только глазами похлопывал, отбояриваясь тем, что мы-де не знаем, да мы-де не помним, да какой такой это жилец был, да тут-де мало ли жильцов-то с тех пор перебывало; дом не маленький — про всех не упомнишь, а домовые книги у управляющего в конторе заперты, а сам управляющий на Сергиевской живет и сюда только временем на два, на три часа в день заезжает.

Так и не добился Вересов никакого толку. Плюнул с досадой и, озлобленный, пошел прочь от громадного дома.

«Что же ты, друг сердечный, будешь делать теперь?» — задал он самому себе трудно разрешимый вопрос — и не дал никакого ответа.

Целую ночь прошатался он по улицам, и

во все это время часа на три только присел на одной из гранитных скамеек, выдающихся полукругом в Неву, которые попадаются вдоль Гагаринской, Дворцовой и Английской набережных.

Он не знал, что делать с собою, не подумал даже, на что ему следует теперь решиться — он, словно самою жизнью, дорожил одним только чувством — своею свободой. Хотя минутно и пожалел, голодный, о тюремных щах-серяках, о тюремной жесткой койке, но эта вспышка горького сожаления была одним лишь минутным следствием отчаяния. Голодному человеку все-таки в высшей степени дорога была его свобода.

Прошла тяжелая ночь, прошли утро и полдень, и снова наступил холодный вечер.

И вот опять, как вчера, стоит он на ветру, перед окнами роскошного бакалейного магазина, жадно любуясь на заморские и отечественные вкусности, а голод еще пуще сжимает его скулы и судорожно поводит личные мускулы. Аппетит у Вересова действительно мог назваться волчьим, который природа как будто нарочно посылает человеку тогда

именно, когда нет ни средств, ни даже надежды утолить его.

«Украсть бы, что ли, — думал Вересов, заглядывая сквозь зеркальное стекло вовнутрь магазина. — Ведь стоит только взойти туда и спросить чего-нибудь... А пока они станут отрезывать да отвешивать — тут и украсть... Или нет, лучше подождать, когда народу там больше наберется — покупателей этих: тут приказчики в суете будут...»

«Экая гадость лезет в голову! — сплюнул Вересов густую, голодную слюну. — Что это я, однако!.. Мысли-то какие подлые... Украсть!.. А что же станешь делать — не околевать же с голоду!»

«Нет, лучше попытать другое! — решил он через минуту. — Да что ж другое-то? Христа ради просить, что ли?.. Одно только это и осталось!..»

Подумал-подумал, переминаясь с ноги на ногу в крайней нерешительности, и — хочешь не хочешь — пришел к последнему заключению, что если не воровать, то действительно одно только и остается — милостыню просить, и к первому же прохожему робко

протянул за подаянием свою зазяблую руку.

Закутанный в шубу прохожий даже и не взглянул на просящего.

Тот быстро отдернул протянутую ладонь и вспыхнул от стыда за самую мысль просить милостыню и от негодования на свою неудачу, на это холодное невнимание прохожего в шубе.

— Сыт, каналья! Лень распахнуться на холоду да руку в карман опустить! — с ненавистью проворчал он, скрипя голодными зубами, и медленно отошел шагов десять в сторону.

Но неугомонный желудок сжимался и настойчиво предъявлял свои требования. Под влиянием этого физиологического позыва Вересов опять решился протянуть свою руку.

«Ну, это неудача, это один какой-нибудь попался! — утешал он себя мысленно. — Первый не в счет. Не все же такие, не может быть, чтобы и все такие были, ведь подаст же хоть кто-нибудь, ведь есть же человеческая душа, ведь был же и сам кто-нибудь из них голоден».

Прошел второй — и ничего, третий — и

ничего, четвертый, пятый, шестой — и все-таки ничего!

Вересов готов был зарыдать от злости и голода.

Идет какая-то старушенция в капоре.

— Христа ради!.. — простонал голодный, протянув к ней руку.

Старушенция сперва как будто испугалась и отскочила в сторону, увидев перед собой внезапно подошедшего и обратившегося к ней человека, но потом торопливо порылась в кармане и еще торопливее подала ему денежку.

Вересов с горькой, иронической усмешкой поглядел на свою развернутую ладонь и на медную монетку.

«Денежка... — подумал он, — денежка... даже менее гроша... На это в самой жалкой лавчонке даже ржаного кусочка не отрежут».

«А может, еще кто-нибудь подаст денежку — вот и грош будет», — продолжал он думать, с надеждой на кусок хлеба, и снова начал просить подаяния.

И снова прошел прохожий — и ничего; прошел другой, третий, целый десяток про-

шел, двадцать, тридцать — и хоть бы взглянул-то кто-нибудь: все мимо и мимо.

«Нет, украсть лучше!.. Украсть вернее будет!» — решил он наконец и опять подошел к окну бакалейного магазина. Сквозь стекло видно — стоят три-четыре покупателя.

«Вас-то мне только и нужно!.. Теперь самое время!» — и он смело переступил порог магазина.

Приличные ярославские бородки, в чистых полотняных фартуках, суетились около покупателей, и, по-видимому, все были заняты. Вересов стоял в недоумении, не зная, как и к кому обратиться и что спросить. Он почувствовал величайшее смущение, а глаза между тем разбегались на тысячу предметов, но как нарочно попадались все неподходящие вещи: банки с какими-то соями, сиропы, консервы с фруктами, а он искал какой-нибудь колбасы или сыру.

«Где же они, где же? Ведь, кажись, тут им где-нибудь надо быть! — думал он, растерянный и смущенный, тщетно перебегая глазами от одного предмета к другому. — И как это я давеча проглядел!.. Надо было раньше хоро-

шенько высмотреть место! О, проклятые!»

— Вам что надо? — громко и без особенной церемонии подошел к нему приказчик, подозрительно оглядывая его жалкую фигуру и плохое пальтишко.

— Мне... мне...

Вересов чувствовал, что голос у него застрял как-то в горле, сдавленный мокротой и сухостью во рту, так что трудно было издавать звуки и выговаривать слова.

— Мне... фунт сыру отрежьте, — проговорил он наконец.

— Голландского али швейцарского?

— Швейцарского, пожалуй.

— Сейчас будет готово.

И приказчик побежал в другое отделение за сыром.

«О, черт возьми! Я не туда попал!.. Надо было в то отделение пройти!» — с досадой подумал Вересов, и вдруг — золотая надежда! — он увидел в двух шагах от себя кольцо колбасы, тщательно завернутой в тончайший лист серебрившейся фольги.

«Ее... ее-то и тащить! — мелькнуло в его голове. — Скорее тащить, пока не замечают!»

Он пытливо и тревожно посмотрел во все стороны, быстро обернулся на приказчиков и покупателей: «Хорошо!.. Не видят!» — и робко протянул к заветному куску свою дрожащую руку.

Но... страшное дело!.. Кровь прихлынула к голове, и в глазах замутило. «Вор!» — с презрительным укором и даже насмешливо шепнул ему какой-то внутренний, тайный голос, и он торопливо отдернул свою руку.

А голод не дремлет. Напротив, при виде колбасы еще сильнее разыгрывается.

«Да, вор! Голодный вор! — поперечил он в ответ этому насмешливому и укоряющему голосу. — Что же это я? Чего я испугался? Минута — и все кончено! Упустил минуту — и пропало... Скорей, скорей!..»

И снова рука протянута к колбасе, а глаза, не глядя на нее, следят за малейшим движением остальных людей, находящихся в лавке. Вот уже пальцы до нее коснулись, а сердце стукает и колотится и во рту что-то горькое, липкое... Проклятая рука! дрожит, трясется!.. Чувствуешь его концами пальцев, а поймать не можешь, словно бы этот кусок зачарован,

словно бы он ускользает из-под руки. Что за дьявольщина!.. А!.. Наконец-то!.. Вот он!.. Вот он уже в руке!.. Скорей его прятать! Скорее! Да где же этот карман?!

«Где же он, в самом деле? Затерялся или черт шутит надо мною?!» — думает Вересов, шаря у себя по пальтишку и от волнения да от дрожи никак не успевая нащупать карман свой. Вот, кажись, как будто и чувствуешь его, а рука не попадает: не может, положительно не может попасть в него.

Тяжела бывает человеку *первая кража!*

А между тем показывается приказчик с куском сыру на листе бумаги.

«Попался! — с отчаянием думает голодный. — Всему конец! Попался!.. Скрутят руки... полиция... тюрьма... Вор... мазурик... А срам-то, позор-то какой!.. Господи!..»

Приказчик подошел к нему в эту самую минуту — и колбаса, как была, так и осталась в руке.

— Что, вам, может, эту колбасу желательно? — с ухмылкой обращается он к Вересову, еще подозрительней прежнего оглядывая его наружность.

«А!.. Есть спасение!» — мелькнуло в сознании неудачного вора, который за миг перед этим почти был готов лишиться чувств или во всем признаться.

— Да... я хотел бы... — пробормотал он в смущении. — А что цена ей?

— Цена рупь двадцать пять копеек, — равнодушно отвечал приказчик, не спуская с него глаз.

— Ох нет, это больно дорого! — еще смущеннее пробормотал Вересов и положил колбасу на прежнее место. Он был необыкновенно рад в эту минуту, что наконец-то успел положить ее — рад потому, что нравственное чувство, шептавшее ему «вор!», хоть немножко успокоилось, затихло.

— Нда-с, этта точно, что дорого, — всякой вещии своя цена-с! — усмехнулся ярославец. — А вот-с за фунтик сыру прикажите получить сорок пять кипеечек серебрицом-с!

Вересова, как обухом, по лбу ошарашило. Он забыл и не сообразил, что ему предстоит еще это милое положение. Окончательно растерявшись, стоял он перед приказчиком и бессмысленно хлопал на него глазами. Тот по-

вторил свое требование: «Сорок пять-с кипеек!»

Вересов вздрогнул и как бы очнулся.

— Деньги… Ах да! деньги! — пробормотал он и полез шарить по своим карманам. — Деньги… сейчас-сейчас!.. сорок пять, вы говорите?.. Сию минуту-с… Ах, Боже мой, да где же это они?! Что же это значит?..

Он перекладывал руку из одного кармана в другой, а из этого в прежний — перекладывал, шарил и бормотал себе под нос, и с каждым мигом, с каждым словом смущение его все росло и росло, потому что ярославец, словно бы грозный призрак, неотступно стоял перед ним с куском сыру и неотводно следил за малейшим его движением, с самой ехидной, насмешливой улыбкой. Остальные приказчики и несколько покупателей тоже обратили на них свое внимание и с праздным любопытством наблюдали за этой интересной сценой. Вересов не видел, но чувствовал на себе их взоры.

— У вас кармашки-то, видно, с дырой — с изъянцем? — заметил ярославец, не скрывая самой наглой, самой обидной иронии.

— А?.. Что вы говорите?.. С дырой?.. Нет, но представьте себе!.. Что же это значит?.. Вот положение-то!.. Ах, батюшки! — бормотал Вересов, не зная, куда деваться от стыда и не смея глаз поднять. — Ну так и есть — верно, дома... Извините, пожалуйста...

— То-то, что дома!.. А еще колбасу торгуешь... Ах ты, мазура-мазура оголтелая! Стащить хотел! В полицию бы тебя, канальюю!.. Проваливай-ка вон! Проваливай! Много вас тут таких-то шатается! Взашей вашего брата!

И он, без церемонии, толкая в шею и в плечи, перевернул его раза два и вышвырнул за дверь магазина.

Снова очутился Вересов на улице. Минут пять он не мог опомниться и прийти в себя. Жгучее чувство стыда, сознание позора, перенесенного при посторонних людях, сознание людского бессердечия, досада и злость и голодная тоска — все это наплыло на него разом и душило, душило под собою.

«Оскорбили, надругались и вытолкали в шею — за что? За то, что думал украсть? Да разве я украл? Нет, за то, что я голоден, за то, что мне жрать нечего, а они сыты... за то, что

я хотел украсть без права, а они обкрадывают с правом... Честная торговля... по праву сытого... По праву подлости... О, подлость — это великое право! Самое сильное право!.. Нет сильнее его!» — думал Вересов, словно пьяный, шагая по улице, с сжатыми кулаками и скулами.

Но как ни горько и больно было у него на душе, а голод пересиливал всякое нравственное чувство. Видит он, на углу саечник стоит и около его лотка два извозчика печеными яйцами лакомятся.

С великою завистью и даже ненавистью как-то оглядел их Вересов и в раздумье остановился неподалеку. Он нацеливался — нельзя ли как-нибудь стащить с лотка сайку. «Уж теперь-то я буду смелее! Не таким дураком, как сейчас...» — думает он и косит на лоток: то поближе к нему подойдет, то остановится — но нет!.. Все еще не выпадает ему удобная минута!

— Поглядь-ко, паря, что это малый все тутотки вертится, часом, гляди, може и стащить что горазд, — заметил саечнику один из извозчиков, указывая пальцем на Вересова,

подходцы и взгляды которого действительно заключали в себе нечто подозрительное.

— Намеднись, вечером, у меня тоже девчонка одна — махонькая совсем — калач было стащила, — отозвался саечник, — только отвернулся, а она и стащила, тоже вот так-то все вокруг да около шнырила. Ну, вот этта, стащила и бежать! Я за ней! Нагнал да сгребал под себя и ну — колушматить: «Знай, мол, напредки, как чужое добро воровать! Воруй, мол, свое, коли охота есть!» Ну и наклал же я ей по загривку! Так что ж бы ты думал, паря? Сама кричит, а сама калач шамкает, так изо рту и не выпущает его! Беда, какой ноне народ мазурник стал! А ведь махонькая — от земли, почитай, не видно.

Вересов, который стоял не более как в трех-четырех шагах, слышал весь разговор этот.

«Эх, брат, Иван Осипыч, плохо тебе приходится! — покачал он головой с какою-то грустной иронией над самим собою. — Вот и дождался! Еще и украсть не успел, а уж люди добрые за мазурика считают!.. Голодного-то — за мазурика!.. А все потому — зачем

голоден! Не надо голодным быть — нехорошо!.. За мазурика!.. Видно, и в самом деле, что голодный, что вор — одна собака. Вор — стало быть, человек голодный...»

В эту минуту размышления его были прерваны вечерним звоном колоколов. Назавтра люди праздника какого-то ждут, поэтому сегодня по церквам всенощные служат.

— А!.. Вот она в чем штука! — воскликнул Вересов, озаренный новою мыслью, и направился к церкви. Он стал на паперти, где уже находились два ряда привилегированных нищих, придверных завсегдатаев этого храма.

— Подвинься, бабушка, — просительски обратился он к одной старушонке, стоявшей между другими, недалеко от входа.

— Куды те двигаться, батюшке? Это мое место, я на своем месте стою, — возразила старушонка с сознанием всей законности собственного права.

Вересов не стал распространяться и поместился подле нее, у колонны. Для этого он должен был потеснить несколько двух соседок.

Старушонки сильно возроптали.

— Штой-то, матушки мои! — затараторили они. — Мало места в церкви, что ли? Проходи в церковь, батюшко! Здесь те негоже стоять — здесь ведь нищенские стойла!

— Мне и здесь хорошо! — возразил Вересов. — Ведь я тебя не трогаю — так чего же тебе? Все равно, где ни стать!

Старушонки долго еще поваркивали себе под нос, но пока, до времени, не подымали новых протестов против пришлеца.

Из церкви между тем вышли две женщины и стали оделять кой-кого из нищей братии.

«Может, еще полушка будет... а может, копейка!» — ободрился Вересов и, вместе с другими, протянул свою руку, в которую, однако, ничего не попало. Зато едва сердобольные прихожанки сошли с паперти, как на него накинулись и старушонки, и старичье, и весь почти кагал придверных завсегдатаев.

— Да ты милостыню просить? Да ты звонить тоже вздумал? Да ты кто такой? Да откудова народился? Платил ты за свое место? Платил ты, что ли, что лапу-то протягиваешь? Кто тебя ставил сюда? Кому ты платил

за стойло?

— Как, кому, зачем платить? Чего вы прете на меня? — огрызался Вересов, отпихиваясь от наступавших калек и старушонок.

— Э, брат! Это не панель: здесь места зарученные, здесь, брат, каждое стойло оплачено!.. Да чего тут толковать?! В шею его! в шею!.. Балбень экой — парень, а туды же, звонить пришел! Староста, да ты чего же ждешь? Своех забижать позволяешь? Тури его, тури с паперти!

И местный нищенский староста, повинуясь голосу артели, тычком спустил Вересова с гранитных ступеней.

— Господи! И на милостыню откуп!.. И на милосердие продажа! — воскликнул он с горечью и отчаянием. — Да и чего ж тебе ждать?.. Как будто ты не знал этого! — И он вспомнил, что, сидючи в тюрьме, слыхал от арестанта, будто в некоторых церквах причт и прислуга отдают нищим на откуп и как бы с торгов все места на паперти, причем стойло, ближайшее к двери, ценится дороже, а дальнейшее — дешевле, и будто цена за лучшее доходит даже до полутораста рублей в год. Но,

во всяком случае, это воспоминание было для него теперь вполне бесплодно и разве только подбавило желчи к его отчаянному положению. Голод становился все сильнее и сильнее.

«Господи! Зачем я вышел из тюрьмы! К чему было рваться-то на эту волю проклятую! Что мне в ней! Зачем она мне? Чтоб околеть с голоду да холоду! Воля хороша сытому, а голодному воля — смерть!»

И ему уже вспало на мысль — кинуться на первого встречного, избить его, изгрызть зубами, исцарапать когтями — в кровь, изуродовать, чтобы сорвать на ком-нибудь свое зло, но — главное — чтобы его за это схватили и отвели в тюрьму.

«В тюрьму... Нет, брат, в тюрьму не отведут, а вот в часть — ну, это точно, в часть-то посадят, в сибирку швырнут, и есть... есть-то все-таки не дадут до завтрашнего дня!.. До полудня все-таки ни крохи во рту не будет... И никто не даст!.. Никто!»

Вот идет прохожий какой-то.

«Кинуться на него, что ли? Ограбить — тогда и тюрьма будет! Тюрьма... сидеть в тюрьме?.. Нет! Это скверная штука!»

И Вересов остановился в ту самую минуту, как уж готовился было диким зверем броситься на человека.

Как там ни рассуждай, а в тюрьме даже для голодной парии есть что-то скверное, смрадное, удушающее, словом, есть все эти свойства и атрибуты неволи. Оно только на вид, и то лишь в минуту ропота и озлобления, может показаться, будто и ничего, будто тюрьма лучше воли, но, видно, уж так человек устроен, что нет того каторжника, который не предпочел бы душному острогу всех ужасов голодной, да зато вольной смерти в бурятской степи да в лесах бугров Яблоновых.

И Вересов почти инстинктивно остановился в своем намерении перед мыслью о новой неволе, перед повторением всего того, что уже было изведано им в Тюремном замке.

«Можно украсть и не попасться, и много раз не попасться — ведь не все же попадаются, — думал он, продолжая шагать по тротуару. — А уж если суждено околевать — так лучше же околеть, где сам захочешь и как захочешь!»

И он идет, а сам как-то вглядчиво всматри-

вается во все стороны тротуара, словно бы ищет чего и не находит.

Действительно, Вересов искал.

Он искал и думал нелепые думы и строил нелепые надежды:

«Ведь вот, может, судьба пошлет на мою долю! Чем по сторонам глазеть — лучше гляди себе под ноги. Вдруг я найду что-нибудь!.. Хоть гривенник какой-нибудь, хоть пятак!.. Ведь случается, что и находят же люди! На пятак ведь отпустят из лавочки хлеба, два фунта отпустят — два фунта!.. Глазел бы по сторонам — и, может быть, прошел бы мимо, а теперь... может, найдется что-нибудь. А что, если... Господи!.. что, если я вдруг целый бумажник найду! Что, если я вдруг тысячу, три тысячи, десять тысяч найду?!. Ведь возможно! Ведь бывают же и такие случаи!.. Надо только искать, искать! Повнимательнее, позорче!»

И Вересов ищет. Вересов пристально, во все концы, разглядывает плиты тротуара и окраины мостовой, но... ничего не находит. Вот виднеется стоптанная бумажка — он со стремительной жадностью кидается на нее, как кот на добычу, кидается с ужасной бояз-

нью, чтобы кто-нибудь другой одним мгновением не предупредил его, не выхватил бы из-под руки. О, если бы выхватил, он тут же, может быть, задушил бы его!

И вот бумажка уже в его руке. Дрожащими пальцами развертывает он ее самым тщательным, самым осторожным образом, вглядывается при свете фонаря. «Может быть, ассигнация, может быть, рублевая или синяя... или красная?» — екает и шепчет ему сердце. Нет! Это просто грязная бумажка! И Вересов с остервенением швыряет ее в сторону и нарочно еще пуще затаптывает в грязь своим каблуком — словно бы эта бумажка лично виновата в его разочаровании, словно бы не сам он создал себе свою мечтательную надежду, а она, именно *она* подстроила нарочно всю эту насмешливую скверную штуку.

«Туда же! Денег, глупец, захотел! — бормотал он сквозь зубы, судорожно сжатые от голода и злости. — Как будто они нарочно для тебя так и валяются по улицам!.. Как будто у тебя нет денег! Ведь есть! Есть! Есть! Вот, целая денежка! Христианская добродетель дала тебе ее... милосердие подало... шутка ли ска-

зать: денежка... денежка!»

И он еще остервененней прежнего и с отвращением далеко отшвырнул от себя медную монетку, словно бы не она, а какая-нибудь скользкая, холодная гадина нечаянно попала ему в руку.

Швырнул и пошел далее.

Но черт знает как есть хочется!

Все те ощущения, которые пережил он в течение этих двух дней, в общей сумме своей слились в одно какое-то озлобленно-тягостное чувство, и это чувство еще усиливалось суровым голодом. Оно подымало в груди рыдания — и Вересов не сдержался: от голоду стал он плакать; но это были не женственные и не ребячьи слезы — это был какой-то невыносимо надсаживающий душу, тихий, сдержанный и в то же время отчаянный вой голодного пса. Именно вой — другого названия нет этому глухому, хриплому звуку. Он шел, шатаючись от сильной усталости, а слезы ручьем текли по щекам, и из глотки вырывались эти сиплые, собачьи вопли.

Прохожие оглядывались на него и принимали за пьяного.

Но он шел, ни на кого и ни на что не обращая внимания, не видя, не слыша, не чувствуя ничего — кроме тяжести в груди, мало-помалу разрешавшейся рыданиями, кроме лихорадочного озноба и до тошноты мутящего голода.

Когда эти слезы облегчили его несколько, он опомнился и огляделся; оглядевшись же, увидел, что стоит на гранитной набережной Фонтанки, близ Обуховского проспекта, что ведет к ней от Сенной площади. Тут только почувствовал он сильную усталость: от продолжительной ходьбы разломило поясницу и размаяло ноги, так что показалось ему, будто дальше он уже не в состоянии двигаться. Пока его злоба и отчаяние не разрешились слезами, они придавали ему какие-то напряженные силы, они помогали не замечать этой тяжелой усталости, но вылились накипевшие слезы, облегчилась грудь, утолилась на время злоба — и Вересов вдруг ослабел, изнемог, и ему сильно-сильно захотелось спать — где бы то ни было и как ни попало, но лишь бы прилечь и успокоиться. Голодный сон так и морил его.

«Где же я опять ночь проведу, однако?.. Ведь никуда не пустят!..» — предстала перед ним беспокойная, ужасающая мысль, и он с тоскою стал озираться во все стороны — но нигде нет угла, чтобы хоть как-нибудь приютиться: все открыто, все на свету, на юру, на проходе.

Нечего делать, еле передвигая ноги, пришлось идти далее, вдоль по набережной.

А! Вот наконец спасенье!

VIII
НОЧЛЕЖНИКИ В ПУСТОЙ БАРКЕ

Гранитными ступеньками ведет к реке обледенелый спуск. Почти у самого этого спуска зазимовала пустая, брошенная и полуразвалившаяся барка. С носу она была почти уже разобрана, так что из-подо льда торчали вверх одни только ребра, а обшивочные доски кто-то поотдирал уже на своз, к дровяному двору: там из них приготовят убогое топливо, на скудную потребу петербургского «черного» люда.

Но корма этой барки была еще совершен-

но цела, и каюта под нею сохранилась в полной неприкосновенности. Спасибо судьбе! — она посылает какой ни на есть приют, где можно по крайней мере если не от морозу, то хоть от ветру несколько укрыться; да все же за четырьмя дощатыми стенами и мороз не так-то донимать будет.

Вересов осторожно сошел по скользким ступеням и очутился внутри покинутой барки.

Маленькая дверца, ведущая в каюту, полуоткрыта и слегка поскрипывает от ветру. Он робко взялся за нее рукою и ступил за порог барочной конурки.

Но едва успел сделать шаг, как изнутри раздалось сердитое рычание.

Испуганный Вересов отшатнулся назад и осторожно стал прислушиваться: рычание замолкло, но через минуту послышался тихий и жалобный щенячий визг.

«Это собака ощенилась... такая же бездомная, как и я», — подумал он и, успокоенный, снова переступил порог каюты.

Рычание в темноте раздалось еще сердитее, но он не смутился и остался на месте.

«Нет, уж теперь-то не выйду! — твердо решил он сам с собою. — Коли тебе есть место, так и мне будет!»

Собака не унималась.

— Цыц, проклятая!.. Цыц! — зарычал на нее Вересов, топнув ногою, — и собака стихла, не то бы от страху, не то бы от собачьего недоумения.

Бездомный ощупью пробрался в противоположный угол, чтобы не обеспокоить ощенившейся суки, и сел в углу.

По усталому лицу его тихо прошла улыбка наслаждения: слава тебе, Господи! наконец-то присесть удалось, после стольких часов ходьбы и утомления! Он чувствовал, как по одеревенелым членам разливается тихое ощущение спокойствия. Глаза невольно смыкаются, долит дремота, но сквозь ее тонкий туман слышит он в противоположном углу шорох, сопровождаемый щенячьим визгом. Сука поднялась со своего места и, осторожно подойдя к затихшему соседу, пытливо стала обнюхивать его.

«Что, если ее приласкать? — подумал он. — Может, добрее станет? Авось тогда можно бу-

дет подле нее улечься — рядом, — все же теплее будет».

И он, зацмокав губами, как обыкновенно это делается, когда хотят приманить собаку, ласково стал гладить рукою ее кудластую голову. Инстинкт ли подсказал животному, что подле него находится не злое существо, или другая тому была причина, только собака не изъявила более неудовольствия и беспрепятственно позволила гладить свою голову. Снова послышался слабый визг щенят, и сука поспешно удалилась к своим детенышам. Вересов, осторожно ощупывая перед собою барочную настилку, пополз вслед за нею: он хотел улечься рядом. И вдруг рука его набрела на старую, брошенную рогожу. Это была находка, которая его очень обрадовала. Уж он совсем было подползал к логовищу собаки, но та выказала самое решительное намерение сопротивляться. Она встретила его злым и грозным рычанием, не подпуская к своим щенятам, так что Вересову поневоле пришлось вернуться и лечь на прежнее место. Он покрылся найденной рогожей, только лег не совсем-то ловко, потому — под бок что-то жест-

кое кололо. Ощупавши, Вересов убедился, что это была обглоданная кость.

«Попытать бы, не осталось ли на ней чего-нибудь? — пришла ему в голову мысль, вызванная голодом, но вслед за ней взяло верх чувство брезгливого отвращения: — Фуй, гадость!.. Глодать собачью кость!» Но голод был слишком силен и с каждым часом становился все больше. Для человека сытого, здорового и в тепле живущего да обладающего кой-каким запасом крови и жиру, пожалуй что и немногого стоит перетерпеть двухсуточный голод: особенного ущерба здоровью в этом случае может и не оказаться. Но совсем другое дело человек хилый, худосочный, каким всегда был Вересов, человек, просидевший месяц в тюрьме, на скудной, не питательной арестантской похлебке, человек, наконец, со вчерашнего утра промаявшийся, ходючи без цели по городу, на сыром ветру да на вечернем морозе, усталый, измученный и не имевший во рту ни единой крошки. Тут уж нет ничего мудреного, если такому голодному человеку, при окончательной невозможности хоть чем-нибудь насытить себя, придет вдруг в голову

странная мысль позаимствоваться у собаки ее обглоданной костью.

Вересов понюхал свою находку: сырым мясом попахивает: верно, как-нибудь, собака ее на Сенной с мясного ларя стащила и унесла в свое логовище, в то время как торговка затараторила с соседками. По Сенной — известно дело — шнырит очень много голодных собак, охотящихся таким способом.

«Попробовать или нет?» — колебался Вересов между волчьим голодом и человеческим чувством брезгливости. Эта мысль, возбуждаемая сильным аппетитом, на время даже дремоту его совсем разогнала. «А почему же нет? — мыслил он далее. — Чем я теперь лучше собаки? Какая разница между этою сукою и мною? Ей даже, может быть, лучше моего, потому что она, верно, меньше меня голодна... Такая же бесприютница, как и я, — свела же вот судьба вместе!.. А может быть, и ее когда-нибудь у конуры на цепи держали, может, и щец хозяйских давали каждое утро... А потом спустили почему-либо и со двора согнали... Вот и мается собака, и бродит себе... А может быть, и с самого дня рождения бродит по

улицам бесприютницей, пока фурманщики не пришибут. И то может быть. Так какая же разница между мной и ею? Чем я лучше?.. Почему мне не стать глодать ее кости? С голоду и человечину жрут!.. О, черт возьми! Тут нечего думать, когда голод давит! Авось как погложешь, так меньше донимать станет».

И он, преодолевая последний, уже слабый остаток отвращения, вгрызся в нее зубами. Но едва лишь почуяли эти голодные зубы ничтожный намек животной пищи, как настала для них самая жадная и яростная работа. Брезгливость и отвращение тут уже сразу исчезли.

С остервенением грыз и глодал он эту кость, скоблил ее зубами, стараясь высосать из нее хоть какие-нибудь питательные частицы; раза два замерзлый и твердый хрящ на зубах его хрустнул — и Вересов поторопился проглотить его с величайшею жадностью; но вслед за тем все остальные усилия его выгрызть и высосать что-либо еще из этой кости остались вполне безуспешны. Собака на этот счет уже давно предупредила его.

С отчаянием и глухою злобою застонал он,

сильно швырнувши в угол собачий огрызок. Десны его ныли и свербели и были в кровь изодраны от этих тщетных усилий.

Но едва успел попасть в желудок кусок замерзлого хряща, как голод вдруг начал мучить с невыносимой, ужасающей силой. До этой минуты еще кое-как можно было терпеть его; теперь же мучения мгновенно превзошли всякую меру. Окровавленные и надсаженные десны сжимались, зубы скрипели и ожесточенно требовали своей естественной работы, густая и как будто горьковатая слюна сочилась во рту. И Вересов в забытьи, ухватив в зубы край рогожки, которою был покрыт, вырывал из нее мочалки, сосал их, грыз и пережевывал, но проглотить не мог: они жестко и сухо останавливались в горле и дальше не шли, а только кололи и щекотали там. С усилием откашлянул Вересов пережеванный комок мочалки и выбежал как одурелый из своей каюты. Он бросился в снег и жадно стал глотать его, горсть за горстью. Он отламывал от барочных ребер только что настывшие ледяные сосульки — и они быстро хрустели в его голодных зубах. Снег и лед обманчиво уто-

лили несколько его голод — по крайней мере он был не до такой уж страшной степени невыносим и болезнен: работа желудку, хоть какая ни на есть, все-таки задана. Вересов с трудом вернулся в каюту, изнеможенный, повалился на свое место и сразу заснул тяжелым, крепким, почти до обморока бесчувственным сном. Да это и в самом деле скорее был обморок, нежели усыпление.

Положение Маши почти совершенно походило на положение Вересова. Один был выпущен из тюрьмы, другая — из больницы. Оба вполне бесприютны, беспомощны и беззащитны. Оба скитались бог весть где и как, бог весть по каким улицам, без цели и назначения, потому что надо идти, потому что негде — решительно негде отдохнуть и успокоиться. Только один сначала встретил свою вольную волю широкой, светлой и радостной улыбкой, полный счастия и братской любви ко всему миру, с которым жаждал поделиться этим счастьем и этой волей, пока не одолели усталость да голод; другая же, после больницы, вышла на свет с горьким раздумьем, а потом скиталась с чувством бессильной и отча-

янной тоски.

Судьба или случай привели ее к Фонтанке, неподалеку от Обуховского моста, и точно так же, как и Вересов, она в тяжелом раздумье, усталая, остановилась на набережной и, лицом к реке, облокотилась на гранитную решетку.

«Нет, так жить нельзя... невозможно, — шептала она, глядя на застывшую воду. — Чем так-то маяться, лучше сразу покончить... Минута — и конец! И конец, всему конец!.. Да вот и искать-то долго нечего: вода под рукою! Сойти вниз и в первую же прорубь...»

И с этой мыслью она на минуту забылась, как бы уставши думать и рассуждать о чем-либо.

«Так что же? Так иль не так? — очнулась Маша через несколько времени, быстро подняв свою голову. — Так иль не так?.. Э, да что тут думать! Благослови, Господи!»

И, спешно перекрестившись, она решительным шагом пошла к ближайшему спуску. Огляделась и видит: по той стороне реки полуразрушенная барка зимует, а по этой, шагах в двадцати, к середине замерзлого прото-

ка, две елочки над прорубью покосились.

Маша тихо и осторожно подошла к этим елочкам, словно бы к чему-то неизвестному и таинственному. Минутная решимость начала понемногу оставлять ее, хотя она сама еще не замечала этого, совершенно бессознательно уступая инстинкту жизни и самосохранения.

Остановилась на краю и даже за колючую ветку слегка рукою ухватилась. У ног ее чернелась прорубь, и Маша, с серьезным, почти строгим выражением лица, стала смотреть в эту темную воду. Она как будто хотела разгадать, что там делается, в глубине под водою, расслушать какие-то подводные звуки и голоса, проникнуть острым взором в самую глубь, чтобы разглядеть, какая там есть эта жизнь подводная.

«Какая черная!.. Темнота-то какая! — прошептала она, почти невольно отклоняясь немного назад и потянув в себя дух от какого-то захолаживающего в груди ощущения. — Утопиться... Стоит только скинуть с себя лишнюю одежду и ступить вперед ногою... Нет, соскочить лучше... Да! если прямо соскочить, это лучше будет: скорее ко дну пойдешь... Ко

дну... А если не сразу? Если не удастся сразу-то потонуть, тогда как?.. Охватит тебя всю водою — так и окует!.. А ведь она теперь холодная... Ух какая холодная!.. Черная... Темно — ничего разглядеть нельзя... Холодно в воде-то, я думаю... особенно как захлебываться станешь... Холодно...»

И Маша еще больше отклонилась в сторону, тогда как всю ее внезапно передернуло нервическим трепетом при одной мысли о речном холоде. В ту минуту этот холод не то что представился, а именно как бы почувствовался, ощутился ею с такой поразительной, отчетливой ясностью, как будто не в воображении только, а на самом деле испытала она всю живую ощутительность холодной воды.

«Нет, страшно, страшно!..» — слабо закачала головой, под обаянием туманящего ужаса.

Но прошла минута — прошел и ужас. Маша опять стала мыслить:

«А жить? Разве жить лучше? И разве теперь вот не холодно мне?.. Там одну минуту будет холод: минута — и кончено! А тут всю жизнь! Всю-то, всю-то жизнь, как есть, только

холод, холод! Ой, страшно!.. Нет, уж лучше решаться сразу!»

И Маша снова, решительно и смело, ступила на самый край проруби. Опять зачернелся у ног ее темный кружок воды, отороченный ледяной корой, — и опять, при виде его, замедлилась Маша. В эту минуту она стояла совсем уже не размышляя, как бы утратив даже самую способность думать; но за нее и в ней самой снова стал действовать бессознательный инстинкт жизни. Маше казалось, будто она так себе, без всякой причины замедлилась и безучастно глядела рассеянным взором по ту сторону канавы.

Вдруг в это самое время заметила она, что с противоположных сходок на лед какой-то человек спустился.

«Помешают! — мелькнула искорка в сознании девушки. — Лучше переждать, чтоб уж не успели вытащить».

Но она обманывала самое себя, едва ли даже сознавая это. Ей казалось, что не что иное, как только одно желание получше и поудобнее исполнить свое намерение заставило ее пережидать, пока пройдет через канаву по-

сторонний человек, тогда как именно один только инстинкт жизни и вызвал в ней мысль об этом пережидании — инстинкт жизни, хватающийся с самым затаенным, незаметным лукавством за первый подходящий случай в свою пользу.

Но смотрит Маша, посторонний человек, вместо того чтобы переходить на ее сторону, вступил на барку и направился вдоль нее к каюте: вошел в дверцу и тотчас же назад подался, переждал немного и опять скрылся туда же.

«Что же это значит?.. Он, верно, сейчас выйдет опять, назад вернется», — думает Маша и ждет, скоро ли это случится. Обернулась назад и видит — на набережной изредка прохожие показываются.

«Что же это я стою тут? Пожалуй, заметят еще, догадаются да наблюдать станут, — домекнулась она. — Лучше уж отойти к набережной да обождать под ней, пока тот выйдет».

И, отойдя к берегу, она прислонилась к гранитной стене так, что сверху было бы трудно разглядеть ее. Прошло около десяти

минут, а человек из барки не возвращается.

«Что же это значит?!» — с удивлением задает себе Маша вопрос, и вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на Петербургской стороне неоднократно, бывало, рассказывали, как разные мошенники, около мытнинского и крестовского перевоза, держат по зимам ночлеги в пустых барках, выходя оттуда на грабеж и даже, случается, людей иногда убивают.

«Верно, и здесь мошенники», — подумала она; но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха: рассудок, с сознанием своего отчаяния и горя, говорил ей, что надо покончить с собою, и покончить сегодня же, так статочное ли дело, при таком намерении, пугаться ей каких-нибудь мошенников?

Ноги ее меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали ее холодом.

«Однако чего же я жду, в самом деле?.. Только время даром уходит!» — встрепенулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние и почему-то преимущественно ползущие

в голову мысли, которые как-то сами собою, непрошеные появляются у человека именно в подобные и, по-видимому, самые решительные мгновения его жизни, когда, казалось бы, вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другою, словно прихотливые клочки облаков по небу.

И снова подошла она к елочкам — и вдруг снова встают те же самые мысли, и ясно воображаемое ощущение холодной воды, и невольный ужас при взгляде на темный кружок проруби!

«Нет!.. Я не могу утопиться!.. *сама* — не могу: сил не хватает! — прошептала она в отчаянии. — Господи!.. ведь это... это — самоубийство!.. Страшно... ужас берет!.. Не могу я!»

И вдруг увидела Маша, что человек выбежал из барки, бросился тут же на снег и стал копошиться в нем. Что именно делал он — она понять не могла и только пристально следила за его движениями. Мысль о своем безысходном положении и о необходимости умереть заволоклась в ее голове каким-то туманом. Она как будто потеряла нить этих

мыслей, как будто они исчезли куда-то, испарились, подобно туманному облачку; от Маши вдруг ушло куда-то и ее настоящее, и ее прошлое, а сама она безучастно и безотносительно глядела по ту сторону, на неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. Случается, что именно *такие* бездумные, бесчувственные, рассеянные минуты откуда-то вдруг слетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбужденной этим отчаянием, возьмет вдруг да и закоченеет, замрет, застынет совсем на несколько минут в таком рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намека мысли и намека чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека, а для чего стоит и зачем смотрит — про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную конуру. «Верно, больной, — подумала Маша и с этой мыслью словно очнулась. — Что же теперь остается?.. Умереть — духу не хватило... жить — тоже не хватает решимости...»

Она тихо побрела вдоль по замерзлой реке — туда, где чернелась, как темный зев, арка Обуховского моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматривается — темно, сверху дробный топот копыт раздается глухо, и невольно кажется, будто от этого топота и гула сейчас обрушится арка — но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки годов. В темноте ничего не видно под мостом.

«Остаться разве здесь? — подумала Маша. — Здесь все же спокойнее... отсюда не выгонят, не увидят... Говорят, что иные ночуют под мостами».

И она уже думала было, где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки, а ветер, с двух сторон врываясь в узкое пространство арки, свистел и выл под сводом с какой-то дикой, словно б одушевленной силой и невольно наводил страх на молодую девушку.

Опустилась Маша на лед, подле кучи свезенных сюда уличных сколков мерзлой грязи и снегу, и вдруг рука ее уперлась в какую-то шерсть. Маша быстро вскочила на ноги и с отвращением выбежала вон из-под арки. Сердце ее быстро екало, и колени дрожали от

ужаса. Это была какая-то дохлая падаль, но девушке почудилось, будто она ухватилась за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно — страшно *быть одной,* и потому она торопилась убежать из этого места и снова очутилась недалеко от полуразрушенной барки.

«Там, верно, люди есть, — подумала она, глядя на притворенную дверь каюты, — там можно приютиться. Пойду к ним! Может, не выгонят... упрошу Христа ради».

Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрила девушку, которая несмело переступила порог каюты, но вместо человеческого голоса услыхала одно только глухое ворчание.

Все тихо, а людей как будто совсем незаметно. «Что же это такое?! — И Маша в недоумении остановилась у порога. — Где же человек-то? Ушел он, что ли?.. Одна собака только... Господи! Все же это легче: не одна хоть буду... все же есть живое существо...»

Прислушалась — чу! — кроме рычанья собаки еще чье-то дыхание слышно — ровное, сонное дыхание.

«Это, верно, такой же несчастный бездомник, как я! — подумала девушка, все еще прислушиваясь к дыханию. — Верно, и ему нет иного места на свете, кроме заброшенной барки...

Стало быть, не одна я на свете... стало быть, и еще есть такие же... Может, и много их так-то шатаются, да живут же ведь и в голоде, и в холоде, а не думают о смерти».

Так думала Маша, и эта мысль, нежданно-негаданно, произвела на нее совсем особенное впечатление: она как будто несколько довольна и эгоистически рада была, что не *одна она* такая на свете, что есть кроме нее и другие, которые, может быть, столько же, а может, еще и больше терпят да мучатся — и ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого сознания.

«Вот спит же себе человек, стало быть, если уж больше негде, так можно и здесь приютиться», — подумала вслед за тем Маша. Обстоялась она несколько времени и чувствует, что в каюте не так холодно, как на улице и, особенно, как среди Фонтанки, да и ветер не продувает, и как будто спокойнее, чем

невесть где по городу шататься. Она, почти до изнеможения, чувствовала страшную усталость, при которой, после полного сознания о недостатке решимости на самоубийство, ее пугала мысль бесприютного шатания по улицам, вплоть до рассвета, где ни сесть, ни простоять, сколько бы самой хотелось, на одном и том же месте нет никакой возможности: придут и сдвинут, а не то люди вокруг соберутся, станут удивленно глазеть на тебя да допытывать, зачем стоишь, мол, так долго, да как, да почему, да отчего именно с места не двигаешься?

«Чем там шататься, так лучше здесь отдохнуть, — решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Вересова. — Не выгонит же он меня отсюда... А и выгонит, так все-таки хоть сколько-нибудь отдохнуть успею... Да зачем ему гнать! Ведь барка столько же и моя, сколько и его: барка общая».

И, успокоенная таким решением, девушка плотнее закутала голову и грудь своим широким платком, покрепче запахнула бурнусишко и села, прижавшись к стене, в темный угол.

Вскоре и ее охватил не то что сон, а какое-то легкое, тонкое забытье — скорее, даже оцепенение, при котором как будто и спишь и в то же время смутно окружающую действительность слышишь.

* * *

Был первый час в начале, когда проснулся Вересов от холода, который начал пробирать его члены. Спал он около трех часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже еще разломил ему все тело. Открывши глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно, окружающие предметы. По небу носились клочками беловатые тучки, разорванные ветром из одной сплошной массы, покрывавшей горизонт уже несколько суток. В вышине стояла полная луна, и несколько зеленовато-серебристых лучей ее пробились в два барочных оконца и двумя туманными полосами косвенно пронизывали темноту каютки. Одна из этих полос западала в противоположный угол и неровными пятнами ложилась на лицо и местами на скорчившуюся фигурку Маши.

Вересов начал вглядываться и с полуиспугом, с полуизумлением заметил сперва чье-то лицо, тускло озаренное луною, а потом и всю эту фигурку. Подумал было он, будто это во сне ему грезится, но тут же убедился, что не спит и что в действительности в том углу есть кто-то.

— Кто тут? — громко окликнул Вересов.

Девушка вздрогнула, раскрыла глаза и пристально стала глядеть на своего соночлежника, но с места не двигалась.

— Кто тут? — еще громче и с некоторым беспокойством повторил последний, подымаясь на ноги.

Маша робко встала и торопливо направилась к дверке, как вдруг тот ухватил ее за рукав и пристально стал всматриваться в лицо.

— Я уйду... я сейчас уйду... — прошептала Маша, испуганная его неожиданным прикосновением.

— Да я не гоню... Разве я гоню тебя? — возразил Вересов. — Я только спросил, кто ты.

Девушка без ответа опустила голову: она не знала, уйти ли ей или остаться, — и пока в нерешительности стояла на одном месте.

— Ты одна была здесь? — спросил Вересов, который боялся, чтобы какой-нибудь новый обитатель покинутой барки не выжил его из этого логовища.

— Одна, — прошептала смущенная девушка.

— Зачем ты здесь была?

Ответа не последовало.

— Что тебе здесь надо было? Зачем ты была здесь? — повторил все еще опасавшийся бездомник, которому не хотелось расставаться с последним своим убежищем.

— Да когда деваться больше некуда... Надо же куда-нибудь! — возразила девушка.

Вересов успокоился.

— Так ты... все равно как и я... Обоим нам некуда, — проговорил он кротко, опуская ее рукав. — Оставайся... Куда ж идти-то?.. Зла я тебе никакого не сделаю... Оставайся себе — места хватит...

Маша еще с минуту постояла раздумчиво и вернулась на прежнее место. Вересов тоже улегся подле собаки и долго, из своей темноты, смотрел на девушку пристальными глазами. Она по-прежнему свернулась в комочек,

скорчилась, закутавшись в бурнусишко, и сидела в углу, плотнее прижавшись к промерзлой стенке.

Оба молчали, и это молчание длилось довольно долго. Слышно было только их дыхание да порою слабые щенячьи взвизгивания. А Вересов все еще не спускал с нее взоров. Холод пробирал Машу, забирался в ноги и в локти, а оттуда вдоль спины, по лопаткам. Она нервически вздрогнула и, встрепенувшись, зябко потянула в себя воздух, сквозь сжатые зубы.

— Тебе холодно? — спросил вдруг Вересов, глядевший на нее в эту минуту.

— Холодно... — ответила дрожащая Маша.

— Хм... Что станешь делать!.. Вот подожди до утра: к заутрене зазвонят — пойдем, пожалуй, в церковь, там печки к тому времени истопятся: можно согреться.

И он опять замолк, продолжая глядеть на озябшую девушку. Он раздумывал что-то, борясь между состраданием к такой же, как и сам, несчастной, и эгоистическим поползновением не уступать ей жалкие выгоды своего положения. Наконец первое превозмогло:

— Ступай, пожалуй, сюда: здесь теплее — у меня рогожка есть, — предложил он. — Ляг вот тут, прикройся.

— А ты-то как же? — отозвалась Маша, в нерешительности принять его предложение.

— Я уж вдосталь лежал... мне ничего!.. А мы попеременке будем... Холод-то какой, проклятый!

— Н-нет ничего... я и здесь буду — у меня платок есть, — отозвалась она.

— Ну, как знаешь! — поспешил закончить Вересов, будучи рад, что можно по-старому остаться под рогожей.

Прошло еще минут с десять, в течение которых он уж снова было начал слегка забываться дремотой, как вдруг услыхал, что зубы соседки бьют лихорадочную дробь от холода. Его и самого порядком-таки знобило.

— Эк ведь ты какая! — начал он с досадливым укором. — Зовешь тебя, а ты не хочешь!.. А сама вон — зубами щелкает!.. Ступай, говорю, ко мне! Ложись подле! Так-то вместе теплее будет... Мне ведь тоже холодно! Ведь вон собака — греет же щенят под собою... Этак больше тепла будет идти.

Девушка подумала с минутку; но холод преодолел. Она поднялась из угла и перешла к соседу.

И легли они рядом, покрывшись дырявой рогожей.

Холод сблизил этих двух человек, которые совсем не знали друг друга, даже о физиономиях один другого не умели составить себе понятия, потому что едва-едва лишь могли различать их при слабом свете двух тусклых полосок лунных лучей, проникавших порой сквозь оконца в их темное и холодное логовище. Они походили скорее на два каких-то животных существа, в сознании которых лежал теперь один только инстинкт — защитить себя от холода.

И они крепко-крепко прижались друг к дружке, обнялись руками, обхватили ногами один другого, забившись с головой под тощую рогожку, и старались в общем дыхании отогреть свои лица, свою грудь и шею. Тут уже было позабыто всякое различие полов; им и в голову не пришло совсем, что один — мужчина, другая — женщина. До того ли им теперь было? Эти крепкие объятия являлись у них

невольным, как бы инстинктивным следствием того, что холод чересчур уже пронимал, что являлось чисто эгоистическое желание предохранить себя от мороза, а достичь этого удобнее можно было лишь только прижавшись, как можно крепче, один к другому и дышать, дышать, дышать, чтобы хоть сколько-нибудь согреть холодный воздух под рогожею. Тут было одно только обоюдное ощущение — ощущение холода и одно только обоюдное животное желание — желание согреться.

Между тем голод, который во время сна несколько поутих было, проснулся теперь снова и стал еще мучительнее, чем прежде.

Вересов чувствовал в желудке какую-то сжимающую, судорожную боль, от которой подымалась в груди тошнота, а во рту — густая голодная слюна накипала. Он не выдержал этих страданий и начал стонать и в злобном отчаянии до крови кусал свои руки и ногти.

Маша тревожно подняла голову.

— Что ты?.. Что с тобой? — беспокойно спросила она шепотом.

— Я есть хочу!.. Я голоден! — с истерическим, рыдающим воплем простонал Вересов, судорожно корчась и ворочаясь на своем месте. — Нет!.. Это невыносимо!.. Я голову размозжу себе! — внезапно и стремительно вскочил он, вне себя от отчаяния и злобной тоски.

Маша в испуге поднялась тоже.

— Пусти!.. — оттолкнул ее Вересов. — Пусти, или я задушу тебя!

Та отшатнулась и глядела на него из угла в недоумении и страхе.

Голодный человек, скрежеща зубами, ударился затылком о стену. И вслед за тем она слышала, как несколько раз повторился глухо-сухой и короткий звук, который издавала стена от ударов об нее человеческого затылка — только и было слышно, что этот странный стук да скрежет зубовный.

Маша бросилась было к нему, но в это самое время, с рыданиями и стоном, изнеможенный, он рухнул на пол, катаясь по нем от судорожных сжатий желудка.

Вересов был человек нервный, слабый, не умевший владеть собою и легко поддающийся высшей степени отчаяния, ибо подобные

натуры вообще способны больше, сильнее чувствовать каждое ощущение и даже сильно преувеличивать его в своем сознании. А в эту минуту отчаяние и боль от голода, соединенные с мыслью о полной безысходности, о том, что и завтра, и послезавтра предстоит все то же самое, вывели его из последнего терпения.

— О чем ты? Что с тобой? — повторила Маша, приблизясь к нему и опустясь над ним на колени.

Первое движение ее, при виде этого неистовства, было — бежать отсюда, но в ту же минуту человеческое сострадание, сочувствие и понимание подобного отчаяния остановили ее. Несмотря на собственный страх и горе, она осталась и даже поспешила к нему на помощь.

— Ты голоден — Боже мой! Так ведь можно же купить хлеба! — убеждала она.

— Купить?!

Вересов приподнялся на локте.

— Купить?!.. Купить?!.. А!.. так ты еще смеяться надо мною!!

Он сильно схватил ее за руку.

— Да нет же, у меня деньги есть! — воскликнула Маша, не зная, что ей делать и куда деваться и как вырваться от этого бешеного, и в то же время болея о нем и желая помочь ему.

— Деньги?.. Ты не лжешь?.. У тебя деньги есть? Давай их сюда!.. Давай!..

И он быстро поднялся с полу. Неожиданная надежда утолить свой нестерпимый голод мгновенно придала ему новые силы.

Маша торопливо опустила руку в карман, достала оттуда несколько медяков — насколько горсть захватила — и сунула их в ладонь дрожащего Вересова, который в ту же минуту опрометью бросился вон из барки.

Девушка вздохнула несколько свободней.

«Уйти бы скорей отсюда!» — было первое движение Маши, как только она осталась одна, перестав прислушиваться к удаляющимся шагам Вересова, которые наконец затихли, когда он поднялся на набережную.

И она вышла из своей берлоги, но чуть показалась только за дверку, как вдруг ее охватило холодным порывом ветра и снова всю проняло до самых костей. На набережной

тускло мигали фонари, и до рассвета было еще не близко.

«Куда ж идти?.. Где там шататься?.. Уж лучше здесь до утра переждать... Теперь — одна ведь», — подумала она и снова спряталась в каюту, забившись, как прежде, под рогожу.

Она думала об этом несчастном, голодном человеке, вспоминала последние мгновения его отчаянного неистовства и с ужасом представляла себе, что не сегодня-завтра и ей предстояло то же самое. Только теперь она вспомнила, что с самого утра тоже ничего в рот не брала, и при этой мысли как-то вдруг почувствовала некоторый позыв на пищу. Она была голодна, только голод ее до этой минуты не давал себя чувствовать, задавленный множеством других тяжелых ощущений. И лишь тогда, когда живой пример соночлежника представил ей это чувство со страшными его последствиями, она вспомнила про голод свой собственный, и ей захотелось есть, захотелось согреться чем-нибудь теплым — выпить чаю стакан. Но удовлетворить этому позыву не было никакой возможности.

Маша вздумала удостовериться, сколько у

нее денег осталось, и рука ее в кармане ощутила одну только медную пятикопеечную монету. «Стало быть, я полтинник ему дала, — сообразила она, и ей стало досадно и жалко, зачем так много. — О себе не подумала, бог весть кому отдала последние деньги, а теперь сама-то что станешь делать?»

Прошло около получасу времени, с тех пор как ушел Вересов из барки.

Маша, в тупом оцепенении, решилась терпеливо дожидаться рассвета, как вдруг скрипнула дверка и раздался его голос:

— Ты здесь еще?

— Здесь, — испуганно ответила девушка.

— Спасибо за хлеб!.. Я есть тебе принес, хочешь есть?

И он вынул из-за пазухи три пеклеванных хлеба, разрезанных наполовину, и в каждом из них торчало по куску заржавой ветчины.

Маша хотела уж было приняться за эту закуску, как снова Вересов остановил ее:

— Ты постой, ты выпей прежде, я и водки с собою принес, — сказал он, вынимая из кармана косушку.

— Я не могу... не пью я, — возразила было

девушка.

— А ты выпей, говорю тебе! — настойчиво перебил ее Вересов. — Ведь зазябла совсем! Как выпьешь, отогреешься.

Он сколупнул пробку и подал ей посудину.

Маше и есть хотелось, и в то же время жажда томила ее, так что она сразу хватила три-четыре крупных глотка и закашлялась. Ей еще впервые приходилось пить водку, как воду, доселе же она имела о вкусе ее самое смутное понятие. Почувствовала, как зажгло внутри в озяблой груди и желудке, как легкое и приятное тепло внезапно пошло переливаться по всем суставам — и с жадностью принялась за свой пеклеванник.

Вересов проглотил остатки и тоже принялся за жевание. Ни разу еще в жизни своей не жевал он с такой волчьей жадностью и не глотал куска с таким наслаждением, как в эту минуту, работая над сухой и ржавой ветчиной, в своей темной и холодной берлоге.

Получивши от Маши полтину, он не пошел, а побежал, превозмогая боль и тяжесть в ногах, по Обуховскому проспекту, к Сенной

площади. Тюрьма послужила-таки ему к приобретению кой-какой опытности. В тюрьме узнал он, что на Сенной существуют кой-какие заведения, где неофициальным образом производится торговля и в ночную пору: в окнах горят огни, а входная дверь вплотную приперта, но стоит лишь постучаться, и она гостеприимно отворится. В тюрьме же узнал он, что на Сенной, позади гауптвахты, близ Спасского переулка существует одно из подобных заведений, называемое «Малинником». Оно было наиболее знакомо ему по многочисленным рассказам; отыскать же хорошо известные по тем же тюремным рассказам приметы его было вовсе не трудно, особенно когда проводником человеку служит нестерпимый двухсуточный голод. Он постучался в двери, но тут же заметил, что она не затворена, а только приперта для виду, дернул ее со всей энергией и взбежал по лестнице в буфетную комнату. Пока ему доставали спрошенный шкалик водки, не разбирая, накинулся он на первый попавшийся кусок, выставленный за буфетной стойкой, и остервенело стал жамкать краюху черствого пирога,

чем вызвал даже удивление со стороны буфетчика, привыкшего вообще ничему почти не удивляться, вследствие непрестанного пребывания своего в этом заведении.

— Эк тебя, как хрястаешь! Видно, голод не тетка! — заметил он, выливая в стаканчик водку.

Вересов, ничего не отвечая, залпом проглотил ее и снова накинулся на следующий кусок пирога, как вдруг буфетчик схватил его за руку:

— Буде, малец! Не шали! Ты прежде деньги вынь да положь на стойку! — предложил он. — А то, может, в кармане-то у тебя шишка еловая, а ты на ширмака налопаться норовишь? Это не модель — дело!

Вересов высыпал на стол все захваченные с собою медяки и распорядился, чтобы ему приготовили косушку водки да четыре пеклеванника с ветчиною.

— Ну, вот в обрез, как есть, полтина и будет, а деньги-то есть еще аль все? — вопросил буфетчик.

— Все тут! — прожевал голодный, снова протягивая к пирогу свою руку.

— Все, так не трошь чинёного аль уж одного пеклеванника не бери, а то не хватит: не отпущу! — предупредил буфетчик. И Вересов с жадною быстротою сообразил, что пеклеванный хлеб будет побольше и поувесистей, чем кусок пирога, и потому, сколь ни хотелось есть, решился переждать минутку.

Но каким небесным благодеянием показалась ему прело-теплая и пропитанная всякою мерзостью атмосфера этого отвратительного приюта! Пока ему готовили закуску, он топтался на месте, размахивал руками, тер ладони и в то же время дожевывал свой пирог, стараясь поскорее отогреться в комнатном тепле; и не успел еще буфетчик приготовить ему первый пеклеванник и положить в него кусок ветчины, как он уже выхватил у него из-под руки то и другое и снова принялся с необыкновенною быстротою теребить зубами это яство.

Отвратителен и печален вид жрущего таким образом человека, но неизмеримо отвратительней и печальнее безвыходный человеческий голод.

Вересову не хотелось уходить отсюда, по-

тому что хотелось подольше попользоваться теплом, за которое особой платы не полагалось; но он вспомнил, что там, в барке, быть может, ожидает его прихода другое голодное и озяблое существо.

«Если не вернуться, так ведь это... ведь это, стало быть, я ограбил ее, — подумал он, — а может, она мне последнюю копейку отдала... может, завтра сама она, из-за меня, будет так же мучиться — ведь бесприютная!»

«Эх, нехорошо!.. Надо вернуться!» — решил он напоследок и только с минуты на минуту медлил уходить, чтобы хоть сколько-нибудь еще обогреться.

Не далее как за каких-нибудь четверть часа перед этим, когда он испытывал мучительное, до отчаяния и зверства доводящее чувство голода, ему казалось нипочем не только что ограбить, но даже и убить себе подобного человека; да он, весьма легко может статься, и убил бы Машу, в порыве своего исступления, приняв за насмешку ее слова о хлебе, который можно купить, если б она не поспешила отдать ему свои деньги. Теперь же, когда первый кусок хлеба дал ему первое утоление,

в животном, которое мы называем человеком, пробудилась и его действительно человеческая сторона: он вспомнил о другом своем голодающем и холодающем собрате.

Запихав в карман посудину водки да за пазуху три остальные пеклеванника, он полунехотя — потому что приходилось наконец расставаться с теплом, — кое-как обогретый и кое-как утоленный, побежал обратно в барочную берлогу, питая в душе сладкую надежду на половину оставшейся в запасе пищи.

Голодная собака, услыхав чавканье и запах съедомого, поднялась с места и приблизилась к Вересову.

— Что, и ты небось хочешь? — проговорил он, думая поделиться с нею и в то же время эгоистически не решаясь расстаться со своим куском.

Собака в темноте обнюхивала его лицо и пеклеванник.

— Вижу, что хочешь, вижу! — продолжал он со вздохом, отламывая добрую половину хлеба. — И ветчинки небось также хочешь? Ну, на и ветчинки! Потрескай и ты заодно уж!

Спасибо, не выгнала от себя! Это за то тебе, — говорил он, ласково теребя ее морду.

Собака, почувствовав на зубах своих пищу, тотчас же отошла в свой угол и, положив кусок между лап, уплела его с быстротой, не хуже Вересова.

— Ну вот, ты просишь! — заговорил он, только что успев поделиться с Машей последним из принесенных пеклеванников, когда собака снова подошла к нему и, тихо виляя хвостом, стала визжать и обнюхивать.

— Ну, уж так и быть! На тебе еще, только — чур! — не просить больше, потому — последний! — сказал он, сунув ей в пасть половину своей порции.

Маша и от себя уделила половину.

И затем снова улеглись они под рогожку, закутавшись — один в свое пальтишко, другая в бурнусишко, снова крепко переплелись руками и плотно прижались друг к дружке, в надежде, ради обоюдного тепла, провести таким образом остаток ночи, пока не заблаговестят к заутрене.

Водка согрела и сразу одурманила Машу: голова ее кружилась, глаза смыкались под

обаянием какого-то тяжело и в то же время сладко наплывающего сна, и через две-три минуты она крепко заснула, забыв и свои невзгоды, и свое настоящее, и свое прошедшее, — заснула тем сном, каким только может спать изнемогший от утомления, но — слава Богу — сытый и немного пьяный человек, в свои молодые, крепкие силой и выносливые годы.

Заснул и Вересов как убитый, почти одновременно со своей незнакомой, но сроднившейся в общей доле соночлежницей.

IX
ВСТРЕЧА ЗА РАННЕЙ ОБЕДНЕЙ

В воздухе уже посерело и отволгло — признак рассвета и начинающейся за ним оттепели, — когда проснулся Вересов.

«Слава Богу, кажись, таять начинает — не так холодно будет шататься», — подумал он, выглянув за дверку.

Маша еще спала, свернувшись в комочек: видно было, что холод и сквозь сон понемногу все-таки пробирает ее. Вересов бережно по-

крыл ее рогожей и, поместясь подле, заглянул в лицо. Но пока еще нельзя ему было уловить ее черты, а заметил только, что лицо это, кажись, молодое.

Через несколько времени раздался первый удар благовеста, которого так ждал и которому обрадовался теперь Вересов: этот звон несет ему надежду на тепло в течение целых двух с половиной часов, пока будет длиться заутреня и ранняя обедня. Целые два с половиной часа он проживет у вытопленной церковной печки, целые два с половиной часа есть возможность отогреваться! Понять вполне всю радость и наслаждение этой надежды может один только назябшийся вволю, наголодавшийся вдосталь и совсем бесприютный человек.

— Вставай, пора уже! — тихо дотронулся он до спящей девушки. — Пойдем греться, к заутрене заблаговестили.

Маша приподнялась со своего места и, протирая глаза, с изумлением оглядывала всю окружающую обстановку: крепкий сон отшиб у нее на время память с сознанием своего положения, и только совсем уж очнувшись, она

живо вспомнила, где она и что с нею было.

— Надо выйти отсюда, пока не совсем еще рассвело, — заметил Вересов. — К ночи, может, придется опять сюда же вернуться, так лучше поосторожней быть, а то как станет светло, пожалуй, полицейские заметят да перехватят, в части насидишься.

Для Маши было теперь совершенно все равно: в части ли сидеть, в тюрьме ли или по белу свету шататься; но Вересов, отведавший уже, что такое неволя, знал цену своей свободе. Ему за ничто казалось потерять ее вчера, когда изнывал от голода, но теперь, пока голод успел угомониться на время, он дорожил этой вольной волей, он ревниво берег ее.

На Спасской Сенной колокольне гудел еще благовест, когда двое бесприютных спешно шагали по площади, направляясь к церкви. Перед местными образами теплились лампады и звучно раздавался фистуловый тенорок дьячка, гнавшего, словно на почтовых, свое чтение. Две-три сердобольные старушонки в черных капорах, неизбежные посетительницы какой бы то ни было церковной службы, разместились уже по разным уголкам храма,

со своими обычно сокрушенными воздыханиями. О чем? Про то они и сами едва ли знают: может — от умиления, а может — и от поясничной боли. Появился тоже и согбенный подслеповатый старикашка на своем вечном месте, близ входных дверей — тоже неизменная принадлежность каждой приходской церкви. Старикашка в течение своих многолетних стояний давным-давно уже успел на слух заучить в своей хилой памяти всевозможные службы и, медленно крестясь, непременно бормочет вполголоса, вслед за читальщиком, каждый псалом и каждую молитву; а случится пение — он непременно подпевает своим разбитым старческим голосом, и вечно не в тон подпевает, но всегда норовит затянуть прежде дьячков. Старушки, проходя мимо, непременно поклонятся ему с жалостливой улыбкой, и он им тоже поклонится, степенно и важно. Он постоянно первым приходит и последним выходит из церкви. Без этих неизменно присутствующих и самых усердных молельщиков не обходится ни единая служба ни в единой приходской церкви: старичок с фальшивым пением и три старушон-

ки с воздыханиями составляют почти единственных посетителей заутрень и вечерень, невзирая ни на какое время дня и ночи, ни на какую погоду, ломающую подчас их древние кости.

Бездомники поместились у самой печки: Вересов стоял прижавшись к ней спиной, которая больно уж зазнобилась у него во время ночи, а Маша тут же опустилась и села на колени, прислонясь щекой к теплой печи, и обоим им стало теперь хорошо — насколько может быть хорошо зазяблым людям в подобном положении, — оба про все пока позабыли и только грелись и грелись...

«А давно уж я не была в церкви», — подумала девушка, блуждая взором по слабо освещенному храму — там, где темный иконостас уходил в серовато-рассветную мглу купола, где красноватыми звездочками тускло мигали лампады, постепенно становясь тем бледнее, чем больше проступало утро. Она переходила взором от предмета к предмету, прислушивалась к скудным звукам двух дьячков, к этим с детства знакомым напевам, к тихому голосу священника, долетавшему из алтаря,

словно невесть откуда — как будто с воздушной высоты какой-то, — и невольно вспомнилось Маше ее тихое, светлое, спокойное детство, этот серенький домик с садиком в Колтовской, эта чистенькая комната в мезонине, в окна которой заглядывали, вместе с утренним солнцем, ветви медово-душистой черемухи и смолистых берез, а внизу лиловая сирень благоухала; вспомнила она и эти бесконечно добрые, честные лица своих стариков, на которых было написано столько любви и любования ею — молоденькой девочкой, для которой они всю свою жизнь посвятили; но тут же вспомнился до трагизма грустный, хотя и обыденный конец этих стариков. «Одна, с тоски, — в могиле, другой — в сумасшедшем доме, — черным облаком пронеслось в голове Маши. — И ты, одна только ты причиной всему этому!..»

Тяжело было такое сознание ей, обвинявшей во всем одну только себя и никого больше; тяжело было ей вспомнить все эти безвестно тихие, отрадные картины своего детства, своего чистого девичества, и все это, словно бы нарочно, так ясно, так отчетливо

представилось ей в эту минуту, в этом сероватом полусвете храма, по которому легкими струйками ходили синеватые облачка пахучего ладана и тихо раздавались церковные напевы, бедные мелодией, не совсем стройные, но почему-то так и напоминающие светлое детство.

«Да, давным-давно не была я в церкви, — снова подумала Маша, — с тех пор и не была, как из Колтовской увезли... А и теперь-то! Не молитва, а только холод загнал!»

И Маша почувствовала, будто что-то похожее на укор кольнуло ее в сердце. И ей захотелось воротить свое счастливое, беспечное детство, с его чистым смехом и чистыми молитвами, так сильно захотелось молиться и плакать — много молиться и много плакать.

И она молилась и плакала.

Она молилась и плакала, а Вересов стоял над нею, сбоку, и глядел на это детски красивое лицо, вдохновенное молитвой и слезами, глядел искоса и несмело, чтобы взором своим как-нибудь невзначай не смутить ее слез, не нарушить ее молитву. И это лицо только теперь вполне разглядел он: в ту минуту оно по-

казалось ему столь девственно-чистым, столь многострадающим и ангельски-прекрасным, что он в каком-то невольном благоговении отступил на шаг от прежнего места, словно бы не дерзал приблизиться и стоять рядом с тою, для которой была еще возможна и доступна такая чистая молитва...

Он невольно глядел на нее в каком-то почтительно-благоговейном удивлении: он никогда еще в своей жизни не видел, чтобы люди могли так молиться.

«Кто она? — думалось ему в эту минуту. — Кто она?.. Голодная, бесприютная... ночь — в барке... У нее никого нет, стало быть, — никого в целом свете!.. *Никого!»*

И это слово повеяло на него каким-то ужасающим, гробовым холодом.

«Кабы был кто, разве ее пустили бы так?.. Она — честная... Да, честная душа, а иначе не молилась бы так... и в барке не ночевала бы.

И так-таки *одна,* совсем *одна*... Ни отца, ни матери... ни сестры, ни подруги... Все отступились или все перемерли?..

А она, должно быть, не из простых, — продолжал Вересов строить свои предположе-

ния, искоса взглядывая на лицо молящейся. — Должно быть, так, потому — это по лицу сейчас видно: у простых не бывает таких тонких линий, такой нежности не бывает... Она головку той статуйки напоминает мне... Лепил было я, да не вылепил!.. Вот бы с нее вылепить!..

Да... И движенья-то у нее все какие-то особенные: просто, а хорошо... Настоящая, значит, грация есть.

Да, это верно: она не из простых, — решил он наконец, вполне убеждаясь в своем предположении. — Странное дело!.. Как же это она так?.. В барке... голодная... Зачем это? Почему? Кто у нее отец и мать?.. Что же это они — живы? умерли?.. Боже мой! Горя-то, горя у нее сколько!.. Ах ты несчастная моя, несчастная!.. Что-то из тебя выйдет теперь! Да, это верно: у нее *никого* нет! — заключил Вересов с какою-то щемящею болью в душе, и вдруг лицо его исказилось оттенком суровой и злобной мысли: — А у тебя?.. У тебя-то у самого есть, что ли, отец или мать?.. Есть они?.. Где? Покажи на них!

Отец... Как же, отец-то есть, да разве это

отец тебе?

Верно, и у этой то же самое».

Но вдруг в ту же минуту Вересов вздрогнул и отшатнулся назад: случайно отвратя глаза в другую сторону, он увидел своего отца.

Но — странно! — старик Морденко явился в церковь не по-всегдашнему, не в ободранном халатишке, подпоясанный дырявым фуляром, не в том обычном костюме, в котором украдучись пробирался он обыкновенно, в вечерней темноте, на паперть Сенного Спаса, чтобы двурушничать промеж нищей братии, — нет: теперь на старом скряге-ростовщике был надет его лучший долгополый темно-синий сюртук, в который облекался он только в самых экстраординарных случаях, на плечах висела новая ильковая шуба, в руке — шапка соболья — и то и другое, очевидно, из заложенных, но не выкупленных вещей. На желтовато-сухом, старчески выцветшем лице написано торжество необычайное: стеклянный, неподвижный взор его как-то приободрился и блестит, как блестят иногда в камине совсем уже потухающие угли: сейчас вот, мол, огонь умрет, застынет, а последняя

искорка тем-то и светлее, тем-то и ярче кажется в окружающей темноте. На сморщенно-сжатых и тонких губах его так и проскальзывала необыкновенно самодовольная, гордо торжествующая и счастливая улыбка; во всех движениях так и кидалась в глаза какая-то возбужденность, энергия, живость; словом — Морденко совсем не походил на себя, на тот угрюмый и как бы полуживой скелет, обтянутый пергаментно-желтой кожей, каким все уже давным-давно привыкли видеть его. В жизни этого старика, очевидно, совершилась какая-то необычная метаморфоза: он весь сиял, торжествовал, стряхнув с себя прежнего, затхлого и ветхого, залежавшегося Морденку, — теперь уж он был и тот, да не тот Морденко, а как будто обновленный, помолоделый, счастливый, удовлетворившийся и потому торжествующий.

Свечной староста и церковные прислужники, привыкшие уже в течение стольких лет видеть его на своей паперти в его былом, угрюмом и поношенном, образе, немало удивились, заметя столь необыкновенную перемену, особенно же удивился староста, к кото-

рому, войдя в церковь и торжественно положив три земных поклона с осененьем себя широким, медлительным крестом, прежде всего подошел Морденко.

— Доброго утра, почтеннейший! С праздником! — обратился он к старосте, забывая, что теперь не время для таких приветствий и что благочестивые люди приветствуют друг друга не за обедней, а после нее. — Позвольте-ка мне четыре полтинных свечи, — продолжал он, — четыре полтинных: Спасу и Пречистой, празднику и Всем Святым.

Староста, удивленный столь необычно щедрой для известного скряги церковною жертвою, поглядел на него с изумлением, однако же ничего не промолвил и положил перед ним четыре большие свечи.

Морденко вынул трехрублевую бумажку и попросил сдачи медными:

— Нищую братию оделить желаю.

Пока староста набирал ему медяков, старик не утерпел, чтобы не попробовать на ладони вес четырех свечей: точно ли, мол, они полтинные?

Получил в сдаче целую грудку разнокали-

берных медяков и опять-таки не утерпел: весьма тщательно пересчитал всю сумму.

— Почтеннейший, кажись, вы ошиблись на грошик... гроша не хватает.

Многолетняя привычная скаредность и тут-таки немножко просочилась.

— Нет, кажись, верно — позвольте перечту, — возразил староста и перечел. Действительно, его счет оказался верным. Морденко слегка сконфузился, улыбнулся и извинился тем, что ему так показалось: от старости глазами плох стал.

— Так вот, перешлите, как сказано, — продолжал он, с поклоном вручая старосте купленные свечи. — Да вот что еще, почтеннейший: попросите там кого-либо, чтобы заявили батюшке, что я желаю молебен петь... благодарственный молебен — так пускай уж они после обедни отпоют мне его.

— Что это вы так ныне... торжествуете? — с благодушно-сановитой улыбкой заметил ему бородатый староста, который, созерцая такое необычно странное явление, никак не мог воздержаться, чтобы хоть немножко не удовлетворить своей любознательности на-

счет метаморфозы старого скряги.

— Да, почтеннейший мой, да! Торжествую! — ответствовал Морденко с радостно-самодовольным дрожанием в голосе. — Торжествую! Потому что Вседержитель справедлив... О, справедлив он... справедлив... Послал мне благое свое споспешение, на враги же победу и одоление послал!.. Слава долготерпению его, слава!..

И Морденко поспешно полез в задний карман сюртука за фуляровым платком и, отвернувшись, смахнул им выкатившуюся на глаза свои слезинку.

Затем отошел он к сторонке и, упав на колени, молился долго, бия себя в грудь и поматывая дрожащей головой.

Вересов видел его и всю предыдущую сцену, слышал почти все слова его, и захотелось ему уйти поскорее из церкви, чтобы не встретиться с ним больше — благо, пока еще старик не заметил его; но трудно было с теплой печкой расстаться, да и потом невзначай взглянул на молящуюся Машу, и почему-то невольно вдруг захотелось ему остаться подле нее, не отходить от нее, быть как можно

дольше вместе с нею — нужды нет, что встретится с отцом! Что ж из этого? Пускай встречается! Пускай он видит да любуется, до чего сам же довел своего сына! «Да полно, сын ли я ему еще! — думает Вересов. — Неужели отец, родной отец мог бы быть таким к своему сыну? Неправда! Приемыш я ему — и только, а приемыша — что жалеть? Не кровь ведь!»

И он опять погрузился в свои невеселые думы, время от времени взглядывая на тихо плачущую девушку.

Отошла служба, отпели и заказанный Морденкой молебен. Немногочисленные молельщики вышли из церкви, пошел и Морденко за ними, но, проходя мимо печи, вдруг остановился, недоумелый и пораженный: он нечаянно столкнулся взорами со своим сыном — и в первое мгновение как будто обожгла старика эта неожиданная встреча. Но тотчас же посуровело его желтое лицо, словно бы вдруг оно деревянным сделалось, и ни один мускул не дрогнул на нем, когда он с этим неподвижно осуровевшим лицом, по видимому спокойно и твердо, прошел мимо сына, показывая вид, будто совсем и не замеча-

ет его.

Вересов выдержал на себе его стеклянный, холодный взгляд и, не потупя в землю взоров, без смущения, проводил ими старика до самого выхода.

Маша кончила свою молитву. Глаза ее были еще влажны, но грудь уже дышала спокойнее и легче. Несколько времени она оставалась в прежнем положении, бессильно опустя на колени сложенные руки и прислонясь головою к печи, как бы утомленная, в каком-то религиозно-сладком забытьи; веяние молитвы не успело еще отлететь от нее.

Но вот она очнулась и огляделась вокруг: все пусто уже, никого нет — один только Вересов стоит рядом и смотрит... смотрит на нее такими грустными, тихими и добрыми глазами. Маша поднялась с пола, кротко улыбнулась ему и, прошептав: «До свиданья», тихо и спокойно удалилась из церкви.

Вересов хотел было что-то сказать ей, но почему-то замедлился так смущенно и нерешительно, затем постоял еще с минутку в самом тупом раздумье и тоже пошел на улицу.

Куда? Неизвестно! Все по-старому, по-вче-

рашнему. Впереди предстоит еще целый день бесцельных шатаний по улицам, голода, холода, изнеможения и отчаяния.

А день только еще начинается.

Таким образом судьба свела и на несколько часов сблизила и вновь развела, и вновь затеряла одно для другого эти два существа — жалкий и грустный плод самодовольно-сытого распутства этих высокорожденных князей Шадурских, которые, развратничая и подличая, под надежным прикрытием своих гербовых щитов, конечно, и не помышляют о том, что какому-нибудь *незаконному* их сыну Ивану Вересову придется когда-нибудь красть от голоду, а *незаконной* дочери, быть может, продавать себя, чтобы не околеть в холодной барке. Добродетельно жуируя жизнью, некогда думать о таких ничтожных вещах, и тем более что, раз швырнув сколько-нибудь денег какому ни попало воспитателю — лишь бы с рук долой! — эти отцы и матери остаются уже в полном убеждении, что они искупили свою маленькую шалость, что они правы перед этими незаконными детьми, что больше и требовать от них ничего нельзя, что эти дети

могут даже и не знать, кто именно потрудился их на свет произвести, и что с ними ни случись потом в жизни — это уже не наше дело, а нам — нам можно вновь развратничать и делать подлости, соблюдая свой нежный родительский долг лишь по отношению к своим детям *законным* — прямым наследникам нашего герба, состояния и распутства.

X
УДАР НЕ ПО ЧЕСТИ, А ПО КАРМАНУ

Молодой князь Шадурский сбирался за границу якобы для излечения от опасных ран — поэтому, конечно, ему нужны были деньги.

Старый князь Шадурский проигрался у баронессы фон Деринг — поэтому ему безотлагательно нужны были деньги.

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская обещала своему другу Карозичу заплатить один его маленький долг; княгиня во что бы то ни стало должна была исполнить свое обещание, под опасением иначе лишиться его дружбы, — поэтому ей точно так же, как мужу и

сыну, необходимо нужны были деньги.

И ни у того, ни у другого, ни у третьей денег в наличности не было.

Единственная надежда — как и всегда в подобных случаях — оставалась на Хлебонасущенского. «У поповича есть деньги, — думал про себя каждый из трех членов сиятельного семейства, — он либо из своих даст, либо откуда-нибудь под вексель достанет».

Поэтому они уже дважды посылали за поповичем, но того все дома не было. Наконец вечером он явился, и явился с физиономией, хранившей солидно-важную опечаленность, словно бы обладатель ее сбирался известить о чьей-нибудь родственно-близкой кончине.

Он вошел своей кошачьей, мягкой походочкой, но вошел молча, без улыбочки, даже височков не приглаживая, и поклонился с выражением сдержанной, но глубокой огорченности.

— Наконец-то вы, мой милый, пришли! — воскликнула княгиня с родственно-дружественным упреком. Когда Шадурские чувствовали необходимость в Хлебонасущенском, а тем паче в деньгах, они всегда принимали с

ним этот, по их мнению, «подкупающий» родственно-дружественный тон.

— Prenez place![438] — грациозным движением руки указал ему на кресло старый гамен, забывая, что Полиевкт по-французски не смыслит, и в то же время не забыл полюбоваться в зеркало, сквозь одноглазку, на свой пестрый галстучек и откидные воротнички a l’enfant[439].

— Ну, что почтамтские певчие? Что ваши рыженькие шведочки поделывают? — фамильярно приветствовал его молодой Шадурский, зная, что сии два предмета составляют сердечную слабость Хлебонасущенского и потому рассчитывая, в некотором роде, польстить ему своим вопросом. О шведочках же постоянно осведомлялся он еще и в качестве записного кавалериста.

Но Полиевкт Харлампиевич на все эти любезности отвечал только поклонами, отнюдь не изменяя сдержанно-огорченному и постному выражению своей физиономии.

«Чувствует, верно, старый плут, к чему клонится дело!» — подумала с досадой княгиня, однако же выразить свою досаду она по-

чла неполитичным, а напротив того — изобразила самую приятную, самую приветливую улыбку и необыкновенно мягко предложила ему расположиться в кресле, поближе к ней, потому что надо потолковать о деле.

Но Хлебонасущенский и тут не внял ее сладкому призыву и в кресле не расположился, а ограничился тем, что подвинул несколько стул и сел на него самым почтительным образом, не прикасаясь даже к спинке.

Увы! Такое начало не могло предвещать сиятельному семейству никакого благоприятного исхода; поэтому всех троих незаметно, однако ж очень нехорошо, передернуло.

— Что угодно приказать вам? — безлично проговорил Хлебонасущенский, с сдержанным вздохом и взорами, до полу опущенными.

«Ну, уж верно, какую-нибудь каверзу подведет, каналья!» — помыслил молодой Шадурский, и все трое в один голос обратились к управляющему:

— Денег, милейший Полиевкт Харлампиевич! Денег надо! Добывайте денег нам! До зарезу нужно! Необходимо, голубчик! Крайне!

Понимаете ли, крайне необходимо!

Хлебонасущенский паче того опостнил физиономию, и хотя бы слово в ответ! Только еще ниже потупил в землю свои взоры.

— Что ж вы молчите, милый вы наш? Выручайте! Вы знаете, мы ведь отдадим! — снова заговорили Шадурские.

Полиевкт немножко откашлялся и начал тихо, осторожно, внятно, словно бы какую лекцию или проповедь.

— Вашим сиятельствам небезызвестно, — начал он с новым вздохом, — что за последнее время наши дела сильно расстроились, за прошлый и за нынешний год мы должны были сделать несколько новых займов, доходы с имений очень и очень скудны при этом нынешнем переходном состоянии; опять же дело с этою госпожою... с Бероевой, тоже немало поглотило всяческих издержек — я даже из своих собственных, из последних денег принужден был расходоваться на него. Все это, конечно, известно вашим сиятельствам.

При имени Бероевой молодой Шадурский старался неопределенно смотреть куда-то в сторону, а княгиня очень усердно, однако не

без грации, расправляла кончиками изящных пальцев пушистую ангорскую бахрому своей легкой накидки, причем взоры ее были вполне поглощены этим занятием. И мать, и сын при напоминании им этого имени и этого дела как будто невольно чувствовали какое-то неопределенное смущение: им было не совсем-то ловко. Один только гамен безмятежно поигрывал своим стеклышком, любуясь на лакированный носок своей прекрасной ботинки, да Полиевкт Хлебонасущенский сохранял вполне невозмутимую степенность, словно бы ни на волос не чувствовал за собою ничего такого, что бы могло шевельнуть или поскребсти его совесть.

— Так вот-с, изволите ли видеть, — продолжал он с неизменным при начале вздохом, — в приходе состоит у нас очень мало, почти сущая ничтожность, тогда как расходы за последние два года становятся все пуще и пуще, даже с каждым почти месяцем все возвышаются. Мы никогда не тратили так много, как в это время. Имения-с и дом, как известно вашим сиятельствам, давным-давно заложены и перезаложены. Стало быть, что же-с? Мы

ведь кое-как, слава Создателю, перебивались еще старым кредитом, ныне же, к несчастью, наш кредит... Сколь мне ни прискорбно, я должен объявить это... Я не смею утаить от ваших сиятельств!.. Ныне кредит наш лопнул... то есть так-таки совсем, как быть надо, лопнул-с!

Хлебонасущенский сокрушенно вздохнул, воздел очи горе, сложил свои руки и пощелкал пальцем о палец.

Шадурские сидели как громом пораженные, не вымолвя ни слова, и только пожирали его своими тревожно-недоумевающими взорами. Даже гамен забыл свое стеклышко и лакированный кончик ботинки.

— А теперь, еще на днях, нам нужно в опекунский совет вносить, и нам нечем внести — буквально: *нечем-с!* — *с* ударением вздохнул Полиевкт, пожав плечами и выразительно шевельнув свои брови.

— Кредиту нет?! Как! Помилуйте! Да что же *вы*-то думали? Чего же *вы*-то ждали! Это ваша забота! — накинулись на него все трое Шадурских. — Кредиту нет! Как нет? Почему нет? Да где же он? Ведь был же кредит! Был

же он! Что ж это значит? Это вы, *вы* виноваты! Это все ваши опущения, ваша нерадивость! Так-то вы нас любите! Так-то вы нам преданы!

Хлебонасущенский со смирением выдержал этот напор семейной бури и, дав ему поуспокоиться, изобразил на лице своем самую горькую усмешку, с оттенком мученически-христианского всепрощения.

— Не думал я, — начал он растроганным голосом, — да-с!.. не думал я, чтобы за всю мою усердно-верную и многолетнюю службу мог удостоиться от ваших сиятельств, от обожаемого мною семейства столь несправедливых, незаслуженных укоров!.. Я — христианин, сердце мое чисто перед Господом: Господь зрит вся моя внутренняя (Хлебонасущенский, говоря это, был торжественно чувствителен и растроганно-огорчен). Господь — судия неумытный! *Я* виноват?.. *Мои* упущения?.. *Моя* нерадивость? *Я* ваш кредит подорвал? Да ведь у меня самого кровных моих денег до осьми тысяч состоит за вашим семейством-с! И я никакого документа, никакого формального обеспечения не имею! Ну, так

статочное ли дело, как будучи в существовании своем зависим от вашего благосостояния, статочное ли, говорю, дело, чтобы я сам стал не радеть, упущения делать и тем паче подрывать кредит ваш? Вы теряете — значит, и я теряю, судьба наша общая-с! Нет, ваше сиятельство!.. Нет! — заключил он с особенной силой выражения. — Не ждал я, истинно могу сказать, не ждал я от вас, при старости лет моих, такого укора! Это меня сильно-с огорчает!.. Это... это благодарность за всю мою службу!

И Хлебонасущенский, отвернувшись в сторону, как бы от преизбытка чувств своих нервно вынул платок и поднес его к лицу — может быть, для того, чтобы отереть набежавшую слезу, а может, и просто, чтобы смахнуть остаток табачной понюшки с кончика своего носа.

— Но позвольте! — энергически вмешалась Татьяна Львовна, смыслившая более мужа и сына в своих семейно-финансовых делах. — Вы не виноваты? Так кто же виноват? Отчего вы заранее не предупредили нас, что все это так плохо? Мы бы могли поостеречься,

принять свои меры, ну, наконец... наконец даже сократить свои расходы, уехать отсюда! Зачем же вы молчали?

Полиевкт неторопливо поднялся с места с таким видом, который изобличал в нем намерение поразить сиятельное семейство самым неожиданным, но вместе с тем самым сильным и неотразимым ударом. Он чувствовал свою силу, сознавал, что останется прав, и как будто нарочно приберегал к концу этот милый сюрпризец.

— Я молчал! — укоризненно закивал он головою с тою же горькой усмешкой в лице и голосе. — Я молчал!.. Нет-с, ваше сиятельство! Не угодно ли будет вспомнить вам, что еще два года тому назад, по приезде вашем из-за границы, я предупреждал вас! Я предупреждал, что Морденко скупает понемногу векселя их сиятельства князя Дмитрия Платоновича, одновременно с тем-с также скупает и документы князя Владимира Дмитриевича, а равно и ваши-с, ваше сиятельство! Я тогда же имел честь доложить об этом.

— Ну так что же! — с неудовольствием вмешался старый гамен. — Ведь я вас посы-

лал тогда к этому Морденке! Вы какой ответ привезли мне? Вы сказали, что он нарочно, из чувства признательности, скупает мои векселя, помня добро мое. Что он не хочет, чтобы меня тревожили мои кредиторы! Так или нет?

— Так-с, ваше сиятельство! Все это совершенно справедливо, но вспомните также и то, что я тогда же предупреждал вас: «Эй, не доверяйтесь, ваше сиятельство! Обманывает! Тенета плетет!» Что, не говорил я вам тогда этого? Не говорил? А вы мне что отвечали на это: «Это, мол, братец, не твоего ума дело; у нас, мол, точно есть старые счеты, и я, мол, очень признателен, что он чувствует это». Вот она и вышла — его признательность. Правда и то, что Морденко целые два года после этого не тревожил ваших сиятельств, однако же векселя-то все-таки продолжал скупать себе потихоньку да исподволь... А я что делал? А я нет-нет да время от времени и напоминаю об этом вашему сиятельству, как только дойдут до меня какие бы то ни было, хоть самые пустячные слухи: «Так и так, мол, ваше сиятельство, не вышло бы из этого ка-

кой опасности!» Стало быть, что же-с! Я предупреждал! Я бдил! Я провидел! А вы что мне изволили каждый раз отвечать на это? Потрудитесь-ка вспомнить теперь, ваше сиятельство! Вы мне отвечали, что я этого не понимаю, что Морденко скупает векселя, однако же не тревожит, — стало быть, он чувствует свою вину какую-то (какую — о том я неизвестен), стало быть, он хочет загладить ее, исправить свое поведение! Я очень сожалею, что вы, наперекор мне, могли быть так доверчивы. Ваша бдительность была усыплена его коварственной бездейственностью в течение двух лет. Но я все-таки вам напоминал, и неоднократно напоминал, — только голос мой не был принят в должное внимание, а теперича, выходит, я один виноват во всем! Где же справедливость, ваше сиятельство, где же справедливость-то?!

Шадурские дали кончить Полиевкту его продолжительный и столь патетический монолог, и только тогда, когда он выложил перед ними все свои доводы, княгиня Татьяна Львовна решилась предложить ему вопрос о том, какой смысл и значение имеют слова его

о Морденке, при чем тут этот Морденко и какую роль играет он во всем этом?

— Морденко-с? А вот какую роль! — не торопясь, но многозначительно ответствовал управляющий. — Морденко исподволь скупал векселя их сиятельств, князя Дмитрия Платоновича. Скупал он их исподволь, незаметно, в течение нескольких лет-с; и так как по обременительности для нас многозначительных долгов наших кредит наш давненько-таки начал уж падать, и чем дальше, тем все больше, то у многих кредиторов, конечно, явилось сомнение в возможности получить сполна всю сумму. Ну-с, а при сем вам, конечно, известно и то, что зачастую, занимая наличными деньгами примерно тысячу рублей, документы выдавались на две и даже, случалось, на три тысячи, когда нужда в деньгах бывала такая, что вот тут ты их сейчас вынь да и положи. Стало быть, что же-с? На все на это была не моя, а опять-таки ваша собственная воля-с, и не мое личное это достояние. Я только и мог советовать и представлять свои резоны, которые не всегда бывали приняты во внимание. И, стало быть, что же я-то теперича при всем

при этом-с? Извольте вы сами рассудить, по всей строжайшей справедливости! Морденко же, между прочим, воспользовался ослаблением нашего кредита и скупал по ничтожной цене, особенно же вот — опрометчивые векселькиｰто, где за тысячу иной раз мы по три писали, а потом, со временем, и того еще дешевле они ему доставались, потому заимодавцы, видя такое ослабление кредита ваших сиятельств, радехоньки бывали рубль за полтину сбывать. Он этим и пользовался: где полтину, а где и по двадцати копеек за рубль платил, так что, во-первых, документы наши доставались ему исподволь, не делая ущерба его капиталу, а во-вторых, почти за ничтожную сумму, и он, стало быть, нисколько не внакладе. Я вам всегда говорил: «Опасайтесь, ваше сиятельство, этого Морденку!»

— Ну и что же из этого следует? Что вы так распространяетесь? К чему ведете это все? Скорее к делу! — нетерпеливо и досадливо перебили его Шадурские — мать и сын.

— Дело не замедлит-с, — спокойно возразил Хлебонасущенский, — к делу-то я это и веду-с! Изволите ли видеть, ваше сиятельство,

дело в том, что Морденко в общей сложности скупил наших документов на сто двадцать пять тысяч серебром, а это, при существующем казенном долге да при остальных наших долгах, положительно превышает стоимость нашего имущества. Если бы могли еще уплатить теперь хотя казенные проценты в опекунский совет, то как-нибудь можно бы было проволочить дело, но теперь — все, решительно все уже лопнуло!

— Ну так что ж, что скупил! — спокойно заметил слабый на сообразительность гамен. — Ведь он не желает теснить меня! О чем же вы, почтеннейший, так много беспокоитесь? Умерьтесь, говорю вам: les affaires ne vont pas encore si mal, comme vous croyez [440].

Хлебонасущенский поглядел на него с грустной и даже презрительно-сострадающей улыбкой.

— «Не желает»! Ваше сиятельство так-таки и полагаете, что «не желает»? Ну-с, а я вам скажу, что каждый почти из купленных векселей был уже предварительно протестован прежним владельцем, а ныне Морденко —

нежелающий-то ваш — представил их в совокупности ко взысканию!.. На сто двадцать пять тысяч рублей серебром-с! Вот оно и «не желает»!

Известие это имело действие бомбы, внезапно упавшей сквозь потолок: княгиня так и окаменела на месте, князь-гамен, вскидывающий в это самое мгновение свое стеклышко, так и застыл с ним на полпути к своему глазу, а князь-кавалерист как ошпаренный вскочил с кресла и неподвижно глядел на Хлебонасущенского.

Удар по карману для сиятельного семейства был даже гораздо чувствительнее ударов по фамильной чести.

Один только Полиевкт оставался в эту минуту грустно-торжественно-спокоен и созерцал каким-то расслабленным взором попеременно каждого из трех своих собеседников. И он мог быть спокоен, он имел полное право вкушать блаженное безмятежие, ибо его собственный капиталец, тысчонок до ста, сколоченный более чем за двадцать лет почти бесконтрольного управления делами Шадурских, был цел и хранился в надежных госу-

дарственных учреждениях, а если и терял он теперь за Шадурскими тысяч до осьми, то все-таки, сравнительно, это была незначительная лепта, на которую вдовица Хлебонасущенский мог, пожалуй, и рукою махнуть — у него оставался очень да и очень кругленький капиталец для того, чтобы отойти на полный покой, жить барином в свое удовольствие и даже, для отдания общественного долга, быть членом «благородного собрания».

— Что ж это теперь!.. Тюрьма?.. Разорение?.. Боже мой! — проговорила наконец княгиня, подавленная своим ужасом.

— Воля судеб, ваше сиятельство, воля судеб-с! — сокрушенно пожал плечами Хлебонасущенский. — Что ж делать! Наг родился, наг и в землю отыдешь. Смирение — вот совет, который предлагает премудрый!

— Убирайтесь вы к черту с вашим премудрым! — запальчиво закричал князь Владимир, с ожесточением принимаясь шагать по комнате.

Полиевкт проводил его глазами с выражением некоторого изумления, но спокойствию своему не изменил нимало.

— Вы люди молодые-с, ваше сиятельство, — скромно заметил он на эту запальчивую выходку, — вам одно приличествует, энергия эта, а мы, убежденные опытом, так сказать, — мы это понимаем глубже-с!

— Что ж теперь будет, мой милый? — хлопая глазами, спросил его старец.

— Кроме неблагоприятностей, ничего хорошего быть не может, ваше сиятельство!.. Ничего хорошего!.. За нами есть еще кой-какие порядочные документишки, кроме Морденки, и в других посторонних руках. Эти же кредиторы, как только проведают, что подано ко взысканию, поторопятся сделать то же самое. На недвижимость казна секвестр наложит, а движимость с молотка пойдет, так что мы, значит, и самого дома этого, фамильного достояния предков своих, должны будем лишиться!

Хлебонасущенский говорил все это грустно-сокрушенным тоном, и говорил не иначе как в первом лице: *мы* и *наше*, дабы изъявить перед злополучным семейством всю близость их горя к его собственному сердцу, дабы показать им, что их радости были когда-то и его

радостями, а ныне их невзгода есть и его невзгода, при коей он сам, на старости лет, точно так же лишается всех средств к существованию.

— Но я спокоен!.. Я спокоен! — с смиренным достоинством вздохнул он через минуту. — Я мужественно подставляю выю своей судьбе: рази меня! Я спокоен! Я приму удар!

— Черт возьми! Он спокоен! — горячился молодой Шадурский, забыв всякую меру и приличие. — Он спокоен!.. Я думаю, можно быть спокойным, двадцать лет набивая свои карманы!

— Voldemar, au nom du ciel, tais-toi![441] — подняла на него княгиня свои молящие взоры.

— Оскорбление ваше не могу почесть для себя таковым! — заметил ему Полиевкт Харлампиевич с великим достоинством, хотя сам побагровел от гнева. — Вседержитель зрит мое сердце! Но дабы не подвергнуться еще какой-либо подобной вспышке, я удаляюсь!

И Хлебонасущенский, холодно и сухо поклонившись общим поклоном, с достоинством вышел из комнаты, несмотря на то что

княгиня со старым гаменом кричали ему вдогонку:

— Полиевкт Харлампиевич, куда вы? Мой милый! Останьтесь! Полноте!

Но «милый» не заблагорассудил вернуться. При настоящем обороте дел он безнаказанно мог и личное достоинство свое проявить перед теми, которые заставляли его столько лет выносить всяческие щелчки, и мелкого, и крупного свойства, беспрепятственно наносимые его самолюбию и благоразумно им терпимые ради бренных выгод, которых, по-видимому, впредь уже не предстояло: стало быть, теперь и поломаться можно было во всю свою волю.

— Что ты наделал! Что ты наделал! Ну можно ли это! Ведь он нам нужен еще! — с досадой укорила княгиня своего сына, который в ответ ей только рукой нетерпеливо махнул и продолжал ходить по комнате.

Гамен глубоко погрузился в свое кресло и сидел как-то желчно задумавшись. Казалось, этот нежданный удар по карману пробудил в нем нечто похожее на серьезное сознание, на какую-то тревожно-желчную мысль.

Княгиня, чувствовавшая внутреннюю потребность сорвать — сорвать на ком-нибудь — хотя часть своей горечи и накипевшей досады, с нескрываемой ненавистью и презрением оглядела своего жалкого гамена.

— Вот до чего вы довели нас с вашей безумной расточительностью! — заговорила она к нему, с дрожанием истерических слез в напряженном голосе.

Гамен, не без основания, удивленно взглянул на нее сквозь свою одноглазку.

— Да! Да! — с силой продолжала взволнованная княгиня. — Вашей беспечности, вашей расточительности мы должны быть обязаны тем, что остаемся теперь нищими! Вы испортили всю карьеру вашего сына! Вы один причиной этому! Что вы смотрите на меня? Что вы молчите, достойный отец?!

— Ну, в этом, пожалуй, и мы с вами помогали! — буркнул сквозь зубы молодой Шадурский, в то время как старый не спускал лорнета со своей супруги.

Княгиня вздрогнула, словно ужаленная, вскинув глаза на своего сына; однако предпочла оставить без возражения его малоцере-

монное замечание и снова, еще с пущим раздражением, обратилась к злосчастному гамену:

— Да! Вы один всему причиной! Вы помните, как вы поступили с Морденкой! Не будь той сцены — ничего бы этого не было!

Татьяна Львовна, подавленная своею новою невзгодою, под ее горячим и ужасающим впечатлением, неблагоразумно дошла даже до некоторого цинизма своих воспоминаний — тех воспоминаний, которые всю жизнь она тщетно старалась забыть, заглушить в глубине своего сердца. В эту минуту в намеке, понятном только ее мужу, невольно прорвалась у ней, сквозь кору светской и очень сдержанной женщины, ее непосредственная, неподкрашенная натура.

Гамену показалось оно уже слишком. Он поднялся с кресел и остановился перед супругой.

— Так, по-вашему, я должен был молчать! Я должен был терпеть весь скандал вашей связи! Нет-с, покорно благодарю! — Он коротко поклонился. — В этом не меня, а себя вините! Все это — достойный плод вашего поведе-

ния!

Молодой князек, шагавший доселе из угла в угол, вдруг обернулся на полпути, по направлению к своим родителям, остановился на месте и чутко насторожил уши.

Родители мгновенно прикусили язычки. Они спохватились, что зашли уже слишком далеко в обоюдных укоризненных воспоминаниях, так что даже не обратили внимания на присутствие третьего лица; они ясно увидели, что вконец забылись теперь под влиянием горечи и злобы, причиненной им неожиданным ударом по карману. Но... неблагоразумный шаг в присутствии сына был уже сделан и поправить его не оставалось никакой возможности.

Оба разом осеклись и очень сконфузились.

— Как! Так тут еще есть и таинственный роман какой-то! — прищурясь на них, протянул молодой Шадурский, которому с самого раннего детства не особенно было знакомо уважение к отцу и матери и который с того же самого возраста очень хорошо видел и понимал разные посторонне-интимные отношения батюшки и матушки. А в данную минуту,

под влиянием досады и озлобления, чувство приличной деликатности было слишком бессильно, чтобы удержать его от этого откровенно цинического замечания.

Княгиня побагровела и потупилась низко-низко, не смея поднять глаза на сына. Внутри у нее все кипело; истерические слезы готовы были хлынуть из глаз. Гамен тоже пребывал в глубоком молчании и, растерянный, как мокрая курица, кося куда-то в сторону, болтал, по обыкновению, своей ногой и стеклышком.

— Вот, однако, новость!.. А я этого и не подозревал! — с преднамеренным хладнокровием продолжал меж тем юный Шадурский: он тоже, кажись, был рад ухватиться за этот кончик, чтобы сорвать на ком-нибудь и свою собственную злобу, благо — подходящий случай наклевывается.

— Уйди вон отсюда! Тебе не место здесь! — строго возвысила к нему голос княгиня, не подняв, однако, своих взоров. С каждым мгновением она терялась и раздражалась все более. Эта выработанная, аристократически приличная сдержанность совсем уже готова

была покинуть ее в столь экстраординарную минуту.

— Ха!.. — нагло усмехнулся ей князь Владимир. — Да вы, я вижу, принимаете меня за младенца невинного? Жаль: немножко поздно!

— Я тебе говорю, уйди отсюда! — усилилась проговорить ему княгиня надсаженным гортанным звуком от слез, подступивших к горлу и уже готовых хлынуть. Она чувствовала, что ее волнение и злоба еще через минуту подобной пытки перейдут уже в чистое бешенство.

— Нет, зачем же? Я могу и здесь остаться! — спокойно возразил сынок, играя с матушкой, словно кошка с мышкой. — Ведь мы, если не ошибаюсь, сводим теперь семейные итоги? Почему же и старый счет не вспомнить?

Татьяна Львовна с нервной стремительностью вскочила с места и, вся вне себя, раздраженно бросила в гамена свой скомканный носовой платок, а гамен в эту минуту все еще болтал ногою и стеклышком. К сыну почему-то княгиня не дерзнула отнестись с подоб-

ной демонстрацией, вместе с которой, не скрывая уже всей глубины самого пренебрежительного презрения и нервного бешенства, она проговорила мужу:

— Oh! Vieux bonnet![442] — И, с рыданием, быстро исчезла из комнаты.

Платок попал по назначению и скатился на болтающуюся ногу гамена, которого сей неожиданный пассаж привел в немалое изумление и злобственно вывел из терпения. Гамен почувствовал себя оскорбленным.

— Oh! Sapristi!..[443] Это... это уж слишком! — взволнованно сошвырнул он с ноги платок княгини и, раздраженным петушком, руки в карманы, встал и прошелся по комнате.

Князю Владимиру вся эта сцена, по-видимому, доставила злорадное удовольствие.

— Что, досталось? — оскалившись, поддразнил он своего батюшку. — Хлебонасущенский говорит, что какой-то премудрый смирению учит...

Гамен молчал, продолжая взволнованно мерить шагами пространство комнаты.

— Так какой же это роман? Расскажи-

те-ка! — злорадно подстрекал его меж тем князь Владимир.

— Роман? — остановился тот перед сыном. И в глазах его засверкало чувство оскорбления и злости к своей отсутствующей супруге. Это чувство в данную минуту пересиливало все остальные и заставило умолкнуть ту малую долю сообразительности и рассудка, которую оставила ему судьба на старость.

— Ты хочешь знать роман твоей матушки? — повторил он с возрастающим раздражением. — Изволь, отчего же! Она была любовницей Морденки, а может быть, и братец твой где-нибудь щеголяет по свету, если только жив! Вот тебе роман! Что, нравится!

И с этими словами старик вышел из комнаты, громко хлопнув за собою дверью.

Князь Владимир остался один.

Порыв злобно-цинической насмешливости, охвативший его за минуту до этого, исчез с уходом отца. Злобы своей нимало не утолил он, несмотря на то что рад был сорвать ее вначале на ком бы то ни было. И хотя ни любви, ни уважения давным-давно уже не питал он к этому отцу и к этой матери — не потому,

что считал их недостойными такого чувства — это было бы уж чересчур высоко для князя Владимира, — а просто потому, что не случилось его как-то с самого раннего детства; хотя знал он и ведал все их шаловливые и мало пристойные старости делишки, однако маленькие детали той истории с Морденкой, о которой сперва не то что узнал он, но мог только догадываться из неосторожного намека, сделанного гаменом своей жене, произвели на него вдруг какое-то скверное впечатление. Ему стало скверно даже и от того тона, каким гамен передал эти детали. Он понуро сидел теперь верхом на мягком стуле, облокотясь на его спинку, и с мрачной озлобленностью беспощадно грыз свои образцово-прекрасные ногти. А если уж до ногтей коснулось, до тех самых ногтей, которые так рачительно воспитывал и холил князь Шадурский, стало быть, дело выходило уж очень и очень плохо. Забытые ногти были принесены в жертву ощущению мрачной, но бессильной злобы, при одной ужасающей мысли о том, что ему предстоит разорение, что через какой-нибудь месяц, много два, он останется

круглым нищим, без средств к самому скромному существованию, с коим никак бы не мог примириться, без возможности продолжать карьеру в свете и в одном из самых лучших, самых блестящих полков. За границу удрать нельзя: не выпустят, если уже векселя представлены. Придется выйти в отставку, а выйдешь в отставку — стало быть, в долговую тюрьму посадят.

— Срам... нищета... позор! — скрипел зубами Шадурский, тогда как ногти его так и щелкали под этими зубами. — Придется удрать... Но куда удерешь?.. В армию перейти бы, что ли?.. Да чем жить-то станешь?.. Жениться?.. На содержание идти к какой-нибудь старухе или купчихе?.. Это бы можно, да не подыщешь сразу, а тут тебя пока до содержания — в грязи затопчут, в долговой тюрьме сгноят... О проклятые! Из-за их подлых романов *я*, только *я один* терпеть должен!.. За что? за что же? я-то чем виноват тут?.. Им — другое дело! Им — поделом! Не вяжись с хамами! Не развратничай! Но я-то! я-то при чем же тут?!.

Последние мысли у князя Владимира относились непосредственно к батюшке с матуш-

кой, и он при этом совершенно искренно склонен был думать, что всему злу они одни только причиной, а он — неповинная жертва. Свой собственный разврат и личная мерзость даже и в голову не могли прийти юному князю: он их не только не сознавал разумно, но даже не чувствовал; причем жизнь, подобная той, какую он вел почти с четырнадцатилетнего возраста, почиталась им явлением вполне законным, необходимым и самым естественным, потому — *все* так живут, потому — нельзя иначе. Они — родители — должны были позаботиться о нем, о своем сыне, если уж им заблагорассудилось произвести его на свет: они не должны были мотать и развратничать до последней минуты, чтобы доставить ему полные средства жить прилично. Не испорть они своего состояния, своего кредита — ему было бы хорошо, а теперь он — жертва! Невольная, неповинная жертва! И князь Владимир не скупился на грызку ногтей и самые энергические пожелания гамену с отживающей ex[444]-красавицей.

— Что же, однако, делать? Что делать мне? — тщетно ломал и ерошил он свою бес-

сильную голову. — Одно остается только — пулю в лоб!

Но последняя мысль пришла ему так себе, с ветру, совершенно внешним образом, отнюдь не вызванная настоятельной, нравственной необходимостью, и поэтому он выразил ее только так, что называется, сплеча, более для одной красивой фразы. В действительности же мелочно жизнелюбивый князь Владимир совершенно не был способен на самоубийство: силенки и твердости не хватало.

И таким образом долго еще сидел он, погруженный в безотрадные думы, вотще негодуя на обстоятельства, столь нежданно и вместе с тем столь решительно хлопнувшие по карману все это блестящее и почтенное семейство.

XI
КНЯГИНЯ ИЗЫСКИВАЕТ СРЕДСТВА

Все члены этого семейства уединились — потому что тошно им было вместе: каждый, в свою очередь, служил явным и живым упреком двум остальным, и кто был, в самом деле, виноват из них, кто был лучше — решить весьма затруднительно и даже невозможно, так что остается только сказать одно: все трое были лучше.

Княгиня с истерическим рыданием убежала в свою спальню и заперлась. Она бросилась на подушку и вырыдала первые порывы злобы и скоропостижного горя. Затем... затем она нашла, что время уж и успокоиться, приняла двадцать лавровишневых капель, поглядела в зеркало и, конечно, не могла не сознаться, что истерический припадок смял ее прическу и испортил тонкий слой изящных белил с румянами. Но в эту критическую минуту некогда было думать о красоте своей физиономии. Для княгини предстояла теперь более настоятельная дума о том, каким образом

вывернуться из безвыходного положения, и надо отдать справедливость: из всех членов этого семейства она одна только обладала тою практическою энергичностью, которая в самых запутанных и тяжелых обстоятельствах жизни не совсем-то падает духом и до последней минуты старается искать себе выхода. Словом сказать, княгиня Татьяна Львовна была и энергичнее, да, пожалуй, и гораздо умнее своего сына и супруга, сложенных вместе.

Долго ходила она быстрой, беспокойной походкой по своей комнате, в то самое время как гамен и кавалерист, окончательно обессиленные и павшие духом, предавались тщетному и безвыходному унынию в разных углах своего дома. Наконец Татьяна Львовна взглянула на часы — было около половины девятого — и, выйдя из своего добровольного заточения, приказала позвать к себе Хлебонасущенского.

Полиевкт, к удивлению ее, сказался больным и не пожаловал.

— Oh, quelle canaille![445] — с ожесточением воскликнула княгиня. Однако же, невзи-

рая на это вырвавшееся от чистого сердца восклицание, села к письменному столику и написала прелюбезнейшую записку к своему милому и родному Полиевкту Харлампиевичу, прося его немедленно прийти к ней — лично к ней одной, для необходимых переговоров о деле, с глазу на глаз, без присутствия какого бы то ни было третьего лица.

Записка, хочешь не хочешь, просила слишком мягко и убедительно. Полиевкт поморщился, почесал в затылке, чертыхнулся порядком, однако же, нечего делать, натянул свой синий фрак и спустился к матушке-княгине.

— Что угодно приказать вашему сиятельству? — в холодно-почтительном согбении остановился он в дверях.

— Ах, друг мой, родной вы мой!.. Полноте! Вы все еще сердитесь? Простите, забудьте! Этот негодный сорванец и меня оскорбил — хуже, клянусь вам, хуже даже, чем вас оскорбил! — обратилась к нему княгиня, по видимому с самым дружественным порывом, введя его под руку (чего никогда еще не случалось) в свою комнату и усадив подле себя на

диване.

— Я послала за вами. Мне более не к кому обратиться! — продолжала она с грустным энтузиазмом. — Вы всегда были самым близким другом нашего дома, мы вас так любим, и вы ведь всегда же находили средства выручать нас в... трудные минуты! Дорогой вы мой! Придумайте что-нибудь! Пожалейте вы хоть *меня* — ведь тут *все* убивается: имя, честь, состояние! Боже мой!.. Я не перенесу такого удара!.. Это страшно, страшно!.. Выручайте нас!

Хлебонасущенский в ответ на ее порыв только плечами пожал.

— Что ж я могу, ваше сиятельство? Я слаб и ничтожен! — пробормотал он с грустным смиренномудрием. — Капиталов — видит Создатель мой — не имею никаких, если и есть пустячная тысчонка-другая, то ведь это капля в море! Каплею же пламени не утушишь. А лучше уж, я так полагаю, приберечь ее на черный день, дабы хотя капля могла утолить жажду в пустыне. Когда уже все погибнет, то я, памятуя все милости ваши, охотно поделюсь тогда своей каплей с вашим сиятельством.

Хлебонасущенский нарочно поспешал размазывать эти сладостные речи, в том чаянии, чтобы предупредить княгиню, если бы она вздумала попросить у него взаймы, и чтобы в выставленных ей соображениях относительно малой капли иметь достаточный повод к благоприличному отказу.

— Э, Боже мой, да ведь я не о том! — перебила княгиня. — Благодарю вас, мой родной, но ведь я вовсе не о том прошу вас. Вы найдите мне средства задержать как-нибудь иск этого Морденки — вот о чем прошу я!

— А как его задержишь, ваше сиятельство? Альпийская лавина или какая-нибудь Ниагара там, что ли, неудержимы, и один только зиждитель может удержать их. Но что же слабый человек-то может в этом случае?

Княгине так и хотелось выгнать от себя эту великую дрянь — она ненавидела и презирала его в эту минуту, презирала в тысячу раз более обыкновенного и... все-таки поневоле изображала на лице своем самую дружественную, даже родственно-любящую улыбку.

— Вы виделись уже с этим негодяем? —

спросила она.

— С которым-с это? — недоумевая, сдвинул набочок свою голову Хлебонасущенский.

— Ну, с этим… как его?.. С Морденкой!

— Нет-с еще, не успел. Я только нынешним утром получил форменное извещение о его иске. Все это так внезапно произошло, никто и не ожидал, а я тем паче. Да-с, только нынешним утром, и все не решался доложить вашим сиятельствам: духу не хватало, потому — удар-с ведь это, очень чувствительный и неотразимый удар-с!

— Вот что, я думаю, надо нам сделать! — нашлась княгиня после двухминутного молчаливого размышления. — Поезжайте вы к этому Морденке, упросите его повременить хоть на неделю. Когда срок опекунскому совету?

— Да через восемь деньков-с, ваше сиятельство, недалеко-с!

— Через восемь? Ну это я успею обделать еще! Я достану! Во что бы то ни стало, а достану — брильянты, картины, бронзу, фарфор заложу, все заложу, а достану! Проценты внесем! — энергически рассуждала княгиня. —

Только вы-то, Бога ради, поезжайте! Употребите все ваше красноречие, весь ум, только пусть он согласится обождать одну неделю, а вы ведь там со всеми этими чиновниками знакомы, они для вас сделают, приостановят иск. Ну в крайнем случае даже дайте им что-нибудь, я отдам вам потом.

— Все оно так-с, ваше сиятельство, да только что же из того выйдет благоприятного-с? — уклончиво возразил управляющий.

— Ах, Боже мой! Как что?! — нетерпеливо поднялась княгиня. — Лишь бы казенные проценты были уплачены, а там я найду случай, я поеду, буду просить, к генерал-губернатору поеду, к шефу жандармов поеду, у меня связи есть. Неужели уж и для меня-то не сделают? Для кого же и делать после этого?! Я... наконец... наконец, я даже выше пойду!

Хлебонасущенский с унылым вздохом сомнительно покачал головою.

— Тщетная надежда, ваше сиятельство! Мечтание-с!.. Одно только мечтание-с праздное, и больше ничего-с! Ни шефы-с, ни губернаторы-с тут не вступятся: потому — дело оно чистое-с!

— Но, Бог мой! если я вас прошу! Неужели и этого вы для меня не сделаете! Поезжайте, умоляю вас!

И княгиня с крепким, убедительным пожатием грациозно протянула ему обе руки — честь, которую от нее впервые в своей жизни дождался Хлебонасущенский.

— Хорошо-с, я, пожалуй, съезжу завтра поутру, — согласился он.

— Не завтра! Нет, сегодня! — стремительно перебила Татьяна Львовна, не отнимая своих рук. — Сейчас же, сию минуту поезжайте и упросите его!

— Извольте-с, готов, памятуя все ваше добро ко мне и все расположение, но... если не согласится, тогда что? — усомнился скептический Полиевкт.

— Не согласится?

Княгиня серьезно и решительно задумалась.

— Не согласится... тогда... что же тогда?.. Тогда мы самого князя пошлем! — воскликнула она, озаренная новою мыслью. — Я уговорю, я заставлю его, он завтра же сам поедет! Он должен это сделать! Он лично будет про-

сить его!.. Можете даже, в случае надобности, сами предложить ему свидание с князем. А теперь, друг мой, поезжайте, поезжайте, не теряя ни одной минуты, и привезите ответ! Как бы ни было поздно — я буду ждать. Господь благослови вас! До свиданья!

И княгиня до порога своей половины лично проводила Хлебонасущенского — особая честь, точно так же невиданная им в этом доме до нынешнего дня.

Полиевкт Харлампиевич более чем когда-либо чувствовал теперь свою силу и торжествовал, сознавая, что эта гордая и кровная барыня в минуту нужды так подленько пресмыкается перед ним, кровным семинарским плебеем.

А кровная барыня, проклиная меж тем в душе своего управляющего, и именно проклиная-то не за что иное, как за это же самое пресмыкание свое, за то, что он своим упрямством дерзнул довести ее до такого лицемерного унижения, тогда как она привыкла только приказывать ему в виде вежливой просьбы, воротилась в свою спальню и, пройдя оттуда в известную уже читателю изящную мо-

лельню, горячо стала молиться с коленопреклонением и земными поклонами об успешном окончании миссии раба Божьего Полиевкта.

XII
МОРДЕНКО ОЧНУЛСЯ

Покушение Гречки на жизнь Морденки произвело на старика самое решительное влияние. «А что, если вдруг не сегодня-завтра тебя из-за угла хватят, пришибут, как собаку? — подумал он в ужасе, когда остался один, после ареста Гречки и Вересова, произведенного в его собственной квартире. — Раз не удалось — в другой ворвутся, сюда же ворвутся и укокошат!.. Да и кроме того старость, слабость, хворость, того гляди, и сам умрешь... Пошлет Бог по душу, а ты с чем предстанешь пред судию-то? С чем, окаянный?.. Со слезами да с проклятиями людскими!.. А зачем они тебе? Что судие-то скажешь, какой ответ дашь?.. Да, да, помрешь, пожалуй, и не успеешь... не успеешь выполнить того, что задумал... Все усилия прахом пойдут, и враг мой

не унижен будет, в довольстве останется. Нет, брат, не дам я тебе довольства!.. Теперь пожалуй что и пора. Пора!.. Скорее, надо работать это дело... низложить его... Скорее, а то умрешь... умрешь и не кончишь!.. Не кончишь! А из-за чего же ты всю жизнь свою бился! Зачем унижение принимал, отказывал себе в пище, в тепле, во всем отказывал — зачем? Из-за чего ты нищенствовал, скаредничал да столько людских слез да крови на голову свою принял?.. И все это прахом? Нет, не быть тому так! Не пойдет оно прахом! Долго я ждал, долго готовился, а теперь — пора!.. Пора!.. Дело хорошее: и состояние свое разом приумножу, и врага тем самым низложу... Грешно оно, по Писанию-то, потому — „любите враги ваши“ — ну да ништо: покаемся. Часовню Богу поставлю, колокольню поставлю, пожалуй, а не то и целую церковь можно соорудить. Вот оно богоугодное-то и будет!.. Душе своей ко спасенью. Опять же и часть достатков своих, кроме того, после смерти на богоугодное же пожертвую: вдовицам и сирым отдам, часть в обители монастырские вкладами запишу, на помин души — пускай

их все молятся о упокоении раба Иосифа!.. Господь милосерд, он приемлет раскающегося грешника, блудницу не отвергнет. Низложу врага, старость покойную обрету, а там уж всем остатком дней моих Господу Богу пожертвую на богоугодное... храм сооружу. И Господь помилует — милосерд и многомилостив он!.. А теперь пора!»

Морденко испытывал холодный, трепетный ужас при мысли, что он не успеет привести в исполнение свою месть, насладиться ее плодами, что вся цель, вся задача жизни его, через преждевременную смерть обратится в ничто, и, таким образом, до смерти не успеет он богоугодным делом обрести себе райские двери. Как-то странно и дико мешались в этом человеке суеверно-мистический страх, религиозная вера и чисто земная, почти животная жажда мщения, с которою он не мог расстаться, ибо, во-первых, через эту месть необыкновенно выгодно и разом приумножал он свое состояние — для чего, собственно, и с какою целью приумножать его, скряга не рассуждал, так как и сам того рассудком не ведал, — а, во-вторых, еще потому не мог он

расстаться с этой жаждой, что она стала для него чисто органическою потребностью, ибо сжился и слился с нею воедино, в течение долгих лет лелея ее и мечтая о том блаженном часе, когда наконец она вполне утолится, когда жизненный подвиг его увенчается полным успехом: он жил, и мыслил, и дышал только этой надеждой, отбросив все остальное, — она стала для него idee fixe[446], довела почти до помешательства, скрытого, затаенного, ибо он никому ни разу в своей жизни не заикнулся об этой мысли. И вдруг она не исполнена! Отказаться от нее — значило бы отказаться от самого себя, похерить весь долгий путь своей жизни, умереть; да он бы и умер, если бы его лишили этой единственной живой и отрадной ему мысли.

Это была натура кремневая и закаленная, энергическая и страстная, злопамятная и в высшей степени самолюбивая — тем особенным самолюбием, которое знакомо сильным людям, вышедшим из грязи, из круглого ничтожества и пробившим себе дорогу до степеней высшей знаменитости. Русская история, особенно прошлого века, богата именно по-

добными личностями. Это же самое самолюбие, только несколько низшей пробы, свойственно людям, которые, подобно Морденке, будучи по праву поставлены в самые неблагоприятные социальные условия, будучи по праву рождения не более как крепостными холопами своего помещика, возвышаются барскими милостями и барским доверием до степени личного камердинера, потом дворецкого, потом управляющего, сколачивают всеми нелегкими капиталец, мечтают о выкупе на волю, о приписке в купеческое сословие, о почетном гражданстве, о женитьбе на штаб-офицерской дочери и, наконец, о полном панибратстве с господами, которые *сами* будут к ним приезжать и *сами* кланяться. Поставь судьба этого самого Морденку в иные, более благоприятные условия да отними от него эту узкость ума, дай она его натуре более широты, и, как знать, при такой-то силе воли и при таком крепком самолюбии, быть может, из него вышел бы какой-нибудь Меншиков, Потемкин, Безбородко, Сперанский. Но теперь он — не более как грязный на вид скряга, темный мещанинишко и злостный ростовщик

Морденко. В былое время он чересчур уже много возмечтал о себе, видя расположение самого князя, видя раболепство многочисленной дворни пред своей особой, видя, наконец, себя тайным избранником самой княгини, молодой красавицы и блестящей великосветской женщины. Трудно, чтобы все это вконец не вскружило человеку голову, трудно, чтобы все это не питало самолюбия, развивая его втайне до непомерных размеров. И вдруг пощечина — и ею все похерено! Самолюбие ожесточилось, а в этом-то ожесточенном самолюбии и крылось его непримиримое оскорбление, его неизгладимая злопамятность, потому что тут уже человек боролся и метил за всю лучшую, как он понимал ее, сторону своей жизни, разбитую, уничтоженную, за свои лучшие надежды и самолюбивые мечты. И вот та почва, где сформировался тот Морденко, которого в данную минуту встречает читатель в нашем рассказе.

Как же после всего этого возможно было ему отказаться от единственной своей заветной мысли?

Доводящий до ужаса страх преждевремен-

ной и тем паче скоропостижной смерти, возбужденный столь неожиданным покушением Гречки, заставил теперь старика мгновенно очнуться и придал ему новую энергию в достижении своей цели.

Он тут же пересчитал все свои капиталы, пересчитал все векселя князя Шадурского, его жены и сына, скупленные им в разное время, в течение нескольких лет и по весьма различным ценам, скупленные по большей части очень выгодно. И тут овладело им некоторое уныние: он знал состояние Шадурских, тайно и неуклонно следил за его постепенным падением в течение долгого времени и теперь увидел ясно, что все-таки этих бумажек будет еще не вполне достаточно, чтобы вконец разорить своего врага. «Все-таки останется еще на кусок хлеба! — с горечью подумал он в своем ожесточенном унынии. — А надо, чтобы не было этого куска, чтобы ничего не было, чтобы *я — я сам* кормил их в долговом отделении. Вот чего надобно!»

И после этого он, через всевозможных маклеров, с неутомимой энергией начал наводить справки, у кого еще имеются векселя

Шадурских, ездил, хлопотал, торопился скупать их в свои руки, выторговывал за рубль полтину, а где и меньше, — и многочисленные кредиторы княжеского семейства, питавшие весьма слабую надежду на обратное и полное получение своих капиталов, почти все были радехоньки, что подыскивается такой покупатель, у которого можно хоть что-нибудь выручить наличными деньгами, взамен призрачно-мечтательных упований на падающий с каждым годом кредит Шадурских. И нельзя сказать, чтобы Морденко особенно жалел своих денег на это предприятие. Хотя он каждый раз жидовски начинал торговаться с продавцом, однако же в крайнем случае, встречая иногда неподатливое упорство, выкладывал сполна всю требуемую сумму и радостно приобщал новую бумажку к довольно уже полновесной пачке скупленных документов.

И вот в этой пачке оказалось их теперь, вместе с прежними, на сто двадцать пять тысяч серебром. Правда, Морденко убил на эту скупку значительную часть своего состояния, но тем не менее он был доволен и рад, он тор-

жествовал в эти счастливые минуты, потому знал, что все затраченное скоро вернется назад, и вернется в большом преизбытке.

В первые годы, когда Морденко только что начал заниматься ростовщичьими сделками, он еще не был скрягою: деньги сами по себе в то время не служили для него целью, а только средством, единственным средством к достижению иной заветной цели. В то время он переломил свой характер, так сказать, заставил самого себя сделаться скрягой; а теперь, когда минуло с тех пор двадцать два года, когда подошла и насела на него суровая старость, скряжничество от долгого упражнения незаметно въелось в его натуру до того, что сделалось наконец самою сущностью этой натуры, в которой, кроме такого качества да еще старой заветной цели, ничего уже больше и не осталось.

И вот эта цель почти уже достигнута.

«Сто двадцать пять тысяч, — подумал старик, весь дрожа от радости при мысли, что наконец-то настанет желанный час, в который ударит его мщение. — Сто двадцать пять тысяч — этого будет довольно, вполне доволь-

но, чтобы скосить *его*, потому тут сейчас же вместе со мной и другие кредиторы прихлопнут».

Морденко отлично знал состояние Шадурских, которое лет за тридцать действительно было огромным и блистательным состоянием. Но постоянные и непроизводительные траты, безалаберные долги, обеспечиваемые еще более безалаберными векселями, ловкий исподвольный грабеж Хлебонасущенского с братией и иные подобные причины расстроили вконец это состояние, которое по сей день продолжало еще кое-как держаться одним лишь миражным отблеском прежнего величия. Теперь это была форма без содержания, или *почти* без содержания, роль которого пока еще заменял все более и более колеблющийся кредит; так что стоило только Морденке разом подать ко взысканию на сто тысяч, и весь мираж мгновенно бы исчез, состояние разом бы лопнуло, даже и без помощи исков остальных кредиторов. Один Морденко мог легко проглотить его, пустя Шадурских по миру круглыми нищими или навеки сгноя их в долговом отделении.

«Да!.. Вот они, эти бумажки! — думал он, сжимая в руке свою полновесную пачку. — Вся жизнь на них пошла... вся жизнь!.. много слез, много крови... проклятий много...»

Он закрыл глаза — и в его памяти, в его воображении невольно прошло несколько тяжких сцен и образов, которые время от времени, умножаясь одни другими, врезались в эту память и теперь так ярко вызвались и оживились воображением. Одни вызывали другие, другие — третьи, и так далее, и так глубже, целой вереницей, в которой один образ тонул за другим, заслонялся третьим, и снова выныривал, и снова улетучивался. Одни представлялись ярче, живее; другие лишь бледным и тусклым намеком, очерком; но все были равно тягостны для души, все глядели на старика каким-то одним великим вопиющим укором. Закрыв глаза, он жутко закачал головою, и дрожащие губы его смутно зашептали:

«Ох как много, много их!.. Много!.. *Ну да за то ж...»*

И, не досказав до конца свою мысль, он с энергической силой вытянулся во весь рост, судорожно сжал свои губы, и на желто-сухом,

бледно-мертвенном лице его отразилось величайшее торжество и полное удовлетворение.

Он немедленно же все эти векселя подал ко взысканию.

XIII
ЛИСИЙ ХВОСТ

Осип Захарович Морденко собирался уже на покой, так как старая кукушка его прокуковала девять часов вечера, и ее хриплому звуку успел уже ответить точно таким же кукованием старый попугай, который в течение нескольких лет, кажись, ни разу не упустил случая покуковать вместе с часами.

— О-ох, — проскрипел старик, с усилием поднимаясь со своего старого, высокоспинного кресла, — запираться пора. Христина! Запирай у себя дверь на болты: время спать.

«На болты, на болты! Время спать, спать... Попке спать!» — болтал попугай, карабкаясь на свое кольцо. Безносый голубь также готовился на сон грядущий и, сидя на голландской печи, похлопывал своими крыльями, от-

чего каждый раз подымалось там целое облако давно несметенной пыли.

В это время кто-то из сеней дернул дверной звонок.

— Алчущие и жаждущие! — покачал головой Морденко. — Нет, уж будет!.. Будет с меня!.. Больше в заклад ничего принимать не стану... Довольно!

— Откажи там, Христина! — закричал он старой чухонке. — Не принимаю, мол! Да дверь, гляди, не отпирай, через дверь разговаривай.

Вместе с этими словами старик вышел в прихожую и рядом с кухаркой остановился, прислушиваясь под дверью.

— Кто там? — осведомилась чухонка.

— Господина Морденку...

— Да кто там? Назовись!..

— От князя Шадурского... управляющий... по делу.

При этом имени Морденко встрепенулся и весь даже просиял как-то.

«Ага!.. Видно, круто пришлось голубчику», — подумал он с тем злорадно-торжествующим самодовольствием, которое за послед-

ние дни каждый раз появлялось у него при мысли о давимом враге. Он шепотом, торопливо промолвил Христине:

— Впусти, впусти его!.. Только подожди минутку: дай мне уйти сперва.

И, с тревожно заходившим сердцем, быстро зашлепал он туфлями в смежную горницу, захватил в обе руки по большому ключу — предосторожность на случай защиты, постоянно принимаемая им со дня последнего покушения, и, спрятав их под своей порыжелой шелковой мантильей, поставил свой фонарь так, чтобы лучи его ударяли прямо на входящего, тогда как сам оставался во мраке. Таким образом, он приготовился к встрече.

Вошел Хлебонасущенский, но, не решаясь двинуться вперед, ни отступить назад и не различая еще хозяина, в недоумении оглядывал весьма слабо освещенную комнату.

Морденко узнал его.

— Что вам угодно? — неожиданно и не совсем-то приветливо спросил он, подымаясь из-за разделявшего их стола.

Полиевкт, не рассчитавший такого приступа, даже вздрогнул немного и с смущенной

улыбкой пролепетал:

— От князя Шадурского... Хлебонасущенский — управляющий их сиятельства... Имею честь с господином Морденкой?..

— Да, я Морденко. Что же вам нужно-то?

— Я прислан от князя...

— Гм... А князю что нужно?

— Да вот насчет вашего взыскания...

— Что ж такое взыскание?.. Взыскание идет своим законным путем: пусть его сиятельство обращается куда следует, а я-то что же при этом?

— Так-с... Но все же желательно было бы переговорить...

— О чем же нам переговаривать? Сюжета не вижу... никакого сюжета.

— Сюжет тот-с, что князь никак не предвидел, не ожидал...

— Гм... «Не ожидал»!.. Должен был ожидать, коли векселя подписывал: не на ветер же они подписываются!

— Так-с... Но вы даже не предупредили их о своем намерении.

— А зачем бы это я стал предупреждать? Причины к тому не нахожу никакой. Он ведь

и без меня, полагаю, предупрежден уже законным путем?

— Все это совершенно справедливо-с, однако года два назад, когда я имел свидание с вами еще по поводу скупки документов, вы объявили, что взыскивать не намерены.

— Я и не взыскивал тогда.

— Вы говорили, что производите эту скупку из благих намерений, из расположения к его сиятельству.

— Так точно, из расположения. Вот я теперь и докажу мое расположение.

Хлебонасущенский затруднился, в каком смысле, по-настоящему, следует ему принять последнюю фразу.

— Однако я не вижу расположения, если уже взыскание пошло, — заметил он.

— Гм... — усмехнулся Морденко. — Если князь мое тогдашнее расположение принял не в аллегорическом смысле, то, я вижу, он весьма подобрел с тех пор, как мы не видались. Своих денег, государь мой, никто даром кидать в воду не станет, а я за бумажки их сиятельства своими кровными заплатил!.. Ну-с, так вам больше от меня ничего не нужно?

— Нет, я прислан с предложением, чтобы вы повременили дней восемь: вам будет заплачено сполна.

— Кто это заплатит?

— Как кто? Конечно, сам князь. Кто же другой еще?

— Нет, князь не заплатит, — спокойно возразил Морденко со стойкой уверенностью полного убеждения.

— Как не заплатит!.. Нам только суммы наши нужно собрать.

— Никаких сумм у вас, кроме долгов, нету. Что вы мне пустяки говорите. Разве я не знаю!..

— Позвольте-с, господин Морденко: если я вам говорю, стало быть, мы имеем свои расчеты.

— Расчеты-то вы, может быть, и имеете, да ведь и я свои расчеты тоже имею. А денег все-таки у вас нет, разве Господь с небеси пошлет — ну, тогда и представляйте их в законом установленное место, а я уж — получу оттуда: обо мне не беспокойтесь!

— Но все-таки князь просит вас, чтобы вы были так добры приостановить на малый

срок ваше взыскание.

— Не приостановлю-с. Раз уж подано, пускай идет своим путем. Заплатите всю сумму сполна, и взысканию конец.

— Но ведь князь... *сам князь просит вас!*

— *Сам* князь *просит* меня!.. Скажите какая честь!.. *Просит*... Ну, передайте ему, что я благодарю за честь, но исполнить просьбу все-таки не могу. Так и скажите! А теперь, полагаю, вам уж больше ничего от меня не нужно?

Хлебонасущенский видел, что старик весьма явно выпроваживает его из своей квартиры, но ему не хотелось уезжать, не увезя с собою хотя малейшей тени какой-нибудь надежды для княгини Татьяны Львовны. «Черт их знает, может быть, еще их дела и к лучшему как-нибудь обернутся: может, сын на шиншеевских деньгах женится, — поразмысливал всесторонний Полиевкт. — Все может быть — чем черт не шутит! Так мне выгод своего положения упускать не следует».

Вследствие таких соображений он медлил уходом, меж тем как Морденко в ожидании ответа на свой вопрос не сводил с него недовольных и сухо-строгих глаз, как будто следя

за малейшим его движением.

Полиевкт, ощущая на себе эти неотводные глаза, чувствовал некоторую неловкость, однако же, преодолев ее, посеменил на месте, откашлялся с улыбочкой и очень мягким голосом обратился к собеседнику:

— Послушайте, господин Морденко, все же как бы то ни было, а не мешало бы поговорить об этом деле.

— Излишне-с! — сухо поклонился старик, причем нечаянно распахнулись полы его накинутой на плечи мантильи, обнаружа под собой два ключа в скрещенных руках Морденки.

— Нет, но все же... ведь князь — не кто-нибудь, — продолжал Полиевкт мягко-лисьим убедительным тоном, — ведь это особа-с, человек со связями, влиятельный-с! А ведь и то сказать, пословица-то говорится: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Я ничего не потеряю! — положительно перебил Осип Захарович. — Мое дело чистое. Может быть, его сиятельству угодно будет оспаривать подлинность его документов, так из этого ничего не произойдет, себя только

пуще замарают: дело чистое-с, я знал, *что* покупал. Ни одна бумажка не прошла без самой строгой и точной проверки: все, как есть, по форме, в маклерских книгах помечены. Нет-с, это напрасно! Совсем напрасно, тут уж ничего не поделаешь!

— Да я не о том-с, — возразил Хлебонасущенский, — а я, собственно, насчет того, что как же это вдруг, такая особа... почтенная... известная... и вдруг — такое дело!.. Тут-с уже, так сказать... принцип страдает...

— Что это значит «принцип» — так, кажись, вы изволили сказать?.. Что это такое? Я, извините-с, немножко в толк себе не взял.

— Это... принцип... это — начало... Всеми уважаемое семейство, принадлежащее к высшему сословию-с... ко всеми уважаемому сословию... и вдруг — вы, ничему не внемля, подаете на нас ко взысканию, разом на такую сумму... Это может компрометировать.

— Кого компрометировать? — прищурился Морденко.

— Да все семейство-с! Как же не компрометация, ежели вы, помимо частного соглашения с семейством, так-таки прямо ко взыска-

нию подаете! Оглашаете, так сказать — публичность вводите.

— Что ж, это поучительно! — ехидно улыбнулся Осип Захарович.

— Поучительного не нахожу, — сухо и обидчиво возразил Полиевкт Харлампиевич; но вслед за сим сейчас же поспешил придать всю прежнюю мягкость своему тону. — Нет-с, господин Морденко! Право, честное соглашение и для вас, и для нас было бы лучше! — поверьте, так! Потому — мы бы условились, назначили бы сроки — и в пять-шесть лет долг был бы погашен со всеми процентами даже, какие могли бы там еще и впредь причесться.

Хлебонасущенский закинул удочку насчет процентов, в том чаянии, что подденет на нее скрягу-ростовщика; он говорил все это, не имея, однако, даже бледного понятия о былых отношениях князей Шадурских к этому человеку, говорил, надеясь, что посредством такого маневра успеет, во-первых, дней на восемь затянуть дело, а там, быть может, при удачном опутывании, еще лет на пять оттянуть минуту гибели для княжеских дел. Но этот паук попал не на ту муху.

— Ни в какие сроки вы мне не заплатите, говорю вам! — нетерпеливо перебил его Морденко. — Уж вы лучше с этими предложениями подъезжайте к другим, а не ко мне. И нечего, стало быть, нам ни слов, ни времени тратить понапрасну. Прощайте-с, я спать хочу.

— Но нет, послушайте, почтеннейший! — решился Полиевкт еще на одну попытку. — Что бы вам и в самом деле повидаться бы да переговорить лично с самим князем? Поезжайте-ко завтра прямо к нему! Я устрою так, что он вас примет без всяких околичностей. Да и сам он, пожалуй, не прочь бы повидаться с вами. Поезжайте-ко, право!

Хлебонасущенский понимал, что единственная надежда на мало-мальски благоприятный исход заключается в личном свидании Морденки с Шадурским — сама Татьяна Львовна сказала, что в случае крайности придется послать к нему князя, — но приезд его к ростовщику Полиевкт считал уже самою крайнею и решительно последней мерой; поэтому он все-таки предварительно попытался было сохранить тот наружный декорум, кото-

рый, по его разумению, соответствует важности и значению княжеского имени, обстановки и социального положения. Он думал, что для дела сначала достаточно будет, если ростовщик и сам пожалует к князю, а не князь к нему; он старался при этом дать ему заметить, что ведь князь не кто-нибудь, что и то уж достаточная честь оказывается бывшему холопу, если его лично приглашают к бывшему его барину, что дела Шадурских вовсе не так плохи, как это может казаться, что, наконец, и самая уплата далеко не невозможна после новых условий при личном свидании.

Полиевкт все еще не совсем-таки терял надежду хоть как-нибудь обойти старого скрягу; но он решительно ошибся.

В ответ на последнее предложение Морденко шага на два откинулся назад, вперил в своего гостя изумленный взор и очень выразительно захохотал.

— Ха, ха, ха, ха! — саркастически сухо и раздельно раздался по комнате его деревянный, как бы нарочно деланный хохот.

«Ха, ха, ха, ха!» — вслед за ним откликнулся из клетки хриплый голос передразниваю-

щего попугая.

Морденко покосился туда с видимым удовольствием и указал рукою на клетку.

— Вот глупая птица — попугай, — сказал он Хлебонасущенскому, — совсем глупая птица, а и та понимает, сколь это смешно, сколь недостойно было бы с моей стороны ехать к его сиятельству!.. Ха, ха, ха!.. Поехать!.. Зачем я поеду? Зачем? Для чего? С какой стати? Нет, государь мой, не вижу я к тому никакой причины. На извозчика только понапрасну истратишься либо подметки задаром изшарыгаешь! Это пускай уж баре катаются да прогулки делают, а нашему брату на извозчиков проезжаться не приходится: не по карману, сударь, не по карману. Так-то-с!

Хлебонасущенский, понимая, что удочка лопнула, стоял как в воду опущенный, а Морденко с ехидным самодовольствием прошелся по комнате.

— Если его сиятельству нужно видеть меня, — заговорил он с расстановкой, — то квартира моя известна; может и ко мне приехать; а самому мне делать визиты не приходится; не по чину, батюшка, не по чину-с! Всяк свер-

чок знай свой шесток, говорит пословица, и я очень хорошо это понимаю.

— Вы хотите, чтобы князь сам к вам приехал? — встрепенулся Хлебонасущенский. — Хорошо, я передам ему ваше желание, может быть, он и согласится.

Морденко с неудовольствием остановился против него и нахмурился.

— Я, милостивый государь мой, вовсе этого не желаю, — отрезал он с прежней отчеканкой, — до его согласия мне нет никакого дела, потому я вовсе и не приглашаю его, а говорю только: если у человека есть до меня дело, то не я к нему, а он ко мне может пожаловать. Вот и все-с. А особенной чести в княжеском посещении я для себя не усматриваю: нам ведь с барами компанию не водить — мы люди мелкие-с, маленькие, темные... Так-то-с!

— Нет, вы не так меня поняли! — поспешил поправиться Хлебонасущенский. — Князю нужно видеться с вами — отчего ж ему и не приехать! Он, я уверен, с удовольствием поедет к вам!

— Это как ему угодно! — пожал плечами Морденко. — Коли буду дома, конечно, из

квартиры не выгоню; если застанет меня, то увидит, а не застанет — и вторично приедет, буде нужда есть такая.

— Он к вам, я думаю, завтра будет, — пояснил Полиевкт Харлампиевич.

— Завтра так завтра! Мне это решительно все единственно, особенно ждать не стану.

— Часов этак около двух, — сдавался все более и более Хлебонасущенский. — Для вас это не составит особенного неудобства?

— А, право, не знаю, как вам сказать... Буду дома, так приму! Скрываться мне от него нечего! Пущай его приезжает, коли охота есть.

— Хорошо-с, так в два часа он будет у вас.

— Будет так будет! Это его дело.

— Но вы согласны ожидать его?

— Если особенных занятий не представится, отчего же, можно и обождать.

Морденко, в сущности, от всей глубины души своей желал этого посещения. Смутная, но злобно-отрадная мысль о нем мелькала перед стариком и прежде еще, в заветных мечтах о том, как он сокрушит врага своего и как этот, когда-то гордый, враг станет ползать и уни-

жаться перед своим бывшим холопом. Смутная мысль о посещении Шадурского, о свидании с ним, где он выскажет этому барину все, что так хотелось ему высказать, где он «вдосталь накуражится» над униженным врагом, — мысль эта, говорим мы, была венцом всех мыслей Морденки о мщении, венцом всего мщения, венцом всей жизни его — и вдруг теперь этот враг сам подает надежду на ее осуществление! Морденко трепетал от злобной радости при этой надежде, но тем не менее считал нужным поломаться, и это ломанье доставляло ему теперь истинное наслаждение: он уже торжествовал в самой возможности выказать перед посредником своего врага все равнодушное (на вид) пренебрежение к этому врагу. В эту минуту страстно ненавидящая душа его предвкушала уже то наслаждение, то блаженство, которое предстоит ей завтра, при личном, давно мечтанном свидании с униженным врагом, когда можно будет уже во всю свою волю покуражиться и поломаться над ним. Морденко был счастлив уже одною возможностью, одним ожиданием, с трудом выдерживая свой сухой

и холодно-равнодушный вид.

Хлебонасущенский еще раз заявил о посещении Шадурского в два часа и любезно откланялся. Когда же заперлась за ним дверь, Морденко, как безумный, с радостью хлопая в ладоши и хохоча своим хриплым, деревянно-скрипучим смехом, вбежал в свою комнату.

XIV
БЕССОННИЦА

Улегшаяся в кухне Христина долго еще слышала, как по смежным комнатам раздавалось шлепанье больничных туфель Морденки, как время от времени он начинал бормотать сам с собою, издавал какие-то странные восклицания, принимался громко хохотать — и этому хохоту часто вторил попугай, к которому в таком случае старый хозяин его обращался со словами:

«Что, попка, дождались?.. Дождались, мой дурак, дождались!»

И снова начинал хохотать, потирая свои руки.

Чухонка, слыша все это, не шутя подумывала, уж не рехнулся ли старик, недобрым часом.

Морденко всю ночь почти глаз не смыкал, ворочался на постели, вскакивал, снова принимался ходить и бормотать, снова ложился и ворочался, для того чтобы через несколько времени опять вскочить и расхаживать. То напряженное состояние, в котором он теперь находился, далеко отгоняло его сон. Старик был *почти* счастлив: он ждал завтрашнего дня, мечтал и думал о предстоящем свидании, как, может быть, думает и мечтает только влюбленный юноша о первом свидании, назначенном ему любимой женщиной. Ему почти въяве воображалось, как войдет Щадурский, как он встретит этого барина, как будет держать себя относительно его, что станет говорить ему и что Шадурский будет отвечать на его речи; фантазия рисовала ему и фигуру старого князя, и выражение его физиономии. Он начинал говорить то, что давно уже мечтал высказать, даже покрасивее и повыразительнее поправлял иные из своих выражений, и сам сейчас же сочинял и форму-

лировал словами и даже целыми фразами предполагаемые ответы Шадурского на свои речи. Морденко уничтожал его в своем воображении, видел его ползающим у своих ног, вымаливающим прощения, пощады, и злобно наслаждался этими воздушными замками. Он был *почти* счастлив, потому что *совсем* счастливым мог быть только завтра, когда наконец исполнится то, о чем теперь так лихорадочно-страстно мечтает.

Сознание своего торжества, нетерпеливое ожидание и эти мечты, столь щедро питающие теперь застарелую ненависть, ввиду скорого и полного ее удовлетворения, — все это, совокупленное вместе, заставило его вдвойне переживать свою жизнь, оживило, ободрило и омолодило его тою напряженною энергичностью, которая чем сильнее в данную минуту, тем более разрушает организм потом. Такая усиленная деятельность, такая напряженная жизненность живет в старике недолго и живет за счет всех скудных сил разрушающегося организма.

Наконец он заснул; но сон его был лихорадочно-неровен и чуток более обыкновенного.

Те же самые воздушные замки, которые он строил наяву, преследовали его и во сне. Морденко часто просыпался и наконец, когда кукушка его прохрипела пять, решительно и бодро вскочил со своей жесткой постели.

Вскоре послышался благовест, призывающий к заутрене.

— Ага, ударил уже, батюшка мой, ударил — православных призываешь! — с улыбающимся лицом проговорил, прислушиваясь, Морденко. — Вонмем, вонмем тебе!.. Первее всего теперь — Содетеля возблагодарить, потому — он это все... Ох, один только он!..

— В оный час и тебе пробьет медь звенящая... — как-то торжественно, с оттенком угрозы и грусти глухо проговорил старик, подняв указательный перст, после минутного раздумья. О ком он это подумал? К кому относилось его полубиблейское речение — к себе ли, к врагу ли своему? — неизвестно, только, постояв после этого еще с минуту, погруженный в серьезное раздумье, он вытянулся, высоко подняв свою голову, и снова улыбнулся торжествующей улыбкой.

«Здравствуй, Морденко!» — закричал ему

навстречу приученный попугай, имевший старое обыкновение просыпаться, как только заслышит на рассвете шлепанье хозяйских туфель.

— Здравствуйте, ваше превосходительство, здравствуйте! — приветливо откликнулся старик, вдруг почему-то почтивший сегодня своего старого приятеля титулом превосходительства.

«Разорились мы с тобой, Морденко», — повторил непосредственно за сим попугай свою обычную фразу.

Морденко, вместо того чтобы ответить, по обыкновению: «Разорились, попочка, вконец разорились!» — цмокнул губами и щелкнул пальцами, как бы желая выразить этим: «Ан врешь, брат, ошибаешься».

— Нет, птица моя, не разорились, а обрели сокровище превыше Кира и Соломона-царя, — говорил он в грустном тоне, настроенном отчасти на торжественный лад. — Да, птица моя, да!.. Плотию беден — духом богат...

— Плотию беден — духом богат, — раздумчиво кивая головою, повторял он, ходючи по

комнате. Разбудил свою чухонку и хотел уж было отдать ей приказание насчет самовара, да вспомнил, что доброму христианину не подобает, сбираясь к обедне, пищу вкушать, и отложил свое необдуманное намерение.

— Нынче уж целебных трав пить не стану, а чайком потешу себя. Нынче можно дать себе этакое разрешение, потому — день-то такой у меня нынче.

И старик самодовольно потирал свои костлявые руки.

— Вот от обедни пойду — чайку куплю, и сахарцу, и булочек... Теперь уж не для чего мне жалеть!.. Все уж исполнено!.. Можно потешить себя, можно!.. А друзьям своим тоже пиршество задам, непременно!.. Непременно!.. Попка, Гулька, слышите?

И глаза его радостно смеялись от одного лишь предвкушения тех скромных лакомств и удовольствий, которые, мечтая, готовил себе старик в лучший день своей жизни.

Он чистенько умылся, причесался, пригладился, пробормотал свои утренние молитвы, усиливая и протягивая звук голоса на каждом первом слове каждой молитвенной фразы и

скороговорным полушепотом глотая остальные слова; медленно крестился и медленно клал большие поклоны, касаясь каждый раз при этом до полу правою рукою, и засим, исполнив этот долг, снова погрузился в сладкую мечтательность и опять заходил по комнате, время от времени улыбаясь все той же торжествующей улыбкой.

В такой-то забывчивости он почти машинально напялил на себя свой ветхий, дырявый халатишко, служивший для вечерних и ранних утренних шатаний на церковную паперть, как вдруг опомнился, оглядел с улыбкой изумления заплатанные полы этого костюма и, покачав головою, торопливо снял с себя и повесил на гвоздик свое убогое рубище.

— Нет, старик, этот образ отныне уж не подобает, — сказал он самому себе, — отныне уж можно пристойно одеваться... Пускай все видят, пускай все знают, что ты врага низложил... Так ли, попочка?.. А?.. Теперь уж нечего жалеть — ведь правда?

Попугай усердно захватывал своим клювом прутья железной клетки, карабкаясь по

ним цепкими лапами. Морденко, как приятелю, шутливо кивнул ему издали головою, лукаво прищурил при этом старческий глаз и принялся очень тщательно сметать метелкой каждую пылинку со своего длиннополого сюртука, много уже лет соблюдаемого в отменном порядке и рачении и служившего старику лучшим парадным костюмом.

Он с видимым удовольствием облекся в это лучшее свое платье и прошел в заднюю комнату, известную у него под именем «молельной», где хранились под замками и за железными болтами вещи, принятые в заклад.

Долго переглядывал он там разные меховые одеяния и наконец выбрал ильковую шубу и соболью шапку, которые показались ему лучше всех остальных.

— Нда! Вот, заложил по весне молодец... заложил и не выкупил, — рассуждал он, примеряя на себе эти вещи, и рассуждал как бы с некоторым оттенком своеобразного сожаления и сочувствия к невыкупившему молодцу. — Ну, что ж теперь станешь делать!.. Просрочил... Тогда вот... грех такой случился... не

пожелал я повременить на процентах, а теперь я и рад бы отдать, да где ж отыщешь тебя, молодца-то?.. Поди-ка, уж и рукой давно махнул... Ну и поневоле за собой оставил... Теперича, значит, — мои... А ты, поди-ка, кровопийцем честишь старика, грабителем... О, Господи!.. Прости и помилуй нас грешных.

И Морденко, крестясь, под влиянием религиозно-грустного чувства побрел к обедне, не забыв предварительно накрепко замкнуть все комнаты и самую квартиру, в которой под обычным арестом осталась чухонка Христина, а ключи, как и всегда, опустил в свой глубокий и вместительный карман.

Он с необыкновенным удовольствием ощущал на своих плечах легкую, теплую и красивую шубу, ему приятно было запахивать на себе ее широкие полы и думать при этом, что кончены уже для него навсегда путешествия в рубище, что уж больше не к чему ему студить свое дряхлое, хотя и закаленное во многих невзгодах тело, что настало наконец время, когда он может побаловать себя несколько, на закате дней своей жизни.

И Морденку, словно ребенка, тешили эти

мысли.

XV
КАИНСКИЕ МУКИ

— Ну, мои друзья, у вас нынче пир! Я вам пир задаю!.. Радуйтесь вместе со мной!.. С кем же мне и порадоваться больше!.. Попка!.. Гулька!.. — говорил Морденко, возвратясь от обедни и неся в обеих руках большой бумажный тюрик, где помещались только что сделанные им закупки.

— Христина! Ставь скорей самовар! Будем чай пить!.. С сахаром!.. С сладкими булками!.. С сухарями!..

Чухонка, не зная, что и подумать о хозяине, только оглядела его недоуменным взором да руками развела, однако же, не выразив словами своего немалого изумления, со вздохом принялась копошиться около заплесневелого самовара.

Морденко с великим наслаждением прикусывал сладкие сдобные булки, захлебывая их глотками сладкого и душистого чая, а когда начал третий стакан, то, после краткого

колебания, даже и кухарку свою угостил, чему та опять-таки необычайно изумилась.

После этого старик задал балтазарово пиршество и своим друзьям-любимцам: безносому голубю была предоставлена целая чашка с намоченным в чаю мякишем сладкой булки, а старому попугаю, кроме этого яства, Морденко предложил целые десять грецких орехов из купленного фунта и целую мармеладину; остальное было припрятано «на после». Осип Захарович с видимой любовью и заботой разбивал скорлупу, очищал шелуху и по кусочкам подносил ореховое ядро к лапе своего любимца, каждый раз повторяя при этом:

— Примите, ваше превосходительство!.. Кушайте, ваше превосходительство.

Сегодня был первый день, в который Морденко почему-то произвел в генеральский чин своего красно-зеленого друга.

И красно-зеленый друг видимо наслаждался подносимым ему лакомством, как, в свою очередь, безносый Гулька наслаждался приготовленным для него месивом. Точно так же наслаждалась и чухонка Христина, давно уже не парившая нутро свое чаем (целебных трав

она недолюбливала), да еще таким хорошим. А о самом виновнике всех этих наслаждений нечего уж и говорить: он более всех, и притом, наверное, в первый раз в своей жизни, наслаждался предвкушением грядущего триумфа после победы своей над князем Шадурским.

Чем ближе подходило время к двум часам, тем длиннее казалось оно старику и тем все более усиливалось в нем волнение ожидания. Он каждые пять минут высовывал в форточку свою лысую голову, чтобы засмотреть внутри двора — не идет ли там его враг или по крайней мере Хлебонасущенский. Он то и дело подходил к входной двери и чутко прислушивался — не слыхать ли шагов на лестнице. Он был твердо и непреклонно уверен, что Шадурский явится сегодня необходимо, неизбежно, как день после ночи, — до такой степени уже в течение этого времени успела всосаться в него ласкающая мысль о посещении князя.

Когда стрелка подходила наконец к двум часам, старик дрожал как в лихорадке. Это старчески-страстное нетерпение до послед-

ней глубины взбудоражило его много подавленную и долго сдержанную натуру.

Но вот пробило два — Морденко с полчаса уже не отходит от форточки, высунув в нее, на потеху сырости да ветру, свою голову, даже продрог от холоду, а все-таки смотрит и отойти не может, потому что крепко боится: ну, как вдруг они постучатся да войдут, а ты и к встрече приготовиться не успеешь? Он представляет себе эту встречу чем-то совсем особенным и необычайным. Немудрено: он так долго лелеял скрытые мысли об этой желанной минуте.

Вот уже четверть третьего, а Шадурского все еще нет, и не видать, и не слыхать даже, чтобы к воротам кто-нибудь подъехал.

Сильное беспокойство начало овладевать Морденкой.

«Ну, как он не приедет... совсем не приедет... не захочет приехать?.. Ну, как он вдруг деньги пришлет... каким-нибудь чудом Господним пришлет? Боже мой, что ж это тогда?.. Все пропало? Все?.. Нет, это вздор, денег прислать ему неоткуда, он *должен* приехать, не смеет не приехать, а иначе...»

И глаза Морденки злобно сверкают из-под нависших бровей, а черствый и костистый кулак сжимается все судорожнее и сильнее.

В прихожей позвонили.

— Э, черт возьми!.. Как же это я проглядел! — встрепенулся Осип Захарович, придя в большое смущение, оттого что встреча захватывает его врасплох. Только что хотел было отдать чухонке инструкции насчет приема, как та уже и дверь поторопилась отворить. Морденке и досадно, а вместе с тем и от сердца-то отлегает: это не Шадурский, а какой-то алчущий и жаждущий пришел.

— Отказать ему! Закладов не принимаю сегодня! Совсем не принимаю! Ничего не принимаю больше! — досадливо распорядился старик и погрузился в новые думы и предположения:

«А ну, как он болен?.. Ну, как он вдруг умрет?.. Или умер?.. Господи!.. Господи... Не накажи ты меня!.. Что же это такое?.. Нет, этого быть не может!.. Не может... не может!.. Не мо-жет!.. Как же это — так все вдруг и пропало, так и погибло?.. Ни за грош, ни за плевок!.. Господи, вразуми ты его! — молится и бормо-

чет про себя Морденко. — Направь его на путь сей! Не дай ты ему наглые смерти, донеси его цела, здрава и невредима! Господи! услыши меня!..»

И из напряженных глаз старика эта нервная, полупомешанная молитва выжимает тощую слезку.

Он на мгновение отводит от домовых ворот свои взоры, взглядывает на стенную кукушку — и каждый такой взгляд несет ему новое, усиливающееся беспокойство и подбавляет новую каплю горечи в его сердце.

Стрелка показывает двадцать пять минут третьего — а желанного гостя все еще нет. Кукушка прохрипела половину, попугай тоже повторил вслед за нею: «Ку-ку!», а беспокойство старика растет и растет. Он уже уверен, что Шадурский не будет, что он, пожалуй, умер скоропостижно от удара при известии о постигшем его несчастии, — и сердце Морденки щемит, надрывается тоской и злобой.

«Все пропало!.. Все!.. Ничего не будет, ничего не исполнится!.. Все напрасно было! Вся жизнь ни к черту!.. О, Господи, всякую испытуеши!..»

«А, знаю! Знаю! Это за грехи мои так! Это он мне воздаяние посылает! О, я знаю, он ему, может, наглую смерть послал, чтобы я теперь казнился и мучился! Все отдам, Господи! Все имение нищим раздам, только принеси ты его, врага моего!..»

Три четверти третьего — не едет.

«Умер... — шепчут сухие старческие губы, — умер, мне в наказание и в укор... умер... иначе быть не может!»

И Морденко, под гнетом этой мысли, раздавленный, уничтоженный, обессиленный, опустя как плети свои длинные узловатые руки, в отчаянии отходит от окошка, еле волоча ноги, опускается в свое кресло и сидит как убитый, понуря голову, закрыв глаза. Эта внезапно пришедшая мысль о возможности скоропостижной смерти князя вследствие удара, о смерти, нарочно посланной Богом в наказание ему, Морденке, за все его лихие дела, приняла в его возбужденном мозгу всю, так сказать, осязаемую достоверность совершившегося факта. Старик был сильно суеверен. Эта усиленная деятельность за последнее время, сознание близости того часа, в который долж-

но свершиться давно задуманное мщение, эти страстные, лихорадочные мечты со вчерашнего вечера, бессонница и, наконец, эта еще более страстная лихорадка ожидания, сначала радостного и полного блестящих надежд, а потом тщетного до злобы, до отчаяния, — все это в совокупности отняло у Морденки способность спокойно и трезво отнестись к своему положению в столь решительную, роковую минуту его жизни. Мысль о смерти Шадурского (иначе как же бы он не явился!) неотступно стала перед ним, и он как помешанный, без логики, без последовательности, не рассуждая, отдался ей вполне, под наплывом религиозно-суеверного чувства о высшем возмездии.

Если Морденко много и много понаделал людям зла в своей жизни, то эти минуты мучений и отчаяния, какие переживал он теперь, быть может, многое могли бы искупить ему.

Быстрые и резкие переходы от одного ощущения к другому, совершенно противоположному, далеко не невозможны в подобные минуты самого напряженного, взбудораженного

состояния нервов у человека, всю жизнь свою до самозабвения посвятившего одной исключительной идее, одной исключительной страсти.

Морденко был жалок и раздавлен. Напрасно попугай кричал ему: «Разорились мы с тобой, Морденко!» — старик не отвечал, ибо под наплывом своих дум и ощущений даже не замечал криков красно-зеленого друга. Он уже не ждал теперь Шадурского, хотя часовая стрелка даже и до трех не дошла. Отчаяние наступило для него быстро и решительно, и тем быстрее, чем сильнее была предварительная радость, страстная надежда и гордое ожидание.

Опять позвонили в прихожей, и этот звонок произвел на старика действие гальванического тока: он мгновенно вспрыгнул с места, оживленный, взбудораженный и даже немало перепуганный его внезапностью. Но это опять-таки кто-то из алчущих и жаждущих явился — и тем сильнее от нового разочарования давят Морденку отчаяние и злость. А подобным звонкам, после этого, суждено было повторяться еще дважды, один по-

чти вслед за другим, и возвещали они все тот же приход алчущих и жаждущих. Было время, когда такие звонки сильно радовали и утешали одинокого старика, а теперь он их ненавистно проклинает, теперь он считает их чем-то дьявольски-дразнящим, какой-то злобной насмешкой нечистой силы, злобной иронией судьбы над его положением — и после каждого такого звонка в нем еще сильнее вырастает эта странная уверенность в предполагаемой смерти Шадурского, каждая лишняя минута как будто еще более удостоверяет его в этом.

«Что в том, что векселя представлены! Коли он умер — все пошло прахом!.. Уж теперь и смыслу, и значения того это дело не будет иметь!.. Наполовину не будет!.. Совсем не будет!» — горько думал Морденко, в отчаянии опустив голову на руки, упертые локтями в коленки, выдавшиеся острым углом; думал — и много-много, хотя и бессильно, злобствовал. Эта злоба поминутно кидала его в нервно-конвульсивную дрожь.

Христина копошилась у себя в кухне, попугай кричал и свистел, а безносый голубь, ко-

торому, вероятно, наскучило сидеть на печке, в своем обычном, давно насиженном месте, вспорхнув оттуда, раза два тяжело покружился зигзагами по комнате и, по привычке, сел на плечо хозяина, похлопывая по нем крыльями.

Это неожиданное, постороннее прикосновение заставило испуганно вздрогнуть забывшегося в своем отчаянии старика — и вдруг, под влиянием охватившей его злобы, он, не давая себе отчета в своих побуждениях и поступках, мгновенно и яростно хватил за шею безносого голубя, который в это мгновение, воркуя так ласково, вытягивал ее и по привычке прижимался безобразной головой к щеке хозяина. Схватив эту шею, Морденко судорожно и крепко сжал ее на несколько мгновений в руке и с силою швырнул от себя голубя в противоположный угол. Птица с размаху ударилась об стену, шлепнулась на пол и, подрыгав с минуту ногами да затрепетав крыльями, осталась на месте — уже без малейших признаков жизни.

Морденко как сидел, так и остался — даже внимания не обратив на это обстоятельство.

Один только попугай, заметив, вероятно, что с Гулькой свершаются какие-то выходящие из ряду, необычайные пассажи, машинально крикнул раза два: «Безносый!» и снова стал себе карабкаться по железным прутьям.

Вдруг в это самое время по двору загромыхала карета.

Морденко, словно ужаленный внезапно, быстро вскочил и бросился к окну.

Карета подъехала к его флигелю. Так, не осталось никакого сомнения — это он, это Шадурский!

Осип Захарович затрепетал и обтер ладонью холодный пот, проступивший на лбу.

Вот когда наступила она, эта роковая, решительная минута.

Но она совсем не была минутой необузданно-радостного порыва: ни резким движением, ни внезапным криком, ни широкой улыбкой — ничем подобным не выразил Морденко своего душевного состояния, в котором произошел теперь опять-таки новый, решительный и притом вполне мгновенный перелом. Старик не обрадовался — он только очувствовался, пришел в себя: стук подъехавшего

экипажа вернул его от отчаяния и мистически-суеверных грез к прямой действительности, к мысли об осуществляемом мщении.

Он сразу и вполне овладел собою: теперь это был уже всегдашний, обыденный Морденко, наружность которого оставалась черствой, холодной и по видимому спокойной, тогда как внутри его все-таки пробегала нервная дрожь и сердце время от времени сжималось болезненно, тревожно и радостно. Он еще раз заглянул в окно. Из кареты выпрыгнул Хлебонасущенский и под руку помог сойти на землю старому князю, которого таким же образом взвел и на лестницу.

— Христина!.. Сюда идут... Спроси, кто такие и приди доложить мне! Без докладу не впускай... Да как пойдешь докладывать — дверей ко мне в комнату не затворяй! Слышишь? — наскоро распорядился Морденко и поторопился удалиться в свою спальню, притворив за собою двери. От исполнения этого распоряжения зависел некоторый эффект, заранее уже обдуманный.

Затем старик притаился у двери и чутко стал прислушиваться.

Раздался звонок, снова заставивший его вздрогнуть. В прихожую вошли князь и управляющий.

— Мне прикажете с вами остаться? — тихо спросил последний.

Князь задумчиво поморщился.

— Н-нет, вы лучше, мой милый, там, внизу... или в карете обождите меня... Я один объяснюсь... это лучше будет.

Дмитрий Платонович предчувствовал, что в разговоре его с Морденкой могут быть, пожалуй, затронуты такого рода обстоятельства, при которых немало могло бы его коробить и смущать присутствие третьего лица.

XVI
КАК ЛОМАЛОСЬ КНЯЖЕСКОЕ САМОЛЮБИЕ

Когда вчерашний день вечером Хлебонасущенский давал Морденке обещание за Шадурского, он и сам не был хорошо уверен, согласится ли тот ехать к Осипу Захаровичу, решился же дать это обещание, основываясь на словах Татьяны Львовны, которая прямо выразила мысль о необходимости, в крайнем случае, личных, непосредственных объяснений. А уезжая от Морденки, Полиевкт и сам пришел к убеждению, что если и личное свидание не успеет принести ожидаемых результатов, то их уже ничто не принесет, так что с той самой минуты все дело нужно считать потерянным. Эту мысль он высказал и княгине, нетерпеливо ожидавшей его возвращения.

— Я так и знала! — с горечью проговорила Татьяна Львовна. — Я так и знала! Пусть сам князь завтра едет.

— Согласится ли?.. — с скромным сомнени-

ем заметил управляющий.

— *Должен* ехать! — настойчиво произнесла княгиня и, отпуская от себя Хлебонасущенского, поручила ему немедленно пригласить к ней старого князя.

Расслабленный гамен вошел не то что мокрой курицей, а скорее мокрым петухом, потому что в нем не успела еще остыть некоторая доля гнева против своей супруги.

— Вы завтра в два часа лично будете у Морденки, — твердо начала княгиня тоном, не допускавшим противоречий, — вы должны просить его, чтобы он дал нам отсрочку. Вы это понимаете?

Князь в великом недоумении глядел на нее сквозь свое стеклышко.

— Повторяю вам: вы должны *упросить* его об отсрочке, или иначе — нас ждут круглая нищета и позор через несколько дней. Что вы на меня так смотрите? Кажется, я говорю ясно.

— Я?!. К Морденке?!. Да кто из нас с ума сошел — вы или я?

Князю действительно могло показаться странным и диким предложение супруги. Он

был столь необычайно изумлен, что даже его стеклышко выпало из выпученного глаза.

— Да! Да! *Вы,* и к Морденке! Понимаете? — усиленно ударяя на слове, подтвердила ему Татьяна Львовна.

— Можете ехать сами! — сыронизировал Шадурский, пожав плечами и коротко поклонившись.

— О, в этом не сомневайтесь! — с твердостью и достоинством перебила жена. — Когда будет нужно, я, конечно, поеду. Но теперь это пока еще не требуется: теперь Морденко соглашается *вас* видеть!

— Я не поеду.

— Почему?

Последний вопрос очень затруднил старого князя.

— Почему?.. Почему?.. Да как, Боже мой, почему!.. Я — и вдруг к Морденке!.. Да вы вспомните, кто я и кто Морденко!..

— Морденко — человек, от которого зависит погубить нас завтра же, пустить нас нищими, опозорить. Вот кто Морденко!..

— Я поеду унижаться к хаму, которого я как собаку вышвырнул из дому! Я поеду к ва-

шему... к вашему...

— К моему... Ну что ж, к моему? Договаривайте! — прищурилась на него княгиня и вдруг сама договорила с такой цинической откровенностью, от которой даже и князя немножко назад отшатнуло. — К моему любовнику? — медленно и спокойно произнесла она. — Это, что ли, хотите вы сказать? О, мой жалкий князь! Вспомните, скольким из моих любовников вы так любезно пожимали руки, к скольким из них ездили с визитами. Даже у иных и денег взаймы иной раз перехватывали! Вспомните-ка лучше это! Отчего же вы тогда не возмущались? Полноте! Перестаньте драпироваться! Смешно! Кого вы думаете обмануть?

Княгиня потому высказывала все это с таким наглым цинизмом, что пользовалась таким удобным tête-a-tête[447], но иначе высказать она и не могла, потому что от сердца вырвалось ее жесткое слово, а в этом сердце много и много уже накипело. Ее оскорбляло и возмущало то, что этот презренный (даже и в ее глазах) человечишко, которого она видела и понимала насквозь, осмеливается вдруг

разыгрывать из себя героически-добродетельного мужа и благородного человека. Ей злобно хотелось сразу осадить его, указав ему настоящее его место, дав ему уразуметь, *что он такое,* в сущности; ей захотелось разом высказать ему все то презрение, которое она питала к нему в эту минуту более, чем когда-либо, и потому, под влиянием такого порыва, Татьяна Львовна даже и не подумала остановиться перед откровенным цинизмом своих желчных выражений.

Князь до того смешался неожиданным оборотом разговора, что решительно не нашелся, как и что ответить ей на это.

— Слушайте! — решительно приступила к нему супруга. — У меня есть свои планы, как устроить наши дела — нечего вам объяснять их теперь, надо только, чтобы Морденко согласился отсрочить взыскание. Хлебонасущенский говорил с ним и думает, что, может быть, он согласится, если его упросить. Морденко по-своему самолюбив. Поезжайте к нему и просите. Это пока единственное средство — унижайтесь, если нужно унижаться! Что уж тут думать о своем достоинстве, если

не сегодня-завтра оно будет только увеличивать наш позор! Унижение не бог знает как велико, потому что о нем никто не узнает: вы будете с глазу на глаз объясняться с Морденкой. Завтра в два часа он ждет вас. Теперь вы понимаете меня?

— Я не поеду к Морденке, — с воловьим упрямством процедил сквозь зубы Шадурский.

— Ну, так будете нищим! Что до меня — так мне все равно: сегодня у нас все идет с молотка — сегодня же я иду в монастырь и запираюсь от света!

Княгиня немножко фантазировала, высказывая эти мысли: ей было вовсе не все равно, и она очень хорошо знала, что уйти в монастырь не удастся, потому что Морденко и ее точно так же упрячет в долговую тюрьму; предполагаемое же отшельничество пустила в ход как эффект, которым сильнее можно подействовать на мужа.

Но эффект не произвел никакого очевидного действия.

— Повторяю вам, мне все равно, — убедительно продолжала ех-красавица. — Я о себе

не думаю, но я в отчаянии за сына, мне смертельно жаль нашего несчастного Владимира! Подумайте, что его ожидает! Если не ради себя, то ради родного сына вы *обязаны* это сделать.

— Да кто же мне поручится, что Морденко согласится на отсрочку? Разве вы имеете какие-нибудь положительные данные для этого? — возразил расслабленный гамен, все еще продолжая упрямиться.

— Я имею одну вероятность... но я надеюсь... Полиевкт тоже надеется. Это, наконец, последнее средство! Более ничего не остается, хватайтесь за бритву, но не тоните же как камень!

— Ну, если он и даст отсрочку, тогда что?

— Тогда... тогда я знаю, что делать: тогда пускай Владимир женится на Дарье Шиншеевой. Она поручится, долг пойдет на рассрочку. Одним словом — там уж мое дело!

Наступила минута молчания. Княгиня ждала. Князь в глупом раздумье расхаживал по комнате, слегка поколачивая на ходу каблуком о каблук.

— Ну что ж, наконец, вы надумались?.. По-

едете вы? — нетерпеливо вздохнув, возвысила голос Татьяна Львовна.

Дмитрий Платонович нехотя покачал головой, не решаясь покачать решительно и смело.

Княгиню взорвало.

— Ну, так подите же вы вон отсюда!.. Оставьте меня! — резко и раздраженно проговорила она, вся вспыхнув и засверкав на него глазами.

Гамен как-то глупо ухмыльнулся и вышел, подобно мокрой курице — положение, наиболее свойственное ему в таких обстоятельствах.

Ех-красавица в злобном изнеможении бросилась в кресло, досадливо запустив в пряди волос свои трепещущие, тонкие пальцы, и надолго осталась в таком положении.

Она страдала. Перед нею рисовался весь ужас грядущей нищеты и тех оживленных толков, какие пойдут повсюду рядом с разорением, ужас того равнодушного и фальшивого, но тем не менее оскорбительного участия к их положению, того позора, тяжкого для самолюбия, который будет отселе сопровож-

дать их разорившееся и падшее величие. Это было чересчур уж жестоко для избалованной судьбою женщины. И что хуже всего — она очень хорошо понимала, что шансы на успех личных переговоров с Морденкой имеют только фиктивное или по крайней мере слишком шаткое значение, что в действительности эти шансы пока еще — нуль. И все-таки за них, и *только за них,* можно было теперь ухватиться. Этим фиктивным шансам нужно пожертвовать аристократической гордостью, достоинством, человеческим самолюбием, принять унижение, горький стыд — и все-таки княгиня решалась на все эти жертвы, ибо не по ее силам приходилась иная, простейшая жертва: отказавшись навек от всего прошлого, вступить в трудную колею безвестной, темной, скудной достатками жизни.

Княгиня решила во что бы то ни стало уломать своего мужа на свидание с Морденкой и поэтому рано утром послала за Хлебонасущенским.

Многих усилий и доводов нужно было Полиевкту и Татьяне Львовне, чтобы уломать

несговорчивого гамена. Целое утро убили они по-пустому — гамен не поддавался, да и в самом деле, каково было ему ехать к Морденке! Сколько самых щекотливых, тонких и болезненных струн должен он был заставить замолчать в своем сердце, а они между тем, как нарочно, не умолкают, а звучат все больше и сильнее, так что ничем не заглушишь их.

Начало Морденкиной мести, неведомое ему самому, наступило для Шадурских именно с той самой минуты, когда княгиня Татьяна Львовна решила необходимость личного с ним свидания, в жертву коему долженствовал принести себя расслабленный гамен.

Долго с ним не могли ничего поделать: княгиня принимала то решительный и требовательный, то нежный, дружеский тон; Полиевкт пускал в ход свои более или менее убедительные аргументы; наконец послали за князем Владимиром, с тем чтобы и он присоединил к ним свои просьбы и доводы. Князь Владимир порешил этот вопрос очень просто:

— Ехать к Морденке? — воскликнул он. — Боже мой, да отчего же не ехать! Самолюбие? Э, полноте! Спрячьте в карман ваше самолю-

бие! Выньте его напоказ тогда, когда в карманах деньги будут, а теперь — в карман! Позору боитесь? Так ведь гораздо больше позору будет, когда в тюрьму сядем: тогда *все* будут знать, а тут ваш позор один только Морденко увидит — ну и пускай его! Предпочтите маленький большому!

Старому гамену как будто не по сердцу пришлась мораль его единородного сына: он пораздумался над его доводами, а этой минутой ловко успел воспользоваться Хлебонасущенский. Последний в таких мрачных и живых красках изобразил близкое будущее княжеского семейства, что княгиня сочла нужным даже пролить несколько слез, а старого князя не на шутку передернуло. Князь же Владимир выразил ту мысль, что не спасти от позора и гибели свое имя и свое семейство есть дело нечестное. Хлебонасущенский и тут не упустил воспользоваться подходящей мыслью и с широковещательной убедительностью принялся развивать новый аргумент юной отрасли дома Шадурских. Он стал перебирать клавиши долга гражданского и семейного, изобразил всю великость самоотвер-

женного подвига, когда отец семейства, ради спасения детей, родового наследия и родового герба, так сказать, подъемлет на рамена свои тяжкий труд, презирая личное свое самолюбие, но храня самолюбие высшее, самолюбие принципа и прочее, и прочее; засим пришел к ужасу и бездне тех толков, сплетен, пересудов, которые поднимутся в обществе вместе с падением, и долго ораторствовал на самую чувствительную для Шадурских тему рокового «*что скажут?*».

Все эти убеждения, настояния, просьбы и доводы произвели наконец такого рода безобразный сумбур в злосчастной голове расслабленного гамена, что он потерял все нити своих мыслей, что называется, сбился с панталыку и — усталый, измученный приставаниями, паче же всего устрашенный яркой картиной безвыходного будущего и безобразных толков общества, которые развил перед ним широковещательный Полиевкт, — махнул наконец рукой и дал свое согласие.

Но недешево, в самом деле, далось ему это согласие: он должен был многое принести ему в жертву.

Между тем с этими уламываниями прошел срок, назначенный вчера Хлебонасущенским, который опасался теперь, что Морденко не станет дожидаться. Надо было торопиться, и потому Полиевкт уже на дороге принялся основательно внушать князю, как и о чем надлежит просить старика. Но князь, уломанный однажды и уразумевший печальную суть грядущей развязки, сам теперь очень хорошо понимал, какого рода объяснение предстоит ему.

Княгиня во все время его отсутствия пребывала в своей молельной и горячо молилась об успешном окончании дела.

XVII
«НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ, ВЛАДЫКО!..»

— Вам кого? Хозяина? — осведомилась Христина, впустив в переднюю обоих приехавших. — Как сказать-то об вас?

— Шадурский, князь Шадурский, — вразумительно передал ей Полиевкт Харлампиевич.

Чухонка неторопливо ушла в смежную комнату и доложила, как было приказано.

— Кто такой? — поморщась и словно бы не расслышав сразу, переспросил Морденко, и нарочно таким голосом, чтобы в прихожей могли его слышать.

Та повторила фамилию.

— Шадурский? Пускай подождет там!.. Попроси подождать.

И Морденко неторопливо зашлепал туфлями по своей спальне. Это был первый эффект, которым он предполагал встретить своего врага — и эффект удался как нельзя лучше. Князь слышал от слова до слова — и побагровел: его передернуло от столь неожиданного

приема; тем не менее стал снимать шубу, которую Хлебонасущенский помог ему повесить на гвоздик, вслед за тем сам немедленно же удалился на лестницу.

Дмитрий Платонович вступил в комнату, служившую приемной. В нос его неприятно шибанул затхлый запах кладовой, наполненной гниющей рухлядью, — запах, неисходно царствовавший в берлоге старого скряги. Но впечатление вышло еще неприятнее, когда приехавший осмотрелся: пыль, паутина, убожество, бьющее на каждом шагу, закоптелые печь и стены с потолком, тусклые окна, подернувшиеся радужным налетом, поленья, сложенные у печи, попугай в углу и мертвый, безносый голубь — все это показалось Шадурскому чем-то диким, почти ужасающим и наводящим тоскливое уныние. Он не знал, куда деться, куда обернуться, и только изумленно перебегал глазами от одного предмета к другому. Ему уже становилось неловко: он все один, все ждет, а Морденко не выходит. Он был поражен, потому что ожидал не такой обстановки и не такой встречи.

А Морденко меж тем нарочно медлил вы-

ходить и копошился в своей спальне, чтобы подольше заставить подождать Шадурского.

«Что, ваше сиятельство? Просить приехали? Ну, так и постойте-ка у меня просителем! — злобно ухмылялся он. — Когда-то *вы* меня по часам заставляли ожидать, а теперь *я* вас... А теперь я вас!.. Так-то-с! Слава долготерпению твоему, слава!»

Наконец, вдосталь насладившись этим эффектом, Осип Захарович решил, что пора приступить ко второму акту своей комедии.

Шадурский прождал уже более десяти минут и начинал терять терпение, находясь в самом затруднительном положении, потому что решительно не знал, как ему быть теперь: ждать ли дольше, уйти ли отсюда или решиться на более настойчивый вызов к себе хозяина этой берлоги! — как вдруг неторопливо, спокойно растворилась дверь и в ней вырисовалась суровая фигура сухощавого старика.

Он шел прямо на Шадурского, тихо, спокойно, склонив немного набок свою голову и неотводно вперив в него стеклянные глаза. Ни один мускул лица его не дрогнул — это ли-

цо отлилось в выражение совершенно холодного, сухого и несколько сурового спокойствия.

Дмитрий Платонович оторопел и немножко попятился.

— Чем могу служить? — спокойно произнес Морденко свою обычную фразу и обычным же глухим, безвыразительным голосом, остановясь в двух шагах от заклятого врага.

— Я... я приехал по делу о взыскании, — смешался Шадурский, чувствуя на себе магнетизацию этих неподвижно-стеклянных взоров.

— Ну-с? — тем же тоном понукнул Морденко.

— Вы скупили все наши векселя и представили их...

— Скупил и представил.

— Но ведь это губит нас...

— Губит, — вполне согласился и даже подтвердил Осип Захарович.

— Но, вспомните, вы же сами прежде говорили моему управляющему, что не желаете делать мне зла, что вы все это скупали с доброю для меня целью...

— А вы этому верили?

— Да, я этому верил.

— Сожалею. Что же вам, собственно, теперь-то угодно?

— Я... приехал... просить вас...

— Просить?! — удивленно перебил Морденко. В комнате стояло два стула; но он ни сам не садился, ни гостю своему не предлагал. Объяснение шло друг перед другом стоя.

— Итак, вы пожаловали просить, — продолжал Осип Захарович. — А какого бы рода могла быть эта просьба, позвольте полюбопытствовать?

— Просьба... Для вас ведь не составит большого расчета повременить несколько времени со взысканием?

— Ни малейшего-с. Это для меня все равно.

— Ну, вот видите ли! А для нас это огромный расчет...

— И это весьма вероятно.

— Потому что в это время, если бы вы только приостановили иск, мы бы могли обернуться, мы бы заплатили вам.

— Нет-с, вы мне не заплатите, ваше сиятельство, потому — вам нечем платить.

— Ну, если уж вы так уверены, что я не могу вам заплатить, так зачем же вы жмете меня, зачем ко взысканию представляете? Что же вам, собственно, надо?.. Я не понимаю!..

— Поймете тогда-с, когда будете помещаться в первой роте Измайловского полка. Тогда поймете-с! Вы не извольте беспокоиться: там отменно содержат, помещение прилично-с, и я по гроб жизни своей самым аккуратным образом буду выплачивать кормовые деньги, по расчету на все семейство ваше-с.

— Вы издеваетесь надо мною! — вспыхнул Шадурский.

— Нимало, ваше сиятельство, нимало-с. Для чего мне издеваться? Я говорю то, что есть и что будет.

— Так тюрьма для нас — это ваше последнее слово?

— Последнее, ваше сиятельство, последнее-с. Будьте на этот счет покойны. И... ежели Бог пошлет предел дням моим, то...

Морденко на мгновенье замедлился, как бы под наитием внезапной новой мысли.

— Да-с, так вот — ежели Господь пошлет предел дням моим, — продолжал он, с спокой-

ной твердостью, — то после меня останется мой наследник... сын мой... *мой и ее сиятельства княгини Татьяны Львовны* — Иван Вересов... Вы не тревожьтесь: он не знает, кто его мать... Так вот-с, в случае моей кончины *мой наследник,* по моему завещанию, станет вносить кормовые за ваше семейство-с...

Последняя мысль пришла Морденке нечаянно — он высказал ее, собственно, затем лишь, чтобы сильнее бить, и бить на каждом шагу Шадурского. Старик торжествовал и наслаждался величайшим торжеством и наслаждением, но чувствовал все это втайне, сдержанно, не прорываясь наружу ни единым движением, ни единым лучом своего взгляда.

— Но, Боже мой! Ведь тут честь, ведь тут имя страдает! Сын мой гибнет! Он ни в чем не виноват! — в отчаянии воскликнул Шадурский и, непрошеный, опустился на стул.

— Ах, извините, ваше сиятельство, я и не предложил вам сесть! — с легкой иронией поклонился Морденко. — Не осмелился, право, не осмелился, потому где же вам после ваших-то мебелей да на такое убожество вдруг садиться. Извините-с!

И, вместе с этими словами, он сам уселся на другой, трехногий стул, оставшийся свободным.

— Вы изволили сказать: «честь страдает, имя страдает», — продолжал спокойно Осип Захарович. — Да-с, это точно ваша правда, точно, страдают они — да ведь что же с этим делать? Весьма жаль — и только. Вы подумайте, ваше сиятельство, как страдали *моя* честь и *мое* имя! Да вот — перенес же, и Бог не оставил меня. А ведь как моя-то честь страдала! Ведь и у меня были свои надежды, ваше сиятельство, и свои мечтания-с были, ведь и я думал скоротать жизнь человеком-с. А меня всего этого лишили, из меня волка хищного сделали. Вот что-с! Вся жизнь моя после того навыворот пошла, со всей карьерой, со всеми надеждами должен был расстаться. А все оттого, что честь пострадала, да-с!

— Но... Бога ради!.. Отсрочьте нам... повремените... ведь вы, говорю вам, душите нас! Дайте нам поправиться — мы с радостью отдадим вам! — стремительно поднялся Шадурский.

— Я не желаю, чтобы вы мне отдавали: я и

сам возьму то, что мне следует! — отрицательно покачал головой Осип Захарович. — Поправиться... отсрочить... Понимаете ли, чего вы от меня требуете ныне, ваше сиятельство? Вы желаете, чтобы я отказался от своего сердца-с! Да ведь я для моего сердца все, понимаете ли, *все* забыл, всем пренебрег в моей жизни, всем пожертвовал для моей мысли. Я не ел, не пил, в холоду весь век зябнул, я у нищих гроши из кармана воровал, двурушничал по папертям, а вы хотите, чтобы я вам простил, чтобы я от самого себя отрекся!

Он встал со своего места и в волнении прошелся по комнате.

— Нет-с, ваше сиятельство!.. Я вам скажу-с, тяжело это было: начинать пить кровь своего ближнего — куды как тяжело... Не приведи Господи!.. Ну а как начал, так что ж уж останавливаться! Сделал я тогда объявление через полицейскую газету — и нужно же быть судьбе-то! Первый заклад... Приходит ко мне молодая персона. «Бога ради, — говорит, — тут все мое сокровище... не дайте с голоду помереть». Хотел уж без закладу помощь на хлеб насущный оказать, да про ваше сиятель-

ство вспомнил — и не оказал... А с тех пор уж и пошло... и пошло!.. А персона-то была и вам небезызвестная: княжна Чечевинская-с, Анна.

При этом имени Шадурский вздрогнул и изменился в лице.

— Да-с, она самая, — продолжал Морденко, не спуская с него глаз. — Мне и про ваш амур досконально было известно потому, как сами же их сиятельство, княгиня Татьяна Львовна, супруга-с ваша, передавали мне про то в те поры, как они меня к себе приблизить изволили. Так мне, изволите видеть, это все-с известно. Вот-с она, и вещичка-то эта, — продолжал Морденко, вынув у себя из-за ворота рубахи золотую цепочку с крестом и поднося ее Шадурскому. — Я сохранил ее... и всегда храню... как памятник... начало моего сердца-с.

Морденко умолк и продолжал тяжело и медленно шагать по комнате. Шадурский стоял как пришибленный и наконец, словно очнувшись, решительно подошел к своему противнику.

— Ну, — промолвил он с тяжко сорвавшимся вздохом. — Забудем все прошлое...

простим друг другу... Если виноват — каюсь... Вот вам рука моя!

И он стремительно протянул ему обе ладони. Это, по его разумению, была уже самая крайняя, последняя мера, до которой могло унизиться его самолюбие, его достоинство, ради спасения себя и своего состояния. Князь Шадурский просил прощения у Осипа Морденки! Но Осип Морденко отчасти изумленно отступил шага на два назад и, с явным пренебрежением к Шадурскому, заложил за спину свои руки, чтоб тот не успел как-нибудь поймать их.

Князь как стоял, так и остался с протянутыми ладонями, в крайне глупом, неловком и смущенном положении.

— Вы не хотите... — пробормотал он, вероятно, и сам себе не отдавая отчета в том, что именно, и зачем, и для чего бормочет.

В эту минуту Морденко вдруг взглянул на него с каким-то волчьим выражением в глазах.

— Как, ваше сиятельство!.. Забыть! Простить!.. — почти шипел он, пожирая его этим волчьим взглядом, тогда как посинелые губы

его точили слюну и трепетали от лихорадочно-нервного волнения. Теперь его вдруг, мгновенно как-то, сдавила вся исстари накипевшая злоба. — Забыть! — говорил он. — Забыть!.. Нет-с, горит, ваше сиятельство, горит! До сих пор горит!..

И, произнося эти слова, он с злорадным наслаждением указывал пальцем на свою щеку — ту самую, на которой двадцать два года тому назад запечатлелась полновесная пощечина князя Шадурского.

— Вы мне руку теперь предлагаете... ту самую руку... Ха, ха, ха, ваше сиятельство!.. Нет-с, не осквернюсь я вашею рукою, не осквернюсь!.. Вы это потому, что я вас в бараний рог согнул?.. Напрасно-с! Ни забыть, ни простить, ни мириться я не могу — потому горит — горит, говорю вам, ваше сиятельство, до сих пор горит!

Дмитрий Платонович стоял смущенный, опешенный, желая лучше провалиться сквозь землю, чем стоять теперь перед этим человеком, слышать его голос, испытывать на себе действие его волчьего взгляда и понимать каждое его слово, которое каленым уг-

лем ложится на душу. Князь был раздавлен и бессильно взбешен.

— Ну, теперь, полагаю, наши разговоры кончены! — сказал ему Морденко. — Передайте мое глубочайшее почтение супруге вашей, их сиятельству княгине Татьяне Львовне. Скажите, что Осип Захарович, мол, по гроб жизни своей не забыл вас; а затем — прощайте, ваше сиятельство. Наши разговоры кончены вполне.

И Морденко поклонился низким, глубоким и почтительным поклоном.

— Мерзавец! — со всей силой презрения, но — увы! — в совершенно бессильной ярости прошипел ему в лицо выведенный из последнего терпения Шадурский и, весь трясясь и шатаясь на ходу, словно угорелый, поплелся к выходной двери.

— Христина! — закричал вослед ему Осип Захарович. — Помоги его сиятельству надеть шубу и проводи с лестницы, его сиятельство очень слаб и взволнован.

И как только захлопнулась за князем дверь, он бросился к форточке и жадно ждал, когда тот выйдет на двор к ожидавшей его ка-

рете. Шадурский вышел, весь бледный, дрожащий от ярости и почти совершенно больной. Испуганный Хлебонасущенский в карете принял его на руки, почти готового лишиться чувств, и Морденко за всем этим следил теперь своими волчьими глазами и тихо улыбался.

А когда съехала со двора княжеская карета, старик тихо удалился в свою спальную, на ключ замкнул за собою дверь и, опустясь перед образом на колени, со слезой в глазах и с восторженно воздетыми горе руками, прошептал задыхающимся голосом:

— Ныне отпущаеши, владыко!.. Яко видеста очи моя... Ныне... ныне отпущаеши раба твоего...

XVIII
ПОХОРОНЫ ГУЛЬКИ

Старик не радовался — он был просто удовлетворен теперь вполне, как может быть только удовлетворен много, долго и страстно желавший человек. Это новое чувство — чувство безграничного нравственного удовлетворения — охватило его каким-то спокойствием. Он мог и действительно имел теперь неотъемлемое право сказать: *ныне отпущаеши.*

Вышел Осип Захарович из своей спальной, и вдруг глаза его случайно упали на распластанные крылья убитого голубя. Он вздрогнул и онемел, чувствуя в то же время, как жидкие остатки волос его вздымаются от ужаса.

Только теперь вспомнил он про своего друга, вспомнил *что-то,* совершенное в минуту исступленно-дикого, отчаянного порыва, вспомнил, что это *что-то* сделал он — он *сам,* и в сознании старика шевельнулась ужасная мысль: «Я *убил* его... Друга убил, когда он ласкался... беззащитную тварь... чи-

стую птицу Господню... Каин Авеля убил... Каин Авеля!»

И он, страшась подойти к своему голубю, не осмеливаясь прикоснуться к нему, в каком-то паническом страхе выбежал из комнаты в свою спальню и снова замкнулся там, словно бы боялся теперь птичьего трупа и попугая, живого свидетеля совершенного преступления, и самых стен, окон, мебели и самого себя, наконец: он как будто от самого себя хотел убежать и запереться куда-то.

Забившись с головой под одеяло, он долго трясся лихорадочным ознобом, скорчась у себя на постели. Страшно было на свет взглянуть, страшно прислушаться к каким бы то ни было звукам, и каждый предмет невольно пугал его. Каждый предмет представлялся каким-то безмолвным, но страшным укором.

— Не к добру... не к добру! — кручинно шептал Морденко. — И в такой-то день... в такую минуту!.. Грешник ты окаянный!.. Убийца!.. Чистую тварь Господню!.. Боже, Господи... не к добру... Это — самому мне смерть предрекает...

И от этой мысли захолодило в его груди.

Весь остаток дня пролежал он, не вставая, мучимый раскаянием, угрызениями совести и страхом близкой смерти, предзнаменование которой почему-то суеверно мерещилось ему в смерти голубя.

«Да, теперь умру, а дело недокончено, — думал он несколько позднее, — недокончено — и все прахом!.. Все прахом!»

И вдруг он вспомнил, что, уходя, Шадурский злобно и презрительно сказал ему «мерзавца». Тогда, в первую минуту, под обаянием своего великого торжества, он как-то пустил мимо ушей это жестокое слово; но теперь, когда оно случайно вспомнилось ему среди хаоса его нравственных терзаний, Осип Захарович нашел его весьма веским. Теперь это слово всю кровь к голове ему бросило.

— А!.. мерзавец? — прошептал он. — Так тебе еще мало? Так ты еще все-таки смеешь голову против меня подымать?.. Я тебя растоптать и растереть ногою могу, а ты мне «мерзавца»!.. А теперь... Господи!.. Теперь умрешь и дело не кончишь... враг торжествовать будет! Так нет же! Нет! — вскочил старик с кровати. — Не будет тебе торжества! Не

будет!.. Недаром я на тебя жизнь потратил! Допеку! Уничтожу!.. В могиле буду, а все-таки уничтожу... «Мерзавца» — мне, мне «мерзавца»!.. Хе, хе!.. Посмотрим, когда так. У меня пока еще сын есть... Он, он пускай отомстит!.. Коли не я, так он докончит! Что, взяли, ваше сиятельство?.. Хе, хе-е!.. Что, взяли? Не вывернетесь! Не-е-т!

Только поздним вечером Морденко стал как будто несколько спокойнее, то есть настолько спокойнее, что решился наконец выглянуть в смежную комнату из своего доброхотного заточения.

Больно щемило его за сердце, когда подошел он к убитому другу и стал глядеть на него. Слеза на реснице показалась. Он стоял и думал, как быть теперь с этим убиенным другом? Выбросить его в яму, как падаль? Боже сохрани! Как это можно!.. У себя держать, чучелу сделать? Нет! грустно, тяжело будет это: вечный укор перед глазами, вечное напоминание.

Наконец похороны были придуманы.

Прежде всего старик жарко растопил свою печь и, когда она горячо уже пылала, поднял

с полу голубя.

Долго смотрел он на его безжизненное тело, бледный и угрюмый, с застывшей на реснице слезой, наконец медленно поднес его к губам и тихо и долго стал целовать сизоперую шею и бесклювую голову.

— Прости ты мне!.. Прости ты мне, божья птица! — с глубоким и горьким вздохом прошептал Осип Захарович, кивая удрученной своей головой.

И вслед за тем, опустясь перед печью на колени, он метнул в самый пыл ее смертные останки своего друга и как стоял, так и остался на коленях до тех пор, пока не сгорел голубь. Лицо его было мрачно, неподвижно и мертвенно, глаза устремлены в яркое пламя, а сухие губы непрестанно бормотали все какие-то молитвы. И странно было бы видеть эти как-то машинально шевелящиеся губы на совершенно безжизненном и неподвижном во всех остальных своих мускулах лице. Время от времени Морденко, не переставая бормотать молитвы, подкладывал в печку одно или два полена и продолжал это делать до тех пор, пока наконец не испепелились са-

мые кости его вероломно убиенного друга. Он замаливал теперь свой тяжкий грех, совершенный в минутном исступлении. И это действительно была для него огромная потеря, он действительно убил своего друга — убил существо, которое сам выкормил, взрастил и так долго холил, с которым делил те редкие из своих минут, когда прояснялось его угрюмое чело, существо, которое, вместе с попугаем, он любил более всех существ на земле, к которому действительно питал единственно теплое и живое чувство.

И этим убийством он опять-таки обязан своему заклятому врагу — да, одному ему, только одному ему! Зачем он медлил? Зачем опоздал? Приезжай он вовремя в назначенную пору, Гулька остался бы жив и вместе бы теперь делили свою радость. А теперь и радость не в радость, теперь она не радость, а каинская мука, вечное угрызение!.. И ему-то простить теперь! Его-то, врага-то своего да не доконать? Нет, теперь-то и доконать его!.. И его, и жену его, и весь его род, и племя! Пускай родной сын доконает, коли сам не успею! Пускай же узнают они это!

И вот в таких-то странных, хаотических и тревожных думах провел Морденко целую ночь. На рассвете они как-то оселись в нем и тихо, ровно, непрестанно заныли в измученной душе, как бесконечно занывает иногда у человека долго болелый зуб: сначала его шибко дергало, щемило и рвало, а теперь он ровно и постоянно ноет и ноет, не умолкая и не усиливая этого ощущения. Эти ровно ноющие думы и ощущения вытекали у него из трояко-го источника: то была злоба на Шадурского за «мерзавца», то было угрызение совести за убийство голубя и, наконец, суеверный страх близкой смерти, предреченной смертью бесклювого друга, страх паче всего за то, что мщение останется недовершенным и враг восторжествует.

С последней мыслью никоим образом не мог помириться Морденко: она возмущала все существо его.

XIX
СОВЕСТЬ ЗАГОВОРИЛА

Меж тем организм старика, переживший в столь короткое время столь много самых сильных и разнообразных впечатлений, не выдержал. Такая исключительная, сильная страсть нелегко дается и молодой, здоровой натуре, а хилому и дряхлому Морденке нанесла она решительный и последний удар. Взглянув на него, можно было с достоверностью сказать, что дни его уже сочтены. На другое утро он был уже очень слаб и недужен, и этот старческий упадок сил произошел в нем необыкновенно быстро, за одну ночь, в течение нескольких часов, и тем-то сильней и быстрей шел этот упадок теперь, чем более усиленной и напряженной жизнью жил Морденко накануне. А напряженная-то жизнь началась для него еще гораздо за месяц вперед, с того самого дня, как было сделано покушение Гречки, с той самой минуты, как нашел на него решительный страх смерти, который не допустит свершиться старой заветной

мысли; и до последних часов эта двойная, усиленная лихорадочная жизнь шла все crescendo[448], достигая наконец до самых потрясающих и одно другому противоположных ощущений за последние сутки.

Вчерашний день Морденко, основываясь на вообразившемся ему предзнаменовании, только суеверно *думал* о близости смертного часа; сегодня же утром действительно уже *почувствовал* и сознал грядущую близость его. Он был жалок; он чувствовал себя полным неудовлетворенной ненависти и в то же время совсем бессильным, убитым, обманутым судьбой.

В минуту этих терзаний, когда он, один на один со своей злобой, страхом и совестью, лежал замкнутый в своей убогой спальне, ему кручинно вспало на мысль про своего отверженного сына — про Ивана Вересова. Припомнились ему все детство и юность этого сына, вся та черствая, сухая суровость, какою вечно наделял он его в своем обращении, взамен теплой отцовской ласки, — и почувствовал себя старик не совсем-то правым перед собственной совестью. «Ну, мать я ненави-

дел, — думал он, — так ведь это мать... А он-то чем виноват?.. Тем, что на свет от нее родился? Так ведь я ж его и на свет-то родил!» И Морденко с горечью должен был сознаться, что всю жизнь свою заходил чересчур уже далеко в своей ничего не различающей, слепой ненависти. Вспомнилось ему, что никакой поддержки ни разу не оказал он своему сыну, предоставляя его самому себе — живи, мол, как знаешь, на свои собственные гроши; а затем совесть подсказала и то, что он, отец, даже обокрал родного сына, затаив в свою пользу значительнейшую часть той суммы, которую двадцать два года назад его мать переслала Морденке на воспитание Ивана. Все это встало теперь перед его совестью тяжелым упреком. В старике заговорила некоторая доля его давно заглохшей человеческой, сердечной стороны: на рубеже расплаты со своей жизнью в нем начинал просыпаться *отец.* И вспомнил он, разбирая отношения свои к этому юноше, что Вересов никогда ни единым укором, ни единым жестким словом не проявил перед ним своего законного протеста: всегда он был тих, и кроток, и почтителен.

«За что же, за что же это так?» — задавал он себе укоризненный вопрос, от которого еще жутче становилось на сердце.

«Но ведь он же виноват передо мной! Он на отца святотатственную руку вознести помыслил!» — вильнул он вдруг в оправдание перед собственной совестью, ибо совесть эта, по своей человеческой сущности, настойчиво требовала, искала в чем-нибудь и хотя каких-нибудь оправданий — и не могла найти ни одного удовлетворительного. Но вильнул и опешил — потому что та же самая совесть напомнила, что сам же он, Морденко, из одной слепой злобы, упорно взводил на сына обвинение в этом покушении, основываясь на одних нелепых подозрениях, на «ясновидении», на том только, что ему так казалось. Он был зол и перепуган тогда, он еще всецело отдавался своей слепой ненависти, перенося ее от матери на сына; но теперь... «Ведь Иван-то невинен, ведь злодей повинился чистосердечно, рассказал все дело и как опутал-то его, неповинного, — думал и корил себя Осип Захарович. — Ведь и следственный пристав досконально знает это, меня призывал и объ-

явил мне, а я... я от родного детища отказался... и воочию знал, что оно неповинно, а отказался... Ох, горе, горе тебе, человече... Горе на конечный твой час... А час-то этот, яко тать в нощи...

И где-то теперь он, несчастный, скитается? без крова, без приюта, без хлеба... И все ты — один ты виноват да злоба твоя неисходная...

Вот вчера в церкви стоял и в глаза тебе глядел прямо, несмущенно... была бы нечиста совесть, не стал бы так глядеть... Ведь вон — злодей-то тот, как привели его перед меня да заставили рассказать, как все дело было, так ведь куды как жутко сделалось!.. И коробило-то его, и говорить-то трудно было — а еще злодей, закоснелый злодей!.. А этот — нет, этот прямо и откровенно смотрел... А ты, окаянный, мимо прошел, мимо детища единокровного, словно бы чужой и незнакомый... ты его погибать оставил, да еще добро бы в тюрьме, а то в церкви... А он в церковь-то Божию зачем пришел?.. Молиться пришел!.. Может, еще за тебя же, за лютого молился!..»

И старик горько заплакал. Туго и тяжело выжимались из глаз его скудные, иссякшие,

старческие слезы, но тем-то и жутче, тем-то и горьче и больнее были они. В нем живо и вполне уже заговорило теперь отцовское чувство: старый кремень раскаялся.

И захотелось ему во что бы то ни стало видеть своего сына, прижать его к своей груди — может быть, в первый раз в своей жизни приголубить, приласкать его, выпросить у него прощение себе, загладить все свои былые напраслины, жесткие несправедливости относительно его, и захотелось тем сильней и неотступнее, чем более чувствовал он свою немощь и слабость, близкие к гробовой доске. Но как его видеть? Где отыскать его?

Старик долго ломал себе голову над этим вопросом и наконец, к величайшей радости своей, отыскал подходящее разрешение.

Он дотащился до своего стола, достал четвертушку серой бумаги, закорузлое гусиное перо, воткнутое в заплесневелую баночку с чернилами, и с трудом начал писать дрожащей и слабой рукой:

«Милостивый государь, господин следственный пристав! Господь вразумил меня и помог убедиться, что сын мой Иван Вересов

против меня невинен. Желаю примириться с ним и со своей совестью, но где ныне находится сын мой — о том неизвестен. Вы отпускали его на поруки, и он должен сообщить вам о месте своего жительства. Ради Господа Бога прошу вас уведомить меня немедля, где он находится. Торопитесь, ибо стар я и недужен — и час мой в руце Создателя. Еще прошу, как во Христе брата моего, не откажите сами пожаловать ко мне завтрашнего числа после занятий ваших, дабы я мог при вас и при священнике составить и скрепить свое духовное завещание. Более мне не к кому обратиться. Вы брали участие в сыне моем, надеюсь, что вы не откажете свидетельствующему вам, милостивый государь, нижайшее свое почтение Иосифу Захарову Морденке».

Он запечатал и через свою Христину тотчас же отправил письмо по назначению, строго наказывая и моля ее немедленно и точно исполнить его поручение.

После этого снова стал он писать начерно свое завещание:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Живоначальныя, Единосущныя и Нераздельныя

Троицы. Аминь.

Находясь в полной памяти и здравом уме, завещаю и отдаю в полную собственность, по смерти моей, все достояние мое, заключающееся: a) в векселях на князей Шадурских, ныне представленных ко взысканию, и b) в кредитных бумагах и билетах (следует перечень и нумера), приемному сыну моему Ивану Осипову Вересову; c) пять тысяч рублей серебром по монастырям на помин души, для вечного поминовения; d) вещи же, все какие есть и коим прилагаются при сем росписи, распродать и деньги раздать неимущим, на поминовение души».

Таков был проект духовного завещания Морденки, написав который, он, от усилий механического труда, ослабел еще более и едва уже мог дотащиться до своей кровати.

Но зато дух его стал теперь светлей и спокойнее. Его подкрепили сознание исполненного долга и примиренная сама с собой совесть. Однако же вместе с наступившим просветлением не могла-таки заснуть и угомониться старинная злоба. Это было чувство, как бы вне его стоящее и парящее над ним

всею своею мощью; с ним одним только никогда и нигде не мог управиться старик, потому что оно, от слишком долгого упражнения, перешло у него наконец чисто уже в род какого-то вечно присущего ему помешательства.

И теперь, когда от больного сердца и головы его отлетели все остальные тревожившие их мысли и заботы, чувство старой злобы снова проступило на первый план и даже у двери гроба заняло свое обычное место.

Мысля о смерти и чувствуя близость ее, он все-таки продолжал думать о мщении.

«Примирюсь с сыном — он будет продолжать! — злорадно проносилось в голове у Морденки. — Я скажу ему, что с тем только и все достояние ему оставляю, чтобы он продолжал. Скажу, что это единственное условие... Обещание, клятву возьму... А про мать ничего не скажу: не надо про мать говорить, ничего не надо! Ни-ни! Боже сохрани! Пускай так и не узнает, кто его мать... А то неравно, как узнает, может быть, жалость возьмет, может, простит им, не исполнит... Пускай не знает жалости!.. Пускай до конца ведет!.. Что, ваше сиятельство! Теперь посмотрю, как вы

восторжествуете!.. Тут вам и пощечина, тут вам и „мерзавец“!»

И с этих пор умирающий старик только ждал не дождался той желанной минуты, когда наконец он воочию увидит своего сына.

XX
КЛИНОМ СОШЛОСЬ

Над Петербургом висело промозглое, серое и какое-то отволглое утро: нельзя сказать, чтобы было холодно; напротив, с крыш и из дождевых труб точилась капель, но в воздухе стояло что-то тяжело-серое, моросящее, и с моря дул порывами тот гнилой ветер, который всегда приносит с собой распутицу и слякоть.

Этим утром начинался для Маши второй день ее бездомных, голодных и холодных скитаний; для Вересова он был уже третьим.

Оба вышли из церкви Сенного Спаса, обогретые гостеприимной церковной печью, и с паперти повернули один направо, другая налево и затерялись в хлопотливой утренней толпе. Почему тот и другая взяли такое на-

правление, того и сами они не могли б определить: им, по-вчерашнему, было решительно все равно куда ни идти — потому что ни цели, ни задачи впереди не предвиделось.

Вересов пока еще был сыт и в течение двух суток успел уже как-то обтерпеться в своем положении; он и толкался теперь меж народа без злобы и боли, навеваемых вчера ужасною и голодною мыслью о безвыходном положении. Он как-то даже старался не думать о том, что предстоит впереди — не далее как через несколько часов, — когда опять стемнеет над городом, когда опять начнет подмораживать к ночи и снова вздумает крутить и мутить в желудке проснувшийся голод.

«Однако что ж так-то шататься! Надо же и дела какого поискать, — решил он после часу бесплодного хождения по улицам. — Надо торопиться, а то... Господи, что, если опять придет такой же голод!.. Надо торопиться, надо торопиться пока до голода...»

И он с тоскливой озабоченностью огляделся во все стороны. Откуда искать спасения? Кто выручит? Кто даст работу?

Но день как назло был праздничный, и ра-

боты по этому случаю не могло предстоять ни малейшей. Только по кабакам да харчевням слышны были гам, да песни, да крики.

Но вон, на углу, у кабака стоит толпа, человек до двадцати поденщиков-носильщиков — больше всего отставные солдаты.

«Нанимает же их кто-нибудь, — помыслил Вересов. — Пойду к ним постою вместе — авось и меня кто-нибудь наймет».

Пошел и примазался к маленько подгулявшей кучке, и стал между двух отставных «гарнадеров». Там шли свои разговоры и свои споры с расчетами и перекорами; но это не помешало им, однако, вскоре обратить внимание на затесавшегося в их толпу пришлого человека.

— Что, малый, надоть? — бесцеремонно обратился к нему близстоявший высокий «гарнадер».

Вересов несколько смутился, но все-таки успел проговорить ему:

— Так... сам по себе... А вы, верно, носильщики?

— Мы-то?.. Мы — носильщики. А что тебе?

— Да я, вот, тоже... хотел бы в эту работу...

Может, наймет кто-нибудь.

— Кого?.. Тебя-то? Ха-ха!.. Да нешто ты гож в эфту работу? Силенка-то где? Тебя ведь одним плевком пополам перешибить — и готова! Куда тебе в нашу работу!

— Нет, я могу, — попытался было отстоять себя Вересов.

— Ну, коли можешь, это твое дело, ищи себе.

— Я вот и постою.

— Ну и стой, буде охота твоя такая. Стой хошь до завтрева — никто не наймет.

— Отчего не наймет?

— Отчего!.. Первым делом, оттого что праздник, кто ж в праздник нанимает?

— А для чего же вы стоите?

— Мы-то? А мы для того, что мы выпить пришли, мы уж тут, у эфтого кабака, завсягды и стоим, и как теперь, значит, выпили, ну и галдим промеж себя, известно — проклажаемся, потому — праздник. А второе дело, у нас артель, и окромя артельных никому постороннему эфтого дела мы не уступим, а ты поди тягайся с артелью, коли хошь! Супротив артели ничего не поделаешь.

— Ну возьмите меня в свою артель, — предложил Вересов.

— А какой с тебя прок артели? — возразил кавалер. — Силенки-то у тебя на грош, а сам, гляди, проешь в день на два пятака. Так что с тебя толку? А ты — я вот что скажу — ты, коли хошь, ступай завтра на галанску биржу да там поищи — може и возьмут.

— Где взять! — возразил другой товарищ. — Там ведь тоже дюжой человек требуется, потому — там работа еще потяжельче нашей будет; опять же и то, найдет, этта, ихнего брата туда кажинное утро человек сот пять, а отберут из них в работу два ста — а прочие долой — *але-марш.* Так-то!.. Вот ты и поди тут! А ты лучше другой какой работишки поискал бы, — обратился он к Вересову, — такой бы работишки, которая тебе посноровистей была бы, чтобы силенку не нудить, вот, примером бы, хошь по лакейской части. Вид-то какой есть при тебе аль никакого не имеетцы?

— Вид-то?.. — Вересов несколько смутился. — Вид-то... Как же! Вид у меня есть!

— Покажь его, — бесцельно полюбопыт-

ствовал кавалер.

Вересов не совсем-то охотно вытащил из кармана билет, выданный ему следователем при отпуске на поруки.

Кавалер развернул и по складам стал разбирать его.

— Эге, брат, да это у тебя вид-то волчий! — проговорил он, подозрительно оглядывая молодого человека. — А еще к нам в артель просится: «Работы хочу! Места какого!» Кто ж тебя с волчьим-то видом на место возьмет аль в работу какую? Никак этого невозможно, потому сичас как на этот самый вид посмотрит, так сразу и видит, что ты есть подозрительный человек. Ишь ты ведь гусь какой! Из тюрьмы на поруки отпущен, а сам места ищет! И сичас кажинный хозяин опасаться тебя должен: почем я знаю, может, ты меня обворуешь аль еще чего хуже? Ну и шабаш, значит; проваливай себе с Богом! Нет, брат, — прибавил он решительным тоном, возвращая Вересову его билет, — с волчьим видом ни в какую работу тебя не возьмут, окромя мазурничьей. Мазурить — вот это смело можешь, а что все протчее — ни-ни!

Грустно и понуро отошел от этой кучки Вересов. Он чувствовал, что в словах кавалера заключалась горькая правда, что и точно никто, из простой предосторожности, не решится взять к себе на место человека, отпущенного на время из тюрьмы по уголовному делу. Поди доказывай ему, что ты невинен, что самый отпуск на поруки удостоверяет уже несколько в этом, что ты взят по ложному обвинению, по одним только подозрениям! «Все это так, — уклончиво скажет каждый наниматель, — да все же без этого было бы спокойнее как-то... а теперь все как будто сомнительно». И наниматель по-своему, пожалуй, будет и прав: тюрьма — плохая рекомендация человеку. Стало быть, в конце концов что же остается, если ты не имел до тюрьмы прочной оседлости и хоть какой-нибудь, но все-таки прочной собственности и прочного занятия? Остаются только два исхода: либо великодушно умирай с голоду, либо, коли не желаешь смерти, то волей-неволей воруй для поддержки своего бренного существования. Это факт. И притом это факт, который весьма легко проверить и убедиться в его беспощад-

ной справедливости. Загляните в тюрьму, скажите, чтобы вам указали на нескольких из арестантов, которые попадаются в эту тюрьму не в первый уже раз (а таких очень и очень много), а затем, узнав их имена и нумера дел, справьтесь в местах, где таковые производятся, и вы последовательно дойдете до первоначального дела каждого из этих подсудимых. Но это процедура слишком длинная. Возьмите путь кратчайший: спросите у любого опытного следователя, и — как в первом, так и в последнем случае — вы получите ответ такого рода:

«Человек честный, неиспорченный, сделал проступок или по случайному стечению обстоятельств подозревается в проступке, за который в том и другом случае ему отводится место в заключении, в тюрьме.

В тюрьме, или вообще где бы то ни было в заключении, он сидит известное, по большей части довольно продолжительное время, в самом неразборчивом сбродном обществе воров, мошенников, негодяев, так или иначе (иногда самым косвенным и незаметным образом) влияющих на его нравственность.

Почему бы то ни было (как это часто у нас случается) человек этот отпускается на поруки. Чаще всего он и сам ищет этого, потому что в тюрьме не сладко сидеть. При отпуске на поруки (а что такое наши причастные и притюремные поручители за три рубля — читатель уже знает) ему выдается временное свидетельство, которое на специальном argot называется *волчьим видом.* Наименование весьма меткое, весьма характерное. *Волчий!* Да, действительно это волчий вид, и человек, его имеющий, по всей справедливости уподобляется волку. Его опасаются, его подозревают, ему нет места ни в одной честной артели, ему нет работы ни у одного хозяина, ни у одного нанимателя, потому что он человек неизвестный: бог его знает, какой такой он человек, временный билет служит ему крайне сомнительной рекомендацией. И вот каждый начинает подозрительно озираться на него, как на хищного волка, и как хищного же волка его гонят от стада, где нет ему места. А желудок меж тем предъявляет свои законные требования — вследствие такого обстоятельства человек от голоду еще того пуще

уподобляется волку. Ну, волк так волк! Что же ему остается?

Либо повеситься, утопиться, буде он человеком с твердым закалом честной нравственности.

Либо поступить по-волчьи: украсть, похитить, зарезать ягненка своими волчьими зубами.

Ergo[449]: или умри, не существуй, или делайся преступником.

Чаще всего он делается последним и, как быть надо, опять попадает в тюрьму. И вот таким образом, попадая в нее впервые (иногда только случайно), честным, неиспорченным человеком, со всеми данными полезного для общества члена, он вторично попадает в нее уже сознательным *преступником по нужде, по необходимости,* а из этого вторичного заключения уже выходит совсем готовым, вполне сформированным кандидатом на Владимирскую дорогу, в сибирскую каторгу. Тюрьма выработала из него негодяя — честный человек, полезный член общества погиб в нем навсегда и безвозвратно».

Этот неотразимый и несчетно повторяю-

щийся факт составляет главную болячку наших заключений, нравственно умерщвляющих человека и служащих, по нашим большим промышленным городам, одним из средств, способствующих развитию пролетариата и преступления.

Результаты оказываются слишком горестными, слишком наносящими ущерб обществу, для того чтобы можно было оставить их без самого горячего внимания и без радикальной помощи. Никакие паллиативы не помогут этому злу.

XXI
ОПЯТЬ НАД ПРОРУБЬЮ

Маша пробиралась по тротуару Сенной площади, позади торговых навесов. Тут уже начинал скучиваться праздничный люд-гулена. Отставной инвалид у дверей кабака продавал на грош и на копейку картузики нюхательного зеленчуку, приговаривая каждый раз при этом с малороссийским оттенком: «Купыть, господа! Добра табака! Хранцузька, под названием „сам-пан-тре!”» А под-

ле инвалида расселась на своем товаре баба-картофельница: вывезла она сюда детскую тележку, нагруженную двумя чугунками с вареным картофелем, и сидит на этих чугунах, то и дело выкрикивая пронзительным голосишком: «Теплого товару, господа! Картошки вареныей, с-под себя, с-под себя, господа! Теплая!» А за нею, далее, в разноголосом говоре прибывающих кучек дребезжит козлом речитатив пирожника. Тут же несколько подпольных обитателей успели уже и иного рода торг завести: продают они «с рук» — один жилетку, другой штаны, третий сапожонки, и продают их «за сущую безделицу, ради праздника, лишь бы только на выпивку хватило». Вот появилась своего рода ходячая рулетка, известная под именем фортунки, а далее составился стоячий кружок с целью переметнуться в орлянку. И все эти праздничные гулены стоят тут, в некотором роде сибаритствуя; глазеют себе на народ самым безучастным, равнодушным образом да галдят промеж себя свои разговоры. Но нельзя сказать, чтобы между этими группами особенно кидались в глаза яркие цвета праздничных нарядов,

главный колорит их составляет все-таки пестрящая серота лохмотьев и грязь убожества, потому что сюда, на эту закрытую торговыми навесами площадку, повысыпал по преимуществу беспардонный люд Вяземской лавры да Деробертьевского дома — высыпал справить, как ни на есть, утро своего праздника, перед Полторацким кабаком, то есть постоять, поглазеть, погалдеть да выпить малую толику на последний грош — «чтобы попусту в кармане не залеживался».

Маша проходила по тротуару мимо этих групп, и вдруг глаза ее случайно упали на вывеску, прибитую над спуском в подвальный этаж, где она прочла слова «Сесная лавка». Это был один из перекусочных подвалов, с которым мы уже знакомили однажды читателя.

«Тут, верно, дешево, — подумала Маша, вспомнив при этом о последнем оставшемся у нее пятаке. — Когда захочется поесть, надо будет сюда зайти. Только... что-то будет завтра, если сегодня все зараз проешь?»

Но это *завтра* в данную минуту почему-то не представилось ей поражающе всем своим ужасом. Маша, сама себе не давая верного от-

чета, казалось, как будто чего-то ждала, на что-то надеялась, думала, в чем-то найти исход. Но это именно было одно лишь *что-то*, какая-то смутная, беспричинная и безразличная надежда, которая мгновениями может закрадываться в человека, в то время как он успел кое-как обогреться и насытиться. Эта надежда в подобных случаях есть следствие чисто физиологических причин: организм успел удовлетворить своим законным жизненным требованиям — человеку и кажется мир не в столь мрачном свете, хочется думать, будто еще можно жить. Но если бы Маша захотела строго задать себе вопрос: какое именно это *что-то*, от которого она ждет исхода, — бог весть, может быть, она в последней степени отчаяния тут же решилась бы размозжить себе голову о первый попавшийся камень.

Но... жизнь или судьба подсовывает человеку такие задаваемые им самому себе вопросы не тогда, когда он сколько-нибудь сыт и обогрет, а именно в те роковые минуты, когда он голоден и безысходен.

Нечего пересказывать во всей подробно-

сти, как провела Маша второй день своего скитальчества. Греться она заходила в пассаж, отдыхать от ходьбы — в католическую церковь, где можно сесть спокойно на любую из скамеек, стоящих двумя длинными рядами.

Часов около восьми вечера она почувствовала голод, ощупала свой пятак и вспомнила про перекусочный подвал, замеченный ею на Сенной площади.

Молодая девушка туда и отправилась.

— Барышня!.. Вы куда это изволите?.. Может, нам по пути... Позвольте проводить! — с наскоку окликнул ее на Невском какой-то франт, приказчичьей наружности, подлетая к ней сбоку и весь изогнувшись ходячим фертом.

Первым движением девушки был испуг. Она вздрогнула от такой неожиданности.

— Что же вы молчите-с? Али языка своего лишимшись? Позвольте-с к вам с нашим почтением! — продолжал между тем ходячий ферт.

«Вот он — путь! — мгновенно мелькнуло в голове Маши. — И легко, и выгодно... Легко?..

Нет! Боже меня избави!»

И она с ужасом быстро метнулась в сторону от обязательного франта.

Из незатворенной двери перекусочного подвала валил на улицу пар, которым густо была пропитана атмосфера этой берлоги, вследствие духоты и дыхания многих людей, разноголосый говор которых гулко вырывался оттуда вместе с клубами пара.

Маша спустилась по скользкой лестнице и в нерешительности остановилась в дверях: ей сразу же кинулась в глаза мрачно закоптелая внутренность этого подполья под каменными сводами, озаренного, вместо свечей, ярким пламенем топящейся русской печи, — внутренность, наполненная каким-то народом, который скучился там в различных группах, отличавшихся своими лохмотьями и убожеством. Маша хотела уж было податься назад, чтобы уйти от этого зрелища, невольно наводившего на нее робость, но запах жареной трески подстрекнул ее голод, а в это время позади ее раздался сиплый, гортанный женский голос и чья-то рука подала вперед ее

плечо.

— Проходи, что ли, краля! Чего в дверях-то фуфыришься!

Маша ступила в подвал и, обернувшись на толкнувшую ее женщину, увидела за собой высокую безобразную старуху, которая прошла мимо и села к одному столишке, где еще оставалось два незанятых места.

Голод заставил молодую девушку последовать ее примеру, и она поспешила занять подле нее последнее пространство скамейки, оставшееся свободным.

Старуха закопошилась в кармане и высыпала на стол несколько копеек.

— На полторы копейки щей, — забормотала она вслух сама с собой, откладывая на ладонь медяки, — на полторы, стало быть, щей... или гороху?.. Горох сытнее... да на полторы хлеба... стало быть, три копейки... да три на ночлег... Вот тебе и все шесть... А больше и нету! — прибавила она, как-то странно улыбаясь и взглянув на Машу, словно относила свою речь не то бы к ней, не то бы просто на воздух.

Но, бросив на девушку этот случайный

взгляд, она вдруг как-то чутко насторожила голову и со вглядчивым вниманием замедлила на ее лице свои взоры.

Можно бы было подумать, что это лицо напомнило ей что-либо знакомое своими мягкими чертами.

Маша сидела, подперши рукою голову, и ничего не замечала.

— Покарауль-ка, милая, мое место, — снова дотронулась до нее старуха, — я пойду пока, принесу себе поесть, а то и не углядишь, как займут, — придется стоя...

Маша, не глядя на нее, согласилась кивком головы, а старуха, удаляясь, опять оглядела ее довольно пристальным взглядом. Как будто что-то смутно-знакомое напомнили ей черты Маши, и эти черты словно бы тянули к себе ее сердце чем-то теплым, любовным и как бы родственным, так что старуха с первого взгляда почувствовала нечто вроде инстинктивной симпатии к этой девушке. Ей хотелось глядеть на нее, заговорить с нею, чтобы, глядючи, воскрешать перед собой какой-то знакомый образ былого...

— Ты тоже есть пришла? — спросила она

ее, снова усевшись на место с принесенной краюхой хлеба и грязной посудиной какого-то мутного варева.

Та подтвердила ее вопрос.

— Так чего ж ты ждешь? — возразила соседка. — Здесь ведь не трактир — не подадут. Здесь самому надо схлопотать себе.

— Да я не знаю, как это тут... у кого спросить — не разберешь ничего.

— А вон у повара, у кочегара-то этого... у него и спрашивай. Ты, верно, впервые еще?

— Да, я в первый раз...

— То-то и видно... Хочешь, пожалуй, я тебе добуду? — предложила старуха. — Давай деньги — я схожу.

— Э, да ты на целый пятак? — улыбнулась она, когда Маша подала ей монету. — Хочешь так: похлебаем вместе моей лапши, а я на три копейки возьму порцию трески да на две хлеба — и тоже давай вместе есть?

Девушка согласилась и по-братски разделила убогую трапезу с трущобной парией. Но один только сильный голод заставлял ее глотать эти снеди. Мутная лапша отзывалась каким-то щелоком и мыльной водой, а от немы-

той трески сильно отдавало ей одной свойственным запахом. Что же касается до старухи, то она ела с видимым аппетитом: для нее эти яства давным-давно уж стали делом совсем привычным.

Обе они доедали остатки своей трески, когда к старухе каракатицей подошла низенькая, очень белобрысая и очень рябая женщина, тоже довольно преклонных лет, и остановилась перед ней, с пьяноватым ухарством избоченясь своей красной морщинистой рукой.

— Ты что, Чуха, в Таиров[450] теперь али на пришпехт? — спросила подошедшая у Машиной соседки.

— Не знаю, — раздумчиво ответила эта.

— А я на Фонталку... удить пойду... может, и наклюнется какой-нибудь карасик. Пойдем-ка? Веселее вместе.

— Н... не знаю, — раздумчиво повторила Чуха.

— Чего «не знаю»! Али копейкой лишней заручилась?

— Какая уж там копейка! Только на ночлег и осталось, а то все проедено.

— Ну, вот то-то и есть! Пойдем, говорю!

— Пожалуй, — нехотя согласилась старуха. — Только — чур! Ты нынче к мосту ступай, а я по набережной, около Вяземского.

— Ишь ты, выбирает тоже, где газу нет, чтобы потемнее было!.. Небось рыло-то все-таки разглядят... Ну да ладно, будь хоть по-твоему! — мазнула в заключение белобрысая и за руку вытащила из-за стола свою товарку.

— Прощай, милая, спасибо тебе! — приветливо поклонилась Маше старуха, увлекаемая своей подругой.

Этот мимолетный разговор двух парий произвел на девушку какое-то странное, дикое впечатление. О чем они сговаривались — она не могла дать себе ясного и полного отчета, только чуяла в их намерениях что-то нехорошее, неестественное, вынуждаемое тяжким гнетом всепоглощающей нужды и лихой привычки. Ей стало безотчетно тяжело от этой мысли — тяжело за жизнь, за людей, за этих двух жалких женщин, так что она поспешила поскорей выбраться на свежий воздух из удушливой атмосферы перекусочного подвала, и когда заворачивала на Обуховский про-

спект, то заметила на углу, у Полторацкого кабака, тех самых двух женщин, переговаривавших с каким-то лохмотником.

Невольное внутреннее движение заставило Машу отвернуться от этой группы; но та старуха, которую звали Чухой, при свете газового рожка заметила прошедшую мимо девушку и через несколько времени тихо побрела вслед за ней, пока не догнала ее подруга, переругнувшаяся напоследок со встречным лохмотником.

Был девятый час в начале, и ночь сгустилась над городом такая же, каков был и рассвет: оттепель и слякоть. Но это не печалило Машу — напротив, она была скорее довольна, потому — все-таки ночь пройдет теплее для тела, плохо прикрытого бурнусиком: меньше знобить и донимать станет ночной холод. Она держала теперь путь ко вчерашнему своему ночлегу, к той пустой барке, где надеялась встретить опять неизвестного, но породнившегося в общей доле сотоварища.

Робко озираючись, спустилась она на лед и несмелой рукой взялась за скрипучую дверку барочной каюты. Но изнутри, едва был пе-

реступлен порог, раздалось такое решительное и злобное рычание щенной суки, что войти туда или даже оставаться в дверях становилось весьма небезопасным. Сегодня собака была гораздо голоднее и потому гораздо злее вчерашнего. Она уже поднялась с места и, рыча и осклабясь, выжидала только удобный миг, чтобы со всей злостью голодной матки кинуться на возмутителя покоя своего логовища.

Маша не рискнула остаться и, поспешно притворив дверь, начала прислушиваться за нею — не слыхать ли в каюте присутствия ее вчерашнего соночлежника; она даже раза два слабо окликнула: «Есть ли кто в барке?» Но на этот оклик не последовало никакого ответа, кроме тревожно-сердитого рычания. Ясно, что товарища нет, что он еще не возвращался. Что же делать? Войти туда, что ли? Собака бросится. И добро бы загрызла насмерть, а то ведь нет: искусает только да последнее платьишко изорвет — значит, входить не к чему, не расчет. Ждать его? Да где станешь ждать-то? Опять шататься по улицам? Нет, уж будет шататься! Усталость берет свое. Надо при-

сесть где-нибудь. И Маша опустилась на обрубок барочного ребра, сторонясь кое-как от широких луж, которые повсюду в изобилии распустила полусуточная оттепель.

И в эту минуту горьче и сильнее, чем когда-либо, охватило ее мутящее отчаяние. «Сегодня так, и завтра так... и все-то, все-то это будет одно и то же!.. Нет, пора кончить! Решительно пора!» — с минутной твердостью и решимостью помыслила Маша, быстро поднявшись с обрубка, и направилась к тому месту, где торчали две елочки.

И вот, по-вчерашнему, у ног ее зловеще зачернелся темный кружок проруби, и, по-вчерашнему, невольно скользнула в уме мысль: «А грех... самоубийство...»

— Нет! Это вздор!.. Нечего обманывать себя! Нечего трусить! — почти в полный голос произнесла она с нервным движением, словно бы хотела стряхнуть с себя непрошеную мысль о греховности предстоящего последнего шага. — Грех!.. Что же мне делать? Что делать мне больше? Господи, научи меня! Господи, прости ты меня! Прости мне это самоубийство!

И она с истерическим, глухим рыданием упала на колени у самого края проруби, судорожно и крепко сложив свои руки, устремя отчаянно-молящие взоры в непроницаемую глубь черного и полного моросящей изморози петербургского неба.

В эту минуту она уже твердо решилась утопиться и только молилась о прощении своего греха безумно горячею, последнею молитвой.

Молитва кончена. Девушка неторопливо, но твердо поднялась с колен и поглядела вдаль с тем холодным спокойствием, которое в ту минуту служило полным выражением ее непреклонной решимости. Этим долгим, острым и спокойным взглядом вдаль, казалось, будто хотела она распроститься навеки с покидаемым миром, с этим суровым городом, который когда-то давал ей столько тихих, безмятежных радостей и потом сразу разбил ее существование. В душе ее не было ни злобы, ни ненависти, ей даже некого было прощать и некому послать последнее проклятие — потому что она умела только любить и не умела и не могла ненавидеть. На ее долю в последние мгновения осталась только горячая мо-

литва за свою бедную, разбитую и одиноко погибающую душу.

— Ну, прощай, Маша, — сказала она себе, вздохнув из глубины души каким-то легким и отрадным вздохом. — Боже мой, прости меня, безумную, прости меня!.. Прощай, Маша!.. Пора!.. Господи, благослови!

Нога ее уже скользнула в воду, как вдруг чья-то посторонняя рука с силой отбросила ее в сторону.

Маша испуганно вскрикнула и остановилась в неподвижном изумлении.

Перед ней стояла Чуха.

Но как все это произошло, и что такое с ней случилось, и кто стоял против нее — девушка не могла еще дать себе отчета: она не успела прийти в себя и ровно ничего не понимала.

Старуха подошла к ней и кротко взяла ее за руку.

— Бедная ты моя, бедная!.. Что это ты задумала!.. Опомнись! — с тихой и кроткой укоризной заговорила она. — Господи! Минутой бы позже... не подоспей я — и все бы было кончено.

— Оставь!.. Пусти меня! — нервно выдернула Маша свою руку. — Чего тебе от меня надо?..

— Не пущу! — решительно возразила женщина, поспешно и с силой ухватив ее снова за руку. — Не пущу!.. Опомнись, что ты это делаешь?

— Уйди, говорю, отсюда! — настойчиво и резко сдвинула Маша брови. — Что тебе за дело до меня? Ведь ты не знаешь меня? Ведь ты чужая мне! Кто тебя просит мешаться?!

— Кто?.. Бог и совесть, — строго проговорила старуха, глядя ей прямо в глаза. — Ты хотела топиться... Я видела... я все видела... я не пущу тебя, а если станешь вырываться — буду кричать, позову на помощь...

Маша поняла окончательную невозможность исполнить в эту минуту свое намерение и в бессильном отчаянии, немая и убитая, тихо опустила голову и руки.

Старуха отвела ее в сторону, подальше от проруби.

— У тебя горе... Большое горе, — прошептала она с теплым участием.

— И горе, и отчаяние — деваться больше

некуда! — не глядя на нее, молвила Маша, и из глаз ее медленно полились тихие, глубокие слезы. И эти слезы были вестником благодатного нравственного перелома: она внезапно встретила сочувствие и участие там, где уже ничего больше не надеялась встретить.

— Эх, милая! — глубоко вздохнула старуха. — Кабы люди с горя все топились да резались, так и половины людей не жило бы на свете.

Маша, без ответа на эти слова, стояла склонившись к плечу своей спасительницы и все плакала теми же тихими, благодатными слезами.

— Да! Вот так-то и я когда-то, — грустно закачав головой, продолжала старуха, — и я когда-то тоже стояла над водой. Да ничего: обтерпелась, обкоптелась (в голосе ее дрогнула тонкая, горько-ироническая струнка) — и живу себе до сих пор, как видишь. Оно только сначала, с непривычки кажется, будто и невесть как страшно... А потом ничего — можно... Живут же люди. Ты думаешь, только и горя, что у тебя у одной? Нет, милая, много есть горя у белого света... всякого горя — не

одно твое, да живем вот, пока смерть не взяла...

Маша слушала эти тихие, исполненные теплоты и грустной, затаенной горькой иронии речи, в звуке которых ей слышались сердечность и участие к ней, к постороннему одинокому существу, и эта искренняя теплота невольно сказала ее сердцу, что не все еще клином сошлось в этой жизни, что как бы то ни было, а еще можно жить на свете, пока Бог сам не дает тебе желанной смерти, и на ее верующую, религиозную и впечатлительную натуру повеяло ужасом от мысли, что она, вопреки высшей судьбе, задумала своевольно покончить с собственной жизнью. Бедную девушку пронял лихорадочный трепет.

— Холодно тебе? Пойдем, обогрею! — както вдруг повеселев, участливо предложила Чуха, беря ее под руку.

— Куда? — отозвалась Маша.

— Да уж молчи. В теплое место сведу. Там хоть и очень скверно с непривычки, да все ж таки люди, а мне бы лишь отсюда-то увести тебя поскорее.

— Ну, видно, и в самом деле не судьба мне

еще умирать! Да будет Его святая воля! Пойдем!.. Веди меня куда хочешь! — решительно и просто сказала Маша, с тихим вздохом, в котором вылилась вся ее кроткая, голубиная покорность своей судьбе и той воле, которая так неожиданно удержала ее от насильственной и страшной смерти.

XXII
МАЛИННИК

На Сенной площади, позади гауптвахты, между Конным и Спасским переулками есть дом под № 3. На вид он достаточно стар и построен если не в прошлом столетии, то никак не позднее первых годов настоящего. Трехэтажный корпус его и восемь окон по фасаду, с высокой почернелой крышей, на которой, словно три удивленных глаза, торчат три слуховых окна, имеют довольно первобытный и весьма неуклюжий вид. Между этим и соседним домом идет род маленького глухого переулчонка, который выводит к воротам обоих домов: одни левее, другие прямо. Если вы войдете в те, что левее, — вашему взору

предстанет грязный двор, со всех четырех сторон окруженный каменными флигелями, по всем этажам которых, с наружной стороны, поделаны сплошные галерейки, называемые в петербургском просторечии «галдареями» [451]. Эти галдарейки являют собою необыкновенное удобство сообщения по всему дому, из любого пункта которого вы с помощью галдареек тотчас же проберетесь в любой этаж, в любую квартиру и выберетесь куда вам угодно. Таким образом, эти оригинальные пути сообщения придавали всему дому какой-то сквозной характер, как нельзя удобнее приноровленный к укрытию всяческих темных дел и темных личностей. Казенно-желтая наружность этого дома вдоволь понатерпелась от петербургских дождей и летней пыли, так что приняла наконец грязно-серый цвет и украсилась огромными пятнами сырости, сквозь отлупившуюся штукатурку которых проглядывали промозглые, бурые кирпичи. Такая наружность, при неуклюжести общей постройки, с этим грязнейшим из грязнейших узеньким глухим переулчонком, придавала всему зданию какой-то неприятный, тя-

желый и мрачный характер. Оно так и смотрело подозрительным притоном. Мутные, грязные стекла давным-давно подернулись сизовато-радужным налетом, и по крайней мере одна треть этих оконных стекол были повышиблены, иные прикрыты доской, иные заткнуты грязной подушкой или каким-то тряпьем, иные залеплены бумагой или, наконец, просто предоставляли свободный проток уличному воздуху в душные серенькие квартирки. Этот самый дом и есть знаменитый *Малинник*. Под специальным именем Малинника он известен всей Сенной площади, с местами окрест лежащими, и всему Петербургу, имеющему хотя некоторое понятие о своих петербургских трущобах. Малинник — это есть его главное общее название, что, однако же, не мешает ему носить еще другое, частное, но несравненно менее распространенное имя *Садка*. Почему же дом этот называется Малинник или Садок? И то и другое имя дано в ироническом смысле и представляет собою необыкновенно меткое, характеристичное произведение местного, чисто народного юмора. Нижний этаж этого дома занят мелоч-

ной лавкой, двумя лабазами и, конечно, кабаком. В этом кабаке за стойкой помещалась одна особа — распорядительница, известная под кличкой «ее превосходительства» или «енеральской дочки», и она действительно была законная генеральская дочь, в конце концов предпочевшая всем благам мира сего теплое место за кабацкой стойкой. Средний этаж фасадного наружного флигеля сполна занят трактирным заведением, над внешним входом коего висит почернелая вывеска с надписью, лаконически гласящей: «Заведение».

Однажды я полюбопытствовал узнать у одного своего трущобного приятеля, почему этот трактир не имеет какого-нибудь особенного имени, вроде «Синопа», «Полтавы», «Китая», а по вывеске знаменует себя просто заведением? (Неофициально он, наравне с целым домом, носит название Малинника.)

— Да на что ему еще имя? — ответствовал приятель. — Ему, окромя только как «заведение», никакого иного имени и не нужно, потому, как ежели заведешь туда подходящего гостя, так уж сам себя он не выведет.

И я вполне согласился с конечной основательностью этого несколько каламбурного замечания.

Верхний этаж над трактиром и три остальных надворных флигеля — все это, разделенное на четырнадцать квартир, занято тринадцатью притонами самого мрачного, ужасающего разврата. Смрад, удушливая прелость, отсутствие света и убийственная сырость наполняют эти норы, особенно же одну из них, расположенную в темном углу двора, в подвале, под низкими почернелыми сводами; зеленая плесень, бурые грибы и водянистые потеки, по-видимому, препятствуют всякой возможности жить человеку в этой норе, а между тем в ней по ночам гнездится не один десяток бродячего народу, который заводят сюда разврат и непросыпное пьянство. И каждая из подобных нор непременно вмещает в себе еще по нескольку закоулочных каморок, отделенных одна от другой тонкими, деревянными перегородками. Убогая кровать или две доски, положенные на две бревенчатые плахи и кое-как прикрытые грязным лохмотьем, составляют всю мебель этих каморок, из коих

каждая занимает не более двух или двух с половиной аршин пространства, и каждая при этом оплачивается непременно семью рублями месячной платы. Тут уже царствует полнейшая темнота, под покровом которой кроются грязь и мириады всяческих насекомых. Случись в этом доме пожар — весь Малинник в несколько мгновений сделается вернейшей жертвой самого ужасного пламени. Тут уже едва ли что спасется, потому что это множество долгостоялых и ссохшихся деревянных клетушек представляет самый удобный материал для огня, который живо пойдет катать из одной темной и тесной квартиришки во все остальные. Гниль и промозглость давным-давно уже проели стены и балки Малинника, так что в 1864 году в доме этом произошел случай трагикомического свойства. В одной из задних комнат малинникского трактира шел неистовый топот и пляс, как вдруг пол этой комнаты рушится и проваливается прямо в обиталище кабацкой генеральши. По счастию, ни ее превосходительства, ни кого-либо из посторонних на этот час не было в жилье, которому предстал сей неожиданный

сюрприз, и все это дело окончилось только несколькими падениями да ушибами. И вот в этих-то норах и деревянных клетушках гнездятся от восьмидесяти до сотни самых жалких, отверженных существ, отдавшихся убийственному разврату. Эти-то притоны с населяющими их париями и послужили причиной тому, что весь дом, невесть еще с коих пор, назван Садком, или Малинником.

По узенькому вонючему переулчонку в темноте пробирались вдоль стенки две женщины. Одна была Чуха, другая — Маша. У подворотной калитки восседал дворник, завернутый в очень хороший бараний тулуп, и остановил двух новых пришелиц.

— Куда вам? — осведомился он без особенной мягкости.

— Тут вот... в трактир... к девушке к одной... к знакомой, — ответила старуха.

— Вы бродячие?

— Бродячие...

— Давай за впуск!

— Да нет ничего... После отдам... И за нее, и за себя отдам... Поверь! Не первый же день

мне с тобой водиться, — убеждала женщина.

Дворник вгляделся в ее физиономию.

— Э-э! Да это ты, брат, Чуха!.. Сразу-то впотьмах и не признал... Только все же за вход-то с обеих хоть семитку подай — без того нельзя.

— Что ж ты, черт! Ты с гостей, с мужчин бери сламу, а с нашей сестры грешно. Нам откуда взять!

— Я и с бродячих ноне беру. Без того впуску нет; а с гостей не канька, а по трешке да по пискалику[452].

— Ну поверь в долг, дьявол! Отдам, как выручу.

— В долг?.. Разве уж по знакомству, для Чухи за грехи! Только гляди: буде не отдашь семитки за двух — не приходи вдругорядь: шею накостыляю!

И дворник растворил им калитку.

— Вот место-то! Выгодней чиновничьего! — обратилась Чуха к своей спутнице, вступая в низкую и совсем темную подворотню. — Это он по вечерам да по ночам с каждого входящего берет, потому — такой уж у здешних дворников порядок. У него в банке,

говорят, за десять тысяч лежит — за выход только старому дворнику тысячу заплатил, чтобы попасть на его место. А сборы-то ведь все только по грошам!

Во всех окнах этого двора светился огонь; во многих из них мелькали человеческие облики и доносился сверху какой-то смешанный гул, разобрать и определить который было весьма затруднительно.

Спутницы поднялись по темной отвратительной лестнице в средний этаж, через внутренний надворный, так называемый «невоскресный» ход заведения. Чуха вела под руку Машу, которая шла только с одним чувством изумления, но без робости, без отвращения. Ею овладело какое-то странное равнодушие, находящее на человека, безраздельно и слепо отдавшегося на волю судьбы после многого горя, борьбы и отчаяния. Она решилась жить и как бы то ни было переносить, перетерпливать жизнь, какова бы она ни показалась. Хотя и вполне равнодушно, однако не без доверия шла теперь Маша за своей спасительницей, и в душу ее заглянуло чувство какой-то невольной симпатии к этой безобразной ста-

рухе с той самой минуты, как встретила в ней столько нежданной теплоты и участия к своему положению. Маша по натуре своей была существо слабое, гибкое, нуждавшееся в хорошей и честной любви человеческой; она всегда чувствовала нравственную необходимость в любящей поддержке, в более крепкой руке, которая бы вела и руководила ею в жизни. Одинокая, в безысходном положении, незнакомая с жизнью и предоставленная самой себе, исключительно своей собственной воле, девушка терялась, пугалась этой неизвестной ей жизни и от кажущейся безысходности впадала в отчаяние, разрешение которому думала найти в одной только смерти. Это было свойство ее молодости и неопытности, следствие первоначальной беззаботно-тихой и мирно-безвестной жизни в родном гнезде, под теплым крылом любящих ее стариков Поветиных. Добрые и честные начала, посеянные ими, крепко вкоренились в ее молодой душе; она хотела жить честно, хотела этого до последней минуты, до того мгновения, пока посторонняя рука не отстранила ее от шага в темную прорубь Фонтанки, пото-

му иначе что бы ее удержало от выгодного предложения домового хозяина, явившегося к ней с своими услугами после аукциона в ее квартире? Что бы удержало ее и сегодня вечером от предложения уличного гуляки? Теперь же, вместе с решимостью жить, вместе с словами «Да будет Его святая воля», ею овладело полное равнодушие к этой жизни — равнодушие оттого, что она слишком уже устала страдать. Что бы ни случилось после этого, Маше казалось уже все равно: «Пусть будет, как будет! а будет так, как Бог захочет», — сказала она сама себе и доверчиво шла за своей спасительницей, однако же все еще тая в душе смутную надежду на честный исход своего дальнейшего существования.

Поднявшись по темной лестнице во второй этаж, обе спутницы очутились в кухне «заведения». Огромные медные котлы с кипятком да горький чад жарящегося масла и густой пар столбом с первого шагу встретили Машу в этом до крайности странном для нее месте. Но это было только слабое начало ощущений, ждавших ее впереди.

Из смежных комнат вырвался сюда ка-

кой-то смешанный гул. Чуха растворила дверь — и взорам Маши предстала высокая, обширная зала, битком набитая всяким народом. Все это странное сборище сидело, лежало, ходило, толкалось на месте, двигалось, как движутся плотные людские толпы, двигалось в каком-то тумане, в каком-то отвратительно-смрадном чаду, который густыми клубами носился в этой удушливой атмосфере и целыми слоями неподвижно стоял вверху, у потолка. Это был смешанный чад зловонного табачища, крепчайшей махорки и обильный пар людского дыхания, заражавший воздух уже от одного присутствия стольких человек, для которых была слишком тесна эта просторная зала. Свежего человека ошибало до зелени в глазах, до дурноты и головокружения. Смотришь, и в первую минуту ничего не различаешь. Слышен только глухой гул и говор нескольких сотен голосов, сквозь который то там, то сям раздается визг или плач, крепкий ухарский возглас и взрывы самого разнородного хохота, то вдруг пьяный или болезненный стон, то визгливая ругань, вой и вопли, а из дальних комнат в то же самое время урыв-

ками доносится бренчание торбана, топот неистовой пляски и разухабистые, нестройные звуки песни, которую орут несколько сипло-пьяных голосов. И невозможно определить, кто, и где, и как, и какие именно издает звуки, — все это мешается меж собой в дикой дисгармонии, сливаясь в один общий и глухой гул, который, кажется, будто стоит в самом воздухе этого места, будто это гудит самый воздух и самые стены. Это Малинник гудит. Вы поражены, ошеломлены, одурманены, видите одни только густые, волнистые облака смрадного чаду да слышите эти дикие звуки; но вот глаза начинают несколько привыкать, и мало-помалу различаешь людей, слоняющихся в этом чаду, видишь отдельные группы, отдельные личности. Солдаты, сермяги, чуйки и пальтишки, лохмотья и женщины — множество женщин, в иной вечер число их доходит даже до двухсот, — женщины всякого возраста от шестидесяти до десяти и девяти лет включительно. Осматриваешься далее — дикий вертеп замыкается почернелыми, закоптевшими стенами, и вся зала слабо освещена мутным, красноватым светом

единственной коптильной лампы, без стеклянного колпака, которая неровно льет свои лучи сверху вниз, немилосердно коптя потолок и распространяя смрад этой копоти и перегорелого масла. В разбитое оконное стекло валит с улицы пар, но он вполне бессилен, чтобы освежить хотя сколько-нибудь угарно-прелый воздух этой берлоги. Так и кажется, что попал на какой-то отвратительно фантастический шабаш ведьм и всякой чертовщины. У стен кое-как лепятся убогие маленькие столишки, покрытые мокрым и грязным тряпьем, играющим роль салфеток: тут царство водки с пивом и перепрелого чая с нехитрыми произведениями местного кулинарного искусства. Вдруг на вас падает сверху несколько тепловатых капель, вы ощущаете на лице какие-то влажные потеки, подымаете голову и, если глаза отменно хороши, можете сквозь чадную дымку различить, что в этом вертепе весь потолок, словно в бане, усеян висячими крупными каплями, осадками этого прелого пара людских дыханий. Делаете несколько шагов — новая неожиданность: нога вдруг попала в широкую щель грязно-

го-прегрязного и насквозь прогнившего пола, да и застряла там столь плотно, что нужно некоторое усилие, дабы освободить ее оттуда. Но это ничего: на подобное обстоятельство не обращается внимания со стороны привычных посетителей, которые тут же и свой неистовый пляс устраивают, отчего нередко, во время лихого трепака, каблук танцора оставляет вдавленный след на давно промозглом дереве.

И, Боже мой, какого тут только нет народа! Прежде всего со стороны пола непрекрасного вам кинутся в глаза подгулявшие представители всевозможных родов оружия и команд, расположенных в Петербурге и его ближайших окрестностях. Но это, по своим частям, самый плохой, ненадежный народ, потому — хороший солдат сюда не пойдет, а идет лишь пьяница да мошенник, нередко даже грабящий близ Сенной об темную ночную пору. Вот и несколько деревенских сермяг, искусившихся соблазнами Малинника и явившихся разгуляться по-своему, «во вся». К этим больше всего примазываются местные мастеровые в затрапезных халатах, норовящие войти

с сермягами в короткое приятельство и «на ширмака» попить да погулять на их заработчие сермяжные гроши. Вот голь и лохмотья нищей братии да беспардонных пьяниц-пропойц: виц-мундир либо красный воротник небритого оборвыша чиновника да выгнанного офицера, которые «свою амбицию наблюдают» и по этому случаю все стараются держаться поближе к синим чуйкам, вроде загулявших до последнего безобразия артельщиков, которые, в свою очередь, взирают на них с нескрываемым насмешливым презрением и все ублажают: «Покажи ты нам, братец, какой ни на есть фортель, а мы тебе за это пару вина предоставим».

Но главную публику мужской половины человеческого рода — публику, задающую тут «форсу» и чувствующую себя в этом злачном месте словно рыба в водяном просторе, составляют мошенники средней руки и, по преимуществу, мазурики последнего, низшего разряда. Это наиболее сильная, наиболее кутящая и потому наиболее уважаемая публика Малинника, коей тут всегда и услужливый почет, и готовое место — место теплое, наси-

женное, укрытое и укромное. Они здесь уже полные господа, гордые своим достоинством рыцари, опасные остальным силою кулаков своей коалиции и силою своего суда и расправы. Тут они удобнее всего сбывают «темный товар», тут идут у них важные совещания, обсуждаются в маленьких кружках проекты и планы на какой-нибудь предстоящий выгодный клей[453], критикуются и подвергаются общей похвале или общему порицанию дела выгоревшие и невыгоревшие, то есть удачные и неудачные: но главное, появляется сюда этот народ затем, чтобы угарно пропить и проюрдонить[454] вырученный слам в кругу приятелей и приятельниц.

Малинник — это в некотором роде главный и общий клуб петербургских мазуриков, центральное место их сборищ, представляющее для таковой цели всевозможные удобства, особенно же имевшее их до уничтожения «галдареек».

Но вот между неизменными членами-завсегдатаями выдаются несколько личностей, которых можно назвать членами непременными, имеющими личную выгоду от непре-

менности своего пребывания в Малиннике. Между ними наиболее пустили корни здесь два промышленника, называемые «маркитантами»: один ходит по всем комнатам с плетенкой, наполненной булками, другой — со всякой дрянью, вроде пряников, рожков, мармелада и яблок, предлагая, по преимуществу женщинам, разные свои «фруктовые удовольствия». Подобные маркитанты составляют принадлежность почти всех трактиров и харчевен на Сенной площади, особенно же чаепийственных заведений. Рядом с маркитантом слоняется из угла в угол продавец письменных принадлежностей, с тетрадкой почтовой бумаги, сургучом и карандашами. Но тетрадка и карандаши — только наружный предлог, а сущность заключается в маклачестве «насчет картинок», то есть фальшивых видов. Продавец письменных принадлежностей — необходимый член компании, занимающейся фабрикацией картинок, которая по своим частям весьма многообразна: кроме выделки совсем новых фальшивых паспортов и плакатов, что называется *бирка с молоточка,* существует еще продажа видов

настоящих, неподдельных. И вот для приобретения и сбыта таковых особенно усердствует продавец письменных принадлежностей, который служит сводчиком и посредником между потребителями и производителями. Обыкновенно какой-нибудь отставной канцелярский чинушечка, пропойца офицеришко, бессрочный или отставной солдат и прочие подобные личности, владеющие бессрочными видами на жительство, вроде аттестатов да указов об отставке, полученными и прописанными на жительстве здесь же, в Петербурге, продают свои подлинные документы какому-нибудь беглому, беспаспортному бродяге, который, приобретая себе звание чиновника, офицера или чего-нибудь в этом роде, удирает подальше из Петербурга, а прежний владелец документа подает в управу благочиния явочное прошение об утрате своего вида, получает вскоре засвидетельствованную копию — и новый документ готов, до новой продажи и нового заявления о его потере. Бывают между ними господа, которые раз по пятнадцати теряют свои виды и продолжают эту профессию до конца своего поприща. Часто

покупает у них виды и компания, занимающаяся специально «картинками», чтобы из своих рук перепродавать нуждающимся. И вот таковые-то продавцы письменных принадлежностей служат посредниками между теми, и другими, и третьими.

Тут же неизменно трутся в Малиннике и барышники — перекупщики краденых вещей, и сборщики на построение храмов, с книжками, приобретенными, за скрепой надлежащих церковных печатей, из самой Вяземской лавры, и наконец, ради общего увеселения публики, находятся двое артистов, наши старые знакомцы — Мосей Маркыч и Иван Родивоныч, которые делят свою артистическую деятельность между Малинником и «Утешительной». Однако эти только поют да играют и ни до чего иного не касаются; призвание их — увеселение почтенной публики.

Но если что производит на душу невыносимо тягостное впечатление, то это женщины, гнездящиеся в малинникском «заведении».

Хотите вы видеть поучительную и наводя-

щую на множество печальнейших размышлений судьбу и последнюю степень нравственного падения женщины — ступайте сюда и смотрите! Нечего с содроганием отвертываться и закрывать глаза! Это *наше,* это продукт нашего общества, эти отверженные женщины всецело принадлежат тебе, наше общество, и тебе же обязаны своим положением, возмущающим всяку душу живую! Так смотри же на них и поучайся, если можешь, но не клейми своим презрением, не клейми проклятием отвержения, потому что на это, по совести, ты не имеешь законного права. Я покажу тебе сначала лучшую, наиболее обеспеченную часть этих парий.

Вот они проходят перед нами, вот они сидят «с компанией» у грязных столишек, неистово размазанные белилами и румянами, в грязноватых ситцевых платьишках. Они менее сыты, чем пьяны, но все-таки кое-как сыты; пьяны же постоянно, с утра до ночи и с ночи до утра. Их нарочно выпускают в это «заведение» мегеры тетеньки, содержательницы тех тринадцати вертепов, которые входят в исключительный состав этого дома и

где каждая из этих женщин, закупленная и завербованная в полное крепостничество названными мегерами, платит такой мегере семь рублей в месяц за гнусно-грязную, двухаршинную конуру. Их выпускают сюда нарочно, подневольно, потому что тетеньки заключают на этот счет особую конвенцию с трактиром. Эти жалкие женщины — хочешь не хочешь — обязаны заманивать в ловушку трактирного посетителя, подбивать его как можно более пропиваться, чтобы потом мегеры тетеньки, уже в своих собственных берлогах, могли спокойно грабить до последней нитки бесчувственно пьяного и выталкивать на улицу с помощью своих приспешников и сильных дворницких кулаков. Нерадивую женщину тетенька подвергает истязаниям, бьет чем ни попало, чаще же всего пускает в ход кочерги и ухваты, день-деньской грызет поедом, морит голодом, и оттого зачастую бывает, что женщина сбежит куда-нибудь, пропадет без вести и, случается, ищет спасения или в Фонтанке, или в петле, потому что кроме петли да Фонтанки из Малинника вряд ли отыщется какой-либо другой исход, более

сносного свойства.

И действительно, если бы вам пришлось пройтись по берлогам этого дома, вы легко услыхали бы повествования о самых трагических происшествиях, которые вдобавок расскажутся вам самым спокойным, безучастно-равнодушным образом: в одной квартире женщина повесилась, удавилась; в другой ножом зарезали женщину, а там — в драке убили; от каждого темного закоулка, сдается вам, будто так и пахнет кровью, от каждого угла так и веет смертью и преступлением. И это не гипербола, это — факт, неоднократно засвидетельствованный полицейской газетой в дневнике городских приключений.

Посмотрите вы на эти лица: иные из них не утратили еще следов безвременно увядшей молодости; но какая болезненность, какая изможденность и нравственная скотская отупелость ярко написаны на них! Порок и разврат навеки уже наложили свои неизгладимые клейма на эти лица, дышавшие, быть может не более как за год, за два, еще всей свежестью молодости и здоровья. В этом разврате кроется главный источник чахоток, су-

хоток спинного мозга, идиотического, скотского отупения и той страшной болезни, которая, будучи неизменным спутником грязного разврата, на всю жизнь заражает тело и убивает душу. И при всем этом никогда — ни сна в настоящую меру, ни покоя вдосталь, ни здоровой пищи и вечное пьянство, пьянство и пьянство. И вот отсюда-то, как из главного центрального депо, тайная зараза ползет и обильными потоками разливается по городу, в его низменной, чернорабочей и солдатской среде, из города идет далее, посредством постоянного прилива и отлива того же самого чернорабочего и солдатского люда, забирается в села, в крестьянские избы, и зачастую бывает, что целые деревни оказываются зараженными. Гибнет честная, здоровая семья, гибнут в массах молодые рабочие силы, рождаются хилые, больные, золотушные дети. Дальнейшие-то последствия, стало быть, оказываются слишком серьезной и печальной важности.

Вы видели теперь, до чего доходит падение женщины, но не думайте, однако, чтобы это была уже последняя степень его — нет,

мы вам показали еще лучшую, так сказать, показную часть малинникских женщин, то есть все то, что волей-неволей обитает у хозяек в этом же самом доме и, стало быть, кое-как обеспечено, насколько вообще может обеспечить всякое рабство; но есть еще одна грань, стоящая за ними, и эта грань действительно будет уже последней, до какой только может дойти падение человеческое.

Малинникские посетительницы делятся на «тутошних» и «бродячих». Взгляните же теперь, что такое эта «бродячая», которая служит выражением последней грани падения.

Вот они, эти тощие, безобразные, болезненные призраки женщин, напоминающие скорее каких-то гномов сонного кошмара, чем женщину, Богом созданную! Вглядитесь ближе: иссохшее, изможденное развратом тело нагло выставляется наружу сквозь огромные дыры и прорехи разного тряпья и лохмотьев, насквозь пропитанных всякой грязью и напоминающих какое-то подобие одежды, но какой — определить невозможно; и это дырявое лохмотье, раз попавши на плечи парии разврата, остается на них непременно уже до

полного истления. Нагло, цинично выставляется в прорехах это изможденное, отощалое тело, часто покрытое струпьями многоразличных язв, закорузлое под пластами всевозможной грязи и нечистоты, потому что эти парии спят где ни попало и как ни попало, часто валяясь в ужасающей грязи дворов Вяземского дома. Они дрожат и корчатся от холода, потому что зачастую один и тот же костюм бессменно служит им и зимой и летом, и один лишь гостеприимный Малинник служит им местом спасения: сюда они забегают греться, со смутной надеждой на жалкую добычу. С каким волчьим выражением блуждают их впалые глаза, обрамленные большими темными подглазьями! Какая алчная, тревожная жадность написана на этих лицах, обезображенных болезнью, прыщами, синяками и шрамами от многих побоев! Немудрено: они вечно голодны, они не могут поручиться, будут ли есть что-нибудь завтра и послезавтра, если судьба послала им скудный кусок хлеба сегодня. Они живут развратом, удовлетворяя страстям последних парий между нищими и голышами-пропойцами, на ко-

торых с презрительным омерзением взирают даже женщины, живущие в тринадцати вертепах Малинника. И даже у этих-то парий они вынуждены чуть ли не Христа ради вымаливать себе долю внимания, от которой зависит их горький кусок хлеба. Заработаны три копейки в сутки — они могут прожить до завтрашнего дня, заработан пятак — они уже счастливы, а если редко-редко перепадает им в руки какой-нибудь гривенник или пятиалтынный — они пьяны, и слава Богу, потому что во хмелю хоть на час позабывается весь ужас их обыденного положения. А как часто даже и не за грош торгуют они собой, а просто за то только, чтобы их как-нибудь накормили; и укрывает их не каморка в квартире, а какой-нибудь последний закоулок грязного двора, темная лестница, чердак или заброшенные подвалы. Есть между ними женщины молодые, даже очень и очень молодые еще, но знаменательное большинство этого последнего разряда составляют старухи, искалеченные, изнуренные, обезображенные болезнью, которых за негодностью и старостью вышвырнули из последних вертепов Малин-

ника и пустили на все четыре стороны. И вот большая часть из них приютилась кто в Вяземском доме, а кто насупротив его, в Деробертьевском доме, известном под именем «Клоповника», где они действительно, подобно клопам, забились во всевозможные темные, тесные щели и только ночью решаются выползать из этих щелей.

Но не всегда падение для этих женщин идет с их взрослых годов, и да не покажется кому-либо невероятным, если я скажу, что для иных из этих несчастных оно начинается чуть ли не с самой колыбели. Забулдыжная и развратная бродяга мать рожает в какой-нибудь из этих трущоб девочку; но с рождением дитяти для нее отнюдь не прекращается прежний образ жизни; дитя всюду при ней растет в атмосфере кабаков и притонов разврата, ежеминутно окруженное сценами самого циничесского, а иногда и трагического свойства, и кроме этой жизни ничего более не видит, ничего не знает; все остальное для него чуждо, кроме окружающей мерзости, всасываемой с молоком матери, и дитя сживается, сливается воедино с этой мерзостью —

здесь от него ничего нет скрытого, все наружу, все наголо, и эта мерзость становится его мыслью, его духом, его плотью и кровью. Случается, что мать попадает либо в тюрьму, либо в больницу, а отсюда зачастую на кладбище, и вот ребенок-девочка брошена на произвол случая, остается одна-одинехонька на всем белом свете, иногда не зная, ни кто ее мать, ни куда она девалась, ни сколько самой ей лет, ни даже как зовут ее: добрые люди все равно дадут какую-нибудь свою собственную кличку; о Боге, о религии ни малейшего даже намека на понятие, да и кто здесь внушит ей все это! Детские уста ее лепечут, между множеством самых циничных слов и ругательств, одну только фразу, при подходящем случае: фраза эта — «подайте Христа ради!» Но какой нравственный смысл заключается в этом *Христа ради* — нечего и спрашивать: она знает слово только по частой наслышке от других, не сознавая его внутреннего смысла и значения. Она знает, что есть на Сенной церковь Спаса и что церковь эта существует затем, чтобы стоять там на паперти и протягивать за подаянием руку, пока не заприме-

тил полицейский хожалый, от которого чуткая и шустрая девочка задает тотчас же юркого стрекача, чтобы, затерявшись в толпе, снова просить милостыню в каком-нибудь другом месте. И просит она таким образом до того раннего возраста, после которого вступает в новый фазис своего существования, начинает жить развратом, торгуя своим детским, болезненно-хилым телом, а к этой жизни (иногда, впрочем, и раньше еще) присоединяется новое ремесло, заключающееся в мелком воровстве, которому никогда не прочь обучить подходящего человека, и особенно ребенка, наши малинникские специалисты, потому что ребята им служат добрыми помощниками. А исход из всего этого тот же самый, что и ее матери: либо тюрьма, либо преждевременное кладбище, да и слава Богу, если смерть подоспеет на выручку от подобного существования.

И эти дети толкутся тут же, в смрадной зале Малинника, и наравне со взрослыми ищут своей добычи.

XXIII
КРЫСА

Вот между ними одна, небольшого роста, очень худощавая на вид девочка; лет ей может быть около тринадцати, но во всей ее маленькой, болезненной фигурке сказывается уже нечто старческое, немощное, нечто отжившее, даже не живя. Какое-то ситцевое лохмотьишко, грязное, оборванное и штопаное-перештопаное, кое-как прикрывает ее худенькое тельце; сбоку вырван, очевидно в драке, значительный клок этого лохмотья и волочится по полу, а подол обтрепался до последней возможности и драными космами бьется по голым голеням; сверху у рукава — большая прореха, и сквозь нее выставляется наружу бледное костлявое плечико; ворот разорван и расстегнут, так что позволяет видеть часть плоской, болезненно впалой детской груди; спутанные и бог весть от когда нерасчесанные темно-каштановые волосы липнут к влажному лбу и спадают слабо вьющимися недлинными космами на плечи, еще

более выдавая худобу вытянутой шеи; а лицо — Боже мой, на него и взглянуть невозможно без сжимающего душу сострадания! — лицо это в очертаниях своих носит следы некоторой красоты; но какая голодная алчность светится в этих лихорадочно горящих запалых глазах, обведенных темными, синеватыми кругами, — явный признак неестественного истощения; каким наглым, вызывающим бесстыдством подернуты углы этих сжатых и сухо воспаленных детских губок; какой след беспутных дней и ночей лег на этих выдавшихся скулах, на этих впалых щеках, и сколько, наконец, беспощадной озлобленности — озлобленности вполне ненормальной, неестественной в столь раннем возрасте — сказывается в общем выражении всей ее физиономии! И здесь уже разврат успел наложить свое неизгладимое клеймо на это детское личико, которое можно бы было назвать прекрасным, если бы не это выражение. И это дитя цинично сидит на коленях какого-то огромного, дюжего атлета, куря предложенную им трубку кисловато-горькой, крепчайшей махорки, и залпом, стакан за

стаканом, с небольшими промежутками пьет его водку.

Эта девочка — дитя Малинника и Вяземского дома. Там она растет, там и родилась. От кого? Неизвестно. И как успела дорасти до этого возраста — тоже один только Бог святой знает. Ни разу в жизни не встретила еще она материнской ласки, ни разу в жизни не слышала ни от кого из посторонних людей доброго слова, приветливого взгляда и только холодала да голодала до последней минуты своей жизни. Это было какое-то отверженное и всем ненавистное существо. С тех самых пор как только стала она себя помнить, ее везде и повсюду встречали одни только щедро и с избытком сыпавшиеся колотушки. Колотушки да брань, пренебрежение да общий посмех являлись ее обыденным уделом — и бил ее всякий, кто и когда, бывало, захочет. Особенно не любили ее женщины, и им доставляло истинное удовольствие дразнить ее, щипать, дергать за волосья и колоть булавками. Это подчас была их пьяная потеха, доходившая до своего апогея особенно в те минуты, когда приведенная в кошачью ярость девочка, без

слез, со стиснутыми, скрежещущими зубами, со сверкающими кровавой злобой взорами, дикой кошкой, с визгом начинала кидаться на первую попавшуюся из своих мучительниц, вскакивала ей на плечи, цепко обхватывала ножонками и старалась укусить и исцарапать лицо своими острыми ногтями. Это был какой-то звереныш, да ее и звали по-звериному: кто-то, где-то и когда-то назвал ее крысой, так она Крысой и пошла на всю жизнь свою, и, должно полагать, эта кличка была присвоена ей еще в раннем детстве, так как никому из трущобных обитателей не было известно ее настоящее имя. В ней уже не осталось ничего детского, ничего такого, чтобы хотя мало-мальски нравственно напоминало ее пол и возраст, — ни одного кроткого взгляда, ни одного нежного движения — одно только вечно хмурое недовольство и одичалая нервная озлобленность. С языка ее срывались только звуки площадных ругательств, наглых песен да цинические речи наглого разгула. Странное и почти невозможное, немыслимое существование! Да оно и казалось бы вполне невозможным, если бы, к

прискорбию, не довелось воочию видеть и наблюдать его.

Никогда не замечал я слез на глазах этой девочки, хотя она была очень нервна. И эта болезненная нервность поминутно проявлялась у нее в странных, порывистых и быстрых движениях, в гримасах и подергиваниях вялого, поблекшего лица. Она кашляла кровью и страдала падучей болезнью. Часто, бывало, после того, когда задирчивые щипки с тумаками да поддразнивающее приставанье приводили ее в исступленное остервенение, с нею вдруг делался припадок. Несчастная падала на пол, с клокочущей пеной у рта, и начинало ее бить и коробить. Тогда ее лицо накрывали какой-нибудь тряпицей и оставляли в покое до тех пор, пока нервный припадок не переходил в состояние изнуренного, обморочного сна.

Я никогда не забуду одной маленькой, совсем ничтожной сценки, в которой отчасти самому довелось мне быть действующим лицом и которая с тех самых пор болезненно врезалась в мою память.

Это было часу в первом ночи. Захожу я в

малинникское «заведение» с одним из моих тогдашних трущобных приятелей. Спросили мы себе по порции селянки и уселись к одному свободному столишке. Подле этого же самого стола, с другого конца, сидела Крыса. Я знал, что она Крыса и видел ее здесь неоднократно, но знаком с ней не был и ни в какие разговоры доселе вступать мне с ней не доводилось. Подали нам по мисочке жидкой бурды, носившей имя селянки; но есть мне нисколько не хотелось, а спросил я этого яства только «ради компании»; да оно, признаться, несколько и мудрено есть произведения малинникской кухни, при всей окружающей обстановке и атмосфере; разве уж надо быть для этого очень голодным или по крайней мере иметь неприхотливый, неразборчивый вкус и большую привычку.

В то самое время как собеседник мой с видимым аппетитом уплетал свою порцию, я заметил, что Крыса, со своего места, искоса кидает на него, и особенно в его миску, нетерпеливые, алчные взоры, то и дело нервно поводя мускулами своих щек. Очевидно, Крыса была голодна, верно, потому, что на сей день

ей не довелось ничего заработать себе на насущный кусок хлеба.

— Хочешь есть? — неожиданно спросил я девочку, но она даже и внимания не обратила на мой вопрос, по-видимому, никак не предполагая, что он мог именно к ней относиться.

Я снова, и притом яснее, повторил его. Крысу нервно передернуло, и она с величайшим изумлением молча повела на меня своими глазами.

Молчание.

Пришлось в третий раз повторить то же самое предложение.

— Есть? — недоумело проговорила она.

— Ну да, есть!.. Мне сдается, словно бы тебе очень хочется.

— А хоть бы и хотелось, тебе-то что?

Видно было, что Крыса подозревает во мне намерение дразнить и издеваться. Голос ее сипел, и дыхание было хриплое, короткое, перерывчатое.

— А коли хочешь, так ешь вот, — сказал я и подвинул к ней свою миску; но девочка не решалась до нее дотронуться, несмотря на свое смертельное желание, и все продолжала

глядеть на меня недоверчивыми, изумленными глазами. Ей было непрывычно, а потому дико и странно слушать такое предложение, делаемое не в шутку.

— Да ты это как? — спросила она наконец, после значительного колебания, — ты как это? На смех ведешь или взаправду?

— Чего тут на смех? Просто есть не хочется.

Крыса еще раз поглядела, колеблясь, затем недоверчиво протянула руку и робко подвинула к себе мою порцию. Еще робче сделала она первый глоток и, несмотря на сильный аппетит, приостановилась на минуту и глянула на меня искоса, исподлобья, желая поверней удостовериться, не намерен ли я тотчас же выкинуть над ней какую-нибудь скверную штуку. Так точно, с такими же приемами и почти с таким же выражением берут голодные, бездомные и запуганные собаки кусок пищи, брошенный рукой близко стоящего, незнакомого им человека. Еще два-три таких движения, два-три таких взгляда — и Крыса наконец удостоверилась, что я скверной шутки над ней выкидывать, кажись, не намерен.

И, Боже мой, с какой жадностью, с какой голодной быстротой в тот же миг принялась она пожирать эту селянку! Мне казалось, и, вероятно, не без основания, что она нарочно ест с такой быстротой, торопясь поскорей очистить миску, из боязни, чтобы я, ради злостной штуки, не отнял бы вдруг от нее пищи. Было жалко и больно глядеть на это несчастное создание. Миска очень скоро оказалась пустой; но Крыса далеко еще не насытилась.

— Хочешь еще чего-нибудь? — обратился я к ней. — Коли хочешь, так скажи, я закажу тебе.

— Битка хочу, — отрывисто и не глядя на меня ответил ребенок.

Пока там готовили биток, я захотел поближе рассмотреть этого дикого зверька.

— Как тебя зовут? — спросил я, к новому ее удивлению, лишь бы завязать разговор.

— Зовут? — повторила она. — Крысой зовут.

— Нет, это, стало быть, тебя только дразнят Крысой, а имя... Есть же у тебя имя какое?

— Имя — имя есть.

— Какое ж?

— Да Крыса же, говорят тебе!

Очевидно, она даже не знала своего имени или, быть может, с детства забыла его.

— А мать у тебя есть? — продолжал я.

— Как это мать?.. Какая мать?

— Ну, как обыкновенно бывает.

Крыса поглядела на меня пристальным и совсем недоумелым взглядом. Ей казался диким и странным этот естественный вопрос, потому что доселе едва ли ей кто предлагал его.

— Может, есть... Не знаю... не слыхала, — задумчиво проговорила она после некоторого размышления.

Но в то же время, показалось мне, будто в этом лице появилось что-то тихо-грустное, задумчиво-тоскливое, одним словом, что-то человеческое; как будто слово «мать», показавшееся ей сначала диким, инстинктивно хватило ее за какую-то чуткую струнку души и пробудило минутный оттенок *нового* сознания: словно бы ей стало жалко и больно, что она никогда не знала *своей* матери, не знала, что такое *мать*.

— А сколько тебе лет-то? — спросил я.

— Да кто ж его знает сколько?! Разве я считала! — вырвалось у нее с нервно-досадливым раздражением. — Чего ты пристал ко мне?.. Эка, чертомелит, леший!

Вероятно, среди охватившего ее нового чувства и сознания, ее болезненно раздражил этот вопрос, естественно соединявшийся с мыслью о прожитых годах, о начале ее существования, о дне рождения и, стало быть, опять-таки о матери — и ни о том, ни о другом, ни о третьем она не имела понятия. Казалось, Крыса была бы рада, если бы что-нибудь постороннее, хоть бы новый вопрос в другом тоне, отвлекло ее от этого чувства и мысли.

Вокруг худощавой шейки ее обвивалось убогое украшение — алая бархатная ленточка, которая своей свежестью сильно рознилась со всей остальной внешностью Крысы.

— Ишь ты, еще и бархатку нацепила! — заметил мой собеседник, ткнув на нее пальцем. — Откуда у тебя бархатка-то? Кто дал?

— Украла, — совершенно просто, естественно и нисколько не стесняясь ответила Крыса. — На Сенной у лоскутницы стыри-

ла! — похвалилась она, очень нагло улыбаясь, и с новой жадностью принялась за принесенный биток. Когда же и это яство было истреблено, девочка выждала с минутку и, поднявшись, обратилась ко мне с необыкновенно наглым, циничным выражением физиономии.

— Ну, идем, что ли? — вызывающим тоном предложила она.

— Куда?.. Зачем? — удивился я в свою очередь. — Я никуда не пойду... Ступай, куда тебе надо.

Крыса остановилась в величайшем недоумении и поглядела на меня долгим, изумленным взором.

— Как! Так ты это, стало быть, даром кормил меня? — как-то странно протянула она, продолжая оглядывать.

— А то как же еще?

— Хм... Нет, взаправду даром?

— Да я ж тебе говорю.

— Дурак! — отрывисто, с пренебрежительным презрением буркнула Крыса и быстро удалилась от нашего столишка.

Жалкое существо! Она даже не могла и

представить себе возможности, чтобы кто-либо решился без задней мысли, без преднамеренной цели накормить ее! Может ли быть что-либо горше подобного сознания? У меня невольно сжалось сердце за этого ребенка, за эту жизнь. «Пошли тебе, Господи, поскорее смерть!» — подумалось мне в ту минуту. И кажется, что Крыса действительно умерла; по крайней мере в последнее время я не встречал ее больше ни в одной трущобе и у кого ни спрашивал — никто не мог мне сообщить о ней никакого ответа. Даже и память исчезла об этой девочке.

XXIV
КАПЕЛЬНИК

Хотите вы видеть парию парии? Это капельник. Это нечто такое, перед чем даже Крыса и «бродячие» Сенной площади могут показаться существами, не утратившими человеческого достоинства и гордости. Если бы классической памяти Диоген какими-нибудь судьбами заглянул со своим фонарем в Малинник и увидал бы тут капельника, то, несмотря на множество внешних признаков, обличающих в нем новейший вид старого идеала, циник положительно затруднился бы определить, что это такое, и едва ли бы у него хватило решимости сказать: «Се человек!»

Несколько выше чем среднего роста, с изогнутым от расслабления позвоночным столбом, что всегда придает вид сутуловатости, плешивый и дрябло-тощий, человек этот казался дряхлым стариком, тогда как на самом деле ему было немного за тридцать. Припухлые веки его красноватых, поблекших глаз придавали всей физиономии апатически-сон-

ное выражение, посинелые губы углами свесились книзу и вечно слюнявились, а сам он весь трясся, постоянно, не переставая, вследствие страстной наклонности и привычки к пьянству. Чем прикрывал он иссохшую наготу свою — и сказать затруднительно: нечто вроде женской рубахи служило ему единственным беспременным костюмом во всяком положении и во всякое время года, так что даже и на обычных малинникских завсегдатаев откровенный вид капельника производил своего рода шокирующее впечатление.

— Ты бы хошь грешное тело чем-нибудь прикрыл, свинья ты эдакая, нечем промеж людей так-то слоны слонять! Срам ведь, бесстыжие твои бельма! — укоризненно замечали ему подчас и мужчины, и женщины, в ответ на что он вполоборота к ним делал руками и физиономией отвратительно смешную гримасу и с глупой, почти идиотической улыбкой начинал издавать шипящие и рычащие звуки, удачно подражая хриплому лаю комнатной собачонки или фырканью ощетинившегося кота. Но это бывало с ним в минуты не то чтобы веселости, а некоторой бодро-

сти духа — весьма, впрочем, редкой и в сущности своей очень ничтожной. В обыкновенном же состоянии, встречая подобные замечания, капельник только озирался искоса, с тупой и приниженно-пугливой робостью, подобно блудливой, забитой и трусливой собачонке. В эти минуты, по обыкновению трясясь всем телом, он корчился и ежился и старался поскорей забиться в какой-нибудь темный угол, где бы на него менее обращали внимания. Есть на крайних низших гранях жизни такого рода положения, когда униженный, падший человек, даже по безотчетным внешним своим проявлениям, вроде взглядов, поступи и вообще движений, весьма близко начинает походить на бессловесное животное, и именно на тех из животных, которые наиболее чувствуют над собой тяготеющую руку человека; в такого рода положениях есть сходство с приниженной, поджатой походкой нелюбимой, отколоченной собаки, со взглядом нещадно избиваемой ломовой лошади. Тяготеющая рука людей в этом случае совершенно равняет человека и животное, а судьба, сблизив их нравственное положение,

постаралась сблизить и внешние проявления инстинктов и воли.

Кроме обычной клички «капельник» люди пренебрежительно зовут иногда этого человека Степкой, и сам себя он Степкой называет разве только в минуты уничиженного шутовства, на потеху людей, изменяя иногда это имя на более нежное и ласкательное «Степинька».

— Прикажите Степиньке представить какую-нибудь киятру, сударики! — говорит он с ужимками и пригибаниями, робко подкрадываясь к какой-нибудь гуляющей компании.

Степинька в Малиннике играет шутовскую роль общего посмешища.

— Представляй, пожалуй! — соглашается кто-нибудь из пьющих состольников.

Капельник ухнет каким-то нечеловеческим голосом и перекувырнется. Это называется «киятра». Компания хохочет.

— А ну-ко, валяй собаку!.. Собаку валяй, сучий сын! — поощряют его пирующие.

Капельник, идиотски улыбаясь, с ужимкой кланяется им не головой, как обыкновенно, а как-то особенно, всем телом, сгибая вперед

коленки; затем становится на четвереньки и, хрипло рыча и лая, лезет под стол.

— Что это, братцы, за собака забралась к нам? Откудова это? — говорит один из членов сидящей вокруг стола компании. — Надо бы выгнать ее! Эй, ты! Жучка! Диянка! Пшла вон!

И Степиньку при этих словах пинают ногой, а Степинька рычит и огрызается.

— Не трошь ее, надо лаской сперва, — останавливает другой состольник и, опустив руку под стол, начинает поглаживать лысую голову капельника, потрепывать его щеки, приговаривая: — Славная собачка! Она у нас верный пес! Верная собака!

И Степинька, изображая, как юлит и визжит собака радостным голосом, начинает со всеусердием лизать языком руку и ноги ласкающего. В компании раздается новый взрыв хохота. Поднимается третий собеседник и, взяв корочку хлеба, выманивает ею из-под стола человека-собаку.

— Ну! служь!.. Служи!.. Служи, Жучка! — обращается он к капельнику, а тот уж свое дело знает: с четверенек подымается на корточки и рукам своим придает положение перед-

них лап служащей собачонки. Голова его сильно закинута назад, для того чтобы с кончика носа не мог свалиться положенный на него кусочек хлеба.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро — *есть!* — восклицает шутник, и при последнем звуке Степинька делает головой быстрое движение, от которого кусочек летит кверху, а он в это время с удивительной ловкостью схватывает его на лету зубами и проглатывает с видимым наслаждением — потому что Степинька постоянно голоден.

Этот фокус повторяется обыкновенно по нескольку раз кряду, и капельник очень любит его, ибо таким образом в желудок его все же таки перепадает лишний комок пищи.

Но вот компании надоело любоваться на повторение одного и того же, она желает еще каким-нибудь иным способом распотешиться над собакой, и потому капельника снова загоняют под стол и снова раздается оттуда лай да рычание.

— Э, да какая она злая!.. Цыц, ты, леший! Молчать! — И Степинька вместе с этим получает чувствительный пинок сапогом в физио-

номию; но он уже вошел в свою роль и потому, в ответ на пинок, взвизгнув по-собачьи, как приличествует обстоятельству, старается поймать эту ногу и жамкнуть ее зубами. Непосредственно вслед за последним пассажем, при новом взрыве дружного хохота, на капельника сыплется град нещадных ударов: его пинают ногами по чем ни попало, так что и бокам, и спине, и лицу достается вволю. А капельник знай только взвизгивает от боли да рычит и лает, тщетно хватая зубами уже кого ни попало. Это, если угодно, пожалуй, может служить ему единственным утешением в подобной роли. А то случается и так, что кто-нибудь сделает вид, будто хочет погладить, приласкать его, а сам, гляди, всей пятерней цапнет за скудный остаток слабых волосенков и давай таскать его под столом во все стороны, так что только череп об ножки колотится.

— Стой, братцы! Да никак она бешеная! — восклицает кто-нибудь из любующейся публики. И это обыкновенно служит последним актом представления, финалом quasi[455] собачьей комедии.

— Бешеная?! — как бы с испугом подхватывает остальная компания. — Бешеная!.. Стало быть, коли так, она беспременно должна воды бояться?!

— Воды!.. Воды давай!.. Лей на нее воду! Лей живее! Плесни-ка в самое рыло! — раздаются крики в публике, сопровождаемые самым веселым хохотом, и капельника обдают мутной чайной водой из полоскательной чашки, а коли очень уж расходятся, что называется, «во вся широты» своей натуры, то льют и из большого чайника, и пиво из недопитых стаканов.

— Сударики! Не лейте! Не лейте пива-то! — словно бы очнувшись, кричит жалобным голосом избитый и ошпаренный Степинька, и вместе с этим голодным криком можно заметить, какая сильная алчба и жадность страсти звучит в нотах его голоса и отражается в глазах.

— Не лейте попусту! Дайте лучше мне — я выпью! Не лейте, Христа ради! Уж лучше кипяточком! Кипяточком, сударики! — молит он, выползая на четвереньках из-под стола и стараясь удержать руки с поднятыми стака-

нами.

Компания, в награду «за утешение», великодушно жертвует Степиньке стакан пива.

— На! Лакай себе, псира! — говорит ему обыкновенно один из сочленов, поднося напиток, но чуть только Степинька протянул к нему руку — в стакан попадает плевок подносителя. В компании новый хохот. Капельник в смущении смотрит унылыми глазами на всю эту ораву, но... горькая страсть преодолела слабую долю отвращения: трепещущими руками хватается он за полный стакан и с жадностью цедит его сквозь зубы взасос, чтобы посредством такого способа хоть немножко более продлить свое отравленное наслаждение.

— Что же, сударики, за киятру-то!.. Ученой собачке на крупку... на овсяночку! — несмело произносит он дрожащим голосом минуту спустя, весь согнувшись и с униженно-умильным, вымаливающим видом протягивая компании закорузлую горстку.

— Э-э! Да уж ты, брат Степка, больно тово... зазнался! Ишь ты, чего еще выдумал — на крупку! — возражает компания. — Будет с те-

бя и того, что пивком угостили!

— Ах, сударики-с мои, сударики! — со вздохом, в минорном тоне качает головой Степинька. — Так ведь это, по милости по вашей, выпивка была. Ну, собачка и полакала!.. А ведь собачке тоже и кушать надо... Ей ведь и кушать хочется... Так уж прикажите хоть косточку... собачке-то... косточку!

— Ну, ин быть по-твоему! Служь!.. Проси!.. Только — чур! — жрать по-собачьему!

И капельник вновь начинает входить в едва лишь оставленную роль, по-прежнему становится на корточки, в позитуру служащей собаки, а в это время на одну тарелку сгребают ему со всех остальных различные объедки и ставят на пол, непременно примолвив: «Пиль!»

Степинька, на четвереньках, с жадностью принимается пожирать это нелепое месиво и в заключение, совершенно по-собачьи, дочиста вылизывает языком всю тарелку.

Но вообще роль собаки является еще самою сносною из репертуара несчастного капельника. Пьяная и дикая орава заставляет его иногда и не такие шутки проделывать.

— Можешь ли ты хоша бы, примерно, миноги принять? — вызывает его какой-нибудь подгулявший жорж.

— Могу! — даже и не думая, соглашается Степинька.

— А сколько, примерно, ты вытерпишь?

— Сколько потребуется, — на это у Степиньки своя цена стоит — значит, по такции.

— А как цена?

— С вашей милости, сударик мой, недорого-с: по копеечке за пяток.

— Много! Бери за десяток копейку.

— Хе-хе!.. Себе дороже стоит! Ей-богу-с, дороже.

— Да что тебе на спину-то скупиться! Товар свой, не купленный!

— Как же-с можно! Все ж таки оно — спина!.. Ведь больно, сударик мой, очинно больно...

— Ну, хочешь — бери полторы копейки за десяток! Больше не дам! — решительно произносит жорж, и для Степиньки начинается нравственная борьба: несколько копеек представляют ему великий соблазн, в жертву которому он решается наконец принести свою

спину. Тогда свивается крепкий и тонкий жгут, мазурик кладет на пол несколько медяков, а капельник становится опять-таки на четвереньки и круто выгибает свою хилую, больную спину. Начинается нещадная мерная лупка, с медленным счетом при каждом ударе.

— Асс!.. два... три!.. четыре!.. пять! — словно ружейные темпы, отсчитывает в полный голос капельник, и после каждых двадцати ударов аккуратно откладывает из кучки в свой карман по три копейки. Лицо его посинело и выражает жестокое страданье, зубы судорожно стиснуты, из воспаленных глаз капают на пол крупные слезы, а он меж тем стоически переносит свою пытку, усиливаясь вытерпеть возможно большее число ударов, чтобы заработать побольше грошей.

Не легко доставались капельнику его скудные тяжелые деньги! Не легко потому, что иногда, в самые крайние, критические минуты своей жизни, когда ему, что называется, все нутро выворачивало от нестерпимого, болезненного алкания выпивки, он решался предлагать на пари всякому охотнику подер-

жать на ладони горячие уголья. И нельзя сказать, чтобы не находилось охотников полюбопытствовать, как это Степинька за несколько копеек будет жечь свои руки.

Но он весьма спокойно, окруженный любопытными зрителями, отправлялся в кухню и там-то, к общему удовольствию, дрыгая и корчась от боли всем телом, держал около минуты горсточку угольев на своей ладони и получал за то условную плату — около двадцати или тридцати копеек. Нужды нет, что на ладонях накипали пузыри. Вскоре у него руки уж до того огрубели и закорузли, что им почти нипочем стала и эта операция: зато сколько водки-то, водки мог выпить Степинька на эту сумму! Водочным наслаждением утолялись все его раны.

Случалось иногда (впрочем, весьма редко), что любители, после подобных киятров, чувствовали охоту полюбоваться, не в счет абонемента, еще новой сценой и для этого не давали ему ни условленных денег, ни своих объедков, ни своих опивков. Тогда Степинька искренно и глубоко оскорблялся. Тогда шел он подальше от ненавистных ему глаз малин-

никской публики, робко и уничиженно забивался на какой-нибудь стул, в самый темный угол, кручинно и тяжело опустив на руки свою горемычную голову, и по омраченному, угрюмому лицу его в молчании текли горькие, тихие слезы.

О чем тогда плакал шут малинникских парий? С досады ли от своей неудачи? О неудовлетворенном ли голоде и жажде водки? О своей ли сладкой, но обманутой мечте и надежде на эту водку или о своем погибшем, поруганном и раздавленном достоинстве человеческом? О чем он так горько и тихо плакал — бог весть: быть может, и о том, и о другом, и... быть может, даже и о последнем.

«Господи!.. Господи! Что ж это такое!.. Жизнь ты моя, жизнь!» — нечаянно подслушал я однажды шепотом сорвавшийся у него вопль в одно из таких едко отчаянных мгновений.

Кто он, из каких он, откуда взялся и как дошел до таких степеней — никто не знал, да никто и не интересовался. Сам же капельник никогда об этом не говорил ни слова. Однажды, в удобную минуту, я попытался было на-

вести с ним разговор на эту тему, но он только рукой махнул да, скорчив уморительную рожу, с ужимками и приседанием, подергивая коленками, предложил мне лучше какую-нибудь «киятру» поглядеть. Больше уж нечего было и пытаться! Одно только можно предположить с наибольшей долей вероятности: довела его до этого положения отчаянная, неодолимая, болезненно-мучительная страсть к пьянству и безделью, ибо, по-видимому, ему не была знакома не скажу уже привычка, но даже способность или потребность к какой бы то ни было работе и труду. Но главное все-таки — пьянство. Верно, и в прежнее время, по присущей ему слабохарактерности, он позволял каким-нибудь товарищам безнаказанно потешаться над своей личностью; может быть, даже в детстве, среди своей семьи, которая, пожалуй, могла и не быть для него вполне своею, ему точно так же приходилось выносить пассивную роль забитого посмешища, так что потом, вследствие всех этих весьма возможных причин, переход к публичному и самому униженному шутовству не был для него особенно резок и оскор-

бителен. Он не успел и не умел выработать себе ни малейшей самостоятельности в жизни. Может показаться странным, как при такой страсти к пьянству этот человек не нашел себе более выгодного и легкого средства для добывания денег, водки и хлеба? Как он не сделался нищим, или вором, или, наконец, даже грабителем-убийцей? Когда-нибудь он, вероятно, и был-таки нищим, но почему не нищенствует теперь — об этом скажется ниже. Для того же, чтобы сделаться грабителем-убийцей, необходимо нужны известного рода энергия, решительность, воля и характер, нужно до известной степени убеждение в собственной силе и сознание личной самостоятельности, и ровно ни одного из этих качеств не было отпущено природой жалкому капельнику. Что же касается воровства, которое, после нищенства, действительно представляло бы наиболее подходящий и легчайший способ, то, мне казалось, от этого удерживало его нечто другое: быть может, душе этой парии когда-то были доступны иные инстинкты и чувства, чем те, какие может выработать в человеке малинникская среда, буде

она охватит его, как, например, Крысу, со дня рождения. Быть может, когда-нибудь ему было знакомо нечто другое — более хорошее, более честное, да — беда! — все это заставила умолкнуть перед собой проклятая похоть на водку!.. И не потому ли, что сердцу его некогда было доступно это что-то хорошее и честное, он не хотел и избегал вспоминать о своем прошлом? Не потому ли не сделался он и вором, а предпочел уж лучше, с ущербом для собственных боков, быть шутом-собакой малинникских парий?

День свой безвыходно проводил он в Малиннике, и хотя пользовался тут всеобщим и величайшим презрением, но отсюда его не гнали, ради шутовского образа, доставлявшего столько утехи многочисленным посетителям. И капельник крепко дорожил Малинником, потому тут ему было тепло и являлась возможность сколько-нибудь поесть и выпить. Внимательно высматривает он из своего угла, за какими столами и что именно пьют да едят различные гости, и чуть удалятся они от своего места, покончив яства и пития, капельник, озираючись, с робостью, по-

чти подкрадывается к столу и досасывает из стаканчиков капли водки, доглатывает пивные опивки, доедает огрызки хлеба да со всех тарелок оставшиеся куски. Этим только он и питался и потому снискал общее прозвание капельника. Но потом добыл он себе черепок битого горшка с уцелевшим донышком да банку из-под помады. В эту банку сливал он по каплям, зараз, всевозможные опивки водок, настоек, меду и пива — затем, чтобы можно было делать более значительный глоток; а в черепок сметал с опроставшихся столов объедки и крошки.

В Малиннике вообще господствовал своего рода бесцеремонный коммунизм, да и не в одном лишь Малиннике, а во всех трущобах низшего разряда. Существуют там особенные личности, пользующиеся некоторыми мелочными удобствами трактирного заседания с помощью самой наглой бесцеремонности. Это — попрошайки на затяжку, на стакан пива, на чашку чая. Сидит, например, у стола какой-нибудь человек, курит сквернейшую папиросу и пьет мутное пиво. Попрошайка подходит к нему — и нужды нет, что совсем

незнаком с ним и вовсе не знает, кто он, и даже видит-то впервые, — обращается за позволеньем хлебнуть из стакана и затянуться табаком, а сам, не дожидаясь отказа и даже, повидимому, совершенно не предполагая и возможности его, берет одной рукой стакан, а другою вытягивает из губ папироску. Отпивает сколько захочет, покурит себе и как ни в чем не бывало ставит стакан на прежнее место, папироску тычет в рот прежнего курильщика и, обыкновенно сплюнув сквозь зубы в сторону, отходит от него даже не буркнув спасибо. И на попрошайку никто не обижается; напротив, все находят это столь естественным, обычным и законным, что ежели какой-либо посетитель, из новых и непривычных, покажет ему чувство брезгливости или вздумает как-нибудь выразить свое неудовольствие на такую бесцеремонность, то рискует быть побитым. Попрошайка иногда не прочь завязать историю, а малинникская завсегдатошь никогда не прочь оказать его кулакам союз и поддержку своими кулаками, особенно же если при этом представляется еще возможность задать, среди азарта и дра-

ки, некоторую рекогносцировку карманам избиваемого. Но коммунизм этого рода был совершенно чужд для Степиньки, ибо Степинька до такой степени был принижен, что даже не осмеливался и помыслить о подобном проявлении своей личности.

На улицу ему показаться было невозможно, потому — костюм не позволял, да и на обувь ни малейшего намека не оказывалось, так что и зиму, и лето он щеголял босиком. По этой же причине и милостыни просить не отваживался, ибо, не говоря уже о попрошайстве, полиция тотчас же забрала бы его за одну лишь непозволительную наружность, а Степинька очень боялся полиции, потому что ни законных, ни незаконных видов при себе не имел и, стало быть, рисковал, с появлением в уличную публику, весьма непривлекательной перспективой. И вот таким образом этот человек всю жизнь свою проводил не выходя из одного дома.

Одна из квартирных хозяек как-то раз, сжалившись над положением Степиньки, дала ему приют в своей темной и тесной кухне. Степиньке более негде было поместиться, как

только под диваном (на диване же обитала какая-то женщина), но он и этому приюту был необыкновенно рад и постоянно, с искренним чувством называл свою хозяйку благодетельницею. Полено заменяло ему подушку, а в подстилке с покрышкой капельник не находил ни малейшей нужды: бока его давным-давно привыкли и к побоям, и к жесткому полу. Но для того чтобы не занимал Степинька уж так-таки совсем задаром своего ночного места под кухонным диваном, то сердобольная хозяйка вменила ему в обязанность отпирать и затворять дверь за ее гостями — значит, Степинька и сном покойным не пользовался.

И вот таким образом драная рубаха, из милости подаренная ему какой-то малинникской женщиной, черепок с помадной банкой, подобранные самим владельцем из грязной кучи, да подголовное полено сполна составляли всю наличную собственность Степиньки, так что если кто и имел бы наиболее неоспоримое право сказать про себя: «Omnia mea mecum porto»[456], то это, без сомнения, малинникский капельник.

XXV
ЧУХА

Старуха поместилась вместе с Машей у столика, в углу задней комнаты, где вообще было несколько просторнее и чище, если только понятие о чистоте насколько-нибудь может быть вообще применимо к Малиннику. Коптильная лампа, совершенно подобная той, что озаряет первую залу, и здесь точно так же кидала сверху мутно-красноватый отблеск на лица и стены, сохранившие кое-как следы желтой краски и украшенные почернелыми масляными картинами, из коих одна изображала жертвоприношение Исаака, и две другие — портрет Петра I и какого-то архиерея.

Чуха, совершенно спокойно усевшись на своем стуле, с безразличным и равнодушным вниманием принялась осматривать и наблюдать присутствующих, а Маша воспользовалась этим самым временем, чтобы получше и поближе разглядеть свою спасительницу.

Наружность и выражение лица этой жен-

щины производили на нее какое-то странное и совсем новое впечатление.

Это была старуха пятидесяти лет, но на вид казалась еще гораздо старше — свойство, общее почти всем обитателям трущоб, которых преждевременно и сильно старит самый род бесшабашной и горькой их жизни. Она была высока ростом, и даже теперь можно было заметить, что этот стан отличался когда-то замечательной красотой и стройностью. Прелая духота малинникской атмосферы заставила ее сбросить с себя сильно и пестро заплатанную кацавейку, и Маша с удивлением заметила, что на старухе надето грязное кисейное платьишко с значительно открытой грудью — что называется, декольте. Ей невольно бросилась в глаза страшная худоба ее костлявых плеч и выдавшиеся ключицы; казалось, будто это сидит скелет, обтянутый пергаментной кожей. С лица она была тоже весьма худощава, так что это лицо могло бы даже показаться отвратительным, если бы в нем не проскальзывало порою выражение чего-то мягкого, человеческого да не мелькал бы иногда оттенок какого-то подав-

ленно скрытого и глубокого страдания. В этом лице сказывалось присутствие мысли и чувства. Но первый и притом бегло-поверхностный взгляд на него производил весьма невыгодное впечатление. Представьте себе женскую головку, вконец обезображенную развратом, с двумя жидкими и тощими косицами, которые были переплетены с какими-то ленточками и двумя крысиными хвостиками болтались позади ушей, не достигая даже до плеч; голову, с значительной лысиной посередине темени, на месте женского пробора, с морщинистым лбом, под которым, словно два каленых угля, горели два черных глаза; эти глаза глубоко и грустно глядели из своих впадин, окруженные сухими, воспаленными веками и буроватыми подглазьями; во рту торчало только два-три зуба — остальные были искрошены скорбутом, и дряблая, морщинистая кожа на этом лице, несмотря на его худобу, казалась местами припухшей и имела какой-то странный, болезненный цвет, словно бы под нею зрел и наливался изжелта-зеленоватый нарыв. И это свойство ее выдавалось тем резче, чем более старуха старалась при-

крыть его, обмазывая свое лицо толстым слоем белил и румян: последними для нее служила свекла, а роль первых исполнял, кажись, просто-напросто мел или крахмал, разведенный водою. Самодельные белила Чухи неровными и густыми пластами слоились на лбу, на щеках и подбородке, оставляя прочие части лица в их естественном виде. Но несмотря на все это поражающее безобразие, в старухе не потухла живая Божия искра: ее глаза иногда горели доброй теплотой и тихим горем; улыбка губ ее не утрачивала порою мягкой приветливости, и общее выражение этого лица, если долго и пристально вглядеться в него, казалось одушевлено такой кроткой покорностью своей судьбе, осмыслено таким лучом человеческой любви и вместе с тем столь глубоким горем, неисходным, беспредельным страданием, что вы невольно забывали яркое клеймо безобразия, наложенное долгим и самым ужасающим развратом, а видели в этом лице одну лишь его лучшую, осмысленную, нравственно-человеческую сторону. И по ее сохранившимся еще глазам, и по очерку этих губ, особенно во время улыб-

ки, можно было предположить, что когда-то она была замечательно хороша собою...

Такова-то была эта женщина, окрещенная в трущобном мире дикою кличкою Чухи, и если вы усвоили в своем воображении намеченные нами черты, то вы вполне с нею познакомились: это будет ее полный, живой портрет.

Таковою показалась она теперь и Маше. Девушка долго вглядывалась в это лицо — и в душе ее вставало чувство новое и странное для нее своей двойственностью. Она видела ее внешнее безобразие, чутким инстинктом угадывая в нем именно безобразие разврата, но не испытывала при этом ни малейшего отталкивающего отвращения; только сердце ее ныло, болело и щемило от жалости и сострадания к Чухе, и не столько за безобразие, за этот внешний признак разврата, сколько за самый разврат ее. «Может, она дошла до него той же самой дорогой, на которой и я стою, — с участием и снисхождением помыслила девушка. — Может быть... почем знать! — может быть, и мне предстоит то же самое!» И от этой мысли ее всю передернуло холодом. Но

улавливая порою во взоре и улыбке старухи то особенное выражение, которое так отличало ее от наглых и скотски бессмысленных, пришибленных физиономий множества других здешних женщин, Маша невольно начинала чувствовать к ней самую теплую симпатию, испытывала задушевное желание поделиться с нею своим сердцем, облегчить на ее груди свое неисходное горе, вылить перед нею все свое оскорбленное, поруганное чувство, так невнимательно и грубо оттолкнутое любимым человеком; словно бы что-то свое, близкое, родное влекло ее к этой женщине, под добрым и ласковым обаянием ее мимолетно теплого и грустного взора, и Маше както невольно чувствовалось, что в ее одинокой, зазнобленной жизненным холодом душе все растет и растет беспредельное доверие к этому существу, погрязшему в мрачной тине. Она инстинктивно почуяла в нем родную, теплую душу. Ей показалось, будто с этой самой минуты она уже не совсем одинока в мире, будто нашлись чья-то другая воля и сердце, которые поддержат и согреют ее на этом жизненном распутье, и ей захотелось не рас-

ставаться, как можно дольше не расставаться со своей случайной спасительницей. Но опять-таки и то, что, раз уже сказав себе «да будет Его святая воля» и вместе с этим словом слепо отдавшись судьбе — куда не вынесет! — ей было покамест не на что больше решиться и ничего не оставалось, как только держаться около Чухи, пока случайная судьба или жизнь не подставят неожиданно какого-либо иного исхода.

— Mon Dieu, comme je veux boire!.. Comme je veux boire!.. et comme j'ai faim! Mais... personne ne m'a donne nul copeck aujourd'hui! [457] — с каким-то жгуче-отчаянным и вакхически-растерзанным видом подошла вдруг к Чухе какая-то молодая еще женщина, тоскливо заломив свои руки.

Чуха ответила ей только печальным пожатием плеч и быстро глянула на Машу. Эту, казалось, необычайно поразили звуки французского языка, услышанные в Малиннике.

Вакханка молча постояла еще с минуту, с озабоченной тоской озираясь во все стороны, и со вздохом пошла себе искать дальнейших приключений.

— Что, милая девушка, тебя, кажись, удивило? — с тихой улыбкой обратилась к Маше ее спутница.

— Да... французская фраза... здесь... Я не ожидала... — смущенно прошептала она.

— Мало ль чего ты тут не ожидаешь еще! — с горько-иронической грустью покачала головой старуха. — А между тем мудреного ничего нет, тут не одна она, тут, на Сенной, и много таких-то есть... Много их!..

— Что ж это значит?.. Француженка? — прошептала пораженная девушка.

— Нет, русская... дворянка... — все так же грустно возразила Чуха. — Это вот что значит, если хочешь знать, — продолжала она. — Случается, что девушка этого «порядочного» круга собьется с истинного пути — несчастие, обстоятельства, обман, — всякое ведь бывает в жизни! И если уж она попала на эту дорогу, вернуться почти невозможно — затягивает! Словно тина какая засосет тебя! Ну, а стыд и гордость-то не всегда ведь сразу убьешь, и становится ей совестно встречаться в «пансионе-то» с людьми прежнего круга: на знакомых, пожалуй, может натолкнуться; поэтому

она в видных пансионах и сама не остается, а спускается куда-нибудь пониже, где народ блыкается попроще. Да вот беда — и это у них у всех почти общее, — со стыда да с горя начинают пить, и сильно пьют они, привыкают к пьянству, а за пьянство сперва бьют, а потом выгоняют, перепродают в другие руки, и вот такими-то судьбами девушка спускается все ниже и ниже и доходит наконец до Сенной. Тут уж из прежних-то ни с кем она не рискует встретиться, да и за пьянство здесь не взыскивают, ну, на Сенной они все и кончают, на Сенной-то особенно их и отыщешь. Так-то, милая девушка! — закончила Чуха, вздохнув тихо, но невыразимо тяжело.

Маша слушала и глядела на нее в невольном ужасе: после этого рассказа ей еще сильнее стало казаться, что и ее ждет та же роковая судьба.

Чуха тревожно угадала ее мысли.

— Я тебе вот что скажу, — начала она, видимо торопясь успокоить волнение девушки. — Ты с нами не оставайся.

Тут тебе не место, тут тебя верная погибель ждет. А ты только первое время пережди

у меня, пока тебе, кроме Фонтанки, деваться некуда, а там я уж как бы то ни было раздобудусь деньжонками, хоть маленькими, дам тебе... взаймы, — прибавила она в скобках, с доброй, хорошей улыбкой, — отдашь когда разбогатеешь; ты места себе поищи какого, а с нами оставаться... Нет, не допущу я до такого греха! Не на это я тебя от проруби оттащила! Ты вот смотри на меня, — поднялась Чуха с места. — Что, какова я? А ведь когда-то тоже была хороша — *женщина* была... Да только это — именно *когда-то* было... А теперь-то... Чуха — и только!

И старуха с едко-горькой улыбкой отчаянно махнула рукой.

— Ох, давно бы я бросила все это, — тихо продолжала она спустя несколько времени, — противно, гадко оно... Пора иначе пристроиться... Хотелось бы хоть селедками на Сенной торговать, хоть гнилушницей промышлять, апельсинами да яблоками! Кажется, уж на что невелика торговля, а возможности нет... Нет, да и только... Десяти — двенадцати рублишек не могу сколотить на обзаведение! Поверишь ли ты этому? И вот — хочешь не

хочешь, а поневоле продолжай каторгу да позор...

Старуха замолкла и угрюмо понурилась, отдавшись какой-то беспросветной думе. А между тем в этой комнате, под звуки торбана и гнусавого пения Ивана Родивоныча, составилась осьмипарная кадриль. Танцевали исключительно одни только женщины, под куплетцы чего-то вроде «чижика»; мужчины же оставались зрителями. Но как танцевалась эта кадриль! Каждый из читателей, конечно, имеет более или менее приблизительное понятие о том, каким наглым и циническим образом отплясывается этот танец у различных Ефремовых, Марцинкевичей и Геббгард, которому придано здесь все дикое российское безобразие и у которого вполне отняты французская грация и изящество. Казалось бы, чего же после этого должно ожидать от Малинника? А между тем представьте себе самую крайнюю противоположность! Кадриль, танцуемая в Малиннике, в этом вертепе крайнего разврата и безобразия, отличается образцовой скромностью и приличием, так что хоть бы впору любому пансиону благо-

родных девиц. И — как знать! — быть может, в среде этих восьми пар найдется и не одна женщина, у которой вполне разорваны всякие связи с прежней жизнью иного общества и для которой эта скромность и приличие в танцах составляют теперь уже единственную сладкую иллюзию, напоминающую ей это безвозвратно погибшее прошлое. Ведь кроме скромности в танцах для нее уже не существует более ни в чем остальном никакой скромности — решительно ничего, напоминающего нравственный идеал женщины.

— У тебя есть еще деньги или уж ничего больше не осталось? — тихо спросила Чуха у Маши во время этой кадрили.

— Нет, я последние проела... — несколько смущенно ответила ей Маша.

— Ну и у меня всего-навсего три копейки... На ночлег обеим не хватит... Надо бы как-нибудь добыть... Я добуду, — раздумчиво проговорила старуха и стала кого-то отыскивать глазами.

Вскоре она заметила слонявшегося у столов капельника и отошла с ним в сторону.

— Слушай, голубчик Степинька, что я тебе

скажу, — начала она ему вкрадчивым голосом. — Хочешь добыть деньгу?

Капельник вместо ответа только крякнул с ужимкой да языком прищелкнул.

— В той комнате, кажись, море разливанное? — продолжала женщина. — Кто это там так шибко?

— Летучий, Лука... Нонешний слам юрдонит[458].

— Стало быть, при деньгах?

— В больших деньгах!.. Сотельную бумажку сам сейчас видел.

— Ну, если его потешить теперь, так он расщедрится! — с живостью и надеждой подхватила Чуха. — А мы с тобой поделимся. Хочешь, что ли?

— Да ничего не выканючишь — надругательство разве какое, а больше ничего! — с унылым вздохом возразил Степинька.

— Уж там мое дело! — удостоверила его старуха. — Уж там я знаю как!.. А ты теперь подойди только к нему да попроси хорошенько, чтобы позволил для себя поплясать... Скажи ему: Чуха, мол, вместе со мною желает.

— Ладно, я пойду... Для чего не пойти?! —

согласился капельник и направился в большую залу, где дым и чад стоял коромыслом и теснилось видимо-невидимо всякого народу.

Там, на самом видном месте, окруженный достойной компанией своих приспешников, восседал и безобразничал во вся тяжкие Лука Лукич Летучий, тот знаменитый и уже несколько известный читателю герой, который в отдельном нумере «Утешительной», с полтора месяца назад, собственноручно задушил дворника Селифана Ковалева. Нынче Летучий угарно прокучивал выгодный слам с большого воровского дела, направо и налево без толку соря своими деньгами.

Какое-то внутреннее чувство больно укорило было Чуху за ее решимость прибегнуть к добыче нечистых денег от такого человека, но... деваться больше было некуда, жаль бросить Машу, жаль оставить ее без ночлега, без приюта, когда она — того и гляди — опять, пожалуй, вздумает с отчаяния идти на Фонтанку. Старуха не могла сама себе дать отчета как и почему, но только сердцем своим чуяла, будто что-то инстинктивно и тепло привязывает ее к спасенной ею девушке, и для нее-то

она решилась на последнее средство.

«Э! Что тут думать! — с твердой решимостью помыслила она. — Ведь не впервой кувыркаться из-за куска хлеба».

И через минуту, по мановению Летучего, перед его столом расчистился кружок, тесно обрамленный досужими зрителями. Скромная кадриль была прервана, потому что Лука потребовал к себе музыкантов, а еще через минуту говор толпы покрывался уже гнусавым тенорком Ивана Родивоныча, которому, по обыкновению, вторил пьяненький басок Мосея Маркыча, под аккомпанемент звенящих ложек и торбана.

Как у нас Чуха-красотка —
По всему телу чесотка —
Очень хороша!
Ах! Очень хороша! —

раздавалось по зале отвратительное пение, которое подхватывали иные голоса из хохочущей толпы, и безобразная Чуха, ставши в позитуру против безобразного Степиньки и высоко подняв юбку затрепанного кисейного платьишка, лихо отхватывала трепака. Эти два внешних безобразия, соединен-

ные в откровенно цинической пляске, во вкусе Луки Летучего, являли собой донельзя отвратительную картину. И хорошо, что не видела ее Маша, которая осталась в ожидании скрывшейся Чухи на прежнем месте и боялась удалиться с него, потому что, в отсутствие ее, испытывала крайнее беспокойство и смущение.

Чух!.. Чух!.. Чух!..
Ни молодок, ни старух! —

размахивая руками и валяя то кувырком, то вприсядку, мычал расходившийся Степинька, тогда как многие из зрителей громко отбивали в ладоши такт, а сам Лука, схватившись за животики, надрывался от неудержимого смеху и дико взвизгивал по временам:

— Ух-ти!.. Жарь его!.. Валяй!.. Поддавай пару!.. Лихо!..

И через несколько мгновений все это смешалось в такой безобразный лай, гам, и свист, и топанье, и хохот, что стены дрожали и за людей становилось страшно. После прерванной скромной кадрили весь этот безобразный трепак и все эти неистовые вопли

скучившихся зрителей поистине являлись живой сценой из шабаша на Лысой горе, переполненной всякой адской сволочью.

Трепак с каждым мгновением разгорался все живей и быстрей; Мосей Маркыч все более и более учащал такт — до того, что струны его торбана звенели уж без всякого толку. Тут, откуда ни возьмись, на помощь к нему явилась какая-то посторонняя гармоника, визжавшая не в тон, и танец длился до тех пор, пока запыхавшаяся плясунья, выбившись из сил, не повалилась на пол. Последнее обстоятельство наиболее всего развеселило зрителей, но в душе Чухи было мрачно, она думала: «Что, если все это было понапрасну, что, если Лука не даст ни гроша!» Но Лука Летучий запустил уже руку в карман и, выгребав оттуда горсть мелкой монеты да две-три скомканные ассигнации, швырнул их на пол перед собой. В тот же миг передние из кучи зрителей жадно кинулись ловить деньги, предназначавшиеся танцорам, и действительно захватили большую часть. Поднялась свалка и драка, но Чуха успела-таки проворно схватить серебряный двугривенный и юрко

улизнула из схватки, которая теперь чуть ли не более пляски потешала Луку Летучего.

— Лука Лукич — моей матери сын — нониче гуляет! Знай, мол, нас народ до самых трухмальных ворот! — кричал он, вскарабкавшись на стол и кидая оттуда новую горсть в самую середину свалки. — Потому мы нониче и в Италии, и далее, и в Париже, и ближе бывали!

— Пойдем теперь отсюда... спать пойдем, — едва переводя дух, сказала Чуха, вернувшись к Маше, которая все это время, слыша визг и гвалт, наполнявший большую залу, не смела подняться с места и только все пуще робела, тщетно отыскивая глазами свою старуху.

XXVI
МАЛИННИКСКИЙ САМОСУД

— Гей, ребята!.. Мазурик!.. Мазурика поймали! мазурика! Держи его, держи-и! — раздались вдруг в эту самую минуту несколько громких голосов в большой зале, и в комнату вбежал растерянный и бледный с перепугу молодой человек, за которым гнался малинникский хлебный маркитант и несколько личностей, ошалелых от пьяного разгула.

Маша глянула на вбежавшего и сразу узнала его.

То был Вересов.

Но из этой комнаты ему уже больше некуда было бежать; тут же его и схватили.

— Ах ты, мазурик! — вопил маркитант, хватив одной рукой за ворот Вересова и в то же время не выпуская из другой свою булочную корзину: — Ах ты, воришка!.. Гляди-кось, почтенные, булку у меня стянул!.. Я только что отвернулся, а он и стянул! Ах ты...

И полился целый мутный поток бранных восклицаний и бесконечные повторения о

булке.

У Вересова действительно из-за пазухи торчала краюшка белого хлеба, которую он прикрывал рукой, не то бы в намерении припрятать, не то готовясь защищать ее, буде отнимать начнут. Сам же вконец потерялся и бессмысленно глядел на всех беглым, испуганным взором.

— Мазурика, мазурика поймали! — пошел быстрый говор по всей малинникской толпе, которая с этим известием по большей части хлынула в желтую комнату, где маркитант со своими охочими приспешниками, вопя о булке, держал Вересова, который, впрочем, и не думал вырываться от них.

Маша решилась ждать, чем это кончится: она чуяла, что ему грозит что-то нехорошее.

— Надо его выручить... Надо его выручить! — быстро шепнула она Чухе и, схватив ее под руку, старалась протискаться поближе к Вересову; но сделать это было несколько мудрено за плотно скучившейся и все более прибывающей толпой. Однако же девушка не теряла надежды и решительно, хотя и понемногу, грудью и плечом подавалась вперед.

— Мазурика поймали?.. Где он? Где? Значит, эфтот соколик? Покажите вы мне его! — говорил Лука Летучий с развалистой и гордо-самодовольной важностью, входя вслед за другими.

— Здесь, батюшка Лука Лукич!.. Здеся-тки! Вот он! — вопил маркитант. — Обокрал меня!.. Теперича — штука ли! — кажинная булка ведь не даром достается, кажинная трешку [459], значит, стоит, а он, подлец, на-кось тебе!.. А?.. Ах ты...

— Ошмалаш ему, ошмалаш[460]! Обыскать его, коли он мазурик! Надо во всем пункту эту самую соблюсти, чтобы, значит, было оно по закону... Без закону ни-ни! — авторитетно подал свой голос Летучий.

И едва успел он подать свой голос, как уже два человека из его же шайки с необыкновенной ловкостью и сноровкой принялись шарить по карманам Вересова и ощупывать всего, с головы до ног. Прежде всего была торжественно вынута из-за пазухи его трехкопеечная булка.

— Ге-ге-е! Вот оно что! — смеховным ревом пронеслось по толпе.

Затем один из обыскивавших вынул из кармана старый, потертый и замасленный бумажник.

— Эй, вы! Публика почтенная! Чей лопатошник[461]? Не признает ли кто? Может, тоже стыренное[462], — воскликнул нашедший, высоко во всевидение подняв над головой бумажник.

— Ахти! Да никак, брат, мой! Ну, так и есть: у меня подтырил! — вмешался, пробравшись сквозь толпу, какой-то человеченко, с виду прямой жорж, и, пошарив для пущего удостоверения в карманах и за голенищем, принялся разглядывать находку.

— Мой, мой! Вот и наши ребята сичас признают, что мой, — говорил он, развертывая бумажник, и вдруг скорчил притворно испуганную рожу.

— Батюшки! голубчики!.. Отцы родные! — жалобно возопил человеченко, отчаянно хлопнув об полы руками. — Ведь у меня там двадцать рублев денег было, а теперь — ни хера! Все выкрал, подлец! Расплатиться за буфетом теперича, как есть — ну нечем да и только! Благодетели! Как же это!.. За что же

это?.. Господи! Батюшка! Микола Чудотворец! Святители вы мои! Караул!.. Кара-у-ул!!.

— Не горлопань! — сурово осадил его Летучий, легонько давнув за плечо, отчего человеченку вдруг болезненно скорчило. Тем не менее он не преминул воспользоваться удобною минутою, чтобы под шумок опустить в свой карман вещь, вовсе ему не принадлежавшую.

Вересов действительно украл и бумажник, и булку. Прошатавшись весь день без приюта, ища какой ни на есть работишки и нигде не находя ее, он к вечеру снова почувствовал голод. Подобное существование вконец уже ожесточило его, и он решился украсть — не по-вчерашнему, а действительно взаправду и во что бы то ни стало украсть, что ни попадет под руку, на насущный кусок хлеба. Вересов видел вчера, что в Малиннике собирается множество народу, бывает много пьяных. «Авось в этакой толпе сойдет! авось не заметят!» — подумал он и решился отправиться прямо сюда, благо дорога уж знакома. Вошел, послонялся некоторое время по комнатам, огляделся и видит, что у одного столишка, спустя голову на руки, одиноко дремлет за-

хмелевший матросик, а перед ним лежит бумажник. Вересов присел к тому же столу — моряк не просыпается. Тогда, улучив минутку, когда никто не обращал особого внимания в их сторону, он с величайшей робостью потянул к себе чужую вещь. Матрос и тут не проснулся. Вересов быстро опустил бумажник в карман и тихо удалился в другую комнату. Дрожа от волнения, с невольно и назойливо навязывающейся мыслью, что его сейчас захватят и обличат, развернул он этот бумажник — пусто; заглянул во все отделения его, и кроме какой-то засаленной, исписанной бумажонки да двух папирос ничего не нашел и в злобном отчаянии бессильно опустил свои руки.

«Нет, я все же припрячу его; не сегодня, так завтра кому-нибудь продам — копейки три или пять дадут за него», — решил он, снова пряча в карман свое приобретение. А в это время в большой зале происходила свалка, затеянная по милости щедрот разгулявшегося Летучего. Вересов бросился было туда и вдруг видит, что маркитант, позабыв про висевшую у него на руке корзинку, все свое внимание

устремил на эту свалку. При виде хлеба и при надежде добыть его с помощью кражи аппетит Вересова вдруг разыгрался гораздо сильнее, чем за минуту до этого, так что он, ни мало не медля, подкрался к маркитанту и запустил руку в корзинку. Вот — булка уже схвачена, но, торопясь выдернуть свою руку, он неловко зацепил и дернул эту корзинку, маркитант живо обернулся на него и заметил кражу. Вересов ударился в сторону, на ходу запихивая булку к себе за пазуху.

«Мазурик!» — крикнул тот, поспешая за ним вдогонку. От этого слова молодой человек мгновенно стал белее полотна, растерялся и бросился бежать куда попало.

А что было вслед за тем — читатель уже знает.

— Рожа-то его что-то мне незнакома, — пробурчал Летучий, подойдя к Вересову и вглядываясь в лицо. — Ребятки! — обернулся он к толпе, — не признает ли кто молодца? Хороводный[463] он отколь-нибудь аль с ветру[464]?

— Не надо быть, чтобы хороводный! Кабы хороводный, мы бы знали, кто-нибудь да

узнал бы беспременно, — отозвались из толпы несколько записных жоржей.

— Так, стало быть, с ветру? — снова обернулся Летучий.

— С ветру!.. На особняка, значит, ходит, — подтвердили жоржи.

— Ну, коли так, надо оправосудить его! — порешил Лука и обратился к помертвелому Вересову.

— Так ты, собачий сын, мазурить сюда явился? Так ты это наше обчество осквернять? Честное заведение порочить?.. А?.. Ребята! Как скажете: поиграть ему маненечко на скрипке, чтоб напредки половчее был? Ась?

— Задай ему хорошую концерту! Задай!.. Пущай прахтика будет! — согласились окружающие.

Все же прочее, что наполняло эту комнату, оставалось безучастным и равнодушным зрителем, и только у одной Маши, как у пойманной в руку касатки, захватывало и екало сердчишко от страху за Вересова да от негодования на эту бездушную толпу.

— Придержите-ка его, ребятки! — тихо распорядился Летучий, кивнув двум обыскивав-

шим молодцам из своей шайки, а сам весьма медленно, внушительно и с торжествующим самодовольством, видимо красуясь перед толпой, стал засучивать свои рукава.

В это же самое время двое других молодцов засучили и Вересову рукава выше локтей и вытянули вперед худощавые руки, приведя их в прямое горизонтальное положение. Он весь дрожал, дыша тяжело и медленно, и дико озирался во все стороны, как бы ища спасения.

Неторопливо подошел к нему Летучий, с той подлой улыбкой, которая обличала ясно всю его беспощадность. Спокойно глянул он на Вересова и обеими руками, то есть, собственно, двумя только пальцами каждой — большим и указательным, взял его за руки повыше кистей, в том месте, где приходятся восемь косточек запястья, и именно со стороны большого пальца и мизинца. В то же самое мгновение, сильно нажав эти косточки запястья, Летучий начал мерно передвигать своими пальцами, отнюдь не отрывая их от рук своей жертвы.

Вересов побледнел еще более, лицо его ис-

казилось, и из груди вырвался глухой стон.

Эта игра на скрипке представляет одну из самых невыносимых пыток. Острой боли, собственно, при этом нет ни малейшей, но перебирание хрустящих косточек производит такое тяжелое и в высшей степени неприятно нервное ощущение, что человек даже с самыми грубыми нервами едва ли более двух минут в состоянии спокойно вынести эту пытку, последствием которой, при известной продолжительности манипуляций, явится сперва исступление, а потом обморок. Говорят, что бывали примеры, когда эта пытка доводила и до эпилепсического состояния. Мудреного, впрочем, ничего нет. Невыносимое нервное ощущение можно хотя еще несколько уменьшить, если крепко сжать кулак, к чему инстинктивно и прибегнул в эту минуту Вересов; но Лука Летучий отменно знал эту штуку.

— А ну-ко, живчика ему поддерни! — мигнул он своим приспешникам, державшим молодого человека, и те, в сию же минуту, концом большого пальца начали снизу толкать его в сочленение локтевой кости, где нахо-

дится так называемая в просторечии жилка живчик, от мгновенного и достаточно сильного прикосновения к которой по всей руке тотчас же побегут нестерпимые мурашки.

Приспешники Летучего не заставили повторять себе приказание и весьма усердно принялись поддергивать живчика Вересову, отчего пальцы его в тот же миг разогнулись и по обеим рукам пошли конвульсивные движения. Эти пальцы, если можно так выразиться, судорожно прыгали при каждом толчке в живчик.

— Воруй не воруй, а будь ловок, — приговаривал, пытая, насмешливо-поучительным тоном Летучий. — Напредки помни да не попадайся, чтобы и себя не срамить, да и нас, добрых людей, в конфуз не вдавать. Воруй половчее, буде Бог тебе дал на то дарование такое, для того и пальчики тебе теперь разминаются. А не будешь ловок — будешь бит от начальства. Вот тебе и притча во языцех — от писания слово сказано; а ты, как есть ты младой человек, так ты и поучайся, да заруби себе на носу, что это, мол, учит тебя уму-разуму Лука Лукич, моей матери сын, по прозванию

Летучий — человек кипучий. Что, брат, каково? Складно? Затем и складно, чтобы в память принял.

Вересов сначала только зубами скрежетал, но потом не выдержал и стал стонать и порываться из рук своих мучителей.

— Э-э! Любезный человек!.. Потерпи, потерпи малость самую! Это ничего, это очинно даже приятно! — издевался Лука, не переставая мучить.

Вдруг в эту самую минуту с яростным криком пробралась сквозь толпу Маша и стремительно кинулась к Летучему, крепко схватив его за руку. Щеки ее пылали, грудь высоко подымалась от трудного дыхания, волосы взбились в беспорядке от тех усилий, которые употребила она, чтобы пробиться сквозь густую толпу, и смелые глаза метали злобные искры. В эту минуту она была замечательно хороша собой: гнев и волнение придали ей совсем новый, небывалый еще оттенок восторженной энергии и решительной воли, так что даже сам Летучий, остановив пытку, перенес на нее свои изумленные взоры, в которых начинало уже заискриваться дикое жи-

вотное сластолюбие.

— Оставь его!.. Оставь, или я задушу тебя! — сцепив свои зубы и задыхаясь, прошипела девушка.

— Ну нет, задушить-то ты меня не задушишь, — спокойно возразил Летучий, пожирая ее пьяными глазами. — Для эфтово у вашей сестры руки из репы кроены, капустой подстеганы! А вот, поколева живу, отродясь не видал еще, чтобы баба ко мне эдак-то подлетела! Вот что правда, то правда! Ай да зверь-девка! Право, зверь!.. Люблю таких!.. Одначеж ты отселева отчаливай, потому неравно второпях зашибу, — прибавил он ей, снова обращаясь к Вересову с прежним намерением.

— Не тронь! — с силой вырвался отчаянный крик из груди Маши. — Клянусь, задушу! Слышишь!

И она с неестественной, нервной и неведомо откуда вдруг появившейся у нее силой опять схватила его за руки. Глаза ее грозно и зловеще сверкали из-под сдвинутых бровей.

— Ай, да и что ж это за девка! — в каком-то зверообразном довольстве воскликнул Лука,

любуясь дикой красотой девушки. — Любо мне это, да и только!.. Слышь ты, зверь-девка, вот бы мне такую полюбовницу! Лихо!

— Палач!.. — с ненавистным омерзением бросила ему в лицо свое слово Маша.

Летучий вздрогнул и хмуро насупился.

— Палач? — повторил он медленно и тихо. — Ну нет, брат-девка, это ты врешь!.. Не говори ты мне, никогда не говори ты мне такого слова! Слышишь! Палачом Луку Летучего не обзывай!

Лука знал, что рано ли, поздно ли он попадется в палачовские лапы, и по естественной ненависти к ним, свойственной всей братии, считал это слово, примененное к самому себе, большим оскорблением, жестокой обидой и тяжелым укором. Оно его словно ножом резнуло по сердцу, сказанное с такой презрительной прямотой, в глазах огромной толпы, значительную часть которой человеческий поступок Маши заставил вдруг человеческими глазами взглянуть на это дело.

Но самолюбие Луки Летучего не позволяло ему оставить Вересова вследствие одного только слова и энергической воли какой-то

шальной девчонки: «Пожалуй, подумают, что испугался». И в то же время он чувствовал, что после «палача» не годится мучить мальчонку. Луке нужно было с достоинством выйти из этого положения, и потому он тотчас же сметливо придумал исход, который мог польстить и его самолюбию, и его сластолюбивым инстинктам.

— Так вашему здоровью, стало быть, желательно-с, чтобы я его оставил? — с заигрывающей улыбкой обратился он к Маше.

— Ты его не тронешь больше! — твердо и решительно проговорила она.

— Не трону, коли на стачку пойдешь. Поцалуй, девка, Луку Летучего, тогда — вот тебе Бог! — не трону. — И он, выжидая поцелуя, стал перед ней, избоченясь.

Маша ответила одним лишь презрительным взглядом.

— Не хочешь? — медленно проговорил мучитель, сдвигая свои брови; положение становилось для него еще более затруднительным. — Не хочешь? Ну, так уж не пеняй! Держите-тка его, братцы!

И он снова взял руки Вересова.

Маша дикой кошкой бросилась на него, но Летучий одним легким движением локтя отбросил ее в сторону, так что она уж разом поняла всю невозможность меряться с этой силой.

Лука держал руки своей жертвы, но почему-то медлил приступать к новой пытке, а положение Вересова меж тем становилось все более и более критическим.

Несчастный бросил на Машу долгий, невыразимо страдающий и молящий взгляд, после которого тотчас же раздался его крик — Летучий начал свое дело.

Девушка уловила этот взгляд, столь много говорящий, и, заслышав новый вопль, с отчаянной тоской оглянулась вокруг себя, почти готовая упасть без чувств от потрясения, и вдруг — не успел еще замереть голос Вересова, как она уже стремительно бросилась к Летучему и, закрыв глаза, чтобы преодолеть отвращение, громко поцеловала его.

Тот, как зверь, охватил ее своими лапами и стал покрывать поцелуями все лицо бесчувственной Маши.

Чуха подоспела на помощь. С ругатель-

ствами и криком старая волчиха принялась отбивать от него девушку, и Лука Летучий через минуту опомнился: он хоть и был шибко хмелен, однако ж увидел и понял, что дело дошло до обморока.

— Тьфу!.. Это я словно мертвеца целовал! Ажно похолодела! — пробурчал он себе под нос и, передав Машу с рук на руки Чухе, мигнул своим приспешникам:

— Отпустите мальца! Будет с него!

Вересов был оставлен.

С помощью двух женщин старуха утащила девушку от посторонних глаз в маленький темный чулан, за перегородку, куда обыкновенно сваливают в Малиннике мебель, пострадавшую до окончательной негодности среди ночных оргий. Там ее раза два вспрыснули водой, потерли грудь да виски — и девушка очнулась.

— Где он?.. — спросила она, подымаясь на ноги. — Где он?.. Пустите меня к нему — они снова станут мучить его.

Чуха начала было уговаривать и успокаивать ее, но Маша ничего не хотела слушать и порывалась из чулана. Пришлось отвести

ее в прежнюю комнату.

Вересов, оставленный Летучим, а вместе с тем и всей остальной толпой, долго еще не мог прийти в себя и стоял на прежнем месте, ошеломленный всем случившимся, не зная, куда из этой комнаты направиться к выходу, и в то же время страшась сделать шаг, из опасения подвергнуться опять каким-нибудь новым мучениям.

— Пойдем отсюда... Бога ради, пойдем отсюда! — стремительно проговорила Маша, подведенная к нему Чухой, и, без сопротивления взяв руку молодого человека, повела его вслед за собой.

— Вот девка так девка! Молодец девка!.. — одобрительно замечали некоторые личности, когда Маша, вместе с Чухой и Вересовым, проходила малинникские комнаты.

А в это время в большой зале опять уже вокруг Летучего кучилась большая толпа, и опять бренчал торбан, и звенели ложки, и певцы отхватывали «величальную» в честь этого героя:

Ах, и кто же тароват у нас?
Тароват да свет Лука Лукич!

Он со гривенки на гривенку ступал,
Он полтиною вороты припирал,
По пяти рублев в окошечко кидал.

И Лука Лукич при этих последних словах величальной песни снова швырнул в толпу направо и налево две горсти серебряной мелочи и медяков, а сам, поднявшись с места, начал с сановитой повадкой, и подтопывая, и помахивая развернутым фуляровым платком, плясовым ходом похаживать по кругу и вдруг лихо гаркнул, вместе с певцами:

Ах вы, Сашки, канашки мои!
Р-р-разменяйте-д мне бумажки мои,
Вы бумажки мне новенькие-да
Двадцатипятирублевенькие!

И при этом снова несколько скомканных ассигнаций полетело в толпу, где давно уже шла из-за этих грошей великая свалка и драка.

Трое малинникских беглецов вышли на площадь, откуда было слышно, как гудел и неистовствовал весь этот Малинник.

Чуха бережно поддерживала трепещущую Машу, которую теперь благодетельно освежила и придала новой бодрости струя свежего воздуха.

— Спасибо... Это второй раз... Второй раз вы меня выручили... спасли... — бессвязно проговорил ей глубоко потрясенный Вересов, удерживая в груди тяжелое рыдание. — Я... никогда, никогда не забуду... Спасибо!

Маша протянула ему руку, и они молча простились одним крепким горячим пожатием.

— Хорошо, что ты привела меня сюда. Я рада... — с чувством промолвила девушка своей спутнице, когда они одни переходили площадь по направлению к Вяземскому дому.

— Да, без тебя-то он, пожалуй бы, так не отделался, — с тяжелым вздохом и мрачным лицом проговорила старуха. — Они бы его, пожалуй, и насмерть забили.

— Насмерть? — с удивленным ужасом, широко раскрыла Маша свои глаза.

— Насмерть, — подтвердила спутница. — В наших хороших местах это случается: убьют невзначай человека, в драке там, что

ль, или как, нахлобучат на мертвого шапку да словно пьяного и потащат вдвоем или втроем, под руки, к Фонтанке, а там внизу у спуска и в воду — поминай как звали! Они на это молодцы у нас.

Вересов остался один на распутье.

«Нет, воля хороша сытым... голодному воля — смерть, — решил он сам собой. — Тюрьма лучше... лучше, чем такая воля!.. Пойду к следственному, сейчас же пойду — чего тут ждать еще? Попрошусь снова в Литовский замок... Пока, в части, в арестантской, дадут ночлег, а может... может и хлеба там себе выпрошу...»

И он решительно шел к возврату в прежнее, но теперь уже добровольное заточение после двух с половиной суток голодной свободы.

XXVII
СИБИРКА

— Веди меня в часть! — обратился Вересов к дремавшему на углу городовому, перейдя некоторые улицы, за которыми уже начинался район той части, где производилось о нем следственное дело.

— Куда-а? — изумился спросонья блюститель.

— В часть!.. В сибирку! — с раздраженной настойчивостью повторил бездомник.

— Проходи, проходи себе с Богом, приятель, нече пустяки-то болтать... Время ночное.

— Мне некуда идти, у меня нет ни дома, ни пристанища — понимаешь ли ты?.. Веди же меня в часть, говорят тебе!

— Ну, проваливай, брат, проваливай!.. Что вам часть — богадельня, что ли? За что я тебя поведу, коли ты бесчинства никакого не сделал?.. Ты сделай бесчинство какое, так я тебя отправлю с дворником в квартал, а без того за что же? Ну, хмелен маленько, ну, это ничего:

иди, знай, своей дорогой, а мне со своего поста тоже нельзя отлучаться — неравно начальство...

И блюститель послаще да покрепче завернулся в свою дежурную шубу, в надежде опять подремать с часочек.

Вересов не двигался с места. «Бесчинство... — думал он. — Даже и сюда-то не пустят тебя просто, потому что тебе деваться некуда!.. Надо сперва бесчинство какое сделать либо околеть на улице с голоду и холоду, тогда сволокут, тогда примут!.. Господи, что же это будет!»

— Чего же ты стоишь? — обратился к нему между тем городовой. — Хочется в часть тебе? Ну и ступай сам! Дорога, чай, знакомая. А отсюдова отчаливай подобру-поздорову!

Бездомник действительно решился сам идти в часть и объявить себя беглым из тюрьмы преступником, в надежде, что после такого заявления ему не откажут в приюте. Не без некоторого труда, однако же, удалось ему добиться, чтобы впустили в дежурную комнату, где на жестчайшем кожаном диване спал дежурный офицер. Беглый преступник, являю-

щийся сам объявить о себе, показался ему явлением почти сверхъестественным и весьма курьезным. Приказал, для порядку, обыскать его, причем, конечно, был найден временный билет, выданный следственным приставом.

— Какой же ты, черт тебя дери, беглый, если ты на поруки отпущен? — изумленно и строго спросил его дежурный. — Что ж ты задаром-то начальство беспокоишь?.. А?

Вересов стал опасаться, что и тут, пожалуй, сорвется дело, что и отсюда выгонят.

— Я голоден... Я третьи сутки шатаюсь по улицам, без хлеба, без приюта, — заговорил он голосом, дрожащим от волнения и отчаяния. — Не откажите мне... сжальтесь!.. Дайте мне место в арестантской сибирке, хоть до утра... утром я в тюрьму... да еще... Христа ради... хоть кусок хлеба!

— Да ты, должно, пьян, каналья? — усомнился дежурный.

— Я голоден... — с горечью повторил Вересов.

— Верно, пьян... не может быть, чтоб не пьян... Подойди-ка сюда!

Тот подошел.

— Ближе подойди!.. Совсем подойди ко мне.

И ближе подошел, и совсем подошел.

— А ну-ка, дохни на меня!

И дежурный чутко подставил свой нос под самый рот Вересова.

— Ну, дыхай же, бестия!.. Еще! Сильнее!

Тот исполнил и это.

— Хм... Кажись, трезв, животное!.. Хм?.. Так ты в самом деле не пьян?

— Вы видите.

— Вижу! Вижу, что вы, мерзавцы, только начальство по пустякам тревожите!.. Сна лишаете!.. Из-за вас мучиться тут!.. Тащи его, каналью, в общую! — промолвил он, обращаясь к полицейскому солдату. — Утром ужо разберут!

Половина жестокого груза упала с плеч Вересова. Он радостно пошел рядом с солдатом, взявшим его за шиворот.

— Голубчик!.. Коли веруешь в Бога... дай мне... Христа ради, дай мне поесть чего-нибудь... Хоть корку хлеба! — со слезами умолял он солдата на пути к общей арестантской.

Тот сжалился и принес ему туда краюху

ржаного солдатского хлеба, щедро посыпанную солью.

В сибирке, отличавшейся особенным простором, было скучено до шестидесяти человек всяческого народу. Сиделые подследственные арестанты в казенных серых пиджаках являли себя в некотором роде аристократами этого места и потому занимали все лучшие места на нарах; остальная же публика, забранная или подобранная на улицах в течение одних суток, довольствовалась чем Бог пошлет и по большей части валялась врастяжку на отвратительно грязном полу, в бесчувственно-пьяном образе. Тут был народ с весьма различных ступеней общественной лестницы: и лакеишко с раскроенной щекой, и оборванный солдат, и купец в хорошей лисьей шубе, с которого сиделые арестанты преспокойно стащили в свою пользу новые сапоги, отнюдь не стесняясь присутствием стольких посторонних людей; тут же валялся чиновник, весь мокрый и перепачканный уличной грязью, с оторванной фалдой вицмундира, и личность, напоминающая своей черной хламидой странствующего инока, и серя-

ки-мужики, и карманщики-жоржи, и некий иностранец француз, без всяких признаков панталон, и немецкие подмастерья, вместе с подмастерьями российскими, и, наконец, *мосью* с гигантскими усами и с красным околышем да кокардой на замасленной фуражке, из разряда тех, которые останавливают вас на улице непременно французской фразой и просят на пропитание жены-вдовы с семерыми детьми мал-мала меньше. Иные из них были окровавлены, избиты, расшиблены, а большая часть грязны и оборванны — следы отчаянных драк и уличного валяния. И все это храпело, стонало во сне, бредило, хрипло кашляло, а в одном углу раздавались пьяно-горький неумолчный плач и вздохи с бесконечным причитанием: «За что ж он мне рожу расквасил?.. Нет, ты мне скажи, за что он меня растворожил всего?.. Может ли он?.. Никак он этого не может... И я не могу... и он, значит, не может... Нет, ты мне скажи, за что...» и т. д.

Замечательно, что у русского человека в сивушно-пьяном образе все его мысли главнейшим образом и почти постоянно сосредо-

точиваются и путаются около одного представления о том, *что* он *может* и чего *не может*, а также и о том, что могут и чего не могут другие. Это почти общая характеристическая черта.

Сиделые арестанты, по преимуществу жоржи среднего и старшего разрядов, ходили от одного бесчувственного или сонного человека к другому и, задав ему ошмалаш[465], бесцеремонно вытягивали из кармана в свою пользу все, что попадется на руку: вязаный шарф, носовой платок, чулки или сапожонки, одежонку, какая случится, а иногда и кошелек либо портсигар, если таковые позабыла отобрать и припрятать до утра полицейская власть в дежурной комнате; особенно же любят жоржи шейные кресты да обручальные и иные кольца, буде случатся подходящие: золотые либо серебряные. Все это к шести-семи часам утра через какого-нибудь приятеля-солдатика потайным образом сбывается за пределы части и — ищи ветра в поле.

Вот втолкнули в сибирку совсем пьяного человека: ни ног не волочит, ни языком не шевелит. Но чуть захлопнулась дверь, чуть

удалились полицейские, пьяный человек вскакивает на ноги как ни в чем не бывало и, совершенно трезвый, пробирается по комнате, все наклоняясь и ища кого-то. Вот отыскал спящего мальчонку, лег с ним рядом и разбудил.

— Что, брат, обмишулился? Потеешь[466] ?! — с укоризной и сочувствием шепчет он мальчонке.

Тот кручинно и досадливо чешет за ухом.

— Яман[467] твое дело, — продолжает мнимо пьяный, — на духу у кармана, поди-кось, все, как было, вызвонил[468]?

— Вызвонил, — со вздохом подтверждает малый.

— Ну, вот то-то и есть, неумелыш ты эдакий! Записали, стало быть, в акт. Как записали, не помнишь?

— Да так и так, что в церкви, мол, бымши, руку запустил в карман к тому-то черту — сам же ты мне показал его! — а что черт поймал за руку: с платком поймал. Так и записали.

— А ты сознался?

— А я сознался.

— Дура!.. Ну, да ништо! Завтра, как поведут к ключарю1, смотри — говори, что и знать, мол, ничего не знаю, что стоял да молился, а он вдруг за руку, мол, ухватил меня, а что в акте карман записал, того не знаю и мне читано не было — мало ль чего там не пропишут; а станут спрашивать, бываешь ли на духу да у причастия, говори: бываю, мол, каждогодне; годов тебе — шестнадцать; работать ходишь поденно на голланску биржу. Главное стой на том, что про кражу знать ничего не знаю, ведать не ведаю — и баста! На том тебя и отпустят.

И, сговорившись таким образом, учитель укладывается спать с учеником, чтобы наутро опять повторить ему все свои наставления [469].

Вересов, кое-как утолив свой голод краюхой хлеба, с жадностью напился воды из общего ушата и, полный тяжелой усталости и изнеможения, повалился на пол, где, невзирая на мириады жалящих насекомых, заснул как убитый, радуясь возможности спать не в холодной барке и со сладкой надеждой на новое переселение в одну из татебных камер

Литовского замка.

XXVIII
НОВАЯ ВСТРЕЧА С ОТЦОМ

Утром, когда наконец дошла до него очередь предстать для спроса и разбора пред светлые очи частного пристава, он чистосердечно объяснил свое печальное положение и просил препроводить его в следственное отделение, где надеялся вымолить себе отправку в тюрьму.

Следователь крайне изумился, выслушав его просьбу.

— Нет, обратно в тюрьму я вас не отправлю, — возразил он ему с улыбкой, — а пойдемте-ка лучше ко мне на квартиру: мне надо с вами переговорить о весьма важном деле.

И он прошел с ним по коридору в свою квартиру, помещавшуюся тут же.

— Ваш отец убедился наконец в вашей невинности. Вот прочтите это, — сказал ему следователь и подал письмо Морденки.

Вересов сразу узнал руку старика, пробежал его строки — и глазам своим не поверил.

Со вниманием, вдумчиво прочел еще раз — и пришел в величайшее изумление! Как! Этот человек, который несколько дней тому назад отказался взять его на свое поручительство, который сожалел, что сын его, в сущности, оказывается невинен, который еще не далее как вчерашним утром так бессердечно, с такой черствой сухостью отвернулся и прошел мимо него в церкви, теперь вдруг почувствовал невиновность своего сына и так тоскливо просит в письме увидеть его! Что все это значит? Как и чем объяснить столь внезапную перемену? Вересову все это казалось похожим на какую-то странную грезу.

— Я сам только сейчас получил это письмо — женщина принесла его, — пояснил ему следователь. — Отправляйтесь теперь прямо к старику, — прибавил он. — Вы видите, как он торопится увидеть вас. Скажите ему, что под вечер я буду у него сегодня же непременно.

Вересов отправился, не будучи в силах вполне уяснить себе перемену в чувствах отца. Теперь, более чем когда-либо, он не питал к этому человеку ни малейшей злобы, хотя и

много поводов представлялось бы для нее в течение его жизни. Единственное чувство, которое жило в душе Ивана Вересова к его отцу, было грустное и горькое сознание, что отец жестоко не прав перед ним; но теперь даже и оно исчезло: одно лишь доброе желание старика видеть его, заочно протянутая ему рука, сознание близости конечного часа — все это вполне уже примирило с ним незлобивую добрую душу забитого и настрадавшегося молодого человека. Он торопился теперь к отцу с тем христианским, бескорыстным чувством, которое спешит на призыв заклятого врага, чтобы принести ему полное прощение и забвение всех обид перед его смертным часом, а этого человека мог ли он назвать заклятым врагом своим, чувствуя в нем все-таки своего отца, и особенно после того, как тот первый заочно протягивает ему руку примирения?

На душе молодого человека было теперь тихо, светло, но бесконечно грустно. Чувство, похожее на это, бывает иногда разлито в самой природе в последние ясные дни глубокой осени. Он сознавал себя вполне и безукоризненно правым в отношении старика, он со-

знавал, что до последней минуты может прямо и честно смотреть ему в глаза, и заботился только об одном, чтобы предстоящая встреча не была особенно тягостна для нравственного чувства его отца, если только тот вполне искренно примирился с ним. Он дал себе обещание ни словом, ни взглядом, ни намеком не напоминать ему о своем горьком положении, о своих несчастиях, чтобы это не могло колючим укором отозваться в душе Морденки. Если ему суждено скоро умереть, Вересов хотел своим присутствием, своим теплым попечением и ласковым ухаживанием облегчить и усладить его последние минуты. В сиротствующей одинокой душе молодого человека была слишком сильна и велика потребность в отцовской или материнской ласке и добром слове, которых он не знал с самой минуты своего появления на свет Божий, и потому-то, надеясь облегчить собою последние минуты Морденки, он в то же время, с весьма понятным и законным эгоизмом, лелеял в себе мысль и надежду на взаимную отцовскую ласку, которая своим тихим веянием облегчила бы его собственную наболелую душу, за-

ставив хоть на время позабыть все столь много и несправедливо пережитые им страдания.

В таком-то настроении он переступил порог Морденкиной квартиры.

Старик и без того всегда был желт и бледен, а тут, при этом внезапном появлении сына, побледнел еще более, до смертной синевы, и задрожал всем телом от величайшего волнения. Он с усилием поднялся с постели, пошел навстречу, и вдруг — изнеможенно бросился ему на шею. Послышалось удушливое, тихое и хриплое старческое рыдание; на глазах появились слезы, а костлявые руки крепко сжимали в объятиях сына, и сухие, холодные губы как-то судорожно приникли в поцелуе к сыновнему лбу и долго-долго не отрывались.

Эта безмолвная сцена длилась несколько минут, к немалому удивлению чухонки Христины, выглядывавшей в щель непритворенной двери. Но ни отец, ни сын не замечали постороннего свидетеля. У обоих скопилось в душе столько чувства — и горького, и отрадного в одно и то же время, что оба ощущали и понимали огромную трудность и даже невоз-

можность нарушить словом безмолвие этой встречи.

— Ваня... Ванюша... прости ты меня... прости старика... — шепотом начал наконец первый Морденко, с объятиями, склоняясь лицом к груди взволнованного Вересова и не смея поднять глаз, потому — совесть пока еще боялась встретиться с его открытым и честным взором, боялась прочесть на этом лице следы горя, унижения и несчастий, перенесенных этим человеком. Едва еще только вошел он, Морденко уже по первому взгляду увидел, как много изменилось его лицо, как жалка и убита вся его фигура, и этот вид мгновенным и колючим укором пронзил очнувшееся отцовское сердце.

— Прости... прости мне, Ваничка... голубчик мой, сын мой... родное ты мое! — продолжал старик все тем же надрывающимся от слез шепотом. — Виноват я... много виноват... а ты прости... отца... отца прости!.. Забудем друг другу... все забудем!.. Коли ты простишь — и Бог простит меня!.. Неужели ты... Ваня... неужели ты ненавидишь меня?! Неужели... О Господи!..

Вересов со слезами кинулся к его ногам и покрывал поцелуями дрожащие похолоделые руки.

При виде этого искреннего, сердечного движения на лице старика тихо просияла любящая улыбка. Он нагнулся к своему сыну, и целовал его голову, и трепещущей рукой гладил его волосы, и все шептал:

— Милый... милый мой... родной мой... сын мой... не проклинает... простил... простил старика...

Когда прошел этот первый горячий порыв свидания и Морденко несколько поуспокоился, он не мог не заметить злосчастного тощего костюмишка, облекавшего молодого человека, и его болезненно изнуренного, голодного лица.

— Встань, Ваня, встань, Ванюша! — ласково твердил он, подымая его с колен. — Я рад... ну, я рад! Наконец-то это... наконец-то мы с тобой свиделись... Привел Господь — не до конца еще прогневался... Ты, Ваня... это-то платьишко твое — тово... надо бы... тово... другое; переодеться надобно... Постой, погоди, я дам тебе, я все дам тебе... Вот сейчас... сей-

час!

И он очень слабой, болезненно-шаткой, но торопливой походкой заковылял в свою «молельную», порылся там несколько времени и с торжествующим видом вынес оттуда чистое белье да пару хорошего платья.

— Прикинь-ко это на себя, голубчик!.. Впору ли будет? А то и другое можно — у меня есть...

Вересов с радостью переоделся в свежее белье и обменил свое изношенное, загрязнившееся платьишко. Новый костюм пришелся почти впору.

— В баньку бы сходить теперь, — продолжал Морденко: — Сходи-ко, попарь, брат, свои косточки... Э, да нет! Это после... после пойдешь, ужо вечером, а теперь не отпущу... теперь со мной побудь, наглядеться, наговориться хочу.

И старик с улыбкой оглядывал своего сына. Эти новые ощущения успели несколько приободрить его на время: в желтом лице его даже легкий румянец появился, и тусклые глаза вдруг заблистали жизнью; но — увы! — насильственно вызванной, и потому неесте-

ственной, фальшивой бодрости, при общем расслаблении обессиленного организма, суждено было продолжаться весьма короткий срок: будучи следствием нового и столь сильного потрясающего напряжения, она вскоре могла только еще усилить собой на несколько градусов общую болезненную слабость Морденки.

— Ты, брат Ваня, у меня молодец будешь... молодец хоть куда! — говорил он, любуясь. — Погоди, дай только сроку, а ты поправишься... Э! да что ж это я-то, и не домекнулся! Прости ты меня! — спохватился вдруг Осип Захарович, ударив себя по лбу. — Ведь ты, наверное, есть хочешь!

Вересов действительно был голоден и потому немедленно подтвердил отцовское предположение.

— Христина... А Христина?! Где ты, дурища, закопошилась там! — затревожился снова старик. — Наставь самовар поскорее!.. Чаю завари!.. Да нет, это все не то!.. На вот тебе деньги, на, пять рублей! Беги скорее в трактир, закажи там всего, чего знаешь, только живее! Супу закажи, котлет, жаркого там ка-

кого, что ли, да пирогов... Вина возьми бутылку, красного, в рубль — понимаешь ли?.. Да смотри, чтоб на сдаче тебя не надули, вернее считай, а то вечно не донесешь копейки, вечно в недочете; придется потом хоть самому бежать да поверять... Лучше счет спроси. Пускай тебе там счет напишут... Да только гляди, чтоб не прибавили на счете-то! Я ведь поверю потом! Да живее ты, леший!

Но Христина и без того уж металась по кухне, хватаясь то за самовар, то за чайник да за тарелки, то отыскивала запропастившуюся кацавейку и совсем потеряла голову, решительно недоумевая, что бы это такое могло вдруг случиться с ее хозяином и что это вообще за странности деются с ним вот уже третьи сутки? Наконец отыскала кацавейку, напялила кое-как на один рукав и торопливо пустилась бежать с лестницы.

— Деньги-то! Деньги, гляди, не потеряй еще! Боже тебя избави! — крикнул ей вдогонку Морденко и снова заторопился к сыну, чтобы снова любоваться на него родным, отеческим любованием и радованием.

Никогда еще трактирное кушанье не каза-

лось отощавшему Вересову таким вкусным, и давно уж не ел он так сладко и вволю; а старик все время был сам не свой: то садился в кресло против сына, то вдруг принимался похаживать вокруг него, улыбаясь и потирая руки и любуясь, заглядывал на него с разных сторон. Так точно заглядывает и любуется на какую-нибудь любезную вещь человек, желавший долго и страстно приобрести ее и наконец исполнивший свое заветное желание.

Обильный и вкусный стол значительно подкрепил силы Вересова, а стакан-другой давно не питого им вина подействовал несколько на голову, так что его стало клонить ко сну. Старик убедил его лечь на свою кровать и даже, для того чтобы мягче было лежать ему, приказал Христине подостлать на тюфяк две енотовые шубы, которые с болезненным усилием сам вытащил теперь из своей «молельной». Кроме себя Осип Захарович никому и никогда не позволял входить в эту последнюю комнату. Вересов скоро заснул с тем чувством неги, возбуждаемой усталостью, которое очень хорошо знакомо человеку, долгое время спавшему кое-как, неудобно

и жестко, когда вдруг он успокоится и отрадно почувствует себя на свежей и мягкой постели.

Старик, ходючи на цыпочках, завесил клетку попугая, чтобы тот не тревожил сна своим пронзительным криком и свистом, а сам осторожно опустился в свое кресло, боясь кашлянуть и пошевельнуться неловко, и принялся глядеть в сонное лицо сына.

Новое и столь сильное волнение, которое опять-таки довелось ему вынести в это утро, — волнение, соединенное с таким потрясением, с таким сильным чувством, окончательно уже расстроило и расслабило больного старика. Он чувствовал себя весьма дурно, а сам меж тем все-таки сидел в своем кресле и пристально смотрел на спящего. Лицо его живо напоминало Морденке знакомые черты матери, и эти черты невольно будили застарелую ненависть, бередя ее, словно наболелую рану. Но в эту минуту он уже не переносил, как бывало, свое злобное чувство на неповинного в нем сына: в старике для этого слишком сильно и горячо проснулся теперь *отец*, но тем не менее он ненавидел мать, и

вид напоминающего ее лица только усиливал его злобу.

«Он, он, Иван мой дополнит, — злорадно мыслил старик, глядючи на Вересова, — не я, так он докончит мое дело... Как проснется, надо будет говорить с ним... надо сказать ему... клятву взять с него...»

— О Господи, что ж это, как мне дурно! — тихо прошептал он, болезненно метнувшись на своем кресле. — Слабость какая-то... жар... то жар, то озноб... лихорадка это, что ли... Ох, как нехорошо!.. Подкрепи меня, Боже мой!.. А поговорить надо... посерьезнее! — заключил он, все-таки в конце концов возвращаясь к прежней заветной мысли.

И под влиянием ее лицо старика приняло свой обычный оттенок сухой, желчно-сосредоточенной угрюмости, так что когда Вересов проснулся, то не без внутреннего беспокойства заметил эту резкую перемену, которая так живо напоминала ему прежнее время.

Не подавая еще о себе голоса, он вполглаза внимательно и тревожно поглядел на Морденку: голова старика бессильно опустилась на грудь, кулаки были как-то судорожно сжа-

ты, и сидел он совсем неподвижно, словно немое изваяние, а нависшие брови угрюмо сдвинулись, насупились, и поблеклые глаза были неподвижно устремлены на пол в одну точку; но при всем том в этом неприветливом, черство-омертвелом лице сказывалось явное присутствие тяжелой и злобно-мрачной думы, которая словно бы застыла в нем. Это был прежний, обычный, но уже изнеможенный и больной Осип Морденко.

XXIX
КЛЯТВА

Наконец Вересов кашлянул и потянулся.

— Ты проснулся уже? — слабым голосом вопросил его старик, тогда как самого его от этого кашля словно бы очнуло из-под тяжелого забытья.

Молодой человек, протирая глаза, поднялся с постели.

Прошла минута молчания, в течение которой Осип Захарович казался погруженным в свою прежнюю думу.

— Иван! — позвал он наконец сына тем се-

рьезным, сосредоточенным и даже отчасти строгим тоном, который мог предвещать какое-то решительное объяснение. — Иван! Поди сюда!.. Сядь поближе — мне надо поговорить с тобой.

Вересов приблизился к Морденке, ощущая в душе тревожное волнение несколько болезненного, сжимающего в груди ожидания.

Старик, отчасти тоскливо и не без тревоги, собрался с мыслями и начал слабым, обессиленным голосом, которому, однако же, старался придать всю возможную теперь твердость и решительность.

— Видно, мне уж недолго осталось, — начал он со вздохом, — чувствую я это... совсем уже слаб и недужен — что ни час, то все тяжелее да хуже становится... Ох!.. Видно, Вседержитель к себе призывает... Ты один останешься после меня, один, голубчик... Один на всем свете... сиротой. Я был горд и злобен... много согрешил против тебя... Ну, покаянием очищуся, да и ты... ведь простил меня!.. Но — видит Бог — теперь я люблю тебя... Я и прежде, может, любил тебя, да вот — видишь ли... было такое дело... Ох, и сказать-то как —

не знаю... Врагов я, Ваня, имею, заклятых врагов; они меня злобили, а я... подчас неразумно эдак-то на тебе вымещал всю злобу мою. Ну, что ж делать! Каюсь! Слаб и греховен... Сердца своего сдержать не умел... И по гроб жизни не сумею, не могу я этого... Ты, голубчик, может, и не понимаешь, а оно так. Ну вот, видишь ли, остается после меня много всякого добра... всякого — и денег, и вещей... Все тебе оставлю, никому, кроме тебя; только... только есть у меня векселя одни — они уже представлены ко взысканию, на сто двадцать пять тысяч серебром... Эти векселя на имя князей Шадурских... Слышишь ли — *Шадурских!* Это враги мои, заклятые враги и в сей, и в будущей жизни... Они и твои враги... Они нам много-много, Ваня, зла понаделали... Я не могу простить им; не прощай и ты! Это тебе мой последний отцовский завет!.. Помни!.. И Боже тебя избави простить им! Прокляну!.. В гробу прокляну!.. Кости мои перевернутся! Слышишь ли?

И, говоря это, воодушевившийся и дрожащий старик строго стучал своим пальцем об ручку кресла, и резко сухой, костистый звук

его пальца каким-то беспощадным, гробовым молотком отдавался в душе Вересова, который внимательно и кручинно выслушивал теперь его прерывающиеся речи, в тяжелом волнении потупив голову.

— Боже тебя избави прекратить мой иск! — тем же строгим, внушительным тоном продолжал Морденко. — Ты доведешь дело до конца!.. Коли в тюрьму сядут — не выпускай! Не сжалься, гляди! Они постараются обойти да оплести тебя, а ты — простая душа — пожалуй, и поддашься. Боже тебя сохрани от этого! Боже сохрани! Плати за них до конца кормовые деньги, сгной их в тюрьме, а не выпускай!.. Я тебе с тем только и все добро мое оставляю... Только с этим условием... Слышишь?..

— Что ж они вам сделали? — тихо и несмело спросил Вересов под гнетом своего тяжелого волнения, которое еще значительно усилили последние речи Морденки.

— Что сделали?! — сверкнул глазами Осип Захарович и, поднявшись с кресла, выпрямился во весь рост. — Что сделали?! Зверя из человека сделали! Чести нас лишили, всего

лишили! Вся жизнь из-за них прахом пошла!.. Из-за них что я одних проклятий да слез людских на свою голову принял! Из-за них я грешником великим перед Богом стал, кровопийцем человеческим! Из-за них! Все из-за них!.. Ненавидь же и ты их, все равно как я вот ненавижу... Верно, уж хорошо нам от них пришлось, коли и перед смертью не прощаю! Ты думаешь, я и всю жизнь такой вот был?.. — продолжал он. — Нет, Ваня, я добрый был... я, может, хорошим человеком был бы, кабы не они... Молод был тоже когда-то... Надежды свои были, мечтанья разные... Полагал тоже честным порядком жизнь свою устроить, а они всего этого лишили меня, зверя сделали, Авеля в Каина переродили. Вот они что!.. Так им и простить все это?.. Так и простить?!. Нет, Боже тебя избави! Боже избави!

Ослабевший старик почти повалился на кресло и через несколько времени с усилием протянул к Вересову руку, слабо, но решительно, спросив его:

— Обещаешь ли ты мне?

Вересов сидел в глубоком раздумье, не подымая головы. Он видел, что старику слиш-

ком больно и тяжело говорить об этом предмете, для того чтобы заставлять его входить в новые подробности, и в то же время чувствовал, что если уж в душе человека, даже и в предсмертные минуты, возможно присутствие подобной ненависти, то, верно, уж эта ненависть глубоко небеспричинна и имеет самые законные права на свое существование. Слова старика почти ничего не пояснили ему в этой ненависти и в ее истории, но он живо чуял в них самую глубокую искренность и сознавал, что если так кроваво был оскорблен его отец, заклинавший его об отмщении, то вправе ли был сын отвергнуть его последний завет, его предсмертную просьбу?

Морденко между тем в ожидании ответа с тревожной тоской заметался на кресле. В уме его родилась ужасная мысль: что, если сын не даст ему требуемого обещанья?! В эту минуту он готов был снова возненавидеть его всеми силами своей души — возненавидеть это «барское отродье».

— Иван... Не томи меня!.. Отвечай скорее: да или нет? — строго и тоскливо продолжал он, не отымая выжидательно протянутой ру-

ки: — Ох, да дай же ты мне хоть умереть спокойно!

Вересов решительно поднял голову, твердо промолвил «да!» и крепко пожал отцовскую руку.

— Поклянися мне, — быстро заговорил старик. — Образ сними со стены!.. Или нет!.. Постой... вот крест мой — поцелуй его, тогда поверю... тогда успокоюсь я.

И он трепетной рукой вынул из-за пазухи нательный крестик и в самом томительном ожидании, трижды перекрестясь, поднес его к губам Вересова.

Этот наклонился и благоговейно поцеловал отцовскую святыню.

Морденко крепко прижал к груди своего сына, на лоб которого горячо капнули две его крупные слезы, и, долгим поцелуем прильнув к этому лбу, проговорил наконец с радостным и облегченным вздохом:

— Спасибо, Ваня!.. милый!.. Теперь я умру спокойно... Господи, благослови тебя!

XXX
СМЕРТЬ МОРДЕНКИ

В тот же день вечером пришли: следственный пристав, священник и майор Спица — Петр Кузьмич, тот самый, который брал к себе на воспитание сбродных детей, отдавая их напрокат нищей братии и у которого, между прочим, во время оно воспитывался и Иван Вересов. За священником, который был духовником Морденки, и за Спицей, которого Морденко считал единственным своим добрым знакомым, посылал он сегодня свою Христину. При этих свидетелях было составлено, подписано и скреплено свидетельским рукоприкладством духовное завещание Морденки.

Вересову все это казалось какою-то болезненной грезой, бредом или сонным кошмаром. Какие быстрые, какие резкие переходы! То он — нелюбимый, отверженный сын, обвиняемый в преступлении тюремный арестант, бездомник голодный, вор от голоду; то вдруг

льется на него щедрый поток отцовской ласки, той ласки, которой столь долго алкала его сиротствовавшая душа, но о которой он и мечтать-то не осмеливался, а теперь она есть и вся безраздельно принадлежит ему. Вчера еще нищий, вчера еще и голод и холод, сегодня в тепле и в холе и накануне получения огромного богатства. Вчера — эта страшная ночь в пустой барке, рядом со щенною сукой, и эта ужасная ночь в Малиннике; сегодня странная клятва, вынужденная умирающим отцом. Отвержение и ласка, ненависть и любовь, бесприютное нищенство и огромное богатство — и все это так странно, так быстро и неожиданно смененное одно другим, смененное в ту самую минуту, когда он как благодатного и единственного спасения искал для себя тюрьмы, — все это могло показаться ему каким-то невероятным фантастическим сном. Но не было в душе его места скрытной радости, затаенному ликованию; Вересов, напротив того, был только грустно-спокоен.

«Богатство, — думал он, — богатство... На что мне оно?.. Что же я стану делать с ним — один-одинехонек на свете... Один, совсем

один!.. Отец умирает... Мать — где она, эта мать? Кто она? Никогда ни единого слова про нее не сказано!.. ни брата, ни сестры, ни близкого родного человека, кроме отца, да и тот умирает!.. И тот на минуту лишь был мне отцом... любить некого!.. Кого мне любить!..»

Но в душе его смутно мелькнул при этом чистый образ девушки, которая молилась и плакала... так горько и горячо молилась и плакала в большом и сумрачном храме, опустив на колени свои бледные, тонкие руки; образ девушки, с отвращением, но так великодушно давшей свой чистый, святой поцелуй этому грязному и пьяному вору — среди безобразной малинникской оргии.

И сердце молодого человека тихо заныло и сжалось кручинным, но сладостным трепетом.

«Кто она и где-то она теперь? — думалось Вересову, меж тем как в воображении смутно проносился этот образ. — Неужели же так мы и затерялись друг для друга навеки? Неужели нам не суждено еще встретиться?.. Бедная! Что-то с нею делается?.. Сама, сама гибнет, а меня два раза спасла... два раза... Не будь ее,

не было бы и меня теперь, или, может быть, был бы вор, убийца, преступник... Нет, я не дам ей погибнуть — я отыщу, я найду ее!.. Теперь за мной очередь спасти ее... А как знать: может быть, и для меня еще будет когда-нибудь тихое, хорошее счастье».

Все эти контрасты и думы вставали в голове молодого человека, когда он печально и чутко проводил бессонную ночь над изголовьем старика Морденки.

А старику Морденке стало очень и очень уж плохо. Этот железный и энергический характер выдержал себя до конца. Как ни донимали его слабость и болезнь, однако он все ж таки собирал всю волю, все усилия, чтобы бодриться и перемогать себя до той минуты, в которую покончил все свои расчеты и распоряжения. Теперь уже он знал, что сын при нем, что последние мгновения его жизни не будут черство и холодно одиноки, что закроет ему глаза все ж таки родная рука; теперь он знал, что самая заветная мысль и желание его обеспечены: с сына взята клятва, завещание написано и оформлено, духовник исповедал и причастил его, былые прегрешения ис-

куплены этой последней исповедью и теми вкладами на монастыри и даяниями на сирых и вдовиц, ради вечного поминовения души раба Божия Иосифа. Исполнено все, что повелевали исполнить совесть и неугомонная ненависть — стало быть, можно умереть спокойно.

Он крепился до той самой минуты, пока сознание не сказало ему: «Ну, теперь уже все сделано!» И вместе с этим сознанием перемогавший себя организм ослабел уже окончательно. И тем сильней, тем прогрессивнее шло теперь это общее расслабление и хворость, чем напряженнее и энергичнее были все предшествовавшие раздражения.

У старика открылась сильнейшая, беспощадная нервная горячка.

Он впал в беспамятство и пластом лежал на своей постели, а воспаленную голову его безобразно и беспорядочно посещали разные видения, сменяясь одни другими, и больной широко раскрывал свои безжизненные глаза и бредил.

Вересов послал за доктором. Доктор явился, осмотрел больного и только пожал плеча-

ми, выражая этим полную бесполезность какой бы то ни было помощи. Медицине тут уже ничего не оставалось делать: нервная горячка в изнуренном, дряхлом организме быстро развилась до крайних своих пределов. Это была жертва, уже обреченная верной могиле.

Морденко лежал тихо, с трудом дыша хриплым, перерывчатым дыханием. То вдруг начинал страшно стонать, когда его воспаленную голову пугало какое-нибудь ужасное виденье, то вдруг хохот раздавался среди ночной тишины:

— Хе-хе, хе-хе-е!.. Ваше сиятельство! — бормотал старик, искривляя лицо свое злорадной гримасой. — Что, взяли? Хе-хе-е!.. Вот-те и «мерзавец»!.. Боже тебя избави!.. Боже избави!.. Будь ты проклят! Проклят! Проклят!.. Образ сними! Образ сними!.. «Мерзавец»... Хлясть!.. Хлясть!.. Вон, животное!.. Хе-хе, хе-хе-е!.. Ныне отпущаеши... Ныне...

Все эти отрывочные, бессвязные слова наводили ужас на Вересова и мутили тоской его наболевшую душу.

Так прошло двое суток. Перед рассветом

третьего дня для больного наступил уже период агонии.

Вдруг он с невероятным усилием, на локтях приподнялся на своей подушке, крепко схватил за руку Вересова и устремил на него дикий, ненавистый, трепещущий взгляд.

— Здесь была мать твоя... здесь была она... сейчас... я ее видел, — забормотал он не своим голосом. — Зачем ты впустил ее? Где она?.. Куда ушла она?.. Убей!.. Убей их!.. Всех убей! Слышишь?

И с этим хрипением вместо слов, вырывавшихся из его груди, старик упал на подушку, а через полчаса Вересов уже сидел над его длинным-длинным, вытянувшимся трупом.

«Мать... последнее слово про мою мать было, — думал он, глядя на отца. — Но кто же эта мать моя? Где она — жива ли, умерла ль? И что тут за тайна во всем этом кроется!.. Про кого это он говорит мне: „убей!“ — про нее ли или... Он сказал: *их* — «убей их! всех убей». Кого это *их?*.. Что это, бессмысленный ли, помешанный бред умирающего или все та же старая ненависть?.. И из-за чего, наконец, такая непримиримая ненависть, такая злоба?»

Все эти думы и вопросы копошились в уме молодого человека, который глядел в неподвижное лицо покойника, словно бы хотел допытаться от него последнего ответного слова: но лицо это являло теперь собой какую-то неразрешимую загадку, и Вересову казалось, будто его тайну старик унес вместе с собой, будто вместе с ним и она умерла для него навеки.

«И вот опять один — один на всем Божьем свете! — тоскливо сжималось его сердце. — Уж теперь никого не осталось... Господи! И нужно же было подразнить человека на несколько мгновений отцовской теплой лаской, поманить его бесконечной любовью и вдруг через несколько часов отнять все это снова и безвозвратно!.. Зачем? Затем разве, чтобы теперь еще больнее почувствовать одиночество да холод!.. Экая злая ирония во всем этом кроется!.. Господи! Неужели же это всю жизнь свою придется так-то промаяться — все одному да одному!.. неужели же так-таки уж и ни одной теплой души не встретишь!..»

«Мать!.. О, если бы мне теперь мать!.. Ни-

когда-то я про нее не слыхал ни одного слова!» «*У тебя никогда* не *было матери»,* — вспомнились ему вдруг суровые слова старика из воспоминаний своего бедного детства. «Отчего же у других у всех есть матери?» — *«То другие, а то ты! У других есть, а у тебя не было».* — «Отчего же так?» — *«Молчать!»* — черство звучит в ушах его громкий голос, при воспоминании о котором Вересов даже и в эту минуту вздрогнул и со страхом покосился на мертвеца.

«Мать... О да! Если бы мне теперь мою мать!.. Если бы только знал, кто она, где она, я бы любил ее, я бы все ей отдал — всю жизнь свою! Всю жизнь за ласковое слово, за теплый взгляд!»

Горе человеку, не знающему женской хорошей любви, но бесконечно горшее горе — никогда не знавшему материнской ласки.

Вересова начинало невыносимо угнетать его круглое сиротство, его замкнутое в самом себе одиночество.

Он мог еще кое-как переносить его до той минуты, пока первый раз в своей жизни не узнал, что такое искреннее отцовское чув-

ство. Но отведав его столь мало и оставшись опять сиротой, он уже чувствовал нравственный голод и жажду по нем; оно раздразнило его, так что теперь уже для него сделалось неодолимой потребностью родное, теплое сочувствие, близкая, родная душа, с которой он мог бы отдохнуть и приютиться под ее любящей сенью, уйти, укрыться в нее от своего одиночества и сурового холода жизни.

И этой души у него не было, и тем-то сильнее он алкал ее.

Правда, мелькал перед ним в каком-то призрачно-туманном отдалении образ молящейся девушки, но это покамест еще было нечто далекое, нечто призрачное, скорее мечта и греза, чем действительность; а душа его меж тем требовала для себя более законного и родного — требовала матери.

Он снова пристально взглянул в лицо покойника, и вдруг по членам его пробежал невольный трепет: из-под полуоткрытых век старика безжизненно глядели на него два тусклых, мертвых глаза.

Вересову почему-то сделалось страшно. Несмелой рукой он попытался было смежить

эти веки, преодолевая в себе свое невольное чувство; но едва лишь его пальцы успевали закрыть их, как они снова тихо приподнимались одна за другой. Труп не успел еще охладеть мертвой окоченелостью.

Поддавшись раз этому ощущению инстинктивного страха жизни к смерти, молодой человек почувствовал и неприятный холод легкого ужаса, и некоторую боязнь оставаться долее один на один с этим тускло глядящим мертвецом. Он разбудил и позвал к себе Христину.

Старая чухонка с тупым недоумением поглядела на покойника, на его глаза и, сама смежив еще раз его веки, положила на каждую из них по медной тяжелой гривне и оставила их таким образом на лице старика, чтобы они своей тяжестью придерживали веки в их закрытом положении, пока уже окончательно не захолонет труп.

— Это нехорошо... Ох, как нехорошо! — со вздохом прошептала она, покачав головой.

— Что нехорошо? — безразлично спросил ее Вересов.

— А что глаза-то у него смотрели... Это, го-

ворят, он высматривал, кого бы взять за собой... Беспременно кто-нибудь да еще умрет, из родных умрет... Это нехорошо. Примета такая.

Вересов улыбнулся какой-то странной улыбкой и покосился на Морденку.

Тот лежал так же неподвижно-покойно, как и за минуту, только лицо его приняло теперь неприятный и странный вид: эти две медные гривны глядели, словно два глаза — большие, черные и круглые.

Христина с головой покрыла весь труп чистой простыней и, опустясь перед ним на колени и сложив пальцы рук своих, забормотала по-своему какую-то молитву.

Это происходило на рассвете, а утром, около девяти часов, уже успели явиться в квартиру Морденки двое гробовщиков, которые словно каким-то собачьим нюхом всегда чуют покойника — подходящий для себя товар. Они сняли с него мерку для гроба, сторговались относительно всех траурных принадлежностей и в заключение прислали двух каких-то баб — творить обряд обмывания — да старика-читальщика в длиннополом сюрту-

ке, с круглыми совиными очками в медной оправе и с закапанной воском тяжелой Псалтирью.

XXXI
ПЕРЕД ГРОБОМ

На другой день, часу в седьмом вечера, по двору загромыхала карета и остановилась у лестницы, по которой обитал покойный ростовщик. Но Вересов нимало не обратил внимания на ее стук, потому что он слишком глубоко погрузился все в одни и те же неотступные думы и сидел в каком-то одурманенном забытье, под монотонный голос псаломщика.

— Вам, верно, насчет закладов? Не принимает... Совсем уж нынче не принимает больше, — послышался в прихожей глуповато-грустный голос Христины, отворившей кому-то входную дверь.

Но в эту самую минуту Иван Вересов был неожиданно поражен появлением лица, совершенно ему неизвестного.

В комнату вошла высокая и необыкновенно элегантная дама, казавшаяся несколько

моложе своих преклонных лет и одетая с большим вкусом в черное шелковое платье.

Это была княгиня Татьяна Львовна Шадурская.

Она вошла и, отступив назад, остановилась в дверях, испуганно пораженная неожиданностью картины, представшей ее взорам.

В комнате господствовал неприятно смешанный запах: припахивало ладаном, квартирной сыростью, трупом и свежим сосновым гробом. Сопровождаемая до порога Хлебонасущенским, который возвратился домой ожидать ее, княгиня не могла заметить в темных сенях гробовую крышку, прислоненную в самый темный угол, и потому все, что увидела она здесь, представилось для нее внезапно и неожиданно.

Окна, вместо стор, были завешаны белыми простынями, и вся мебель, за исключением двух стульев, вынесена; даже красно-зеленый друг покойника принужден был удалиться в смежный покой, где все время оставался во тьме, ибо клетка его весьма тщательно завесилась покрывалом, дабы он не кричал и не болтал, по обыкновению, раздражаемый

дневным светом, что было бы вполне неприлично при современных обстоятельствах. Тем не менее красно-зеленый друг, прислушиваясь все время к совершенно новым для него монотонно-тягучим звукам псаломщика, не утерпел, чтобы раза два не крикнуть из своего темного заточения: «Разорились мы с тобой, Морденко! Вконец разорились!»

Посредине пустой комнаты наискось возвышался тремя ступенями черный катафалк, а на нем бархатный темно-фиолетовый гроб с золотыми кистями и позументами, пышно покрытый блестящим парчовым покровом, который широкими складками обильно спускался до полу. Четыре восковые свечи в высоких повитых крепом подсвечниках заливали всю комнату потоками мутно-красноватого света и, пуская вверх к потолку тонкие струи черной копоти, щедро озаряли изжелта-восковое, иссохшее лицо покойника, с его глубоко запавшими глазами, с сурово вытянутым заостренным носом и торчащей белой щетинкой на негладко выбритом остром подбородке и над вдавленно-сжатой почернелой губой. На разглаженном смертью челе его неровно

скользил и лоснился блеск этого мутно-красноватого света. А там, несколько дальше, виднеются из-за него круглые совиные очки на совершенно апатической, бесстрастной физиономии старика-читальщика — мерно и глухо звучит по душной комнате его тягучий голос; а еще дальше, в углу — молодой человек, в немой и неподвижной тоске опустившийся на стул, облокотясь рукой на его спинку и бессильно сложив на нее свою отяжелевшую голову.

Вот что увидела княгиня, когда, внезапно войдя в эту комнату, вдруг подалась назад и неподвижно остановилась под неожиданным и сильно бьющим впечатлением. То ли надеялась она встретить!..

«Это *он*! — мгновенно сверкнуло в ее сознании при первом взгляде на непокрытое еще кисеей лицо покойника. — Он умер, значит, есть надежда: иск приостановится». И нельзя сказать, чтобы эта сверкнувшая мысль была для нее неприятна. Но, успокоившись в главной своей заботе, княгиня все еще оставалась в тяжкой нерешительности: «Уйти ли тотчас или остаться немного?.. Уйти —

неловко... Здесь все же есть люди, надобно остаться».

Перед ней лежал труп человека, бывшего когда-то ей очень близким: она все же, насколько могла и умела, любила его, и он ее любил когда-то. Он даже в то время был ведь единственным существом, оказавшим ей, оскорбленной и покинутой мужем, свое простое, искреннее сочувствие. Княгиня вспомнила это. Плавно шурша и свистя шлейфом своего шелкового платья, ступила она вперед несколько шагов, тихо опустилась перед катафалком на колени и, поклонясь до земли, около минуты оставалась неподвижной в этом склоненном положении.

Бог весть, что в эти мгновения творилось в душе княгини; но когда поднялась она с колен, троекратно осеняя себя благоговейно медленным крестным знамением, на длинных ресницах ее томных и когда-то столь божественно прекрасных глаз двумя жемчужинами дрожали две крупные слезинки.

Были ль то слезы о своем прошлом или слезы сожаления об этом некогда любимом человеке; сказалось ли в них раскаяние во

многом или материнская дума о сыне — тайном сыне ее и этого покойника, отверженном, затерянном для нее и даже давно позабытом? Бог весть. Но только эти две слезинки сказали собой, что в данную минуту княгиня искренно чувствовала себя и действительно была женщиной — и только женщиной.

Она иногда могла еще быть ею на мгновения, но — только на мгновения, и то лишь под сильным влиянием какого-нибудь неисковерканного, хорошего чувства человеческого.

Вересова очнуло из его забытья это внезапное, странное появление совсем незнакомой ему женщины: оно изумило его и прервало длинную нить кручинных мыслей и того чувства, знакомого лишь со вчерашнего дня, которое так много жаждало близкой и родственно сочувствующей души среди вновь обуявшего неисходного одиночества пустоты и холода. Вместе с изумлением, не успев еще ничего сообразить и не умея дать себе отчета, что это за особа и зачем она здесь, молодой человек почувствовал даже какое-то внутреннее беспокойное волнение. Он под-

нялся со стула и, недоумевая, неподвижно и выжидательно следил глазами за каждым движением этой женщины, которая меж тем, тихо и грустно вздохнув из глубины души, отерла тончайшим и слегка ароматным батистом свои слезы и оглянулась вокруг себя в несколько смущенном затруднении, словно бы искала какого-нибудь исхода из своего положения после молитвы над гробом в совершенно новом и незнакомом для нее месте.

Вересов приблизился к ней почтительно и тихо, но с невольным выражением вопроса в лице.

— Когда он умер? — почти шепотом обратилась к нему Татьяна Львовна.

— Вчера на рассвете, около пятого часа, — столь же тихо ответил молодой человек. — Вы, вероятно, знали покойного? — прибавил он после колебательной минуты молчания.

— Да, я его хорошо знала... когда-то... — тяжело и грустно вздохнула она.

— Извините... Позвольте узнать, с кем я имею честь... — отчасти смущенно пробормотал Вересов, почтительно склоняя корпус.

— Княгиня Шадурская, — было ему спокой-

ным и тихим ответом.

Он слегка вздрогнул и выпрямился, глянув на нее холодно-удивленным и пристальным взглядом, который снова привел ее в смущение.

— Княгиня Шадурская?! — медленно и едва внятно проговорил он.

Та подтвердила легким склонением головы и, в свою очередь пристально, хотя и смущенно взглянув на молодого человека, спросила:

— А вы?

— Я — я сын покойного.

Княгиня глянула еще пристальней и с оттенком какой-то внутренней тревоги.

— Ваше имя? — быстро прошептала она.

— Иван Вересов... Я его сын... побочный, — с некоторым затруднением, но, впрочем, достаточно твердо ответил он и не без внутреннего удивления заметил в тот же миг, как лицо княгини вдруг озарилось каким-то необыкновенным выражением: тут, казалось ему, скрестились между собой и изумление, и испуг, и радость, и даже что-то теплое, какая-то необъяснимая нежность.

Она все так же пристально продолжала вглядываться в его черты.

— А ваша... ваша... мать?.. Разве вы не знаете ее? — чуть слышно и даже с каким-то трепетным замиранием в голосе спросила княгиня, спустя минуту первого волнения и тревоги.

Вересов угрюмо опустился и грустно пожал плечами.

— Не знаю. Я никогда не слыхал про нее ни единого слова: отец скрывал от меня.

На глаза княгини навернулись новые слезы, и в ту же минуту она протянула ему руки свои.

— Мы близки друг другу! — с ясной и нежной улыбкой тихого восторга трепетно прошептали ее губы. — Да, мы близки друг другу... Я... я — ваша мать.

Вересов вздрогнул и невольно отступил назад, ошеломленный звуком этого голоса. В его сердце ударило что-то острое, сильное, роковое, и вся кровь мгновенно прихлынула к груди.

— Я ваша мать! — повторила княгиня тем же тоном, к которому примешалось теперь

несколько смущенной тоскливости при виде этого внезапного движения со стороны молодого человека.

— Мать!.. — воскликнул он, пожирая ее взорами и словно бы еще не веря глазам своим. — Мать... моя... моя мать! — все слабей и слабей обрывался его голос, и вдруг с рыданием он бросился к ее ногам, покрывая слезами и поцелуями эти бледные, трепещущие руки.

И несколько минут кряду, в тишине, залитой мутным светом комнаты, перед высоко стоящим гробом раздавались только восторженные звуки взаимных поцелуев, неудержимые рыдания да безучастно монотонный, старческий голос псаломщика.

XXXII
РАЗЛАД С САМИМ СОБОЙ

Пришли попы и пели панихиду, на которую, как уж это обыкновенно водится в таких случаях, доброхотно пожаловали непрошеные и даже совсем незнакомые две-три соседки, жилицы того же самого дома. И жалуют они обыкновенно не столько ради молитвы по усопшем, сколько ради новой темы для разговоров да воздыхательных сердобольствий и философских размышлений, вроде того, что «вот жисть-то наша!.. жил-жил человек, да и помер, и все-то помрем тоже, все там будем». Эти обиходные особы обыкновенно никак не могут удержаться, чтобы не бухнуть на колени, с земными поклонами, и не источить нескольких слез, когда запоют «со святыми упокой»: от этого уж они никак не воздержут себя — «потому, очинно уж жалостливо и даже, можно сказать, в большую очинно чувствительность возводит».

Княгиня Шадурская тоже выстояла панихиду рядом с Вересовым и после того пробы-

ла еще около часу. Они удалились вдвоем в смежную горницу. Татьяна Львовна с грустным любопытством оглядывала жилище покойника и всю его убогую обстановку. Около часу длилось их свидание, наполняемое ежеминутными ласками матери и расспросами про покойного да про житье-бытье Вересова, и в этих ласках, и в этих расспросах сказывалось столько участия к нему, столько материнской любви и радости при виде найденного сына, что тот почувствовал в себе возможность безграничной сыновней любви к этой женщине. В ней он нашел то, чего искал и чего так алкала сиротствующая душа его, — нашел мать, которая с первой минуты оказала себя *матерью,* доброй, нежной, любящей, тогда как отец только в последние часы стал для него отцом, будучи до этого всю свою жизнь одним лишь суровым, черствым деспотом, доводившим свою сухость в отношении сына даже до какой-то холодной ненависти. И этот разительный контраст невольно, сам собой пришел теперь в голову молодому человеку.

— И он никогда, ни полуслова не говорил

тебе про меня? — молвила Татьяна Львовна.

— Никогда. Если я его спрашивал, так он приходил даже в ярость какую-то.

— Боже мой! Боже мой!.. Какая ненависть! — со скорбью прошептала она. — И за что?.. Чем я тут была виновата? Я, которая любила его?.. И вдруг скрыть от сына, что у него даже была когда-либо мать... поселять в нем ненависть...

— Он ненавидел весь род Шадурских, — отозвался Вересов, — он ненавидел все, что могло лишь напоминать это имя.

— За что? — с жаром перебила княгиня.

— Не знаю. Перед смертью он как-то глухо отзывался об этом. Говорил, что князья Шадурские лишили нас чести, что все невзгоды его из-за них пошли! Да!.. И он... он завещал мне... отомстить... Он взял с меня клятву.

Молодому человеку было жестоко-трудно произнести эти слова. Тайный внутренний голос говорил ему, что уже самое свидание его с этой женщиной есть нарушение клятвы, данной умирающему отцу, которого даже труп еще не зарыт в землю; но в то же время он столь неожиданно нашел свою мать, и к

этой матери порывисто кинуло его самое святое чувство. Мог ли он ее ненавидеть, когда его так и тянуло облегчить на ее груди свою наболевшую душу, когда ее ласки и участие так тихо, любовно глядели, и исцеляли, и освежали его?.. Он чувствовал, что тут уже нет сил не преступить данную клятву, и эта разрозненная двойственность чувств и помыслов в эту минуту была для него невыносимо мучительна, ставя человека в невозможное положение.

— Клятву!.. Отомстить! — в ужасе проговорила княгиня, широко раскрыв свои большие глаза. — Отомстить... Чтобы сын мстил родной матери... Боже!.. Нет, это невозможно!..

Вересов понуро сидел, закрыв лицо руками, облокоченными на колени. Он много страдал в эту минуту.

— А! Я знаю, какая это месть, — продолжала Татьяна Львовна. — Это все дело о наших векселях...

— Да, тут есть какие-то векселя... Но что это за дело, я еще не знаю... Мне не до того теперь было!.. Я ничего не знаю! — с нервным нетерпением заговорил Вересов. — После... в

другой раз мы будем говорить об этом... Только не теперь... Теперь мне так тяжело, так тяжело... Господи!

И он опять в отчаянном изнеможении опустил на руки свою голову.

— Бедное, бедное дитя мое! — с грустным чувством прижала княгиня эту голову к своей взволнованной груди и надолго осталась в таком безмолвном положении.

Кукушка прохрипела восемь. Татьяна Львовна поднялась и вместе с сыном вышла в комнату, где стоял покойник. Поклонясь еще раз телу, она медленно поднялась на высокие ступени катафалка и остановилась, глядя на строгий лик усопшего. Потом нагнулась к его лбу — и живые, теплые губы ее ощутили неприятный, мертвенный холод прикосновения к трупу. По членам ее пробежала нервная дрожь, и, вся в каком-то экзальтированном напряжении, с глазами, полными слез, княгиня обернулась к Вересову, не сходя со ступень катафалка.

— Видит Бог, виновата ли я! — сказала она полным голосом, в котором дрожало рыдание. — Он ненавидел меня... Напрасно!.. Он

мог ненавидеть моего мужа — да! Но... не меня... Я не хотела зла ему. Прости его Бог за это!

И, произнося эти слова, княгиня по-своему была искренна и права: она действительно оставалась глубоко убеждена, что лично не причинила никакого зла Морденке и не желала зла ему. Когда-то она любила его, до известного столкновения с мужем; быть может, и продолжала бы любить дольше, если бы он иначе сумел поставить себя в этом столкновении, если бы он явил себя достойным ее любви и если бы его униженно-трусливое поведение не вызвало в ней разом презрительного сожаления и горького разочарования в том человеке, которого она, совершенно призрачно, мечтала «возвысить до себя», а он вдруг оказался смиренным холопом и трусом, вместо того чтобы гордо и смело, один на один, в тот же миг защитить своею грудью, своею силой и ее, и собственное чувство. Так думала и тогда, и теперь княгиня Татьяна Львовна и, сообразно со своим социальным положением в свете, находила себя исполнившей до конца свой долг относительно этого человека, тайно послав ему значительную сумму на воспита-

ние их общего сына, на которого она считала себя лишенною иных, более законных прав, потому что, сообразно условиям своей жизни и положения, не могла явно признать его своим ребенком.

Вересов, простясь до завтрашнего утра, проводил ее до кареты и с почтительной сыновней любовью в последний раз поцеловал ее руку.

Он был как-то мучительно и тоскливо счастлив, и тем-то тяжелее становилось ему после этих проводов вернуться к мертвому отцу и снова оставаться одному с этим покойником. Внутренний голос нашептывал ему, что он виноват перед ним, что он не исполнил его единственного завета, о котором тот так страшно и тоскливо молил и заклинал его перед смертью. «Будь проклят, если ты простишь им!» — зловеще отдавался теперь в его сердце этот хриплый, надорванный голос, и Вересов как будто чувствовал уже над собой тяготение отцовского проклятия: ему тяжело и трудно было дышать и страшно взглянуть на гроб и на резко выдающийся из него мертвый профиль лица; как будто со всех сторон

его давили и душили весь этот воздух, низкий потолок, и голые стены, и самое чтение Псалтири, как будто все это злобно-сурово смеялось над ним, корило и проклинало.

И в то же самое время в груди его дрожало сознание такого счастия, такой радости при одной мысли, что у него есть теперь мать, есть дружеское, любящее сердце, о которых он и мечтать-то не осмеливался. И в течение стольких лет самая легкая мысль о матери встречала гнет со стороны отца, который безжалостно давил всякое ее проявление. «Он скрывал и прятал ее от меня, — думал Вересов, — он хотел, чтобы мы не знали и ненавидели друг друга; а когда умер — скрывать уже для него было невозможно: она сама первая пришла сюда, и она ни в чем не виновата пред ним — разве этого не видно было из ее слов? Разве она не сказала этих слов над гробом? А он... он так ненавидел ее... За что же? За что же все это?» И ему горько и больно становилось на душе за эту женщину, которая, по его мнению, столь неправо была оскорблена покойником. «Он и меня ненавидел, да, ненавидел, потому только, что я ее сын, —

продолжал думать Вересов. — Кто же прав, кто виноват из них? И не жестоко ли он заблуждался всю свою жизнь? Не было ли, наконец, это своего рода помешательство? Ведь он, надо сознаться, иной раз сильно-таки походил на помешанного. Может быть, все это только ему грезилось и больная фантазия создала всю эту непримиримую ненависть? Нет, *она* ведь, впрочем, сказала, что мужа ее он мог ненавидеть, но не ее; значит, причина ненависти есть. Я узнаю ее. Но кто же прав и кто виноват из них?» — задавал он вопросы своему сердцу, и сердце невольно склонялось к оправданию матери, к оправданию той, которая с первого разу явила себя такой доброй, сочувственной, тогда как другой и умирал-то в бреду, с проклятием, да и всю жизнь свою преследовал и ненавидел единственного сына.

Вересов был счастлив и несчастлив в одно и то же время. Теперь уж он не чувствовал себя таким одиноким сиротою; сердце его было полно любовью, но в этом же самом сердце неумолчно раздавался голос: «Будь проклят». И эта двойственность мысли и чувства разди-

рала ему душу.

И вот черной тучей наплыло на него новое сомнение.

«Что именно так внезапно убедило отца в моей невинности? Отчего он вдруг перестал думать, что я покушался на его жизнь, когда еще несколько дней назад так упорно стоял на противном? Точно ли он почувствовал угрызение совести против меня? Точно ли он раскаялся, не было ли тут чего-нибудь другого, какой-нибудь посторонней цели?

Быть может, он почувствовал, что смерть уж близка, а он еще не отомстил? Не меня ли он хотел сделать продолжателем своего мщения и не для этого ли только он примирился со мною? Да! Это так, это правда! Он ведь сказал мне: «Я тебе оставлю все, но только ты должен мстить». С тем только и наследником своим сделал, для того и клятву с меня взял, для того и скрывал имя моей матери. Теперь я все понимаю: он никогда не любил меня, а понадобился ему я только по необходимости. Может быть, он думал, что мщение его будет вдвое горше, если *сын* станет мстить родной *матери?* Он обманул меня. Какая ужасная

мысль! Господи! Да нет, этого быть не может!.. Я, наконец, с ума схожу... Что это со мной?!»

И он в отчаянии схватился обеими руками за свою голову. Оставаться долее в этой комнате и в этой атмосфере было невозможно: Вересов чувствовал, как будто ему не хватает воздуха для дыхания, как будто с каждым глотком его становится все меньше, а голова горит, и кровь приливает к вискам, и в глазах все как-то мешается и тускнеет, все предметы начинают терять свои естественные очертания и сливаются в какие-то неопределенные глыбы; даже самая эта комната, несмотря на яркое свое освещение, все более и более становится какою-то тусклою — словно бы уходит от него куда-то вдаль... Еще несколько минут подобного состояния, и Вересов наверное упал бы в обморок; но тут он решился наконец преодолеть себя и, быстро одевшись, вышел на улицу.

Свежий воздух подействовал успокоительно, однако же далеко не рассеял всех этих дум и двойственности ощущений.

XXXIII
МЫШЕЛОВКА СТРОИТСЯ

Княгиня уехала сильно взволнованная.

Печальная необходимость побудила ее предпринять личное свидание с Морденкой, и это уже было самым последним, решительным средством для поддержки своего светского положения. Хлебонасущенский, надо отдать ему справедливость, «подмазывал», насколько хватало средств (а он на «собственные» средства ради чужого дела был-таки тугонек), «подмазывал» во всех скрипучих местах, для того чтобы иску Морденки возможно большее время не было дано никакого ходу. Но успеху его подмазываний вредили два обстоятельства: личная и притом давнишняя вражда его с главным «делягой» — секретарем, от которого первее всего зависело дать иску немедленный ход или спустить его на проволочки. Это было одно обстоятельство из числа скверных; а второе заключалось в том, что Морденко, предвидя подмазывания Хлебонасущенского, не поскупился и со своей

стороны на таковые ввиду самой крайней необходимости упрятать поскорее Шадурских; и подмазывания старого скряги были несравненно гуще, особенно же щедро смазал он «делягу», коему даже специально поручил ведение иска, за что и была между ними письменно обусловлена известная процентная плата. Вследствие таких обстоятельств дело, уж без малейших оттяжек и проволочек, было весьма быстро двинуто вперед. А тут еще опекунский совет со своими процентами — того и гляди, на всю недвижимость опеку наложат; словом сказать, положение выходило до крайности скверное. Хлебонасущенский, видя, что дело совсем не клеится, опустил крылья и стал заботиться о княжеских интересах только на словах, при разговоре с ними, а на деле предпочел заняться интересами исключительно своими, личными. Княгиня решила ехать к Морденке, просить, умолять его и — сказать ли уж всю правду? — рассчитывала даже употребить в дело некоторое кокетство — последние осенние цветы своего увядания... Она думала, что ведь любил же ее Морденко, так — почему знать? —

быть может, слезами, просьбами, напоминанием былой любви она и успеет расшевелить в нем если не искорку, то хотя бы теплое воспоминание былого чувства. Она думала оправдаться перед ним, даже изобрела в уме своем весьма удачный, по ее мнению, план оправдания, изобрела целую подходящую историю — и все это ради умягчения сердца старого скряги. Но княгиня совсем-таки не имела ни малейшего понятия о том, что такое Осип Захарович Морденко. Между прошлым и настоящим недаром протекли двадцать два года расстояния.

Так или иначе, Татьяна Львовна надеялась на некоторый успех, и вдруг вместо живого Морденки застала только труп его. Хотя этот труп уже сам по себе давал надежды ей на приостановку иска, однако же самая смерть весьма сильно поразила ее своей неожиданностью и особенно внезапностью мрачно-печального зрелища. Княгиня, забыв все остальное, отдалась этому впечатлению, и на некоторое время сила впечатления заставила ее сделаться исключительно женщиной. Точно так же матерью и женщиной была она и во

все время свидания с Вересовым, чему помогло все то же самое впечатление, от которого она не могла освободиться весь вечер и всю ночь.

Успокоенная в главном своем опасении и заботе насчет иска, которые доселе пересиливали в ней все остальное, она могла устранить от себя эту докучную мысль и тем цельнее отдаться своим новым впечатлениям и чувствам. Нервы ее были сильно раздражены и расстроены, так что домой приехала она почти больная.

— Ну что? — с нетерпеливым любопытством встретил ее Полиевкт Харлампиевич по возвращении.

— Он умер, — безразлично ответила княгиня, проходя на свою половину.

— Умер?!!

И фигура Полиевкта весьма наглядно изобразила собою знак удивления, пришибленный сверху знаком вопросительным.

— Умер?!! Морденко умер?!! Что за дьявольщина!.. Как? Когда? Почему умер? — бормотал он сам с собою, хлопая глазами и поводя нюхающим носом, словно бы хотел допро-

ситься ответа у княжеских стен и мебели. — Вот уж именно не весте ни дня ни часу... Фю-фю-фю-ю!.. Так-с! Что же теперь будет?

И для вящего прояснения сообразительности, равно как и всех мыслительных способностей, отправил в нос большую понюшку французского табаку и, заложив руки в карманы брюк, неторопливо прошелся по комнате.

— Что ж это ее-то сиятельство удалилась? Странно, право!.. Тут надо обсудить да поразмыслить, а они — в будуар... Чудны бо суть дела Твоя! — раздумывал, ходючи, Хлебонасущенский. — А ведь это, пожалуй, хорошо, что умер, а буде нет законных наследников, то и прекрасно... Тэк-с!.. И прекрасно!.. Дела-то, значит, могут еще взять благоприятный оборот; надо, стало быть, опять погорячее приняться, нечего сидеть спустя рукавишки! Эдак ведь чем черт-то не шутит? А тут, ежели опять для их сиятельств вожделенная теплота потечет, то как бы мне своего не упустить... Можно будет погреться.

И Полиевкт попросил через камеристку немедленного свидания с ее сиятельством, но

ее сиятельство выслала ему сказать, что она расстроена и принять его сегодня не может.

Полиевкт Харлампиевич снова изобразил собою знак удивления, затем досадливо плюнул и удалился восвояси.

Княгиня несколько раз принималась плакать, не то чтобы очень, а так себе, слегка: впечатление от пережитого все еще продолжало быть довольно сильным. Раздевшись, она прошла, по обыкновению, в свою молельную и после молитв вечерних прочитала заупокойные, а к именам близких ей людей, которые имела привычку поминать в своих молитвах, на сей раз сопричла и имя раба Божия Иоанна.

Исполнив этот долг, Татьяна Львовна приняла значительную дозу успокоительных сонных капель и вскоре заснула сном безмятежным, который унес с собой все ее чувства и впечатления, внезапно вызванные нынешним вечером.

Наутро княгиня проснулась уже всегдашнею княгиней, а так как вчерашний день она легла довольно рано, то и пробуждение было

раннее, даже, к удивлению самой себя, довольно бодрое и влекущее к хорошему расположению духа. Поэтому Татьяна Львовна совершенно спокойно принялась с разных сторон обдумывать свое положение в связи со вчерашними приключениями, и это могла она делать тем удобнее, что, не вставая еще с постели, предавалась самому сладкому утреннему far niente[470].

А положение, во всяком случае, стоило того, чтобы о нем подумать, и подумать хорошенько. Смерть Морденки могла на время затянуть иск; но главная суть не в затяжке, а в совершенном прекращении его, в обратном получении всех своих векселей. И это можно обделать теперь весьма удобно. Этот молодой человек остается единственным наследником. От его воли зависит кончить или продолжать дело. Он обязан какой-то нелепой клятвой вести его до конца; но он тогда не подозревал еще, что эта клятва вынуждается у него против родной матери; а раз узнавши это, достанет ли у него духу мстить? И кому же мстить? Той женщине, которая, несмотря на свое общественное положение, *сама* на-

звала ему себя его матерью! И за что мстить? За ее ласку, за ее нежную любовь, которую она показала ему вчера, с первого слова (немножко под влиянием расстроенных нервов и, главное, под необыкновенным впечатлением — позволит себе автор заметить в скобках, уже от себя лично)? И неужели же после того, как этот молодой человек сам показал ей столько порывисто-теплой и почтительной любви, после его слез и душевных излияний у него подымется рука на родную мать, особенно когда он узнает еще целую историю, из которой увидит, что мать его совершенно права и перед ним, и перед отцом, что отец жестоко заблуждался в своей ненависти? Нет, не может этого быть! Положительно не может быть — он никогда не решится на такой варварский, бесчеловечный шаг. А для большего убеждения можно будет как-нибудь предварительно и кстати подать ему мысль, что отец его всю жизнь был не совсем в своем уме, отчасти помешан, так что и сам потом дойдет до мысли, что вынужденная клятва да и вся его месть семейству Шадурских была не что иное, как следствие умопо-

мешательства. А если мать — родная, любящая мать — станет просить, умолять спасти ее, он наверное исполнит. Да нет, он и без этого *сам* возвратит векселя, нужно только продолжать с ним видеться и оставаться столь же нежной и любящей.

Расчет был верен и показывал, насколько спокойная нега утреннего кейфа благотворно действовала на сообразительность опытной и по-своему умной женщины.

А в сущности, что такое был для нее этот Вересов и могла ль она питать к нему какое-нибудь прочное, серьезное чувство, вне расстройства нервов и раздражающих впечатлений? Она, которая в течение двадцати двух лет почти забыла о самом существовании его, не ведая, жив ли он, умер ли; она, едва ли видавшая его одну минуту в ночь появления на свет и только вчерашний день проведшая вместе около полутора часа, — что могла она чувствовать к этому человеку? Что могло быть общего между ними и какие крепкие, неразрывные симпатии могли бы ее приковать к нему?

«Хм... Это мой сын... Я видела вчера своего

сына — как все это странно, однако!.. И неужели это точно мой сын? — думала княгиня, заложив под голову свои алебастрово-бледные, хорошо выточенные руки и слегка улыбаясь самой спокойной, чтоб не сказать равнодушной, улыбкой. — Хм... Да, это мой сын... Иван Вересов... Нет, в самом деле, необыкновенно странный случай... La main de la Providence!.. Oui, c’est la main de la Providence, qui m’indique le chemin du salut!.. [471] А он, кажется, хороший и скромный молодой человек... Чересчур мешковат только... резкость какая-то в нем, — конечно, дурное воспитание виновато... Отец никакого воспитания не дал... Это жаль. А впрочем, в нем нисколько не видна порода... Странно! Положительно нисколько! И это мой сын!.. Верно, весь в отца пошел, а иначе это непонятно. Однако все же таки надо обласкать его...»

Так спокойно думала и мечтала княгиня разные пустяки — доказательство, что все более серьезные вещи и планы были уже обдуманы ею; а между тем часы пробили десять.

«Однако мне надо непременно видеть его сегодня — обещала ведь! — решила Татьяна

Львовна. — Да, этим никак не должно теперь манкировать. Но где его лучше увидеть — дома или на кладбище? Надо бы на кладбище ехать... Это очень неприятно, да нечего делать!»

И по лицу ее пробежала тень неудовольствия: она предвидела новое расстройство нервов от предстоящего зрелища гробов и кладбищенских сцен; но делать нечего: практические соображения и расчеты требуют этой поездки, и княгиня, приказав закладывать карету, поспешно стала одеваться.

Вересов хоронил Морденку вполне прилично и даже с некоторой роскошью: было трое попов с дьяконом и причтом и хор полковых певчих в парадных кафтанах с позументами. Четверка лошадей в новых траурных попонах тащила погребальные дроги, за которыми шел только он да Христина, пожелавшая отдать последний долг бывшему хозяину, а Петр Кузьмич Спица со своей супругой восседал в карете, нарочно нанятой Вересовым ради этого случая. Эти двое провожатых с одинокой каретой позади составляли весь кортеж родных и знакомых, и тем-то стран-

нее кидалась в глаза прохожим некоторая пышность похоронной обстановки при этом скудном числе провожающих.

После благовеста к «достойной» в церкви появилась княгиня Татьяна Львовна в скромном, но очень изящном траурном наряде. Глаза ее были несколько красны — частию от вчерашних слез, а частию от сегодняшнего ветра, залетавшего в открытое окно кареты. Она очень скромно держалась в стороне, у стенки, и часто опускалась на колени, избегая все время взглядов на соседние гробы, чтобы не раздражать себе еще более нервы. Когда началось отпевание, княгиня заранее уже приготовила и вынула из кармана батистовый платок и флакон спирту. Платок очень часто был подносим к глазам, а спирт к кончику носа. Впрочем, от расстройства нервов ей таки не удалось уберечься, потому что, когда под церковными сводами стройно раздались могильно-мрачные аккорды «надгробного рыданья» и «со святыми упокой», Татьяна Львовна не выдержала и тихо, прилично зарыдала: на ее душу хорошие музыкальные вещи всегда производили свое впечатление, а

тут, пожалуй, слезы были и очень кстати, потому что Вересов из них все ж таки легко мог заключить, насколько она любила покойного. Княгиня плакала и в ту минуту, когда приблизилась дать усопшему поцелуй последнего прощания. Впрочем, она только низко наклонилась к венчику, облегавшему поперек его лоб, и сделала вид, будто целует, но, в сущности, не поцеловала, потому что очень помнила вчерашнее ощущение холода, которое и после прикосновения несколько времени оставалось еще на губах ее, да и притом же от мертвого так неприятно несло теперь гнилой мертвечиной, почему и ощущалась для нее самая настоятельная потребность в спиртном флаконе. Но справедливость требует сказать, что роль княгинею была исполнена безукоризненно прекрасно. Она сделала все, что могла сделать — по совести и даже против нее.

Когда гроб понесли к могиле, Вересов почтительно вел ее под руку, а когда земля, от земли взятая, земле предалася, то есть, попросту сказать, когда могилу совсем уже закопали, Татьяна Львовна предложила Вересову до-

везти его домой в своей карете. Он простился со Спицами, поблагодарил их за добрую память о покойнике и поехал вместе с княгиней.

Полдороги было сделано в угрюмом молчании как с той, так и с другой стороны. Молодой человек понуро весь сосредоточился в какой-то тяжелой думе, а княгиня несколько раз украдкой и искоса взглядывала в его лицо, наблюдая за его впечатлениями, пока наконец нежно взяла его небрежно опущенную руку.

— О чем же ты?.. Тебе грустно? — с кротким участием спросила она.

Тот безнадежно как-то махнул рукою.

— Ну, полно! — продолжала Шадурская тоном, исполненным материнской нежности. — От смерти уж не вырвешь... Не воротишь!.. Тяжело тебе, но все же не так, как если бы ты был один, один совершенно! Ты не совсем сирота еще: ведь теперь я с тобою... мать... Мы будем видеться... Да, мой друг? Будем?

Молодой человек, вместо ответных слов, взглянул на нее взором беспредельной восторженной благодарности.

В этих словах для него заключался целый рай света, надежды и сыновней любви. Он чувствовал, как полнее становится его существование.

— Да, мне тяжело! — проговорил он наконец с глубоким вздохом. — Но... надо же ведь говорить правду — с отцом я еще потерял немного: я во всю мою жизнь не видал от него любви; только вот последние дни... да и то, бог весть, любил ли бы он меня, если б остался жив!.. Нет, — продолжал он минуту спустя, — я только вчерашним вечером узнал немного счастия... я узнал, что такое мать...

Княгиня улыбнулась небесной улыбкой и любовно поцеловала в лоб молодого человека.

— Так о чем же, дитя мое, о чем так мрачно задумываться? — нежно утешила она, не выпуская его руки.

— О, задумываться есть о чем! — промолвил он, глубоко потупив взоры. — Меня мучит эта странная клятва, которую он вынудил.

— Боже мой! Но что это за клятва, расскажи ты мне? — горячо подхватила княгиня, и

Вересов подробно рассказал ей все, чему был свидетелем в последние дни Морденки; рассказал ей про свое беспросветное детство, про беспричинное обвинение отца и внезапное примирение, про свою тюрьму и бездомные скитания и, наконец, передал все те чувства и сомнения, которые волновали его со вчерашнего вечера.

Княгиня слушала и по временам утирала набегавшие слезинки. Благо, нервы уж были расстроены, так вызывать эту женскую влагу становилось довольно легко: нужно было только немножко подъяривать себя в этом настроении — и все шло превосходно.

Карета меж тем давно уж подъехала к опустелому жилищу Морденки, и Вересов продолжал свои рассказы, уже сидя с матерью один на один в пропахших ладаном комнатах.

— Боже мой! Как он заблуждался!.. Как он жестоко заблуждался в этой ненависти! — воскликнула, всплеснув руками, княгиня, по выслушании всех вересовских рассказов. — Нет, я должна снять с себя это пятно! — горячо и гордо продолжала она. — Ты мой сын, и я

не хочу, чтобы ты мог хоть одну минуту сомневаться в твоей матери! Я расскажу тебе все — все, как было! Суди, виновата ли я!

И она последовательно принялась повествовать ему историю своего выхода замуж, объяснила, что такое, в сущности, ее муж, князь Шадурский. Потом пошла история ее одиночества, оскорбления и забвения мужем, история ее отверженной им любви и роман с княжной Анной Чечевинской. Вересов внимательно слушал рассказ о похождениях супруга, и его честному сердцу становилось больно, и были гадки, противны ему эти поступки, и чувствовал он к нему злобу и презрение за свою обиженную мать. Потом дошла княгиня и до своего собственного романа с Морденкой, рассказала, что именно влекло ее к нему и что заставило полюбить его; рассказала даже в подробности столкновение с ее мужем, не забыла и двух пощечин — и доселе рассказ ее отличался полной правдивостью, которая потом уже стала мешаться с элементом фантазии, придуманной поутру, ради вящего убеждения Вересова в полной своей невинности относительно Морденки.

Так, например, истинный рассказ о рождении Вересова и об отсылке значительной суммы на его воспитание сопровождался фантазией о том, как княгиня претерпевала тысячи тиранств от своего ужасного мужа, как она хотела разорвать с ним все связи, бросить его и уйти к Морденке, чтобы вместе с ним навсегда удалиться от света, но Морденко, думая, что она столь же виновата в его оскорблении, как и ее муж, не хотел внимать никаким оправданиям и выгнал ее от себя чуть ли не с позором; как она писала к нему множество писем и ни на одно не получила ответа; как она жаждала узнать, где находится ее сын, чтобы взять и воспитывать его самой, но от нее это было скрыто, и вскоре после этого деспот муж насильно увез ее за границу и держал там в течение нескольких лет. А между тем Морденко задумал свое мщение. Рассказ Татьяны Львовны был веден мастерски в его подробностях и обличал в ней большое присутствие такта, своеобразной логики и живого изобретения. Конечно, при этом не было недостатка и в приличном количестве тихих, умеренных слез, так что все это в совокупно-

сти произвело на Вересова достодолжно сильное впечатление. Он теперь глубоко страдал душой за все страдания своей матери, и бог весть, на что бы только не решился ради нее в эту минуту! В то мгновение он любил ее беспредельно.

— Но... как я ни думала обо всем этом, — в заключение пожала плечами Татьяна Львовна, — мне постоянно казалось, что твой отец был немного помешан... Я и прежде, еще до нашего разрыва, замечала в нем иногда кой-какие странные вспышки... Да, он был помешан — иначе я никак не умею объяснить себе эту беспричинную злобу против меня, этот поступок со мной, когда он выгнал меня, когда он скрыл от меня моего ребенка... Да и наконец, его обращение с тобой — что это такое, если не помешательство?!. Бедный он, бедный!.. Как мне жаль его!..

Вересов слушал ее с глубоким, сосредоточенным вниманием. Его необыкновенно поразило совпадение ее мысли о помешательстве Морденки с его собственной вчерашней мыслию; а рассказ о его странных поступках и, наконец, целая жизнь его, во многом отли-

чавшаяся необъяснимой странностью, как нельзя более осязательно подтверждала это предположение. И он высказал это княгине.

Несколько времени после того говорили они все на ту же тему и об этом же предмете, пока наконец не настала минута расставания. Татьяна Львовна обещала приезжать к нему часто, и по преимуществу вечерами, чтобы ему не так тоскливо казалось одиночество в опустелой квартире. Добродушный Вересов был в восторге и не находил слов благодарить ее за такую любовь и участие.

А княгиня села в свою карету, хотя и с расстроенными нервами, но как нельзя более довольная собой: теперь она знала все, что ей нужно было знать для того, чтобы вернее действовать, и уже нимало не сомневалась в совершенном успехе.

И сколько новых блестящих планов и предположений радужно заиграло в ее голове при мысли об уничтожении долгов и восстановленном кредите.

«А право, он очень добрый и милый мальчик, — думала она, подъезжая к своему дому. — Только ужасно невоспитан, так что да-

же отчасти неприятно глядеть на бедняжку... Как это жаль, право!»

Но этим приговором о доброте и невоспитанности только и ограничивались все думы и заботы княгини о ее побочном сыне.

XXXIV
ДЕЛО ДВИНУЛОСЬ

Деляга секретарь, который действовал во вред Хлебонасущенскому, со смертью Морденки очутился в некотором роде на неведомом распутье. В пользу кого станет теперь вести он это дело? Где наследники и подтвердят ли они условие, заключенное с ним покойником? Как вдруг на это распутье появляется Полиевкт Харлампиевич с достодолжной подмазкой, прося о приостановке иска за смертью истца, пока не выяснится, кто суть его прямые наследники. Пришлось ему, конечно, подмазать и другие колеса орудующей сим производством машины, и дело с Божьей помощью застряло в каком-то захолустье, под чьим-то зеленым сукном или в чьем-то портфеле.

Княгиня между тем очень часто, почти через день, посещала Вересова и проводила с ним вечера. Хотя эти посещения, а еще более — беседы, начинали уже сильно утомлять ее, тем не менее нужно было выдерживать роль нежной, любящей матери и друга-утешителя. Другой на месте Вересова, быть может, и заметил бы некоторую искусственность и принужденную натянутость этой роли, которые иногда прорывались-таки местами, но Вересов был слишком добродушно-доверчив и в особенности слишком слепо жаждал любящего материнского сердца, для того чтобы замечать что-либо подобное. Княгиня спросила его однажды, хлопочет ли он об утверждении его в правах наследства. Тот ответил, что не начинал еще да и не знает, как за это приняться. Тогда Татьяна Львовна предложила ему услуги опытного ходатая, который обделает все очень скоро, не вводя Вересова ни в какие хлопоты. Вересов охотно согласился, и Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский весьма энергично принялся обделывать утверждение Вересова.

Недели через четыре оно состоялось благо-

даря его усиленному содействию, по обыкновению не обошедшемуся без достодолжных подмазок — «для наибыстрейшего хода всей механики».

Вересов очутился богачом. Но эта перемена нисколько его не порадовала и не изменила. Время, со смерти отца до настоящей минуты, было для него временем жестокого страдания, от которого забывался он на час, на два тогда лишь, когда приезжала к нему княгиня. Зато каждый раз, с удалением ее, эти муки становились все жутче, еще сильнее: он глубже начинал чувствовать и свою любовь к ней, и свое клятвопреступление перед покойным отцом. Теперь уже он пользовался всеми правами утвержденного наследника — стало быть, нужно было наконец исполнить главную волю отца, и он чувствовал, что нет сил исполнить ее. «Боже мой! неужели, неужели я решусь губить мать свою! И такую-то мать!» — неоднократно задавал он самому себе мучительный вопрос, на который сердце его каждый раз отвечало: «Нет, нет и нет!» А клятва? А предсмертная мольба отца? И на эти возражения, представляемые памятью

недавно прошедшего, не было ответа, но тем-то и хуже, тем-то и невыносимее было для молодого человека. А княгиня Шадурская за все это время хоть бы одно слово, хоть бы какой-нибудь намек ему об этом долге! Она казалась только нежной матерью, она, по-видимому, предала полному прощению и забвению все «несправедливости» Морденки, а об исковом деле даже и не заикалась, словно бы его и не было. Такое поведение с ее стороны еще усиливало тревожное состояние Вересова.

Однажды утром к нему является деляга секретарь и объясняет, что, узнав об утверждении за ним наследства, пришел узнать и о дальнейших намерениях его относительно иска, так как Морденко заключил с ним, делягой, особы условия, коими предоставил право хождения по этому делу, а потому желаю, мол, знать, в каком отношении имею находиться к нему на будущее время?

Это посещение наконец-то очнуло Вересова; он понял, что так или иначе нужно кончить. О деле не было пока еще составлено у него ясного понятия; поэтому прежде всего

захотелось ему узнать, что это за векселя, поскольку их приходится на каждого из Шадурских и на какие суммы. Деляга все это ему обделал и на другое утро сообщил самые обстоятельные сведения, из которых Вересов увидел, что главнейшая часть всего долга падает на долю старого князя.

Деляга меж тем настаивал на решительном ответе.

— Пока еще никакого. Мне надо подумать, — отвечал ему Вересов. — Завтра утром вы узнаете ответ... Во всяком случае, будьте покойны: вы получите за ваши хлопоты.

И это последнее обещание действительно несколько способствовало успокоению деляги.

«Что же мне теперь делать? Что делать мне? — в отчаянии ломая свои руки, ходил молодой человек по комнате когда снова остался один. — Я должен мстить... матери — за что? За то, что она любила моего отца, за то, что меня любит? Я дал клятву... Господи! Да знал ли я, что я делал и против кого давал ее!.. Он от меня скрыл, он не сказал мне всей правды, не сказал, что я должен поклясться

мстить родной матери. Да, да, да! Он обманул меня! Обманул!.. Да если и сам он еще заблуждался? Если он ненавидел мою мать — не ту, которую создала его собственная фантазия, больное, расстроенное воображение?.. Если... если точно он был помешан? А я теперь должен исполнить его больную волю, губить мать — добрую, неповинную... Ведь она же любила его — разве я не видал этого, когда стояла она над гробом, разве тут-то не сказалось ее чувство, разве оно не высказывается на мне самом, в ее любви ко мне?.. Нет, не подымется у меня рука мстить этой женщине — *мстить бог весть за что!* Мстить невиноватой, а если он и был убежден, что она никогда не любила его, то я теперь на деле вижу совсем другое — я знаю больше, чем знал он сам, быть может: он не представил мне ни единого доказательного факта против нее, а она успела уже дать доказательства своей любви. Кто же прав во всем этом? Боже мой, кто же прав и кто виноват из них?»

И опять-таки внутреннее чувство невольно как-то подшепнуло ему, что она не виновата.

«„Он мог ненавидеть моего мужа, но не меня”, сказала она над гробом, — продолжал думать и анализировать Вересов. — Да, стало быть, мужа он имел право ненавидеть, и она сама не отвергает этого... Значит... значит, в отношении ее мужа я должен исполнить отцовский завет... *ему*, но не ей обязан я мстить, если уж дана такая клятва!»

И Вересов, найдя себе такой исход, немедленно же написал деляге секретарю, что он уполномочивает его вести иск по векселям князя Дмитрия Платоновича Шадурского, оставя в бездействии векселя княгини и ее сына Владимира.

Эта уклончиво придуманная комбинация несколько успокоила Вересова; но, говоря по правде, он, принимая такое решение, желал лишь обмануть самого себя, вильнул перед собственной совестью и угодил только тому побуждению, которое в подобных обстоятельствах вынуждает мягкого сердцем, но слабого волей человека действовать так, чтобы, по пословице, была и Богу свечка, и черту кочерга.

Он чувствовал полнейшую нравственную

невозможность делать зло своей матери и в то же время не хотел нарушить данную клятву. Что же оставалось более, как не ухватиться за такое уклончивое, слабохарактерное решение, благо уж исход этот подвернулся под руку?

Деляга секретарь крайне изумился такому решению, тем не менее помог Вересову немедленно оформить его и горячо принялся за дело, имея в виду повторенное обещание условленного вознаграждения...

Прошло около недели, в течение которой поверенный Вересова работал весьма успешно, так что имущество старого князя без всяких уже проволочек было назначено к описи. Княгиня через Полиевкта очень хорошо знала все эти обстоятельства, то есть что Вересов остановил иск по векселям ее и сына. Она просила только своего фактотума до времени не заикаться об этом ни мужу, ни сыну, и когда фактотум, пытливо озирая ее своими глазками, полюбопытствовал узнать, какие планы имеет в виду ее сиятельство, поступая таким образом, то ее сиятельство, дружески пожав ему обе руки, ответила с немножко хит-

ростной, но вполне довольной улыбкой:

— Уж только молчите, мой милый, да делайте беспрекословно все то, что я вам скажу, а за счастливый исход и для нас, и для вас я вам ручаюсь.

Полиевкт только плечами пожал да склонил набочок свою голову, в знак полного и покорного согласия.

Княгиня меж тем, зная все эти обстоятельства, все-таки три вечера в течение недели провела у Вересова; была нежна по обыкновению и ни малейшего виду не подавала о том, что ей известны его мероприятия.

Но насколько прежде посещения ее облегчали молодого человека, заставляя его хоть на час забывать свое горе, настолько же теперь они вносили в его душу горькое, болезненно-ноющее чувство: он становился задумчив, печален, озабочен, его мутило сознание того, что дело мщения уже начато, и начато им самим, а мать меж тем еще не знает про это, и не хватает ни сил, ни решимости прямо сказать ей, потому — понимал он, что хотя покойник и имел право ненавидеть и мстить особенно князю, но каково бы ни было мще-

ние, наносящее решительный материальный ущерб мужу, оно не могло не касаться и жены, хотя бы самым косвенным образом, тем не менее и она вместе с ним терпела. Поэтому теперь уже каждое нежное слово, каждая ласка этой матери каленым углем ложилась на сердце сына: он чувствовал, что с той минуты, как начат им иск, совесть его не совсем-то чиста и спокойна перед нею; а высказать ей прямо в глаза — духу нет, и черт знает, что за странная, самому непонятная сила невольно удерживает от этого шага, удерживает в ту минуту, когда решительное слово уже почти готово сорваться с языка.

Вересов, быть может, и не понимал, но инстинктом чуял, что его удерживают от этого добрый взгляд и добрая ласка матери, на которые она не скупилась во время их свиданий, удерживает боязнь поразить ее сердце новой вестью, нанести ей душевное огорчение. И все это ставило его в крайне неловкое, запутанное и невыносимое положение. Он проклинал свою судьбу, свое богатство, нисколько ему не милое, свое каторжное положение и все-таки сознавал всю бессмыслен-

ную, бесхарактерную безысходность из этой путаницы, в которую, почти помимо собственной воли, бросили его обстоятельства.

Татьяна же Львовна очень хорошо умела каждый раз подмечать на его лице следы жестокой нравственной борьбы и печальных мучений, очень верно догадывалась о настоящей причине этого внутреннего состояния, которое он тщетно старался скрыть от ее глаз, и все-таки *делала* себя любящей матерью, участливо расспрашивала о причинах растерянности, на что, конечно, не получала ответа и продолжала по-прежнему дарить ему свои посещения, беспощадно усиливая этим нравственную пытку своего сына.

XXXV
«ЛИКУЙ НЫНЕ И ВЕСЕЛИСЯ, СИОНЕ!»

Был восьмой час вечера. Иван Вересов сидел у себя дома и ждал княгиню, которая обещала быть сегодня непременно. Странное чувство наполняло душу молодого человека: ему и хотелось, и не хотелось видеть ее, он и желал, и тоскливо боялся новой встречи с матерью; боялся потому, что знал, каким растопленным свинцом опять станут ложиться ему на душу ее материнские ласки и заботливые расспросы. А в то же время так хотелось и этих ласк, и этого участия!

Позвонили в прихожей, и на этот звонок Вересов сам бросился отворять двери, но, к удивлению своему, встретил не княгиню.

В комнату вошел с прилично-грустным и скромно-степенным видом Полиевкт Харлампиевич.

— Я к вам по делу... от ее сиятельства княгини Шадурской, — начал он с обычной сдержанностью, когда хозяин усадил его в старое

кресло покойника Морденки.

У Вересова екнуло и упало сердце.

— Княгиня сегодня только узнала, что по векселям ее и ее сына Владимира иск остановлен, — продолжал Хлебонасущенский. — Это ее очень удивило... но... она благодарит вас за ваше великодушие.

При этих безразлично сказанных словах молодой человек снова почувствовал, как его ударило каким-то колючим и горьким упреком; в особенности фраза «ваше великодушие» казалась ему невыносимой.

— Но княгиня не хочет, чтобы за ней пропадал даже самый пустячный долг ее, а не то что эдакая-то сумма, — говорил Полиевкт. — Она заплатит вам все сполна и за себя, и за сына, и за старого князя, только, Бога ради, повремените еще с вашим иском!.. Она умоляет вас об этом! Вы еще молодой человек, сердце ваше доступно жалости, вы в состоянии понять такое положение!.. Повремените!.. Разом, конечно, отдать вам она не в состоянии; но по частям, в течение трех-четырех лет, долг будет уплачен. Вы ведь почти единственный кредитор княжеского семей-

ства, стало быть, всегда остаетесь в своем праве, можете начинать иск, когда вам заблагорассудится, и все-таки имеете все шансы на получение своих денег. Да и вот что-с скажу я вам: частями-то, по рассрочке, вы получите все сполна, тогда как продажа с аукциона едва ли и третью часть вам выручит. Теперь, в настоящую минуту, надо говорить откровенно, вы губите нас, губите навеки все княжеское семейство... почтенное, всеми уважаемое семейство!.. Бога ради, повремените, согласитесь на полюбовную сделку, на рассрочку! Княгиня, сама княгиня умоляет вас!.. Она бы даже сама приехала просить вас, но это обстоятельство столь много поразило ее, что она совершенно больна, расстроенна и лежит в постели.

Вересов необычайно побледнел при последнем известии.

— Больна! — проговорил он слабым голосом, отдаваясь глухому и тяжелому волнению.

Хлебонасущенский ответил только грустно-глубоким, сострадающим вздохом да головою покачал печально.

— Это ее убило... совсем убило! — словно бы про себя прошептал он, опустив свои взоры. — Но... видно, так уж угодно Богу: да будет его всемогущая воля!.. Она, хоть и больная, собрала все свои ценные вещи: картины, кружева, фамильные брильянты и серебро — ее собственное приданое; все это хочет завтра же пустить в продажу, чтобы быть в состоянии уплатить хотя бы малую толику своего долга. Печальное положение, молодой человек, очень печальное...

Вересов меж тем решительно и быстро поднялся со своего места.

— Приезжайте ко мне завтра в четыре часа, непременно приезжайте! Если бы меня еще не было дома, так ждите, но только, Бога ради, будьте у меня завтра!.. А теперь... я вас прошу... оставьте меня. Извините, но... я не могу дольше объясняться сегодня, — быстро и взволнованно проговорил он, подавая Полиевкту руку. И Полиевкт удалился с новым печальным вздохом.

На другой день, в начале пятого часа, Вересов, запыхавшись, вбежал в свою квартиру, где уж в это время ожидал его Хлебонасущен-

ский.

— Везите меня к княгине! — сказал он, здороваясь.

— Как?.. Куда?.. К княгине? — повторил Полиевкт, озадаченный внезапностью такого предложения.

— Ну да, да! К княгине!.. Мне надо ее видеть... Она очень больна? Скажите, не скрывайте от меня, очень больна?.. Да?..

Тот не без заметного удивления поглядел на молодого человека, видя в нем такое сильное волнение, но не понимая причины.

— Да, она больна, — проговорил он с расстановкой, наблюдая его. — Теперь ей несколько лучше, но... все еще больна... расстроенна... лежит. Ведь это страшно убило ее!

— Ну, так едем!.. Едем сию же минуту! — торопил его Вересов.

— Но позвольте, как же это?.. Не предупредивши...

— О Боже мой, что там предупреждать еще!.. Предупредите, как приедем! Но только скорей! Бога ради скорее! Говорю вам, мне необходимо видеть ее!

Полиевкт раздумывал с минутку, в тече-

ние которой Вересов, бледный и взволнованный до нервической дрожи, нетерпеливо шагал по комнате.

— Ну, что же наконец! — досадливо остановился он перед Хлебонасущенским.

— Пожалуй, едем! — согласился тот со вздохом, пожав своими плечиками.

Приехали. Полиевкт Харлампиевич побежал предупредить Татьяну Львовну, а Вересов остался ждать в одной из блестящих гостиных княжеского дома, где ослепительно ошибло его взоры невиданное еще им доселе изящество и богатство роскошной обстановки.

«Боже мой, а я-то принимаю ее у себя в этой грязной берлоге! — подумал он, невольно вспомнив гнилую квартирушку своего отца! — И неужели же все это великолепие — один призрак, голое ничто, которое покойник мог в минуту развеять этой пачкой бумажек!»

На половине Татьяны Львовны меж тем поднялась некоторая суета, которая, однако, не могла достигнуть ни до взора ни до слуха ее побочного сына. Хлебонасущенский наскоро передал ей, что привез кредитора, который

настойчиво требовал видеть ее лично и расспрашивал, очень ли она нездорова. Поэтому уж, значит, надо оправдать его слова и казаться больной. Княгиню очень встревожил этот внезапный приезд сына, заставлявший ожидать чего-то особенного, необыкновенного, и, конечно, вызвал известную степень нервного потрясения и волнения, что было, в сущности, даже весьма кстати в данную минуту. Быстро удалилась она в свой будуар, распорядилась спустить сторы, дабы устроить в комнате синеватый полусвет, который имел свойство придавать лицу оттенок интересной бледности, и, наконец, поспешила, вместо снятого платья, накинуть на себя легкую блузу и легла на диван, окруженная прошивными батистовыми подушками.

— Ах Боже мой, чуть было не забыла! Чепчик, чепчик ночной подай мне скорее! Да поставь на столик лавровишневые капли и баночку спирту! Да скорее ты, говорю тебе! — нетерпеливо понукала и торопила она свою камеристку.

— Ну, теперь, кажется, все уж готово. Поди, пускай там скажут управляющему, что он мо-

жет войти! — распорядилась напоследок Татьяна Львовна, вполне уже приготовленная к надлежащему свиданию с сыном.

— Извините, но... я желал бы остаться один с ее сиятельством, — обернулся Вересов на Хлебонасущенского в дверях будуара.

Тот хотел было следовать непосредственно за ним и в самый будуар, чтобы быть свидетелем интересного свидания, но, встретя в упор такое заявление, сделанное вслух при самой княгине, «лисий хвост» только слегка поперхнулся и поневоле осадил назад.

Вересов плотно припер за собою дверь и, прямо из светлой комнаты вступя в будуар, где таинственно царил синеватый полусумрак, не мог еще разглядеть с первого взгляду, где его мать.

— Я здесь... — подала слабый голос княгиня, видя затруднение вошедшего.

— Матушка!.. Бога ради... Прости!.. Простите меня! — воскликнул он, кидаясь в ее сторону.

Та сделала усилие, чтобы приподняться на подушках, и еще слабее, печальным тоном промолвила:

— В чем?.. За что?..

— Я виноват... я скрыл... это дело... Господи! Что за адское положение! — без связи бормотал взволнованный Вересов, то судорожно сжимая протянутую ему руку, то приникая к ней губами и заглядывая тревожным взором в лицо матери.

— Матушка!.. Милая, добрая моя!.. Вы больны, вы убиты... Это я, я один виноват во всем!.. Боже мой!..

— Зачем ты скрыл от меня?.. Зачем ты не сказал мне прямо?

— Да! Я сделал мерзость!.. Подлую мерзость! Но... у меня — клянусь вам! — сил не хватало высказать.

— Подлую мерзость? — с грустным вздохом отрицательно покачала головой княгиня. — Нет, мой друг, тут подлого ничего нет, ты исполняешь только данную клятву.

— Я не исполню такую клятву! — с жаром воскликнул Вересов. — Я много думал теперь об этом — я был обманут!.. Я не подозревал, *против кого* вынуждена у меня эта клятва! Я не исполню ее!

Татьяна Львовна поглядела на него долгим

и пристальным взглядом.

— Нет, я не хочу этого, — печально молвила она, — чтобы ты потом всю жизнь из-за меня переносил терзания совести... Нет, мой друг! Делай уж то, что тебе было завещано! Но... только не губи нас разом! Вот о чем я бы стала умолять тебя. Мы тебе все отдадим частями... Я уже распорядилась, собрала все свои лучшие вещи... Я продам все, все! Я заплачу — только не доводи нас до этого позорного скандала... до описи. Бога ради!.. Это моя единственная просьба! Мы все равно и потом останемся почти нищими, когда этот долг будет уплачен... Цель покойника все равно ведь будет достигнута... Но не с позором!.. Не с позором, умоляю тебя! Сделай это ради... ради матери твоей!

И княгиня заключила слезами свою странную тираду.

— О, да не мучь же ты меня!.. Ведь это хуже всякой пытки, наконец! — воскликнул Вересов, вскочив со своего места. — Я не хочу вам зла! Я никого не хочу делать несчастным — пусть уж лучше один буду мучиться, а не другие... не мать моя!.. Иску больше нет

никакого. Вот все векселя, какие только были у моего отца! Вот они!

И, вынув из кармана полновесную пачку, он, с лихорадочной энергией величайшего волнения, надорвал ее наполовину и бросил на маленький столик княгини.

Та даже вскрикнула от неожиданности и сильного изумления. Она, несмотря на свои надежды, все ж таки не ожидала на этот раз окончания столь полного и столь быстрого.

— Что ты сделал!.. Что ты сделал, несчастный ты мой! — воскликнула она, хватая его за руки. — Зачем?!. Разве я тебе об *этом* говорила!..

— Не вы, а совесть... любовь моя... сердце мое — вот что мне говорило! — порывисто и трудно дыша, глухо прошептал Вересов, закрыв лицо руками.

Княгиня заплакала, и на этот раз, кажись, уже искренно. Этим мгновением на нее опять нашло мимолетное непосредственное чувство матери, сказалась женская душа. Прильнув к голове сына и положив ее на свою грудь, она плакала и долго-долго целовала ее, ласкаючи.

— Ваня! Милый мой! Дитя мое! Ведь ты будешь потом, может быть, раскаиваться, — любовно шептала она ему. — Ведь это один только порыв, честный, великодушный, благородный порыв, но... я боюсь за тебя!

— В чем? — решительно поднял он голову. — В том, что я дал клятву?.. Ну, пусть буду проклят... лишь бы *ты* не страдала... Матушка! Люби меня! Люби меня! Ведь у меня никого, никого больше нет в целом свете... Люби меня — и мне больше ничего не надо!.. Не покинь меня! Родная моя!

Княгиня с некоторой торжественностью положила руку на его голову.

— Если тебя проклял твой безумный, помешанный отец, — сказала она твердым, но, в затаенно глубокой сущности своей, искусно аффектированным голосом, — то мать благословляет тебя!.. Пусть это благословение снимет его проклятие!.. Ведь он, говорю тебе, он страшно, страшно заблуждался всю жизнь свою!.. Прости его Бог за это!

Такой оборот дела благотворно подействовал на Вересова: он почувствовал, как на душе его стало легче, светлей и шире, словно бы

груз тяжелый скатился с него в это мгновение.

Несколько времени сидел он еще у матери, которая обещала быть у него, как только в состоянии будет выехать (кататься — она могла бы, в сущности, выехать хоть сию минуту), и затем удалился под обаянием того же мирного успокоенного чувства.

— Князь дома? — спросила княгиня Хлебонасущенского, выйдя в другие комнаты по уходе Вересова.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— А Владимир?

— Тоже уехавши куда-то.

— Передайте им, как вернутся, что у князей Шадурских, кроме казенного, более нет долгов, — сказала она с самодовольно-радостным видом и подала Полиевкту надорванную пачку.

— Пересчитайте, все ли сполна?

И сама повернулась из комнаты.

Тот так и осовел, увидев у себя на руках поданные ему бумажки.

— Господи! Да точно ли это они? — воскли-

цал он, пересматривая векселя один за другим, по порядку. — Они!.. Они самые!.. Они, мои любезные, драгоценные! Все как есть, на сто двадцать пять тысяч серебрецом-с!.. Важно!.. Что ж это теперь? Кредит... капиталы... всеобщее просветление! — размышлял он сам с собой. — Ликуй ныне и веселися, Сионе! Вот-те и Морденко! Вот-те и гроза его!.. Пхе-е!.. Однако же козырь-баба! Ей-богу, козырь! Как она ловко да скоро обошла мальчонку!.. — хитровато подмигивал да посмеивался себе Полиевкт Харлампиевич. — Хи-хи-хи!.. Ай да патронесса моя! Ай да козырь-баба! Отменно важно! Отменно!.. Ликуй ныне и веселися, Сионе!

И Полиевкт, восторженно потирая свои руки да широко ухмыляясь, чуть не вприпрыжку удалился в княжескую контору.

XXXVI
«НЕ ПРИНИМАЮТ!»

Хотя и вернулся Вересов домой под светлым, успокоительным впечатлением, однако же на этот раз квартира покойного отца более чем когда-либо показалась ему мрачней и неприветней. Словно бы каждый угол, каждый стул, каждое пятно на стене глядели на него безмолвным и потому беспощадным укором за дерзко нарушенную клятву. А этот попугай, который, по долгой привычке, не совсем еще разучился крякать: *«Разорились мы с тобой, Морденко!»* — наводил теперь своей фразой род какого-то ужаса на молодого человека; казалось, это не просто бессмысленная болтовня бессмысленной птицы, а нечто иное... будто эти слова умышленно относятся к какому-то незримому существу, которое тем не менее присутствует здесь, в этой самой комнате, и вот сейчас скажет ему в ответ знакомым глухим голосом: *«Разорились, попочка, вконец разорились!»* — и грозно потребует отчета... Каждый скрип половицы или двери,

каждое хрипение часовой кукушки, казалось, звучали чем-то зловещим, пророчили нехорошее, недоброе что-то.

Вересову стало невыносимо и душно в этом мрачном месте. Он сказал Христине, что не придет ночевать домой, и тотчас же удалился с намерением найти новую квартиру и пока взять себе хоть нумер в первой попавшейся гостинице.

На другой день чистая, светленькая квартирка была нанята и к вечеру уже скромно меблирована. Вересов торопился исполнить все это как можно скорее, чтобы разом покончить со старым обиталищем, наводившим столь болезненное впечатление. Мебель, кукушка и попугай с клеткой были предложены в полную собственность майору Спице, который весьма охотно принял нежданный подарок, надеясь за меблишку все ж таки выручить кое-что под Толкучим.

— А попугайчика уж я на память о друге оставлю, — заявил он на прощанье.

В новой квартире как-то легче жилось, легче дышалось, веселее, спокойнее думалось. Она была такая уютная, светлая, смотрела на

тебя со всех сторон такими свежими обоями, белыми дверями и чистыми большими окнами; потолок, далеко не такой низкий, как в прежней квартире, не давил собой, воздуху было довольно, и Вересов мог бы про себя сказать, что он вполне доволен, если б к его светлому и спокойному чувству не примешивалось отчасти какой-то тихой грусти. Это была грусть по отце, сожаление о стольких печальных заблуждениях его печальной жизни: «Зачем он так заблуждался!.. И Господи! Как бы все хорошо, и тихо, и любовно было б, если бы не это!.. Но — дело конченное и похороненное, не вернешь!» И молодой человек стал думать, как приедет к нему его мать, какое впечатление сделает на нее эта новая обстановка, какое участие примет она во всем этом новом житье-бытье его, и он тотчас же уведомил ее по городской почте о перемене своей квартиры.

Княгиня после этого приехала к нему дня через три, но первым словом объявила, что сейчас лишь узнала об этой перемене, в прежнем доме, куда первоначально приехала.

— А письмо, которое я послал вам? — воскликнул Вересов.

— Какое письмо? Никакого не получала!

Княгиня сказала неправду: она получила письмо, но это получение было ей весьма неприятно, во-первых, потому, что сын называл ее в нем так-таки прямо матерью, а во-вторых, она взглянула на него как на некоторую уже притязательность со стороны Вересова на ее особу; ей показалось, как будто это письмо только начало, как будто он требует ее посещений, и, пожалуй, целую жизнь станет требовать; будто это ее связывает, будто он своим поступком с векселями поставляет ее в какие-то обязательные отношения к себе.

«Обязательные отношения! — думала Татьяна Львовна. — Но разве все это произошло так не по моему собственному плану? Разве не я сама заранее все это обдумала и повела дело таким образом?.. Обязательные отношения! Нет, это уже слишком! Это, наконец, скучно!»

И ей захотелось на первом же письме прекратить всякую дальнейшую корреспонденцию; поэтому, изъявив свое удивление по по-

воду неполучки, княгиня пораздумала с минуту и сказала, что письма не всегда могут доходить к ней, что они могут как-нибудь, вследствие неумелости швейцара и лакеев, перемещаться и попасть в руки мужа или сына, которые и не подозревают об этих свиданиях, что ее сильно беспокоит пропажа посланного письма и потому ее совет — на будущее время не писать вовсе, а уж лучше она сама будет уведомлять, когда понадобится.

Вересов слушал ее, подавляемый горьким сознанием, что он родную мать свою не может явно, в глаза другим, назвать своею матерью, что должен видеться с нею только украдучись, словно бы в этом крылось какое нехорошее дело, что мать сама принуждена скрывать от всех, что у нее есть сын, не смеет признаться в этом.

«Господи! Что за безобразие! И зачем все это так устроилось на свете, таким гнусным образом? И зачем *тот* сын имеет на нее все права и может открыто и честно гордиться ею, а я — столько же родной и близкий ей — я всего, всего лишен и, словно вор какой, могу только впотьмах, украдкой, тайно поцело-

вать материнскую руку!..»

Прошло еще недель около двух. Княгиня считала свой план и свою миссию оконченными. Они и действительно были окончены с той самой минуты, как рука Вересова надорвала пачку векселей, но приличие и требование известного рода округленности всего этого дела требовали еще на некоторое время продолжения материнских посещений, без чего оно вышло бы уж чересчур шероховатым. По правде говоря, Татьяне Львовне более уже решительно нечего было делать у Вересова; посещения ее становились раз от разу все реже и короче; продолжительная роль нежной матери начинала уж быть весьма-таки не под силу; общих интересов с ним она никаких и ни в чем не усматривала и даже не находилась, о чем и говорить-то с ним во время своих визитов. Все это было для нее действительно очень скучно, обременительно, так что каждый раз она садилась теперь в карету с маленьким чувством досады и неудовольствия, а уезжала с расстроенными, раздраженными нервами и еще с большей досадой. Надо быть нежной, хоть изредка прилас-

кать, поцеловать его и делать все это без всякого искреннего побуждения, тогда как от него так и несет абсолютным плебеем, и нет ни малейшей надежды выработать из него что-нибудь более приличное и более изящное, а он еще вдобавок так любит эти ласки, так телячьи-радостно ждет этих материнских поцелуев — наклонность тоже, должно быть, весьма плебейская. Все это в совокупности только все больше и больше раздражало нервы Татьяны Львовны, чувствовавшей, как с каждым разом усиливается ее натянутое, принужденное положение.

А Вересов?

Вересов тоже начал не столько умом, сколько инстинктом ощущать ее охлаждение. Наконец домекнулся, как все увеличиваются промежутки между ее свиданиями и как самые свидания становятся под разными предлогами все короче, тогда как прежде этих предлогов не существовало. И при этом сознании у него мучительно сжалось сердце; но он поспешил убаюкать себя и обвинить во всем свою мнительность.

«И что это в голову мне все ползет? — до-

садливо думал он. — Что это я все сочиняю себе?.. Это все оттого, что мне хочется бог весть какой-то невозможной любви. Судьба избаловала тебя, дала тебе все, что могла дать, а ты, как жадный жид, все больше да больше!.. Это все призраки, все моя мнительность, глупая, ни на чем не основанная!»

Но хотя такими рассуждениями он и успокаивал себя на время, посещения княгини не становились оттого чаще и материнские ласки нежнее.

Княгиня, однако, была слишком чувствительная женщина, слишком хорошо думала о себе и слишком была убеждена в своих истинно прекрасных качествах души, для того чтобы высказать самой себе, перед собственной совестью, с такой цинической наглостью, *настоящие* причины ее охлаждения и скупости на дальнейшие свидания с сыном, с какою высказали их мы, от собственного лица, для пущего уразумения читателя.

Поводы княгини — так, как они представлялись ее глазам, — были неизмеримо мягче, деликатней и благородней.

Даже, можно сказать, это были возвышен-

ные поводы и оправдывались вполне самой настоятельной необходимостью.

Она оставалась убеждена, что любит своего *тайного* сына, хотя разница общественных положений и сделала то, что между ними нет и не может быть ничего общего, исключая взаимного чувства. Таково было ее главное убеждение. Но... кроме этой любви в сердце ее есть еще и другая, имеющая более законные и даже священные основания — любовь к своему *явному* сыну. С этой последней сопряжен великий долг семейственности, дома и рода, а с этим долгом неразрывно идет общественное положение, которое она обязана прежде всего поддерживать на соответственной высоте. О том, что у нее есть сын, которого зовут Иван Вересов, никто не знает, кроме мужа да самого этого сына, и она не имеет права дарить ему свою любовь в ущерб сыну Владимиру, у которого есть имя, есть положение, карьера и который остается единственной отраслью Шадурских для продолжения славного рода. Имя его должно быть чисто, незапятнанно. А что, если вдруг узнают про ее таинственные посещения? Если узнают,

что у нее есть живой плод такой связи, память о которой надо скрывать, и скрывать как можно тщательней, зарывать ее под землю? Что, если об этом стоустая молва пойдет? А она может пойти, если посещения будут продолжаться: как-нибудь, от кого-нибудь узнается; может, он сам проговорится, и тогда, тогда... Страшно и подумать!.. Что, наконец, если об этом узнает Владимир? Как он взглянет на свою мать и где будет после этого место его уважению к ней? Нет, как ни думай, а дальнейшие посещения придется если не совсем кончить, то сделать их очень редкими.

«Конечно, я люблю его, — размышляла Татьяна Львовна, — он такой добрый мальчик, у него такое хорошее сердце, и если ему случится в жизни какая-нибудь нужда во мне, я все ему сделаю, я помогу... но продолжать настоящие отношения мне запрещает долг. Надо изменить их. Как это ни тяжко, как это ни больно моему сердцу, нечего делать — надо покориться!»

И княгиня покорилась.

Прошло еще недели две. Она со дня на

день думала еще однажды посетить Вересова, чтобы не обрывать уж так-таки сразу, и все откладывала; все случалось так, что что-нибудь непременно каждый раз помешает ей. А время шло, и чем больше шло оно, тем уже самое свидание представлялось затруднительнее, неловче, — как вдруг однажды докладывают ей, что просит позволения видеть ее некто Вересов. Княгиня даже испугалась. Ей представилась вся странность, вся видимая беспричинность, на посторонние глаза, даже вся невозможность этого свидания в ее доме; да кроме того, придется объяснять ему продолжительность перерыва своих посещений, изобретать причины, а как тут объяснишь и изобретешь все это при такой внезапности! И княгиня послала сказать ему, что принять никак не может.

— Что ж она, нездорова? — спросил внизу весь побледневший Вересов.

— Не знаю... Может быть, и нездоровы, — холодно ответствовал ливрейный лакей.

— Когда ее можно видеть?

— Да как это сказать?.. Почти всегда... Всегда можно видеть, а ежели вам по делу, так

вы обратитесь в контору — там управляющий.

Вересов повернулся и вышел с щемящей болью в душе.

Смутное предчувствие глухо нашептывало ему что-то нехорошее, а он рассудком хотел уверить себя, что это либо слуги переврали его фамилию, либо его мать нездорова.

Иначе он решительно не хотел понимать, что все это значит.

«Хоть бы узнать-то, больна ли она», — подумал он и, перейдя на тротуар набережной, стал глядеть в княжеские окна да отмеривать шагами мимо дома расстояние шагов в полтораста. Но окна ничего ему не сказали, и сколько ни ходил он по набережной, ожидая, что, может, выйдет кто-нибудь из прислуги, у которой можно будет узнать, ничего из этого не вышло. Но вот из-под ворот выехала карета, с парою серых, щегольской рысью и с не менее щегольским грохотом прокатилась вдоль улицы саженей пятьдесят, сделала заворот и подъехала к крыльцу княжеского дома. Лошади били копытами о мостовую, а бородач кучер, с истинно олимпийским досто-

инством, с высоты своих козел взирал вниз на весь Божий люд, мимо идущий.

— Эта карета самого князя? — спросил его подошедший Вересов.

Олимпиец сначала оглядел его вниз с надлежащим спокойствием и не сразу удостоил ответа.

— Ее сиятельства, — сказал он после минутного оглядывания, и когда произносил это слово, то уже не глядел на вопрошавшего, а куда-то в сторону.

— Она сама поедет куда-нибудь? — попытался тот предложить еще один вопрос олимпийцу.

— Сама, — было ему столь же неторопливым ответом.

«А, стало быть, не больна? — подумал Вересов. — Отчего же, если так, она не пустила меня к себе?.. Неужели?.. Нет, нет! Какой вздор! Какие мерзости лезут в мою глупую башку!.. Отчего? Ну, просто оттого, что нельзя было почему-нибудь, помешало что-нибудь, мало ль чего не случится! Но я все-таки увижу ее; хоть и слова сказать не придется, да зато глазами погляжу. Вот как станет садиться в

карету, так и погляжу».

Так успокаивал себя Вересов, а сердце меж тем почему-то все так же беспокойно колотилось.

Но вот наконец и дождался.

Растворилась стеклянная дверь парадного подъезда, из нее поспешно выбежал выездной лакей в княжеской ливрее и поторопился отпереть дверцу экипажа, около которой и стал в автоматически почтительном ожидании; затем показалась княгиня Шадурская в наряде для прогулки, почтительно сопровождаемая комнатным ливрейником.

Вересов стоял в двух шагах и глядел на нее во все глаза. Взор княгини случайно скользнул по нем и словно обжегся, потому что тотчас же быстро вильнул в другую сторону. Сделан был вид, будто его не замечают. Но если обжегся на Вересове взор его матери, то этот же взор хуже ножа резанул его сердце. Не помня сам, что делает, он безотчетно побежал вслед за каретой, словно бы хотел ухватить ее за колеса и остановить на ходу. Хотел крикнуть что-то, но звук не вылетал из груди, в которой накоплялось теперь одно только судо-

рожное рыдание. В горле спиралось дыхание, а он все бежал и бежал за каретой, которая во всю рысачью прыть с каждым шагом уносилась от него все дальше и дальше, и бежал до тех пор, пока колени не подкосились, пока не запнулся за уличный булыжник, так что пришлось остановиться и уж только тоскливыми глазами упорно выслеживать удаляющийся экипаж, который уже далеко-далеко мелькал между другими.

Вересов все еще не хотел верить. «Не может этого быть, — убеждал он самого себя на другой день утром. — Она могла не заметить меня или не узнать, верно, торопилась куда-нибудь. Но это... Это подло думать таким образом! И что я за гадкое животное, если в мою голову могут закрадываться подобные мысли!»

«Пойду сегодня! Сегодня уж наверно примет, — решил он в заключение. — А чтобы лакеи фамилию как-нибудь не переврали, запишу-ка лучше на бумажке — словно бы визитная карточка будет».

И он отправился с новою надеждой.

— Дома княгиня?

— Нету дома, уехали с визитами.

— А скоро будет?

— Часа в четыре.

Ушел и опять принялся ходить по набережной. Был только третий час в начале, и он решился ходить хоть до вечера, чтобы не пропустить кареты. Около четырех часов княжеский экипаж подкатил к подъезду, и из него вышла Татьяна Львовна в сопровождении молодого кавалерийского офицера.

«Это — мой *брат»*, — догадочно екнуло сердце у Вересова, и, выждав минут около десяти, он вторично вступил сегодня в парадные сени княжеского дома и послал наверх свою импровизированную карточку.

— Ее сиятельство очень извиняются — они никак не могут принять вас сегодня.

Таков был ответ, полученный от лакея. Добродушный безумец все еще не хотел увериться в истине и баюкал себя, вопреки самой яркой очевидности. Он выждал сутки и послал письмо, на которое не получил ответа. Выждал вторые и послал новое, написанное слезами и кровью, так, как только может пи-

сать смертельно тоскующая душа сына, жаждущего возвратить себе любовь матери.

И опять-таки нет ответа.

Тогда уже он решился на последнее средство: решился еще раз идти к своей матери.

Но швейцар даже и докладывать не послал, а просто, без всякой церемонии, ставши в дверях всей массой своего плотного, отъевшегося тела, ответил с весьма решительным лаконизмом:

— Не принимают!

XXXVII
НОВОЕ ГОРЕ И НОВЫЕ ГРЕЗЫ

Тогда в душу его закралось страшное и самое адское сомнение.

«А что, если она *не мать* мне? Если все это была одна только ловкая выдумка, хитрая интрига, разыгранная комедия, чтобы поискуснее выманить от меня векселя покойного отца?» — пришла Вересову роковая мысль, от которой он почувствовал, как волосы его поднялись дыбом, как упало и захолонуло сердце и как смертельно-тоскливый ужас подступил

и медленно пошел по всем членам и суставам его подкосившегося и трепещущего тела.

«Разве мать, родная мать в состоянии была бы поступить таким образом? Разве у нее хватило бы бессердечия ответить так на самую горячую, беспредельную любовь родного сына?» — вставали перед ним один за другим роковые ужасные вопросы, на которые и сердце, и разум давали один только твердый и категорический отзыв: «Нет, нет и нет!»

И вспомнились ему тут предсмертные слова Морденки: «Они постараются обойти да оплести тебя, а ты — простая душа — пожалуй, и поддашься». И Вересов ясно теперь увидел, что совершилось полное и торжественное оправдание этого предсмертного пророчества.

А вслед за этим в ушах его яснее, чем когда-либо, как будто зазвучали теперь другие слова: «Будь ты проклят, если простишь им!» И это страшное *«проклят»* огненными и железно-острыми буквами вонзилось в его мозг и расплавленной медью, капля за каплей, падало на душу и насквозь прожигало весь состав его.

Положение безысходное, трагическое, с которым едва ли что может сравниться. На короткий срок узнать, что такое материнская ласка, слепо уверовать в материнское чувство, с восторженной радостью изведать, что такое чистая, святая сыновняя любовь и, наконец, принести во имя матери и во имя этой любви самую страшную жертву, стоившую мучительной борьбы, перешагнувшей через отцовский завет и собственную клятву, и вдруг убедиться, что все это было не более как ловкий обман, что у него нет матери, а вместо нее была какая-то интриганка, разыгравшая ее роль. Это было такое ужасное сознание, после которого, казалось бы, ничего уже больше не остается в жизни, и нет с этой жизнью ни в чем примирения.

Но в этой же самой жизни с ним встретилось дважды одно существо, которое дважды спасло его.

Может быть, для него еще стоило жить.

Вересов схватил себе горячку. Христина кинулась к соседям, те приняли участие в молодом одиноком человеке, привели хорошего известного доктора, и тот его спас. Молодой

выносливый организм перенес и эту страшную болезнь. Вересов стал поправляться и через семь недель мог уже выходить на свет Божий.

Кончилась горячка, а вместе с нею утих и первый пыл его душевного состояния, взбудораженного всеми предшествовавшими обстоятельствами. Теперь он постоянно уже стал тихо задумчив и глубоко, сосредоточенно грустен, и в тайне этих сосредоточенных дум и грусти надумал, как ему быть и поступать в его дальнейшей жизни. Он не считал себя более вправе тратить на себя деньги, оставленные ему покойным отцом.

«Эти деньги нажиты людской бедностью да нуждой, людскими слезами да страданием, — думал он. — Бог с ними, мне не надо их, я им дам лучше назначение; пускай через меня ими пользуется тот, кто нуждается, кто гол и голоден. Они взяты у голодных — надо и возвратить их голодным. А я не хочу, я не смею пользоваться ими, я уже потому не смею, что не исполнил единственного отцовского завета».

Так думал и так решил Иван Вересов.

Он сузил и ограничил до последней возможной степени все свои житейские потребности. Он отказывал себе в малейшей прихоти, зато не пропускал мимо себя ни одного истинно голодного бедняка без того, чтобы не дать ему значительно щедрую подачку. И после каждой такой подачки, после каждого взноса на какое-нибудь честное, хорошее дело — на школу, на стипендию бедняку студенту, на приют или богадельню, — чувствовал, что как будто немножко легче становится на душе, как будто каждый раз с нее спадает частичка невыносимо тяжелого груза.

А между тем его теплое и открытое для честной любви сердце не могло жить без этой честной любви. Он порою все более и более начинал чувствовать, что в нем таится какой-то знакомый образ — образ девушки, которая молилась и плакала, которая дважды спасла его.

«Я найду, я отыщу ее! — сказал сам себе Вересов. — Я успокою, отогрею ее... Отыщу где бы то ни было и приведу сюда, и будет она жить здесь в тиши да в мире, полной хозяйкой; чтобы не было у нее больше ни одной за-

боты в жизни, ни единой темной минуты, чтобы был один только свет да улыбка да хорошая радость... А сам буду служить ей, буду молиться на нее, беречь и охранять, всю жизнь отдам, лишь бы она была счастлива!»

И он отвел для нее две лучшие и удобнейшие комнаты в своей квартире, обставил их с таким комфортом и так изящно, накупил вдосталь цветов и птиц, и две-три хорошие картины, и мягкие ковры и приходил сюда сидеть по целым часам, запершись наедине в этих комнатах, и все мечтал, как он отыщет эту девушку, как приведет ее сюда, в этот маленький, теплый, светлый и уютный рай, как скажет ей, что это — *все ее,* что она здесь полная хозяйка, и как она будет любоваться на все это, любоваться и радоваться и отдыхать душой и телом от суровых несчастий своей голодной и холодной жизни. И Боже сохрани, чтобы при таких мечтах когда-либо забрела ему в голову нечистая мысль потребовать от нее какой-либо взаимности за свое чувство! Нет, это чувство он думал ревниво схоронить в своей душе от всех, и даже от нее — и от нее-то даже больше и глубже еще, чем от кого

бы то ни было, чтобы ничто не могло оскорбить ее, чтобы и не подумала она, будто вся эта обстановка дана ей взамен ее взаимности.

Нет, Вересов думал совершенно прямо и просто сказать ей: «Мы оба были нищие, оба спали в барке под одной рогожей; ты накормила и спасла меня, и мне нечем было благодарить тебя. Теперь я богат, у меня всего есть вдосталь — пускай же ты от этих пор ни в чем больше не нуждаешься; пользуйся всем, чем хочешь, живи здесь у меня, и живи как хочешь, и делай что знаешь!»

Каждый день почти он прибавлял к милой обстановке этих двух комнат какую-нибудь новую безделицу, какую-нибудь хорошенькую вещицу, с восторгом приносил ее домой, ставил на предполагаемое место, приглядывался, перестанавливал на другое и снова приглядывался и любовался, пока не находил для нее нового помещения, на котором она более выигрывала, и все мечтал при этом, как эта новая вещица понравится *ей*, как *она* будет любоваться и играть ею. Покупал зачастую какую-нибудь хорошую книжку и думал, что это *для нее*, что она будет читать ее,

и многие другие будет читать из тех, что накуплены им для нее в последнее время. И эти покупки, и эти ни для кого неведомые занятия и мечты его в двух комнатах служили для него источником самых чистых и высоких наслаждений. *Она* рисовалась ему высшим идеалом всего доброго, умного, честного и хорошего, да иною она и быть не могла. И иначе как с этим священно чистым ореолом он и представить себе не мог неведомую и затерянную девушку.

Но зато какой резкий контраст с этими двумя комнатами являла собой маленькая комнатка Вересова! Здесь все глядело как-то строго, бедно и сурово, так что скорей она напоминала скромную келью отшельника, чем жилище молодого человека. Он усердно принялся за живопись и лепку, мечтая усиленным трудом дойти до известности этими двумя искусствами, собственными руками доставлять себе скромные средства к жизни. Все, что покамест приходилось ему, скрепя сердце и с укорами совести, истрачивать на себя самого из наследственного капитала, он аккуратно записывал, с твердым убеждением

возвратить все это в тот же капитал потом, впоследствии, из собственных заработанных денег, отнюдь не считая своими деньги покойного Морденки.

И между тем, одновременно с устройством изящного помещения для будущей хозяйки, он всеми средствами принялся за трудные поиски Маши по всему Петербургу.

XXXVIII
ВЯЗЕМСКАЯ ЛАВРА[472]

Четвертого квартала бывшей третьей Адмиралтейской, ныне Спасской, части числится дом князя Вяземского. Это, собственно, не дом, а целые тринадцать домов, сгруппировавшиеся на весьма обширном пространстве и разделенные разными закоулками и проходными и непроходными глухими дворами. Все тринадцать флигелей имеют между собой сообщение, так что составляют как бы одно неразделенное целое.

Если вы пойдете по правой набережной Фонтанки, направляясь от Семеновского моста к Обуховскому, то на правой же стороне

непременно заметите дом изящной архитектуры во вкусе барок. Он красноватого цвета; карнизы и окна украшены лепной работой; крытый подъезд с двумя большими фонарями, с бронзовыми скобками и зеркальными стеклами ведет во внутренность этого изящного дома. Большие зеркальные же стекла в дубовых рамах украшают все окна. В одном из них торчит чучело попугая, в другом, на третьем этаже, виднеются два изящных мраморных кувшинчика.

В какую пору дня ни довелось бы вам идти мимо, вы никогда не заметите за этими зеркальными стеклами ни малейшего признака жизни; вам никогда не мелькнет оттуда облик человеческой фигуры. В какую бы пору вечера и ночи ни бросили вы взгляд на эти окна, вам никогда не придется заметить в них освещения: все глухо и пусто, словно бы дом этот вымер. Одно только крайнее к стороне Обуховского моста окно нижнего этажа составляет исключение. В нем виднеются белые занавески да листья каких-то растений, и об вечернюю пору брезжится иногда огонечек. Тут живет единственный обитатель пустого

дома — швейцар.

Если бы какими-нибудь судьбами вам удалось переступить порог этого изящного на вид, пустого дома — странное и несколько жуткое чувство закралось бы в душу. Вы увидали бы богатые сени, с колоннами и статуями. Налево — дверь к швейцару, направо — в изящный кабинет, ненарушимую тишину которого охраняют четыре человеческие фигуры, поставленные по сторонам входной двери и напротив, по бокам камина. Неподвижные фигуры эти облечены в полные, тяжелые рыцарские доспехи и держат в чешуйчато-стальных руках огромные средневековые мечи и алебарды. Налево завешанная драпировкой дверь ведет в темную комнату, с заколоченными окнами, которые пропускают в щели свои две-три полоски слабого света, и при помощи его глаз может разглядеть на свете женскую фигуру — картину хорошего письма. Отсюда — новая дверь выводит в ванну, где винтообразная лестница поднимается в средний этаж, а около нее устроен темный потайной ход в зимний сад и под внутренние ворота, куда спускается он высокими ступе-

нями.

Вернитесь опять в парадные сени, бросьте взгляд наверх перед собой, где представится вам легкая, роскошная и широкая лестница, которая прямо приведет к довольно обширному зимнему саду. Этот сад — высокая, во все три этажа, зала, с двух сторон обильно залитая дневным светом. Легкие, узенькие воздушные лестницы и галерейки вьются по разным направлениям, опоясывают ее со всех сторон и ведут в средний и верхний этажи, откуда смело выдаются сюда легкие балкончики, крытые ложи с дорогими хрустально-узорчатыми стеклами. Но все это уже приходит в ветхость и с каждым днем все больше да больше подтачивается временем, так что ходить по всем этим лестницам вполне твердой, самоуверенной поступью может быть и не совсем безопасным: вы ясно чувствуете, как они местами трещат и поддаются под вашей ступней. Направо от входа с парадной лестницы — ряд беломраморных колонок и кариатид, под которыми внизу сквозит почтенной работы каменная решетка с выточенными из камня же мелкими украшения-

ми и гербами, и эта решетка маскирует собой темный потайной ход из ванны. По белым стенам разбросаны там и сям лепные консоли, на которых некогда помещались газоны с округло прядающим вниз каскадом дорогих растений. Во многих местах этих стен доселе еще грустно висят и спускаются с вышины сухие, длинные стебли ползучих, вьющихся лиан, павоев, плюща и винограда, кудрявые и резвые побеги которых когда-то сплошь и покрывали эти стены обильно листвою и цветами. Тут красовался целый лес драгоценных тропических деревьев, блистали роскошные клумбы редкостных цветов; и до сих пор еще можно видеть обломки обрамлявших эти клумбы бордюров из целого дуба, решетчато выточенного искусным художественным резцом в виде виноградных гроздий, листьев и сучьев. Посредине мозаичного пола вделан мраморный бассейн, где когда-то были прохладные фонтаны и отражались, вместе с обильной, разнообразной зеленью, в больших зеркалах, которые теперь с каждым годом все больше тускнеют и портятся — летом от пыли, зимою от сырости.

Поднимитесь три-четыре ступени, и вы из сада с одной стороны очутитесь в полусумрачной бильярдной, стены, пол и потолок которой сплошь поделаны из резного дуба. Отсюда — новая обширная комната, с закрытыми окнами на улицу. Она вся завалена разным хламом, и рядом же с этим хламом валяются предметы самой изысканной роскоши. На полу кое-как сброшена богатейшая коллекция древнего оружия. Тут спокойно ржавеют себе панцири, шлемы, чешуйчатые рукавицы; стоит в углу большая группа самых разнообразных копий, алебард, бердышей и кистеней-головоломок с игольчатыми, ежевидными чугунными шарами на стальных цепях; а на полу — несколько десятков различных мечей, между которыми особенно обращает на себя внимание один экземпляр, клинком которому служит длинный нос пилы-рыбы и который, наверно, пришелся бы по руке Илье Муромцу. У противоположной стены, рядом с нагроможденной роскошной мебелью, прислонены несколько больших, полуторасаженных картин новой, но весьма хорошей работы, которыми, как слышно,

предполагалось украсить в виде обоев стены большой концертной и театральной залы. Тут же валяются и недоконченные половинки дверей, с самой тонкой, изящной лепной работой и позолотою. И на все это уже несколько лет садится, слой за слоем, обильная пыль и грязь, так что и прикоснуться боязно.

Вернувшись опять в зимний сад и поднявшись по лесенке направо, за мраморные колонки и кариатиды, вы очутитесь перед большим зеркалом, которое служит дверью, потайным образом ведущею в роскошную и уютную библиотеку, где вся отделка, при удивительной роскоши, дышит самым строгим стилем. Большие стекла, прозрачно расписанные пестрыми арабесками, пейзажиками и гербами, маскируют собою вид на отвратительный Полторацкий переулок и наполняют весь этот тихий приют таинственным и ровным полусветом, так и располагающим вас к уединению и серьезному спокойствию, потребным для занятия чтением. В среднем окне возвышается на пьедестале высокая мраморная урна, очень тонкой и, кажется, очень

старой работы. В простенках — массивные дубовые шкафы, которыми сплошь занята вся стена, обращенная к саду, где одна отодвижная половинка служит потайной дверью, ведущею в этот сад. Шкафы эти наполнены книгами, большею частью старой печати, на немецком, латинском, итальянском, французском и иных языках в старинных, корешковых прочных переплетах, между которыми значительную долю занимают пожелтелые пергаментные, и все это богатство, покрытое обильной пылью и паутиной, преимущественно относится к литературам восемнадцатого и семнадцатого столетий. Очевидно, оно составляет старое фамильное достояние.

После библиотеки ваше внимание непременно остановилось бы на двух парадных гостиных. Обе они обиты штофом. Одна голубая, почти вполне отделанная; по стенам ее, как принадлежность обоев, расположены медальоны с прекрасной акварельной живописью цветов и растений. Другая необыкновенно эффектна. Представьте себе комнату, блещущую беломраморными стенами, широкий нижний карниз которых, отороченный позо-

лотой, обит нежной пунцовой материей. Беломраморная арка с колоннами разделяет эту комнату на две половины, и в боковых пролетах арки устроены помещения для цветов, которые в данный момент дополняются одним воображением. Но тут же, в этой самой гостиной, как и во всем доме, вы видите начатую и недовершенную работу: пол представляет печальную картину разрушения, которая особенно ярко выдается в большой зале, где предполагался домашний театр; рядом с начатой великолепной отделкой стен, где должны были сочетаться между собой мозаика, скульптура и живопись, вы видите кучи мусору, подпольные балки, кирпичи и всякий хлам. Пройдите далее, и вам представятся уже положительные развалины. То будет начатая и недоконченная каменная постройка над Полторацким переулком, возвышающаяся над пролетом второй арки этого переулка. Эти развалины — приют голубей, воробьев и летучих мышей; последние с наступлением сумерек начинают здесь свою оживленную деятельность.

Затем, при дальнейшем осмотре, вы позна-

комились бы с целым лабиринтом комнат, коридоров, уютных закоулочков, где непривычному человеку весьма легко заблудиться и потеряться; вы увидели бы, что все это приноравливалось для жизни одного богатого семейства на самую широкую барскую ногу, и все это представляет теперь одно только разрушающееся запустение. Тут на каждом шагу обратит на себя ваше внимание то какая-нибудь ваза, позабытая в каком-нибудь углу, то хорошего старого письма картина, брошенная на полу, на попечение судьбы и мышей, то древней средневековой работы цельные дубовые двери с рельефно вырезанными украшениями, представляющими библейские сюжеты жертвоприношения Исаака и пророка Илью в пустыне с кормильцем-вороном. И чем дальше стали бы вы бродить по этому пустынному дому, тем больше охватывало бы вашу душу чувство жуткого уныния. Шаги и голос раздаются пустынно-звучно, словно бы эти стены пугаются и шагов, и голоса, нарушивших внезапно их забвенный покой. Вы видите повсюду самую изысканную роскошь, предполагавшую создать из

внутренности этого дома нечто вроде старинных итальянских палаццо, и видите ее рядом с мусором, гнилью и разрушением. Вы видите, что тут были убиты целые сотни тысяч, и убиты даром, понапрасну. Везде пауки заткали свои сети; повсюду грязная пыль насела целыми пластами: дотронься до чего-нибудь — напустишь ее целое облако. Птицы свободно залетают в разбитые стекла и ютятся себе в непогоду по разным закоулкам карнизов; дождь и снег проникают сюда теми же путями, так что зимою, по разным комнатам, сквозь течи в окнах и крышах, и особенно на мраморном полу сада настывают его целые заледенелые груды, а наверху торчат, словно сталактиты, разнообразные ледяные сосульки.

Ветер свободно гуляет по всем этим обширным комнатам с тихо унылым воем и свистом, так что темными ночами кажется, будто этот пустой дом населен невидимыми духами и всяческой чертовщиной, которая тут и воет, и пляшет, и песни поет. В одной из зал спокойно гниет труп растерзанного голубя, и по всему дому порскают одичалые кош-

ки, ведущие неукротимую войну с залетной птицей, мышами да крысами, которые водятся тут в почтенном изобилии. На всем, одним словом, лежит печальная тень забвения, роскоши, грязи и разрушения.

Этот дом у местных жителей называется Фонталочным домом.

При взгляде на Фонталочный дом снаружи вы бы никак не подумали, судя по отделанному фасаду, что задняя половина его представляет самые печальные развалины. А между тем стоит только заглянуть под ворота, в пролете которых прибита казенная голубая доска с надписью: «Полторацкий переулок», чтобы увидеть в расстоянии тридцати шагов, уже в самом переулке, вторую арку, над которой возвышается в несколько этажей мрачного вида развалина с заколоченными окнами, сложенная из потемнелого, бурого кирпича. Стоит она тут вполне бесполезно и обитаема одними только птицами да летучей мышью.

Налево за этой аркой, по Полторацкому же переулку, пойдет мимо небольшого Конторского флигеля длинное двухэтажное небеленое строение, известное здесь под именем

Корзиночного флигеля, где по преимуществу обитают мирные корзинщики, снабжающие своими изделиями чуть ли не пол-Петербурга. Та часть Корзиночного флигеля, которая выходит к Полторацкому переулку, в среде вяземских обитателей известна более под именем «Никанорихи». Название на первый взгляд весьма странное, но мы сейчас объясним его. В нижнем этаже «Никанорихи» находится кабак, который содержит еще нестарая и на иной глаз довольно смазливая псковитянка, Пелагея Никаноровна. Сама она помещается над кабаком, содержа в своей квартире и воровской ночлежный приют. Пелагея Никаноровна и сама достопримечательна в качестве мошенницы. В сундуках да в подпольях у нее была однажды найдена полицией весьма значительная покража, которая по суду не повела ее в страны сибирские только потому, что у Пелагеи Никаноровны карман изрядно-таки толстенек. Эта Пелагея Никаноровна у вяземцев известна под именем Никанорихи, отчего и часть флигеля, занимаемая ею, получила то же название.

Корзиночный флигель тянется параллель-

но с Фонтанкой в направлении к Обуховскому проспекту. На вид это длинное небеленое здание, фасадная часть которого позади флигеля Конторского выходит на так называемый Пустой двор. Пустой двор — не что иное, как пустырь, со всех сторон обрамленный стенами. Он довольно обширен для того, чтобы смотреть совершенным пустырем, по которому местами пошла дикая сорная поросль, а потому и называется Пустым. Стены, обрамляющие его, совершенно глухие, за исключением Корзиночного флигеля, в котором есть окна.

В прежнее время[473] отличительною чертою этого двора была громадная гора всяческих нечистот, вровень с крышей Тряпичного флигеля, примыкающего к нему справа. Все это в течение многих и многих лет сваливалось сюда сквозь маленькое оконце, одиноко пробитое почти под самой крышей названного флигеля, так что, начиная с ранней весны, вплоть до крепких заморозков, в густой атмосфере этого двора стояла неисходная зараза [474].

В двух-трех местах Корзиночного флигеля

дефилируют узенькие проходные коридорчики, которые ведут в новый двор, находящийся позади этого флигеля и называемый двором Порожним. Порожний точно так же представляет замкнутое со всех сторон высокими стенами пространство, значительно меньших размеров, сравнительно с Пустым. С одной стороны его, в виде невысокой колоннады, идут два длинных ряда кирпичных устоев, возведенных для какой-то постройки, которой не суждено было осуществиться. На Порожнем же дворе помещается и знаменитый у вяземцев «Козел». Роль «Козла» играет здесь пустая квартира в нижнем этаже, с окнами без рам и стекол, с дверями без плинтусов и деревянных створов, с разломанной русской печью и полом без досок. Квартира однажды была отделана и готовилась в сдачу под жилье, как вдруг, в одну темную ночь, забралось в нее несколько вяземцев, разломило и повытаскивало все, что только можно было стащить. Дерево пошло на растопки, а железные скобки, задвижки и тому подобные вещи за гроши сбыты в железные лавки. С тех пор квартира уже не возобновлялась и отошла

под иные хозяйственные надобности. А именно: если кто из обитателей тринадцати домов сделает какое-нибудь незначительное буйство, то дворники, не доводя о том до полиции, тащат виновного в пустую квартиру и там производят собственноручную расправу. И вяземцы вообще очень одобряют таковой самосуд, сами даже помогают ему, ибо они сами не жалуют полиции, частей, сибирок и кварталов. А вследствие подобных расправ экзекуционная квартира и получила у них наименование «Козла».

За «Козлом» находится небольшое отгороженное пространство, в виде отдельного дворика, где помещалось гусачное заведение. Гусачных заведений в Вяземской лавре было два, теперь же осталось только одно, на противоположном конце, у Сенной площади. Но знаете ли вы, что такое гусачное заведение? Вам, конечно, неоднократно, если даже не ежедневно, доводится встречать на углах некоторых площадей и улиц, а большей частью при въездах на мосты, те грязноватые лотки, на которых продаются печенки, рубцы да студень и тому подобные закуски. Все это

приготовляется в гусачных заведениях. Но как приготовляется! Если бы нервы ваши в состоянии были вынести убийственную вонь, то, войдя в отгороженный дворик, устланный прогнившими и пропитанными кровью досками, вы бы увидели прежде всего несколько огромных чанов. Одни из них наполнены кровью, другие бычачьими внутренностями, из третьих торчат бычачьи головы, в четвертых — груда ног и хвостов. Несколько работников в перепачканной и закорузлой одежде трудятся над этими чанами, сортируют внутренности, рубят топорами головы и кости и таскают все это в стряпную. Тут же на железных крюках, вбитых в кирпичную стену, висят несколько бычачьих туш, с которых стекает кровь в одно общее длинное корыто.

В настоящее время, когда одно из этих заведений уничтожено по причине крайнего неряшества, на промозглой стене его видна еще, по прошествии трех лет, все та же кровь, столь въевшаяся в кирпич и так крепко запекшаяся, что ее не смыли ни снега, ни дожди петербургские, ни людские усилия.

На дощатой настилке дворика стоят огром-

ные лужи крови и валяются ненужные внутренности, рядом с которыми тут же, на навозе, лежат и пригодные, в виде ног, языков, гусаков, хвостов и прочего.

Несколько голодных, полуодичалых собак, словно шакалы, понуро лакомятся непригодною в дело пищей, тычут заалевшие морды в кровавые лужи, лакают оттуда языком и ведут войну с кошками, являющимися с той же целью. А по ночам, откуда ни возьмись и неизвестно с какой целью, наползает сюда целое воинство крыс, в изобилии плодящихся по окрестности. Летом, особенно в знойные дни, тут кишат мириады больших зеленых и серовато-желтых мух, так что в воздухе стоит такое жужжание, как словно бы сюда слетелось множество пчелиных роев.

С одного конца этого дворика, словно темный зев, из которого валит зловонный пар, смотрит на вас низенький вход в стряпную, куда надо спуститься две-три ступени. Тут, в совершенной темноте и копоти, кипят огромные котлы с бычачьими внутренностями. Из-под полу прокрадывается красный свет пламени, скрытого под ним в большой и низень-

кой печи; но эти лучи только местами освещают черного повара, а вся остальная внутренность низкосводной стряпной остается в глубоком мраке. Пар стоит непроницаемым, густым туманом; жара и духота убийственные, и ко всему этому невыносимая вонь, с которой могут сравниться только несколько десятков зараженных трупов.

Тут-то и приготавливаются эти закуски, в состав которых, как рассказывают люди, называющие себя очевидцами, входили иногда, наряду с бычачьими, внутренности и лошадиные, и даже собачьи, а о мелкой животине, вроде какой-нибудь крысы, попавшейся в чан и изрубленной случайно, нечего уж и рассказывать.

Кроме гусачных заведений в Вяземской лавре имеется еще несколько куреней. В 1863 году число их доходило до семи. Они помещаются в подвальном этаже так называемого Новополторацкого или Стекольчатого флигеля, о котором речь еще впереди. Каждый из этих куреней представляет низкосводный подвал, около трех квадратных саженей пространством. Большая русская печь занимает

более четверти всего помещения, которое в остальных своих частях более чем наполовину занято большими столами, где приготовляется тесто для пирогов, калачей и саек; а кроме этих столов конечное пространство комнаты загромождено еще посудой да разной рухлядью. Теснота такая, что повернуться негде, а духота, неисходно царствующая в курене от не перестающей топиться печи, доходит до того, что человеку со свежего воздуха становится дурно, и нельзя дышать свободно. Семь или восемь хлебопеков посменно возятся то у печи, то у столов, а к вечеру сюда же набивается голов до двадцати народу, который в течение дня бродил по Сенной и ее окрестностям, продавая куренные печенья. Летом же, когда народу этого значительно прибывает, число куренных обитателей доходит до тридцати и даже до тридцати пяти человек. Все это как попало спит в этой комнате, валяясь на порожних столах и под ними, либо же уходят в сени и на двор, на прохладу; а в это время очередная смена работает у раскаленной печи запас пирогов и булок, который разойдется на рассвете, как только про-

глянет утро и проснется обитатель трущоб Сенной площади.

Вообще в Вяземской лавре помещается очень много различных промышленных заведений. Не говоря уже о кабаках и пивных и о ресторации «Сухаревке», от которой и самый флигель, занимаемый ею, называется тем же именем и которая уже давно описана в настоящем повествовании, — тут находятся большая кузница, отдельный Столярный флигель и общественные бани, которые особенно замечательны были патриархальностью своих обычаев: в летнее время любители обоего пола нераздельно мылись на дворе, а зимой выбегали сюда же поваляться в снегу, отнюдь не смущаясь посторонними взорами людей мимоидущих[475]. В отдельных же, так называемых семейных, банях два первые нумера отличаются даже значительной роскошью, особенно если вспомнить, что они принадлежат Вяземскому дому. Тут и мраморные ванны, и ковры, и драпри, и мягкая комфортабельная мебель. И все это служит по большей части к удовольствию средней руки мошенников, когда им удастся зашибить выгодную добычу.

При этом нельзя не заметить, что в этих нумерных банях весьма нередки случаи скоропостижной смерти, как говорят, от удара и опоя спиртными напитками.

О Конторском флигеле, собственно, нечего говорить, кроме того, что это небольшой, отдельно стоящий каменный домик, который содержится несравненно опрятнее всех остальных и в котором помещается контора и живет управляющий.

Гораздо интереснее соседний с ним флигель — Тряпичный. Этот точно так же представляет отдельный, длинный, двухэтажный дом с отдельным внутренним двором. Здесь испокон веку жили тряпичники — те самые, которых, с большим вместительным мешком за плечами, вам неоднократно доводилось встречать на грязных задних дворах, вооруженных клюкой с насаженным на конец ее острым железным крючком. Тут находился более двадцати лет сряду один из самых главных притонов этой оригинальной промышленности, которая на первый, поверхностный взгляд кажется только не совсем чистоплотной, а в сущности далеко не невинна. Впро-

чем, об этом после. Узенькие, темные лестнички без перил, вроде тех, по каким взбираются на колокольни, ведут вас в квартиры Тряпичного флигеля. Только для того, чтобы достичь этих лестниц, нужно сперва перейти двор, во всех углах которого красуются целые горы грязных тряпок, лохмотьев, бумажек, костей, подошв и тысячи тому подобных предметов, которые по всему городу выбрасываются, за ненужностью, в ямы задних дворов. Эти горы — трофеи тряпичной промышленности. В одном месте поперек двора протянуто несколько веревок и на них развешены для просушки целые ряды таких же пестрых тряпиц: они продадутся потом как отборные, первого сорта. Переходить тряпичный двор оказывалось весьма затруднительно: в течение более чем двадцати лет он ни разу не чистился, ни разу не подметался. Представьте же себе, что это такое там было! Летом он являлся какой-то зловонной трясиной, в которую по щиколотку уходила нога; зимою же там образовывалась сплошная ледяная кора бурого цвета. Чуть только начнется оттепель, как со всех концов и углов гнилого, пробрюзг-

шего дома начинала стекаться сюда мутная, грязная вода, которая под утро при новом морозце подбавляла новый ледяной слой к прежней бурой коре, и вот к весне изо всего этого образовывалось такое болото, по которому впору ходить было только в охотничьих сапожищах. И этот двор, вместе с его грудами тряпья, между прочим, служил местом ночлега для разных бездомников, особенно же для «бродячих» женщин. Делалось это обыкновенно так, что залезет человек в это тряпье, забьется подальше, по возможности в самую глубь тряпичной груды, чтобы потеплее было, да и спит до рассвета. Когда же этот двор принялись наконец расчищать, то, прежде чем добраться до мостовой, нужно было снять затверделую кору, толщиной гораздо более аршина, так что самая расчистка представляла собой весьма трудную работу[476]. Но вот вы преодолели трудности двора, преодолели узенькую и совсем темную лестницу и очутились в одной из квартир тряпичной артели. Квартира эта является вам в виде узкой, низенькой и длинной, окон в семь, залы, где нары перемешаны с кроватями, а посре-

дине — большой длинный стол, служащий трапезой. Грязь и удушье и в то же время проявление своего рода эстетизма: на потолке, бог весть как и для чего, подвешена поломанная люстра, а по стенам, в виде украшения, всякая всячина: половина чьей-то оборванной фотографической карточки, крышка от кондитерской коробки из-под конфет, с золотою надписью «Rabon», заржавая подкова, отбитая ручка гипсовой статуэтки, оборвыши картинок из «Иллюстрации», объявление о воздушном полете Берга, с изображением шара, запачканная в грязи гирляндочка искусственных цветов, золотая конфетная бумажка, донышко пуховой шляпы и множество подобной, ни к чему не пригодной дряни. Все это прибито или прилеплено к стене с помощью хлебного мякиша, все это имеет назначение украшать артельную квартиру и, стало быть, служит проявлением своеобразного эстетического чувства тряпичников, и все это было в разное время подобрано из кучи дрянного сора при сортировке.

Против Тряпичного флигеля тянется вдоль Полторацкого переулка главное гнездо Вязем-

ской лавры, трущоба трущоб петербургских: это так называемый Стекольчатый или Новополторацкий флигель.

Если вы заглянете с набережной Фонтанки в ворота Фонталочного дома, вам под двумя арками откроется длинная перспектива узенького переулочка. По нем вечно снует народ — обитатель лавры и Сенной площади. Справа во всю глубину этой перспективы тянется темный, покосившийся и погнивший забор, отделяющий дворы Вяземского от обширных дворов генеральши Яковлевой. Слева же идет Стекольчатый флигель. Это — Полторацкий переулок, по которому бывало даже и днем ходить небезопасно, о вечере нечего уж и говорить. Да даже и теперь, при значительно усиленном полицейском бдении и надзоре, нельзя вполне поручиться, если вы пойдете один-одинешенек, чтобы с вами не случилось чего-нибудь очень неприятного. А года два тому назад очутиться вдруг без шапки или даже без шубы, да вдобавок с прилично ошеломляющим подзатыльником, не было ничего мудреного. Здесь на каждом шагу ноголомные рытвины, вбоины, ухабы, выворо-

ченные камни, грязь, лужи, делающие проезд почти невозможным. Зимою же настывают такие бугры и скаты льду, что пройти переулком, не поскользнувшись и не шлепнувшись раз десяток, мог бы разве очень ловкий эквилибрист.

Со стороны Полторацкого Стекольчатый или Новополторацкий флигель представляет длинное трехэтажное здание грязно-желтого казарменного вида. Окна нижнего, подвального этажа по большей части выбиты, кое-где загорожены чем ни попало, а преимущественно ничем, и стоят себе без стекол, без переплетов и даже, случается, вовсе без рам. Они приходятся очень низко над землей, так что в зимнее время, когда случится обильная оттепель, мутные потоки уличной грязи и воды свободно стекают с оледенелых бугров в жилые помещения подвалов. Эти помещения похожи более на хлевы, чем на людское жилье, и некоторая часть из них остается пустой, служа только потайным ночным приютом для беспаспортных бездомников, у которых нет ни гроша, чтобы добыть себе место в ночлежных квартирах. В самой середине

этого флигеля помещается дрянная и тесная мелочная лавчонка, за съем которой, как слышно, хозяин платит сто десять рублей серебром в месяц. Из этой цифры можно судить, насколько здесь потребляется его нехитрых товаров и какую огромную выгоду должна приносить ему грошовая торговля в одном только Стекольчатом флигеле.

По фасаду на Полторацкий переулок этот дом представляет мало интересного: мрачная, запущенная и какая-то пустынно-казенная внешность, битые стекла, голые рамы, плесень да отлупившаяся штукатурка — и только. В несравненно более живописном виде является эта трущоба, если посмотреть на ее задний фас с той стороны, где она тянется насупротив Тряпичного флигеля. Тут вы увидите двухъярусную галерею. Длинный ряд ее полукруглых арок уходит вдаль и тянется во всю длину этого флигеля, прерываясь только в центре маленьким выступом каменной пристройки, которая до того уже пробрюзгла, что цемент почти не держит кирпичей, отчего самая стена как-то выпятилась наружу, дала несколько трещин и грозит падением. В

предупреждение последнего печального обстоятельства было придумано весьма остроумное средство: подпереть ее снизу досками и бревенчатыми распорками. Подперли, и ничего: покамест стоит себе, слава Богу. Эта двухэтажная галерея имеет весьма оригинальный вид. Внизу, между арочными устоями, нагромождено всякого хламу: тут и бочки, и кучи досок, и полозья, и колеса, и ящики какие-то, и чего-чего только нету! Верхний же ярус представляет широкие круглые окна в пролетах арок, где пестрят разноцветные лохмотья, вывешенные на воздух. Эти-то окна, со стеклами в частых и словно бы парниковых переплетах, и послужили причиной того, что Новополторацкий флигель назван здесь Стекольчатым. Переплеты рам и стекла, играющие на отсвет всеми переливами радуги, конечно, наполовину поломаны и повыбиты; из них торчат и высовываются всевозможные людские головы: женщины, дети — все возрасты и полы. По коридору видно, как бродит и снует взад и вперед множество разных людей — и пьяные, и лохмотники, и голодные, иные чуть ли не в полном костюме Адама.

«Бродячие» женщины затевают перебранки и, гуляя по тому же коридору в самом бесцеремонно развращенном виде, задирают прохожий люд. Тут вам бросается в глаза непрерывное людское движение, слышны смешанный гул человеческого говора, детский плач, женское тараторство, возгласы продавцов по части съедомого и носимого, мужская ругань и бесшабашная песня. Словом, вы чуете, что тут жизнь трущобная кипит, и кипит в полном, обычном, ежедневном своем разгаре.

XXXIX
ОБИТАТЕЛИ ВЯЗЕМСКОЙ ЛАВРЫ

Дом Вяземского — сквозняк. Он выходит тремя главными воротами на Фонтанку, на Обуховский проспект и на Сенную площадь. Если мы говорим *«дом»*, то в данном случае разумеем под этим именем все тринадцать флигелей; население его делится на оседлое и кочевое. К первому принадлежат квартирные съемщики, прописанные здесь на постоянном жительстве; ко второму — большая часть их жильцов и так называемые

ночлежники, которые ежесуточно перекочевывают с одной квартиры на другую. Таким образом, общее число обитателей Вяземского дома, во всей совокупности их, простирается до 10 000 душ, являя собой население, которое пришлось бы впору любому уездному городку обычно средней руки.

Мы нисколько не погрешим против истины, если скажем, что дом князя Вяземского служит извечным и главным приютом всевозможных и разнородных пролетариев Петербурга, большей части голодных людей этого города.

Нам скажут, что, по официальным сведениям, он считается в числе самых неблагонадежных, ибо заселен мошенниками, ворами, беспаспортными бродягами и тому подобным народом, существование которого не признается удобным в благоустроенном городе. Это совершенно справедливо, как относительно заселения, так и относительно его неудобства; но ведь в том-то и дело, что не одни только порочные склонности сами по себе делают из людей воров и негодяев, а прежде всего, и притом главнейшим образом, все тот

же голод да холод, все та же каторжная невозможность при всех усилиях жить честной жизнью, тогда как *жить* все-таки хочется, пока смертный час не пришел. Голод и нищета граничат с преступлением. Но этого мало: нищета и пролетариат суть сами по себе преступление целого общества, виновного в таком строе своей общественной жизни, который может порождать эти горькие явления. И если общество терпит от нищеты и пролетариата, оно, в сущности, несет только вполне заслуженную кару за свое собственное совокупное преступление. Жаловаться и винить кроме самих себя решительно некого: пролетариат — преступление общества. Кто бы ни доказывал в великом самообольщении, что в России нет этого явления, что оно даже невозможно у нас, что оно всецело принадлежит только Западной Европе, мы скажем ему: неправда! У нас пока, слава Богу, нет, да, вероятно, и не будет пролетариата почвенного, безземельного, но есть в значительных размерах пролетариат городской, чуть ли не самый жалкий из всех явлений этого рода и представляющий собою сильный контингент

острогов, арестантских рот, сибирской каторги и поселений. Говорю смело, говорю по опыту, по многочисленным и многократным наблюдениям, что большая часть воров, мошенников, бродяг — не что иное, как невольные жертвы социальных условий. Ты, мой читатель, мог это видеть на наглядном примере Ивана Вересова. Мы не оправдываем воровства и мошенничества; мы не желаем доказывать, что подобный промысел законен в общем итоге социальной жизни; но мы указываем на настоящие причины зла, и потому вовсе не хотим относиться с известного рода сентиментальностью к голодному и холодному пролетарию, а показываем его и его жизнь так, каковы они суть на самом деле, со всем их горем, нищетой, развратом и пороком, со всем их физическим и нравственным безобразием. Если это описание успеет возбудить в читателе ужас и омерзение к подобной обстановке и существованию, то оно же, вероятно, успеет одновременно вызвать в нем и разумное человеческое участие к падшему человеку без всяких с нашей стороны сентиментальных подыгрываний под его сердечность и

притворного причитания да вытья о сочувствии. Если ты *человек*, то сочувствие явится к тебе само собой, невзирая на отвратительную обстановку этой жизни, невзирая на отталкивающие нравственные стороны этой жизни, которых нечего прятать, ни приходить от них в карающее негодование. Прятать и сглаживать не следует потому, что чем они будут ярче и виднее, тем более узнается самая жизнь и самые эти люди и, стало быть, тем скорее и настоятельнее можно будет подумать о том, как избавить человека от подобных социальных условий и от подобной жизни. Негодовать же, и особенно негодовать карательно, и вовсе уж не следует, потому что прежде, чем негодовать и карать, нужно хорошо исследовать первичные побудительные причины, хорошо знать мотивы такой жизни, исполненной всякой мерзости, порока и преступления. Люди, прежде чем быть скверными, бывают голодными. Те же, которых скверность является сама по себе, прежде голода и не побуждаемая особенными, тяжелыми условиями жизни, составляют ненормальную сторону человечества, явление пе-

чальное и как бы болезненное.

Итак, поведем теперь речь об обитателях Вяземской лавры.

Не станем говорить о корзинщиках, столярах, кузнецах, гусачниках и куренщиках. Это все народ *при деле,* народ, имеющий постоянную работу, определенные занятия и более или менее оседлость, так что живет ли он в Вяземском доме или в другом каком месте — это не составит решительно никакой характерной разницы. Гораздо интереснее остальные обитатели, составляющие громадное большинство местного населения.

Чуть только забрезжится на небе утро, чуть заголосят предрассветные петела между четырьмя и пятью часами пополуночи — в Вяземской лавре начинается движение. Она просыпается. И вот вскоре из ворот ее на Обуховском проспекте начинают высыпать рабочие артели каменщиков, землекопов и плотников, которые, перекрестясь на все четыре стороны, отправляются себе гурьбами к своему рабочему делу. Вообще, надо заметить, что население этого дома как-то само собой спе-

циализировалось на отдельные группы самым простым и естественным образом. Столяры заняли отдельный Столярный флигель, корзинщики и тряпичники — точно так же; куренщики с пирожниками поселились в подвальном этаже Новополторацкого дома, верхний этаж которого служит постоянным привалом для рабочих артелей, особенно же занят он хорошим, честным и весьма трудолюбивым народом, приходящим сюда на заработки из Витебской губернии. Средний же этаж, то есть стекольчатая галерея, служит неизменным притоном мазуриков, беспаспортных и всевозможных бродяг, которые также сгруппировались и еще в одном, особенном флигеле крайней ветхости, называемом «Над четвертными», в силу того что жилья этих корпораций помещаются тут над четвертными банями.

Вскоре за рабочими артелями из тех же ворот на Обуховском проспекте показываются пирожники и калачники со своим товаром, которые, точно так же перекрестясь на четыре конца, рассыпаются по Сенной площади и ближайшим окрестностям. Одновременно с

ними расползлись по тем же местам и лотки с гусаками да печенкой и прочими закусками. На Сенной в это же время начинается уже первое утреннее движение: скрипят возы с сеном и телеги со всякой живностью да овощью из подгородных деревень; трусит рысцой беловолосый чухна в таратайке, наполненной кадушками масла да бочонками молока, и трясогузки охтянки спешат со сливками, и православный телятник флегматически везет на продажу полную телегу своего живого, но в замор заморенного товару, который стукается безнадежно свешенными головами о тележные бока и колеса.

Но вот раздается первый удар благовестного колокола. К заутрене звонят. Весь народ, находящийся в эту минуту на площади, снимает шапки и крестится; а в это самое время из Вяземской лавры стороною ползут разные Касьянчики-старчики и Слюняи, Фомушки и Макридушки, слепыши и хромыши, сухоруки и язвленники — словом, разная нищая братия, к которой присоединяются ходебщики на мнимое построение храмов. Первый удар колокола — это их час, начало их дневной дея-

тельности, которая, почти без исключения, для всего этого люда начинается прежде поборов на паперти непременным визитом в кабак, успевший уже растворить свои гостеприимные двери. Тут совершается нищею братиею надлежащее подкрепление — «потому дело наше бродячее да стоячее, больше все на юру, на ветру да на дождике, с головой непокрытой — самое холодное дело, прости, Господи!»

Почти тотчас же вслед за нищими торопливой и озабоченной походкой шмыгают из лаврских ворот барышники-перекупщики, так называемые маклаки, и вместе с ними выходят на промысел тряпичники, которые высыпают на улицу не артелью, как плотники и каменщики, а идут вразброс, по два, по три либо в одиночку. Первые, то есть маклаки, раскидываются по Фонтанке, от Аничкина до Измайловского моста, по Садовой улице, от Чернышева переулка до Никольского рынка, и затем — по Чернышеву до Лиговки, у Глазова кабака. На всех этих пунктах они ловят ночных мазуриков и скупают у них «темный товар». Прохожего народу в это время на ули-

цах не особенно много, поэтому ничего не препятствует им вести эту куплю и продажу на открытом, вольном воздухе. Барышники-маклаки вообще сильно не жалуют тряпичников, которых ругательно обзывают они «вонью, помойниками, крюками, подзаборниками и падалью». Те, в свою очередь, огрызаются и титулуют маклаков «порточными маклаками». Таковая неприязнь происходит от взаимной и притом весьма сильной конкуренции, преимущество которой остается на стороне тряпичников, так как они действуют хотя и в одиночку по видимому, но в сущности на артельном начале, тогда как маклаки занимаются своим ремеслом исключительно порознь и один с другим из своей братии общих дел не заводят. Тряпичники, специальность которых заключается в собирании по всевозможным дворам и закоулкам брошенных за негодностью тряпок и костей да в скупке старого платья, сапог и бутылок с банками, принадлежат, в сущности своей, к разряду воров-перекупщиков. Вор-перекупщик не совсем-таки то же самое, что барышник-перекупщик. Последний только с выго-

дой для себя надувает мазуриков, а первые и надувают, и заказывают воровства по их личному указанию, и сами при удобном случае изрядно-таки поворовывают. Главная же суть заключается, однако, в перекупе темного товару — и в малом, и в весьма большом количестве. Хотя они и живут артелями, но никогда почти не составляют артелей самостоятельных, а ходят «от хозяина». Тряпичные хозяева держат артели либо при себе, либо же нанимают для них в разных концах города особые помещения, под надзором своих приказчиков, которые иногда состоят даже в доле со своими хозяевами; хозяева же, почти все без исключения, владеют в городе собственными благоприобретенными домами, что составляет необыкновенное удобство для избранного ими промысла; они устраивают при своих домах особые огромные сараи для склада товара и держат их под надежными запорами да кроме того имеют еще укромные подвалы, подполья и разные тайники, где хранится у них товар темного свойства. За известную плату каждый хозяин-тряпичник составляет свою собственную артель, а иногда

даже и по две, и по три. В артели эти идут мужики и мальчишки, по большей части одного с ним уезда и деревни, так что они оказываются с хозяином своим либо односельчане, либо близкие соседи. Хозяин, бывший мужик и точно такой же заурядный тряпичник, при мало-мальской разживе приписывается в купеческую гильдию и, по большей части, переменяет костюм и смотрит шибко зажиточным, почетным гражданином.

Проснувшись ранее пяти часов утра, артель тряпичников, вся вкупе, садится обедать, и затем каждый из работников получает от доверенного приказчика либо от самого хозяина от десяти до двадцати пяти рублей серебром на день, и с мешком за плечами рассыпаются они во все концы города. По нескольку раз в день заходят в разные условленные кабаки и харчевни, где сходятся за стойкой или за чайным столом с известными им мазуриками, причем наличный темный товар исчезает в мешках тряпичников, а часть выданной на дневной расход суммы переходит в карман жоржа. В прежние годы водилось так, что пока одна часть тряпичной артели броди-

ла с клюкою у сорных ям, другая кочевала из двора во двор с козлиными возгласами: «Старого платья продать!» или гнусила: «Бутылки-штоф! Банки-штоф!» Но с тех пор как этот род торговли оказался официально воспрещенным, они скитаются по дворам уже молча. И это послужило к их же выгоде, так как теперь они чаще прежнего слоняются по черным лестницам разных домов и заглядывают в квартиры, особенно где дверь не плотно притворена. Без сомнения, многим случалось натыкаться в своей кухне на такое неожиданное посещение, когда вдруг осторожно и тихо приотворится выходная дверь и в нее просунется пронырливая физиономия с вопросом, нет ли костей или тряпок продажных, старого платья, бутылок, банок, штофов продажных. Можете быть вполне уверены, что этот вопрос — не более как один только благовидный предлог со стороны тряпичного артельца и предлагается им потому лишь, что он имел несчастие застать в кухне людей. А если бы такого обстоятельства не случилось, то вы наверное не досчитались бы каких-нибудь вещей, вроде серебряной ложки, медной посуды

или столового белья. Они заодно уж не дают спуску и домашней птице, которой мигом свертывают голову — и в мешок, а потом в курятную лавку. Зачастую, высматривая этим способом расположение квартиры и подходящих вещей, особенно когда прислуга согласится продать перекупщику кости да банки со старым тряпьем, промышленник отправляется немедленно в условленную харчевню и там подговаривает «на клей» знакомых жоржей, которым тут же за парой чая вручает и денежный задаток на предстоящее дело. Когда таким образом обусловлена значительная кража, артелец немедленно дает знать о ней своему хозяину, а тот уже выбирает из артели самых ловких людей, которые на надежных извозчиках ожидают ночью за углом улицы, где должна произойти кража. Получив от исполнителей наворованное добро и наскоро рассчитавшись с ними, причем всегда бывает не без греха в расчете, они мчатся к хозяину, где все это благоприобретенное имущество сейчас же исчезает в тайниках и подпольях.

Каждый из артельцев непременно надеет-

ся в свой черед сделаться приказчиком, а потом и самостоятельным хозяином, который в свое время был таким же, как и он, простым тряпичником в чьей-нибудь артели. Собирание тряпья да бумажек хотя и приносит свои выгоды, но эта часть промысла составляет только официально-наружный, благовидный предлог. Главная же суть — в тайниках и подпольях да в темном товаре. Но эта главная суть, конечно, сохраняется в глубокой тайне от всех, кому о том знать не следует, и поэтому многим кажется весьма удивительным то обстоятельство, что через какие-нибудь десять — пятнадцать лет тряпичные хозяева покупают себе каменные дома, строят их один за другим, даже застраивают, по нескольку флигелей, весьма обширные пространства, способствуя таким образом к вящему приукрашению города; затем приобретают титулы почетных граждан, становятся почтенными, всеобщеуважаемыми людьми и даже, случается подчас, занимают различные должности на поприще городского общественного служения.

Почти одновременно с тряпичниками вы-

ходят на дневной промысел и мазурики. В это время одни из них только что выходят на работу, другие же только что возвращаются к отдыху. Последние принадлежат к разряду ночников, поэтому их уже очень зорко высматривают и ловят барышники-перекупщики, в надежде выгодно поживиться от голодного и трезвого жоржа тем темным товаром, который тот успел приобрести в течение ночи. Как входящие в лавру, так и выходящие из оной мазурики относятся к ворам среднего и преимущественно низшего разряда. Эта корпорация, точно так же, как и прочие сословия государства, имеет свою аристократию и свой плебс. Два последних разряда формируются из подонков общества, из накипи всех сословий, за некоторым исключением дворян (и то далеко не общим), которые норовят всегда держаться первого, высшего разряда. В последних же двух вы найдете мелюзгу из чиновничьего мира и канцелярских служителей, исключенных из службы; точно таких же офицеришек, пьяненьких купеческих сынков да приказчиков, выгнанных за нечистую руку, бессрочных или беглых и ни к че-

му не пригодных солдат, лакеев, кучеров, дворников, кабачных сидельцев, чиновничьих детей, которые, по гнусной бедности родителей, не могли быть пристроены к грамоте и делу. Наконец, вы отыщете тут мещан и крестьян, прибывших в Петербург на заработки, но, по несчастным обстоятельствам, не нашедших себе вовремя работы, и, таким образом, стали они, ради насущной необходимости, поворовывать, а вскоре от пьянства да тунеядства получили уже полное отвращение к честному труду. И вот вам извечный контингент, из которого формируются многочисленные корпорации мелких петербургских мошенников.

Крестьяне, попавшие в число мазуриков третьего разряда, составляют иногда целые артели для коллективного промысла. Вот чем по преимуществу занимаются эти артели: в числе тридцати, сорока, иногда и более человек являются они к какому-нибудь подрядчику наниматься в работу. Самое возможное для этого время, конечно, весна и лето. Но прежде чем прийти наниматься, воровская артель идет в какой-нибудь из специальных мазур-

ничьих кабаков, вроде бывшего «Полторацкого», бывшей «Широкой лестницы», или в «Конькову моленну», в «Телячий», в «Ивановский» либо «Зелененький», и там запасаются поддельными плакатами. С этими новыми «бирками с молоточка» артель приходит к подрядчику и нанимается в работу. Торг слажен, причем каждый из артельцев получает в задаток от десяти до двадцати пяти рублей, а для верности они оставляют подрядчику свои фальшивые виды, что называется у них на байковом argot *заделать* бирки. И вот, получив задаточные деньги, артель запасается в кабаке новыми плакатами и точно таким же порядком отправляется к другому подрядчику, за другим к третьему и т. д., отчего, конечно, происходит естественное недоверие и подрыв действительно честным артелям рабочих, которые вследствие этого гораздо труднее находят себе доверие и работу.

Мошенники средней руки, точно так же как и мошенники высшего разряда, непременно имеют по нескольку квартир. Самое бедное — две, и одна из них по большей части обретается в какой-нибудь трущобе Сенной

площади. Одна берется на имя самого мошенника, другая же — на имя жены или дамы его сердца. Это делается для более удобного укрывательства на случай полицейских поисков. Днем их никогда не отыщешь ни на одной из квартир, которые им нужны только для ночлегов. Мошенники же низшего разряда довольствуются перекочевками из одной ночлежной в другую и обитают исключительно в самых темных трущобах, вроде Вяземской лавры, около которой постоянно встретишь их в часы раннего утра. Одни, как мы уже говорили, выходят на дневной промысел, другие — возвращаются с ночного. А одновременно с ними показываются из тех же ворот толпы в тридцать, в пятьдесят и более человек оборванного, испитого и голодного народу. Одна толпа выходит вслед за другой с небольшими промежутками, и все они направляются по одному пути, к одной общей цели.

Путь этот — на Васильевский остров, цель эта — голландская биржа. С раннего утра вся площадка позади университета перед биржевыми пакгаузами наполняется массою гром-

ко голчащего оборванного народа, который пришел сюда искать тяжелой, чисто каторжной работы за скудную поденную плату. Рук тут предлагается множество, но из множества биржевые дрягили выбирают сотню-другую, а все остальное остается ни при чем. Эта толпа состоит из окончательных пролетариев. Работник, потерявший место, мужик, вышедший из больницы, бесприютный заштатный чиновник, бессрочный солдат — все это стекается в одну и ту же толпу, на известную площадку. Не удастся получить работу день, не удастся другой, не удастся третий и четвертый, а на пятый голодный и оборванный человек по необходимости высматривает уже, нет ли чего подходящего, что бы можно было подтибрить. Голод служит ему теперь первым советчиком и учителем на воровство, а там уже идет дорога торная и легкая, после первого трудного и тяжелого шага.

Около девяти часов утра в воротах Вяземской лавры начинают показываться местные аристократы. Это чиновники, живущие здесь «по углам» в ночлежных притонах. Есть между ними холостые, есть и женатые. И те и дру-

гие в своем чиновничьем мире принадлежат к разряду самых жалких чиновничьих парий! Но пусть они там будут париями, зато они являются аристократами в Вяземской лавре. Да и как же не аристократия? Они могут пить кофе с цикорием. Пить кофе с цикорием там, где подчас большинству просто нечего есть. Это уже является великим и чисто аристократическим преимуществом.

В четыре часа пополудни они появляются в перекусочных подвалах и обедают. Один чиновник, весьма пожилой вдовец, приходил сюда обедать с пятью маленькими детьми, которые жили с ним вместе, в одном углу ночлежной квартиры Вяземского дома. Он обедал скуднее остальных своих собратий, потому что у него было кроме своего собственного еще пять маленьких желудков, и эти последние желудки отличались большой прожорливостью. Надо было насыщать их в ущерб самому себе. Кто имел жену и одного ребенка, тот обедал богаче вдовца с пятью ребятами. Кто имел одну только жену без ребят, тот мог насыщать себя более и лучше имеющего жену и ребенка. Кто не имел ни того ни

другого, тот был самым счастливым человеком, ибо питал только свой собственный желудок, не помышляя о других, и, стало быть, мог даже допускать кое-какие излишества и убогую роскошь в убогой пище перекусочного подвала.

С пяти часов пополудни начинается прилив обитателей лавры. Вышедшие поутру последними возвращаются теперь первыми. За ними после вечерен и всенощных появляются нищие. За нищими — торговцы и тряпичники. За этими — усталые на работе артели каменщиков, землекопов, плотников и поденщики. Наконец приходят барышники-перекупщики и мазурики. После этих, когда вовсе уже станет темно на дворе, у ворот появляются совсем уже голодные, бездомные люди и голодные бродячие женщины. И те и другие ищут удобного случая проскользнуть незаметно в ворота Вяземской лавры, чтобы дворники не заприметили. Если это им удастся, то они забираются на чердаки, в нежилые подвалы или закапываются в груду разного тряпья, бумажек и костей на бесконечно грязном и топком дворе Тряпичного флигеля. Вся-

кому хочется отыскать и захватить себе какой-нибудь уголок, где бы можно было укрыться на ночь до раннего рассвета.

И вот наступает наконец эта вожделенная ночь; но и она не может назваться вполне покойной для голодного бездомника, да и каждый почти из лаврских обитателей точно так же не может почитать ее покойной для собственной особы.

Причина этого беспокойства — ежеминутное ожидание ночной полицейской облавы. Это своего рода охота на людей, которых не подстреливают и не травят борзыми собаками, но забирают в сибирки, дабы очищать городскую атмосферу от бродяг, беспаспортных скитальцев и иногда от мошенников.

В глухую полночь, когда вся Вяземская лавра, по-видимому, предалась уже отдохновению и покою, все входы и выходы ее оцепляются полицейскими патрулями. Ни войти, ни выйти нет уже никому ни малейшей возможности. И эта оцепка совершается в глубокой тишине. Три входа Стекольчатого или Новополторацкого флигеля, который служит главным пунктом облавы, точно так же зани-

маются полицейским караулом. Когда все это исполнено, караулы размещены по надлежащим местам, тогда начинается и самая охота. Полицейская власть, подкрепленная несколькими вооруженными людьми, начинает обходить ночлежные квартиры.

— Долой с нар!.. Вставай!.. Где хозяин?.. Паспорты сюда! — распоряжается какой-нибудь рослый детина с медной бляхой на груди, пока лицо, производящее облаву, остается в дверях квартиры. И вот через минуту все население ночлежной уже повскакало на ноги. Смущенный хозяин или хозяйка тащит из своей каморки все наличные виды своих обитателей. Двое городовых становятся по бокам главного прохода, один против другого, в двух шагах перед полицейским чиновником, и начинается проверочная перекличка. У кого законный вид не подлежит сомнению, того пропускают мимо двух городовых в другую половину ночлежной комнаты; у кого же наличного вида не имеется или усмотрена в нем фальшь — того отсылают в сени, под присмотр особого караула, который, по окончании всей облавы, уводит под арест длинную

вереницу беспаспортных и подозрительных людей.

Но у лаврских обитателей развито необыкновенное чутье: они чуют полицию. Поэтому они очень часто предупреждают ее. Первый, кто имеет возможность почуять и предупредить, это знаменитая Никанориха. Из окон ее, особенно летними ночами, очень хорошо видно всякого проходящего к Стекольчатому флигелю и по Полторацкому переулку. У Никанорихи даже и в глухую полночь окна всегда освещены. Чуть приметят из этих окон, что полиция прошла в Стекольчатый, как вдруг огонь немедленно потухает, и это служит сигналом для крайней квартиры Стекольчатого, где на крытой галерее всегда есть ночлежники. Коль скоро последние заметили, что свет у Никанорихи потух не в обычную пору, значит — полиция уже подымается по лестнице. Тотчас же осторожный стук в дверь крайней квартиры дает знать о приближении опасности. Из первой квартиры стучат в стену второй, из второй — в стену третьей и так далее, по всему среднему этажу Стекольчатого флигеля.

Эта минута — минута паники и общего переполоха.

Чуть послышится стук последовательных ударов из стены в стену, как по всем квартирам подымается бесшумное смятение и идет глухой, шепотливый тревожный гул. Весь народ, который может предвидеть для себя явную опасность в полицейском посещении, ищет благополучного исхода, хочет спастись. Прячутся куда и как попало. Забиваются по нескольку человек в большую русскую печь, зарываются в разный хлам под нарами, залезают в квасные и капустные бочки, в мучные мешки, лежащие в складочных подвалах куреней, и лежат в этих мешках пластами один на другом, на верхних полках и на верхних рядах этих мешков. Иные бегут в ретирадные места и кидаются в клоаки, иные держатся внутри этих клоак, уцепившись пальцами за доски верхней настилки, и висят под ними всем телом на воздухе в самом напряженном и отчаянном положении, но зато невидимые для ищущего глаза. Иные, наконец, решаются и на более отчаянное средство: распахивается окно — и хорошо если оно приходится близ

дождевой трубы, по которой можно спуститься в Полторацкий переулок и через забор удрать на соседние дворы генеральши Яковлевой. Если же этого удобства не оказывается, то перепуганные люди просто-напросто решаются выскакивать из окон и с высоты второго этажа кидаются прямо на улицу. Если упал удачно, то есть с сильным ушибом, но без перелома кости, то есть надежда улизнуть через забор; если же неудачно, то, нечего делать, оставайся жертвой полиции, которая, впрочем, редко пропускает эти побеги, так как ей очень хорошо известны все уловки вяземцев, и она беспощадно отыскивает беглецов и в бочках, и в мешках, и в клоаках, и вдоль Полторацкого переулка, так что, в сущности, побег остается почти всегда вполне тщетной попыткой, и одна только безграничная страсть к воле вольной, самосохранение да слепая надежда на *авось* заставляет людей выкидывать все эти безрассудные, отчаянные salto mortale[477].

Но вот кончается полицейская облава, и обычная жизнь Вяземской лавры как ни в чем не бывало вступает в свои прежние пра-

ва. Та же мутная река течет своим прежним течением.

XL
НОЧЛЕЖНЫЕ

Маша не знала, куда ведет ее Чуха. Все равно, куда бы не идти, лишь бы поскорей забыться, успокоиться. Люди и жизнь и обстановка этих людей и этой жизни не ужасали девушку в данную минуту. Ей было скверно и досадно вспомнить про Летучего — она бы разорвала и уничтожила его за час тому назад, если бы только были силы. Теперь же сердце Маши могло уделить на долю этого человека одно лишь злобное презрение. До всего же остального, казалось, ей не было никакого дела. Ей было все равно. Хотелось только сна и покоя — прежде всего сна и покоя.

— Куда мы идем? — спросила она свою спутницу.

— Спать.

— О, наконец-то!.. Слава тебе Господи!

И она еще охотнее пошла за старухой.

Чуха вела ее вонюче-грязными и топкими

дворами Вяземской лавры к Стекольчатому флигелю. И вот, словно черная пасть, приняла их под свои своды темная лестница, ведущая на стеклянную галерею. Подыматься по влажно-скользким ступеням было очень трудно, так что, ухватясь одною рукою за Чуху, Маша другою придерживалась за стенку и, при всей осторожности, все-таки на каждом шагу рисковала оступиться, поскользнуться и опрокинуться вниз. Наверху был слышен какой-то гул: лавра угомонялась, но еще не заснула. Идут по коридору. Вдруг обе оступились, запнувшись за что-то лежащее поперек дороги.

— Кой дьявол тут по людям шагает! — послышался с полу сонный, недовольный и притом пьяноватый голос.

— А ты подберись к сторонке, чем на пути лежать! — резонно возразила Чуха, за что немедленно получила от потревоженного бездомника пинок ногою.

Наткнулись они таким образом еще на нескольких человек, пока добрались до того нумера, который снимала одна солдатка, знакомая Чухе. На галерее спало много народу,

мужчин и женщин. Эти люди и зимой и летом укрываются тут, за недостатком места в ночлежных, и в случае облавы служат первыми жертвами полицейских очищений.

Вошли в темные сени, за которыми впереди были слышны многие голоса. Старуха в потемках нащупала дверь и толкнула ее. Незапертая дверь распахнулась, и из нее густым туманом повалил прелый, удушливый, кисловато-махорочный пар, которым до одури обдало непривычную Машу.

Обе спутницы переступили порог.

— Ай, Чух — песий дух! Наше вам! С пальцем девять! — сипло оприветствовал вошедшую старуху один из обитателей ночлежной, сидевший в кружке, где шла игра в косточки.

— С огурцом одиннадцать! — кивнул другой из той же компании.

— С редькой пятнадцать! — подхватил третий.

И все трое засмеялись собственным остротам.

Чуха, не отвечая на эти шуточки, прямо прошла за перегородку в хозяйкин угол, пошепталась минутку с солдаткой, и та указала

ей на одно место на верхней наре, оставшееся еще незанятым.

Маша огляделась вокруг с немалым изумлением.

Квартира эта состояла из одной комнаты в два маленьких окошка. Комната была очень невелика, не более шести квадратных саженей, с низким закоптелым потолком, по которому в изобилии гуляли клопы, а пауки заткали свои паутины по всем возможным углам и закоулкам. Одна часть этой квартиры была занята русской печью, где кишмя кишела, копошилась и шуршала целая армия тараканов. Стены сплошь иллюминовались мазками раздавленных пальцем клопов, потеками грибчатой сырости, отлупившейся штукатуркой и какими-то пятнами неизвестного происхождения. Смрад, грязь и неисходное убожество — вот слова, которыми можно охарактеризовать это несчастное убежище. По всем стенам, и даже посередине комнаты, были понаделаны нары. Над нижним ярусом нар, в полутораршинном расстоянии, шел второй, средний ярус. Над средним, еще в полуторе аршин, — верхний, почти уже под са-

мым потолком. Все это было сплошь унизано выставившимися наружу пятками и подошвами человеческих ног. Кое-где торчали головы или свесившаяся рука. Под нарами, на грязном полу, среди всяческого хламу и сору, точно так же валялось десятка два людей. Кому случилось опоздать и не найти себе места ни на полу, ни на одном из трех ярусов, тот забирался на подоконник и спал себе сидя либо садился скорчившись у двери, у печки, у одного свободного края дощатой перегородки, отделявшей хозяйкину конуру, в которой, кроме ее самой, обитало еще шесть душ постоянных, месячных постояльцев. Это был почти нищий заштатный чиновник, вдовец с пятью малыми ребятишками, из которых последнему не было еще и году. Во всей квартире скопилось человек до шестнадцати разного народу. Все это валялось на голых досках, подостлав себе в головы какую-нибудь одежишку с сапожонками. Но и то решались на такую подстилку только те, которые надеялись на чуткость своего сна. Кто же знал, что ему всегда спится крепко, тот уже не раздевался и даже шапки с головы не скидал, пото-

му по опыту был твердо уверен, что во сне кто-нибудь с ним «пошалит», так что наутро непременно не досчитаешься какой-нибудь принадлежности костюма. Между этим народом перетасовывались все возрасты человеческой жизни. Тут были и старики, и грудные дети, здоровые парни, мужики и дряхлые старухи, мальчишки и девчонки, женщины и молодые девушки, иные еще невинные, иные уже с детства развратные, иные беременные и голодные, другие больные и пьяные. Все это лежало вповалку и вперемешку друг с другом, как попало и где пришлось, откровенно, беззастенчиво; и тут же на глазах у всех этих людей совершались в разных местах самые зазорные сцены. Это была какая-то человеческая псарня, вонючий сарай, в который ночные фурманщики загоняют захваченных на улице, в бродячем состоянии, разношерстных и разнородных собак. Другого сравнения нет и быть не может.

Внизу, под нарами, точно так же вперемешку с мужчинами, валялись грязные полунагие женщины. Бедра одной служили изголовьем для другой, другой для третьей и так

далее. Тут было взаимное одолжение.

Вдруг Маша заметила, что у ее ног что-то копошится. Это *что-то* корчилось и ежилось на ничтожном пространстве пола, которое оставалось еще свободным. Это жалкое существо было пьяно, мокро, грязно и окровавлено, наполовину лысая голова была всклокочена. Грязное существо запускало в эту паклю свои окровавленные пальцы и вытаскивало целые пряди вырванных волосьев, хрипло завывая о том, что «зачем его так больно таскали за волосное правление!». Какое-то растерзанное мокрое рубище едва-едва кое-где прикрывало обильно перепачканное уличной грязью, нагое, истощенное тело. По обезображенному лицу текли слезы, потеки грязи и кровь. Грязное существо было безжалостно, беспощадно избито и пьяно хныкало, приправляя это хныканье самой цинической руганью и угрозами кому-то.

Маша с ужасом глядела на это жалкое подобие человека и наконец, по его словам, заметила с колючей болью в сердце, что это была женщина... Она, избитая, исколоченная где-то на дворе, притащилась сюда искать се-

бе, Христа ради, ночлега.

— Я бы в кучу пошла, на Тряпичный, — хныкала она сама с собою, — да боюсь — убьет... совсем убьет, разбойник!.. Мерзлую б собаку ему в глотку, чтоб она там лаяла, таяла, скребла, жрала да его матери детей берегла! Чтоб ему, подлецу... Ах!.. Ах, девушки-подруженьки!.. Ва-ва-ва-ва!..

И начинается новый неистовый вой, а вокруг нее на полу давно уж образовалась лужица крови; но на такое обстоятельство никто не обращает ни малейшего внимания, и одну только квартирную хозяйку оно смущает несколько с той стороны, что, не ровен час, нагрянет ночью облава, увидит кровь да избитую женщину, пойдут расспросы: что, мол, за женщина, да где ее вид. А дьявол ее ведает, кто она такова! Поди-ка, еще из-за нее да самое потянут. Опростаться б от нее лучше, пока до греха! И в силу таких соображений хозяйка стала выталкивать ее из квартиры. Но женщина не идет и все продолжает бормотать, что пошла бы она в кучу на Тряпичный, да убьет шельмец, расшельма он разбойницкая.

Солдатка, недолго думая, кликнула двух подозрительного вида молодцов из кучки, где шла игра в косточки, и все втроем за волосы вытащили несчастную на галерею, невзирая на ее отчаянные мольбы и крики.

Невыразимо тяжко было Маше глядеть на все эти безобразия, и не особенно утешительную картину представило ей с первой встречи это новое место, где она чаяла найти себе сон и успокоение. Ей хотелось бежать — но куда бежать из этого лабиринта, в котором и днем-то потеряешься, который пугал ее на каждом шагу своим мраком и людьми, его населяющими, и представлялся ей теперь какой-то черной, зловещей неизвестностью. Куда побежишь — одна-одинешенька? Как найдешь дорогу? Где отыщешь выходы? У кого спросишь пути? Пойдешь одна, а там, быть может, на первом же шагу обидят тебя, изобьют, ограбят, изнасилуют и бросят среди темной ночи одну, поруганную, беспомощную...

Она с ужасом и тоской взглянула на свою спутницу, словно бы ждала ее слова, ее совета, словно бы вся предавалась в ее волю.

Странное дело: эта безобразная старуха была единственное существо среди трущобного мира, к которому Маша в ту минуту не чувствовала боязни и почему-то почти бессознательно, инстинктивно верила в эту женщину: она ее не обманет, она ей не сделает зла, она сумеет защитить ее в случае надобности. И вся дрожа, взволнованная и перепуганная, Маша доверчиво прижалась к своей спутнице.

Та как будто предугадывала все, что должна была чувствовать в тот миг эта девушка.

Лицо ее стало мрачно и тревожно-печально, как только заметила она, какое впечатление сделала на Машу вся эта ночлежная квартира, и эта пьяная окровавленная женщина, и вся сцена, разыгравшаяся над нею. Для нее самой все это было дело давно привычное, заурядное; но тревожилась она за свою спутницу. Быть может, в глубине души все сильно возмутило Чуху; быть может, ей бы и хотелось вступиться за женщину, вытащенную за волосы, но — увы! — Чуха побоялась гнева хозяйки. Она не хотела вести Машу в другие ночлежные, с хозяевами которых сама не бы-

ла хорошо знакома. Тут, в этой самой квартире, был ее постоянный ночлег, тут было для нее более спокойно и более безопасно: все же есть-таки, на всякий случай, хоть несколько знакомых людей. А рассерди она хозяйку своим непрошеным заступничеством, та без малейшей церемонии выгонит сейчас же и ее вместе с Машей, ибо квартирные хозяева в трущобном мире вообще крайне деспотично относятся к своим постояльцам; а тут, при таком обороте дела, и двое расходившихся молодцов, пожалуй, еще поусердствуют своими кулаками. Долгая жизнь в трущобах и горький трущобный опыт давно уже научили Чуху быть в иных случаях черство-рассудительной и эгоистически-осторожной.

Почувствовав взгляд и движение прижавшейся к ней Маши, старуха поторопилась ответить ей успокоительным взором и прошептала:

— Не бойся... Ничего не бойся: пока ты со мною — никто не тронет.

— Пойдем отсюда... Пойдем куда-нибудь в другое место, — тихо просила ее девушка.

Та только пожала плечами.

— Некуда, милая... Пойми ты, некуда больше идти; здесь еще несколько лучше, спокойнее, чем у других... Перетерпи уж хоть одну-то ночь!.. Ну куда ты пойдешь? Говорю тебе: некуда, некуда! — убеждала ее старуха, глядя в ее глаза хорошим и честным взором.

Маша, потупясь, раздумала с минуту, и вдруг, быстро подняв голову, несколько странно улыбнулась.

— А впрочем... живут же вот люди! — проговорила она, окинув глазами комнату. — Чем я лучше их?.. Пустяки, нечего привередничать! И здесь хорошо будет!

«Между чем выбирать-то мне? — горько подумалось ей. — Не из чего! Хуже ведь уж не будет, да и лучшего теперь нигде не отыщешь!»

И вместе с этой мыслью она снова всецело отдалась своему спокойному равнодушию относительно всего, что бы ни ожидало ее в дальнейшей жизни.

— Спасибо, хозяйка приберегла мне сегодня мое место... потеснимся как-нибудь, авось на обеих хватит, — говорила Чуха, помогая Маше вскарабкаться на третий ярус нар, куда

надо было взбираться по плохой приставленной лестничке.

Там, под самым потолком, стояла страшная духота, заметная здесь несравненно более, чем внизу. Это было неудобство третьего яруса, на котором за место в аршин ширины платится в ночь две копейки с человека. Средний и нижний ярусы ходят уже в три копейки. Это своего рода аристократический бельэтаж ночлежной. Зато места на полу под нарами, то же самое, что этаж подвальный, стоят в цене, равной с верхним ярусом, а иногда, при обилии ночлежников, понижаются (конечно, не иначе как с торгу ночлежника с хозяином) даже и до одной копейки. На двух нижних ярусах можно еще сесть на занятом месте; под потолком же и на полу этого сделать нельзя: там можно только лежать, и забираться в эти места нужно ползком на животе, подобно пресмыкающемуся[478]. Таким же самым способом вползли туда и Маша с Чухой. Последняя сняла с себя кацавейку и устроила из нее для обеих головную подстилку. Это уже почитается здесь большим удобством, ибо мешок, набитый соломой, вместо

подушки да кое-какая подстилка под спину служат уже признаком не удобства, а комфортабельной роскоши.

По всей ночлежной раздавался многозвучный богатырский храп. За перегородкой неумолчно пищал больной ребенок, и слышно было, как усталый, измученный вдовый отец его, кряхтя и охая, сам качает люльку, тягучий скрип которой аккомпанировал этому писку и этому храпу. В углу все еще длилась игра в косточки, допивался полуштоф водки и раздавались громкие споры по поводу дележки выигранных денег. Дверь ночлежной не запиралась, и время от времени в нее входил какой-нибудь новый посетитель или посетительница; но видя, что все места на нарах уже заняты, ютился себе где попало, в сидячем положении, навалясь тяжело на соседа, и это обстоятельство обыкновенно служило поводом к ругани из-за места между ночлежниками, потревоженными новым постояльцем[479].

Среди всего этого довольно трудно было заснуть, но Машу одолевала такая сильная усталость — и моральная, и физическая, что

она через минуту спала уже глубоким сном, приютясь под потолком рядом с Чухой.

Около пяти часов утра ее разбудил необыкновенный шум, говор, споры и поминутное хлопание двери — странное смешение звуков, которые вместе с детским плачем и хриплым кашлем проснувшихся пьяниц наполняли теперь ночлежную.

Маша раскрыла глаза: подле нее с одной стороны лежала Чуха, с другой было уже пусто на несколько мест кряду. На другом конце верхнего яруса несколько человек, легши на живот, ползком спускались вниз, нащупывая ногами подставленную лестницу.

Свободное пространство на верхней наре позволило Маше ползком же передвинуться в такое положение, в котором она могла видеть, что происходит внизу. Ее удивил этот шум и движение; захотелось узнать и причину.

Она видела, как из-под нижней нары, словно пауки или черви, выползали существа, носившие признаки образа человеческого. Но это именно были только признаки его, а са-

мый образ скрывался под всклокоченными космами, под синяками, приобретенными во вчерашних драках, под грязью и пылью, которою слишком изобилуют места под нарами. Выползали рубища и лохмотья, выползали обнаженные члены человеческого тела. Все это немилосердно чесалось, скреблось, потягивалось и громко зевало, крестя свои широко распахнувшиеся рты. По комнате толклось много разного народу. Иные, кто желал быть почистоплотнее, раздевались вконец, выходили на галерею и там вытрясали свое платье от пыли и насекомых; иные же, не выходя, совершали свой туалет — мужчины и женщины рядом. Каждый был занят только собою, не обращая на других никакого внимания. Несколько ребят ревмя ревели бог весть с чего, а раздосадованные матки отшлепывали их за такое занятие и тем еще усиливали ребячий концерт. Квартирная хозяйка пронзительно тараторливым и каким-то утиным голосом крупно считалась с кем-то из ночлежников. Дело шло о недостаче одного гроша. Эта почтенная дама стояла в дверях, держась за железную скобку, а близ нее неотлучно на-

ходились два вчерашних молодца, ее обычные нахлебники, которые, на случай надобности, играли здесь роль мордобийц и мздовоздателей. Это было обычное утреннее время, когда ночлежники Вяземской лавры расстаются с объятиями Морфея и своих случайных соседок-дульциней. Это был час, в который для вяземцев начинается их день и работа. Квартирная хозяйка, дверь которой вчерашним вечером столь гостеприимно была отверста для каждого входящего, сегодня утром скаредно стоит у этой самой, теперь уже замкнутой, двери и поочередно пропускает в нее своих ночлежников, но пропускает не ранее, когда лишь почувствует на своей ладони достодолжную за ночлег трешку или семитку. Если же трешки или семитки налицо не оказывается, то подымается немедленно спор, и с виновного в пользу хозяйки стаскиваются сапожонки или что-нибудь «лишнее» из одежишки. А буде сапожонок нет и вместо одежи на плечах болтается убогое дырявое рубище, так что содрать решительно уже нечего, то в этом случае хозяйка удовольствуется тем, что двое приспешников ее на-

мнут порядком бока да накладут по шее такому неисправному субъекту и торжественно вытолкают его за дверь, чтобы напредки уж не показывался.

И вся эта кутерьма и толкотня совершалась при слабом свете наступающего бледного утра.

Вдовый чиновник, в качестве постоянного жильца и грамотного человека, выдавал за перегородкой, при мутном огне сального огарка, плакаты и виды тем из ночлежников, у которых таковые имелись в наличности и были вчера вечером, для порядку, вручены хозяйке на сохранение.

Когда же наконец расплатились и вышли все те, кому это нужно было, дверь распахнулась настежь и осталась в таковом положении, ибо сгущенная и донельзя спертая атмосфера ночлежной требовала немедленного очищения. Там угрюмо царила злейшая зараза. В открытую дверь повалили седые клубы холодного воздуха, и этим же путем можно было видеть часть того, что в данную минуту происходило на галерее.

Там среди грязнейших луж, где еще валя-

лись некоторые из тех непроспавшихся бездомников, что ищут себе ночного приюта по дворам да на этой галерее, стояли две молоденькие девушки перед дымящимися котлами. Одна продавала похлебку, другая — вареный картофель, а рядом помещались пирожник, сбитенщик и саечник. Эту группу тесно обступала толпа разношерстного народу, который только что повысыпал сюда из ночлежных и голодно жрал все эти снеди.

Среди общего гула и говора то и дело раздавались возгласы продавцов: «Кому картошки! Похлебочки!.. Пироги горячи, горячи из печи! Сбитень московский, сахарный, медовый, на скус бедовый, с перцем, с сердцем, с нашим удовольствием!» Все это покупалось нарасхват и пожиралось торопливо, на ходу, причем иногда впопыхах да в суетливой толкотне иной кусок падал на пол, и к нему тотчас же протягивался проворный десяток голодных, но бессребреных рук, и подымался при этом новый взрыв гаму, ругани, споров, что зачастую вершалось и добрыми зуботычинами. Тут уже на первый план выступал один только голод. Хозяйка пересчитала всю

выручку и затопила печь. Комната наполнилась едким дымом.

Обычный день Вяземской лавры начался обычным своим порядком.

XLI

ЧТО КАЗАЛОСЬ СТРАННОЙ СЛУЧАЙНОСТЬЮ ДЛЯ МАШИ И ДЛЯ ЧУХИ

К десяти часам утра в ночлежной осталось очень немного народу. Все, что населяло ее ночью, разбрелось по разным концам города, с тем чтобы к вечеру опять вернуться в дом Вяземского. Из тех же, которые остались, двое были хворых и лежали на нарах; кучка игроков в косточки значительно умалилась, но все-таки наступившее утро вызвало продолжение игры: в этом углу то и дело звякали крупные медяки и раздавались крупные ругательства, сопровождавшие споры из-за расчетов. Чиновник, обитавший за перегородкой, удалился по своим делам, а оставшиеся дети разбрелись канючить на улицах христарадное подаяние, за исключением старшей девя-

тилетней девочки, и то потому, что на руках ее оставался больной ребенок, которого, за неимением матери, вскармливали на соске. Непрестанный тоскливо-больной плач и визг наполнял собой комнату. Сестренка нянчила младенца как могла: носила на руках, баюкала, совала в рот грязную соску и наконец озлобленно выбилась из сил, видя совершенную тщетность всех своих терпеливых страданий.

Маша не могла равнодушно переносить эту сцену. Крик ребенка и вид измучившейся девочки томили ей душу. Она взяла у нее дитя к себе на руки и стала баюкать его.

Девочка, воспользовавшись этим маленьким одолжением, тотчас же дала стрекача на улицу: ее тоже одолевало понятное желание заработать лишний христарадный грош, на который можно купить несколько паточных леденцов в мелочной лавочке. Дитя, без сорочки и пеленок, было голяком завернуто в какое-то грязное, дырявое лохмотье, из которого клоками торчала слежавшаяся вата.

— Экий несчастный ребенок! — с участием и как-то жутко проговорила Маша, глядя на

малютку. Она безуспешно укачивала его на руках: ребенок стонал и не брал соски.

— Бывает и хуже, — заметила Чуха тоном, по видимому равнодушным; но чуткое сердце молодой девушки подметило в нем, что это было равнодушие глубокого и притом застарелого отчаяния. Она с удивлением вопросительно взглянула на старуху.

— Да, бывает и хуже, — повторила та, как-то сдержанно вздохнувши из глубины души и безразлично отведя взор куда-то в сторону.

— То есть как же это?.. Хуже-то уж едва ли: нищета и болезнь... И сказать-то он не может, что у него болит, — заметила Маша.

— Ты, милая, спрашиваешь, как это хуже? — возразила Чуха, с желчно-грустной улыбкой. — У этого все-таки есть отец да сестренка: доглядят, когда надобно, а есть, у которых ни отца, ни матери, ни доброго человека... Растет себе, как былина на битой дороге... Есть такие, что ни в жизнь не увидят и не узнают отца с матерью. Этим-то хуже.

Маша немножко раздумалась над словами старухи.

— Я сама из таких, — проговорила наконец

она тихо и как бы сама с собой. — Только меня-то добрые люди подняли на ноги, а отца с матерью тоже не знавала.

Чуха поглядела на нее с пристальным вниманием.

— Да ты из каких? — спросила она.

— А право, и сама не знаю! — пожала плечами девушка. — По паспорту — из здешних мещан.

— Да взглянуть-то на тебя, ты, кажись, не похожа, чтобы из грубой работы? — заметила старуха, окинув ее новым взглядом, которым она делала как бы проверку для подтверждения себе своего мнения.

Маша в ответ на это только улыбнулась несколько странным, загадочным образом.

— Нет, в самом деле, мне так кажется, — проговорила Чуха.

— А мне кажется, что *ты* не совсем-то похожа на здешних, — в свою очередь заметила ей девушка. — Ей-богу, правда! — подтвердила она с доверчиво-открытой искренностью. — Мне вот тоже кажется, что ты и сама... не простая.

— Хм... может быть... — ответила старуха

с точно такой же странной, загадочной улыбкой. — Здесь ведь всякие есть между нашей сестрой. Да я не про то говорю, кто из дворян, кто из мещан, а взглянуть, например, на тебя, так видно, что живала ты хорошей жизнью, иных людей видала... Это уж всегда на человеке след какой-то остается — его не скроешь.

— Видала я всяких! — горько вздохнула Маша. — Были на моем веку и хорошие, честные люди, а были такие, с которыми... не приведи Бог никому столкнуться в жизни.

Слово за словом, разговор тянулся в этом направлении и все становился теплее да откровеннее. Душа молодой девушки слишком была переполнена всяким горем, и это горе она поневоле принуждена была до сих пор глухо таить в себе, не имея близкого, сочувственного сердца, перед которым могла бы открыть все, что так давило и глодало ее, и тем хотя несколько облегчить себя. Сердце ее было слишком молодо и натура слишком нежна для того, чтобы могла она удовлетвориться страданием скрытым, молчаливым и гордым этою молчаливостью. Ей хотелось облегчения, хотелось доброго участия и под-

держки. Их искала ее душа инстинктивно, потому что в этом облегчении и поддержке она обрела бы себе хоть немного новых сил и твердости для дальнейшего существования, подернутого для нее такой черной непроницаемостью. И теперь эта отрадная минута наступила.

В Чухе она с первого почти мгновения сердцем учуяла хорошего, доброго и честного человека. С этой женщиной, казалось ей, можно говорить по душе: она не продаст, не насмеется, не оттолкнет тебя, она поймет все твое горе, поймет, быть может, по собственному опыту. И Маша мало-помалу рассказала ей свою жизнь в Колтовской у Поветиных, с ее светлыми воспоминаниями; рассказала то странное и непонятное ей самой участие в ее судьбе, которое принимала загадочная генеральша фон Шпильце; откровенно передала, как гнусно, каким подлым обманом распорядилась она ее неопытностью, как бросила ее в руки любовника и как, наконец, поступил с нею этот любовник. В голосе ее дрожали слезы и негодование. Чуха слушала с возрастающим вниманием и участием.

— Как зовут этого подлеца? — спросила она с чувством глубокого презрения.

Маша потупилась. При этом слове, которое с такой беспощадностью заклеймило любимого человека, ей стало больно выдать на позор его имя: воспоминание любви все еще не заглохло, не зачерствело в ее сердце. Ей было больно, и в то же время она ненавидела, она точно так же презирала его.

— Зачем скрывать! — с горечью продолжала меж тем старуха. — Если публично объявляют карманного вора, так неужели *этот* заслуживает, чтобы его скрывали из деликатности? Вздор... Если подлец — пусть всякий знает, что подлец, мол! Разве он лучше?

Маша вся вспыхнула ярким румянцем и все-таки длила свое молчание!

Чуха участливо заглянула в ее глаза и кротко взяла ее руку.

— Ты, видно, все еще любишь его? — тихо проговорила она.

Маша вздрогнула, словно бы испугалась этого слова.

— Я?.. Я люблю его?.. О нет, нет! Боже меня избави! — быстро и энергично заговорила

она. — Нет, князь Шадурский не стоит любви честной женщины.

При этом имени Чуха, уже в свою очередь, вздрогнула и изменилась в лице.

— Шадурский?.. Князь Шадурский?! Как его зовут?.. Как зовут его?.. Имя? — быстрым шепотом и в сильной тревоге заговорила она, крепко сжав Машину руку.

Девушка глядела на нес с великим изумлением!

— Владимир, — было ее едва слышным ответом.

— Владимир? — подхватила Чуха, широко раскрыв свои черные и в ту минуту сверкавшие глаза. — Владимир, говоришь ты? Да уж не Дмитриевич ли, по батюшке? — добавила она с злорадно саркастической улыбкой в лице и голосе.

— Да, Владимир Дмитриевич.

— А!.. Так это, значит, сын, да, сын... — раздумчиво, медленно и словно бы сама с собою проговорила пораженная Чуха, глядя неопределенно в землю.

С минуту длилось молчание. Затем она тихо поднялась с места, медленно выпрямилась

под глубоким вздохом и стала перед Машей, неотводно глядя на нее своими грустными глазами, тогда как у самой на губах мелькала какая-то иронически-странная и нервная улыбка.

— Наша судьба похожа, — заговорила она. — Со мною отец то же сделал... отец его — князь Дмитрий Платонович Шадурский... Это у них, должно быть, родовое... Сынок-то, стало быть, не из роду, а в род пошел... Оно так и следует: «C'est le principe!»[480] — прибавила она с глубочайшим презрением и великой ненавистью. — Но... ты все-таки счастливее меня! — вырвался у нее горький и тяжелый вздох. — У тебя хоть ребенка не было, а я от него дочь имела, и эту дочь они от меня украли... Понимаешь ли ты: от матери *дочь* украли!.. Запрятали, скрыли ее куда-то... Может быть... может быть, даже... убили... отравили ее. От них всего жди! От них всего хватит!

Старуха злобно махнула рукой и, торопливо отвернувшись от Маши, быстро зашагала по комнате в своих грязных кисейных лохмотьях, которые развевались в стороны от этой

быстрой ходьбы. Маша молча следила за нею глазами и видела, как она нервно закусывала свою губу, стараясь глотать тяжелые слезы, которые то и дело навертывались на ресницы большими жгучими каплями.

Обе молчали. Одна баюкала больного ребенка, другая продолжала шагать между нарами, и обеим казалось про себя необыкновенно странною эта случайность, это совпадение обстоятельств и имен, отца с сыном, сыгравших такую сходственную роль в жизни той и другой женщины; и, наконец, еще более странным казалось это сходство их общей судьбы, которая в конце концов свела обеих в ночлежный дом Вяземского. Гора с горой не сойдется, человек с человеком — случается.

XLII
СВАДЬБА ИДИОТОВ

Кому из петербургских жителей не доводилось встречать на улицах ручную повозку, на которой спереди утверждена плохенькая шарманка, а сзади, в самой повозочке, помещается расслабленно согбенная человеческая фигура. Эту фигуру, купно с шарманкой, развозят по городу эксплуататоры человеческого убожества. Если вы петербуржец, то ваше внимание, вероятно, не один раз было привлечено странной физиономией человека, возимого в повозочке. Толстые отвислые губы, черные большие глаза совершенно бессмысленного выражения и болезненная бледность лица придают этому несчастному какой-то неприятный и отталкивающе суровый вид. При взгляде на него вам покажется, что он болен, животненно чувственен, скотски глуп и чертовски зол. Таково впечатление от этого лица. Но вы жестоко ошибетесь, если вздумаете поддаться своему впечатлению. Ничего этого нет. Он просто глубоко и глубоко несча-

стен — несчастен до беспредельной степени сожаления. Он идиот. Есть в человеческом обществе неповинные выродки, на которых, кажется, природа будто нарочно выместила всю свою злобу — насмешливую, поражающую, беспощадную. Создавая такого выродка, она как будто хотела сказать человеку: «Ты считаешь себя бессмертным, разумным духом, всесильным царем моим, ты подчиняешь своей воле мои стихийные силы, а я меж тем на этом выродке показываю тебе, что в моей власти создать тебя несчастнее всякого животного, так что любое четвероногое, пожалуй, покажется, сравнительно с этим выродком, идеалом души, ума и развития, а этот выродок — человек, едино-природный брат твой, а ты сам, со всем твоим разумом, ты тоже не избавлен от возможности произвести на свет подобного же выродка, потому что это моя тайна; мало того: это мой каприз!» Тот несчастный, о котором мы теперь говорим, является именно одним из тех субъектов, на которых природа, в своей насмешливой забаве, излила полную чашу творческой злобы. К полнейшему убожеству нравственному и

уродству умственному в этом несчастном присоединялось еще вдобавок убожество и уродство внешнее, физическое. Это второй экземпляр Квазимодо, но экземпляр, лишенный всей силы, души, ума и сердца своего первообраза. Природа отпустила ему очень ничтожный рост, несоразмерно большую голову, длинные бессильные руки и почти совсем отняла ноги: он ходит с величайшим трудом; а болезнь сделала его расслабленно согбенным, сутуловатым и как бы горбатым. Когда везут его в шарманочной повозочке, руки его болтаются как плети, а голова машинально мотается и раскачивается в стороны, словно у гипсового кролика. Казалось бы, для этого существа возможен один только приют и одно жизненное назначение: богоугодный дом, больница умалишенных, а между тем люди нашли возможность утилизировать даже и высшую степень человеческого убожества и уродства: они выставляют его напоказ, они возбуждают им чувство сострадания, в пользу собственного кармана, и хотя это чувство выражает себя не более как грошами да копейками, тем не менее из грошей получается в

ежегодном результате довольно кругленькая сумма, так что шарманочный идиот составляет для этих эксплуататоров прибыльную статью кочевой, уличной промышленности. Как слышно, несчастного иногда перепродают из одних рук в другие; и это очень может быть, потому что его не всегда развозят по городу одни и те же лица. И если оно так, то идиот перепродается вместе с шарманкой и повозочкой, составляя необходимую принадлежность этих вещей. Иногда его возят женщины, иногда мужчины, смотря по тому, кто им пользуется. Летом вы его увидите в неизменной синей блузе, а зимой в каком-то ваточном отрепье. И возят его что-то очень уж с давнего времени: лет около пятнадцати, если не гораздо больше, и будут возить, вероятно, до самой смерти. Несмотря ни на суровые рождественские морозы, ни на июльский зной вы равно увидите его в качестве неизменной поклажи все в той же самой повозочке, с тою же шарманкой, с тою же мотающейся головой, бессильными длинными руками и злобно-бессмысленным взором. Обитает он там, где вздумает поселиться его обладатель;

ест то, что ему дадут, и тогда, когда дадут; а если попадется под руку тряпка, подошва, кусок глины, мочалка или что-нибудь подобное, он и то немедленно несет в рот и усердно принимается действовать зубами. Это скорее какой-то сказочный гномик, чем человек, — гномик, воочию путешествующий по петербургским улицам и дающий о себе знать хриплыми звуками разбитой шарманки.

В то время, к которому относятся обстоятельства нашего повествования, идиот принадлежал какой-то пожилой женщине немецкого происхождения. У нее был муж или сожитель, тоже немец, пропойца самого отчаянного свойства. Как наступало утро, так отправлялся он в кабак, из кабака перепархивал в полпивную, из полпивной снова в кабак, и снова в полпивную, и так далее, до самого вечера. А жена в это время шаталась по всем концам города, возя своего идиота и играя на шарманке. Муж почитал нужным сопровождать ее только в экстренных случаях, когда, например, бывают гулянки под балаганами об Масленой или Святой или на знаменитый Кулерберг под Иванову ночь, в Екате-

рингоф 1 мая, на Елагин 22 июля, во все же остальное время жена шаталась одна, а муж перепархивал из кабака в полпивную. Вечером возвращалась она с выручкой, иногда в полтора-два рубля. Муж требовал от нее денег, жена не давала, он ее бил и отнимал всю выручку, которая переходила немедленно в кассу кабачника. Жена наконец рассудила, что чем быть битой, так лучше самой пьянствовать. Муж ее стал бить и в этом случае: зачем, мол, одна пропиваешь всю выручку. Тогда они стали пропивать ее вместе: вечером, по приходе домой, она оставляла шарманку с идиотом в квартире, а сама отправлялась с мужем в кабак. Хотя и при таком обороте дела сожитель находил иногда нужным упражнять на жене свои кулаки, но житье их вообще пошло ладнее, согласнее: все, что вырабатывала она одна, пропивалось вдвоем. Идиот служил единственным, исключительным ресурсом и поддержкою их жизни, то есть их пьянства. В то время, о котором мы говорим, эта достойная чета со своим кормильцем и поильцем проживала в Вяземском доме. Она снимала под себя один чулан у квар-

тирной хозяйки, той самой, у которой и Чуха имела свой приют под потолком, на верхней наре. При некоторых квартирах Новополторацкого флигеля вы можете заметить в левой стене темных сеней низенькие двери. Эти двери ведут в особые каморки или чуланы, предназначавшиеся под склад разной домашней рухляди, но вместо того служащие квартирами. Хотя они, за исключением единственной двери, совершенно глухи и темны, ибо вовсе не имеют окон, хотя и воздух там отвратителен, однако же и для этих берлог находятся свои обитатели. В иных из таких чуланов ночует от восьми до десяти человек пришлого, бродячего народу, в иных же обитают и постоянные, месячные съемщики. К числу последних принадлежала и пьяная чета обладателей шарманочного идиота. Они все втроем, вместе с повозочкой и шарманкой, помещались в тесном, узком и совершенно темном чулане, за который платили хозяйке полтора рубля серебром ежемесячно. Но им свету и не требовалось, так как чулан оказывался необходим только для одних ночлегов. Возвратясь вечером домой, немка выни-

мала из повозочки своего идиота и втаскивала ее на плечах по скользкой лестнице в чулан, а потом возвращалась за ним и вела его под руку. Обратный процесс повторялся утром. Пьяный муж ко времени возвращения всегда уж поджидал ее на стекольчатой галерее. Они сажали идиота в угол своего чулана, пихнув ему в руки кусок хлеба или какой-нибудь кусок съедобной дряни, и, заперев его в совершенной темноте, сами удалялись пьянствовать. Иногда подбирала их на улице полиция и за пьянственный образ или за драчливое буйство спроваживала в часть. Идиот сидел взаперти, пока наконец не начинал чувствовать голод, и тогда из замкнутого чулана раздавалось его унылое мычание. Говорить — он ничего не говорил, а все свои ощущения изъявлял только мычанием, похожим на телячье; когда же чувствовал прилив гнева, то обыкновенно урчал, в том роде, как урчат расходившиеся на крыше коты-соперники, когда они, облизываясь и медленно поводя напряженно изогнутыми хвостами, сторонятся и косятся друг на друга.

В то же самое время и в том же самом Сте-

кольчатом флигеле Вяземского дома судьба устроила пребывание и еще одного подобного же существа. Читатель мельком видел его однажды, когда, показывая ему корпорацию нищих, приютившихся на паперти Сенного Спаса, мы показали, между прочим, в одном из темных углов притвора высокую, сухощавую старуху, с клоком черных с сединою волос, который выбивался на ее лицо из-под головного платка, с вытянутым, длинным носом и впалыми глазами, жадно высматривающими свою добычу. Эта старуха вместо младенца, для привлечения людского сострадания, держала у себя на руках старуху же — безобразную карлицу-идиотку. Если читатель помнит, идиотка эта была очень мала ростом и страшно худощава, так что казалась каким-то уродливым скелетиком в коже. Тупые бельма-глаза навыкате отличались у нее подвижностью, как у обезьяны, причем она еще, к довершению сходства, беспрестанно мигала веками. В этих глупых глазах сказывалось какое-то вечное выражение бессмысленного испуга, и такое выражение выдавалось тем рельефнее, что за каждым взглядом ее непременно сле-

довало какое-нибудь трусливо-порывистое движение, какая-нибудь приниженная ужимка. Седые волосы ее путались космами и беспорядочно набегали на лицо. Идиотка спешно хватала концы этих косм и тащила их в рот, принимаясь немедленно за торопливое жевание. Житье у старухи нищей было ей совсем уж не красно, так что даже шарманочный идиот сравнительно пользовался все ж таки несколько более сносными условиями существования. Нищая, у которой находилась она на попечении, была очень жадное, мрачное и желчное животное. Она ненавидела это существо, которое ради собственной же выгоды, как младенца, таскала у себя на руках, скудно завернутое в грязные лохмотья. Когда нищая эта была голодна или раздражена чем-нибудь или когда выручка оказывалась у нее плохой, она всю свою злость изливала на идиотке. Она ее била и ругала. Ругани идиотка не понимала, но побои чувствовала, и, быть может, вследствие их-то у нее и образовался этот трусливый, вечно испуганный вид. Попечительница ее была особа жадная и прожорливая, поэтому она еще и не всегда-то

кормила в меру предмет своей эксплуатации, а кидала ему одни только объедки свои. А между тем этот предмет служил немалым поводом к зависти товарок нищей старухи: «Это не то что с малоденцем звонить[481], — говорили они. — Где с малоденцем-то грош наканючишь, она со своей диковиной копейку подберет, потому ей кажинный за самую эту диковину скорее нашего сотворит!» Поэтому товарки ее сильно недолюбливали и рады-радешеньки бывали, коли удастся подстроить ей какую-нибудь пакость, так что нищая старуха держалась еще в среде нищенствующей братии благодаря только мужчинам и особенно старосте Слюняю, с которым, собственно ради этого обстоятельства, принуждена была делиться иногда некоторой частью своей выручки.

Насколько идиотка была подвижна, настолько шарманочный идиот отличался своей апатичной неподвижностью. У одной лицо было бессмысленно испуганно, у другого бессмысленно мрачно и зло. Одна была уже совсем старуха, другой только вступал в период полной зрелости — если только слово «зре-

лость» применимо относительно идиота. Ему можно было дать лет около тридцати. Все это составляло в них качества противоположные, отличные друг от друга, а засим — во всем остальном они пользовались почти безусловным сходством. У обоих все инстинкты были развиты в весьма слабой степени. Они не умели сами одеться, не умели защитить себя от опасности, от непогоды, от голодной собаки, которая порой дерзала вырывать у них из рук кусок пищи, — не понимая необходимости есть своевременно и выбирать для еды подходящие к своей натуре вещества, тогда как эти инстинктивные свойства находим мы весьма развитыми у очень многих из бессловесных животных. Они, напротив, рады были жевать и жрать хоть целые сутки, лишь бы нашелся подходящий для этого материал. Оба весьма охотно пили помои, лакали из грязных лужиц, если их оставляли на свободе, среди какого-нибудь из дворов Вяземского дома, где им всего удобнее можно было отыскивать для жранья всякую дрянь, которая попадалась под руку. Трава, коренья, табак, земля, свечное сало, мочала, глина, солома, подошва

или тряпка — все это служило им обильным материалом для их прожорливого аппетита. Грубая животненная натура проявлялась в этих двух жалчайших существах во всей наготе и срамоте своего безобразия, причем, к довершению уже всех скотских свойств, оба они отличались непомерным любострастием, которое противоестественно проявлялось в каждом из них, словно у обезьяны, одиночно посаженной в клетку. Казалось, природа не могла уже создать никакого наиболее совершенного идеала для наибольшего оскорбления и унижения человека со стороны его нравственных и духовных качеств; она создала идиота — идиота-самца и идиотку-самку, а судьба, словно бы в помощь ей, вздумала иронизировать и как бы нарочно бросила обоих в одну и ту же среду, свела в одном и том же притоне человеческого падения, нищеты, безобразия и порока.

В тот же самый вечер, когда Чуха привела Машу из Малинника в ночлежные Вяземского дома, немка-шарманщица и нищая старуха с их идиотами воротились домой почти одно-

временно со своих промыслов.

— Дурни!.. Дурни Бога нашего!.. Обех волокут! Гляди-кося, паря! Инда смехотина тебе все кишки сопрет, как поглядишь, этта! — говорил один из мздовоздателей и мордобойц солдатской квартиры, указывая своему товарищу на пару идиотов, которых в это время мимо тащили за руки их обладательницы, направляясь по стекольчатой галерее к своим логовищам.

— Отчего это они не говорят, а только все это, значит, по-телячьему да по-кошачьему? — отозвался товарищ.

— Такой им, надо полагать теперича, предел положон.

— Планида такая показана?..

— Это точно что; от самого, то ись, на свет спорожденья.

— Ишь ты!.. Премудрость, право!

— Премудрость.

— И выходит одно слово, что глупые они есть люди.

— А что, брат, — начал опять первый, — я так на эфтот счет полагаю, что теперича порознь им жить очинно выходит скучно.

— Никакой приятности нету. Что ему без бабы, что ей без мужика; а копченый про копченое и на мыслях завсегда уже держит; так и они вот.

— Что, ежели бы их теперича да повенчать?

— Хе-хе-хе! А что ж? Ничего, можно!

— Поп не окрутит.

— А для чего поп? Мы и без попа, сами повершим все дела! А и потеха же это теперича, ежели бы повенчать их!.. Ей-богу, потеха!.. Смехов-то сколько было бы!

— А и в самом деле! Дава-кося, повенчаем!

— Можно.

— Сватьев засылать надо. Кого сватьями пошлем?

— К немке заместо свата полштоф пойдет; а к халде-то к этой сватьей гривну предоставим — обе склеятся[482]!

— Где склеиться! Волка ноги, брат, кормят, а у них энти дурни ровно что струмент у майстрового человека. Теперича майстровый человек без струменту ни к чему не гож, так и они. Сломайся теперича у майстрового человека струмент, ну и при чем он, выходит? Од-

но слово, что ни при чем, и, значит, кажинный майстровый человек допреж всего свой струмент соблюдать должен. Так ли?

— Так-то оно так, да ведь и полштоф тоже ведь денег стоит.

— Чего ей денег, коли она на своем дурне и без того кажинный день беспременно на полштоф выручает.

— А выручает, и пущай ее!.. Свадьбу все-таки можно обварганить. Коли честью не согласна, и силой отберем: поди там, судися с нами!

— А я так полагаю, что это дело, пожалуй, похерить надо, потому — плевка не стоящее.

— Зачем херить? Вот еще!.. Живешь-живешь, инда скука тебя проймет. Любопытно, как они это промеж собой... И коли ежели теперича дети от них пойдут — могут ли дети пойти?

— Беспременно могут.

— И такие же будут?

— Ровно такие ж.

— Ну и шабаш! Стало быть, свадьба!.. Ты, брат, вот что: ты за посаженого будь, и теперича ступай наших ребят оповестить, что так

и так, пожалуйте, мол, на свадьбу, и кому угодно, тот давай в складчину хоть по трешке, чтобы, значит, не даром киятру глядеть — даром, мол, не допущается; а как складчина выгорит, сейчас это купим ведро водки; кто при деньгах, того подпоим, а затем в косточки аль в карты затянем, ну и, значит, выгрузку карманам задавай! Понял теперича?

— Ишь ведь!.. Голова, брат, ты, как я погляжу!.. Клевую штуку придумал! Свадьба, стало быть, пойдет только на подмазку, а главное — ширманам чистка[483].

— Верно!.. Это слово твое — самая центра! Ты, значит, за посаженого, а я хоть за попа стану — и повенчаем.

— Лады, барин, лады! Это дело ходит!

— Ну и, значит, мешкать нечего, ступай гостей собирать.

Сговорились и принялись действовать.

Солдаткины мздовоздатели и мордобойцы по промыслу своей жизни принадлежали к мазурикам; специальность их составляла игра в карты и кости. Это были шулера, подвизавшиеся среди трущобных отребьев. Штука с идиотами экспромтом придумалась ими

сколько для их собственной потехи, столько же и для собственных барышей. Оба они никогда не упускали никаких шуток, из которых могли извлечь себе какую-либо выгоду; поэтому оба весьма усердно изобретали подобные штуки.

На другой день к восьми часам вечера в солдаткину квартиру набралось изрядное количество народу. Тут все были большей частию приглашенные на предстоящую свадьбу.

Солдатка получала иногда от своих мздовоздателей кой-какие деньжишки при «тырбанке сламу», часто сама принимала некоторое участие в их шутках, и потому в данном случае не препятствовала сборищу приглашенных: она нюхом чуяла, что в ее карман перепадут нынче кой-какие лишние деньги, если затеянная штука удастся благополучно.

Чуха не покидала Машу. Они весь день провели вместе, не выходя из ночлежной.

Стояла мерзкая холодная погода, при которой, как говорится, добрый хозяин и собаку на двор не выгонит, поэтому — понятное дело — обеим им, вдосталь наскитавшимся и

нахолодавшимся без крова и пищи, не хотелось расставаться хоть и с грязным, да зато теплым углом. Чуха давно уже научилась давать цену теплу, Маша только теперь; но обе равно дорожили им.

Под вечер начались нехитрые приготовления к предстоящей свадьбе. Одну нару, расположенную посередине комнаты, своротили на сторону, чтобы простору больше было. На место ее поставили маленький столишко и покрыли его узеньким полотенцем с красным узорочьем по краям. На столишке воздвигли, в виде мавзолея, бутыль водки в плетушке, а по бокам, на самом полотенце, поставили две тарелки каких-то нехитрых закусок.

— Тетка! Ты мне дай свою шемягу[484] ковровую, — обратился к хозяйке один из учредителей предстоящего торжества. — Шемяга у нас заместо ризы пойдет, потому никак без ризы венчать невозможно.

— Что и поп, коли ризы нет, — усмехнулась солдатка и достала из сундука широкий большой платок с бахромой и пестрыми разводами.

— А где ж постелю молодым построим? —

домекнулся другой учредитель.

— На первой наре, супротив дверей, чтобы всем видно было, — присоветовал товарищ, и солдатка вытащила откуда-то затасканную рогожку, долженствовавшую играть роль постели. Рогожку положили на избранное место.

Собиравшиеся гости перекидывались остротами и веселыми замечаниями насчет всех этих приготовлений; но более всего взоры их клонило на заманчивую бутыль, возвышавшуюся среди маленького столишки. Все эти господа, по-видимому, чувствовали себя в ожидании чего-то курьезного и смешного. Все были очень весело настроены, а наиболее смышленые и дошлые догадывались, что тут дело неспроста, что бутыль недаром возвышается мавзолеем и что двое мордобийц уж наверное имеют в виду устроить какую ни на есть ловушку насчет карманной очистки. Эти дошлые помалчивали, переглядывались порой многозначительными взглядами и только знай ухмылялись себе, наблюдая все приготовления.

Между тем около девятого часа воротилась

немка-шарманщица. Ей напрямки был предложен полштоф водки, с тем чтобы она отдала на один час своего идиота, а сама поиграла бы в это время на шарманке. Немка, не успевшая еще напиться, вздумала было заартачиться, но пьяный муж, в виду такого соблазна, каким представлялся ему даровой полштоф, пригрозил ей побоями, показал два мощных кулака — и идиот был отдан, а владетельница его после такой угрозы беспрекословно согласилась вертеть ручку шарманки.

Начало было сделано скоро и вполне успешно; оставалось только добыть теперь идиотку.

Вскоре на стекольчатой галерее показалась и длинная, сухощавая фигура старухи-нищей, со своей обычной ношей. Нищая на сей раз казалась очень суровой и злой. Сидевшая у нее на руках идиотка вздумала было потащить в рот бахромку ее головного платка и получила за это затрещину.

— Пузырится! — заметил один учредитель другому, намекая на гнев старухи-нищей.

— То и на руку! — возразил другой. — Значит, выручка плоха; может ни каньки не ске-

нит[485], а тут ей жирмашник[486] в зубы — и шабаш!

Предположение последнего оказалось верным. Старуха действительно была голодна и трезва, поэтому и не отказалась от предложения двух учредителей свадьбы, только выговорила себе вместо гривенника пятиалтынный. Те согласились и получили идиотку.

Компания зрителей, приглашенных на свадьбу, была почти вся уже налицо. Там случилось человек тридцать народу, между которыми виднелись физиономии разных жоржей, торчал костыль хроменького, выставлялся красный нос косоглазого Слюняя, нищенского старосты, вертелась монашеская ряска ходебщика на построение храмов; несколько женских юбок шмыгали между нарами и юркали за перегородку шушукаться с квартирной хозяйкой. Несколько местных аристократов из чиновников тоже присутствовали в числе гостей. На них-то главнейшим образом и метили учредители свадьбы, имея в виду затянуть их потом помаленьку в игру. Для этого они успели уже угостить их водочкой. Чиновники были очень веселы и

держались отдельной группкой. Им оказывалось предпочтительное внимание со стороны мордобийц и мздовоздателей, и чиновники показывали вид, что умеют чувствовать и понимать таковое предпочтение. Немка с супругом и шарманкой находились тут же и успели уже угоститься из предложенного им полштофа, а идиот, которому дали сосать говяжью кость, озирался на всех с весьма тревожным видом: он не привык видеть себя в эту пору среди такого большого общества, так как в этот час находился обыкновенно под замком, во тьме кромешной своего чулана. Это сборище людей, из которых многие обращали на него предпочтительное внимание, дотрагиваясь до него, словно до диковинной вещи, руками и пальцами, очевидно беспокоило идиота, повергая его в тревожное состояние духа. Шарманщица, замечая это, время от времени ободрительно поглаживала его по голове, в том роде, как обыкновенно поглаживают барсуков, лисенят и медвежат те деревенские парнишки, что показывают иногда по дворам «чудного зверя зверьского».

Среди всей этой компании были только

два лица, относившиеся вполне безучастно ко всему происходящему перед их глазами. Это были Чуха и Маша. Девушка смотрела на это сборище, на эти приготовления совершенно безразличным взором как на нечто совсем постороннее, не касающееся до нее нимало. Она не понимала, что такое и зачем, с какою целью все это творится. На душе у нее было еще слишком много своего собственного горя и невзгод, так что, погруженная в свой внутренний мир, она почти и не видела, не замечала, что делается вокруг. В ту минуту Маша, в глубине души, была искренно рада одному только обстоятельству — что не шатается без цели по улицам голодною бесприютницей, что находится наконец под теплой кровлей, рука об руку с существом, которому она доверилась и которое успела уже искренно полюбить среди своего сиротского одиночества.

— Готово! — вскричал один из учредителей, внося на руках карлицу-идиотку, которую только что добыл от нищей на стекольчатой галерее.

Вслед за ним из дверей показался и резкий профиль высокой, сухощавой старухи.

— Музыка! Играй!.. Встречай молодую! — распоряжался он, пробираясь сквозь толпу со своей ношей.

Шарманщица завертела ручку. Раздались сиплые, свистящие и хрипящие звуки какого-то марша. Пьяный немец бил такт ногами и ладонями и вдруг пустился маршировать по комнате, начальственно махая рукой и выкрикивая:

— Патальон! Стой, равняйсь!.. Направо марш! Але!.. Але-марш! Дирекцион вперот... Ур-р-ра-а!..

Публика осталась очень довольна началом комедии и нетерпеливо ждала продолжения.

— Молодых на переднее место! Под богов, под богов сажай их, с почетом!

И двух идиотов посадили рядом на одну нару. Самец, тяжело и медленно дыша, озирался по сторонам дико и подозрительно, а самка сосредоточенно погрузилась в торопливое жевание космы своих собственных волос.

— Теперь батька оболокаться пойдет, а вы, публика почтенная, жди да молодых не задирай, пущай не пужаются.

Один из затейников свадьбы ушел за пере-

городку и вышел оттуда в распущенном ковровом платке, который он обвязал двумя концами вокруг своей шеи, сотворив себе таким образом некоторое подобие ризы.

Одобрительный хохот зрителей встретил появление его в этом наряде.

Двух идиотов поставили посередине комнаты, перед столом, на котором возвышалась бутыль.

— А что же брачующиеся-то без свечей? — компетентно заметила монашеская ряска ходебщика. — Подобает дать им в руку свещи возженные! Потому без свечей возженных и брак не в брак.

— Хозяйка! Дай им по сальному огарку! — предложил кто-то из зрителей.

— Ишь ты, чего еще вздумал!.. По сальному!.. Они сало-то сожрут, а за свечку, поди, чай, тоже деньги платим, — отгрызнулась солдатка. — И без свечей повенчаются!

— Без свечей, говорят тебе, никак невозможно!

— Ну ладно! Пущай заместо свечки что другое возьмут.

— Да чего там! Дать нешто одному ухват, а

другому кочергу — вот и свечи им будут!

Мысль эта встретила полное одобрение как со стороны публики, так и со стороны самих затейников. Дали одному ухват, а другой кочергу и снова подвели к столику.

Игравший роль венчателя налил из бутылки полный стакан, и, обернувшись с ним лицом к идиотам, заговорил нараспев:

Венчаются кулики
На болоте на реки,
Яко масленники,
Ни с горохом,
Ни с бобами,
А с картофелью.

Вслед за этим он залпом выпил налитый стакан и, скомандовав шарманщице, чтоб она «дула развеселую», взял было за руки идиотов...

Публика хохотала и еще теснее понадвинулась к месту действия, сплотившись в тесный кружок.

Идиоты, вспуганные этим неумолчным хохотом и этим вниманием, которое в данную минуту было устремлено исключительно на них, стали озираться еще диче, и наконец оба

задрожали всем телом. Когда же снова раздались звуки шарманки и венчатель вздумал взять их за руки, перепуганные и раздраженные самец и самка, побросав ухват и кочергу, мгновенно порскнули в разные стороны.

Хохот сделался еще громче, еще веселее; многих уже кололо в подреберья.

Оба затейника принялись ловить брачующихся, а те, видя новую напасть, забились — один под нары, другая в угол около печи. Самца достать было несколько трудно: он, как раздраженный кот, урчал и шипел оттуда, выказывая самые враждебные намерения относительно своего ловца. Самка же, более беззащитная, сильно тряслась всем телом и так корчилась да ежилась, словно бы хотела уйти спиною в самую стену. Поймать ее не составляло никакого труда, и потому, когда приспешник венчателя, ловившего идиота, подступил к идиотке, та, видя себя в крайней уже опасности, присела на корточки и вдруг пронзительно и долго завизжала тем самым звуком, как визжит иногда заяц, когда его уже доспела гончая собака.

У Маши не хватило сил выносить далее

эту сцену. Заткнув уши, с мутящим чувством в душе, она опрометью кинулась к дверям и выбежала из ночлежной квартиры, в которой раздавались смешанные звуки хохота, шарманки и заячьего визга. Она бежала вдоль по галерее, бежала безотчетно, не зная куда и зачем. Ей только хотелось вон, поскорее вон из этого вертепа, из этой тлетворной заразы.

За нею поспешала старая Чуха, но Маша не видала ее. Чуха кликнула девушку по имени, та не слыхала ее. Наконец старухе удалось догнать ее в конце коридора, уже у самой лестницы и схватить ее за руку. Маша только теперь словно очнулась немного. Она в отчаянии схватилась обеими руками за голову и с внутренним усилием прошептала:

— Вон, вон отсюда!.. Скорее вон!.. Сил моих нету!..

Старуха сама была потрясена, а вид этой несчастной девушки еще увеличил ее тревожное, смутное состояние. Она молча взяла Машу под руку, бережно свела ее с лестницы и повела вон из Вяземского дома.

Описывать далее импровизированную сва-

дьбу идиотов нет ни малейшей возможности для печатного слова. Довольно сказать одно, что затея наконец удалась двум мордобийцам солдаткиной квартиры. Идиоты были повенчаны; публика, наслаждавшаяся отвратительным зрелищем, хохотала под звуки шарманки и разошлась, необыкновенно довольная спектаклем. Наконец, та часть этой публики, на которую устроители идиотской свадьбы имели свои расчеты, достаточно напоена и обыграна в карты и кости. Безобразная оргия и игра длились до самого утра, после чего обыгранные и пьяные игроки были вытолканы взашей, а барыши разделены между солдаткой и двумя ее приспешниками.

XLIII
КЛОПОВНИК ТАИРОВСКОГО ПЕРЕУЛКА

Низенькая комнатка в два окна, оклеенная шпалерами, освещалась лампой, повешенной на стену. Комнатка была перегорожена дощатою перегородкой, не доходившей до потолка, и разделялась на пять или на шесть узеньких, тесных и темных клетушек. Оба низких маленьких окошка до половины закрывались белой и красной шторкой на вздержках, дабы с улицы не было видно, что творится внутри, так как эта комнатка помещалась в нижнем этаже огромного каменного дома и окнами выходила на Таировский переулок, что выводит с Сенной на Садовую. На стенах этой комнатки висели две-три раскрашенные литографии, из коих одна изображала какую-то торжественную церемонию, а две остальные — сентиментальные сцены кавалера с дамой. К одной стене приткнулись убогие, допотопные клавикорды, к которым страшно было прикоснуться — до того они

дребезжали и шатались на непрочных ножках. Клавикорды наверное отжили мафусаилов век, в чем можно было вполне удостовериться, взглянув на пожелтелые, истершиеся клавиши; и все-таки, несмотря на свое инвалидное долголетие, инструмент продолжал каждый вечер и каждую ночь добросовестно отбывать свою музыкальную службу. За клавикордами восседала растрепанная, рябая, пожилых лет особа, в весьма большом дезабилье, и с грустной сентиментальностью аккомпанировала своему пьяновато-сиплому, разбитому голосу весьма чувствительный романс, причем ей никак не удавалось выговаривать чисто букву «с», вместо которой все выходило у нее шепелявое «ш».

Я тиха, шкромна, уединенна,
Цельный день сижу анна,
И сижу амнакнавенно
У камина блишь окна, —

выводила девица свои чувствительные ноты, причем на слове «у камина» взвизгивала во весь полный голос. На следующем куплете, под ту же самую музыку и под тот же мотив, у нее выходил уже новый «романец»:

Гушар на шаблю опирался,
Надолго ш милой ражлучался.
Прости, крашавица, слезами,
Амур все клятвы наши пишет
Штрелою на воде в воде.

Девица вздыхала и пела, пела и вздыхала, а по комнате в это самое время бродили с перевальцем еще три или четыре подобные же девицы, из коих одна кушала луковку, а другая курила махорчатую папироску, тогда как две остальные поднимали промеж себя звонкую тараторливую перебранку.

— Ну признавайся! Слукавилась? Слукавилась? — наступала одна и голосом, и руками.

— Чего признавайся! — отмахивалась другая. — Разве ты мне духовный отец аль последний конец?

— Пущай глаза мои лопнут!

— Не бойсь, не лопнут!

— Нет, лопнут! Лопнут!.. А ты — никогда ты меня не порочь, потому — я хорошая девушка, а ты под присягу поди!

— Пойду ли я присягать? Нешто я дешевле тебя?

— Желтую б заплатку тебе на спину, коли

так, да за город!

— Сама, сама была запрещена в столице!

— Эх ты, ноздря! — с величайшим презрением брякнула наконец одна из спорщиц, и это слово, как фитиль, приложенный к пороху, произвело взрыв: обе кинулись в цепки, поднялась драка, полетели клочья.

— А!.. Наше вам! Четыре здоровья, пята легкость! — раздался вдруг звонкий, веселый голос, и в распахнувшихся дверях показалась представительная фигура Луки Летучего.

— Важная лупка! Инда перье летит! Катай, марухи[487]! Лупи, котята! Жарче! — возглашал Лука, вступая в комнату. — За што ломка идет? — обратился он к особе, жевавшей луковицу.

— Да уж у них дело такое, примером, что у той петельки, а у той крючочки, а застегнуться не могут: вот и драка схватилась.

— Ну и пущай их, коли развлечение такое! Оно не стольки чувствительно, сколько занимательно. А ты мне, мадам, «Муфточку» взыграй — очинно уж люба мне эта самая ваша песня, — отнесся гость к музыкантше. — «Муфточку», значит, да две пары пивка вы-

ставьте, потому благодушествуем.

И он швырнул на стол желтенькую ассигнацию.

— Ну, марухи, одначе же будет вам драться! Не мешайте мне песню слушать!

Марухи все-таки дрались, и потому Лука нашел себя вынужденным взять за шиворот одну, взять за шиворот другую, приподнять обеих на воздух, слегка потрясти, покачать и со смехом поставить наземь друг против дружки.

— На всяк день, на всяк час помни, что ты есть баба, — внушительно обратился он к той и другой, выразив почему-то в слове «баба» великое свое презрение, так что тем оно даже и обидным показалось.

— Да я-то — баба, с какой хошь стороны поверни, все буду баба! — раззадорилась марушка, войдя в азарт уже против Летучего и позабыв свою антагонистку. — А ты...

— Что, небось дурен, скажешь?

— Сам знаешь, каково кроен да шит.

— А что ж? Ничего: дурен, да фигурен — в потемках хорош.

— Хорош, кабы не пархатный!

— Чево-о-с?.. Можешь ли ты, насекомое ты эдакое, можешь ли ты мне слово такое сказать? Никак того моя душа не потерпит, и как есть я купец...

— Купец из рабочего дома! — перебила марушка.

— А по-твоему — кто?

— По-моему, бубновый туз в кандалах — вот кто, по-моему!

— Хм... Тэк-с!.. Пожалуй, хоть я и туз, да только козырный, — бахвалился Лука, избоченясь и расставляя ноги, — а ты — той же масти дама, а туз даму бьет.

И в подтверждение этой теории он совершенно спокойно одним ударом упражнил над ней свою руку.

Та с визгом опрокинулась навзничь, а Лука, словно ни в чем не бывало, подал встревожившейся музыкантше трехрублевую бумажку и сел на стул у окошка.

— Отдай это ей, мадам, на пластырь, да убери ее куда подале, потому — не по сердцу мне такая концерта, — пояснил он музыкантше, принимаясь за пиво. — Да накажи ты ей, пущай мне спасибо скажет, потому, говорю

тебе, благодушествуем!.. Я нониче добрый, совсем добрый, право!

И, отвернувшись к окну, он раскрыл форточку, объявив, что больно жарко ему, и машинально стал глядеть в нее на улицу.

Вскоре на панели остановились две женские фигуры. Они разговаривали, и можно было слышать голоса.

— Куда ж ты? Куда? — заботливо и тоскливо раздавался голос, очевидно, старухи.

— Все равно... Куда глаза глядят, — отвечал ему голос молодой, но полный отчаяния.

— Да ведь... милая, подумай!.. Ведь пропадешь!

— И лучше! Один конец!.. Мне там непереносно, не могу я этого!.. Не могу!..

Послышалось тихое, судорожное рыдание, сквозь которое прорывались отрывистые слова девушки, припавшей к плечу старухи.

— Прощай... Нейди за мной... нейди дальше... я одна... одна я пойду... Прощай... Спасибо тебе... Пусти меня!..

Лука Летучий вглядывался, вслушивался, и вдруг его рожа осветилась плотоядно-чувственной улыбкой.

— Эге!.. Да это зверь-девка вчерашняя!.. Она, она и есть, — пробурчал он себе под нос, напряженнее устремив взор на фигуру девушки. — Ну, вчера в Малиннике из рук упорхнула лебедка, сегодня не уйдешь!.. Не уйдешь!..

И с этой мыслью он быстро выбежал на улицу.

Раздался испуганный крик двух женских голосов, и, менее чем через минуту, Летучий, словно ошалелый, опять вбежал в комнату, облапивши в охапку молодую девушку, которая отчаянно кричала и тщетно билась из его крепких рук.

Это была Маша.

Потрясенная и возмущенная вконец сценою свадьбы идиотов, которая только что разыгралась перед ее глазами, она чувствовала, что решительно не может уже ни минуты долее оставаться в этом диком и страшном мире, в смрадной, зараженной среде этих безобразных людей. Ее душила эта растленная атмосфера порока и разврата, она задыхалась в ней; она мгновенно раскаялась теперь, что вчера не хватило решимости броситься в прорубь и разом покончить с собой навеки. Она

теперь хотела бежать, бежать и бежать — без оглядки, без цели, с одной только мыслью — забежать туда, где нет и следа человеческого, чтобы никогда не досягнул больше до слуха ни единый звук человеческий, чтобы не коснулись ума и памяти ни единая мысль, ни одно напоминание об этой жизни, об этих людях. Внутри ее все, решительно все было потрясено, оскорблено, разбито. Ей стало до мучительного ужаса страшно и холодно не за себя, но за жизнь, за человека страшно, и до злобы оскорбительно за самого Бога, в бесконечную благость которого она так привыкла веровать, за Бога, допустившего возможность подобной жизни и создавшего подобного человека.

И вдруг — нежданная встреча с Летучим, в тот самый момент, когда ей думалось, что она уже ушла и покончила с тем, что так бесконечно возмутило ее.

Лука Летучий уже третьи сутки гулял и пил самым беспардоннейшим образом. Он прогуливал выгодную поживу своего последнего и весьма выгодного воровского дела. Этот человек жил только для себя, и не умел,

и не мог отказать себе в чем бы то ни было, если уж оно раз забрело ему на ум или запало в душу. Эти дни он обретался в каком-то угарном чаду, который неослабно поддерживался сильным количеством спирту. Это была заматерелая, закаленная и какая-то слоновья натура! Взбудораженные и воспаленные инстинкты его расходились теперь до того, что ни в чем не знали предела. В необузданной чувственности своей он дошел до бессмысленного зверства, и со вчерашнего вечера, в течение последних суток, к нему неоднократно возвращалось воспоминание о вчерашней зверь-девке, дерзнувшей выступить перед ним в защиту какого-то мальчонки. Ее поступок показался любым его сердцу: такая неожиданная дерзость пришлась ему по душе, а ее поцелуй, это прикосновение ее губ, и потом столь близкое прикосновение к ее телу взбудоражили его сладострастие. Этот волк стал мечтать об этом ягненке и точил на него свои зубы. В течение всего дня он неоднократно с досадой восклицал себе: «Эх, жаль! Упустил ни за что девку!.. Вот кабы такую в полюбовницы!» И эта мысль донимала его.

Вдруг — судьба, словно бы нарочно, дает ему возможность овладеть зверем-девкой, и на сей раз он уже не упустил случая.

— Замыкай дверь! Замыкай дверь! — чуть не задыхаясь, говорил он музыкантше, сцепив свои зубы и весь дрожа от волнения. — Все отдам, бери все, что есть, только двери замкни, чтобы ни единой души не вошло!

Все женщины, бывшие в комнате, стояли истуканами, изумленные, перепуганные, недоумевая, что все это значит. А между тем на улице раздавались отчаянные вопли Чухи, призывавшей караул на помощь.

Пьяный Лука, вконец опьяненный еще дикой страстью, уже решительно не помнил, где он и что он делает. Бросив на пол почти бесчувственную девушку, он кинулся к двери и трепещущими руками старался замкнуть ее на ключ. Музыкантша, кое-как пришедшая в себя, с криками пустилась за ним — попрепятствовать ему в этом намерении. Лука отшвырнул ее в сторону, как щепку. Остальные женщины разбежались и в страхе попрятались по своим конурам. А крики Чухи не умолкали. Она тщетно ломилась в ту же

дверь из сеней: Летучий крепко ухватился за медную ручку.

Маша почувствовала, что нет почти уже никакого исхода, что она во власти этого зверя, и вдруг, инстинктивно вскочив с полу, кинулась к окну, схватила стул и с размаху принялась вышибать им раму. Стекла задребезжали и мелкими звеньями посыпались на улицу.

Летучий, как кошка, бросился к ней от двери, которую так и не удалось ему замкнуть, и быстро ухватил сзади руки девушки.

В ту минуту Чуха ворвалась в комнату, а под окном, где уже успела столпиться куча прохожего народу, вдруг пронзительно раздался призывной свисток полицейского.

Следом за Чухой появился хожалый, дворники и несколько любопытных.

Музыкантша с воем указала на Летучего. Его схватили и скрутили локти назад. Сила этого человека уступила силе восьми дюжих рук.

Увидя себя связанным, Лука громко вздохнул, как бы от сильной усталости, огляделся вокруг, тряхнул головою и спросил чего-ни-

будь испить. Испить ему не дали.

Чуха сволокла обессиленную Машу на диван и принялась суетиться около нее, не зная, как и чем унять ее глухие, тяжелые рыдания, а музыкантша вместе с остальными подругами своими, которые теперь уже смело повыскакивали из конурок, взапуски и вперебой объясняли, с воем и плачем, свое великое горе, рассказывая без толку всю историю, случившуюся за минуту.

— Эта девушка, миленькие, обидела меня! — пьяно кричала музыкантша, ударяя себя в грудь и указывая на лежащую Машу. — Я не какая-нибудь, у меня комната шпалерками оклеена, а она, подлая, у меня окно вышибла, шкандалу мне наделала, штул хороший поломала, я за штул в рынке шама тоже руб-цалковый платила!.. Не прошшу я такую обиду при моем бедном звании!.. Я хорошая девуска, миленькие, я хорошая!.. Я не приглашала ее к таком телоположению!..

Появились еще двое городовых, потревоженные свистком своего товарища.

— Ишь, фараоново войско! — не без иронии пробурчал себе сквозь зубы Лука Лету-

чий.

— Ты откелева? Ты здешняя? — обратился один из блюстителей к Маше, которая едва лишь успела немного опомниться.

— Нет, — ответила за нее Чуха.

— Как звать тебя?

Маша назвалась.

— Где живешь?

Ответа на вопрос не последовало.

— Ну, стал быть, из бродячих! — порешил блюститель. — Вид твой при себе? Подай-ко вид сюда!

Маша торопливо опустила руку в карман и вдруг остолбенела: она не нашла там паспорта. Стала искать во всех карманах — нигде не находится. Она и не знала, как был украден в ночлежной ее вид, во время сна, ее соседом по месту на общей наре.

— А впрочем, там ужо в конторе разберут, — заметил допросчик. — Нечего толковать! Марш за мною в квартал! Все марш! Ребята, ведите-ко! Забирай всех, сколько ни есть, ужо разберут.

— Ну-у!.. Замололо! — свистнул Летучий с значительною долею смешливого ухар-

ства. — Мне что? Мне все равно что ничего! Одно слово: плевать вам в тетрадь! Попотеем денек да и выпрыгнем. Свои люди — сочтемся, не впервой ведь! Ведите меня, воины поштенные.

— Ишь ты, тигра зверинская! — плакалась на него удрученная музыкантша, отправляясь в кучке по общему назначению. — Ты его считай за апостола, а он тебе хуже кобеля пестрова!

— Ну ты, насекомое, молчать! — цыцнул на нее Летучий и, проходя уже по тротуару мимо толпы любопытных зрителей, бахвалясь, гаркнул им во все горло:

— Эх вы, баря!.. Гляди-кось, много ли ваших крестьян мимо нас ходит?! Ась?

И пошел себе, напевая:

Тыра, тыра, перетыра!
Ты марушья заколдыра!
Тыра земко стремит,
А карман ему грозит,
Дядин домик сулит,
Сулит кряковки
Да бриты маковки!
Ай да, ну да два,
Ходи улица моя!

Часть шестая
ПАДШИЕ

I
НОЧНЫЕ СОВЫ

Ночные совы — птицы совсем особого полета. Это птицы домовитые, они не любят света, они ищут тьмы, таинственности, уединения. Поэтому субъекты, принадлежащие к досточтимому обществу сов, избегают градского центра и мест, к нему прилегающих, ибо сии места, по преимуществу, отличаются светом и людностью. Они, напротив, избирают для жительства своего городские окраины, вроде под-Смольного, глухой Петербургской, Коломны за Козьим болотом, Аптекарского острова, поблизости какой-нибудь речонки Карповки.

В этой последней местности сова устраивается обыкновенно таким образом.

Избирает она гнездом своим старую дачу — либо благоприобретенную, либо родовое свое наследие от отцов и дедов — последнее

даже чаще первого, — поселяется в этой даче со чады и домочадцы и со всем хозяйственным полупомещичьим обиходом; живет там безвыездно лето и зиму и убеждена, что живет «по-барски». «Жить по-барски» — это идеал птичьей жизни, к которому она вся стремится; но только эта «жизнь по-барски» понимается здесь весьма скромно, совершенно не так, как понимается она в каком-нибудь палаццо Сергиевской улицы и Английской набережной. Барская жизнь домовитой птицы несколько приближается к былой жизни помещиков средней руки, то есть душ в триста, в шестьсот; и действительно, обыденные подробности птичьей жизни по характеру своему напоминают нечто патриархальное, что весьма плохо вяжется с тем представлением, которое возникает в нашей голове при слове «Петербург». Какой в самом деле диссонанс: Петербург и патриархальность! Но седьмой фиал гнева не совсем еще излился над этим городом, и, надо полагать, что ничему другому, как только этому обстоятельству, можно еще приписать существование в Петербурге некоторой патриархальности по закоулкам

Аптекарского, под-Смольного и Козьего болота.

Держит обыкновенно домовитая птица широкие, вместительные дрожки на низких рессорах и рыженького или буланого, поджарого, пузатенького и куцого меринка. Меринок этот — лошадь добродетельная и смирная; трусит себе помаленьку, степенною рысцою и знать больше ничего не хочет. Правит им всегда кучеренко неказистого вида, который у птицы успел уже выжить лет двадцать с хвостиком, да все на том же «месте» и помереть собирается. Сидит он на козлах кренделькoм, в неуклюжей старосветской поярковой шляпе, образцы которой можно еще встретить по кой-каким захолустьям нашего обширного отчества, у какого-нибудь засидевшегося до плесени на одном и том же месте городничего, у какого-нибудь заседателя или в губернском городе у старика-доктора из немцев.

Вот такой-то пузатенький, поджарый меринок, которому весьма привольно обитать на Аптекарском острове, на птичьем корме, имеет почти исключительной обязанностью

своею совершать в развалистых дрожках экскурсии «в город» в тех редких случаях, когда птице-мужу или птице-жене представляется надобность съездить или по своим делам каким-либо, или в Гостиный двор за хозяйственными и иными закупками. Этот меринок с развалистыми дрожками и этот беззубый кучер в старосветской заседательской поярке составляют первые и неизменные атрибуты птичьего житья «по-барски».

Но кроме двух главнейших атрибутов вы всегда найдете у петербургской птицы в ее захолустном обиталище домашний квас, домашнего печения булку-папушник, домашнее варенье, домашние настойки (иногда от сорока восьми недугов) и грибки с огурцами домашнего же соленья. Хотя все эти предметы гораздо легче и удобнее, без всяких хлопот, можно добыть в любом фруктовом и бакалейном магазине, но домовитая птица непременно желает, чтобы все это было не иначе как только домашнее: она *любит*, чтобы это было *домашним*, она любит самый процесс варения, соления, настаивания и сбережения на зиму, ибо все эти предметы, наря-

ду с пузатеньким меринком, составляют атрибуты птичьего житья «по-барски». Без этого птица и жить не может.

Не все птицы, конечно, живут по *дачным* захолустьям. Большая часть из них, как уже сказано, лепится в захолустьях городских, вроде под-Смольного, под-Невского и Козьего болота, где они обитают по преимуществу в своих собственных родовых или благоприобретенных домиках. И замечательно вот что: насколько дачные обиталища являются преимущественно родовым, унаследованным достоянием, настолько же городские составляют имущество благоприобретенное, большею частью купленное на женино имя, из скромного капитальца, сколоченного помаленьку, во время служебного поприща мужа. Птицы имеют пристрастие к домикам деревянным или на каменном фундаменте, с мезонином и садиком — непременно с мезонином и садиком, приноравливая к сему, по патриархальным свойствам натуры своей, и настойки с огурцами, и кургузого меринка. Значит, думают себе, что тоже живут «по-барски». Они все без исключения очень любят свои захолустья

с их ближайшим околотком; они привязаны к ним душевно, ибо в течение долгой жизни своей как-то органически срослись с почвой окружающей местности и всегда, с некоторым умилением даже, говорят не иначе как *у нас* под-Смольным, *у нас* на Аптекарском, *у нас* на Козьем. Все эти Козьи болота, под-Невские и Аптекарские они уже привыкли считать чем-то своим, прирожденно собственным, нераздельно слитым с их существованием.

Но не думайте, чтобы в характере жизни домовитых птиц было что-либо общее с жизнью той среды, представителями которой у нас являлись старички Поветины в буколической Колтовской. Нет, Поветины — люди так себе, мелкая сошка, совсем простые, хорошие люди, живут себе скромно, безвестно, богобоязненно, по пословице «день да ночь — сутки прочь, — к смерти ближе», не тронь, мол, только ты нас, а мы-то уж тебя никак не тронем. Словом сказать, живут, как Бог послал, беззатейно да помаленьку. В птичьем же обществе есть свои стремления, свои цели, свои интересы, своя борьба, и победы, и невзгоды,

свои политические вопросы и волнения, даже — даже своя пропаганда.

Птицы почти исключительно принадлежат к дворянскому сословию, да и не просто к дворянскому, а к столбовому, и сами себя, при случае, очень любят заявлять «столбовыми». У них есть свои традиции, и каждая из птиц может похвалиться каким-нибудь своим дедушкой или дядюшкой, который «в свое время на всю губернию был барин». Но... от широкой жизни этих дедушек и дядюшек нынешним старикам племянникам и старушкам внучкам остались очень скудные обрезки, вроде псковской или новгородской усадьбы душ в двести или, чаще всего, вроде старинной барской дачи, а не то — домика с мезонином и садиком. Птицы очень любят хвалиться своим родством, в котором непременно состоит какая-нибудь никому не ведомая княгиня Подхалим-Закорюкова или князь Почечуй-Чухломинский. И это все будут князья и княгини очень древние, что называется, Рюриковичи, до такой степени древние, что про них даже никто уж и не знает и не помнит, но тем не менее они есть или были и со-

стоят в родстве с домовитыми птицами, и домовитые птицы считают их людьми в свое время очень вескими.

Но столько же, сколько своим родством с княгиней Подхалим-Закорюковой и князем Иваном Почечуем, домовитые птицы любят хвалиться при случае и своим коротким знакомством с различными представителями ныне сияющих барских фамилий. Нужды нет, что эти представители иногда успели уже давным-давно позабыть о самом существовании какой-либо птицы и даже не вспомнят имени ее, если начать им припоминать и растолковывать, домовитые птицы все-таки хвалятся этими quasi знакомыми, и это приносит им истинное удовольствие. Если кому-нибудь случится упомянуть случайно имя какого-либо из этих современно блистающих представителей, птица никак не утерпит, чтобы не умаслить при этом лицо свое улыбкой, довольством сияющей, и не промолвить тоном, в котором будет сквозить оттенок даже некоторой приятельской фамильярности, смешанной, впрочем, с чувством подобающей почтительности: «А... Князь Илья Семенович!.. —

скажет птица. — Как же, как же! Старые сослуживцы!.. Приятелями были!», или: «Э, батенька, что вы мне говорите про графа Андрея!.. Уж мне ли не знать его! Однокашники! На одной скамейке сидели, вместе на кулачки дирались, вместе и посекали нас!», или, наконец: «Когда я воспитывалась в Смольном, мы с княгиней Аглаей уж какие подруги были!.. Она теперь, как встретит меня, все вспоминает: а помнишь, ma chère[488], кофейных? а помнишь, mon ange[489], нашу maman?.. Такая, право, милочка, эта княгиня Аглая!.. Все к себе зовет, да вот никак не соберусь!» И при этом необходимо следует полный вздох умиления и довольства. И птицы счастливы, что им удалось намекнуть или приплести кстати и некстати о своем аристократическом знакомстве. Они, все без исключения, необыкновенно интересуются знать, *что* делается в кругу этих современно блистающих представителей, *о чем* они говорят, *чем* занимаются, *кто* за кого дочку выдал или сына женил, *какая* жена с мужем разошлась и отчего это произошло, и *кто* и *с кем* находятся в контре; и при этом обнаружива-

ется у них полное и самое подробное знание восходящего родства и свойства этих знаменитостей и самое твердое знание всех без исключения имен и отчеств их, так что если промеж ними, например, говорится: «князь Владимир Андреич» или «графиня Дарья Савельевна», то каждый уж очень хорошо знает, о каком именно князе Владимире Андреевиче и о какой графине Дарье Савельевне идет дело. И все принимают участие в этом разговоре, и сердцу каждого оказываются весьма близки и князь Владимир Андреевич, и графиня Дарья Савельевна; а те, между прочим, даже и не подозревают, что есть на свете совсем посторонние люди, которые так живо, com amore[490], интересуются их особами и их делами. Но как тут не интересоваться, если сплетни и рассказы из высшего света составляют пищу и одну из любимейших тем домовитых птиц при каждой почти их встрече, при каждом птичьем собрании!

Птицы, однако, не любят сходиться с новыми личностями. Они предпочитают вращаться в тесном и замкнутом кружке своего птичьего общества, члены коего все связаны друг

с другом самою интимною привязанностью, и постороннему человеку, что называется, «человеку с ветра», нет почти никакой возможности проникнуть в их заколдованный круг — разве уж кто-нибудь из доверенных птичьих членов, за строгим своим ручательством в достодолжной доброкачественности рекомендуемого субъекта, возьмется ввести его в птичье общество, и тогда уже новая личность остается на ответственности своего поручителя. Для этого надо, так сказать, пройти несколько мытарств и искусов.

— Евдокия Петровна! Савелий Никанорович! — говорит какой-нибудь член птичьего общества. — К вам в дом желает быть представленным господин Триждыотреченский. Позволите вы это?.. Он уже давно ищет этой чести.

Евдокия Петровна и Савелий Никанорович делают мину кислого и недоверчивого свойства.

— А кто такой этот Триждыотреченский? — мямлят они сквозь зубы.

— Триждыотреченский?.. Мм... Он, сколько мне кажется, очень достойный и благонаме-

ренный человек, — замечает адвокат нововводимого члена.

— А какой чин на нем?

— Титулярный советник, в капитанском ранге.

Евдокия Петровна и Савелий Никанорович вторично делают мину отчасти кислого свойства.

— А где служит? — продолжают они.

— В N-ском департаменте столоначальником.

— Хм… А как начальство аттестует его?

— Начальство ничего… Чиновник доброкачественный.

— То-то! Нынче поди-ка поищи их, доброкачественных-то! Все вольнодумство да непочтительность! — с прискорбием размышляют супруги.

— Нда-с!.. Времена!.. Что называется, tempora et mores[491], как сказал философ… все прогресс этот! — с грустно-презрительно-снисходительной улыбкой вздыхает в ответ на это размышление адвокат господина Триждыотреченского.

— А достаточно ли скромен он? — продол-

жают между тем супруги.

— О да! Он очень скромен и почтителен.

— Не пьет ли, не дебоширствует ли да на стороне не держит ли чего?

— Боже сохрани и избави! Как это можно!

— То-то… Нынче времена-то какие!.. А сколько лет ему?

— Ему-то? Да тридцать девятый пошел недавно.

— Только всего-то тридцать девятый еще? — восклицают с некоторым недоверием и даже с беспокойным опасением супруги. — Молодой такой человек… Не опасно ли?.. Ведь они нынче, знаете ли, какие, эти молодые-то люди! Богоотступники, красные!.. Право, я и не знала, что он такой молодой… Уж знакомить ли вам его, полно?.. Что как он красный? Ведь этак позор на весь дом наш ляжет тогда.

— Нет, уж за это ручаюсь! Уж красноты в нем нет ни малейшей!

Евдокии Петровне и Савелию Никаноровичу сорок лет казались еще молодостью. Это, впрочем, нисколько не удивительно, так как им обоим, в общей сложности, было около ста

тридцати с маленьким хвостиком.

— А богобоязнен ли он? — продолжают они допрашивать с неуменьшающимися беспокойством и заботливостью.

— О да! Богобоязнен. Четырежды в год постится.

— К старшим почтителен ли?

— Я уж докладывал, что вполне удовлетворяет.

— Ну, то-то! А не пересмешник ли он? К нам вот тоже как-то один затесался, да потом осмеял в газете.

— Ой, нет, нет!.. Боже сохрани!.. Боже сохрани и помилуй! — отмахивается и крестом и пестом адвокат Триждыотреченского.

— Не знаком ли с кем из сочинителей, из литераторов нынешних, из кашлатых-то этих окаянных, прости Господи?

— Ой, что вы!.. Помилуйте, как это возможно!.. Разве *я-то — я-то* разве решился бы тогда? Нет-с, он, полагаю, из наших, вполне из наших!

— То-то!.. Это ведь все поджигатели... Ну а образ мыслей его? И что читает он? Выбор чтения?

— Образ мыслей — можете судить — самый отменный, вполне благонамеренный, а читает... На полке видел я у него творения Державина и прочих классиков российских, богословские сочинения, «Домашнюю беседу», «Странник», Ивана Выжигина, ну и иные творения. Нет-с, уж что до этого, то книги все достойные и благонамеренные; за это поручиться могу.

— То-то! Чтоб журналов-то этих нынешних не читал! Да откудова он? С университета, что ли?

— Ой, нет! Как можно! Он из духовной семинарии.

— Да нынче и из семинарии-то какие-то все выходят — отщепенцы! Ни в кого веры нельзя иметь. Ну, да уж, пожалуй, привозите его, знакомьте; только смотрите, пусть уж он остается на вашей ответственности. Ежели что, оборони Бог, случится, *вы* отвечаете — так уж мы и всем *нашим* заявим!! — решают наконец супруги, и господин Триждыотреченский получает позволение быть представленным в дом к Евдокии Петровне и Савелию Никаноровичу.

В первую же пятницу он облекается во фрачную пару и вместе с членом-поручителем отправляется к черту на кулички в какой-нибудь под-Смольный или за Козье болото.

— Нынче особенно интересный вечер, — не упустит случая птица-поручитель внушительно заметить своему protege, — нынче будет там блаженный Фомушка о своих хождениях рассказывать. Все наши будут…

— Который это блаженный Фомушка? — вопрошает неофит. — Кто он таков?

— Ай-ай! Как же вы это так — не знаете Фомушку-то! — с упречным качанием головы замечает поручитель. — Фомушку, я полагаю, все знают! Это странник, блаженный… Он юродствует даже; а вы знаете, как в наш растленный-то век мало истинных юродивых случается. Да, — замечает он со вздохом сокрушения, — оскудевает милость Божия, оскудевает!.. А на Фомушке даже особая благодать почиет: он дар предвидения имеет; с ним даже чудеса бывали.

— А кто еще там будет? — спрашивает Трижды-треченский, спеша новым вопросом

сгладить впечатление, произведенное на птицу его невежеством касательно Фомушки.

— Да там много бывает — все наши: Маячок Никифор Степанович — отменно умный человек, диспутант отличный; Петелополнощенский, почтеннейший, — этого, уж конечно, знаете, слыхали? Ну, князь Балбон-Балбонин — тоже мыслитель замечательный, и даже юродственному житию Фомушки подражать стремится.

— Это который? Гусар-то бывший? — перебивает новопосвящаемый.

— Он самый. Познал тщету мира сего и в созерцание мыслительности обратился. Ну, потом, актриса Лицедеева тоже бывает там и нынче, полагаю, наверное будет. Князь Длиннохвостов — черепослов и спиритист известный. Ну, иногда тоже княгиня Долгово-Петровская навещает, правда редко довольно, но все-таки навещает иногда, и граф Солдафон-Единорогов тоже завернет изредка — на язык очень резок, никого и ничего не опасается. Да, одним словом, общество все вполне достойное, и это, я вам скажу, большую они вам честь делают своим приглашением. Уж я

на вас полагаюсь, и так как вы еще неофит, то на мою ответственность допущены туда.

Между тем экипаж подъезжает к дому Савелия Никаноровича и Евдокии Петровны, и господин Триждыотреченский вступает в сие элевзинское обиталище.

Птица-поручитель рекомендует его Евдокии Петровне и Савелию Никаноровичу, которые отвечают неофиту церемонными поклонами, присовокупляя надежду, что он, вероятно, оправдает рекомендацию птицы-поручителя.

II
СОВИНЫЙ АРЕОПАГ В ПОЛНОМ БЛЕСКЕ

Войдем и мы туда вместе с ними, с тем, однако, чтобы уж тут сейчас же расстаться и с господином Триждыотреченским, и с птицей-поручителем, так как мы занялись ими, собственно, для того, чтобы изобразить самый процесс вступления в птичье общество, после чего в них уже ни малейшей надобности не оказывается.

Мы в довольно просторной зале, освещенной по стенам старинными масляными лампами — теми древними лампами, в виде жестяных крашеных колчанов с позолоченными стрелами, какие ныне становятся уже чрезвычайною редкостью. Мебель вся тоже старинная, если и не времен очаковских, то наверное первых годов нашего столетия; краснодеревная, с высокими сплошь деревянными спинками, жесткая и неудобная. В одном углу наугольный диван. Перед ним массивный овальный стол, а около стола полукругом размещаются кресла. За креслами полукругом же стулья, что являло собою нечто необыкновенное, заставлявшее предполагать, что тут готовится, вероятно, какое-нибудь заседание или чтение. В пользу последнего предположения говорили: две свечи под абажуром на столе, бронзовый колокольчик, графин воды, стакан и сосуд с толченым сахаром на особом подносе. В противоположном углу сделано было некоторое возвышение, покрытое красным сукном, а на возвышении стояли табурет и позлащенная арфа — инструмент псалмопевца.

Гостей было много: все больше старцы — либо в костюмах, напоминавших стариковским покроем десятые и двадцатые годы нашего столетия, либо в форменных вицмундирах, с надлежащими регалиями и беспорочиями.

Все это чинно сидело, чинно прохаживалось и еще чиннее вполголоса разговаривало.

Дамы в гостиной помещались отдельно. Там были все какие-то постные физиономии, вроде выжатого, высохшего и зацветшего плесенью лимона. Одеты они были в чепцах и темных платьях и закутаны в старинные шали, лимонного же или черного цвета. Между ними ярко выдавалась актриса Лицедеева, разодетая в великолепное, шумящее, черное шелковое платье, belle femme[492], в полном смысле этого слова, лет, начинающих уже становиться преклонными, то есть сорока с хвостиком, и с физиономией, которая ясно изобличала, что обладательница ее, хотя к небесно-божественному приникает, но и от греховно-земного укрыться плотию своей неизможет. Однако по всему заметно было, что в доме сем госпожа Лицедеева — гостья

почтенная.

В качестве непременного кошмара тут же находилась и одна сочинительница, преклонных лет девица Разбитая, которая, где бы она ни была, всегда прицеливается залпом, за один присест прочесть благосклонным слушателям свой добродетельно-морально-философический роман, для чего всегда возит с собой в увесистом свертке толстейшую рукопись. А пока, в ожидании удобной для чтения минуты, девица Разбитая перебегает от одного птичьего члена к другому, от другого к третьему и т. д., и все жалуется, что ни одна редакция не хочет печатать ее роман, и все спрашивает совета, как бы вы полагали, куда бы еще отдать ей свое произведение и где бы могли напечатать его. Когда же девица Разбитая успеет уже всем нажаловаться и со всеми насоветоваться, то непременно начинает вдаваться в отвлеченные и метафизические темы. Сладко и скромно подседает она к актрисе Лицедеевой и еще сладостнее, идеально защуривая глазки, вкрадчиво-тихим, любезным голосом просит разрешить ей вопрос: как она, Лицедеева, полагает, что такое душа? Или —

что есть жизнь? Или — что есть прекрасное и чем отличается оно от непрекрасного? Или, наконец, как она, Лицедеева, думает, кто из этих современных писателей лучше пишет: Тургенев или Гончаров? И у кого из них лучше и тоньше... э-э, как это называется!.. Девица Разбитая ищет подходящего слова и найти не может, а актриса Лицедеева, подобно оракулу, по возможности, старается кратко, но точно удовлетворить каждому из вопросов девицы-сочинительницы Разбитой.

Находилось в этом обществе также и несколько молодых людей; но это были молодые люди с какими-то блинчатоплоскими, тарелочно-тупыми физиономиями, какие-то загнанные и запуганные. Они скромно лепились по стенам, не дерзая свободно ходить, свободно разговаривать и даже кашляли-то в руку и отвертываясь, причем непременно конфузились вдобавок, словно учинили какой проступок или даже нечто непристойное. Эти молодые люди скромно сидели по разным уголкам, на кончике стула и по большей части созерцательно молчали, похлопывая оловянными бельмами; а при прохождении

мимо них кого-либо из «старших» тотчас же почтительно подымались с места, словно желая предупредительно уступить его, и вытягивались чуть не в струнку, чтобы, по уходе сих «старших», снова сесть и снова созерцательно помалчивать.

Главных светил мудрости, составляющих ареопаг гостиной Евдокии Петровны, еще не было, но их ждали с минуты на минуту, ибо в нынешний вечер назначено было собрание экстраординарное, цель которого узнается своевременно. Один только князь Длиннохвостов заседал в гостиной, на диване между дамами, и повествовал о Сведенборге, о Месмере и о спиритизме, основанном на верчении столов. Относительно последнего предмета он находил себе ярого противника в одном из важнейших совиных членов — в Петелополнощенском, который громил и его, и Юма, и Кардека всеми громами своего красноречия, подкрепленного тяжелою артиллериею различных текстов, и провидел в этом спиритизме всесветно-революционное, зажигательное значение, почитая его за один из несомненных признаков того, что Антихрист уже наро-

дился. Но пока этот вития не появился еще на птичьем небосклоне, князь Длиннохвостов свободно мог распространяться о своем любимом предмете и убеждал дам повертеть немного кругленький столик — до появления Петелополнощенского. Охотницы нашлись сразу: девица-сочинительница идеально-мистически сосредоточилась с карандашом в руке над листом бумаги (князь Длиннохвостов сказал ей, что она медиум) и в ожидании таинственных духов, которые незримо должны явиться и начертать ее рукою на бумаге загробные тайны, девица Разбитая даже и про свой добродетельно-морально-философический роман позабыла — факт почти невероятного свойства. Под стать преклонной девице Разбитой, три выжатых лимона, в лимонных шалях, уселись вокруг маленького столика и, устроив своими пальцами «магнетическую цепь», с сердечным замиранием ожидали, когда наконец духи начнут стучать и вертеть их кругленький столик. Сторонницы Петелополнощенского отчасти хмурились, называя князя Длиннохвостова деистом и вольнодумцем, и предпочитали слушать замечательного и

притом юродственного мыслителя, князя Балбон-Балбонина, который тут же помещался на низковатом табурете, против отдельного полукружия своих слушательниц, и на чистейшем, образцовом парижском жаргоне витийствовал о православии, о знамениях и чудесах, поминутно вставляя во французскую речь свою обильные славянские тексты, коими она уснащалась и подкреплялась. Часть дам наслаждалась князем Длиннохвостовым, а часть — князем Балбон-Балбониным, и все с равно усердным и глубоко уважительным вниманием.

Хозяин элевзинского обиталища, штатский, давно отставленный за негодностью генералик, Савелий Никанорович, маленький, жиденький и вертлявый человек, неизменно украшенный всеми своими регалиями, хлопотливо вертелся здесь и там, везде и нигде и все так добродушно старался сказать каждому своему гостю что-нибудь приятное, какой-нибудь комплимент и сладкую любезность. Супруга же его, напротив, держала себя с плавным достоинством: в молодости своей она живала в Царском Селе при своей двою-

родной фрейлине-тетке и очень хорошо помнила двор императрицы Марии Федоровны. У нее проглядывало везде и во всем этикетно-чопорное, натянутое и выделанно плавное достоинство. Это была высокая, очень худощавая старуха, с надвинутыми от висков на лоб седыми коками в виде локонок-колбасок; при гостях всегда не иначе как декольте и со шлейфом, без кринолина. Она любезностей никому не говорила и только церемонно улыбалась, с весьма идеальным и религиозным оттенком в выражении глаз и всей своей давно поблекшей физиономии. Эта чета являла из себя до наивности добродушных людей, воображавших о себе, впрочем, очень многое, считавших себя чем-то весьма важным, весьма значительным, серьезным и приписывавших себе огромное влияние на дела мира сего. Они безусловно веровали в различных Фомушек-блаженных, душевно чтили разных Макридушек-странниц и чистосердечно поклонялись московскому пророку и странновещателю Ивану Яковлевичу. Радушный и хлебосольный дом их служил постоянным притоном для всевозможных юродивых и стран-

ниц, для какого-нибудь странствующего монашка с Афонских гор, явившегося в Россию за доброхотными даяниями, и вообще для всех подобных особ, иже не сеют, не жнут, но в житницы собирают и, аки птицы небесные, сыты бывают. Тут для них была полная лафа, причем многие до крайности злоупотребляли гостеприимством Савелия Никаноровича. Прирожденное добродушие и душеспасительные стремления заставляли обоих супругов относиться вполне безразлично и к истинным представителям религии, и к самозванцам-мошенникам, принявшим на себя какой-либо религиозный оттенок. В романе этом автор уже неоднократно выводил на сцену всяческих мошенников, по всем почти отраслям и специальностям этой промышленности; но галерея представителей темного искусства была бы далеко не полна, если бы он упустил из виду мошенников, спекулирующих на счет религиозного чувства добродушных и доверчивых людей. Принимая на себя образ самозваных монахов, странников и юродивых, обчищают они людские карманы чуть ли не с большим успехом, чем все

другие собраты по широкому искусству. Гнусные проделки этих господ доходят зачастую до возмутительного кощунства, и хорошо еще, что между истинными представителями религии есть слишком достаточное количество людей, вполне достойных всякого уважения, которым иногда удается обличать кощунственные плутни и просвещать светом истины людей добрых и верующих, но чересчур уже доверчивых и потому поддающихся на одураченье. Одна из подобных мошенническиｰкощунственных проделок послужит предметом нашего дальнейшего рассказа.

Вечер шел довольно вяло и монотонно, между столоверчением и французским разглагольствием о догматах православия, как вдруг в прихожей раздался очень громкий звонок, за который чья-то сильная рука дернула подряд три раза.

Савелий Никанорович торопливо и озабоченно побежал в переднюю, и гости засуетились. Между ними пошел тот шепотливый гул, который потаенно пробегает в толпе, когда в ней ожидают входа необыкновенно важного и только что приехавшего лица.

Такой же гул и теперь ходил от залы до кухни и от кухни обратно до залы.

— Приехал! Приехал! — сообщили с радостью и важностью друг другу гости.

— Кто приехал?

— *Он!.. Он* приехал! Удостоил!.. Почтил!.. *Сам* приехал и еще кого-то привез с собою!

Дверь в залу торжественно распахнулась, и в собрание, стуча сапожищами и широко размахивая красными лапищами, вступил Фомушка-блаженный. Рыжая бородища — клоками, и рыжие, кудластые и от рождения нечесаные волосы так и кинулись в глаза всем и каждому на этой мясисто-красной и лупоглазой физиономии. На коренастом Фомушке, по обыкновению, была надета черная, оборванная, перепачканная и забрызганная грязью хламида, на манер монашеской ряски, перетянутая в талии широким стальным обручем, а на макушке красовалась несколько сбитая на сторону порыжелая бархатная скуфейка. Божий человек в это время почему-то казался нечистоплотней и неопрятней, чем когда-либо, так что самое платье его на два, на три шага вокруг издавало весьма неприят-

ный запах, которым всегда почти отличаются неопрятнейшие и грязнейшие нищие. Все это являлось в нем в данную минуту необходимыми атрибутами его юродственного образа, благодаря которому он почитался в этом доме и в этом обществе чуть ли не святым Божиим угодником, так как его рекомендовала *сама* княгиня Настасья Ильинишна Долгово-Петровская, покровительница Божьего человека, вскоре после того как она определила его на спокойные хлеба одной из богаделен.

Фомушка шел бойко, чувствуя, что он тут полный и незыблемый авторитет.

В двух шагах за ним частой походочкой семенила кривошейка в черном люстриновом платье полумонашеского покроя, с черным же платком на голове, и с видом до бесконечности лицемерно-смиренным. Вся она была какой-то ходячий вздох всескорбного сокрушения и ходила не прямо, не простой, обыкновенной походкой, а как-то все бочком, бочком, отчего кривошейность ее кидалась в глаза еще более. На вид ей было лет тридцать пять или под сорок.

— Здравствуйте! Все здравствуйте! — не за-

говорил, а как-то громко и отрывисто залаял Фомушка, остановясь посреди залы. — А где у вас Бог-то тут? Не вижу что-то, с улицы-то пришодши.

Хозяйка почтительно указала ему на образ, висевший в углу.

Фомушка бац прямо на колени и с наглым, совсем уж беззастенчивым лицемерием положил три земных поклона. Кривошейка, позади его, последовала этому примеру, но только еще с большим лицемерием.

— Еще раз здравствуйте! Все здравствуйте! — вторично пролаял блаженный, поднявшись с колен и отвесив собранию глубокий поклон.

— Ну, а хозяева теперь где? — спросил он. — Давайте мне хозяев сюда!

Евдокия Петровна и Савелий Никанорович с почтительным согбением предстали пред лицо Фомушки.

— А! Вот вы где!.. А я-то, умолясь, и не приметил вас, — говорил он, в разговоре своем налегая на букву «о». — Ну, здравствуйте! Поцелуемся!

И хозяева троекратно поцеловались с гряз-

ным Фомушкой.

Евдокия Петровна изменяла обычной суховатой чопорности и церемонности своей только в отношении самых важных и отитулованных знакомых да в отношении разных юродивых Фомушек, странствующих монашков и Макридушек. С этими она становилась и мила, и приветлива, и даже очень услужлива.

— А я к вам не один благодати принес, — заговорил Фома после целования, указывая на кривошейку, — а вот и ее прихватил с собою. Вот она вам — Макрида-странница! Вместе, вдвоем ныне подвизаемся.

Макрида со смирением поклонилась очень низким поклоном.

— Ну, поцелуйтеся! — протекторски поощрял Фомушка.

И хозяева облобызались троекратно и с Макридой-странницей.

— А что, Игнатыч не бывал еще? — спросил Фомушка, оглядывая гостей, в то время как наиболее усердные из них (и особенно из лимонных дам) подходили к нему с наиглубочайшим почтением, иные даже, по усердию

своему, и к ручке.

— Нет, не жаловал еще, а, надо быть, скоро будет, — с неизменным почтением докладывала хозяйка.

— А что, чайку бы испить; побаловаться малость хотца, — предложил бесцеремонный Фомка.

И в зале тотчас же появился древний лакей, из доморощенных, ибо у всех почти домовитых птиц прислуга по преимуществу отличается древностью и доморощенностью. Лакей нес на подносе большое количество стаканов с чаем. За ним следовала сморщенная горничная-девица, с лотком сладких печений и ломтями домашней булки.

— Ты мне, мать, как налила-то? Поди, чай с сахаром? — спросил Фомушка у хозяйки, беря с подноса стакан.

— С сахаром, Фомушка, с сахаром.

— Ну, так я и пить не буду! — порешил он, опрокидывая на блюдце полный стакан и залив чаем лощеный пол, вместе со своей грязной хламидой. — Он ведь скоромный — из собачьих костей вытравляется. А ты мне, мать, медку пожалуй-ка, так я изопью стаканчик.

Да, слышь ты, — крикнул он вослед удалявшейся хозяйке, — я ваших этих печеньев да финтифлюх не больно-то жалую, а ты мне, по-христианскому, подай сайку — гривенную, разрежь ее пополам, да икорки паисной положь в середку-то! Да поболе — икорки-то! Больно уж люблю я, этта, чай с икоркой лакать!

И к услугам Фомушки тотчас же явились мед и сайка с икоркой.

Жадно погрузил он в медовницу свой указательный палец и, зацепив на него клок густого меду, понес в рот и тщательно обсосал. Потом грязные ногти свои вонзил в икру, разодрал сайку и запихал все это за щеки, запивая горячим чаем, так что трудно было представить себе, куда и как это возможно сразу запихать такое количество пищи. Фомушка не ел, а жрал, и гости с глубоким благоговением взирали на все эти его эволюции.

Чай обносили «по чинам»: сначала несли к старшим, чем-либо отитулованным гостям, людям почетным, а потом к неотитулованным, то есть второстепенным, и, наконец, к скромным молодым людям, лепившимся у

стен и в уголках, на кончиках стульев. От этого происходило то, что древний лакей, со следовавшею за ним сморщенною девицею, как угорелые метались из угла в угол по зале, отыскивая старших и опасаясь, как бы не подать, по ошибке, какому-нибудь младшему ранее старшего. Такой грех обыкновенно случался с неофитами, которые на первый раз не вполне еще ознакамливались с обычаями и уставами птичьего гнезда. Трется неофит по большей части около своего патрона-поручителя, словно ютится под крылышком его, а патрон, конечно, состоит в числе старших. Патрон взял стакан, а вслед за ним и клиент тянет туда же свою руку. Но древний лакей, чутьем угадывающий градации птичьих членов, быстро выдергивает у него из-под руки поднос, круто повертывается и идет в другую сторону, а сморщенная горничная-девица бросает очень свирепый взгляд на дерзновенного неофита. При этом патрон непременно с укоризной замечает ему вполголоса, что он сделал промах, и хорошо еще, что хозяйка этого не видала, а то сочла бы вольнодумцем и, пожалуй, могла бы совсем не дать чаю —

ибо молодые люди в сем доме, за такие промахи с чаем, в наказание очень часто остаются и без оного.

Когда лакей, в числе старших, подошел с подносом к Макриде-страннице, она, лицемерно скромничая, сделала руками и головой отрицательный жест и заговорила сладко-певучим голосом:

— Нет, Божий человек, нет, старичок миленький, мне последней! Последней мне!

— Ей последней поднеси! — громко пояснил Фомушка. — Она у нас со смирением!

— Вы с чем? С медком тоже прикажете? — вопросила ее угодливая хозяйка.

— Нет, мать моя, мне с мермеладцем, с мермеладцем мне, ежели милость будет. Я с мермеладцем люблю! — распевала Макрида, корча смиренные рожи.

В это время на горизонте появились два новых светила: Петелополнощенский, вошедший необыкновенно гордой походкой, и Никифор Степанович Маячок, ходивший, напротив, более с мягким смиренномудрием.

При появлении первого занятия спиритизмом тотчас же торопливо прекратились.

— А!.. Игнатыч! Друг! — закричал, увидя вошедших, Фомушка и заегозил на своем месте. — Да и ты тут, Никиша! Оба два вместе!.. Друзие мои, облобызаемся!..

И Фомушка, не обтирая своих засаленных медом и икрою губ и усищ с бородищею, троекратно и звонко облобызался, «со обниманием», с каждым из новоприбывших. Но нельзя сказать, чтобы гордо-поступному Петелополнощенскому особенно нравилось это целование. Никиша же, как человек чистого сердца, принял его с радостью и благоговением.

— Фомушка нынче про странствия свои рассказывать будет! — шепотом проносилось между гостями, и все повысыпали в залу слушать медоточивого Фомушку.

— Блаженный! Ты нам ныне про хождение свое к Афону повествовать хотел, — обратился к нему хозяин. — Мы ждем твоего повествования...

— А, да! Про Афонстии обители! — отозвался Фомушка, встряхнув кудластыми волосами, и тотчас же стал ломаться. — Да что, друже мой, не больно-то я охоч ныне рассказывать.

— Ах, Фомушка!.. Пожалуйста, Фомушка!.. Про Афонские... Нельзя ли уж как-нибудь? — ублажали его некоторые из гостей, и особенно дамы.

— Не! Не! Не хочу!.. Вдругорядь! Вдругорядь как-нибудь, а ноне не хочу! — замахал на них ручищами своими Фомушка. — И не лезьте, не приставайте! Чего это и в самделе привязалися ко мне, словно псицы какие... Подите вон!.. Сказано — не хочу! А вот есть — хочу! Хозяйка! — присовокупил он. — Вели-ка мне еще медку да сайку с икрой подать!.. А рассказывать не стану.

— Ах, как жаль! Истинно жаль! Блаженный рассказывать не хочет!.. Не желает! — с грустью и сокрушением говорили между собою гости, отходя от Фомушки и покачивая головами.

— Да ты хошь расскажи господам милостивым, как тебя беси эфиопстии купать-то водили, — вмешалась странница.

— Ты чего еще голчишь?.. Молчать! — закричал, притопнув на нее, Фомушка, и странница, оторопев, прикусила язычок свой.

Оказалось, что блаженного ублажить на

рассказы нет никакой возможности.

Однако ж не прошло и пяти минут, как Фомушка, словно под каким-то наитием, вдруг возвысил свой голос.

— И приступиша ко мне беси, — начал он громко, широковещательно и с удивительной самоуверенностью, так что при первых звуках его речи все гости с благоговением, на цыпочках обступили блаженного. — И приступиша ко мне беси. Семь бесов — по числу зверину. Один старший — Сатанаил и шесть младших — сподручники. А я в та поры спасался: тридесять ден и тридесять нощей гладен был, и в бане не парился — с год, как не парился, и не мылся, потому — чистоты не люблю: в ней же бо есть блуд и предел спасенью. Не пецитеся о телесех, сказано.

Вздох с икотой со стороны Фомушки, вздох с прискорбием со стороны Макридушки и вздох с умиленным вниманием со стороны некоторых слушателей, особенно женского пола.

— И говорит мне бес: «Фомушка, приставлю я тебе жену некую, зраком зело добру, и будешь ты у меня первый человек Адамий, и

царем эфиопским наречешься, как одно тому слово — над всеми князьями князь и над всеми королями король, и будут тебе герцоги всякие ноги мыть да воду ту пить». Я говорю: «Пошел вон! Потому как ты черт — и я с тобой не могу!» А он мне речет: «Хочешь, в реке тебя выкупаю? Вот мы, говорит, жеребцов заводских поведем купать и тебя с ними!» И подхватили меня тут шесть бесов младших с эфиопом Сатанаилом и потащили купать. И взмолился я тут слезно ко Господу, да и не искупают меня в реке...

Новый вздох с икотой со стороны Фомушки, причем был перекрещен его рот: «для того чтобы враг человеческий не влетел через уста во утробу», — пояснил он гостям, которые от умиления только головами покачивали.

— Так вот како чудо было! — торжественно заключил блаженный, окидывая быстрыми глазами присутствующих. — И как я, значит, Божиим соизволением, по вере своей многоей, спасенье приял! А что этих всяких соблазнов мне было, как, то есть, враг мою плоть смущал — больше все во образе жен-

ском, ну, и опять же насчет яствия и пития — то и несть тому исчисления, и только одна вера моя соблюла меня чиста — вера да о грехах сокрушение. А соблазны-то нашему брату бывают многие!

Третья икота со вздохом, а гости все слушают да слушают с глубоким благоговейным вниманием, и некоторые лимонные дамы даже слезы источают. Актриса же Лицедеева сидит — не шелохнется, и глаза глубоко опустила, потому, вероятно, чувствует, что и ее, немощную, на этот счет исконный враг потайно многими соблазнами одолевает...

— А вот мне, грешнице, тоже чудо великое было, — начала своим певучим голосом Макрида-странница.

.....

Гости остались по большей части глубоко поражены этим последним чудом, а лимонные дамы еще сильнее источали слезы умиления.

Они совершенно искренно верили этим рассказам и преисполнялись чувством священного благоговения к таким избранникам,

как Фомушка-блаженный и Макрида-странница.

Прошла одна минута молчаливого раздумья.

Макрида, пользуясь ею, вынула из-за пазухи книжку в черном клеенчатом переплете и тихо, но торжественно поднялась со своего места.

— Благочестивые милостивцы! — начала она переливаться певучим голосом. — Пожертвуйте доброхотным даянием на преукрашение храмов и обителей Божих!.. Было мне видение: святитель во сне явился. Слезно плакал он, батюшка, и заказал мне, чтобы я, по усердию своему, через доброхотных дателев, престол ему, Костромской губернии Чуриловского погоста, в деревне Сивые Жохи беспременно поставила. «А я, говорит, и за тебя, раба Макрида, и за них, за дателев-то, перед Господом умолитель грехам вашим буду». Так вот — не будет ли милость ваша, господа мои высокие, по усердию своему пожертвовать мне что-либо?

Гости с готовностью взялись за свои карманы, и ассигнации их обильно исчезали за

черным клеенчатым переплетом Макридиной книжки.

Макрида выдерживала роль и строила лицо строгое, с очами, долу потупленными. Но Фомушка выдерживал с трудом: плотоядная улыбка, при виде стольких ассигнаций, невольно просачивалась на его роже, и жадными глазами он неустанно следил за Макридой, как бы опасаясь, чтобы она его надула. Одни только добрые домовитые птицы ничего не видели, ничего не подозревали и во имя небывалых чудес позволяли обчищать с такой беззастенчивой наглостью свои широкие карманы.

Вскоре появились еще два новых лица — одно почти вслед за другим. Это были: отец-протопоп Иоанн Герундиев и, с одного из кладбищенских приходов, отец Иринарх Отлукавский. Последний вступил в залу минутами тремя позже первого, и потому они приветствовали здесь друг друга взаимно троекратным лобызаньем, пожимая один другому обе руки: правую — правой, левую — левой.

— Ну что, как слышно? Говорят, тифозная эпидемия свирепствует? — спросил отец

Иоанн отца Иринарха, плавно поглаживая свою бороду.

Вообще, отец Иоанн отличался плавностью и мягкостью своей речи, своих движений и всего своего наружного характера. Отец же Иринарх был более резок и в улыбке порою несколько саркастичен.

— Да! Мрет народ, мрет, — подтвердил отцу Иоанну отец Иринарх, расправляя с затылка на обе стороны лица свои волосы. — И шибко мрет, но... все больше чернорабочий... все чернорабочий...

— А я так полагаю, что никакой тут эпидемии нет, а все это одна только выдумка господ медиков; потому где же тут эпидемии, ежели вот уж четвертые сутки ни к кому, а ни-ни то есть ни к кому, в буквальной точности, не позвали ни исповедывать, ни отпевать. Какая же тут эпидемия, я вас спрашиваю?

— Нет-с, я вам доложу, что мрет народ, — весьма настаивал отец Отлукавский. — Но только не из достаточных, не из зажиточных классов, а все это мертвец, доложу вам, — чернорабочий.

— Ну, что ж делать! Божья воля, Божья воля! — развел руками отец Герундиев, и оба с сожалением вздохнули — оба хорошо понимали друг друга, оба друг друга не любили, и оба друг другу сладко улыбались и, по завету, лобызались при встрече.

— Что есть жизнь? Нет, вы мне разрешите сейчас же вопрос: что есть жизнь? — словно пиявка, присосалась меж тем девица-писательница к князю, спириту и черепослову.

— «Жизнь! Что ты? Сад заглохший», — сказал мудрец, сударыня, — отбояривался черепослов. — И вопрос этот весьма труден, я не могу разрешить его сразу.

— Ну, так вот что: я даю вам неделю сроку. В следующую пятницу, когда мы опять здесь встретимся, вы мне должны привезти разрешение моей проблемы.

А пока она задавала свои вопросы, успел прибыть и еще один гость из самых почтенных. Это был граф Солдафон-Единорогов, который являл из себя гладко выбритую фигуру высокого, плотного старика, звучно и крепко опиравшегося на черную палку, при вечном старании придать нечто орлиное своей заки-

нутой назад физиономии. Он, в качестве бывшего воина, постоянно носил наглухо застегнутый фрак, украшенный блестящими регалиями, и высокий черный галстух старовоенного покроя, который вполне скрывал под собою малейшие признаки белья и твердо подпирал обе графские щеки. Старик придавал необыкновенный вес и значение своим визитам, и потому посещения его к Савелию Никаноровичу были весьма не часты, так как он старался всегда выбирать те вечера, присутствовать на которых изъявила желание и княгиня Настасья Ильинишна: он питал к ней большое почтение, считал себя вполне равным ей и поэтому полагал, что уже если оказывать честь своим посещением, то оказывать ее одновременно с княгиней Долгово-Петровской, что выходило всегда как-то блистательней и оставляло свое впечатление. Граф Солдафон-Единорогов принадлежал к числу «огорченных», недовольных современным ходом событий русской жизни и при каждом удобном случае громко заявлял свой негодующий протест. Его называли «либералом с другого конца».

Первое, что почел он нужным сообщить хозяевам, с достоинством раскланиваясь с ними, было известие, что княгиня Настасья Ильинишна непременно хотела быть у них сегодня. Хотя хозяева знали об этом и без него, однако он думал все-таки доставить им большое удовольствие сообщением, услышанным из его собственных уст, а через какие-нибудь пять минут в отдельном кружке самых солидных и достойных гостей Савелия Никаноровича авторитетно раздавался уже его голос, в котором даже и нечуткое ухо ясно могло бы расслушать огорченное раздражение.

— Нет, вы скажите, куда мы идем, — говорил граф Солдафон-Единорогов, — куда мы идем, я вас спрашиваю! И что из этого выйдет? Ха-ха-ха!..

Хохот графа раздавался весьма умеренно, с большим достоинством и отчетливой раздельностью в звуке «ха-ха».

Кружок слушателей глубокомысленно пожимал плечами, качал головами и произносил безнадежно:

— Гм!..

— Вчера я встречаю князя Петра Петровича, — возвысив голос, не без горечи продолжал граф. — Это Бог знает что за старик! Что с ним сделалось! Радикал, чистейший радикал! Ну и прочел же я ему мою отповедь! И что ж? Улыбается. «Вы, граф, говорит, озлоблены». Еще бы не озлоблен! Я думаю!

А через десять минут в новом кружке таких же почтенных и «влиятельных» гостей раздавался тот же самый голос графа, только значительно уже пониженный, до степени необыкновенно важной и как бы испуганной таинственности:

— Куда мы идем? Что мы делаем, я вас спрашиваю! Кем мы окружены? Э-эх!.. Встали бы отцы из гроба да кабы поглядели... Нечего сказать, приятный сюрприз увидали бы!.. Есть на что полюбоваться! И удивиться есть чему!

— Да! — уныло шамкнул генерал Дитятин, грустно поматывая своей трясущейся головой, на которой посредине темени, как у какой-то птицы, торчал мизерный клок жиденьких волосенков. — Были когда-то и мы нужны, спрашивали когда-то и нашего мне-

ния, нуждались и в нашей помощи… А теперь похерили разом, да и баста! Убирайся, мол, вон!.. Не нужен!..

— Обидно, ваше превосходительство, обидно! — со слезкой в красненьких глазках заметил ему на это сморчкообразный генерал Кануперский.

— Да-с! Ваше превосходительство, Магомета укрощали мы, ваше превосходительство, венгра укрощали, — шамкал генерал Дитятин, — а теперь мы не нужны!..

— Обидно, ваше превосходительство, обидно! — снова вздохнул сморчкообразный генерал Кануперский.

— Это все ничего! Пускай их!.. — утешил граф Солдафон-Единорогов. — Сам я, положим, сторонюсь, я сторонюсь и созерцаю про себя. Я все вижу, предусматриваю! Наша роль, господа… Вот, погодите! Наша роль…

В прихожей раздался новый звонок.

Хозяева, как бы инстинктивно чуя, что звонок этот возвещает не простого гостя, торопливо бросились в переднюю, откуда в ту ж минуту послышались их голоса, захлебывающиеся от радости и умиления:

— Ваше сиятельство! Княгиня Анастасия Ильинишна! Матушка! Жданная гостья! Милости просим!.. Милости просим!..

Приговаривая таким образом, они ублажительно кланялись ей льстивыми поклонами, пока ее древний ливрейный лакей, с помощью такого же древнего лакея и сморщенной девицы, находящихся в услужении Савелия Никаноровича, освобождали ее сиятельство из-под богатой лисьей шубы, сматывали с шеи меховые хвосты, стягивали теплые перчатки и стаскивали большие бархатные сапоги на беличьей подкладке. Пока производились все эти операции, она сидела на стуле в каком-то расслабленном, изнеможенном состоянии и охала как бы от сильной усталости.

Она имела обыкновение повсюду вывозить с собою престарелую девицу, компаньонку, и двух воспитанниц, которых выбирала по очереди из числа десяти, проживающих у нее на хлебах из христианского милосердия. Компаньонка, высохшая и злая, напоминала видом своим египетский обелиск и как раз подходила под стать лимонным дамам, наполнявшим гостиную Савелия Ника-

норовича. Две юные воспитанницы обещали в будущем сделаться точно такими же. Они все втроем почтительно стояли перед Настасьей Ильинишной. Одна держала ее ридикюль, у другой находился маленький аптечный ящичек, в котором помещались лавровишневые капли, мятные лепешки, нашатырный спирт и какие-то порошки да пилюльки, испокон веку неизвестно для чего глотаемые княгиней. Третья же держала на руках двух злющих-презлющих мосек, вверенных ее попечению и взросших точно так же, как и девицы, на воспитании сердобольной княгини. Этих престарелых и злющих мосек она каждый раз привозила в гости к собачонкам Евдокии Петровны. Евдокия Петровна и многие из ее гостей, особенно же лимонные дамы, с умильным усердием занимались моськами княгини, ласкали их, подносили кусочки сахарцу и сладкие крендельки. Сморщенная девица-горничная, по заведенному уже раз навсегда положению, готовила для каждой из них по полному блюдцу месива, составленного из булочного мякиша и сливок. Одним словом, княгининых мосек ублажали не менее

самой княгини Настасьи Ильинишны, ухаживали за ними точно так же, как и за нею, ибо моськи были ее первою, сердечною слабостью на склоне ее добродетельных дней. И моськи словно чувствовали и сознавали: они, по причине своей дряхлости, чуть ли не ежеминутно оставляли после себя неприятные следы по всем комнатам, причем Настасья Ильинишна каждый раз, качая головой и обращаясь к моське, виновной в такой неприличности, укоризненно замечала ей:

— Ах, какая мерзкая!

А Евдокия Петровна, вместе с лимонными дамами, улыбаясь на это замечание до крайности милой улыбкой, возражала княгине каким-то поощрительно-успокоительным тоном:

— Mais non, madame la princesse, ils sont si beaux, si jolis, ces petits chiens![493] Это ничего, право же, ничего!

Моськи Настасьи Ильинишны, в качестве гостей, вели себя совсем уж невежливо в отношении собачонок-хозяев. Они, нисколько не соблюдая правил общежития и житейской мудрости, поминутно грызлись с собачонка-

ми Евдокии Петровны, отчего по всем комнатам поднимался нестерпимый визг, вой и рычание. Наиболее усердные из лимонных дам тотчас же бросались разнимать грызню, причем Евдокия Петровна зачастую собственноручно чинила расправу над своими собственными собачонками, награждая их то шлепком, то дерганием за уши, хотя и знала в то же время очень хорошо, что они невинны, что зачинщики ссоры суть моськи княгини и что таковая расправа, по всем законам справедливости, должна была бы пасть на их задирчивые головы; но... моськи княгини меж тем от нее же самой получали новый кусочек сахарцу, переходили с рук на руки лимонным дамам и были награждаемы от них глажением по шерсти, с присовокуплением множества самых ласкательных, милых эпитетов и даже нежных поцелуев в морду.

И все это только потому, что они имели счастие быть моськами княгини.

С ее сиятельства стаскивали еще сапоги и разматывали хвосты, а уже во всем доме не было того мизерного существованьица, которому не сделалось бы известно, что сама кня-

гиня Настасья Ильинишна изволили пожаловать. Гости сочли нужным, в ожидании ее появления, приободриться и просветлеть светозарными улыбками, чтобы каждый волосок, каждая морщинка, мало того — каждая складка одежды исполнились почтительной радости при встрече с особой ее сиятельства. На лице Фомушки-блаженного немедленно появилась глупая, идиотская улыбка. Макрида еще с пущим благочестием потупила долу свои взоры и плотнее запахнулась на груди черным платком, что было исполнено ею с таким видом, который явно изобличал всю глубину ее смиренства и скромности. Граф Солдафон-Единорогов самодовольно и горделиво упер в галстух свой подбородок, глянув вокруг себя ясным соколом, хотя и походил более на коршуна. Петелополнощенский поправил жабо и обтянул жилетку. Никиша Маячок, с своей стороны, ограничился только тем, что глубокомысленно и смиренно-мудро кашлянул в руку, а девица-сочинительница Разбитая, которая до этой минуты терзала его разрешением философской задачи: «Что есть *высокое* и чем оно разнится от *глубокого?*» —

теперь вдруг заговорила ему торопливым шепотом, как он думает и как посоветует, не может ли княгиня Настасья Ильинишна устроить дело так, чтобы ее добродетельно-философический роман сделался известным в наиболее высших сферах.

Никиша с тихим вздохом ответствовал:

— Она все может...

Многие из лимонных дам, при первой вести о приезде Долгово-Петровской, никак не воздержались, чтобы не повскакивать с мест и не повысыпать всем гуртом в залу — навстречу сиятельной гостье. Одна только актриса Лицедеева осталась в гостиной на канапе, хотя и ее, то и дело, подкалывало иголочками — вскочить и отправиться туда же вслед за другими; но, ради выдержки собственного достоинства, актриса Лицедеева принудила себя остаться на месте и продолжать разговор о каком-то догмате с князем Балбон-Балбониным, помещавшимся против нее на низеньком табурете, с которого, однако, он, при известии о приезде княгини, как бы невзначай, предпочел подняться и, поигрывая ключиком своих часов, продолжал уже

стоя разговор свой с актрисою — впрочем, продолжал его, напустив на себя вид некоторой независимости.

Наконец наступил ожидаемый момент появления Долгово-Петровской.

Она вступила в залу в сопровождении почтительных хозяев. За хозяевами следовала иссохшая компаньонка с ридикюлем; за этим ходячим египетским обелиском ковыляла уточкой воспитанница, державшая на руках двух мосек, а хвост всего шествия замыкался девицею, которая заведовала аптечкой.

При виде княгини уже все без исключения поднялись с мест.

— Матушка!.. Сиятельство! — среди всеобщего молчания залаял вдруг Фомушка, направляясь мелкими шагами к княгине, причем он изогнулся всем корпусом вперед и протянул обе горсти, словно желая подойти под ее благословение. — Узорешительница... Матица-утица — всем цыпкам курица! — говорил он, смачно целуя руку, обтянутую лайковой перчаткой. — Дайко-се и другую ручку Божьему дурачку!.. Божий дурачок за тебя умолитель, а по молитве Фомкиной и шири-

на тебе посылается! Поздоровела, матка, шибко поздоровела! Ишь, как тебя разнесло! Словно бы ситник, раздобремши! А все дураковой молитвою! Ты у меня, матка, сила!.. Сила Силовна! Вот кака сила!.. Улюлю-лю! Величит душа моя Господа!.. Величит душа моя Господа!..

Княгиня снисходительно улыбнулась на приветствие блаженного и показала вид, будто бы это чересчур громкое изъявление публичной благодарности к ее особе несколько смущает в ней чувство христианской скромности, которая повелевает творить добро втайне, чтобы шуйца не ведала о деснице. Но это был только вид, а в душе-то Настасья Ильинишна, по обыкновению, осталась очень довольна таким громким заявлением.

Хозяева, при сем удобном случае, представили ей и Макриду-странницу — в качестве особы, подвизающейся вместе с Фомушкой на поприще юродства. Макрида, тотчас же накинув на себя высокую степень смиренства, какая только могла быть присуща ее лицемерию, облобызала бахромку дорогой шали, спускавшейся с плеч княгини, и после этого

почему-то сочла нужным вздохнуть и отереть у себя набежавшую слезинку.

Отдав гостям общий и довольно церемонный поклон, Настасья Ильинишна направилась прямо в гостиную, где и была помещена на самом почетном месте древнего дивана.

Нечего и говорить, конечно, что эта гостиная немедленно же наполнилась народом, из коего те гости, которые пользовались почетом и авторитетом, заняли круг мест, ближайших к этому солнцу в юбке, озарившему собою скромное обиталище Савелия Никаноровича. С одной стороны княгини поместилась Евдокия Петровна, в качестве хозяйки дома, с другой — граф Солдафон-Единорогов. Затем следовал отец-протоиерей Иоанн Герундиев, отец Иринарх Отлукавский, гордопоступный Петелополнощенский и генерал Дитятин. Актриса Лицедеева, конечно, отошла теперь на второй план, но тем не менее сохраняла свое достоинство и все-таки осталась на диване в качестве уважаемой гостьи. Что же касается до лимонных дам, то эти, будучи настолько смиренны, чтобы не тесаться в высший ареопаг, засевший вокруг Настасьи

Ильинишны, избрали себе более скромную роль: одни из них молча внимали тому, о чем говорилось в среде ареопага, другие возжались с египетским обелиском, который, в качестве княгининой компаньонки, имел в их глазах громадное значение и силу, а третьи ограничивались еще более скромною ролью и вместе с двумя воспитанницами занимались ухаживанием за двумя моськами. Княгиня скромно и как бы невзначай, между разговором, успевала кстати ввертывать мимолетные сообщения о сотворенных ею благодеяниях в течение последней недели: того-то она в богадельню поместила, тому-то место выхлопотала, за того-то просила князя такого-то и генерал-губернатора, во вторник посетила тюрьму, в среду явилась нежданным гением-благотворителем семейству, стоявшему на краю погибели, в четверг присутствовала на торжественном акте детского приюта, в пятницу заседала в особом собрании филантропического комитета и т. д.; словом, не проходило дня и часу, чтобы княгиня не успела кого-либо облагодетельствовать или сотворить иного доброго дела.

— Ваше сиятельство, вот у меня есть одно знакомое мне семейство, очень злосчастное семейство, нуждается в помощи. Не соблаговолите ли принять в нем участие? — почтительно осмеливается доложить княгине кто-нибудь из гостей, улучив для этого удобную минуту, и княгиня, получа такое сообщение, немедленно же обращалась к своему обелиску, приказывала ему достать из ридикюля роскошную записную книжку и собственноручно вносила в нее адрес злополучного семейства. Это записывание, равно как и самое выслушивание рассказа о бедствиях, сопровождалось у нее непременными вздохами христианского сокрушения и сердобольного сочувствия к ближним.

Теперь уже в гостиной Савелия Никаноровича говорила почти исключительно одна княгиня Настасья Ильинишна. Остальные довольствовались почтительным вниманием к ее рассказам, которые иногда только прерывались у нее внезапным восклицанием, обращенным к одной из двух мосек: «Ах, мерзкая! Опять она, опять!..», да время от времени сопровождала эти повествования Макри-

да-странница своим смиренным вздохом или Фомушка бесцеремонной икоткой. Однако сие не вменялось ему в особое неприличие, потому — человек он Божий, юродственный, и все сие производит не по своему хотению, а по высшему соизволению.

III
ДИАНЫ О ФРИНАХ

Теперь уже ареопаг находился в совершенном блеске и в полном собрании всех своих членов. Собрались они в этот вечер неспроста, и каждый гость Савелия Никаноровича, отправляясь к нему, на край города, знал очень хорошо, что ныне предстоит обсуждение, а может быть, и окончательное решение весьма важного дела. Это был целый проект, сущность которого читатель узнает несколько ниже. Инициатива проекта принадлежала актрисе Лицедеевой, которая сообщила о нем Евдокии Петровне, а эта доложила в удобную минуту Настасье Ильинишне, и Настасья Ильинишна приняла его под свое покровительство. Мысль проекта заключала

в себе начало одного действительно хорошего дела, дела гуманного, честного, христианского, которому, для того чтобы оно стало на ноги и пошло как следует, надлежало только дать настоящее, истинное направление. В способе исполнения этой мысли и во всем направлении дела главнейшим образом и заключалась его *суть*, то есть та существенная польза, которую оно могло бы принести. Но — увы! — в том-то и беда, что мысли и желания у них сами по себе необыкновенно высоки и безукоризненно прекрасны, а способ проведения этих мыслей в жизнь отличается необыкновенной дикостью и бывает способен убить в самом зародыше каждое хорошее дело, которое попадает к ним в руки. Княгиня Настасья Ильинишна потому лишь приняла под свое покровительство проект Лицедеевой, что в нем явилась новая пища для тщеславия, вплеталась новая благоуханная лилия в пышный венок ее дел христианского милосердия, о которых каждый из ее многочисленных доброжелателей и поклонников мог на всех перекрестках трубить в громкие трубы и кричать по всему городу, по всем ве-

сям и дебрям, умиленно прославляя ангельски добродетельное сердце княгини Настасьи Ильинишны. А если бы предстоящее дело вплетало в ее пышный венок не благоуханную лилию, очевидною красотою которой всякий желающий может вдосталь любоваться, а какие-нибудь тайно скрытые, незаметные для глаз окружающего мира терновые шипы, то княгиня Настасья Ильинишна — увы! — едва ли бы вызвалась взять под свое высокое покровительство проект актрисы Лицедеевой.

Еще до прибытия ее сиятельства некоторые гости, из числа посвященных в это дело, шушукались о нем между собою, а теперь, когда ее сиятельство успела уже выложить полный короб своих добрых деяний и выпить чашку чаю, весь ареопаг безмолвно находился в ожидании начала совещаний. Хотя этого ожидания и никто не высказывал, но оно начало уже томительно чувствоваться в самом воздухе этой гостиной. Поэтому Савелий Никанорович, почтительно подойдя к дивану, на котором восседала княгиня, наклонился к ней с улыбкою и тихо спросил, не позволит

ли она приступить к обсуждению проекта... Княгиня охотно изъявила свое милостивое согласие. Тогда Савелий Никанорович кивнул смиренномудрому Никише Маячку, игравшему в этом обществе нечто вроде роли секретаря. Никиша немедленно же удалился в залу, откуда тотчас раздался его громкий звонок, призывавший гостей ко вниманию. Все направились в эту залу и, по чинам и по достоинству, заняли «присвоенные» места на креслах и стульях, расставленных тесным полукругом против допотопного дивана, перед столом, на котором стояли свечи под абажуром, колокольчик, мелкий сахар и графин с водою. Актриса Лицедеева, которой надлежало перед лицом собрания изложить мысль своего проекта, поместилась на диване рядом с княгиней, игравшей неизменную роль почетной председательницы. После минутного двигания стульев, кашляния и усаживания водворилась наконец совершенная тишина, и заседание открылось речью актрисы Лицедеевой.

— С помощью Всевышнего, — начала она с томным вздохом, подняв к потолку взор

свой, — меня осенила мысль, которая долгое время не давала мне покоя. Внутренний голос шептал мне: «Иди и исполняй!» Я долго обдумывала, и вот плодом моих размышлений явился этот маленький труд — проект, который мы теперь обсудим и дополним общим нашим собранием. Прежде всего я должна принести благодарность ее сиятельству княгине Настасье Ильинишне (Настасья Ильинишна скромно улыбнулась и потупила голову). Чувствительное сердце княгини открыто для каждого доброго дела. Это, я надеюсь, ни для кого не тайна. Каждый из нас может подтвердить это целыми десятками примеров. (Настасья Ильинишна улыбнулась еще скромней и еще ниже потупила голову, показывая вид, будто чувству ее христианской скромности становится очень неловко. Оно бы, может, и было так в сущности, если б на губах ее не мелькала легчайшая тень улыбки самодовольствия.)

Актриса Лицедеева говорила свою речь несколько театральным тоном. Она успела уже заранее хорошенько приготовиться к ней и даже сама прорепетировала ее дважды пе-

ред зеркалом, запершись наедине в своем будуаре, как репетировала обыкновенно каждую роль своего сценического репертуара. Этот театральный тон пробивался у нее и в жизни, почти на каждом шагу: в манерах, в походке, в движении рук, во вскидывании глаз и больше всего в поклоне. В настоящую же минуту он был преисполнен театральной аффектации, что могло зависеть и от высокости самого сюжета.

— Я имею в виду говорить о тех несчастных женщинах, которых принято называть падшими (на слове «падшими» актриса Лицедеева видимо замялась, сконфузилась и покраснела). Женщины добродетельные, мне кажется, могут взять под свое покровительство детей порока. И Христос не отвергал блудницу (новый конфуз со стороны актрисы Лицедеевой, по причине циничесского слова «блудница»). Не возмущалась ли, господа, ваша душа видом этих несчастных созданий, когда вы случайно встречали их на улице? Я надеюсь, что никто из нас не мог смотреть на них без содроганья. Они хотя и падшие, но все-таки женщины, все-таки наши во Христе

сестры. Священная обязанность женщин добродетельных — протянуть погибшему созданию руку помощи и вырвать его из когтей порока.

— Ах, как хорошо говорит! — умилительно перешептывались некоторые из лимонных дам, закатывая глаза от восторга.

— Красноречиво! — прошамкал генерал Дитятин.

Княгиня же Настасья Ильинишна ничего не выразила словом, зато при каждой фразе безмолвно поддакивала в такт головою. Да и актриса Лицедеева, казалось, просто захлебывалась в пучине сознания собственной добродетели, которая родила в ней такую высокую мысль. Добродетель фонтаном брызгала из каждого ее слова, из каждого взгляда и вздоха, даже испарялась в виде тонкого эфира из каждой поры актрисы Лицедеевой.

— Но вот является вопрос, — продолжала она, повысив голос и обводя взором собрание, — является вопрос: каким образом женщина добродетельная может протянуть руку дочери порока? Конечно, наше общественное положение воспрещает самим нам спускать-

ся в вертепы порока, чтобы отыскивать там заблудших овец. Это было бы с нашей стороны уже слишком великой жертвой, которой я даже не осмеливаюсь и предложить. В этом случае нам помогут господа наши члены-мужчины. Им несравненно удобнее, чем нам, находить детей порока. Мы же примем на себя исправление и перевоспитание тех несчастных, которым судьба дозволит прийти к нам для направления на путь добродетели. Мы совместно с членами-мужчинами должны жертвовать в общее дело излишек от достатка нашего, устраивать в пользу его благородные спектакли, концерты, балы и лотереи. Конечно, ее сиятельство княгиня Настасья Ильинишна не откажется, по общему, единогласному выбору, принять на себя труд представительницы и почетной председательницы нашего нового общества. Лепта вдовицы иногда бывает угоднее Богу, чем целые сто талантов. Наша почтенная хозяйка вместе с почтенным хозяином решились уже безвозмездно пожертвовать своим отдельным надворным флигелем для устройства в нем убежища. Это будет нечто вроде мона-

стыря, где будут помещаться кающиеся женщины. Мы начертаем строгий устав их жизни и занятия; они будут работать и молиться, молиться и работать, а мы возьмем на себя задачу говорить им о безднах порока, вселять к нему отвращение и внушать правила добродетели. И если в которой-либо из них заметим явные признаки исправления, то такую должно будет выпускать на волю из нашего заведения, приискать ей место или доставить работу. Но только, полагаю, что ранее двухгодичного срока (по крайней мере двухгодичного) ни одна из них не должна покинуть убежища. Это время ей будет служить искусом и неизменным сроком покаяния, потому что прежде чем думать о жизни земной, телесной, надо подумать и о жизни загробной. Вот, господа, в главнейших чертах мысль этого проекта. Передаю вам ее на общее обсуждение.

Актриса Лицедеева торжественно замолкла и, опустив глаза, с каким-то покорственным видом нагнула голову, словно сама она признавала эту голову повинною и отдавала ее обществу — судить, карать или миловать.

В зале царствовало молчание. Только иной сосед с соседом одобрительно перемигивался и шепотом произносил: «Хорошо!.. Высокая мысль!.. Красноречиво изложено!» Или что-нибудь в этом роде.

Отец Иринарх Отлукавский приподнялся с кресел, с видимым намерением в чем-то оппонировать. Все взоры ожидательно вскинулись на него. Госпожа Лицедеева даже вымеряла его глазами, словно это был ее враг, противник на кровавом поединке. В птичьем обществе всем было хорошо известно, что отец Иринарх отличается в спорах большим умением диалектически пользоваться слабыми сторонами противника. Хотя он и был членом этого общества, однако же многие недолюбливали его за такое свойство и за глаза выражались о нем, что это, мол, «из новых». Но отец Иринарх на сей раз, против общих ожиданий, не ввернул никакой казуистической загвоздки, а только очень резонно и вполне логично заметил, что зачем же, мол, непременно выдерживать на искусе аккуратно двадцать четыре месяца? Если, мол, исправление последует ранее этого срока, то

нет никаких причин понапрасну держать женщину в приюте, лишая тем каких-нибудь новых кандидаток возможности скорейшего исправления.

Целый хор голосов восстал против отца Иринарха. Какие данные выставляли эти голоса в защиту двухгодичного срока — понять было невозможно. Одной только госпоже Лицедеевой удалось наконец перекричать хор своих защитников и с жаром возразить своему оппоненту, что для спасения души и для снискания прощения на небесах необходим по крайней мере двадцатичетырехмесячный срок.

Княгиня Настасья Ильинишна безусловно согласилась с ее мнением, и этим согласием был уже положен крайний, окончательный предел всякому спору. Переход за Рубикон с этой минуты сделался невозможным, так что отцу Иринарху осталось только слегка улыбнуться и безмолвно усесться на прежнее место.

Но некоторые из птичьих членов оказались постойче и поупрямее его. Спорили кружками, в два-три человека, о разных част-

ностях проекта и более о некоторых словах, чем о самой мысли. Во всех концах залы поднялся многоречивый говор, в котором ничего нельзя было разобрать, и только Фомушка с Макридой ни в чем не принимали участия. Последнюю давненько-таки стало клонить ко сну, так что, сидючи в креслах, она частенько клевала носом и, чтобы вконец не заснуть, меланхолически вертела палец вокруг пальца. Фомка же просто-напросто хотел жрать и все никак не мог улучить удобную минуту, чтобы спросить себе у хозяйки новый стакан чаю с медком и гривенную сайку с икоркой. Наконец Савелий Никанорович, усмотрев, вероятно, что спорам конца не будет, так что в нынешний вечер и ни до каких результатов не добьешься, кивнул Маячку, чтобы тот призвал общество к порядку. Раздался звонок, и началось новое передвигание стульев, сморкание, откашливание и усаживание.

— Я прошу слова, господа! — воскликнул Савелий Никанорович. — Я прошу слова! Мы все говорили довольно; мы все — люди, во тьме ходящие; живем нашей суетной, житейской мудростью и житейскими помыслами, а

вот между нами — простой Божий человек (при этом он указал на Фомушку). Его сердце откровенно пред Господом, Господь любит таких, как он, и открывает им свои веления. Испросим лучше его совета: что он нам скажет, так тому и быть! Его мудрость не наша; он и сам, может, не знает, что он нам скажет; но мудрость вселяется в него свыше.

Это предложение необыкновенно понравилось всем и каждому.

— Ах да, да! Фомушка! — заговорили лимонные дамы. — Он нам скажет; он ведь вещий человек — вот как в Москве тоже Иван Яковлевич удивительно говорит, так что сначала многое не понимаешь, совсем, кажись, смыслу нет — ан есть! И потом, гляди, сбудется, непременно все сбудется, что ни скажет!

— Да, это так. Это лучше всего. Пусть *он* нам разрешит. К Фомушке! к Фомушке, — говорили члены, со всех сторон обступая блаженного.

— Блаженный! Разреши нам наши суемудрые шатания, поведай нам свое слово! — обратился к нему Савелий Никанорович.

— А где-кося тут хозяйка? — вместо всяко-

го ответа залаял Фомка. — Подайте мне ее сюда на златыим блюди, красную мою малину-ягоду! Слышишь ты, Божья раба, мирская боярыня, ублажи-ка дурака еще чаишкой, малость самую, да сотвори милость Христову: подай еще одну сайку гривенную с икоркой, тогда дурак тебе и слово свое скажет! А теперь у дурака брюхо нудит, коловоротом вертит нутро. Вишь ты, есть оно больно просит, ажно пишшит!

Пока Фомке готовили чай да сайку, Савелий Никанорович старался втолковать ему понятными выражениями сущность проекта госпожи Лицедеевой. Фомка слушал и понимал, но для виду продолжал бессмысленно хлопать глазами. Когда же принесли ему чай, то, прежде чем разрешить общественные сомнения, он начал жрать, и жрать не просто, а с фокусами: перед каждым глотком троекратно крестил дымящийся паром стакан и на каждый комок разрываемой когтями сайки тоже накладывал печать крестного знамения, бормоча про себя вполголоса:

— Беси-эфиопы содомстии, изыдите! Тьфу-тьфу-тьфу!.. Аминь!

Сжамкал Фомушка сайку, вылакал чаю стакан, а добрые домовитые птицы все стоят вокруг него да ждут вещего слова. Но слово не изрекается.

Успокоительно сложив на чреве персты свои, он только икнул от преизбытка душевного и с закрытыми глазами истомно произнес:

— Фуй, прости Господи!.. Объядохся, опихся и осовех... Осовех, окаянный... Простите, отцы и братия, иже кого в соблазн возвел похотеньем своим блудныим! Пишши этой самой набил в мамон от пупа до маковки!

И действительно, от жранья в нынешний вечер его расперло и вспучило до полной осовелости. А члены все ждали вещего слова и наконец дождались. Бессмысленно глядя вокруг себя и похлопывая лупоглазыми бельмами, блаженный забормотал какие-то отрывочные фразы, по которым можно было предположить, что он погрузился в полное самозабвение.

— Душа его с Богом беседует, — умильно-назидательным тоном заметила Макрида, отнесясь к одной из своих соседок.

— Вода возлияния, козел отпущения, жертва ревнования, хлебы предложения, светильник седьмисвещный — всие медное море... всие медное море.

— Беседует, с Богом беседует... — шепотом внушала Макрида соседке.

Гости стояли, слушали разинув рты и, ровно ничего не понимая, переглядывались друг с другом недоумевающими взорами, а некоторые из более робких и скромных лимонных дам даже какой-то страх восчувствовали — очень уж дивным казалось им откровение, воочию проявившееся в Фомушке. Савелий Никанорович немножко начинал чувствовать, что он, в некотором роде, дал маху, предложив достопочтенному собранию обратиться к мудрому совету блаженного. Фомушка между тем продолжал, не обращая ни на кого внимания:

— Старец некий вниде во врачебницу и рече ему врач: всякую потребу вошел еси семо от овамо? И отвеща ему старец: имеши ли былие, врачующее грехи? И рече ему врач: аще, восхощеши, покажу ти его.

Все общество сомкнулось еще плотнее и

отдало Фомушке полное свое внимание. Птицы начинали прозревать нечто похожее на человеческий смысл в вещаниях юродивого, а он между тем разглагольствовал далее:

— Возьми корень нищеты духовные, на нем же ветви молитвенные процветают цветом смирения, иссуши его постом и воздержанием, изотри терпеливым безмолвием, просей сквозь сито чистой совести, всыпль в котел послушания, налей водою слезною и подпали теплотою сердечною. Тогда убо возжется огнь молитвы. Подмешай былия благодарения, и довольно уваривши смиренномудрием, влей на блюдо рассуждения; остудивши же зело братолюбием, часто прикладывай на раны сердечные, и тако уврачуеши душу свою от множества грехов.

Этот духовный рецепт сам по себе, без сомнения, был прекрасен, но ни Савелий Никанорович, ни все остальное общество не видело еще в нем прямого разрешения предложенной задачи.

— А что же, блаженный, насчет дела-то? Ты вот нам насчет нашего дела скажи, что Бог тебе на разум положит. Мы хотим знать твое

мнение, чистого духом, простого Божьего человека! — настойчиво ублажал его хозяин.

Фомка ясно понял, что тут, как видно, ничем не отвертишься, и потому махнул наудалую.

— Ты это все насчет чего же пристал-то ко мне? Ишь ведь пристал, словно к ягодице банный лист, и в сам-деле: ты все, этта, насчет женска пола, одно слово, про девок?.. Так я тебе, милый человек, одно скажу: никакого тут исправления нету, а сделай вы все, сколько вас ни есть, складчину. Первым делом — купите соли пуд да дворнику велите ушата с три воды натаскать. Соль-то эту в воде размешайте, чтобы вода, значит, соленая была, и не так, чтобы слегка, а оченно, значит, соленая, чтобы она, значит, плоть разъедала. И тогда ступайте в лес да нарежьте лозанов жиденьких, березовых, а либо ивушку-лозу, одно слово — тонкого прутья. Ну и пущай лозаны в той-то самой соленой воде завсегда у вас и мокнут. Вот тебе мое верное слово.

— Это для чего же, блаженный? С какою целью? — вопросил хозяин.

— А для того, друже мой, чтобы пороть де-

вок-то лозанами. Лозанами их! Чехвости, знай, каждодневно, и в утреню, и в вечерню, да и баста! Потому, окромя как лозанов, — никакого такого средствия, ну и исправления тут нет: больно уж люты они, подлые! Токмо от лозы единой и проймешь, чтобы Бога восчувствовали. Вот тебе и сказ! А боле и не моги вопросить! Ничего не скажу тебе боле!..

И Фомушка опять погрузился в созерцательное молчание.

Справедливость требует заметить, к чести большинства птичьего ареопага, что откровение блаженного произвело странное и даже невыгодное впечатление, хотя и нашлось несколько усердствователей, которые отнеслись к нему одобрительно.

— А что ж? Это он и в самом деле правду сказал, — замечали эти последние. — Ведь не сам же от себя он выдумал! Он даже очень глубоко это сказал: потому сперва дал духовный совет для души, к уврачеванию грехов, а потом и для исправления телесного. И это совсем уж напрасно отвергает большинство. Совсем напрасно! По-настоящему, совет его следует принять в соображение.

Итак, смелый билль, предложенный Фомушкой-блаженным, не прошел. Зато прошел другой, предложенный, с не меньшей гениальностью, графом Солдафон-Единороговым. Этот последний билль возник в среде членов-мужчин по поводу того пункта из проекта госпожи Лицедеевой, который, относясь непосредственно к ним, предоставлял на их долю отыскивание падших женщин.

— Это непрактично, — говорил граф. — Я, например, при моих летах и при моем сане, ведь не пойду бог знает куда, да и никто не пойдет, потому что это оскорбляет и достоинство, и нравственность.

— Так как же тогда мы будем отыскивать этих несчастных? — горячо вступилась актриса Лицедеева, поддержанная самою княгиней Настасьей Ильинишной.

— Очень просто-с, — возразил ей Солдафон. — При посредстве местной полиции.

— То есть как же это? — не удержались от восклицания многие из членов.

— Опять-таки очень просто-с. Полиция ведь забирает же их иногда за дурное поведение? Ну вот, когда заберут нескольких, пус-

кай и представят к нам. На это можно выхлопотать разрешение.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что, стало быть, это выходит, насильством брать? — опять-таки не без некоторого злорадства заметил Иринарх Отлукавский.

Но граф Солдафон не смутился.

— Так точно, ваше преподобие! Иного средства я не нахожу. Детей, например, заставляют же учиться насильно; строптивых мы укрощаем розгами; солдата я сам приучал к службе шомполом да палкой... И-и! Боже мой! Да, наконец, нас самих посекали в детстве! И спасибо! Слава Богу, не пропали в жизни. Так точно нужно действовать и в этом случае; по крайней мере скорее всего приведется к цели, а цель наша, полагаю, прекрасная, нравственная цель!

И граф умолк, с сознанием полной непогрешимости своих аргументов.

Мысль его об обращении падших при содействии местной полиции была принята как вполне рациональная; ею серьезно думали воспользоваться, и только Настасья Ильинишна выразила сомнение и несогласие свое

к последнему из аргументов графа, на котором он вполне сходился с Фомушкой-блаженным.

Наконец проект госпожи Лицедеевой кое-как был обсужден, дополнен и благосклонно принят обществом. Оставалось только приступить к делу, то есть к выполнению. Краеугольным камнем этого выполнения, по мнению Лицедеевой и самой княгини Долгово-Петровской, должен был явиться первоначальный фонд, основанный по доброхотной и посильной складчине всех членов. Первый пример щедрости показала сама княгиня, которая на подписном листе выставила сумму в 500 рублей серебром. Что касается до Савелия Никаноровича и Евдокии Петровны, то эти, действительно добрые и по-своему очень хорошие люди, еще раньше княгини, безвозмездно пожертвовали для дела целым отдельным флигелем своего дома. При этом, впрочем, автор должен заметить, что самолюбию Евдокии Петровны немало льстило почетное звание директрисы убежища, на которое она сильно рассчитывала.

Но — увы! — большая половина наличных

членов оказалась сильно-таки скупенькой в своих доброхотных даяниях. Впрочем, для исторической полноты события, автор необходимо должен добавить, что эта самая половина, не далее как в нынешний же вечер, с несравненно большею охотой и щедростью делала свои вклады в черную кружку Макриды-странницы, ибо в этих последних вкладах усматривала ближайшую и наиболее существенную пользу для спасения души.

«Оно, конечно, дело очень хорошее и доброе, — мыслила эта половина птичьих членов насчет проекта госпожи Лицедеевой, — но тут все-таки дело земное, а там уже прямо дело небесное — потому на построение храма сбирает».

Когда подписной лист оказался наполнен фамилиями вкладчиков и первое заседание объявлено закрытым, девица-сочинительница Разбитая не вытерпела и обратилась к Евдокии Петровне с назойливою просьбою — предложить гостям выслушать одну маленькую главку из ее добродетельно-морально-философического романа.

Началось очень скучное чтение, во время

которого Евдокия Петровна тихо взошла на возвышение, покрытое красным сукном, где стояла перед табуретом ее позлащенная арфа, и пока девица Разбитая читала «с оттенками» и декламацией, Евдокия Петровна, устремив глаза в потолок и придав своей седокудрой физиономии выражение восторженно-вдохновенной меланхолии, в блуждающей задумчивости, медленно и тихо бряцала перстами по струнам арфы.

Таким образом, чтение девицы Разбитой походило на театральный монолог под сурдинку. Гости весьма томились навязанным им развлечением, напряженно стягивали рты и мускулы щек, удерживая широко наплывшую зевоту; а более слабые из них и совсем уже не выдержали... По зале, вместе с девицей Разбитой и меланхолической мелодией Евдокии Петровны, раздавалось тихое и мерное носовое сопение. Десятка полтора гостей, убаюканных этими звуками, безмятежно спали блаженным сном невинности.

И бог весть сколько бы времени длилось еще чтение маленькой главки добродетельно-морально-философского романа, если бы

внезапно не прервала его бесцеремонно громкая икотка Фомушки.

— Хозяйка! — вскрикнул он, ерзая на кресле и поворачиваясь всем туловищем к Евдокии Петровне. — А где у вас тут выйти? Вели-ткось проводить меня. Больно уж я спать захотел. Да пущай мне там, в буфетной на лежанке, постелю бы настлали — сон сморил совсем. И вам пора по домам, во Христе братики! — с глупой улыбкой подпел он себе в заключение:

Все домой-да, все домой,
А я домой не пойду,
Ай, люли, не пойду!
Сударики, не пойду,
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду!

И это было единственное умное слово, без особенного умыслу оброненное Фомушкой в течение вечера, так что все члены птичьего ареопага в глубине сердец своих восчувствовали и к блаженному величайшую благодарность за это самое слово. Он, словно израильтянин от пленения египетского, извел их от пленения девицы-сочинительницы Разбитой, смело перешагнув неисходные морские пучи-

ны ее добродетельно-морально-философического романа.

— Простите, отцы и братия, еже соблудих, окаянный, словом, делом, помышлением! — бухнулся вдруг на колени блаженный, кланяясь в ноги всему обществу. — Отпустите мне не блазно на сон грядущий!

И после нового земного поклона он тихо удалился из комнаты, напевая себе под нос:

— На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом.

IV
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ

В гостеприимном доме Савелия Никаноровича Фомке была полная лафа. Здесь он достигал уже до апогея своего подвижнического юродства. Здесь его без обиняков признавали чистым, святым Божиим человеком, верили всем откровениям и каждому его слову, ухаживали за ним как за писаной торбой, почитая такое ухаживание делом богоугодным и, стало быть, душеспасительным. Кормили его на убой, поили фруктовым квасом, водянка-

ми, пивком и домашней наливкою; сажали рядом с собою за стол, нисколько не брезгая его грязью и вонью, которые также причислялись ими к непременным атрибутам его юродственной святости. Никогда еще фортуна не улыбалась Фомушке такою широкою улыбкой, как с тех пор, когда он имел счастие обратить на себя высокое внимание и покровительство княгини Настасьи Ильинишны. До этого времени, или, вернее, до тюрьмы, высший круг его знакомства и деятельности составляло мелкое купечество да мещанство, — а теперь Фомка в баре попал. Лимонные дамы наперерыв старались залучить к себе Фомку, почитая его самым дорогим гостем, и бывали истинно счастливы, если он удостоивал которую-либо из них своим посещением — и все это только потому, что сама княгиня Настасья Ильинишна изволила ему покровительствовать.

Во всем птичьем ареопаге было только три человека, которые, по своему уму и житейской опытности, сразу раскусили, что такое, в сущности, этот блаженный Фомушка; но каждый из трех раскусил его порознь, в глубине

собственного сердца, и каждый почел за лучшее держать на этот счет язык за зубами. Эти трое раскусивших были отцы Иринарх с Иоанном да гордопоступный Петелополнощенский.

Отец Иринарх с первой же встречи устремил на Фомку проницательный, пытливый взгляд, минут с десять послушал его разглагольствия и безошибочно узнал птицу по полету.

— Вы бы с ним, матушка Евдокия Петровна, тово-с... как-нибудь поосторожнее, — предварил он тогда же гостеприимную хозяйку. — Потому, изволите видеть, случается и так, что эти Христа ради юродивые, не по чему иному, как, собственно, по одной своей забывчивости, зачастую и серебряные ложки в карман таскают. Так чтобы как-нибудь тово... греха такого не случилось бы и с вами...

— Ай!.. Ах!.. Отец Иринарх! Что вы! Да как вы! — всплеснула руками Евдокия Петровна, возмущенная столь клеветнической несправедливостью. — Фомушка!.. Чтобы Фомушка решился!.. Да нет... да вы вспомните: сама княгиня Настасья Ильинишна... Ну, стала ли

бы Настасья Ильинишна ему покровительствовать? Ах нет, нет! Перестаньте, я и слушать не хочу! Это — Божеской жизни человек. Сколько он одной несправедливости-то от злых людей претерпел в жизни, если бы вы только послушали! Нет, это святая душа!.. Святая душа!

Таким образом, предупредительный подход отца Иринарха был отпарирован. Ему не верили, потому что знали его наклонность смотреть на вещи немножко с темной, скептической стороны и почитали священником «из новых». Отец Иринарх не находил нужным ссориться с Евдокией Петровной из-за какого-нибудь Фомки-блаженного и поэтому молчаливо выносил его присутствие. Но на душу благочестивой женщины всегда производила несколько неприятное впечатление эта ехидственная улыбка, которая неизменно появлялась каждый раз на устах отца Иринарха, как только Фомка начинал свои широковещательные разглагольствия.

Отец Иоанн Герундиев, как человек плавный и поэтому политичный, не подал даже и виду относительно своих выводов насчет

юродивого. Петелополнощенский же, в котором блаженный слишком задевал чувство брезгливости, показывал вид, что дружески любит и истинно уважает сего человека, потому что человек сей пользуется фавором княгини Настасьи Ильинишны. А гордопоступный Петелополнощенский был великий практик вообще во всех делах, как от мира, так и не от мира сего.

Одним словом, в доме Савелия Никаноровича Фомушке привольно жилось, сладко жралось и мягко спалось, и в силу таковых причин он облюбил этот гостеприимный порог, за который перешагнув однажды, не хотел уже скоро расстаться с таким местом злачным и прохладным.

Он почти совсем поселился у Савелия Никаноровича, забыв даже свою богадельню. Да и как было не держаться этого дома? Ходи себе, куда знаешь и куда хочешь, во всякое время дня и ночи; исчезай на несколько суток и опять возвращайся туда, где тебя радушно ожидает ласковый привет, и теплая, мягкая постель на лежанке, и вкусный обед, и квасок фруктовый, и добрая чарка наливки. Идешь

куда хочешь, и никто не спрашивает у тебя отчета: где был, зачем исчезал и что сотворил за все это время. Титул юродивого дурачка и Божьего человека застраховал Фомушку в этом доме и во всем этом обществе относительно каких бы то ни было сомнений насчет его поведения и нравственности: «Он, мол, в своих поступках не волен; что Бог ему положит на душу, то он и делает». Таково было мнение о Фомушке, и оно-то более всего благоприятствовало его закулисным похождениям.

Фомка рассчитывал надолго вести подобный род жизни в гнезде птичьей пары и поэтому справедливо поразмыслил, что ему необходимо нужно заручиться в свою пользу прочными симпатиями этой пары. Как заручиться ими? Фомка подумал, и выдумал.

Заметил он в обоих старичках сильную и притом безразличную слабость к предметам священного поклонения. Заметил также и их необычайную любовь к рассказам о разных странствиях да хождениях к святым местам да о чудесах, случившихся и с ним самим, и с иными богоугодниками. Во всем, что хотя на

миллионную долю касалось религии, рассудок их пасовал, а сердце преисполнялось безграничною верою. Конечно, в христианском смысле, это была черта высокая, но, на беду, столь старательное устранение логики заставляло их относиться совершенно одинаковым образом и к самым высоким догматам христианства, и к наглым бредням мошенника Фомки. Различия между тем и другим они не полагали, и достаточно было блаженному каждой рассказанной им нелепости придать какой-нибудь религиозный оттенок, чтобы они безусловно уверовали в эту нелепость, несмотря на все ее очевидное безобразие. Так, например, однажды он рассказал им, каким образом приходил к нему во граде Смирно-Ливанскием ангел Фиатирской церкви и поведал рабу своему Фоме, что дураковы ноги его подобны Халколивану.

— А вот, братия моя возлюбленная, — говорил он им в другой раз, — как я был в Юрусалиме-граде, так сподобился там, окаянный, зрети пуп земли, и поперек этого пупа красный крест там положен. И этот самый пуп оченно хорошо противу брюха помогает. Ко-

ли ежели вспучит, али сопрет тебе брюхо, алибо когда этой грыжей нудишься, так только ничего, что навались брюхом на этот самый пуп, и только приснорови, чтобы твой-то пуп, человечий, пришелся как раз супротив пупа земного — пуп на пуп, значит, и сейчас у тебя брюхо перестанет. У меня у самого, — прибавлял Фомушка ради пущего удостоверения, — вот как истинный Христос Бог на небеси! — тут же в секунду прошло брюхо; только что навалился пупом, а оно и прошло: сейчас, значит, этта, благодать снизойшла на меня. И от той поры как ежели сопрет меня, сейчас я больше ничего, что только про пуп земной вспамятую себе, а брюхо мое уж и знает. Как вспамятую, так оно и перестанет, — потому земного пупа боится, и никак ему супротив его идти невозможно.

Старички слушали, и послухом чистосердечно верили, сожалея только об одном, что паломники наши опустили столь важный факт в описании своих путешествий ко святым местам, и таковое опущение поставлялось ими в непростительную вину почтенным авторам.

Однажды Фомушка вместе с Макридой пропадал суток около четырех. Хозяева, давно привыкшие к подобным отлучкам, не обратили на это обстоятельство особенного внимания. Зато их крайне удивил священно-важный и таинственный вид, который принял на себя Фомка, вместе с своею сподручницей, по возвращении в гостеприимное гнездо Савелия Никаноровича. Вернулись они вечером, и на предложение испить чайку ответили, что ни есть ни пить ничего не станут, потому что весь этот день великий пост содержат и всю ночь простоят на молитве.

— Что же так? По какой причине? — осведомился хозяин, встревоженный такою экстраординарностью.

— А вот погодь до утра, друже мой! Утром все тебе объявлю и скажу теперь только одно, друже мой милый, что дом твой отныне будет вместилище великия благодати.

Любопытная хозяйка приступила было к обоим странникам с расспросами о столь загадочном предвещании; но Фомушка круто отрезал, что узнаешь, мол, завтра, а ныне нет

тебе на то знатье мово разрешенья!

Тотчас же после этого он заперся на ключ в буфетной, где обыкновенно почивал на жаркой лежанке, а Макридушка замкнула за собою на задвижку дверь в гардеробной хозяйки, отданной в ее пользование. И тот и другая затеплили по восковой свече, и добродушные старички, заинтригованные таким загадочным поведением своих гостей, неоднократно подходя на цыпочках к той и другой двери, могли явственно расслушать и там и здесь какое-то молитвенное бормотание.

Наутро Фомушка, с тою же таинственностью, позвал к себе в буфетную обоих старичков и Макриду-странницу.

— Ну, христолюбцы мои милосердливые! — заговорил он, трижды перекрестясь на образ. — Обещал я вам благодати, и прикатила она — благодать-то. Еще со вчерасева притащил я ее с собою. Великая у меня есть сокровища, и николи я с нею не желал разлучиться... Ну да уж так и быть — жертвую для вас, за ваше ублаженье. Странных людей не брезгаете — за то вам и жертвую! Притащил я с собою эту самую сокровищу от святых гор

синайских. Шел я через эти самые горы синайские во Святую землю с одним монашком. Был он такой из себя старичок праведный, и шли мы только двое; проходили пустыню великию, и скрючила его тут трясовица с огневицею. Видит он, что конешный час ему приблизился, а вси друзи и ближние далече от него сташа. Споведался он мне на свой конешный час и отдал притом эту самую сокровищу, а сам завет положил, чтобы хранить мне сокровищу верно алибо отдать ее в надежные руки. Как взял с меня этот самый обет, так и преставился, и пошел от него тогда тимиан благоухания по всей по пустыне.

— Какое же это сокровище? — затаив дыхание, несмело вопросили старики.

Фомушка поднялся с тем медленным спокойствием, которое изобличает в человеке сознание необыкновенной важности его поступка, и неторопливо развязал узлы цветного ситцевого платка, откуда вынул нечто завернутое в старый парчовый лоскут, тщательно перевязанный тесемкою. От лоскута разлился по комнате легкий запах ладану и розового масла.

Та же неторопливая важность сопровождала и развязывание тесемки.

Савелий Никанорович и его супруга взирали на все это в каком-то благоговейном, трепетном ожидании, и вдруг перед изумленными очами их появились небольшой осколок какой-то темной косточки и небольшая склянка, наполненная какою-то маслянистою массою совершенно черного цвета.

Фомка хлопнулся перед этими предметами на колени и стал усердно креститься и класть земные поклоны. Макрида последовала его примеру, а за Макридой и хозяин с хозяйкой стали делать то же.

— Узрите! — торжественно заговорил Фомушка, с осторожностью указывая на склянку и кость. — Се убо тьма египетская, в Соломонов сосуд заключена, а это моща.

Черная склянка была тщательно закупорена пробкою и поверх пробки туго обтянута воловьим пузырем.

Савелий Никанорович протянул было к ней руку с намерением полюбоваться, как вдруг Фомушка-блаженный остановил его на полдороге, поспешно отстранив его локтем, с

каким-то опасливым испугом.

— Не прикасайтеся! Не прикасайтеся! — заговорил он торопливо. — Говорю вам, это — тьма египетская. Она теперь заключена есть во склянницу, а ежели — Боже избави — разбить эту склянницу алибо откупорить — она сейчас же и расточится! По всей земле расточится! И свету уж ни чуточки не будет, и вси мы будем тогда во тьме ходящие!

— Свят! свят! свят! — в религиозном ужасе шептала, крестясь, Макрида.

Фомушка вертел в руках и склянку, и кость перед глазами пораженных стариков, которые уже не смели прикоснуться ни к тому, ни к другому предмету.

— Так вот, друже мой, какою сокровищей я тебе жертвую! Сохрани ты ее в целе и тогды в дому своем спасен будеши! — наставлял Фомка Савелия Никаноровича. — Да только, слышь ты, никому ни гугу про это дело, а блюди ты его втайне: знай молчок, допрежь всего, и тогды будет тебе всякая благодать от Вышнего.

После такого многознаменательного предисловия заключенная тьма египетская была

благоговейно положена руками самого Фомушки в фамильный киот Евдокии Петровны, наполненный образами. И с той самой минуты авторитет Фомушки возвысился в глазах птичьей пары по крайней мере на сто процентов. Теперь уже этому коту стало не житье, а в полном смысле слова — широкая масленица. Ублажали его как только могли, с восторгом лобызая за этот великодушный подарок, и в свою очередь отдарили несколькими красными ассигнациями.

V
ПЕРВАЯ ПАНСИОНЕРКА

Время шло меж тем своим чередом. Пока юродивый да странница привитали себе в теплом птичьем гнезде, успело все-таки уладиться и дело, затеянное по инициативе госпожи Лицедеевой.

Впереди этому делу предстояла еще длинная перспектива всяческой официальной процедуры с рассмотрением да разрешением проекта, что, конечно, требовало довольно долгого времени. А княгиня Долгово-Петров-

ская меж тем желала как можно скорее узреть плоды новой филантропической затеи и усладить ими избалованный вкус своего тщеславного честолюбия. Поэтому на одном из последующих сборищ большинство членов решило: не дожидаясь официального разрешения, приступить к делу, помаленьку, путем негласным. И, Боже мой, что за самодовольная гордость сияла на лице княгини, когда на долю ее выпала честь — представить первую пациентку в нравственную лечебницу актрисы Лицедеевой.

Случилось это самым обыкновенным и несложным образом.

В качестве присяжной филантропки вздумалось однажды ее сиятельству посетить некоторые места заключения. Вспомнилось ей, что давно уже не посещала она арестантские камеры при съезжих домах полицейских. Как вздумала, так на другой день и поехала.

Приезжает в одну из частей. Вступает в общую женскую камеру — и среди расспросов о том, хорошо ли содержат да какова пища, взор ее случайно упал на одну очень моло-

денькую и хорошенькую арестантку. На взволнованном лице молодой девушки было написано столько горя и страдания, на ресницах виднелся еще невысохший след обильных слез, и во всей гибкой и хрупкой фигурке ее сказывалось такое беспомощное отчаяние, что княгиня невольно остановила на ней свое внимание.

— Ты, милая, за что? — неожиданно обратилась она к девушке.

Та вздрогнула и смутилась.

Вместо ответа на ресницах ее показались новые слезы.

— Ты, милая, не плачь, а отвечай, если тебя спрашивают. Я ведь тебе не следственный пристав — желаю знать ваши нужды и облегчить вашу печаль, — говорила меж тем княгиня каким-то деревянным тоном выделанной кротости и сочувствия. В этом тоне, казалось, будто звучит иная струна, звук которой должен бы был в своей сущности выразиться таким образом: «Вы, мол, дряни, порочный сброд и грязные отрепья, должны чувствовать и ценить, что я — я, княгиня Долгово-Петровская, снисхожу до вас и принимаю

в вас такое близкое участие, потому что я хорошая христианка и желаю отличиться добрым, чувствительным сердцем».

Но и тут, вместо ответа на ее изъяснение, со стороны молоденькой арестантки прорвались одни только рыдания, которые она тщетно силилась задержать в груди своей.

Настасья Ильинишна, по обыкновению, перевела взоры на сопровождавшее ее начальство, ища в нем достодолжного объяснения этим рыданиям, и потому в ее взорах выражался теперь обычный в подобных обстоятельствах знак вопросительный.

Сопровождавшее начальство объяснило ее сиятельству, что молодая арестантка взята вчерашнего числа вечером в одном из развратных притонов Таировского переулка за учиненное ею буйство с намерением вышибить стулом оконную раму, причем законного вида у нее не оказалось, а показывает-де, что вид ее украден в ночлежной Вяземского дома, и при сем называет себя — быть может, и облыжно — санктпетербургской мещанкой Марьей Петровной Поветиной.

«А! Вот и прекрасный случай! — тотчас же

мелькнуло в голове княгини. — Молодое падшее существо... Надо его направить на путь истинный... Прекрасно! Вот уже и есть одна пансионерка в нашем убежище!»

И вместе с этой мыслью авторитетная княгиня не замедлила заявить полицейскому начальству, что пока идет следствие да будут наводить справки, точно ли эта девушка та, за которую себя выдает, она, княгиня Настасья Ильинишна, желает взять ее отсюда немедленно под свое поручительство.

Маша, вне себя от восторга, бросилась к ногам своей избавительницы и, внезапно схватив ее руку, покрыла горячими поцелуями.

А вместе с нею к тем же ногам припала и другая женщина — безобразная, оборванная старуха — и, не дерзая даже прикоснуться к краю княгининой одежды, с молитвенно сложенными руками, с глазами, полными слез, и радостной улыбкой на губах, быстро заговорила взволнованным голосом:

— Не оставьте!.. Спасите... спасите ее!.. Она пока еще честная... *честная* девушка... Пока еще *есть время*... пока еще *можно* спасти...

Ей нехорошо быть с нами — пропадет! Погибнет!.. Ради Господа Бога... Из христианского милосердия — уведите ее отсюда!.. От нас от всех уведите!..

Чувствительная княгиня даже прослезилась — и по этому поводу в затхлой атмосфере арестантской камеры разлился тонкий, едва слышный букет духов, которыми был спрыснут ее кружевной батистовый платок.

Эти две женщины, стоящие перед ней на коленях в присутствии многочисленных зрителей, этот восторженный порыв благодарности, стремительно сорвавшийся у молодой девушки, и эта мольба безобразной старухи пролили отрадный елей в глубину мягкого сердца княгини.

— Полно, милая, зачем благодарить меня? Незачем, незачем! — говорила она Маше, показывая вид, будто хочет выдернуть из-под ее поцелуев свою руку; однако же не выдернула ее совсем: ей не хотелось сразу прекратить такую картинную сцену; сердце ее жаждало *еще* несколько капель елея, и когда почувствовало оно, что эти капли уже пролились, тогда княгиня собственноручно подняла с ко-

лен молодую девушку и приветливо кивнула головой старухе.

Удаляясь из камеры, вполне счастливая и даже растроганная совершенным благодеянием, ее сиятельство распорядилась, чтобы полицейское начальство сегодня же переслало к ней молодую арестантку.

Спустя около часу после отъезда филантропки полицейский солдат позвал Машу из камеры.

Чуха взяла обе ее руки и крепко их сжала.

— Ну, девушка, прощай! — вырвалось у нее с глубоким вздохом приветное, теплое слово. — Сама не знаю за что, а полюбила я тебя крепко, словно родную дочь полюбила... Скоро это сделалось; кажись бы, недолго и пожили мы с тобою, а вот, поди ж ты, расставаться тяжело... И знаю, что верно уж хорошо тебе там будет, а самой тяжело почему-то...

На красновато-припухлых глазах ее накипели едкие слезы. Чуха торопливо смахнула их рукой.

— Ну, да Господь с тобою, голубка моя! Тебе одна дорога, а мне другая. Дай тебе Бог если не счастья... так хоть покою! Спасибо, на-

шлась еще добрая душа — вырвала из омута... Прощай, моя девочка, прощай!..

И они крепко обнялись и крепко поцеловались последним и таким тихим, таким кротким поцелуем, каким, быть может, родная мать целует иногда свое дитя, добром отпуская его на трудную житейскую дорогу.

Полицейский солдат «доставил в точности» освобожденную девушку к княгине Настасье Ильинишне.

Княгиня Настасья Ильинишна, не считая более нужным удостоить Машу своего лицезрения, продиктовала своему египетскому обелиску очень чувствительную записку, адресованную на имя Евдокии Петровны. В записке этой, изложенной, конечно, по-французски и даже не без красноречия, изъяснялась история давешнего путешествия в причастную арестантскую, где княгиня, «среди самых ужасных монстров порока и преступления» отыскала «юное, но — увы! — уже падшее существо, которое вопиет о спасении»... и т. д.

Эта записка была вручена ездовому княгини, которому вдобавок через египетского обе-

лиска было поручено передать Евдокии Петровне, что ее сиятельство княгиня Настасья Ильинишна приказали-де кланяться вашему превосходительству и посылают-де вашей милости девушку, при записке. И ездовой повел Машу к новому ее назначению.

Поместили ее в отдельный надворный флигелек, а для вящего наблюдения за нею переселили туда же, в виде приставницы, и Макриду-странницу.

Этот ходячий вздох всескорбящего сокрушения с первой же минуты начал читать ей нравственные сентенции о том, что на том свете потаскушкам — беда! Что заготовлены там для ихней сестры огни серно-горючие и медные трубы, которые черти станут сквозь все нутро пропущать окаянным грешницам и сквозь те самые трубы вливать в нутро смолу кипучую, так что по всем телесам оченно большие волдыри да обжоги пойдут. Маша слушала и словно не слыхала. Ни трубы со смолою кипучею, ни огни серно-горючие, ни волдыри с обжогами не производили на ее душу достодолжно спасительного воздействия, и посему на следующее утро смиренномудрая

Макрида, явясь к Евдокии Петровне с негласным докладом о поведении пансионерки, объявила с неудовольствием, что ничего ты с нею, матушка моя, не поделаешь, потому — несократимое сердце имеет и дух строптивости.

— Я, матушка, говорю ей: молись, дурища, да ефитинью наложи на себя постом и поклонами, да первым делом проси Создателя нашего батюшку: «Дух же целомудрия, смиренномудрия даждь ми!» Хотела было сказать и про дух терпения и любви, да подумала себе, что этого уже не след, про любовь-то — потому, матушка, этая самая любовь — всему злу что ни есть первая причина. И долблю я ей, этта, все таким благородным манером, по великатности моей, а она — что ж бы вы вздумали? — молчит, псовка экая! Молчит и бровью не шелохнет, словно и не к ней говорится. Как об стену горох, матушка, как об стену горох!.. Одно слово, сударыня, вашие преасходительство, закаменение сердца, и больше ничего-с!

Евдокия Петровна слушала, с глазу на глаз, неутешительный доклад Макриды-странни-

цы и в большом неудовольствии сокрушенно качала своими седокудрыми коками.

Часа три спустя после этого негласного доклада приехала Настасья Ильинишна, нарочно по поводу пансионерки.

Последовал, конечно, обширный и украшенный многими подробностями рассказ об арестантской камере, с ее монстрами порока и преступления, о молодой, но уже падшей душе и о прочих деяниях по части филантропии.

— Ну а что? Как?.. Заметны ли уже в ней какие-нибудь следы исправления? — осведомилась наконец она после всех этих рассказов.

Евдокия Петровна передала ей неутешительный результат Макридиных наблюдений.

Княгиню это весьма огорчило; она уже вполне расположила себя к немедленному пожинанию плодов исправления.

— Надо сообщить об этом madame Лицедеевой. Пускай-ка еще и она побеседует с нею, — заметила хозяйка.

— Одной Лицедеевой мало, — компетент-

но возразила высокочтимая гостья. — Надо, чтобы все мы приняли в этом самое горячее участие; надо назначить очередь, чтобы каждый из наших членов являлся по очереди в приют и старался внушить ей правила нравственности; надо устроить так, чтобы это было вроде лекций, чтобы даже заранее каждый приготовлялся насчет своей темы — тогда это выйдет хорошо... В этом я уверена.

Евдокия Петровна, конечно, безусловно согласилась с мнением княгини, остальные члены тоже — и вот таким образом начались для Маши ежедневные душеспасительные беседы.

Вскоре в приют поступила, почти так же, как и Маша, еще другая пансионерка, а через несколько времени и третья; но — увы! — необходимо должно сознаться, что искус, налагаемый на исправляемых пациенток, был для них только одним искушением. Елейный бальзам, о котором столь мечтала госпожа Лицедеева, как-то плохо вливался в их души.

Дело выходило совсем каким-то мертворожденным плодом благодаря все тем же непризнанным благодетелям и филантропам;

как бы в совершенный контраст с одним из подобных же, но только гласных приютов, который и по сей день процветает в Петербурге, принося истинную пользу кающимся Магдалинам, потому что принципы, положенные в основание его деятельности, принадлежат людям, разумно взявшимся за дело, и отличаются духом истинной гуманности и христианской любви.

За каждым словом, взглядом, движением этих пациентов наблюдал верный Аргус в лице Макриды-странницы, которая каждодневно ранним утром являлась к матушке ее «преасходительству», с неизменным негласным докладом о суточном результате своих наблюдений. Будили их рано и сейчас же заставляли молиться... Кормили плохо, дважды в сутки, и давали пищу постную в умеренном количестве. Это делалось по принципу — ибо обильная и притом скоромная пища будит в человеке неподходящие в данном случае инстинкты. Таким образом, пациентки всегда чувствовали себя несколько впроголодь, что называется — налегке. После эпитимических поклонов приносили им сбитню и тотчас же

сажали за работу, которая состояла в шитье и вязание. Работы всегда было вдосталь, так как у каждого почти из членов, и особенно у дам, постоянно находился какой-нибудь заказ. В этом отношении преимущественно отличалась актриса Лицедеева, для которой вечно шились и вышивались гладью то сорочки, то шемизетки, то рукавчики и прочая дребедень дамского туалета, коим так щеголяла эта особа. Выручаемые довольно скромные деньги шли в приютскую кассу на увеличение средств существования. Во время этой работы обыкновенно появлялся кто-нибудь из членов — читать моральные назидания, на поприще которых особенным искусством и красноречием отличалась все та же незаменимая госпожа Лицедеева. Назидания разделялись на общие и одиночные. Первые преподавались всем трем пациенткам вкупе, вторые же — каждой отдельно, с глазу на глаз, и эти последние характеризовались особливою своею назойливостью. Они-то им и надоедали по преимуществу. Некоторые из совьих членов отличались такой любовью к этим беседам, что зачастую являлись с ними даже и не

в очередь, и тогда случалось вместо двух назиданий обыденных — общего и одиночного — выносить еще и экстраординарные, стало быть в двойной пропорции. Все это были слова, слова и слова, очень чинные, очень чопорные, очень сухие и очень скучные, в которых — увы! — зачастую шибко била в нос и фарисейская закваска. Вечером опять собирались пациентки на общую эпитимью с земными поклонами — и день, почти минута в минуту распределенный на известные занятия, наконец кончался для утомленных и полуголодных девушек, чтобы назавтра начаться точно таким же монотонным порядком.

Сначала очень по душе пришлась Маше эта тихая, однообразная жизнь в петербургском захолустье, почти на городской окраине. Она так искала теперь уединения и спокойствия — прежде всего и более всего спокойствия, полного, ненарушимого, скрашенного скромным и прилежным трудом. Ей так хотелось отдохнуть наконец душою в каком-нибудь безвестном уголке, уйти от жизни и от мира, забыться после всех тяжелых треволнений, выпавших на ее долю. Она от полной

благодарностью души благословляла свою спасительницу — эту добрую, трижды добрую княгиню Настасью Ильинишну. Она с наслаждением думала, что наконец-то нашла себе тихую пристань, и горячо благодарила за нее Бога.

Но... вскоре в это тихое, спокойное существование стали впиваться разные мелкие шипы и колючки, которые тем не менее давали себя знать ей очень чувствительным образом. Первое, что подметило ее чуткое на правду сердце, было фарисейское лицемерие, проглядывавшее в скучных и сухих поучениях некоторых из назидателей. Ее возмутила ханжеская неискренность. Неискренности, притворства положительно не выносила душа этой девушки. Она слишком живо чувствовала благодеяние, сделанное ей княгиней Долгово-Петровской, и потому первым движением ее, при возникшем подозрении, был жестокий упрек, сделанный самой себе за свое сомнение. Маша, что называется, затыкала себе уши, закрывала глаза, отводила в сторону ум свой, чтобы уничтожить, искоренить в себе закравшееся сознание о фарисействе

иных назиданий. Все свои сомнения старалась она приписать своей собственной подозрительной мнительности, фантазии, настроенной в мрачную, озлобленную сторону; уверяла себя, что в действительности ничего этого нет, что все это ей только так кажется; упрекала себя в горькой неблагодарности; но — время шло все вперед, а вместе с ним росла и очевидность лицемерия разных госпож Лицедеевых и господ Петелополнощенских. Маша закрывала себе глаза — действительность шла наперекор и насильно раскрывала их. В этом была ее нравственная пытка. Она наконец поняла, что эти три несчастные пациентки только затем почти и содержатся здесь, чтобы служить обильным предметом эксплуатации для своеобразного эгоистического тщеславия разных господ, прикидывающихся добросердечными святошами; что для них важна не сущность дела, а его внешняя, показная сторона, которая только подает этим господам отличный повод покрасоваться перед собою и светом собственною добродетелью, перлами и адамантами собственной мелконькой душонки, дает возможность са-

моуслаждения собственным красноречием. И как ни старалась она отыскать в этих назиданиях теплое, душевное слово, истинно христианское, человеческое побуждение — рассудок убеждал, что все это одна только сушь да глушь, где ни один звук, ни единая мысль не пронизывает огнем все сердце, не прошибает честную слезу на глаза человека, жаждущего духовной помощи, сочувствия и утешения.

«Господи! Да кто же кого надувает здесь, наконец?» — с горечью думалось ей не однажды среди таких грустных размышлений.

Более всего невыносимым казалось то, что ей насильно навязывают нравственное падение, будто бы вовлекшее в глубокий разврат ее душу, от которой теперь излечивают ее черствыми назиданиями. Это ее оскорбляло. Она не чувствовала себя ни падшей, ни развратной. Она чувствовала себя только обманутой злыми людьми, бесчеловечно обманутой тем человеком, которого она так просто и так много любила.

Она просила у них честного исхода и честной работы ради куска насущного хлеба, а ей назойливо пилят о ее разврате и падении, о

Боге, наказующем подобную жизнь, о великости доброго дела тех особ, которые взяли на себя тяжелый, богоугодный труд извлечь ее из бездны порока, о благодарности к этим добросердечным особам — и твердят это ежедневно, по нескольку часов, не желая даже и слушать ее возражений, ее оправданий. Это ее подчас выводило из терпения, так что бедная девушка не шутя начинала уже считать сумасшедшими — либо себя, либо своих надзирателей.

Тихая, покойная жизнь, которой так обрадовалась она на первых порах, теперь ей положительно опротивела, что называется — осточертела. Маша начала сознавать, что долго вынести этого невозможно: никакого терпения не хватит.

Эта внутренняя накипь пробивалась у нее иногда наружу, а добродетельные назидатели приписывали такие проявления исключительно одной лишь ее закоснелости, строптивости и страшно порочным инстинктам. Поэтому они смотрели на нее весьма неблагосклонно, прилагали усиленные старания о возвращении «заблудшей овцы» на путь ис-

тинный, иссушали ее — по рецепту Фомушки — «постом и воздержанием», и жизнь в приюте, вследствие всех этих причин, была для «заблудшей овцы» вдесятеро горше и невыносимее, чем двум остальным ее товаркам. Ее не любили, и она сама никого не любила тут. Она была совершенно одинока в каземате этой инквизиции.

Вскоре одно обстоятельство еще более усилило ее невыносимое существование.

VI

ПТИЦЫ РАЗОЧАРОВЫВАЮТСЯ В МАШЕ, И МАША — В ПТИЦАХ

Вздумалось и блаженному порадеть на общее благо: тоже захотел читать нравоучение трем пациенткам.

— Ты, матка, дозволь и мне, дураку, поучить-то их, — говорил он Евдокии Петровне.

Евдокия Петровна посоветовалась с мужем — и обоим очень понравилось предложение Фомушки. Поехали они доложить о нем Настасье Ильинишне, и Настасье Ильинишне понравилось. Порешили на том, что и в са-

мом деле, если его сердце угодно Господу, который во уста его влагает свои веления, то, уж конечно, никто из самых умных и красноречивых членов не воздействует на души падших женщин столь благодетельно, как блаженный Фомушка.

Таким образом, разрешение было дано, а Фомке только того и нужно, потому умысел другой был у него, и заключался этот умысел в следующем: наведывался он иногда в надворный флигелек к Макриде, объясняя притом каждый раз хозяевам, что иду, мол, побеседовать духовно со странницей. Наведываясь таким образом, приглядел он однажды там спасаемую Машу.

«Важная девица!» — подумал про себя Фомка и даже языком прищелкнул от удовольствия.

— Подь-ка, лебедка, ко мне! — приветно поманил он ее рукою.

Это было еще на первых порах вступления молодой девушки в приют кающихся. Хотя первое инстинктивное впечатление при виде блаженного и произвело на Машу какое-то непонятное, отталкивающее действие, одна-

ко присутствие его в этом месте и эта монашеская ряска, да вообще вся его святошеская внешность волей-неволей заставляло ее покориться изъявленному им желанию, которое еще вдобавок было так невинно.

Она приблизилась.

Фомушка забормотал какую-то ерунду, начал крестить ее, довольно бесцеремонным образом тыча ее тремя сложенными перстами и в лоб, и в грудь, и в плечи.

Пока та недоумевала, с какой стати производятся над ней все эти странные эволюции, Фомка, недолго думая, прямо чмок ее в губы.

Маша вскрикнула и отшатнулась. Блаженный за нею, продолжая крестить ее в воздухе, как вдруг накинулась на него ревнивая Макрида. Очень уж вскипятила ей сердце зазорная наглость ее благодетеля. Изругала она его, как только душа пожелала, и даже пообещалась «пожалиться» на него самой Евдокии Петровне; однако же не пожаловалась, потому что подрывать авторитет блаженного в глазах птиц вовсе не входило в ее расчеты. На первый раз она ограничилась тем, что вытолкала его взашеи. Но Фомушка не унялся.

«Важная девица» почему-то приглянулась ему, скуки ради.

«Погодь же ты, я те доведу до точки! — помыслил он относительно Маши. — Чего и в самом деле? Живешь-живешь себе на свету, жрешь-жрешь всякую пишшу... Макрида — провались она в тартарары! — по горло опостылела... Никакой тебе занятности нету, никакого удовольствия не вздумаешь. А тут такие три королевины под боком...»

Из этого размышления читатель может усмотреть, что наш юродствующий Фомка тоже не лишен был отчасти и ловеласовской самоуверенности. Надо полагать, что теплое привольное житье да жирный довольственный кусок и на него произвели свое воздействие. Одна беда — Макрида каждый раз гоняет взашеи, чуть только изъявит он намерение приблизиться к какой-нибудь из трех пациенток.

«А вот я ж те понадую, шельмину дочку! Я те подведу такую штуку, что только руками разведешь, а не пикнешь!» — решил Фомка сам с собою — и точно: понадул и штуку подвел отменную.

Волчихой глянула на него Макрида, когда сама Евдокия Петровна впервые ввела его в приют — читать назидательные нотации... Но... как ни чесался у нее язычок, а ничего не поделаешь: должна была держать его за зубами, ибо чувствовала, что с подрывом Фомушки и ей самой не удержаться; потому — и выдаст, и продаст, окаянный.

Фомушка оказался очень усердным назидателем, и пациентки, за исключением Маши, оставались им очень довольны. При назиданиях общих он им прочитывал что-нибудь из духовных писаний, во избежание придумывания собственных своих тем; зато часы назиданий одиночных проводились довольно весело. О нравственных беседах не было тут и помину. Фомка просто-напросто балагурил с той или другой поочередно, чему каждая была очень рада, потому что его занятное и малоцеремонное балагурство служило им единственным развлечением среди их монотонной жизни.

Вскоре Фомушка благодаря своим назиданиям увидел себя чем-то вроде турецкого паши в приюте кающихся, который таким обра-

зом был обращен им в своеобразное подобие гарема. Макрида играла роль первой супруги, а две остальных состояли веселыми одалисками.

Макрида страшно ревновала благоприятеля ко всем трем вместе и к каждой порознь, но более изъявила это чувство относительно Маши, которая была и лучше всех, и моложе.

Хуже всякой пытки сделались для бедной девушки одиночные наставления назойливого Фомушки. Она чувствовала к нему и страх, и отвращение, а между тем надо было покоряться. Наконец стало невмоготу. Маша пожаловалась Евдокии Петровне, рассказав, какого рода назидания делает ей Фомушка. Евдокия Петровна поразилась и возмутилась ее рассказом, но решительно не хотела верить, чтобы «этот праведник» мог быть способен на такое дело. Вместе с Савелием Никаноровичем немедленно произвела она следствие, поставив пред свои очи Макриду с двумя пациентками, и те, конечно, дали ей самые благоприятные отзывы о святом Божием человеке, изображая его перлом кротости, смиренства и целомудрия. Одна говорила так хоть и про-

тиву сердца, но по своекорыстному расчету, а другие — и по расчету, и по сердцу.

— Нет, вашие преасходительство, — переливалась при этом в минорных тонах Макрида. — Я человек уж преклонный, мне теперь вашей милости солгать, а час смерти моей близится; и я ведь тоже о страшном судилище должна помышление соблюдать-то! Ничего я такого зазорного за Фомой не замечала, да и они вот обе, — указала она на пациенток, — девушки кроткие, богобоязненные — хорошие девушки, вашие преасходительство! Они солгать не дадут, извольте сами у них спросить. А что у Машки у этой — доподлинно могу доложить — карахтер распреподлеющий! Все-то это зверем на тебя взирает, словечка в кротости не скажет тебе; одно слово — обрывало-мученик, а не девушка! Строптивость это у нее какая-то да непокорство анафемское! Видно, все по гулящей жисти тоска дерет. Стало быть, матушка, развращенность-то эта тянет-таки ее к дияволу, так что и сладу нет!

Евдокия Петровна сделала Маше очную ставку с обвиненным и свидетелями. Те в со-

вокупности, конечно, высказались против нее. Фомка даже пал на колени и стал клясться: да отсохнет язык у него и да лопнет утроба, буде когда помыслил что-нибудь неподобное; уверял, крестяся, что он сызмальства блюдет за собою чистоту голубиную, и в удостоверение своих клятв даже образ со стены снимать хотел.

Евдокия Петровна не допустила его до этого последнего аргумента: она и без того уже вполне ему верила.

Что ни говорила Маша, как ни доказывала правдивость своей жалобы, ей не дали веры, и в конце концов вся эта история была приписана ее испорченности и строптивому, неуживчивому характеру.

С этих пор житье молодой девушки вконец уже стало скверно: Макрида наушничала на нее. Фомка докучал своей назойливостью, товарки не сближались, находя, что им с нею не рука. Евдокия Петровна, а вслед за нею и остальные члены-назидатели сделались с нею очень сухи и аттестовали вздорною, строптивою и — увы! — неизлечимою.

Маша решилась во что бы то ни стало и ка-

ким бы то ни было путем избавиться от этой жизни и если не уйти, то хоть потайно бежать из приюта.

Вся эта ложь и ханжеское фарисейство довели ее до того, что ей наконец сделался противным путь подобного спасения. Она открыто созналась, что какая-нибудь Чуха неизмеримо выше, чище и честнее всего этого лицемерящего безобразия.

VII
ФОМУШКА ИЗМЫШЛЯЕТ...

Как ни счастливо разыгралось для Фомушки следствие по поводу Машиной жалобы, он все-таки пришел к заключению, что не мешало бы снова поднять на недосягаемую высоту авторитет своей святости в глазах хозяев. Тьма египетская была уже принесена им в жертву ради этой цели. Она и сослужила-таки ему свою добрую службу. И все бы шло как не надо лучше, кабы не эта историйка.

— Ляд их знает, хоша и веруют, а все оно может опосля энтого и сумление когда найти, — совершенно резонно рассуждал он од-

нажды со своей верной и ревнивой приспешницей. — Гляди, часом, чтобы дрянь дело не вышло... Надо бы милостивцев-то этих опять подтянуть на уздечку, да эдак бы хорошохонько подтянуть, чтобы снова того... всякое даяние благо перепало бы. Что, брат Макрень, так ли аль не так рассуждать я изволю?

— Это что говорить!.. Да чем подтянешь-то?

— Чем?.. А уж про то наше знатье! Образом подтяну!

— Образом? Каким таким образом?

— Явленным. Вот оно что!

Странница выпучила на него глаза.

— Явленным?.. Ах ты, жупелово семя! Да где ж его взять, явленного?

— Ну!.. Что еще «где взять»!.. Пошто брать? И сам явится!

— Да ты скажи толком!

— То и толк, что возьмет да и явится. Известное дело — сфабрикуем! А допрежь, чем явиться ему, Антонидке видение сонное будет. Я уже настрочил ее: почувствовала, как не надо лучше!..

— Та-ак! — крякнула Макрида, раздумчиво

погружаясь в какую-то созерцательную меланхолию.

— А ты, Макрень, гляди вот что, — продолжал Фома, принимаясь за достодолжные внушения своей сподвижнице, — как пойдешь поутру на доклад к генеральше, так, смотри, докладывай, что Антонидка, мол, у нас очень большую набожность почувствовала, что совсем, мол, и не узнать девицу — столь много переменилась! Говори, быдто все на молитве стоит — и день, говори, молится, и ночь поклоны кладет; ума, мол, не приложу, что за измена хорошая с девкой! Так-то в аккурате, гляди, и докладывай!

— Так и доложу, — согласилась Макрида. — Только бы вот Антонида...

— За нее не тужи — потому, говорю тебе, настроил уже вдосталь: заведет машину, что на сорок шурупов — вот как заведет. Девка ведь тоже со смекалкой.

Антонидка, о которой шла теперь речь, была одна из числа трех исправляемых пациенток, наиболее близкая сердцу блаженного и наиболее чуткая к его интимным поучениям. Он действительно успел отменно приспосо-

бить ее к своим целям, а цели эти — сколько может уже видеть читатель — были весьма бойкого свойства. Оставалось только благополучно привести их в исполнение. И вот через несколько дней после описанного разговора Макрида-странница вышла поутру к своей покровительнице с видом какой-то озабоченной и в то же время благоговейной таинственности. По всему заметно было, что она имеет сообщить Евдокии Петровне нечто необычайно важное.

— Вот, матушка, вашие преасходительство, — со вздохом начала она переливаться на все тоны, перекрестясь предварительно на киот с образами, — докладывала я вашей милости про Антонидку-то, какая измена в ней — и совсем теперь удивила меня девка! Вконец удивила, вашие преасходительство!.. Хоть верьте, хоть не верьте, а только доложу вашей милости, что вчерася оченно долго стояла она на молитве. «Я, говорит, тетенька Макрида, сугубую эфитимью наложить на себя желаю для того, чтобы грехам моим умаленье было» — так и говорит, вашие преасходительство! Я уже и спать легла, и проснуться

успела, и снова заснула, а она — слышу — все эти поклоны кладет, да и не просто кладет, а таково-то умиленно, со слезами и сокрушением. «Ложись ты спать, говорю, Антонидушка, полно тебе мориться!» — «Не лягу, тетенька, говорит, потому я, говорит, врага теперь одолеваю». — «Ну, говорю, одолевай, это дело богоугодное», — и опять заснула. Только под утро слышу — будит меня кто-то. Гляжу: Антонида! Сама такая бледная, трепещущая, а от лица словно бы, этта, преображение такое исходит. Индо вскрикнула я. «Что с тобой, девка, говорю, чего-ся ты не в пору?» — «Ах, тетенька, говорит, было сейчас видение мне сонное». — «Како тако видение-то?» — «Лик мне являлся, говорит, само Успение приходило и объявлялось ясно». — «Как-то оно, спрашиваю, объявлялось-то?» — «А так и объявлялось, что стояла я на эфитимии да сон смотрю; тут, говорит, как стояла, так и упала во сне, так и объявилось!» — «Да как же это?» — говорю. «А так и объявилось, что как представился мне этот самый лик, оно приходит и говорит: „Скажи ты, раба Антонида, всем, в доме сем живущим, что будет дому сему честь и

благодать велия: единой седмицы не минет, как я дому сему знамение дам явленное“. Только всего и сказало оно, а как сказало, так и сократилось — больше уж и не видела». Что вы на это сказать изволите, матушка, вашие преасходительство? — заключила Макрида глубокомысленным вопросом.

Но ее превосходительство не сказала ничего: она была поражена и озадачена не менее Макриды, с тою только разницею, что последняя притворялась, а первая действительно испытывала это состояние. Озадачился и Савелий Никанорович, когда ему сообщили о видении Антониды. Для пущего удостоверения позвали и самое Антониду, которая подтвердила Макридино сообщение и снова рассказала все дело по порядку, после чего на общем совете положили со смирением ждать будущего знамения целую седмицу. Только Макридушка весьма резонно присоветовала — до времени не разглашать никому о видении Антониды на том основании, что как разгласишь, так, может быть, какого человека в сумление введешь, а от сумления благодать отлетит. «А лучше, как объявится она,

тогда все и увидят», — заключила странница, и Евдокия Петровна на этот раз точно так же согласилась с ее умозаключением.

Фомушка в этом совете не принимал никакого участия. Дело было подстроено так, что за полтора дня до видения Антониды он ушел из дому, сказав, что отправляется к одним своим благодетелям, которые звали его погостить на малое время, и возвратился уже на пятые сутки во образе юродственном, изображая всей своей особой то высшее наитие, которым будто бы был одержим в данную минуту.

— Хорошо ли гостилось, Фомушка? — спросил его Савелий Никанорович. — Спасибо, что скоро пришел, без тебя уж и скучновато нам стало.

— Пришел не пришел, а вышняя сила меня уносила да и назад воротила, — залаял блаженный и, круто отвернувшись от хозяина, зашагал по комнате, неопределенно глядя куда-то вытаращенными бельмами.

— Вышняя сила дом твой посетила, — лаял он как бы сам с собою, не относясь ни к кому в особенности, — про то мне сама она объяви-

ла. Пока еще ее нет, а через три дня в дому будет у тебя свет. Объявится тебе лик — вельми, сударь, велик. И объявится твоей святыне на маленьком на мезонине. Спать ты будешь, сударь, во сне, а объявится она на окне. И как расстаться тебе со сном, так и узришь ее за окном. Вот те и сказ на сей раз. А теперь ты меня не трогай — теперь Фомка-дурак пойдет да на молитву станет.

И он тотчас же удалился в свою буфетную.

— Eudoxie, что это такое он говорил?.. В мезонине... святыня... спать будем... на окне... Что это значит все?! — чуть не шепотом произносил Савелий Никанорович в великом недоумении. — Что все это значит? Как это понимать? — повторял он неоднократно, допытываясь у жены разгадки волновавшим его вопросам.

Для Евдокии же Петровны, как бы в совершенный контраст с ее мужем, сомнений и недоумений тут вовсе не существовало. Она медлила еще дать ему положительный ответ, потому что сама старалась поглубже вдуматься во все подробности странновещательства Фомушки. И когда наконец додумалась от

альфы до омеги, то, с некоторой даже торжественностью поднявшись с места, объявила Савелию Никаноровичу самым решительным тоном:

— Это предвидение! Ты помнишь видение Антониды? То же самое и он теперь прорицает.

Пелена спала с глаз недоумевавшего старца. Оба они приготовились к явлению чего-то необычайного и с нетерпением ожидали только исхода назначенного Фомушкою трехдневного срока.

А тот все последующие засим дни старался как можно более усердствовать в своем юродстве: выкидывал разные странные штуки, бормотал сам с собой какие-то «странные словеса», простаивал целые часы на молитве, потом ложился на лежанку и, притворяясь спящим, бредил отрывочными словами и фразами, в которых почти без исключения можно было отыскать смысл, имеющий некоторое отношение к сделанному им предсказанию. По временам он предавался какой-то необузданной радости, прыгал, хохотал, раз даже кубарем прокатился по полу; то вдруг диким го-

лосом запевал какой-нибудь ирмос или тропарь на один из восьми гласов. Хозяева терпеливо переносили все эти выходки и даже смотрели на них с чувством некоторого благоговения.

Долго обдумывал Фомка, каким бы манером получше подстроить ему всю эту механику с «явленным чудом». Подводы и мины свои повел он довольно-таки издалека: сочинил видение Антониды, сочинил и для себя самого подходящие прорицательства. Это была внешняя сторона подготовительных работ, имевших целью настроить ночных сов в свою пользу и подготовить их к принятию ожидаемого чуда. Внутренняя же сторона Фомкиной работы началась несколько ранее. Как только порешил он, что способнее всего будет подстроить проделку с явленным образом, так тотчас же, не медля, отправился под Толкучий и, бродючи меж рядов, высматривал подходящую икону старинного письма и бывшую долго в употреблении. Таковая вскоре была найдена и куплена Фомкою. Принес он ее под полою к Макриде и отдал на хранение.

Стали они «сдабривать» образ розовым маслом, но так как этот запах, без сомнения, мог бы показаться экстраординарным в воздухе приютских комнат, то «сдабривание» Макридушка производила на чердаке. Фомушка нарочно для этого добыл деревянную шкатулочку, дно которой покрыла Макрида ватой и полотняными тряпицами и полила ее розовым маслом. Тем же самым маслом обкапала она изнанку и бока образа, который положила в шкатулку, покрыв его лицевую сторону точно такою же ватой и тряпицей. Шкатулка наглухо была замкнута и покрыта кучею разного сора в одном из чердачных углов. Средство оказалось вполне действительным — образ благоухал. Оставалось только явить его в качестве чуда очам доверчивых хозяев, и вот тогда-то и последовали все эти видения Антониды и пророчества Фомушки. А образ меж тем продолжал напитываться ароматом все в той же самой шкатулке и в том же чердачном углу.

В ночь, по истечении которой должно было исполниться предвещание Фомушки, он — как известно уже читателю — исчез куда-то с

вечера; вернулся же к дому Савелия Никаноровича уже в позднюю полночь.

Обогнув этот дом с соседнего переулка, Фомка направился к задней его стороне, за надворный флигелек, куда выходил на смежный пустынный переулок ветхий забор, ограждавший небольшой сад Евдокии Петровны.

Фомке необходимо нужно было, чтобы никто в целом доме не заметил его присутствия. Его считали ушедшим и, по собственным планам, он должен был вернуться главным образом только поутру. Поэтому и не пошел он к воротам, не стал стучать в калитку и будить дворника, а предпочел путь через садовый забор.

Вскоре очутился он во дворе. Цепной полкаша встретил было его лаем, но дальновидный Фомушка не упустил и этого важного обстоятельства. Еще гораздо ранее он поспешил сдружиться с дворовым псом, чтобы тот считал его за своего, домашнего человека. Для этого Фома чуть не ежедневно приносил ему то говяжью кость, то кусок пирога или ситника и ласково трепал его кудластую голову.

Смело подошел он теперь к собаке, тихо называя ее по имени, и бросил целый фунт только что купленного ситного хлеба. Собака узнала своего приятеля и преспокойно занялась едой.

Фомка постучал к Макриде.

Форточка отворилась.

— Готово? — шепотом спросил взволнованный голос странницы.

— А образ тут? — не отвечая на вопрос, возразил ей блаженный.

— Еще с вечера притащила и со шкатулкой.

— Шкатулку-то утром спали, как печку затопишь, со всем тряпьем спали, чтобы и следу никакого не было. А теперь дай-кось мне либо одеяло ватное, либо шугайчик да прихвати-ко веревочку.

— На что тебе?

— А этта, обвернуть лестницу, чтобы стука нечуть было, как ежели приставлять станешь.

Макрида подала ему стеганое одеяло, веревку и образ. Фомка со всем этим добром отправился под навес, где лежала лестница, и,

оба верхних конца ее тщательно обернув одеялом, накрепко привязал его с обеих сторон веревкою. Затем, уложив икону к себе за пазуху, взвалил он к себе на плечо лестницу и потащил ее через садик к забору, взобрался по ней на заборный кончик, переправил ее в соседний пустой переулок и понес на себе в смежную улицу, куда выходил лицевой фасад совиного домика.

В эту пору на улице не было ни души живой. Даже ни одна собака не тявкала во всем околотке. Старые масляные фонари тускло мерцали на огромном расстоянии друг от друга, так что, казалось, еще увеличивали собою окружающую тьму. О городских сторожах во всем этом захолустье, казалось, не было и помину.

Нижний этаж совиного домика был замкнут ставнями, а в мезонине из трех окошек в одном только сквозь опущенную штору пробивался слабый свет от копотной лампады.

Там была спальня Евдокии Петровны.

К этому же окну, без малейшего шума, приставил Фомушка лестницу. Стеганое одея-

ло сослужило ему в данном случае свою верную службу. Фома влез наверх и, плотно прислоня к окну икону, поставил ее на довольно широкий выступ подоконницы.

После этого лестница тем же путем была положена на свое обычное место под навесом, и одеяло сквозь форточку возвращено Макриде, а сам Фома удалился досыпать остаток ночи в один из радушных притонов далекой Сенной площади.

VIII
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ РАСТОЧИЛАСЬ

Наутро сморщенная горничная-девица поднялась в мезонин — будить свою барыню. Разбудила обычным порядком, пожелав ей, с поцелуем ручки, доброго утра и сообщив, что погода нынче, слава Богу, хорошая — ни снегу, ни слякоти нету.

Потом подошла к окошку, подняла стору, да так и ахнула, и руками всплеснула.

— Что с тобой, Ксешка?

— Господи!.. Боже мой!.. Сударыня, миленькая!.. Ваше превосходительство!.. Да что ж это

такое? Изволите сами взглянуть.

Сударыня вздела на ноги туфли и спешно вскочила с постели. Из-за двойных стекол смотрел на нее темный лик.

— Образ!.. Чудо!.. Явленное чудо!.. Савелий Никанорович! Сюда! Сюда!.. Эй, люди!.. Людей сюда! Все сюда бегите! Скорее!.. Скорее!.. — кричала Евдокия Петровна, бегая в растерянном виде по комнате и кидаясь то к окну, то к сморщенной девице, которая гонялась за нею с утренним шлафроком, стараясь уловить удобный момент, чтобы накинуть его на плечи старушки.

Прибежали люди. Прибежал с намыленной щекою Савелий Никанорович.

И было тут изумление неисчерпаемое и даже страх велий.

— Образ!.. Батюшки!.. Да как он сюда попал?.. Какой образ? Чей образ? Откуда он?

Вопросов, догадок и самых разнообразных предположений была целая бездна.

Все бегали как ошалелые по всему дому, снизу вверх и сверху вниз; глядели на лик, безмолвно и строго смотревший на них из-за стекла; глядели, недоумевая, друг на друга,

крестились, восклицали, ахали, изумлялись, страшились и радовались.

Прибежала из флигелька и Макрида-странница, которой уже успели сообщить о необычайном явлении; как прибежала, так сразу — бух перед окном на колени и давай выбивать несчетные поклоны.

— Матушка! Вашие преасходительство! — вопияла она, кланяясь образу, и в то же время простирая руки, и вертясь на коленях во все стороны, и обращаясь ко всем присутствующим. — Евдокия Петровна!.. Ведь это чудо! Божеское чудо!.. Господь милостию своею посетил!.. Дом твой блаадатью взыскал, родная ты моя!.. И как чудно: ну, как бы руке-то человеческой встащить да поставить его на-кося куда? Ну, добро бы еще внизу — мудреного бы тут не было, а то с улицы да на мезонине! Ну вот, видимо, как окроме Господа, никому невозможно!.. Явление, мать моя, явление!..

Все слушали Макриду, качая изумленными головами.

— Вот оно! Помните ли, голубчики мои! — быстро вскочила она с колен. — Антонидке-то видение сонное было, лик-то являлся? Вот он,

лик-то, и есть! Вот он — священство священное!.. как сказал тогды, что и седмицы не минет, так и исполнилось! Помните ли, батюшки-голубчики? Еще и Фомка-дурак то же предсказывал!

Все присутствующие действительно очень живо припомнили и то и другое предвещание. Теперь уже для них не оставалось ни малейшего сомнения, что образ этот — свыше явленный и что именно не на что иное, как только на него указывали оба предречения.

Живо разнеслась по всему соседству весть о благодатной милости, посетившей дом Савелия Никаноровича. На улице немедленно столпилась кучка местных обывателей и глазела на чудо, воочию всех прислоненное к оконному стеклу. Шли весьма разнообразные толки и заключения. Иные из любопытства проникали даже в самую спальню Евдокии Петровны, чтобы видеть не только изнанку, но и самый лик явленной иконы. Все поздравляли хозяев с Божией милостью. Сморщенная девица-горничная по крайней мере в сотый раз повествовала всем и каждому, как пришла она будить барыню и обычно пожелать

ей доброго утра, как подняла стору и всплеснула руками и так далее — все последовавшие слова и события этого утра.

Евдокия Петровна тотчас же разослала в разные концы города почти всех своих людей. Одному наказывала бежать к отцу-протопопу, чтобы скорее шел молебен петь, другому — на кладбище к отцу Иринарху; третьему — велела скакать на извозчике оповестить княгиню Настасью Ильинишну, госпожу Лицедееву, Петелополнощенского, Маячка и других, к кому поспеет и кого сам вспомнит.

Пока эти гонцы пустились облетать город, Савелий Никанорович порешил внести образ в комнату и поставить его в киоту на самое почетное место.

Та же самая лестница опять была вытащена из-под навеса и пошла в дело.

Один из уличных зрителей охотой вызвался взлезть и достать образ, на что и получил немедленно согласие. В этаких экстраординарных обстоятельствах каждый, по неизмеримым свойствам человеческой природы, непременно стремился *сам* сделаться действующим лицом, чтобы потом, при расска-

зах, иметь повод и право хоть куда-нибудь ввернуть в дело собственное *я*. Савелий Никанорович самолично принял образ из рук в руки от охотника и, с непокрытою головою, благоговейно понес его в дом свой и поставил на уготованное место, рядом с египетской тьмою и костью Козьмы и Демьяна.

Все присутствовавшие опять-таки были несказанно поражены сильным ароматом розы, исходившим от образа, и этот аромат уже окончательно убедил их в чудесном происхождении иконы.

Пришел отец-протопоп Иоанн Герундиев с причетником. Дьякона не захватил он с собою, потому что тот в это время служил обедню с очередным священником.

Начались новые ахи и рассказы да объяснения.

— Вы, матушка, ваше превосходительство, конечно, пожелаете украсить этим образом свои приход? — мягко выразился отец Герундиев.

Евдокия Петровна, напротив, думала было оставить его у себя в доме; но отец Иоанн успел наконец убедить ее, что благодать, по-

сетившая ее, не отыдет, если образ будет поставлен во храме, где все без исключения могут поклоняться ему, тогда как в частном доме поклонение это не каждому может быть доступно, а что всем и без того будет известно, где и как и у кого явился образ, и что можно даже напечатать и издать брошюру обо всем этом происшествии.

Убежденная такими доводами, Евдокия Петровна склонилась на предложение отца Иоанна, так что, когда в числе прочих званых и избранных появился отец Иринарх, то это уже было у них дело вполне решенное.

Рассказ о чудесном явлении был выслушан отцом Иринархом с некоторым скептицизмом, а сообщение Савелия Никаноровича о последнем намерении отца-протопопа встретило в новоприбывшем обычную его загадочную ухмылку и острый проницательный взгляд, брошенный исподтишка все на того же отца-протопопа, и этим догадчивым и пытливым взглядом отец Иринарх, казалось, проник во вся внутренняя отца Иоанна и прочел там вся его сокровенная, так что того даже несколько покоробило.

— Антонида предсказала… хм… и опять-таки Фомушка! — помыслил вслух сам с собою Отлукавский. — А где же этот Фомушка? Не видать его что-то…

— С вечера ушел куда-то и не бывал еще доселе…

— Хм… Так с вечера, говорите вы?.. А образ-то в ночь явился?

— В ночь, батюшка, в ночь! И в таком месте, где рука человеческая…

— Знаю, знаю, матушка! Но не в том это дело. А вот желательно бы на образ-то взглянуть. Позвольте показать мне его.

Повели наверх отца Иринарха, куда протянулась за ним и длинная вереница прибывших знакомых.

Отец Герундиев тоже поднялся вместе с другими.

— Так это-то он и есть? — проговорил Иринарх, рассматривая стоявший в киоте образ. — Ох, да какой же темный!

— Древность, батюшка, древность! — заметил Савелий Никанорович.

— А может, и копоть, ваше превосходительство, может, и копоть, — развел руками

Отлукавский.

— Какая же копоть? Это видно, что древность, — возразил ему Герундиев, с оттенком несколько злобного неудовольствия на его сомнение.

— Древность? А вот мы это сейчас поглядим!

Макрида стояла вся бледная, с некоторым беспокойством в блуждающем взоре, и старалась прятаться за спины многочисленных свидетелей.

— Позвольте попросить у вас чистое полотенце да тепленькой водицы немножко, — обратился Иринарх к хозяйке. — Да не беспокойтесь сами, ваше превосходительство! Пускай вот... хоть Макрида сбегает — она ведь у вас свой человек в доме.

Макрида спустилась вниз, и вместе с ней, по усердию своему, за тем же делом сбежала и сморщенная горничная.

Принесли отцу Иринарху и полотенечко, и водички. Макрида перед ним держала в руках и то и другое. Стал он тереть мокрым кончиком с одного края иконы, и этот край понемногу начал светлеть, обозначая блестящий

золотом фон, а на полотенце обильно насела вдруг черная грязь.

И полотенце, и образ отец Иринарх с некоторой торжественностью показал отцу Иоанну и всем присутствующим.

— Докладывал вам, что не древность, а копоть — копоть и есть! А образок-то, как видно, новенький.

Это было первое, но еще маленькое разочарование для созерцателей явленного чуда.

Отец Иринарх самолично направился к киоту и поставил икону на ее место.

— А это, матушка, что за баночка у вас тут поставлена?

— Ах, это тьма — нам Фомушка подарил... спасибо ему, голубчику!

— Тьма-а?.. Какая тьма? Где эта тьма-то?

— А тут же вот в киоте хранится.

Отец Иринарх мельком поглядел на Евдокию Петровну взором того внутреннего беспокойства, которым смотрят на людей, впервые оказывающих признаки умственного расстройства.

— То есть позвольте... Этого я, признаться сказать... извините, ваше превосходитель-

ство! — не совсем-то понимаю: как это тьму подарил?.. Какая же это тьма?

— Египетская, — подсказала сморщенная девица вместо своей барыни, которая молча глядела на Иринарха, будучи приведена его скептическими словами в некоторое недоумение относительно Фомушкиной непогрешимости. Но покамест она еще не могла взять в толк, чего это хочет от нее отец Иринарх и чего он так добивается…

— Что такое?.. Тьма египетская?.. Да где ж она? Покажите мне ее! — настаивал меж тем священник, обращаясь то к хозяину с хозяйкой, то к горничной-девице и ко всем присутствовавшим, между которыми были и поумнее; им точно так же показалось довольно странным курьезное открытие египетской тьмы.

Горничная, в ответ отцу Иринарху, указала на склянку с черною маслянистою массой.

Тот изъявил намерение немедленно вскрыть ее и поглядеть, что там такое.

— Батюшка!.. Бога ради!.. Нет, нет, не открывайте! — стремительно приступила к нему Евдокия Петровна.

— Отчего же так?..

— Невозможно!.. Невозможно!.. Он запретил! И прикасаться запретил!

— Кто это он? Все Фомушка же блаженный?

— Он, он запретил строго-настрого! Оставьте уж лучше, оставьте!

— Нет, уж позвольте полюбопытствовать, матушка!

— Да говорю же вам, невозможно!

— Напротив, весьма легко. Отчего невозможно?

— Расточится!

— Что расточится?

— Тьма! Сейчас же расточится; только открыть сосуд — она и расточится по всей земле, и все тогда будем во тьме ходящими — так и он нам наказывал!

— Не тогда, а ныне, матушка, — извините меня, — во тьме вы ходите! — наставительным пастырским тоном возразил ей отец Иринарх. — И от всего сердца моего желаю, — продолжал он, вскрывая банку, — чтобы поскорее озарил вас свет истины. Извольте, матушка, ваша тьма не расточается... Видите? А

меж тем откупорена — и не расточается!

Отец Иринарх, вертя в руках Соломонов сосуд, показывал его всем присутствующим.

— Что ж это такое?.. Боже мой, что ж это такое? — в недоумелом смятении шептала, спустя руки, пораженная старушка. — Не расточается... И в самом деле, не расточается... Что же это такое?

— А то, что ваш Фомка — мошенник...

— Господи помилуй! Да что вы говорите, отец Иринарх?.. Мошенник... тьма — не тьма... Да что ж оно такое, наконец?

— Оно-то?

Отец Иринарх поднес откупоренную склянку к кончику носа.

— Вакса-с, ваше превосходительство, вакса! Очень доброкачественная и — должно полагать по запаху и глянцевитости — брюлевского производства.

Едва ли бы какое-нибудь действительно сверхъестественное явление могло произвести на добрых птиц такое сильное впечатление, как это простое слово «вакса», сказанное отцом Иринархом с такой самоуверенностью, которая не допускала ни малейшей ошибки.

Оно в один миг разбило их долгую и глубокую веру в Фомушек, Макридушек и во всю странно-юродствующую братию.

Отец Иринарх не выдержал и засмеялся горьким смехом сожаления, который почему-то не особенно понравился отцу Иоанну, так что тот даже решился заметить, ни к кому, впрочем, не относясь лично со своим замечанием, что все это скорее печально, чем смешно.

— Истинная ваша правда! И чем смешнее, тем печальнее, — отпарировал Отлукавский. — Так это все Фомушкины подарки? И насчет образа *он* предречение делал?.. Хм!.. А вы, отец Иоанн, не наведя даже самонужнейших справок, уж и в свой приход возжелали поставить его? Жаль, поторопились немного! — саркастически заметил он с ехидственной улыбкой.

Отец Иоанн сильно сконфузился и, ничего не ответя, только развел руками, а сам меж тем исподтишка бросил на Иринарха взор, исполненный непримиримой ненависти: отец Иринарх заодно уж разрушил и его сладкие надежды...

Макрида стояла ни жива ни мертва и вся тряслась как в лихорадке.

Дело благодаря Отлукавскому приняло оборот очень серьезный.

— Подобного кощунства над религией допустить нельзя-с! — громко сказал он решительным тоном и принялся допрашивать Макриду.

— Я человек преклонный — мое дело сторона! Ничего не знаю, ничего не ведаю! — разливаясь в притворных слезах, отнекивалась смущенная странница, а сама все дрожала, словно лист осиновый.

Позвали Антониду, которая ничего еще не знала о печальном для нее обороте дела и предстала пред очи всего собрания с полной готовностью рассказывать и подтверждать свое сонное видение.

— Расскажи-ка, милая, как тебя Фома учил сны чудные рассказывать? — с онику обратился к ней Отлукавский.

— Какие сны? — смутилась и побледнела девушка.

— А хоть бы такие, какой ты видела на прошлой неделе?

— Я ничего не видела, ничего не знаю.

— Ну, а мы уже всё знаем. Так расскажи-ко свой сон, не конфузься!

Антонида бухнулась в ноги.

— Виновата! Простите!.. Всему Фомка учил, а сама я ничего не делала, ничего и знать не знаю и ведать не ведаю! — плакала она, не поднимаясь с полу.

В это время доложили, что пришел местный надзиратель с письмоводителем — составлять законный акт о явленном образе, про который и до него дошла стоустая молва. Теперь ему приходилось писать акт хоть и о том же все образе, но только совсем с другой стороны.

Признанием Антониды Фомка был уличен заочно. И это уличение послужило великим ударом как для Савелия Никаноровича, так и для Евдокии Петровны. Разочарование было полное, горькое и постыдное.

— Сказывал я вам, матушка, давно уже сказывал поберегаться этого Фомушки, потому — мошенник, — говорил отец Отлукавский, — а вы не пожелали меня послушать — вот и вышло по-моему. Я давно это видел, да

только молчал, потому — мое дело сторона опять же, и вам мои слова были неприятны.

— Ах! Боже мой!.. Фомушка, Фомушка!.. Кто бы это мог предвидеть?.. Кто бы это мог подумать?.. Человек такой святости... Господи! Да что же это такое? — всхлипывала вся в слезах Евдокия Петровна, для которой в самом деле было тяжко такое разочарование в своем любимце.

Наконец появился и этот любимец, ничего еще не подозревая, появился с отрадной и полной уверенностью, что его встретят с распростертыми объятиями и что теперь-то польются на него всяческие щедроты и ублажения.

Каково же было разочарование! Обличитель Отлукавский, сознавшаяся Антонида и местный квартальный надзиратель... Такой оборот дела поразил его как громовая стрела среди чистого солнечного неба. Он почему-то приучил себя в данном случае ожидать всего, но только никак не такого исхода: он к нему совсем не приготовился, поэтому вконец растерялся при первом прямом вопросе отца Иринарха.

Но явных, неопровержимых улик относительно образа не было, и Фомушка, конечно, заперся. Пошло обычное «знать не знаю, ведать не ведаю»; но, на беду его, налицо была тьма египетская, относительно которой никакое запирательство было уже невозможно. Свидетели утверждали единогласно, что принесли ее Фомка и Макрида. Полицейская власть составила надлежащий акт и объявила того и другую, да заодно уж и Антониду, арестованными.

Фома долгое время стоял сложа руки и опустив голову, совершенно безучастный ко всему его окружавшему и сосредоточенно погруженный в какую-то тяжелую думу. Бледная странница растерянно дрожала, Антонида громко всхлипывала.

Наконец им было приказано отправляться в часть, под прикрытием двух хожалых.

Фомка только в эту минуту словно очнулся из своего забытья.

— Да! — с широким вздохом промолвил он громким голосом, в котором слышалось внутреннее волнение. — Сорвался карасик! Все-то мне, все бы с рук сходило, все как с гуся вода

было, а на эком деле — прру!.. Вот оно, Бог-то!.. Не попустил!.. За себя — грехом попутал! Не шути, значит, Макар, коль до шапки не достал!.. Прощайте, друзья любезные, да не поминайте лихом, коль добром не за что... Идем, Макрень! Махай, Антонидка!

И троица эта удалилась под надежным прикрытием.

Все были как-то сконфужены, все торопились проститься с хозяевами и скорей убраться из этого дома. Первый подал пример отец протопоп Иоанн Герундиев.

— А что?.. Ваш-то — с носом! — ехидственно шепнул отец Иринарх, наклонясь к уху причетника, на что со стороны того последовало только скромное и как бы невинное гамканье в руку.

Так кончилась совершенно невозможная, но — увы! — совершенно правдивая история явленного образа и тьмы египетской.

Теперь, для полноты очерка из жизни и деяний домовитых птиц, автору остается только сообщить вкратце дальнейшую судьбу приюта кающихся грешниц.

Прошло около месяца со дня, в который разыгралось только что рассказанное событие. Савелий Никанорович с Евдокией Петровной поневоле оказались прикосновенными к делу. Их не особенно, впрочем, тревожили следственными расспросами, которые еще вдобавок чинились им на дому. И вот при одном из таких посещений следственного пристава было им сообщено, что Антонида оказалась беременною и чистосердечно выставила причиною своего положения все того же Фомку-блаженного, присовокупляя при сем обстоятельный рассказ о роде негласной жизни кающихся грешниц в спасительном приюте. Скандал в ареопаге произошел беспримерный. И кость, и тьма — все это казалось ничтожным в сравнении с этим последним скандалом. Наскоро собрали после этого общий совет, на котором определили: кассировать немедленно дела приюта, так как основался он негласно, ибо еще и доселе официального разрешения на него не последовало, а после происшедшего скандала уже неловко и хлопотать о нем. Решили — и закрыли, а за покрытием всех расходов оставшуюся ни-

чтожную сумму разделили по тридцати рублей между Машей и другою ее товаркой, да и пустили обеих с Богом на все четыре стороны.

IX
«БОЖЬЯ ДА ПОДЗАБОРНАЯ»

На набережной Фонтанки, в недальнем расстоянии от Семеновского моста, столпилась небольшая кучка народа.

Всякая подобного рода уличная кучка имеет неизменное свойство — прибывать с каждой минутой все больше и больше, пока блюстители градского порядка и спокойствия не уберут из среды ее предмет, возбудивший досужее любопытство прохожих. Так точно было и в этом случае. Блюстителей пока еще на месте не оказалось, и потому кучка благополучно росла да росла себе. На сей раз предметом любопытства служила пьяная женщина.

Это была оборванная, безобразная старуха; короче сказать — это была Чуха. Она пьяно всхлипывала и пьяно ухмылялась сквозь слезы; а из кучи окружающих наблюдателей то и дело вылетали остроты, шуточки и разные за-

мечания.

— Слышь, баба, как те зовут? — дергая за платье, докучал ей какой-то вертлявый мещанинишко в чуйке, на вид тоже весьма пьяноватенький. — Пьяный твой образ! Что ж ты молчишь?.. Как те зовут, спрашивают тебя?

— Зовут зовуткой — кузькиной дудкой! — обронил мимоходом свое словцо продавец поваренной груши, и за такую остроту удостоился в кучке одобрительного смеха.

А Чуха все себе ухмыляется да всхлипывает.

— Ну, брат, отетеревела совсем! — махнув на нее рукой, заметил маклак-перекупщик, из отставных солдатиков.

— До тишины допилась, — поддакнул ему мещанинишко, — совсем до тишины! Да слышь ты, баба, где ж ты живешь? — продолжал он теребить за рукав пьяную. — Ты объявись мне насчет свово местожительства, так я, по такой уж доброте своей, домой тебя провожу, нечем в фартал-то заберут. Что ж молчишь-то? Где живешь, говорю те?

— Против неба на земле, голубчики, против неба на земле! — с ухмылкой отвечала

Чуха, расслабленно прищурив глаза и глядя на окружавших ее совершенно безразличным и как бы ровно ничего не понимающим взором.

— Да и все на земле мы валандаемся, а ты скажи, куда сволочить тебя-то? — настаивала вертлявая чуйка.

— В часть... в часть ведите меня, — тихо заговорила Чуха каким-то расслабленно-нежным и бессвязным голосом, обращаясь ко всем в совокупности. — В часть, мои голубчики! Кроме как в часть — никуда не желаю!

— Да ты чья такая? Откелева? Ась?

— Божья, миленькие, Божья да подзаборная.

Безобразная Чуха — надо отдать ей полную справедливость — в пьяном образе была вконец отвратительна.

В это время к досужей кучке присоединился еще один новый зритель, потому что она загородила ему дорогу.

Он шел себе прогулочным шагом, с видом фланера, которому решительно нечего делать, и поэтому нет ничего мудреного, что скучившиеся люди вместе с пьяной Чухой

мимоходом остановили на себе его праздное внимание.

Он один из всей этой кучки отличался и безукоризненным изяществом, и джентльменски-представительным видом.

Это было лицо, уже знакомое читателю, которое он знает под именем венгерского графа Николая Каллаша. Граф возвращался пешком от своего приятеля и сподвижника Сергея Антоновича Коврова и совершенно случайным образом наткнулся на уличную сцену.

— Слышь ты, баба, говорят те — домой сволоку! — настаивал меж тем сердобольный мещанинишко. — Ты мне только больше ничего, что объявись насчет местожительства, да главное, как звать тебя?

— Княжною звать меня, княжною, — бормотал голос пьяной женщины.

— Ха-ха-ха! — пронеслось по толпе. — Слышь, робя, княжной велит звать себя! Вот так княжна! По полету видна!

— С самого, значит, с Тьмутараканьева княжества — это верно! — скрепил своим бойким словом маклак-перекупщик.

— А ты что думаешь? Нет, ты скажи мне,

ты что себе думаешь? Княжна! Известно, княжна! — задорливо вступила с ним в диспут пьяная старуха, размашисто жестикулируя руками.

Венгерскому графу это обстоятельство начало казаться довольно курьезным, так что он решился пробраться сквозь толпу и стал поближе к диспутантке.

— И я то ж само говорю, что княжна, — подуськивал перекупщик, показывая вид, будто сам вполне соглашается с нею и хочет отбояриться от спора. — Одно слово, княжна с подлежалого рожна аль с попова задворка!

— К ней, надо быть, и гостье-то все графское да княжеское ездит — все-то кол да перетыка! — опять ввернула слово поваренная груша.

— Ты, баба, не мели мелевом, а насчет имя-звания объявись, потому — имя-звание сичас первым самым делом! — не обращая внимания на перекрестные остроты, дернул Чуху назойливый мещанинишко.

— Чего-то звание! — хлопнул его по плечу перекупщик. — Пиши, коли хошь, княжна, мол, Косушкина, да и вся недолга!

— Ан врешь, не Косушкина, а Чечевинская! Княжна Анна Яковлевна Чечевинская! — войдя в окончательный задор и с сильной жестикуляцией взъелась за него пьяная женщина, вконец задетая за живое всем этим градом острот и дружного хохота. — Нда, вот… Что, взял? — продолжала она, показывая ему кукиши. — Не Косушкина, а Чечевинская… Княжна Анна Чечевинская!.. А ты, на-ко вот, выкуси!

Услышав звук этого имени, граф Николай Каллаш изменился в лице. Он побледнел мгновенно и, сильным натиском плеча окончательно уже пробравшись к пьяной старухе, дрожащими пальцами коснулся ее руки.

На пьяненьком лице ее показалась улыбка удовольствия.

— А!.. Чудной гость!.. Чудной гость! — замолола коснеющим языком старуха, не спуская с него глаз. — А наши девушки и доселе вспоминают угощения твои! Ей-богу, так! Что ходить-то перестал к нам на Сенную? Дай-ко мне на косушечку!.. Я нынче хмельная — я уж хватила немножко, да хочется еще… за твое здоровье! Я ведь это с горя, ей-богу, с горя!

И из припухлых глаз ее потекли новые пьяные слезы.

— Хорошо, я дам... только едем со мною! Сейчас едем! — мимоходом буркнул ей граф, торопливо выводя ее из кучки, которая осталась необычайно изумлена столь внезапным оборотом дела.

— А мне все равно... вези куда хочешь!.. В часть так в часть, в кабак так в кабак — я поеду, я всюду поеду! Поеду! Мне все равно! — бормотала Чуха, позволяя ему вести себя без малейшего сопротивления.

В ту же минуту кликнул он дремавшего неподалеку ваньку и довез на нем хмельную старуху до извозчичьих карет, которые обыкновенно стоят на бирже у Семеновского моста.

Нанятый экипаж вскоре прикатил их обоих к подъезду небольшого, но изящного дома, занимаемого венгерским графом.

X
КТО БЫЛ ГРАФ КАЛЛАШ

— Я это, милый мой, говорю тебе — с горя!.. Ей-богу же, с горя!.. Ты не думай, что я старая... что я пьяная да развратная, а и у меня тоже, может быть, свое горе! — медленно молола языком Чуха, смахивая грязною рукою набегавшие слезы. — Я сирота... совсем сирота, бесприютница... Нашла себе было хорошую девушку — ты не думай, нет, честная, хорошая!.. Божусь тебе!.. Как дочку полюбила ее, а ее увели от меня вчера... из части увели... Ей, конечно, теперь хорошо там будет... и сама знаю, что хорошо, а расстаться трудно мне было... больно уж полюбила, говорю тебе!.. Пусто теперь мне как-то без нее, тоска берет... Ну, а я и тово... хватила с горя!.. Тоску залить... я и хватила!.. А ты не осуди... не смейся... над жалким человеком и грех, и стыд смеяться... Зачем? Слышишь ли, голубчик, зачем ты привез меня сюда?.. Мне бы в часть или в кабак, а ты вон куда!.. Зачем, говорю, зачем?

— А вот затем, чтобы ты проспалась хорошенько, а потом мы поведем с тобою разговоры.

— Какие с Чухой разговоры!.. Да и куда я тут лягу... Я ведь грязная, пьяная — видишь, какова... а у тебя мебель — вон какая хорошая... Мне, мой милый, не место здесь... Ты пусти меня — уж я лучше... как-нибудь сама... в часть пойду.

Граф с трудом наконец убедил хмельную женщину остаться и лечь соснуть на широком покойном диване.

Та как повалилась, так через минуту и захрапела.

Он спустил гардины и, притворив двери, вышел в другую комнату, а сам, казалось, был так встревожен, хмуро-задумчив и сильно озабочен какою-то мыслью. Нетерпение проглядывало в каждом его взоре, в каждом движении, и граф неоднократно, осторожными шагами подходил к двери, за которою спала пьяная старуха, заглядывал в щель и прислушивался; чем дольше проходило время, тем сильнее отражалось в нем беспокойно-тоскливое нетерпение.

Но чтобы разъяснить причины этого настроения, мы должны начать рассказ наш издалека — за двадцать два года назад.

В 1838 году — если не забыл еще читатель — княжну Анну Яковлевну Чечевинскую постигло несчастье, обыкновенно называемое в свете большим скандалом. Она родила дочь и испытала всю великую меру подлости того человека, которого беззаветно полюбила всей своей честной любовью.

Нам приходится теперь отчасти напомнить читателю некоторые из обстоятельств, сопровождавших это печальное приключение.

Неожиданная весть о родах дочери как громом поразила старую княгиню Чечевинскую, нанеся беспощадный удар ее фамильной гордости...

Благодаря язычкам семейства Шипониных, и в особенности трем сестрицам, известным под именем «трех перезрелых граций», скандал необыкновенно быстро распространился в среде большого света. Старуха Чечевинская после сразившего ее известия уже не

видела более дочери. Она ее прокляла и не совсем-таки законным образом лишила в наследстве даже и той части, которая должна бы была достаться на ее долю из имения покойного отца. Ареопаг непогрешимых судей-диан, собравшийся у постели княгини Татьяны Львовны Шадурской, которая, за несколько дней перед тем, сама преждевременно и тайно ждала сына — Ивана Вересова, — безапелляционно решил общим своим приговором навеки подвергнуть остракизму опозорившую себя княжну Анну. Быть может, читатель помнит еще, как встретила ее Татьяна Львовна, эта великодушная Диана, когда несчастная мать, жаждая узнать судьбу своего подкинутого ребенка и бесполезно обращаясь поэтому несколько раз с письмами к ее мужу, своему любовнику, и даже к самой княгине, явилась наконец к ней лично, умоляя отдать ей дочь или по крайней мере сказать, где она находится.

Сказать ей этого княгиня не могла, потому что и сама не знала. Дело помимо нее было устроено самим Шадурским с помощью знаменитой генеральши фон Шпильце. С прокля-

тием и неисходным горем в душе, со слезами, душившими грудь, вышла от нее княжна Анна, не ведая, куда пойдет теперь и что дальше станет с собою делать.

В настоящее время читатель встречает ее уже в образе грязной, развратной Чухи, а какими судьбами дошла она до этого образа — мы расскажем несколько ниже.

Теперь же нам необходимо напомнить, что после княгини Чечевинской единственным наследником ее состояния, больше двух третей которого было украдено горничной Наташей с литографским учеником Владиславом Бодлевским, остался молодой сын ее, князь Николай.

Покойница давно уже чувствовала к дочери полнейшее равнодушие, которое потом перешло у нее даже в род какой-то затаенной антипатии, возраставшей тем более, чем сильнее становилась к ней безграничная привязанность пьяницы отца. И чем сильнее было это тайное неприязненное чувство к дочери, тем горячее становилась ее слепая любовь к сыну, с которым княгиня уехала в Петербург после разъезда с мужем, оставившим

при себе дочку. В течение целых восьми лет, последовавших за этим разъездом, до самой смерти князя Якова, ее привязанность к сыну росла и росла, так что, несмотря даже на мелочную и огромную скупость, княгиня зачастую давала ему более или менее круглые куши сверх положенного содержания и смотрела сквозь пальцы на его поведение и образ жизни. Да, впрочем, иначе она и не могла смотреть на него. Все, что ни делал, все, что ни говорил юный князек, — в ее глазах было безукоризненно прекрасным. Но сын далеко не платил матери той же монетой и чувствовал к ней полнейшее равнодушие. Впрочем, мальчишка был настолько хитер, что всегда очень ловко умел подделаться к старухе, прикидываясь перед нею в высшей степени любящим и почтительным сыном. Княгиня вполне удовлетворялась этим, потому что вообще очень высоко ценила всякое внешнее проявление любви и почтительности к своей особе. Молодой князек еще с шестнадцатилетнего возраста успел завоевать себе некоторую долю самостоятельности, которая прежде всего проявилась в том, что он настоял у матери

об удалении своего гувернера, затем занял в ее доме совершенно отдельную квартиру, завел свой собственный, отдельный штат прислуги, а потом и своих отдельных лошадей, являлся к матери ежедневно в урочные часы с неизменным выражением своего почтения, а все остальное время дни и ночи рыскал по городу, вращаясь в кругу добрых приятелей, содержанок и танцовщиц, наедал и напивал в кредит по всем лучшим ресторанам и возвращался домой только затем, чтобы выспаться или переодеться.

Вскоре, конечно, содержание из сверхштатных сумм, выдаваемых ему матерью, оказалось весьма недостаточным. Пришлось прибегать к займам, познакомиться с разными ростовщиками и ростовщицами и, будучи еще несовершеннолетним, давать на себя векселя сто на сто в счет будущих благ от грядущего наследства. Желание скорейшей смерти скупой матери вскоре сделалось для него заветным, хотя покамест он и не решался еще высказывать его вслух. Впрочем, выпрашивая у ростовщика в долг денег и подписывая векселя, молодой князек не упускал почти

каждый раз удостоверить заимодавца, как бы для большего успокоения, что мать его очень слаба здоровьем и едва ли протянет более года, а много двух. Неожиданная смерть ее в первую минуту его поразила, а во вторую втайне весьма-таки порадовала. В эпоху этой смерти ему было восемнадцать лет. До полного совершеннолетия, с которым придет неограниченное право на безотчетное пользование унаследованным состоянием, оставались еще впереди три проклятых года. Но первое же разочарование последовало для князя непосредственно по возвращении с кладбища, когда он, запершись в комнате матери, вскрыл ее заветную шкатулку, где оказалось в документах, билетах и наличных деньгах только полтораста тысяч. Князек рассчитывал найти там гораздо больше, не подозревая, что двести сорок четыре тысячи благополучно украдены, под руку княжны Анны, горничною Наташей, а уличающая записка за три часа до смерти проглочена гордо-самолюбивой старухой, не допустившей для света возможности сказать, что ее дочь, будучи развратной, вдобавок еще оказалась и воровкой.

Из оставшихся полутораста тысяч пятьдесят тысяч были положены на имя его, а сто принадлежали покойнице. По расчетам князя Николая, этой ничтожной суммы, за уплатой некоторых долгов, едва ли бы хватило ему года на три.

Впрочем, он надеялся на опеку, которая, по его соображениям, в течение трех лет не допустит до растраты состояния, стало быть, заимодавцы должны будут ждать и, в расчете на будущие льготы, не закрывать ему кредита. Зато, по прошествии срока опеки, долгов у него оказалось больше чем на двести тысяч.

С нервическою дрожью холодного ужаса увидел князь подступающую нищету. Приходилось проститься навеки с прежней безалаберной, бесшабашно-роскошной жизнью, со всеми приятелями, рысаками и танцовщицами, со всем этим комфортом, к которому так избалованно привык он. Расстаться со всем этим для князя было невозможно, немыслимо. Что станет он делать? Чем будет жить? Трудом? Да к какому же труду он способен? Какое трудовое дело мог бы он взять на себя? Умный, но пустой мальчишка как нельзя луч-

ше понимал, что на этом пути ему нет никакого спасения и что выбирать ему приходилось одно из двух: либо пулю в лоб или петлю, либо же во что бы то ни стало, каким бы то ни было способом жить прежней жизнью. Для того чтобы избрать первое средство, он был слишком еще молод и слишком заманчиво ему жизнь улыбалась, слишком много сулила она ему впереди радостей и наслаждений; и так верил он в ее улыбки и посулы, и так надеялся на них, и так ему жить хотелось, и так жадно любил он эти наслаждения! Князь избрал второе средство и нимало не задумался над дальнейшим путем, которым отныне предстояло ему идти для удовлетворения своей жажды жизни и наслаждений. Воспитание и жизнь сделали его пустым. Природа дала ему ум, довольно решительный, энергичный, самообладающий характер и значительную даровитость. Он, почти не учась, был отличным рисовальщиком и отличным музыкантом; кроме того отличался искусством смелого наездника, хорошего стрелка и ловкого фехтовальщика. Была у него и еще одна специальность, заключавшаяся преиму-

щественно в беглости и проворстве рук; он изумлял своими фокусами с колодой карт, и за выучку этим фокусам в свое время переплатил довольно-таки денег разным профессорам магии, чревовещания и пр. Но все, чем так щедро наделила его природа, осталось в нем в своем первобытном, самородковом виде. Князь не приложил ни малейшего старания, чтобы развить наукой свои способности к музыке и живописи. Зато большие и неутомимые старания были приложены им к выездке лошадей да к владению пистолетом, рапирой и карточными фокусами. Жизнь и воспитание направили в весьма дурную сторону некоторые из его инстинктов: поэтому-то князь и не задумался над средствами, когда печальные обстоятельства лицом к лицу поставили его с грозной проблемой «быть или не быть». Для него все средства оказались хороши, лишь бы только вели к вожделенной цели.

Еще в годы своего несовершеннолетия попался он в добрую переделку к некоей компании шулеров петербургских и заплатил-таки ей свою далеко не посильную дань. Теперь же

явился он прямо к главному воротиле этой достойной компании и предложил ему свои товарищеские услуги. Немедленно же был произведен достодолжный экзамен над колодою карт. Это испытание привело в полный восторг главного воротилу. Он бросился на шею к князю Чечевинскому, трижды облобызал его и компетентно выразил свое мнение, что если призаняться еще этим делом месяца с два, то новый член компании, относительно совершенства и чистоты замысловатых вольтов, достигнет полного идеала, не оставляя желать ничего уже лучшего. Сотрудник с таким обширным знакомством, с такою обстановкою, с аристократическим именем и положением в свете был чистым кладом для честной компании, которая и руками и ногами приняла его в недра своих братских объятий. Князь Николай Чечевинский сделался шулером. Но пословица говорит: «И на старуху бывает проруха» — так и на шулеров находят иногда невзгоды.

Случилось однажды такое обстоятельство.

На петербургском небосклоне появился в тот зимний сезон один отставной гусар, реко-

мендовавший себя помещиком двух тысяч душ Симбирской, Саратовской и Пензенской губерний, — господин изящный, ловкий; представительный в полном смысле этого слова, который самым блистательным образом показывался везде и повсюду, занял целый ряд великолепных комнат в одной из лучших гостиниц и задавал вечера и обеды.

Честная компания задумала его «оболванить» и натравила все свои помыслы на его карманы. Она шибко стала ухаживать за приезжим барином. Князю Чечевинскому не трудно было сойтись с ним на короткую ногу. Они сделались приятелями, стали на *ты*, показывались везде вместе, вдвоем, и наперебой друг другу ухаживали за одной из первых солисток тогдашней балетной сцены, что, впрочем, нисколько не нарушало их дружелюбных отношений. Князь познакомил экс-гусара с некоторыми из самых дошлых членов своей тайной компании, и члены эти, конечно, не упускали случая упитывать себя обедами и ужинами в отеле радушного Амфитриона.

В один из таких вечеров, когда необходи-

мые члены названной компании благодушествовали в гостиной симбирского помещика, князь очень ловко завел разговор об игре, и вдруг экспромтом предложил заложить, от нечего делать, в штос или в ландскнехт небольшой кушик.

— Нет, уж коли играть, — возразил ему гусар, — так в качестве хозяина право заложить банк принадлежит мне. Я хотя и давно не играю, — домолвил он с кисловатенькой ужимкой, — да уж куда ни шло!.. Пожалуй, я не прочь тряхнуть полковой стариной.

Вслед за тем сейчас же был раскинут ломберный стол. Амфитрион пошел в кабинет и вынес оттуда полновесную пачку банковых билетов.

— Назначайте сами, господа, сумму банка, я в вашем распоряжении.

Князь на первый раз очень скромно предложил ему заложить тысячу рублей.

Любезный хозяин согласился беспрекословно.

Завязалась игра — чистая, с переменным счастьем. Гусар проигрывал очень любезно, выигрывал очень равнодушно, так что своим

поведением в игре вконец очаровал членов компании.

На первый раз дело этим и ограничилось.

Через несколько дней повторился подобный же вечер и та же игра. Гусар метал банк и очень любезно проиграл компании более трех тысяч. И опять наступил вечер, и опять проиграл он тысячи за четыре, проиграл и не поморщился.

Компания, возвращаясь от него, была в восторге и оставалась в полном убеждении, что нашла для себя в симбирском помещике Язоново золотое руно. Она решилась дать генеральное сражение, пустить в ход всю свою армию, всю свою тактику и стратегию и — куда ни шло — рискнуть почти всем своим сборным компанейским капиталом.

Князь Чечевинский сделал вечер у себя и после роскошного ужина, за которым не было недостатка в обильных возлияниях, предложил играть. Возлияний на долю симбирского помещика пришлось очень много. Почти каждый из членов достойной компании, порознь изливая ему свои дружественные чувства, любовь и симпатию, предлагал выпить

на брудершафт, затем шел тост в честь только что заключенной неразрывной дружбы и иные тосты, на какие лишь могло хватать остроумия всех наличных членов. Экс-гусару приходилось пить с каждым в отдельности, так что на его желудок досталось более значительное количество вина, чем на всю остальную братию. Гость, как истый джентльмен, пил не отказываясь, пил артистически, с чувством и толком, и под конец заявил себя порядочно-таки охмелевшим.

Князь, как хозяин, заложил банк, пустя в него, ради генерального сражения, большую часть общей компанейской суммы. Хмельной гусар менее чем в десять минут спустил порядочный кушик; но вдруг пришла ему фантазия пристать к князю с неотступной просьбой — уступить ему место банкомета.

— Смерть хочется пометать! — мычал он совсем пьяным голосом. — Пусти меня, я заложу!.. Убери свои деньги... Все равно, завтра, если хочешь, мечи ты у меня, а сегодня уж мне у тебя позволь... Ну, вот пришла фантазия... Ведь я самодур, мой друг... русский самодур, коренная натура!..

Члены переглянулись. Видят, что добряк почти лыка не вяжет, и думают себе: все равно, не так, так иначе дело обделать можно.

Пустил его князь на свое место. Деньги остались на столе. У гусара чуть колода из рук не валится. Дал он им сразу три добрые карты, на четвертой взял себе маленький кушик, затем дал опять несколько сряду, но в конце талии нахлопнул — и банк его значительно увеличился. В три-четыре талии почти весь куш, приготовленный компанией для генерального сражения, перешел к не вяжущему лыка гусару. У честной братии вытянулись физиономии. Но гусар был так добродушно пьян, так нежен и любовен с ними, и в конце концов неожиданно забастовал, положа в карман выигранную сумму, которая с избытком вознаградила его за все предыдущие проигрыши, и передал карты князю — продолжать, буде ему угодно, а сам удалился к камину и задремал на покойной кушетке.

Игра для виду продолжалась еще несколько времени, с очень незначительным уже кушем, но хмельной гусар даже и не дождался ее окончания и, сказавшись нездоровым, бла-

гополучно уехал домой.

Компания осталась в великом недоумении — считать ли ей это делом слепого случая или ловкой проделкой более дошлого шулера?

Большинство склонялось на сторону первого предположения, соображая то огромное количество вина, которое пришлось на долю гусара, и все вообще положили: не откладывая в долгий ящик, с завтрашнего же вечера исправить свой промах и наверстать с процентами утраченные деньги.

На следующее утро князь Чечевинский лежал еще в постели, как от джентльмена-гусара была получена им самая дружеская записка, в которой он сам безмерно удивлялся своему вчерашнему слепому счастью, «так что даже самому совестно становится за свой выигрыш», и потому-де приглашает он всех своих вчерашних друзей отыграться у него сегодня вечером.

На нынешний раз гусару пришлось повторить, даже с избытком, все количество вчерашних возлияний, прежде чем успела составиться игра. Князь Чечевинский напомнил

ему вчерашнее обещание уступить место банкомета. Тот, конечно, не поперечил. Князь стал метать. Гусар, полудремля, уселся против него, а тот, воспользовавшись удобной минутой, взял да и передернул.

— Атанде! — остановил внезапно хозяин и, к неописанному удивлению гостей, проговорил это слово трезвым голосом и с совершенно трезвым видом. — Позвольте-ка мне вашу колоду!

Тот — хочешь не хочешь — передал ему карты.

— Теперь подойдите сюда, — предложил ему гусар, вдруг изменяя дружеское «*ты*» на официально-сухое «*вы*».

Князь подошел.

— Станьте здесь, подле меня, справа. А вы, хоть например, — примолвил он, обращаясь к главному воротиле, — становитесь с другой стороны. Да и все вообще, господа, станьте и смотрите.

Те, до крайности конфузясь и изумляясь, почти беспрекословно исполнили требование хозяина, высказанное таким решительным, безапелляционным тоном.

Хозяин перекинул три-четыре карты и вдруг остановился, окинувши всех прямым, твердым взглядом.

— Видите ли? — спросил он, обращаясь ко всем безлично.

— Что такое? — недоумело откликнулось несколько голосов.

— Как — что? Известное дело, передержку! Спрашиваю вас, видели ли нет?

— Нет, не видали.

— Ну, так смотрите еще, да повнимательнее смотрите!

И опять перекинул две карты.

— Видели?

— Ровно ничего! — передернули те плечами. — Да полно, что за мистификация! Никакой тут передержки нет! — заговорили они всем хором.

— Как нет, если я говорю, что передернул! — возвысив голос, возразил гусар даже несколько оскорбленным тоном. — Смотрите пристальнее, я прокину еще… Заметили?

Те только отрицательно пожали плечами.

— Ну, так вот как передергивают порядочные люди! — с торжествующим видом сказал

он, поднявшись с места, бросил на стол колоду и загреб в карман весь банк.

— Сначала поучитесь, господа, чтобы играть со мною, а пока вы годитесь только на подкаретную игру с кучерами да с лакеями. То, что я вам показал, я называю «мертвым вольтом». Подите-ка попытайтесь достичь до него! А комедия, разыгранная нами, называется «коса на камень, или дока на доку нашел». Теперь прощайте и подите вон отсюда, я с вами не хочу иметь никакого дела. Эй! Человек!.. Подай всем этим господам шляпы и шубы!

И, откланявшись общим поклоном, экс-гусар неторопливой, спокойной и твердой походкой удалился в комнаты.

Урок был дан великолепный и слишком чувствительный: ловкие шулера наскочили на шулера еще более ловкого. Все укоры и проклятия компании всецело обрушились теперь на голову злосчастного князя Чечевинского. Воротило назвал его подлецом и предателем Иудой. Он настоятельно утверждал, что князь был заодно с экс-гусаром, что все это было делом их обоюдного заговора для обще-

го раздела барышей, и остальные члены вполне разделили убеждения своего воротилы. Князь с позором был изгнан из компании.

Хотя последующие обстоятельства наглядно показали им жестокость их ошибки относительно своего сочлена, но — увы! — показали слишком поздно, когда все было потеряно для несчастного князя.

Потерпев столь жестокое поражение и увидя себя вполне одиноким, без всякой поддержки со стороны товарищей, князь Николай не мог уже добывать себе средств к жизни игрою. Он в крайности решился на другие ресурсы: устроил несколько мошеннических проделок, наделал несколько фальшивых векселей и перепродал их в разные руки. Проделка открылась очень скоро — и князь Николай Чечевинский очутился в Тюремном замке. Выпутаться не было никакой возможности. Все самые очевидные улики явились налицо — и финал его широкой петербургской жизни завершился длинною Владимирской дорогой.

Князь отбыл четырехлетний срок сибирской каторги, после которого его перевели на

поселение.

Вместе с этой последней переменой своего сибирского существования ловкий и умный человек не потерялся. К тому же и несчастья закалили его душу и придали много стойкости его натуре, а уму много горького опыта. Он как бы вырос нравственно, ободрился, окреп своим духом и снова принялся за дело.

Удалось ему сойтись с одним весьма значительным золотопромышленником и при помощи своего ума и ловкости вкрасться в его доверие — как это зачастую и случается в Сибири. Через два года подначальной, не совсем еще самостоятельной службы на приисках хозяин поручил ему заведывание делами. Князь вел дела очень ловко, честно и аккуратно до последней степени, так что эти качества, испытанные в течение последующего почти пятилетнего срока, удесятерили доверие к нему патрона. Он сделался положительно его правою рукою, так что на время отлучек самого золотопромышленника в Москву и в Петербург вполне заменял его особу, являясь по доверенности почти полноправным его представителем. Он получал хорошее жа-

лованье, и наконец, в виде награды, ему было дано четверть пая.

Аристократический петербургский джентльмен не утратил и после сибирской каторги своего салонного блеска. Он сделался положительно идеалом всех местных дам и задушевным приятелем властей предержащих. На бывшего мошенника они смотрели теперь как на человека идеально честного. При всех этих условиях князю не стоило почти ни малейшего труда воспользоваться правом долгих, самостоятельных и почти своевольных отлучек в разные концы сибирского края, куда призывали его дела, доверенные патроном. На руках его часто оставались очень большие суммы денег, относительно которых в течение пяти лет идеальная честность князя проявлялась в полном блеске.

Но в один прекрасный день, к общему и несказанному удивлению, оказалось, что князь куда-то пропал, а куда — решительно неизвестно! — пропал с поддельным паспортом и бумагами будто бы какого-то служащего чиновника или офицера, с подорожной по казенной надобности и вдобавок не забыл за-

хватить с собою несколько слитков золота и семьдесят две тысячи серебром. Благополучно удалось ему миновать сибирские дебри и веси и очутиться, с видом уполномоченного купеческого поверенного, на американском судне, которое с Охотского порта столь же благополучно доставило его в Соединенные Штаты.

Несколько лет провел он то в Нью-Йорке, то в Ричмонде, то в иных городах великой республики, занимаясь торговыми операциями, а подчас и аферами ловкого, но не совсем чистого свойства, пока наконец не возбудил против себя некоторых подозрений.

Пришлось удирать снова.

От Азии выручила его Америка, от Америки — старая Европа, где, скитаясь из края в край и занимаясь все тем же темным делом, он столкнулся наконец в Гамбурге с Сергеем Антоновичем Ковровым. Птицы видны по полету, а это были птицы одного полета, так что догадаться о специальной профессии друг друга, а затем стакнуться и подать один другому руки на общее действование было им нетрудно.

И вот в 1858 году, вскоре по приезде из-за границы в Россию баронессы фон Деринг и ее друга, прикатившего под именем Владислава Карозича, на арену петербургской жизни неожиданно появился никому не известный, но тем не менее богатый, представительный и всех очаровавший собою турист, с которым Петербург познакомился теперь под именем венгерского графа Николая Каллаша.

XI
КТО БЫЛА ЧУХА

Надеемся, каждому теперь будет понятно нетерпеливое и жуткое волнение, которое испытывал этот человек, пока старая Чуха отдыхала в смежной комнате.

«Неужели же... Боже мой!.. неужели это сестра моя?» — буравил его мозг неотступный вопрос, на который отчасти мелочное тщеславное самолюбие настойчиво отвечало:

«Нет, не может этого быть! Но имя?.. Каким образом этой пьяной, развратной женщине может быть известно имя княжны Анны Яковлевны Чечевинской, которая уже два-

дцать два года как сошла со светской сцены, скрылась неведомо куда?»

«А если и не она моя сестра, — думал Каллаш, — то, во всяком случае, она должна знать ее, а если она ее знает, стало быть, и моя сестра такая же».

В этой последней мысли, пришедшей ему в соединении с ярким образом Чухи, было для него нечто страшно сжимающее душу тою отчаянною болью, которая всегда засаднеет в ней в ужасные минуты, когда мы видим, как умирает близкое нам существо, а у нас нет ни силы, ни возможности поддержать в нем потухающую искру жизни. Бывают мгновения, когда в душе падшего человека вдруг ни с того ни с сего закопошится какой-то червяк, засосет, загложет, забеспокоится. Этот червяк в подобные мгновения как будто высасывает всю дрянь, весь гной, всю накипь из души человеческой, как будто он очищает ее, возвращая к той счастливой, почти детской поре, когда она еще была чиста и человечна. Этот червяк называется совестью. Он копошится иногда и в душе самого закоренелого злодея. Если же его внутри там нет и никогда не су-

ществовало, — это значит — вы видите перед собою животное, ни за что ни про что проклятое судьбою.

Давно уже не сосало и не глодало в душе графа Каллаша так сильно и так много, как теперь; потому, быть может, еще первый раз в жизни кольнул его горький упрек совести за родную сестру. Он вспомнил, что нехорошо поступил с нею когда-то. Если бы не он — почем знать, быть может, она и не дошла бы до такого падения... Ни одного слова не было замолвлено им за нее перед матерью, тогда как при ее ослепленной и безграничной любви к нему одного умоляющего взгляда с его стороны, быть может, было бы достаточно, чтобы несколько изменилось суровое решение старухи. Конечно, она не согласилась бы иметь ничего общего со своей дочерью, но от него зависело сделать так, чтобы по крайней мере ей была отдана законная часть ее из отцовского наследства. Эта часть могла бы ей скоротать век в какой-нибудь глуши — здесь ли, за границей ли, но скоротать его мирно и честно. Он этого не сделал, он ограбил сестру — и вот теперь-то впервые прошибло его

нечто похожее на раскаяние. Впервые налегла на грудь какая-то глухая злоба — злоба и на покойную мать, и на себя самого, а более на того негодяя, который был первою причиною несчастного падения сестры. Кто этот негодяй — князь Николай Чечевинский не ведал, как и все остальные, кроме самой княжны Анны. Хотя давно уже обстоятельства заставили его покинуть свое родовое, старинное имя, которое носил он до ссылки в Сибирь, однако же это имя, внезапно услышанное теперь из уст пьяной и безобразной развратницы, которая публично присвоила его себе, как-то жестоко, как-то нехорошо и смутительно захлестнуло в нем щекотливое чувство прирожденно гордого аристократического достоинства. Ни его ухо, ни его ум, ни его чувство решительно не выносили того, что это древнее и почтенное имя было брошено на позор перед уличной толпой. Забывая, что сам когда-то своими преступными проделками публично нанес позорную пощечину этому самому имени, князь Николай Чечевинский, среди обуявших его горьких дум и ощущений, не мог удержаться, чтобы в его душу

не врывалось чувство озлобления даже и против сестры, против этой несчастной пьяной старухи.

«Зачем, зачем она назвала себя перед этою толпою?» — долбило все одно и то же в его голове, и тем-то настоятельнее хотелось ему разрешить все свои сомнения, и тем-то нетерпеливее ждалось, скоро ли проснется и вытрезвится эта женщина. Он почти поминутно подходил к двери и прислушивался, заглядывая в замочную скважину, пока наконец нетерпение его разрешилось.

За дверью явственно послышался шорох движений и хриплый старушечий кашель.

Долее не мог уже терпеть Каллаш и как-то порывисто вошел в смежную комнату. Он пристально остановился против своей гостьи.

Чуха вскочила с дивана — и в то же мгновение оба сильно смутились. Оба чувствовали какую-то странную, томительную неловкость друг перед другом.

«Как приступить? с чего начать с нею?» — смешался на мгновение граф, но тут же почти преодолел себя. К нему воротилась обычная твердость и самообладание.

— Ты — княжна Чечевинская? — твердым голосом задал он ей вопрос, неотводно глядя в упор на смущенную женщину.

Та смутилась еще более и глубоко потупила взоры. Видно было, что ей очень тяжело отвечать ему.

— Нет, — прошептала она, отрицательно покачав головою, — это не мое имя. Меня Чухою зовут.

— Когда я встретил тебя пьяною на улице, — спокойно и ровно продолжал граф, испытывая ее глазами, — ты, в виду всех, назвала себя княжною Анной Яковлевной Чечевинской.

— Я… Ну что ж такое?.. Я солгала, — было ему чуть слышным ответом.

— Стало быть, ты знаешь ее, если назвалась ее именем?

— Н… не знаю!.. Не знаю… ничего не знаю!.. — прошептала Чуха, не глядя на него и продолжая отрицательно качать головою.

— Откуда известно тебе это имя? — настаивал граф.

— Имя?.. А так, слыхала…

— Ты? Когда? От кого слыхала?

— Не знаю... не помню... от людей слыхала...

— От каких людей?

— О Господи! Да кто же их знает!.. Мало ли людей на свете! — теряясь, воскликнула Чуха, которую, видимо, терзали все эти вопросы.

Граф осторожно и кротко взял ее руку и, не спуская с нее глаз, проговорил вполне уверенным тоном:

— Ты говоришь неправду. Ты — княжна Чечевинская.

— Ну, а если б и так — нетерпеливо сорвалось у Чухи, — если б и так — тебе-то что за дело?

Граф замолчал. В лице его заметно было сильное волнение.

— Брату всегда есть дело до его сестры, — взволнованно и тихо сказал он наконец, голосом, полным участия.

Чуха вскинулась на него изумленными глазами и отступила шага на два.

— Брату?.. — прошептала она, пожирая его взорами.

— Да, брату!.. Князю Николаю Чечевинскому.

Ошеломленная Чуха глядела и молчала.

Она не могла еще прийти в себя от этого странного, неожиданного слова.

Тот снова приблизился к ней и хотел было взять за руку, как вдруг Чуха отдернула ее и еще больше подалась назад. На губах ее мелькнула горькая, колючая улыбка.

— Моему брату, — проговорила она наконец с иронической горечью и затаенной злобой, — не было до меня дела в течение двадцати двух лет, какое же дело может быть теперь?.. Теперь уже поздно!.. Теперь мне не надо ни брата, ни его участия!

Граф Каллаш, в тяжелом и смущенном волнении, медленно прошелся по комнате. Лицо его было бледнее обыкновенного, во взоре горела томительная тоска.

— Гм!.. В течение двадцати двух лет!.. — проговорил он как бы сам с собою. — А если в течение этих двадцати двух лет он успел вынести позор, тюрьму, сибирскую каторгу и потом скитание бог знает где — далеко, в Америке, под чужим именем... Если и теперь даже сам себе он не осмеливается признаваться, что он князь Николай Чечевинский? Что

ж тут говорить, было ли или не было ему дела?

Пораженная Чуха следила за ним и слухом, и взорами, пока тот не остановился наконец перед нею.

— Послушай, сестра, — начал он тихо и, насколько мог, спокойно, — двадцать два года тому назад я поступил против тебя подло. Я был тогда большим негодяем. Теперь я, быть может, несколько лучше, но... все-таки и теперь я негодяй! Да ведь находят же и на мерзавцев минуты человеческого сознания, минуты раскаяния?.. Я раскаиваюсь не в настоящем, но в прошлом, в том, что сделал я против тебя двадцать два года назад. Прости меня, если можешь простить! Если ты несчастна, то столько же несчастен и я... Быть может, нас равно побила жизнь... Право, сестра, это верно, это так! Мне кажется, мы можем подать друг другу руки. Прости меня!

Чуха все еще глядела на него, но в этом взоре все более и более сглаживался оттенок прежней суровой иронии и злобы, уступая место чему-то теплому, мягкому, болезненно-страдающему и родному. Это был взор все-

прощения. С ресниц ее скатилось несколько крупных слезинок.

Граф стоял перед нею в томительном ожидании.

Чуха вздохнула полным, освобождающимся из-под гнета вздохом и молча протянула ему руку.

XII
КАКИМ ОБРАЗОМ КНЯЖНА АННА СДЕЛАЛАСЬ ЧУХОЮ

Глава эта будет вовсе не длинна и не обильна подробностями. В силу этого обстоятельства автор тем более охотно предлагает читателю проследить вместе с ним судьбу столь давно покинутой нами княжны Анны Чечевинской.

С моря дул порывистый, гнилой ветер, который хлестал одежду прохожих, засевая их лица мелко моросящею дождевою пылью, и пробегал по крышам с завывающими, пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморось густо наполняли воздух,

в котором царствовали мгла и тяжесть. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонари, по весеннему положению, не зажигались.

Нева плескала волнами своими в гранит набережной. За рекою крепостные куранты у Петра и Павла с безысходною тоскою медленно играли «Коль славен наш Господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути.

— Кажись, недурна, — процедил сквозь зубы беспутный шатун-гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой с каждым шагом все более и более терялся в холодном и моросящем тумане петербургской ночи.

Эта ночь была в середине мая 1838 года.

Эта молодая женщина была княжна Анна Чечевинская.

Она с проклятием только что покинула по-

рог княгини Шадурской.

В груди ее кипели злоба и ненависть непримиримая, беспощадная, и, словно невские волны, ходуном ходили глухие рыдания, которые, однако, ни воплем, ни слезою не выдавались наружу. Ей хотелось бы мстить — мстить и этой строгой, лицемерной Диане, и всему этому «большому свету», с которым теперь уже были порваны все связи и который с этой минуты она страстно презирала и страстно ненавидела. Мстить!.. Но как и чем же мстить этому гордому своим кажущимся достоинством обществу? Чем же мстить ей, бедной, несчастной, одинокой, опозоренной и всеми отвергнутой? Какая месть могла быть ей доступна, если с этого самого вечера она, может, на всю свою остальную жизнь становилась в разряд «голодных и холодных»?

— Барышня! А барышня? Позвольте вас проводить? — вдогонку послышался в эту минуту голос беспутного гуляки, который шел за ней по пятам.

Анна испуганно вздрогнула и с гордым достоинством остановилась, чтобы пропустить его мимо себя.

Но шатун не благорассудил миновать ее и тоже остановился рядом.

— Вечер, знаете ли, холодный — все равно как в Александринке этот куплетец поется: «Вместо красного-то лета, здесь зеленая зима». Это истинная правда! — рассыпался он перед нею, стараясь быть ловким и любезным. — Одной идти скучно и даже очень притом небезопасно, а по холодку-то и коньячку бы хватить не мешало... пойдемте-ка под ручку!

Княжна круто отвернулась от него и пошла так быстро, что чуть не бежала.

Гуляка не отставал ни на шаг и назойливо шел рядом.

— Какие вы строгие-с! Спесивые-с! Даже очень, должен сказать, гордянки-с! Вам благородный человек делает деликатное свое предложение, а вы не удостоиваете, словно герцогиня или княгиня какая...

«А! Вот она, месть! — мгновенно сверкнула в голове Анны сумасшедшая, взбалмошная мысль. — *Они* горды, *они* прячут и скрывают свои гнусненькие скандалы. Так я же буду им живым, всеобщим и ходячим скандалом!

Скандал — так уж скандал до конца! На полпути нечего останавливаться! Пускай же коробит их гордое чувство хоть тот факт, что княжна Чечевинская, особа, принадлежащая их кругу, — позорная женщина. Пускай же краснеют они хотя за этот титул! Кроме этого — у меня им нет, к сожалению, никакого мщения, а я хочу, да, *я хочу* мстить, мстить и мстить им!.. Впрочем, и это будет хорошо».

И с такою мыслью, в каком-то нервно-лихорадочном самозабвении и почти в сумасшедшем порыве, задерживая в груди не то рыдания, не то истерический смех, княжна Анна отчаянно махнула рукою и тотчас же подала ее беспутному гуляке.

Порыв прошел очень скоро, но — увы! — прошел уже тогда, как несчастная девушка вступила на скользкую колею падения.

Со стыдом и презрением к себе, с отчаянием и жгучей болью в душе покинула она поутру логовище беспутного гуляки.

На прощание он сунул ей в руку скомканную ассигнацию. Анну словно что ужалило; как скользкую поганую гадину, с содроганием

и омерзением она тотчас же далеко швырнула от себя полученные деньги и, оскорбленная до глубины души, вне себя сбежала с лестницы на улицу.

Ей больше некуда было идти, как только в Свечной переулок, в тот серенький домик, у ворот которого висела черная вывеска с надписью «Hebamme»[494], извещавшая об обиталище востроносенькой, чистоплотной немки-акушерки, дававшей до вчерашнего дня приют молодой роженице. Немка приняла ее теперь не то чтобы радушно, не то чтобы сухо. Она была очень недостаточна, рассчитывала каждую копейку. Княжна решительно объявила, что ей пока больше некуда деваться, умоляла приютить ее еще на несколько дней, пока подыщется какой-нибудь исход из этого неопределенного положения, и обещала непременно заплатить за свое житье. Немка согласилась. Анна прожила у нее еще недель около трех, ложась и вставая каждые сутки с ужасающей мыслью о том, что-то будет дальше, как и чем-то она расплатится за стол и квартиру. Немка молчала, но, видимо, тужилась. Ее крайне стесняло безвозмездное при-

сутствие лишнего, постороннего человека; княжна занимала отдельную комнату, а в этой комнате зачастую оказывалась для немки настоятельная необходимость, так как нередко случались родильницы, являвшиеся к ней на квартиру для разрешения от бремени. Такое положение тяготило княжну Анну, быть может, вдесятеро более, чем ее хозяйку, которая наконец высказала ей свое крайнее стеснение. Анна решилась заплатить ей за прошлое время и думала снести к ростовщику последнюю оставшуюся у нее заветную вещицу. Это был массивной работы золотой крестик на такой же цепочке — благословение ее отца. Случайно подвернувшаяся под руку полицейская газета, испещренная всяческими объявлениями, указала ей на несколько крупных строк, гласивших, что в Средней Мещанской улице, дом такой-то, в квартире № 24, ссужаются деньги, от восьми часов утра до двенадцати ночи, под залог золотых, серебряных и иных вещей. Это было объявление Осипа Захаровича Морденки, только что вступившего на поприще благодетелей рода человеческого.

Вырученные от него двадцать пять рублей княжна Анна немедленно же отдала акушерке и, в смутном ожидании какого-то исхода, снова осталась без гроша. Она исходила конторы одной, и другой, и третьей газеты, с намерением публиковаться о желании своем вступить в гувернантки, но нигде без денег не приняли от нее объявления. Попросить у немки взаймы часть отданных денег ей было крайне совестно. Она не решалась на это, считая, что та уже и без того сделала для нее много разных одолжений.

Однажды, пересекая Морскую улицу вдоль Невского проспекта (это именно было в день посещения трех газетных контор), она близ английского магазина столкнулась лицом к лицу с тремя дамами большого света, выходившими из щегольской коляски.

Еще столь недавно эти самые три дамы были с нею в таких хороших, почти приятельских отношениях, а одна из них, по положению своему стоявшая ниже двух остальных и допускавшаяся в их общество только в качестве задушевной институтской подруги, не была наделена никакими блестящими титу-

лами, и поэтому относилась всегда к княжне Чечевинской даже несколько заискивающим образом. Теперь эти три Дианы прошли мимо, не узнавая княжны Анны, и вдобавок совершенно спокойно окинули ее с ног до головы равнодушным взором такого леденящего и оскорбительного холода, от которого сжалось и как будто перевернулось в груди сердце несчастной девушки.

И снова почувствовала она тяжелое оскорбление, и снова закипели в груди ее злоба, и ненависть, и презрение, и столь же ярко, как в первую минуту, вспыхнула в ней опять жажда прежнего мщения.

До болезненности раздраженная этой встречей, она быстро шла по направлению к Адмиралтейскому бульвару и, очутившись на нем, бессильно опустилась на зеленую скамейку, будучи уже невмоготу подавлена бесконечным наплывом всех этих дум и ощущений.

Она не помнила, да и не заметила, сколько времени просидела на этой скамейке. Когда же наконец очнулась несколько и огляделась вокруг — на дворе уже вечерело, а рядом с

нею, на другом конце скамейки, равнодушно позевывая и болтая ногами, сидела какая-то аляповато одетая девица из породы ночных бабочек.

Пробуждение из этого оцепенелого забытья осталось в душе Чечевинской чем-то невыразимо горьким, кручинно-жутким и колючим — и бог весть почему стало ей так больно, так тоскливо и грустно, что по щекам ее несдержанно покатились слезы. Но это были слезы мрачные, злые, тяжелые, которые не облегчали души, а только усиливали ее оскорбленную озлобленность.

Эти резко обозначенные и сурово сдвинутые брови, этот угрюмый взор и слезы, катившиеся тихо одна за другой, произвели несколько странное впечатление на аляповатую ночную бабочку. Раза три покосила она в сторону Анны и наконец подвинулась ближе.

— Слышьте, что это вы так плачете?

Анна хотела было уже резко ответить: «А вам какое дело?» — но, вскинув глаза, увидела такую глуповато-добрую физиономию, что на резкость не хватило духу. Княжна почти чутьем поняла, что этот вопрос вызвало ско-

рее участие, чем безразличное любопытство.

— Скверно жить... Со злости плачу... — отрывисто обронила она слово, глядя далеко в сторону.

— Это бывает... — поддержала бабочка. — Со мной тоже вот, как станет на что-нибудь обидно, так я сейчас выпью — и ничего, полегчает!

— Как это «выпью»? — пристально вслушалась Анна.

— А так, обыкновенно, рюмки три-четыре вина простого... Когда сама, когда и кавалеры, случается, угощают.

— Да ведь скверно!

— Скверно-то скверно, зато потом хорошо: все позабудешь!

— Не знаю... не пивала... — молвила в раздумье княжна.

— А вы попробуйте — пречудесно!

— Гм... В другой раз как-нибудь, — со вздохом улыбнулась она бабочке, — теперь не на что — денег нету.

Прошло несколько минут полного молчания.

Анна, подперев ладонями подбородок, со-

средоточенно погрузилась в свои непросветные думы. В сердце все еще бушевала и судорожно грызла его оскорбленная злоба и ненависть.

Ночная бабочка продолжала апатично болтать ногою и по временам искоса взглядывала на свою соседку.

— Послушайте, — наконец заговорила она, снова обратившись к Анне, — хотите, выпьемте-ка вместе?

— Денег нету, — безразлично ответила та, не изменяя позы и глядя все в то же неопределенное, далекое пространство.

— Это ничего, — возразила бабочка, — я вас угощу; будемте знакомы... Я и сама не прочь бы выпить теперь: люблю я это!..

Княжна не давала ни положительного, ни отрицательного ответа и сидела по-прежнему.

— Потом как-нибудь сочтемся: ну, вы меня тоже угостите когда, — продолжала аляповатая особа. — Вы из каких? — повернула она вдруг неожиданным вопросом.

Анна чутко подумала, улыбнулась про себя едва заметной горькой улыбкой и спокойно

ответила:

— Я-то?.. Да как вам сказать?.. Пожалуй, из таких же, как и вы.

— Нет, в сам-деле?

— Да я же вам говорю!

— А!.. Ну, вот и прекрасно!.. Будемте знакомы. Вы где живете?

— Нигде!

— Как же это нигде? Разве можно без фатеры? — изумилась бабочка во всю свою глуповато-широкую, добродушную физиономию. — Я вот у хозяйки живу, — словоохотливо продолжала она, — нас там три девицы живет, по двадцати пяти рублей на месяц платим: тут и фатера, и кушанье, и стирка, и горячее, а остальные деньги, что добудем, — на себя уже. Так как же это вы, миленькая, без фатеры?

— Да так же вот, как видите!

— Хотите идти к нашей хозяйке жить? У нее еще есть одна комнатка свободная; Луиза там жила, только теперь она уехамши с офицером одним — во Псков увез с собой; так комнатку-то хозяйка вам уступит. Хотите, в сам-деле?

Анна закрылась руками в мучительно-тяжелой нравственной борьбе. В эту минуту, казалось, она делала последнее усилие над собою: она ломала себя... наконец переломила.

— Хочу! — было ее твердым, решительным ответом.

— Ну и пречудесно! — подхватила бабочка. — Вместе будем жить, подругами будем... Давайте завсегда под ручку по Невскому ходить.

— Давайте, — согласилась Анна, прикрывая выделанно-беспечной улыбкой то глухое отчаяние и злобу, которые клокотали в ее груди и были готовы прорваться наружу раздирательным воплем. Но — она уже решилась, она уже переломила и похоронила себя. Теперь хотелось ей только поразгульнее справить над собою собственную тризну, панихиду с поминками над прежней княжной Анной Яковлевной Чечевинской.

— А уж как хозяйка-то мне будет благодарна, что я ей новую жилицу предоставила! — довольственно улыбаясь, продолжала меж тем бабочка. — Теперь на радостях таких, пожалуй что, с месяц подождет на мне долгу —

должна я, видите, ей за житье, пристает все; ну и кофию не стала давать... А теперь ничего, помиримся!

Анна снова уселась в озлобленно-мрачном раздумье и, не слушая болтовню своей новой товарки, погрузилась в свои собственные глухие думы.

— Послушайте, — наконец прервала она ее неожиданным словом, — вы хотели угостить меня... Угостите-ка! Я отдам вам потом... Я хочу быть пьяной!

В этих словах ее прозвучала безнадежная решимость мертвого отчаяния. Глухая тоска побуждала скорее залить неисходное горе, а чувство оскорбленной злобы и мстительной ненависти подмывало скорее увидеть самой свое собственное падение.

И в тот же самый вечер она жадно, с каким-то колюче-пронзающим наслаждением исполнила и то и другое..

Княжна Анна стала развратной женщиной. Что делалось в глубине ее разбитой души — того никто и никогда не ведал. Нравственно, как и прежде, это было честное, но

глубоко искалеченное, оскорбленное и озлобленное существо. Фактически — это была развратница по ремеслу, которая с каким-то самодовольствием, с каким-то мстительным горьким наслаждением выставляла напоказ свое падение и не скрывала своего настоящего имени и происхождения.

Она теперь вечно стала чувствовать себя совсем одинокою; любить было некого и нечего, привязаться не к чему, и она мало-помалу вконец привязалась к вину. А в сердце ее, наряду с ненавистью и продолжающимся мщением, неугасимо теплилось единственное теплое чувство. Это было чувство матери. Заочно привязалась она какою-то страстною привязанностью к своему ребенку, к своей дочери, с которой ее разлучили. Это была привязанность к своей светлой, отрадной мечте; и вечным, нескончаемым укором самой себе поставила она теперь свое решение подкинуть ребенка к порогу Шадурских, где так сладко надеялась когда-то видеть свое дитя, хоть издали следить, как оно растет, развивается, и знать его жизнь, его судьбу в этом доме. Она теперь любила по временам баловать

себя несбыточной мечтою о том, что когда-нибудь она узнает, где именно и у кого находится ее дочь, отыщет ее во что бы то ни стало, вырвет ее из чужих рук, возьмет к себе и всецело отдастся своему дитяти, начнет жить только для него и только одним этим чувством. Чем радужнее были эти мечты и чем доверчивее она им отдавалась, тем быстрее наступало для нее горькое разочарование, тем ярче выступала перед ее рассудком вся несбыточность этой мечты и надежды, и тем-то сильнее после подобных минут закипала в душе ее ненависть и жажда непримиримой, беспощадной мести. Тоска подступала адская, и ничего более не оставалось, как только скорее топить ее во хмелю и забываться в разврате. И во всю свою жизнь она не могла отрешиться ни от этой мечты и надежды, ни от этой тоскливой ненависти. И когда какими бы то ни было судьбами доходили до нее слухи о том стыде и скандале, который порождало в большом свете ее поведение, княжна Анна предавалась дьявольски-злобной радости и еще наглее начинала выставлять на позор свое титулованное имя. Она сама так ревност-

но заботилась о возможно большем распространении по городу собственного позора и не упускала ни малейшего случая заявить, что первою причиною его был князь Дмитрий Платонович Шадурский.

Года через два подобной жизни у эксплуатировавшей ее хозяйки княжна Анна по горло запуталась в долгах. Она задолжала уже сотни четыре этой госпоже, которая, увидев ее у себя в полной кабале, стала помыкать ею как тряпкой, обижать и притеснять всяческими способами.

Вскоре на выручку ей подоспела новая сердобольница, из разряда подобных же госпож, которая приняла на себя долг княжны и перевела ее к себе, на новое житье. Анна очутилась в новой и еще более тяжкой кабале. Каждый день, каждая неделя, месяц запутывали ее все больше да сильнее, пока наконец не сделалась она вещью, полной крепостной собственностью своей хозяйки. А время шло себе да шло и беспощадно смывало всю свежесть и красоту ее... Не успело пролететь и трех лет, как прежнюю княжну Анну никто уже не мог узнать по наружности, да и она-то

сама себя не узнавала. И чем больше убывали красота и свежесть, тем ниже и ниже спускалась Анна, с ужасающей, роковой постепенностью переходя из рук в руки от одной хозяйки к другой, пока наконец последняя не согласилась уже держать ее долее у себя, за негодностью пустила на все четыре стороны. Княжна увидела себя круглою нищей, бесприютницей, больной и безобразной. Лета тоже миновали — подступал уже возраст преклонный. Впереди оставалась только Сенная площадь, да больница, да Митрофаньевское кладбище.

Здесь, на Сенной, она перестала уже бравировать именем княжны Чечевинской: проклятая жизнь да тяжелые годы вконец умаяли, уходили ее. Было уже не до того. Кто-то окрестил ее безобразною кличкою Чухи — так она с тех пор и пошла Чухою. Княжна с невыразимою горечью увидела наконец, что жизнь ее потрачена напрасно, что она сама убила ее, добровольно, со злости, избрав себе путь публичного позора, что позор этот все-таки в конце концов не привел к желанной цели: месть оказалась бессильной и недо-

ступной, так как те, кому она думала мстить своим позором, давным-давно позабыли даже и о существовании ее. После такого разочарования наступил период полнейшей и глубокой апатии, в котором нравственная жизнь проявлялась одним только неугасаемым чувством какой-то призрачной, тоскливой любви к дочери. Даже злоба ее поугомонилась, и только одна любовь осталась прочной и неизменной. В трезвом виде Чуха обыкновенно была сдержанна, несколько угрюма и постоянно сосредоточена в себе, зато во хмелю нередко пробивалась у нее прежняя злоба и прежние бравады именем княжны Чечевинской.

В одну из подобных минут на нее случайно натолкнулся граф Каллаш.

XIII

НАЧАЛО ТОГО, ЧТО УЗНАЕТСЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВ РОМАНА

Рассказ о жизни и приключениях сестры был выслушан графом Каллашем с сильным, но сдержанным волнением. Крутое негодование не однажды закипало в его груди и передергивало личные мускулы.

Хотя всю жизнь, до этой минуты, он был совершенно равнодушен к своей сестре и даже не знал, существует ли она на свете, но встреча с нею в образе пьяной Чухи и ее рассказ о своей жизни — все это разбудило в нем чувство родственности, инстинкт крови и беспощадно оскорбило гордость и достоинство прирожденного аристократизма.

«Как!.. Ее, княжну Анну, его родную сестру и дочь князя Якова Чечевинского, эти мерзавцы довели своими поступками до позорной жизни публичной женщины, до пьянства, до безобразия и нищеты... Этого простить им невозможно! Это требует мщения!» — безвозвратно решил граф сам с собою, и это реше-

ние было для него тем более неизменно, что он сам, в глубине души своей, чувствовал себя сильно виноватым перед сестрою.

Но укорливую досаду на самого себя он пристегнул к своей злобе на главного виновника сестрина позора и несчастья и потому решился отплатить вдвойне и во что бы то ни стало. У графа не хватило мужества открытой совести для того, чтобы признать себя виноватым наравне с Шадурским не только перед сестрой, но даже и перед самим собою. Вообще, немногие из людей могут быть способны на решимость открытого и тяжкого обвинения собственной личности, и граф Николай Каллаш был не из их числа. Он был бы скорее склонен извинять себя, смотреть сквозь пальцы на собственный скверный поступок и как бы не замечать его. Но тем-то сильнее и проявлялась в нем склонность утягчать вину другого — вину Шадурского и мстить ему сугубо.

— Ты не вернешься больше на Сенную, — решительным тоном сказал он княжне Анне, — ты останешься здесь, у меня. Пока, до времени, надо будет скрывать тебя, но... Ты

все еще не раздумала мстить ему? Ты хочешь этого?

— Еще бы нет! — сверкнув глазами, энергично вскочила с места старуха. — Только... Бога ради, дочь... Мне бы дочь мою найти!.. Или хоть бы узнать, где она похоронена, если они уморили ее...

Чуха тяжело и горько заплакала.

— Ну, что будет, то будет... Вот тебе рука моя! Если мстить, так уж вместе! И... так или иначе, но ты должна быть, ты *будешь* княгиней *Шадурской*!

И он с открытой решимостью протянул ей правую руку.

XIV

БЕДНЫЙ, НО ЧЕСТНЫЙ МАЙОР, МНОГОЧИСЛЕННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ОБРЕМЕНЕННЫЙ

Опять я веду тебя, мой читатель, в места уже нам знакомые, в самый центр многосуетного города Петербурга, в улицу, называемую Средней Мещанской, в тот неказистый, закоптелый дом грязно-желтого цвета, где всегда неисходно пахло жестяною посудою и слышался непрерывный стук слесарей да кастрюльщиков, — словом, я веду тебя в дом, где обитало много наших знакомцев. Там жил, вплоть до самой смерти, Осип Захарович Морденко; там же обитал и единственный его благоприятель Петр Кузьмич Спица, называвший себя не иначе как «бедным, но честным майором», и по той же самой лестнице, дверь против двери с Петром Кузьмичом, помещалась тайная агентша знаменитой генеральши фон Шпильце Александра Пахомовна Пряхина, известная всем и каждому более под именем Сашеньки-матушки.

Осип Захарович Морденко навеки отошел уже к праотцам, и поэтому не он будет составлять предмет дальнейшего повествования, а его благоприятель Спица и соседка этого благоприятеля Сашенька-матушка.

Мы так давно уже не выводили на сцену бедного, но честного майора, что нет ничего мудреного, если читатель в течение этого рассказа успел и позабыть его фигурку, затерявшуюся в длинной галерее мелькавших перед его глазами имен, лиц и прочего. Это был невысокого роста плотный старичонка, носивший серую военную шинель и солдатски скроенную фуражку с кокардой; «для того чтобы все знали и видели, что я — благородный человек, — пояснял он в надлежащих случаях, — и чтобы каналья солдат дисциплину не забывал». Петр Кузьмич любил, когда встречные солдаты отдавали ему честь, снимая шапки. Вся фигура этого старичонки необыкновенно оживлялась чувством амбиции и самодовольства, которые вполне гармонировали между собой, высказываясь особенно ярко в его надменных свиных глазках и в щеточках-усах, вечно нафабренных и за-

крученных кверху. Голос у него был баритон, с приятным хрипом, такой, какой обыкновенно бывал у ротных командиров, когда они с недосыпу после вчерашнего перепоя являлись ранним утром перед выстроенной во фронт своей ротой. Майор подчас очень любил вспоминать былое время, которое называл «лихим», и при этих рассказах всегда старался держать себя с наибольшей молодцеватостью, закручивал кверху щетинку усов и поводил глазками с сокольей искоркой, которая переходила у него в капельку маслица, если дело начинало касаться разных полечек, жидовочек, хохлушек и татарочек. Майор уже более двадцати пяти лет познал сладкие узы Гименея. Какие причины побудили его оставить карьеру чинов и отличий, он не упоминал, да и притом это случилось так уж давно, что никто его об этом и не спрашивал. Все знали только, что он бедный, но честный майор, многочисленным семейством обремененный. Действительно, семейство его было весьма многочисленно, ибо состояло из членов кровных и приемных, а определенных средств к жизни в том смысле, как обыкно-

венно понимаются «определенные средства», майор не имел: пенсии не получал он ниоткуда, имения ни родового, ни благоприобретенного за ним не числилось, и частной службой, которая давала бы ему жалованье, тоже не пользовался, словом сказать — ниоткуда никаких определенных ресурсов; а между тем майор жил, содержал многочисленное семейство и даже находил возможность кое-когда откладывать копейку на черный денек. Квартиру держал он по состоянию своему довольно обширную, состоявшую из семи комнат, и никогда почти не было у него задержек в платеже хозяину; при всем том профессию, дававшую майору возможность существования, нельзя было называть мазурнически-темной. Да и он бы сам в высшей степени амбициозно оскорбился, если бы кому-нибудь пришла фантазия усомниться в доброкачественности его доходов.

— Я — моему императору майор! Я — штаб-офицер российской службы! Христолюбивое российское воинство идет по пути чести, и я, майор Петр Кузьмин, сын Спица, с этого пути никогда не соступлю-с! — любил

иногда говаривать майор за стаканом приятельского пунша, причем непременно энергически ударял себя кулаком в грудь для пущей убедительности.

Какие же, однако, были средства майора и что за профессию избрал он себе в водовороте петербургской жизни? Средства, конечно, зависели от профессии, а профессия эта сама по себе является настолько курьезною, что мы попросим читателя остановить на ней внимание.

Если бы вы какими-нибудь судьбами попали в квартиру майора, вас непременно поразила бы многочисленность ее обитателей, и в особенности обилие детских голосов. Три комнаты сдавались майором под жильцов, которых впускал он к себе за помесячную плату. У ворот грязно-желтого дома неизменно болталась плохо приклеенная жеваным хлебным мякишем бумажка, на которой каждый мимо идущий, в случае надобности, мог прочесть, что «в доме сем отдаются углы и комнаты, спросить майора Спицу».

Петр Кузьмич предпочитал жильцов, занимающих именно углы, а не комнаты. На та-

ковое предпочтение у него имелись надлежащие резоны, почерпнутые им из многолетнего опыта.

— Один ли человек занимает тебе комнату или пять человек, это мне — все единственно, — говаривал он, поясняя свое предпочтение угловым жильцам, — потому что с одного жильца взять мне двадцать рублей, что с четырех по пяти, итог будет одинаковый. А только если один у тебя снимает да заволочит плату, гляди, за месяц, а не то и за два — вот ты тут поди-ка да потягайся с ним, пока отдаст! А иной раз ничего и не поделаешь: возьмет да и съедет или живет не платя. Получи-ка с него! В полицию жаловаться, так больше подметок исшарыгаешь, ходючи по кварталам. Да и что с него взять? Иной раз и полиция спасует, как навяжется этакая *эгалите-фратерните и либерте*[495]. А впущу я в комнату пять человек, примером, хотя будь они те же самые Голь, Шмоль, Ноль и компания, — мне все-таки менее шансов остаться внакладе. Не заплатит один, не заплатит другой, положим, а трое заплатят — все же десять — пятнадцать целковых у тебя есть в

кармане. Плохого жильца сейчас же и вытуришь, а хороший остается. На место плохого новый поступит, а коли и новый плох окажется, сейчас и его на первый же месяц опять-таки туришь. Ну а хороших попридержишь, всякое им благоволение окажешь, кофейком когда угостишь. Хороший жилец и чувствует тебе это, и старается быть аккуратным. Ну, а из плохих, этта, вытуришь одного, вытуришь и другого, и третьему накладешь по шапке, а четвертый, глядишь, и хорошим окажется. Поэтому пословица недаром же говорит, что свет не без добрых людей, и на наш пай добродетельные души окажутся!

Таким образом, углы трех комнат служили для майора Спицы одним из постоянных его ресурсов. Другой ресурс — сколько ни странным это покажется — составляли дети.

Ребят у майора было очень много, и помещались они в двух комнатах. Майор и его супруга отличались большой плодовитостью, словно над ними благодатно сбывалась древняя заповедь — плодиться, размножаться и населять землю. Редкий год проходил без того, чтобы в семействе его не оказалось прира-

щения, и бедный, но честный майор не сетовал, подобно другим голякам, на судьбу свою, а, напротив того, каждый раз искренно благодарил Создателя своего милостивого за видимое благоволение к его дому.

Петр Кузьмич не довольствовался когортой собственных ребят и поэтому брал к себе на воспитание еще ребят посторонних. В последнем случае он избегал только брать их от таких родителей, которые, отдавая младенца в чужие руки, все-таки желают сами следить за воспитанием и заботливо навещают время от времени плод своего рождения. Он, напротив, подыскивал везде, где мог, бесшабашных матерей такого рода, которые, произведя на свет младенца, ищут только случая, как бы от него поскорее отделаться раз навсегда. В Петербурге на этот сорт матерей никогда нет особенного недостатка, и потому воспитанники составляли чистый клад для предприимчивого майора.

Ребенок, принесенный однажды под гостеприимную кровлю Спицы, становился уже его полной собственностью, которою он мог располагать по своему произволу. Петр Кузь-

мич не пренебрегал и новорожденными, но более старался подыскивать себе младенцев уже годовалых или около этого возраста, и таким образом у него воспитывалось постоянно до десятка, а иногда и более младенцев. Вместе со своей супругой он сортировал их с большой тщательностью, отбирал здоровых от нездоровых и в особенности красивых от некрасивых, ибо подобного разбора требовала самая профессия майора и майорши.

Каждое утро, в начале седьмого часа, перед ранними обеднями, прихожая майора Спицы начинала наполняться разным бабьем в обтрепанных нищенских лохмотьях.

Петр Кузьмич выходил к ним с видом ротного Юпитера и хрипло-веселым голосом приветствовал сбродную братию:

— Здорово, ребята!

— Много лет здравствовать! — ответствовал хор бабенок.

— Что, небось за товаром приперли?

— Вестимое дело! Инак пошто к тебе пойдешь, коли не за товарцем. Отпусти-ка малоденцев-ту!

— Можно, ребята, можно. Ей! Домна Роди-

воновна! — кричал он через дверь своей супруге. — Готовы ли детки?

— В минуту будут готовы! Сею секунтою! Вот только молоком попоить, — ответствовал из детской комнаты резкий голос его благоверной сожительницы.

— Пётра Кузьмич! — надоедливо-нищенским, просительским тоном приступала обыкновенно к нему в это время какая-нибудь бабенка. — Нельзя ли мне уж язвленничка отпустить нониче, а то у всех, что за прошлые разы давал, лицо-то больно чистое, а на чистом лице, сам знаешь, много ли наканючишь!.. Вот Слюняевы-то бабы, из Малковского переулка, как потравили ребят, так не в пример больше теперь выручают; а у вас лица на младенцах чистые, так нам-то оно, супротив малковских, и не вольготно выходит.

— Ну вот! Как же! Стану я для твоего рыла младенцев портить!.. Мне каждый младенец и потом еще, на подростках пригодится! — хорохорился Петр Кузьмич, передразнивая просительницу.

— Да ты мне дай которого с сыпцою, чтобы, значит, сыпца ему личико пупырьем по-

обсыпала. Нечто у тебя нет в золотухе-то? Поди, чай, вдосталь!..

— А хотя и есть, да не про вашу честь, — огрызался майор. — Ты, поди-ка, все за тот же двугривенник норовишь золотушного взять, а я за двугривенник не уступлю. Давай тридцать копеек прокату, ну, так и быть, отпущу подходящего!

— Эва-на тебе, уж и тридцать! Ты, голова, говори дело, а не жми!.. Ведь уж мы у тебя завсягдышние съемщики, уступку-то им можно бы сделать: а то, на-кося вон, тридцать ломишь! Ну где же тебе тридцать?.. Самим, почесть, ничего на хлебушки сиротские не останется... А ты не жми — ты говори толком.

— Чего тебе толком? По товару и цена! Всякий товар в своей цене стоит. Хочешь гладкого, бери, как и всегда, по таксе — ни спуску, ни надбавки с двадцати копеек не будет; а за пупырчатого — вре-ешь!

— Да я б те, пожалуй, и тридцать дала, кабы горлодера был, а то ведь вон онаменесь с Феклушки тоже небось два пятиалтынника слупил да еще сам Христом-Богом божился, что и сыпной, и горлодера хороший, а его за

всю обедню и голосу нечуть было. Хошь бы раз тебе крикнул! То и знай, что, в грудь уткнувшись, дрыхнет себе, да и баста!

— Чего дрыхнет? Ведь я ж говорил тогда Феклушке, чтоб она его пощипывала маленько, а не то — нет-нет да легонько булавкой ткни — так загорланит, что пречудесно!

— Не-ет, ефто все не то! — оппонировала бабенка. — Где там еще булавкой али щипком! Нашей сестре впору тут только руку протягивать. Пока ты его ткнешь, а подаянная копейка, гляди, и мимо ладошек пропархнула! Нам это дело не рука. Нам надо, чтобы младенец сам по себе орал. Поди, чай, не об четырех руках, а об двух ходим... Так что ж, говори, что ль, цену по-божески! Четвертак — уж куда ни шло — дам, а то и младенца не надо!

Таким образом каждое утро в прихожей майора происходили торги и переторжки, повторяясь в течение многих уже лет все с одними и теми же вариациями. Дело кончалось обыкновенно тем, что майор получал половину цены в задаток, а Домна Родивоновна выносила для каждой нанимательницы младен-

ца за младенцем, тщательно обернутых в разное дырявое тряпье, причем неизменно следовал наказ беречь ребят, кормить их да покрепче закутывать, чтобы не простудились.

После вечерен нищенки опять появлялись в той же прихожей, сдавали с рук на руки свой живой товар и вручали за него остальную половину платы.

Так промышлял бедный, но честный майор по преимуществу с теми сбродными младенцами, которых удавалось ему подбирать к себе на воспитание. Своих собственных детей он не любил пускать на этот промысел, потому что был отец нежный и чадолюбивый. Эксплуатация этих последних начиналась не ранее как с трехлетнего возраста.

Я полагаю, что почти всем известно, что у многих из наших камелий проявляется иногда страстишка — казаться в публике «порядочными» женщинами. Многие из них очень любят проехаться по Невскому проспекту, пофигурировать летом в Павловске или на Елагинской стрелке, ведя за руку прелестно разодетого, как куклу, ребенка.

Дети, с которыми показываются обыкно-

венно такие камелии, всегда похожи на маленьких ангельчиков и, конечно, в силу такого сходства, отличаются большой миловидностью.

Спекуляция, производимая Петром Кузьмичом над собственными детьми, касалась именно этого чувства камелий, желающих казаться матерями.

Сам Петр Кузьмич в житейских потребностях своих был очень невзыскателен, не чувствовал ни малейшей потребности в излишней перемене своих костюмов и ограничивался старым халатиком, жениной кацавейкой да отставным военным сюртуком. Благоверная половина его точно так же в домашнем обиходе своем более походила на чумичку, хотя в шкафах ее и хранились весьма хорошие костюмы — про особенный случай. Но, будучи невзыскательными к своей собственной наружности, они очень заботились о наружности детей: мыли, чистили их, завивали волосы в мелкие букли и имели для них весьма большой и разнообразный выбор щегольских костюмчиков.

Приезжает, например, к Петру Кузьмичу

какая-нибудь из камелий. Ее, конечно, принимают очень вежливо, «в зале», роль которой играла одна «чистая» комната из числа остальных семи, которые могли с полной справедливостью назваться грязными.

— Честь имею кланяться, сударыня, — начинал обыкновенно Петр Кузьмич, с ловкостью военного человека выходя к посетительнице. — Чем прикажете служить?

— Мне нужен ребенок, — поясняла камелия, хотя Петр Кузьмич и без этого пояснения отлично знал уже, чего ей нужно.

— Так-с... ребенок-с... Очень хорошо-с! — коротко кланялся майор. — А позвольте узнать, мужеского или женского пола?

— Я бы хотела мальчика.

— Так-с... мальчика... Очень хорошо-с... Можно и мальчика. А в каком возрасте желательно вам? Примерно, эдак, трех, четырех, пяти лет?

— Лет четырех, пожалуй.

— Очень хорошо-с. Имеется и такой. А позвольте узнать... насчет костюмчика? Вам в каком костюмчике желательно получить: в русском, в шотландском или *фантастик*?

— Это все равно... Впрочем, дайте, пожалуй, в шотландском.

— Очень хорошо-с. Можно и эдак... А на много ли времени потребуется?

— Что это?

— Ребеночек-с. На какие то есть часы: утром или вечером и на сколько времени?

— Да так... часов с шести вечера, до десяти... может быть, немного позже.

— Уж, стало быть, так, положим, до одиннадцати. Вероятно, по островам намерены кататься?

— Да, я на пуант поеду!

— Так-с. Этот пуант — самое отличное место!.. Э-э... что называется, *аристократик*. Мальчишечку-то уж потрудитесь вечером сами доставить.

— Хорошо, я завезу. А что это будет стоить?

— Недорого-с, очень недорого-с. Свою собственную цену беру.

— Однако какую же?

— Да всего только пять рублей, пять рублей серебром-с.

— Ой, что вы! Помилуйте! Как это недорого? Напротив, это ужасно дорого!

— Нет-с, как можно!.. Настоящая цена-с пять рублей. Да ведь вы подумайте, ведь я вам за пять-то рублей какого мальчика отпускаю! Прелесть что за мальчонка! Из себя-то выглядит таким амурчиком, да еще как в шотландском костюмчике, так просто — ангельчик! Кто ни встретит на улице, сейчас скажет: «Ах, какое прелестное дитя!» Однажды, я вам доложу, этого самого мальчонку отпущал я Луизе Федоровне, так им очень даже хорошие кавалеры изволили выразить, что дитя это, почитай, аристократического происхождения, и все в очень большом восторге от него остались, потому — мальчик бойкий-с и, можно сказать, даже остроумный. Так вот, извольте рассудить, какого я вам ребенка отпущаю. А не то, извольте лучше сами поглядеть — на выбор, какой понравится, такого и берите. Ей! Домна Родивоновна! — суетливо кричал он в дверь к своей супруге. — Сгоните-ка сюда нашу армию! Вот мадам на них полюбоваться желают!

И вслед за тем, торопливо удалившись из комнаты, Петр Кузьмич лично производил смотр детям: тому утрет нос, тому волосенки

пригладит, третьему рубашонку обдернет, четвертому велит переменить чулки, а пятому наставительно промолвит, чтобы не глядел букой, исподлобья, а больше бы старался улыбаться; и вот минуты через две армия готова и выводится на смотр камелии под предводительством самого полководца-отца.

— Вот-с, мадам, извольте поглядеть сами, какие малюточки! Как на подбор! Истинно могу сказать, как на подбор! Ну, поросята, по ранжиру стройся! Справа — девочки, слева — мальчики! — шутливо-начальственным тоном обращался он к когорте детей. — Выбирайте, мадам! Тут и блондины, и брюнеты, и шантреты, и всякое есть. Товар лицом отпущаю, чтобы вы никакого сумнения против меня не имели.

Сударыня беглым взором осматривает когорту и останавливается на подходящем для себя мальчике.

— Так этого самого прикажете?.. Очень хорошо-с. Я вам доложу — отменный мальчик! Лицом в грязь не ударит, ни себя, ни вас не сконфузит. Хоть с генеральскими детьми поводиться, так и тем на ногу себе наступить не

позволит, потому я первым делом наблюдаю, чтобы в моих детях эта благородная амбиция была; как сам я, сударыня, моему императору майор, в штаб-офицерском ранге числюсь, так уж и желаю вполне, чтобы мои дети достоинство родительского звания соблюдали. В этом уж вы, мадам, будьте благонадежны.

— Ей! Вы! Поросячья армия! Марш по зимним квартирам! — вскрикивал майор на свою когорту, которая опрометью бросалась из комнаты. — А ты, миленький, — примолвил он, гладя по головке избранного ребенка, — ступай к мамаше, скажи, пускай она тебя умоет и причешет. Ты с госпожою кататься поедешь. Да смотри, будь умница. Госпожа тебе конфетку даст, бомбошку купит. Ну, беги же скорей!.. Домна Родивоновна! — следовал непосредственно за сим обычный возглас в дверь к супруге. — Снарядите Мишу поскорее! Достаньте шотландский костюм в полном приборе да вышлите-ка мне его сюда — может, госпожа пожелает предварительно поглядеть на него... И вообще, представьте некоторый ассортимент, потому ежели неравно другое что им понравится, так чтобы можно

было выбор сделать.

Камелия осматривала костюмы, делала выбор, но в конце концов все-таки оставалась при своем убеждении, что пять рублей за два, за три часа катания — цена слишком несообразная.

— Ведь вы же гораздо дешевле отпускали, — настаивала она перед майором, — моя подруга одна в прошлое лето от вас постоянно за три целковых получала, а нынче вдруг пять.

— Ах, сударыня, верьте истинному Богу! — убедительно божился Петр Кузьмич. — Как перед Ним, так и перед вами, по всей правде, как честный офицер говорю вам, меньше этой цены никак невозможно! Точно-с, отпущал я прежде когда-то и по три рубля, да времена-то другие пришли, извольте-ка сами рассудить. Во-первых, сделать такой разнообразный ассортимент костюмчиков — пошить-то их чего-нибудь да стоит! Опять же каждый костюмчик своевременно ремонту требует. Ребенок носит его, ну а костюмчик трется, пачкается, в ветхость приходит, необходимо нужен ремонт. А бельецо-с? А сапо-

жонки? А чулочки? Все это, мадам, примите-ка в расчет, чего оно стоит! Да вот-с тоже, доложу вам, на прошлой неделе таким же манером, как вы вот, приезжает ко мне Берта Ивановна и требует мальчонку. Колиньку, изволили заметить, белокуренький такой, с краю стоял? Брала ребенка вечером на два часа, с семи до девяти-с, а заместо того представила в пятом часу утра. Костюмчик-то был легонький; на островах мальчонку и продуло, так что даже простуду схватил. Да кроме того повезли они его с кавалерами своими к Излеру... А те за ужином возьми мне мальчонку да и обкорми, да пьяным напои-с!.. Приехал домой — животик болит, сам на ногах не держится и целую неделю в постельке пролежал. Доктора пришлось приглашать да лекарство выписывать из аптеки, а доктору-то за визит заплати, и лекарства тоже ведь даром не отпущают. Так вот-с, изволите рассудить, во что это мне стало! Как честный офицер, говорю вам, ей-богу-с, больше десяти рублей самому обошлося! Один только убыток! Чем этаким-то неблагодарным манером поступать, так лучше мне и никакой платы не надо. Чер-

та ли мне в их пяти рублях! Я ведь также, сударыня, отец и сердце родительское имею. Мне своего ребенка жаль, у меня о своем ребенке тоже ведь сердце болит и скорбеет! Так вот, в этаком расчете, извольте-ко принять в соображение, могу ли я вам дешевле пяти рублей отпустить!

После этих аргументов камелия по большей части сдавалась на условия майора и вручала ему деньги вперед, без чего майор никогда не отдавал напрокат *своего* ребенка, заботливо прося при этом поберечь мальчонку, в случае холода — укутывать в плед, а у Излера за ужином не обкармливать, а тем паче — вином не опаивать.

— А быть может, сударыня, кроме того не пожелаете ли иметь при себе и благородную пожилую особу? — любезно предлагал майор своей нанимательнице. — Если угодно, так я могу вам доставить очень солидную и даже очень комильфотную даму, с которой нигде не стыдно вам показаться. Она может и тетеньку, и маменьку вам заменить, и все ж таки с благородной пожилой особой гораздо приличнее.

Иногда камелия соглашалась и на последнее предложение. Тогда Петр Кузьмич приказывал своей Домне Родивоновне поскорее мыться и чесаться. Через полчаса его достойная половина из чумички преображалась в очень нарядную, «благородную, пожилую особу» и в этом виде сопровождала камелию куда лишь той было угодно.

Сбродные воспитанники майора большей частью умирали, не достигнув пяти-шестилетнего возраста. Оно и не мудрено, если принять в соображение ежедневное пребывание их на руках у нищенок под дождем и ветром, под зимней стужей и осенней сырой слякотью. Но майор не печалился много об этом, ибо вполне был уверен, что на его пай всегда найдется достаточное количество новых, при небольшом только старании и хлопотах с его стороны, а иногда даже и без оных. И таковая уверенность майора постоянно оправдывалась. Когда же оставшиеся в живых его сбродные воспитанники, закалившись в такой суровой спартанской школе первоначального воспитания, достигали восьми— или девятилетнего возраста, майор уже находил неудоб-

ным отдавать их напрокат нищим или камелиям (своих собственных он нищим никогда не отдавал, из сбродных же ездили с камелиями только наиболее красивые). К этому времени для них имелась в запасе уже новая профессия. Он отпускал их гулять по городу, преимущественно в районе Гостиного двора, с какою-нибудь дестью почтовой бумаги и пачкой конвертов, либо с карандашами и перьями на руках, либо с грошовыми книжечками духовно-нравственного содержания, и внушал этим питомцам, чтобы они как можно назойливее предлагали свой товар прилично одетым прохожим. Хотя выручка с такого промысла и не могла назваться прибыльною, тем не менее с помощью ее содержание этих детей почти ничего не стоило майору, который иногда, буде наклюнется подходящий случай, небезвыгодно перепродавал воспитанников своих и бродячим комедиантам, а те ломали им члены и суставы, препарируя из них очень ловких уличных акробатов.

Все это так творилось относительно мальчиков и тех из девочек, которые не отлича-

лись особенною миловидностью. Хорошеньких ожидала иная участь. Майор отдавал их в пансион, где находились они наряду с его собственными дочерьми до шестнадцатилетнего возраста.

И сам майор, и его супруга Домна Родивоновна недаром-таки питали дружелюбные чувства к соседке своей, Сашеньке-матушке. С помощью этой свахи им иногда отлично удавалось продавать своих хорошеньких воспитанниц разным любителям человеческой свеженины и даже устраивать их дальнейшую судьбу, определяя иногда на небезвыгодное содержание к какому-нибудь купцу или солидному старичку селадону.

В последнем случае они совершенно искренно и притом даже с гордостью почитали себя истинными благодетелями проданной девушки и внушали ей, что она обязана это чувствовать и денно-нощно благодарить их в сердце своем.

Мы уже сказали, что Петр Кузьмич был отец нежный и чадолюбивый. Поэтому собственных своих дочерей он отнюдь не готовил к подобной же карьере и всегда мечтал

выдать их замуж «самым честным образом». Одна только старшая его дочка пошла по пути воспитанниц; но родитель ее с величайшим сердечным сокрушением потому лишь решился на такой шаг, что предложение со стороны покупателя казалось чересчур уж выгодным для того, чтобы можно было его отринуть.

Таким-то вот образом эта ловкая, своеобразная профессия, которую мы со всей откровенностью раскрыли перед читателем, помогла ему в течение двадцати лет составить очень и очень-таки кругленький капиталец. Майор составил его с благою, даже «благородною» целью. Он готовил приданое к замужеству Спицам женского пола и некоторое посмертное наследие Спицам мужского пола, потому что, опять-таки повторяем, был отец, в полном смысле слова, нежный и чадолюбивый.

XV
ГОЛЬ, ШМОЛЬ, НОЛЬ И К°

Из числа семи комнат майорской квартиры три отдавались под жильцов. Эти жильцы в общей сложности своей и составляли именно то, что Петр Кузьмич весьма характерно окрестил своеобразным названием «Голь, Шмоль, Ноль и К°».

Две комнаты ходили *углами*, и так как майор Спица постоянно весьма заботился о нравственности, то и жильцов своих делил на две половины: мужскую и женскую. Впрочем, будет гораздо вернее, если мы скажем, что он только *старался* делить, неуклонно признавая благотворность такого разделения в принципе. На практике же случалось иногда и так, что вдруг, например, в мужской комнате оказывается свободным один угол, тогда как в женской все сполна занято, а тут, как нарочно, подвертывается нанимательница — не упускать же ее ради отвлеченного принципа! И в этом случае майор очень охотно предлагал ей занять свободный мужской

угол, убеждая, что его жильцы-мужчины — народ вообще очень смирный, скромный и богобоязненный, а для пущего удобства обещал приладить ширмочки. Охотницы на такое предложение иногда наклевывались, а иногда и нет. В первом случае выигрывал майорский карман, во втором — майорская нравственность.

В тот момент, в который застает Петра Кузьмича последовательное течение нашего рассказа, козлища — мужчины — были совершенно отделены от овец — женщин. Мы хотим показать читателю и тех и других, тем более что между козлищами он отыщет двух своих старых знакомцев.

В одном углу нам встречается здесь капитан Закурдайло — «по рождению благородный человек», по убеждениям «киник», а рядом с ним — желтоволосый старичонко, с неподвижными рыбьими глазами, «отпетый, да не похороненный», Пахом Борисович Пряхин. При старости лет своих достойный родитель Сашеньки-матушки возжелал находиться близ своей достойной дочери. В свою собственную квартиру она его не пустила — «по-

тому папенька очень часто в неделикатном виде бывает». Но Пахом Борисович был очень рад и скромному уголку по соседству с нею, ибо здесь для него все-таки гораздо более, чем живучи в другой какой улице, было возможно выпрашивать у нее гривеннички на баньку и парить кишочки чайком грешным.

Остальные два угла занимались личностями, игравшими пассивную и как бы адъютантскую роль при Закурдайле и Пряхине. То были: какой-то вихлявый, прогоревший мещанинишко, некогда торговавший на ларе под Толкучим, да расстрига-дьякон, который сам себе, в виде собственного девиза, давал аттестацию такого рода: «Всегда трезв до дня поднесеньева». А так как поднесеньевы дни случались у него едва ли не ежесуточно, то расстрига, естественно, всегда обретался во образе пьянственном.

Вообще, на четырех квадратных саженях этой комнаты сошелся все народ теплый, козыри одной засаленной колоды.

Капитан Закурдайло имел никогда не покидавшее его свойство вносить повсюду свой собственный цвет и запах. Можно сказать, он

давал инициативу и колорит всему почтенному сборищу четырех углов. Запах табаку и какой-то затхлой кислятины неисходно царствовал в воздухе этой комнаты. На полу, на столе, на подоконниках, на кроватях, на стульях — словом, везде и повсюду была изобильно рассыпана табачная зола. Кое-где стояли рядышком распитые осьмушки, косушки, полуштофы и пивные бутылки. Черепок с ваксой и сапожной щеткой валялся обок с глубокою тарелкой, в которой благоухала кислая капуста, принесенная из мелочной лавочки ради поводочных закусок. Офицерская шинель поверх грязной и рваной сорочки да шестиструнная гитара оставались и теперь, как в оны дни, неизменными спутниками жизни капитана-киника, а на Пахоме Борисовиче Пряхине зрелась и доселе все та же коричневая камлотовая шинелишка да котиковая шапчонка, в которых он уже более пятнадцати лет совершал свои ежедневные прогулки около съезжих домов, для строчения просьб и кляуз, наемного свидетельства во чью бы то ни было пользу и взятия кого бы то ни было на свои поруки.

Все четверо обитателей этой комнаты сплотились в одно нераздельное целое. Они составили себе общую ассоциацию ради довольно курьезного промысла. Капитан Закурдайло продал или, лучше сказать, прожил домишко в Колтовской, доставшийся ему в наследство после смерти старухи Поветиной, и пропил его вскоре по получении. Обладание им он почитал излишним комфортом и суетой, ибо все еще питал блаженное намерение идти в монахи; но дело выходило как-то так, что намерение это изо дня в день откладывалось в длинный ящик. В одном из кабаков сошелся он с отпетым, да непохороненным Пряхиным, и тот, видя в капитане как нельзя более подходящего для себя человека, предложил ему совместное действование в одном небезвыгодном промысле. Вообще, Пахом Борисович, надо отдать ему полную справедливость, отличался большим остроумием насчет изобретения промыслов невинных, но выгодных.

Случилось так, что на второй или третий день их знакомства встретились они в кабаке, носившем, ради приличия, название «во-

дочного магазина», где, в их присутствии, была побита и с позором изгнана в три шеи какая-то небритая личность в чиновничьем вицмундире.

— А?.. Каково вам это покажется?! Благородного человека бьют, благородного человека изгоняют! — прискорбно помахивая головою, обратился Пряхин к Закурдайле. — Боже мой, Боже мой!.. Благородного человека обижают, и благородный человек за себя вступиться не может!

— Ну, нет-с, атанде[496], Липранди! Меня бы не обидели! — многозначительно передвинув плечами, возразил капитан, причем не без самодовольствия отвернул обшлаг рукава и убедительно показал свой массивный жилистый кулак. — Не хотят ли чего послаще, хотя бы вот этого? Пускай-ка бы сунулись! *Жевузанпри, месью, жевузанпри! Муа — сан пер э сан пюдер! Жевузанпри-с!..*[497] Пожалуйте!

— Да-с, вы человек с физикой, — согласился Пряхин, — вам оно легко. А я, например, человек с механикой, хотя телесного сложения сызмальства лишен, однако, доложу вам,

эта самая механика, дважды в моей жизни, очень много меня выручила. Учинил мне, этта, изволите видеть, некоторый дворянин неприятное касательство, то есть в рожу-с... а я, не будь глуп, тотчас же свидетелей — благо, под рукой свидетели-то случились — да в квартал его! Ну, и рад-радехонек дворянчик-то был, что красненькой отделался. А в другой раз при таковом же казусе даже и три синенькие слупил. Это все можно-с, надо только механику знать! — с авторитетно-дошлой и бывалой хитрецой закончил отпетый, да непохороненный.

Капитану Закурдайле очень понравилась механика его знакомца, так что, выразив ему полное свое одобрение, он даже присовокупил, что и сам бы не прочь при случае воспользоваться ею.

— А за чем же дело стало? — находчиво подхватил старичок. — Я вам доложу-с, у меня на этот счет отменная идея проектирована! Можно бы этак составить маленькое общество, человека в три-четыре, не более, да и ходить себе в своей компании по разным публичным местам, на гулянья, в театр и прочее.

При случае, ловким манером, как бы этак невзначай, затеять историйку можно: даму благородную толкнуть, что ли, или на мозоль кому наступить, или плюнуть на благородную персону: плевал, дескать, в сторону, а плевок по нечаянности попал в неподобное место, якобы то есть ветром отнесло. Всеконечно, при таком казусе амбициозный человек свою обидчивость покажет, а ты не уступай. Слово за слово, слово за слово — ну и хвать тебя в рожу! Это очень часто бывает, и притом очень легко-с. Вот и история. А тут сейчас и благородные свидетели, из своих-то, подвернутся: так и так, мол, сами видели, как ни за что ни про что бедного благородного человека оскорбили. Тому бы, примерно сказать, гулять хочется в веселой публике, а тут его, заместо того, в квартал потащат, за бесчестие, по закону, должен будет штраф платить, а не то на мировую полюбовной сделкой пойдет. Тем или иным путем, для компании все-таки выгода; и дивиденд в законном разделе, потому — что такое рожа? Я вас спрашиваю: что такое есть рожа? В сущности, пустяк-с. Дорога честь, а не рожа! В законе установлен

штраф за что? «За бес-чес-ти-е-с». Стало быть, коли рожу бьют, то закон определяет плату за честь, а не за рожу, ибо рожа сама по себе — тьфу! А по чести-то и деньги у тебя в кармане! Так-то-с!

Проект отпетого, да непохороненного как раз пришелся по сердцу капитану Закурдайло. Он с энтузиазмом одобрил его мысль и предложил себя в члены будущей ассоциации, так что благодаря его энергии счастливая мысль Пахома Борисовича была приведена в исполнение скорее даже, чем тот предполагал. Подходящих членов подобрать было нетрудно. Борисыч представил вихлястого мещанинишку, а Закурдайло — расстригу-дьякона, с которым возжался еще и прежде, ибо оба они любили порхать по кабакам и увеселять кабацкую публику концертным пением. Капитан тянул баритона, а расстрига спускал октаву, и кабацкая публика находила, что дуэты их выходят весьма чувствительны.

Общество сформировалось и открыло круг своей деятельности. Ни одно загородное гуляние, ни одна иллюминация, ни один парад

гвардейских войск и праздничный выход из церкви не проходили для него даром. Кто-нибудь из четырех членов непременно изловчался подставить под вескую руку свою физиономию, трое привязывались в качестве свидетелей и затевали неприятную историю, по большей части кончавшуюся мировой сделкой, в результате которой оказывалась синенькая или красненькая бумажка с неизбежным пьянственным загулом.

Почти невероятно, чтобы мог существовать такой странный способ добывания денег, а между тем он существует, и капитан Закурдайло чуть ли не до наших дней является почтенным представителем этого промысла.

— Плюнут тебе в рожу — ну что ж такое! Эка беда! Далеко ли за платком сходить? Вынь да оботрись, и вся недолга! Рожа — тьфу! Своя ведь она, не купленная, а штраф за бесчестие, это — *жевузанпри*! Это нечто существенное-с! *Же сюи аншанте шак фуа*[498], когда мне, эдак, заедут в рождественскую часть. Ты только, друг любезный, влепи мне эдакое произведение немецкой булочной, то есть, по-православному, по-нашему, плюху-с, а уж

там — *же се муа мэм*[499], как внушать тебе достодолжное почтение к капитанскому рангу!

Такова была мораль капитана Закурдайлы, и все члены ассоциации разделяли ее безусловно.

Вторую комнату, как мы уже сказали, занимали женщины. Там обитала какая-то старушенция, из породы салопниц, промышлявшая насчет христарадных подаяний по церковным папертям и ходившая в первых числах каждого месяца к какой-то благодетельнице получать свою скудную пенсию. Между жильцами майорской квартиры существовало прочное убеждение, что старушенция не так бедна, как прикидывается, и что в сберегательной кассе у нее лежит не одна таки сотняга.

Второю жилицею состояла пожилая вдова-чиновница, которая делала папиросные гильзы и клеила аптечные коробочки, доставляя себе этим занятием убогий угол и дневное пропитание.

Обе старухи вечно ворчали и ссорились

друг с дружкой, словно бы все не могли поделить чего-то меж собой, но на такой разлад никто не обращал внимания, так как распри их прекращались сами собой ровно два раза в сутки. И та и другая страстно любили пить кофе, и сколь бы ни ретива была их ссора, перед кофеем непременно наступал мир. Они любили почему-то пить его непременно вместе. Но чуть лишь оказывался распитым усладительный напиток — воркотня и ругань ни с того ни с сего поднимались снова, для того чтобы нестерпимо надоедать третьей злосчастной обитательнице этой трущобы.

То была молодая девушка, лет двадцати трех, очень бедная и очень скромная швея. Она была замечательно некрасива собою — причина, по которой до сих пор еще не нашлось у нее ни одного обожателя. Но швея знала свой недостаток и нисколько не претендовала на отсутствие поклонников. Она работала почти с утра до ночи и с ночи до утра, билась как рыба об лед и добывала себе скудные гроши, лишь бы только заплатить за угол да быть сытой и кое-как одетой; на большее она уже не рассчитывала да и мечтать не

хотела. Непосильная работа изжелтила ее лицо, а бессонные ночи наложили на него глубокие, темные подглазья. То было существование, достойное всякой жалости, которому и молодость не в молодость, и жизнь не в жизнь давалась. Ни звонкого смеху, ни веселой улыбки, ни беззаботной песни, ни светлой затаенной мечты — ничего не было у этой девушки. Взамен этих скудных благ, которые красят собою каждую молодость, судьба уделила на ее долю только одно усердное корпенье над работой, да и работа, вдобавок, оказывалась подчас-таки шибко неблагодарной. Она была белошвейкой и брала заказы из магазинов, где за каждую штуку платили ей от тридцати до семидесяти пяти копеек. Иные из швеек кое-как, с грехом пополам, откапливают себе помаленьку часть заработка, мечтая со временем составить капиталишко в две-три сотни рублишек, чтобы выйти с ними замуж за какого-нибудь писарька или лакея, но Ксёша (ее звали Ксёша) и этого не делала. Не было у нее ни брата, ни родни, ни доброй подруги, и только в каком-то уездном городишке проживала старуха мать с семей-

ством мал мала меньше, для которой работница-дочка ежемесячно посылала весь остаток своего скудного заработка. Чувствовала ли она себя несчастной или нет — про то никто не ведал, так как никто никогда не слыхал от нее ни малейшей жалобы на свою недолю. Это было существо доброе, сосредоточенно-замкнутое в самом себе и вполне одинокое. Ее скорее бы можно было назвать рабочей машиной, чем двадцатитрехлетней девушкой.

Таков был комплект женской берлоги.

Четвертый угол оставался незанятым и гостеприимно ждал себе новую жилицу.

Третью комнату занимал старик немец с двумя дочерьми. Она была меньше двух остальных и ходила за десять рублей в месяц. Ситцевая занавеска делила ее на две половины. В задней помещались две девушки с убогим хламом своих юбок, платьишек и подбитых ветром бурнусишек, а в передней, за бумажными ширмами, ютилась кровать старика отца. Тут царствовали немецкая чистота и порядок, представляя самый разительный

контраст с двумя только что описанными берлогами, но... гнетущая бедность и, словно ржа, разъедающая нищета выглядывали из каждого угла этой комнаты, несмотря на всю ее аккуратность, чистоту и опрятность. У одной стены помещались разбитые древние клавикорды, на которых в отличном порядке громоздились тетради исписанной нотной бумаги, а обок с клавикордами, вдоль ситцевой занавески, прислонился маленький диванчик со столом, покрытым чистой салфеткой. На стене висели скрипка да какая-то старая немецкая гравюра духовного содержания и литографированные портреты Моцарта, Бетховена и Глюка; а на стене противоположной, близ окна, где стоял маленький рабочий столик с письменными принадлежностями, красовалась под стеклом очень тщательно, с каллиграфическим искусством выведенная надпись: «Ora et labora»[500]. Каллиграфическое произведение это было вставлено в рамочку, оклеенную золотым бордюром, который позволял предполагать, что эта рамочка, ровно как и каллиграфия, суть произведения рук самого хозяина этой чистенькой комнатки. На

окне, за кисейными занавесками, стоял горшок пахучего герания, а над ним висела простенькая клетка с голосистой канарейкой.

Таков был внешний вид скромной комнаты, в которой, как мы сказали уже, помещались трое обитателей. Глава населяющего ее семейства назывался Герман Типпнер. Это был высокий, худощавый немец, с лицом бесконечно честным и благочестивым. Реденькая борода и такие же усы да вьющиеся назад волосы давали ему наружность артиста былых времен. Осунувшаяся фигура его всегда казалась несколько согнутой, как бы подавшейся вперед от непосильной ноши, и, бог весть, согнули ли его так лета или многолетнее горе. Он был человек очень тихий и кроткий. Старческий голос его дышал задушевною мягкостью, и в выразительных глазах светилась доброта неизмеримая и грусть бесконечная, особенно в те минуты, когда он разговаривал со своими дочерьми.

Герман Типпнер вдовел уже лет тринадцать и в течение этого времени, каждый год, в день смерти своей доброй жены неизменно посещал ее одинокую могилу, приютившуюся

с белым крестом под двумя тощими березками на немецком Смоленском кладбище. На этой могиле старик просиживал по нескольку часов, погруженный в глубокую, благочестивую задумчивость да в воспоминания о прошлом, которые, вероятно, были для него самыми светлыми и грустно-отрадными. Все счастье и радость его жизни заключались в двух дочерях. Старшую, восемнадцатилетнюю девушку, гибкую и томную блондинку, вполне немецкую красавицу, звали Луизой, а младшая, четырнадцатилетняя Христина, была еще почти ребенок, но ребенок с искрой, которая особенно ярко сверкала в ее живых карих глазках, и это сверкание сопровождалось всегда игриво-грациозной ухваткой движений, напоминавших молодую кошечку. Старик не чаял души в обеих. Старшая напоминала Герману Типпнеру его самого в былые юные годы, а в младшую, казалось, перевоплотилась душа ее покойной матери. Христина еще до сих пор ходила по соседству в маленькую немецкую школу, и старик с большой тщательностью наблюдал за успехами ее учения.

Луиза зарабатывала кой-какие скудные деньжонки переписыванием нот и немецких рукописей, которые иногда добывал для нее приходский пастор.

Если бы можно было кому, в прямом и самом лучшем смысле, дать имя *хороших девушек*, то это именно дочерям Германа Типпнера. По крайней мере сам Герман Типпнер думал не иначе как таким образом. Он ревниво заботился сначала об их воспитании, об их учении, а впоследствии о том, чтобы сделать из них хороших и честных людей.

— Ваша мать была добрая и честная женщина, — не однажды говаривал им старик, лаская у своей груди и ту и другую, — она любила и вас, и меня, да и весь Божий мир она любила, всех людей любила... Ни о ком я не слыхал от нее дурного слова... Она умела любить и прощать. Будьте и вы, мои детки, такие, как она. Я хочу, чтобы вы были добрыми и честными.

Действительно, мысль сделать из обеих девушек добрых и честных женщин была его заветною мечтою, его любимою надеждою. Одно только смущало старика: чувствовал он,

что годы берут свое, что дряхлость и слабость не дремлют и ведут за собою скорую смерть. И порою обдавало его холодным ужасом при мысли, что после этой неумолимой смерти его дети останутся одни-одинешеньки на всем белом свете, без родной души, без доброго совета, без средств и поддержек на жизненном распутии. В такие минуты старик начинал молиться, и смутная надежда на что-то хорошее, вместе с теплой верой в то, что Бог не попустит их свернуться с честного пути, опять на несколько времени живительно поселялась в его сердце.

Жизнь Германа Типпнера могла назваться разбитой. От колыбельных до последних дней своих он пресмыкался в бедности. Был у него тут же, в Петербурге, один близкий и очень богатый родственник, негоциант, обладавший на Васильевском острове огромным домом и даже носивший с Германом одну и ту же фамилию; но богатый не хотел знать бедного, именно потому, что тот беден, а Герман Типпнер был настолько горд и самолюбив, что никогда не позволял себе обратиться к нему за помощью. Все надежды на судьбу до-

черей после своей смерти возлагал он на пастора, на имя которого приготовил даже посмертное письмо, где высказывал молящую надежду на то, что Луиза и Христина не будут покинуты и что пастор, во имя христианского милосердия, пристроит их к какому-нибудь месту, к какому-нибудь честному труду и занятию.

Мы сказали, что жизнь этого старика могла назваться разбитой, и разбила ее не одна только неисходная бедность. Он был музыкант и страстно, до обожания, любил свое искусство, которому посвятил себя чуть ли не с детства и занимался им усидчиво, добросовестно, как только может заниматься истый немец; но злая мачеха-судьба и тут стала ему поперек дороги. Чуть что не самоучкой овладел он двумя инструментами — фортепиано и скрипкою, основательно прошел всю музыкальную теорию, контрапункт и генерал-бас, когда на восемнадцатом году от роду впервые посетило его творческое вдохновение. Он написал сонату, обработал ее отчетливо до последней степени и, не чуя под собою ног от восторга, понес свое детище к музыкальному

издателю. Музыкальный издатель принял его холодно, почти даже сухо, заметив, что первые труды молодых композиторов почти всегда ни к черту не годятся, и обещал как-нибудь на досуге просмотреть его работу, а самому композитору наказал понаведаться недели через три за ответом.

Изо дня в день нетерпеливо ждал Герман окончания назначенного срока и ровно через три недели предстал пред своим судьею. Судья напрямик объявил, что пьеса плоха до последней крайности, что в ней видна только мелкая кропотливость и нет ни на грош того, что зовется вдохновением, талантом, и в заключение посоветовал призаняться лучше каким-нибудь другим, более полезным делом, чем нанизывать ноты подобного вздору.

Разочарование было ужасное. Юный немец, еле волоча ноги, поплелся домой с глухим рыданием в груди, путаницей в голове и отчаянием в сердце. Мечты и надежды его впервые были разбиты. Но прошла неделя, прошла другая — и отчаяние не одолело его до конца. Молодость и вера в свои силы взяли-таки свое. Надежда опять вернулась к

нему — и Типпнер принялся работать над собою еще пуще прежнего.

Кой-как перебиваясь ничтожными уроками да фортепианным бренчанием на чиновничьих вечеринках, просуществовал он три года, а сам в это время все работал да работал, изучая творения великих композиторов и часто подавляя в себе свое собственное вдохновение.

Наконец-таки натура не выдержала, и Герман Типпнер стал снова творить. Но и второе его детище постигла та же самая участь. У двух-трех издателей он встретил полный отказ. Посоветоваться было не с кем. Сам он по натуре своей был настолько робок и скромен, что не дерзнул ни разу явиться за покровительством к какой-нибудь из местных музыкальных знаменитостей, а присяжных издателей самолюбие его не позволяло ему считать истинными ценителями.

Продолжая жить с помощью уроков и вечериночного таперства, он все-таки писал, когда чувствовал прилив вдохновения, и занимался этим делом упорно, настойчиво, отстраняя от себя всякую возможность сомне-

ния в своем таланте и силах. Писал он сонаты и оперетты, для которых сам сочинял слова, создал даже три оратории и несколько месс; пробовал себя и на польках, и на кадрилях; выходили из-под пера его и ретивые мазурки и фантастические вальсы. Но — увы! — всему этому никогда не суждено было увидеть свет Божий. Напечатать все-таки не удавалось ни одной вещицы, и груда музыкальных произведений Германа Типпнера, в отличном порядке, спокойно лежала себе на его рабочей этажерке, доставляя ему время от времени самое невинное удовольствие пересматривать тетрадь за тетрадью и считать их от *opus I* — чуть ли не до бесконечности.

Так это дело продолжалось и до сих пор. Герман Типпнер втайне был озлоблен против всех без исключения музыкальных издателей, в глубине души своей считал себя непризнанным талантом, и такое его убеждение чуть ли не было действительно справедливым. Он настойчиво продолжал веровать в силу своего таланта и время от времени все творил и творил, потому что в этом творчестве была его нравственная жизнь, его духов-

ная потребность. Уже давно отказался он от мысли поведать свету плоды своего гения. Надежда славы казалась приманчивой только до тех пор, пока в груди кипела молодость и жажда жизни. Но отлетело и то и другое, а с этим отлетом угасло и желание известности. Теперь уже Герман Типпнер творил для себя — и только для себя одного. Ему не нужно было ни похвал, ни одобрений, ибо, в сущности, надо было только как-нибудь изливать боль своего сердца.

Это был поэт в душе — поэт по всей своей натуре. Часто, бывало, под вечер, проснувшись от послеобеденного сна, когда на дворе давно уже сгущались сумерки, а фрейлен Луиза из экономии не зажигала свечу, Герман Типпнер снимал со стены свою скрипку и, усевшись в уголок диванчика, начинал фантазировать. Струны под его смычком то ныли и плакали скорбно, то разражались рокотанием страсти и переливами игривого смеха, то дрожали вздохом бесконечной грусти, и любви, и неги, и разливались в тоске беспредельной, как степь туманная, и глубокой, как море, то, наконец, звучали какими-то, если мож-

но так выразиться, готическо-мистическими святыми аккордами религиозного гимна.

Две девушки, затаив дыхание и уютно прижавшись друг к дружке, чутким сердцем ловили эти звуки, сидя тоже в каком-нибудь уголочке.

А сумерки всё гуще и темнее заглядывали в окна и разливали таинственный мрак по комнате... И нужды нет старику, что за стеной идет перебранка двух старух жиличек, а с другой стороны раздается детский визг и песни пьяного Закурдайлы.

Он играл себе, погруженный в полное и отрадное самозабвение, играл, пока игралось, пока душа его просила звуков, пока она досыта не упивалась ими.

Тогда старик с глубоким вздохом оставлял свою скрипку и вешал ее на обычное место. Луиза зажигала свечку, внезапный свет которой, после густых потемок, неприятно резал глаза, как будто возвращая их к печальной действительности из только что покинутого мира грез и фантазий. Старик торопливо натягивал свой старенький потертый сюртук, тихо целовал в лоб своих дочерей и уходил из

дому какой-то грустный, отчасти смущенный и словно бы недовольный чем-то.

И так уже в течение нескольких лет уходил он каждый вечер — уходил даже и тогда, когда чувствовал себя несколько нездоровым, и никакие просьбы дочерей не могли удержать его дома. Он перемогался, насколько хватало сил, и все-таки шел куда-то, возвращаясь домой уже к пяти часам утра, и каждый раз приносил в кармане пятьдесят копеек серебром, которые поутру вручались Лизе на дневные расходы по хозяйству.

Иногда приносил он и несколько больше, даже около рубля, но никогда не меньше полтинника. Куда именно исчезает старик каждый вечер и где проводит большую половину ночи — того никто не ведал: он от всех скрывал это очень тщательно, а от дочерей своих даже более, чем от кого-либо; и если делались ему когда вопросы насчет этих исчезновений, он, по возможности кратче, старался отделаться немногословным объяснением, что ходит, мол, играть на фортепиано по разным вечеринкам. Но многие весьма основательно сомневались в справедливости такого объяс-

нения и, строя разные догадки, иногда попадали и на действительно верные предположения.

Музыкальные уроки, которые давал Типпнер, еще и в молодости его не отличались изобилием, а под старость и вовсе прекратились, так как в Петербурге фортепианными учителями и без Германа Типпнера хоть огород городи; да и на вечериночное таперство развелось очень много конкурентов, которые были моложе и, стало быть, несравненно выносливее его. Гоняться за тем и другим стало уже старику не под силу. Пришлось оставить и учительство, и хождение по вечеринкам. Надо было подумать о чем-нибудь более прочном, вроде постоянного места, что давало бы известные, определенные средства к жизни. Старик долго искал и наконец нашел подходящее.

С этих-то пор и начались его ежевечерние исчезновения.

Он порядился с одною толстою содержательницей одного веселого дома в Фонарном переулке, за пятьдесят копеек в ночь, бренчать кадрили, польки и вальсы ради увеселе-

ния ее многочисленных посетителей. Таким образом, у него было пятнадцать рублей в месяц верного обеспечения. Но при плате двух третей этой суммы за квартиру, конечно, остальные пять рублей оказывались далеко не достаточными на все прочие житейские потребности. Герман Типпнер и тут ухитрился. В начале каждого вечера, садясь за инструмент в зале веселого дома, он клал на развернутый нотный лист несколько серебряной мелочи, а иногда даже и рублевую бумажку — словно бы эти деньги положили ему посетители за его труды. Маленькая хитрость часто приносила удовлетворительные результаты, потому что иные поддавались на эту невинную удочку, и тогда к следующему утру в кармане старика тапера оказывалось несколькими копейками больше положенной платы. Его дочери могли рассчитывать на лишнее блюдо за обедом.

Он исполнял свою обязанность усердно и добросовестно, потому что ничего не умел исполнять иначе. Пятьдесят копеек еженощно доставались ему усталостью, отеком мускулов рук и ломотой пальцев, доходившей под

утро почти до онемения! Но старик помнил, что он зарабатывает кусок хлеба для дочерей, и старался уверить себя, что это все ничего, что это ему дело привычное. А старость и дряхлость брали-таки свое, год от году больше: играть в течение восьми-девяти часов, играть ночью становилось уже куда как трудно! Но Герман Типпнер вспоминал дочерей, покойно спящих теперь за старенькой ситцевой занавеской, и — бодрился.

Его любили почти все молодые обитательницы веселого дома, потому что он был такой тихий, кроткий и ласковый с ними и такой добрый, что никогда не отказывал им сыграть то, что его просили. Да и Герман Типпнер тоже любил их. В антрактах между бренчанием кадрилей и полек, когда сидел он, бывало, за инструментом, откинувшись на спинку своего стула, и глядел на мелькавших перед ним разряженных девушек, в глазах его светилось столько тихой грусти, столько доброго, христианского сострадания и сочувствия к ним, что этот взгляд порою не мог остаться незамечен и непонят ими. Если кто-нибудь из посетителей грубо обращался

с какою-нибудь девушкой, Герман Типпнер, сдерживая в себе закипавшее негодование, с твердой смелостью подходил к нему и, стараясь не обидеть, но тем не менее открыто и решительно заявлял, что обижать бедную девушку нехорошо, нечестно, что у нее нет тут ни отца ни брата и вступиться за нее некому. Такое донкихотство старика тапера большей частью встречало в отпор себе обидные дерзости и насмешки, за которые он платил одним только гордо-презрительным взглядом, и шел на свое место, ибо, в силу условия с толстой хозяйкой, лишен был права заводить какие бы то ни было неприятные истории с посетителями, за что уже и получал от нее неоднократные выговоры; но все-таки никак порою не мог воздержаться от своих донкихотских порывов, потому что натура его непереносно возмущалась всяким оскорблением, наносимым всякому беззащитному существу, а тем более женщине, и одна только боязнь лишиться верного куска хлеба для своих дочерей заставляла его безмолвствовать на дерзости и оскорбления, наносимые ему лично. Обитательницы веселого дома никогда не по-

тешались над ним и не делали ему неприятностей: он умел себя поставить с ними так, что они его любили и даже несколько уважали. Но какою острой тоской ущемлялось его сердце каждый раз, когда в веселом доме появлялась какая-нибудь новая, молодая и еще свежая пансионерка! «Боже мой, Боже мой! — занывала тогда его душа. — Что, если... если и мои дочери... После моей смерти... нужда, молодость, неопытность, голод... Что, если и они!» Из глаз его готовы были течь горькие слезы, а тут надо было разыгрывать веселые канканы да польки.

XVI
ВСЕ УГЛЫ ЗАНЯТЫ

Мы сказали уже, что в женской берлоге майора Спицы один угол, остававшийся свободным, ждал новой жилицы.

Когда после скандала, случившегося в убежище кающихся грешниц, Маша очутилась опять на воле, с тридцатью рублями в кармане, она более светлыми глазами взглянула на свет Божий. Тридцать рублей были для нее теперь очень большие деньги.

— Ты куда думаешь? — спросила ее приютская товарка, разделявшая с нею в данную минуту одинаковую участь.

— А, право, не знаю. Все это так неожиданно... не сообразила пока еще, — пожала плечами Маша. — Думаю работать... Комнату или угол какой надо будет отыскать.

— Хе-хе! Толкуй про ольховую дудку — я тебе буду говорить про березовую! — нагло усмехнулась ее товарка. — Думаешь так-то и проживешь одной работой?

— Как не прожить? — возразила Маша. —

Много ли одной-то мне надо?

— Ни много ни мало, а есть-пить захочешь, тело грешное прикрышки какой попросит. А какая работа твоя будет?

— Мало ли какая! Шить стану...

— А еще что?

— Ну, вот, шить... Чего ж еще больше?

— Эх, кума, в Саксонии ты, видно, не бывала. Все-то оно ладно сложено, да не про нас писано. Не бойсь, брат, вдобавок к работе и Невского пришпекту прихватить придется — это уж не без того!

— Ну что, ворона, ты каркаешь! — поморщилась на нее девушка. — По-твоему уж честно и прожить нельзя?

— Э, девушка, что и честь, коли нечего есть. Честью сыта не будешь.

— Честью не буду, а работой буду.

— Какова работа. Работа работе рознь. А впрочем, что ж, я ничего. Поди попытайся!

— И попытаюсь.

— Ну, а куда ж ты теперь-то?

— Да, говорю тебе, не знаю еще!

— Вот то-то оно и есть! Хочешь, пойдем вместе, поищем заодно фатеру? А не то све-

ду-ка я тебя лучше к одной знакомой моей, Пряхиной, Александре Пахомовне. Она тебе все что хочешь — и фатеру, и работу отыщет. Ну, конешное дело, придется поблагодарить ее рублишкой, другим, а то она все это может, говорю тебе.

— Пожалуй, я не прочь, — подумав, согласилась Маша.

Этот разговор происходил в надворном флигеле Савелия Никаноровича, почти тотчас после того, как обе спасавшиеся девушки получили на руки положенную им сумму. Не медля почти ни минуты, собрались они и отправились в Среднюю Мещанскую.

Сашенька-матушка встретила обеих довольно радушно. Одна была ей уже старая знакомка, другая же оказалась настолько молода и хороша собою, что ловкая агентша генеральши фон Шпильце ради собственных дальновидных целей и не позволила бы себе сделать ей иной прием, высшая вежливость которого заключалась в том, что она не пожалела даже заварить для них кофе.

Раза два или три удалось Маше подметить пристально-пытливые взгляды, которые вре-

мя от времени кидала на нее Александра Пахомовна.

— Что это, гляжу я на вас, и все-то мне сдается, словно бы я вас когда-то видела, — сказала она наконец своей новой знакомке.

— Хм!.. Может быть, — усмехнулась Маша.

— Нет, право, словно бы видела где-то... Лицо ваше очинно мне знакомо... Да постой-ка, постойте! — приложив руку ко лбу, стала припоминать Сашенька-матушка. — Чуть ли я не у генеральши вас видела... Генеральшу фон Шпильце знаете?

Маша вспыхнула и даже невольно как-то сконфузилась.

— Да, знаю, — процедила она сквозь зубы.

— Ну, так и есть! Она вас молодому князю Шадурскому сосватала — так ли я говорю?

Маша потупилась и не знала, что отвечать.

— Ах, молодая барышня, какие вы конфузливые!.. А вы со мной по простоте — я человек открытый. Ну да вот точно: чем больше гляжу на вас, тем больше вспоминаю. Ведь сосватала она вас? Чего скрывать-то! Ведь правда?

— Да, к несчастью, правда, — с глубоким вздохом сожаления прошептала девушка.

— Фью-ю! — нагло присвистнула агент-ша. — Есть о чем сокрушаться! Чего тут? Не один, так другой, не другой, так третий! Было бы болото, а черти найдутся, пословица-то говорится.

Маше стало неловко, отчасти даже скверно, и вообще как-то не по себе после этих бесцеремонных слов.

— Мне не надо ни одного, ни другого, ни третьего, — промолвила она, безразлично глядя в сторону. — Довольно!.. Будет уже с меня бродить этой дорогой!

— Вишь ты, в честности соблюдать себя желает! — с благодушной издевкой подцыкнула, мигнув на нее, бывшая товарка. — Хочет белье там да платья, что ли, шить, да с того, слышь ты, и жить себе думает. Ха-ха-ха!.. Вот простота-то простецкая! Слышь ты, с этого и жить, с работы-то!

Александра Пахомовна пристально посмотрела на Машу испытующим взглядом, по которому можно было заметить, что в голове ее возникают различные планы и соображе-

ния.

— Что ж! — медленно проговорила она, зажигая в зубах папироску. — И это дело хорошее. Коли есть добрая воля — зачем не жить? Я даже, с своей стороны, очинно этим довольна, а коли хотите, могу и работу приискать вам. У меня есть знакомство в разных хороших домах: у полковницы Потлажан, например, у полковницы Крючкиной — вот сиклитарша Цыхина тоже, муж в сенате служит, — все очинно благородные дамы, и от них даже очинно хорошие заказы бывают.

— Да, вот это другое дело, — согласилась Маша, — и если вы мне в этом поможете, скажу вам большое спасибо.

Сашенька-матушка обещала помочь непременно и действительно с большой охотой поусердствовала обеим. Одну пристроила к ее прежним, доприютским занятиям, а другую, за неимением угла у себя самой, поместила напротив, дверь в дверь, в женскую берлогу майора Спицы, где и заняла Маша единственный свободный уголок.

У нее не было ни мебели, ни кровати, ни тюфяка, ни подушки, но предупредительный

майор поспешил заявить, что ничего этого не требуется, так как у него можно получить квартиру со столом и постелью, за что, конечно, взимается особая, хотя очень скромная плата.

— Пять рубликов вы мне заплатите за уголок, — высчитывал он по пальцам своей новой жилице, — три рублика пойдут за кроватку с тюфяком и подушкой, да семь рубликов на харчи. Горячее, уж конечно, ваше, мои только обеды и фрыштыки[501]. Итого, значит, пятнадцать рубликов. Деньги, конечно, вперед, за каждый месяц — уж у меня, извините, такое правило. Но это, доложу вам, дешевле пареной репы-с! — коротко поклонясь, объяснил он в заключение.

Маша, по обыкновению своей кроткой, податливой натуры, и тут не заспорила! Да, впрочем, в самом деле, и спорить было не о чем.

Майор благодаря Сашеньке-матушке взял с новой жилицы безобидную цену, что, впрочем, произошло по особой причине, так как Сашенька-матушка, прежде чем рекомендовать ее в жилицы, не преминула забежать на

минуту в майоровскую спальню и там секретно пошушукаться о чем-то с обоими супругами.

И вот зажила Маша в обществе двух ворчливых старух да работящей швейки.

XVII
ШВЕЯ

Александра Пахомовна Пряхина явилась непрошеной, но очень усердной благодетельницей и заботницей для молодой девушки. Она так заботилась о всех ее нуждах и даже старалась доставить ей кое-какие удовольствия, что Маша решительно не знала, что и подумать, мирясь на том отрадном убеждении, что вот, мол, есть еще на свете истинно добрые, бескорыстно хорошие души. Дня не проходило без того, чтобы не забежала Пахомовна к Маше с приглашением покалякать за чашкой кофе, и во время этих кофейных каляканий она мало-помалу вступила в роль какой-то протектрисы над нею, так что Маша после первых двух недель почти и сама не заметила, как, по гибкости своей натуры, совер-

шенно поддалась этому непрошеному протекторству и влиянию. Александра Пахомовна каким-то зорким оком всегда почему-то умела очень предупредительно угадывать все ее нужды и потребности. Заметила она, что на плечах у Маши всего только и есть одно платьишко, да одна смена белья, да еще плохонький бурнусик с поношенным ковровым платком, и очень любезно предложила справить ей все необходимые вещи на собственный счет, с тем что деньги будут отданы, когда она доставит ей обещанную работу.

Но дни проходили за днями, а работа все как-то не наклевывалась. Ни полковница Потлажан, ни секретарша Цыхина не представляли заказов, на которые была так щедра в своих посулах Сашенька-матушка. Впрочем, она ободряла девушку, поддерживая в ней надежду на скорое получение работы.

Маша не любила ходить неряхой, а Пряхина все посулы свои насчет полковницы и секретарши умела всегда облечь такою правдоподобностью и очевидным вероятием, что молодая девушка не находила никаких причин отказаться от одолжений своей новой па-

тронессы. Появились на ней и два-три новых платьица, и несколько перемен белья, и скромная, но хорошенькая шляпка, с нарядными полусапожками, словом, Маша стала одета, «как и все» — чистенько и очень прилично. Это ее немножко занимало, как и каждую молодую девушку, тем более что, справляя себе все эти вещи, она надеялась заплатить за них своею трудовою копейкою. Сашенька-матушка, надо отдать ей полную справедливость, умела очень ловко обморочить ее надеждою будущих заказов и собственно своей добротой.

Она даже и в театр раза два сводила ее с собою, сводила, конечно, не в литерную ложу, как некогда генеральша фон Шпильце, а в балкон — попроще и подешевле. И это несколько развлекло бедную девушку от всех ее тяжелых дум и ощущений, которые слишком тяжеловесною массою непосильно налегали на нее уже несколько месяцев сряду. Ей просто хотелось отдохнуть, забыться, развлечься немножко, стряхнуть с себя груз, наваленный жизнью, и рассеять кошмар, давивший грудь и голову. Это была просто необхо-

димая нравственная потребность нравственно усталого человека, и она, словно опиумом одурманенная, под влиянием Александры Пахомовны да по призыву своей молодости, поддалась беззаветно этому нравственному влечению к покою и рассеянию, не подозревая, что тут-то для нее и готовится новая паутина.

Почти и не заметила она, как и куда ушли у нее по мелочам остальные пятнадцать рублей, и ушли очень скоро. Менее чем в месяц денег не осталось ни копейки, а тут надо опять за квартиру платить. Сашенька-матушка очень любезно предложила ей занять пока у себя. Маша согласилась и сквиталась таким образом с майором Спицей, а работы все нет да нет, и Сашенька-матушка знай себе остается при прежних разнообразных посулах.

Наконец такое поведение этой патронессы несколько озадачило Машу.

«Тут что-нибудь да не так», — подумала она и решилась искать себе занятий из другого источника.

Подходящим источником в этом случае показалась ей молчаливая швейка Ксёша, к ко-

торой она и обратилась с просьбой, не возьмется ли та порекомендовать ее в какой-нибудь магазин для швейного дела.

— Ну уж, право, не знаю, как вам сказать, — нахмурив брови, ответила Ксёша на ее вопрос, — я сама рада-радехонька, коли и себе-то достану лишнюю работишку; верьте Богу, и на себя-то выручки, почесть, ни на эстолько вот не хватает. А впрочем, может быть, поспрошаю у кого-нибудь, авось и отыщется.

Результат с первых же слов обещал быть мало надежным, а в душу Маши меж тем стали закрадываться разные черные думы, которые еще усилились в ней, после того как Александра Пахомовна позвала ее однажды на чашку кофе, да промеж постороннего разговора стала вдруг мяться, говорить о трудных временах, о стесненном своем положении, и намекать на то, что все люди, мол, смертные и мало ли что может случиться; что кроме смерти и неблагодарность в людях большая бывает, так что забывают они даже и то хорошее, что им сделано в трудные минуты.

Маша сначала не поняла, куда именно она клонит, зато тем неожиданней поразило ее внезапное заключение Пахомовны, к которому разом перешла она после всех этих прелюдий. А заключение состояло в том, что подала она Маше маленький счетец забранным у нее деньгам на вещи и квартиру, по которому девушка оказалась ей должна девяносто шесть рублей и сколько-то копеек. Машу прошиб холодный пот от этой ужасной цифры; однако, признавая справедливость Сашенькиной претензии, она беспрекословно выдала ей на себя расписку, в которую та не забыла включить и достодолжные порядочные проценты.

По неопытности, Маша и не заметила даже, что в расписке не был обозначен срок платежа, что давало Пряхиной возможность самым законнейшим образом требовать с нее уплаты в каждый час, когда лишь той заблагорассудится.

Но в это самое время судьба, словно бы издеваясь над несчастной девушкой, дозволила мелькнуть перед нею слабому лучу надежды на возможность мало-мальски сносного исхода, и этот луч мелькнул и исчез.

Ксёша дала ей случайную работу.

Маша, при своем круглом безденежье, рада-радехонька была и тем двум-трем рублишкам, которые благодаря работе перешли на ее долю. Молчаливой швее удалось откуда-то взять очень большой заказ, но одна она никак не могла с ним управиться и потому приняла в помощницы свою угольную соседку, платя ей уже от себя. Однако на беду той и другой, почти при самом начале этой работы Ксёшу постигло величайшее несчастье. Сколь ничтожной ни покажется иным причина, породившая его, тем не менее оно было несчастием величайшим и, к сожалению, не особенно редким между подобными ей труженицами.

По нечаянности, во время шитья заколола она себе иголкой большой палец правой руки. Наутро сделалась на пальце опухоль, которая к следующему вечеру усилилась, вместе с болью, так что уже лишила швею всякой возможности работать. Прошло еще двое суток, а опухоль не спадает. Ксёша стала лечиться кой-какими домашними средствами, но средства эти не помогли: палец оставался

все в том же положении — ни лучше, ни хуже.

Швейное дело было не особенно привычным занятием для Маши, потому работа и не могла поспевать у нее с такой быстротой, с какой выходила из-под золотых рук Ксёши. Заказчик, видя, что белье его не поспело к сроку, явился лично в Спицыну берлогу, раскричался и разбранился, не желая слушать никаких резонов, заплатил деньги за то, что уже было сделано, а остальное взял недошитым и недокроенным назад.

Из этой ничтожной платы более двух третей досталось на долю Маши.

Ксёша увидела наконец ясно, что если болезнь пальца будет продолжаться таким образом, то в самое короткое время ей придется остаться без дела и, стало быть, без хлеба. Не видя никакого облегчения своей опухоли, она решилась отправиться в больницу.

В больницу, однако, ее не приняли, сказав, что болезнь ее слишком ничтожна. Она пошла в другую, и получила тот же самый ответ. С озлобленной горечью вернулась она домой и почти на последние деньги принесла с

собою из мелочной лавочки стакан уксусу да выпросила у Пахома Борисовича большую щепоть нюхательного табаку. Смешав одно с другим, Ксёша залпом проглотила стакан и, едва успев проговорить: «Теперь примут, теперь уже не откажут!» — закашлялась убийственным, удушающим кашлем. Почти немедленно открылся у нее припадок сильной рвоты, а через час полицейский подчасок поневоле уже привез и сдал в больницу почти бесчувственную девушку.

Маша чувствовала себя много обязанной этой девушке и потому часто навещала ее в больнице, убедив даже принять от нее взаймы половину той суммы, которая пришлась на ее долю за шитье белья. Но Ксёше не суждено было возвратить ей долг. У нее открылась скоротечная чахотка, и через два с небольшим месяца судьба покончила над нею свою трагическую развязку.

От случайного укола пальца сделалась ногтоеда, которую врачи-филантропы не сочли такой серьезной болезнью, чтобы ради ее уделить какой-нибудь швее свободную койку в больничном помещении, не подозревая того,

что в этой койке для нее заключается вопрос хлеба, то есть, другими словами, вопрос жизни или смерти. Не приняли из-за пустой болезни — она хватила стакан уксусу с табаком и получила чахотку. Тогда ее поместили в филантропическую больницу, для того чтобы свезти оттуда на Волковское кладбище.

Сколь ни мелок и ни ничтожен сам по себе этот факт в ряду более крупных житейских явлений, трагическая сторона его от этого не становится менее ужасной. А это именно *факт*, который мы передали кратко, потому что и без больших подробностей для каждого ясна его возмущающая безотрадность.

Но Маше не довелось уже видеть смерть и похороны своей угольной соседки, так как ее самое в это время постигла уже судьба не более отрадного свойства.

XVIII
ЗА РУБИКОН

Едва лишь успел истечь для нее второй месяц житья в Спицыной берлоге, как Домна Родионовна, купно со своим супругом, потребовала немедленно платы за третий. Маша отдала им свои последние четыре рубля и Христом-Богом просила подождать сколько-нибудь остальные одиннадцать. Спицы скорчили кислые гримасы и, ссылаясь на тяжелые свои обстоятельства, согласились — уж так и быть! — отсрочить ей на одну недельку.

Сашенька-матушка в это время, казалось, чаще прежнего стала забегать к своим соседям и дольше шушукаться с ними, по секрету, в их спальне.

В одну из таких забежек Домна Родионовна кликнула туда же и Машу. Недельная отсрочка к этому времени уже прошла. Какой-то чуткий удар в сердце — почти предчувствие — подал Маше весть о том, что в этом призыве заключается для нее нечто ро-

ковое.

— С вами, миленькая моя, Александра Пахомовна говорить желают, — начала ей Домна Родионовна, — они имеют для вас в виду очень лестное предложение.

Маша инстинктивно почувствовала, к чему клонит это начало. Она внутренне крепилась, оправилась и решалась устойчиво ждать, что будет дальше...

— Да что ж, — подхватила Пахомовна, пуская вверх колечки табачного дыма, — Машенька очинно хорошо и сама знает, что я к ней завсегда с самым душевным моим расположением... Слава Тебе Господи, даже и деньгами вспомоществование оказывала. Ни рубашонки, ни платьица на хребте не было, все сама ей справила, по доброте своей, да по христианству, потому — девушка она хорошая, и как я ее понимаю, так она даже завсегда благодарность ко мне за все добро мое чувствует.

— Нда-с! — прищелкнул языком и подмигнул глазом майор, потирая свои загребистые руки. — Чем по углам-то жить, так лучше в атласах да в бархатах погуливать! Разными деликатесами будете питаться да амбре свое

соблюдать. Вы вот там сидите себе, а за вас добрые люди распинаются, хлопочут, да вот и прекрасное дельце вам устроили: карася на удочку поймали, а вам теперь только взять да с удочки снять, да на сковородке изжарить, да в малиновый ротик снесть. Ха-ха-ха!.. Так-то-с, жиличка моя милая, так-то-с!.. Вы вот там и не знаете, а мы вам женишка подыскали.

— Как женишка? — удивленно откликнулась Маша.

— Ну, хоть и не совсем женишка, а знаете... эдак... вроде того. Тех же щей, да жиже влей, чтобы гуще вышло. Хе-хе!.. Понимаете ли эту аллегорию али не понимаете?

— До аллегорий я не охотница, — улыбнулась девушка, — говорите ясней.

— Что ты, мать моя, сиротой-то казанской прикидываешься! — вступилась Сашенька-матушка. — Уж, кажется, и то жуют да в рот кладут, а она, вишь ты, невинность целомудренная, и проглотить не сумеет! Ну, да что там толковать! Расскажу тебе прямо: хочешь идти на содержание? Отменного купца тебе подыскала. Уж так только для тебя его и приберегла, по любви моей, значит, чтобы

ласку ты мою не забывала.

Маша побледнела и досадливо сжала свои ровные зубы.

— Что ж молчишь-то? Аль с радости и языка лишилась? Говори, желаешь или нет, — мазнула ее сваха пальцем под подбородок.

— Нет, уж попробовала я раз этого содержания, — сдержанно и тихо ответила Маша. — Будет с меня! Да и что я вам? Какой с меня вам толк? У вас ведь, Александра Пахомовна, и другая на мое место найдется, а меня уж оставьте, мне и так хорошо.

— Что фордыбачишь-то! Ну что фордыбачишь, говорю тебе! Смех просто слушать! Хорошо ей! Ну что тут хорошего? Хозяева вон Христа ради только на фатере держат да из жалости кормят еще пока, а они ведь не богачи какие, им всякая копейка в счет. Ну, покормят да и перестанут: что ж даром-то держать тебя! А как с квартиры сгонят, куда сунешься?

— Найду куда! Свет не без добрых людей! — махнула рукой девушка.

— Да поди-ка поищи их нынче, добрых-то! Вот тебе добрые люди! — указала Пахомовна

на Спиц и на себя. — Дают тебе добрый совет, а ты нос фуфыришь. Ну скажи мне на милость, к лицу ли тебе эдакие финты финтить? Что ты, в сам-деле, генеральская дочка, что ли? Такая же мещанка, как и прочие. Я вот хоша и чиновничья дочь, а все же в свое время не гнушалась. Ума в тебе, Машка, нету! Правильно тебе говорю, что рассудка ни на капельку!

— Ну уж какой есть, да свой, — буркнула сквозь зубы девушка, похмуро насупив брови.

— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты!.. Скажите пожалуйста, какая листократка! Так-то оно и видно, что свой, на чужой-то счет живучи, дармоедкой непрошеной.

— Что ж вы меня моим углом попрекаете? — гордо вспыхнула девушка. — Я, пожалуй, и очищу его, если потребуют.

— Те-те-те! «Очищу»... Нет, ты сперва деньги уплати за него, а потом очищай-ка.

— Продам что ни на есть, а все-таки заплачу, — возразила Маша.

— Что ж ты продашь-то?.. Ну что продавать тебе? Платьишки да юбчонки твои — так и те-то на мои деньги справила. Ты дума-

ешь, я так тебе и прощу? Нет, девка, у меня ведь расписка твоя; встребую все, до единой копейки встребую! Нешто мне упускать свое? Я человек неимущий!

— Заработаю — отдам; ваши деньги не пропадут за мною.

— Чем заработать?.. Ну что блажные слова по пустякам тараторить! Где ты заработаешь?..

— В Рабочий дом пойду...

— Ха-ха-ха! Скажите пожалуйста!.. Да нет, куда тебе в Рабочий — тебе, при твоем рассудке, в пору бы только в желтый сесть! Слышьте, люди добрые, в Рабочий-то дом!.. Три года будет работать, да и то не выработает, а я жди. Нет, адье[502], мусье. Слава Богу, своего ума еще не потеряла.

— Все, что вы изволите насчет Рабочего дома думать, — вмешался Петр Кузьмич, — так это одна химера-с, и больше ничего. В Рабочий дом, по нонешнему времени, впору только за наказание принимать, а не то что охотников, и для штрафованных иной раз места недостает. Это уж мне досконально известно.

— Да чего вы, в самом деле, — ввернула

словцо Домна Родионовна. — И почище нас, да живут содержанками и еще Господа Бога славословят. Иная бьется как рыба об лед, ищет пристроиться, да найти-то не может, а вам сама фортуна в руки ползет, а вы на попятный! Это уж не резонт! Да вот, к примеру сказать, моя же собственная дочка — не хуже вас будет, на всю стать образованная барышня, и по-французски может, потому как в пансионе обучалась, и папенька ейный — вы сами знаете — майор, в штаб-офицерском ранге состоит, а вот живет же себе, слава Богу, на содержании и не конфузится!

— Нет, уж кажется, лучше с мосту да в воду, чем на такую-то жизнь! — закачав головою, закрыла глаза свои Маша, словно бы от внутреннего ужаса, который вызвало в ней одно лишь представление предполагаемой жизни.

— Что-о! — прищурилась на нее Пахомовна, — с моста да в воду?.. Топиться?.. Нет, девка, погоди! Эдаких поступков честные люди не делают. Ты сначала долг мне заплати, а потом, пожалуй, топись себе хоть с Литейного, хоть с Дворцового, а не то и на Николаевский

поди. Печалиться не станем, коли ты есть дура такая.

Долго еще убеждали они Машу и лаской, и угрозой, но ничего не могли поделать. Честная натура ее устояла на этот раз против угроз и против обольщений. Она все еще ждала себе какого-нибудь исхода. С этой минуты ее оскорбляло и возмущало все в людях, начиная с их «честного» предложения и того тона, которым они говорили с нею, и кончая их взглядами — мало того: кончая самой необходимостью дышать с ними одним воздухом, а это именно была необходимость самая печальная. Это было рабство, из-под которого в данный момент не было никаких сил вырваться. Она задолжала по горло и считала себя вконец уже отданной в их руки. Но все-таки душа рвалась к освобождению. Хуже всего в ее положении было то, что решительно ни к какой работе, кроме шитья, да разве еще службы в качестве горничной девушки, она сама не сознавала себя способной.

Пошла опять беготня по магазинам, и на первый день беготня неудачная.

Обратилась к дворнику, не знает ли тот ка-

кого-нибудь места в горничные. Оказалось, что знает. Маша радостно встрепенулась, ободренная душой, и пошла по его указанию. Место оказалось только что за час перед нею уже занятым. Судьба и жизнь словно бы нарочно ставили ей на каждом шагу капканы да барьеры. Эти неудачи начали уже озлоблять ее, и чем больше их накоплялось, тем сильнее шло озлобление. Наконец, слава Богу, в одном из магазинов была найдена работа. Маша попросила в задаток денег, но ей отказали. Работа была спешная, которую велено кончить в двое суток, а как ее кончишь, коли и свечи-то не на что купить, не говоря уже о нитке да иголке. Она снесла к ростовщику одно из своих платьев и получила пять целковых, из которых три отдала Спицам, а на два купила себе материалу.

Но какую бурю подняла против нее Александра Пахомовна, когда узнала, что та осмелилась заложить платье, пошитое на ее, Пахомовны, деньги! Без дальних церемоний, она отняла у нее все остальные вещи, доказывая очень крикливо, что и по самому закону государскому они должны принадлежать ей,

потому что деньги за них не заплачены.

Сашенька-матушка нашла себя вправе даже зачесть эти вещи в счет процентов, следуемых ей с Маши.

Долго девушка выносила все это молча, почти с нечеловеческим терпением, а душа ее меж тем все более и более переполнялась злобой, и это уж не была какая-нибудь определенная злоба на ту или другую личность — нет, в этом чувстве соединилось теперь для нее озлобление *на все*: и на людей, и на судьбу, и на жизнь, да даже самое-то себя не выключала она из этого общего разряда.

Заказ тем не менее был готов к назначенному сроку. Маша получила два рубля и обещание новой работы — через неделю. Комплект мастериц в магазине был уже полон, так что содержательница его должна была отказать Маше в приеме ее на свои хлеба для постоянной работы. Она могла давать ей только работу экстренную, в случае изобильного скопления заказов, да и то отдавала на свой страх, потому что личность Маши была ей вполне неизвестна. Возможность получения постоянного места мелькала для нее од-

ной только надеждою в будущем, а настоящее между тем становилось все сквернее и сквернее. Спицы настоятельно требовали платы, а так как Маша не могла удовлетворить их требование, то они принялись за стеснительные меры, из которых одна состояла в том, что ей не дали обедать. Девушка чуть ли не на последний гривенник купила в лавке хлеба да ветчины и кое-как, с грехом пополам, оказалась сытой. А назавтра опять-таки нет обеда, да уж и денег нет. Попыталась сходить в магазин и попросить там сколько-нибудь в счет будущей работы. Содержательница отказала, выразив полную готовность платить ей немедленно по исполнении заказа, но никогда вперед, что радикально нарушало бы раз навсегда принятое ею правило. Когда же Маша рассказала свое милое положение, модистка, сжалившись, ущедрилась рублевой бумажкой. Эти деньги девушка рассчитывала продержать возможно большее время; но когда увидела Домна Родионовна, что она опять принесла себе хлеба с ветчиной, Маше немедленно же была выведена ею длинная история, основной смысл которой заключался в

том, что небось на жранье добываешь денег, а платить за квартиру нет, и девушка, лишь бы покончить поскорее эту новую неприятность, решилась отдать пока ей в счет пятьдесят копеек, что составляло после покупки съестных припасов больше половины оставшейся у нее суммы.

Прошла неделя, а новой работы она не получила. Модистка сказала, что надо будет обождать еще денька два или три, и эти-то два-три денька вконец уже порешили судьбу Маши.

Снова просить в счет будущей работы она не решалась. Удержало ее от этого какое-то странное самолюбие, за которое она сама горько пеняла себе, называя его глупым и неуместным; а все-таки хотя и пеняла, да не попросила, несмотря на то что денег уже не было ни гроша. Пришлось проголодать целый день. Под вечер накинула на себя платок и вышла на улицу. Горько и больно стало ей при сознании о необходимости протянуть теперь руку за христарадным подаянием. Но вот идет навстречу благодушного и солидного вида почтенный старичок, и, кажись, из

достаточных.

— Христа ради, — остановила его Маша тихим и сильно дрожащим голосом.

Тот вгляделся изумленным взором в ее наружность, и в особенности в ее пригожее личико.

— Хе-хе-хе!.. Нет, это штучки, это не то!.. Хочешь, пойдем со мною? Гостиница вон, напротив. Я — человек щедрый, не прочь помочь хорошенькой...

Маша плюнула и пошла от него. Она быстро взбежала по лестнице в свою конуру. Больше уж ей не хотелось просить милостыню. А дома ожидал новый сюрприз. Домна Родионовна сняла тюфяк с ее кровати, сказав, что ей самой он теперь понадобился. Маша не возражала и улеглась на голые доски, заложив руки под голову. Отчаяние и злость душили ее, но на ресницах не показалась ни одна облегчающая слезинка. «Утопиться или вниз головой броситься с лестницы?» — опять пришла ей старая, знакомая мысль; но, вспомнив, что на ней лежит еще долг этой ненавистной Пряхиной, которую как там ни презирай, а деньги все-таки надо отдать, по-

тому что брала их и обещала честным словом возвратить при первой возможности. «Пока не будешь квит со всеми — решать с собою нечестно, — сказала сама себе Маша, — да и вопрос, что еще подлее: убить себя или продать себя?»

«Одно другого стоит», — отвечал ей рассудок.

Угольные соседки ее уже давно легли на покой и сладко захрапели на своих кроватях. За стеною тоже раздавался могучим дуэтом богатырский храп Закурдайлы и носовой присвист расстриги-дьякона, а из детской доносился писк проснувшегося ребенка.

Маша не спала. Сон далеко забежал и запрятался от нее в эту длинную ночь. Она лежала навзничь на голых досках своей кровати и злобно смотрела в темноту.

«Господи! Если б уж не проснуться больше на завтрашнее утро! Если бы лечь да и покончить вот так-то навеки! Если бы смерть пришла!»

«Ха-ха! — злобно усмехнулась она сама с собою. — То-то бы всполошились хозяева! То-то проклинать бы стали мое мертвое тело!

Ишь, ведь, подлая, скажут, жила — не платила и издохла как собака, хлопот да расходов наделавши. Поди-ка теперь, тягайся с нею да хорони на свой счет».

«Ах, когда бы не встать, когда бы не проснуться больше!» — сорвался у нее вздох какого-то страстного, порывистого искания смерти, но смерти своей, невольной, естественной.

Смерть не приходила, не приходил и сон, а на дворе уже брезжило утро, и желудок начинало спазматически поводить от голоду.

Когда же наконец проснулись две-три соседки и по всей квартире началось утреннее движение, Маша вскочила со своих досок, вся истомленная и разбитая до страшной ломоты во всех членах, и спешно пошла к Александре Пахомовне.

— Я согласна, — сказала она ей с какой-то злобной решимостью, — вы хотели меня пристроить, ну, вот я вам вся, как есть! Берите меня, пристраивайте куда хотите!

— Да вот как же! Так *он* тебя и стал дожидаться! Поди, чай, другую уже нашел! Ведь вашей сестрой здесь хоть поле засевай! — с не

меньшей злобой возразила Пахомовна. — Было бы не привередничать тогда, как предлагала, а теперь, мать моя, уже поздно. И близок локоть, да не укусишь! Я-то дура, в том моем расчете на тебя, даже наверное обещала ему, и честное слово дала, а вышло, что понадула. Что ж теперь пришла ко мне, когда он из-за тебя, из-за паскуды, изругал меня что ни есть самыми последними словами, которыми не подобает, да в три шеи вытолкал из своей фатеры! Теперь мне и глаз к нему показать нельзя. Куда мне тебя теперь пристраивать? Нешто в публичный дом? Одно только и осталось!

— Ну, в публичный так в публичный! Я и на это согласна... Мне все равно теперь! — с угрюмым отчаянием решительно махнула рукою Маша.

— Да ты это не врешь? — подозрительно смерила ее глазами Пряхина. — Ты, может, это в надсмешку надо мной?

— Не вру... Говорю тебе — согласна! — отрывисто молвила девушка глухим, надсаженным голосом.

Сашенька-матушка ласково усмехнулась.

Если бы скверный паук мог улыбаться, то, наверное, он улыбался бы только этой улыбкой в тот момент, когда накидывается на давно поджидаемую и вконец уже опутанную мушку.

— И давно бы так! — фамильярно хлопнула она по плечу Машу. — Молодец девка! Что дело, то дело! По крайности будешь жить во всяких роскошах, да и мои девяносто шесть рублей не пропадут.

— О, уж их-то я прежде всего отдам! — презрительно скосила на нее девушка свои взоры.

— Да ты, дура, не злись и не гляди так-то на меня. Мне на твою-то злость ровно что наплевать, — нагло подставила ей свою рожу Пахомовна. — Да и денег-то не торопись отдавать. Не бойся, не с тебя получу, хозяйка заплатит. Ты вот, подлая, хоть и злишься, а я ведь, ей-богу, — добродетель, а не баба! Все думаешь только, как бы какое добро человеку сделать, а человек, гляди, за это добро укусить тебя норовит. Видно, на том только свете и дождешься правды да награды!.. Ну да что толковать задаром! Хочешь, что ли, кофейку?

Так садись пей со мною, а дело твое обварганю сегодня же.

XIX
ЦАРЬ ОТ МИРА СЕГО

Есть в мире царь — незримый, неслышимый, но чувствуемый, царь грозный, как едва ли был грозен кто из владык земных. Царь этот стар; годы его считают не десятками и не сотнями, годы его — тысячелетия. Он столь же стар, сколь старо то, что зовут цивилизацией человеческою. Есть предание, что народился он в ту самую ночь, как люди, дотоле дикие, выйдя из лесов своих, сошлись все вкупе и положили краеугольный камень первого человеческого города. Рост этого дитяти подвигался вперед соразмерно с тем, как двигалась вперед и первая цивилизация от первых своих зародышей. Чем больше укреплялась и усиливалась она, тем равномерно росла крепость, и мощь, и злоба этого дитяти. И с тех пор чем дряхлее становился мир, чем древнее и совершеннее цивилизация, тем злее этот грозный владыко, тем лютее и гроз-

нее простирает над миром он свою власть, яко тать в нощи приходящую. Он злой, тиранический деспот, и трудно у него укрыться и спастись. Годы только усиливают его злобную грозу и лютость. Царство его — от мира сего, и пределу царства несть конца. Оно — весь мир, вся вселенная. И если есть еще где-нибудь на земном шаре не завоеванные им уголки, то это разве там, на полюсах, где вечная смерть да стужа — стужа да море, море да снег, где жизнь сказывается только в грохоте холодных волн да в ужасающем треске ломающихся ледяных громад, которые ежечасно меняют свои грандиозные фантастические образы. Словом, незавоеванные углы лежат только там, где царствует другой, еще более древний владыко мира — царица Смерть, куда не ступила еще доселе нога человеческая и куда ей невозможно ступить, зане — то свыше положенный предел, его же не прейдеши. Это тот самый царь, про которого поведало людям откровение патмосского Заточника.

«И стал я на песке морском, — говорит Заточник, — и увидел выходящего из моря зверя с седмью головами и десятью рогами; на

рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. И был он подобен барсу; ноги у него как ноги у медведя, а пасть его как пасть у льва; и дал ему дракон (дьявол) силу свою и престол свой и власть великую. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все, на земле живущие, которых имена не написаны в книге жизни у агнца, закланного от создания мира».

Чертоги свои ставит царь по всем городам мира, но паче всего облюбил он самые обширные гнезда цивилизации человеческой, к которым, как к главным центрам, со всех концов стремятся многолюдные толпы искателей хлеба, жизни, приключений. Центры эти зовут большими городами, и на них-то с особой силой давит проклятый гнет руки этого

грозного владыки.

.....

Будет ли конец его царствию — неведомо. Та же самая цивилизация ведет с ним вековую упорную борьбу, а меж тем порфира грозного царя все-таки всевластно простирается над миром. Эта порфира соткана из гнойной язвы и ужасных болезней. Царь этот — деспот коварный, который умеет быть то мелким и темным, то грандиозным и блестящим, стремясь на весь мир накинуть петлю своего рабства. И эта петля захлестнулась уже крепко. Он гибок, как змей, и льстив, как змей же, соблазнивший праматерь Еву. Девятнадцать веков тому назад, когда тирания его дошла уже до последних пределов, против него составлен был великий заговор — разразилась великая революция. Эта революция была христианство. Оно свергло его с престола, но не свело на эшафот. Царь остался жив, и снова исподволь вступил в борьбу за свое могущество, и снова захватил всю силу и власть свою, и престол свой, и власть великую, и снова дано ему было вести войну со святыми

и победить их, и снова дано ему господствовать над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем; и опять поклонились ему все, на земле живущие. Он горд и надменен и гнусно пресмыкающ в одно и то же время. Он подл и мерзок, как сама мерзость запустения. Его царственные прерогативы — порок, преступление и рабство — рабство самое мелкое, но чуть ли не самое подлое и ужасное из всех рабств, когда-либо существовавших на земле. Это слизкость жабы, ненасытная прожорливость гиены и акулы, смрад вонючего трупа, который смердит еще отвратительнее оттого, что часто бывает обильно спрыснут благоухающею амброю. Его дети — Болезнь и Нечестие. Иуда тоже был его порождением, и сам он — сын ужасной матери, отец его — Дьявол, мать — Нищета. Имя ему — *Разврат*.

XX
ПАНИХИДА ПО ПРЕЖНЕМУ ИМЕНИ

Сашенька-матушка живо обварганила дело Маши, так что утро после следующего дня застало девушку уже в новом положении, в маленькой комнатке об одном окне, под красной шторой. Комната отделялась тонкою перегородкою от другой, подобной же, и достаточно будет описать одну из них, чтобы познакомиться со всеми.

Вдоль стены прислонилась широкая кровать, которая заняла собою более половины этой тесноватой горенки. Против кровати, по другой стороне, — простой комодик, а на комодике — еще более простой, нехитрой работы туалет с небольшим зеркалом, и если прибавить к этому два плетеных стула, то меблировка комнаты будет уже вполне описана, так что мы можем смело перейти к изображению эстетической части ее убранства.

Тут встречают нас какие-нибудь серенькие, дешевые обои, с дешевенькими литографиями по стенам. Эти литографии стоят того,

чтобы несколько остановить на них внимание, так как они составляют общую и характерную принадлежность каждой почти подобной комнатки в Петербурге. Литографии непременно раскрашены и представляют два сорта сюжетов — игривые и сентиментальные, с сильным, однако, преобладанием последнего элемента. К игривым сюжетам относятся, во-первых, изображения каких-нибудь бесцеремонно обнаженных женщин, с надписью: «Купанье — Das Frauenbad», во-вторых, изображения парижских красавиц, в будуарной обстановке, с известной всем стереотипной подписью: «Les Lionnes de Paris»[503].

Вторая категория картинок, отличающихся сентиментальным и даже идиллически-сентиментальным характером, постоянно изображает какой-нибудь нежный поцелуй напудренного и по-бараньи улыбающегося кавалера с напудренной, розовой и тоже улыбающейся по-овечьи дамой, поцелуй непременно под сению древес меж розовых кустов; или же видите вы ослино-грустного кавалера с грустной дамой, пожимающих друг другу руки и о чем-то очень тоскующих.

В первом случае надпись гласит: «Весеннее утро — Frühlings morgen»; во втором: «Осенний вечер — Herbstabend». Засим, как бы ни варьировались все картинки и изображения, украшающие стенки подобных каморок, они в общем характере своем непременно будут подходить к двум означенным категориям.

После украшений настеночных следуют украшения туалетные: скромная баночка помады с надписью: «Lubin à Paris» и еще более скромный флакончик дешевых духов, картинка, отлепленная с конфектной бумажки, да засиженная мухами старая бонбоньерка, коленкоровый розан в горшочке, купленный под вербами, да какая-нибудь фотографическая карточка заветного друга сердца. Этим другом обыкновенно является либо стереотипная личность, сильно смахивающая на галантного купеческого молодца-приказчика, либо какой-нибудь господчик в армейской униформе с эполетами. Если бы вздумалось кому, в разговорчивый час да под добрую руку, порасспросить любую из обладательниц таких портретиков, какую, мол, роль играла изображенная на них личность в ее жизни,

тот непременно услышал бы пошловато-сентиментальную историю с очень обыденным концом. И все эти истории, которые можно услышать целыми тысячами (только пожелай!), как два близнеца, как две бубновые двойки походят одна на другую, словно все они пригнаны по одной мерке, сколочены на одной и той же колодке. Если к пошловато-сентиментальной истории примешивается элемент романтический, то, в большей части случаев, неизменным героем является личность в армейской униформе, и — сколько мог заметить наблюдавший автор — в Петербурге эту роль разыгрывают казацкие юнкера. Не знаю, насколько оно справедливо, по крайней мере обладательницы подобных портретов почему-то указывают на этот род воинства. Романический элемент пошловато-сентиментальной истории обыкновенно весьма немногосложен и заключается в том, что прежде жила, мол, «при своих родителях», а душка офицер сманил «от родителев», увез в Петербург и «оказался изменщиком», то есть бросил. Если же история романическим элементом не отличается, то в ней все-

гда фигурирует купец. Купец и тетенька-продавщица. Особы немецкого и еврейского происхождения, по большей части, никаких подобных приключений не рассказывают, так что истории эти составляют почти исключительную и, уж во всяком случае, никак не отъемлемую принадлежность особ происхождения российского; особы же еврейские и немецкие просто-напросто объявляют, что их привезла какая-нибудь мадам хозяйка aus Riga или aus Reval[504].

* * *

Итак, Маша сделалась обитательницей только что описанной каморки.

Теперь она была уже сыта и казалась спокойною. Непримиримая злоба ее как-то утихомирилась и забилась куда-то далеко, в самый сокровенный уголок сердца, где и спряталась, но не заснула, а только сделалась невидимой. Но тем-то еще сильнее стала теперь она сосать и разрушительно подтачивать грудь молодой девушки.

Проснулась Маша рано, когда еще никто не просыпался в этом доме.

Был час девятый утра.

Она старалась не думать о своем положении, да ей и не хотелось думать. Со вчерашнего дня она считала свой жизненный путь уже пройденным, карьеру конченой и как бы справила сама по себе панихиду. Исход из этого положения ей уже не был виден. Да и на что тут исход, если душой ее овладело полное равнодушие и к себе, и к жизни — равнодушие, впрочем, смешанное в самой затаенной глубине своей с беспощадной озлобленностью на весь мир Божий. Она боролась до последней возможности, боролась сильно и много, и когда увидела, что борьба окончательно невозможна, — ей уже ничего больше не оставалось, как только сознать себя побежденной и покориться своей участи.

В десятом часу утра зашевелились людские существа по разным углам этого дома. Послышались резкие, крикливые и заспанно-осипшие голоса. В одном конце раздавался глухой кашель, в другом — напев «фолишонов». Веселый дом просыпался.

Вскоре мимо Машиной двери протопали торопливо-тяжелые шаги кухарки, сопровождавшиеся дребезжанием блюдечек и чашек, а

минут десять спустя Машу кликнули в залу пить кофе.

Там на первом месте восседала толстая хозяйка, которую все обитательницы веселого дома звали не иначе как «тетенькой» или «мадамой», а напротив ее, с другого конца помещалась не менее толстая ключница-экономка, и эту последнюю, с не меньшим почтением, именовали Каролиной Ивановной.

Маша застала уже в сборе почти всех обитательниц веселого дома. Это были женщины только что с постели, встрепанные, нечесаные, с пухом в волосах, с припухло-заспанными глазами, иные с отекшими лицами, желтые, бледные от истощения, с полустершимися пятнами вчерашних белил и румян, иные в юбках и кофтах, иные без кофт, и ни одной почти в платье. Крепкий запах цикорного кофею мешался с дымом папирос и сигарных окурков. Те же самые звуки «фолишона», резких голосов и какой-то перебранки, которые слышала Маша из своей комнаты, раздавались теперь в зале, в той же силе и в том же самом направлении.

Маша оглядела комнату, оклеенную яр-

ко-красными обоями крупного рисунка, из тех, какие специально приготовляются для трактирных заведений. В простенках висели зеркала, а на окнах — тяжелые подзоры с кисейными занавесками и зеленые коленкоровые шторы, ярко расписанные букетами цветов и изображениями каких-то пейзажей. С потолка спускалась ламповая люстра. Вдоль стен расположились кожаные измятые диваны и такие же стулья, а в одном конце протянулся длинный рояль. Складной обеденный стол вносился сюда только по утрам для кофе да в три часа для общего большого кормления, после чего опять запрятывался в темный чуланчик.

Вся эта обстановка произвела на Машу какое-то брезгливое впечатление, которого она не замечала в себе даже и в Малиннике, даже и в ночлежной Вяземского дома, быть может оттого, что обстановка тех мест являлась для нее чем-то выходящим вон из ряду, чем-то ужасающим и потому поразительным, а здесь, напротив того, все было так обыденно, так пошло, что, по всей справедливости, только и могло вызвать одно лишь это чувство

брезгливости.

«Ничего! Свыкнется, слюбится», — горько улыбнулась про себя девушка, как вдруг в ту самую минуту к ней обратилась толстая хозяйка.

— Как тебя зовут? Марьей, кажется? — вопросительно прищурилась она на новую свою пансионерку.

Та утвердительно кивнула ей головой.

— Хм… Надо будет переменить имя.

— Зачем? Для чего? — удивилась Маша.

— Так, уж обыкновение такое. Это везде так: Марья — нехорошее имя, мужицкое.

— Да у нас уже есть одна Маша, — подхватила экономка, — двум нерезонно быть в одном доме. Мы и то уж не Машей, а Мери ее называем. Все как-то лучше выходит.

— Какое же мне имя, я, право, не знаю! — пожала плечами девушка.

— Надо выбрать какое ни на есть из иностранных, — предложила хозяйка. — Вот, например, Кунигунда очень хорошее имя. Я и сама когда-то Кунигундой была… Розалия тоже недурное… Маргарита… А уж лучше всех Мальвина или Виктория. Которое хочешь? —

спросила она Машу.

— Какое назначите, мне все равно, — опять пожала та плечами.

— Да ты по-французски умеешь? — вмешалась экономка. — Parlez vous français? — спросила она с сильным немецким акцентом.

— Учили когда-то… говорить могу, пожалуй.

— Ну, так надо будет за француженку выдавать, — посоветовалась Каролина с мадамой.

— Das ist wahr; so hab’ich mir’s gedacht[505], — согласилась мадам. — Так вот и прекрасно, — снова обратилась она к Маше, — ты будешь называться Мальвиной. При гостях старайся все больше по-французски… Нравится тебе это имя?

— Пожалуй, — равнодушно отвечала девушка и с горечью подумала: «Вот и от самой себя пришлось отречься… Даже и имя-то старое похоронить… Ну, прощай, Маша, вечная тебе память».

XXI
ВЕСЕЛЫЙ ДОМ

Да не смущается читатель в своем чувстве благопристойности оттого, что автор введет его теперь в дом отверженных и падших, который на официальном языке называется домом терпимости.

Не ради одного лишь удовольствия показывать бесцельно-цинические картины водил я тебя, мой читатель, по разным вертепам человеческой нищеты и порока. Удовольствия в этом, полагаю, нет нимало; и не особенно приятна обязанность писателя, взявшего на себя роль путеводителя по всем этим трущобам. Быть может, я и не взялся бы за нее, если бы не побуждала к тому некоторая надежда на долю возможной пользы, которую, по-настоящему, должно бы принести обществу более близкое знакомство с его собственными сокрытыми язвами и злокачественными наростами. Иначе это было бы никуда не ведущее, бесцельное искусство для искусства.

Но, взявшись однажды за дело, хотелось бы показать его так, как сам воочию видел и понял, и показать в наготе, наиболее возможной.

Нужды нет, что изображение это цинично. Да странно было бы, если б кто-либо вздумал претендовать на приличное изящество такого изображения. Надо помнить одно, это — гангрена нашего общества; а вид гангреновой язвы не может быть привлекателен и эстетичен. Но кто ж не согласится, что если заражен какой-либо член организма и если нужно лечить его, ради пользы общего здоровья, то прежде чем помогать и лечить, необходимо распознать род болезни, ознакомиться с самым видом и характером ее? Мы не беремся врачевать, это уже вне наших сил, и средств, и возможностей. Обстоятельства дали нам только возможность узнать некоторые из язв общественного организма, и единственно лишь в силу высказанных побуждений решились мы раскрыть и показать их тем, которые не видели и не ведали, или напомнить о них тем, которые хотя и видели и ведали, но равнодушно шли себе мимо. Это — почти глав-

ная цель нашего романа. Иначе незачем было бы и писать его.

В длинном ряде эпизодов нашего повествования проходило перед глазами читателя много лиц из известного легиона «отверженных» и «несчастных». Тут были: и вор, и мошенник, и преступник, заключенный в тюрьме, и труженик-работник, и пролетарий-нищий — словом, длинная галерея «голодных и холодных»

Теперь я введу тебя, читатель, в вертеп «падших».

Вглядись поближе, попристальней в этих женщин, ознакомься, насколько возможно, с условиями их существования, с их социальным положением в ряду всех остальных слоев общества. Тогда узнаешь ты, где именно коренится у нас самое ужасное, беспощадное и растлевающее рабство, доводящее женщину до полного уничтожения личности во всех ее человеческих правах и проявлениях, до полного оскотинения, которое уже граничит почти с идиотством. Это рабство хотя и не освящено законом, но существует *из-под ночи*, в темноте, отданное частному произволу, в

руки грязных эксплуататоров живого человеческого мяса.

В отношении падшей женщины самый закон становится в какое-то двусмысленное положение: официально он не утверждает разврата, но допускает, *терпит его*, в смысле неизбежного зла, уступая существенно необходимым требованиям огромных масс населения. Утвердить закон его не может, во имя охраняемого им принципа общественной нравственности. Искоренить его точно так же не может, ибо патентованный разврат, как мы сказали, есть необходимое зло больших центров человеческой жизни и деятельности — зло самой цивилизации, в ее современном положении. Плоха и некрепка *семья* — и потому разврат велик и силен. Когда-нибудь, со временем, оно изменится. Это ненормальность, это болезнь, и потому это *должно* измениться, а пока закон все-таки стоит в каком-то обоюдоостром и двусмысленном положении относительно падших, не давая разврату своей санкции, чего, повторяем, он и не может дать, но допуская и исподволь, из-под руки регулируя его. Регуляция, случается, ча-

сто не достигает цели, остается бессильной, не прошибая темного произвола эксплуататоров, творящегося в келейной темноте гнусных притонов; и от этого в жизни падшей женщины, в ее ничем не обеспеченном, не гарантированном существовании, происходит нестерпимый разлад и тысячи неурядиц, результатом которых является животненное рабство, как нравственное, так и физическое, во всех почти условиях ее социального положения. Еще и еще раз повторяем: это *должно* кончиться, во имя прав личности, во имя души и свободы, во имя человека, созданного по образу и подобию Божьему.

— У тебя только и есть эти два платьишка? — отнеслась хозяйка к Маше, приказав показать ей весь ее наличный гардероб.

— Только и есть, — подтвердила девушка.

— Ну, этого нельзя! Мои барышни чисто ходят и против других такие щеголихи, что нигде не стыдно. Надо и тебе сделать такой же гардероб.

— Не из чего пока, — усмехнулась Маша.

— Не твоя забота: сама сделаю все, что на-

до.

И через два дня после этого она вручила Маше дорогое шелковое и еще более дорогое бархатное платье, бархатный бурнус и золотые сережки.

До появления этих предметов и сама мадам, и экономка обращались с нею очень кротко и дружелюбно; они словно гладили ее по головке и ласково, исподволь заманивали в свои загребистые когти. Та доверчиво поддавалась. Но манера и тон обращения изменились тотчас же, как только хозяйке удалось получить от нее формальную расписку в четырех сотнях рублей, потраченных на покупку нарядов. В документ этот был, кроме того, вписан и прежний Машин долг Александре Пахомовне. Это — обыкновенная система всех подобных мадам и тетенек, чтобы сразу закабалить к себе в полное крепостничество каждую новую и еще неопытную пансионерку. Они почти всегда поставляют условием sine qua non[506] приобретение разного тряпья — «чтобы в людях не стыдно было», непременно навязываются делать на свой счет и потом за каждую вещь выставляют тройные цены. Ес-

ли девушка не хочет подписать расписку, акулы-тетеньки стараются выманить у нее согласие на подпись лаской и разными масленными обещаниями, убеждая, что и все, мол, так делают, что ей не стать быть хуже других и что самый долг ровно ничего не значит, потому что отдавать его придется исподволь, по маленьким частям, хоть в течение нескольких лет. Девушка соглашается — и тогда уже она в капкане. В тех же редких случаях, когда эта метода не удается, ее принуждают к подписи насилием. Жаловаться, хотя бы и было кому, в большей части случаев оказывается совершенно бесполезным, ибо у тетеньки с разными подходящими господами давным-давно заведены, что называется, свои печки-лавочки, на основании шибко действующей пословицы «рука руку моет». Авторитет тетеньки в глазах этих господ неизмеримо выше и важнее авторитета племянницы. Тетенька может обвинить ее прямо в неповиновении, в дерзости, в своеволии — и вследствие такого голословного обвинения, часто подтверждаемого холопкой-ключницей и некоторыми из таких же холопок-племян-

ниц, которые находят выгодным подслуживаться тетеньке, обвиненная без дальних рассуждений попадает прямо-таки в Рабочий дом, а в прежнее, хотя и очень недавнее еще время в придачу к Рабочему дому шли, бывало, и розги.

Только с 1861 года положение подобных женщин сделалось чуточку сноснее. Но сносность эта отчасти гарантирована им только в принципе; de facto же царствует по-прежнему все тот же произвол тетенек.

С первых часов пребывания в веселом доме Маша стала приглядываться к окружающей ее жизни, и в особенности к тем несчастным, с которыми от этих пор приходилось ей делить одинаковую участь.

Между последними довольно ярко выдавались две категории.

К первой принадлежали существа, уже несколько лет вступившие на эту дорогу и потому утратившие все, что мы привыкли разуметь под понятием *женщина*. Это самки какой-то идиотической породы животных, самки забитые, заплеванные, и — даже не развратные. Их нельзя назвать развратными, по-

тому что тот характер, которым проявляется в них этот элемент, носит на себе нечто цинически-скотское, идиотски-безличное и апатически-гадкое. Это не разврат, а ремесло, подчас даже само себя не сознающее. Женщины названной категории — существа вполне безличные, бесхарактерные, лишенные всякой самостоятельности, всякой личной воли и всякого понимания какой-нибудь иной стороны жизни, кроме узкой своей профессии, да и ту-то они не понимают, ибо смотрят на себя (то есть опять-таки смотрят настолько, насколько они способны смотреть) как на вещи, от первого дня своего рождения предназначенные самою природою к отправлению известного промысла. Они не в состоянии даже и представить себе, могло ли бы существовать для них в мире какое-нибудь иное назначение, кроме жизни под покровительством тетеньки, иной закон, кроме ее безграничного произвола, так что кажется сомнительным даже, чувствуют ли они какой-нибудь гнет этих тетенек или же ровно ничего не чувствуют, кроме инстинктов сна да аппетита. Мутная среда, в которой они вращают-

ся, кажется им вполне естественной, нормальной и словно как раз для них по мерке созданной.

Вот что вырабатывает из женщин несколько лет жизни в веселом доме.

Это абсолютное скотское рабство — единственный логический продукт тех социальных условий, которыми окована жизнь падшей женщины в когтях акулы-тетеньки. Тут уже не ищите ничего человеческого и бросьте всякую химерическую надежду на возможность поворота к иному пути, на возврат к лучшему.

Но если женщины этой категории, возмущая в вас все человеческие струны сердца, возбуждают одно только сожаление к себе, то вторая категория необходимо вызывает и сострадание, и сочувствие.

Странное дело — однако же несомненным фактом является то обстоятельство, что к этой второй категории принадлежат исключительно девушки происхождения русского. Несмотря на весь цинизм своего бытия, на всю глубокую грязь своего падения, они еще не утратили в душе своей нескольких иско-

рок чего-то человеческого, даже чего-то женственного. Эта человечность и женственность проявляется у них именно в способности *любить*. Хотя это чувство высказывается вполне своеобразно, но пока оно не угасло в душе, надежда на возврат к лучшему еще не потеряна. Они, точно так же как и первые, по большей части — существа слабые, бесхарактерные, но добрые какой-то беззаветною, детскою добротою. В натуре их есть нечто собачье. Попробуй посторонний человек обидеть такую женщину словом или делом, она сумеет отгрызнуться или подымет такой гам и вой на весь дом, что хоть святых выноси. Тут будет вволю и злости, и слез, и ругани. Но пусть самым оскорбительным образом обидит ее тот, кого она любит и кого называет своим *душенькой*, — она перенесет всё, даже самые жестокие побои, и перенесет с безропотной покорностью привязчивой собаки. Для *душеньки* в ее душе существует одно только чувство, одно побуждение, которое мы называем *всепрощением*. У каждой почти девушки этой последней категории неизбежно есть свой собственный душенька. К самому роду своей

жизни относится она почти индифферентно, понимая его как ремесло, иногда очень тяжелое и печальное, которому, отдавшись однажды, уже надо покоряться всегда, ибо оно дает возможность к существованию, и, стало быть, ничего тут больше не поделаешь. Эти женщины умеют как-то отделить в себе внутреннюю, нравственную сторону своей женственности от внешнего рода жизни. Зачастую встречаешь в них странную двойственность; в одном и том же существе соединяются женщина в хорошем смысле этого слова и публичная развратница. Шесть дней в неделю ведет она свой подневольно-разгульный образ жизни, питаясь нравственно и мечтая о тех пяти-шести часах дня седьмого, которые останутся в ее полном распоряжении и которые она не замедлит отдать своему душеньке. Каждая женщина известного промысла на несколько часов пользуется правом безотчетной отлучки один раз в неделю из дома своей содержательницы. Это составляет для нее истинный праздник, потому что тут ощущается хотя ничтожный, хотя обманчивый призрак воли и самостоятельности. Посидеть в квар-

тире у душеньки, напиться с ним чаю или проехаться на пароходе на какое-нибудь загородное гулянье средней руки — это истинное наслаждение для такой девушки. Она забирает с собой все скудные деньжонки, которые успела сколотить в течение недели, чтобы отдать их в полное распоряжение друга своего сердца; между тем в роль такого друга зачастую попадает большой руки негодяй, который обращает беззаветное чувство девушки в предмет постоянной эксплуатации. Иногда он систематически обирает у нее еженедельно все ее скудные гроши, и та отдает их безропотно, даже бывает рада, что могла сделать приятное своему душеньке; а если случится иной раз, что она не принесет почему-нибудь денег, душенька, без дальних церемоний, возьмет да и прибьет ее и вытурит от себя в шею. Девушка огорчена, обижена, девушка плачет, а через несколько дней, глядишь, просит грамотную подругу написать письмо «своему злодею», в котором выпрашивает у него прощения, и в следующие свободные часы опять-таки является к нему, но только уже не иначе как с деньгами в кармане. Чем объ-

ясните вы себе такое поведение, как не самою настоятельною потребностью любви, потребностью хорошего человеческого чувства, которое само по себе составляет потребность хорошей женской натуры? И эта любовь, при всей странной своеобразности, есть любовь довольно-таки сильная, способная доходить до жертвы последним куском и последней копейкой, до полного самоотвержения. Кто знает этих жалких, но хороших женщин, тот знает очень хорошо, что мы отнюдь не впадаем в идеализацию, говоря о них таким образом. Но среда мало-помалу заедает их вконец. Человеческие стороны сердца год от году притупляются все больше и больше, и вот, глядишь, через несколько лет девушка, когда-то добрая и любящая, перерождается в бессмысленное, забитое животное. Но можно сказать вполне утвердительно, что ни для той, ни для другой категории разврат сам по себе никогда не является целью; он только средство — для одних к веселой, беззаботной жизни и к полнейшему апатичному безделью; для других же — горький кусок хлеба, ибо часто, продавая себя, девушка поддерживает существова-

ние целой семьи, кормит какую-нибудь разбитую параличом старуху мать или отца или воспитывает малолетних сестер да братьев. Но мало кто из посторонних людей знает про это, так как ни одна из них не любит признаваться в причинах, побудивших ее ступить на тяжелое поприще. Они все как будто стыдятся признания в гнусной бедности своего семейства, и если уж выставляют какую-нибудь причину падения, то скорее решаются наклепать на самих себя, говоря, что так им лучше живется, чем сказать горькую правду.

Маша молчала, не высказываясь никому про то, что творится внутри ее сердца, а между тем жизнь в этой среде с каждым днем все более давила на нее своим гнетом. Ей сделалась противна каждая минута их общего существования. Каждое утро она с какою-то тоскою, доходящею до тошноты, томилась ожиданием этой противной, безобразной ночи, когда необходимо будет выставить себя напоказ. Но если ночь казалась страшной, то день был просто противно-гадок. Эти постоянно бродящие перед глазами растрепанные, немытые, полуодетые фигуры, с какой-то ис-

тасканной истомой и апатией во всех своих движениях, с бессмысленными глазами и с такою же вечно бессмысленною, вечно циническою, наглою речью; это собачье валяние их по всем диванам и кроватям с папиросным окурком в зубах, междоусобная брань да ругань да счеты под аккомпанемент громкой протяжной зевоты и какой-нибудь пошлой песенки, — все это казалось ей столь противным, что просто на свет глядеть не хотелось. Неисходная, тупая тоска и гнетущая скука в течение целого дня неподвижно стояли, казалось, в самом воздухе веселого дома. Ни одного живого движения, ни одного живого слова. Одна только пошлость безмерная да истощение гнилой апатии. Это не жизнь, а прозябание, в котором нет ни *вчера*, ни *сегодня*, ни *завтра*, нет никаких интересов, никаких надежд и радостей — словом, ничего, так-таки решительно *ничего* нет, кроме названной уже апатии да пошлости с давящею над ними безмерною пустотою. Безобразный, полусонный день и безобразная, бессонная ночь среди циническихоргий. Существование этих женщин казалось Маше похожим на существова-

ние околевающих полусонных мух, вяло ползающих осенью между стеклами двойной рамы. И эта скучная жизнь порою разнообразилась только какою-нибудь тиранической выходкой деспотки-тетеньки, которая всегда находила себя вправе приступать к собственноручной расправе с неугодившей ей девушкой посредством пощечины или ухвата. Тогда подымался в доме визг и вой — и голос тетеньки, словно кряканье целого утиного стада, всевластно проносился из конца в конец по всем комнатам. Экономка состояла при ней главною наушницей, и довольно было шепнуть ей какую-нибудь сплетню про какое-нибудь неосторожно сказанное, резкое слово насчет тетеньки, чтобы тетенька пустила в ход свои руки, безнаказанно колотя этих несчастных по щекам и, в виде особого наказания, выдерживая виновную по нескольку часов под замком в темном, холодном чуланчике. И такое поведение казалось настолько законным и естественным, и настолько все к нему успели уже привыкнуть, что тетенька решительно ни с чьей стороны не встречала себе даже малейшего протеста. Это было со-

вершенно в порядке вещей, потому что «так везде водится».

Одна только Маша, по непривычке к новости своего положения, испытав однажды на себе тяжесть хозяйкиной руки, вздумала было ответить ей тем же и поплатилась жестоко за свой невоздержный порыв. Тетенька, вместе с экономкою, избили ее в четыре руки, и когда девушка хотела бежать от них, то была удержана силой. Ей представили собственную ее расписку в четырехстах рублях, «заплати — и хоть на все четыре стороны!» Три четверти зарабатываемых ею денег тетенька по праву брала себе, остальною четвертью Маша уплачивала свой долг; но акула умела каким-то ловким манером подводить итоги так, что та всегда оставалась ей должна не менее первоначальной суммы. И Маша наконец поняла, что эта злосчастная расписка есть несокрушимый узаконенный акт ее вечного рабства, кабала на ее личность. Она поняла наконец, что отсюда уже не вырвешься, что исхода нет никакого — и... на всех и все махнула рукой.

У нее еще раньше этого времени начала

побаливать грудь, но девушка не обращала на это никакого внимания, пока наконец, после одной бессонной ночи, откашлянувшись в платок, заметила на нем алые следы свежей крови.

— А!.. чахотка! Наконец-то!.. Слава тебе Господи! — с радостью перекрестилась она. Это была ее первая и самая искренняя радость в веселом доме.

Она решилась скрывать и молчать о своей болезни.

XXII
ПРОМЕЖ ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ

В тот вечер, когда толстая хозяйка в первый раз самолично вывела разодетую и декольтированную Машу в освещенную залу, где уже блыкались из угла в угол столь же декольтированные и разодетые обитательницы веселого дома, девушка неожиданно смутилась и страшно сконфузилась.

Глаза ее нечаянно встретились вдруг с другими глазами, тихими и честными, которые грустно и кротко смотрели на нее из-за рояль-

ного пюпитра.

И вдруг в этих старческих глазах сверкнуло изумление, как словно бы они признали в только что введенной девушке нечто знакомое.

Это были глаза Германа Типпнера.

— Ach! Armes Kind! Und du auch hier!.. Noch ein neuer Tod![507] — с крушащею болью в сердце прошептал старик, не сводя изумленных глаз со смущенно поникшей Машиной головки.

Они оба тотчас же узнали друг друга.

Маше было стыдно перед стариком — старику неловко перед Машей.

Она чутко домекнулась, что это грустно-изумленное выражение во взгляде тапера относится именно к ней; а тот, в свою очередь, точно так же понял, что конфузливое смущение девушки отчасти вызвано неожиданною встречею с его глазами! Поэтому оба они в течение целого вечера старались как-то не замечать друг друга.

И тотчас же мягкую душу Типпнера начали разбирать разные смущающие сомнения — как бы, мол, через болтовню этой Ма-

ши не дошел от кого-нибудь до его дочерей слух о том, что он, Типпнер, зарабатывает им кусок хлеба ремеслом тапера в веселом доме. Он это так тщательно скрывал, так сердечно хотелось ему, чтобы дочери никогда не узнали о самом поприще его ремесла. Потом стали смущать и еще более горькие думы, когда вспомнилось, что эта самая Маша жила в Спицыном углу такою скромною, честною девушкой. Он знал, как упорно и настойчиво искала она себе работы, как целые ночи проводила над шитьем заказанного белья, как, не далее нескольких суток до этого вечера, отказалась от выгодного предложения Сашеньки-матушки (Домна Родионовна обо всем болтала вслух в своей квартире, не стесняясь ничьим присутствием), и где же вдруг очутилась эта самая Маша!.. И промелькнули в голове старика два яркие образа его собственных дочерей, промелькнули, разодетые и декольтированные точно так же, как и эта Маша, и в этой самой освещенной зале, и он, как дикая лошадь, тряхнул своею седокудрою гривой, словно хотел отогнать эту черную, непрошеную мысль, которая железным мо-

лотком стиснула его сердце.

«Это все соседка!.. Alles diese Priachina! Das ist alles ihr Werk»[508], — безошибочно угадал старик, невольно как-то ощущая в душе омерзение и презрительную ненависть к этой женщине.

И с тех пор каждый вечер и каждую ночь встречался он с Машей в этой зале; но ни тот ни другая не решались подойти друг к другу и перекинуться словом. Обоим казалось оно почему-то неловким, хотя Маша и понимала каким-то инстинктом, что если кто и может во всем веселом доме отнестись к ней на сколько-нибудь сочувственно, то разве один только тапер Герман Типпнер. Оно так и было в сущности, а между тем оба продолжали чуждаться друг друга, как будто два совершенно посторонних, незнакомых человека.

XXIII
ЛИСЬИ РЕЧИ, ДА ВОЛЧЬИ ЗУБЫ

Спустя два-три месяца стали замечать обитатели веселого дома, что старому таперу день ото дня становится не по себе, что кряхтит старик и силится перемочь какой-то недуг, донимающий его дряхлое тело. И как-то странно, в самом деле, было видеть эту высокую, худощавую фигуру, с бледным, болезненным лицом, среди залы веселого дома, за рояльным пюпитром. Теперь уже, в минуты антрактов, старик не откидывался на спинку стула и не глядел, сложив на груди руки, своим добрым и грустно-тихим взором на мелькавшие перед его глазами пары. Теперь он как-то ежился и корчился от лихорадочной дрожи, которую старался по возможности скрыть перед посторонними глазами, и в изнеможении опускал на грудь свою голову с бессильно закрытыми веками. На этом лице были написаны болезнь и внутреннее страдание. Когда подходили к нему с изъявлением желания польки или кадрили, старик, очнув-

шись от забытья, болезненно вздрагивал и худощаво-длинными, дрожащими и холодными пальцами начинал разыгрывать веселый танец.

А под утро придет, бывало, Типпнер домой и, боясь скрипнуть дверью, чтобы не разбудить дочерей, на цыпочках прокрадывается в свою комнату. Тихо разденется себе и ляжет и лихорадочно дрогнет под тощенькой байкой, задерживая невольно вырывавшиеся стоны, лишь бы не потревожить сна девушек и, главное, лишь бы не догадались они о его болезни.

Но недуг отца не скрылся от проницательных взглядов дочерей. Луиза ясно видела, что с ним в последнее время творится что-то нехорошее и наконец убедила его своими неотступными просьбами сходить вместе с нею к доктору за советом. Доктор спросил о роде его жизни. Луиза не скрыла, что он очень мало имеет сна и покоя, уходя каждую ночь играть на фортепиано, причем старик поспешил добавить: «То есть на балы и на вечеринки к чиновникам». Сын эскулапа нашел, что болезнь его является именно след-

ствием такого рода жизни, и, назначив какое-то лекарство, предписал главнейшим образом покой и правильную жизнь, советуя хоть на время оставить игру на вечеринках.

— Ну, это он врет! — с неудовольствием пробурчал старик, выйдя с дочерью из докторской квартиры, — преувеличивает все! Es ist noch nicht so schlimm[509]. Просто простудился немножко... Это пройдет, а бессонные ночи мне в привычку! Nicht das ist die Ursache![510]

И в тот же самый вечер, несмотря на слезную просьбу дочерей, он снова ушел в веселый дом, потому что иначе на завтрашний день пришлось бы сидеть без дров и без обеда.

Герман Типпнер в глубине души своей вполне соглашался с доктором, но видел всю трагически роковую невозможность исполнить данное ему предписание, ибо в его промысле на первый план выступал все тот же проклятый вопрос хлеба для трех голодных желудков.

В этот вечер Луиза, тщательно укутав шею старика гарусным шарфом, с горькими слеза-

ми на глазах, проводила его до двери.

Сашенька-матушка, сидевшая в это время у Домны Родионовны, заметила слезы девушки.

— Мамзель Луиза, о чем вы это? — участливо загородила она ей дорогу, ставши в дверях, когда та возвращалась из кухни в свою комнату.

— Ах, уж не спрашивайте! — утирая глаза, кручинно проговорила девушка. — Опять ушел вот!.. Доктор запретил... совсем болен ведь... Ни слезы, ни просьбы не удержали!..

Пряхина, с сожалением поцмокав языком, сочувственно покачала головою.

— Да скажите вы мне на милость, куда же это он все ходит-то? — спросила она. — Ведь каждый вечер в аккурат не бывает дома.

— Играет, деньги зарабатывает. Да, Господи! Я бы... я не знаю, на что бы решилась, лишь бы только избавить его от этого! — с сильным душевным порывом прорыдала Луиза. — Ведь у меня все сердце за него выболело!.. Ведь он никаких резонов слушать не хочет!

— Ну, полно, милая вы моя, не плачьте! —

нежно дотронулась до ее плеча Пахомовна. — Слезами горю не поможешь, а надо бы и в сам-деле взяться за ум вам да подумать хорошенько, нельзя ли старичку облегченье какое сделать? Ведь и в сам-деле, дряхлый он человек, и без того не сегодня-завтра, гляди, помрет, а эдакая жисть ничего что окромя одной болезни не прибавит. Вам бы, голубушка, как есть вы хорошая дочка, понежить да похолить его старость, а то что и в сам-деле мается, мается бедняк, словно батрак какой. Ведь он — родитель очень до вас нежный и человек-то взаправду хороший. Пожалеть-то его дочерям бы и Бог велел.

Эти речи тысячью острых булавок кололи сердце молодой девушки. Она чувствовала правдивый укор в словах Пахомовны, которая только, казалось, будто брешет себе словно невзначай, по простоте да по доброте сердечной, сдуру.

Девушка села на стул и продолжала тихо плакать.

— Послушайте, — опять-таки дотронулась до ее плеча Сашенька-матушка, — нечего плакать-то задаром! Пойдемте-ка лучше ко мне,

я вас чайком попою, да потолкуем-ка. Авось вдвоем что-нибудь и придумаем! Право, так! Уж положитесь на меня — я человек хороший и одну только жалость к вам чувствую. Я ведь все понимаю, каково оно вам легко. Я хоть и посторонний человек, а у меня, знаете ли, вчуже сердце болит, так вам-то оно и подавно.

Удрученная своей печалью, девушка поддалась на эту лисью доброту и сочувствие и пошла пить чай к Пахомовне.

Долго говорила Сашенька-матушка на эту самую тему, и чем дольше лился поток ее сочувственных речей, тем больше терзали эти речи сердце Луизы.

— Боже мой, да что же делать тут? — воскликнула она наконец, кручинно заломав свои пальцы. — Если бы я только могла помочь, спасти его?.. Я вот переписываю и ноты, и рукописи, да все это так ничтожно. Много ли заработаешь на этом! А тут есть ведь нечего! Если бы кто-нибудь помог мне найти такую работу, которая дала бы хоть тридцать рублей в месяц — о Господи! — да я была бы самая счастливая на свете! Милая, голубушка,

Александра Пахомовна, — стремительно бросилась она к Сашеньке-матушке, — присоветуйте, помогите мне — вы такая добрая!

— Ах, мамзель Луиза, об этом деле толковать — так уж надо толковать прямо! Что тут попусту отводить глаза себе в сторону! Как уж ты там отводи не отводи, а дело дрянь выходит. Ты больше отводишь, а оно себе все хуже да хуже. Так ли я говорю?

Та со вздохом печально покачала головой, чувствуя горькую истину последнего замечания.

— Шутка ли сказать, найти работу на тридцать рублей! — продолжала меж тем Пахомовна. — Таких работ у нас здесь, почесть, и не водится. Знаю ведь уж я свет-то этот анафемский, знаю отлично, слава те Господи, поблыкалась вдосталь по миру — всего-то нагляделась да наглоталась вволю! Так уж в этом вы мне, голубушка, поверьте; морочить вас задаром не стану, а как собственно любя вас да жалеючи, так и говорю вам по правде по истинной. Бывала я и в генеральских, и в графских даже домах, и доподлинно могу вам доложить — никогда вы такой подходящей

работы не отыщете. Да и какая работа! Шить станете — ну, при особливой удаче, пятнадцать — двадцать целковых, подлинно, нашьешь себе в месяц. В гувернантки пойти — так даже очинно благородные девицы и генеральские дочки даже по десяти да по пятнадцати рублей на месяц ходят, а окромя этого и работы нет никакой.

Развивая далее эту тему и уснащая ее убедительно поучительными примерами, Сашенька-матушка систематически довела несчастную Луизу до сознания полной безысходности своего положения. Достичь этого было тем более легко, что девушка и без того уже находилась в экзальтированно-горестном состоянии, которое помогло ей с большей живостью и впечатлительностью принимать все слова и доводы ее собеседницы.

— Уж скольких-то я этих благородных девиц знавала, — вспоминая, качала головою Александра Пахомовна, — вот что в гувернантках-то живут. У которой сестренки да братишки сидят на шее, у которой отец — пьянчужка несообразный, у которой семейство благородное в нищете содержится. Бьет-

ся, бьется она, бедняга, как рыба об лед, и все, гляди, из-под беды выбиться не может... Ну, побьется таково-то да и махнет рукою: «Была не была! Пропадай, мол, моя молодость! Что, мол, тут соблюдать себя, коли жрать нечего!» Да так-то вот и не одна через эфто самое на содержание попадет, а иная и совсем потаскушкой становится.

— Господи, да что ж это такое! — всплеснув руками, откинулась на спинку дивана девушка.

— А то, моя милая, что нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Да и что ж тут такое? Диви бы не соблюла она себя из-за роскошев каких, диви бы из-за того только, чтобы в бархатах шататься — ну, тогда бы оно точно, что и от Бога грех, и от людей стыдно. А коли ты из нужды пошла на экое дело, чтобы семейству своему помочь, так это, милая девушка, скажу я тебе, даже доброе дело, потому и в законе так сказано, что помогать неимущим одна суть добродетель. В этом дурного нет, это и Бог простит, да и люди не осудят. Да нечем тут и соблюдать себя, коли уж говорить по правде! Ну, добро, была бы ты бо-

гачиха да листократка какая, графская или княжеская, что ли, там дочка, тогда другой резонт, а нашей сестре помышлять об эфтим — одна только лишняя обуза. Чем даром-то в девках сидеть да молодость свою губить занапрасно, так лучше же капитал какой ни на есть предоставить себе да и семейству помощь оказать. А подвернется хороший человек, коли ежели полюбит, так и без того возьмет. По-настоящему-то нам, голякам, и думать об эфтаких роскошах не к рылу.

Резоны Сашеньки-матушки постепенно делали свое дело. Исподволь, почти незаметно для самой себя поддавалась им Луиза, ибо аргумент насущного хлеба есть самый убедительный из всех аргументов в мире. В два-три часа подобных разговоров Сашеньке-матушке удалось наконец очень ловко поддеть неопытную девушку на особую удочку, у которой роль червячка играло чувство любви и самопожертвования ради больного и дряхлого отца, чтобы доставить ему надежное средство к облегчению трудных и болезненных дней его старости.

«Мне нечем больше помочь ему, — думала

Луиза, — у меня ничего нет, кроме моей молодости. Он поймет меня, он простит меня — я вымолю себе прощение!»

И... экзальтированная девушка сдалась; мало того: Сашенька-матушка подвела дело так, что она сама даже просила помочь ей в этом деле. Та, наперед затруднительно помявшись да поломавшись — что как, мол, я, да могу ли я, да вы, мол, пожалуй, пенять на меня станете, — изъявила наконец великодушное согласие к содействию в деле. Эта акула давно уже помышляла об этой добыче и только выслеживала, с какой стороны вернее схватить ее зубами. А зубы ее уже не первый месяц точились на молодую, красивую Луизу. Она предвидела, что тут можно сорвать порядочный кушик в пользу собственного кармана, и потому выслеживала, наблюдала ее исподволь, долго и незаметно, пока не убедилась, что поддеть эту девушку можно только на одну лишь известную удочку. После этого Сашенька-матушка решилась выждать удобного, подходящего случая, чтобы Луиза клюнула ловко подставленного ей червячка — и случай, к затаенной и великой радости Са-

шеньки, представился именно в этот вечер.

XXIV
ЛОТЕРЕЯ НЕВИННОСТИ

В веселых домах петербургских происходит иногда торжество совсем особого рода. Бывает оно совершенно случайно, однажды в несколько лет, так как случаи, подающие к нему повод, выдаются весьма редко и почитаются вполне исключительными. Тем не менее самое торжество сохраняется в преданиях веселых домов, и в подходящих казусах оно из преданий всецело переносится в действительность. Словно о каком-то празднике, мечтают о таких торжествах акулы-тетушки и их верные фактотумы Сашеньки-матушки. «Сюжет» подобного торжества составляет молодая непорочная девушка. Особы, подобные Сашеньке-матушке, хотя и не играют в торжестве непосредственной, видной всем и каждому роли, тем не менее они пользуются, наряду с тетеньками, значительной долей плодов его, ибо сквозь их руки идет доставка самого «сюжета» и главного материала, фигурирую-

щего на первом плане такого праздника.

Едва лишь удастся тетеньке захватить в свои лапы девушку, она приступает к самодельной фабрикации особого рода билетиков. Занумерованные билетики имеют назначение служить входной маркой на торжественный праздник. Недели за две, а иногда за три до вожделенного дня тетенька вместе с экономкой старается распихать возможно большее количество марок наиболее близким знакомым из своих привычных посетителей. Эти, в свою очередь, совершенно доброхотно помогают ей, навязывая полученные билеты разным своим приятелям, а те своим и т. д. Все это производится, конечно, негласным и конфиденциальным порядком. Главнейшим же образом тетенька всегда старается действовать самолично, ибо в этом заключается ее прямой интерес, так как входные марки раздаются не безвозмездно: для каждой из них, по усмотрению тетеньки, назначается особая цена, смотря по средствам получателя, от десяти до двадцати пяти рублей серебром, причем тетенька, конечно, прилагает все свои старания для того, чтобы выторговать

себе возможно большую сумму. И ни одна из старожилок этой категории не запомнит еще случая, чтобы оказался недостаток в любителях подобных лотерей.

Молодую девушку, которую предназначили играть на подобном торжестве роль жертвы, тщательно скрывают от всех посторонних глаз и зачастую не дозволяют даже никакого сообщения с будущими ее товарками. Совершенно изолированная от них, она живет в особой квартире тетеньки, под личным ее присмотром. Во всех прихотях ей стараются угодить самым предупредительным образом, нашивают разного нарядного тряпья, дарят золотые безделушки и коробки конфет, отнюдь не давая раздуматься над своим положением, из боязни выпустить из рук столь драгоценную добычу. В эти приготовительные дни предупредительная, нежная ласковость тетеньки в отношении будущей дебютантки не сравнима ни с чем. Три родные матери, слитые воедино, казалось, не могли бы быть лучше и любовнее. Девушку постоянно держат в каком-то чаду и рассеивают всеми способами, лишь бы не давать ей грустить и

задумываться. Тысячи самых разнообразных, ловких аргументов и убеждений пускаются в ход для того, чтобы укрепить ее в однажды уже принятом решении, которое зачастую со стороны девушки было не более как взбалмошным сумасбродством, горячкой минутного увлечения или минутной, необдуманной ветреностью. Будущая веселая жизнь изображается ей в самых привлекательных, ярко-золотистых и розово-радужных красках, а лотерейные билетики меж тем в это самое время все больше и успешнее распускаются исподволь по рукам любителей.

Но вот билеты сполна уже распроданы, день назначен, и тетеньке остается только обдумать один уже последний, но самый ловкий пассаж. Ей надобно во что бы то ни стало выманить у молодой девушки формальную расписку, которая с двойным, если даже не с тройным избытком гарантирует деньги, потраченные на ее наряды. Коль скоро документ подписан и девушка признала свой долг — мертвая петля уже затянута.

К такому-то вот торжеству готовились в

известном уже нам веселом доме.

С девяти часов вечера освещенная зала начала наполняться любителями.

Явился и Герман Типпнер — по обыкновению, с черного хода. Ключница Каролина поспешила выбежать к нему навстречу с приказанием от хозяйки не показываться до времени в зале, а обождать, пока позовут, в ее, Каролининой комнате. Это было сделано из предосторожности, на всякий случай, дабы тапер, неожиданно увидев здесь свою, еще невинную, дочь, не вздумал учинить скандал, который, пожалуй, мог бы расстроить планы тетушки, заставив ее раздать обратно полученные уже деньги, если бы розыгрыш не состоялся. Взять же на этот вечер где-нибудь другого тапера она не заблагорассудила, потому что новому пришлось бы заплатить сравнительно большую сумму, а тетеньки-акулы, особенно немецкой расы, все вообще отличаются самою скаредною бережливостью. «Лишь бы лотерею-то разыграть да выигрыш предоставить, — думала содержательница веселого дома, — а там пускай его подымет какой угодно скандал: дело-то будет уже сдела-

но — прошлого не вернешь, да если и по закону тягаться, так ничего не возьмет, потому — рука руку моет».

Таким образом, необходимая предосторожность была исполнена. Герман Типпнер, никогда не принимавший участия в интересах веселого дома, еще с неделю назад слышал, что здесь готовится известного рода праздник, но, по обыкновению, с прискорбием подумав про себя об участи еще одной новой жертвы, въяве не подал, что называется, ни гласа, ни воздыхания, так как считал это делом, до него лично вовсе не относящимся. Поэтому и теперь, встретя извещение Каролины Ивановны, он безусловно подчинился ее решению, полагая, что, верно, это почему-нибудь так надо, и не задал себе труда подумать — почему и для чего именно надо?

Дней за пять до этого рокового вечера Луиза первый раз в жизни обманула его, сказав, что отправляется в Кронштадт, погостить к своей тетке. Герман Типпнер поверил ей безусловно, так как в Кронштадте действительно обитала сестра его покойной жены, у которой иногда гащивали его дочери.

Все это время девушка находилась под непосредственным влиянием Александры Пахомовны, которая неустанно продолжала оплетать ее самым ловким образом, поддерживая в ней экзальтированное состояние. По ее-то наущению Луиза и на обман решилась; но вместо Кронштадта очутилась она у тетеньки из Фонарного переулка. Эта сулила ей золотые горы в весьма близком будущем, а та мечтала про себя лишь о том, что с помощью тетенькиных золотых гор наконец-то, слава Богу, покончатся все нищенские лишения, недостатки и печали ее семейства.

Пока собирались знатные гости, в спальной комнате самой тетеньки происходила грустная сцена...

Две нарядные девушки, из числа будущих товарок Луизы, одевали ее, словно невесту к венцу. Тут же торчала и сама тетенька вместе с Александрой Пахомовной, которая, сжигая папироску за папироской, не переставала утешать и ободрять смущенную девушку.

Луизе было лихорадочно жутко.

Ее наряжали в белое кисейное платье и

прикалывали к чересчур открытому лифу живую белую розу, а в душе ее в это время боролись и страх, и стыд, и сомнение, и смутная дума о темном будущем. Но все эти тревожные ощущения смолкали перед твердой решимостью принести себя в жертву ради блага отца и сестры Христины.

«Пускай уж я буду такая! — думала девушка. — Зато авось ей помогу остаться честной... Лишь бы у меня были средства — она не пропадет, не дам погибнуть! Если мне не удалось, так пусть она будет чистым, хорошим утешением отцу».

И при этих думах на глаза ее навертывались слезы.

А тетенька замечала на это, что плакать не годится: «Фуй!.. Глаза будут красные, все кавалеры скажут, что плакала. Это, мол, нехорошо, надо радоваться, а не плакать». Но при таких утешениях раздраженная девушка чувствовала только охоту нещадно вцепиться когтями в ее мясисто-толстую физиономию.

Раздался легкий стук в запертую дверь, и послышался голос ключницы, которая извещала, что скоро уже десять часов и гости по-

чти все уже собрались.

— Ну, пора и отправляться! — с пошлой, самодовольной улыбкой вздохнула тетенька.

У смертельно побледневшей Луизы подкосились ноги.

— Воды!.. — послышался ее стонущий, страдающий шепот, вместе с которым в изнеможении бессильно опустилась она на стул, и из груди ее вырвалось короткое, порывисто-сдержанное рыдание — вырвалось и заглохло... Через минуту не было и следов его.

Тетенька морщилась: ей не нравились эти сцены. Пахомовна утешала, говоря, что все, мол, это пустяки; хорошего, мол, дела нечего бояться, и советовала не мешкать, а выходить скорее в залу и кончать все разом.

— Нет, постойте... Бога ради... оставьте меня одну... на одну только минуту! — с каким-то внезапным порывом обратилась к ним девушка. — Я сейчас... сейчас приду к вам!..

Хозяйка нахмурилась еще больше, но Пахомовна успокоительно мигнула ей глазом, и все вышли из комнаты, причем тетенька не преминула приставить глаз к щели неплотно

затворенной двери, дабы наблюдать, что станет делать оставшаяся наедине девушка.

Луиза, после некоторого раздумчивого колебания, подошла к окну, сквозь стекла которого виднелось темно-синее звездное небо, и, опустясь на колени, стала молиться. Молитва эта была непродолжительна, но после нее девушка вышла из комнаты уже совершенно спокойной и твердой поступью.

Через минуту в освещенную и многолюдную залу из дверей темного коридора выкатилась самодовольно-торжествующая и даже отчасти горделивая фигура самой мадам-тетеньки, за которою две девушки ввели за руки белую Луизу. Ключница Каролина Ивановна замыкала своею особою это торжественное шествие.

По зале пронесся гул говора, восклицаний и замечаний весьма нецеремонного, циничесского свойства.

Почувствовав себя среди этой толпы единственною точкою всеобщего любопытства, на которую в эту минуту было устремлено столько наглых и внимательных глаз, Луиза побледнела и смутилась почти до обморока. Ей

захотелось умереть в эту минуту; захотелось вдруг мгновенно исчезнуть — не знать, не слышать, не видеть, не чувствовать ничего; захотелось, чтобы не было света этих проклятых ламп, которые озаряют ее лицо, ее обнаженные плечи, грудь и руки, ее великий стыд, позор и смущение; чтобы вдруг объяла всех и вся непроницаемая тьма и глухота, чтобы либо она, либо все окружающее перестало вдруг существовать в то же самое мгновение.

Каролина принесла и поставила на стол две хрустальные вазы, наполненные свернутыми в трубочку билетиками. В одной лежали нумера, в другой пустые белые бумажки, из которых на одной только написано было роковое ужасное слово.

Две девушки подвели Луизу к этому столу, а тетенька приказала ей вынимать из вазы с пустыми билетами одну за другой свернутые бумажки.

Луиза, почти ничего не помня и не понимая, безотчетно повиновалась ее словам и машинально опустила руку в хрустальную вазу.

— Nun ich will mal sehn, wehn Gott ihnen!

[511] — с безмерной пошлостью улыбнулась Каролина, и, принимая из рук Луизы бумажку за бумажкой, сама в то же время вынимала билетики из другого сосуда и громко выкрикивала выходивший нумер.

В публике раздавались то веселые, то досадливые возгласы любителей:

«Эх, спасовал!..», «Сорвался!..», «Не вывезла кривая, двадцать пять рублей даром пропали!» — и тому подобные восклицания, в общей сложности своей выражавшие обманутую надежду.

Смертельно бледная девушка продолжала меж тем трепещущими пальцами вынимать из вазы роковые билетики.

Ее заставили самое, своею собственной рукой вынимать свою темную судьбу, и в этих машинальных движениях руки было нечто трагически-зловещее, нечто общее с самоубийством или с собственноручным подписанием своего смертного приговора.

Эта зала была ее позорной площадью. Этот стол был ее эшафотом, а палач, еще неведомый ни ей, ни самому себе, стоял в окружающей толпе, которая весело смеялась и среди

цинично остроумных шуточек с живейшим любопытством следила за исходом интересной лотереи.

Чем меньше оставалось в вазе билетов, тем бледней становилась Луиза. Белая роза ходуном ходила на ее открытой груди, которая туго, тяжело вздымалась и опускалась бессильно и медленно, словно бы ее нестерпимо давил какой-то странный, железный гнет. На гладком лбу ее проступили редкие капли холодного пота.

Билетов становилось все меньше и меньше, и с каждой вновь открытой бумажкой, с каждым выкриком нового нумера, на душе Луизы все жутче да жутче, и словно бы какие-то острые клещи впивались в ее сердце, тянуче крутя его и вырывая вон из груди вместе с какой-то нудящей до тошноты тоскою ожидания. Рука трепетала все сильней и сильней. Последняя роковая минута подходила все ближе и ближе, с каждым вновь вынимаемым билетом.

— Номер сорок восьмой. Acht und vierzig! — выкрикнул голос Каролины.

Луиза развернула билет и с легким, глухо

задыхающимся в груди криком, все помертвелая, бессильно опустила руку, державшую развернутый билетик.

Вот когда наконец наступила она, эта роковая минута!

Экономка проворно выдернула из ее пальцев бумажку и, широко улыбаясь, торжественно и громко провозгласила на всю залу:

— Der kalte Fisch!

— Koschere Nekeuve! — подхватила по-еврейски стоявшая вблизи девушка[512].

XXV
ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

— Моя! — в ответ на Каролинин возглас раздался каким-то животненно-жадным и радостным звуком голос плотного купеческого сынка, который, с побагровевшими щеками и сияющим взором, прокрался вперед сквозь толпу, высоко держа над головой свою марку.

— Браво! браво! — общим взрывом пронеслось в публике, среди смеха и рукоплесканий.

— Молодец! Вот так молодец! Ай да мали-

на! — азартно дополнили несколько голосов ни к селу ни к городу.

— Экая завидная штука! Досадно, черт возьми! — почмокивали языками и подмигивали глазами иные из окружающих.

— Ну, брат Пашка, спрыски с тебя, спрыски! — надсаживались из толпы вслед счастливцу его приятели, отчаянно размахивая руками.

— Честь имеем поздравить! Же ву фелисит, мосье![513] — любезно и не без почтительности сделали ему книксен мадам с экономкой.

Пашка с апраксинской ловкостью подскочил к Луизе и хлопнул ее по плечу.

— Стал быть, мой куш?! — произнес он, окидывая вокруг всю залу вопросительным и в то же время победоносным взором, и, словно купленную лошадь, стал разглядывать свой выигрыш во всех его статьях и достоинствах. — Ишь ты, сударь мой, — говорил он, хватая за талию ничего не понимавшую и словно бы вконец остолбеневшую девушку, — породистая дама, бельфамистого сложения, одним словом, почтеннейший мой, формулез-

ная женщина.

— Какой масти? — кричал ему из толпы голос приятеля.

— Буланой, — откликнулся неизвестный остроумец.

— Жаль, что не вороная! Вороная ходче... Пашка, подлец, говорю, спрыски с тебя! Заказывай шинпанского!

— Могите! — хлопнул ладонью по столу сияющий Пашка. — Мадам! прикажите хлопушку пустить! Пущай наши молодцы угощаются!

— Хлопушу? — возразил приятель. — Нет, брат Пашка, врешь! Ты шестерик поставь. Полдюжины хлопуш на первый случай, чтобы на всю ивановскую проздравление было!

— Что ж, можно и шестерик, — развернулся Пашка, — при такой моей радости, согласен!.. Мадам, предоставьте молодцам нашим шестерик хлопуш, пойла, значит, эфтого самого. А вы, деликатес девица, милости просим со мною!

И он, захватив под руку Луизу, не повел, а почти потащил ее за собою из комнаты.

В темном коридоре успел только мельк-

нуть белый шлейф ее кисейного платья и исчез за дверью.

После этого ключница выпустила старого тапера из его заключения.

Полубольной, уселся он за рояль, и в шумном зале раздались веселые звуки фолишонного кадриля. Составились веселые пары, и поднялась пыль столбом от неистового топанья и отвратительно безобразных кривляний.

Около часу спустя из темного коридора раздался разгульный голос Пашки.

— Гей! Мадам! Шимпанского! Став две дюжины хлопуш! Запирай дверь, никого не пускай! За свой счет всю публику, значит, угощаем! Пущай все поют да поздравляют жениха с невестой!

Ящик с двумя дюжинами бутылок не заставил долго дожидать себя; стаканы налиты, и большая часть публики не отказалась от дарового угощения.

— Идут! идут! — махала руками экономка, вбегая в залу, и обратилась к таперу: — Живей марш играй! Einen feierlichen

Zeremonialmarsch![514]

— *Мит грос шкандаль*![515] — подхватил голос неизвестного остроумца.

— Встречайте, господа, встречайте! Gratulieren sie doch das Paar![516] — в каком-то экстазе, размахивая лапами, обратилась Каролина к почтеннейшей публике.

И вот под громкие звуки торжественного марша откормленной утицей выкатилась в залу сама мадам-тетенька, с расплесканным стаканом шампанского в торжественно поднятой руке, а за нею гоголем выступал разгулявшийся Пашка, волоча под руку сгорающую от стыда и до болезненности истомленную девушку.

— Уррра-а! Браво! — громким, дружным криком пронеслось по зале.

Пашка раскланивался с комической важностью, не выпуская из-под руки своей живой приз.

А звуки фортепиано меж тем не умолкали.

Отец, не ведая сам, что творит, торжественным маршем встречал и приветствовал позор своей дочери.

Но вдруг эти громкие звуки неожиданно

порвались на половине такта и умолкли.

Взоры тапера нечаянно упали на приволоченную девушку.

Это был удар молнии. Он оглушил и ослепил его. Старик не верил глазам своим — но нет, это не сон, это все въяве совершается, это точно она стоит — она, его Луиза, его дочь родная.

При неожиданном перерыве звуков все головы с невольным любопытством обратились в сторону тапера. Все видели, как мгновенно искривилось его лицо каким-то страшным, конвульсивным движением, как с онемело раскрытым ртом и расширившимися неподвижными глазами медленно поднялся он со стула, как протянул он по направлению к девушке свою изможденную, трепетную руку, как силился вымолвить какое-то слово — и вдруг, словно безжизненный труп, без чувств грохнулся затылком об пол.

Раздался отчаянный женский вопль, и в то же мгновение, вырвавшись из лап своего обладателя, Луиза бросилась к отцу и поникла на грудь его.

Почтеннейшая публика никак не ожидала

такого оборота обстоятельств. Более благоразумные и более трусливые, предвидя скверную историю с полицейским вмешательством, торопились взяться за шапки и поскорее ретировались из веселого дома. Более любопытные и более пьяные, столпившись вокруг бесчувственного старика и бесчувственной девушки, решились ждать конца курьезной истории.

— В больницу!.. Скорее в больницу его!.. Вон отсюда!.. Дворников, дворников зовите!.. — метались из угла в угол экономка с тетенькой.

Явились дворники и потащили старика из залы.

Очнувшаяся девушка встрепенулась и, быстро вскочив с колен, в беспамятстве погналась вслед за ними.

Но ее вовремя успели схватить сильные руки экономки.

— Пустите!.. Пустите меня!.. Отец мой!.. Боже!.. Господи!.. Пустите, говорю! — вопила и металась она в беспамятстве, стремительно вырываясь из лап Каролины, на помощь которой подоспела и сама тетенька.

Двум против одной бороться было не трудно, и Луизу насильно увлекли во внутренние комнаты, откуда еще мучительнее, еще отчаяннее раздавались ее безумные крики. Наконец, вне себя от ярости, она стала кусаться и царапать их ногтями.

— Ach du, gemeines Thier![517] — гневно вскричала тетенька, — ты драться еще!.. Кусаться! Da hast du, da hast du![518]

И вслед за этим отчетливо раздались хлесткие звуки нескольких полновесных пощечин.

Расписка Луизы лежала уже в кармане тетеньки, и потому ей незачем было прикидываться теперь кроткой и нежной. Она вступила в свои настоящие, законные права над личностью закабаленной девушки.

— Жертва!.. Вот она — жертва вечерняя!.. — пьяно промычал неизвестный остроумец, нахлобучивая на глаза помятую в суматохе шляпу, и — руки в карманы, — шатаясь пошел из веселого дома.

XXVI
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

— Боже мой, да это она… она! — изумленно прошептала княжна Анна, склонившись над роскошным альбомом своего брата и пристально вглядываясь в фотографическую акварельную карточку замечательно красивой женщины. — Брат, поди сюда! Бога ради, кто это такая?

— Баронесса фон Деринг, — ответил Каллаш, мельком взглянув на карточку. — Чем она тебя заинтересовала?

— Странное, почти невозможное сходство! — пожала плечами сестра. — Я вот и через двадцать лет как будто сейчас вижу эти черты, эти глаза и брови… Да нет, неужели бывают на свете такие двойники? Ты знаешь, на кого она похожа?

— А Бог ее знает… Сама на себя, полагаю.

— Нет, у нее был или есть двойник; это я знаю наверное. Ты помнишь у нашей матери мою горничную, Наташу?

— Наташу? — проговорил граф и, словно

припоминая, сдвинул свои брови.

— Да, горничную Наташу. Такая высокая белолицая девушка... Густая каштановая коса у нее была — прелесть, что за коса!.. И вот точно такое же гордое выражение губ... Глаза проницательные и умные... Эти сросшиеся брови... Да, одним словом, живой оригинал этой карточки!

— А-а! — медленно и тихо проговорил граф, проводя по лбу ладонью. — Точно, теперь я вспомнил. Кажись, ведь она исчезла куда-то, совсем неожиданно?

И он нагнулся над карточкой баронессы.

— А ведь точно: ты права. Как смотрю теперь да припоминаю — действительно, большое сходство!

— Да ты вглядись поближе! — с одушевлением настаивала сестра. — Это совсем живая Наташа! Конечно, тут она гораздо зрелее, женщина в полной силе. Сколько лет теперь этой баронессе?

— Да лет под сорок будет. Но этого почти совсем незаметно, и на лицо ты никак не дашь ей более тридцати двух.

— Ну вот! И той как раз было бы под сорок.

— Лета-то одинаковые, — согласился Чечевинский.

— Да!.. — грустно вздохнула Анна. — Вот двадцать два года прошло с тех пор, а встреться она мне лицом к лицу, я бы, кажется, сразу узнала. Да скажи мне, пожалуйста, кто она такая?

— Баронесса-то? А как бы тебе это сказать?.. Личность довольно темная. Скиталась лет двадцать за границей да два года здесь вот живет. В свете выдает себя за иностранку, а со мною не церемонится, и я знаю, что она отлично говорит по-русски. Для света она замужем, да только с мужем будто не живет, а живет с другом сердца и выдает его в обществе за своего родного брата. А в будущем даже небольшой скандальчик ожидает ее: беременна от нареченного братца; впрочем, теперь пока еще в самом начале.

— Кто же этот братец? — любопытно спросила княжна.

— А черт его знает! Тоже из темненьких, полячок какой-то. Да вот Серж Ковров его хорошо знает; он мне как-то даже историю их отчасти рассказывал: приехал сюда с фаль-

шивым паспортом, под именем Владислава Карозича, а настоящее имя — Казимир Бодлевский.

— Казимир... Бодлевский... — прищуря глаза, припоминала Чечевинская. — Да не был ли он когда-то литографом или гравером — что-то вроде этого?

— Помнится, сказывал Ковров, что был. Он и теперь отлично гравирует.

— Был? Ну, так это так и есть! — быстрым движением поднялась Анна с места. — Это она... Это Наташа! Мне она еще в то время сказывала, что у нее есть жених, польский шляхтич Бодлевский... И звали его, как помнится, Казимиром. Она у меня часто, бывало, по секрету к нему отпрашивалась; говорила, что он работает в какой-то литографии, и все упрашивала, чтобы я уговаривала мать отпустить ее на волю и выдать за него замуж.

Этим нечаянным открытием сказалось для графа весьма многое. Обстоятельства, до сих пор казавшиеся мелкими и ничтожными, вдруг получили теперь в его глазах особенный смысл и свет, который почти безошибочно позволил угадать главную *суть* истины.

Теперь припомнил граф все, что некогда было рассказано ему Ковровым о первом знакомстве его с Бодлевским в то время, как он застал молодого шляхтича в «квартире» знаменитых «Ершей», среди плутовской компании, снабдившей его двумя фальшивыми видами — мужским и женским; вспомнил, что Наташа исчезла как раз перед смертью старой Чечевинской, вспомнил и про то, как, воротясь с кладбища после похорон старухи, он жестоко обманулся в своих ожиданиях, найдя в ее заветной шкатулке сумму, значительно меньшую против той цифры, какую сам всегда предполагал, по некоторым основаниям, и перед ним, почти с полной вероятностью, предстало соображение, что внезапное исчезновение горничной было сопряжено с кражей денег его матери и особенно сестриных именных билетов и что все это было не что иное, как дело рук Наташи и ее любовника.

«Ничего! Авось и эти соображения пригодятся к делу, — успокоительно подумал Каллаш, обдумывая свои будущие намерения и планы. — Попытаем, пощупаем — авось окажется, что и правда! Надо только половчее да

поосторожнее держать себя, а там уж все в моих руках, chère madame la baronne[519]. Мы из вас совьем себе веревочку.

XXVII

ВОЛЬНАЯ ПТАШКА НАЧИНАЕТ ПЕТЬ ПОД ЧУЖУЮ ДУДКУ

— Madame la baronne von Döring! — почтительно доложил графу его француз-камердинер.

Брат с сестрой многозначительно переглянулись.

— Легка на помине, — улыбнулся Каллаш.

— Если она — я по голосу узнаю, — прошептала Анна. — Остаться мне или уйти?

— Пока оставайся — сцена будет любопытная. Faites entrez![520] — кивнул он лакею.

Через минуту послышались в смежной комнате быстрые, легкие шаги и свистящий шорох шелкового платья.

— Здравствуйте, граф!.. Я к вам на минуту... Нарочно поспешила заехать. Сама, *сама* заехала — оцените-ка это! Владиславу некогда, а дело экстренное, хотелось скорей уведо-

мить!.. Ну-с, мы можем все себя поздравить: судьба и счастье решительно за нас! — скороговоркой пролепетала баронесса фон Деринг, быстро влетая в кабинет графа.

— В чем дело? Что за новости? — пошел ей навстречу хозяин.

— Вы знаете, у Шадурских нет более долга! Сын этого покойного ростовщика — как его?.. Морденко, что ли, так, кажется? Помните, который тогда скупил все их векселя? Так вот, его-то сын теперь возвратил княгине все документы, на сто двадцать пять тысяч. Она сама сказала об этом моему Владиславу. Кредит их снова поднялся, и, надеюсь, вы понимаете, что это для нас самая горячая минута. Боже сохрани упустить ее! Надо придумать план, как бы лучше воспользоваться.

Баронесса вдруг осеклась на половине фразы и сильно смутилась, заметив присутствие посторонней женщины.

— Виноват!.. Я не предупредил вас, — с легкой улыбкой, пожав плечами, поклонился граф Каллаш. — *Княжна Анна Яковлевна Чечевинская*, — отчетливо и внятно продолжал он, указывая рукою на безобразную Чуху. — Вы,

баронесса, теперь, конечно, никак бы не узнали ее, не правда ли?

— Зато *я* сразу узнала Наташу, — не спуская с нее глаз, спокойно сказала Анна.

Баронесса мгновенно сделалась белее полотна и слабеющей рукою поспешила ухватиться за спинку тяжелого кресла.

Каллаш с величайшей предупредительностью поспешил помочь ей усесться.

— Ты, Наташа, не ожидала меня встретить? — спокойно и даже ласково подошла к ней Анна.

— Я вас не знаю... Кто вы такая? — с усиленным напряжением почти прошептала баронесса, застигнутая совершенно врасплох.

— Мудреного нет: я так изменилась, — сказала Анна. — А вот *ты* все такая же, как прежде, почти никакой перемены!

Наташа мало-помалу начинала приходить в себя.

— Я вас не понимаю, — холодно сдвинула она свои брови.

— Зато *я* тебя хорошо поняла.

— Позвольте, княжна, — перебил ее Каллаш, — доверьте мне объясниться с баронес-

сой: мы с нею более близко знакомы, а вас пока, извините, я попрошу на время удалиться из комнаты.

И он почтительно проводил сестру до массивной дубовой двери, которая плотно захлопнулась за ней.

— Что это значит? — с негодованием поднялась баронесса, сверкнув на графа своими серыми глазами из-под сдвинутых широких бровей.

— Случай! — не без иронии, пожав плечами, улыбнулся Каллаш.

— Что за случай? Говорите ясней!

— Бывшая барышня узнала свою бывшую горничную — и только.

— Каким образом находится у вас эта женщина? Кто она такая?

— Я уж вам сказал: княжна Анна Яковлевна Чечевинская. А каким образом она у меня находится, это тоже случай, и довольно курьезный.

— Это не может быть! — воскликнула баронесса.

— Отчего же не может? И мертвые, говорят, иногда воскресают из гроба, а княжна

еще пока жива! Да скажите, пожалуйста, отчего же не могло бы быть, например, хоть так вот: горничная княжны Анны Чечевинской, Наташа, бросила ее на произвол судьбы у повивальной бабки, воспользовавшись доверием и болезнью старой княгини Чечевинской для того, чтобы с помощью своего любовника, Казимира Бодлевского, выкрасть из ее шкатулки деньги и билеты, — заметьте, баронесса, — именные билеты княжны Анны. Разве не могло быть также, что этот самый литограф Бодлевский добыл в «Ершах» фальшивые паспорта для себя и для своей любовницы да и бежал вместе с нею за границу, и разве эта самая горничная, двадцать лет спустя, не могла вернуться в Россию под именем баронессы фон Деринг? Мудреного в этом, согласитесь сами, нет ничего. Зачем скрываться? Мне ведь все известно!

— Что же из этого следует? — с надменной презрительностью усмехнулась она.

— Следовать может *многое*, — многозначительно, но спокойно молвил ей Каллаш, — *покамест* следует только то, что мне все, повторяю вам, *все* известно.

— Где же факты? — спросила баронесса.

— Факты? Гм!.. — усмехнулся Николай Чечевинский. — Если потребуются, найдутся, пожалуй, и факты. Поверьте, милая баронесса, что, не имея в руках юридически доказательных фактов, я не стал бы с вами и говорить об этом.

Каллаш прилгнул, но прилгнул правдоподобно до последней степени.

Баронесса снова смутилась и побледнела.

— Где же эти факты? Дайте мне их в руки, — проговорила наконец она после долгого молчания.

— О!.. Это уже слишком!.. Сумейте взять их сами, — снова усмехнулся граф своею прежнею улыбкою. — Ведь факты обыкновенно предъявляет обвиненному суд; а с вас, право, достаточно и того, что вы знаете теперь о существовании этих фактов, знаете, что они у меня. Хотите — верьте, хотите — нет: я ни уверять, ни разуверять вас не стану.

— Это значит, что я у вас в руках? — проговорила она медленно, подняв на него проницательные взоры.

— Да, это значит, что вы у меня в руках, —

уверенно и спокойно ответствовал граф Каллаш.

— Но вы забываете, что сами вы — то же, что и я, что и мой любовник.

— То есть вы хотите сказать, что я такой же мошенник, как и вы с Бодлевским? Ну что ж, вы правы: мы все одного поля ягоды — кроме нее! (Он указал по направлению к дубовой двери.) Она — честная и благодаря многим несчастная женщина; а мы... мы все негодяи, и я первый из их числа, в этом вы совершенно правы. Хотите, чтобы я был у вас в руках, постарайтесь найти против меня уличающие факты: тогда мы сквитаемся!

— Вы, стало быть, становитесь моим врагом?

— Я?.. Напротив, я ваш союзник, и самый верный, самый надежный союзник! Нам нет выгоды быть врагами. Поверьте мне, баронесса! (Слово «баронесса» он произнес теперь с какою-то чуть заметною ироническою ноткою в голосе.) Поверьте мне — я вам говорю это совершенно искренно и прямо: я — ваш союзник, да и цели наши почти общие; значит, скрываться вам передо мною нечего: вы

видите, что я знаю все; да и живая улика налицо: сама княжна Чечевинская. Но даю вам слово, что ни вам, ни Казимиру Бодлевскому она не сделает зла, да и вы сами должны хорошо знать это. Скажите, ведь она любила вас? Ведь она была всегда очень хорошей и доброй девушкой?

— Нда, — согласилась баронесса. — По правде сказать, мне было несколько жаль тогда поступить с нею таким образом.

— Вы знаете, конечно, и то, что ее любовник был Дмитрий Платонович Шадурский?

— Да, и это я знала, — подтвердила Наташа.

— Ну, так знайте же и то, что он гнусно поступил с нею. Ей и до сих пор хочется мстить ему. Клянусь вам, мне стало бесконечно жаль ее, когда услышал я весь этот рассказ. Он возмутил всю мою душу! Из сочувствия, из сострадания я сам не прочь помочь ей в мести. Помогите и вы! Вам оно легче даже, чем мне. Вы ведь тоже когда-то были неправы перед нею. Хотите теперь искупить прошлое? Давайте действовать вместе! Оно тем более кстати, что результаты нашего содействия

могут быть для нас весьма выгодны. Ведь вы сами же говорите, что дела Шадурских поправились.

— Хм... Великодушие из расчета! — насмешливо усмехнулась Наташа.

— Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше! — невозмутимо сказал Каллаш. — Да ведь и мы с вами не годимся в герои героической поэмы... Бескорыстие и прочее — все это хорошо в романах, а в практической жизни мы оказываем помощь ближнему только тогда, когда можем через это оказать ее самим себе. Такова моя философская мораль, и иной я не понимаю.

— Однако где вы нашли эту женщину? И с какой стати принимаете вы в ней такое участие? — не слушая его, перебила баронесса.

— Отыскал я ее в одном из самых гнусных притонов Сенной площади, а принимаю участие... Как вам сказать? Да просто потому, что жаль ее стало. Ведь нашел-то я ее пьяной, безобразной, голодной, оборванной, ну и вытащил из омута. Но, повторяю вам, главное дело не в ней; она тут вещь почти посторонняя. А хочется вам знать, зачем она у меня? Ну, это

каприз мой, и только! Я ведь вообще склонен к эксцентрическим выходкам, а это показалось мне довольно курьезным. Вот вам и объяснение!

Но баронесса не приняла за чистую монету слов своего собеседника, хотя и показала с виду, что верит ему вполне. Душу ее терзали разные сомнения. Неприятнее всего было сознание, что какой-то слепой случай отдал ее прошлое в руки графу, и хуже всего в этом сознании являлась неизвестность — насколько именно она, баронесса, находится в его руках. Граф никогда не отличался особенной симпатией к Бодлевскому, хотя они и принадлежали к одной шайке, и эта тайная неприязнь начинала теперь беспокоить Наташу. Она ясно поняла, что необходимость поневоле заставляет ее быть в ладах с этим человеком, и даже отчасти подчиняться его воле, пока не измышлен какой-нибудь исход, который помог бы ей сделать графа вполне для нее безопасным.

— Так вы говорите, что дело Шадурских поправилось? — весело начал граф, закурив сигару. — Точно ли это правда? Откуда вы

знаете?

— Из самого достоверного источника. Повторяю вам, *сама* объявила Владиславу сегодня утром.

— А вы его не ревнуете к ней? — усмехнулся Каллаш.

— Ревновать к денежной шкатулке?

— Ну а он вас не приревнует к старому Шадурскому?

Наташа только засмеялась в ответ.

— Ну а к молодому?

— Владислав так практичен, что не станет ревновать меня к кому бы то ни было.

— Скажите, вы его сильно любите?

— Любила когда-то.

— Ну а теперь?

— Теперь… теперь мы выгодны друг другу.

— Однако ведь вы — беременны от него.

— А вам что за дело?

— Дело вы увидите после. Верно уж есть дело, коли спрашиваю.

— Ну, положим, хоть и так! Печальный случай, и только.

— А как давно вы беременны?

— В самом начале… Да откуда вы это зна-

ете! — с нетерпеливой досадой подернув бровями, промолвила баронесса.

— Ваш же Владислав поспешил сообщить отрадную новость, — усмехнулся Каллаш. — Он очень досадует, да оно и понятно, потому — в самом деле — для наших компанейских операций ваше критическое положение не совсем-то удобно. Придется ведь вам уехать месяца через два, а тут, как нарочно, в это время самые горячие дела подоспеют. И ведь это как хотите, а в некотором роде скандал, беременность-то ваша!

— То есть как скандал?

— Как? Очень просто! По пословице — шила в мешке не утаишь. Ведь Карозич слывет в обществе под именем вашего родного брата. А как вы полагаете, кого станут называть вашим любовником? Ведь уж и теперь кое-где смутно поговаривают, что это — сомнительный братец, а когда будущий фрукт окажется налицо, тогда вам придется только кланяться и благодарить за поздравления, тогда никого не разуверишь.

Баронесса задумалась.

— Нечего делать, придется уехать, — про-

говорила она как бы сама с собою.

— Отъезд ваш испортит дела компании, — возразил Каллаш.

— Да... Ну, что ж с этим делать?

— Что делать? Извлечь посильную выгоду из своего критического положения.

— То есть как же это? Я не понимаю...

— Очень просто. Ведь у будущего ребенка должен быть какой-нибудь отец, а старик Шадурский до сих пор продолжает безнадежно таять перед вами. Что вам стоит уверить старого самолюбивого дурака в чем бы то ни было, в чем вы только пожелаете? Вам оно будет так же легко, как мне пустить дым из этой сигары. Ребенка заставим усыновить и дать ему княжеское имя. Представьте, ваш сын вдруг — князь Шадурский!.. Ха-ха-ха!.. Не правда ли, звучно? А денег-то, денег-то сколько! Можно будет устроить так, что старый дурень все состояние свое запишет на вас да на ребенка.

— Вы опять говорите вздор, — перебила баронесса. — Во-первых, княгиня Шадурская еще здравствует на свете, а во-вторых, ни она, ни ее сын никогда не позволят усыновить по-

стороннего ребенка...

— Что касается до сына, — перебил в свою очередь граф, — то в этом положитесь на меня: я уж его обработаю так, что не пикнет. А что касается до матушки, то ее сиятельство может весьма легко и скончаться.

— Ну, она, кажется, еще не думает кончаться.

— Тем хуже для нее, потому что, по Писанию, «не ведаете ни дня, ни часу». Не думает, но может. Хотите пари?

— Полноте, граф, мне некогда шутить! Я к вам заехала за делом.

— Да и я не шучу, а говорю наисерьезнейшим образом! Обоих Шадурских надобно обработать — ну и обработаем! Сынка предоставьте мне, а сами берите батюшку. Дележка выйдет полюбовная и безобидная. А насчет будущего усыновления, поверьте, я возьмусь обделать...

— В расчете на будущую смерть княгини? — с улыбкой шутливой недоверчивости легко отнеслась к его словам баронесса.

— Именно, в этом самом расчете, — серьезно подтвердил Каллаш.

— Все это прекрасно, — продолжала она с прежней легкостью, — но вы, мой милый граф, забыли одно маленькое обстоятельство.

— Какое это?

— А то именно, что в жизни и смерти, говорят, будто один только Бог волен.

— Да, что касается до жизни, я с вами не спорю, но в смерти кроме Бога бывает иногда волен и доктор Катцель. Неужели вы забыли общего приятеля?

Баронесса посмотрела на него долго, пристально и очень серьезно.

— Нда... это, пожалуй, похоже на дело... — медленно проговорила она, не спуская с него взора. — Но все-таки я в этом не вижу еще мести князю Шадурскому, — продолжала она с чуть заметной хитростью, помолчав с минуту, — а ведь вы, кажется, намеревались помогать в мщении княжне Чечевинской?

— О, что касается до этого, то вы уже не беспокойтесь! — легко и небрежно махнул рукою граф Каллаш. — Она свое еще успеет взять! Вы, например, моя милая баронесса, поможете ей в этом мщении хотя бы тем, что оберете как липку Шадурского, а уж тогда на-

станет и ее очередь! Там уж пойдет ее личное дело, и до нас с вами оно не касается. А проект ведь хороший и обещает большую выгоду! Не правда ли?

— Согласна! — с довольной улыбкой кивнула головой Наташа.

— И действовать тоже согласны? — многозначительно и пытливо прищурился на нее Чечевинский.

— И действовать согласна!

— Ну и прекрасно! Так по рукам, моя баронесса?

— По рукам, мой граф! А пока — прощайте, да не забудьте: завтрашний вечер у меня игра; будем обрабатывать обоих Шадурских.

Николай Чечевинский многозначительно пожал ей руку, низко поклонился и проводил до передней.

XXVIII
РЫЦАРИ ЗЕЛЕНОГО ПОЛЯ

Знакома ли тебе, мой читатель, драгоценная коллекция шулеров петербургских, которые между собою называются «повелителями капризной фортуны на зеленом поле», в чем легко можно заметить некоторую претензию на восточную изобразительность и цветистость языка? Если ты петербуржец, то нет ничего мудреного, что в свое время пришлось и тебе побывать у них в переделке. Быть может, однако, фортуна оказалась настолько к тебе милостива, что не попустила тебя достичь до очищения и карман твой остался цел, здрав и невредим посреди раскинутых ему сетей. В таком случае ты, вероятно, не однажды слышал имена всех этих Ковровых, Польшевских, Бодлевских, Ружницких, Арлувских, Лицкевичей, Матасевичей, Мазур-Мазуркевичей, Яйцынов, Июльковых, Гундарополо, Вихры-Нарви, Савастиновых, Щедрых, Гребешковых и иных. Боже мой, что за почтенная и разнообразная коллекция!

Субъекты, ее составляющие, не всегда бывают знакомы между собою. Но это не мешает какому-нибудь Польшевскому совершенно неожиданно явиться, например, хоть к незнакомому ему Яйцыну и с онику сообщить ему, что проведал-де он, Польшевский, о прибытии в Петербург какого там ни на есть денежного человека — так не угодно ли, мол, вам *обработать* его вместе со мною? «Вы будете *делать*, я *подставлю*, а барыши пополам». И Яйцын охотно протягивает руку согласия незнакомому с ним Польшевскому, и затем обоюдно болванят приезжего.

Разделяются шулера петербургские на несколько компаний, которые по преимуществу подвизаются на поприще разных клубов. Ружницкий с братиею отмежевал себе клуб купеческий. Батманов с Эчканом — английский. Щедрый предпочитает «благорошку», а Яйцына «с кобельками» найдете вы в «молодцовском». Они же ежелетно шатаются и «на минерашках». Каждая из таких партий непременно имеет своего коновода и воротилу. Каждый коновод избирает себе в качестве неизменного адъютанта какого-нибудь второ-

степенного шулерка, который бегает при нем верным и признательным кобельком, отличаясь нюхом гончей ищейки. Первые являются Кречинскими, вторые — Расплюевыми.

Если, при несчастном обороте дел, произойдет потасовка и благородное шулерское тело почувствует прикосновение тяжелых шандалов, то Кречинские всегда почти находят благовидный предлог увернуться из-под расправы и подставить бока своих верных Расплюевых.

Расплюевы нашего времени не всегда бывают грязнецами. Они очень часто одеваются у Шармера и Жорже (разумей, в кредит), имеют «порядочные привычки», стараются покрасивее устроить свою физиономию, дабы через то попасть на содержание к какой-нибудь поблекшей Мессалине наших дней, и поэтому, в случае кой-каких следов шандалобития, не раскрывают, с похвальной откровенностью, сущую истину насчет бокса образованной нации и просвещенных мореплавателей, а оправдываются тем, что дрались, мол, на дуэли «за оскорбление чести».

Коновод иногда *спускает* своих кобельков,

то есть делает заговор с каким-нибудь из шулеров посторонних, а тот и обыгрывает кобелька, в случае если у него завелась лишняя копейка. Это у них называется «спустить». Здесь идет в ход и *волосок*, и *скользок*, и иные хитроумные фокусы.

Не все шулера занимаются специально картами. Поле их действий весьма обширно и разнообразно. Иные специально посвятили себя фабрикации карточных колод, крапов, скользков, волосков на потребу шулерскую, за что получают скромное, но приличное вознаграждение. Иные *подводят* под шулеров, и для этого рыщут по Петербургу, ищучи подходящих болванчиков, пижонов, и стараются заводить самое обширное знакомство. Иные дают под игру приличное помещение с необходимой представительной обстановкой, для чего держат отличную квартиру и отличного повара. Мечут же карты, передергивают и всякие иные фокусы употребляют только главные и самые искусные престидижитаторы, которые поэтому специально называются «дергачами».

Большинство шулеров, как петербургских,

так и вообще российских, суть поляки. Формируются они преимущественно из отставных офицеров кавалерийских, что, впрочем, совершенно понятно, если вспомнить ремонтерскую жизнь и похождения на наших ярмарках, где зачастую, спустив шулерам казенные деньги, ремонтер, во избежание солдатской шапки, сам становится шулером, то есть на первый раз подводчиком, присоединяясь к членам облупившей его компании, которая в этих случаях всегда почти оказывает великодушный прием такому неофиту. Поэтому большинство рыцарей зеленого поля, при всей своей щеголевато-партикулярной внешности, сохраняет какую-то отставную военную складку; да, даже большая часть и из тех-то, которые никогда не бывали в военной службе, не шагая далее чина коллежского регистратора или находясь в еще более почетном звании недорослей из дворян, при случае импровизированно именуют себя кавказскими капитанами и поручиками.

Однако нельзя сказать, чтобы наши шулера, отдаваясь карточному делу, пренебрегали другими отраслями темной промышленно-

сти. В подходящих случаях они не откажутся ни от какого уголовного дела, начиная с подлогов и фальшивых векселей и кончая даже убийством, лишь бы оно было искусно обставлено и безопасно исполнено. Большая часть из них, при ярой наклонности к комфортабельной, широкой и донжуанской жизни, по натуре своей — мелкие трусы, которые не пойдут открытой силой на открытый грабеж, как часто ходит голодный голяк: но зато более безопасным и более тонким воровством-мошенничеством занимаются они очень выгодно и с великим для себя удовольствием.

Если в голодном воре и грубом разбойнике пробуждается иногда человеческая совесть, то едва ли что-нибудь подобное шевельнется в душе мошенника элегантного. Правда, попадаются и между ними иногда блестящие исключения, но эти исключения весьма нечастые, которые поэтому не могут идти в общую характеристику целой фаланги воришек и воров «благородных». Какой-нибудь член Малинника и обитатель дома Вяземского делает преступление потому, что

ему жрать нечего, элегантный же денди из шулерской компании производит тысячу преступных пакостей и мерзостей для того, чтобы быть в избранном обществе, одеваться у Шармера, есть у Дюссо и Донона, иметь кресло в балете и французском театре, кататься на рысаках и содержать роскошную любовницу, на которую он разоряется и которая часто вертит им, как ей угодно — на все стороны, и держит в руках словно тряпку, награждая иногда, в минуты женского каприза и раздражения, даже и полновесными пощечинами.

Первых, то есть членов Малинника и обитателей дома Вяземского, в прежние времена, бывало, пороли плетьми, уродовали «клеймовыми тройцами», гноили в острогах и ссылали на поселение да в каторги сибирские. Вторые же и до наших дней счастливо благоденствуют среди «порядочного» общества, и целая масса «порядочных» людей не стыдится с удовольствием пожимать им руки, даже иногда чуть что не гордится таким милым знакомством, хотя очень хорошо знает, что такой-то Польшевский, Бодлевский или армяшка Вихры-Нарви — отъявленный негодяй, мо-

шенник, шулер и, в довершение всего, камелия во фраке.

Многие удивляются, какими судьбами шулера умеют составлять себе обширный и необыкновенно разнообразный круг знакомства. Переберите вы коллекцию визитных карточек на столе любого из рыцарей зеленого поля, и внимание ваше непременно будет остановлено на этом обилии имен, очень известных по всем сферам общественной жизни и деятельности. Тут и купец-негоциант, и веский бюрократ-чиновник, и артист, и аферист, но более всего кинутся вам в глаза титулованные фамилии разных аристократов, аристократиков, генералов и генераликов, и вообще имена люда, более или менее крупного. Эти карточки нарочно раскидываются на самом видном месте кабинета или гостиной, для того чтобы нет-нет да и привлечь на них внимание новичка посетителя: вишь, мол, какие с ним все тузы, да важные, да известные личности знакомства водят! Это делается, конечно, для пускания пыли в глаза. Каждый шулер имеет особенную способность знакомиться со всем и каждым; достаточно ему

встретиться раза два в обществе с каким-нибудь титулованным господином и быть ему хоть случайно отрекомендованным, для того чтобы карточка последнего невзначай очутилась с загнутым уголком на столе рыцаря. Он ее добудет какими ни на есть судьбами: или через лакея, или сам украдет при случае, хоть бы в том самом доме, где был представлен титулованной особе. Шулера необыкновенно падки до всяких известностей и знаменитостей, но вящую слабость их сердца составляют именно знакомства титулованные, ибо каждый шулер стремится явить себя человеком, принадлежащим если не к высшему, то по крайней мере к комильфотно-порядочному кругу общества. Да им иначе и невозможно, потому что обыгрывать по мелочи каких-нибудь щелкоперов — игра даже и свечто не будет стоить; а тут ведь дело бьет на почтенные и круглые куши. Впрочем, бывалый петербуржец не особенно-то часто попадается на шулерскую удочку, потому что в Петербурге слухом земля полнится, и вся эта честная братия более или менее известна каждому, если не в лицо, то понаслышке. Оттого-то бра-

тия и охотится по преимуществу за людьми приезжими, у которых деньга в кармане позвякивает.

Как свести знакомство с приезжим? Вот вопрос, который необходимо становится на первом плане у каждого шулера.

Ради этой цели каждая шулерская компания непременно держит на жалованье своих собственных агентов между прислугою всех, без исключения, лучших отелей города. Агент всегда сумеет вовремя предупредить своих патронов насчет дичинки нового прилета. Если, например, приезжий вздумает послать себе за билетом в театр, посланный непременно возьмет два кресла рядом, из коих одно немедленно же передаст по назначению — в руки какого-нибудь из членов компании, а другое вручает приезжему постояльцу. Случайное соседство по месту в театре служит уже совершенно достаточным предлогом для того, чтобы завязать знакомство, и коль скоро оно сделано, за дальнейшим остановки не будет.

Таков наиболее употребительный прием для схождения с дичинкой, и особенным ис-

кусством отличается на сем поприще шулер Польшевский.

Этот полячок с Волыни был сначала мальчиком в цирюльне, а потом лакеем у некоего актера Вольского, причем и сам он подвизался иногда на сцене в бессловесных ролях, пока не нашел возможности жениться для того, чтобы обобрать и, обобравши, бросить свою супругу, ради некоей купчихи, которая, в свою очередь, ради него, обобрала и бросила своего мужа, удрав с ним, Польшевским, в Петербург. Тут, конечно, постигла ее участь весьма печальная, но... зато полячок с Волыни пошел, что называется, в ход и в гору.

Долгое время бегал он кобельком в ролях Расплюева, пока наконец фортуна решилась вполне уже повернуть к нему свои прелести, так что в данную минуту вы его можете встретить в отличном экипаже, на отличных рысаках, в костюме, вышедшем из мастерской Жорже или Шармера, с полновесным бумажником в кармане и — увы! — со следами еще более полновесных пощечин на физиономии.

Этот барин — пролаза в полном смысле

слова — приобрел отличную сноровку подхода к людям, умея польстить всем и каждому и зная, где нужно прикинуться гордым дворянином, а где уничиженно *падаць до ног*. Вооруженный своею истинно меднолобою наглостью, он постоянно завербовывал множество дичины для своих патронов. Не стесняясь, звонил у дверей всех лиц, о которых лишь удавалось ему прослышать, что они имеют деньги и ведут большую игру, и приемы его в этом случае отличались большим разнообразием: то явится вдруг под видом богатого пана-помещика, у которого имеется здесь в Сенате процесс, то в виде богатого же пана, занятого коммерческими операциями, и таким-то вот образом, не будучи слишком разборчив в тоне оказанного ему приема, умел он втереться всюду и втереться везде, где только это было нужно, по соображениям его патрона.

С помощью подобных Польшевских шулера вообще сводят очень многие из своих обширных знакомств, и коль скоро знакомство с дичинкой сделано, выступает у них на сцену второй вопрос — вопрос хотя и столь же

важный, но уже менее трудный: какими судьбами и на какую именно удочку поддеть предстоящую жертву?

Для этой цели компания весьма тонко и зорко следит за психическим настроением и склонностями атакуемого. Если заметит она в нем человека, склонного к серьезным практическим целям и занятиям, — на сцену тотчас же вступают весьма ловкие финансисты, умные прожектеры, члены разных акционерных обществ и компаний, которые так или иначе сумеют в подходящую минуту обработать ловкое дело. Является ли дичинка тем, что называется Сердечкиным, — на сцену действия немедленно же вступают прекрасные, умные, ловкие женщины, которые еще хитрее всяких аферистов и прожектеров сумеют оболванить милого пижона. Поэтому каждая шулерская компания непременно старается завербовать в число своих членов одну, двух, а иногда и трех подходящих женщин. Если же новоприезжий питает сердечную слабость к хорошему обществу и к титулованным именам, то кто-нибудь из членов шулерской компании, отличающийся изящ-

ной обстановкой своей квартиры, задает обед или вечер и непременно постарается созвать на него возможно большее число своих комильфотных и титулованных знакомцев, которые и не подозревают, что обречены играть здесь роль болванов и чучел ради приманки тщеславного самолюбия. Буде же их почему-либо налицо не окажется, то в таком случае и титулованные визитные карточки иногда не без успеха делают свое дело.

Таким образом, весь круг общества, собирающегося в шулерском доме, делится на три категории. К первой принадлежат *дельцы*, то есть сам хозяин и его компанейские подручники, ко второй — *обстановка*, которую составляют люди, хотя и не играющие в карты, но благодаря своей известности или светскому положению могущие отличнейшим образом служить мошенническим целям, часто даже и не подозревая об этом. Кто составляет третью категорию, полагаем, угадать не трудно. Это именно *дичинка*, составляющая собою главную цель и предмет заветнейших мечтаний, забот и желаний шулерствующей братии.

XXIX
ИНТИМНЫЙ ВЕЧЕР БАРОНЕССЫ

Баронесса фон Деринг каждую среду задавала soirees intimes[521]. Она не любила соперниц, и потому дамы на эти вечера не приглашались. Интимный кружок баронессы составляли члены индустриальной компании и те пижоны из мира бюрократии, финансов и аристократии, на которых компания устремила свои виды. Впрочем, неоднократно случалось, что число посетителей этих интимных вечеров доходило человек до пятидесяти, а иногда и больше.

Баронесса страстно любила азартную игру и всегда с увлечением подходила к зеленому полю. Но так как это делалось гласно, воочию всех присутствующих, то последние не могли не замечать, что счастье решительно отворачивается от баронессы. На поприще зеленого поля ей никогда почти не везло; зато везло либо Коврову, либо Каллашу, либо Карозичу, с тем, однако, маленьким оттенком, что последнему реже и менее первых двух.

Таким образом, каждую среду известная сумма переходила из кармана баронессы в бумажник которого-нибудь сочлена, затем чтобы на другое утро снова возвратиться по прежней принадлежности. Такое поведение вызывалось особою хитроватою уловкой, которая била на тот расчет, что *дичинка* и *обстановка*, посещавшие интимные вечера баронессы и зачастую приплачивавшие за эти посещения из собственного кармана, отклонялись от возможности явного подозрения в том, что дом прелестной баронессы — не более не менее как элегантная шулерская трущоба. Все считали ее женщиной — прежде всего, конечно, безусловно прелестной, потом — независимой и богатой, далее — немножко эксцентричной и оригинальной и наконец уже — пылкой, страстной и способной к увлечению сильными ощущениями.

Целым рядом подобных качеств весьма удобно объяснялась и страсть к игре, от которой баронесса не отставала, несмотря на явное и постоянное несчастие в картах. Члены ее компании действовали по заранее составленному и строго обдуманному плану. Они

далеко не каждый раз пускали в ход замысловато-тайные пружины и махинации своего специального искусства. Если не представлялось охоты на слишком крупную дичь, игра шла чисто и честно. При этом компания могла быть в убытке тысяч около двух, иногда трех, но такой убыток не составлял для нее никакой важности и никакого почти ущерба, так как жертвы маленького компанейского проигрыша всегда сторицею вознаграждались при большой облаве на красного зверя. Случалось иногда, что этот искусный маневр честной и чистой игры длился недель до пяти, до шести сряду, так что «мелкота», выигравшая компанейские деньги, благодаря ему постоянно оставалась в полном убеждении, что она играет в доме честном и порядочном и, естественным образом, распространяла такое убеждение по всему городу. Зато когда подвертывался наконец красный зверь, компания пускала в ход все свои силы, всю ловкость темного искусства — и несколько часов вознаграждали ее с величайшим избытком за целый месяц безукоризненно честного поведения на зеленом поле.

Наступал час двенадцатый ночи.

Квартира баронессы была ярко освещена, но за спущенными толстыми драпри с улицы не видать было этого света, хотя у подъезда и стояло несколько экипажей.

Рядом с изящной гостиной помещалась не менее изящно отделанная комната, предназначенная специально для игры и потому носившая у членов компании специальное название комнаты инфернальной. Там помещался большой стол, обтянутый зеленым сукном, а посредине стола навалена куча ассигнаций, из которых каждая была перегнута пополам, вверх рубашкой, чтобы ни на секунду невозможно было затрудниться в определении ее стоимости. По бокам этой кучки возвышались две грудки золота, перед которыми восседал Сергей Антонович Ковров и с хладнокровием истинного джентльмена отчетливо метал банк.

Какое гомерическое, юпитеровское спокойствие разлито во всех чертах его лица! Что за милая беспечная самоуверенность, что за благородная невозмутимость в его улыбке, в его взорах! Какая грация, какое изящество

во всей позе и в особенности в руке, мечущей карты! Руки Сергея Антоновича поистине достойны изумления. Они почти постоянно обтянуты у него свежими перчатками, которые снимаются в экстренных случаях, когда надобно обедать, или написать какую-нибудь записку, или сесть за карты. Да зато же и нежность этих рук доходит до женственности, зато и осязание в кончиках пальцев развито до изумительной степени, так что едва ли сравнится с ним осязание любого из слепорожденных. Эти пальцы ловкие, гибкие, проворные, каждое движение которых облечено тою неуловимою, плавною и спокойною грацией, которая всегда почти служит необходимым признаком дергача высшей школы. Эти пальцы украшены множеством колец, на которых сверкают бриллианты и иные драгоценные камни. И недаром щеголяет ими Сергей Антонович! Этот искристый блеск и это радужное сверкание особенно ярко мечутся в глаза окружающим понтерам. В то время как восседает Сергей Антонович на кресле банкомета, они, что называется, отводят глаза, ибо необыкновенно удачно маскируют те движе-

ния, которые, по расчетам банкомета, непременно должны быть маскированы; они почти невольно отвлекают внимание от пальцев, коля и режа зрачки своим искристым блеском, а этого-то только и нужно Сергею Антоновичу!

Вокруг стола толпилось человек тридцать понтеров. Иные из них сидели, но большая часть играла стоя, с непокойным лицом, лихорадочно горящими взорами и неровным, тяжелым дыханием. Одни были бледны, другие багровы, и все с напряжением страсти следили за выпадающими картами. Было, впрочем, несколько и таких, которые вполне владели собою, отличаясь невозмутимым хладнокровием и слегка отшучиваясь при выигрыше, равно как и при проигрыше. Но такие счастливые натуры всегда составляют меньшинство за каждою крупною игрою.

В инфернальной комнате царствовала тишина. Разговоров совсем почти не было; только иногда слышалось какое-нибудь замечание, шепотом или вполголоса обращенное соседом к соседу, и раздавался короткий, сухой высвист сброшенной карты, да шелест ассиг-

наций, да звон червонцев, совершающих круговое движение по столу — из банка к понтерам и от понтеров обратно в банк.

В этот вечер обрабатывались оба князя Шадурские, и в особенности юная отрасль сего дома, то есть князь Владимир. Оба они сидели против Сержа Коврова, а между ними помещалась баронесса фон Деринг, которая понтировала заодно с ними, в одной общей доле. Князь-гамен таял, как масло на сковороде, и, старчески трясясь, облизывался, словно маленький песик в виду лакомого кусочка; а князь-кавалерист сидел с пылающим лицом и такими же взорами. Оба увлекались в одно и то же время игрой и баронессой.

Ловкая Наташа подвергла их самой страшной пытке, какая только может существовать во время азартной игры для человека, не снабженного от природы рыбьей кровью и невозмутимо холодной натурой. Кровь била в голову и юноше, и старцу; оба не помнили, что творят, не различали даже выпадающих карт и спускали куш за кушем.

Наташа пустила в ход самое беспощадное и малоцеремонное кокетство. Время от вре-

мени она исподволь и незаметно для остальных метала то на того, то на другого раздражительно-соблазняющие взоры, полные хмельной страсти, истомы и неги. Маленькая ножка ее то и дело касалась под столом соседней ноги то батюшки, то сына, а рука порою, как будто невзначай, скользила по колену того или другого, сталкивалась там с другою, соседнею рукою и встречала ее нервным пожатием. Баронесса казалась экзальтированной, как никогда еще. Оба Шадурские находили ее упоительно прекрасной, не подозревая, что та пускает в ход одну из обычных проделок хорошеньких шулерих, доставляющих себе, с помощью этих средств, самые верные и иногда самые обильные выгоды. Делается это обыкновенно в расчете на то, что каждый из понтеров занят в это время по преимуществу самим собою и собственными картами, причем, конечно, некогда уже обращать ему внимание на тайные, подстольные проделки хорошенькой шулерихи, которая, разумеется, ведет их, по долговременной опытной привычке, с необыкновенно искусной ловкостью, и уж наверное сумеет скрыть свои маневры

не только от всех посторонних, но даже и от двух своих соседей, дабы левому и в голову не могло прийти, что подобная же проделка совершается с правым.

В Петербурге, полагаю, очень многим известно, как в зимний сезон 1864 года на точно такую же удочку попался некоторый князь, имени которого назвать здесь нет никакой необходимости. Шулер, принадлежащий по положению своему чуть что не к сливкам нашего высшего общества, один на один, у себя в доме, обыграл этого князя в то время, как молодая и прекрасная подручница, жена его, с необыкновенною ловкостью помогала своему благоверному, пуская в ход маневры баронессы фон Деринг.

Граф Каллаш с трудом оттащил от игорного стола маленького доктора Катцеля, который, подперев обоими кулаками свои налившиеся кровью виски, лихорадочно следил за игрою.

— Дело, друг мой, доктор, дело, — говорил граф, увлекая его из инфернальной комнаты в гостиную, где на ту пору ни души не бы-

ло, — надо толковать серьезно и решительно. Поэтому вот вам отличная сигара — рекомендую! — начал он, усевшись рядом с доктором в одном из самых уютных углов комнаты, на самом уютном пате. — Не знаете ли вы, кто доктор княгини Шадурской?

— Знаю только, что не я лечу ее, — пожал плечами Катцель.

— Ну, так надо, чтобы лечили. Вы должны занять у нее место постоянного домашнего доктора.

— Если меня пригласят — отчего же.

— Вас пригласят наверное; это уж обделает Карозич. Но... только вы должны будете лечить *в другую сторону*.

— То есть? — усмехнулся Катцель притворно-недоумевающим вопросом.

— То есть врачи обыкновенно лечат затем, чтобы люди выздоравливали и жили, а вы должны будете лечить так, чтобы пациентка исподволь хворала и умерла.

— А, понимаю, — многозначительно процедил сквозь зубы Катцель. — А для чего это нужно?

— Для общих выгод нашей компании.

— А мое вознаграждение?

— Обыкновенная доля в общем барыше.

— Этого мало. Вы слишком эгоисты, господа. В вас нет ни совести, ни справедливости, ни человеколюбия. Вы задумываете дело и безопасно пожинаете богатые плоды его, а я — чернорабочий, я должен искусно осуществить вашу идею, должен употребить мои способности, мой труд, мои научные знания. Я становился отравителем, убийцей, рискуя за это каторжной работой и вечной потерей моего доброго имени, и вы хотите после всего этого, чтобы я, наряду со всеми вами, воспользовался только обычной долей дележки... Да за какого же дурака вы меня считаете? Мне эта обычная доля и без того бы досталась.

Каллаш спокойно выслушал всю эту тираду, которая была высказана с необыкновенным энтузиазмом, хотя и тише чем вполголоса, и, взяв руку доктора, улыбнулся ему своею невозмутимо-спокойною улыбкою.

— Я люблю вас, доктор, за вашу прямую откровенность... — начал он.

— Нет, милый друг, тут не откровенность,

а деньги, — перебил Катцель, — не было бы денег, не было б и откровенности.

— Да я не спорю... Сколько вы хотите? Давайте торговаться, — согласился Каллаш.

— Условия весьма скромные. Кроме обычной доли десять процентов с общего барыша. Половина вперед, до начала дела.

— Вы знаете, что у нас нет теперь таких средств. Половину дать вам мы не можем, — горячо вступился Каллаш.

— Ну, буду еще раз великодушным! Давайте треть вперед!

— Доктор, вы поступаете не по-товарищески...

— Зато «по-человечески», — иронизировал Катцель.

— Да ведь трети невозможно отделить нам, потому что еще неизвестна сумма выгоды, — убеждал его собеседник.

— Тогда предоставьте мне самому назначить ее. Нет у вас денег — и это ничего! Пусть каждый из вас даст мне вексель — одним словом, верное обеспечение, и я к вашим услугам. Вы в этом деле барчуки, а я батрак. Шансы, господа, неравные.

— Это мы вам сделаем, — успокоительно удостоверил его наконец Каллаш.

— Сделаете — ну, значит, и я вам тоже сделаю *это*, — закончил доктор, и оба удалились из комнаты, вполне довольные друг другом.

Ужинали на маленьких отдельных столиках. Баронесса подала руку старику Шадурскому и повела его к столу, на котором стояло только два прибора.

Дмитрий Платонович остался в сильном проигрыше, но этот материальный ущерб был теперь трын-трава ему! Он всецело находился под обаянием баронессы и ее недавних подстольных руко— и ногопожатий! За все время его неизменного поклонничества этой прелестной женщине она сегодня впервые только простерла до такой степени свою ласковость к старому селадону. Князь продолжал безмерно таять и победоносно восторгался в глубине души своей, что наконец-то его неизменная страсть, обаяние его души и наружности произвели на неприступную баронессу свое воздействие. В памяти расслабленного гамена были еще живы и очень ярки те побе-

ды, которые он одерживал в прежние времена и на которые считал себя способным даже и теперь. Он был искренно убежден, что остается все прежним, все таким же добрым, красивым и победоносным Шадурским. Самолюбие никак не допускало мысли о старчестве и льстило себя полной уверенностью, что он может одерживать блестящие победы.

— Я пью за вашу руку и... за вашу ножку, — чокнувшись с баронессой, проговорил он вполголоса, с многозначительной расстановкой, намекая этою фразою на давишние подстольные эволюции.

— Повеса! — кокетливо и мило прищурилась в ответ ему хозяйка.

— С вами кто не сделается повесой! — захлебнулся расслабленный князь, словно бы обливая лицо своей собеседницы старческим маслицем своих сладострастно посоловелых глаз.

Несколько времени длилось молчание. Шадурский любовался своей собеседницей. Наташа чувствовала это и беспрепятственно позволяла.

— Послушайте, князь, — начала она нако-

нец без дальних обиняков, — свободны вы завтрашний вечер?

— Как и всегда, — поспешил удостоверить князь с любезной покорностью, пригнув несколько свою голову в знак того, что он готов отдаться в полное распоряжение своей очаровательницы.

— Хотите провести его со мною? — весело предложила баронесса и даже многозначительно и не без пикантности прищурилась на князя.

Того словно бы огорошил такой неожиданный и быстрый оборот дела, так что, вконец уже захлебываясь, он только и мог произнесть:

— Вместе... вечер...

— Да, вдвоем, — пояснила баронесса, — я хочу этого — слышите ли, *хочу*!

— Ce que femme veut, Dieu le veut[522], — с истинно джентльменской покорностью склонился Шадурский.

— Будьте в девять часов... Вас встретит моя камеристка, а я уж буду ждать, — заключила она полушутя-полусерьезно, так что трудно бы было догадаться, что это такое: назначе-

ние ли делового свиданья, или просто милый каприз женщины, и притом доброй, хорошей знакомой, или же, наконец, многообещающий призыв сердца?

Расслабленный гамен несокрушимо был уверен в последнем. И следующий вечер действительно доказал ему, что он не ошибся.

Баронесса ловко-таки умела притворяться. Да и трудно ли было провести старика, поглупевшего от лет и распутства.

XXX
ПАУКИ И МУХИ

Казимиру Бодлевскому очень понравился смелый план графа Каллаша. Все более блекнущая княгиня Шадурская была для него тяжелым бременем, которое он сносил терпеливо и покорно, потому лишь, что время это искупало себя весьма хорошим денежным вознаграждением. Но как ни хорошо оно было, а все же перспектива почти наверняка и притом вконец обобрать старого дурня, избавясь притом от тяжелой обязанности старушечьего друга, казалась весьма приятной и

сильно заманчивой.

«Стоит ли вытягивать по мелочам, если можно вытянуть сразу и окончательно», — совершенно справедливо мыслил сам с собою Бодлевский. Ревновать Наташу к кому бы то ни было — он и в помышлении никогда не имел, предпочитая гораздо лучше, как практик, пользоваться при случае сочными плодами ее благосклонности к посторонним лицам. Он знал по неоднократному опыту, что Наташа умеет вести эти дела ловко, тайно, так что никогда не допускала своих эротических проделок до скандальной огласки, и потому был совершенно спокоен, смотрел на это дело, как говорится, глазами философа, рассуждая так, что мы, дескать, любим друг друга, а обоюдные измены наши не суть измены, потому что оба мы знаем про них, а главное — потому, что эти измены, кроме обоюдной пользы и удовольствия, ничего нам не приносят.

Если бы Наташа бросила его совершенно, избрав себе иного друга сердца, с которым бы стала делиться плодами своих темных, но прибыльных похождений, тогда другое дело! Тогда Бодлевский почел бы это полнейшей и

гнуснейшей изменой с ее стороны. Наташа, в сущности, являлась глубоко правою, когда говорила, что они просто полезны друг другу, и больше ничего. Это были скорее два темных товарища, два компаньона, чем любовник с любовницей; последнее же, в силу привычки и старых отношений, шло только в придачу к первому. И при всем этом Бодлевский очень утешался тем курьезным обстоятельством, что вдруг его будущий сын или будущая дочка окажутся особами титулованными, с громким княжеским именем Шадурских.

Наташа постоянно являлась необходимейшим членом ковровской ассоциации. Это было золото, а не сообщница. Все члены очень хорошо понимали, что ее неуместная беременность, хотя бы и косвенным образом, однако же значительно может повредить прогрессивно успешному ходу их шулерских операций. Главное достоинство Наташи как члена ассоциации заключалось в том, что, будучи женщиной все-таки недурно и независимо поставленной в свете, она доселе пользовалась безукоризненной репутацией. Относились о ней только как о женщине немнож-

ко эксцентричной, немножко вольнодумной, стоящей выше некоторых светских предрассудков, но никого не могли приписать ей в явные любовники. И вот такое-то положение, в связи с той обаятельностью, которою всегда так изящно умела окружать себя эта женщина, служило для компании самым надежным ручательством в успешных действиях Наташи в пользу общую. Все без исключения относились к ней как к женщине в высшей степени порядочной, уважали ее и ухаживали за нею, считая за великое удовольствие угодить ее прихотям и, при случае, проиграть весьма изрядный кушик. Но с дальнейшей беременностью этот правильный ход компанейских дел должен нарушиться, так как баронессе необходимо нужно будет на время удалиться из общества, а удаление ее повлечет за собою непременный ущерб в барышах и выгодах материальных. Ввиду таких соображений граф Каллаш и предложил компании свой остроумный проект насчет семейства Шадурских. Это ловкое дело, если только оно удастся, с избытком вознаградит всю компанию за несколько убыточных месяцев, которые

пройдут в отсутствии баронессы. И компания, и сам Бодлевский апробировали мысль своего сочлена, найдя ее хотя и смелою, и даже дерзкою, но, в сущности, отменно прибыльною.

Согласие было получено, а к этому только и стремился Николай Чечевинский для своих собственных, затаенных целей.

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская страдала нервами уже не первый десяток лет. Часто бывала она застигаема врасплох мучительными мигренями, от которых ее лечили и не вылечивали.

В одну из подходящих минут Бодлевский посоветовал ей переменить доктора и порекомендовал Herr Катцеля, про медицинскую деятельность которого за границей рассказывал он теперь чуть не чудеса.

Княгиня, безусловно верившая в друга своего сердца, почти без малейших колебаний согласилась на его предложение, и маленький Катцель занял место ее домашнего доктора. Прежнему было отказано под первым попавшимся и довольно немудрым предлогом, вроде предстоящей в скором времени поезд-

ки за границу.

Herr Катцель исподволь, осторожно приступил к лечению «в другую сторону». С первого же осмотра своей новой пациентки он решительно объявил, что здешний климат наверное убьет ее, что он, зная немножко свои силы и свою науку, надеется непременно вылечить ее, и только поэтому счел нужным высказать, что болезнь ее несколько серьезнее, чем предполагалось доселе. Он советовал ехать на юг, в Швейцарию, прожить там года два не выезжая и правильно корреспондировать ему оттуда о ходе болезни и лечения, наблюдение за которыми обещал препоручить своему хорошему другу и товарищу, находящемуся там на месте.

Прошло не более месяца, как принялся он за свое лечение, а княгиня уже стала незаметно хиреть, слабеть и разрушаться. Катцель настаивал на одном — ехать как можно скорее за границу. Татьяна Львовна собралась довольно скоро и отправилась в сопровождении своего эскулапа, который непременно хотел лично проводить ее до самой границы.

Уехала Татьяна Львовна печальная от вре-

менной разлуки с Карозичем, который дал слово прибыть к ней непременно через два-три месяца.

На прощание, в Варшаве, доктор Катцель успел наконец, после нескольких подготовительных медикаментов, дать ей один маленький прием такого лекарства, которое уже неизбежно вливало с собою в организм княгини постепенно-медленную, но верную смерть, и эта смерть должна была последовать, по расчетам доктора, месяца через два, не более.

А в это самое время обоих Шадурских — старца и юношу — незаметно, однако же прочно опутывала со всех сторон паутина честной компании.

Старец ходил совсем без ума от баронессы, и весь подчинился ее воле. Не находилось той жертвы, которую бы он не в состоянии был принести ей, не было того нелепого каприза, которого он не постарался бы тотчас исполнить, с предупредительностью впервые очарованного юноши.

Расслабленный гамен, с зачатками разжижения мозга, ныл и таял, и гадко дрожал у ее

ног, и был влюблен до непозволительности. Он забыл и всех и вся, и в грязновато-сластолюбивом умишке своем помышлял о том, как бы лишний раз добиться Наташиной благосклонности, перед которой — увы! — почти постоянно пасовала его старчески фальшивая возбужденность.

Однажды наконец баронесса, с притворно-восторженными слезами на глазах, сообщила ему, что она готовится быть матерью и что он — ее милый, ее прекрасный, ее возлюбленный — отец этого будущего ребенка.

Князь чуть не прыгал от восторга, нюнил, и слюнявил, и падал перед нею на колени, с которых не без труда подымался с помощью Наташи, и то и дело несчетными поцелуями покрывал ее ручки. Сознание, что он еще мужчина и даже вполне может быть отцом, какою-то петушиною гордостью питало его самолюбие. Князь чуть с ума не сходил и по секрету хвастался подчас своим старым приятелям, которые втихомолку беспощадно над ним посмеивались.

Князь Николай Чечевинский все это видел, за всем следил издали и наслаждался...

Судьба, казалось, как нельзя более содействовала ему в его тайных, никому не ведомых намерениях.

«Итак, со старым — идет как по рельсам! — решил он однажды сам с собою, — теперь остается только получше спустить молодого».

И он принялся за подготовку рельсов для этого последнего спуска.

XXXI

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА ПЕТЕРБУРГСКИХ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ

Гениальный проект предстоящего спуска вполне уже созрел в изобретательной голове Николая Чечевинского. Нужен был только надежный и ловкий помощник, а кто же мог быть надежнее и ловчее, как не Сергей Антонович Ковров? И вот мы застаем теперь этих двух друзей в великолепном кабинете первого, с глазу на глаз между собою, за хрустальными рюмками тонкого рейнвейна, с сигарами в зубах, после только что конченного завтрака.

Предметом разговора были Шадурские, которые вообще, со времени внезапной поправки их обстоятельств, представляли собою для всей ковровской компании необыкновенно богатый сюжет, необходимо требовавший достойной обработки.

— Брать на карты — c’est trop misère, et surtout c’est si banal[523], — говорил граф Каллаш, — способ слишком обыденный, да и скучный. По правде сказать, мне эти карты давным-давно уж надоели! Да и притом, время — капитал, а с какой стати убивать несколько недель, а может, и месяцев на то, что весьма легко обделать в несколько дней?

Ковров безусловно соглашался с таковым взглядом на дело, только в виде возражения поставил вопрос: если не карты, то как и на что же еще можно взять?

— А вот в том-то и дело, как и на что! — одушевился Каллаш. — Я об этом думал немало и, кажется, выдумал нечто положительное. Проблема вот в чем: надо изобрести такую штуку, чтобы сам сатана пришел в недоумение да только руками развел, чтобы весь ад улыбнулся нам и сделал кникс с воздуш-

ным поцелуем. Да чего там ад! Ад — пустяки, а чтобы весь ареопаг высших членов лондонской «Семьи» просил бы у нас чести быть почетными членами этого почтенного общества. Вот что надобно!

— Задача недурная, — лениво процедил Ковров, сжимая в зубах сигару, — но слишком широко задумана.

— Это еще не все! — остановил его граф. — Ты выслушай! Задача моя требует вот чего: надо изобрести кунштик, который соединял бы в себе два драгоценных достоинства: первое — быструю и огромную выгоду, а второе — полнейшую безопасность.

— Ну! Условия довольно трудно выполнимые, — сомнительно заметил Серж.

— Оно так кажется, да ведь и смелые мысли не валяются на улице, а приходят вдохновением. Это то, что называется «дар небес», мой друг.

— А у тебя было такое вдохновение? — улыбнулся Сергей Антонович, с немножко ироническим оттенком приятельского скептицизма.

— А у меня было такое вдохновение! —

впадая в его тон, ответил импровизированный венгерец.

— И твоя муза...

— По счету десятая, — наперебой подхватил граф. — И зовут ее Индустрия.

— Это общая наша муза.

— А моя в особенности. Но дело не в ней, а в ее пророческих вещаниях...

— Ну, любезный граф, ты, пожалуйста, без высокого слога! Рейнвейн, как видно, заводит тебя в туманную Германию. Говори-ка проще. В чем дело?

— А дело в том, что надо основать Компанию петербургских золотопромышленников и найти золотые прииски даже и там, где почва геологическим свойством вовсе неспособна производить золото; надо сделать ее производительною. Вот задача! Российские законы, под страхом уголовного суда и наказания, строжайше запрещают гражданам Российской империи, а также и иностранцам куплю и продажу благородных металлов в первобытном и, так сказать, сыром виде, то есть в слитках, в самородках и в песке. Если бы, например, ты у меня купил золото шлиховое, в

невозделанном виде, то есть попросту золотой песок, то мы, по закону, оба подверглись бы приятной прогулке в страны зауральские, и нам предоставили бы удовольствие на месте добывать собственноручно благородные металлы. Оно, конечно, дело полезное, но для нас-то не совсем удобное...

— Комфорту мало, — заметил Сергей Антонович, шутливо скорчив кислую гримасу.

— Ну вот, в том-то и сила! Добровольных охотников на такое удовольствие не отыщешь, а на этой-то оси и вертится весь мой проект, вся золотоносная система. Предварительно надо тебе знать, что золотой песок в массе своей нисколько не отличается хотя бы от медного припоя: по виду припой совсем похож на зерна золотого песку. Ну и представь себе теперь, что мы тайным образом продаем, под видом золотого песку, чистейший медный припой, а у нас охотно его покупают, потому что мы будем продавать десятью или двенадцатью процентами дешевле против казенной стоимости. Покупщик, конечно, не замедлит убедиться, что его великолепнейшим образом надули. Но, спрашивает-

ся, пойдет ли он жаловаться и доказывать на нас, зная, что и ему, вместе с нами, за эту покупку неминуемо предстоит Владимирская дорога?

— Сам себе кто же враг? — согласился Серж, начавший теперь уже с живейшим вниманием прислушиваться к словам своего собеседника. — Только как же ты надувать-то будешь?

— А об этом узнаешь своевременно. Главное в том, что проблема разрешена самым положительным образом: быстрый барыш и полная безопасность. Мы с тобою, кажется, недурные сердцеведы, и потому можем быть вполне уверены, что покупщиков на этот товар всегда будет довольно, и для первого раза я предлагаю тебе сделать опыт на молодом князе Шадурском. А каким образом поддеть его на такую штуку, уж это мое дело — потом сообщу. Но как тебе нравится самая мысль моего проекта?

— Остроумно! — с веселым энтузиазмом истинного увлечения пожал ему руку Ковров.

— За правду спасибо! — чокнулся с ним Каллаш. — Остроумно — это лучшая похвала,

которую я мог от тебя ждать. Выпьем же за благоденствие моего проекта!

XXXII
РЫБА ИДЕТ В ВЕРШУ

Дня через три после этого разговора князь Владимир Дмитриевич Шадурский обедал у Сергея Антоновича Коврова.

Еще сегодня утром получил он записку от последнего, в которой бравый Серж, жалуясь на приключившееся ему нездоровье, просил князя приехать к нему поболтать за обедом.

Князь исполнил эту просьбу и, явившись к назначенному времени, застал у него одного графа Каллаша.

Между прочею болтовнею мимоходом сообщил он, что вчерашнего дня получено у них в доме письмо от княгини Татьяны Львовны, в котором та извещает, что здоровье ее становится все плоше и что поэтому чуть ли не придется ему ехать к ней в Швейцарию.

При последнем сообщении Каллаш мельком и почти незаметно, но весьма многозна-

чительно переглянулся с Ковровым.

Перебегая с предмета на предмет, разговор серьезно установился наконец на тугих временах относительно русских финансов. Сергей Антонович, по его выражению, «доходил до корня», жалуясь «на первичную причину зла» и очень либерально сваливая всю вину на правительство, которое будто бы не дает никакого ходу нашей золотопромышленности, стесняя до последней степени этот важнейший промысел, налагая на промышленников весьма трудные обязательства относительно свободной торговли добываемым металлом и подвергая исключительный сбыт его в казну тысяче таких формальностей, которые необходимо служат источником разных злоупотреблений.

— Да вот вам, на что уж лучше! У меня и факт под рукою, — скрепил он в заключение все свои аргументации. — Есть тут у меня знакомый человек, один из доверенных приказчиков по золотопромышленной части (при этом Сергей Антонович назвал фамилию одного из известнейших наших золотопромышленников). Он теперь в Петербурге. Ну-

с, и вот несколько дней тому назад является вдруг ко мне и как будто озабоченный чем-то. А у меня, еще в прежнее время, разные делишки с ним бывали. И что ж бы вы думали! — делает мне вдруг предложение, по секрету конечно: не помогу ли я сбыть ему золотой песок? А надо вам знать, что эти поверенные и приказчики ежегодно провозят в Россию по нескольку пудов золотого песку, добытого... ну, уж известно!.. — обыкновенным *приказчичьим* способом, и сбывают его контрабандным образом в частные руки. Для покупателя дело оно необыкновенно выгодное, потому что тут вы приобретаете по цене, несравненно более дешевой против правительственной нормы. Поэтому охотников находится много. Да чего же вам лучше! Несколько первых ювелиров (при этом опять названы три-четыре известные фирмы) никогда не пренебрегают такой контрабандой, а в прошлое лето один банкирский дом в Берлине приобрел через здешнего агента своего даже до двух с половиной пудов золота. Так вот теперь-то этот самый приказчик, знакомый-то мой, и ищет случая сбыть свой това-

рец. А провезти-то ему удалось, как говорит, около пуда, если не больше. Я вам привожу это как пример, как факт тех последствий, которые необходимо вытекают из стеснительной системы нашего правительства.

Шадурский вообще мало смыслил в серьезных делах, а в финансовых операциях и тем более оставался круглым невеждою. Поэтому Сергею Антоновичу было весьма легко и удобно, напустив на себя известный тон солидной серьезности делового человека, морочить его такими вздорными речами. Князь, из приличия и для собственного достоинства подлаживаясь под его тон, тоже делал серьезную физиономию и, как бы разделяя вполне мнение своего собеседника, поддакивал ему самым солидным образом. Однако во всем этом разговоре он очень хорошо усвоил себе то понятие, что при случае можно приобрести золото гораздо дешевле и, стало быть, выгоднее, чем продает его государственный банк. А Коврову с Каллашем того-то и нужно было, главнейшим образом, чтобы юный князек, на первый раз, приобрел себе именно эти сведения.

— Сам я, конечно, этими делами не занимаюсь, — отчасти небрежно продолжал Ковров, — и потому не мог дать этому барину никогда дельного совета. Но если бы кому-нибудь, например, пришлось ехать за границу, тот смело бы мог рискнуть на такую операцию, потому что она дала бы весьма и весьма хорошие барыши.

— То есть как же это? — спросил Шадурский.

— А очень просто. Вы покупаете товар здесь, на месте, как я уже сказал, гораздо ниже казенной нормы. Стало быть, на первом же шагу делаете уже очень выгодный оборот. Затем вы уезжаете вместе с товаром за границу, а там, чуть только поднялся курс на золото, вы в первом же банкирском доме свободно можете сбыть по соответственной цене, и я таки знаю пример, что поверенный банкирского дома (в этом месте опять последовало упоминание известного в Петербурге имени) полтора года тому назад зашиб себе этим самым способом славную копейку! Да вот как: купил он песку на сорок тысяч, а через полтора месяца сбыл его в Гамбурге за шестьдесят.

Как хотите, но пятьдесят процентов на капитал в полтора месяца, оно чего-нибудь да стоит!

— Ах, черт возьми! Да это в самом деле превыгодный оборот! — с живостью вскочил с своего места Шадурский. — Вот бы мне кстати! Я б его отлично спустил в Женеве или в Париже, — домолвил он шутливым тоном.

— А что ж вы думаете? Конечно! — подхватил Сергей Антонович, в противоположность ему, самым серьезным образом. — Вы ли, другой ли кто — во всяком случае, остались бы в большом барыше. Потому этому барину нужно ехать обратно в Сибирь, заживаться некогда, обычный покупщик его в отсутствии, к незнакомому человеку с таким предложением обратиться не совсем безопасно, так что ему, бедняге, приходится теперь хоть назад вести свое золото. Да он рад-радехонек будет сбыть его даже несколькими процентами ниже обычной контрабандной цены. Я готов держать какое угодно пари, что покупатель остался бы в выигрыше верных пятидесяти процентов — и вы заметьте — в какой-нибудь месяц, а много два! Если бы мне лишние

деньги да подходящий случай — такой, как теперь, — божусь вам, господа, непременно соблазнился бы, нарочно бы даже отправился за границу для сбыта!

— Дело очевидное, — вполне согласился Каллаш.

— Еще б тебе не очевидное! Редкое дело! Никакая операция в настоящее время не может дать больше. Золото стоит по курсу довольно высоко, да есть в виду шансы, что подымется еще выше, стало быть, расчет верный, только бы деньги, говорю тебе, а купить-то — купил бы непременно!

— А что вы думаете — ведь в самом деле соблазнительно?! — вопросительно остановился перед ним Шадурский, скрестя на груди свои руки.

Этой фразой он как будто вызывал Коврова на поощрительный ответ, потому что в голове его взбудоражилась уже мысль о приобретении контрабандного товара. Князек понимал, что это дело весьма *выгодное*, а от выгоды он чувствовал себя никогда не прочь и по примерной вихлявости своих нравственных принципов даже вовсе не задумался над

тем, насколько будет честно подобное приобретение. Да он даже и не понимал, что бы могло быть в нем предосудительного. В голове его засел еще с детства втолкованный, весьма узкий и ограниченный кодекс нравственных понятий о честности. Князь, например, знал, что не отдать карточный долг — нечестно, украсть платок из кармана — нечестно, убить человека из-за угла — тоже нечестно; но взять, например, взаймы и не отдать — отчасти дозволительно, оклеветать мужа в глазах жены, за которой ухаживаешь, — совсем позволительно, равно как и пустить на ветер имя женщины, выставив ее, при случае, своею или чужою любовницей, сынтриговать иногда по службе против приятеля и дружески подставить ему ногу при случае — тоже считалось делом допустимым, ибо могло быть оправдано разными обстоятельствами. Что же касается до купли контрабандного товара, то в этом юный князь не видел ни малейшей предосудительности, потому что ведь приходилось же ему покупать контрабандные сигары и провозить с собою из-за границы, ради тогдашнего модно-либе-

рального шика, контрабандные издания русской заграничной печати. А матушка его однажды даже самолично сыграла роль контрабанды, протащив через таможню целый ворох брюссельских кружев, тщательно обмотанных вокруг ее собственного тела. Стало быть, нравственное чувство князя не находило со своей стороны никаких возражений против покупки золотого песку, тем паче что эту последнюю покупку можно почти тотчас же сбыть с огромной выгодой, а заманчивость выгоды сильно-таки в эту минуту подмывала рискнуть на приобретение запретного товара.

— Нда, в самом деле, очень и очень-таки соблазнительно! — продолжал он, стоя в прежней позе перед Сергеем Антоновичем и не сводя с него того же вопросительного взгляда.

— Еще бы нет! — с улыбкой подмигивая глазом, прицмокнул Ковров. — Горячее дело, кабы только деньги!

— А я бы не прочь, ей-богу, не прочь! — удостоверил Шадурский. — Познакомьте меня с этим приказчиком.

— Вас-то? М-м... пожалуй, — как бы нехотя, небрежно замялся Ковров. — Если хотите — отчего же... Ради наших добрых отношений, я не прочь доставить вам случай увидаться с ним, а там уж делайте сами: он при вас произведет пробу, вы увидите достоинство золота — стало быть, дело будет начистоту. Только предупреждаю вас: во-первых, если хотите купить, то покупайте скорее, потому что долго ему ждать некогда — он и то уж, говорю вам, сильно зажился в Петербурге, а во-вторых, держите это в большом секрете, потому что неосторожным словом вы можете повредить ему, да и в случае покупки тоже помалчивайте, а иначе и вам могут быть неприятности.

— Ну, уж это само собой разумеется! Дело понятное, — согласился Владимир Дмитриевич. — Деньги у меня теперь могут быть скоро, поездка за границу на носу: не сегодня-завтра, пожалуй, уеду, поэтому неблагоразумно было бы упустить такой прекрасный случай. Итак, по рукам? — протянул он свою ладонь Коврову.

— То есть в чем это по рукам? — приоста-

новился осторожный Сергей Антонович. — Я ведь здесь человек посторонний, и согласитесь, cher prince[524], никак не могу дать вам слова за моего знакомого.

— Да я не об этом, — возразил Шадурский, — я только прошу вас, познакомьте меня с ним, одним словом, сведите нас, ну, и того... шепните ему при случае, что я не прочь приобресть его песок. Вы сделаете мне большое одолжение.

— О, это одолжение совсем иного рода! Это я всегда могу, тем более что мы с вами такие добрые и хорошие знакомые. Отчего ж и не сделать для вас таких пустяков! Что касается рекомендации, можете смело на нее рассчитывать.

И они приятельски пожали друг другу руки.

— Ха-ха-ха! Сам лезет в вершу! — самодовольно потирая руки, хохотал Сергей Антонович по уходе Шадурского. — Согласись, любезный граф, что у меня есть-таки дипломатические способности?

— Кто же в них отказывал Сергею Антоновичу Коврову! — весело и, по-видимому, со-

вершенно искренно польстил ему Каллаш.

— Но я не думал, чтоб он так скоро поддался.

— А я, напротив, был почти уверен. Ведь это перепел, который на дудочку сам лезет в сети. Во всяком случае, кажется, можно себя поздравить, — заключил граф, который — себе на уме — еще заранее решил не принимать почти ни малейшего участия в известном разговоре Коврова с князем и держаться все время совсем посторонним и ни к чему не причастным человеком. Такое поведение он признавал необходимо нужным для своих собственных тайных расчетов и целей.

XXXIII
ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

И Каллаш, и Ковров были слишком осторожны для того, чтобы принять непосредственное личное участие в самой сделке с золотым песком. По общему правилу мошенников высшей школы, Кречинские всегда должны оставаться в стороне, не сходя с пьедестала своей безукоризненности, а дело вместо них обязаны варганить Расплюевы.

Одним из Расплюевых, состоящих при Серже Коврове, был некто пан Эскрокевич — личность темная, наружно грязноватенькая и потому допускавшаяся к благородному Сержу не иначе как с черного хода, через кухню, да и то в такое лишь время, когда в квартире не было никого постороннего.

Эскрокевич был деляга на все руки, и особенно отличался на поприще фокусов. Часы, табакерки, портсигары, серебряные ложки, даже большие бронзовые пресс-папье получали вдруг способность исчезать невесть куда под его руками и вслед за тем столь же мгно-

венно, невесть откуда, появляться на прежнем месте. Эта столь драгоценная в темном деле способность была приобретена паном Эскрокевичем еще в юные годы, когда разъезжал он по польским ярмаркам и потешал в балаганах почтеннейшую публику жраньем горящей смолы и испусканием из утробы своей целого вороха лент и бумажек.

Пан Эскрокевич был неизменный золотой человек и в том еще отношении, что мог принимать на себя какие угодно роли, преображаться в какую угодно личность, меняя, соответственно, и самый характер, и тон, и манеры, причем у него высказывалась большая актерская способность.

Ему-то и предстояло сыграть теперь роль сибирского приказчика.

Прошло не более двух суток со времени последней беседы.

Князь Шадурский только что успел проснуться поутру, как человек доложил ему, что его дожидается какой-то господин Вальяжников.

Князь набросил халат и вышел в гостиную, где перед ним предстала довольно презента-

бельная, хотя и весьма пестро одетая фигура пана Эскрокевича.

— Позвольте иметь честь представиться, — начал он, раскланиваясь с князем. — Иван Иванович Вальяжников. Сергей Антонович, господин Ковров, были столь любезны, что сообщили мне об известном вашем намерении... этта! насчет песочку. Так ежели ваше сиятельство не раздумали, я с удовольствием готов продать вам.

— А, очень приятно! — весело улыбнулся Шадурский и указал на кресло.

— Чтобы не мешкать по-пустому, — продолжал Эскрокевич, — позвольте мне просить вас к себе. Я стою в гостинице; там вы можете видеть товар; сделайте пробу, и, коли понравится, я буду очень счастлив, если успею угодить вашему сиятельству.

Князь Владимир немедленно же оделся, приказал заложить карету и отправился вместе с импровизированным Вальяжниковым.

Приехали к одной из довольно скверненьких гостиниц и вошли в довольно скверненький нумер.

— Вот-с и моя убогая хата! Ведь я здесь, так

сказать, на походе... Покорнейше прошу садиться! — егозил перед Шадурским пан Эскрокевич. — Не теряя драгоценного времени, быть может, ваше сиятельство, желаете полюбопытствовать на мой товар? Так вот-с, я охотно могу показать вам.

И он вытащил из-под кровати большой чемодан, внутри которого помещалось штук до пяти разной величины полотняных мешочков, туго наполненных и крепко завязанных.

— Вот-с, это все он и есть — он самый-с, наш сибирский песочек, — любезно улыбаясь и полукланяясь, жестом руки указывал Эскрокевич на чемодан, словно бы рекомендуя его Шадурскому.

— Не угодно ли вашему сиятельству самолично выбрать любой из этих мешков и сделать пробу? Я нарочно предлагаю вам это, чтобы вы были в полной безопасности насчет дела. Лучше всего, коли сами увидите, что дело чистое, без всякой фальши. Любой выбирайте.

Шадурский выбрал один из мешочков, и когда пан Эскрокевич развязал его, глазам юного князя представилась масса мелких ме-

таллических зерен, на которую он взирал не без внутреннего удовольствия.

— Как же вы будете делать пробу? — спросил он. — Ведь тут ни паяльной трубки, ни пробирных брусочков нет.

— О, будьте покойны, ваше сиятельство! Все, что потребуется, — все найдется! И трубочки паяльные, и азотная кислотка-с, да даже децимальные весы — так и те не забыты, потому наше дело такое, что неравно подыщется покупатель, так чтобы лишних людей не беспокоить и в дело не посвящать, мы завсегда уже имеем при себе все необходимые предметы. Вот только угольков-то нету... Ну, да все равно, сейчас прикажу принести.

И, высунувшись в дверь, он отдал коридорному приказание, а тот через минуту уже принес на тарелке три-четыре угля.

— Вот и прекрасно! Теперь, стало быть, все готово, — потирая ладони, возгласил по уходе человека пан Эскрокевич и для пущей предосторожности замкнул на ключ двери.

— Берите любой уголек, ваше сиятельство, а впрочем, чтобы не пачкать вам пальчики, позвольте-ка, лучше я сам возьму, а вы на-

сыпьте на него щепотку песку, — лебезил он перед князем. — Уж вы извините, что я заставляю вас все это самолично проделать, потому оно, поверьте, не от какого-нибудь невежества с моей стороны, а, собственно, не для чего иного, как чтобы ваше сиятельство были вполне благонадежны, что здесь никакого подвоха и быть не может.

Говоря это, он достал все необходимые приборы и зажег свечу.

Пошла в ход паяльная трубка. Вальяжников производил опыт, а Шадурский внимательно следил за каждым его движением.

Уголь накалился добела; песок расплавился и исчез, а на месте его, когда жар несколько остынул и когда импровизированный химик поднес уголек Шадурскому, Владимир Дмитриевич увидел маленький королек золота, засевший в легкой трещине, которую весьма легко мог дать уголь во время накаливания.

— Снимите, ваше сиятельство, этот королек-с и положите его, для пущей сохранности, в свой бумажник, — говорил Эскрокевич, — пожалуй, хоть в бумажку заверните; да и ме-

шочек-то с золотом держите при себе, чтобы в вас уж никакого сумления не было, потому я этого никак не желаю.

Шадурский охотно исполнил и это последнее предложение.

— Теперь, ваше сиятельство, я бы желал, чтобы вы опять же таки самолично изволили выбрать второй мешочек: мы тем же самым порядком сделаем еще два-три опыта.

Князь и на это согласился.

Эскрокевич подал ему новый уголек для насыпки песку и опять принялся за паяльную трубку. И опять исчез медный припой, а в трещине появился новый королек золота.

— Ну-с, полагаю, и этих двух опытов будет довольно. Как вы на этот счет изволите думать, ваше сиятельство? — вопросил мнимый Вальяжников.

— Да чего там еще? Дело очевидное, — согласился князь.

— А коли очевидное, так мы его сейчас сделаем еще очевиднее. Вот-с вам и пробирный брусочек, а вот вам и азотная кислота. На брусочке попытайте-ка эти два королька, так сказать, практически, а азотной кислотой хими-

чески. А коли хотите и пуще того убедиться, так мы сделаем вот что... Какое именно количество золота угодно вам приобрести?

— Да чем больше, тем лучше. Я готов хоть все эти мешки купить.

— Очинно вами благодарен, потому — это для меня самое подходящее, — слегка поклонился Эскрокевич, — и как ежели есть на то ваша готовность, то я уж покорнейше попрошу вас: каждый мешочек взять, посмотреть и, завязамши самолично, припечатать собственною вашего сиятельства печатью. Потом вы возьмите один королек, и мы вместе отправимся к лучшему из столичных ювелиров. Пусть он нам определит достоинство этого золота, тогда дело будет в аккурате: и для вас, и для меня безобидно, потому — без всякой фальши и безо всякого сумления.

Князь был очарован честностью и открытым образом действий Вальяжникова.

Поехали к одному из известнейших ювелиров. Этот при них же сделал опыт и объявил, что золото химически чисто, без всякой примеси, стало быть, высшего достоинства.

По возвращении в гостиницу пан Эскроке-

вич свесил мешки, в которых оказалось пуд и восемь фунтов. Три фунта пошли на скидку за вес самих мешков и, таким образом, чистого золота, по этому расчету, должно было оставаться пуд и пять фунтов.

— Почем же вы хотите за фунт? — спросил его Шадурский.

— Цена безобидная, ваше сиятельство, — пожал плечами сибиряк, — потому как я продаю из одной только моей крайности, что безотменно нужно уезжать в Сибирь — очинно уж зажился здесь, в Питере, — а не сбымши этого товара никак невозможно уехать. Полагаю, казенная цена вам небезызвестна? А я согласен хотя на двести рублев с фунта. Меньше этого ни одной копейкой не могу — и то ведь чуть не на сто рублей скидки даю!

— Ну хорошо! — согласился Шадурский. — Стало быть... это... — прищурился и замямлил он, соображая, — по двести рублей фунт... пуд и пять фунтов...

— Это придется ровно девять тысяч, ваше сиятельство. Так-таки ровнехонько девять, — предупредительно подхватил Эскрокевич.

Князь, не затягивая дела, выдал ассигнов-

ку и, захватив чемодан с заветными мешками, отправился вместе с сибирским приказчиком в дом своего батюшки, где Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский, уступая настоятельным требованиям князя Владимира, хотя и неохотно, однако же немедленно выдал девять тысяч, в получении которых тут же и расписался красноярский мещанин Иван Иванов, сын Вальяжников.

Князь был в восторге от своей покупки; впрочем, исключая Коврова, никому не проболтался о ней ни единым словом.

Сергей Антонович дал ему добрый дружеский совет, не делая лишних проволочек и мешкотни, уезжать поскорее за границу, так как, по биржевым сведениям, курс на золото в данную минуту стоит довольно высоко, и, стало быть, упустить благоприятный случай для выгоднейшего сбыта было бы в высшей степени непрактично.

Князь действительно немедля взял заграничный паспорт, упрятал понадежнее да посекретнее свое приобретение и благополучно отправился за границу, объявив, что уезжает к матери, здоровье которой необходимо тре-

бует его присутствия.

Чечевинский, Ковров и Эскрокевич полюбовно разделили между собою столь легко приобретенные деньги. Успех нового предприятия, на первый раз, оказался блистательным, потому все трое чувствовали себя необыкновенно в духе, и Сергей Антонович с величайшим удовольствием отдал полную справедливость отменному остроумию и научным сведениям своего друга, графа Каллаша.

Вся штука состояла в том, что медный припой, весьма походящий своим наружным видом на золотой песок, от сильного накаливания с помощью паяльной трубки разлагается на цинк и медь. Цинк сгорает вполне, а медь совершенно чернеет и потому скрывается на угле. В самом же угле предварительно врезывается простым перочинным ножичком небольшое углубление, имеющее вид трещины, куда вкладывается королек чистого золота, поверхность которого, приходящаяся не более как на пол-линии ниже общей поверхности самой трещины, затирается угольным

порошком, смешанным с воском.

Поэтому, стало быть, «химику», производящему опыт, остается только хорошенько изучить заранее вид самого угля и особенно то место, где находится трещина, для того чтобы безошибочно выбрать его между десятком других углей и чтобы в конце концов опыт дал блистательные результаты.

На первый случай пан Эскрокевич приуготовил все четыре угля, принесенные коридорным слугою. Он нарочно избрал временным местом своего пребывания одну из очень хорошо знакомых ему темных гостиниц, в связи с хозяином которой и прежде еще обделывал темные делишки. Само собою разумеется, что коридорный был ему «свой человек», которому заранее сдались на руки отменно сфабрикованные угли.

Таким образом было основано знаменитое и до наших дней Общество петербургских золотопромышленников, которые, с легкой руки князя Владимира Дмитриевича Шадурского, производили, да и доселе еще производят свои золотопромышленные операции, с величайшим успехом расширяя круг своей дея-

тельности не только на провинции, но даже и на иностранные государства.

XXXIV
ДВЕ НЕПРИЯТНОСТИ И ОДНО УТЕШЕНИЕ

Не прошло и трех недель с отъезда князя Владимира, как старый гамен был поражен ужасною вестью, случайно вычитанною им из одной французской газеты, где во всеобщее сведение публиковалось, что один путешественник, некто князь Владимир Шадурский, пойман на весьма некрасивой мошеннической проделке, которая заключалась в том, что он предложил одному банкирскому дому купить у него целый пуд золотого песку, оказавшегося, по немедленному расследованию, простым припоем. «Хотя из обстоятельств следственного дела, — извещала эта газета, — кажется, можно прийти к заключению, что и Шадурский был жертвою ловкого обмана — так по крайней мере сам он показывает, — однако же намерение его сделать в свою очередь продажу, воспрещаемую зако-

ном, ясно показывает в нем мошеннический, недобросовестный образ действий. В настоящее время князь арестован и вскоре имеет быть подвергнут суду присяжных».

Известие это в первую минуту нанесло князю сильный удар, и только одна нежная ласка да теплые заботы и утешения баронессы фон Деринг заставили его забыть в ее объятиях всю горечь этого скверного обстоятельства.

День ото дня старик все более и более подпадал под обаятельную власть этой женщины. Он решительно становился слаб рассудком вследствие странной, ненормальной страсти, которую иногда мы можем воочию наблюдать как печальное явление в весьма многих старцах нашего времени. Он утратил всю самостоятельность своей личной воли, смотрел на все глазами баронессы, думал ее мыслями, говорил ее словами, только, разумеется, это были не те слова и мысли, которые составляли настоящую, внутренно-сокровенную *суть* этой женщины. И если внимание и ласки ее так удачно помогли князю забыть впечатление, произведенное на него за-

граничным бесчестием родного сына, то благодаря этим самым ласкам и своей старческой влюбленности внезапная телеграмма, возвещавшая смерть княгини Татьяны Львовны, была встречена им почти равнодушно. В душе его уже давным-давно не оставалось ни искорки чувства к этой женщине, что, впрочем, читатель отлично мог уже видеть из самого начала нашего повествования, и поэтому ее смерть могла только изумить его как совсем неожиданное событие. На совместное сожительство в течение долгих лет побуждал их один только долг светских приличий. Поэтому и теперь, ради тех же самых приличий, старый князь облекся в траур, то есть заменил свои модные галстуки и панталоны черным цветом и надел печальный креп на пуховую шляпу.

Полиевкт Харлампиевич немедленно по получении телеграммы был отправлен им за границу — хоронить покойную княгиню. Он должен был привезти в Петербург ее тело, и, две недели спустя, гроб Татьяны Львовны с надлежащею помпой был встречен на пристани парохода и предан земле на кладбище

Александро-Невской лавры, где целая группа изящных памятников возвещала прохожим о месте упокоения князей Шадурских прежних, восходящих поколений. Князь держал себя на этих похоронах вполне прилично, то есть был умеренно грустен, и в тот же вечер инкогнито отправился утешать эту умеренную грусть в интимной будуарной беседе с баронессой фон Деринг.

Между тем вскоре пришло новое известие и о том, что князь Владимир Шадурский, за намерение совершить мошеннически незаконную продажу, приговорен судом к известной пене и тюремному заключению на несколько месяцев.

Блистательная карьера юного кавалериста была испорчена: его исключили из службы.

Но... все то же неизменно теплое участие баронессы опять-таки помогло старому князю легко перенести и эту последнюю неприятность. Под влиянием своего чувства он становился все более и более эгоистом, так что теперь его уже не трогало ничто, исключая того, что непосредственно касалось баронессы и его собственной страсти. Он сделался даже

как-то нравственно неряшлив относительно суда и мнений того избранного общества, которому подчинялся всю свою жизнь, и в своем старческом ослеплении ничего не знал, ничего не видел и не слышал, что творилось вокруг него, не замечая, сколько странных улыбок и заочных осуждений вызывает его непозволительное по годам поведение. Теперь ему действительно все стало трын-трава, лишь бы только она — несравненная баронесса — не переставала ворковать ему ласковые речи, метать на него порою страстные взоры и хотя немножко, хотя изредка снисходительно дарить своею драгоценною лаской.

А между тем дела его день ото дня приходили все в большее расстройство. Он не считал и не замечал, сколько денег, потраченных на драгоценные подарки и отданных как бы заимообразно, переходили из его княжеской конторской кассы в карманы очаровательной акулы.

Компания благоденствовала и ликовала, глядя на эти полновесные результаты, которые приносила ей ловкая интрига Наташи. А Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский,

с своей стороны усматривая, что «светило невозвратно уже склоняется к своему закату, нисходит, так сказать, от зенита к надиру», тоже не желал упускать благоприятного случая и «неупустительно» наполнял свои собственные карманы остатками княжеского благосостояния.

А время шло да шло себе и незаметно привело баронессу фон Деринг к шестому месяцу ее беременности.

Далее уже невозможно было маскироваться. Никакой корсет и кринолин не в состоянии уже были скрывать сущности дела, и поэтому благоразумие требовало своевременной ретирады из Петербурга. Для света — баронесса объявила свой отъезд, и Владислав Карозич, в качестве ее родного брата, при случае заявлял всем и каждому, что сестра его уже уехала на время за границу.

Между тем баронесса не уезжала. Для виду она перешла только на другую квартиру, нанятую и меблированную князем, и решилась до конца своей болезни жить совершенной затворницей, никуда не показывалась из своего обиталища и, ради моциону, выезжала

только по вечерам, да и то большею частью в закрытом экипаже.

Теперь уже расслабленный гамен торчал у нее чуть что не целыми днями, и Наташа поневоле должна была благосклонно выносить его присутствие, ибо в это-то самое время и намеревалась вконец уже обобрать своего пламенного поклонника.

XXXV

НЕОЖИДАННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕОЖИДАННЫЙ ДЛЯ ГАМЕНА ИСХОД ЕГО

Баронесса родила мальчика. Старый князь пришел было немножко в недоумение от некоторой преждевременности родов, но совокупные усилия акушерки, доктора Катцеля и отчасти самой роженицы с полным успехом убедили его наконец, что преждевременные роды — явление довольно обыкновенное и в данном случае вызвались, во-первых, нравственным потрясением, во-вторых, простудою. Нравственное потрясение, как уверила его баронесса, заключалось в неожидан-

ном письме ее мужа, где он извещал о намерении своем приехать в Петербург, — стало быть, можно судить, какое впечатление долженствовало вызвать это обстоятельство в ней, женщине столь сильно увлеченной другим, столь много любящей этого другого. Вторая же причина, которая, в связи с нравственным потрясением, вызвала преждевременные роды — по объяснению доктора и акушерки, — была не что иное, как простая простуда ног: баронесса неосторожно вздумала пройтись пешком вечером, в сырую и ветреную погоду. Князь бесконечно и очень горько упрекал себя перед нею за оплошность, за то, что недосмотрел и допустил ее, даже и «в свое отсутствие», сделать такую неосторожность. Утешился он только тогда, когда Herr Катцель уверил его, что родильница вне всякой опасности и ребенок, не доношенный без малого три недели, точно так же совершенно здрав и невредим и подает самые положительные надежды на дальнейшую прочность своего здоровья.

Чему хочется верить, тому веришь так охотно! И потому Дмитрий Платонович Ша-

дурский убедился вполне опытными доводами врача и акушерки, а убедившись однажды, он уже просто купался в восторге от гордого сознания, что не только может быть отцом, но и *есть* уже отец на самом деле. Он приготовил в подарок дорогую, изящную шкатулку, в которой баронесса должна была найти двадцать пять тысяч банковыми билетами. Князь дарил ей это для ребенка, и хотя Хлебонасущенский сильно-таки крякнул, когда получил внезапное требование на такую сумму, тем не менее выдал ее, безнадежно махнув рукою: «Несись, мол, утлая ладья, куда бросает тебя рок; скоро от тебя и щеп не останется, а мне все равно: я уже в мирной пристани и благоразумно подберу твои остатки!»

На другой день после родов старому князю доложили, что его необходимо желает видеть по делу граф Николай Каллаш.

Шадурский приказал просить его в свой кабинет.

Венгерский магнат вошел с весьма серьезным, озабоченным видом, который ясно изобличал, что привело его сюда дело важного

свойства.

— Я приехал к вашему сиятельству, — начал он джентльменски-официальным тоном, — по поручению моего близкого друга, брата баронессы фон Деринг, господина Карозича, который дал мне полномочие для объяснения с вами.

Старый гамен сильно-таки смутился от такого непредвиденного начала и растерянно объявил, что он готов выслушать.

— Ваше сиятельство, конечно, должны предвидеть, что нам предстоит разговор вполне откровенный, — продолжал почти тем же тоном Каллаш после своего приступа. — Господину Карозичу вполне сделались известны отношения ваши к его сестре. Он догадывался о них еще гораздо ранее, но... я полагаю, вы оцените то чувство деликатности, которое заставило его молчать до сих пор, когда уже появились полные последствия ваших отношений.

Князь Шадурский, молча и сидя, слегка нагнулся корпусом в коротком полупоклоне.

— Господин Карозич желал бы знать ваши намерения относительно этого ребенка, —

продолжал граф. — В какие отношения намерены вы стать к нему?

— То есть... как в какие отношения? — возразил гамен, не вполне еще оправясь от своего смущения. — Я готов сделать все, что могу...

— Мне остается только от лица господина Карозича искренно благодарить вас за такую готовность, но господин Карозич, конечно, пожелает знать более определенным образом, в чем именно оно заключается?

Старый князь замялся. Он не знал и не сообразил еще, что ему ответить на столь положительный вопрос.

— Я... я, право, не знаю, как вам это сказать... Я обдумаю, — затруднительно пожал он плечами.

— В таком случае обдумаем вместе. Ум — хорошо, два — лучше, говорит ваша русская пословица.

— Я уже кое-что сделал, — мало-помалу оправлялся Шадурский, — это, конечно, немного... что мог, в первую минуту... но я сделаю гораздо больше.

— То есть что же именно? Ваше сиятель-

ство должны извинить меня за такие настойчивые вопросы, но... вы понимаете...

— О да, конечно! — подхватил гамен. — Я охотно готов объяснить вам!.. Долг отца... я это понимаю... и потому... на первый раз я уже обеспечил участь моего ребенка двадцатью пятью тысячами рублей.

— Хм... Это, конечно, так, но... — раздумчиво замялся Каллаш, — но... не находите ли вы, что подобного рода отношение к ребенку любимой женщины будет весьма оскорбительно для его матери? Это можно очень удобно и даже с большим для себя достоинством сделать для какой-нибудь танцовщицы, для содержанки; но не думаю, чтобы можно было с тем же достоинством поступить таким образом относительно баронессы фон Деринг. Баронесса не содержанка; баронесса полюбила вас искренно и без расчета... Да Боже мой! Кому же лучше и знать про это, как не вам самим!

— О да, да!.. О да!.. Я знаю, знаю!.. — залепетал князь, снова приходя в свою масляную восторженность.

— Вам известно светское положение баронессы, стало быть, вы можете оценить и ту

жертву, какую она приносила для вас, поддавшись и своему, и вашему увлечению.

Эти слова мягким елеем ложились на ловеласовское самолюбие старца; они ласкали его ухо и льстили тщеславной гордости; князь осязательно мог убедиться теперь, что не только он сам, но и другие считают его романтическим героем-победителем неприступного сердца прекрасной светской женщины.

— Вам известно, что она замужем, — продолжал граф, — и до связи с вами светская молва ни на кого не могла указать как на ее любовника, поведение ее было безукоризненно, и тем серьезнее должны быть теперь ваши обязательства относительно вашего ребенка.

— Но что же мне сделать? Научите меня — я заранее на все согласен для этой женщины! — воскликнул Шадурский, протянув гостю обе руки, как бы в знак полной своей готовности. — Я теперь вдовец, я готов начать бракоразводное дело и... даже жениться на ней! Я на все готов!

— О, конечно, это было бы самое лучшее,

что только могли бы вы сделать, но... к сожалению, баронесса католичка, ее муж тоже католик, а вы знаете, как у них трудно даются разводы! Да и потом, согласится ли еще барон? Это вопрос! А я сильно сомневаюсь в его согласии... Напротив, сколько мне известно от Карозича, он, кажется, хочет давно приехать к жене, в Россию.

— Я слыхал... слыхал уже об этом! Что же делать, в таком случае? — пожимал плечами Шадурский. — Я, право, теряюсь... все это так затруднительно...

— Хотите вы знать заветное желание баронессы? — решительно поднялся граф Каллаш. — Сама она едва ли когда решится высказать вам это, но я знаю, что исполнением ее желания вы навеки привязали бы к себе сердце женщины. Хотите, говорю, знать его? Баронесса фон Деринг желает, чтобы сын князя Шадурского носил имя своего отца и пользовался всеми правами законного сына.

Старый гамен, в недоумении, только и мог сделать, что выпучить на графа глаза свои.

— Если вам дорого самое сердечное желание любимой женщины, — с серьезным до-

стоинством, горячо и благородно говорил Каллаш, — если вы оценили ее бескорыстную любовь и все те жертвы, которые она принесла для вас, вы усыновите законным путем вашего сына. Она ведь для себя ничего не хочет от вас, кроме теплого чувства, — она просит об этом для вашего же собственного ребенка! Будьте же, князь, великодушны! Будьте благородны относительно этой чудной женщины.

— О, всегда и во всем! — горячо воскликнул Шадурский с неподдельным увлечением. — Я так счастлив... Она дала мне столько блаженных минут... Уверьте и ее, и ее брата, что я все, все готов сделать! Я так люблю ее!.. Ах, если бы вы знали, что это за чувство — любовь! Если бы вы знали!..

Николай Чечевинский усиленно хмурил брови и кусал свои губы, чтобы не прыснуть смехом в лицо расслабленному ловеласу.

Действительно, безобразно влюбленный, чувственный старичонко был крайне жалок и крайне смешон в эту минуту.

— Но скажите, — продолжал он, раздумавшись сам с собой, — каким же образом это сделать — насчет усыновления? Ведь я вдо-

вец; покойная княгиня умерла уже несколько месяцев, а ребенок только что родился... Мой сын Владимир, наконец, будет протестовать против этого. Как тут быть мне? Научите меня, мой добрый граф!.. Я теряюсь... Я тут исхода не вижу.

— Исход есть, и очень удачный исход! — уверенно возразил ему Чечевинский. — Если вы захотите довериться мне, я, уважая в вас ваше чувство и уважая баронессу, найду исход и помогу вам в этом деле!

Шадурский с горячей благодарностью пожал ему обе руки.

— Лет пять тому назад, в Варшаве, известная графиня Лайдомирская нашлась в точно таком же положении, — говорил ему меж тем граф Каллаш, — и любовник усыновил ее ребенка.

— Но как же? — нетерпеливо прервал его Дмитрий Платонович.

— Он женился.

— На ком? На Лайдомирской же?

— Нет, она была уже замужем. Он женился на первой попавшейся умирающей женщине. Венчание происходило у ее смертного одра, и

через трое суток она умерла, а дело об усыновлении пошло законным путем, и ребенка усыновили.

— На первой попавшейся женщине... — в великом раздумье и, словно бы сам с собою, медленно молвил Шадурский.

— Да, на первой попавшейся и — главное заметьте — *на умирающей женщине,* — многозначительно пояснил ему граф Каллаш.

— На умирающей... — все в том же недоумелом раздумье продолжал Дмитрий Платонович.

— Да, и не иначе как *только на умирающей,* на безнадежно больной, которая непременно умерла бы через несколько суток. Тогда вы будете иметь полное законное право ходатайствовать об усыновлении; вы, конечно, покажете при этом, что ребенок — от вашей новой законной жены; свидетели, в случае надобности, тоже найдутся.

— Да, да... разумеется... разумеется... от новой законной... и свидетели тоже, — говорил князь под наплывом все того же раздумья.

— Она умрет, и вы снова будете свободны, — разжевывал ему Каллаш.

— Да, да... умрет, а я свободен... Это так, это хорошо... Я буду свободен.

— Итак, если вы согласны, то положитесь во всем на меня: я берусь устроить вам это дело; вы не будете знать почти никаких хлопот при этом. Теперь, князь, я жду только вашего решения.

Шадурский словно бы очнулся.

— Решения? — проговорил он, подымаясь с места. — Да... я почти согласен... Но вот... хочу только увидеть мою баронессу... Я вам дам сегодня же решительный ответ... Я вам так благодарен, так благодарен за ваше участие!.. Я только увижусь с нею... Сегодня вечером в восемь часов я жду вас — мы переговорим окончательно.

«Эге, да ты, гусь, не так еще глуп, как о тебе привыкли думать!» — с внутренней сокровенной улыбкой подумал про себя Николай Чечевинский и откланялся князю, совершенно покойный и довольный собою, ибо знал и был уверен, что ничто так не подвинет старого гамена решиться, очертя голову, на предложенное ему сумасбродство, как один час интимной беседы с Наташей, которая стояла слиш-

ком заинтересованной участницей этой комедии, понимая ее, впрочем, исключительно только в смысле необыкновенно выгодной и оригинальной плутовской проделки.

XXXVI
СВАДЬБА СТАРОГО КНЯЗЯ

Ровно в восемь часов вечера Николай Чечевинский получил полное согласие князя. Расслабленный гамен чуть не хныкал перед ним от преизбытка душевного, рассказывая, как *она* встретила предложение об усыновлении «нашего» ребенка, какие слезы благодарности и восторга заблистали при этом на ее глазах, как она его любит и прочее, что уже венгерский граф имел случай выслушать сегодняшним утром.

— Я весь в вашей власти. Делайте, устраивайте — я на все согласен. Она, она этого желает — ну и достаточно! — говорил Шадурский, мышиным жеребчиком расхаживая по комнате. — Только не иначе как на умирающей, не иначе! — прибавлял он торопливо и озабоченно. — Хорошо, если бы можно было

найти une pauvre personne de la noblesse[525]... Вы понимаете, хоть и умрет, а все же... mesalliance[526]... Лучше, когда бы бедную дворянку...

— Будьте покойны, князь, мы с Карозичем постараемся сделать для вас именно то, что вы так желаете, — удостоверил его Чечевинский.

— Но где же достать такую точно женщину, какая нам нужна?

— Положитесь на меня: я сумею добыть себе надежных людей, которые выищут. Сам, наконец, буду осторожно пытать у наших филантропок — им ведь известны многие из таких несчастных, а это, поверьте, самый кратчайший путь для наших поисков.

— Но... согласится ли больная венчаться накануне смерти?

«Ты положительно бываешь порою менее глуп, чем думают!» — снова подумал про него Каллаш и вслух поспешил успокоить гамена насчет его последнего сомнения.

— Если мы ее семейству, ее родным предложим приличное вознаграждение, тысячи в три или пять, — сказал он, — то, поверьте,

кроме полного согласия ничего не встретим!

— Да, да... это так... это справедливо, — согласился гамен в заключение.

Прошло еще три дня, которые он почти сподряд проводил у баронессы, а та неуклонно вела свою мастерскую агитацию, продолжая поддерживать в нем это старчески-экзальтированное состояние и не давая раздумываться над самим собою и своим решением, потому что она порою все-таки несколько опасалась, чтобы маленькая капля рассудка не взяла как-нибудь верх над внушенным извне сумасбродством. Но до рассудка и до раздумья ли было князю, когда он видел перед собою обаявшую его женщину, старчески любуясь роскошью ее форм и слушая мастерские уверения в ее чувстве, тая под ее ласковым взглядом и от любовного пожатия руки, — мог ли он тут думать о чем-нибудь, кроме безусловного угождения малейшему ее капризу! Старцы вообще дорого платятся за свою чувственно-любовную блажь — это их общая доля.

Каждое утро являлся теперь он к ней с ка-

ким-нибудь драгоценным колье, диадемой или браслетами, и каждая из этих безделиц стоила по нескольку сотен, а за колье дано было даже две тысячи. Баронесса встречала его приношения мило-укоризненным взглядом и не хотела принимать их, говоря, что ей ничего, ничего, кроме любви и дружбы, не надо; но князь очень любезно заставлял ее примерять привезенную вещь, говоря, что это все — его свадебные подарки. И баронесса уступала его неотступным мольбам и настояниям. Она решилась до тех пор держать его у себя на привязи, пока не выжмет из него последнего сока.

На утро четвертого дня явился к нему Каллаш.

— Ну, все уже готово! — возвестил он даже несколько торжественным тоном. — Священник и свидетели ждут вас. Едемте немедля!

Князь торопливо облекся в черный фрак и белый галстук и отправился вместе с графом, в его карете.

— А деньги?.. Я забыл деньги — ведь надо будет, вероятно, заплатить обещанное возна-

граждение родным? — спохватился он на дороге.

— Не беспокойтесь: все уже сделано, и обошлось дешевле, чем мы предполагали, — возразил Чечевинский. — Мы с вами сочтемся потом, после венчания.

Князь успокоился и от души благодарил своего спутника за такое теплое, дружеское участие.

Приехали на Пески, в Дегтярную улицу, и экипаж вкатился во двор убогого деревянного домишки. В этом домишке нанимал мезонин известный уже читателю пан Эскрокевич, в квартире которого и поместилась со вчерашнего дня умирающая невеста.

Поднялись по узкой и темноватой лестнице. Навстречу вышел хозяин и встретил их молчаливым поклоном, с печально-скромным выражением лица, каковое и подобало такому экстраординарному обстоятельству.

В низенькой, косоватой комнате с узеньким оконцем стояла кровать, а подле нее высокое старое кресло и столик с лекарственными склянками. Опрятная бедность выглядывала из каждого угла и сказывалась в этих го-

лых, выбеленных стенах, в этих трех кривоногих стульчиках. На кровати, лицом к стене, лежала покрытая одеялом женщина, из-под которого по временам тяжело раздавался ее глухой, болезненный кашель, каждый раз сопровождаемый двумя-тремя короткими и сдержанно-тихими стонами.

В этой комнате приезжие застали Сергея Антоновича Коврова, еще каких-то двух господ, незнакомых Шадурскому, и священника с причетником. Все уже было готово к венчанию, не исключая и церковной записи.

При входе Шадурского все встали и отдали молчаливый поклон. Вообще в этой комнате царствовало то уныло-тяжелое молчание, какое всегда бывает при одре умирающего. Вся обстановка предстоящей сцены походила скорее на готовящийся обряд соборования и чтения отходной над тяжко больным человеком, чем на светлое венчание.

— Мешкать некогда: она очень плоха, — шепнул Каллаш Дмитрию Платоновичу.

Четыре свидетеля, между которыми находились и две незнакомые Шадурскому личности, расписались в книге.

Больную, окончательно слабую женщину осторожно подняли с постели и, обложив подушками, усадили в высокое кресло.

Старый князь стал подле нее с правой стороны — и начался обряд венчания.

Очень естественное и понятное любопытство подстрекало жениха заглянуть в лицо невесты, но голова ее все время была так низко и бессильно опущена на грудь, что ему удалось только подметить, будто новая его супруга, кажись, стара и почти безобразна.

«Впрочем, быть может, это от болезни», — подумал гамен и затем, вполне безучастно, почти машинально, без малейшей мысли, без малейшего чувства относился ко всему дальнейшему обряду. Голову его вдруг посетил наплыв такой ко всему равнодушной, безразличной пустоты, что князь почти не понимал, что именно с ним и вокруг него совершается. По крайней мере он не старался дать себе в этом ни малейшего отчета и только желал, как бы все поскорее кончилось, чтобы поскорее уехать к баронессе.

Священник, сняв ризу, обернулся к повенчанным и тихо сказал:

— Поздравляю. Слыхал, что детки есть? — обратился он уже в частности к обвенчанному Шадурскому.

— Да, есть, — коротко ответил смешавшийся князь.

— Для детей-то и женились, чтобы имя дать, — в полушепоте пояснил батюшке Сергей Антонович.

— Что ж, дело похвальное... похвальное!.. Доброе дело никогда не поздно, — вздохнул батюшка и, пожелав князю всякого благополучия, скромно откланялся и удалился вместе с причетником.

Новобрачную с той же осторожностью опять перенесли в постель и покрыли одеялом.

— Ну, теперь нам здесь больше нечего делать, — нагнулся граф к уху Шадурского и тихо вышел с ним из комнаты.

XXXVII
ВСЕ, ЧТО НАКИПЕЛО В ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА

На другой день после своей странной свадьбы князь Шадурский сидел за туалетным столом, в отличнейшем расположении духа. Он только что получил от баронессы фон Деринг раздушенную записочку, в которой та приказывала ему немедленно приехать, потому что ей без него скучно. Князь успел уже выполоскать рот и вставить четыре великолепных поддельных зуба. Домашний куафер подвил ему скудные остатки волос. Достаточное количество пудры и легкий румянец лежали уже на княжеской физиономии, и брови, из которых только что был выдернут седой и как-то вкось торчащий волосок, отлично подвелись в струнку, скрепленные особого рода краскою, которую создало, именно ради этой потребы, остроумие парижских куаферов.

Часовая стрелка показывала четверть второго. Князь был почти уже готов, то есть до-

статочно сфабрикован и раскрашен. Он размышлял теперь над предметом весьма важного и глубокомысленного свойства: ум его работал над решением вопроса, какого бы цвета лучше выбрать себе галстух, причем его сиятельство успел сменить их штуки четыре, не будучи ни одним доволен. Вдруг в уборную его явился лакей с видом крайне растерянным и с выражением полнейшего недоумения на своей барско-лакейской физиономии.

Князь увидел его в зеркале и, не оборачивая к нему головы, а только глядя на отражение его фигуры, нетерпеливо спросил, с оттенком нервного раздражения в голосе:

— Зачем ты, братец, приходишь, когда тебя не спрашивают? Что тебе тут надобно?

Его сиятельство не терпел, чтобы кто-нибудь, кроме камердинера, присутствовал при его туалете и становился, таким образом, свидетелем реставраций.

— Ваше сиятельство... — смущенно доложил почтительный лакей, — вас изволит спрашивать... дама.

— Дама? Какая дама?.. Кто? от кого?.. за-

чем?..

Лакей затруднительно отмалчивался.

— Какая дама, я тебя спрашиваю? Ты узнал ее имя?

— Так точно, ваше сиятельство.

— Так что же ты молчишь?

— Швейцар сказывал доложить вашему сиятельству, что вас изволит спрашивать... княгиня Шадурская.

Положение князя в эту минуту только и можно сравнить с таким эксцентричным казусом, как если бы вдруг на человека совсем неожиданно и моментально нахлопнули большой и темный колпак, вроде того, как мы накрываем горящую свечу медным гасильником. Он так и остался на месте, пришибленный, озадаченный и, подобно свече, погашенный неожиданными словами собственного лакея. В голове его вертелись, кружились и смутно мелькали какие-то жуткие мысли, относившиеся к этому обстоятельству.

«Княгиня Шадурская?.. Кто такая княгиня Шадурская?.. Свадьба... умирающая женщина... Кто такая эта умирающая женщина?..

Безобразная, старая... Женат... сам не знаю на ком... Вчера умирающая, сегодня вдруг здесь... Что это такое?.. Боже мой, что это такое?.. Что со мной делается?.. Не понимаю, ровно ничего не понимаю!!»

И точно, рассудок князя решительно отказался теперь понимать все случившееся.

Не успел еще он дать определительный ответ — принять ли, отказать ли, как дверь его уборной неожиданно отворилась, и в комнату вошла незнакомая женщина в сопровождении графа Каллаша.

Шадурский почти машинально привстал с кресла.

Камердинер сам по себе догадался удалиться и оказал этим немалую услугу своему барину, потому что при нем положение барина было бы еще конфузнее и неловче.

— Что вам угодно, сударыня? — невнятно пробормотал гамен.

Это была единственная фраза, на которую нашелся он в данную минуту.

Женщина странно усмехнулась.

— Мне угодно объясниться с моим мужем, князем Дмитрием Платоновичем Шадур-

ским, — произнесла она твердым и спокойным голосом.

— Но... но... я ведь женился на умирающей?.. — с видом недоумевающего вопроса и даже несколько обиженно повернул он голову к стоявшему у дверей графу.

— Да, вчера я могла быть умирающей, — подхватила женщина в ответ на его обращение, — но сегодня я воскресла. Воскресила меня свадьба с вашим сиятельством. Вы вчера не успели или не хотели поздравить меня с этим счастием. Сегодня я поздравлю нас обоих.

— Но я, право, не понимаю, почему вы здесь? Что вам от меня угодно?

Смущенный князь бормотал первые попавшиеся фразы, какие попали на язык. Это было обыкновенное его положение в самые экстренные, критические минуты жизни.

— Отвечу на все ваши три вопроса, — усмехнулась женщина. — Почему я здесь? Полагаю, по праву законной вашей супруги. Зачем я здесь? Для необходимых объяснений с вашим сиятельством; а что мне угодно, это вы узнаете очень скоро, через несколько ми-

нут.

— Но я вас не знаю совсем!

— Неужели?.. — многозначительно протянула она все с тою же саркастически-странною улыбкою, едва сдерживая в себе судорожно-нервический смех. — Зато я вас хорошо знаю! Жаль, если память изменила вам. Но вглядитесь в меня попристальнее: быть может, вы узнаете старую свою знакомую.

— Какую знакомую?.. Никаких у меня нет таких знакомых... Я не понимаю, что все это значит...

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, поймете скорее, чем вам кажется. Повторяю вам, вглядитесь в меня попристальнее. Я не верю, чтоб вы не узнали свою старую и слишком короткую знакомую.

— Не знаю, — сухо пожал он плечами.

— Вспомните свое время, за двадцать три года назад. Вспомните-ка тысяча восемьсот тридцать восьмой год, и тогда, быть может, узнаете и поймете!

— Не знаю-с, — повторил он с прежним отрицательным пожатием плеч, — не знаю и не помню!.. И что это за мистификация!..

— Еще раз жалею вашу память. Впрочем, что тут долго толковать! Перед вами стоит женщина... ci devant[527] княжна Анна Чечевинская. Полагаю, этим все для вас сказано.

Князя словно обухом шибануло по лбу. Он так и опрокинулся на спинку своего кресла, пристально и прямо уставя смущенный и недоумевающий взгляд в лицо стоявшей перед ним женщины.

— Что ж, вы все-таки не узнаете меня? Впрочем, оно несколько и мудрено узнать-то. Ведь двадцать три года недаром прошли... для меня по крайней мере.

— Я полагаю... вы извините меня... Но я полагаю, что третье лицо (он вскинул глаза на Каллаша) будет совершенно лишним при нашем объяснении.

— О нет! — быстро и энергично подхватила Анна. — Напротив, я хочу, я требую, чтобы именно при этом объяснении было постороннее лицо. Я слишком хорошо знаю ваше сиятельство, для того чтобы чувствовать необходимость в третьем лице при объяснении с вами. Я знаю, что лишний свидетель ваших слов и поступков будет слишком тяжел для

вас, но именно поэтому-то я и привела его, поэтому-то он и необходим мне.

Князь потупил голову и не возразил ни слова.

Положение его было из рук вон мерзко. И в самом деле, быть неожиданно застигнутым подобным скандалом в ту самую минуту, когда с таким наслаждением и розовыми мечтами примеряешь розовый галстух, — должно быть, очень тяжело для человека. Князь просто желал сгинуть, перестать *быть* в эту минуту.

— Итак, сведем теперь наши старые счеты, — продолжала Анна, не спуская с него своих беспощадно-презрительных и убийственно-холодных глаз, в которых светилась какая-то ледяная ненависть. — Я начну немного издалека. Первым счастьем моей бескорыстной любви я была вам обязана, моим первым и последним ребенком тоже; моим падением и позором, проклятием матери, всеобщим презрением — тоже. Благодарю вас за это, князь Дмитрий Платонович! Вы поступили честно и великодушно, опозоривши девушку, перед которой было потрачено вами

столько клятв и уверений. Вы испугались сделанной вами мерзости, вы струсили, благородный рыцарь без страха и упрека! Но в этом я вас не виню. В этом я сама виновата: у меня были глаза и рассудок, я должна была видеть, *что* вы такое. Я проглядела — ну и наказана... Но вот чего никогда не прощу я вам: понадеясь на вашу порядочность, я подкинула к вам нашу дочь. Я была уверена, что вы оставите ее расти в вашем доме. Вы этого не захотели. Вы скрыли куда-то моего несчастного ребенка. И когда я, понявши вас, хотела взять его обратно, мне его не отдали. Я писала несколько писем, умоляла вас, ползала на коленях перед вашей женою и... мне все-таки не сказали, где мой ребенок; меня выгнали из этого дома, как паршивую собаку. Я не претендую на это: вы бы могли, пожалуй, даже и выгнать меня, но не иначе как отдав мне прежде моего ребенка. Вы этого не сделали, вы предпочли скрыть, украсть от матери ее родное дитя, не знаю для каких целей — быть может, все из той же похвальной трусости, и этим самым вы погубили меня уже окончательно. Когда ваша супруга, менявшая своих

любовников, словно старые перчатки, разыграла предо мною роль целомудренной римской матроны, когда она с убийственным бессердечием выгнала меня из этого самого дома, вы знаете ли, князь, *что* было со мною! Научившись презирать и ненавидеть вас и ваше общество, которое стало моим судьею, не имея на это никакого права, и втоптало меня в грязь, я захотела отомстить за себя: уж коли позор, так позор широкий, полный! По-моему, так! И я захотела сделать свой позор публичным, гласным, так, чтобы на меня весь город пальцами указывал; я захотела сделаться живым скандалом этого общества... Знаете ли, чем я сделалась? Не шокируйтесь: я сейчас оскорблю ваш деликатный слух очень циническим словом. Я сделалась публичной девкой. Княжна Анна Чечевинская — публичная девка! Ха-ха-ха-ха! Не правда ли, громко? Этим я вам обязана. Благодарю вас за это! Но этого мало: я стала пьяницей; я целыми косушками научилась дуть скверную водку, меня не однажды полиция подбирала пьяную на панели, меня содержательницы мои по щекам лупили: от «напитку», видите ли, от-

учали, и за то благодарю вас тоже! Мало того: в несколько лет я дошла до Сенной площади. Я продавалась по три копейки. Моими потребителями были пьяные солдаты, грязные нищие, воры и мошенники и вся подобная сволочь. Я сама сделалась сволочью! Благодарю вас за это! Взгляните на меня: та ли я, что была прежде? Сохранилась ли хоть единая черта? А ведь и я тоже была когда-то хороша собою!.. Да, хороша! Вы сами говорили мне это, вы сами клялись мне в этом!.. А теперь!.. Теперь-то!.. Теперь я Чуха! Не правда ли, очень гармоническое имя? Чуха! Меня и по сей день вся Сенная знает под этой кличкой. Да вы полюбуйтесь на меня, ваше сиятельство! Полюбуйтесь! Болезнь изъела мои ноздри, цинга скрошила зубы, плешь на голове расползлась... А что я вытерпела голоду да холоду, что перенесла всяческих унижений и побоев, пощечин и кулаков! О, если бы только могли это знать мои высокие судьи! Если бы только могли они представить себе это! Благодарю, благодарю вас за все, за все благодарю вас, князь Дмитрий Платонович!

Анна умолкла на минуту, чтобы сдержать

свое порывистое волнение.

— А ведь если бы мне отдали мою дочь, — с глубоко скорбным вздохом тихо заговорила она снова, и в голосе ее задрожали горькие, мучительные слезы, — о, если бы она была в то время со мною, клянусь вам, я бы не пала так низко! Я бы все позабыла, все простила бы вам! Я осталась бы честной женщиной! Способны ли вы понять это слово — *честная женщина*? Нет, надо быть Чухою, надо пройти все то, что я прошла, для того чтобы постичь да почувствовать его значение. Ева пожалела о рае, когда уже в него ей не было доступа. Будь у меня дочь, я бы тогда стала работать, в поденщицы пошла бы, но, повторяю вам, осталась бы честной женщиной: я стала бы жить для нее. У меня ее не было — я стала жить для мщения. И спасибо Господу Богу! Он помог мне достичь моей цели. Вот вам, ваше сиятельство, моя задушевная исповедь!

Червяк, раздавленный и растертый ногою, — вот положение старого князя, в каком он почувствовал себя после слов своей новой супруги.

— И вы думаете, я давно была публичной

женщиной? — продолжала она с каким-то равнодушием во взгляде и улыбке. — Нет, князь, почти что вчера. Я и сегодня такая. Я и не переставала быть такою — все та же самая Чуха с Сенной площади. Я вышла за вас замуж — зачем бы вы думали? Затем, чтобы только отомстить вам? Напрасно. Игра слишком мелка, даже и свеч-то не стоило бы! Я не отрицаю: и месть отчасти входила в мои расчеты. Ведь приятно наказать подобного рыцаря за свой позор и бесчестие, наказать хоть тем, что увидеть его женатым на опозоренной. И знайте, ваше сиятельство, я сегодня опять уйду на Сенную, но уйду уже с именем вашей жены. Теперь уже не Чуха, а княгиня Анна Яковлевна Шадурская будет торговать собою для разных воров и нищих, будет валяться пьяная по панелям, и когда меня городовые станут отводить в часть, я буду орать на всю улицу: «Не троньте княгиню Шадурскую!» Когда меня в арестантской сибирке будут спрашивать, кто я такая, я буду отвечать: «Законная супруга его сиятельства князя Дмитрия Платоновича Шадурского». Я буду волочить теперь по грязи это самое имя,

неприкосновенностью которого вы так дорожили когда-то. Вспомните-ка, в тридцать восьмом году из-за чего вы виляли передо мною? Из-за чего бросили меня на произвол судьбы? Из-за чего так щепетильно отстраняли от себя всякую возможность подозрения в том, что вы мой любовник? Из-за чего все, как не из-за одной трусости, чтобы на ваше почтенное имя не легло маленькое пятнышко! Вы трусили потому, что не знали, *как* отнесется к вам мнение вашего света, признает ли за вами репутацию благородного донжуана, или назовет подлецом. Вы оставляете себе на долю всякую подлость, всякую мерзость, лишь бы только все было шито да крыто, лишь бы в глазах общества ваше имя осталось неприкосновенным, лишь бы не сделаться вам предметом толков. Ну так знайте же: отныне я постараюсь сделать вашу фамилию именно этим предметом. Вы обо мне услышите в весьма скором времени!

Шадурский, бледный, как тот полотняный платок, что нервически крутил он между пальцами, сидел, обессиленно погрузясь в свое кресло и не смея поднять глаза на эту

женщину, которая из его жертвы стала теперь его судьей и палачом. Он словно выслушивал свой смертный приговор. Но после заключительных слов княгини Анны глаза его медленно поднялись на нее с каким-то пришибленным, униженно-молящим выражением и трепещущими губами смутно прошептал он:

— Это уже слишком... это жестоко...

— Га! Вы опять трусите! — усмехнулась она ему самой сухой, бессердечной улыбкой. — А сделать то, что вы со мною сделали, отнять у матери последнюю радость, последнее утешение ее жизни, украсть мою дочь — это не слишком? Это, по-вашему, не жестоко? Попробуйте-ка у суки отнять ее щенка: она вас цапнет за руку. Ну вот и я вас цапнула! Я долго ждала этого и наконец дождалась. Вы испугались? Вам больно?.. Ну что ж, хотите — пойдем на сделку! Я вам задам теперь только один вопрос, но уже решительный и последний. Отвечайте мне не кривя душою: где моя дочь? Если вы не желаете, чтобы я везде и повсюду позорила ваше громкое имя, так вы мне скажите, где она и что с нею. Вы либо от-

дадите мне ее живую, либо укажете ее могилу. Это для вас единственное средство избавиться от позора. В противном случае сегодня же, через какие-нибудь полчаса, я буду валяться пьяная на улице, подле вашего дома. Хотите? Из этого самого окна вы можете увидеть тогда, как княгиня Шадурская, ваша жена, станет потешать толпу своим «развращенным видом» и как заберет ее полиция. Клянусь вам моею дочерью, живою или мертвою, что я не задумаюсь исполнить это! Итак, ваше сиятельство, где моя дочь?

Князь молчал, не подымая глаз.

Анна меж тем ожидала ответа, которым он медлил, и каждая секунда такого молчания отражалась на лице матери — тоской, и страхом, и безнадежностью. В глубине души своей она опасалась, чтобы ответ его не был отрицательным, опасалась того, что он, пожалуй, и сам не знает теперь, где ее дочь.

Оно так и было.

После минуты тяжелой, молчаливой нерешительности, Шадурский наконец отрицательно покачал головою и пожал плечами.

— Не знаю... Ничего не могу вам отве-

тить... Мне и самому неизвестно — ни где она, ни что с ней, — пробормотал он, все еще не смея поднять свои взоры.

Анну словно ветром слегка шатнуло в сторону, так что она поспешила ухватиться рукою за спинку тяжелого кресла.

Казалось, этими последними словами были убиты и похоронены все ее надежды.

Сизиф с таким неимоверным трудом и усилием докатил свой громадный камень почти уже до самой вершины горы, и камень вдруг, одним мгновением, скатился в пропасть, скатился на самом рубеже полного торжества и спокойного, счастливого отдыха.

На бледную, убитую Анну почти моментально наплыло непросветною тучею безысходно угрюмое отчаяние.

— Но вы ведь должны же знать, как именно распорядились вы с этой девочкой двадцать три года назад? — послышался за нею голос графа Каллаша. — Вы должны знать, куда девали ее, в чьи руки была она отдана?

Анна встрепенулась и как будто воскресла. В ее взорах снова загорелись нетерпеливое ожидание и надежда.

— Я сделал все, что мог, по совести! — ответил Шадурский. — Я отдал ее одной моей знакомой, отдал и деньги на ее воспитание, несколько тысяч...

— Назовите имя этой знакомой. Здесь ли она? Жива ли она? — почти перебила его Анна.

— Да, она здесь... Генеральша фон Шпильце.

— Фон Шпильце? — подхватил Каллаш. — Я ее знаю! От нее добьемся толку! Было ли ей известно, что эта девочка — ваша дочь?

— Нет, я это скрыл. Я выдал ее за неизвестного подкидыша.

— И после этого вы ни разу не поинтересовались узнать о судьбе ее?

— Я... я вскоре уехал тогда за границу, на долгое время.

— Ну а потом, по возвращении?

Князь ничего не ответил.

— То есть, говоря по правде, — продолжал Николай Чечевинский, — вы, отдавая этого ребенка именно в руки известной фон Шпильце, обеспечили его несколькими тысячами, вероятно, затем, чтобы потом уж и не

знать, и никогда не слыхать о нем ни слова.

— Я считал мою обязанность исполненной, — уклончиво заметил Шадурский.

— Стало быть, мое предположение справедливо?

Тот, вместо словесного ответа, только головою поник, как бы в знак печального, но полного согласия.

— Ну так вот что, — решительно приступила к нему княгиня Анна, — вы должны сейчас же, вместе с нами, ехать к этой фон Шпильце, и во что бы то ни стало потребуйте от нее отчета. Она должна сказать нам, где моя дочь.

Князь сидел, погруженный в какие-то размышления, и ни единым жестом не выразил ни согласия, ни отрицания.

— Вы слышали, князь, мое последнее слово? — возвысила голос Анна. — Выбирайте между одним из двух: либо я исполню свою угрозу, либо вы поедете со мной и добьетесь мне положительного ответа. Угодно вам ехать или не угодно?

— Да, да, я поеду, — словно приходя в себя, поспешил ответить Шадурский и торопливо поднялся с места.

XXXVIII
ЧУХА ДОВЕДАЛАСЬ, КТО ЕЕ ДОЧЬ

Достопочтенная генеральша принимала какой-то секретный доклад своей агентши Пряхиной, когда доложили ей, что ее изволят спрашивать старый князь Шадурский и граф Каллаш и что вместе с ними приехала какая-то старуха.

Генеральша сначала хотела было выслушать доклад Сашеньки-матушки и для этого приказала лакею просить своих посетителей немного обождать; но тотчас же сообразила, что такой экстраординарный визит, вероятно, имеет какую-нибудь важную цель, и потому, прервав доклад Пряхиной и велев ей дожидаться, сама немедленно вышла к посетителям.

Старый гамен все еще был настолько растерян и расстроен, что не знал, как приступить к делу и с чего начать разговор со своей старинной приятельницей.

На подмогу к нему выступил Николай Чечевинский.

— Двадцать три года тому — начал он, по обыкновению, на французском языке, ибо в обществе, в качестве истого иностранца, не изъяснялся иначе, — двадцать три года назад князь поручил вам пристроить в надежные руки девочку-подкидыша. Теперь некоторые обстоятельства побуждают его узнать, кому именно была она отдана. Надеюсь, вы можете сообщить это.

Генеральша, по-видимому, никак не ожидала, что совокупный визит этих трех особ сделан ей для того, чтобы предложить подобный вопрос. Но, озадачившись не более как на минутку, она тотчас же совершенно овладела собою и заговорила вполне покойно и самоуверенно.

— Ах, как же, как же! Я помнийт гарашо cette petite fille Maschinka[528]! Она у меня била в добры руки, in einer guten und frommen Familie[529].

— Вы будете столь любезны указать нам это семейство, — предложил Чечевинский.

— Oh, s’il vous plaît, monsieur! На Петербургски сторона, auf Koltowskoy, bei einem tschinownik, Peter Semionitsch Powietin[530].

— Она и теперь там находится? — спросила Анна.

— Oh, non, madame[531], то я еще в позапрошлой зиме забрала ее. Pendant quelque temps elle etait ici, avec moi[532].

— А теперь она где? — с видимым нетерпением продолжала расспрашивать Анна.

Генеральша замялась. По всему заметно было, что на последний вопрос ей трудно дать ответ прямого и положительного свойства.

— Я, право, не знай, — решительно пожала она плечами. — Maschinka уже взрослы девиц, schon, majorenne, ich hab’nicht für sie zu verantworten[533].

Последняя фраза показалась Анне чем-то зловещим.

— Но все-таки вы можете знать, где именно она находится и что с нею? — вмешался граф Каллаш. — И поверьте, что вас, во всяком случае, сумеют поблагодарить за ваши заботы о воспитании этого ребенка.

— О да, да! Вы можете рассчитывать, — подхватил расслабленный гамен, — да, даже и я... Я непременно буду благодарить вас...

Ведь вы меня знаете, моя милая Амалия Потаповна.

— Oh! Ми стары знакоми! — улыбнулась генеральша и на несколько времени замолкла, отдавшись каким-то сомнениям.

В это мгновение в ней происходила борьба между природной, неодолимой алчностью к деньгам, которые, в виде благодарности, были ей только что посулены, и между неловкостью сообщить о том, как постаралась она пристроить эту девочку в любовницы его же собственному сыну — «хоть и подкидыш, а все-таки немножко неловко — для сына-то». А по правде-то говоря, генеральша только для того и воспитывала эту девушку так заботливо, чтобы, при случае, повыгоднее продать ее кому-нибудь на содержание. Первым случаем для этого подвернулся Владимир Шадурский — стало быть, что же мешало тут генеральше соблюсти свою выгоду?

Но много и много раз доводилось ей в жизни отменно выпутываться из положений несравненно более худших, выходя совсем сухой из воды, и потому, в данном случае, она недолго колебалась. Естественная жадность

победила маленькую неловкость.

— Вы, кажется, бероте участие в моя Машинька? — с любезной, заискивающей улыбкой обратилась она к Анне. — Peut-être, madame, vous êtes une parente?[534]

— Нет, но видите ли, в чем дело, — вмешался Чечевинский, предупреждая ответ сестры, — мать этой девушки уже умерла пять месяцев тому назад. Она почти все эти двадцать лет прожила за границею, там и скончалась. Моя родственница (он указал на Анну) была к ней очень близка. Покойница за несколько дней до смерти призналась ей, что у нее осталась в России дочь, подкинутая князю Шадурскому. Она взяла с нее клятву отыскать эту девочку и оставила ей даже некоторый капитал, часть которого нарочно отложила для того, чтобы вознаградить тех, кто принимал участие в воспитании девочки. Моя родственница недавно приехала в Россию, затем чтобы исполнить данное обещание.

Фон Шпильце опять пришла в некоторое замешательство.

— Sans doute, s’est une noble personne, la

mère de cette fille?[535] — спросила она разом и Каллаша, и Анну, поведя на обоих глазами.

— Да, но это, впрочем, постороннее, — заметил венгерский граф.

Амалия Потаповна вздохнула, пожав плечами.

Положение ее было затруднительно. Не хотелось упустить возможности получения предвидимых денег, и вместе с тем она не знала, что сталось с Машей после того, как та разошлась с Шадурским. Она подыскивала в уме своем, как бы не упустить своей выгоды и в то же время половчее выпутаться из затруднительного положения.

Совместить и то и другое было весьма нелегко, если даже не невозможно.

Генеральша подумала, раскинула умом и так и этак, но видит, что дело не выгорает.

— C’est bien dommage, cher comte, mais!..[536] (Она снова вздохнула и пожала плечами.) Ich selbst weiss ja nicht, was aus ihr geworden ist[537]. Я утеряла ее из моих видов.

— Но ведь вы же сами сказали, что она несколько времени жила у вас, — возразила Анна.

Генеральша с внутренним сожалением сообразила теперь, что слишком поторопилась дать им кой-какие положительные сведения. Она крепко досадовала на самое себя, но сделанного уже не было возможности поправить.

— Да, Машинька жила при меня, — с оттенком какого-то прискорбного сожаления потирала она свои руки, — но я не могу отвечать за нее, она уж взросла… у наш век такое своевольстви…

— Стало быть, она, вероятно, ушла от вас? — спросил Николай Чечевинский.

— Helas! mon cher comte![538] — покорственно разведя руками, вздохнула фон Шпильце.

— Куда же именно? К кому?..

— О! Тут целый историй!.. C’est une occasion… ganz romanhaft!..[539] Я ж ничего, ничего не примечаль, всэ было встроено мимо моей Person[540]. Ich selber hab’s zu spät erfahren[541]. Она имела авантуры… До меня ездил князь Шадурский… votre fils, mon prince [542], — в скобках обратилась она к гамену. — Elle a ete amoureuse… comme une chatte! Aber

ich habe nichts bemerkt[543]. Как они там сделались — не знай, только авантура та была скончона на том, что она избежала од мене и жила с князем pendant quelques mois comme une femme entretenue[544]. Потом он ее бросил — et voilà tout[545]! Больше я ничего не знай.

Эти слова произвели какое-то громовое действие на Шадурского и Анну.

Тот впервые почувствовал, что судьба как будто начинает карать его за что-то. Его дочь — любовница его сына! Сколько ни был он склонен в душе относиться легко и небрежно ко многим вещам, которые для честного человека составляют нечто вроде святыни, однако же душа его отказалась переварить это последнее обстоятельство. Оно потрясло и возмутило ее всю до глубины. Но против кого именно возмутился князь — в том он не дал себе отчета. Правдивее всего было возмутиться против самого себя.

Но если *он* почувствовал себя несчастным, то Анна была чуть ли не вдесятеро несчастливее его. У нее в эту минуту подкосились ноги, и, вся бледная, почти вконец обессиленная,

опрокинулась она на спинку своего кресла.

Этими словами для нее все уже было сказано. Они совершенно случайно озарили ей то, чего доселе никак не мог предположить ее рассудок. Имя «Машенька», неоднократно упомянутое генеральшей, и факт, что эта Машенька была любовницей князя Владимира Шадурского, в один миг напомнили ей встречу в перекусочном подвале, потом встречу над прорубью, от которой оттащила она молодую девушку, и столкновение с вором Летучим в Малиннике, и целые сутки, проведенные вместе в ночлежной Вяземского дома, где эта девушка рассказала ей всю свою историю. Все это словно каким-то ярким, чудодейственным и всепроникающим светом мгновенно озарилось теперь перед глазами матери.

«Так это была моя дочь!» — словно молния, пронзила роковая мысль взбудораженный мозг Анны.

В глазах ее зарябило, затуманилось, на грудь налегло что-то тяжелое и мутящее, голова и руки бессильно опустились, и Анна упала без чувств.

Поднялась суматоха.

Озадаченная и перепуганная генеральша заметалась во все стороны, то кричала людей, воды, спирту, то вдруг кидалась к колокольчику и начинала вызванивать свою прислугу.

Люди не замедлили сбежаться, и пока две генеральские горничные ухаживали вместе с Каллашем за бесчувственной Анной, в комнату осторожно быстрой походочкой влетела Сашенька-матушка, воспользовавшись минутой общей суматохи.

Ловкая агентка, подобно своей высокой патронессе, имела претензию знать по возможности наибольшее число фактов и деяний, творящихся на белом свете. Это, между прочим, была одна из промышленных отраслей ее существования, и в силу такой претензии Сашенька-матушка не упускала ни одного удобного случая, чтобы, оставшись при подходящих обстоятельствах наедине, не приложить к замочной скважине своего уха или глаза.

Так точно было поступлено и в данную минуту, во время всего объяснения ее патронессы.

На цыпочках подойдя к двери смежной

комнаты, в которой до приезда трех нежданных посетителей происходила ее секретная аудиенция с генеральшей, Сашенька-матушка пустила в дело сперва глаз, а потом и ухо. Она из чистой, но не всегда бескорыстной любви к искусству прошпионила весь разговор своей патронессы.

— Ваше превосходительство!.. А ваше превосходительство!.. — шепотом отзывала она ее в сторону. — Потрудитесь на два словечка... на два словечка.

Амалия Потаповна сердито махнула ей рукою: не до тебя, мол, убирайся!

— Ах, ваше превосходительство, очинно нужное... По ихнему же делу, — мотнула она головой на группу, суетившуюся вокруг Анны, — только два словечка, ваше превосходительство, а что в большом антиреси — так уж наверное будете, то есть в пребольшущем антиреси!

Генеральша поддалась на эти заманчивые слова и торопливо отошла с Сашенькой в другой конец комнаты.

— Мне доподлинно известно, где и как находится эта самая девица, — торопливым то-

ном заговорила Пряхина, — потому как сколько разов у вас ее видемши, очинно хорошо запомнила я всю ее физиономию даже. И опять же после всего эфтого она моих рук не минула, потому как я самолично пристроила ее к своему месту, так уж вы, ваше превосходительство, сполна положитесь на меня. Я то есть сполна могу ее предоставить, коли они посулят вам хорошую награду. А уж вы, сударыня, при такой моей верности, свою-то слугу, конечно, не забудете, и коли будет ваша милость такая положить на мою долю сотняжки две, так уж я все это дело просто в один секунд могу вам исполнить.

Генеральша так хорошо знала свою агентшу, что ни на минуту не усомнилась в безусловной верности ее заявлений.

Между тем Анну привели в чувство, но прошло еще несколько минут, пока она могла вполне опомниться и прийти в себя.

— Теперь я знаю все! Всю правду! Не так, как вы ее рассказываете, но так, как она была, — пересиливая свою слабость, обратилась она к генеральше таким тоном, в котором ясно прозвучали и ненависть, и презрение. —

Вы меня не обманете! Вы сами подставили, сами продали ее!

— Фуй!.. Madame, за кого вы меня бероте?.. Мой муж генерал был… je suis une noble personne, madame!..[546] Я не могу заниматься на такой дела! — с оскорбленным достоинством возвысила голос фон Шпильце. — Aber ich fühle mich nicht beleidig[547] потому, ви теперь в таком положений; ich vergeb's ihnen gerne![548] Я прошу выслушайт мене! Я могу отшинь, отшинь помогать вам на это дело! Avant tout calmez-vous, madame, calmez-vous [549]. Я имею одна Person, которы знайт, où est à present cette Machinka[550]. Она может всэ открывайт вам, всэ открывайт.

Луч надежды снова пробился в омраченную душу Анны. Она с жадным вниманием прислушивалась к словам Амалии Потаповны.

— Кто это знает? Где эта особа? Говорите скорее! — нетерпеливо перебила она генеральшу. — Если вы знаете, зачем же вы не говорили мне раньше? К чему вы отнекивались?

— Bitte, nur kein Verhör, Madame, nur kein

Verhör![551] — заметила генеральша, с соблюдением полного достоинства своей личности. — Если я говору, alors… das ist richtig[552]. Хотийт — вэрьте, хотийт — ньет!

— Бога ради! — порывисто заговорила Анна. — Я всем пожертвую, я отдам все, что могу, только найдите вы мне ее.

– Ça depend, madame, ça depend… от эта Person. Elle vous offrira avec grand plaisir en cette affaire[553], если вы заплатит ей гароши деньга.

— Вы не лжете? — серьезно спросил ее Каллаш.

— Sans grossièrete, monsieur! Sie vergessen, dass ich eine Dame bin[554], — гордо оскорбилась Амалия Потаповна, — я завсегда говорийт правда, je ne suis pas une menteuse, monsieur! Jamais, jamais de ma vie![555]

— Ну хорошо, — перебил ее Каллаш, — тысяча извинений, тысяча извинений вам, только поскорее к делу! Вы можете определить сумму, какую нужно будет дать этой особе?

— Tausend Rubel[556], — довольно быстро и самым определенным образом положила фон

Шпильце.

— Хм... Это похоже немножко на грабеж, — с усмешкой проворчал себе под нос венгерский граф и настоятельным, почти повелевающим тоном обратился к Шадурскому, который чуть не совсем ошалел от такого странного сцепления всех этих обстоятельств, разыгравшихся над ним в течение двух-трех суток.

— Вы слышали, князь, слова генеральши? Вы поняли их?

Гамен утвердительно кивнул головою.

— Стало быть, вы заплатите ей требуемые деньги. Потрудитесь приготовить их.

— Ich glaube doch, das ist eher die Sache dieser Dame[557], — жестом руки указала фон Шпильце на Анну, как бы вступясь за своего старинного приятеля.

— Ну, я полагаю, вам все равно, с кого бы ни получать деньги, лишь бы только получать их, — сухо и безапелляционно возразил ей Каллаш, который, надо отдать ему справедливость, отменно понимал, с кем имеет дело, ибо для ее превосходительства вся суть действительно заключалась только в том,

чтобы каким ни на есть путем зашибить лишнюю деньгу, ради которой исключительно и работала она на многообразных и многотрудных поприщах своего житейского коловращения.

— Ну? Eh bien, cela m’est egal![558] — бесцеремонно, с совсем уже открытой наглостью порешила она, махнув рукою. — Если ви хотийт, вот мои кондиции! Ich habe schon gesagt [559].

— Итак, князь, потрудитесь приготовить тысячу рублей, чтобы не оттягивать надолго этого дела, — снова обратился Чечевинский к гамену. — Вы, мадам Шпильце, к какому времени можете устроить это? Срок, по возможности, назначайте нам короче.

— М-м... Дня два, — помяла губами генеральша. — А впрочем, je vous donnerai ma reponse peut être aujourd’hui[560]; я буду прислать до вас эту Person.

— Стало быть, князь, вы потрудитесь распорядиться, чтобы к сегодняшнему вечеру были готовы деньги, *непременно* к сегодняшнему! — порешил Николай Чечевинский, и вскоре затем все трое удалились, вполне об-

надеженные Амалией Потаповной.

Ни Каллаш с нею, ни она с ним взаимно не церемонились: оба вполне знали один другого, *что такое* каждый из них, и оба могли отлично разуметь друг друга. А из этого разумения, вследствие многократных житейских опытов, само собою вытекало и последующее, которое заключалось в том, что в межобоюдных сношениях с людьми подобного закала откровенная, циничная наглость скорее и ближе всего приводит к положительным результатам.

XXXIX

ПОСЛЕДНЕЕ БРЕВНО ДОЛОЙ С ДОРОГИ

В тот же день вечером, часу в двенадцатом, у дверей графа Каллаша раздался робкий звонок.

— Вас спрашивает та женщина, которую вы видели у генеральши фон Шпильце, — доложил ему камердинер.

— Ага! Наконец-то! — вскочил с места Каллаш. — Зовите ее сюда! Зовите скорее!

Анна в нетерпении пошла к ней навстречу.

Вошла Сашенька-матушка, с обычною своею неконфузностью, и подала Чечевинскому свернутую записочку Амалии Потаповны, в которой та извещала на сквернейшем и ломаном французском диалекте, что буде графу, вместе с князем Шадурским, угодно заплатить подательнице этого письма условленное вознаграждение, то подательница немедленно же может указать местопребывание отыскиваемой девушки.

Граф велел Пахомовне дожидаться и немедленно поскакал к Шадурскому.

Не прошло и часа, как он торопливо успел уже вернуться назад, добыв от старого гамена банковый билет в тысячу рублей серебром. Собственных своих денег граф не хотел затрачивать без самой последней необходимости. «Если можешь воспользоваться чужим, то для чего жертвовать своим собственным?» — это было его постоянным и неизменным девизом, который он, наряду со всеми членами своей компании, применял ко всем подходящим случаям жизни.

— Деньги со мною — вот они! — показал он билет Сашеньке-матушке. — Но ты получишь их не раньше, как покажешь мне эту девушку.

— Извините-с, сударь, одначе ж, при всем моем желании, я этого никак не могу! — церемонно приседая, откланивалась ему Пряхина. — А ежели вы мне дадите в задаток хоть половину, я готова с великим моим удовольствием, потому как вы увидите при деле всю мою верность, так даже, я так полагаю, что и свыше этих денег, может быть, еще в знак вознаграждения что-нибудь положите мне — вот какие мои мысли!

Чечевинский не стал разговаривать и из собственного бумажника отсчитал ей пятьсот рублей мелкими ассигнациями.

У Сашеньки-матушки разжигались и разбегались глаза при виде столь полновесных пачек.

— Я, милостивый государь, — снова заговорила она, — очинно, значит, желаю отличиться перед вами и хотела бы лучше всего показать вам эту самую девицу у себя на фатере, потому как фатера моя вполне благород-

ная; одначе ж никак в том не успела, для того что девица эта, извольте видеть, очинно теперь занемогши, так что даже с постели не встает. А вы уж извините меня, как ежели, при всем вашем благородстве, придется вам проехать со мной в ее место, хотя это очинно даже большая низкость и, как я понимаю, так для благородного человека, можно сказать, даже конфузно и грязно это самое место.

— Где же она находится? — в нетерпеливом волнении спросила Анна.

— Она, сударыня, изволите видеть, — с мягкосердечной улыбкой немножко замялась Сашенька-матушка, — она у своей мадамы живет, в таком, значит, доме, что, можно сказать, самый непотребный; и так как при ее болезни очинно трудна она, так уж если желательно вам видеть, нам нужно будет проехать к этой самой мадаме. Уж вы меня на том извините, а только иначе никак невозможно.

Анна мигом накинула на себя бурнус и шляпку, и все втроем отправились по указанию Сашеньки-матушки.

XL
ЧАХОТКА

Мы покинули Машу в одну из самых тяжелых минут ее жизни, которая, однако, при новом ее положении в веселом доме, чуть ли не показалась ей самою отрадною и давно желанною. Это именно была та минута, когда, отхаркнув комок алой крови, она ясно увидела, что в груди ее поселилась смертельная болезнь, и обрадовалась ей как желанному и единственному исходу.

В ту ночь, как стояла она над прорубью посреди Фонтанки, у нее не хватило решимости добровольно лишить себя жизни, несмотря на все страстное желание покончить с собою. Удерживал от этого страх греха и естественный инстинкт самосохранения. Тем не менее она хотела смерти, лишь бы эта смерть пришла сама собою, не насильственно.

Закравшаяся к ней чахотка служила прямым и надежным путем к этой цели.

Вот почему обрадовалась Маша, вот почему решила молчать про свое открытие, скры-

вать до последней возможности свою болезнь, часто подавляя в себе невольно прорывавшийся, сухой, подозрительный кашель.

«Теперь уже недолго, — нередко думала она, оставаясь наедине сама с собою, в своей маленькой клетушке. — В мои годы чахотка не тянется долго. Того и гляди, как раз задушит! Только... лишь бы не подметили, лишь бы не стали лечить, а то, пожалуй, еще на год лишний, если не на два задержат. Два года таких мучений, такой жизни — нет, это уже слишком! Невмоготу! Уж больно устала я... Ах, когда бы скорее *она* кончала со мною!..»

И этот сердечный порыв, это искание смерти было в ней вполне искренно, потому что жизнь противела и с каждым днем становилась не под силу все больше и больше. Эти ночные оргии с каждым днем все больше и быстрее подтачивали ее жизненные силы.

Чахотка — странная, капризная болезнь. Молодая женщина, к которой закралась она в грудь, часто начинает даже хорошеть какою-то странною, болезненно обаятельною красотою. Этот яркий, пятнистый румянец, эти глаза, лихорадочно горящие каким-то

жемчужным блеском, это воспаленное и порою словно окрыленное страстью дыхание заставляли привычных посетителей веселого дома обращать на Машу предпочтительное внимание, которое все ближе и ближе сводило ее к могиле.

Теперь она действительно была хороша собою, но не так, как прежде. Года полтора назад она вся дышала прелестью и благоуханием первой молодости. Если позволено мне будет употребить старое сравнение, я смело сказал бы, что тогда это был первый весенний цветок, на который пала первая весенняя роса всею своей живительной, созидающей свежестью. В то время она еще развивалась в чистую, прелестную девушку. Теперь же это была *женщина*, вдосталь хлебнувшая от жизненной чаши, познавшая и сласть, и горечь ее, женщина больная, увядающая, но прекрасная — и прекрасная-то не чем иным, как только этим обаянием болезни и увядания.

Это было обаяние молодой смерти.

Если вам когда-нибудь приходилось видеть молодых чахоточных женщин, вы не могли не подметить в них какой-то особен-

ной прелести, которая чарует вас, мучительно больно хватая за сердце. Вы любуетесь ею, как последнею пышною астрою, оставшеюся на последней из поблеклых и убитых осенним морозом куртин вашего сада. Все вокруг нее увяло, все умерло. Она одна еще только живет последними днями своей жизни и медленно осыпается, медленно умирает. Она одна только напоминает вам минувшую прелесть роскошного лета, и вы знаете, что пройдет еще несколько дней — и ее не станет. Но от этого самого сознания последний цветок, оставшийся на вашей куртине, становится вам еще милее, так что хочется любоваться и любоваться на него, и беречь, и холить его. Но вы знаете, что все напрасно, что эта песня спета, что эта жизнь вконец надорвана и только доживает свои последние вспышки. Смерть уже идет неотразимо, беспощадно, и эта самая смерть подходила к Маше быстрыми и верными шагами.

А Маша меж тем молчала.

И ключница Каролина, и сама мадам-тетка замечали, что с нею делается нечто неладное; и они знали, что именно делается, потому что

им уже неоднократно доводилось наблюдать подобную же болезнь, во всем ее развитии, на многих из своих закабаленных девушек; но ни та ни другая не обращали докторского внимания на Машину чахотку и даже были рады молчанию девушки. Она представляла для них слишком выгодный товар, на который все еще продолжался непрерывный запрос потребителей. До того времени, пока придется по необходимости лишиться этого товара, им хотелось выжать из Маши, в пользу собственного кармана, последние капли ее молодости и силы, чтобы бросить ее потом, как ненужную, истасканную тряпку.

И они достигли своей цели.

XLI
ПЕРЕД КОНЦОМ

Маша почувствовала себя вдруг очень слабой. Болезнь как будто нарочно соразмеряла и замедляла шаги свои для того, чтобы сильнее и уже окончательно пристукнуть ее сразу.

Накануне того, когда ей стало совсем уже плохо, она вынесла целую бурю, которою разразилась над нею тетенька за неповиновение ее воле. В последнее время Маша сделалась очень раздражительна и даже зла. Повинуясь действию своего нервного каприза, а может быть и по чувству чрезмерной болезненной слабости, она в течение целого вечера ни разу не захотела продаться и на все предложения отвечала сухим и резким отказом. Каролина не замедлила донести об этом тетеньке. Тетенька увидела в таком капризе пансионерки явный ущерб своему карману и потому, призвав к себе Машу, с криком стала требовать от нее немедленного исполнения прямых обязанностей и грозить, в противном

случае, взысканием по векселю и Рабочим домом.

Маша в ответ желчно предоставила ей полное право на то и другое — хоть сию же минуту.

Это казалось тетеньке уж слишком. Такую дерзость она не могла простить и потому пустила в ход обычные пощечины.

Взбешенная девушка, с пеною у рта, кинулась на свою мучительницу, от которой через минуту ее оттащили уже в бесчувственном состоянии.

Эта гнусная история ускорила развязку болезни.

У Маши в таком количестве хлынула горлом кровь, что наутро в рукомойной плошке стояло ее по крайней мере чашки с четыре, если не больше. Девушка почти инстинктивно почувствовала, что приходит конец. Ей уже трудно было подняться с постели; однако, пересилив себя, дотащилась она кое-как до двери и замкнула ее на задвижку. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь мог войти в ее комнату, и в особенности Каролина или мадам-тетенька. В это мгновение, более чем ко-

гда-либо, сделался ей ненавистно противен вид всех этих физиономий. Хотелось, пока еще есть сознание, оставаться одной совершенно, умереть никем не видимой и не слышимой, подобно собаке, которая, чуя смерть, забивается в самый удаленный и темный угол какого-нибудь заднего двора или подвала.

Каролина раза два приходила и стучала в двери. Маша отвечала, что у нее сильно болит голова, и просила, чтобы ее оставили в покое. Звали ее к «фрыштыку» и к обеду, но ни к тому, ни к другому она не вышла, отговариваясь все тою же головною болью.

Тетенька и Каролина решили, что это не что иное, как все тот же каприз и прямое следствие вчерашнего происшествия, и потому положили пока до времени оставить ее в покое.

— Не хочет жрать — и не надо! Проголодается — умнее будет.

Таково было их решение, которым они, и сами того не ведая, как нельзя более угодили умирающей.

Порою судорожный кашель до удушья под-

ступал к ее горлу. Несколько платков и полотенец были уже сильно перепачканы кровью.

«Какая алая, — думала про себя Маша с каким-то удивленным любопытством, широко устремляя горящие глаза на эти кровавые пятна. — Как много ее сегодня!.. Это недаром, это хорошо! Чем больше ее выходит, тем все меньше во мне жизни остается... Это хорошо, стало быть, уже очень недолго».

И в сердце у нее не шевельнулось ни малейшей грусти, ни малейшего сожаления при мысли об удалении от этой жизни. В нем жила одна только безотносительная горечь ко всем и всему на свете. Она не радовалась теперь своей наступающей смерти, а встречала ее просто и равнодушно. Такое отношение к собственной близкой кончине нельзя даже назвать спокойным. Спокойствие может быть только там, где есть примирение. Здесь же была одна только озлобленная горечь, и потому ожидание смерти облеклось у Маши полным и холодным равнодушием. Порою, без всякой мысли, без всякого определенного чувства, блуждала она глазами по стенам своей комнаты, и с этих стен как-то розово-глупо

глядели на нее роскошные литографии, изображавшие Frühlingsmorgen и Herbstsabende [561]; то вдруг с туалета совался в глаза вербный коленкоровый розан, полинялый и запыленный, и не было во всей этой комнате ни одного предмета, ни единой вещицы, которая хотя бы сколько-нибудь утешила взоры и сердце, напомня хоть одну светлую минуту из прошлого. Все вокруг было так мрачно, грязно, пошло и подло. До слуха умирающей бессвязно доносились из смежных комнат звуки обычной перебранки, обычные разговоры, возгласы и куплетцы. Мимо двери по коридору шмыгали и топали разные шаги... Веселый дом жил своей обычной дневной жизнью, не чая, что в одной из его каморок в эти самые минуты совершается борьба молодой жизни с безвременной смертью.

Порою Маша впадала в какое-то опьяненное забытье. Грудь ее горела летучим огнем, словно внутри ее пробегали раскаленные змейки. Голова тяжелела и словно вся чугуном наливалась. Тогда сами собою замыкались веки, и наплывало на нее лихорадочное забытье, которое длилось то несколько ми-

нут, то более часу.

Очнулась Маша из такого забытья, раскрыла свои большие глаза и смутно повела ими по комнате. На дворе уже начинало смеркаться. Тусклый полумрак обливал собою стены, сливая в нечто неопределенное все окружающие предметы. Все было тихо, грустно, тоскливо, все дышало полным, всеми покинутым, всеми забытым и безысходным одиночеством.

Девушка попыталась приподняться — не тут-то было. Дело становилось совсем уж плохо. Сил больше не было.

Она прислушалась: за тонкой перегородкой, под самым ухом, будто что-то копошится. Слышен какой-то шепот двух голосов, звук поцелуя. Ей как будто и не хочется слышать того, что там, за стеною, но, ослабелая, лежит она совершенно неподвижно и все-таки невольно, нехотя слышит. Там — жизнь в полном разгаре, со всей ее пошлостью и циническим наслаждением, а здесь — человек тихо кончается, и одно от другого отделяет лишь тонкая, дюймовая доска перегородки.

А сумеречная мгла все темнее, все гуще за-

топляет комнату; и с этою темнотою как будто еще явственнее становятся застеночные звуки, и шорох, и поцелуи... Но вот через несколько времени захлопнулась совсем соседняя дверь, шелестнули крахмальные юбки, чьи-то удаляющиеся шаги раздались по коридору, и снова все наглухо умолкло за стеной.

Очевидно, там никого больше не было.

— Эй! Сударыня! Что же ты лежишь-то и голоса не даешь? — раздался вдруг, вместе со стуком в Машину дверь, хрипливо-резкий голос тетеньки. — Все девушки давным-давно здесь одеты, в залу повыходили, а ты прохлаждаешься! Скажите, пожалуйста, какая королева нидерландская! Вставай-ка!

Маша не отвечала.

Нетерпеливый стук тетеньки раздался сильнее.

— А! Ты еще комедию играть у меня!.. Отворяй скорее!

Маша опять не откликнулась.

Тетенька сильными ударами стала потрясать тонкую дверь и кликнула к себе на помощь Каролину.

Плохо привинченная задвижка поддалась и отскочила.

Но каково было изумление и испуг этих двух особ, когда они увидели кровавые платки и полотенца и белую плошку, в которой плавали сукровица и черные, свернувшиеся печёнки.

— Schneller nach dem Arzt!.. Nach dem Arzt! [562] — засуетилась мадам, кидаясь в разные стороны — то к двери, то из дверей, и к Маше, и к Каролине.

С первого переполоха, при виде крови, ей показалось даже, будто девушка зарезалась. Но тут, уже убедившись, что она еще и жива, и непорезана, тетенька заодно уж излила на нее весь поток своей досады за тот испуг и беспокойство, которое причинило ей внезапное предположение о резании.

Тем не менее относительно тетеньки дело выходило неладное. Она предвидела, что к ней непременно прицепятся: как, мол, запустила до такой степени болезнь своей пансионерки, не сделав о том надлежащего заявления, а какое тут заявление, коли Маша чуть не до последней минуты доставляла ей зна-

чительные выгоды! И поэтому, в виде прицепки, тетенька уже рассчитывала, что, гляди, рублей двадцать пять или тридцать, коли не больше, непременно ухнут куда следует из ее толстого кармана. Все эти сетующие, досадливые соображения высказывались вслух и как бы в непосредственный укор пансионерке.

Маша слушала и словно не слыхала; по крайней мере впечатление тетенькиных слов ни единым движением не отражалось на ее лице.

— В больницу отправить поскорее! — порешила меж тем тетенька. — Еще околеет — поди возись тут с нею! На три дня убытков наделает! Mädchen, lauf eine schnell nach dem Iswostschik![563] Да дворника позвать — пусть свезет в больницу. Ступайте сюда! Помогите мне одеть ее!

И она уже насильно подняла Машу с подушек и с помощью двух девушек стала натягивать на нее капот да окутывать платком голову, как вдруг прибежала кухарка и объявила, что ее спрашивает Александра Пахомовна Пряхина, которая ждет ее в квартире «по са-

моважнейшему делу», чтобы шли, мол, не медля ни одной секунды.

Пахомовна явилась сюда ради известных уже читателю сделок насчет Маши.

Выслушав ее предложение, тетенька вконец уже растерялась и раздосадовалась.

— Ach, mein Geld! Mein Geld! Du mein grosser Gott! Was fange ich jetzt an?[564] Четыреста рублей пропадать должны!

Хотя Пахомовна не менее самой тетеньки опешила перед известием о тяжкой болезни Маши, однако же не растерялась. В минуту шевельнув мозгами, она нашлась, как обернуться в этом положении, да заодно уже придумала утешение и для огорченной тетеньки. Она сообщила, что господа, которые принимают в Маше такое близкое участие, — люди весьма богатые, и коли, мол, приступить к ним с убедительными просьбами, так они не постоят за платежом. Затем Пахомовна поразмыслила, что теперь лучше всего будет взять карету и перевезти больную к себе на квартиру. Этим пассажем она рассчитывала сделать более приличным первое свидание Маши, совершенно справедливо находя не совсем

удобным и уместным представить ее в недрах веселого дома как его патентованную обитательницу.

Тетенька, по старой дружбе, ничего не возразила на ее предложение, и даже сама распорядилась послать за каретой, в том расчете, что «коли умрет, так хоть не у меня на квартире». Но, к счастью для умирающей, явился доктор, которого благодаря тоже счастливой случайности нашли на ту пору дома.

Оказывать какую ни на есть помощь было уже поздно; разве только оставалось дать ей умереть спокойно. Поэтому отвозить ее в больницу или к Пахомовне он запретил наотрез, объявя, что больная может умереть на дороге, даже не доехав до места, потому что беспокойство от тряской езды и резкая перемена воздуха, пожалуй, довершат дело чахотки.

Пахомовна — хочешь не хочешь — решилась про себя на последнее средство, лишь бы только не выпустить из рук того вознаграждения, которое она выговорила себе у генеральши, и сломя голову поскакала на извозчике к своей патронессе, а оттуда, с ее запиской, к графу Каллашу.

А тетенька меж тем, не стесняясь присутствием умирающей, громко изливала перед доктором свои горькие сетования на то, что вся эта болезнь приключилась так внезапно и что теперь, в случае смерти, придется нарушить весь ход обычной жизни веселого дома, а это грозит убытками — так уж нельзя ли поэтому хоть как-нибудь сбыть девушку, лишь бы только с рук долой.

Тот запретил безусловно, и злосчастная тетенька с сердечным сокрушением принуждена была наконец подчиниться его воле.

Маша тихонько повернула к нему лицо и тем хриплым, надсаженным голосом, который образуется у чахоточных в последнем градусе болезни, прошептала с умоляющим видом:

— Священника!.. Не оставьте... не откажите. Вас они не посмеют не послушать... Прикажите им послать за священником!

И доктор настоял, чтобы желание умирающей немедленно было исполнено.

XLII
ИСПОВЕДЬ

Веселый дом по всей справедливости мог носить эпитет «веселого», ибо в нем помещались три веселые мадамы-тетеньки, которые содержали три веселые квартиры, и в каждой из этих квартир еженощно раздавались звуки клавикорд, буйные возгласы, и топот, и шарканье нескольких десятков ног, отплясывавших польки да канканы. Одна из веселых квартир, этажом выше, помещалась над другою. В верхней шла буйная оргия, в нижней досадливо ворчала да ругалась хозяйка да умирала Маша.

Священник, приведенный к ней через задний, черный ход, сидел над ее изголовьем.

Дверь заперта. Кроме умирающей да исповедника в комнате никого нет. Свеча озаряет благоговейно потухающее, синевато-бледное лицо девушки и, сбоку над ним, как лунь седую бороду и мягкие пряди серебрящихся старческих волос. Тихий и добрый полушепот раздается над ухом больной, а наверху в это

самое время сквозь потолок слышен гам и топот — возня идет какая-то, пляс кружится, лает разбитое, дребезжащее фортепиано, и под аккомпанемент этих диких, смешанных звуков Маша в последний раз перед смертью раскрывает перед кротким, благодушным стариком всю свою наболелую, многоскорбную душу...

— Я грешница... грешница, — хрипло шепчет она, тяжело переводя дух почти после каждого слова, — я озлоблена на все, на всех... Я два раза топиться хотела... Когда узнала, что у меня чахотка, я обрадовалась... и скрывала болезнь... нарочно убивала себя жизнью, развратом, чтобы скорее покончить... терпеть у меня сил не хватило... Я роптала, я проклинала... Умереть мне хотелось... поскорее умереть... Вот, умираю теперь... Горько... тяжело... Так ненавистно мне все это!.. Так зла я на все, и теперь вот зла... Трудно, нехорошо ведь это, умереть с таким чувством, а что же делать! Нет у меня другого!.. Батюшка!.. Батюшка! Если можно... если еще есть возможность, успокойте мою душу... хоть в смертный час... хоть на несколько минут, но... примирите ме-

ня с жизнью — она мерзка, все еще ненавистна мне она!.. Что мне делать?.. Что мне делать?.. Это ведь грех — умирать в такой злобе!..

На ресницах ее заискрились крупные слезы и тихо, капля за каплей, покатились по глубоко запавшим щекам, которые горели теперь пятнистым, ярким румянцем.

— Дитя мое, — с глубоким вздохом, минуту спустя послышался в ответ ей сострадающий, сочувствующий голос старца, — не с жизнью — я помирю тебя с тобою... помирю тебя с Богом, а с жизнью... поздно, да и не к чему уж мириться!.. Пусть мирится с ней живущий — тому эта сделка нужна еще, а тебе... твоя жизнь прожита! Не мириться, нет, но простить... Если можешь, то прости ей! Прости все зло и горе, которое она дала тебе и... будем думать и говорить о Боге.

И теплая, кроткая беседа их длилась еще несколько времени, и когда наконец старик, в последний раз благословя умирающую, удалился из ее комнаты, на успокоенном лице ее светилась уже ясно-тихая, кротко-покорная улыбка, которая вся была — всепрощение.

XLIII
СМЕРТЬ МАШИ

Не прошло и получаса по уходе священника, как Маша ясно расслышала шорох платьев, шелест шагов и шепотливые голоса за своей дверью.

Через минуту дверь эта тихо приотворилась, и в комнату осторожно вошла старуха, которая, затаив дыхание и сдерживая внутреннее волнение, остановилась подле умирающей, устремивши на нее тревожно-внимательные взоры.

Девушка быстро и широко раскрыла глаза, изумленно вскинув их на вошедшую.

Она была удивлена неожиданным появлением незнакомой женщины и несколько времени все так пристально вглядывалась в черты ее...

Ни та, ни другая в первую минуту не подали голоса.

— Чуха! — вскрикнула наконец Маша, тщетно делая усилие приподняться на локте.

Та вздрогнула при звуке голоса, который

произнес это имя.

Если в душе Анны и могли еще до последней минуты копошиться какие-нибудь сомнения, то слово «Чуха», произнесенное умирающей, сразу разоблачило несчастной матери, что ее дочь — именно та самая девушка, которую она некогда оттащила от проруби.

Но как изменились ее черты! Смерть уже начала накладывать на них свою печать. И однако, вглядевшись в это изможденное страданием лицо, Анна узнала прежнюю Машу.

— Чуха! — уже гораздо слабее повторила девушка, не сводя изумленных глаз со старухи.

— Маша... Маша... дочь моя!

Это были единственные слова, которые могла произнести Анна, задыхаясь от волнения и подступающих слез. Она склонилась над дочерью и, обняв ее плечи, покрывала поцелуями все лицо ее.

— Дочь моя, дочь... Маша... милая... Наконец-то я нашла тебя... Ведь я тебе мать... родная мать, — шептала она, прерывая слова свои нежными, тихими поцелуями.

— Мать!.. Моя мать! — воскликнула девуш-

ка и вдруг поднялась и села на постели, обняв руками шею старухи.

В эту минуту у нее вдруг явилась энергия, жизнь и какие-то напряженные силы. Последняя яркая вспышка погасающей лампады.

— Мать моя! — говорила она, пожирая восторженно-радостными глазами лицо Анны. — Так ты моя мать?.. О, для чего же так поздно?.. Зачем теперь, а не тогда?.. А ведь мы сердцем чуяли друг друга!.. Любили, не знаючи... Помнишь?

— Помню, помню, дитя мое... все помню! — как-то жутко шептала Анна, и в звуках ее голоса слышалась радость, отравленная какою-то жгучею горечью отчаяния.

— Где ж отец мой?.. Кто мой отец? — внезапно спросила девушка.

Старуха не ответила.

— Матушка! Я спрашиваю про отца моего!..

Та продолжала молчать и только головою поникла, мрачно и злобно сведя свои брови.

Маша еще раз пристально взглянула на нее и уж более не повторила вопроса. Руки ее

ослабели, тихо упали с плеч матери, и она вдруг опрокинулась на подушки, почти мгновенно возвратясь к прежнему бессилию.

Это молчание сказало ей все.

В памяти живо и ярко воскресли те слова Чухи, которые сказала она ей в вяземской ночлежной про старого князя Шадурского, про то, как от нее родную дочку скрыли, про то, как поступил с нею этот Шадурский. Маше вдруг захотелось ничего бы не знать, потому что воспоминание невольно нарисовало ей при этом образ ее собственного любовника, который был законным сыном ее незаконного отца.

Это сознание повеяло ужасом на бедную девушку.

Чистая, светлая радость внезапного открытия родной матери мгновенно была омрачена открытием родного отца.

Проклятая жизнь и тут отравила ей чуть ли не единственную светлую, хорошую минуту.

— Матушка, матушка! — смутно прошептала она. — Какие мы с тобой несчастные!.. За что?.. За что все это?

Это было последнее потрясение, последнее сильное чувство, последний и самый тяжкий удар, которого не мог уже выдержать переломленный, исковерканный болезнью организм девушки. С этой самой минуты смерть шла на нее уже быстрыми, рассчитанными шагами. Больная сильно мучилась. В груди ее что-то хрипело с каким-то высвистом, про который народ говорит, что «певуны поют», — хрипело и переливалось каким-то глухим клокотанием. Приступы удушливого кашля становились все чаще и сильнее. Порой начинала она метаться и стонать от жгучей боли в груди, порой впадала в тяжкое, лихорадочное забытье и через несколько минут вздрагивала, очнувшись, и приходила в себя, и все более слабеющим голосом, с такою тяжкой мольбой простирала к матери свои худощавые руки:

— Матушка!.. Матушка!.. Где ты, милая моя?.. Где ты?

— Я здесь, здесь, — внятно отвечала ей Анна, у которой сердце раздиралось и обливалось кровью при виде этих предсмертных мучений.

— Где ты?.. Я плохо вижу тебя... В глазах темно становится...

— Здесь я, дитя мое, вот, над тобою!.. Я держу твои руки — разве ты не слышишь?

— Слышу... теперь чувствую... Будь здесь... не отходи от меня...

И, прижав к себе руку матери, она через минуту впадала в новое забытье. И, несколько времени спустя, опять широко раскрывались ее потухающие глаза, и опять, вместе с грудными певунами, слышался нежный молящий шепот:

— Матушка!.. Милая!.. Будь со мною... ближе... ближе ко мне... Целуй меня, ласкай меня... обними меня, родная моя... Так обними, чтоб я чувствовала... Крепче, больше... Поцелуй еще!.. Еще раз!.. Ты любишь меня?.. Любишь?..

Анна сжимала ее в своих объятиях и покрывала тихими, долгими поцелуями все лицо ее, на которое капали горючие крупные слезы.

Маша вдруг вздрогнула и, проворным движением, цепко схватила руку старухи.

— Матушка... мне холодно... пальцы коче-

неют... холодеют ноги, руки... Согрей меня!.. Это *она*... Да, это *она*!.. Это смерть моя идет... О Господи!.. Пощади! Удержи ее, Боже мой!.. Матушка! Теперь ты со мною — мне бы жить хотелось...

И она горько, горько заплакала — последний раз в своей жизни, с которою теперь стало вдруг так мучительно тяжко расстаться.

— Матушка!.. Пока еще я помню себя — благослови меня... Простись со мною... Обмануться нельзя — я чувствую, что уж недолго... Перекрести меня!..

Анна благоговейно стала осенять ее крестным знамением и тихо шептала молитву...

— Молись... громче молись... внятней, чтобы я слышала... Дай мне твою руку... — прошептала умирающая — и это уж были ее последние слова. Она крепко, почти с судорожным движением прижала хладеющими пальцами материнскую руку к своей груди и, не отпуская ее, впала через минуту в беспамятство.

Началась предсмертная агония.

Хрипящая грудь вздымалась высоко под тяжелым и нервно-медленным дыханием,

словно силилась вдохнуть в себя побольше воздуха. По временам по всему телу на мгновение пробегало какое-то судорожное трепетание. По временам широко раскрывались глаза, но это уж были глаза почти безжизненные, тупые, в которых не светилось ни малейшего отблеска мысли или страдания, и вскоре зрачки их совсем остановились, получа тот неприятный, отталкивающий взгляд, который бывает у мертвеца. Одна только грудь чуть заметно колебалась еще под трудным дыханием, и коченеющая рука все еще крепко держала прижатую к груди руку Анны. И Анна чувствовала, как эти тонкие, длинные пальцы постепенно цепенеют и холодеют — все больше, больше и больше.

Над городом пронесся густой гул первого благовеста к заутрене. На широкой двуспальной кровати, которая была немою свидетельницей стольких развратных ночей веселого дома, в эту ночь лежал теперь вытянувшийся, холодный труп «развратной» девушки.

А рядом с нею, за тонкой перегородкой, в соседней комнатке злобствовала и плакалась на свою печальную судьбу мадам-тетенька и

раздавались оттуда ее недовольные, нюнящие возгласы.

— Da bin ich nun um meine vier hundert Rubel gebracht![565] Шутка сказать! Кто же мне теперь долг за нее заплатит?.. Я-то за что терплю тут!.. Сколько убытков теперь... Никогда шкандалу такого не бывало, чтобы в моем доме девушка вдруг померла... Говорила ведь, что надо в больницу отправить!.. Тягайся теперь с полицией!.. Oh, du mein grosser Gott![566]

Николай Чечевинский, все время ожидавший в одной из соседних комнат, утешил великое горе тетеньки обещанием уплаты по векселю. Тетенька успокоилась и принялась хлопотать по части обмывания и первых приготовлений к выносу покойницы в залу.

Все обитательницы веселого дома, без цели, с тупым полуиспуганным недоумением, слонялись из угла в угол по всем комнатам, какие-то растерянные, ошеломленные, пришибленные этой внезапной смертью своей товарки, а наверху все еще раздавались веселые звуки разбитых клавикордов, и потолок дрожал от неистового топанья и кутерьмы за-

бубенного канкана.

XLIV
ПОТЕШНЫЕ ПРОВОДЫ

Как-то страшно и пугливо озирались обитательницы веселого дома на свою парадную пунцовую залу, посреди которой на черном катафалке стоял белый глазетовый гроб. В комнатах пахло ладаном — запах еще более странный среди веселого дома. Эти стены, где раздавалось столько хохоту, цинических куплетцев и возгласов, столько гаму и топанья неистовых танцев, оглашались теперь тихим, тягучим голосом псаломщика; вместо люстры горели три высокие восковые свечи, и зрелище этой суровой смерти, столь исключительное для веселого дома, поражало и даже как будто пугало его обитательниц. Они старались не показываться в залу, а если уже необходимость заставляла проходить мимо, то они проходили торопливыми шагами, боясь бросить мимолетный взгляд на свою мертвую товарку и стараясь поскорее удалиться из комнаты. Быть может, для многих из них, у

которых не совсем еще закоченели человеческая мысль и сердце, эта нежданная смерть, свершившаяся, что называется, у всех на глазах, послужила печальным и суровым поучением. Быть может, не одну из них заставила она оглянуться на прошлое и с ужасом подумать о будущем.

Княгиня Анна почти ни на минуту не покидала своей мертвой дочки. Ей не удалось похолить ее живую, поэтому она холила ее мертвую. Сама так гладко расчесала ей шелковистые волосы, сама нарядила в белое кисейное платье и убрала гирляндою живых цветов. Она как будто любовалась на этот милый и дорогой ее сердцу труп, любовалась с колючею жуткостью глубокого, неисходного горя.

Часто всходила она на катафалк затем, чтобы поправить покров или получше уложить какую-нибудь складку одежды, и каждый раз надолго припадала губами к холодному челу, на которое, капля за каплей, упадали ее горячие слезы.

Тетенька слезно просила не оставлять долго покойницу в недрах веселого дома, потому

что странное присутствие здесь мертвого тела, нарушая весь ход веселой жизни, сильно-таки било ее по карману. И точно: вечером то и дело раздавался у входной двери с «васистдасом» громкий звонок за звонком, и случайные посетители, которых сегодня отказались впустить, оставались до крайности удивлены этим, не свойственным месту, запахом ладана и озадаченно уходили прочь. Мысль о том, что тут лежит покойница, которую многие из них физически близко знавали, производила неприятное, скверное впечатление. Всесторонне сообразительная тетенька опасалась, что оно, может, пожалуй, на время отвадить от ее приюта некоторых из привычных посетителей.

Два раза в день приходил священник петь панихиду, и стены пунцовой залы оглашались заунывными звуками, которые были слышны чуть ли не целому дому и повергали тетеньку в неописуемое смущение и досаду, все по поводу тех же самых опасений, ради чего она снова приступила к Анне с просьбами не задерживать у нее в квартире покойника.

Чуха с Сенной площади более чем кто-либо могла понять всю своеобразную основательность ее резонов. Поэтому через двое неполных суток часу в десятом утра покойница была вывезена на кладбище.

Странное и даже вполне курьезное зрелище представлял этот погребальный кортеж глазам прохожего люда. За траурными дрогами, которым предшествовали четыре факельщика с весьма комически нахлобученными шляпами, шла одна только Анна, ничего не видя и не слыша вокруг себя, вся погруженная в свое неисходное, глухое горе. Подле ее никого не было: Николай Чечевинский уехал вперед на кладбище распорядиться насчет похорон.

За Анной тянулся ряд извозчичьих дрожек, и на каждых дрожках восседало по паре веселых девиц — прежних товарок покойницы. Одна из них ради столь экстренного случая даже напилась пьяна и поэтому находилась в умильном расположении духа. Тщетно, для равновесия, поддерживала ее за талию подруга, уговаривая все время не скандалить и сидеть смирно; хмельная девушка не

слушала и, задрав ноги на крылья извозчичьей пролетки, знай себе размахивает руками да обращается к прохожим с какими-то бессвязными возгласами, улыбками и замечаниями. То вдруг принималась она плакать и поминать добрым словом покойницу, которую всегда, мол, любила, потому хорошая была девушка; то вдруг начинала распевать в честь ее похоронный марш, но спьяну это ей никак не удавалось, и марш похоронный выходил все более похожим на марш персидский. Как уж там она ни бьется, как ни старается, чтобы вышел похоронный, а он, подлец, словно нарочно и как-то невольно, сам собою все на персидский сбивается, и хмельная девушка очень сердилась на это не зависящее от нее обстоятельство.

Ряд этих провожающих парочек замыкался дрожками, на которых во всю ширину одиноко восседала бухлою квашнею сама мадам-тетенька.

Прохожие на минуту останавливались, с удивлением оглядывая такой странный кортеж, и у многих из них эти курьезные проводы невольно вызывали веселую улыбку.

В кладбищенской церкви поставили Машу в одном из боковых приделов, на особом катафалке. Рядом стояло еще несколько покойников, которые дожидались отпевания по окончании обедни.

XLV

«ИДЕЖЕ НЕСТЬ БОЛЕЗНЬ, НИ ПЕЧАЛЬ, НИ ВОЗДЫХАНИЕ»

Однообразно и грустно протекала жизнь Вересова. Почти все, что любил и о чем так мечтал он, было разбито. Но страшнее всего казалось то последнее убеждение, что женщина, которую он так восторженно, любовно называл своей матерью, в сущности оказалась только ловкою интриганкой, разыгравшей с ним плутовскую комедию. И рассудок, и сердце его отказывались верить, чтобы мать могла быть способна на такой поступок. Видя себя столь нагло обманутым и вспоминая пророческое слово умирающего отца, молодой человек почти ни на минуту не переставал тревожиться в глубине своей совести. Ему все казалось, что он чует над собой хо-

лодный гнет отцовского проклятия, что это проклятие всегда в нем и при нем, нигде не разлучно, вечно присуще ему, что оно живет даже в самой атмосфере, охватывающей его тело, и, о чем бы ни думал он, что бы ни делал он, куда бы ни пошел, это роковое «будь проклят!» словно адская свинцово-мрачная туча всегда и везде неотступно плывет над его головою. Эта мысль и это чувство стали в нем наконец полною манией. Впрочем, ему почему-то верилось, что душа его успокоится, но только тогда, когда он найдет себе единственное утешение, оставшееся для него в жизни. Этим утешением была мысль — и даже не мысль, а скорее одна только туманно-прозрачная поэтическая мечта о голодной и холодной белокурой девушке, которая молилась и плакала в сумрачном храме, которая провела с ним студеную ночь в покинутой барке, накормила его на свои последние гроши и вырвала его в Малиннике из увесистых лап Летучего. Этот святой образ, словно тонкий луч далекой звезды, один только доходил до его сердца, пробиваясь сквозь мрачную тучу тяготеющей над ним мысли о проклятии.

Вся окружающая жизнь давила его, и он искал везде и повсюду своего единственного утешения, искал тем упорнее и жаднее, что слишком уж устал жить, слишком избит был жизнью и слишком много, наконец, вся душа его алкала хоть какого-нибудь покоя.

Раз навсегда задавшись идеей, что он не вправе пользоваться наследственным состоянием, которое нажито на счет людских слез да нищеты, Вересов отказывал самому себе почти во всем необходимом и по-прежнему продолжал существовать чуть ли не круглым нищим. По-прежнему кошелек его всегда был открыт для каждого голяка, для каждого доброго, честного дела. В этих случаях он сыпал деньгами не жалеючи, и это опять-таки была потребность его души: после каждой такой щедрой жертвы он чувствовал, что там, внутри его, становится как будто легче и светлее.

Две комнаты, отведенные и роскошно убранные для Маши, которая должна была вступить в них полною хозяйкою, продолжали пополняться разными украшениями и всевозможными атрибутами роскоши и комфорта. По-прежнему не дерзал он даже и поду-

мать, чтобы когда-нибудь мог своекорыстно вступить с нею в какие бы то ни было отношения, исключая честной и вполне братской дружбы. Он как был, так и остался на всю жизнь неисправимым идеалистом.

Поэтому поиски его за Машей почти непрерывно продолжались по всему городу. Но как было найти ее, не ведая, ни кто она, ни что она, ни как ее имя, и зная положительно только одно, что это — существо голодное, бесприютное, доведенное нуждою даже до барочных ночлегов. Искал он ее везде и повсюду, неоднократно возвращаясь в темный мир Сенной; шатался и по Малиннику, и Клоповнику, и по Вяземскому дому, и по всевозможным вертепам пьянства и разврата, наполняющим окраины этой площади. Ни надежда, ни энергия не покидали его в этих поисках. Но — увы! — поиски всегда кончались не только без успеха, но даже без легкого призрака надежды на него. С кем ни заводил он разговора, никто не ведал про ту девушку, даже никто не понимал, чего именно добивается Вересов. Вздумал было разыскать Чуху, прозвище которой точно так же не ведал, хо-

тя выразительно-безобразная физиономия ее с нескольких мгновений навсегда и глубоко врезалась в его память; но и Чухи уже не было в трущобном мире. Княжна Анна в это время тайно и почти безвыходно проживала у своего брата, Николая Чечевинского.

И все-таки надежда не покидала Вересова, зачастую достигая даже до полной наивности: чуть ли не каждый раз, выходя на улицу, он ждал, что авось либо судьба приведет его наконец к случайной встрече с желанной девушкой. Поэтому зачастую он зорко оглядывал почти каждую встречную женщину, и нередко казалось ему, как будто вон там, впереди, всего лишь в нескольких шагах, мелькает нечто вроде знакомого образа, и он ускорял шаги, почти бежал вдогонку — для того чтобы, подойдя ближе, тотчас же разочароваться... Сколько ни смотрел, сколько ни разыскивал Вересов, пока еще ни в одной женщине не признал он ни своей безобразной старухи, ни своей белокурой девушки.

А неотступная мысль об отцовском проклятии меж тем все больше и больше тяготела над его рассудком. Порою казалось ему да-

же, будто оно-то самое, это проклятие, и ложится бревном поперек каждого шага его жизни, будто оно-то и препятствует ему отыскать в жизни действительной девушку, взлелеянную его грезами, потому что смысл этого проклятия не хочет и не позволяет, чтобы он когда-нибудь и где-нибудь нашел наконец себе какое бы то ни было утешение и забвение.

И вот среди подобного состояния души Вересов стал находить себе одно только малое утешение в том, чтобы посещать как можно чаще могилу своего отца, служить по нем литии да панихиды да вынимать заупокойные частицы. Он был всегда очень религиозен, а теперь это настроение возросло в нем даже до чего-то мистически-суеверного. Он поставил себе в непременный долг раза два в неделю посещать могилу отца. Знакомых у него почти не было, развлечений — тоже никаких, кроме книг да лепной скульптурной работы. И те люди, которым хоть сколько-нибудь доводилось соприкасаться с ним в жизни, пришли наконец к заключению, что он как будто не совсем-то в своем рассудке, и называли его меланхоликом, каковым Вересов и был на са-

мом деле.

Добрая судьба, однако ж, не захотела быть к нему совсем уж безжалостной. Она все же позволила найти наконец то, на что потрачено было столько долгих и тщетных исканий. Он увидел зараз и Чуху, и Машу.

Вернувшись с могилы отца в кладбищенскую церковь, прислонился он к одному уголку в боковом притворе, ожидая конца общего отпевания, чтобы заказать себе отдельную панихиду.

В это время глаза его случайно упали на княгиню Анну, которая безмолвно и неподвижно, словно немая статуя, стояла у гробового изголовья своей дочери.

Вересов так хорошо помнил эти черты, что узнал их сразу.

Он подступил к гробу и заглянул в лицо покойницы. Измененное болезнью и смертью, оно все-таки сохранило еще отпечаток чего-то прежнего, знакомого. Впрочем, Вересов не столько узнал, сколько угадал инстинктом свою желанную девушку. Он долго смотрел в это мертвое лицо и наконец благоговейно, до земли поклонился гробу.

«Что ж? О чем горевать? Надеялся недаром — все ж таки нашел я тебя, — подумал он с какою-то удрученно-бессильною горечью. — Теперь не к одному, а к двум покойникам стану ходить в гости. И то утешение!»

Когда вынесли Машу из церкви на могилу, Вересов робко последовал за провожавшими и глядел издали, как опустили ее в землю, как зарывали гроб, как мало-помалу удалились оттуда люди, как после всех ушла убитая старуха, которую поддерживал под руку красивый светский барин, и когда уже скрылась из виду эта последняя пара, он тихо подошел к могиле и, кручинно подпершись руками, присел на свежую земляную насыпь.

Теперь, под землею, всеми покинутая, эта девушка была уже полною его собственностью. Он беспрепятственно мог сидеть на ее могиле и думать о ней свою горькую думу.

С этих пор часто, почти ежедневно, стал Иван Вересов приходить к ней в гости. Он жил какою-то своеобразною, совсем особенною жизнью, которую создали ему фантазия и суеверное чувство. На могиле часто казалось ему, будто слышит он Машу в этом ше-

поте весенних листьев, будто чует в теплом солнечном луче ее теплое дыхание, в шорохе зеленой травы — шелест ее легкой походки, а дуновение ветра — это было веяние ее воздушных крыльев, как будто она реяла над своею могилой и, кружась и играя, носилась вокруг него легкою тенью. И часто бедняку чудилось, будто въяве он видит ее призрак, который вот-вот сейчас мелькнул за смежными кустами и скрылся там вон, в отдалении, за группой плакучих берез. И Вересов был убежден, и верил чистосердечно и глубоко, что она *есть*, что она существует и присутствует с ним неразлучно и нераздельно, рука об руку, как с другом и братом, и витает подле него светлым призраком, который на земле только и доступен одному лишь его провидящему взору. Это было почти уже полное сумасшествие, но тихое, кроткое и такое грустно-отрадное, что минуты подобных грез стали наконец для Вересова желанными и лучшими минутами из всей его жизни.

Часто на этой могиле встречался он с Анной, но каждый раз робко и торопливо поднимался с места и шел себе бродить по кладби-

щу, как только завидит, бывало, ее приближающуюся фигуру. И бродил он таким образом все время, пока та оставалась у дочери, выслеживая издали, скоро ли она уйдет, и чуть лишь Анна удалялась, бедняк опять возвращался на свое место.

Та, наконец, не могла не заметить этого странного гостя своей покойницы. Она видела его бесконечно грустное, симпатичное лицо, а женский инстинкт подсказал ей в нем не злого человека. Еще не зная, кто он таков, Анна уже втайне расположилась к нему сердцем за эту, пока непонятную для нее, верность одной и той же могиле. И захотелось ей наконец узнать и допытаться, что это за человек, и зачем с таким постоянством и так грустно сидит он всегда на этом месте, почтительно удаляясь при ее появлении, и какое именно побуждение приводит его сюда почти ежедневно.

Однажды он до того уже погрузился в свои грезы, что и не заметил, как подошла к нему княгиня Анна, и только тогда очнулся и пришел в себя, когда та дотронулась тихо до его плеча.

Они заговорили. Ни той, ни другому нечего было скрываться друг перед другом, потому что оба слишком были просты и честны и на душе у обоих лежала одна и та же любовь, тяготело одно и то же горе. Слово за слово, их откровенный разговор мало-помалу дошел наконец до того, что оба открыли друг другу, какие чувства и побуждения сводят их на этой могиле. Вересов, между прочим, упомянул Анне и про известную сцену в Малиннике, и после этого рассказа Чуха вспомнила и признала его. Общая кручина по общей потере обоюдно слила их души в одну доверчивую теплую струю и с первого же раза сделала добрыми друзьями.

С тех пор каждый день проводили они вместе по нескольку часов на кладбище.

Но однажды, посетив могилу своей дочери, княгиня Анна не нашла там Вересова. Удивленная таким обстоятельством — потому что молодой человек постоянно являлся раньше ее, — она на этот раз напрасно прождала своего нового друга. Он не явился. По возвращении же домой к своему брату старуха несказанно была поражена, прочтя письмо, полу-

ченное в ее отсутствие.

«В государственном банке, — говорилось в этом письме, — на ваше имя положено двадцать пять тысяч серебром. Простите мне мой самовольный поступок и во имя вашей покойной дочери не откажитесь от этих денег. Я желаю, чтобы вы поставили над нею хороший памятник и сами наняли себе дом недалеко от кладбища (это всегда было и вашим желанием), чтобы чаще быть с нею. Эта сумма обеспечит вас до конца жизни. Не покидайте могилы вашей дочери, навещайте ее чаще и чаще и молитесь как за нее, так и за вашего покойного друга Ивана Вересова».

А через сутки полицейская газета в «Дневнике приключений» заявила, что такой-то части, такого-то квартала, в доме под номером таким-то, в ночь на такое-то число сего месяца застрелился санкт-петербургский мещанин Иван Осипов Вересов.

Все достояние отца своего, за несколько дней до смерти, он разделил по разным благотворительным учреждениям и большую часть пожертвовал на школы да на детские приюты. Мебель и все вещи двух Машиных

комнат были распроданы, а вырученная сумма пошла, как и прочие деньги, на доброе дело. Сам же он умер таким голым нищим, каким прожил и всю свою жизнь, так что полиция должна была хоронить его на казенный счет.

На седьмой версте от Петербурга, близ Царскосельской железной дороги, находится одно странное кладбище, которое официально называется «показанным местом».

На этом «показанном месте» зарывают дохлую падаль и хоронят самоубийц. Богатые баре часто погребают тут и своих любимых коней и собак. Над бренными останками некоторых из последних вы можете видеть даже мавзолеи с приличными эпитафиями. Над самоубийцами же мавзолеев не полагается. Один только скромный бугорок земляной насыпи, без креста и камня, безмолвно свидетельствует вам о чем-то зарытом тут — может быть, о человеке, а может, и о какой-нибудь дохлятине.

Для исторической полноты мы могли бы прибавить, что некогда на этом самом «показанном месте» была погребена дивная леврет-

ка Лесли, любимая собачка покойной княгини Татьяны Львовны Шадурской, по которой она долго плакала и которой воздвигла даже приличный мавзолей. А в нескольких саженях от этого самого мавзолея плешивый бугорок скрыл под собою простреленное тело ее сына, Ивана Вересова. Над ним никто не поставил мавзолея и никто не заплакал, потому что никому не было дела ни до его жизни, ни до его смерти. Одна только безобразная Чуха с благодарностью вспоминала имя раба Божия Иоанна и в теплой молитве просила Господа о безмятежном упокоении души его там, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

XLVI

КАК ИНОГДА МОЖНО ЛОВКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

1861 год был уже на исходе. Последние месяцы его ознаменовались студенческими беспорядками. Почти одновременно с ними в разных местах нашего обширного отечества проявилась тайная революционная пропаганда. Во всех кружках, во всех гостиных только и толковали об этой пропаганде. На устах у всех и каждого то и дело вертелись слова «Великоросс», «Молодая Россия»... Время казалось тревожным. Все напряженно ожидали чего-то. Чего именно? Едва ли бы кто мог определить положительным словом. Сделано было несколько обысков и арестов, которые повторялись довольно часто.

Но что подумает мой читатель, если я скажу, что фактом этих арестов очень ловко задумал воспользоваться наш старый знакомый, Иван Иванович Зеленьков? Он составил себе подходящую компанию из пяти членов,

в числе которых находился и другой наш знакомец, Лука Летучий. Мысль Ивана Ивановича оказалась довольно остроумна и как нельзя более приноровлена ко времени. В чем заключалась его хитрая выдумка — читатель увидит из нижеследующего рассказа.

Приехал в Петербург некто господин Белкин, молодой и довольно богатый помещик одной из наших средних, сердцевинных губерний. Человек он был достаточный, женился месяца два тому назад и вознамерился весело провести с молодой женой зимний сезон в Петербурге. Хотя этот год был для помещиков одним из самых притужных, тем не менее Белкину хотелось пожить в полное свое удовольствие, потому что деньга у него на сей раз водилась: кроме своего собственного состояния пришелся ему и за женою довольно круглый кушик. В Петербурге давно он не бывал, от столичных порядков успел поотвыкнуть, а меж тем смутное тогдашнее время и его занимало точно так же, как всех и каждого; к тому же он порою не прочь был изобразить из себя либерального проприетера и любил «отдавать справедливость» «Колоколу».

По приезде в Петербург подыскал он себе очень приличную квартиру, которая на время передавалась со всею мебелью, по случаю отъезда за границу настоящих хозяев. Белкин устроился себе очень комфортабельно, завел хорошего повара, приличного лакея с белым галстухом и филейными перчатками, подрядил помесячно приличный экипаж, абонировался на ложу в итальянской опере и зажил со своею супругою «в полное свое удовольствие».

Однажды, возвратясь с нею из театра, господин Белкин по-английски накушался чаю и отошел к своему мирному, безмятежному сну, вполне довольный

...сам собой,
Своим обедом и женой.

Вдруг часу в третьем ночи у парадной двери его квартиры раздается громкий звонок. Господин Белкин даже и сквозь сон-то не слышал его, потому что започивал уж очень крепко и сладостно. Однако вскоре после этого звонка в спальную прокралась горничная и тихо разбудила его, объявляя с испуганным

и каким-то растерянным видом, что в зале дожидаются его какие-то военные господа, чуть не полицейские, которые требовали, чтобы он немедленно был разбужен и поднят с постели.

Екнуло-таки сердчишко у господина Белкина. Хотя никаких таких дел и провинностей за собою он не чувствовал, но время было смутное, обыски и аресты довольно часты — чем черт не шутит, — и «как знать, чего не знаешь!.. Может быть, и ты, друг любезный, мог показаться чем-нибудь подозрительным, а может быть, на тебя кто-нибудь из старых провинциальных врагов ловкий доносец сумел состряпать...». Жутко вспомнилось тут господину Белкину и свое собственное модно-красивое либеральничанье, и это — черт бы его драл! — «отдавание справедливости» «Колоколу». Вспомнилось, что на днях даже некто показывал ему, в одной очень порядочной гостиной, затасканный листок «Великоросса», который он прочел тут же собственными глазами и даже пустился по поводу его в очень либеральное суждение, кое в чем не соглашаясь и кое-что одобряя.

Струсил сердечный в эту критическую минуту, струсил от шиворота до пяток, и ох как пожалел о своем красивом либерализме, и тысячу раз послал ко всем чертям все эти «Колокола», «Великороссы» и прочее, и прочее.

Весь бледный, растерянный, лихорадочно щелкая зубами барабанную дробь, торопливо напялил он на себя халат и на цыпочках вышел из спальной, в страхе, как бы еще не потревожить спящую подругу счастливых дней своих.

Скверно, черт возьми! Совсем-таки скверно! В зале перед ним воочию предстали четыре голубых мундира.

У господина Белкина душа окончательно переселилась в пятки.

— Вы господин Белкин? — очень вежливо отнесся к нему один из голубых мундиров.

Если бы мой читатель был на месте сего счастливого, но в данную минуту злосчастного помещика, то в вопросившем субъекте он наверное узнал бы Ивана Ивановича Зеленькова; но господин Белкин в то время не имел еще удовольствия знать его и поэтому очень смущенно, трепеща и заикаясь, произнес:

— Так точно... к вашим услугам...

— Извините-с, — продолжал допросчик, — такая неприятная обязанность... Но что же делать? Долг службы повелевает! Мы имеем предписание произвести у вас обыск.

— И насчет того... вопросных, значит, пунктов, — угрюмо пробасил Летучий.

— Да-с, — подхватил Иван Иванович, — и насчет вопросных пунктов. Вы, то есть, изволите видеть, письменно объясните мне, кто вы таковы и ваше звание, состояние и прочее. Опять же насчет исповеди и святого причащения... все это как водится. Ну, и чем занимаетесь, и зачем в Петербург пожаловали, и какие ваши знакомства.

Господин Зеленьков говорил бойко и развязно. Он чувствовал себя в своей сфере, потому что в этом отношении уже давно была приобретена им некоторая практическая сноровка, так как во время оно доводилось иногда ему, в качестве сыщика, присутствовать при подобных казусах. В другую пору он, быть может, и поусомнился бы взять на себя такую рискованную роль, но тут оно было ко времени, и поэтому-то Зеленьков совершенно спра-

ведливо умозаключил, что казус, который во всякое другое время мог бы показаться вполне экстраординарным, теперь, при исключительных обстоятельствах минуты, на много и много уже должен потерять характер экстраординарности, становясь как бы временно обыденным. Расчет был верен, обыски и аресты были еще новою новинкой, так что на иного могли, пожалуй, нагнать немалую панику. Белкин — человек новоприезжий, всех формальных порядков не знающий, стало быть, обработать его можно отличнейшим образом.

Так и случилось.

Выслушав заявление господина Зеленькова, сердцевинный помещик вконец уже упал духом.

«Святители мои!.. Господи, Боже праведный! — жутко подумалось ему. — Чуть ли не лежит там где-то в письменном столе какой-то заваляющий нумеришко „Колокола“!.. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Пропала теперь моя головушка!..»

— Вы, пожалуйста, успокойтесь. Мы никакой неприятности вам не сделаем, — преду-

предительно ухаживал за ним господин Зеленьков, отмыкая ключиком довольно красивый портфель, в котором очень удобно помещалась у него вся походная канцелярия. Тут же были наготове и бумага, и маленькая чернильница с пружинкой, и карандаши, и стальные перья, так что господину Белкину даже не нужно было беспокоить себя и несколькими шагами, чтобы пройти в кабинет для употребления в дело собственной письменной принадлежности.

Иван Иванович, не выходя из залы, очень любезно разложил перед ним на столе портфель, обмакнул в чернила перо и, вместе с чистым листом бумаги, подал его господину Белкину.

— Вы должны будете письменно дать свои показания, — пояснил он, садясь рядом. — Время ночное; всеконечно со сна потревожили?! Это уж как водится, а нам вовсе нежелательно долго задерживать вас. Вы этого никак не думайте-с. Так уж для того, чтобы дело короче было и поскорей бы нам с вами, значит, кончить, вы уж потрудитесь вот им (он указал на Летучего) вручить ключи от вашего

бюра-с и от письменного столика, а буде есть какие шкатулки с письменными документами, так и от шкатулок тоже.

Господин Белкин направился в кабинет за ключами и чувствовал, как на ходу подгибаются у него колени.

Через минуту он положил ключи перед Зеленьковым.

— Ну-с, теперь все очень прекрасно, — молвил Иван Иванович, указывая ему место рядом с собою. — Не угодно ли вам отписываться, а вы, господин поручик (начальственный взгляд на Летучего), извольте получить ключи и отправьтесь вместе с господином прапорщиком в ихний кабинет, да кончайте поскорей, чтобы не тревожить долго господина Белкина. Мы уж и то — извините! — любезно обратился он к последнему, — собственно, по долгу службы нашей, очень невежливы к вам... потревожили ночью... Ну, да что ж делать! Вина не наша... Извольте писать.

И господин Белкин нетвердою рукою стал отписываться на разные вопросы Ивана Ивановича Зеленькова. Он изложил уже, кто он таков, и сколько ему лет от роду, и какого ве-

роисповедания, и бывает ли на исповеди и у святого причащения, женат или холост, и кто такова жена его, и есть ли за ним или за женою недвижимая собственность, и какие у него средства к жизни, и чем он занимается, и каков круг его знакомства, и, наконец, какие мысли насчет политики держит. Иван Иванович предлагал вопрос за вопросом весьма пунктуально, под нумером первым, вторым и т. д., а господин Белкин очень обстоятельно объяснял на бумаге все, что требовалось. Только относительно последнего пункта не преминул заявить себя большим и примерно благонамеренным патриотом.

А сердчишко его между тем екает да екает, и в голове все вертится жуткая мысль о том, что забился там где-то в каком-то ящике этот проклятый нумеришко «Колокола», и что вот-вот сейчас они его отыщут и вытащат на свет Божий, и скажут, мол: «А!.. Земляника! А подать сюда Землянику!» И уже мерещится господину Белкину, что везут его, раба Божьего, за широкую Неву реку и что наслаждается он прелюдиями старинных курантов у Петра и Павла... И запало ему на мысль в эту критиче-

скую минуту — как ни на есть умилостивить официальное сердце господина офицера, преклонить его на жалость к молодости и неопытности и ради сего сдобрить это официальное сердце некоторым бальзамным елеем.

«Авось поддастся!.. Авось возьмет! — нашептывает ему свое собственное екающее сердчишко. — Авось помилует меня мой ангел-хранитель! Рискну-ка!»

И точно: взял — да и рискнул.

— Господин капитан, — робко и смущенно заговорил он очень жалостливым тоном, — позвольте поговорить с вами откровенно, по простоте, не как с капитаном, а как человек с человеком.

— Слушаю-с, — опустив глаза, коротко поклонился Иван Иванович.

— Я один сын у матери, — продолжал злосчастный помещик, чая разжалобить вежливого, но все-таки сурового капитана, — она у меня больная старушка... Это ее убьет... Жену мою тоже убьет... Я всего только третий месяц женат, жизнью еще не успел насладиться, молод и неопытен — что делать! А ведь у меня может еще быть семейство... Я могу еще

долг гражданина исполнить и быть полезным моему отечеству... Я даже скажу вам — между нами, уже готовлюсь быть отцом семейства. И вдруг такое печальное обстоятельство.

— Помилуйте, что же тут печального? — успокоительно возразил Зеленьков — С кем этого не бывает? Да даже у меня самого может быть обыск. Ну и очень рад! Сделайте одолжение! Пожалуйста! Все мы, так сказать, под Богом ходим, поэтому печали тут никакой нет, если совершенно чисты. Чист я перед Богом и начальством — стало быть, чего же опасаться? И у вас еще к тому же, может быть, не окажется ровно ничего подозрительного.

«Да! Толкуй — не окажется! — думал про себя сердцевинный помещик. — Нет, уж что ни говори, а найдут, голубчики, непременно найдут, не то что в письменном столе — со дна моря достанут! Того и гляди, сейчас вот вынесут да спросят: а это что у вас такое? Как, мол, зачем и почему? Что тогда ты будешь отвечать им, как объявят тебе: извольте одеваться, вы, мол, арестованы... Уж лучше риск-

нуть поскорее!»

Господин Белкин, растерявшийся до потери сообразительности, пришел к заключению, что делать больше нечего, как только покаяться и сказать всю правду. Авось поддастся на елей его сердце!

— Я уже с вами буду говорить как с отцом духовным! — с покаянным вздохом начал он снова. — Вот видите ли, не помню я хорошенько, а, кажись, есть где-то у меня заваляющий нумеришко «Колокола». Не помню, кто-то из приятелей принес да оставил, и все я хотел сжечь его, все хотел сжечь, да как-то некогда было, позабывал все.

Иван Иванович при этом извещении скорчил очень строгую и даже сурово-карательную физиономию.

— Ну-с? — многозначительно процедил он сквозь зубы.

— Вы сами, господин капитан, может быть, имеете семейство, — жалостливо покачивал головою помещик, — войдите в мое положение! Вы сами, может быть, и сын, и отец и, может быть, когда-нибудь тоже увлекались духом времени... Не поставьте мне в вину это-

го паршивого нумеришка! Я не сочувствую, ей-богу, не сочувствую! Я вас буду *благодарить* за это! (слово «благодарить» было подчеркнуто многозначительным ударением). Позвольте мне вам предложить что-нибудь на память от себя... Это, конечно, между нами. Сколько вам угодно? Говорите не стесняясь!

Иван Иванович тотчас же почел своим священным долгом благородно оскорбиться и осуроветь еще пуще прежнего.

— Что? — шевельнул он бровями. — Что вы изволили выразить? Взятки?.. Да знаете ли, что я вас за это упеку куда Макар телят не гонял?.. Нет-с, милостивый государь, мы взяток не берем, потому наша служба паче всего благородства требует! И как вы смели сказать мне это?

— Извините-с, Бога ради, извините-с! — ловил его за руку умоляющий помещик.

Теперь уже из пяток душа его переселилась в кончики ножных пальцев.

— Простите меня, господин капитан! Видит Бог, я не желал оскорбить... Я, собственно, по молодости и по неопытности, по доброте

сердечной...

Умоляет его таким образом господин Белкин, а сам думает: «Ну, любезный друг, вконец пропало твое дело! Теперь уже баста! Наслушаешься вдосталь концертов, что разыгрывают старые куранты!..»

— Да-с, это нехорошо, нехорошо, милостивый государь, — внушительно замечал меж тем Иван Иванович, — в другое время я бы вас за это, знаете ли, как?.. Но только, собственно, по вашей молодости прощаю вам в первый раз. А то бы я — ни-ни... Боже вас сохрани, избавь и помилуй!

— Готово! Все уже сделано! — раздался голос Летучего, который вместе с мнимым прапорщиком показался в зале, неся в руках какие-то письма и бумажонки.

— Это мы возьмем с собою, — пояснил Иван Иванович, пряча их в портфель, — а когда надобность минет, вы все сполна получите обратно.

И вслед за этим все поднялись с мест.

— Не смеем больше беспокоить, — с прежней любезностью поклонился Зеленьков, — очень жаль, что потревожили. Покорнейше

прошу уж извинить нас на этом. Но, впрочем, вы будьте вполне покойны, потому, я так полагаю, что важного тут ничего и быть не может — одна только, значит, формальность. Все это токмо для одной безопасности делается. Прощайте, милостивый государь, прощайте, — говорил он, ретируясь к двери, — желаю вам покойной ночи и приятных сновидений.

И через минуту всех этих господ уже не было в квартире.

Господин Белкин вернулся в залу да так и остался на месте, словно столбняк на него нашел. В голове творился какой-то сумбур. Скверные мысли ползли одна за другой, и бог весть сколько бы времени простоял он в таком положении, если бы вдруг на пороге не показалась горничная.

— Барин! А где же часы-то ваши! Вечером, помнится, в кабинете на столе вы их оставили, а теперь их нет.

— Как нет? Что ты врешь, дура!

— Извольте сами посмотреть. Я весь стол оглядела… и перстня тоже нету!

Господин Белкин направился в кабинет, глянул на стол: точно, ни часов, ни золотого

перстня не оказывается.

«Что за притча! — подумалось ему. — Куда бы могли они запропаститься?» А сам очень хорошо помнит, что с вечера оставил их на этом самом, обычном для них месте. «Уж не сунули ль эти господа, по нечаянности, в ящик?..»

Хвать — ан в ящике не оказывается ни этих вещей, ни серебряного портсигара, который тоже наверно туда был положен.

Он — к бюро, посмотреть, целы ли деньги...

— Господи, да что же это такое!

На восемь тысяч банковых билетов как не бывало! Даже какая-то мелочь лежала, так и ту забрали.

— Телохранители вы наши! — в слезном отчаянии всплеснул руками господин Белкин. — Эй! Люди! Живее! Фрак, белье! Одеваться!.. Извозчика!.. Ряди к обер-полицийм-мейстеру!

И через час уже весь анекдот этот был сообщен им дежурному чиновнику в обер-полициймейстерской канцелярии.

Тотчас же началось следствие и розыски

по горячим следам.

Прежде всего хватились за дворника и прислугу. Дворник обязан был знать, что никакой обыск без присутствия местной полицейской власти не может быть допущен, и хотя отбояривался незнанием да почтительным страхом, внушенным-де офицерами, однако же ему не так-то легко поверили. Посадили раба Божьего в секретную да еще присовокупили при этом, что найдутся ли, нет ли мошенники, а он во всяком случае в ответе, потому — дворник старый и на местах живалый, стало быть, не может отговариваться незнанием постановлений, прямо касающихся до его обязанностей.

Видит дворник, что одному за все дело претерпеть придется, а за что тут терпеть одному, коли работали все вместе? Его, что называется, захороводили в дело, посулили чуть ли не половину добычи, он же им и подробные сведения о Белкине сообщил, да он же теперь и отдуваться за всех должен, тогда как остальные гуляют себе на воле и пользуются обильными плодами его подвода.

«Нет, ребята, шалите! Попридержись ма-

ненько, — решил с досады дворник да при первом же допросе и брякнул всю правду. — Уж коли терпеть, так всем заодно, не чем одному-то задаром!»

И таким образом добрались до главного воротилы остроумного обыска. Иван Иванович Зеленьков, который только что успел обзавестись приятными брючками, форсистыми фрачками и шикозным «пальтом», должен был — увы! — очутиться в Литовском замке, под судом и следствием. Улики все были против него, потому что при обыске в его квартире оказалась часть известных по нумерам билетов Белкина и полный жандармский костюм с эполетами капитанского ранга. Часть билетов с таким же костюмом отыскалась и в месте жительства возлюбленной Луки Летучего. Белкин на очной ставке сразу признал и того, и другого. Как тут ни запирайся, а против таких очевидных улик ничего не поделаешь — и судебное решение не могло оттянуться в долгий ящик.

Иван Иванович предвидел эту неизбежную близость. Трусливое сердчишко его сжималось от страха и трепета. Напуганная фан-

тазия, как и в оно время, стала ярко разрисовывать ему торжественную прогулку на фортунке к Смольному затылком, с эффектным спектаклем на эшафоте, и почти ни одной ночи не проходило без того, чтобы несчастному Зеленькову не пригрезился страшный Кирюшка, который растягивает на кобыле его тело белое, привязывает крепкими ремнями руки-ноги его, примеряет на руке плеть ременную и свистко поигрывает ею в воздухе, разминая свою палачовскую руку да все приноравливаясь к жгутищу, чтобы оно ловчее пробирало. И слышит Иван Иванович, как собачий сын Кирюшка молодцевато прошелся по эшафоту и зычным покриком подает ему весть: «Берегись! Ожгу!» И замирает, и рвется на части слабое сердчишко Ивана Иваныча, и в ужасе просыпается он, и начинает креститься на все стороны и молить Бога отвести от его спины эту беду неминучую.

Совсем исхудал даже бедняга от своей кручинной, занозистой думы. Не страшит его нимало самый процесс прогулки на Конную площадь, ни всенародная выставка на черном эшафоте, на позор всему люду доброму, а

пуще всего страшит эта проклятая плеть ременная, и от нее-то думает увернуться Иван Иванович.

А в тюрьме уже носятся положительные сведения, что, может, всего-то через несколько месяцев по всей России отменят навеки наказание телесное, так что уже ни за какую провинность, ниже за самое святотатство с душегубством, не станут полосовать плетьми спину человеческую. И ждут не дождутся арестанты этого благодатного времени, и молят Бога, чтобы поскорее принес им государский указ этот праздник светлый.

В тюрьме необыкновенно быстро распространяются все новости административные и законодательные; все, что хоть сколько-нибудь касается арестанта, его жизни и его судьбы, с величайшим участием и живым интересом принимается и комментируется за этими крепкими каменными стенами. Это их насущные и сердечные вопросы. Несколько месяцев, если даже не гораздо более года, которые предшествовали обнародованию указа об отмене телесных наказаний, были в среде заключенников самым горячим временем. Тут

их интересовала каждая малейшая новость, касавшаяся до этого указа и долетавшая к ним при посредстве чрезрешеточных тюремных свиданий. Почти каждая неделя приносила им нечто новое, и эти отрадные слухи все более и более облекались в достоверность несомненно грядущего факта.

Ивану Ивановичу только и мечталось о том, как бы дотянуть свое тюремное пребывание до этого благодатного времени, как бы отсрочить судебный приговор до обнародования указа. Средство было в его руках, и средство это представляло общую и обычную систему всех уголовных арестантов, которою они пользовались в прежние времена, дабы отсрочить себе страшное наказание. Система эта известна. Чуть увидит, бывало, арестант, что дело его приходит к концу и что, стало быть, наступает страшный день расправы, он шел и открывал про себя какое-нибудь новое, еще неизвестное властям преступление, часто даже взводя голый поклеп на собственную свою голову. По этому новому, добровольному открытию возникало новое следствие, и старое решение откладывалось для

того, чтобы последовать потом уже по совокупности преступлений. Кончалось новое следствие, арестант объявлял себя виновным в третьем преступлении и наводил на его следы. После третьего следовало четвертое, и так далее — дело затягивалось на несколько лет, а когда уже больше нечего было открыть, ни клепать на себя, арестант решался тут же, в тюрьме, на какой-нибудь уголовный поступок, вроде того, чтобы взять да поранить ножом или зашибить до смерти ни в чем не повинного товарища, броситься на приставника, или норовит сорвать эполеты офицеру, оскорбить смотрителя, или вообще сделать что-нибудь такое, за что опять подвергли бы его новому суду и следствию. На такие насильственные преступления и поклепы на собственную личность побуждало единственно лишь чувство страха перед Кирюшкиной плетью.

Иван Иванович Зеленьков ждал указа как манны небесной. Для избежания плетей и для оттяжки времени ему оставалось одно только средство: в постепенном порядке объявлять о прежних своих преступлениях. Так он и де-

лал и дошел наконец до самого главного, которое заключалось в участии по делу Бероева, то есть, собственно, в том, каким способом он опутал этого последнего через подброску на печь известных вещей и документов. В прямых интересах Ивана Ивановича было как можно более запутать и осложнить свое дело, приплетя к нему возможно большее количество прикосновенного народа. Чем сложнее будет следствие, тем дольше проволочится время, а там — даст Бог — и вожделенный указ подоспеет. Он заявил чистосердечно, что, по наущению Александры Пахомовны Пряхиной, вместе с коею он, Зеленьков, состоял тайным агентом у генеральши фон Шпильце, вызван был он, во-первых, на задушение дворника Селифана Ковалева, во-вторых, на тайную подброску в квартиру Бероева литографского камня, пакета с какими-то неизвестными ему бумагами и двух полных экземпляров заграничной газеты «Колокол» за первое полугодие 1859 года; причем присовокупил, что Пряхина все наущения и подстрекательства свои делала по приказанию самой генеральши фон Шпильце, о чем тогда

же ему и объявила.

Показание это было так важно, что невозможно было оставить его без внимания, тем более что неповинная жертва этих темных происков все еще томилась в крепостном каземате. Показание Зеленькова немедленно же было объявлено тем, кому о том ведать надлежало, и вслед за этим закипело новое и самое горячее следствие.

Прежде всего нужно было схватиться за Сашеньку-матушку.

XLVII
ЗА ТУ И ЗА ДРУГУЮ

Тапер Герман Типпнер около четырех месяцев провалялся в больнице, и за все это время его в особенности смущало и озадачивало то, что ни одна из дочерей ни разу не пришла навестить его. Старик мучился неизвестностью, что сталось с ними, какая судьба постигла обеих в эти четыре месяца его отсутствия. Наконец кое-как его подняли на ноги и выпустили на свет Божий.

Он вышел из-под больничного крова с

твердой решимостью и надеждой — во что бы то ни стало вырвать Луизу из когтей тетеньки. Но вместе с этой надеждой, пока шел он домой, сердце его еще пуще прежнего засосала все та же мучительная неизвестность о судьбе дочерей, и особенно младшей, Христины. Герман Типпнер мало рассчитывал на христиански бескорыстное милосердие Спиц, отлично зная, что они не станут даром кормить и держать на квартире лишнего человека. Тем не менее, пока еще судьба этой девочки оставалась ему неизвестна, он лучше бы хотел верить, что майорская чета воспользовалась всем его наличным имуществом взамен куска хлеба да полутораааршинного пространства на постельную подстилку в каком-нибудь углу для его Христины.

Но каков же был удар ему, когда, вернувшись в знакомую квартиру, он не нашел там второй своей дочери!

Самая комната была уже занята новыми жильцами.

И нужно же было, чтобы на ту самую пору Домна Родионовна ругательски разругалась с Сашенькой-матушкой из-за каких-то углей

для самовара! Подобные пассажи случались нередко между этими двумя достойными особами. Но как быстро и коротко зачиналась ссора, так скоро наступало и примирение. По прошествии каких-нибудь двух-трех суток, при первой задушевной встрече на лестнице или в мелочной лавочке, старые приятельницы прощали друг дружке обоюдные обиды и запивали свое примирение кофеишком грешным. Тем не менее, пока продолжался разрыв, не было той пакости и мерзости, которую одна про другую постыдились бы разгласить самым пространным образом, причем одна другой непременно старалась поусердствовать так, чтобы и нёбу, и загривку жарко было.

Когда Герман Типпнер, взволнованный мучительным страхом ожидания и неизвестности, задал Домне Родионовне решительный вопрос, куда девалась его дочь Христина, майорша брякнула ему сразу, что Пряхина перетащила ее к себе — потому, не поважать же им задаром лишний рот у себя на квартире — и что недель около четырех девушка проживала у нее, пока наконец однажды Сашенька-матушка не напоила ее допьяна и в этом

виде свела ее с одним временно приезжим евреем-купцом, с которого сорвала-таки порядочный кушик, отнесенный ею в сберегательную кассу.

— Даром что сама свиньею живет, а у самой, поди-ка, порядком-таки принакоплено! — завистливо-злобственно заключила майорша свое обличительное повествование.

Потом добавила она, что девушка очень много и долго плакала, не знала, как показаться на глаза старику отцу, и что еврей-купец, которому она очень понравилась, чуть ли не насильно увез ее с собой в Динабург.

Ни слова не сказал на это Герман Типпнер, только судорожно сжал кулаки свои. В старом сердце его словно что-то порвалось в эту минуту, а в голове мгновенно родилась и созрела непреклонная, решительная мысль. Об одном только спросил он у Домны Родионовны, и спросил по видимому совершенно спокойно: куда девала она его вещи? Та отвечала, что все они вынесены на чердак, потому что надо было очистить под новых жильцов комнату. Герман Типпнер спросил у нее чердачный ключ и немедленно отправился к своему

домашнему скарбу. Там, между разной рухляди, отыскал он небольшой топорик с железным топорищем, очень удобный для колотья сахару, и, схоронив его за голенище, тотчас же спустился вниз и постучался в дверь Пахомовны.

Отворив очень спокойно, та вдруг отступила в сильном смущении, совсем неожиданно увидя перед собою фигуру старого тапера.

— Мне нужно объясниться с вами, — сказал он, прямо проходя из передней в комнату.

Сашенька-матушка поневоле последовала за ним. Герман Типпнер осмотрелся и сел на стул, подле самой двери, имея в виду, в случае чего-нибудь, преградить ей всякий путь к отступлению.

— Что вам угодно? Я вас, почитай что, не знаю и с вами никаких делов не хочу иметь! — заговорила Пряхина, быстро оправляясь от своего смущения и принимая обычный наглый тон.

— А вот сейчас, сейчас... подождите, — отвечал ей Типпнер совершенно просто и по видимому с невозмутимым спокойствием полез к себе в голенище.

Вдруг он быстро поднялся со своего места.

В старческих взорах его засверкала ненавистная злоба, и в то же самое мгновение топор сверкнул в воздухе над головой Пахомовны.

— Это за Луизу!.. Это за Христину!.. — проскрипел он спершимся от злобы голосом, нанеся ей последовательно, один за другим, два сильных удара в голову.

По второму удару Пряхина рухнулась на пол.

Из двух глубоких ран, раздробивших череп, хлынула кровь.

На топоре остались частицы мозга.

Герман Типпнер швырнул топор в угол и, выйдя из ее квартиры, постучался у Спицыной двери.

Ему отворили.

— Зовите дворника! — первым словом объявил истерически задыхавшийся Типпнер и в изнеможении опрокинулся на первый попавшийся стул. — Пусть ведут меня в часть... в тюрьму... я убил ее...

— Как?.. Кто? Кого? Что такое? — ошеломленно поднялся вдруг гам в майорской квар-

тире.

— Ее... волчиху... чтобы не резала больше ягнят!.. — проговорил Герман с каким-то трепетно-странным сверканием в глазах и дрожью в голосе, которые обличали если не помешательство, то сильнейшее нервное потрясение.

XLVIII
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗНАНИЙ ЗЕЛЕНЬКОВА

Следствие по важному показанию, данному на себя Зеленьковым, встретило на первом же шагу огромное препятствие. Когда судебный следователь вызвал к себе по месту жительства Александру Пряхину, местная полиция отнеслась, что почти накануне вызова она убита мещанином Германом Типпнером. Зеленьков, очевидно, не мог ни предвидеть, ни знать заранее этого убийства, ибо, судя по времени, показание его было дано еще при жизни покойницы.

Оставалось приняться за добродетельную генеральшу. Но тут, при первом же допросе и

очном своде ее с Зеленьковым, для следователя опять возник довольно важный камень преткновения. Амалия Потаповна показала, что никогда и ни по какому делу, ни в какие личные или посредственные сношения с Зеленьковым она не входила и все свидетельство его противу себя считает изветом.

Зеленьков, как ни вертелся, однако ж не мог противопоставить ей никаких юридических доказательств противного, потому что действительно в непосредственные личные отношения с генеральшей он не вступал. Доверенным посредником ее во всех делишках являлась Пряхина, ныне уже покойница. Стало быть, ни более точного подтверждения, ни окончательного отрицания показаний Ивана Ивановича ждать уже было неоткуда. Оставался один только шаткий пункт, на котором следователи думали поймать в ловушку хитроумную генеральшу. Но... на то она и была хитроумной, чтобы не попадаться ни в какие ловушки. А капкан для нее устроен был следующим образом.

К следствию был позван, втайне от генеральши, вездесущий и всеведущий Дранг, у

которого спросили, на основании каких фактов сделал он известное заявление о Бероеве, последствием которого явился обыск и арест последнего.

Эмилий Люцианович, нимало не смутясь, ответствовал, что сведения о Бероеве были переданы ему, для известного сообщения, непосредственно самою генеральшею фон Шпильце.

После этого ему немедленно дали очную ставку с Амалией Потаповной, которая, даже не задумавшись, признала полную справедливость показания вездесущего.

— А *вы* каким образом могли знать, что Бероев член тайного общества и что у него на квартире находятся известные и достаточно уличающие его предметы? — внезапно обратился к ней следователь, думая врасплох накрыть на этом Амалию Потаповну.

Та с полным спокойствием и уверенностью ответствовала, что ей донесла об этом та же самая покойная Пряхина, с давнишних пор состоявшая при ней, частным образом, секретной агентшей. Какими же судьбами это дело известно было Пряхиной, она, Шпильце,

не знает и никогда ее об этом не спрашивала; причем еще присовокупила, что, весьма может быть, покойница, передавая ей сведения о Бероеве, имела при этом какие-нибудь собственные расчеты, и если действовала совместно с Зеленьковым из каких-нибудь своекорыстных видов и целей, то в этом случае злоупотребила только ее именем, без ее генеральского ведома, не имея на таковое злоупотребление ни малейшего права. А в чем именно заключались поводы, цели и расчеты Пряхиной, ей совершенно неизвестно, однако же полагает, что тут, вероятно, имелось в виду какое-нибудь своекорыстие.

Подняли для пересмотра сданное в архив дело Бероевой, из коего, после всестороннего отречения генеральши, следователи могли предположить только какое-нибудь отношение между Пряхиной и молодым князем Шадурским, который, быть может, непосредственно мог влиять подкупом на действия и поступки Александры Пахомовны.

Но и в этом случае они встретили новый камень преткновения. Бероева, как оказалось по справкам, умерла. Юного Шадурского не

было в России. В то время он находился за границею, под судом, за умышленную продажу фальшивого золота.

Решение, последовавшее по делу, возникшему из добровольного показания Зеленькова, при посредстве некоторых достаточно сильных происков и подмазок со стороны генеральши, состоялось в следующем роде: на Ивана Ивановича как на главного и добровольно сознавшегося виновника падала самая тяжелая доля законной кары; засим, по причине смерти главной сообщницы его, Пряхиной, все дело признано лишенным безусловной юридической доказательности, а посему вышереченную генеральшу Амалию фон Шпильце надлежало от суда и следствия освободить, оставя, впрочем, в сильном подозрении.

Таким образом, этой достопочтенной особе удалось-таки увильнуть от длинной Владимирской дороги.

Единственный, но самый отрадный результат, который дало это дело, заключался в том, что полная невинность Бероева обнаружилась сама собою, после чего он был немед-

ленно, с величайшими извинениями, освобожден из-под ареста.

XLIX
СОН НАЯВУ

Едва грудь Бероева вздохнула воздухом воли, он, земли не чуя под собою, тотчас же пустился в Литовский замок узнать, что сталось с его женою.

В тюремной канцелярии навели по книгам справки и объявили ему, что, после произнесения над нею публичного приговора на Конной площади, она скоропостижно скончалась и похоронена у Митрофания.

Он побелел, как смерть, и, зашатавшись, опрокинулся без чувств на подоконник, близ которого стоял в ту минуту.

Невеселое приветствие подготовила ему свобода для первой встречи с нею.

Несколько холодных вспрысков в лицо возвратили ему сознание; несколько глотков воды помогли если не успокоиться, то по крайней мере хоть сколько-нибудь сдержать себя внешним образом.

Узнав, в каком разряде обыкновенно погребают арестантов, он тотчас побрел на кладбище.

Хотелось отыскать могилу жены, и не верилось в возможность этой находки.

В кармане его было всего-навсего пять-шесть рублишек — единственные и последние деньги, оставшиеся от казематного заключения.

Нанял он плохого ваньку и притащился к Митрофанию.

Один из могильщиков за гривенник начайного посула провел его в последний разряд кладбища.

— Если бы мне мог кто-нибудь указать тут могилу, — молвил ему Бероев, — не вспомнишь ли ты или кто-нибудь из твоих товарищей... арестантка... Бероева... в прошлом августе месяце...

— Да эфто все там, в кладбищенской конторе, значит, в книге прописано, — пояснил ему могильщик, — только где ж его теперь узнаешь!

— Я бы дорого заплатил за то... Я бы ничего не пожалел, если только возможно!

— Нет, сударь, эфто дело нужно оставить! — безнадежно махнул тот рукою. — С прошлого августа, говорите вы, а ноне у Бога-то май стоит; стал быть, почесть, десять месяцев минуло, а с тех-то пор сколько их тут захоронено — сила! Тут ведь не токма что одного тюремного, а и всякого, значит, покойника спущают, который из потрошеных, больше все в общую кладут, гроб подле гроба. Где же тут его отыщешь! Кабы еще крест — ну, тут иное дело, а то, говорите, креста-то нету?

— И креста нету... — понуро вымолвил убитый Бероев.

— Ну, значит, и шабаш тому делу! — заключил могильщик. — Тут где-нибудь она, — мотнул он окрест головою, — в эфтих самых местах должно ей находиться, а больше и искать нечего.

— Ну, и за то, брат, спасибо! На вот тебе! — сунул ему в руку Бероев условленный посул. — Можешь уйти теперь... а я один останусь.

Могильщик слегка приподнял с головы картуз и удалился, вполне довольный своею

«наводкой».

Бероев остался один меж убогих крестов и могильных холмиков.

На душе у него был мрак беспросветный, мрак не отчаяния, не горя, но мрак апатии, пригнетенной, придушенной горем. Однако минутами грудь его схватывали тяжелые приливы какой-то рыдающей, судорожной злобы: он хотел лететь и тотчас же, своими руками передушить виновников мученичества его жены, с волчьей лютостью перегрызть им глотки — всем до единого; насладиться музыкой их отчаянных воплей, их предсмертной хрипотой; налюбоваться всласть, до неудержимого хохота, их подлым страхом и ужасом перед этим алкающим волком, конвульсивной пляской и дерганьем их мускулов и физиономий, когда начнет их сводить и корчить предсмертная судорога под его впившимися в их гнусное тело когтями и зубами. Он хотел мстить, мстить и мстить.

Но это чувство налетало только мгновениями. Сколько ни велика была его сила, однако же оно не могло затмить тех двух чистых и светлых головок, кудрявый, улыбающийся об-

раз которых непрестанно жил в его сердце, рисовался в его воображении; это злобное чувство не могло заглушить воспоминания о тех детски горьких, рыдающих воплях, о том голосе, каким были сказаны слова: «Папа! Голубчик, не уходи от нас, останься с нами!» — последние слова, слышанные им из двух детских уст, в ту страшную ночь, когда его взяли...

И порыв рыдающей злобы смолкал перед порывом рыдающей любви. Он твердо начинал сознавать, что надо жить для них, для этих двух сирот, лишенных матери, надо вырастить их, сделать честными людьми, передать им честное имя.

И буря в нем утихала, снова уступая место пришибленной апатии.

И тихо начал он бродить между могилами, кидая окрест себя смутные взгляды, словно искал, и сам не зная, чего именно ищет.

«Тут где-нибудь она! В эфтих самых местах должно ей находиться», — как будто все еще доселе раздавались в его ушах слова могильщика.

«Да, где-нибудь тут! — думал Бероев. — Мо-

жет быть, вон она... может быть, я на ней стою теперь... Слышишь ли ты меня, моя Юлия?..»

И он продолжал бродить по указанному пространству, останавливаясь над бескрестными бугорками и плешинами, и в душе его поселилась странная мысль и странное убеждение, которым он поддался с отрадной, утешительной безотчетностью. Ему казалось, будто внутренний голос, инстинкт, предчувствие непременно укажет ему могилу жены. Он почти полупомешанно хотел этого — и не находил.

«Тут где-нибудь она... в эфтих самых местах должно ей находиться». — «Да, в этих местах... Но неужели же это утешение?.. Неужели же так-таки уж навеки она для меня потеряна? Тут где-нибудь... Тут... Ну, все равно! Пусть будет вот хоть эта!» — странно решил он сам с собою, остановясь подле одной бескрестной, одинокой могилы.

И тихо опустился он перед ней на колени и повергся ниц на могильную насыпь, усталый, разбитый, истерзанный, жарко обнимая ее руками и безумно целуя землю, которая

впивала в себя его мучительные слезы.

Душа изныла, истосковалась и нестерпимо запросила хоть какого-нибудь облегчающего исхода.

Бероев нашел его в порыве этих слез, объятий и поцелуев, которыми наделял он чью-то одинокую, безвестную могилу. Болезненно настроенная фантазия подсказала ему, что под этой насыпью лежит его жена, и он восторженно, безотчетно поверил голосу фантазии: ему так жадно хотелось хоть чему-нибудь верить.

Долго длился этот порыв, и когда наконец весь он вырыдался, наступило тихое, благодатное успокоение.

Бероев полуприлег на траву, сложив на край могилы свою удрученную голову, и глубоко задумался.

Весеннее солнце било в него теплыми, радостно трепетавшими лучами. В сочной, наливающейся зеленой жизнью траве будто слышался шепот и шорох какой-то: там суетливо копошилось, бегало, ползало, летало, прыгало и цеплялось за тончайшие былинки многое множество разной мошки, жучков, па-

учков и всего этого насекомого люда, который живет и дышит, пока его греет солнечный луч. По зеленому полю желтели махровые, росисто-свежие головки одуванчиков, над которыми носилось тонкое жужжание, реяли золотистые пчелы. Из рощи порою тянуло смолистым запахом молодой, изжелта-светло-зеленой березы; то вдруг пахнет откуда-то, с легким попутным ветерком, миндальным ароматом цветущей рябины. В воздухе пахнет землею — тем несколько прелым, сыроватым запахом, который издает по весне земля, набирающаяся могучей жизненной силы. И стояла в этом воздухе какая-то звучащая, весенняя тишина. С огородов доносились женские голоса и заливчатая песня, а в кладбищенской роще переливалась звонкая перекличка иволги, зябликов, пеночек и малиновок.

Хорошо было на кладбище. Казалось, будто каждая могила улыбается и шепчет что-то белому свету про свою жизнь подземную — словно и там, под нею, тоже весна наступила. Бероев совсем отдался своим грезистым думам и мечтаниям. Вспомнилась ему жена, ко-

торая улыбалась и ему, и детям своими тихими и добрыми, честными глазами; вспомнились и кудрявые головки детей, и то светлое время, когда они только что начинали щебетать свои детские, несмолкаемые речи, а слабый язык никак еще не мог справиться со словом и лепетал такие потешные созвучия. Вспомнились ему тут все эти особенные слова их собственного сочинения, которыми окрестили они разные предметы своей детской жизни. И стало жутко и отрадно на сердце от всех этих воспоминаний... Все это было так мирно, так хорошо, и все это минуло уже безвозвратно... Тихие и добрые глаза сомкнулись навеки; голодный червь уже давным-давно повыглодал их — теперь на их месте зияют там, под землею, две костяные впадины, и этим впадинам никогда, никогда не улыбнуться тою светлою, честною, безгранично любящею улыбкою, какою улыбались некогда глаза до обожания любимой женщины.

В этих грезах, глубоко ушедших в душу, Бероев и не заметил, как подступил вечер.

Ярко-румяное солнце стояло уже низко над

землею и кидало полосы золотисто-розового света по кладбищу, вдоль которого потянулись длинные тени крестов, казавшихся теперь тоже какими-то розоватыми. С высей теплого неба долетали еще на землю последние рассыпчатые трели жаворонков, допевавших свои предвечерние песни. Все другие птицы почти совсем уж умолкли; зато в роще защелкал где-то соловей, и это было робкое еще начало бойких ночных переливов; в воздухе как будто гуще, чем днем, запахли белесоватые кисти цветков рябины.

Бероев встал и потянулся. На душе его было теперь грустно и тихо. Он огляделся вокруг и, до земли поклонившись могиле — словно бы прощался с нею, — встал и побрел себе по тропинке.

Он уже шел по одной из тех аллей, что прорезывают кладбищенскую рощу, как вдруг на лице его заиграл испуг и недоумение, которое отлилось и застыло наконец в выражении панического ужаса.

Он попятился несколько шагов и остановился как вкопанный, не имея ни сил, ни воли, чтобы двинуться дальше и не будучи в со-

стоянии оторвать глаз своих от поразившего его предмета.

В нескольких саженях перед ним, лицом к лицу, шла женщина в очень скромном, простеньком платье темного цвета. Большой платок покрывал ее голову и спускался на плечи. Яркие лучи золотистого заката, дробясь между стволами дерев, зеленью ветвей и намогильными памятниками, сетью переплетались и путались на дорожке и обливали светом спокойное и грустное лицо женщины, шедшей навстречу Бероеву.

«Боже мой!.. Боже, да что ж это? — сверкнуло в голове его. — Или мне чудится... сплю я или с ума схожу!.. Она! Она... Но этого быть не может!»

Женщина случайно подняла голову и, заметя его пораженную ужасом фигуру, остановилась и взглянула ему в лицо. И вдруг словно лучезарная молния пробежала по ее чертам. Они оживились испугом и недоумением, но в тот же миг засверкал в них восторг радости и счастья.

Легкий крик вырвался из ее груди, и, простирая вперед свои руки, она стремительно

пошла к Бероеву.

Тот опять попятился невольно и, в оледенелом ужасе, схватился за свою голову.

— Егор!.. Да ты ли это?.. Что с тобой?.. Не бойся! Я не призрак, я ведь жива!.. Ведь вот я же целую, я обнимаю тебя! Чувствуешь меня?.. Ведь это я! Я, твоя жена, твоя Юлия!.. Меня считают умершей, но я жива! Я с тобою!.. О, да опомнись же! Приди в себя!.. Мой милый! Счастье мое!..

Это были не слова, не звуки, но райский восторг, который ключом бил и рвался из мгновенно переполненной груди. Она трепетно обнимала и целовала его, а он, весь бледный, сраженный изумлением ужаса и убежденный, что с ним совершается нечто сверхъестественное, что рассудок покидает его, стоял и глядел истуканом, не дерзая прикоснуться к ней. Он видел и не верил, чувствовал прикосновение к себе и смутно думал, что это страшная галлюцинация.

— Боже! Пощади... пощади... спаси мой рассудок! — едва мог он наконец шевельнуть губами.

Но нет, это не призрак, не сон — видение

не исчезает.

В ушах его раздается знакомый голос, на него восторженно глядят все те же добрые глаза, наполненные теперь слезами счастья. Он ощущает знакомое пожатие руки, знакомые поцелуи и объятия — нет, это не сон, это въявь она — как есть, милая его Юлия!

И он, как Фома неверный, ощупал лицо ее руками, и вдруг упал к ее ногам, вне себя обнимая ее колени, целуя руки и ноги и не будучи в состоянии вымолвить ни единого слова от этого опьяненно-окрыляющего наплыва какого-то дикого, необузданно-восторженного счастья.

L
ЧТО БЫЛО С БЕРОЕВОЙ

Давно мы покинули Юлию Николаевну Бероеву. Читатель доселе оставался в полном неведении, что сталось с нею после того, как доктор Катцель с уверенностью произнес над ее изголовьем отрадное слово: *спасена*!

И он действительно возвратил ей жизнь и мало-помалу с величайшей заботливостью восстановлял ее утраченные силы.

Хотя эта женщина и представляла теперь весьма интересный для него субъект в научном отношении, однако же всей тщательностью ухода, внимания и попечений была она обязана главным образом Сергею Антоновичу Коврову.

В этом человеке являлась какая-то странная, психически загадочная натура. Положительно можно сказать, что это был герой в своем, исключительном роде, и герой даже в хорошем смысле этого слова. Обожатель всякого риска, страстный поклонник сильных ощущений и женщин, для которых часто по-

забывал все на свете. Ковров был отъявленным мошенником, но отнюдь не негодяем. В том, что из него выработался мошенник, виновато было дурно направленное воспитание и привычка барствовать да повелевать, при отсутствии средств к тому и другому. Все это было у него в детстве, и всего этого он лишился со смертью отца, при первой юности. Надо было с бою взять себе от жизни и то и другое. Природа дала ему страстную жажду жизни, дала размашистую широкую натуру, пылкое сердце, гибкий ум и энергическую волю. Он на первых же порах проигрался и ради поправления обстоятельств, дабы избежать солдатской шапки, сам учинился шулером, а от шулерства к остальным родам мошенничества скачок уж очень и очень нетруден. Но, при всем своем дурном направлении, он какими-то непостижимыми судьбами успел сохранить в себе природную теплоту сердца и отзывчивость чувства.

Никогда не задумываясь обобрать ловким образом кого бы то ни было, он в то же время нередко способен был делиться чуть не последним рублем, если случалось проведать

про действительно крайнюю нужду человека, даже мало ему знакомого. «Сам хлеб жуешь — и другим жевать давай», — говаривал он постоянно. Порывы этой доброты и какого-то своеобразного рыцарства налетали на него порою какими-то шквалами, и в минуту одного из подобных шквалов судьба случайно дозволила ему спасти Бероеву, которую отчасти он знавал и прежде. Ему вообразилось и вздумалось, что с этой самой минуты забота о дальнейшей судьбе спасенной им женщины должна лечь на него чем-то вроде нравственного долга, до тех пор, пока случаю угодно будет оставить ее на его попечении. И — надо отдать справедливость — он ни на шаг не отступил от этой добровольно взятой на себя обязанности. Вот и подите рассуждайте после этого, что такое душа иного мошенника! Мы нарочно сказали *иного*, разумея под этим, конечно, далеко не *каждого*; но... все-таки между субъектами этой темной породы встречаются иногда странные, загадочные натуры, вполне достойные стать интересной проблемой и для мыслителя, и для психолога, и вот одною-то из подобных, нелегко разрешимых

проблем является Сергей Антонович.

Бероева была спасена, хотя последовательное восстановление жизненных сил ее шло довольно туго и медленно. Доктор Катцель, однако же, недаром-таки дал Коврову свое слово приложить все старания, чтобы поднять ее на ноги. И точно, в течение нескольких недель все его время и внимание исключительно делились между пациенткой и фабрикой темных бумажек.

Прошло месяца четыре или около пяти. Юлия Николаевна совсем уже поправилась, и вместе с этим перед нею встал трудно разрешимый вопрос весьма странной сущности — вопрос, что делать, как жить и как быть ей далее? Решенная уголовная преступница, арестантка, отмеченная по тюремным книгам в числе умерших, в данную минуту она была круглое ничто. Показаться в прежнее общество невозможно, да и не к чему: необходимость и чувство самосохранения требовали возможно большего скрывательства и тщательного инкогнито. Ей даже казалось риском появиться на городских улицах. Подать весть родным в Москву — трудно да и

небезопасно. А между тем надо же создать себе какое-нибудь положение в жизни, надо *быть чем-нибудь*, коль скоро ты уже есть жив человек, а чем именно быть ей, она не знала, да и не могла и не умела сама по себе создать или даже представить для себя какое ни на есть определенное положение. Действительная жизнь, поставившая перед нею этот неизбежный, роковой вопрос, требовала так или иначе, теперь или потом разрешения заданной задачи, а как разрешить ее? Бероева стала в тупик среди обуявших ее сомнений.

Доктора Катцеля она боялась и не доверяла ему. Будучи несколько благодарна за возвращение ее к жизни, в душе она все-таки не могла забыть, что некогда этот же самый Катцель служил пособником генеральши фон Шпильце, что и он, вместе с тою, был одним из ее губителей. Один только Ковров успел снискать себе ее доверие и симпатию. Ей казалось, что с ним можно быть откровенной, и поэтому только одному ему она решилась передать свои сомнения, прося присоветовать и решить за нее — как ей быть и что делать. Еще с первых дней ее спасения Ковров при-

нес положительные сведения, что Егор Бероев жив и здоров и что его заключение не может продолжаться долго. Первое было действительно точным известием, которое разными путями удалось добыть ему; второе же присочинил сам Сергей Антонович, ради того, чтобы поддержать надежду, бодрость и нравственные силы Юлии Николаевны. И это действительно немного оживляло ее. Главная суть обмана заключалась в том, что он пробуждал в ней желание *жить*, выздоравливать, поправляться. При одном подходящем случае, когда Ковров должен был на несколько дней уехать в Москву, он привез ей оттуда известие о детях, находившихся у тетки. Осторожный Серж не поехал к ней лично, но успел стороною, кстати и как бы невзначай, вызнать и выспросить все, что ему было нужно. Юлия Николаевна узнала через него, что оба ребенка ее живы и здоровы и ходят в школу, что им хорошо у тетки, которая заботится о них, как мать родная, и все грустит по мнимой покойнице. Ковров сумел утешить больную женщину, подняв ее энергию и возбудив в ней желание жить, потому что успел

поселить в ней надежду на сносное окончание всех печальных обстоятельств ее жизни.

А время шло меж тем, и Юлия Николаевна мало-помалу поправилась. Чем крепче и здоровей становилась она, тем более поселялась в ее любящем сердце тоска по мужу и детям. Казалось, будто это несносное время разлуки тянется с мучительною медленностью и никогда не кончится. Ковров продолжал поддерживать в ней энергию и надежду, привозя время от времени кой-какие известия о муже. Из разных источников удалось ему узнать некоторые сведения о его деле, и эти сведения поселили в нем маленькую надежду на благополучный исход для ареста. Надежда, смутная в нем самом, была передана им Юлии Николаевне в самых положительных красках несомненной достоверности; он знал, что не чем иным, как только этою искусно выдержанною ложью могла быть поддержана и освещена ее бодрость и энергия. Действуя таким образом, он подчинялся своему почти безотчетному желанию спасти и воскресить во что бы то ни стало эту женщину.

— Ведь не поведут же вашего мужа на ви-

селицу! — не однажды говорил он Бероевой. — Ведь жив-то он останется во всяком случае! Ну, положим, при самом крайнем, печальном исходе, сошлют его — у вас есть дети, вы заберете их с собою и через несколько времени приедете к нему. Я это вам устрою, снабжу вас таким хорошим паспортом, что никакая управа благочиния в целом мире не усомнится в его подлинности. Будете вы называться какой-нибудь Марьей Карповой и жить в качестве няньки при детях — все это еще, слава Богу, возможно! И проживете все вместе до конца жизни. Что ж делать? Из самого худшего надо выбирать менее худшее. А я берусь устроить все это и даю вам в том мое честное слово. Видите ли, Юлия Николаевна, — прибавлял он при этом, — я хотя и мошенник, то есть отъявленный мошенник, а все же немножко честный человек и сердца немножко имею — так вы меня и понимайте, моя милая!

И каждый раз после подобного разговора надежда оживала в сердце Бероевой.

Когда же настало для нее роковое время сомнений и когда она передала их Коврову,

прося совета и поддержки, Ковров отвечал, что ничего нельзя предпринять, пока не решено дело ее мужа, и что по окончании этого дела будут найдены средства, каким образом соединить ее разрозненное семейство, а до этого времени — нечего делать — надо ждать терпеливо и смирнехонько, втайне проживать в загородной избе хлыстовки Устиньи Самсоновны. Бероева подчинилась его решению. Она знала, что такое Ковров и его компания. Не узнать этого было невозможно, проживая на самой фабрике темных бумажек. В прежнее время Юлия Николаевна, быть может, отвернулась бы от людей этого сорта; теперь же... теперь в этих мошенниках она видела своих спасителей и единственных людей, которые отнеслись к ней сочувственно, по-человечески, после того как слепой суд несправедливо покарал ее. Собственное несчастье и особенно жизнь тюремной заключенницы Литовского замка принесли ей ту пользу, что заставили на деле, воочию узнать, *что такое* падший человек, и научили смотреть на него более снисходительно, глубже вглядываться в неуловимо-тайные из-

гибы его души, чем это делается обыкновенно всеми нами среди эгоистической обстановки нашей собственной жизни. Ближайшее соприкосновение с тюремными заключенницами показало ей, что человек, называемый преступником, не всегда бывает безусловно дурным, негодным человеком. А она к тому же была еще ожесточена: люди, официально слывущие под именем честных и добропорядочных, пользующиеся всем покровительством закона и данными им привилегиями, сделали столько черного зла и ей, и ее мужу! И это ожесточенное состояние, да еще при испытанном убеждении, что безукоризненно честный, неповинный человек все-таки не избавлен иногда от публичного прикования к позорному столбу, поневоле заставило ее мягче и человечнее относиться к патентованному мошеннику, в котором она увидела столько явного и бескорыстного сочувствия к себе. Она сознавала в себе женщину честную, пострадавшую ни за что ни про что, и понимала, что в теперешнем ее положении надо либо навеки отказаться от детей и мужа и тотчас же умереть, либо самой вступить в мо-

шенническую сделку — принять фальшивый паспорт, чтобы скоротать остаток жизни под чужим именем, вместе со своим семейством. Выдать себя законной власти — значит, необходимо надо выдать головою и тех людей, которые бескорыстно спасли ее, а могла ль она сделать это по совести, могла ль заплатить изменой и неблагодарностью тем, у кого встретила столько теплого сочувствия? И сердце, и рассудок, и, наконец, самая необходимость — все говорило ей, что надо становиться на их сторону, а иначе ничего не поделаешь, если хочешь остаться честной и чистой перед собственной совестью. Кабы еще можно было сознавать за собою хоть какую-нибудь действительную вину перед законом, а то и этого не было! Относительно мира ее преследователей у нее осталось одно только ожесточение да сознание неправо нанесенного ей оскорбления и бесчестья. После всего этого что же еще оставалось ей делать? Положение странное, натянутое и почти невозможное, а между тем оно есть, оно чувствуется ею теперь на каждом шагу ее жизни, и кто же, по совести, виноват-то в нем?

Среди таких дум, и чувств, и сомнений протекала печальная жизнь Бероевой. Она нигде не показывалась и только перед вечером выходила иногда подышать свежим воздухом. Любимым местом ее уединенных прогулок сделалось соседнее кладбище. Оно по крайней мере гармонировало с ее тяжелым и грустным настроением. И вот весною, когда прошло уже почти десять месяцев подобной жизни в огородной избе хлыстовской матушки, Бероева неожиданно встретилась с мужем.

Что это было за свидание и что перечувствовалось ими, того передать невозможно. Да такие сцены и не описываются: они могут иногда только переживаться людьми, могут, пожалуй, до некоторой степени, хотя и очень слабо, вообразиться посторонним человеком, но описать их как следует едва ли сможет перо простого рассказчика, тем более что автор и не мастер изображать яркие минуты беспредельного человеческого счастья. Его удел — сколько самому ему кажется — изображение человеческого горя, нищеты и страдания: такие стороны жизни изображать не в

пример легче, быть может, оттого, что они чаще встречаются в действительности и что к ним успешнее можно приглядеться.

Миновали минуты первого безумного восторга встречи. Бероев, под руку с женою, повернул назад в глубь кладбища и пошел по тропинке. Хотелось вволю наговориться наедине друг с другом, наглядеться вдосталь на милые, заветные черты. А эти черты ох как изменились!.. У обоих легли по лицу глубокие, резкие морщины — след неисходного страдания, и в волосах заметно-таки серебрились седоватые нити. Теперь едва ли бы кто сказал, взглянув на Бероеву, что это была поразительная красавица: несчастье да горе все унесли с собою!.. Но мужу ее все-таки были милы и дороги эти ненаглядные черты, эта кроткая улыбка, эти глаза, в которых теперь светилось столько любви и счастья. Одна минута вознаградила обоих за долгие месяцы мучений.

Они медленно шли между могилами, облитые румяным закатом. По лицу скользили легкие тени ветвей и листьев. Сочная высо-

кая трава хлесталась по ногам, и оба были так счастливы, так довольны этим полным, безлюдным уединением, где никто не обращал на них внимания, где некому да и незачем было ни подглядывать, ни подслушивать... Бероева рассказывала мужу историю своих страданий и жизни в хлыстовской избе, на попечении Коврова.

— Что ж мы будем делать теперь? Как быть нам, куда деваться — решай! — говорила она, вся отдаваясь на его волю своими доверчивыми глазами.

Тот на минуту серьезно задумался.

— Бежать отсюда! Скорее бежать, куда ни попало, и бежать навсегда, навеки! — вымолвил он наконец с какой-то нервической злобой. — Здесь нет нам свободного места! Здесь ни жить, ни дышать невозможно!

— Бежать... — задумчиво повторила Бероева. — Но как, куда бежать-то?

— Туда, где уж нас не достанут и не узнают, — в Америку, в Соединенные штаты! Заберем детей, распродадим последние крохи, сгоношим сколько возможно деньжонок. Ковров, ты говоришь, добудет тебе вид на чужое

имя, и — вон из России!.. Там мы не пропадем! Там нужны рабочие силы, а у меня — слава тебе Господи! — пока еще есть и голова, и руки! Проживем как-нибудь и... почем знать, может, еще и нам с тобою улыбнется какое-нибудь счастье. Ведь мы же вот счастливы хоть в эту минуту, а там с нами дети будут, там уж никто никогда не разлучит нас!.. Только скорее, как можно скорее вон отсюда!

Это было его последнее решение, и, не медля ни единого дня, Бероев деятельно стал хлопотать об отъезде.

LI
ПОЛЮБОВНЫЙ РАСЧЕТ

Все обстоятельства, последовавшие за женитьбой старого Шадурского, сбили его с последнего толку и произвели на голову такое сильное впечатление, что вихлявый гамен не выдержал и сошел с ума.

Родственники со стороны покойной княгини приняли его на свое попечение и вступились за скудные остатки огромного некогда состояния: на эти остатки наложена была

опека, и золотое руно баронессы фон Деринг перестало существовать для ее всепоглощающего кармана.

Граф Каллаш меж тем потребовал выдачи ему условленной в начале всего дела половины из общей суммы барыша, а сумма эта оказалась настолько значительна, что ни Бодлевский, ни баронесса, в руках которой она находилась, не чувствовали ни малейшего желания делиться таким жирным кушем, предпочитая оставить его исключительно на свой собственный пай. Поэтому они положили между собою просто-напросто *спустить* любезного компаньона, и когда тот потребовал причитающихся ему денег, баронесса приняла крайне удивленный вид и возразила, что даже не понимает, о каких деньгах говорит он.

— О тех, которые вы должны заплатить мне по условию, — пояснил Каллаш.

— А разве мы с вами заключали какое-нибудь условие? У вас есть документы?

— У меня *иные* документы есть, — многозначительно подтвердил граф, — только не знаю, насколько они будут *вам* приятны.

— Ну, полно, cher comte[567]! Что за счеты! Ведь вы очень хорошо сами знаете, что у меня лишней копейки нет.

— А сколько вы перетянули у Шадурского за последнее время?

— Я?! У Шадурского?.. Я вас не понимаю! Что я перетянула? О чем вы говорите? Ей-ей, вы изумляете меня, я не понимаю даже, в чем дело! Полноте, граф, что за шутки!.. Мистификации хороши только в маскараде.

— Ну, так я вас заставлю снять маску! — тихо, но крайне многозначительно заметил Николай Чечевинский.

— Меня?! Маску?.. Ха-ха-ха!.. Вы становитесь забавны!

— Пожалуй, и на это согласен. Отчего же вам и надо мной не позабавиться немножко? Только не мешает помнить иногда, что rira bien, qui rira le dernier[568]. Я вот тоже намерен забавляться... Я, например, пущу в ход по всему городу историю о литографском ученике Казимире Бодлевском и его любовнице, то есть о горничной княжны Чечевинской, Наталье Павловой, историю о билетах, украденных этой горничной, Натальей, из шкатулки

старой княгини Чечевинской, а если понадобится — у меня, может, и доказательства некоторые найдутся, да и сама княжна Чечевинская жива еще. Вы, баронесса, помните — несколько месяцев назад — вашу встречу у меня на квартире с княжною Анной? Теперь пока прощайте, — сухо поклонился он, — наши разговоры кончены; впрочем, вы скоро услышите, *как* стану я забавляться.

Озадаченная баронесса не успела еще возразить ему ни слова, как тот уже быстро и решительно удалился из комнаты. Через минуту в передней за ним громко захлопнулась выходная дверь...

Баронесса домекнулась теперь, что, повернув дело столь круто, она осталась в проигрыше. Бодлевский от злости и досадливого опасения кусал себе губы. Эта чета видела ясно, что она в руках графа Каллаша и — «кто его знает, может, у него и есть какие доказательства, — мыслил каждый из них. — Во всяком случае, имя будет скомпрометировано в обществе, а там, пожалуй, и власть доберется».

И той, и другому было непереносно положение такой зависимости от человека, кото-

рый — как знать! — быть может, имеет в руках данные погубить обоих. Положим, что и самого его можно в то же самое время сгубить перед законом, да им-то двум легче ли от этого? Они-то все-таки сами не останутся правы. Застращать его — ничем не застращаешь, потому голова такого сорта, что, в случае надобности, не призадумается сама себе свернуть шею, а уж так или иначе на своем поставит.

Для баронессы и Бодлевского было решено теперь только одно: во что бы то ни стало выпутаться из этого положения, выйти из-под зависимости сильного противника.

А как это исполнить?

Бодлевский долго ходил по комнате, закусывая губы, и обдумывал какой-то план решительного свойства.

— Надо сделать так, — говорил он, остановясь на минуту перед баронессой, — чтобы раз навсегда избавиться от этого барина... Он действительно не безопасен, а предосторожность и предусмотрительность никогда не мешают... Надо избавиться!.. Приготовь деньги, Наташа, нужно отдать ему.

— Как!.. Отдать деньги! — всплеснула рука-

ми баронесса. — Да разве это избавит нас от зависимости?.. Разве мы можем быть покойны?.. Ведь это только до первого нового случая, до первой кости!..

— Которая будет и последнею! — прервал Бодлевский. — Положим, деньги мы ему отдадим сегодня, но разве это значит, что мы их совсем, навсегда отдаем ему? Ничуть не бывало: они сегодня же опять будут у меня в кармане! Посоветуемся-ка хорошенько! — с дружеской лаской дотронулся он до ее плеча, уютно помещаясь у ее ног на развалисто-покатой кушетке.

Результатом этого совета была маленькая записочка на имя Каллаша.

> *«Любезный граф, — говорилось в ней, — я сделала сегодня относительно вас непростительную глупость. Стыжусь за нее и желаю как можно скорее примириться с вами. Мы всегда были добрыми друзьями; поэтому забудем маленькую размолвку, тем более что обоюдный мир для нас гораздо выгоднее ссоры. Приезжайте сегодня вечером получить следуемые вам деньги и миролюбиво протянуть руку душевно*

преданной вам
фон Д.».

Каллаш приехал около десяти часов вечера и из рук в руки получил от Бодлевского полновесную пачку векселей и процентных бумаг — все, что причиталось, по общим соображениям, на его долю. Баронесса была очень любезна и оставила его пить чай. О давишней размолвке не было и помину, и взаимные отношения по видимому отличались всегдашнею ненатянутостью. Бодлевский все строил планы и предположения, на кого бы теперь им повести совокупные атаки, и весело передавал графу разные смелые проекты. Граф тоже был очень весел и доволен — во-первых, полновесной пачкой, которую ощущал теперь в своем кармане, а во-вторых, тем, что вся эта размолвка окончилась так скоро и миролюбиво. Он с видимым удовольствием покуривал себе сигару, запивая ее, время от времени, глотками душистого чая. Веселая болтовня шла очень оживленно, не прерываясь ни на минуту. По какому-то поводу вдруг заговорили о клубах.

— Ах, кстати! — подхватил при этом

Бодлевский. — Я, кажется, нынешним летом буду членом яхт-клуба! Рекомендую новое поприще! Они пусть упражняются себе на воде, а мы будем на зеленом поле; впрочем, для виду, я себе тоже хорошенькую шлюпку завел: по случаю недавно досталась очень дешево. Хотите, когда-нибудь отправимся, поглядим ее? — как бы мимоходом предложил он Каллашу. — Она у меня недалеко — тут же на Фонтанке, у Симеона, на садке держится.

— Ах, вот и прекрасно! Вечер такой чудный, тепло, хорошо! — подала голос баронесса, распахивая окно. — Что дома-то сидеть!.. Поедемте и в самом деле кататься!.. Мне от твоих слов вдруг пришла фантазия проехаться в лодке; заодно и шлюпку попробуем. Хотите, граф? — любезно предложила она Каллашу.

Тот согласился немедленно, признав фантазию баронессы отличной выдумкой, и вскоре все втроем отправились гулянкой к Симеоновскому мосту.

LII
ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

Над городом только что стала белая весенняя ночь. Половина неба охвачена была отблеском заката и серебристым пурпуром отражалась в гладкой, неподвижной Неве, по которой там и сям мелькали ялики и шныряли легкие пароходы. В воздухе не чуть было ни малейшего ветерка, так что вымпела висели без малейшего движения, а гул городской езды, вместе с топотом копыт о дощатую настилку мостов, отчетливо разносился по глади широкой реки. В синей высоте прорезался из-за дымчатого облачка бледно-золотистый серп месяца и слегка заискрил своим блеском длинный столб вдоль водного пространства. Откуда-то с зеленеющих островов доносились урывками звуки духовой музыки. Воздух дышал млеющим теплом и какою-то весенней чуткостью.

Шлюпка Бодлевского вышла из Фонтанки и плыла вдоль по течению Большой Невы, к

Николаевскому мосту.

Пан Казимир справлялся за гребца и, полушутя, легко напирал на весла; Наташа, в круглой соломенной гарибальдинке, которая необыкновенно шла к ее выразительно-смелой физиономии, сидела на руле, а граф Каллаш помещался подле нее и лениво курил сигару.

— Славная ночь становится! — тихо проговорил он, как бы сам с собою, закидывая голову на синее небо. — Поехать бы теперь на взморье, на тоню, да так и промаяться до рассвета... Ей-богу, хорошо!

— Поэзия! — с легкой иронией улыбнулся Бодлевский.

— А что ж, вы станете доказывать, что нет ее? Ведь вот теперь бы, в этот час, по середине Невы — Господи, да разве это не хорошо?

— Хм... конечно, поэзия, да еще с особенным петербургским запахом, — в том же тоне возражал пан Казимир, не показывая ни малой наклонности к сентиментальным мечтаниям.

— Да! И в Петербурге есть она, — продолжал Каллаш, не смущаясь прозаическим на-

строением своего оппонента. — Помню я, еще чуть ли не с детства, одни стихи... И мне они невольно приходят на мысль, каждый раз вот в подобные ночи... Так вот и вылился в них весь этот город! Баронесса, — мягко заглянул он вдруг в лицо своей соседки, — не будете ли вы почутче да поотзывчивее этого тюленя? Я сегодня — и сам не знаю — совсем в особенном настроении. Все ваша фантазия виновата: зачем кататься поехали. Спойте нам песню! У вас ведь славный контральто.

— Не до песен, мой милый граф, не расположена я сегодня, — шутливо ответила Наташа, мельком бросив исподлобья на пана Казимира какой-то многозначительный и только им обоим понятный взгляд. — Говорите лучше ваши стихи, я стану слушать.

— Стихи... Да, это, говорю вам, хорошие, больные стихи; и, должно быть, они сложились в точно такую же белую ночь... Хотите — слушайте! — согласился он и, помолчав с минуту, как бы припоминая строфы, начал задумчиво и тихо:

Да, я люблю его, громадный, гордый град,

Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю: о нет! скорбящею душой
Я прозреваю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.
Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несет
И роскоши, и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.

— Недурно! — равнодушно процедила сквозь зубы баронесса, следя за всеми движениями лица увлекающегося графа и в то же время исподволь да исподтишка переметываясь взглядом с паном Казимиром.

— «Недурно»! — с легкой досадой возразил

ей Каллаш. — «Недурно»! Да разве это настоящее слово? Разве может быть *только* недурно то, что далось слезами, и болью, и желчью?.. Эх, баронесса!.. Да нет, вы послушайте!

И он снова начал декламировать, и его стихам отвечали равномерные взмахи весел, с которых звонко летели серебристые брызги, а лодка шла да шла себе далее, вдоль по течению, и приближалась уже к Николаевскому мосту.

Бодлевский оглянулся назад и незаметно мигнул Наташе.

Та слегка повернула руль и направила ход как раз под крайнюю арку моста, с которой впадает он в Благовещенскую улицу.

А граф меж тем, ничего не замечая, досказывал свое любимое стихотворение:

И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки:
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно страшных стонов муки!
Страдания одни привык я подмечать

В окне ль с богатою гардиной
Иль в темном уголку — везде его печать.
Страданье — уровень единый!
И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно все — мелькает предо мной
Рой отвратительных видений...
Пусть ночь ясна как день, пусть тихо все вокруг,
Пусть все прозрачно и спокойно:
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.

— Вы кончили? — слегка, но очень грациозно зевнув, равнодушно спросила баронесса и при этом улыбнулась, чтобы немножко смаслить ему впечатление зевоты.

— Кончил! — коротко ответил граф и не без маленькой досады швырнул в воду окурок потухшей сигары.

— Чьи это стихи?

— Аполлона Григорьева.

— Vraiment, c’est joli![569] — опять улыбну-

лась баронесса. — А вы любите, граф, маленькие сильные ощущения? — спросила она внезапно.

— Я люблю всякие, но предпочитаю большие, крупные.

— Ну, я вам сейчас доставлю маленькое, хотя на меня оно всегда действует с некоторой силой. Вы же, кстати, настроены сегодня так поэтически; а то, что я вам покажу, — cela va être bien fantastique[570].

— Что же это такое? — в свою очередь равнодушно спросил Каллаш.

— А вот сейчас увидите. Вы знаете, что в Петербурге есть подземные тоннели?

— В Петербурге? — с недоверчивым удивлением переспросил граф.

— Да, в Петербурге! Целые подземные каналы, наполненные водой, и по ним свободно могут ходить лодки — я сама прогуливалась там несколько раз. Не правда ли, это пахнет чем-то новым, совсем не петербургским.

— Нда... признаюсь, я, кроме пассажного тоннеля, не подозревал здесь никаких, — улыбнулся заинтересованный Каллаш. — Да где ж это они? Покажите, пожалуйста!

— А вот в нескольких саженях — сейчас подъедем.

Шлюпка вступила под крайний, ближайший к набережной мостовой пролет, где было уже гораздо сумрачнее, чем на реке, и тут-то, налево, в гранитной набережной разглядел Каллаш полукруглую арку, совершенно скрытую снаружи под мостовым спуском.

Там, в глубине под нею, было темно и глухо.

— Вы не боитесь? — с задирчиво-вызывающей интонацией улыбнулась Наташа.

— Если прикажете, буду бояться, — отшутился граф.

— Хотите проехаться?

— С удовольствием.

— Только это ведь небезопасно: там, говорят перевозчики, очень часто скрываются невские пираты.

— В таком случае мы выдержим с ними морское сражение. Это крайне интересно!

— Интересно? — мило-кокетливо протянула баронесса. — Да вы, я вижу, совсем не трус таки.

— Немножко нет.

— Табань, Казимир! Заворачивай в арку.

И шлюпка круто врезалась в воду канала.

Это было устье тоннеля. Проходя под Благовещенской улицей, он начинается как раз против Конногвардейского бульвара, под тем углом Крюкова канала, обок с которым находятся известные Пушкинские бани. Другой подземный водяной путь берет начало свое от этого же места и проходит под самым Конногвардейским бульваром, пересекая Сенатскую площадь и вливаясь, как говорят, в открытый канал внутри Адмиралтейства. Одна ветвь, довольно, впрочем, узкая, отделяется от него под углом Адмиралтейского бульвара и идет под ним параллельно фасаду здания Синода и Сената, вливаясь в Неву близ бывшего Исаакиевского моста.

Трех наших путников объяла совершенная тьма. На другом конце канала, вдали чуть-чуть светлелась только, в виде мутно-туманного пятна, выходная арка на Крюков канал. Все вокруг было тихо и глухо. Вода слегка плескалась в каменные бока подземного свода и как-то особенно мелодически падала звонкими, сбегающими каплями с поднятых

и неработающих весел. Зато там, над головою, на поверхности земли — словно грохот, шум свирепой бури раздавался, словно клокотала там сильнейшая гроза. Еще за две, за три минуты на середине реки все было так тихо и покойно, а здесь, едва лишь успела шлюпка въехать под эти мрачные своды, как вдруг зарокотали глухие, но грозные и непрерывные раскаты грома, так что казалось, будто самые своды тоннеля содрогаются от этих раскатов.

— Черт возьми, да это в самом деле недурно! — воскликнул граф с видимым удовольствием. — И встреча с пиратами хороша при такой обстановке! Только жаль, что ни зги не видно.

— Зажгите спичку. У вас есть с собой? — предложила баронесса.

— Есть маленький запасец, и еще восковые вдобавок.

Граф добыл огня, и подземелье озарилось слабым красноватым светом.

Это был крытый полукруглым сводом канал, широкий настолько, что одна лодка свободно могла держаться посередине, с распущенными веслами. Черная, беспросветная во-

да была тиха и чуть-чуть журчала около киля в носовой части да слабо плескалась и била в каменные стенки. Над головою тянулся широкий свод, с которого сахаристо-белыми сосульками торчали книзу хрупкие сталактиты. Местами с этого свода пообрывались кирпичи вследствие беспрестанного сотрясения почвы, колеблемой ездою экипажей. И порою, когда гул громовых раскатов становился особенно резок, раздаваясь непосредственно над головою, вдруг откуда-нибудь обрывался кусок известки или кирпича и шумно булькал в тихую, черную воду. Местами вдруг, то справа, то слева, попадались выложенные кирпичом подземные коридоры, вышиною почти в средний рост человека; но там было темно и мглисто, так что видно было только, как уходят они куда-то вдаль, а что там в них такое — разглядеть из-под этой мглы уже не было возможности. Это были сточные проводы. Ночные бабочки, мохнатые бомбиксы, мотыльки, длинноногие комарики и мелкая мошка крутились и вились вокруг наших путников, привлеченные внезапным светом восковой спички. Летучая мышь, откуда ни

возьмись, тревожно черкнула крылом своим в воздухе, мимо трех голов, и пропала где-то там, назади, в темном пространстве.

Освещая себе таким образом подземный путь, шлюпка дошла почти до половины тоннеля.

Одна из спичек догорела до конца. Каллаш выбросил ее в воду и стал вынимать из коробочки новую.

В это самое мгновение он почувствовал, как что-то сильно треснуло его по голове, и едва успел вскрикнуть — раздался новый удар, повалившій его без чувств на днище лодки.

Пан Казимир с необыкновенною быстротою и ловкостью хватил его два раза веслом по темени.

— Где деньги?.. Расстегивай его!.. Вынимай живее бумаги... Они в кармане! — взволнованным шепотом приказывал он баронессе, и та не заставила повторить себе приказания.

Мигом рванув с застежек легкое пальто графа, запустила она руку в боковой карман его сюртука и проворно вытащила оттуда полновесную пачку.

— Здесь!.. Нашла уже! — в минуту последовал ее отклик.

— Теперь за борт его!.. Перетянись левее, а то лодка неравно опрокинется.

И Казимир Бодлевский перевесил за борт сначала голову и туловище графа, а потом его ноги — и тело в то же мгновение грузно и глухо бухнулось в воду.

Все это было совершено в непроницаемой тьме подземного канала.

— Теперь на весла — и живее вон отсюда!

И лодка быстро стала удаляться от места преступления.

Холод воды вмиг охватил все члены графа и заставил его очнуться. Инстинктивно, из чувства самосохранения, взмахнул он по воде руками и поплыл.

Впереди был слышен плеск удалявшихся весел.

Он попытался крикнуть, но слабый голос глухо ударился в подземные своды и замер. Одно только эхо отдало его в другом конце тоннеля каким-то неясно-диким отзвуком.

Не понимая, что с ним случилось, он продолжал призывать к себе на помощь и что

есть силы работал руками и ногами, стараясь доплыть до лодки, но плеск весел слышался все тише и дальше...

А платье Каллаша меж тем все больше и больше напитывалось водою. Он чувствовал, как с каждым мгновением увеличивается на нем тяжесть одежды, как эта тяжесть начинает тянуть его ко дну и как — что ни взмах, то больше слабеют физические силы.

По лицу его текло что-то теплое и липкое; голова трещала от боли; из раскроенной раны струилась кровь.

Он попытался крикнуть еще один, последний раз, голосом предсмертной, отчаянной мольбы.

Никто не слыхал его под землею.

Шум весел уже затих — шлюпка благополучно выбралась из канала.

Каллаш остался один.

А над головой его меж тем гремели гулкие громовые раскаты... Там кипела своеобычная жизнь; над ним проезжали люди, и никто из них не ведал, что в двух-трех саженях под землею, в этом самом месте, человек борется с мучительной, страшной смертью.

Инстинктивно старался он держаться к краю канала, ближе к стене — и вот наконец почувствовал ее рукою. С величайшим трудом стал нащупывать, нельзя ли за что ухватиться. Вдруг — о радость! — под ладонь попался узенький выступ кирпича.

Кое-как зацепившись за него пальцами, Каллаш напрягал свои последние силы, чтобы удержаться несколько времени в таком положении: ему необходим был хотя самый короткий отдых.

А платье с каждой секундой все более бухнет от воды и тянет ко дну.

Что тут делать?

Чем дольше станешь держаться на пальцах за выступ камня, тем больше затяжелеет одежда. Эту тяжесть особенно чувствовали ноги — вода, заливавшаяся в сапоги, словно свинцовыми гирями пригнетала их книзу.

Оставаться в таком положении невозможно ни одной секунды долее: судорога сводит напряженные пальцы. Надо собрать последнюю энергию, последние силы и во что бы то ни стало доплыть до первого бокового коридора; там авось можно будет стать на ноги.

И он поплыл с новой решимостью, стараясь время от времени нащупывать стену, не попадется ли там под руку угол сточного провода.

Слава Богу — наконец-то он и попался! Теперь уж есть надежда на спасение.

Граф уперся руками в ту и другую сторону узкого коридора и кое-как, с неимоверными усилиями выкарабкивался из воды, почувствовав наконец под собою почву.

«Кажись, у меня кровь», — мелькнула ему первая мысль, и, приложив руку к голове, он убедился в справедливости своего предположения; прикосновение пальцем произвело жгучую, бередящую боль раны.

Тотчас же достал он из кармана носовой платок и крепко перевязал им голову.

Отдохнув минут пять, весь больной, изнеможенно-разбитый и все более ослабевая от потери крови и нестерпимой боли, побрел он ощупью в глубь коридора, меся ногами илкую, зловонную массу всякой нечисти, скопившейся в сточной трубе.

И казалось ему, будто уже долго бредет он там, чуть не задыхаясь от недостатка свежего

воздуха, как вдруг впереди едва-едва посветлело. Этот странный свет, очевидно, проникал сюда сверху.

Каллаш поднял голову и разглядел над собою пять небольших дыр, просверленных в гранитной плите для того, чтобы через них протекали сюда уличные стоки.

Сквозь эти дыры увидел он бледно-золотистый серп месяца, высоко-высоко стоящий в небе, и клочья дымчатых облачков, которые плавно плыли в синеве, где одиноко, разрозненно мигали скудным светом две-три маленькие звездочки. Из этих пяти дыр тянуло надземным воздухом, который освежил слабеющего графа.

Он прислушался: на улице время от времени громыхают извозчичьи дрожки, и голоса слышны, и чьи-то шаги раздаются — то, может быть, дворник из ближнего дома, а может, запоздалый прохожий.

«Неужели же они не услышат и не подадут помощи? Неужели отсюда не долетит к ним мой голос?»

И он громко крикнул вверх из своей вонючей норы; но там все было обычно тихо и спо-

койно. Он крикнул еще и еще — и все напрасно! Никто не слышит, никто не обращает ни малейшего внимания, да и придет ли кому в голову, что человек гибнет под землею, в сточной трубе, и отчаянно взывает оттуда о помощи?

И долго еще в этом люке ждал Николай Чечевинский своего спасения, напрасно крича во всю грудь, насколько хватало мочи; силы его слабели все более, и голос поэтому, естественно, не мог быть особенно громок. Как ни кричал он, его никто не услышал на улице, так что он наконец потерял всякую надежду дождаться спасения этим путем. Приходилось рассчитывать не на людей, а исключительно на крепость собственных мускулов, на энергию собственной воли, и он пошел в обратное странствие.

Мокрая одежда прилипала к телу, и ее холодная сырость вызывала лихорадочно-болезненный озноб. Спотыкаясь чуть не на каждом шагу и почти поминутно увязая в илкой массе, несчастный уже еле передвигал ноги. Зловоние мутило и не давало дышать. Сквозь платок просачивалась кровь из раны, а голо-

ва адски трещала.

Кое-как прошел он почти весь сточный провод и успел сообразить, что до тоннеля уже недалеко.

«Платье надо бросить; все, что ни на есть на себе, — все надо здесь оставить; а то опять, гляди, потянет ко дну», — пришло ему на мысль основательное соображение, и он стал раздеваться донага. И здесь-то вот, с возвратом полного сознания, для него уже не осталось ни малейших сомнений в том, что Бодлевский с Наташей ограбили его самым предательским образом. Но о деньгах не жалел граф Каллаш: ему теперь впору было выручать только собственную шкуру.

Продолжая таким образом свой медленный путь по темному коридору, он наконец неожиданно оступился и ухнул головою в воду тоннеля.

Опять пошла работа руками и ногами.

Впереди тускло светился выход, но до него далеко еще, а силы все меньше да меньше.

Однако граф напрягает последнюю мощь своих мускулов и все-таки плывет дальше. Это светящееся пятно выходной арки служит

ему благодатным, спасительным маяком: ничего не видя в окружающих потемках, он держит путь прямехонько на этот свет, и вот-вот уже близко — спасение почти в руках, еще несколько усиленных взмахов — и конец всем бедствиям!

Граф напряг все оставшиеся силы, взмахнул руками раз, взмахнул другой и третий, но на четвертом снова стал ослабевать, на пятом еще более, а на шестой уже его не хватило...

Руки окоченели и отказывались двигаться. Повязка с головы соскочила — из раны ручьем хлынула горячая кровь; в глазах помутилось, и он в отчаянии бросил гресть руками и ногами. Тяжесть собственного тела потянула его ко дну в каких-нибудь двух саженях от выходной арки.

На тихой поверхности черной воды тоннеля забулькали пузыри, и... после них уже не было на свете ни малейших следов венгерского графа.

Ужасная смерть его навеки осталась тайной подземного канала.

LIII
ТОЧНО ЛИ КОЕМУЖДО ВОЗДАЛОСЬ ПО ДЕЛОМ ЕГО

Скоро конец моему роману. Я прощаюсь со всеми моими героями. Столько времени жил я с ними одною жизнью; они стали мне близки как нечто свое, родное. Я любил заглядывать в их души и подмечать там все сокровенные движения и все тайные пружины их поступков, честных и бесчестных, добрых и злых. Придется ли мне встретиться с ними еще когда-нибудь в жизни или на страницах какой-нибудь новой моей повести — не знаю. Быть может — да, быть может — нет. Но все же, расставаясь с ними, я не хочу оставить их без внимания и о некоторых скажу читателю последнее слово.

Казимир Бодлевский, вместе с баронессой фон Деринг, недолго пожил в России. После расправы с графом Каллашем случилась с ним одна маленькая история, которая имела для этого рыжебородого джентльмена весьма

печальные последствия.

В одном из клубов его поймали на мошеннической карточной проделке, торжественно дали по физиономии и торжественно навсегда исключили из общества. Оставаться в Петербурге было уже невозможно. Скандал сделался слишком громок и заставил говорить о себе во всех кружках, так что Бодлевскому никуда и глаз показать невозможно было. Золотая жатва минула безвозвратно. Куда деваться и что делать — задался роковой вопрос.

В Польше начинались первые волнения последнего восстания.

— Туда, в Варшаву! — решил пан Казимир вместе со своей любовницей. — Там мы найдем еще работу. Там-то теперь и ловить рыбу в мутной воде!

И через несколько дней оба они скрылись из Петербурга.

Катцель тоже удрал вслед за Бодлевским, тайком захватив с собою и большую часть фабрики темных бумажек: камни, краски, гравировальные доски — все это исчезло вместе с маленьким доктором. Серж Ковров

остался один; ассоциация расстроилась, но, к сожалению, я не могу ничего поведать читателю о дальнейшей судьбе капитана Сержа, так как он и до наших дней еще живет и действует в Петербурге на своем избранном поприще, и чем он кончит — мне пока еще неизвестно. Быть может, успокоится на лаврах и заживет мирным гражданином; быть может, пойдет по Владимирке колонизировать страны сибирские. В последнем случае я буду очень сожалеть о нем, потому что мне нравятся минутно рыцарские, добрые порывы души его.

О заграничной проделке князя Владимира Шадурского молва большого света забыла весьма скоро. Под шумом разных событий, незаметно вернулся он в Россию в весьма плохих обстоятельствах. Батюшка его страдал окончательно уже разжижением мозга, которое разрешилось сумасшествием. Он умер недавно, и смерть его ни на кого не произвела особенного впечатления.

Единственная отрасль его почтенной фамилии, князь Владимир Шадурский, в насто-

ящее время наслаждается полным благоденствием. И этому благоденствию помогло одно маленькое обстоятельство.

Дочь золотопромышленника Шиншеева Дарья Давыдовна, девица весьма некрасивая собою, какими-то судьбами оказалась вдруг в положении такого рода, которое требует немедленного прикрытия законным браком. Скандалезная хроника темно повествовала, будто виновником этого положения был граф Каллаш и будто у Дарьи Давыдовны исчезли вдруг куда-то какие-то фамильные бриллианты на очень изрядную сумму. Но это были темные слухи, не имевшие никаких положительных оснований, которые поддерживались некоторое время в обществе благодаря внезапному исчезновению графа. В наличности же оставалось одно только критическое положение некрасивой девицы.

Князь Шадурский, который по возвращении в Россию нашел свой финансовый кредит в крайне плачевном состоянии, великодушно предложил руку и сердце дочери господина Шиншеева, и она осчастливила его согласием.

Теперь оба они наслаждаются жизнью, ни в чем не стесняя один другого. У каждого есть в доме своя особая половина, где они беспрепятственно могут принимать своих друзей, не вмешиваясь в дела друг друга и только соблюдая при этом весь декорум светских приличий.

Князь Владимир сделался теперь записным любителем балета и спорта. Он держит у себя на содержании шесть пар отличнейших лошадей и пару таких же танцовщиц. Жизнь его протекает в полном довольствии самим собою и своей судьбою.

Мы не сомневаемся, что со временем он достигнет почтенной и всеми уважаемой старости и будет иметь счастье узреть законных продолжателей своего родословного древа.

Более сказать нам о нем нечего.

Почтенная генеральша Амалия Потаповна фон Шпильце опочила от дел своих. Она закрыла свою индустрию, весьма довольная полновесными плодами многолетних и многообразных трудов. Ест и спит непомерно много, а жиреет еще больше прежнего. Те-

перь, впрочем, она сделалась очень нравственна и на словах преследует всякий порок самым жестоким и безусловным осуждением, совершенно искренно почитая себя особой сердца благородного, помыслов возвышенных и нравственности безукоризненной, с коими будто и весь век свой прожила неизменно.

Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский тоже успокоился на лаврах, достигнув желанного идеала. Есть у него в Петербурге два каменных домика, с которых получает он скромный доходец, есть и кругленький капиталец в сто тридцать тысяч, обращенный им в билеты первого внутреннего пятипроцентного займа.

За домом и хозяйством его присматривает средних лет пухленькая экономка, которая знает, что «очень не забыта им в духовном завещании».

Но, наслаждаясь вполне жизнью, Полиевкт Харлампиевич остался верен всем своим старым привычкам и вкусам.

Он носит все тот же синий фрак с металли-

ческими пуговками, все так же приглаживает наперед свои прилизанные височки, все так же сладостно улыбается, чувствуя в себе мужа, покойного духом и совестью, и по-прежнему разъезжает по городу в своих широких докторских дрожках, на паре бойких рыженьких шведочек. Он — большой патриот и охотник поговорить о величии России и о том, что русские француза и всякого супостата всегда шапками закидать могут; любит по-прежнему слушать почтамтских певчих и замечать на клиросе отдельные и приятно выдающиеся голоса, игнорирует современное направление общества и литературы и очень сожалеет о том, что не продолжается покойная «Северная пчелка».

Но венец всех заветных желаний его вознесется над ним в тот день, когда он будет выбаллотирован наконец в члены благородного собрания, в коем давно уже записан кандидатом. И это обстоятельство, вероятно, не замедлит случиться, ибо Полиевкт Харлампиевич — человек почтенный, рангом солидный, регалией и беспорочием службы в отличие превознесенный, в преферанс «по малень-

кой» играющий, христианин добрый и своему отечеству патриот благонамеренный.

Старая Чуха грустно доживает свой безвестный, одинокий век неподалеку от одного из городских кладбищ. Каждый день перед мраморным памятником Маши, в известные часы дня, виднеется коленопреклоненная фигура молящейся старухи, одетой очень скромно, всегда в одно и то же неизменно черное платье. Могила огорожена решеткой, в черте которой находится еще одно свободное место, и на этом месте, не сегодня-завтра, уляжется на вечный покой дряхлая и немощная княгиня Анна.

Итак, читатель, вот тебе судьба некоторых моих героев. Но точно ли коемуждо воздалось по делом его — об этом доскажет тебе следующая глава.

LIV
НА ВЛАДИМИРКУ

Сумерки. Седые тучи, гонимые сильным северным ветром, сплошь захлобучили весеннее небо. В отсырелом воздухе неприятная резкость. Мелкий холодный дождь перепадает полосами.

На станции Николаевской железной дороги заметно некоторое движение — то готовится поезд к отбытию. Локомотив передвигается с рельсов на рельсы, тяжело пышет густыми клубами белого дыма и словно какое-то чудовище смотрит издали своими двумя передними фонарями, которые в тусклой мгле дождливых сумерек светят, будто два огненных глаза.

На широком станционном дворе заслышался лязг многочисленных цепей, и показалась длинная партия ссыльных, окруженных со всех сторон штыками.

Позади скрипели телеги с пожитками арестантов; на телегах, приткнувшись кое-как и куда попало, сидели пересыльные женщины,

дети и хворые.

Здесь было начало того пути, который предстояло им отверстать до всепоглощающей матери Сибири.

В этих мрачных фигурах, с нахлобученными на голову неуклюжими шапками, под серыми арестантскими армяками с желтым бубновым тузом на спине, ты, мой читатель, узнал бы многих из своих знакомых, с которыми свел я тебя в моем длинном рассказе.

Вот, например, старый жиган Дрожин. Веселый и довольный собою, на шестом десятке, приступает он теперь к третьему пешеходно-кандальному путешествию за бугры уральские, за тайгу сибирскую, за степь бурятскую да за Яблоновые бугры — вплоть до города Нерчинскова.

— Нам это ровно что ничего, одно слово — на здоровье! — говорит он товарищу, снимая шапку и крестясь на небо. — Благодарение Господу Богу и начальству нашему милостивому! Рассудило оно меня по всей правиле, и я оченно доволен. Много на том благодарствую! Малые дети потешались, значит, сдали Дрожина на Владимирку — ну и пущай!

Дай им Господи всякого здоровья и благополучия! Истинно, друг любезный, говорю тебе это! Я рад. К старым знакомым на побывку сбегаю... А только годка через полтора, коли Бог грехам потерпит, удеру, опять удеру беспременно, потому никак не может душа моя без эфтого — вот тебе как перед истинным!

Тут же, рядом с ним, Фаликов и Сизой, и сказочник Кузьма Облако, а вон виднеется за ними высокая, скромно-сановитая фигура Акима Рамзи. Вся пересыльная партия единогласно выбрала его своим артельным старостой.

Вон и Иван Иванович Зеленьков — увы! — расставшийся со своими брючками, фрачками и жилеточками. Он совсем смалодушествовал, упал духом, глядит уныло и трогательно, и даже чуть не плачет, как подумает, — придется пешедралом да еще в железных браслетах отмахать такой длинный конец.

— Хоша бы на подводу посадили... Этак ведь совсем человеку ног лишиться надобно! — грустно вздыхает он про себя, подлаживая к поясу ножные кандалы, чтобы меньше

терлись об щиколки.

Старый Герман Типпнер несравненно более Ивана Ивановича имел бы прав попечалиться на трудность предстоящего путешествия, потому что его старые ноги действительно были слабы и, обремененные тяжелыми цепями, с трудом передвигались, еле-еле поспевая за прочими. Но старый тапер ни единым звуком не выразил своей жалобы, и ни единый взгляд его не сказал, что творилось в душе убийцы Сашеньки-матушки. Он, как всегда, был кроток, тих и покоен, и в этом спокойствии его понуро склоненной головы можно было ясно угадать грустную, но безропотную покорность своей доле.

Вот и Лука Летучий, скованный вместе с Фомкой-блаженным. А там, между бабьем, и Макридина лисья рожа виднеется.

— Все по злобе да по хуле людской за веру Господнию страсти безвинно приемлю, — поясняет она рядом стоящей товарке, с обычным своим вздохом всескорбящего сокрушения, — потому вера Божия в людиех оскудела; постный-то человек глаза, вишь, колет им, срамнецам скоромным. На постном-то чело-

веке благодать почиет, а им, тиграм, это и завидно. Хулу на постного человека возвели, под претерпение поставили.

И много тут было еще всякого народа, осужденного на каторгу да на поселение «за разные прорухи и вины государские», и весь этот люд Божий провожала разношерстная толпа баб, мужиков и ребятишек. В этой последней толпе все были родные и знакомые ссыльных: у кого брат, у кого сын, у кого муж отправлялся. Всякому из них дорого было кинуть последний взгляд на близкого человека, сказать ему последнее прости в этой жизни.

Партия была вытянута на длинной платформе под дождем и ветром. Иные ссыльные бабенки баюкали у груди кричащих ребятишек. Слышался говор, многоречивый и самый разнообразный, то вдруг смех да веселый возглас, то горькое рыдание с причитанием, словно тут в одно время и свадьбу справляют, и покойника отпевают.

Унтер-офицер делает расчет арестантам, отделяя по известному числу людей для каждого вагона.

Раздался первый звонок.

Аким Рамзя снял свою шапку и зычным голосом выкрикнул на всю партию:

— Молитесь!

Все умолкло в одно мгновение. Головы обнажились. У лбов и плеч замелькали руки, творящие крестное знамение. Кто молился стоя, кто клал земные поклоны. И в этой торжественной тишине раздавался один только резкий лязг цепей, которые бренчали при каждом движении молящейся руки.

Казалось, это не люди, а цепи молились.

И вот снова раздался голос партионного старосты:

— Кому с кем — прощайтесь, да и марш по вагонам! Не задерживай, братцы, не задерживай! Поживее!

И снова еще тревожнее пошел гул многоречивого говора, возгласов и слезливых всхлипываний бабья. И там и здесь дрожали женские рыдания, и громко детский плач раздавался.

— Ну, Матрешь, не плачь! Ты мне только дочурку-то выходи... Прощай, Матрешь, прощай, голубка! — слышался в толпе надсаженный голос какого-то арестантика, который на-

рочно хотел придать ему веселую напряженность.

— Прощайте, поштенные! — весело размахивал свободной лапищей Фомка-блаженный. — До свиданья, други и братия! Авось, даст Бог, опять как-нибудь повидаемся, а не то и за буграми встренемся! Да это что! Мы не робеем: опять пожалуем собирать на построение косушки да на шкалика сооружение... Гей! Лука Летучий — человек кипучий, валим, что ли, в вагон! Важнец-штука, эта чугунная кобыла! — ткнул он локтем в локоть своего кандального соседа.

— Эх-ма! — свистнул Летучий и, досадливо сплюнув сквозь зубы слюну, лихо запел себе:

Чики, брики, так и быть!
Наших девок не забыть!
Живы будем — не забудем,
А помрем — с собой возьмем.

Ударил второй звонок.

— Эй! На места! На места садись! Живей! Живей! — раздался командирский голос партионного начальника, и конвойные солдаты принялись загонять арестантов по назначенным вагонам.

На платформе осталась одна только толпа провожающих, грустная, немая и рвущаяся надсаженной душою туда, за эти дощатые стенки вагона, которые, словно гроб, навеки сокрыли теперь за собою тех, кто был родственно дорог и мил сердцам этих матерей и жен, сестер и братьев, остающихся в этой безмолвной толпе.

Третий звонок.

Машина пронзительно свистнула, вагоны дернулись с места, затем локомотив тяжело ухнул одним клубом густого пара — и поезд тронулся.

В толпе провожающих опять раздалось рыдание, молитвы и причитающие возгласы. Несколько десятков рук поднялось в воздухе, крестя и благословляя идущих в далекое странствование.

А там, в вагонах, едва лишь тронулась машина, раздалась забубенная, залихватская арестантская песня.

— Гей, запевало! Облачко! Валяй! Про бычка валяй! — весело скомандовал Дрожин.

И Кузьма Облако, приложив ладонь к уху, затянул тоненькой, дрожащей и разливчатой

фистулою:

Не по промыслам заводы завели,
По загуменью бычка провели.

И вслед за этим весь хор подхватил нестройными голосами:

На бычке-то не бычачья шерсть —
На бычке-то зеленой кафтан,
Оболочка шелковая,
Рукавички барановые —
За них денежки недаденые.
Ай, жги! жги! жги!
Поджигай! Поджигай!
За них денежки недаденые!
Мы поедем во Китай-город гулять,
Мы закупим да на рубль шелку
Да совьем-ко веревочку —
Не тонку-малу оборочку
Мяснички наши похаживают,
На бычка-бычка поглядывают
Уж что ж это за бычатинка,
Молодая коровятинка —
Не печется, не жарится.
Только шкурка подымается.
Ай, жги! жги! жги!
Поджигай! Поджигай!

Только шкурка подымается.

— Валяй, Облачко! Валяй, рассучий кот, так, чтоб все нутро выворачивало! Чтобы перцем жгло! — ободрительно кричал Дрожин в каком-то своеобразном экстазе, возбужденном звуками этой песни, в которой почти целый вагон принимал живое участие. Хоть и нестройно выходило, да зато звуки вырывались прямо из сердца, щемящего тоской и злобой, которое от этого завывания бросалось в какую-то забубенно лихую, жуткую отчаянность. Не было водки, чтобы затопить в ней каторжное горе, и оно поневоле топилось в каторжной песне.

И снова раздался ухарский фальцет Кузьмы Облако:

Где не взялся тут Кирюшкин-брат[571],
Он схватил ли требушинки шмат —
Завязали бычку руки назад,
Положили по-над лавкой лежать.
Уж вы люди, вы люди мои, да
Вы людишки незадачливые —
Ах, зачем вам было сказывати,

Разговоры разговаривати!
Ай, жги! жги! жги!
Поджигай! Поджигай!
Разговоры разговаривати!

Таким-то первым приветом будущие каторжники встречали свою темную будущность.

LV
В МОРЕ

В Финском заливе нырял по волнам большой пассажирский пароход. Он шел за границу. В небе играло теплое весеннее утро, борясь солнечными лучами с целым стадом волнистых облаков, которые с ночи сплошною массою налегли над морем и не успели еще рассеяться.

На горизонте, в белесоватом тумане, едва голубела узкая и далеко протянувшаяся полоска берега.

То была Россия.

Бероев по направлению к ней протянул свою руку.

— Видишь?.. — тихо сказал он жене. —

Смотри на нее, в последний раз смотри... Прощайся с нею — ведь уж мы ее больше никогда, никогда не увидим.

И с этой мыслью сердце его болезненно сжалось и защемило. Он долго еще смотрел на эту исчезающую полоску, пока наконец она совсем не растаяла в легком морском тумане.

У ног его, на корме, играли и весело возились между собою двое ребятишек, неумолчно щебеча какие-то свои ребячьи речи. Жена сидела подле, облокотясь на борт парохода, и глядела все в то же пространство, где недавно исчезла голубевшая полоска.

Выглянуло солнышко и ярко заиграло на снастях, на палубе, на лицах, окрасило золотистым отливом густые клубы облачно-белого пароходного дыма, прихотливо-извивчато заискрилось на изломах зеленоватых волн и ярким серебром сверкнуло, при взмахе, на крыльях двух-трех морских чаек, заботливо реявших над водою.

Бероев любовно заглянул в лицо своей жены. Оно было тихо и грустно-задумчиво; а глаза все еще внимательно устремлялись в ту

же самую даль и будто силились еще, в последний раз, уловить утонувший за горизонтом берег покинутой родины, которая дала этой женщине столько великого горя и разлучаться с которою — разлучаться навеки — было все-таки невольно мучительно жалко.

На глазах ее жемчужились две крупные слезы.

Бероев взял ее руку и, глядя в эти глаза, тихо и долго сжимал ее добрым, родным пожатием.

На душе у обоих пронеслось какое-то облачко — жуткое сожаление о покинутой родине, светлая надежда на будущее...

Оба вздохнули о чем-то, оба улыбнулись друг другу, и в этом взгляде их светился теперь отблеск покоя и мира, в этой улыбке сказалось тихое счастье.

Примечания

1

«Это старая история… это старая история, остающаяся, однако, вечно новой» *(нем.).* — *Ред.*

[^^^]

2

«Что скажет общество?» *(фр.) — Ред.*

[^^^]

3

Желтая перчатка *(фр.). — Ред.*

[^^^]

4

Сударыни *(фр.). — Ред.*

[^^^]

5

Это очаровательно! это очаровательно! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

6

У воров и мошенников существует своего рода условный знак (argot), известный под именем «музыки» или «байкового языка». Этот язык, между прочим, представляет много интереса и в физиологическом отношении. В нем, кроме необыкновенной образности и лаконической сжатости, отличительных качеств его, заметен сильный наплыв слов, звучащих очевидно неславянскими звуками. Не говоря уже о звуках отчасти польских, отчасти малорусских, вы весьма часто слышите в музыке слова вполне восточного происхождения; иногда попадаются намеки на корни романские и немецкие, хотя и не так часто, как татарские, финские и цыганские. Это смешение объясняется самым составом мошеннического сословия, служащего широким стоком для всех национальностей. Характер московского argot уже несколько разнится от петербургского: в нем менее и даже совсем почти нет звуков нерусских, и только одни татарские допускаются в него, и это точно так же зависит от того, что состав жульнических

(мазурнических) обществ в Москве более петербургского носит на себе характер почвенный, российский. Москва как будто везде и во всем старается проводить свои собственные, славяно-московские тенденции. Впоследствии, при выходе в свет всего романа, автор намерен сделать более подробное исследование о байковом языке, с приложением словаря. Читателю неоднократно еще встретится эта музыка, которая иногда потребует не одного только перевода байковых слов на русский язык, но и разъяснения исторического либо даже филологического смысла, заключающегося в них. Пример — чтобы не ходить за ним далеко — заключается в тех самых выражениях, по поводу которых сделана настоящая выноска. Швец на белорусском и малорусском наречии значит — портной. Это еще ничего ровно не объясняет читателю. Швецовым или портняжным искусством называется на байковом языке целая отрасль воровского промысла. Воры и мошенники делятся на категории и градации, смотря по характеру своего промысла, как, например, карманники, комнатные или домашние, паркетни-

ки, уличники, скамьевщики (конокрады), ночники — это их общее разделение; за ним следует деление более частное: швецы (по части платья), скорняки (по части мехов), ювелиры (золотые вещи), финажники, сорники или бабочники (ворующие чистые деньги). Нельзя сказать, чтобы воры поименованных категорий строго держались каждый своей специальности. В общем характере своем они без исключения следуют правилу — «не клади плохо», воруя все, что попало под руку, и, таким образом, швец весьма легко может забраться в область финажника, ювелир — в область скорняка или скамьевщика и т. д. Но каждый из них — по душевному ли расположению или по сноровке и умению — какую-нибудь отрасль предпочитает, чувствует к ней более симпатии и, таким образом, зачисляет себя в ювелиры или швецы, стараясь, конечно, более ориентироваться в избранной им специальности.

[^^^]

7

Ходить начистоту по музыке — выражение, означающее искусство de lahaut ecole (высшая школа (*фр.). — Ред.*). «Ходить по музыке» — значит просто воровать; но «на чистоту» заставляет подразумевать в себе ловкость, проворство приемов и опытность.

[^^^]

8

Каждое заведение, будет ли то трактир или питейный дом, имеет непременно два входа: один — с улицы, наружный, показной, над которым, по обычаю, красуется вывеска; другой — черный, непременно со двора, старается (особенно в кабаках) замаскироваться каким-нибудь хламом, вроде порожних пивных ящиков, дров или чего-нибудь подобного. Мазурики эти последние ходы называют невоскресными, то есть непраздничными, непарадными.

[^^^]

9

В Петербурге мошенники не составляют такой обширной и так правильно организованной общины, каковою является лондонская «Семья», если верить автору «Лондонских тайн» А. Троллопу. У нас они либо живут и промышляют в отдельности, каждый сам по себе, независимо от прочих, либо составляют ассоциации, шайки, число членов которых может быть различно: от трех или пяти до шестидесяти и более. Каждая такая ассоциация непременно сгруппируется в каком-нибудь кабаке или трактире, куда стекается в сбор для обсуждения и совещания по своим делам и для кутежа после работы. Такие шайки, как подметил автор, называются хороводами, которые они в большинстве случаев окрещивают прилагательным названием по имени своего трактира, как, например, ершовский хоровод, пекинский, малиновский и проч. Члены такой ассоциации подчиняются уже известным законам относительно дележа и некоторых обязанностей своих к товарищам, что читатель увидит впоследствии.

[^^^]

10

Камбала — лорнет, двуглазая — бинокль. У некоторых воров, отправляющихся по вечерам в театр с специальною целью — воровать бинокли и лорнеты, промысел этот называется «рыболовным»; причиною этого эпитета, конечно, послужила камбала. Впрочем, можно предположить, что название рыболовный промысел не есть общепринятое. Автор по крайней мере слышал его только раз и то совершенно случайно — и на этом основывает свое последнее предположение.

[^^^]

11

Завсегдатай — постоянный, обычный посетитель, habitue.

[^^^]

Государство в государстве *(лат.). — Ред.*

[^^^]

Якобы *(фр.). — Ред.*

[^^^]

14

Бабка, или сора — деньги вообще, какого бы рода или вида они ни были.

[^^^]

15

Финалы — бумажки, ассигнации. Некоторые произносят: финаги вместо финалы.

[^^^]

16

Колесо-царь — рубль серебряный, цари-колесики — серебряные деньги.

[^^^]

17

Так называется одна комната, с которою читатель познакомится несколько ниже.

[^^^]

18

«Возьми глаза в руки да и смотри сквозь стекла; может, и шпион какой». Зеньки — глаза; граблюхи — руки; зетить — смотреть; звенья — стекла; фигарис, фига, подлипало — полицейский, лазутчик, сыщик.

[^^^]

19

Шельма — шинель.

[^^^]

20

Каплюжный — полицейский; каплюжник — общее название для всех чинов, служащих в полиции.

[^^^]

21

Гамля — собака.

[^^^]

22

Клей — имеет несколько значений в «музыке». Клеем, во-первых, называется всякая воровванная вещь; во-вторых, всякое выгодное воровское предприятие, всякая афера, дельце, сделка; в-третьих, «идти тырить на клей» — значит идти воровать на готовое, то есть когда дело подготовлено заранее, с помощью прислуги или кого-либо из домашних или же, наконец, с помощью кого-нибудь из своих, если этот свой успел вкрасться в дом, а иногда и в доверие к избираемой жертве и подстроил дело так, что оно не представляет никакого риска, никакой опасности.

[^^^]

23

Клёвый — хороший, красивый, дорогой, выгодный, подходящий. Яманный — негодный, нехороший, скверный, невыгодный, неподходящий.

[^^^]

Слам — доля добычи. Между мазуриками есть свои законы, которым они вполне подчиняются. Законы дележа соблюдаются особенно строго, причем доля каждого участника определяется с большею точностью и правильностью. Жулик, то есть ученик, если он по приобретении некоторой сноровки допускается в виде опыта на практику, получает от малоценной вещи половину, от более ценной — треть. Всякий другой товарищ, или подрушный, то есть помощник, — половину; простой зритель — четвертую долю, а иногда и треть, если есть опасение, что он прозвонится, то есть проговорится кому-нибудь или выдаст; в этом случае, дабы несколько обезопасить себя на сей конец, мазурики этою долей хотят сделать его как бы соучастником в воровстве. Маз (мастер, распоряжающийся планом дела или производящий воровство), а равно и атаман (в тех шайках, где он есть) получает двойную долю. Маз обыкновенно и растырбанивает слам, то есть распределяет вырученную сумму на разные части и выдает их соучаст-

никам или по заранее выговоренным условиям, или же по обыкновенным законам. Если дело идет в розницу, то это значит, что всю выручку возьмет кто-нибудь себе одному, а товарища просит оказать бескорыстную помощь.

[^^^]

25

Мухортом в общем смысле называется всякий партикулярный человек, барчуком именуют воры каждого прилично одетого джентльмена или господина, одетого во фрак, а также чиновника и дворянина.

[^^^]

26

Темный глаз — фальшивый паспорт; без глаз ходит — без паспорта; безглазый, темный, слепыш — беспаспортный. Есть в «музыке» еще один термин — «бирка», который означает всякий, какой бы то ни было письменный вид, и по преимуществу вид законный, настоящий, нефальшивый.

[^^^]

27

Маруха — женщина; клева-маруха — публичная женщина; маруший — женский, бабий и девичий.

[^^^]

28

О виленцах и их специальной профессии будет говориться несколько ниже. Сухаревским домом назывался нынешний дом князя Вяземского (3-й Адмиралтейской части 4-го квартала). Ресторация, помещающаяся в нем (в первом флигеле, выходящем на Обухов проспект, рядом с домом Котомина), и до сих пор еще сохранила название «Сухаревки».

[^^^]

29

Наворованное.

[^^^]

30

Хрястать — есть, хрястанье — еда, кушанье, обед, завтрак или ужин. Канна на байковом языке значит кабак, поэтому некоторые мазурики водку называют канновкой.

[^^^]

31

Гроник — грош; каника — копейка; колесо — рубль.

[^^^]

32

Спурка — скупка и перепродажа краденых вещей; спурить, пропурить — продать, сбыть ворованное.

[^^^]

33

Сброд, жулье *(фр.). — Ред.*

[^^^]

34

«Что украл?» Тырить — воровать.

[^^^]

35

Скверно, плохо.

[^^^]

36

Хорошо, удачно.

[^^^]

37

Выначить, срубить — вынуть из кармана. Шмель — кошелек с деньгами. Скуржанная лоханка — серебряная табакерка. Скуржа — серебро. «Вынул кошелек да вытащил серебряную табакерку».

[^^^]

38

«Барышник во что ценит золотые часы?» Класть — ценить, определить стоимость; ее-снуха, веснушки — золотые часы.

[^^^]

39

Термин для обозначения всякой воровской вещи.

[^^^]

40

«Часы с цепочкой, как есть целиком золотые». Канарейка — карманные часы — название общее и для золотых, и для серебряных часов, в отличие от всяких других, как-то: стенных, столовых и проч., для которых существует название стуканы, стуканцы. Путина, первязь — цепочка; веснушный, или рыжий, — золотой.

[^^^]

41

Рыжик — червонец; править — просить, запрашивать.

[^^^]

42

Рыжая Сара — полуимпериал.

[^^^]

43

Царь — рубль серебряный.

[^^^]

Для народа, ходящего по музыке, то есть принадлежащего к воровскому сословию, имеют важное значение слова: влопаться, облопаться и сгореть. Влопаться — значит попасться в воровстве, но не опасно, если попавшийся тут же на месте освобождается благодаря или своей увертливости, или своей силе, или снисхождению поймавшего, или же, наконец, отсутствию поличного, то есть ворованной вещи, которая у вора крадущего никогда почти в руках не остается, а тут же мгновенно передается исподтишка подручному, то есть помощнику. Подручный же немедленно удаляется с нею на безопасный пункт. Облопаться — это уже степенью выше. Если мазурик облопался, то это значит, что он попался более опасным разом: взят полицией и отведен в часть или тюрьму и находится под следствием, однако же с надеждой на освобождение. Когда же говорится про «музыканта», что он сгорел, то это означает либо дальний путь его по Владимирке, либо по меньшей мере препровождение по этапу на место родины.

[^^^]

45

Дождевик — камень, булыжник для случайной обороны. Некоторые воры, если не имеют каких-либо других орудий, носят его постоянно при себе, отправляясь на дело, и есть между ними мастера, владеющие очень ловко искусством пускать дождевика на довольно значительном расстоянии и при этом метко и верно попадать именно в то самое место, которое избрано целью удара, как, например, рука, плечо, колено.

[^^^]

46

Хрять — бежать.

[^^^]

47

Стремить — смотреть, наблюдать, остерегаться. Возглас «стрема!» означает: «берегись! будь осторожнее — смотрят!»

[^^^]

48

Фараон — будочник.

[^^^]

49

Стрела — казак патрульный.

[^^^]

50

Потеть — сидеть в части.

[^^^]

51

Попасть к дяде на поруки — значит попасть в тюрьму.

[^^^]

52

Скупом называется общая складчина товарищей на выкуп попавшегося товарища.

[^^^]

53

Отначиться — откупиться от полиции, отыграться в карты.

[^^^]

54

Дать сламу на гурт — значит: посредством общей складки товарищеских долей дать взятку полицейским чинам. Слам на крючка — называется взятка полицейского письмоводителя, слам на выручку — взятка квартального надзирателя, который на байковом языке не без остроумия называется карман или выручка. Слам на клюя или на ключая — взятка на долю следственного пристава.

[^^^]

55

Помадой называется известная система, манера, метода действия и приемов при совершении воровства. Пустить в ход помаду — значит производить самый акт воровского или иного подходящего к этому роду действия. Помадой также называется долото.

[^^^]

56

А если попадется да на следствии приставу расскажет?

[^^^]

57

На стрему — на сторожку.

[^^^]

58

Затынить — скрыть, заслонить.

[^^^]

59

Амба — убить, собственно означает удар или — еще ближе — то движение, которое делает рука, нанося удар. Под словом амба исключительно подразумевается удар насмерть, наносимый сразу и с такой силой, чтобы жертва, даже и не вскрикнув, падала мертвою. Собственно же убить — значит приткнуть, зарезать — освежевать скотинку (свежиница), освежуем — зарежем. Язык, как видите, довольно образный и выразительный. Домуха — дом; опатрулить — обобрать или вообще обделать подходящее дело в дому, в квартире.

[^^^]

60

На гопе — в поле или в лесу.

[^^^]

61

Ломата — побои; задать ломату — выражение, равносильное трепке.

[^^^]

62

Трижды каналья *(фр.). — Ред.*

[^^^]

63

По большому счету *(фр.). — Ред.*

[^^^]

64

Так специально в «Ершах» называется бутылка шампанского, которую подают обернутую в салфетке.

[^^^]

65

Чибирячкою называется каждая веселая песня с скандалезным характером.

[^^^]

66

«Госпоже княгине Чечевинской» *(фр.). — Ред.*

[^^^]

67

Г-жа княгиня *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Меблированные комнаты *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Мошенник (букв. — рыцарь промышленности) *(фр.). — Ред.*

[^^^]

70

Это настоящий дворянин *(нем.; фр.). — Ред.*

[^^^]

71

Фу ты! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

72

О да... но это указывает на ваше благородное сердце *(нем.). — Ред.*

[^^^]

73

Хорошую кормилицу для этого ребенка, если вам угодно, сударь? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

74

Вся к вашим услугам, вся! вся! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

75

Э! это вполне возможно для меня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

76

О да! конечно *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

77

Вы никого не подозреваете? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

78

Никого, сударыня *(фр.). — Ред.*

[^^^]

И ничего не слышали? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

80

Небольшой скандал, случившийся в высшем свете... *(фр.) — Ред.*

[^^^]

81

Нет, сплетни! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

82

Понимаю… я это хорошо понимаю! *(фр.)* — *Ред.*

[^^^]

83

Дама? молодая и хорошенькая? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

84

Но вы сами? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

85

Разве это возможно? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

86

Нет! вы ошибаетесь, сударь! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

87

И в обществе об этом никогда не говорили! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

88

О да! господин немного любопытен! я понимаю *(фр.). — Ред.*

[^^^]

89

Н-ну да-а! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

90

О, если бы я была вашей женой! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

91

Я бы вас любила! я была бы верна вам... *(фр.) — Ред.*

[^^^]

92

Очень хорошо! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

93

Очень хорошо! (нем.) ...Но пришлите только карету к другому... *(фр.) — Ред.*

[^^^]

94

Большая новость! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

95

Молодая княжна Чечевинская... *(фр.) — Ред.*

[^^^]

96

Но… Как… *(фр.) — Ред.*

[^^^]

97

Бедная мать! она серьезно заболела от этого! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

98

Вот вопрос! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

99

Но... даже на все дворянство! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

100

Совершенно пропащая женщина! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

101

Да, если это правда… *(фр.) — Ред.*

[^^^]

102

И кого считают ее любовником? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

103

Это дело чести *(фр.). — Ред.*

[^^^]

104

Впрочем, прощайте! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

105

Ты видишь теперь, несчастный, что ты сделал со своей женой! Ты подлец! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

Якобы, ложный *(фр.). — Ред.*

[^^^]

107

Хорошо, здравствуй и каша.

[^^^]

108

Случайно *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Лихорадка *(лат.). — Ред.*

[^^^]

Общество *(фр.). — Ред.*

[^^^]

111

Красавец мужчина и добрый малый *(фр.).* — *Ред.*

[^^^]

112

Бывшая *(лат.). — Ред.*

[^^^]

113

Чистокровный *(фр.). — Ред.*

[^^^]

114

Мама *(фр.). — Ред.*

[^^^]

115

Унтер-офицер, вы правы! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

116

Так проходит земная слава… *(лат.) — Ред.*

[^^^]

117

Под Наполеона III *(фр.)*. — *Ред*.

[^^^]

118

«Ян Владислав Карозич» *(пол.). — Ред.*

[^^^]

119

Виноват! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

120

Кружок кроликов, кружок кинжалов *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

121

Следовательно *(лат.)*. — *Ред*.

[^^^]

122

Уж какая ни есть, дорогой! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

123

Какая самостоятельность! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

124

Князь, князь! что вы делаете! разве это прилично? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

125

Сударыня! Вы забываете, что я — князь Шадурский! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

126

Что существует страна, которая называется Россия, населенная мужиками *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Париж и провинции *(фр.). — Ред.*

[^^^]

128

«Говорят, что это Тамбов» *(фр.). — Ред.*

[^^^]

129

Ужасный ребенок *(фр.)*. — *Ред*.

[^^^]

130

Господин Попо или Коко *(фр.). — Ред.*

[^^^]

131

«Жюстина» *(фр.). — Ред.*

[^^^]

132

Синьор Риготти *(фр.). — Ред.*

[^^^]

133

Высший свет *(фр.). — Ред.*

[^^^]

1 Журфиксы *(фр.). — Ред.*

[^^^]

135

Эпоха Возрождения (Ренессанс) *(фр.). — Ред.*

[^^^]

136

Средние века *(фр.)*. — *Ред*.

[^^^]

137

Самоуправление *(англ.). — Ред.*

[^^^]

138

Меткое слово *(фр.). — Ред.*

[^^^]

139

По образцу *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

140

Пословица *(фр.). — Ред.*

[^^^]

141

Не правда ли? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

142

Потому что это слишком отдает мужиком *(фр.). — Ред.*

[^^^]

143

Пенсне *(фр.). — Ред.*

[^^^]

144

Неизвестная женщина… *(фр.) — Ред.*

[^^^]

145

Поистине, с моей стороны это кощунственно! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

146

Она не из наших *(фр.). — Ред.*

[^^^]

147

Итак, это легкая победа! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

148

Легкая *(фр.). — Ред.*

[^^^]

149

Возможность победы *(фр.). — Ред.*

[^^^]

150

Атташе *(фр.). — Ред.*

[^^^]

151

А, это мне очень нравится! ...Должна вам сказать, что у меня страсть ко всем этим безделушкам... *(фр.) — Ред.*

[^^^]

152

Ах, какие у вас прелестные детки, сударыня, два ангелочка! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

153

О, дети! это большое утешение! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

154

О, это недорого! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

155

Завтра в два часа, сударыня *(фр.). — Ред.*

[^^^]

156

Его задержали дела *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

157

А пока мы побеседуем, выпьем кофе, если вам угодно, сударыня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

158

Вы не откажетесь? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

159

Он ничего не знает, будьте покойны *(фр.).* — *Ред.*

[^^^]

160

Простите! ...Я вас покину на один момент... Простите, сударыня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

161

Ну, что вы скажете, господин Катцель? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

162

Очень хорошо, очень хорошо! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

163

До свидания! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

164

Да, я думаю… *(нем.) — Ред.*

[^^^]

165

Отец *(фр.). — Ред.*

[^^^]

166

О, какой прекрасный слог! Какое красноречие, какое воодушевление! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

167

Поистине, этот человек отмечен печатью гения! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

168

Брать уроки морали и религии… *(фр.) — Ред.*

[^^^]

169

Бог один повсюду и для всех; и тем более, все наши там бывают *(фр.). — Ред.*

[^^^]

170

Это, наконец, в моде! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

171

О, великолепно, прелестно! мы совершенно очарованы! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

172

Это было в моде *(фр.). — Ред.*

[^^^]

173

«Рейнеке-Лис» *(нем.). — Ред.*

[^^^]

174

Отец *(ит.). — Ред.*

[^^^]

175

Господь с вами! *(лат.) — Ред.*

[^^^]

176

«Непорочная богиня» *(ит.). — Ред.*

[^^^]

177

О том, что такое Малинник, читатель узнает впоследствии.

[^^^]

178

Напротив *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

179

На воровском арго для блезиру — то же, что для виду.

[^^^]

180

Подставлять обе руки.

[^^^]

Ныне одна часть принадлежит князю Вяземскому, другая — Котомину; у старожилов Сенной до сих пор известен под именем Полторацкого дома. — *Примеч. автора, 1864 г.*

[^^^]

182

Грызуны — общее прозвание нищих. Грызть окна — просить милостыню — применяется преимущественно к нищим, что слоняются по деревням под окнами, но от них перешло как ироническое дразненье и на всех нищих вообще, которыми снабжают Петербург по преимуществу губернии Псковская и Витебская.

[^^^]

183

Звонить — говорить.

[^^^]

184

Слам — доля добычи.

[^^^]

185

Косуля — тысяча.

[^^^]

186

Труба — вздор, пустяки. Зубы заговаривать — сбивать с толку, отводить глаза.

[^^^]

187

Лады — идет, хорошо; согласие.

[^^^]

188

Стачка — сделка, уговор, условие.

[^^^]

189

Сделать подвод — устроить предварительную подготовку для дела, указать все необходимые пути, дать нити в руки. Помада — самое делопроизводство во время воровства.

[^^^]

190

Проехать на фортунке к Смольному затылком — на петербургском argot означает торжественный поезд преступника к эшафоту, на Конную площадь. Фортунка — позорная колесница.

[^^^]

191

Слаба! — восклицание, выражающее укор в нерешительности и трусости.

[^^^]

192

Есть миноги — принять наказание плетьми.

[^^^]

193

И с ним делиться долей добычи?

[^^^]

194

Попасть к дяде на поруки — угодить в тюрьму.

[^^^]

195

Херый — пьяный; запивохин — пьяница.

[^^^]

196

Ходит — то же, что лады — идет, согласен; работить — обделывать дело.

[^^^]

197

Осюшник — двугривенный.

[^^^]

198

Мухорт, мухортик — партикулярный человек.

[^^^]

199

Алешка — лакей.

[^^^]

200

Жорж — мошенник. Надо заметить, что мошенники наши никогда не именуют себя и свое сословие мазуриками. Мазурик употребляется между ними только в обидном, оскорбительном смысле, как брань. Этим именем окрестило их петербугское общество (в Москве — жуликами). Сами же себя мошенники называют жоржами, военными артистами и жохами. Последнее название прилагается к мошенникам, временно находящимся в крутых, безденежных обстоятельствах. Ходить жохом — быть в нищете, в безденежье, без приюта.

[^^^]

201

Ходить на особняка — заниматься профессией в одиночку, без товарищей, не принадлежа к ассоциации.

[^^^]

202

Примем в компанию, запутаем, подговорим на воровство. Захороводить — специально означает: подготовить на воровство прислугу в доме, преимущественно посредством напоения.

[^^^]

203

Мазами называются мастера, опытные во всех отношениях воры, прошедшие многоразличный практический и юридический курсы. Они заправляют, распоряжаются делом во время производства воровства, делят добычу, обучают молодых воров, стоят во главе шайки и вообще играют роль главнокомандующего, атамана.

[^^^]

204

За и против *(лат.). — Ред.*

[^^^]

205

Звонок, звон, малолеток, жулик — ученик мошенника. Жуликами называются уже те из учеников, которые могут ходить на дело.

[^^^]

206

В Петербурге был некогда палач, прозывавшийся Кирюшкой. Он отличался особенной ловкостью и сноровкой «в деле», так что приобрел себе огромную популярность в мире мошенников, и даже самое имя его на петербургском argot сделалось синонимом палача.

[^^^]

207

Золотая тырка — выражение, довольно трудно переводимое на обыкновенный язык, означает очень удачно произведенное воровство. Тырить — воровать, красть.

[^^^]

Ошмалаш — слово, которое звучит очевидно не русским, а восточным — и скорее всего, кажется, татарским — происхождением. Ошмалаш — ощупка, ошмалать — ощупать. Обыкновенно перед тем, чтобы украсть (например, часы, бумажник) при застегнутой одежде, мошенник предварительно делает наружную рекогносцировку, слегка и очень осторожно ощупывает место и соображает положение, в каком вещь лежит в кармане. Маневр этот производится с самым невинным видом, как бы нечаянным, машинальным прикосновением руки. Сообразительность в подобных случаях у опытных мошенников развита необыкновенно тонко: достаточно одного только легкого прикосновения, чтобы сообразить, в каком положении находится вещь и как будет лучше, как удобнее ее можно украсть. Это-то называется ошмалаш. Если часы или бумажник лежат под сюртуком, плотно застегнутым на все пуговицы, здесь уже употребляется несколько более рискованное средство, именно: берется жулик — не ма-

лолеток, а небольшой, весьма острый ножик, употребляемый для подрезания снаружи боковых карманов, отпарывания у шуб и салопов воротников, рукавов и т. п. Главная штука в том, чтобы неслышно, незаметно для жертвы сделать наружный прорез сюртука — а там уж вещь сама собою в руках мошенника.

[^^^]

209

Трекнуть — неосторожно толкнуть, дотронуться до жертвы во время самого производства воровства.

[^^^]

С любовью *(ит.)*. — *Ред.*

[^^^]

211

Обязательно *(лат.)*. — *Ред.*

[^^^]

212

Навязчивая идея *(фр.). — Ред.*

[^^^]

213

Что язык-то распустил?

[^^^]

214

Воровское дело.

[^^^]

215

Приехал. Хрять — ехать.

[^^^]

216

Собака.

[^^^]

217

Прекрасно.

[^^^]

218

Скверно.

[^^^]

219

Шишка — портмоне, мешок, киса, чемоданчик, где хранятся деньги.

[^^^]

220

Нехорошо, товарищ!

[^^^]

221

Бабки — деньги, финажки — ассигнации, сворочить — один из синонимов, выражающих слово красть; брать на шарап — приступом, грудь на грудь, на ура!

[^^^]

222

Попасться да в Сибири пропасть. Идти за бугры или просто за бугры (то есть за Уральский хребет) — значит в Сибирь.

[^^^]

223

Приткнуть — убить, лишить жизни вообще. Фомка — небольшой железный ломик для сворачиванья замков, засовов, а также и для обороны.

[^^^]

224

Идет! дело! хорошо!

[^^^]

225

Восклицание, выражающее укор в трусости и малодушии.

[^^^]

226

Мокро — опасно.

[^^^]

227

Кирюшкой, как известно уже читателю, звался один из петербургских палачей, который на мошенническом argot оставил после себя это слово в наследство палачам как общее нарицательное имя. Кирюшкина кобыла — инструмент, на котором наказывали плетьми.

[^^^]

228

Граблюха — рука.

[^^^]

Взять его за горло да пырнуть ножом (в горло, под сердце, под ложечку — все это называется душец), чтобы он не кричал «караул». Голову на рукомойник — зарезать; выражение, принадлежащее собственно к тюремному argot, употребляется преимущественно мошенниками опытными, прошедшими универсальный курс высшей школы в камерах «Литовского замка». На храпок — выражается насильственное действие на горло жертвы, то есть если при грабеже или убийстве стянут горло, чтобы в первом случае — затруднять крик, во втором — задушить. Маневр производится посредством трех пальцев через давление на переднюю часть горла (в боковые стенки так называемого адамова яблока).

[^^^]

230

Ехать на фортунке к Смольному затылком — означает позорный поезд на Конную площадь к эшафоту.

[^^^]

231

Фига, подлипало, фигарис — шпион, сыщик, иногда — доносчик.

[^^^]

232

Трехрублевый.

[^^^]

233

Как десерт, на закуску *(фр.). — Ред.*

[^^^]

234

Спасибо за скандал *(фр.). — Ред.*

[^^^]

235

И наконец — что скажет общество? *(фр.)* — *Ред.*

[^^^]

236

Дикарь! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

237

У князя недурной вкус! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

238

Великолепно, чудесно! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

239

Головка Грёза! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

240

Ну, успокойся, успокойся, дитя мое, моя крошка! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

241

Мой ангел! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

242

Что вы скажете теперь об этом, князь? (нем.; фр.) — Ред.

[^^^]

243

Это моя воспитанница… *(фр.) — Ред.*

[^^^]

244

А почему бы и нет? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

245

Никто, князь, никто! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

246

По-супружески *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Разумеется *(фр.)*. — *Ред*.

[^^^]

248

Прежде всего — скромность: это честная девушка, и главное — безупречная невинность *(фр.; нем.). — Ред.*

[^^^]

249

Я уже сказала *(нем.). — Ред.*

[^^^]

250

Вы хотите ее сделать вашей любовницей, не так ли? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

Все нарастая *(ит.)*. — *Ред.*

[^^^]

252

Ах, спасибо, спасибо, сударыня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

253

Вы столь любезны, столь остроумны!.. я не могу до сих пор забыть ту афинскую ночь, что вы нам устроили... Какая великолепная женщина! И какие античные формы у этой цыпочки Полины! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

254

Афинская ночь *(фр.). — Ред.*

[^^^]

255

Мари, он уже влюблен! поздравляю вас! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

256

Мари, я хочу вам сделать еще один сюрприз *(фр.). — Ред.*

[^^^]

257

Тетушка *(фр.). — Ред.*

[^^^]

258

«Хорошо!» *(фр.) — Ред.*

[^^^]

259

Это профессия, как и всякая другая *(фр.).* — *Ред.*

[^^^]

260

Ну что ж, идем, я хочу ее видеть *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Пенсне *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Золотая молодежь *(фр.). — Ред.*

[^^^]

263

Старые холостяки *(фр.). — Ред.*

[^^^]

264

Завсегдатаи *(фр.). — Ред.*

[^^^]

265

Молчи!.. тсс!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

266

Войдите! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

267

Я очарован! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

268

Вы правы! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

269

Я очарован!.. Я восхищен вашей добротой, сударыня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

270

Прощайте, сударыня, прощайте! К вашим услугам! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

271

Моя радость! *(ит.) — Ред.*

[^^^]

Так называется этот молодой человек в больнице. Вообще большая часть слегка очерченных нами субъектов действительно находятся или находились в Обуховском отделении умалишенных.

[^^^]

273

Безделушки *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Волей-неволей *(лат.). — Ред.*

[^^^]

275

Ах! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

276

Честное слово *(фр.). — Ред.*

[^^^]

277

Что это женщина из общества *(фр.). — Ред.*

[^^^]

278

Не горячитесь, сударыня *(фр.). — Ред.*

[^^^]

279

Извините, сударыня: положение обязывает! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

Первые одиннадцать глав четвертой части не заключают в себе исключительно романического интереса. Это, так сказать, этнографический очерк быта и жизни петербургской тюрьмы. Такое же значение отчасти имеют и те главы, которые впоследствии коснутся женского отделения тюремного замка. Дядиным домом на воровском арго называется тюрьма; сидеть у дяди на поруках — сидеть в тюремном заключении.

[^^^]

281

Наводнение.

[^^^]

282

Во втором этаже Тюремного замка помещаются камеры татебного отделения, куда сажают по тяжким преступлениям. Первый этаж занят бродяжным отделением. Третий этаж — по подозрению в воровстве, мошенничестве и краже; четвертый — по воровству, мошенничеству и краже. Второй, третий и четвертый слывут в тюрьме просто под именем этажей.

[^^^]

Деньги менее рубля отдаются на руки арестанту, с рубля же отбираются в конторе. Арестант еженедельно может брать некоторую сумму на свои житейские потребности, на чай, булку и т. п. Мелкие вещи, ценные или ничего не стоящие, отбираются сполна, особенно бумага чистая, хоть будь это простой клочок. Почему, для чего последняя строгость — неизвестно, тем более что по камерам бумага все-таки есть, и иногда в изрядном количестве.

[^^^]

Отделения отличаются по воротникам: татебное отделение — черный воротник. По этому случаю татебных называют «егерями». По подозрению в воровстве — синий; по воровству — желтый. Первых зовут «гарнизоном», последних — «уланами».

Первое частное отделение, куда забирают по преимуществу беспаспортных, из Вяземского дома и т. п., носит красные воротники. Военного названия не имеет, но, как видно из одной арестантской рукописи, находящейся у автора, прозывается «мрачным светом».

Второе частное отделение — малиновый воротник, известно под именем «старого благородного», называют его также «бесхлопотным». Сидят там иностранцы, купцы, мещане, даже крестьяне случаются; но попасть на это отделение преимущественно можно по протекции, потому что со второго частного не гоняют ни на какую работу и позволяют ходить в собственном «вольном» платье.

Бродяжное — воротник зеленый, «чтоб, значит, вольные поля да леса напоминало»,

говорят арестанты.

Подсудимое отделение — серый; прозывается, по той же рукописи, «хамовым отродьем», потому что из этого отделения назначаются люди в прислугу на благородное и секретное отделения, в банщики, кашевары, портные, хлебопеки, сапожники.

На благородном отделении — черные пиджаки с черным отложным воротником; допускается также и свой собственный костюм. Тюремная работа заключается в качании воды да в пилке и разноске дров. Третий и четвертый этажи таскают сами на себя, для прочих же отделений эту обязанность исполняет первое частное. А работают первые два «по переменкам»: сегодня четвертый, например, воду качает, а третий пилит дрова; завтра наоборот. Этим только и разнообразится работа по замку.

[^^^]

Мутузка — поясок, которым служит веревочка тоненькая. Есть два способа протаскивать с собою деньги. О наиболее употребительном, благодаря его оригинальности, нет никакой возможности сказать что-либо не в строго специальном трактате. Второй же способ представляет именно мутузка, или мутузок. Вокруг нее свертывается ассигнация и заматывается ниткою. Впрочем, для арестантов невыгодно брать с собою более крупные деньги, потому денежное воровство сильно развито между арестантами и часто соединяется даже с открытым грабежом. Был случай, что один с помощью нецензурного способа протащил с собою на этаж триста рублей и зашил их там в жилетку. Об этом проведали трое арестантов и подкараулили его однажды в коридоре, при выходе из ретирадного места. Они кинулись на него, двое схватили за руки, третий — сорвал жилетку и затем, давши ему тумака в голову, от которого тот упал без чувств, грабители успели скрыть жилетку. Все это делается на глазах приставников и ко-

ридорных, которых ни в грош не ставят арестанты и которые, состоя частенько в общей дележке, находят, что такая кража весьма даже законное явление, «потому не бери с собой много денег, коли начальство запретило». Ну, опытные арестанты и точно не берут, а не то прячут так ловко и осторожно, чтоб уж никто не догадался.

[^^^]

На каждое отделение полагается по одному приставнику, который играет роль гувернера при арестантах: присутствует при их обеде, два раза в сутки ходит в лавочку за припасами для желающих; выгоняет на работу, наблюдает в рекреационное время, на прогулке по садикам, по средам и пятницам сопровождает в контору желающих писать о себе прошения. У него есть два помощника: коридорный и подчасок, обязанность которых главнейшим образом заключается в том, чтобы во время обходов начальства двери в камерах, ради порядка, были заперты на ключ. Во внутреннем управлении арестантов искони ведется выборное начало. Большинством голосов на каждое отделение выбирается староста, а в каждой камере дневальный и поддневальный. На работу они не ходят, зато обязаны принимать на свое попечение «новичков», получают белье на всю камеру, ходят за хлебом, принимают со старостой подаяние, каждый день подметают у себя пол, а по субботам моют его. Обязанность старосты до-

вольно мудреная: он — судья и вершитель междоусобных недоразумений и споров, ответчик перед начальством за дух своего отделения и за разные происшествия, проступки и т. п. Ему нужно потрафлять и на начальство, и на арестантов, чтобы и те и другие были довольны, по пословице: «Волки сыты, и овцы целы».

[^^^]

Это показывает, как сильна у арестантов потребность к чтению и вообще к умственной деятельности. Между прочим, надо заметить, что арестанты очень любят стихи читать. Я знаю нескольких, которые говорили мне на память стихотворения некоторых современных поэтов, а один валял даже в прозе целый отрывок из «Мертвого дома» Ф. Достоевского.

Замечательно еще то, что предпочитают стихи не юмористические, которыми так богаты нынешние сатирические листки, а сентиментальные, чувствительные, элегические или же такие, где говорится про горе людское, страдания, неволю; особенно в ходу у них Лермонтов, Кольцов, Никитин, Некрасов, Полежаев, наравне с их собственными тюремными произведениями. Преимущественно же литература и потребность чтения развита на четвертом и третьем этажах. Это даже может заметить каждый случайный наблюдатель: стоит только, для сравнения, хотя раз обойти все отделения замка. А между тем тюремной библиотеки не имеется, да едва ли и думает

кто об этом, кроме священника, снабжающего книгами духовно-нравственного содержания.

[^^^]

Баварский подданный *(нем.)*. — *Ред.*

[^^^]

289

На выседках — на тюремном арго значит заключение на известный срок, по приговору суда.

[^^^]

290

Прозвание, данное помощнику фельдфебеля тюремной команды, которое вошло в тюремный арго как общее нарицательное имя для служителя, исполняющего обязанности главного привратника.

[^^^]

291

Рукопись эта называется «Домом позора». О ней несколько говорится впоследствии в самом тексте романа.

[^^^]

Этим прозванием окрестили арестанты похлебку из овсяной крупы с картофелем, которая введена была предварительно на женском отделении и которую заключенники весьма не одобряют. Распределение блюд на неделю таково: понедельник — щи, вторник — потемчиха, среда, постный день, — горох и т. д., а в воскресенье — щи да каша и то, впрочем, не всегда, а смотря по обилию приношений, которые делаются иногда и припасами.

[^^^]

293

Хлеб через дневальных получается отдельно на каждую камеру дневными порциями, по два с половиной фунта на человека.

[^^^]

Это один из арестантских обычаев: берется складной ножик, а за неимением его ложка, и погружается в бак со щами. Это — лотерея на кусок говядины, которая попадается не в особенном изобилии, а иногда и вовсе не обретается в баке. Ловят на счастье, и потому каждый погружает ножик или ложку только по разу, причем остальные семь человек наблюдают, чтобы «ловитель» не старался выискивать мясо, а в какое место погрузил, с того непосредственно и вынимай наружу.

[^^^]

295

Так заключенные и ссыльные называют гарнизонных и этапных солдат.

[^^^]

«Прощание» *(англ.). — Ред.*

[^^^]

Вот эти три арестантские песни:

ПЕСНЯ ПРО ЛАНЦОВА

Звонит звонок — на счет сбирайся!
Ланцов задумал убежать.
Не став зари он дожидаться,
Поспешно печку стал ломать.
В трубу он тесную пробрался
И на церковный на чердак;
По стенке тихо прокрадался
На стариковский банный двор,
Пришлось на разум распроститься.
Последний раз взглянуть на двор.
Прощай ты, главная абвахта!
Прощай, губернский коридор!
Трубу обвязывал, сам трясся —
С ограды страсть было смотреть.
Перекрестился, стал спущаться
Солдат увидел, закричал.
В казармах сделалась тревога.
На вахте пробил барабан.
В частях давно было известно:

Ланцов из замку убежал.
Казак на серыем на коне
С конвертом к князю поскакал,
И он бежал до самых парок (?),
Потом и скрылся в темный лес.
Три года он по воле шлялся —
Что пил, что ел он, что хотел:
С п<...> д<...> он связался,
Через нее опять попал.
П<...> д<...> доказала —
Ланцова взяли во полночь.
Тут руки-ноги заковали,
Потом отправили в острог —
Тут делать нечего Ланцову,
Давай секреты открывать:
В семи душах он повинился,
Потом под следствие попал;
Недолго следствие ходило —
И скоро выслушал указ.

В хору арестанты поют ее обыкновенно до слов: «Ланцов из замку убежал», а в одиночку — все до конца. Ланцов, молодой человек, по преданию, был писарь Кавалергардского полка и сложил эту песню про свой побег из Московского замка. Эту тюремную эпопею доводилось мне слышать и «на воле» от «жоржей», которых научили, конечно, «сиделые».

Она довольно-таки распространена в этой касте общества.

Вторая песня более всех популярна и давно уже прошла даже в народ; заключенники называют ее «арестантскою». Вот она:

Сидит ворон на березе,
Кричит воин про войну.
Запропал бедный мальчишка
В чужой дальней стороне.
Ты зачем, зачем, мальчишка,
Своей родины бежал?
Никого ты не спросился,
Кроме сердца своего.
Жил мальчишка, веселился,
Как имел свой капитал.
Капиталу я решился —
Во неволю жить попал.
Трудно, трудно жить в неволе.
Да кто знает про нее?
(Вариант: Хороша она, неволя,
Кто не знает про нее.)
Нас не видно за стенами,
Каково мы здесь живем,
Бог, творец небесный, с нами —
Мы и здесь не пропадем.

Одни оканчивают песню на этом стихе, а

иные поют и далее:

Свет небесный только воссияет,
Поутру рано встаем;
Коридорный двери отворяет.
Писарь с требованьем идет,
Всех по имени называет,
По местам назначает.

Третья песня — байроновское «Farewell», основанием ее послужил перевод Ивана Козлова. Называется она:

ДУШЕВНАЯ

Последний день красы моей
Украсил Божий свет.
Увижу море, небеса,
А родины уж нет.
Отцовский дом спокинул я —
Травою заращен;
Собачка верная моя
Залает у ворот.
На кровле филин прокричал —
Раздайся по лесам!
Заноет сердце, загрустит —
Не будет меня там,
Ах, в той стране, стране родной,
В которой я рожен,

Терплю мученья без вины,
Навеки осужден.
Малютки спросят про меня
Расплачется жена,
Потом и вся семья.
Судьба несчастная моя
К разлуке привела —
И разлучила молодца
Чужая сторона.

«Голос, которым ее поют — протяжный, грустный, заунывный, прежалостный голос, ровно что жизнь наша» — так комментировал эту песню передавший мне ее арестант.

Кроме этих трех, по преимуществу тюремных, песен, поют еще лермонтовские: «По синим волнам океана», «Отворите мне темницу», «Спи, младенец мой прекрасный» и двусмысленную песенку, изделие московских грачихинских погребков: «Что ты, черен ворон, вьешься над моей головой». Вообще арестанты очень любят пение; а летом, когда окна растворены и в них долетают мотивы бродящих по соседним домам музыкантов или марш проходящих солдат, арестанты чутко и с удовольствием начинают прислушиваться, часто бросая все, чем бы до той минуты ни за-

нимались. Звуки, по-видимому, влияют на них очень мягко и благотворно.

[^^^]

298

Одна из арестантских поговорок.

[^^^]

299

Голодной называется у арестантов уголовная палата.

[^^^]

300

Отпущен с нашим почтением — на байковом языке мошенников значит: оставлен в подозрении; с нижайшим почтением — в сильном подозрении.

[^^^]

301

Гривенник.

[^^^]

302

Полтинник. Все это — технические термины игры, обозначающие возвышение ее.

[^^^]

303

Собака.

[^^^]

Мишка Разломай и «дворянский повар» татарин Бабай были тюремные ростовщики и снабдители запретным плодом. У мошенников даже до сих пор осталась поговорка «К Бабаю на блины», что равносильно выражению «к дяде на поруки». Нельзя сильно обвинять эа это арестантов. Водка в тюрьме очень дорога сравнительно со средствами, и ночное пьянство развито в весьма почтенном количестве, собственно, потому, что вино — плод запретный. Между тем рюмка водки перед обедом для большей половины составляет органическую потребность; точно так же и табак, который при настоящих гигиенических условиях нашей тюрьмы был бы даже до известной степени полезен как противоскорбутное средство. Иные арестанты говорили, что, если бы в замке была допущена свободная продажа вина от маркитанта, в умеренном количестве и даже под официальным надзором, пьянство значительно уменьшилось бы сравнительно с нынешним — «потому иной нарочно оттого и напивается, что за-

прещено».

[^^^]

305

Полицейские.

[^^^]

306

Ассигнации.

[^^^]

307

Трехрублевые и пятирублевые.

[^^^]

Арестанты уверяют и искренно божатся, что сами слышали, как над четвертым этажом, на чердаке, каждый раз около полуночи начинается шум и возня. Отчего этот шум — неизвестно. Арестанты говорят, что домовой ходит.

[^^^]

309

Маленький острый ножик.

[^^^]

310

Мы, ради удобства читателя, поневоле принуждены повторять объяснения некоторых слов, уже прежде нами приведенных. Клей — ворованные вещи.

[^^^]

Далее эта сказка варьируется следующим образом.

После того как Тараска привел попову корову, барин ему и говорит: «А украдешь ли у меня серебро со стола за обедом?» А Тараска отвечает: «Беспременно украду». — «Ладно, коли украдешь — молодец, не украдешь — в солдаты!» На другой день в барском доме много было гостей. Тараска суетился на кухне, обед готовил, а сам промежду тем нужного человечка для себя изготовил. Вымазал его медом, вывалял в пуху да в пере птичьем и велел ему залезть в трубу и исполнять все так, как он ему прикажет. Вот садятся гости обедать, садится и настоятель, тот самый, что шубу свою праведно присудил. А сел он насупротив камина, где в трубе-то человек Тараскин залезши. Вот, только после кулебяки благословенной из камина и выгляни чучела. Настоятель-то и заметь. Через мало времени чучела опять оттуда перье свое кажет да языком настоятеля дразнит. Настоятель перекрестился и думает себе: «Уж не удостоился ли,

мол, я Господу, что сподобился нечистую силу видеть?» Не успел он еще и до конца это додумать, как чучела выскочила из камина да и ну бегать вокруг стола! Дамы все: «ах, ах!», господа все: «страх, страх!», иные в обморок попадали. Хозяин схватил пистолет и побег за чучелой, а за ним и все остальные. Но чучела успела скрыться, а Тараска тем часом все серебро смахнул со стола — и прав. Приходит хозяин с гостями в столовую, обед доедать — глядь — ан чисто! Позвал барин Тараску; а тот ему: «Честь, мол, имею рекомендоваться по вашему приказу барскому строжающее сполнено!» — «Где же серебро?» — спрашивает барин. «Да продал». — «А деньги где?» — «Да пропил». Ну, делать нечего, ответ короток. Зовет опять к себе барин Тараску: «Укради ты у меня шкатулку с деньгами, и тогда она твоя, и отпущу я тебя на волю: а не сумеешь украсть, тогда запорю до смерти и сдам в солдаты». — «Рады стараться!» — говорит Тараска и пошел в свое место. Барин ходит, руки потирает: «Теперь-то я тебя сцапаю», — думает. Пришла пора спать ложиться, взял он шкатулку с деньгами и — в спальню. В спаль-

не жена его започивала уже; разбудил, совета спрашивает, где лучше спрятать. «Давай ее ко мне, у меня не отыщет». Ну и отдал он, а сам подле нее лег, и положил на стол пистолеты вместе с саблею, и не спит — дожидается ночных приключеньев. Тараска меж тем ободрал барана и сделал из него чучелу, потом налил кровью бутылку, а товарища своего, дядю жоха, одел в исправницкое платье, после чего, в половине ночи, отправились они к барскому дому. Дело было летнее, окно раскрытое — Тараска и ну потихоньку в окно баранью чучелу казать. Барин взял саблю, подкрался к косяку: «Ишь ты, чертово рыло, думает, бараном вырядиться вздумал! Нет, брат, теперь не надуешь, покажись только — так и хвачу по башке, чтобы разлетелась вдребезги; этим, по крайности, думает, отделаюсь от тебя». Только что показалась затем чучела, барин его трах саблей по голове! за чем последовал страшный стон. «Что такое случилось?» — закричал дядя жох, в исправницком платье, и подошел к окну: «Послушайте, мол, под вашим окном человека убили, а вы помочь оказать не хотите? Не угодно ли вам пожаловать

сюда?» Нечего делать, надо барину выйти на улицу. Видит полицию, видит чучелу: верх бараний, низ человечий — ну и думает — взаправду человека зарубил, а дядя жох крови-то из бутылки порядком и на землю, и на башку баранью полил. Перепугался барин, что и отвечать не знает. «Ступайте в земскую избу, — говорит жох, — приготовьте все, чтобы показанья делать да акт составить, а я за понятыми пойду в деревню». А Тараска тем часом пробрался в дом, одел в кабинете баринов халат, да и в спальню. Ночь — известное дело — темно, он и ну шепотом успокаивать барыню: «Ничего-де, душенька, не бойся». Сам ласкает ее да целует, а сам спрашивает: «Подай мне шкатулку, теперь уж вор Тараска не украдет». Барыня, намиловавшись-то вволю, и отдала. Тараска ей и говорит: «Я пойду, душенька, в кабинет отнесу ее». — «Ступай, душенька, да приходи скорее, а то мне скучно одной». Тараска тем часом халат за дверью долой; да через окно к себе на кухню! И, спрятамши шкатулку, завалился себе спать как ни в чем не бывало. Барину меж тем наскучило ждать, потому, видит — никто не идет: «Дай схожу

посмотрю, цела ли шкатулка?» Приходит. «Где, душенька, шкатулка?» — «Да ты же взял ее, душенька, намиловавшись со мною». — «Ах я, старый баран! — схватился тут барин за голову. — Так этот распротоканальский вор Тараска украл у меня и шкатулку с деньгами, да ему же, вору Тараске, на придачу пошли и женкины ласки! Важно!..» Видит барин, что ничего не поделаешь: наградил Тараску — только молчи, значит, — и отпустил его на волю. С тех пор Тараска вольным вором слывет.

[^^^]

312

Курносая — смерть.

[^^^]

313

Гайтан — тесьма, на которой висит нательный крест или нательная киса с деньгами.

[^^^]

314

Вариант: «Когда священник воротился, то на том самом месте увидел большущее озеро воды, и на тыем озере плавает столик, на столике лежит та самая книга — требник, в которой, на раскрытой странице, напечатано огненными словами» и т. д.

[^^^]

315

Жиган — сибирское прозвание каторжников.

[^^^]

Бугры — Уральские горы и горы вообще. Сгореть в бугры — уйти в Сибирь. Савотейки — сибирские булки. Стрелять савотеек — отправиться в бега по Сибири. Стрелец савотейный или савотейник — беглый сибирский бродяга.

[^^^]

317

Куклим четырехугольный губернии — бродяга, не помнящий родства.

[^^^]

318

Озеро Байкал известно у сибиряков, и особенно у ссыльных, под именем моря.

[^^^]

319

Отабуниться — собраться в кучу.

[^^^]

320

Двадцать шесть! — предостерегательное восклицание тюремного арго, то же самое, что у «вольных» мошенников «стрема!» — берегись.

[^^^]

Вот перечень тюремных игр:

а) Киршин портрет. Новичка спрашивают: «Хочешь Киршин портрет поглядеть?» — «Хочу». — «Ну ладно, повыдь на минуту за двери». Новичок выходит, а в это время арестанты вымазывают в трубе сажею новичку шапку и подкарауливают у двери его возвращение. При входе внезапно марают шапкой лицо и подводят к зеркальцу: «Смотри, мол, вот он, Киршин портрет!» Новичок ругается, остальные смеются. Это самая невинная и самая мягкая из арестантских игр.

б) Присяга на верноподданство по замку.

в) Пальто шить — две игры до того циничные, что нет ни малейшей возможности передать их печатно.

г) Покойника отпевать.

д) Колокол лить.

е) На оленях прокатить. Становятся два человека плотно друг к другу спиною и около пояса связывают себя полотенцем, потом каждый наклоняется в свою сторону. Их накрывают одеялом, и — олени готовы. Старые

арестанты садятся на них поочередно и катаются по камере. Доходит очередь до новичка, но чуть сядет он на оленей — связанные арестанты выпрямляются и начинают жать его как словно в тисках, а остальные начинают избивать его жгутами.

ж) Голоса слушать. Каждый становится на свою койку и начинает издавать музыкальные ноты. Очередь доходит до новичка — его схватывают, дерут за уши и за волосы, бьют и пинают, и когда он начнет кричать, арестанты говорят, что у него голос лучше всех. «Так лихо поешь, что всем подольше послушать хочется». И бьют, покуда не натешатся. Арестанты до тех пор не успокаиваются в отношении нового своего сочлена, пока не проделают над ним все вышеназванные игры. Это как бы своего рода искус: «Арестантские мытарства пусть каждый пройдет сперва, а потому уж будь ты нам друг и товарищ».

з) Игра в жгуты — общая арестантская. Один садится на койку и кладет себе подушку на колени. Остальные кидают «жеребья». Кому вынется последнему, тот наклоняет голову в подушку, а прочие становятся вокруг со

жгутами. Кто-нибудь ударяет «уткнутого» по спине, уткнутый должен отгадать — кто. Коли попал — угаданный становится на его место, а не попал — оставайся до тех пор под жгутами, пока не угадаешь ударившего.

Таков характер всех тюремных арестантских игр.

[^^^]

322

Почеши ногу — на тюремном арго почти то же, что на байковом «труба», а на обыкновенном русском — выражение: как же, дожидайся! Дудки! не хочешь ли чего послаще! и т. п.

[^^^]

323

Впоследствии в отдельных, самостоятельных статьях автор надеется гораздо ближе и основательнее познакомить читателя как с воровским языком, так и с тюремной литературой, причем главную роль будет играть интересная рукопись «Дом позора».

[^^^]

324

Без глаз ходить — без паспорта; темный глаз — фальшивый паспорт.

[^^^]

325

Дело чести *(фр.). — Ред.*

[^^^]

326

Какое страшное несчастье, какая ужасная катастрофа! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

Полусветский *(фр.). — Ред.*

[^^^]

328

А скажите, она красивая? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

329

Каков тип ее красоты, блондинка или брюнетка? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

330

Ночные зимние извозчики из чухон — так окрестила их своя же братья, извозчики православные, у которых это слово, направленное против товарища по ремеслу, получает смысл брани весьма презрительного и оскорбительного свойства.

[^^^]

331

Я — благородная дама, сударь!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

332

Полиция *(фр.). — Ред.*

[^^^]

333

Господин Катцель *(нем.). — Ред.*

[^^^]

334

Во имя неба! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

335

Серенькая — кредитный билет в пятьдесят рублей.

[^^^]

336

Синяга — кредитный билет в пять рублей.

[^^^]

337

Радужная — кредитный билет в сто рублей.

[^^^]

«Отойди, проходи далее!» Если какая-либо мошенническая операция производится на улице или во дворе или же вообще в таком месте, где один сообщник может подойти к другому и пройти мимо него как посторонний человек, то в этих случаях употребляется особенный лозунг, и употребляется он преимущественно тогда, когда надо узнать, каково подвигается дело в начале: хорошо ли, удачно ли идет оно, или же предвидится опасность? Лозунгом обыкновенно служит как будто безотносительно сказанное замечание о погоде, смотря по времени и обстоятельствам. Слово погода, сказанное одним, непременно вызывает подходящий ответ другого. Таким образом, если в ответ на «погоду» скажется серо, то это означает, что пока еще неизвестно, как пойдет дело. Мокро и вода выражают полную опасность. Снег и дождь, смотря по времени года, служат лозунгом не опасности, но неудачи, а ясно — показывает совершенно противное. Иногда же и погода служит ответом на погоду, сказанную проходящим и осведомля-

ющимся сообщником, и в этом последнем случае, смотря по тону, каким была произнесена «погода», она служит ответом на удачу или неудачу дела.

[^^^]

339

Кафешантан *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Так, между прочим, называют мошенники дом князя Вяземского.

[^^^]

341

Так обыкновенно называется на воровском argot водка или вино, в которое мошенники подмешивают дурман для бесчувственного и скорейшего опоения избранной жертвы.

[^^^]

342

Идти на темную — покуситься на убийство и преимущественно на удушение; для этого последнего рода насильственной смерти существует, впрочем, еще более специальный термин: «накрыть темную», что особенно употребляется в тех случаях, когда человеку, избранному для удушения, накладывается на лицо и голову какая-нибудь вещь, вроде платка, подушки, шинели, одеяла и т. п., сквозь которую производится самое смертоубийство.

[^^^]

343

Пальцами за горло. Взять на храпок — термин, означающий особенный род удушения, который подробно уже описан в третьей части настоящего романа, в примечании к главе «Голову на рукомойник».

[^^^]

344

Мякоть — подушка, дыхало — рот и ноздри.

[^^^]

345

Удерем, скроемся.

[^^^]

346

Оказать нижайшую благодарность или отпустить с нижайшим почтением — значит оставить преступника, по суду и следствию, в сильнейшем подозрении.

[^^^]

347

Потемный или потемненный — убитый и, преимущественно, задушенный.

[^^^]

348

Старший вор, заправляющий делом.

[^^^]

349

Дележ добычи.

[^^^]

350

Рыжая Сара — золото, империалы; финажки — ассигнации.

[^^^]

351

Ассигнации барские, то есть собственно господские или дворянские деньги.

[^^^]

352

Краля — благородная дама.

[^^^]

353

За такое дело.

[^^^]

354

Клюй, ключай — следственный пристав.

[^^^]

Якобы *(лат.). — Ред.*

[^^^]

Мошенники высшей и средней руки, для большей безопасности и отвода глаз полиции, обыкновенно стараются иметь по нескольку квартир в разных частях города и на имя разных лиц: жены или любовницы или на свое собственное, которое в одной части является настоящим, а в другой, случается, и благоприобретенным, по чужому, краденому или хорошему фальшивому виду. Во всяком случае, они стараются иметь не менее двух квартир. Мошенники же мелкой руки по большей части перекочевывают с места на место по «ночлежным».

[^^^]

357

Проюрдонить — промотать, прокутить, спустить.

[^^^]

358

Сто.

[^^^]

359

Калыман — прибавка; употребляется также в барышничьем argot Конной площади в равносильном значении сламу, то есть доли добычи.

[^^^]

360

Кафи — копейка.

[^^^]

361

Двадцать пять.

[^^^]

362

Скипидарцем попахивает — выражение, означающее подозрение на человека в каком-либо потайном деле или намерении.

[^^^]

363

Так, между прочим, мошенники называют приговоренных к ссылке в Сибирь и в каторгу. Мотивом этого юмористического прозвища послужил желтый четырехугольник, в виде бубнового туза, на спине суконной одежды ссыльно-каторжных арестантов.

[^^^]

364

Искренняя исповедь старого аббата... *(фр.)* — *Ред.*

[^^^]

365

Уже готово! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

Государственный переворот *(фр.). — Ред.*

[^^^]

367

Головоломный прыжок, отчаянный шаг *(ит.). — Ред.*

[^^^]

Немного *(нем.). — Ред.*

[^^^]

С его женою *(нем.). — Ред.*

[^^^]

370

Так, мой драгоценный, так! Правильно! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

Бог *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Государство в государстве *(лат.). — Ред.*

[^^^]

373

Ребятницами женский тюремный argot называет матерей, при которых находятся в тюрьме их дети, от грудного и до трехлетнего возраста. Ребятницы обыкновенно содержатся в особой лазаретной камере.

[^^^]

374

Это факт. Особа, имя которой мы не назовем, но история которой в точности рассказана устами арестантки, так как сами слышали ее, уже два года сослана в Сибирь. Этот факт весьма красноречиво показывает, какие понятия господствуют у нас в области судебной медицины и особенно психиатрии. Впрочем, что ж, еще недавно ведь одни из наших мудрецов совсем отвергли однопредметное помешательство.

[^^^]

375

«Я здесь вполне счастлива, вполне счастлива, мой господин!» *(нем.) — Ред.*

[^^^]

376

Татебные, или «тяжкие», преступницы не ходят обедать в общую столовую.

[^^^]

Старостихи выбираются так же, как у арестантов этажные старосты, и обязанности их почти одинаковы. Когда выбор сделан, то на старостиху одевается белый передник, который, по положению, только ей одной присвоен — другие же не имеют права носить его, и этот передник служит для арестантов в некотором роде символом того, что старостиха, в качестве ответчицы перед начальством за состояние своей камеры и в качестве старшей между арестантками, должна быть стоятельницей за их нужды и интересы. Поэтому они и ее белый передник называют «присягой», а самое надевание его при выборе в старостихи — «подвязыванием присяги»: «Давайте, мол, ей присягу подвязывать». Полагается в нашей тюрьме обыкновенно четыре старостихи — по одной на камеру; они получают пятьдесят копеек в месяц казенного жалованья и обедают отдельно, вместе с «благородными» арестантками.

[^^^]

378

На женском отделении, которое снабжается книгами через своих благотворительниц, находятся книги исключительно религиозные да духовно-нравственного содержания. Все же остальное не допускается.

[^^^]

379

Рука.

[^^^]

380

Уголовная палата.

[^^^]

381

В сильном подозрении оставят.

[^^^]

382

Барин — товарищ.

[^^^]

Из числа подобных филантропок справедливость требует, однако, выгородить одну почтенную и весьма уважаемую особу, которой наша тюрьма действительно обязана многими существенными улучшениями. Один уже приют для детей заключенных, который дает теперь им возможность безбедно существовать и воспитываться под одной кровлей с отцом или матерью, устраняя от всех вредных влияний тюрьмы, — один этот приют, говорим мы, достаточно свидетельствует о бескорыстном и христианском служении этой особы нравственным и материальным нуждам заключенников. И если вместе с этою почтенной особой мы выгородим еще пять-шесть столь же достойных лиц, то тем разительней выйдет контраст с остальными представительницами нашей светской филантропии.

[^^^]

Мотив этот заимствован из лично слышанных нами рассказов арестантов и основан на замечательной арестантской рукописи «Дом позора», о которой мы уже сообщали читателю. В этой рукописи есть, между прочим, глава под названием «Гонение к спасению». Начинается она следующими стихами:

В церковь гонит нас приставник,
И молиться он велит
Богу. Этакой забавник!
Хоть еврея притащит.
За решетку и на хоры
Нас, несчастных, притащат:
«Ну, молитеся вы, воры!» —
Так солдаты говорят.
Все стоят по отделеньям,
Тут и женский есть отдел.
Всяк разряд по преступленьям —
И за множество тут дел.

За версификацию — уж не взыщите! Тут важно дело, а не стихи. Но особенно интересно примечание, которое автор-арестант делает под этими стихами. Насколько оно спра-

ведливо, пусть отвечает рукопись. И относится ли оно к настоящему или только к прошедшему — не можем решить. Вот что говорит он:

«Еще есть обязанность у приставника. Эта обязанность состоит в том, чтобы выгонять в церковь более арестантов — и как можно более. И он старается изо всех сил, он готов выгнать и евреев, и татар, и поляков, и немцев, и всех — чтобы только угодить воле тюремного начальства. И тюремное начальство старается всеми силами выгонять арестованных в церковь. И посмотрите: их гонят как овец — гонят молиться Богу, где нужно быть с чистым сердцем и спокойною мыслию и оставить все земные помыслы. Тут нужна добрая воля, а не палка. Тут, вместо молитвы, слышатся проклятия, богохульство, матерные слова. Проклинают все тюремное начальство, проклинают неволю; и невольно услышишь хулу на нашу святую церковь. Хорошо: приходят они в церковь, и шепотом слышатся те же гадкие слова. Кто же за все это будет отвечать перед Богом? Сами ли арестованные или благочестивое тюремное начальство? Это рассу-

дит один Бог. А ведь между ними есть такие, которые сами добровольно ходят, с чистым сердцем, молиться Богу. Ну, так посудите, после того пойдет ли молитва на ум?»

Тон этого арестантского рассуждения слишком очевидно непосредственен и звучит неподдельной искренностью и благочестивым негодованием для того, чтобы заподозрить в нем какую-либо умышленную ложь, напраслину, клевету, — тем более что самое сочинение «Дом позора» никогда не предполагалось ни для печати, ни для благоусмотрения тех, «кому ведать надлежит», а просто писалось, потому что арестанту душу свою хотелося как-нибудь вылить, и предполагалось исключительно для негласного обращения в среде самих же тюремных заключенников.

[^^^]

385

Ах, как он религиозен, этот бедный заключенный, как он плачет, как он страдает! *(фр.)* — *Ред.*

[^^^]

386

Но он безумен, этот несчастный! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

387

Известный арестант, «многократный» убийца, про которого даже песня тюремная сложена. Эта песня уже известна читателю.

[^^^]

Между бывалыми преступниками действительно есть такое поверье. Мне доводилось слышать о нем, и даже я знаю один уголовный факт, где именно это поверье, вызвавшее страстное искание фармазонских денег, послужило мотивом целого преступления.

[^^^]

Мы привели это странное поверье так, как сами слышали его от арестанта, не изменяя в нем ровно ничего. Оно отчасти сходится с народным нашим поверьем о неразменном рубле (см. «Сказания русского народа» — Сахарова, том I, отдел «Чернокнижие», с. 55, изд. 3-е, 1841). В поверье о фармазоновских деньгах, быть может, невольно отразился гнет той нищеты, беспомощной и безысходной, которая наконец дошла до мрачных мечтаний о безусловном благополучии и спокойной жизни, которых возможно достигнуть либо через тяжкое преступление, либо через запродажу черту души своей. Странное дело: существует у нас общая мысль, даже отчасти в виде пословицы, что «на Руси с голоду еще никто не умирал», и в то же время существует подобное поверье.

[^^^]

390

Завсегдатаи *(фр.). — Ред.*

[^^^]

391

Помни о смерти *(лат.). — Ред.*

[^^^]

Якобы *(лат.). — Ред.*

[^^^]

393

Речь определенных социально замкнутых групп *(фр.). — Ред.*

[^^^]

394

Достукаться — дожить.

[^^^]

395

Трекать — производить нарочно давку в толпе, чтоб удобнее воровать; граблюха — рука, ширман — карман.

[^^^]

396

Последователей хлыстовской секты в народе называют лядами и сладкоедушками — последнее на том основании, что они любят есть сладкое и особенно мед.

[^^^]

Фактически *(лат.). — Ред.*

[^^^]

398

С самого начала *(лат.; буквально — от яйца). — Ред.*

[^^^]

399

Женская вечерняя (бальная) накидка *(фр.). — Ред.*

[^^^]

400

Убирайся прочь, мошенник! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

401

Господин *(нем.). — Ред.*

[^^^]

402

Извините *(фр.). — Ред.*

[^^^]

403

К праотцам *(лат.). — Ред.*

[^^^]

404

Маруха — женщина. Марушка — уменьшительное и отчасти ласкательное изменение того же слова, что-то вроде молодки или бабенки.

[^^^]

405

«Дом позора». Глава под названием «Распре-
горькая жизнь».

[^^^]

406

Барин — товарищ.

[^^^]

407

Бирка — вид, паспорт.

[^^^]

408

Липовый глаз — поддельный паспорт.

[^^^]

409

Картинка, равно как и бирка, — письменный вид вообще.

[^^^]

410

Гопать — шататься бесприютно по улицам, где ни попало; влопаться — попасться.

[^^^]

411

Затынить — спрятать, скрыть, заслонить.

[^^^]

412

Накидалище — верхняя одежда, шинель, плащ и т. п., голуби — белье.

[^^^]

413

Шифтан — кафтан, сибирка или что-нибудь вроде пальтишка.

[^^^]

414

Ухлить — глазеть; хрять — уходить, удирать; домовуха — дом, квартира; мокро — опасно.

[^^^]

Хрястать — есть; хрястанье — еда, пища, кушанье; кановка или канка — водка; скипидариться — быть в подозрении, рисковать, попасться, находиться в опасности; зеньки — глаза.

[^^^]

416

Захороводить — подговорить, принять в сообщество.

[^^^]

417

Затемнить — лишить жизни, убить.

[^^^]

418

Селитра — солдат, и преимущественно так называются солдаты этапных команд, конвоирующие преступников.

[^^^]

419

Чужие глаза не увидят, не заметят.

[^^^]

420

Верховною страною своей хлысты называют город Кострому.

[^^^]

Союз и общество *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Певческое общество *(нем.). — Ред.*

[^^^]

423

По закону *(лат.). — Ред.*

[^^^]

424

Фактически *(лат.). — Ред.*

[^^^]

Немецкая Россия *(нем.). — Ред.*

[^^^]

426

Страна трихин *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Озорник, плут *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Хладнокровие *(нем.). — Ред.*

[^^^]

429

Каткова и всех этих русских свиней *(нем.)*. — *Ред.*

[^^^]

430

У своей дорогой куколки *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Небесной любви *(нем.)*. — *Ред.*

[^^^]

Молочный суп *(нем.). — Ред.*

[^^^]

433

Овсяный суп *(нем.). — Ред.*

[^^^]

434

Что вам здесь нужно, Карл Иванович? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

435

Картофельный суп и жаркое из телячьих ребер с изюмом и миндалем *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Блинчики *(нем.). — Ред.*

[^^^]

437

«Тиф» *(лат.). — Ред.*

[^^^]

438

Садитесь! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

439

По образцу детских *(фр.). — Ред.*

[^^^]

440

Дела еще не так плохи, как вы думаете *(фр.). — Ред.*

[^^^]

441

Владимир, ради Бога, молчи! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

442

О! Старый колпак! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

443

О! Проклятие!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

444

Бывшей *(фр.). — Ред.*

[^^^]

445

О, какой негодяй! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

446

Навязчивая идея *(фр.). — Ред.*

[^^^]

447

Свидание глазу на глаз *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Усиливаясь *(ит.). — Ред.*

[^^^]

449

Итак, следовательно *(лат.). — Ред.*

[^^^]

450

Таировский переулок, где находится весьма знаменитый в трущобном мире дом Дероберти, почти сплошь населенный подобными париями женского пола.

[^^^]

В настоящее время уничтожены благодаря некоторым мерам местной полиции и комитета общественного здравия. И вообще весь дом с 1864 года наружно несколько реставрировался, но внутренняя сущность во многом еще осталась почти та же самая. Мы описываем весьма недавнее прошлое, которое во многих чертах и подробностях своих едва ли даже перестало быть настоящим; по крайней мере значение этого дома для темного трущобного люда остается неизменно все тем же.

[^^^]

452

Канька, каника — копейка, трешка — три копейки, пискалик — пятак.

[^^^]

453

Клей — в смысле воровского дела.

[^^^]

454

Проюрдонить — прокутить, промотать.

[^^^]

455

Будто бы *(лат.). — Ред.*

[^^^]

456

«Все свое ношу с собою» — изречение греческого мудреца Биаса. Смысл его: внутренние достоинства человека не могут быть у него отняты.

[^^^]

457

Боже мой, как я хочу пить!.. Как я хочу пить!.. и как я голодна! Но... никто не дал мне ни копейки сегодня! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

458

Слам юрдонит — добычу прогуливает.

[^^^]

459

Трешка — три копейки.

[^^^]

460

Ошмалаш — ощупка.

[^^^]

461

Лопатошник — бумажник.

[^^^]

462

Стыренное — украденное.

[^^^]

463

Хороводный — принадлежащий к какой-нибудь из известных мошеннических ассоциаций.

[^^^]

464

С ветру — пришлый неведомо откуда и занимающийся воровством в одиночку.

[^^^]

465

Ошмалаш — ощупка.

[^^^]

466

Обмишулиться — то же, что и влопаться, вваливаться, то есть попасться в воровстве. Потеть — сидеть в части.

[^^^]

467

Яман — плохо, нехорошо, дрянь-дело.

[^^^]

468

На допросе у квартального надзирателя выболтал.

[^^^]

Особого рода уловка является обычным способом петербургских мошенников для выручки своих юных товарищей и учеников, попавшихся на воровстве и угодивших в арестантскую частного дома. В то время как жулик (ученик), действовавший в толпе, под руководством маза (учителя), попался благодаря своей неловкости, ментор зорко следит за ним, не подавая, однако, ни малейшего подозрения, будто между ними может быть какое-либо сообщничество. Маз первый же начинает кричать, что мазурика поймали, и волнуется и негодует на то, что много развелось таких негодяев, прибавляя, как вполне честный и добропорядочный человек, что поделом вору и мука и как хорошо, что его поймали. Он обыкновенно с энергической жестикуляцией, с жаром начинает красноречиво и выразительно повествовать о том, как все происшедшее случилось на его глазах, как он был свидетелем и даже первый закричал «держите вора» — только схватить, вишь, не удалось, потому больно прыток... Повествова-

теля обыкновенно окружает досужая толпа, в которой в это же самое время приспешники маза благополучно поворовывают под аккомпанемент красноречивого повествования. Один из приспешников-жоржей, между тем как только полиция успела схватить юного жулика, тотчас же отделяется от толпы и зорко следит издали, куда поведут его. Ведут обыкновенно в квартал, а потом в часть. Узнав таким образом о месте пребывания ученика, ментор испивает для «духа», то есть для запаху, для букета, косушку водки и вечером, изображая из себя бесчувственно пьяного, валится на тротуар где-нибудь поблизости частного дома. Его подбирают — и в общую арестантскую, пока проспится. Ночью, сойдясь с учеником, маз очень подробно и всесторонне научает его, что именно следует показывать на все вопросы частного или следственного пристава, как отпереться от первичного показания, если таковое было уже неосторожно дано, и пр. Жулик неуклонно следует на другое утро лекции своего ментора, а ментор в качестве взятого за пьянство отрабатывает в части казенную работу, вроде

мытья полов в арестантских, пилки дров и качанья воды в течение трех суток, по истечении которых и выпускается на свободу, то есть отсылается для этого выпуска в ту часть, в которой показал себя проживающим. Мальчонка-жулик заперся в своем воровстве: улик положительных, неопровержимых против него, по большей части, не находится, и поэтому он отпрашивается на поруки, показывая, что его может взять на свое поручительство родственник. Этим же родственником обыкновенно является маз-учитель, через день или два после освобождения от собственного ареста за пьянство. Этот способ — обыкновенно самый употребительный между всеми петербургскими мошенниками в подобных обстоятельствах.

[^^^]

Безделье *(ит.). — Ред.*

[^^^]

471

Рука провидения!.. Да, это рука провидения указывает мне путь к спасению!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

472

В среде пролетариев, воров и мошенников, населяющих окрестности Сенной площади, дом князя Вяземского известен под шуточным названием Вяземской лавры. Мы удерживаем это название как характеристическое имя, данное тем слоем общества, о котором наиболее придется нам говорить при описании Вяземского дома.

[^^^]

473

Года три назад.

[^^^]

Настояниями комитета общественного здравия и местной полиции нынешнего 1866 года этот двор очищен, вспахан, засеян овсом и клевером, а с одной стороны его, за конторой, разбит небольшой садик. Мера эта вполне благодетельна для Вяземского дома, где до настоящего времени на огромном пространстве, над которым неисходно стояли густые миазмы, не было ни одного деревца, ни одного кустика, и даже трава-то попадалась инде как редкость.

[^^^]

В настоящее время для этих любителей устроено во дворе особое помещение, отгороженное забором, дабы «не вводить в соблазн» прохожих, как поясняет банный сиделец. Такой же забор отгораживает теперь и мужское отделение от женского.

[^^^]

476

Весною нынешнего года местная полиция, признавая дом опасным в настоящем его виде для жилья и двор, вследствие испарений от его нечистот, положительно вредным для здоровья, настояла, чтобы тряпичники из Вяземского дома выехали за город. После этого была сделана очистка самого двора.

[^^^]

477

Смертельные прыжки *(ит.). — Ред.*

[^^^]

В настоящее время, после неоднократных настояний комитета общественного здравия и местной полиции, верхний и средний ярусы в большей части ночлежных квартир уже уничтожены и для каждой квартиры положено определенное число постояльцев, сообразно с гигиеническими условиями и ее вместительностью; но так как точный и еженощный контроль над исполнением этой меры не всегда равно возможен, то правило это почти не соблюдается хозяевами. Вред для здоровья громадный: тут главный источник всяческих зараз и болезней, поражающих чернорабочее население Петербурга.

[^^^]

Года три-четыре тому назад квартирные хозяева обыкновенно не спрашивали паспортов от своих случайных одиночных постояльцев, но теперь частые облавы заставили их ради предосторожности отбирать на ночь от каждого его вид. Фальшивый он или нет — на это хозяин не смотрит: был бы вид, для очистки собственной совести перед полицией. Но достигает ли такая мера каких-нибудь положительных результатов — это вопрос сомнительного свойства.

[^^^]

480

«Это правило!» *(фр.) — Ред.*

[^^^]

481

На местном нищенском argot звонить — просить милостыню.

[^^^]

482

Склеиться — согласиться.

[^^^]

483

Ширманам чистка — чистка кармана.

[^^^]

484

Шемяга — платок.

[^^^]

485

Ни каньки не скенит — ни копейки нет.

[^^^]

486

Жирмашник — гривенник.

[^^^]

487

Маруха, марушка — женщина.

[^^^]

Милочка *(фр.). — Ред.*

[^^^]

489

Мой ангел *(фр.). — Ред.*

[^^^]

С любовью *(ит.). — Ред.*

[^^^]

491

Времена и нравы *(лат.). — Ред.*

[^^^]

492

Красавица *(фр.). — Ред.*

[^^^]

493

Ах нет, княгиня, они у вас такие прелестные, такие милые эти собачки! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

494

«Акушерка» *(нем.). — Ред.*

[^^^]

495

Равенство, братство и свобода *(искаж. фр.). — Ред.*

[^^^]

496

Подождите *(фр.). — Ред.*

[^^^]

497

Прошу вас, сударь, прошу вас! Я — смело и без церемонии! Прошу вас!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

498

Прошу вас!.. Всякий раз я в восторге *(фр.).* — *Ред.*

[^^^]

499

Я знаю сам *(фр.). — Ред.*

[^^^]

500

«Молись и трудись» *(лат.). — Ред.*

[^^^]

501

Завтраки *(нем.). — Ред.*

[^^^]

502

Прощайте *(фр.). — Ред.*

[^^^]

503

«Парижские львицы» *(фр.). — Ред.*

[^^^]

504

Из Риги или из Ревеля *(нем.). — Ред.*

[^^^]

505

Это правда; я так и думала *(нем.). — Ред.*

[^^^]

506

Непременное, обязательное *(фр.). — Ред.*

[^^^]

507

Ах, бедное дитя! И ты тоже здесь!.. Еще одна новая гибель! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

508

Все эта Пряхина! Это все ее дело *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Дело еще не так скверно *(нем.). — Ред.*

[^^^]

510

Не в этом причина! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

511

Ну-ка теперь я посмотрю, кого вам Бог пошлет! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

512

На техническом языке здешних известного рода женщин метафорическое название «Der kalte Fisch» (холодная рыбица) означает невинную девушку. Вместе с этим названием равносильно господствует и другое — еврейское, совершенно равнозначное первому: «Koschere Nekeuve», которое они не совсем-то верно переводят словами «постная девица».

[^^^]

513

Я вас поздравляю, сударь! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

514

Торжественный церемониальный марш! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

515

С большим скандалом! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

516

Поздравляйте же чету! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

517

Ах ты, подлое животное! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

518

Вот тебе, вот тебе! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

519

Дорогая баронесса *(фр.). — Ред.*

[^^^]

520

Впустите! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

521

Интимные вечера *(фр.). — Ред.*

[^^^]

522

Чего желает женщина, того желает Бог *(фр.). — Ред.*

[^^^]

523

Это слишком мелко, а главное — это так банально *(фр.). — Ред.*

[^^^]

524

Дорогой князь *(фр.). — Ред.*

[^^^]

525

Бедную женщину дворянского звания *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

526

Неравный брак *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Бывшая *(фр.). — Ред.*

[^^^]

528

Эту девочку Машеньку *(фр.). — Ред.*

[^^^]

529

В хорошей и набожной семье *(нем.). — Ред.*

[^^^]

О, пожалуйста, сударь! На Петербургской стороне, на Колтовской, у чиновника Петра Семеновича Поветина *(фр., нем.). — Ред.*

[^^^]

531

О нет, мадам *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

532

Некоторое время она была здесь, со мной *(фр.). — Ред.*

[^^^]

533

Она уже совершеннолетняя, и я за нее не ответственна *(нем.). — Ред*.

[^^^]

534

Может быть, сударыня, вы ее родственница? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

535

Несомненно, она благородная особа, мать этой девочки? *(фр.) — Ред.*

[^^^]

536

Очень жаль, дорогой граф, но!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

537

Я ведь сама не знаю, что с ней сталось *(нем.). — Ред.*

[^^^]

538

Увы! мой дорогой граф! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

539

Это случай совершенно романический!.. *(фр., нем.) — Ред.*

[^^^]

540

Особа *(нем.). — Ред.*

[^^^]

541

Я сама узнала об этом слишком поздно *(нем.). — Ред.*

[^^^]

Ваш сын, князь (фр.). — Ред.

[^^^]

543

Она была влюблена... как кошка! Но я ничего не замечала *(фр., нем.). — Ред.*

[^^^]

544

В продолжение нескольких месяцев как содержанка *(фр.). — Ред.*

[^^^]

545

Вот и все *(фр.). — Ред.*

[^^^]

546

Я благородная особа, сударыня!.. *(фр.) — Ред.*

[^^^]

547

Я не чувствую себя оскорбленной *(нем.).* — *Ред.*

[^^^]

548

Я охотно вас прощаю! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

549

Прежде всего успокойтесь, сударыня, успокойтесь *(фр.). — Ред.*

[^^^]

550

Где в настоящее время эта Машенька *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

551

Прошу только без допроса, мадам, только без допроса! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

552

Значит... это верно *(нем.). — Ред.*

[^^^]

553

Это зависит, сударыня, это зависит... от этой особы. Она поможет вам с удовольствием в этом деле *(фр.). — Ред.*

[^^^]

554

Без грубостей, сударь! Вы забываете, что я дама *(фр., нем.). — Ред.*

[^^^]

555

Я не лгунья, сударь! Никогда, никогда в жизни! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

556

Тысячу рублей *(нем.). — Ред.*

[^^^]

557

Я думаю, что это скорее дело этой дамы *(нем.). — Ред.*

[^^^]

558

Ну что же, мне это безразлично! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

559

Я уже сказала *(нем.). — Ред.*

[^^^]

560

Я дам вам ответ, может быть, сегодня *(фр.). — Ред.*

[^^^]

561

Весеннее утро и осенний вечер *(нем.). — Ред.*

[^^^]

562

Скорее за врачом!.. За врачом! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

563

Девушка, беги скорее за извозчиком! *(нем.)* — *Ред.*

[^^^]

564

Ах, мои деньги! Мои деньги! Великий Боже! Что же мне теперь делать? *(нем.) — Ред.*

[^^^]

565

Вот я и лишилась теперь своих четырехсот рублей! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

566

О Боже! *(нем.) — Ред.*

[^^^]

Дорогой граф *(фр.)*. — *Ред.*

[^^^]

568

Смеется тот, кто смеется последним *(фр. посл.). — Ред.*

[^^^]

569

В самом деле, это красиво! *(фр.) — Ред.*

[^^^]

570

Это будет очень фантастично *(фр.). — Ред.*

[^^^]

Палач.

[^^^]